АЗБУКА ВЕРЫ

Болеслав Михайлович Маркевич

Перелом. Книга 2

Художественная литература · azbyka.ru

Перелом. Книга 2 – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/perelom-kniga-2

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Перелом. Книга 2

Болеслав Михайлович Маркевич

Перелом. Правдивая история[1]

Безумный натиск здесь, а там отпор *бессильный*.

Из пародии.

T’is ail in vain to keep a pother
About a vice, and fall into an other

Pope.

Часть первая

I

E pur si muove.

Galileo.

Тебя ль забыть!..

Цыганский романс.

В Большом театре шли «Пуритане» с Бозио и Калцолари. Княгиня Краснорецкая давала в этот понедельник большой бал Двору, и театральная зала представляла по этому случаю особенно праздничный вид. В креслах восседали военные и статские сановники, в звездах и лентах; в бельэтаже счастливые избранницы петербургского high life прикрывали роскошными sorties de bal свои обнаженные плечи и осторожно, не ворочаясь, держали свои пышно убранные цветами и бриллиантами головы; за ними из глубины выглядывали белые галстуки и шитые воротники мужей их и поклонников, тесно жавшихся к задней стенке лож, из боязни помять расстилавшиеся пред ними волны газа и шелка над необъятными кринолинами. Весь этот светский люд, поглощенный мыслью о предстоявшем бале, рассеянно, чуть не угрюмо, внимал беллиниевским мелодиям, между тем как сверху, из той счастливой области, под плафоном, где наслаждение искусством даруется ценою бани в сорок градусов жары, раздавались после каждой арии оглушительные рукоплескания и клики восторженных молодых голосов. Внизу сочувственнее всех относился, по-видимому, к этим поднебесным восторгам высокий, богатырски сложенный генерал в парике с хохлом и алмазами на груди, занимавший кресло рядом с генерал-губернаторским и небрежно отвечавший кивками на низкие поклоны проходивших мимо него звездоносцев; важный сановник питал, как известно это было всему Петербургу, отеческую, невинную страсть к сладкозвучной примадонне, заливавшейся, как бы в угоду ему, в этот вечер во весь раскат своего соловьиного голоса. Бедная дочь страны, любимой солнцем, она не предчувствовала, что несколько месяцев спустя ее должно было унести из числа живых суровое дыхание враждебного севера.

В пятом ряду кресел, у самого прохода, сидел молодой человек, лет 30–32-х, в штаб-офицерских эполетах и с Георгиевским офицерским крестом на пехотном мундире кавказской формы. Светло-русый, с бровями и усами темнее волос на голове – признак породы, – лицо его

отличалось замечательною правильностью и изяществом своих очертаний; но внимательный наблюдатель мог бы прочесть на этом красивом лице несомненные следы мятежно и страстно прожитого прошлого. В общем выражении этих тонких черт, в складках рта, в абрисе опущенных, чуть-чуть помаргивавших глаз сказывалась какая-то будто утомленная энергия, пресыщение или горечь неудовлетворенной жизни. Он сидел, весь согнувшись высоким и худым телом, в своем кресле, подпирая голову левою рукой, а правою рассеянно перебирая по черной густой волне папахи, лежавшей на его коленях. Легкая, как бы необычная ему улыбка играла на его губах – улыбка, которую вызывало в нем зрелище того впечатления, какое, очевидно, производило превосходное исполнение оперы на соседа его с правой стороны. Сосед этот, человек средних лет, с широким, выпуклым и голым черепом и чертами лица, напоминавшими Сократа, был, по всем признакам, меломан в квадрате, меломан-фанатик, меломан-факир. Откинувшись затылком в спинку своего седалища, он полулежал, закрыв глаза и расширив ноздри, словно стараясь вбирать в себя ими опьянявшие его звуки; увлаженные, чувственные губы причмокивали, будто те же звуки вливались в них в то же время в виде сладчайшего напитка, и до слуха кавказца явственно доносились от времени до времени легкий стон и едва сдержанное завывание, вырывавшиеся из гортани соседа от преизбытка музыкального наслаждения. «Небеса, не-бе-са!» – приговаривал он каким-то таинственным шепотом, ежась и поджимаясь, как сытый кот на окне, пригретый весенним солнцем…

Он пришел в себя лишь в ту минуту, когда опустилась занавесь за последним аккордом финала первого действия.

– Еще немножко, и я бы начал беспокоиться за вас, – сказал ему насмешливо кавказец, лениво подымаясь с места и оборачиваясь спиной к сцене, – музыка производит на вас то же действие, как на других опиум или гашиш.

– Да помилуйте-с, – обидчиво возразил тот, – ведь это надо понимать-с, ведь это последние соловьи-с, последние Могиканы великой классической школы пения!.. Ведь это божественно-с! Ведь от этого-с должны у самого черствого человека во всей вселенной расцвести на душе горацианские розы! – приговаривал он, уже шипя, язвительно поглядывая на своего собеседника, словно именно его разумел он самой черствою душой во всей вселенной.

Кавказец продолжал улыбаться: артистический энтузиазм его театрального соседа был слишком, видимо, искренен, чтоб имелась какая-либо возможность оскорбиться его ребячески агрессивным способом выражения.

– А ведь хорошо! – улыбаясь и слегка пришепетывая, заговорил, оборачиваясь к разговаривавшим, сидевший пред ними в четвертом ряду большого роста господин, с неправильным, добродушным и умным лицом, носом формы истоптанного башмака и довольно длинными седоватыми волосами, густые пряди которых, падавшие ему на лоб, он то и дело откидывал головой или рукой назад.

– Еще бы! – выразил меломан движением плеча, между тем как тот обводил биноклем окружность бельэтажа.

– Какой старик великолепный! – сказал он, остановив его на одной ложе.

– Это, – кавказец повел взглядом в ту же сторону, – английский посланник при нашем Дворе.

– Благороднейшая англо-саксонская кровь! – воскликнул меломан. – Глядите, какая тонкость и твердость очертаний, а в выражении какое сознание своего я. *I am a man, я – человек,* – так и читаешь на этом изящном, родовитом лице.

– Да, – подтвердил седоватый господин, глянув кругом прищуренными глазами, – особенно, если посравнить…

– Ведь, этого нельзя-с, Петенька, – зашептал тут же, осторожно озираясь, меломан, хватая на лету недосказанную мысль, – тут-с, позволь тебе сказать, сравнения неуместны. Ведь *раса*, любезный друг, не есть случайный физиологический продукт, а результат целого процесса истории, да-с! Ведь там-с уже сто лет, после норманского завоевания, не оставалось ни единого раба на всем пространстве страны. Там-с в продолжение столетий взрастают поколения в сознании своей свободы, своих гражданских и политических прав-с. Соответственно сему выработался и этот тип независимого, гордого, оригинального человека… А тут-с, – уже зашипел он, – от чухонской помеси, татарской плети и московского батожья могли произойти единственно индючьи носы, как у нас с тобою, Петенька, и выражение *усердия* на челах – да-с! Так какие же тут сравнения!..

Джентльмен, которого приятель его называл «Петенькой», весело рассмеялся. Кавказец, слегка наморщившись; поглядел на них:

«„Индючьи носы“, недурно! Заявили себя низшею „расой“, племенем рабов, – и ликуют… Как это у них по-новому называется: „самообличение“ или „самооплевание“»? – спрашивал он себя с каким-то гадливым выражением на лице.

– Троекуров, взгляни, как эффектна сегодня madame Rantzof! – проговорил в эту минуту ему на ухо проходивший мимо адъютант.

Он, как бы нехотя, лениво обернул голову на ложу первого яруса с левой стороны, где в пунцовой, расшитой золотом мантилье, накинутой на великолепные плечи, венчанная головным убором из пунцового же бархата, перевитого жемчугом, и сияя двумя огромными шатонами, продетыми в маленькие розоватые уши, сидела молодая черноглазая женщина, весьма действительно «эффектная» своею яркою, вызывающею красотой. Напереди, рядом с нею, помещалась какая-то выцветшая особа, по всем признакам компаньонка или бедная родственница. Дверь ложи постоянно отворялась, впуская и выпуская антрактовых посетителей, преимущественно из военной молодежи, обменивавшихся с красавицей очень веселыми, очевидно, речами, судя по тому, что она то и дело прикрывала большим, отороченным белыми перьями веером свои алые, широко раскрывшиеся от смеха губы.

– Est-ce qu’elle va au bal? – все так же шепотом спросил адъютант не то насмешливым, не то недоумевающим тоном, рассматривая издали роскошный туалет госпожи Ранцовой. Он разумел, само собою, бал у княгини Краснорецкой, куда ехал сам «et tout le monde élégant».

Вопрос этот, по-видимому, был неприятен Троекурову; он сдвинул брови и дернул плечом:

– Поди, спроси ее. Я почем знаю.

И вдруг глаза его блеснули – блеснули живым, молодым блеском, странно противоречившим общему характеру его усталого облика. Они наткнулись случайно на бинокль, упорно направленный на него из ближайшей к ложе г-жи Ранцовой, крайней к входу в кресла ложи. Держала его обнаженная мясистая женская рука, а над ним красовалась нарядная кружевная наколка, с желтыми цветами на темных, с проседью волосах. Рядом с владелицей бинокля сидела другая женская молодая особа… Адъютант, остановившийся подле Троекурова – звали его бароном Грюнштейном – продолжал допрашивать его между тем:

– А ты сам будешь?

– Где? – нетерпеливо проговорил кавказец.

– На бале.

– А я тебе там очень нужен?

Грюнштейн засмеялся и пошел.

«Это он», – говорил себе мысленно Троекуров… Он задумался на мгновение и двинулся затем с места вслед за толпой, валившею из кресел к выходам на время антракта.

Он намеревался зайти к красавице в пунцовой мантилье. – «Оттуда можно видеть вблизи»… – неопределенно, не договаривая себе самому мысли своей, думал он.

До него донесся по пути разговор двух юных конногвардейцев, остановившихся на мгновение в проходе и глядевших на ту же, ближайшую к ложе г-жи Ранцовой, ложу, на которой сосредоточено было все внимание самого его, Троекурова.

– Как хороша, видишь! – говорил один из них.

– Прелесть! Я ее видел в Москве; это сестра Сережи Лукоянова, кавалергарда…

И ему вдруг стало досадно до злости за эти слова, за то, что эти «молокососы» знали *ее*, смели говорить о *ней,* любоваться *ее* красотой…

А бинокль из той же ложи продолжал все так же не отрываться от него… «Странно!» – думал на ходу Троекуров, следивший за ним в свою очередь.

В ложе г-жи Ранцовой сидели двое молодых людей: некто Хазаров, из недавних правоведов, белокурый низенький господин с плоским, нагловатым лицом, и такой же низенький, еще безусый лейб-гусарский корнет, крепыш на петушьих ногах, отличавшийся совершенно купеческим пошибом физиономии, хотя и носил одну из древнейших фамилий России и состоял даже ее последним представителем, князь Шастунов. Обоих их словно передернуло при входе Троекурова. Хазаров, сидевший подле хозяйки, тут же встал, пожал ей руку и, склонившись внимательным, как бы робким поклоном пред вошедшим, вышел из ложи. Гусар, помещавшийся за спиной компаньонки, поклонился также учтиво и поспешил откинуть в спинку стула свой не по летам развитый торс, перевалившийся было к самым коленям черноокой красавицы.

Кавказец медленно опустился на место, оставленное Хазаровым, и подал ей руку.

Она глянула ему прямо в глаза:

– Зачем не приехали обедать сегодня?

– Не мог; я обедал у Свистунова.

– Bon dîner au moins?

– Détestable! – рассеянно отвечал он, не глядя на нее. Досадливое выражение пробежало по ее лицу. Она обратилась к Шастунову:

– Так, что же, князь? Это очень интересно.

Он принялся сообщать ей какую-то городскую новость.

Говорил он, что называется, *нудно,* словно жернова ворочал, с какою-то внушительною интонацией в голосе, как говорят вообще тупые и притом самодовольные люди. У Троекурова подымалась желчь от тягучих звуков этого голоса, от вида этой «иньйобильной» наружности.

Он закусил ус и закинул голову себе за плечо. Словно только и ждала она этого, владелица бинокля, сидевшая в соседней ложе, торопливо закивала ему головой самым приветливым образом.

Он отвечал на это почтительным, чуть-чуть удивленным поклоном.

Она потянулась к нему с места и из-за спины дочери, – занимавшая рядом с нею кресло напереди ложи молодая особа была ея дочь, Александра Павловна Лукоянова, – спросила его:

– Как же это вы здесь, а не в Москве?

Он с величайшим изумлением взглянул на нее:

– А почему это мне надо быть в Москве?

– Разве вы ничего не знаете? – видимо изумилась она в свою очередь.

– Ровно ничего! – отвечал он с улыбкой.

– Так зайдите к нам сюда, я вам расскажу, – поспешно молвила она.

Он наклонил голову в знак согласия и поднялся со стула.

– Кто это? – как бы испуганно проговорила ему на ухо, прежде чем он успел встать на ноги, красавица Ранцова, не проронившая ни слова из предыдущего разговора.

– Вы их не знаете, – коротко ответил он на это, пожал ей еще раз руку и вышел.

Добродушное, несколько массивное, но хранившее следы несомненной красоты лицо госпожи Лукояновой выражало необычайное оживление. То, что она собиралась сообщить Троекурову, имело, очевидно, в ее понятии крайнюю важность для него. Едва успел он переступить через порог ложи, как она усадила его в темный ее угол, и сама близко подсела к нему, прикрыв наполовину его колени своим огромным нескладным кринолином, с которым она никак не умела справится.

– Так вы решительно ничего не знаете? – начала она.

– Про что? Я вас не понимаю, – все с тем же изумлением проговорил он.

– Про дядю вашего, Остроженко?..

– Что мне про него знать! – отвечал он, нахмурясь.

Московская барыня положила свою руку на его руку.

– Простите ему по-христиански, monsieur Троекуров, – молвила она, сжимая ему пальцы, – в эту минуту его, вероятно, уже на свете нет.

– Что вы говорите!..

– Не мудрено; в его годы такая потеря, – продолжала она, – ведь подумайте, единственный сын!..

– Как сын? – чуть не крикнул Троекуров.

– Ах, Боже мой, – заспешила она, – я все забываю, что мы в Петербурге и что ничего еще не дошло до вас… У нас в Москве успели об этом во все колокола перезвонить. Да и какой же случай ужасный!.. На прошлой неделе, в четверг… да, именно, в прошлый четверг утром, выехал двоюродный ваш брат Иван Акимович в санях прогуляться… Вы знаете, он лошадник был страстный, только ведь и занятия было у него, так хотел, говорят, нового рысака объехать… тысячи две, говорят, заплатил он за него Воейкову. Вот, едет он по Арбату, вдруг из Денежного переулка наперерез ему выезжает гремя какая-то пустая бочка. Лошадь испугалась, закинула, да с Арбата понесла вправо к Подновинскому. На повороте Иван Акимович из саней вылетел, да так несчастливо, теменем прямо о тумбу… Принесли его домой без чувств – и двух часов не прожил… А в ту же ночь со стариком удар… Вчера пред самым моим отъездом заезжал ко мне прямо от него Варвинский, он отходил…

Она остановилась и пристально глянула в глаза молодому человеку.

– А вы вчера из Москвы уехали? – проговорил он почти бессознательно. Что-то еще темное, странное шевелилось в глубине его души… Он перевел глаза на молодую девушку. Она сидела к нему профилью, в венке из белых нарциссов, с низко опущеною к затылку, по моде того времени, огромною косой, черною с синеватым отливом, как крыло ворона. Он глядел на эту великолепную косу и на эти нарциссы, на длинную, лоснящуюся пуховую кисть ее белого бурнуса, закинувшуюся за спинку ее стула; он любовался художническим любованием безупречным тонким очерком ее носа, брови и подбородка и чувствовал, что то, что копошилось теперь внутри его, имело как будто прямое отношение к ней, к этой безмолвно сидевшей тут молодой особе с ее строгими чертами и вдумчивым взглядом больших темных глаз, как у Гомеровской «волоокой Геры»…

А мать ее объясняла ему между тем:

– Вчера уехали, а сегодня, вообразите, на бале в Петербурге, dans le grand monde, у Краснорецкой!.. Мы с нею в родстве считаемся, но мне в голову бы не пришло напрашиваться к ней, да еще в самый день приезда. Все это мой Сережа бедовый!.. Он там ведь свой. На железной дороге, вообразите, встретил нас с пригласительным билетом в руке: «Княгиня, мол, просит, требует, чтобы вы Сашу непременно привезли к ней сегодня, что Двор будет, что ей лучшего случая не представится ваш здешний бомонд увидать»… – Помилуй, говорю, Сережа, я всего на три дня приехала, собственно для тебя, говорю, налегке; у Саши с собою ни одного бального платья нет. А он мне на это: «Не беспокойтесь, говорит, maman: платье давно ждет у Andrieux; княгиня, говорит, сама заказывала»… И вообразите, действительно, в два часа принесли к нам – мы у Сережи остановились – принесли платье, точно по ней сшито… Как по вас, авантажна она? – нежданно спросила московская маменька, – повернись, Саша!

Она обернулась, приподымая навстречу его жадному взгляду свои длинные ресницы…

Он низко поклонился ей.

– Зачем спрашивать! – учтиво отвечал он ее матери, но в этом банальном ответе зазвучало по-видимому что-то, заставившее девушку всю зардеться, и она, поспешно прикрыв глаза биноклем, направила его бесцельно вдаль… Рука ее слегка дрожала…

– А вы на бале будете? – спросила его госпожа Лукоянова, улыбаясь заметно довольною улыбкой.

– Н-нет, – отвечал он после минутного колебания.

– Жаль, Сашиного дебюта не увидите, – даже слегка вздохнула она.

Троекуров пристально и пытливо взглянул ей в лицо…

Она очевидно смутилась, несколько отодвинулась от него со своим мятежным кринолином и принялась обмахиваться веером.

– Я думаю, вас очень удивило, – поспешила заговорить она, – что я вас так бесцеремонно пригласила сюда; но я думала, что вам будет интересно…

Она не досказала, заметив любопытный взгляд обернувшейся в ее сторону вполоборота красивой соседки ее по ложе.

– Скажите, пожалуйста, кто эта jolie femme, – тихо спросила она Троекурова, – у которой вы сейчас сидели?

– Ее зовут Ольга Елпидифоровна Ранцова, – промолвил он протяжно.

Московская барыня чуть не крикнула:

– Ах, Боже мой, так это она, скажите! Рожденная Акулина? Я про нее так много слышала… Отец ее ведь частный пристав был; rien de plus, – добавила она, наклоняясь уж к самому уху Троекурова, – а она… Муж ее камер-юнкер, да?.. И скажите, ее у вас здесь всюду принимают? У нее туалет такой восхитительный; верно, также к Краснорецкой едет?

– Право, не знаю, – сухо отвечал кавказец.

А госпожа Лукоянова продолжала тараторить тем же шепотом:

– Он, Ранцов, ведь совсем du prostoï, говорят, темный армеец какой-то был, и вдруг нечаянно наследство большое получил, я знаю. Но они, я слышала, чуть уж не совсем промотали его теперь… Какие у нее шатоны, прелесть! Ведь это тысяч десять должно стоить!.. И она у вас в большой моде, кажется? Что молодежи перебывало у нее в ложе! Видно, кокетка страшная, mais très, très jofie femme, надо правду сказать; даже смотреть на нее приятно… И вы уж тут наверно пропадаете? – фамильярно и как бы с какою-то тайною боязнью домолвила она.

Он молча пожал плечами.

Она заметила его недовольный, омрачившийся вид и со свойственною ей торопливостью вернулась к первоначальному предмету их разговора:

– Когда же вы к нам, в Москву, monsieur Троекуров?

– В Москву? – повторил он, как бы думая о другом.

– Ну да, – засмеялась она, – да вы, кажется, мимо ушей пропустили все, что я вам передавала? Подумайте же, Аким Иванович Остроженко родной вам дядя по матери, а за смертью сына его, Ивана Акимовича, вы его прямой, законный наследник – имение ведь все родовое. Положим, старик упрям – и злопамятлив был он, не тем будь помянут, – положим, он бы на зло вам мог

имение все свое продать и деньги по монастырям рассовать. Так ведь он об этом подумать не успел, как его самого… прихлопнуло… Этим ведь нельзя шутить, monsieur Троекуров, – уже захлебываясь от волнения, восклицала г-жа Лукоянова, – ведь это три тысячи душ в двух губерниях, незаложенные, и какого имения! В одной меже, что земли, говорят! И денег куча у старика в опекунском совете – я наверное знаю!.. Вам надо скорее, завтра же лететь в Москву… Я бы на вашем месте взяла экстренный поезд, – ну пятьсот рублей бросите, вы теперь можете себе это позволить!..

Он слушал эти смешные до комизма речи, эти вперегонку бежавшие одно за другим слова, и только теперь, как из тумана, стало выдвигаться пред ним ясное представление того, чего-то невероятного, невозможного, что совершалось в его судьбе. Он снова богат, вдвое богаче, чем был когда-то прежде, – и от кого же валится ему в руки это богатство? От людей, которые при жизни с радостью увидали бы его умирающим с голоду пред их окнами. А весть об этом приносит ему эта вальяжная и добродушная московская маменька, которая еще так недавно оберегала от него дочь свою, как от чумы… «Уж не сплю ли я? – проносилось в голове Троекурова. – Все это похоже на сон, на сказку из *Тысячи и одной ночи»…* Он отвел глаза от своей собеседницы и устремил их в залу… Нет, он не спал: толпа приливала из выходов, возвращаясь на свои места, и все тот же важный, видный генерал в алмазах, обернувшись спиной к сцене, туго поворачивал голову, отвечая снисходительно на заискивающие речи вившегося вокруг него необыкновенно приличного и прилизанного адъютанта, которого звали бароном Грюнштейном; тот же отставной откупщик Гусин, из иерусалимских дворян, которого еженедельно в то время продергивали каррикатуры сатирических листков, шушукал озабоченно с соседом своим, вертлявым французом, поучавшим его за большие деньги хорошим манерам, – уверяли те же газетные зубоскалы; а там, как раз насупротив ложи Лукояновых, в ближайшем ко входу бенуаре с правой стороны все те же, известные всему Петербургу, Берта и Клеманс выкладывали как на блюде свои оголенные красы; которые так и пожирал сквозь золотую одноглазку остановившийся в проходе, не менее тогда известный Петербургу своим цинизмом и служебным влиянием, *статский генерал* Прытков… Нет, не спал наш герой…

– Так когда же вы едете? – спрашивала его тем временем г-жа Лукоянова.

Он совсем пришел в себя.

– А сами вы когда думаете? – молвил он вместо ответа, еще раз пристально взглянув ей в глаза.

Она еще раз как бы сконфузилась, заиграла веером и проговорила, насколько могла равнодушнее, будто не придавая никакого значения тому прямому указанию, какое давала она этими словами Троекурову:

– Мы приехали сюда для Сережи, на самый короткий срок, и думали уехать через три дня, в четверг, с двухчасовым поездом…

Кавказец чуть-чуть кивнул головой, встал с места и из темного угла пересел по другую сторону ложи на стул, стоявший за спиной девушки.

– Так вы сегодня в свет, на бал, Александра Павловна? – молвил он, чуть-чуть нагибаясь к ней. – И рады?

– Везут, – равнодушно пожимая плечом, проговорила она.

– А если бы не везли? – спросил он смеясь.

– Она никуда бы ногой, – отвечала за нее мать с оттенком упрека, усаживаясь в свое кресло напереди ложи.

– И правда! – молвила девушка не оборачиваясь и медленно кивнула головой вперед, при чем под низко опущенною косой ее в глаза молодого человека метнулся на миг очерк ее матовой, словно изваянной шеи.

– А что, – сказала г-жа Лукоянова, улыбнувшись, – если бы на твоем месте была теперь Кира?..

– Кира? – с удивлением повторил Троекуров.

– Племянница моя, княжна Кубенская, – объяснила она.

– Какое необыкновенное имя!

– Она вся у нас необыкновенная, – как бы невольно сорвалось с языка московской барыни, и она поспешила примолвить со смехом, – это чудак брат мой покойный выискал; Кира по-гречески, говорят, значит *госпожа,* так он этим смыслом пленился и окрестил ее нарочно…

Дверь ложи отворилась, и в нее вошел красивый, похожий лицом на Александру Павловну, невысокого роста, но прекрасно сложенный молодой человек в кавалергардском мундире. Он заметно удивился, увидав Троекурова, но так же заметно поборол тут же это первое впечатление и, пожав ему дружелюбно руку, сел подле матери и стал шептать ей что-то на ухо.

На лице ее изобразилось беспокойство.

– Саша, – громко заговорила она, – вот Сережа говорит, что нам надо пораньше собраться к Краснорецкой, прежде чем нахлынут. Двор никогда, говорят, не приезжает позднее половины одиннадцатого, – так чтоб успела княгиня заранее повидать тебя и переговорить, – объяснила все так же громко откровенная московская дама, к большому, по-видимому, неудовольствию ее сына, нетерпеливо покусывавшего тоненькие свои усы и несколько смущенно поглядывавшего на Троекурова из-под нахмуренных бровей.

– Vous voila prévenues, mesdames, – сказал он, вставая. – Alexandrine, я тебя буду ждать там на лестнице с букетом, un bouquet de narcisses blancs, ma chère, analogue à la coiffure… Насчет кавалеров не беспокойся – можешь заранее записать на веере весь наш полк по старшинству…

Он улыбнулся, подал еще раз руку кавказцу и вышел.

– Мил, что говорить, мил! – только что затворилась за ним дверь, принялась восхищаться его мать, перегибаясь к Троекурову, – любезен, умен, находчив! От него все дамы здешние без ума. А уж как о нас, о сестре заботится! Обо всем подумает, все предвидит, устроит – вот вы слышали сейчас… Одно горе, – вздохнула вдруг она, – дорог, очень дорог обходится…

– Дорог?.. – не мог не рассмеяться Троекуров.

– Три тысячи вот теперь, в этот приезд, привезла, долги заплатит… В прошлом году пять уплатила – все-таки меньше. И за то спасибо! Конечно, молод и в таком полку служит… Да и соблазну что в нашем Вавилоне!.. А который час?

– Без четверти десять, – сказал Троекуров, вынимая часы.

– Ах, Боже мой! Пора… пока доедем… До свидания, monsieur Троекуров, enchantée de vous avoir

vu… Собирайся, Саша!

– Я готова, maman…

Она поспешила встать, обернулась спиной к зале… и молодого человека так и обдало лучами бесконечной нежности, лившимися из ее широко устремившихся на него глаз. Она не слышала разговора матери с ним, но из звука их голосов, из того, что мать пригласила его в ложу, из ее какой-то теперь торжествующей улыбки, девушка поняла, что судьба ее решена, что в углу этой петербургской ложи совершилось то, о чем она в Москве в продолжение двух лет со слезами и тревогой в сердце молилась по ночам в своей девической комнате пред родовою иконой Божией Матери Нечаянной Радости, которою, умирая, благословила ее бабушка, княгиня Кубенская, – и на полном просторе взглянула она теперь в лицо любимому человеку, вознаграждая себя одним этим взглядом за все те дни мучения и сомнений…

Госпожа Лукоянова, забирая мятежный кринолин свой обеими руками, пропустила сначала его, а затем вышла сама из ложи. Александра Павловна медленно следовала за нею.

Троекуров не выдержал: у самой двери он быстрым движением руки коснулся пальцев девушки и проговорил чуть слышно:

– Вы та же все?

– Зачем спрашивать? – громко, со всею дерзостью счастия, повторила она его ответ матери о ней и прошла в коридор.

Он готовился выйти за нею, когда услыхал за собою голос, звавший его по имени.

Он обернулся.

Перегнувшись всем плечом через барьер, отделявший ее ложу от опустевшей ложи Лукояновых, сверкая гневными глазами, звала его Ольга Елпидифоровна Ранцова:

– Борис Васильич, deux mots!

Гусар Шастунов все еще сидел у нее, и Троекуров поймал на лету полный затаенной ненависти взгляд, каким глядел на него этот «пузырь».

Невольная усмешка пробежала у него по губам. Он вернулся от двери и низко наклонился к красивой барыне.

– Я еду сейчас домой и *требую,* чтобы вы приехали! – быстро и решительно прошептала она ему на ухо.

– Слушаю-с, – ответил он вслух веселым тоном и вышел.

Он добыл свою шинель и успел догнать московских своих знакомых довольно вовремя, чтобы раскланятся с ними на подъезде театра.

Здоровый выездной в кавалергардской ливрее захлопнул дверцы их кареты и, проворно вскочив на козлы, крикнул: «пошел». Свет фонаря блеснул в окно экипажа, сквозь которое наш кавказец мог различить еще на миг белый венок на голове девушки и руку в перчатке, быстро протиравшую платком запотевшее стекло…

II

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает список.

Пушкин.

Троекуров очутился один на улице. Извозчики, будто стая серых волков, облепили его со всех сторон, голося зычно и разом и подталкивая свои сани прямо ему под ноги. Он не взял извозчика и пошел пешком, шагая по камням и снегу, не разбирая их. Свистящий, порывистый ветер срывал ему высокую папаху с головы; мерзлые хлопья залепляли ему глаза, но он как бы ничего не замечал, не чувствовал. Под гул и свист северной метели «горацианские розы», как сказал бы приятель его меломан, расцветали на душе его.

«Non parlar di lei che adoro,
Non parlar…»

запел он вдруг громко, стараясь дотянуть уже охрипшим голосом до высоких фальцетных нот Калцолари и смеясь тому, как это у него скверно выходило… Он чувствовал какую-то потребность насмешки над собою: ему было совестно, чуть не стыдно за то ликующее настроение, которое уносило его помимо воли в «какую-то немецкую лазурь неба», говорил он себе с напускною презрительностью. Он так давно отвык от этого, ото всего, что походило на «радость жизни»… Он старался наладить себя на спокойное, объективное отношение к тому, что произошло с ним… Эта встреча с *ними,* наследство Остроженков, – да, это действительно похоже все на какую-то волшебную сказку. Воспоминания, образы тесною и шумною толпой проносились пред ним, – беспутные годы молодости, *прожигание* жизни, на которое ухлопал он в пять, шесть лет состояние, тысяч в сорок дохода, оставленное ему строгим сановным отцом: *парадеры*, скаковые лошади, цари, товарищеские оргии, француженки, банкомет Бачманов, маневры Красного Села, *Минерашки,* эта черноглазая Ранцова, из-за которой он безумно дрался с лучшим своим другом… И все это вдруг как бы отрезано разом – перемена декораций: темный армейский полк, куда переведен он был за дуэль, война, шесть месяцев на Севастопольских бастионах, лишения, кровь, стоны, тупая смерть, разгром целого строя понятий, преданий, верований… Там, в этих развалинах, в госпитале, куда тяжело раненого отвезли его после Черной, о многом научился думать бывший паж и конногвардеец; там, вместе с изгнившим, в клочья порванным в траншеях старым бельем своим, оставил он навсегда прежнего *петербургского* человека. Он вспоминал те дни мучительных вопросов, уныния, дни глубокого иной раз внутреннего ожесточения… Он не захотел вернуться в гвардию, куда «за отличное мужество» переводили его вновь по окончании войны, отклонил предложенное ему место адъютанта у высокопоставленного лица. Он был в таком *стихе* тогда, что *карьера* представлялась ему чем-то незаконным, почти преступным. Впечатления, вынесенные им из Севастополя, были слишком живучи, слишком болезненны: ему хотелось далекой, безвестной, дикой жизни, пустыни и одиночества. Он попросился в ряды той же «темной армии», на Кавказ…

Он был там ранен опять в экспедиции. Чуть живого довезли его в место расположения баталиона, которым он командовал в Дагестане. Он лежал в темной, сырой сакле, страдая и раной, и невыносимою тоской того одиночества, в котором год тому назад чаял вкусить «забытья и покоя», когда нежданно получил письмо… Странное впечатление произвело оно на него… Писала ему одна московская его кузина, княжна Женни Карнаухова, девица лет тридцати с хвостиком, состоявшая другом всего мира и по этому случаю переписывавшаяся со всем миром. К нашему кавказцу, в его качестве «героя», она питала особенную благосклонность и, узнав, что он ранен, поспешила отправить ему послание, полное

христианских утешений, изложенных на бесподобнейшем французском языке, и всевозможных московских вестей и сплеток, имевших в ее понятии служить той же христианской цели: «apporter un peu de distraction au pauvre blessé…» «Votre état éveille ici des sympathies générales», писала она между прочим: «я узнала даже une chose qui m'a fort touché: прелестная девочка, Сашенька Лукоянова (она даже в свет еще не ездит), которую ты видел у нас, ходит каждый день со своею няней, sous prétexte de promenade', с Арбата к Спасским воротам, ставить Спасителю свечку о твоем выздоровлении…»

Бывают нежданные, решающие минуты в жизни… Троекурову показалось, что в эту грязную, мрачную его саклю, где ожидал он умереть забытым, «как Робинзон на своем острове», ворвался вдруг золотой луч солнца и все пригрел и осветил собою, и принес ему жизнь, счастие, воскресение… А между тем он с трудом в первую минуту мог вызвать в памяти образ той, о ком писала Женни… Действительно, он видел ее у Карнауховых, в Москве, куда он ездил, по заключении мира, устраивать дела свои с кредиторами (и, само собою, ничего не устроил). Он приехал туда однажды вечером, застал много гостей; Женни посадила его в кружок девушек, приятельниц своих, и заставила рассказывать «о войне». Ему было досадно сначала, но на него глядели все эти молодые лица так жадно, так восторженно и так сочувственно, что он увлекся под конец, заговорил горячо, сердечно… Он вспомнил теперь, что заметил ее тогда: внимательные большие черные глаза, матовая бледность лица, великолепные волосы, словно подавлявшие ее небольшую правильную головку… Она была моложе всех в этом кружке, почти еще ребенок, видимо робела и не проговорила слова во весь вечер… И она каждый день теперь ходит «ставить свечку Спасителю за его исцеление». «Она будет моею женой!» – сказал себе нежданно, с какою-то безповоротною твердостью Троекуров.

Он как-то очень быстро выздоровел после этого письма и зимою был в Москве. Женни Карнаухова, несмотря на свой тридцатилетний возраст, даже подпрыгнула от радости, узнав, что он «интересуется» Сашенькой Лукояновой, обещала ему «все, все устроить» и действительно устроила девичий вечер, как в позапрошлом году, на который пригласила «девочку» (ей в ту пору только что минуло 17 лет). Троекурову удалось обменяться с нею тут лишь несколькими словами, но в этих словах все как бы сказано и решено было между ними. Пылкие комментарии, которыми сочла нужным украсить их тут же Женни, провожая Сашеньку до лестницы, когда она уезжала домой, ничего не прибавили к тому, что успела прочесть сама девушка в глазах того, кто с первой минуты их встречи завладел неотразимо ее молодым чувством. Он любил ее: она это понимала, видела, ощущала каждым фибром своего существа, как понимала и то, что он со своей стороны «все знает о ней»…

Обещанное Женни Троекурову *устроение* этим вечером и покончилось. Она попробовала было *сондировать* мать Сашеньки, Марью Яковлевну Лукоянову, с которою состояла, как «со всею Москвой», в величайшей приязни. Но едва произнесла она имя своего cousin, как та замахала своими большими мясистыми руками: «И не говори, ma chère! Мот, mauvais sujet, сорви-голова, которого не сегодня-завтра и совсем пристрелят черкесы, – терпеть не могу таких!» Женни прикусила язычок, но догадливая Марья Яковлевна, на основании правила «подальше от греха», положила тотчас же «принять свои меры». Она перестала пускать дочь в те дома, где она могла встретить Троекурова, и прежде всего к Карнауховым. Он так и уехал обратно на Кавказ, не добившись увидеть ее еще раз… «А все же будет она моею женой!» – говорил он себе упорно, кривя уста досадливою улыбкой, во все продолжение пути…

Поход 1859 года, увенчавшийся пленением Шамиля, подал ему случай отличиться еще раз. Имя его выдвинулось внезапно вперед, приобрело боевую известность. Он награжден был Георгиевским крестом, произведен в полковники… «Ну, теперь покончено, Кавказ покорен, воевать не с кем, – молвил он себе мысленно, – нового дела поневоле искать приходится»…

Он взял годовой отпуск и уехал осенью в Москву. Старички-патриоты Английскаго клуба приняли его с особенным почетом; компания *жуеров*, во главе которой стоял известный мастак во все игры, добрейший *товарищ* и перворазрядный питух, которого почему-то звали все – в переводе его русской фамилии на французский язык – monsieur Lecourt, устроила в честь его колоссальную жженку и поила его шампанским насмерть каждый раз, как появлялся он в клубе. Женни Карнаухова и мать ее, известная княгиня Додо, все еще продолжавшая называть свой салон «un petit coin de Pétersbourg transporté à Moscou[2], но былой авторитет которой уже ни в грош не ставился в пустевшем с каждым годом московском свете, ужасно *мусировали* «les exploits militaires» их *кузена*. Но сердечные дела его нисколько не подвигались от этих оваций и выхвалений. Г-жа Лукоянова была женщина практическая, к «военным подвигам» относилась с полнейшим равнодушием, кем бы они совершены ни были, и все так же говорила о Троекурове, как об «отъявленном *мотыге* и *злючке,* которому поставить человека на барьер все равно, что стакан воды выпить, и у которого, кроме долгов, ничего в настоящую пору за душой не осталось». Она по-прежнему прятала от него дочь… Троекурову удалось увидеть на этот раз Сашеньку совершенно невзначай, на приемном утре у princesse Louise, где менее всего почему-то рассчитывала натолкнуться на него бдительная Марья Яковлевна. Он уже сидел там, когда она вошла с дочерью; хозяйка, повинуясь обычаю, сочла нужным представить его «незнакомым ему дамам». Бежать было нельзя сейчас, показать себя неучтивою тоже. Марья Яковлевна поклонилась, улыбнулась кислою улыбкой, села и, как на иголках, ждала удобной минуты встать и уехать… Но на ее беду час еще был ранний, кроме ее с дочерью и Троекурова никого не было в гостиной, и princesse Louise приветливо завела с нею разговор, который она, со своей стороны, обязана была поддерживать приличия ради. Тем временем Сашенька успела спросить кавказца, надолго ли он в Москве, и получила в ответ, что он принужден ехать на днях в Петербург, но вернется *непременно* в течение зимы. «Я положил себе, что вы будете моей женой!» – прочла она, вдобавку, в его глазах. «Ничьею, как вашею!» – отвечал ему, в свою очередь, мгновенно загоревшийся и так же мгновенно отвернувшийся от него взгляд ее… Марья Яковлевна продолжала сидеть, как на иголках, угадывая этот новый разговор своим материнским чутьем и не находя никакого средства помешать ему. Но вот наконец еще кто-то приехал… Она поспешно встала, подняла дочь с места повелительным взглядом, распрощалась с хозяйкой, ответила коротким кивком на учтивый поклон молодого человека и, взглянув еще раз на Сашеньку, как бы с тем, чтоб увериться, что та не отстает от нее, вышла быстрыми шагами из гостиной, словно спасаясь из загоревшихся хором.

Троекуров на другой же день уехал в Петербург… Там его сразу охватил и понес старый, знакомый водоворот. Его давно не видели, он вернулся *с именем,* он *представлялся* в Царском Селе, и хотя не сделан был флигель-адъютантом («и не будет им никогда», предсказывали, на основании каких-то особых соображений, компетентные в этой области ведения люди), но принят был очень милостиво, с весьма лестными для него словами одобрения… А главное, он был «интересен» и остер – «mordant d’esprit et des yeux altiers et doux en même temps», сказано было даже про него в одном дворце; этого было достаточно, чтобы вознести его сразу на положение *льва* начинавшегося петербургского сезона. Он изнемогал под бременем приглашений, раздушенных записок, «милых упреков», званых обедов, вечеров «en petit comité» в обществе «des plus charmantes mondaines de Pétersbourg», пьяных ужинов в компании всяких Берт и Клеманс и выяснявшегося для него вполне только теперь отчаянного положения его финансовых обстоятельств…

Он был «окончательно нищ» – для него уже не оставалось сомнений. Не далее как сегодня утром ростовщик Розенбаум, которому он в течение семи-восьми лет переплатил до полутораста тысяч рублей одними процентами, отказал наотрез переписать его векселя еще на год, но в виде утешения пригласил к себе на завтрак с графом Зубрицким, князем Щенятевым и генералом Сергоегорьевским, «моими большими *фахфоритами»,* тщеславно говорил

отвратительный жид про этих неоплатнейших из его «аристократических» должников. «Этот déjeûner des victimes у Розенбаума с вами, – это последний удар, значит!» – отпустил Троекуров тут же громко за столом, к общему хохоту товарищей своих по трапезе и «несчастию»…

«И вдруг это богатство с неба» воскресало теперь опять в его мысли, с усиленным приливом крови к вискам, с каким-то сладостным стеснением в груди – «эта маменька, которая сама гонит меня теперь в Москву»…

– Па-ади! Или не видишь, мазурик! – облаял счастливца, не различив за слепившею глаза изморозью его военной папахи, надменный кучер с высоты быстро катившей щегольской кареты, под колеса которой чуть не попал наш кавказец, перебегая с тротуара на тротуар у Почтамтского переулка.

Троекуров обернулся и засмеялся вдруг неожиданным для него самого смехом. Он узнал и карету, и кучера…

– С *этим* надо будет теперь же покончить! – с какою-то суровостью проговорил он себе затем, заворачиваясь плотнее в шинель от ветра, с новою силой задувшего ему в лицо при повороте в переулок.

Чрез пять минут он входил в широкие сени барского двухэтажного дома в Почтамтской.

– Дома Ольга Елпидифоровна? – машинально спросил он, скидывая в то же время, но ожидая ответа, шинель свою на руки толстого швейцара, двинувшегося ему навстречу.

– Только что из театра изволили вернуться, – отвечал сонным голосом тот.

Троекуров неспешными шагами поднялся в бельэтаж.

III

O, femme, femme sexe faible et décevant,
tout animal créé ne peut manquer à son instinct;
le tien est-il donc de tromper?

Beaumarchais.

Du, übersinnlicher, sinnlicher Freier,
Ein Weib nasführet dich.

Faust.

Он вошел в гостиную.

Это была большая, глубокая, с тремя окнами на улицу, комната, обтянутая темно-малиновым атласом, на благодарном фоне которого особенно ярко и выпукло при свете двух зажженных на столах высоких карселей выступала позолота панелей и карнизов, обтянутых тою же темною материей, стиля Louis XV, мебели, резных рам кругом зеркал и картин, блестящая бронза люстры, канделябр и больших часов Pompadour на камине из серого мрамора. Мягкий обюсоновский ковер во всю гостиную выкидывал из-за ножек обильно и беспорядочно расставленных на нем кресел и кушеток где лист, где розу, где завиток своих вычурных разводов. Великолепное фортепиано Эрара с развернутою тетрадью оперной партитуры на пульпете стояло в углу под сенью длиннолиственной пальмы. Между окнами, отражаясь в

широких зеркалах, подымались горки пестревших в густой зелени пахучих цветов. Несколько довольно крупного размера, но далеко не завидных по живописи картин симметрически развешены были по стенам: дюжинные морские виды Айвазовского, какая-то нимфа с чухонским лицом и зеленым телом, копия со злосчастного *Поцелуя* Моллера, а в самой середке с каждой стороны глядящие друг на друга через комнату портреты высокопоставленных лиц, словно приобретенные из какого-нибудь присутственного места… Фотография зато являла здесь самые блистательные образчики своих преуспеяний: «карточки-портреты», большие и малые, группами и в одиночку, раскрашенные и «неретушованные», на темном фоне и на светлом, в резных и гладких, скромных и ценных, картонных, деревянных, бронзовых, стальных, филиграновых, плетенных из соломы, выклеенных из перьев, рамках выглядывали изо всех углов, со столов, мольбертов, этажерок, шкафов современной имитации старого Буля, громоздились на мраморе камина, на палисандровой поверхности эраровского инструмента. Тут был в ликах, как говорится, «весь Петербург» – *мужской* Петербург того времени: и Гриша Северов, известнейший и популярнейший из тогдашних *жуиров* и покорителей сердец, и тогдашний молодой, красивый и изящный петербургский обер-полицеймейстер, и «статский генерал» Прытков, и целая семья генерал-адъютантов и свитских генералов, мрачных и игривых, то в регалиях, с рукою на эфесе сабли, то en négligé, верхом на стуле, с сигарою в зубах; итальянцы-тенора и секретари посольств с прикрученными в нитку усами и пробором до затылка; надворные и коллежские советники морского министерства, все до одного готовившие себя в те дни на посты министров, и даже в срок самый непродолжительный; тоненькие кавалергарды и пухлые лейб-гусары; красавец-гимнаст Леотар на своей трапеции и рядом с ним варшавский барон из евреев, прибывший на берега Невы с каким-то, как говорили, необыкновенным финансовым проектом, имевшим поступить на рассмотрение государственного совета, но который он, как «цивилизованный европеец», полагал прежде всего *провести* способом, не изведанным еще «дореформенною» тогда Россией, а именно через посредство «влиятельных дам»… Все это вперемежку с дорогими бомбоньерами-ящиками из китайского лака, слоновой кости, перламутра, оксидированного серебра, с фарфоровыми вазами, расписными веерами, саксонскими куклами, яшмовыми чашами, хрустальными флаконами в оправах из драгоценных камней, серебряными пепельницами, карикатурными фигурками из гутта-перчи и папье-маше и всякими иными ненужностями самоновейших фасонов, как бы только что доставленными сюда прямо от Кнопа или La Renommée[3]. Салон Ольги Елпидифоровны Ранцовой походил на выставку благотворительного базара, составленного из пожертвований доброхотных даятелей. Но это был очевидно весьма любимый в Петербурге и многопосещаемый салон. Мебель хранила явные следы многочисленных туловищ, придавивших первоначальную упругость ее пружин, напомаженных затылков, опиравшихся об ее мягконабитые спинки; к благовонию цветов примешивался всюду тот острый запах, который неизбежно оставляет за собою в комнатах курение табаку. Бесцеремонный смех и легкие речи словно струились в тепличной атмосфере этого роскошного и безалаберного покоя…

Троекуров, с легким зевком и пожимаясь от ощущения пронизавшего его на улице холода, опустился на низкое кресло перед камином, в котором еще вспыхивали синие огоньки потухшего угля, и достал портсигар из-под полы своего мундира.

– Вы здесь? – крикнул ему голос из другой комнаты.

– Да, и смерз, – отвечал он.

Портьера приподнялась, и в гостиную торопливо вошла-вбежала хозяйка. Она была еще в своем изысканном туалете, со своими сверкающими шатонами в ушах и ожерельем в три нитки крупного жемчуга на обнаженной, восхитительной шее.

– Что, хорошо, прелестно, как вы находите, поступила со мною ваша Краснорецкая? – воскликнула она сразу, подходя к самому креслу Троекурова и глядя на него в упор.

Он, по-видимому, ожидал не этого вопроса и слегка усмехнулся.

– Прежде всего, почему она «моя?» – сказал он, учтиво швыряя в камин только что закуренную им папироску.

– Разумеется, *ваша*, вашего монда, вашей crême, – пылко вымолвила красавица-барыня, сверкая глазами из-под сжатых темных бровей, – а я для нее une Dieu sait qui, une madame Rantzoff! Madame Rantzoff, qu'est-ce que c'est! Меня можно только доить как корову, деньги с меня тащить бессовестно… Сама скупится, или нет у нее, а я дала три тысячи «на улучшение пищи» ее школы, и мой муж сидит теперь третий месяц в деревне и бьется там из-за денег, а она… Я с нею в том же совете патриотических школ сижу, и она всех наших дам сегодня пригласила, и даже cette affreuse madame Паульсон, которая чужие платья носит, – я знаю наверное, Сашенька Василинина ей два своих подарила, – а меня… Она сочла, с меня довольно, что она мне карточку забросила: нарочно, гадина этакая, приехала, когда – знала ведь! – когда меня дома не бывает. Это за мои три тысячи! Un peu cher обходятся ее визиты!.. А Лиза Стародубская, родная ее племянница, еще третьего дня божилась и клялась, что я непременно, непременно получу приглашение… Мерзкие, отвратительные они все! Подличают, когда нужно им что-нибудь, и фыркают, когда… И я очень хорошо понимаю, из-за чего не хотят они меня все. Потому что их мужьям, сыновьям и *любовникам*, – подчеркнула она злобно, – тысячу раз веселее у меня, в моем доме, чем в их противном гранжанре, и они это знают и бесятся… И я очень рада, что у нее сегодня будет bal manqué, – нежданно добавила Ольга Елпидифоровна, – потому что императрица не поедет!

– Кто это вам сказал? – тихо, и глядя на тлеющие угли, спросил Троекуров.

– Мне говорил Петруша Лупов: он вчера дежурный флигель-адъютант был. Pour sûr не поедет!

– А я сегодня обедал у Свистунова с гофмаршалом Гагиным, который был *там* сегодня утром, – все едут, напротив, – протянул кавказец.

Красивая барыня гневным движением швырнула на камин перчатки, которые держала в руке, и быстро опустилась в кресло насупротив своего собеседника.

– Ну и поздравляю ее… и вас! Отправляйтесь и веселитесь!..

– Вы разрешаете? – промолвил он с новою усмешкой, выпрямляясь и устремляя на нее глаза.

– Что такое?..

– Ехать мне на бал к княгине? Вы с меня требовали слова, и я вам дал его, что я поеду туда только в том случае, если и вы будете…: Но раз вам угодно теперь, чтоб я «отправился»…

– Ну конечно, – язвительно прервала она его, – вам только этого и нужно! Вы меня в душе проклинаете теперь за это данное вами слово, потому что вы умираете, хотите ехать туда… Вы думаете, кажется, что я ничего не понимаю, Борис Васильевич, – проговорила она внезапно изменившимся тоном, тоном мнимого спокойствия, скрещивая на груди свои полные, высоко обнаженные руки с ямочками на локтях, – вы даже вздумали скрытничать. Это просто смешно! Я вас спрашиваю в театре, кто эти барыни, к кому вы ушли от меня, и вы принимаете ваш grand air и отвечаете: «вы их не знаете», и целый час шушукаетесь там в углу с этой госпожей, которая так нахально вытребовала вас от меня. А у меня сидит Шастунов, который их знает по

Москве, и говорит мне прямо, кто они. К чему же эти тайны, разве я не узнаю всегда все, что мне нужно? Но вы сочли лучшим принять со мною равнодушный вид, чтоб я не обратила внимания, как вы будете рассыпаться с этою ingénue, у которой глаза как тарелки… Что, она очень богата, по крайней мере? – не выдержав, с новою язвительностью проронила г-жа Ранцова.

Брови Троекурова сжались на миг, но он, как бы сознавая это, провел по лицу рукой и совершенно спокойно возразил:

– Для чего это вы меня спрашиваете?

– Очень просто, – гневно отвечала она: – не стали же бы вы, la coqueluche du grand monde, компрометировать себя публично в театре с какою-то неизвестною московскою колокольней, если б у вас не были свои какие-нибудь особенные виды?

– «Виды» уплатить мои долги приданым богатой жены – так ведь это? – промолвил он все так же хладнокровно.

Она пренебрежительным движением приподняла плечи:

– Что ж такое, не вы первый, не вы последний!

– Само собою! – засмеялся он, глядя на нее с какою-то бессознательною жалостью. – И вообразите, я не спрашивал и даже весьма склонен думать, что тут никакого приданого нет, или очень мало…

– Они едут на этот бал? – прервала она его вдруг.

– Едут.

– И вы, если б я сняла с вас ваше слово, поскакали бы сейчас туда же produire эту интересную бесприданницу в мазурке? Говорите чистосердечно!

– Поехал бы, Ольга Елпидифоровна, – ответил он серьезным голосом, с поднятыми на нее глазами.

Из ее глаз брызнули мгновенно слезы:

– Вы меня никогда не любили! – воскликнула она, поспешно доставая из кармана кружевной платок.

«Вот оно когда настоящее-то!» – пронеслось в мысли Троекурова.

– Я бы мог, однако, привести вам доказательства противного, – выговорил он вслух, как бы вскользь.

– Ах, пожалуйста, – замахала она на это руками, – знаю наперед, что вы мне можете сказать!.. Старая история, как вы безумствовали из-за моей жестокости, всех ревновали, чуть не убили бедного Ордынцева, который не более вас тогда был dans mes bonnes grâces… Да разве это любовь – настоящая? «То кровь кипит, то сил избыток», как сказал Лермонтов. Каждый новопроизведенный корнет и до сих пор считает своим долгом влюбиться в меня так, как вы влюблены были тогда… А вы, хоть и не корнет уж были, а тот же юноша, пылкий, бестолковый, ne sachant rien de la vie…

– И вы тогда над этою бестолковостью смеялись, – вырвалось невольно из уст Троекурова, – смеялись и надо мною, и над Ордынцевым с опытным и *толковым* графом Анисьевым…

Она вся вспыхнула.

– Не напоминайте мне этого имени, я сто раз вам говорила! – вскликнула она. – Вы знаете, что я никогда его не любила, никогда не был он моим… Этот человек терроризовал меня просто: в первые годы моего замужества он забрал нас с мужем в руки и заставил буквально плясать по своей дудке. Мы тогда только что приехали сюда, никому не известные; надо было устроить себе положение, отношения создать… Он знал, что был необходим нам, и пользовался этим… Я не скрываю, он все сделал, чтоб отдалить меня от вас тогда, он пугал меня страхом потеряться во мнении света… Но к чему эти ретроспективные упреки, – прервала себя вдруг она, – мало вам того, что теперь, когда мы опять увиделись, я, сумасшедшая, имела глупость первая на шею к вам кинуться?..

Он слушал ее, поникнув головой, с учтивою внимательностью, едва скрывавшею выражение недоверия, которое, по-видимому, внушали ему ее слова. Когда договорила она, он, не вставая, пододвинулся к ней на колесцах своего низенького кресла, наклонился и захватил обе ее руки в свои… Эти теплые, холеные руки, проникнутые тонким, знакомым ему, не раз опьянявшим его до экстаза запахом духов, так и манили прижать их к горячим губам. Но он воздержался, сжал их и, глядя ей глазами в глаза, проговорил с мягкою насмешливостью:

– Упреков вы от меня никогда не слышали и не услышите, а все же должен я сказать вам, моя прелесть, что в то время я вас, хотя и «бестолково», пожалуй, но зато и без памяти любил; вы же «настоящим» образом не любили меня ни тогда, ни теперь… да и едва ли способны так любить…

Она с сердцем выдернула у него руки.

– Вот как!.. Что же, вы, может быть, правы, – нежданно вскликнула она через миг, как бы одумавшись, – так, *по-настоящему,* без оглядки, *вас* любить я действительно, может быть, не способна. Для этого, как в музыке, надо быть уверенным, что втора идет за вами верно. А у вас вечно полутоном выше или ниже звучит, потому что вы, как Шопен, ищете вечно каких-то неслыханных, неизвестных простому человечеству звуков. Вы та же больная аристократическая натура, только он в музыке, а вы в жизни.

– Откуда мне сие, помилуйте! – засмеялся на это кавказец.

– Да, да! – воскликнула Ольга Елпидифоровна. – Я умна, вы знаете, и вижу людей насквозь. Вы – aristocrate par l’épiderme… Это Montebello про вас сказал, и отлично!.. В вас какая-то особенная, обидная утонченность нервов, вы способны коробиться и возмущаться от того, что проходит незамеченным для девяти десятых обыкновенных смертных, от какого-нибудь нечаянно вырвавшегося неудачного слова, неловкого движения, от цвета платья, выбранного не к лицу. Вы вечно все видите и все судите… Оттого вы и любите – точно снисходите; в вашей любви вечно чувствуется озабоченность брезгливого человека, который, входя в незнакомый дом, говорит себе: как бы здесь чем-нибудь неприятным не запахло!.. Я всегда, с тех пор как… как мы близки, производила на вас это впечатление – правду я говорю, скажите?.. Я всегда была для вас une fleur trop vulgaire. В первые годы молодости вы любили меня как молодой зверь. Когда мы встретились опять, вы *дозволили* любить себя, как позволяет какой-нибудь пойманный орел кормить себя, но с тем же затаенным презрением и враждою глядит на того, кто подает ему пищу…

И так же мгновенно и нежданно, как в первый раз, мгновенные и нежданные для нее самой слезы закапали из глаз красавицы. Она отерла их, уронила руку на колени и печально взглянула в лицо Троекурова. Он медленно закачал головой:

– Несправедливо и противоречит даже тому, что сами вы сказали сейчас. Раз вы находите во мне такую необыкновенную «утонченность нервов», допустите же, что я могу столько же ценить и любоваться, сколько «коробиться» и «возмущаться», как вы сказали. А я уверяю вас, что вами я всегда самым искренним образом любовался… Вы представлялись мне всегда блистательною бабочкой, которая летит на все, что светит и горит… Вы видите даже, как я по этому случаю поэтически говорю! – добавил он поспешно, как бы извиняясь за необычную ему *фразу.*

– Это меня не трогает, – полуулыбаясь и приподымая свои великолепные плечи, возразила Ольга Елпидифоровна, – не такие еще стихи мне писали! Что же дальше?

– А то, – отвечал он, – что и *вы* любить можете, и *вас* любить должно в границе этих ваших инстинктов…

– Лететь на свечку?

Он с мягкой улыбкой повел утвердительно бровями.

– И вы считаете теперь своим долгом, – иронически засмеялась она, – свечку эту задуть, sous pretexte не дать мне слишком обжечь крылья?

– Безо всяких предлогов; вы знаете, что я не фат, – с преднамеренной сухостью произнес Троекуров.

Она остановила на нем внимательный взгляд и слегка побледнела.

– А-а, – протянула она, – c’est donc la fin?.. Вы *этого* хотите?

Он поднялся с места и оперся об угол камина.

– Поневоле, – учтиво промолвил он, – я должен уехать отсюда и, по всей вероятности, надолго.

– Куда же это, в Оренбург? – спросила она, насколько могла хладнокровно, видимо сдерживая все, что кипело у нее внутри, – вчера у меня был (она назвала тогдашнего генерал-губернатора того края); он мне говорил, что приглашал вас туда, что там готовится какая-то экспедиция в Среднюю Азию.

– Нет, – медленно проговорил Троекуров, – довольно воевать!.. Мне, по всей вероятности, будут предстоять иные заботы, – как-то невольно добавил он к этому.

– Что такое?.. Или это опять тайна?

– Н-нет… Мне с неба падает, по-видимому, наследство, о котором мне и не снилось никогда…

– Какое наследство? – вскрикнула она с тем женским любопытством, которое у прекрасного пола не остывает и среди самых поглощающих тревог жизни.

Он принужден был сообщить ей по этому поводу все, что уже известно нашему читателю.

Она слушала, глядя на него взглядом, в котором угадывалось, что она вовсе не думала о том, о

чем он вел речь. Какие-то недобрые огоньки пробегали будто при этом в ее зрачках.

– Когда же вы узнали об этих счастливых для вас смертях? – иронически спросила она.

– Сегодня.

– Утром?

– Нет…

– Вам это сообщила сейчас в ложе эта башня в желтом чепце?

– Госпожа Лукоянова, – подчеркнул Троекуров.

– Да, – расхохоталась вдруг красивая барыня, подымаясь с места, – вы действительно настоящий теперь жених для дочери ловкой московской маменьки!..

Троекуров не отвечал и только потянул себе ус, с видом человека, готового встретить спокойно всякую бурю.

– Не сердитесь пожалуйста, это к вам не пристало! – сказала она, проходя мимо него и оглянув его быстрым взглядом.

– И не думаю, – поспешил он усмехнуться на это.

Ольга Елпидифоровна подошла к своему Эрару, ударила пальцем по клавише в басу, провела его затем по всей клавиатуре, зевнула и со скучающим видом опустилась в стоявшее близ инструмента кресло.

– Во всяком случае с вами сегодня невесело!

– Я не виноват: вы сами же заставили меня рассказывать вам сейчас о вещах, которые могут быть интересны только для меня.

– Все, что вас касается, Борис Васильевич, не может не быть для меня интересно, – насмешливо кланяясь ему с места, сказала она.

Он отвечал ей таким же поклоном и усмешкою:

– Позвольте выразить вам всю ту благодарность, которую заслуживает ваша любезность…

– Прелестно! Точно из какого-нибудь романа Александра Дюма… Да, – перебила она себя, – я все время в театре спрашивала, и никто из моих умников не умел мне сказать: из какого романа взят сюжет des *Putritains*?

Троекуров не успел ответить. Ольга Елпидифоровна скинула мантилью с плеч, обернулась с креслом к фортепиано и торопливо, словно спеша не забыть чего-то, отстегнула браслеты с обеих рук, уронила их на ковер… Ее захватывающий голос огласил чрез миг комнату: она пела каватину баритона в первом действии *Пуритан:*

Ah, per sempre io ti perdei,
Fior d’amore, fior d’amor, la mia speranza,
E la vira ché s’aranza
Sara diena di dolor[4].

Она подражала Ранкони, усиливая как бы в насмешку густоту звука своего контральтового тембра, но, словно помимо ее воли, задушевная нежность очаровательной мелодии лилась и плакала в ее горле во всей искренности создавшего ее вдохновения. Ее самое привлекало это вдохновение, губы ее увлажнились, глаза пылали томно и страстно.

Но она оборвала вдруг; руки ее скользнули с клавишей на колени, она откинула голову назад:

– Удивительный был артист этот Ранкони! – проговорила она будто в утомлении. – Четыре ноты в голосе, а всю душу забирал…

– Зачем вы кончили! – вырвалось у Троекурова, – его как-то внезапно всего подняло ее пение. – Еще, пожалуйста, еще!

Он отодвинулся от камина и шагнул к ней. Она лениво скользнула по задку кресла, о который опирался ее затылок, и слегка свислась головой в его сторону:

– Вам еще мало музыки?.. Впрочем, вы там, в театре, не тем были заняты! – промолвила она, пока он подымал с пола ее браслеты.

– Спойте еще, прошу вас! – повторил он настойчиво.

– Вы просите?..

Глаза ее засверкали вдруг; она разом выпрямилась, встряхнула головой:

– Примите кресло, на нем низко петь!..

Троекуров поспешил исполнить приказание: он отодвинул кресло, пододвинул ей табурет. Усаживаясь на него со своим пышным кринолином, она сделала неловкое движение, как бы падая, слегка вскрикнула… Он ее поддержал за локоть, за этот прелестный, полный локоть с ямочкою на сгибе, который и во сне снился ему в оны дни… Матово-белая, низко открытая спина ее вздрогнула, показалось ему при этом… Глаза его невольно остановились на ее соблазнительном очертании…

– Хорошо, можете слушать, – не оборачиваясь, обрывисто сказала она.

Он обошел инструмент, уложил обе руки на его доску и устремил на нее глаза.

– «Торжество победителя»! – со смехом возгласила Ольга Елпидифоровна – и начала:

Сто красавиц светлооких
Председали на турнире;
Все цветочки полевые…

– Fleurs vulgaires, – скороговоркой вымолвила она, воспользовавшись ritardanto в мотиве, —

Лишь моя одна как ро-оза, —

каррикатурно допела она колено, и тою же скороговоркой: – Из московского грунтового сарая прямо в оранжерею archichic княгини Краснорецкой! И кому-то смерть хочется туда же, и он, бедняжка, не может… Ну, просите хорошенько, – я, может быть, возьму да и сжалюсь,

Car moi j’en ris,
Car moi j’eu ris, tant je suis bonne fille,

заключила она, с неподражаемым ухарстом выражения, припевом из не совсем салонной песни Беранже.

– Как можете вы дурачиться с таким голосом! – полудосадливо, полугорячо вскликнул Троекуров.

– О-о, какая строгость! – и она насмешливо и гордо окинула его взглядом. – С какого права?

– Вы капризничаете! – сказал он хмурясь.

– А если б и так?

Она быстро скинула партитуру с пульпета фортепиано, опустила его, как бы с тем, чтоб удобнее вглядеться в лицо кавказца, разговаривавшего с нею поверх этого пульпета, и нагнулась к нему так, что его всего обдало опьяняющим благоуханием ее роскошного тела…

– Из-за чего, скажите, стала бы я тешить вас?.. А я могла бы действительно сегодня, – мгновенно переменяя тон, продолжала она, – я в голосе, как никогда. Если б я пела на сцене, я чувствую, не было бы сегодня человека в театре, который бы не пал к моим ногам…

– Я постараюсь заменить вам публику, насколько будет в моих силах, – сказал он, стараясь скрыть под беззаботным видом шутки начинавшее разбирать его волнение.

Она кивнула головой вверх:

– Tempi passati! Эги предложения теперь к лицу разве кому-нибудь из моих amoureux transis, вроде Шастунова, а никак не…

– А знаете, кстати, – прервал ее Троекуров, – я никак не понимаю, как вы можете с ним возиться!

– С кем это?

– С вашим Шастуновым.

– Что ж такое! Молодой зверь, как я их называю… И вы были таким dans le temps!..

Троекуров гадливо повел губами:

– Он и не зверь, он просто животное!..

– И нос кривой, заметили вы! – расхохоталась Ольга Елпидифоровна. – А вы не видели, какую он discretion проиграл мне вчера?.. Вот там на столе, в футляре… Подайте сюда!

Это был довольно объемистый, чеканного золота ящичек в форме ковчежка, на крышке которого во всю его ширину читалось французское слово *Epingles*, начертанное бриллиантами и рубинами весьма почтенных размеров.

Троекуров взглянул и пожал плечами.

– Quel mauvais goût, не правда ли? – продолжала смеяться Ранцова; – а ведь он уверен был, что ничего нельзя выдумать de plus grand genre, как поднести для грошовых булавок вещь тысячи в полторы или две! Так и видна купеческая кровь… Ведь его маменька, рожденная Раскаталова, excusez du peu! Вы эту его маменьку не знаете? Феноменальная дура!..

– К чему вы от него принимаете? – сказал тихо Троекуров.

– А что ж такое? – отвечала, не смущаясь, красивая барыня, любуясь игрою света, падавшего на Шастуновский подарок. – Камни эти, разумеется, я велю вытащить вон и сделаю из них браслет, Renaissance, о котором давно мечтаю…

Он потихоньку вынул у нее футляр из рук, закрыл и кинул его на стол:

– Спойте лучше, чем вздор говорить!

Она усмехнулась новою ироническою усмешкой:

– А, а, «l’épiderme aristocratique» уж закоробило!.. Удивительный вы человек!.. Чего вы хотите от меня? – спросила она вдруг, погружаясь ему глазами в глаза.

– Чтоб вы пели, – произнес он дрогнувшим голосом.

Она продолжала неотступно глядеть на него:

– Неправда!

– Как «неправда»?

– Совсем не о пении вы думаете.

– Может быть, – проговорил он не сейчас и как бы против воли. Он стоял теперь, несколько склонясь высоким телом пред нею, охватываемый видом, атмосферою ее женской прелести.

– Вот видите! – лукаво сказала она. – О чем же, говорите!

– Отгадайте!

Она насмешливо прикусила алую губу своими сверкающими зубами:

– Вам хочется меня умаслить, чтоб я разрешила вам ехать к Краснорецкой.

– Нет, – отвечал он почти с сердцем, – я бы не поехал теперь, если бы вы и разрешили.

– В самом деле?

Взор ее сверкнул невыразимым торжеством.

– Что же это должно значить, Борис Васильевич? – промолвила она, обнимая его взглядом, от которого тысячи искр запрыгали у него пред зрачками…

– Вы прелестны, Ольга! – еле слышно вырвалось из его гортани.

– Разве это так говорят? – произнесла она таким же шопотом, будто уносимая тою же страстною волной. – À genoux, monsieur, à genoux, и просите у меня прощения!

Он, уже безвластный, опустился к ее коленям.

– Прелесть моя! – мог он только выговорить, охватывая обеими руками ее гибкий стан.

Она мгновенно откинула от себя эти руки, вскочила с места и взглянула на него пристальными

и злыми глазами:

– Уж если разрыв, так не от вас, а от меня. Я хочу разрыва, Борис Васильевич, помните это!.. Можете теперь беспрепятственно ехать на бал!..

Она присела пред ним большим реверансом, какие делались в бывшем тогда в моде танце *Lanciers,* захватила с кресла свою пунцовую мантилью и вышла из гостиной, прежде чем наш кавказец нашел слово в ответ.

Да и что бы ответил он ей? В первую минуту он готов был броситься за ней, но он сдержал себя и судорожно сжал веки, как бы с тем чтобы подавить мутившее его сознание раскаяния и стыда…

Уже на улице, остуженный метелью и сыростью, спросил он себя, ехать ли ему теперь к Краснорецкой или нет. «Нет, – подойти к *той* после *этого?*»… Он не договорил, кликнул извозчика и, уткнувшись носом в шинель, отправился спать в свою гостиницу.

IV

Ба! Знакомый все лица!

Горе от ума.

Три дня после того, что передано сейчас читателю, на отходившем пассажирском поезде Николаевской железной дороги только что прозвонил второй звонок. Утро стояло ясное, слегка морозило; свет ослепительною волной вливался в широкую и высокую выездную арку, играл на медных принадлежностях только что подкатившего паровоза, бежал длинною пеленой по каменной настилке пространного дебаркадера. Чувствовалось, что там сейчас в поле нестерпимо и весело заблещет солнце, отражаясь в холодных алмазах безбрежного снегового савана… Весело было и далее, вглубь, на противоположной оконечности поезда, погруженной в полусумрак, падавший от занесенной свежим снегом стеклянной крыши. Среди общего движения сквозь торопливый говор, гул и шлепанье калош и тяжелых сапогов прорывались звонкие молодые речи, неудержимый смех. На площадке самого последнего, *семейного,* вагона, на двух окнах которого значилась этикетка «занято», стояла в бархатном, каштановаго цвета дорожном платье, отороченном соболями, с собольею же шапочкой на густых волосах Ольга Елпидифоровна Ранцова и, держась одной рукой за перила, с огромным букетом пунцовых камелий и белых роз в другой, перекликаясь с целою толпой приехавших проводить ее и только что едва уговоренных жандармом отойти за решетку военных молодых людей в белых и красных фуражках.

– Через неделю, никак не позднее, не обманете?..

– Я прямо отсюда, на тройке, в Сергиевскую пустынь, служить молебен о вашем счастливом странствовании, – кричал молоденький кавалергардик с розовым, точно прямо с вербы лицом.

– А я о вашем скорейшем возвращении – в Ново-Девичий монастырь, – хохотал рядом его товарищ.

– Спасибо, – смеялась в ответ она, – я вам каждому по сайке из Москвы привезу… Ah, monsieur Vaquier, grand mersi pour le waggon, j’y serai comme une reine! – прервала она себя, протягивая руку подошедшему к ней господину с иностранною физиономией.

– Vous l’êtes déjà, madame, par la grâce et la beauté et j’aurais voulu avoir tout un palais roulant à

vous offrir, – галантерейно отвечал monsieur Vaquier, представлявший «французские интересы» в правлении Николаевской дороги.

– Mersi, vous êtes charmant!

– А мне что вы привезете? – возгласил из-за решетки «пупырь» Шастунов.

– Ma bénédiction et la manière de s’en servir, – отвечала она с новым смехом и взглянула на Vaquier, как бы спрашивая: «C’est chic ce que je dis là, n’est ce pas?»

Степенный француз снисходительно улыбнулся, учтиво поднял шляпу и пошел далее вдоль вагонов.

– Moi je veux une tabatière от Лукутина, – прохрипел за решеткой Шастунов.

– Пустите, господа, пустите! – раздался за ним запыхавшийся голос. И Хазаров в бекеше и цилиндре, держа высоко над ним что-то завернутое в бумагу и перевязанное накрест узенькою красненькою тесемочкой, протиснулся к нему.

– Опоздал, брат, опоздал! – захохотали кругом. – Не станет Ольга Елпидифоровна есть твоих конфет; у нее ими и так вагон доверху набит!..

– *Moi je* lui ai appotré seul dix livres, – захохотал Шастунов.

– Мои – парижские, Ольга Елпидифоровна, от Siraudin. Отведайте хоть одну, а остальное бросьте! – жалобно взывал к ней Хазаров, потрясая своим ящиком в воздухе.

Проходивший мимо по платформе высокий, чернокудрый, лет тридцати с чем-то мужчина в синей, московского фасона, длинной шубке из серых смушек и в такой же смушковой круглой и низкой шапочке, заметив его отчаянные телодвижения, остановился на ходу:

– Желаете передать? – спросил он с улыбкой.

– Сделайте одолжение! – вскликнул Хазаров.

Тот улыбнулся еще раз, взял конфеты и направился к площадке вагона, с которой красавица, не слушая и не глядя на юное стадо своих обожателей, уже несколько мгновений с широко раскрывшимися глазами следила за ним…

– Приказано вручить вам, – промолвил он, подходя к ней с глубоким поклоном.

Она наклонилась к нему, вскрикнула:

– Monsieur Ашанин… Владимир Петрович, так это вы?

– Сам, к вашим услугам.

– Боже мой, как я давно вас не видела!

– Девять лет счетом! – возразил он, глянув на нее взглядом, от которого, вместе с краской, покрывшею все ее лицо, целый минувший мир молодости воскрес внезапно в ее памяти.

– Вы едете с этим поездом? – поспешила она спросить, чтобы скрыть невольное смущение.

– Имею счастие! – отвечал он, кланяясь еще раз и трогаясь с места.

– Мы еще увидимся? Зайдите ко мне на пути, у меня особое отделение.

Он поднял на нее свои большие черные глаза, вздохнул и пресерьезно выговорил:

– *С мужатицею не сиди, да не когда преклонится душа твоя на ню и духом твоим поползнешися в пагубу.*

– Это что такое? – вскликнула она в изумлении.

– *А* это из *Книги премудрости Иисуса сына Сирахова,* глава седьмая, – пояснил он и вздохнул еще раз.

Кондуктор, стоявший у подножки соседнего вагона первого класса, заторопил его в эту минуту:

– Пожалуйте, пожалуйте в вагон, третий звонок сейчас!

Он послушно взбежал по ступенькам.

– Вы объясните мне потом, какую это тарабарщину вы мне проговорили? – сказала ему со своего места Ранцова через разделявшие их перила.

Он повел головой и вошел в свой вагон.

Она полуоткрыла дверь в свое отделение и обернулась к своим поклонникам.

– До свидания, господа!

Все загалдело разом, приложило руки к фуражкам:

– До свидания, Ольга Елпидифоровна! До скорого! Не заживайтесь в Москве!

– Ne vous laissez pas séduire par les charmes de la Белокаменная! – восклицал Хазаров, высоко помахивая своим цилиндром.

– Телеграфируйте, в какой день будете, – мы к вам навстречу все выедем!

– С букетами…

– *Moi je* vous apporterai toutes les fleurs rares du Ботанический сад! – кричал Шастунов.

– И не привезешь! – пожал на это плечами стоявший рядом товарищ его по полку.

– Привезу! – возразил он. – Кто тебе сказал, что не привезу?

– Там казенное, не продают.

– Дам три тысячи, а привезу! – фыркнул «пупырь». – *Moi je* sais, quand je veux quelque chose…

Звон сигнального колокольчика и последовавший за ним оглушительный свист двинувшегося локомотива покрыли его «moi je», его хвастливые речи и нудный голос. Ольга Елпидифоровна исчезла в своем отделении. Длинный поезд с грохотом натягивавшихся цепей и визгом железа о железо медленно потянул в арку навстречу сверкавшему там, за нею, на свободе, веселому зимнему солнцу… Молодежь, гремя шпорами и саблями, отправилась к ожидавшим ее на

площади *одиночкам* и извозчикам…

Вагоны первого класса того времени состояли из трех отделений: одного, в средине, большого, с несколькими рядами кресел, обращенных попарно передками друг к другу, и двух малых, на каждой из оконечностей вагона, с продольными диванами по обе стороны их. В большое отделение можно было пройти лишь чрез одно из малых.

Отделение, чрез которое приходилось проходить Ашанину, было битком набито дамами. Шубы, капоры, пледы, подушки, дорожные мешки, корзинки, несессеры, ящики в футлярах и наволочках – все это так и запестрело в глазах молодого человека. Негде было уже более яблоку упасть. Пассажирки, с озлобленными лицами, устраивались кое-как на своих местах. «Извините! – Pardon! – Теснота-то какая! – Что же это такое, Господи!» – несся говор и громкие вздохи. Духота была уже и теперь страшная.

Ашанин остановился у дверей, затрудняясь проложить себе путь в этой толчее женщин и вещей…

– Каково-то напихали нас, что сельдей в бочонок! Полюбуйтесь, батюшка! – обратился очевидно к нему из ближайшего угла знакомый голос.

– Ах, Марья Яковлевна, – воскликнул он, узнавая свою московскую знакомую, – я и не знал, что вы Петербурге… И вы тоже, Александра Павловна!..

Он подал руку г-же Лукояновой и сидевшей подле нее дочери.

– Как же, приезжали, как видите, на несколько дней, – заговорила московская барыня, – и даже на бал попали в прошлый понедельник, dans le grand monde, у Краснорецкой; я ей родня, вы знаете, и даже не дальняя… Очень кстати так вышло, Двор был, Саша всю царскую фамилию видела, – лицо Марьи Яковлевны засияло удовольствием, – и все милы так с нею были, говорили, и даже один из князей танцевал с ней. Она, правду сказать, очень авантажна была в этот вечер…

Александра Павловна при этих словах чуть-чуть поморщилась и повела как бы с упреком глазами на мать.

– А уж только, признаюсь, ехать на этих железных дорогах смерть моя; не привыкну я к ним никогда! – продолжала она между тем. – Сережа сегодня дежурный, провожать нас не мог. Приехали мы с его человеком спозаранку, заняли вот эти места и надеялись, что нас не обеспокоят…

Поезд в эту минуту двинулся. Марья Яковлевна слегка привскочила, широко перекрестилась и проговорила:

– Фу, ты, Господи, каждый раз испугает!..

Ашанин воспользовался этим и пробрался в большое отделение, где ему заранее было занято артельщиком место.

V

Колпино, десять минут…

Поезд стоял у станции. Ашанин поспешил подняться и направился к выходу.

– Ну, слава Богу, хоть отдышаться можно будет! – говорила в то же время Марья Яковлевна Лукоянова, успевшая за это время возбудить к себе враждебное настроение со стороны всех своих спутниц громкими своими воздыханиями и жалобами на тесноту и духоту. – Выйдем, Саша, на воздух.

Ольга Елпидифоровна Ранцова, смертельно скучавшая одна в восьмиместном отделении, предоставленном ей любезностью monsieur Vaquier, стояла уже на своей площадке, глядя прищуренными глазами вперед, как бы выглядывая кого-то в толпе, выходившей из вагонов.

Она тотчас же узнала массивную, в тяжелой лисьей шубе московскую барыню, с трудом продиравшуюся в дверь насупротив ее. Марья Яковлевна, в свою очередь, живо обернулась к следовавшей за нею дочерью и шепнула ей: «Узнаешь, Саша?»

– Сходите осторожнее на платформу, maman, скользко! – громко ответила на это та.

– А вот Владимир Петрович поможет мне, любезный кавалер, – засмеялась громоздкая маменька, завидев приближавшегося к ним Ашанина.

Она сошла при его помощи и тут же остановилась и стала повествовать ему, как им дурно и тесно в вагоне, и едут с ними все какие-то провинциалки и «даже большие *мовешки»,* судя по их разговору: рассказывают, как они «кутили» в Петербурге, а одна так прямо говорит, что очень любит пить шампанское и «притти от него в то состояние, которое называется *bon courage…»* «И отродясь не слыхивала я подобного выражения, и что это за „bon courage“ такое, – восклицала сердито Марья Яковлевна, – сейчас видно, что ужасные mauvais genre. И так это неприятно, еду я с дочерью, молодою девушкой, и вдруг рисковать слышать такие разговоры! Не понимаю, как этакой всякий сброд пускают в первый класс!..»

Ашнин слушал эти речи со снисходительною улыбкой, и подымая от времени до времени украдкой глаза на Ольгу Елпидифоровну Ранцову, которая, в свою очередь, закусив нижнюю губу, внимательно прислушивалась к ним со своего места, как бы соображая что-то, и в то же время любопытно разглядывала стоявшую к ней боком безмолвную девушку, на чертах которой угадывала она неодобрение пылким откровенностям ее маменьки.

– Monsieur Ашанин, – внезапно сходя на платформу, громко произнесла она, – présentez moi à ces dames, je vous prie!

Он с некоторым изумлением, но, повинуясь, выговорил ее имя, имя дам, с которыми стоял…

Она не дала ему кончить и протянула руку еще более, чем он, изумленной московской барыне:

– Прошу у вас тысячу раз извинения за мою смелость, – торопливо заговорила она на французском языке, – но я невольно услышала то, что вы говорили monsieur Ашанину: вам неудобно в вашем вагоне, и притом неприятные спутницы… А у меня полвагона в моем распоряжении, и я совершенно одна. Позвольте предложить вам перейти ко мне, вы меня осчастливите, vous me rendrez tout-à-fait heureuse, madame! – с очаровательною улыбкой говорила г-жа Ранцова.

Это было так неожиданно, что Марья Яковлевна могла только пробормотать:

– Но как же это так… в чужой вагон!.. Мы вас все-таки стеснить можем…

– Vous me rendrez tout-à-fait heureuse, madame! – повторяла та умоляющим голосом.

– Но у нас там… вещи, – слабо возразила московская барыня: она, видимо, сдавалась на предложение.

Оно застигало ее врасплох. Во всяком другом случае она была бы, вероятно, менее сговорчива, не решилась бы так легко принять услугу от этой «дамочки», о которой слышала, как о большой кокетке, от которой все мужчины без ума и которая, «конечно, не совсем компания для ее Саши». Но здесь, на железной дороге, где приходится «душиться в скверном вагоне» и слушать рассказы о каком-то «bon courage», иметь возможность «протянуться на приволье»… И притом «cette madame Rantzoff все-таки bien élevée, видно, и такая хорошенькая, так любезно просит, и туалет на ней такой восхитительный, богатый и со вкусом»… «Да и *его*, как видно, нет на поезде», – молвила себе в заключение г-жа Лукоянова, обегая быстрым взглядом платформу, по которой с разрумянившимися лицами разгуливали пригреваемые солнцем пассажиры.

– Вещи ваши сейчас перенести можно! – суетливо говорила тем временем «хорошенькая madame Rantzoff». – Monsieur Ашанин, вы, кажется, в одном вагоне, распорядитесь скорее!..

– Саша может показать, – уже совсем томно улыбаясь, проговорила Марья Яковлевна, взглянув не совсем уверенно на все так же безмолвную дочь.

– Merci, madame, merci! – воскликнула Ольга Елпидифоровна, захватывая и горячо пожимая ее большие без перчаток руки. – Войдите ко мне скорей, вы увидите, как нам будет хорошо!..

Ашанин отправился вслед за девушкой в их вагон.

– Мне это совсем не нравится! – проговорила она вполголоса по пути.

Он не отвечал. «Это» далеко не нравилось и ему: он никак не рассчитывал на компанию там, в этом отдельном помещении, куда приглашала его при отъезде Ранцова…

– Скажите, что она, хорошая? – спросила его Александра Павловна, сходя с ним опять на платформу, пока кондуктор переносил указанные ею вещи в отделение Ранцовой. – Вы ее знаете?

– Я ее девять лет не видал, – отвечал Ашанин, – а была она… Как бы вам сказать?.. Попадешься ей на удочку, выдерешься не легко.

– Опасная? – выговорила девушка как бы с тревогой. Он посмотрел на нее.

– Как кому?.. А впрочем, все это далеко от меня, Александра Павловна! – произнес он вдруг со вздохом и принимая смиренный вид.

Она хотела что-то сказать, но в это время сама та, о которой они говорили, показалась в дверях своего вагона, в который она только что отвела Марью Яковлевну.

– Venez, ma charmante, venez! – говорила она, протягивая руку Александре Павловне и притягивая ее к себе на площадку. – Monsieur Ашанин, и вы также, не правда ли?..

Он поклонился и пошел за ними.

В отделении Ранцовой было и обширно, и тепло, и удобно. В углу стояла только что нагревшаяся чугунная печь. Огромная медвежья шкура на подбойке красного сукна расстилалась ковром пред диваном, на который хозяйка поспешила усадить своих новых

спутниц. На этом диване, на сетках для поклажи, уложены, раскиданы были коробки с конфетами, фруктами и всяким съестным снадобьем, будто в каюте какого-нибудь корабля, снаряженного в полярное плавание. Крошечный king-charles, свернувшись клубочком, спал в великолепном меху шубы Ольги Елпидифоровны из чернобурой лисицы, полуприкрытый развернутым, но еще не разрезанным томом французского романа. Запах одеколона и английских духов несся из раскрытого тут же nécessaire de voyage, с его сверкавшими в блеске дня хрустальными флаконами и серебряными принадлежностями.

– Как у вас здесь хорошо! – восклицала Марья Яковлевна, усаживаясь комфортабельно в угол вагона и расстегивая крючок шубы. – Вот так путешествовать я понимаю, с этим полным баловством себя, так сказать… Да у вас здесь целая кондитерская! – засмеялась она, озираясь кругом.

– Да, я должна признаться, меня вообще ужасно балуют! – засмеялась на это тоже хозяйка, подсовывая ей под голову подушку в синем грогреновом чехле и тут же с нежною улыбкой протягивая Александре Павловне коробочку с шоколадом от Балле.

– Да как же вас не баловать – merci mille fois, мне, право, совестно! – вы так милы! Вас, надо думать, с детства каждый почитал за удовольствие баловать, – молвила, совсем уже расчувствовавшись от расточаемой ей любезности, московская барыня.

– Ах, вот уж совсем нет! – закачала головой, все так же, однако, продолжая смеяться, Ранцова. – Молодость моя совсем не couleur de rose была! Вот monsieur Ашанин знает.

– А вы давно знакомы с Владимиром Петровичем? – поспешила спросить г-жа Лукоянова.

– Ах, ужасно, просто вспоминать стыдно!.. И не виделись мы с ним… Сколько лет, вы говорите?.. Une éternité enfin… Что же вы делаете, Владимир Петрович, расскажите, пожалуйста.

И она повернулась всем телом к Ашанину, усевшемуся подле них в кресле (Александра Павловна, сохраняя свое безмолвие, перешла к окну на противоположной разговаривавшим стороне вагона).

– А это я вам скажу, что он делает, – не дав ему времени ответить, заговорила окончательно расходившаяся Марья Яковлевна, – он все душу теперь спасает.

– Свою или чью-нибудь чужую? – блеснув весело глазами, спросила Ольга Елпидифоровна.

– Свою, свою собственную, неисчислимые грехи свои замаливает.

– То-то он мне при отъезде сейчас что-то из священного проговорил, кажется, я не поняла… Что вы мне отпустили? – говорите, только не по-славянски, а чтобы понять можно было!

Ашанин поднял глаза к потолку и проговорил, не шевельнув ни единым мускулом лица:

– Отнюдь не сиди с женою замужнею, чтобы не склонилась к ней душа твоя, и ты не поползнулся духом в погибель.

Обе дамы так и прыснули со смеху.

– И что же вы теперь по монастырям ездите, Богу молитесь? – спросила его опять молодая женщина.

– Молюсь, Ольга Елпидифоровна, – вздохнул он в ответ.

– На сцене больше не играете?

– Помилуйте, все тот же наш вечный jeune premier! – вскликнула московская барыня.

– И играете по-прежнему, значит, – продолжала трунить над ним Ранцова, – и сидите теперь у меня, у замужней женщины. Ведь это все по-вашему грех? Как же соглашаете вы это с вашею святостью?

Он вздохнул еще раз:

– Не согрешишь – не покаешься; не покаешься – не спасешься, Ольга Елпидифоровна.

Марья Яковлевна махнула рукой:

– Неисправим, хоть брось!..

Красивая петербургская барыня переменила разговор.

– Что, вы служите где-нибудь, Владимир Петрович?

– Служу где-то, да-с, но, право, весьма затруднился бы доложить вам, где именно.

Она пожала с улыбкой плечами:

– Это только от москвича услышать и можно! Никакого честолюбия, да?

Он беззаботно пожал плечами в свою очередь…

– Видели ли вы в Петербурге приятеля вашего бывшего, Гундурова? – обратилась она к нему еще с новым вопросом.

– Он и теперь мне приятель, только я его не видел, – отвечал Ашанин, – он очень занят, а я приезжал всего на два дня. Ведь он член комиссии по устройству крестьян.

Ольга Елпидифоровна сморщила как бы озабоченно брови.

– Д-да, – проговорила она несколько сквозь зубы, – и даже пользуется влиянием там…

– Вы его видаете? – с живостью спросил молодой человек, заинтересованный странным тоном ее слов.

– Нет: он, как вы сказали, очень занят… Et puis, – промолвила она как бы нехотя, – он в другом лагере… il est du parti rouge…

– А у, вас, значит, лагерь белого цвета? – спросил он невиннейшим тоном.

Она слегка прищурилась:

– Je déteste les démocrates! – произнесла она уже совершенной *грандамой.*

Марья Яковлевна покосилась на нее. «Частного пристава дочка!» – промелькнуло у нее в голове. Однако мнению, высказанному этой дочкой частного пристава, не могла она не выразить сочувствия и, слегка фыркнув большим, породистым носом, уронила свысока:

– Да, нечего сказать, наши московские, говорят, отличаются там!

Но разговор на эту тему тут же оборвался и перешел на московские сплетни, по части которых Марья Яковлевна оказалась докой, а г-жа Ранцова большою, по-видимому, охотницей. Она так и подбивала на них свою собеседницу расспросами своими и одобрительным смехом, а та все сильнее приходила в пафос, захлебывалась приливавшими ей к горлу излияниями по адресу ближнего.

– А что у вас княгиня Шастунова делает? – пожелала узнать между прочим красивая барыня. – Вы ее знаете?

– Аглаю-то? – воскликнула госпожа Лукоянова. – Кто ж ее в Москве не знает! А вот как вы – петербургская, как она *вам* известна?

– Мы с нею соседи по имению, – промолвила вскользь Ольга Елпидифоровна, – и сын ее часто бывает у меня в Петербурге.

– Молодчик, молодчик, – протянула московская маменька, – можно к чести сказать, сынок-то ее! Года нет как офицер, пятьдесят тысяч долгу заплатила она уже теперь за него… Все они, конечно, должают, офицерство-то это, но этакую сумму!.. Протрет он глаза ее миллионам, протрет!..

– А скажите, – спросила с лукавой усмешкой и нагибаясь к ней Ранцова, как бы для того, чтобы слова ее не дошли до Александры Павловны, сидевшей, впрочем, настолько далеко от них, что при шуме поезда не могла слышать и громкого их разговора, – что у нее все так же… как бишь его… господин Зяблин?

Марья Яковлевна так и заходила от удовольствия.

– То же, все то же! – замахала она и лицом, и руками. – Извелся уж весь, несчастный, точно моль его всего выела, а все по-прежнему около нее старается… Надеется и по сю пору, что она за него замуж выйдет… ездит он ко мне «душу отвести», говорит, плачется на нее: «В гроб, – говорит, – вгонит она меня глупостью своею и неблагодарностью!» – «А вы, – говорю ему, – перестаньте-ка благодетельствовать, батюшка; поглядите на себя, ведь чуть не на ладан уж дышите; вам бы куда-нибудь в монастырь, на покой… вот, как Владимир Петрович Ашанин, например, душу спасает, – кивнула развеселившаяся москвичка на чернокудрого красавца, безмолвно, но с видимым интересом и сочувствием внимавшего ее бойкой речи, – душу спасать, да, а не старух ублажать… А он нет – уповает все еще!»…

– Сугубо воздастся ему кара на том свете! – возгласил Ашанин, принимая комически жалобный вид.

– «Сугубо-то», батюшка, уж за что же? – возразила, смеясь, массивная дама.

– За храбрость превыше сил человеческих, Марья Яковлевна! Господь Бог этого не любит, – отвечал он, вознося очи горе.

Собеседницы его покатились еще раз…

VI

She loved me for the dangers I have passed,
And I loved her for she did pity them.

Shakespeare. Othello.

В этих приятных разговорах время шло незаметно. Поезд опять остановился; сиплый голос обер-кондуктора прохрипел опять:

– Тосна, десять минут!..

Ольга Елпидифоровна поднялась с места, подошла к окну, у которого сидела Александра Павловна, обернувшись к нему лицом, и взяла ее нежно за руку:

– Вы не очень скучаете, ma charmante?

Девушка не ответила, как бы не слышала. Она глядела сквозь двойные стекла этого окна какими-то словно привороженными, не отрывавшимися глазами:

Ранцова быстро кинула взглядом по направлению этих глаз и слегка переменилась в лице, но тотчас же совладала с собою.

– Ах, Боже мой, – воскликнула она совершенно естественно, – да это, кажется, Троекуров! Откуда он взялся! Я его не видала при отъезде.

Марья Яковлевна даже привскочила на своем диване:

– Троекуров! – словно выстрелила она.

И тут же прикусила себе язык, чтобы не выдать радости своей и смущения.

– Да, – подтвердила Ольга Елпидифоровна все тем же естественным тоном, – Борис Васильевич Троекуров…

– Mais vous le connaissez, madame, – как бы припомнила вдруг она, – в понедельник я имела удовольствие быть вашею соседкой в итальянской опере, и он еще от меня перешел к вам…

– Д-да, мы с ним несколько знакомы, – пробормотала московская маменька.

– Он с ружьем, верно, на охоте был где-нибудь в этих местах, а теперь едет… Неужели в Москву?.. Он вам ничего не говорил об этом? – обратилась к ней самым невинным образом петербургская барыня. И, не ожидая ответа, подбежала к ней *кошечкой* и залепетала вкрадчивым голосом:

– Знаете что, plus on est de fous, plus on rit, – если он едет с нашим поездом, пригласимте его сюда к нам!

– Помилуйте, вы здесь хозяйка, а я… я ничего не имею… – не договорила Марья Яковлевна.

Она никак еще сообразить была не в состоянии, что из этого могло выйти, но только смутно топырилась в душе и раскаивалась, что согласилась перейти из общего вагона к этой «Цирцее» (Марья Яковлевна в молодости воспитана была, само собою, на французских «классиках»).

А та, словно обрадованная пансионерка, вскинула на нее благодарным взглядом, проговорила: «Merci, madame, vous êtes adorable!» – и поспешила выйти из вагона.

Троекуров, в черной, мягкой дубленке и высоких сапогах, стоял в нескольких шагах от него и отдавал какие-то приказания своему слуге, грузину, в длинной черкеске, с буркой на плечах и

огромною папахой на голове, державшему ружье его в руках… Он только что различил лицо Александры Павловны за окном семейного отделения и растягивал слова свои не в меру, приостанавливаясь и повторяя те же фразы, чтоб иметь предлог оставаться подолее на этом месте. «Нужно было им брать особый вагон – в общем гораздо удобнее было бы подойти», – говорил он себе, глядя в то же время словно незрячими глазами на уныло, с выражением непроходимой скуки на лице, внимавшего ему грузина.

– Что же это такое?! – чуть не крикнул он.

Рядом с *ее* окном, выходя, очевидно, из *ее* двери, показалась женщина, с которою навсегда, думал он, покончены его счеты, которую надеялся он никогда более не встречать на своем пути. И вдруг она тут… и улыбается какою-то вызывающею улыбкой, и самоуверенно зовет его:

– Борис Васильич, вы были на охоте, да? И теперь едете? Куда, в Москву?

– В Москву, – машинально повторил он.

– Как я рада! Войдите скорей ко мне в вагон, vous y trouverez des connaissances.

«К *ней,* они у *нее*, как они попали сюда?» – со злостью спрашивал себя Троекуров, между тем как она, в свою очередь, говорила себе в это время: «Какую же комедию сострою я сейчас со всеми ими!»…

Но глаза ее в эту минуту встретились с зорко устремившимися на нее бледно-голубыми, как сталь холодными глазами этого человека, который еще три дня тому назад стоял коленопреклоненный перед нею, и она прочла в них что-то, от чего разом бессильно опустились ее дерзкие и лукавые глаза. Она поняла, что никакой «комедии» он не допустит, что она дорого бы заплатила за малейшую попытку прикоснуться к его чувству, – к его чувству «к *ней,* к этой кукле, которая тает там у окна, глядя на него»…

– Войдите, Борис Васильевич, – повторила она иным, чуть уже не робким голосом, – madame Loukoianof désire beaucoup vous voir.

Троекуров низко наклонил голову.

– Очень вам благодарен… Если только мой костюм…

– Помилуйте, с охоты и зимою! C’est tres élégant votre costume…

Они вошли в вагон.

Госпожа Лукоянова отвечала на поклон Троекурова смущенною, как бы виноватою улыбкой, при чем сочла нужным вскрикнуть, будто изумляясь: «Ах, вот уж не ожидала!» – но изумления не вышло… Она сама это почувствовала, покраснела и начала поспешно объяснять ему, будто извиняясь в чем-то, «каким чудом застает он их в ч*ужом* вагоне»; но, встретившись взглядом с уставившеюся вопросительно на нее хозяйкой этого вагона, тут же оборвала и усиленно закашляла… Троекуров повел чуть-чуть углами губ и перевел глаза на Александру Павловну. «Наконец-то!» – сказали ему поднявшиеся на него темные глаза ее в ответ на его молчаливое приветствие…

– Вы не знакомы, messieurs? – спрашивала его между тем Ранцова, указывая ему на Ашанина.

– Мы встречались в Москве, – сказал тот, вставая и подавая ему руку.

Все затем уселись, и разговор быстро завязался (поезд уже катил далее). Говорил, впрочем, почти один Троекуров, отвечая на расспросы дам об его охоте. Он убил накануне медведя. Рассказывая об этом, он оживился, увлекся; быстрая речь его лилась, полная образов, метких очерков местностей и лиц; за горячим охотником угадывался зоркий и тонкий наблюдатель… Марья Яковлевна слушала, воззрившись в него так, будто собиралась в рот ему вскочить. В выразительных чертах впечатлительного Ашанина отражалось сочувственное впечатление, производимое на него рассказчиком. Ольга Елпидифоровна, с загадочным выражением на лице, поводила глазами то на одного, то на другого, как бы сравнивая их и… и припоминая… Александра Павловна сидела по-прежнему несколько поодаль от других.

– Тебе не все слышно, Саша, – проговорила скороговоркой ее мать, – Борис Васильевич такое интересное рассказывает…

– Нет, maman, мне хорошо, – тихо ответила она на это, не поднимая ресниц и продолжая гладить обнаженною рукою волнистую шерсть собачки госпожи Ранцовой, которую взяла к себе на колени.

Марья Яковлевна обратилась к Троекурову:

– Какие это вы все мужчины бесстрашные, я всегда удивлялась… Скажите, вы, я думаю, отродясь и не знали, что такое бояться?

Он улыбнулся.

– Кто скажет вам, что никогда не испытывал страха, тот хвастун и даже очень мелкого сорта… А что до меня, так я должен вам признаться, что со мною был даже случай, когда я от *страха* лишился чувств, как самая слабонервная женщина.

– В сражении? – вскрикнула наивно московская барыня.

Александра Павловна мгновенно вскинула глаза на мать и вся зарделась.

– Не совсем… – возразил Троекуров с новою улыбкой…

Он вдруг примолк и слегка поморщился: он подумал, что все это не стоит, в сущности, рассказывать.

– Начали, так продолжайте! – молвила Ранцова. – А не то мы думать будем, что вы похвастались своих страхом.

Он холодно взглянул на нее.

– Нет, без хвастовства и преувеличения… Я вам расскажу, если это может вас интересовать.

– Ах, пожалуйста, я ужасно люблю страшные истории…

Он начал:

– Это было в экспедиции, в Дагестане. Я был в отряде с ротой. После утомительного перехода по горам мы спустились к вечеру в одно ущелье, где назначена была ночевка. Погода была сырая, туманная, все мы ужасно утомились. Мне разбили палатку, добыли сена. Я расстегнулся, упал на него и, прикрывшись буркой, заснул как убитый… На заре просыпаюсь я вдруг от какого-то странного ощущения: что-то будто щекотало мне под мышкою левой руки. Я

поднес к ней правую – и как-то инстинктивно откинул ее назад… Там, выше, на груди, под рубашкой, шевельнулось что-то… Я осторожно приподнял голову; не двигая телом, прижался подбородком к горлу и глянул сверху вниз: в разрезе рубахи быстро мелькнул узкий, зеленоватый хвост…

– Змея? Какие ужасы! – визгнула Марья Яковлевна, поднося обе руки к лицу.

– Медянка, – продолжал, кивнув утвердительно, Троекуров, – они действительно цвета vert antique; в тех местностях их много – небольшие, но укушение их почти всегда смертельно. У меня в этой же экспедиции умерли от этого двое солдат моей роты, и в страшных мучениях… Она очень любит тепло и, забравшись в палатку, не нашла ничего лучшего, как пригреться у меня за пазухой… Я обмер… Это слизистое, ползущее по тебе тело… трудно передать, какое это отвратительное ощущение… Всего меня внутренно поводило… А делать было нечего, змея каждую минуту могла раздражиться и укусить. Оставалось лежать по возможности недвижно – и ждать: авось либо вздумается ей самой уйти, как пришла, не причинив мне вреда…

– Не томите, батюшка! – воскликнула, перебивая его, Марья Яковлевна. – Что же, сама вылезла?

– Нет. Я был спасен… Пока я лежал в этом беспомощном состоянии, в лагере пробили зорю, и мой фельдфебель вошел в палатку за приказаниями. Видя, что я лежу безмолвен, он подумал, что я сплю, и громко окликнул меня. Я не ответил. Он подошел ближе. «Выше высокоблагородие!» Я потихоньку приподнял правую руку и указал ему пальцем на место, где уложилась змея. Он высоко приподнял брови, нагнулся надо мною и вдруг кинулся вон из палатки. Через несколько минут она наполнилась народом. Сбежались офицеры, солдаты; окружили меня… Медянка, как бы почуяв опасность, зашевелилась снова; по моей коже опять заскользили ее холодные извивы… Некрасиво, должно быть, было выражение моего лица, судя по тому, что читал я сам на лицах присутствующих. Все они были бледны и молчаливы, будто приговоренные к смерти… Только вот из толпы солдат отделяется один, протискивается вперед, мимо моих офщеров, и ко мне. Скулатый, низколобый, маленькие, живые татарские глаза, – я его знал, звали его Скоробогатовым. Подошел: «Ваше высокоблагородие, – говорит мне шепотом, – позвольте, я ее вытащу». Я повел на него глазами. Человек рискует для меня жизнью и рискует бесполезно: змея могла при этом точно так же ужалить меня, как и его. Я хотел заговорить, сказать: «Оставь!» Но язык уже не повиновался мне… Он тихо опустился на колени, засучив по локоть рукав, перекрестился… «Платком оберни, платком!» – услыхал я чей-то сдавленный голос. «Ловчай так будет!» И с этим словом он запустил мне разом руку в разрез рубахи… Я судорожно прижмурил глаза… и тут же широко раскрыл их. Надо мною быстро, как молния, пронеслась красная жилистая рука с чем-то мотавшимся на ней, зеленым, длинным и узким, как лента… Все разом крикнуло кругом: «Не тронула?» – «Цел». – А ротный?.. Кинулись ко мне: «Борис Васильич!..» Но я уже лежал в глубоком обмороке, каюсь, – закончил, усмехаясь Трооkуров, – нервы не выдержали!..

– Еще бы! Господи!.. – И Марья Яковлевна звонко вздохнула и перекрестилась.

– Ужас! – проговорила вдруг Ранцова.

– А что этот солдат, – спросила Александра Павловна, все время бледная и не переводя дыхания слушавшая рассказ Троекурова, – жив он еще?

Троекуров обернулся на нее с блеснувшим как бы благодарностью взглядом:

– Вообразите, в тот же день натолкнулись мы на довольно сильную партию чеченцев. Дело

вышло довольно жаркое. Потеряли мы тут человек сорок. Одним из первых повалился Скоробогатов…

– Убит! – вскрикнула девушка!

– Нет, к счастию, выходился; месяца однако четыре промаялся в госпитале. Я выхлопотал ему чистую отставку тогда…

– И воображаю, что денег дали ему при этом, avec votre générosité ordinaire! – сказала Ольга Елпидифоровна.

Александра Павловна и Троекуров обменялись мгновенным взглядом: их обоих внутренно как бы передернуло от этих слов.

– Где он теперь? Вы имеете о нем известия? – спросила она.

– Да. Он грамотный, изредка пишет ко мне… Живет на родине, в Казанской губернии, но жалуется на скуку. Он вдов и бездетен – понятно… Вот поселюсь в деревне, выпишу его к себе.

– А вы думаете? – Марья Яковлевна так и впилась в него глазами. – И как славно, Борис Васильич!

– Да, – сказал он, с мгновенно осветившею все лицо его улыбкой, – время теперь настает такое…

– Хорошее! – досказал сочувственным голосом Ашанин.

Троекуров кивнул головой:

– Хорошее, действительно, – повторил он как бы про себя, – для того, кто старое видел, в особенности.

– Ну, батюшка, – возгласила г-жа Лукоянова, – нечего Бога гневить, и старое-то не дурно было!

Но слова эти, видимо для нее, ни в ком не возбудили отзвука. Она переменила разговор.

VII

O, learn to read what silent love hath writ.

Shakespeare Sonnets.

Время бежало. Недолгий свет февральскаго солнца догорал в розовых отливах на безбрежной снеговой глади. Углы вагона уже тонули во мраке… Марья Яковлевна заговорила об обеде.

Обедали в Вишере, за особо сервированным столом (о чем молодые люди, по мысли Ашанина, телеграфировали за час до прибытия на место). В холодильнике стояла приготовленная бутылка шампанского. Ашанин разлил его по рюмкам дам.

– Как живо мне помнится, как я наливал вам так в последний раз, – прошептал он чуть слышно сидевшей подле него Ольге Елпидифоровне, между тем как Марья Яковлевна относилась с каким-то вопросом к помещавшемуся между ею и дочерью Троекурову.

Красивая барыня слегка зарумянилась, затем прищурилась и улыбнулась:

– Вы в ту пору, – сказала она, внимательно взглянув на него, – в святость еще, кажется, не вдались? Скажите, пожалуйста, с чего вы это вздумали? Совесть очень уже замучила, верно?

– Воспоминания, Ольга Елпидифоровна, – проговорил он знакомым ей комически смиренным тоном, который так и обдал ее еще раз воспоминанием их первых встреч.

– Да разве вы способны помнить? – засмеялась она.

Он вздохнул и, опустив глаза в свою тарелку, произнес вполголоса:

– *Вода многа не может угасить любве, и реки не потопят ея.*

– Что это – опять текст, – спросила она, – или собственного сочинения?

– Сочинения некоего премудрого царя, певца и великого сердцеведца, а звали его Соломоном, Ольга Елпидифоровна; это из его *Песни Песней.*

– И вы проповедуете мне это для чего теперь? – быстро промолвила она.

Он поднял так же быстро голову и ожег ее своими огненными глазами, между тем как голос его звучал на тех же низких бархатных нотах:

– Вы так умны были всегда, Ольга Елпидифоровна… разве изменились в Петербурге?..

Она вскинула головой:

– Вы все тот же, решительно! – сказала она громко.

Марья Яковлевна обернулась к ней смеющимся лицом:

– Я вам говорила: неисправим!.. Что он вам рассказывал, не про свою ли цыганку? – спросила она тихо, наклонясь к ней и подмигивая на Ашанина.

– A-a! – воскликнула Ранцова. – La belle du moment?..

Она повела на него загадочными глазами и перевела их на Троекурова.

Он доедал молча свое жаркое и, видимо, не обращал на них никакого внимания. Сидевшая подле него Александра Павловна не ела и тоже молчала.

Ольга Елпидифоровна чуть-чуть сморщила брови и улыбнулась пренебрежительною улыбкой…

Она понимала: он был «отрезанный ломоть и навсегда»… Она и не жалела о нем. Да любила ли она его когда-нибудь?.. Нет, она завладела им в этот раз, после его «кавказских удач», потому, что «все *оне* из *гран-жанра* кинулись на него», и ей не хотелось, чтоб «он им достался». Но он был «не ее поля ягода»; он действительно «аристократическая натура», не умеющая беззаветно отдаваться, – не умевшая отдаться ей по крайней мере… Она вечно чувствовала судью в этом страстном любовнике, он не понимал… «Да и кто из них понимал! – тоскливо проносилось в мысли красивой барыни. – Они все мелки, так жалки, точно в шорах ходят, как старые объезженные лошади. Они годами иногда добиваются любви женщины и – презирают ее, едва достигши своей цели… Он не такой, этот Троекуров, он каким-то лордом смотрит; но он все-таки узкий и гадливый барич, более ничего! Он не допускает в душе – я это всегда понимала – чтобы страсть, желание, минутный каприз, как и жажда „положения“, роскоши, влияния, власти, чтобы все это было так же законно в женщине, как и у них самих, и чтобы так

же законно было для нее искать всему этому удовлетворения. У него, как и у всех остальных, для женщины только два оборота медали: или кормилица и няня, или лоретка. Тошно становится, когда только подумаешь!.. Один вот этот московский коптитель неба, – и темные глаза Ольги Елпидифоровны еще раз на миг остановились на Ашанине, – один он умеет любить без оглядки и думанья, любить – как поют птицы, как цветут цветы… И одного этого au fond, – сказалось ей после минутного размышления, – одного этого… первого, и любила я в жизни»…

– Звонят! – громко проговорила она тут же, спешно подымаясь со стула. – Пойдемте!..

Вагон нашли они уже освещенным. Толстая свеча горела в фонаре, полузадернутом синею тканью. Колеблемый воздухом неяркий свет ее длинною и узкою полоской едва добегал до противоположной стенки, таинственно и мягко играя на лоснящемся меху шубы Ольги Елпидифоровны, на желтой обертке кинутой на него книги; все остальное пространство тонуло в голубоватых, сгущавшихся в углах тенях…

– Как темно! – воскликнула, входя, Ранцова. – У меня, впрочем, есть свечи и все, что нужно; можно сейчас зажечь…

– И стол тут… Можно было бы составить цартию, – слабо примолвила к этому Марья Яковлевна.

Никто не отозвался на ее предложение, да и сама она не настаивала на нем: ее клонило ко сну. Она уселась на прежнее свое место, в углу дивана, и тут же задремала… Ольга Елпидифоровна, со своей стороны, не возобновила разговора о свечах…

Она поместилась на краю того же дивана. На складном табурете, прямо против нее, у стола, на котором помещался ее несессер, сел Ашанин, спиной к Александре Павловне и Троекурову, занявшим рядом места на противоположной стороне вагона. «Этак мы друг другу мешать не будем», – решил он в своей сообразительной голове. Он имел особенный дар все замечать и все угадывать, а с Лукояновыми к тому же был довольно близок: одного выражения глаз молчаливой «Сашеньки» в ту минуту, когда вошел в вагон «этот белокурый Амма-лат-бек», достаточно было ему, чтобы проникнуть в их тайну…

А они, очутившись теперь рядом, вдвоем в этой таинственной полутьме вагона, довольно долго оставались безмолвными. Какое-то блаженное, томительное и робкое чувство оковывало «Сашеньку»; ему все еще было не по себе: ему противна была мысль, что первый случай говорить с нею на свободе доставляется ему этою, в двух шагах сидевшею от них женщиной, ее как-будто содействием и как бы под ее покровительством. Не при таких условиях должно было в его мечтаньи произойти их первое объяснение.

– Извините меня за нескромный вопрос, Александра Павловна, – начал он под этим впечатлением, – каким образом очутились вы здесь, в этом вагоне?

– Это не хорошо, не правда ли? – мгновенно вскликнула она на это, обернув к нему с выражением тревоги свое невинно строгое лицо.

– Я этого но говорю, – уклончиво ответил он, – но мне несколько странно. Как это произошло, можете мне сказать?

Она передала ему. Он слушал как можно спокойнее, стараясь не выдать ни малейшим движением в чертах оттенков тех впечатлений, которые пробегали у него в мысли в это время.

– Это ничего, что maman согласилась перейти к ней, как вы думаете? – повторила она свой

тревожный вопрос.

Он несколько замедлил ответом:

– Ей было скучно одной в своем вагоне, матушке вашей неудобно в своем; они оказали друг другу взаимное одолжение… Это ни к чему дальнейшему не обязывает, – добавил он к этому с ударением.

Девушка замолчала, а чрез миг подняла опять свои большие глаза на Троекурова.

– Скажите, правда, что она… такая опасная? – прошептала она, слегка заикаясь.

– Чем это? – возразил он с усмешкой. – Кусается, вы думаете?

– Она очень хороша, не правда ли? – объяснила чрез миг Александра Павловна.

– И смела очень, – проговорил он сквозь зубы.

– Вот видите!..

– Что? – тихо выговорил он на это вырвавшееся у нее восклицание и пристально глянул на нее.

Она не отвечала, схватила лежавшую подле нее муфту и, торопливо вложив в нее обе руки, приникла к ней своим пылающим лицом.

– Александра Павловна, – после довольно долгого молчания, начал опять Троекуров, стараясь скрыть под тою же спокойною улыбкой внутреннее волнение, над которым чувствовал он уже себя не властным, – заметили вы, что между нами все как будто уже сказано и ничего не говорено между тем? Так сложились наши отношения, и в этом есть – для меня по крайней мере – большая прелесть… Но без слов все-таки не обойдемся…

Она поспешно высвободила свою руку из муфты и чуть-чуть притронулась ею к его руке:

– Зачем, прошу вас, не говорите! – прошептала она каким-то не то испуганным, не то умоляющим голосом – Это портит!..

Он понял: всякое слово, как бы сердечно ни вылилось оно из его груди, отозвалось бы резким звуком в этой чистой молодой душе, «испортило» бы действительно ту прелесть захватывающего, сосредоточенного чувства, которым исполнена была она… Он примолк и только поймал коснувшиеся его пальцы и пожал их мгновенным, нежным пожатием.

– А поблагодарить вас все-таки мне надо, – заговорил он чрез несколько времени, принимая шутливый тон, – хотя бы из простой учтивости…

– За что благодарить? – спросила с изумлением она.

– За давнишнее, Александра Павловна…

– За что?

Голос его дрогнул слегка, отвечая:

– Когда я, раненый и забытый, лежал там, в дикой трущобе, кто-то в Москве ходил каждый день ставить за меня свечу у Спасителя…

– Ах, Боже мой, – вскрикнула девушка, вся застыдясь, – это все Женни! Она как-то узнала и написала вам… Зачем это… точно я напрашивалась?..

– А я, – возразил на это Троекуров, – я не знаю, чем готов бы я был воздать ей за то письмо… Оно спасло меня от отчаяния – от смерти, может быть.

Александра Павловна вскинула на него вопрошающие глаза и остановила их на нем.

– Рана моя была далеко не смертельна, – продолжал он, поясняя свои слова, – но я… самому-то мне жить не хотелось… Бывают в жизни такие времена… Рассказывать об этом трудно…

– Говорите, я пойму, – тихо сказала она…

Глаза ее заискрились:

– Да, вы поймете! Знаете, это… вот это самое, – сказал я себе тогда, получив письмо Женни… Мне было скверно тогда, я почитал себя и жизнь свою безвозвратно растраченными… Молодость моя прошла безобразно…

Он приостановился на миг и продолжал, увлекаясь сам не зная как, на исповедь, на душевные излияния, далеко не входившие в обычай его сдержанной натуры:

– В самый разгар ее, меня, к счастию, сослали в армию…

– Вы дрались на дуэли, я знаю, – перебила девушка, – за что?

Его как бы озадачил этот вопрос в первую минуту. Он не отвечал, поглядел на нее только молча и смущенно.

– Безумие! – проронил он наконец, нервным движением проводя себе рукой по лицу. – Меня сослали, – поспешно заговорил он снова, – теперь я за это очень благодарен судьбе, но тогда, в первое время, я озлобился… Тут началась война, повели нас под Севастополь… Потом я перешел на Кавказ. Я жил там одинок, уйдя в себя, в свой внутренний, невеселый мир… Я выписывал много книг: с моим пажеским воспитанием мне многому приходилось учиться… Дело мое опостылело мне давно, с Севастополя, но я не приготовлен был ни к какому другому. А между тем и до моей трущобы долетали вести о том, что начиналось с новым царствованием. Небывалое что-то… новое… Издали рисуется это еще более заманчиво… Я говорил себе, что пришло время, когда людям кроме ремесла предстанет еще что-то более важное, что они перестануть быть только солдатами или чиновниками, а станут… (Троекуров слегка заикнулся, как бы боясь употребить слишком притязательное выражение, а станут прежде всего *гражданами,* – произнес он будто вскользь, безсознательно взглянув на девушку вопросительными глазами.

Она тихо кивнула головой, как бы говоря ему: «Я поняла, продолжайте!»

Он продолжал:

– Что, однако, как, какой смысл могло это иметь для меня, чем я со своей стороны мог служить *этому?* Меня по целым дням мучили эти вопросы. Я приходил всегда к заключениям самым безотрадным. Положим, в этом общем движении найдется место и для меня. Но к чему, для кого? Меня так и придавливала эта мысль тогда… Я был один на свете; матери я лишился ребенком, ни одного *нежного* воспоминания не вынес я из моего прошедшего; подле меня, за мною не стояло ни одной, что говорится, «родной души»…

Троекуров оборвал вдруг и усмехнулся опять:

– Я знал в Петербурге одного очень умного и несчастного человека. Болезнь отымала у него постепенно ноги, руки, зрение, вкус. А он все продолжал страстно желать жить: «из любопытства», говорил он… Признаюсь, я никогда этого не понимал… Я уж сказал вам, что рана моя была не важная, да не поправлялся я никак. Старый мой баталионный лекарь даже ругался с досады. «Вы бы у барабанщика Фирсова призаняли на двугривенный жизненной силы, а то вас всякая курица осрамит»… И вот в это время пишет мне Женни… Меня сразу всего будто подняло и понесло. Через две недели я был на ногах. Все стало для меня вдруг ясным, простым, достижимым… Куда бы я ни пошел теперь (знаете, что это так сразу, бесповоротно, и сказалось мне тогда!), есть существо, которое пойдет за мною!..

– Куда хотите! – быстро и твердо проговорила Сашенька, вся загоревшись опять.

Какие-то лучезарные круги завертелись у него под глазами…

– Вот видите, Александра Павловна, – вскликнул он в неудержимом порыве, завладевая еще раз ее рукою, – вот с этим чистым, бескорыстным женским чувством я до сих пор не встречался еще в жизни!

Она не отвечала, только пальцы ее мгновенно дрогнули и захолодели в его руке.

– Вы, стало быть, в Петербурге бываете? – говорила в то же время Ольга Елпидифоровна Ранцова Ашанину. – А мне в продолжение девяти лет не подумали ни разу хоть карточку забросить!

– У меня и карточек нет вовсе, – отвечал он, – я езжу только туда, где, я знаю, меня наверное примут. А ехать к вам, в моем понятии, значило только для карточки.

– Это почему так? – воскликнула она.

Он взглянул на нее своими лукаво-невинными глазами:

– Вы меня так жестокосердно изгнали от лицезрения вашего в последнюю встречу нашу[5]…

Она сжала брови, стараясь припомнить, и расхохоталась, вспомнив:

– Как вы, однако, памятливы, в самом деле!.. А знаете, что если бы вы тогда не ушли… – вырвалось у нее вдруг и не договорилось. – Нет, – прервала она себя с новым смехом, – я вам не скажу, вы и так достаточно балованы… Шутки в сторону, вы напрасно не бываете у меня в Петербурге, я могла бы быть вам полезна. Ведь вы ничего не делаете в Москве?

– Живу, – улыбнулся Ашанин.

– То есть грешите, замаливаете по *Песни Песней царя Соломона* и принимаетесь опять грешить. Это прелестно, конечно, и очень как-то идет к вам. Но мне кажется, что это нисколько не должно бы вам мешать делать, как все, подумать о вашей карьере, о будущем…

– Помилуйте, какая же карьера! – засмеялся он. – Я так отстал в чинах от моих сверстников…

– Это ничего не значит, – прервала его красивая барыня, – я скажу Прыткову, – он мне не смеет ни в чем отказать, – он вас определит в один из своих комитетов…

– Впрячься в ярмо, в канцелярию ходить!

Московский «коптитель неба» даже руками замахал.

– Какой вздор! То же будете делать, что теперь; можете даже по-прежнему в Москве жить, если это вам не наскучило, а чины будут вам идти каждые два года, а потом, когда вы будете статский советник, мы вас губернатором сделаем.

– Что вы, Ольга Елпидифоровна, какой я губернатор!

– Это вы рассуждаете так потому, что засели в вашей старой дуре, Белокаменной. Вы все еще там по-старому смотрите и судите… А я живу в центре движения, comme on dit, ko мне ездят все, кто теперь всю эту машину нашу ведет… Ведь это все совсем другое теперь, Владимир Петрович! Прежде все это было туго – рутина, правила; нужна была «опытность», как они говорили, долгая служба, на больших местах стояло одно старье… Ну и увидели наконец, к чему это старье привело нас; – Севастополь и прочее… Теперь пошли молодые в ход; кто только смел и понимает, как и чрез кого… Теперь, Владимир Петрович, – воскликнула с каким-то внезапным увлечением, вся даже выпрямившись, Ольга Елпидифоровна, – теперь все, все можно, только ловким надо быть!

Ашанин наклонился к ней, как бы с тем, чтобы ближе следить за игрой ее лица.

– А вы, – не то насмешливо, не то укорительно промолвил он, – вы и действительно, как говорят про вас, превратились в «политическую женщину»?

Ольга Елпидифоровна поглядела на него с довольным видом:

– Вы это про меня слышали?.. «Femme politique», да?.. Это не совсем так, хотя я знаю, что в Михайловском дворце про меня сказано было: «la madame Roland du parti perruque». Это моих бедных генерал-адъютантов называют «париками», – расхохоталась вдруг «femme politique» своим прежним, беззаветным, девическим смехом, от которого сладостно повело все существо московского Дон-Жуана, – там ведь главное гнездо du parti liberal, а у меня, напротив, большинство из ancien regime. Они у меня сиднем сидят все, и я чрез них могу все обделать. Их кислые grandes dames жены бесятся на меня за это и делают мне всякие авании, – mais je m’en fiche!

– И весело вам с этим вашим «ancien regime»? – спросил Ашанин, все неотступнее глядя на нее своими страстно разгоравшимися глазами.

– У меня и молодых неотолченая труба, – вы видели, сколько приехало их меня проводить… Я совсем нечаянно собралась, а они узнали; вчера еще утром не знала, что поеду, а вечером получила телеграмму от отца, – ведь вы его знаете? – он заболел очень, испугал меня…

Она все время видимо избегала этих пожиравших ее глаз Ашанина и вдруг, как бы уже невластная пред ними, уронила сложенные руки на колени и взглянула ему прямо в лицо:

– Вы меня спрашиваете, весело ли мне?.. Нет, скажу вам прямо. Ни со старыми, ни с молодыми!.. Скажите, отчего это они все такие?.. Разные ведь они у меня: есть умные, злые, сентиментальные, – старички все больше сентиментальны, ужасно любят становиться на колени и все просят поцеловать le bout de ma pantoufle, – только все они какие-то… точно из кислого теста сделаны. Flasques et mous comme des outres vides, говорит про них Непир. Англичанин этот – злючка и терпеть нас не может, а это он верно заметил… С ними все можно сделать, и ни на кого из них в то же время положиться нельзя. И сами они меньше всего на себя надеются… Я с ними вечно бранюсь за это… Они, например, ужасно теперь боятся и бранят этих либералов, «les rouges», и я сама их терпеть не могу; я читаю иногда *Колокол* и то,

что у нас пишут, и очень хорошо понимаю, чего хотят tous ces va-nu-pieds. Но мои «парички» так запутаны и Герценом, и этими семинаристами, что только руками машут и вздыхают: «C'est le commencement de la fin…» А впрочем, они все премилые, ужасно балуют меня, и я не хочу говорить про них дурно! – неожиданно заключила, рассмеявшись, Ольга Елпидифоровна.

– Что все они вас «балуют» и рвутся облобызать кончик вашей туфли, совершенно понятно, – проговорил Ашанин, – но… сами вы?..

– Он все про свое! – прервала его она с новым смехом. – Я вам сейчас целую лекцию прочла – говоря по-газетному – «о современном состоянии высшего русского общества», а вы… Вас ничего в мире, видно, не интересует, кроме все одного и того же…

– Истинную правду изволили сказать, – смиренно вздохнул он в ответ, – потому что это *мое* одно неизменно, как самый мир; все же остальное – преходяще как ветер, как тучи в небе…

Он остановился и замолк.

– У вас одно несомненное качество, – медленно начала она, – вы горите, как солома или смола, не долее их, но за то и *весь* как они: *Подтопок* не нужно вам: кинута спичка, вы вспыхнули и горите до конца, без остатка. Ни расчета при этом, ни тщеславия, ни задней мысли; горничная или царица – все равно, лишь бы женщина, способная делать ваш этот пожар, а затем ни суда над ней, ни злобы, ни упрека… Зато уже ни сожаления, ни воспоминания по большей части… Так это?

– Почти так, – улыбнулся он, – но не всегда… Вас я никогда забыть не мог!..

– Будто?.. Может быть, потому, что мы так мало…

– Я вам скажу откровенно, – молвил Ашанин, – вы мне сказали однажды *тогда:* «Я не из тех, кого кидают, я кину первая…» И вы действительно первая кинули меня, чего со мною в жизни не бывало. И я поэтому ни одной женщины так не любил, как вас!..

– Как это на вас похоже! – промолвила, покачивая головой, Ранцова, кинув украдкой взгляд в сторону г-жи Лукояновой.

Но Марья Яковлевна, уткнувшись большою головой своею в подсунутую ей хозяйкой вагона подушку, сладостно похрапывала под гулкий стук мчавшегося вперед поезда…

Молодая женщина почувствовала в то же время на своих коленях горячую руку московского Дон-Жуана, ухватившую и страстно сжимавшую ее пальцы.

– Ведь я «кину»… как и тогда! – прошептала она не сейчас, в ответ на это немое моление…

– Что же!.. Вы когда-то пели: «Один лишь миг!..» – таким же шепотом, под самым ее ухом проговорил он. Губы его скользнули по ее разгоревшейся щеке…

Она испуганно оттолкнула его дрожавшею как в лихорадке рукой:

– Что вы, Бога ради, здесь!..

Марья Яковлевна продолжала все так же мирно почивать. Троекуров и Александра Павловна забывали весь мир, сидя друг подле друга… А железное чудище, пыхтя, с хвостом огненных брызг и черного дыма за собою, мчало, не уставая, длинный поезд по бесконечной снеговой

равнине, и медный месяц, скользя промеж опаловых тучек, равнодушно глядел на него, на землю с высоты холодного темно-синего неба…

VIII

Что нового покажет мне Москва?

Горе от ума.

Moi renoncer au monde avant que de vieillir
Et dans vôtre désert aller m’ensevelir!

Molière. Le misanthrope.

В одиннадцатом часу утра поезд, пронзительно свистя выпускаемыми парами, медленно подкатывал к московской станции.

Троекуров и Ашанин, простившиеся со своими спутницами в Бологове и ушедшие от них спать в первый класс, стояли теперь у полураскрытой двери своего вагона, готовясь выскочить первыми высаживать дам из их отделения. Платформа дебаркадера уже плыла им навстречу со своею обычною, разновидною толпой оживленных радостью или тревогой ожидания лиц: румяные бабы с грудными ребятами, синие длиннополки в картузах, лакеи в ливреях, востроглазые барыни, толстопузые купцы и чиновные господа, в тех пышных шубах, которыми искони любила щеголять Москва…

– Проходите, проходите! – проговорил вдруг поспешно Ашанин в минуту, когда, судорожно встряхнув в последний раз всем своим железным многочленным остовом, замер, останавливаясь, поезд у станции. И он, быстро подавшись телом назад, пропустил своего спутника в дверь.

На платформе, в двух шагах от них, в форменной фуражке, установленной для придворного ведомства, с кокардой на бархатном околыше и в старой серого сукна шинели с бобровым воротником, видимо, переделанной из военной, стоял муж его красавицы, бывший капитан, ныне камер-юнкер и коллежский советник Никанор Ильич Ранцов. Дон-Жуан немедленно сообразил, что кидаться этому мужу с первого раза на глаза было по меньшей мере бесполезно.

Но тот едва ли бы увидел, едва ли бы был в состоянии заметить его. Ашанин, отошедший к окну, норовя теперь выйти из вагона последним, видел, как под щетинистыми усами этого человека задрожали губы, как судорожно замигали готовые заплакать от счастия глаза его, принимая на руки сходившую с площадки вагона жену.

– Оленька! – был он только в силах произнести.

– Как это вы здесь? – вскликнула она на это, сжав брови и торопливо подставляя щеку под неизбежный для нее поцелуй его тянувшихся к ней губ.

– Узнал в деревне про батюшкину болезнь, вчера приехал. Он мне сказал, что ты сегодня будешь… Ему лучше, ждет тебя не дождется… едем, мой друг, у меня и карета, и сани, как пожелаешь, потому погода чудесная. Где твой багажный билет?

– У моей Амалии.

– Ну, и прекрасно, она и поедет с вещами во втором экипаже, – суетился заботливый муж.

– Погодите! – нетерпеливо прервала его она. – Я тут с дамами…

Она обернулась к вышедшим перед нею из вагона Лукояновым.

– Тут, должно быть, мой выездной с каретой, – говорила Марья Яковлевна, прищуренно глядя на проходившую мимо их густую толпу, – я пред отъездом приказ отдала…

Ольга Елпидифоровна быстро обратилась к мужу:

– Ступайте, отыщите скорее человека madame Loukoianoff!.. Mon mari! – проговорила она, не видя возможности не представить его, и тут же:

– Скорее, mon eher, скорее! – поспешно повторила она.

Ранцов несколько заметался, торопясь и поклониться дамам, и пожать руку, которую протягивал к нему стоявший у вагона Троекуров, и исполнить скорее владычную волю супруги, но успел совершить все это без особенной неловкости и помчался отыскивать лукояновского выездного.

Марья Яковлевна громко заголосила, пожимая в своих больших руках руки молодой женщины:

– Мне просто совестно; вы уж такие любезные, такие внимательные, что я не знаю, как и благодарить вас! Надеюсь, что мы еще увидимся? Вы долго думаете в Москве пробыть?..

– Несколько дней, я думаю…

– Так сделайте милость, не забудьте меня!.. На Арбате, собственный дом, все извозчики знают. Только, пожалуйста, уж без визитов, а просто откушать, чем Бог послал, или вечерком… Да вот, без церемонии, сегодня же, например, день мой – пятница; я так нарочно и пригнала выехать из вашего Петербурга, чтобы к этому дню дома быть, у себя. Так вот и прекрасно, приезжайте, моя милая, вечерком!.. И je vous prie, без лишних éléganees, а то пред вами другим слишком совестно будет! И пораньше, je vous prie, у меня не полуночничают, как у вас в Петербурге, – говорила Марья Яковлевна, уже несколько свысока, чувствуя себя опять на родной, московской почве и рассудив притом, по впечатлению, какое произвела на нее наружность мужа этой красавицы, что он действительно, как слышала она о нем, «du prostoï» и «не важная птица, несмотря на свой придворный мундир».

– Я, право, не знаю, как расположу мой день, – небрежно ответила на это по-французски Ольга Елпидифоровна, тотчас же заметившая этот оттенок в обращении и принимая свой air de grande dame, – не знаю, впрочем… не обещаюсь, но может быть, заеду, – словно уронила она с губ.

Московская барыня тотчас же почуяла, в свою очередь, эту перемену тона и, поведя украдкой взглядом на безмолвно внимавшего их разговору Троекурова (она робела пред ним теперь), заегозила с новою любезностью:

– Нет уж, пожалуйста, не обижайте меня, обещайтесь!.. Вот и monsieur Троекуров сделает мне, надеюсь, удовольствие… Вы будете, monsieur Троекуров? (Он поклонился в знак согласия). И Владимир Петрович тоже, – кивнула она на подходившего к ним наконец Ашанина – он уж всегда, хоть к ужину, да подъедет…

Московский Дон-Жуан поднял глаза на молодую женщину; она чуть-чуть усмехнулась…

Ранцов бежал назад в сопровождении седого и красноносого ливрейного лакея, в шляпе с потертым серебряным галуном, мрачно надвинутой на самые брови.

– Где это ты, батюшка, полз? – обратилась к нему барыня. – Никогда тебя нет, где нужно!..

– Где? – пробурчал на это слуга. – Известно, с каретой ехал.

– А по дороге во царев кабак заезжал?..

– Едем, maman, пора! – поспешила прервать Александра Павловна эти интимные объяснения.

– Едем, мой друг!.. Так до свидания, chère madame Ranzoff, не правда ли? А теперь позвольте вас поцеловать и поблагодарить еще раз за себя и за Сашу…

Она двинулась наконец, прошла несколько шагов – и вдруг вспомнила, что забыла первый долг учтивости: поблагодарить того, кто бегал за ее красноносым служителем. Она обернулась, отыскивая глазами Ранцова, но он уже исчез с женою.

Троекуров усадил мать и дочь в их большую, четверкой с форейтором карету, которую приехавшая с ними горничная успела уже набить доверху всякими картонками, шкатулками и узлами, получил от Марьи Яковлевны повторительное приглашение быть у нее непременно вечером, простился с ними и, перейдя на другую сторону двора станции, готовился сесть на извозчика, когда увидал опрометью бегущего к нему Ашанина.

– Вы где думаете остановиться? – торопливо спрашивал он.

– У Шеврие.

– А багаж ваш где?

– Человек мой привезет, он знает.

– Так возьмите меня с собой – я в двух шагах там живу.

– Сделайте одолжение! – сказал кавказец, прижимаясь к краю саней, чтобы дать ему место.

Ашанин проворно вскочил к нему о-бок:

– За вашею папахой отлично, как за деревом густым… Не увидит!

– Кредитор? – обернулся на него, засмеявшись, Троекуров.

– Хуже! – женщина.

– Цыганка?

– Вы почем знаете? – вскрикнул удивленно тот.

– Я слышал: вас вчера за обедом дразнили наши дамы.

– Ну, да! Я уехал в Петербург, ничего ей не сказав, – вот она и шмыгает, должно быть, на каждый прибывший поезд, в надежде тут же и сцапать меня… Стою я преспокойно сейчас у

решетки багажной, чемодана своего жду. На счастие мое, обернулся я как-то: вижу, а она летит стремглав – опоздала к поезду… Я так чемодан свой там и оставил, и драла, прежде чем успела она сыскать меня.

– Да, – проговорил Троекуров тоном равнодушной шутки, – это часто мешает.

Тонкий Ашанин тотчас же навострил уши:

– То есть, что именно хотите вы сказать?

– Старая связь.

– Нет, что же, – своею комически невинною интонацией отвечал чернокудрый красавец, – на то она и старая, чтоб ее бросить; а вот как если с третьего слова наровят глаза тебе выцарапать…

– А эта привычка у вашей барыни имеется? – засмеялся еще раз его спутник.

– Такая уж порода! – вздохнул Ашанин. – С древности! В Книге Премудрости не даром сказано: *к спевающейся не примешайся, да не како увязнеши в начинаниях ея!..* «Начинания» – это должно быть вот этот самый дурной их обычай рукам волю давать.

– Так вы бы их оберегались, как в этой книге сказано.

– Кого это? Цыганок?

– Вообще «поющих», – неспешно проговорил кавказец, слегка покосясь на него.

– Да как же от них оберечься? – самым наивным тоном произнес на это Ашанин. – Если у вас рецепт против этого есть, сообщите на милость!

Троекуров невольным нервным движением дернул плечом и тут же безмолвно усмехнулся. Оба они замолкли.

Очутившись в карете вдвоем с женою, Ранцов схватил ее руки и нежно принялся их целовать поверх перчаток.

– Как я рад, Оленька, как я рад видеть тебя! – говорил он расчувствованным голосом.

– Что с отцом было, скажите, пожалуйста, – прервала она его излияния, – удар?

– В этом роде, Оленька… да, – озабоченно отвечал он, – левая рука отнялась… А впрочем, доктор не отчаивается… электричество прописал… Голова у него совсем свежая, про тебя все говорит…

– Упал духом?

– Н-нет!.. А только все же видно…

Он не договорил.

– Боится смерти? – заключила за него Ольга Елпидифоровна.

– Не то чтобы… а, видно, занят мыслию насчет будущего… Говорил, боится, что, если нас тут не будет, растащат у него все…

Ольга Елпидифоровна замолчала, прижалась плотнее к углу кареты, затем спросила:

– Ну а у вас как, в Рай-Никольском?

– Да не хорошо, Оленька, – дроговорил он заметно смущенным голосом, не глядя на нее.

– Все та же песня! – отрезала она. – Хлеб продали?

Он повел глазами в окно.

– Продавать-то не много пришлось… Что было хлеба, на винокурню все пошло; сама знаешь, какой урожай был у нас в прошлом году…

– Денег мне привезли? – спросила она после нового молчания.

– Тысячи полторы собрал, – проговорил он чуть слышно.

– Только? До каких же пор?

– Я уж, право, не знаю, Оленька, – пробормотал бедный Ранцов, – раньше конца апреля, когда вино сдам, никакой то есть получки и в виду не имею…

– Чем же я буду жить, пока у вас опять будут деньги?

– Да вот, Олечка, я привез тебе.

– Полторы тысячи! Этого, вы знаете, на месяц мне не хватит!..

Ранцов заерзал на месте, судорожно провел языком по своим, как бумага, сухим и побелевшим губам и, все так же избегая глаз жены, начал, заикаясь и глотая половину слов, видимо, давно и мучительно задуманное объяснение:

– Ты не должна сердиться на меня, Оленька, потому – сама знаешь, я всей душою, и, кажется, ты видела и видишь… Только мы так больше не можем… потому сама знаешь…

– Что «не можем», что «не можем»? – гневно вскрикнула она, передразнивая его.

– Так жить, Оленька, – произнес он насколько мог твердо, – потому доходов не хватает… и под конец можно этак по миру пойти.

– Прелестно, превосходно! – злобно засмеялась она. – После девяти лет замужества вот какую перспективу обещает мне мой муж – нищую суму!

Лицо Ранцова стало еще белее его губ; глаза его болезненно заморгали:

– Я знаю, Олечка, что ты вспыльчива и не резонно гневаешься часто, – только ты бы меня пожалела, потому, сама знаешь, мне это хуже, чем ножом…

Он передохнул с мучительным усилием и продолжал:

– Мне ничего не нужно, лишь бы тебя успокоить… Как ты всегда желала, я ни слова против никогда. Сама знаешь, по первому абцугу на переезд наш и устройство в Петербурге пошло сорок тысяч… Стали мы тут же жить вельможами: дохода в хороший год двадцать пять и тридцать тысяч: а мы сорок, да и все пятьдесят в иной год проживали. Обеды, ужины – так с

первого года и по днесь жили. Всегда притом расходы непредвиденные, то на школы твои, то на то, то на другое… За границу захотелось тебе съездить, – что там денег осталось!.. Именье мы все позаложили… Теперь опять что будет с *волею?* Даровой труд от нас отойдет, опять убытки…

Ольга Елпидифоровна слушала безмолвно, устремив прищуренные глаза на мелькавшие сквозь окно кареты дома, заборы, занесенные снегом сады пространного города и закусив нижнюю губу с видом глубокого и тяжелого раздумья. Она вдруг обернулась и пристально взглянула в лицо мужу:

– Какой же доход рассчитываете вы получать теперь и на будущее время?

– Если как теперь я, входить во все самому, тысяч пятнадцать верных всегда можем получить, Оля, – ответил он с радостным оттенком в голосе, в уповании, что она «сдается на его резоны».

Она презрительно захохотала:

– Пятнадцать тысяч! Да разве с этим можно существовать?

– Конечно, Олечка, – попробовал он возразить, – если бы ты согласилась в деревню… или даже сюда, в Москву, – поспешил он прибавить.

– Не жить в Петербурге? – крикнула она. – Никогда!

– Так как же быть, – растерянно залепетал Ранцов, – когда доходы…

– Доходы! – насмешливо повторила она. – У вас никогда доходов не будет, вы не умеете…

– Помилуйте, Олечка, я, кажется…

– Не нужно мне ваших доходов! – неожиданно перебила она его. – Я без них обойдусь!..

Он испуганно, со страшным биением сердца, воззрился в свою очередь ей в лицо: «С ней припадок или… или»… – не смел он досказать себе своей мысли.

Она улыбалась теперь. В ее подвижном воображении рисовался уже в самых радужных красках исход из положения, которое она за минуту до этого почитала безнадежным.

– Нечего глядеть на меня, как сова! – обратилась она к мужу. – Я вижу, что если *вы* не умеете устроиться в жизни, так *мне* приходится за это приниматься. И я начну.

– Начнешь что? – недоумело спросил муж.

– Аферы делать.

– Какие, с кем?

Она отвечала ему не сейчас:

– Да вот один уж барон Функель дает мне триста тысяч, – молвила она с тою же улыбкой радужных надежд.

– За что? – крикнул Ранцов, вспыхивая до самых волос.

– За то, что я проведу ему в государственном совете дело, которое принесет ему пять или шесть миллионов барыша.

Он глубоко вздохнул, как бы скидывая тяжелый камень с груди, но тут же с прежнею тревогой взял потихоньку ее руку:

– Олечка, друг мой, подумай: как же ты это можешь сделать? В государственном совете, шутка сказать!

– В совете, в сенате, в комитете – не все ли равно! – нетерпеливо возразила она на это. – Вы точно будто не знаете, не видели сами, *кем* я окружена, и как готовы все они делать все, что я ни пожелаю!

– Это, конечно, – молвил добродушно муж, видимо успокоенный и побежденный «резонностью» такого аргумента, принимаясь снова целовать ее перчатки, – ты у меня умница, всякую тонкость понимаешь, и я действительно знаю, какие козыри у тебя в руке… Только все же, Оленька, на такую аферу, как ты говоришь, полагаться трудно… Расскажи ты мне по крайней мере, что это за дела и как именно думаешь ты приняться…

– Ну, это когда-нибудь в другой раз, а теперь скучно! – не дала ему договорить Ольга Елпидифоровна, откидываясь снова в угол кареты и запахивая на коленях полы своей великолепной шубы.

IX

What should poor Jack Falstaff do in the days of villainy? I have more flesh than another man, therefore more frailty.

Shakespeare. King Henry IV.

На одной из московских Мещанских, в глубине двора, невидимый с улицы за выходившими на нее деревянными флигелями, стоял небольшой каменный одноэтажный дом, обитаемый отставным частным приставом Елпидифором Павловичем Акулиным, и который, как и все окружавшие постройки, составлял его благоприобретенную собственность. За ним, высоко подымая над крышею свои опорошенные инеем ветви, виднелись деревья довольно, по-видимому, обширного сада.

Ранцовых ждали. Едва успела въехать карета их во двор, как под навесом небольшого крыльца, пристроенного к одному из углов дома, появился молодой малый в куцом фрачке и с глупо улыбающимся лицом кинулся принимать господ.

– Пожалуйте-с, пожалуйте! – голосил он, ни дать ни взять лавочник в Городе[6], зазывающий покупателя. И, подхватив Ольгу Елпидифоровну под мышки, повел ее вверх по нескольким, обитым серым солдатским сукном ступенькам просторной, чистенькой, освещенной большим продольным окном лестницы, стены которой сверху до низу оклеены были весьма оригинальною коллекцией лубочных картин патриотического содержания, подобранных с эпохи Двенадцатого Года.

Немногочисленные, но довольно объемистые комнаты «укромного уголка», как называл свой дом Елпидифор Павлович, едва ли уступали роскошному петербургскому апартаменту его дочери по количеству наполнявших их предметов самого разнообразного свойства. Но между тем как там все носило печать новизны и случайности, здесь все свидетельствовало о прирожденном артистическом вкусе и терпеливой страсти к *собирательству* своего хозяина.

Недаром целых восемь лет состоял главным полицейским оком в Городской части Елпидифор Павлович, недаром знал он наизусть каждую лавчонку своего торгового муравейника, недаром являлся сам «надзирать» за подчиненными ему квартальными при составлении ими описи движимости сколько-нибудь состоятельного должника, назначенной к продаже с аукционного торга. Он, очевидно, не пропустил ни единого из тысячи представлявшихся ему случаев приобретать дешево – если не всегда даром – художественные вещи, настоящая ценность и редкость которых в те времена и не ведомы были весьма часто их владельцам и которые угадывал Акулин и чутьем своим, и наглядкой, приобретенною долгими годами этого собирательства. Он не пренебрегал ничем. Тут были и картины, и старинная мебель, фарфор и бронза, мозаика и яшма, монеты и мраморные бюсты, – всякое добро, выставленное въявь или тщательно хранимое в глуби заветных ящиков…

– Да у него тут целый музей! – восклицала Ольга Елпидифоровна, проходя с мужем мимо всего этого неожиданного для нее художественного богатства (она еще в первый раз посещала отца после отставки в этом его давно купленном им доме, куда он постепенно отправлял свои приобретения, признавая *неудобным* «выставлять их напоказ» в казенной квартире) по узеньким коврикам, протянутым во всю длину веселых, светлых комнат, с бросавшеюся в глаза совершенно голландскою опрятностью. – Откуда это у него все? – спрашивала она с удивлением.

Ранцов не отвечал и продолжал идти за нею, вперя вгляд в носки своих сапогов.

– Оля, друг мой! – раздался из глубины последней комнаты, спальни Елпидифора Павловича, его взволнованный, уже полный слез голос.

Она поспешила переступить через порог.

Акулин сидел полулежа, протянув коротенькие ноги свои во всю длину, в старинном глубоком и удобном вольтеровском кресле, с большою подушкой за спиной и другою с левого боку, на которой лежала недвижно его отнявшаяся рука. Против него на стуле помещался смуглый, с ворохом черных волос, спускавшихся низко на лоб, довольно еще молодой человек в синих очках. За креслом Елпидифора Павловича стояла красивая, с широким развитием плеч и груди, лет двадцати восьми женщина, повязанная по-купечески шелковым платочком по светло-русым волосам, в шелковой синей кофте крестьянского покроя, из плечевых отверстий которой выступали широкие собранные у локтя полотняные рукава рубахи ослепительной белизны. Обе руки ее, пухлые и белые, с бирюзовым колечком на одной из них, лежали рядом на верхушке спинки кресла, как бы выжидая чего-то. Ее подернутое легким румянцем лицо и синие с поволокой глаза глядели чрезвычайно спокойно, мягко и умно.

– Оля! – повторил Акулин, ухватывая здоровою рукой за ручку кресла и усиливаясь приподняться.

Синеглазая женщина запустила тотчас же свои ожидавшие руки за подушку и осторожно наваливала ее к спине больного, с незаметною, но несомненною силой удерживая его от падения назад.

Молодой человек, вскочив со стула, бросился помогать ей.

– Оставьте! – тихо проговорила она.

Он послушно опустился на прежнее место.

– Оля!..

И Елпидифор Павлович разрыдался истерическим рыданием.

Дочь быстро подошла к нему, наклонилась, обняла:

– Что это вы, папа, как не стыдно! Ну, вот я, и очень рада, и нечего вам плакать!..

– Вот видишь! – пробормотал он, указывая на недвижную руку.

Ольга Елпидифоровна едва узнавала его. Он страшно изменился. Громоздкая его фигура словно стаяла наполовину; лишенная своей жировой подкладки, кожа лица моталась мешком при малейшем его движении, падала тряпкой на отложные воротнички его ночной рубахи; прежние живые «полицейские» его глазки странно увеличились в объеме, тускло светя из-под нависших, непричесанных бровей…

– Это ничего, пройдет… электричество очень помогает в этих случаях, – отвечала она ему словами банального утешения, тронутая несомненно его жалким положением, но еще более заинтригованная этими двумя, никогда ею невиданными прежде у отца лицами, этою «барыней-крестьянкой, которая, конечно, не случайная сиделка», тотчас же догадалась Ольга Елпидифоровна.

А та между тем, перегнувшись через спинку кресла к уху ее отца, шепотом спрашивала его:

– Опустить?

Он кивнул в знак согласия. Она все так же осторожно опустила его с подушкой, направилась беззвучною походкой к столу, на котором расставлена была обычная печальная кухня всякого больного, налила счетом из склянки в рюмку с водой предписанное количество капель и вернулась с этим к креслу.

– Что это такое? – спросила Ольга Елпидифоровна, беззастенчиво уставившись прямо ей в глаза.

– Капли-с, – невозмутимо, как бы вовсе не заметив этого взгляда, ответила та.

– Кто у вас доктор, папа?

Он назвал.

– Он предписал?

– Да.

– Для успокоения, – промолвила синеглазая, принимая от Елпидифора Павловича опорожненную им рюмку, отнесла ее на стол и остановилась там в заповедной позе русского женского простонародья, уложив щеку на правую руку и подперев ее левою, и глядя на отца и дочь все тем же мягким и спокойным взглядом.

Господин в очках в свою очередь глядел на Ольгу Елпидифоровну во все глаза сквозь свои синие стекла.

– Олечка, без малого три года не видались! – заговорил Акулин.

– Да, я была за границей… потом Петербург, выбраться из него так трудно… Видите, впрочем, сейчас же приехала, как только вы дали знать… А как у вас здесь хорошо! – прервала себя она,

обводя взглядом кругом стен, увешанных картинами французской школы прошлого столетия.

– Ты у меня еще не была здесь, – вздохнул он, – да, собрал кое-что, собрал…

– Давно это все у вас?

– Да вот, как выдал тебя, а сам сюда на должность поступил, скука одолела; ну, случаи были, начал потихоньку, потом пристрастился… Домик купил, отделал. Вот, думал, под старость отдохнуть в укромном уголке, любуясь и Бога благодаря… за милость Его… ко мне… грешному… Да видно, не Его… воля святая, – договорил, уже всхлипывая, Елпидифор Павлович.

– Полноте, полноте, почтеннейший, – заговорил вдруг господин в очках, нагибаясь к нему и какою-то кошачьею ухваткою принимаясь гладить его по коленке, – налюбуетесь еще, поживете, нас похороните!..

Голос его визгливый, как у мальчишки, странно противоречил его далеко не ребяческой наружности; говорил он с заметным малорусским акцентом. Ольга Елпидифоровна поморщилась.

– А у вас, сколько я понимаю, есть вещи редкие, папа? – обратилась она снова к отцу.

– Хорошие есть вещи, хорошие! – сказал он, внезапно оживляясь.

– Знаток известный Елпидифор Павлович! – молвил гость, одобрительно покачивая головой со своей стороны.

Он нагло, почувствовалось ей, рассматривал ее сквозь темную синеву своих очков.

Она отвернулась от него и отыскала глазами мужа, усевшегося у окна и безмолвно внимавшего всему этому разговору.

– Вы видели Троекурова на станции?

– Видел, Оленька, а что?

– Он большой любитель du bric a brac и знает в нем толк. Вот его бы привезти к папа показать; он оценит.

– Я очень рад, Оля! – дроговорил Акулин. – Если знаток в особенности…

Господин в очках внезапно заволновался:

– Троекуров! – воскликнул он. – Позволите ли, сударыня, узнать имя и отчество?

– Борис Васильевич, – небрежно проговорила Ранцова.

– Вы изволите говорить, он здесь, приехал… Неизвестно вам, где остановился?

– Не спрашивала! – отвечала она тем же тоном.

На лице больного заиграла словно какая-то злорадная улыбка; он обернул голову к говорившему:

– Это самый и есть наследник твоего… Ивана Акимовича покойного? – спросил он.

Тот не отвечал и поднялся с места:

– Я уже с вами прощусь, почтеннейший, в сенат пора! – сказал он, подходя к Елпидифору Павловичу и осторожно прикасаясь пальцами к его здоровой руке. – Позволите зайти понаведаться на днях?

– Приходи! – с видимою неохотой проговорил больной.

Женщина, стоявшая у стола, сдвинула еле заметно брови и тотчас же опустила глаза.

Гость отыскал свою фуражку, поклонился хозяину, дочери его и зятю и, проходя мимо стола, проговорил скороговоркой:

– Анфисе Дмитриевне мое всепочтение!

Она отвечала степенным поясным поклоном ему вслед.

– Кто это? – быстро спросила отца Ольга Елпидифоровна, как только исчез он в соседней комнате.

– Так один… делами занимается… Троженков по фамилии, – отвечал сквозь зубы Елпидифор Павлович.

Он видимо затруднялся говорить, как бы хотелось. Ольга Елпидифоровна тотчас же это заметила и сообразила: она обернулась к синеглазой женщине, имя которой только что узнал читатель.

– Вы, должно быть, устали, милая, стоять; можете себе идти, – если что нужно будет батюшке, я тут.

– Ничег-с, постоим, – возразила со смиренною усмешкой та.

– Ступайте, ступайте! – довольно уже резко сказала на это петербургская барыня. – Мне нужно поговорить с папа, вас позовут в случае нужды.

Анфиса Дмитриевна медленно двинулась с места, медленно прошла за спиной Ранцовой и, направившись вглубь спальни, исчезла за невидимою с первого взгляда небольшою дверью, оклеенною одними обоями с комнатой.

Больной с заметной тревогой следил за ней глазами. Но она прошла, и взгляда на него не кинув.

Он обернулся к дочери и заговорил слабым, жалобным голосом:

– За что это ты, Оля, за что?..

– Что такое? – спросила она, сжимая брови.

– Обидела… женщину…

Ранцова уставилась на него пристально:

– Да что она у вас такое, слуга, или…

– Э… экономка у меня… она, – промямлил он, отворачивая от нее глаза.

– И, как видно, нечто еще более вам близкое? – промолвила Ольга Елпидифоровна с ироническою усмешкой.

Он смутился, заметался на своей подушке:

– Что же, Оля, все мы люди, все человеки…

– И вы ее боитесь! – отчетливо выговорила она с той же усмешкой.

Эти слова внезапно как бы встряхнули больного, отнесли его к другому, дремавшему в нем до этой самой минуты помыслу. Он приподнял голову, отыскивая Ранцова, все так же молчаливо сидевшего у окна, и поманил его к себе глазами.

Тот поспешил подойти к нему, наклонился.

– Погляди за дверью, – прошептал ему на ухо тесть, кивая в сторону, куда ушла «экономка», – и запри… на ключ!..

Никанор Ильич зашагал послушно к двери, полуоткрыл ее, взглянул в комнату, в которую вела она, и тотчас же запер. Это была комната самой Анфисы Дмитриевны; в углу под иконами с теплившеюся пред ними лампадкой стояла кровать ее, покрытая сшитым квадратиками из разноцветных кусочков одеялом, и сама она сидела на этой постели в обычной позе, оперев щеку на руку, а локоть этой руки на колени… Он нащупал крючок на двери, закинул его бесшумно в петлю и вернулся к креслу Елпидифора Павловича.

– Садись… ближе, – сказал ему тот, приглашая глазами дочь сделать то же.

Они подвинулись к нему.

– Вот ты сейчас сказала, Оля, – начал он шепотом, смущенно и как бы робко поглядывая вглубь комнаты, – я «боюсь»… Я точно, Оля… Недужный, как видишь, стал, поразил меня Господь за прегрешения… Один, на чужих руках… Страшно, действительно…

– Помилуйте, батюшка, чего вам бо… – счел было нужным успокоить его волнение Ранцов, но взгляд жены остановил его на полуслове.

– Давно у вас эта женщина? – спросила она отца.

– Четвертый год… Привык, – слезливо молвил больной, – весь дом на руки ей сдал…

– Я не видала ее у вас, когда в последний раз была в Москве.

– Стыдилась тебя… не показывалась, – пробормотал он.

– Кто она, откуда?

Акулин завздыхал:

– Из мелкоты из купеческой… В племянницах жила у торговца одного. Выдали они ее молоденькою замуж за приказчика, пропойцу горького… Помучилась она с ним… Только умер

он вскоре тут; деваться некуда, вернулась опять к этому дяде в дом… Красавица была она, в полном цвете. Ну, а у этих ракалий известны нравы – стал этот мужлан соблазнять ее… на сожительство… Не захотела она греха на душу брать – тиранство пошло, известно, ихнее, грызня, колотухи… Ухо ей было совсем, поверишь, оторвал раз у бедной… В этом виде, в крови вся, прибежала она ко мне в частный дом: «Спасите», – говорит, и в ноги, без чувств… А я еще раньше с лица ее знал, как она еще замужем жила. Тихая такая была, милая… Останься, говорю, у меня; никакой черт-дядя не сунется сюда отбирать тебя, потому я его с лица земли сотру… И действительно, прижал я черта этого так, что он не то отступился от нее, полторы тысячи чистоганчиком окромя того за бесчестье ей отсчитал… Всем она мне, могу сказать, обязана: поена, кормлена, холена… не ждал я от нее черноты такой!..

И Елпидифор Павлович захлебнулся слезами.

– Полноте плакать, папа, не стоит! – строго вымолвила Ранцова. – Если вы что-нибудь заметили, надо скорее принять меры.

– Нет, Оля, ты не знаешь, – продолжал он, отирая влажное лицо, – умница ведь она, тонкая… всякия мои до корешка дела знала, – в нашей должности, известно, всякое бывает, – все знала… Да что! Жить меня научила, деньгу хранить…

– И что же, – нетерпеливо прервала его дочь, – вы боитесь теперь, чтоб она насчет этих ваших «дел» не выдала вас?

Тусклые глаза бывшего полицейского блеснули внезапно старым, ярким и острым блеском:

– А выдавать-то что? – ухмыльнулся он. – С меня взятки гладки: состою по чистой, по формуляру ни сучка, ни задоринки, за тридцатипятилетнюю службу удостоен подобающей пенсии: сорок два с полтиной получаю в треть, – в чем же выдать-то меня кто может?

– Вы говорили мужу, боитесь, чтобы вас не обобрали, – вспомнила Ранцова. – Вы *ее* подозреваете?

Он снова болезненно заметался и заныл:

– Изменница она, неблагодарная! За мою… привязанность… с кем связалась! Вот, вы видели, сидел тут… сейчас… Змей! Путает он ее, наущает…

– Да вы что же, узнали что-нибудь, заметили? – допрашивала тревожно Ольга Елпидифоровна. – Когда? Давно или теперь только?

Брови больного сосредоточенно сдвинулись – он видимо старался припомнить все подробно:

– Болен я сегодня шестой день, – начал он, – а ты об этом когда депешу получила?

– Третьего дня вечером, поздно.

Он испуганно закачал головой:

– Вот оно, вот! Доказательство! Раньше не получала?

– Нет!

– А я… Когда это со мной случилось (Акулин указал глазами на руку), я, как только отошла голова, на другой же день, значит, говорю *ей* при *нем*, – язык-то у меня едва еще ворочался

тогда: «Оле сейчас дай телеграмму в Петербург». – «Хорошо, говорит, сейчас». А *он* тут же с услугою. «Позвольте, говорит, я напишу и отвезу сам для верности на телеграф». Сел действительно к столу, написал, показал мне и ушел… Это, значит, в понедельник было, – нонче пятница… Тут опять сонливость на меня напала, без малого двое суток голову не мог от подушки оторвать. И сплю я, и не сплю, а глаз растворить не могу, лежу трупом бесчувственным… И уж не знаю, утром ли рано, ночью ли, только слышу я вдруг – шепчутся, а в уши так ясно мне голоса звенят: «Не встать ему ни за что!» Это говорит *он*. Это про меня, думаю, и так страшно стало мне тут; кому ж он это говорит? Только опять слышу, *ее* уж голос: «А ты послал депешу?» *Ты!* Она ему «ты», можете себе представить! Я бы ее, кажется, в другое время… а я и векой моргнуть не в силах, и чувствую только, лучше бы, кажется, умереть мне сейчас…

Он остановился, тяжело дыша и мотая головой…

– Что же, папа, дальше? – с возрастающей тревогой и любопытством молвила Ранцова.

– Не расслышал я или забыл что за этим, а только помню опять, она говорит: «Грех!» А он ей на это: «А у него-то самого (у меня, то есть, значит), откудова деньжищи?» И потом: «Мы с тобой навеки счастливы будем»…

Ольга Елпидифоровна побледнела и во все глаза глянула на мужа.

– И вы это так именно, эти слова самые и слышали? – обратился он с вопросом к тестю.

– Я тебе вот что скажу, – отвечал на это медленно тот, как бы снова силясь собрать разбегавшиеся мысли, – я тут сейчас опять в бесчувствие впал. А пришел я в себя наконец настоящим образом третьего дня, значит, в среду. Дал мне что-то доктор, голова освежилась, и тут я вспомнил – только так вспомнил, что сам не мог себе сказать: действительно или во сне я этот разговор их слышал. И спросил я тут: сколько я спал, и какой нынче день? – «Среда», – говорят. «Что же, говорю, до сих пор от Оли ответа нет? Послана ли ей депеша?» А *она* мне на это: «При вас, говорит, третьего дня написана и повезли на станцию». – «Видно, пропала, – говорю опять, – Оля непременно бы отвечала». – «Разве может то быть, чтобы пропала, когда Степан Акимыч сам ее свез?» – возражает мне на это Анфиса. Я тогда к доктору, – при нем это было: «Сделайте милость, – говорю, – Акинфий Николаевич, вы около самого телеграфа живете, отвезите вот новую депешу дочери, Анфиса сейчас напишет». Она села к столу и написала под диктовку мою – тихо, будто нехотя, писала-то, я все время на нее глядел; написала еще тут же письмо от меня к тебе, потому, думаю, пусть и Никанор приедет; доктор взял и депешу, и письмо и отправил тогда.

– Какой же тут сон! – воскликнула Ольга Елпидифоровна. – Это совершенно ясно: они рассчитывали, что вы… что вам не оправиться, и собирались прибрать ваши деньги, а для того чтоб им никто помешать не мог, телеграмму вашу ко мне не отправили!..

– Все он, все он, Оля! – захныкал еще раз больной.

– Да кто он, – скажите, пожалуйста, откуда вы его добыли?

– Не добывал я его, дочь моя любезная, сам он ко мне за куском хлеба пришел. Писарем у меня с полгода служил… Потому в ту пору выгнал его отец из дому за беспутство какое-то… Незаконный он, богатого одного, недавно вот помер, человека сын…

– Чей сын?

– Говорю, одного… Остроженко по фамилии, богач, оригинал был тут такой.

– А! Знаю теперь, знаю! – воскликнула она припоминая. – «Троекурова дядя»! – сказала она себе.

– Пригрел я его, опериться дал, – продолжал больной, – делу научил. Боек он, способный! От меня в сенат перешел, тяжебными делами теперь занимается, деньгу зашибать стал. Только корысти у него и злобы на людей несть конца; грызет его, что вот, мол, магнатом мог очутиться, а повернуло так, что ни гроша, ни имени… И из этой только злобы и корысти своей, – продолжал, все более и более волнуясь, Акулин, – подбился он к *ней* теперь. Ведь если б она решилась… ведь он бы тут же как липку обобрал ее, бедную, и бросил…

– Зачем вы такого человека пускали к себе, батюшка? – тихо промолвил Ранцов.

– Да разве я мог подозревать, Никанорушка! Ведь я *ей* верил, как в Христа *ей* верил!

И слезы уже градом полились из глаз бывшего частного пристава.

– Успокойтесь, папа, ведь нельзя так, – сказала ему строго дочь, – выпейте воды!

– Капель этих… Позови ее… Анфису… Она нальет мне…

– Зачем же ее звать? – возразила Ольга Елпидифоровна. – Я сама сумею вам накапать.

Она поднялась, подошла к столу и, пробежав рецепт, налила нужное в рюмку.

Он выпил, примолк и, прижавшись головой к подушке, робко поднял на нее глаза. Чувство своей немощи, очевидно, лишало его теперь всякой самостоятельности перед этою владычною его дочерью, которой он и так всегда побаивался.

– Что же вы думаете теперь делать? – дав ему успокоиться, категорично поставила она ему вопрос. – Раз уже в вас закралось подозрение, нельзя при вашем состоянии здоровья жить в вечной тревоге: это может иметь для вас очень серьезные последствия. Надо на что-нибудь решиться… Ее следовало бы удалить, папа, – промолвила тише и не сейчас петербургская барыня.

Он задрожал даже весь:

– Пожалей ты меня, Оленька… пожалей меня! – проговорил он таким жалким голосом, что Ранцов поднял на жену полные какого-то ужаса и мольбы глаза.

– Не я, батюшка, а вы хозяин в вашем доме, – поспешила возразить она на это, – я сказала вам мое мнение, *вы* вольны принять его или нет… Во всяком случае *его*, я надеюсь, вы перестанете пускать к себе, – добавила она с презрительным выражением на губах.

– Да, друг мой, да, – закивал он радостно головой, – я так рад, что вы теперь здесь… Так и прикажите малому моему, Федьке: в шею его, в шею!..

– И учтивее можно, – проронила свысока Ранцова, – только этого мало!

– Что же еще, Оленька, что? – растерянно проговорил он.

– Если, как вы говорите, «*он ее* наущает», она послушна его воле, так ведь опасность остается все та же. Вы, даст Бог, станете поправляться, мы с мужем уедем, и вы опять останетесь под

épée de Domoclès, что вас обворуют… Надо было бы отнять у *них* самый соблазн к этому.

– Да, да! – закивал он опять своею исхудалою головой с прыгавшею по его воротничкам отвислою кожей щек; – ты всегда была умна, Олечка!

– У вас есть список вашим вещам? – спросила она.

– Есть, умница моя, есть! Аккуратнейшим образом все до малости записано.

– И деньги? – проговорила она небрежно. – Много у вас денег здесь?

На лице его заиграла нежданно самодовольная улыбка:

– Есть малая толика, Олечка, есть!

– *Она* знает, где они? – медленно протянула та.

Елпидифор Павлович подал утвердительный знак глазами.

– Тут они у меня! – со внезапною живостью сказал он и кивнул на стоявший у стены против него старинный шкап голландской работы.

– Ключ у вас?

– На мне. Сыми цепочку!

Он отделил голову от подушки.

– Вы хотите сейчас?..

– Сейчас, сейчас! – залепетал он торопливо. – Для вас же берег… Берите сейчас, чтоб и духу их здесь не было!..

Ранцов открыл изумленно глаза, воззрился на него, на жену:

– Как же это так брать, батюшка? Что нам с ними делать? – недоумело произнес он.

– Разве их нельзя отвезти в банк на сохранение? – ответив на его взгляд холодною усмешкой, спросила Ольга Елпидифоровна.

– Можно, конечно… На ваше имя, батюшка, не иначе – твердо примолвил Никанор Ильич.

– Безполезные слова все говорите! – фыркнула ему на это жена.

– Бери ключ, Оля, отворяй! – нетерпеливо говорил между тем Елпидифор Павлович с капризною настойчивостью больного. «Увезут деньги, *ему* не расчет будет таскаться сюда, с *нею* по-прежнему у нас пойдет», – стояла у него в голове единственная мысль.

Ольга Елпидифоровна сняла у него с шеи стальной, тонкой старинной работы, довольно больших размеров, висевший на серебряной цепочке ключ, подошла к шкапу, повернула замок; он щелкнул со звоном, разлетевшимся по всем комнатам… Она даже вздрогнула слегка от неожиданности.

Шкап открылся на обе половинки.

– Помоги ей! – сказал Ранцову Акулин. – Средний ящик надо вон вынуть.

Когда это было исполнено, он приказал зятю отыскать в гирлянде резных укращений, бежавшей кругом ящиков, какую-то пуговицу и подавить ее.

Ранцов нажал пальцем: другой ящик, совершенно подобный вынутому, выскользнул на его место из темного зада шкапа. Он заключал в себе десятка три бумажных пакетов, исписанных цифрами и уложенных самым тщательным образом.

– Вынь и его, неси сюда! – закомандовал опять Елпидифор Павлович. – И давайте сюда какой-нибудь стол поближе, да карандаш вон там возьми, Оля, и бумаги: станешь записыват, а муж считать будет.

Они принесли стол. Ранцов поставил на него ящик; она присела к нему с бумагой и карандашом, молча глядя на отца, на эти многочисленные бумажные обложки, в которых очевидно уложены были деньги… много денег… Удивление сковывало ей уста.

А в ответ этому сказывающемуся в чертах ее ощущению лицо недужного освещалось заметным выражением какого-то лукавого удовольствия. Он видимо радовался изумлению дочери, забывая теперь ослабевшею головой все, что предшествовало этому лишь за несколько минут назад.

– Ну, давайте, давайте! – говорил он веселым тоном. – Считай, брат, Никанор, считай, а ты записывай, дочка!

Ранцов вынул один из пакетов и вытащил из него билет Опекунского совета.

– Три тысячи пятьсот рублей, – прочел он, – на имя неизвестного.

– Пиши, Оля, пиши! – приказывал Елпидифор Павлович. – А ты погляди, проценты получены ли? – на обложке помечено.

– По пятнадцатое ноября прошлого года, – прочел опять Ранцов.

– Так! Ну дальше, другой бери!

– Билет Опекунского совета в пять тысяч четыреста рублей… на имя неизвестного.

– У меня только такие билеты и есть, да серий тысяч на пять надо быть…

– Проценты получены по восьмое августа.

– За полгода, значит, дополучить надо… Читай дальше, читай!

Ольга Елпидифоровна записывала. Муж ее внятно и невозмутимо произносил одну за другою крупные цифры, значившиеся на билетах. Акулин все шире и шире улыбался: он видимо наслаждался всласть «приятным сюрпризом», который доставлял дочери. Она бессознательно отворачивала от него глаза; глухое чувство стыда за него и за себя, за жадную радость, разыгравшуюся помимо воли ее в ней по мере нарастания тысяч под ее карандашом, скребло где-то в глубине ее существа…

– Все! – сказал Ранцов, дочтя сумму последнего билета.

– Сложи, Оля, – промолвил Елпидифор Павлович.

Она подвела итог:

– Сто шестьдесят семь тысяч шестьсот рублей… Откуда это у вас столько денег, папа? – вырвалось у ней неудержимо.

Он засмеялся вдруг своим давнишним, грузным, давно ей знакомым смехом:

– А все трынка, Оля, все в трынку набил!

– Что это такое? – спросила она в недоумении.

– А игра такая дурацкая есть; купцы научили – я их и наказал вот!..

– И так много выиграть могли?..

– А я фортель с ними уж такой изобрел, – продолжал он смеяться, – что ни сядут со мной играть бородачи, я их взлуплю!

В этом смехе, в этом залихватстве слов откликнулся снова на миг балагур-любимец старого *графа*[7], ухарь-исправник прежних дней… Увы, только на миг!..

– Шш… – проговорила вдруг Ольга Елпидифоровна.

Из глубины покоя доносился слабый визг крючка в петле двери, замкнутой Ранцовым: чье-то, очевидно, тело напирало на эту дверь с другой ее стороны.

– Нас подслушивают! – громко и резко выговорила она.

Визг сразу замолкнул.

Выражение лица больного мгновенно изменилось; щеки затряслись, глаза забегали, словно у пойманного зверя.

– Забирай скорее все, Никанорушка, вези в банк, – торопливо зашептал он, указывая глазами на пакеты с деньгами.

– Во что бы нибудь сложить в одно, – озабоченно молвил Ранцов, оглядываясь.

– А тут в шкапу, второй справа ящик, портфель есть; вали туда, и с Богом!..

Никанор Ильич вынул портфель, сложил туда пакеты.

– Расписку вам дать… – начал было он.

Тесть поспешно замахал ему здоровою рукой.

– Что это ты! От себя вези, на свое имя клади, на свое!

– Да для чего же, батюшка! – возражал тот с видимым неудовольствием.

– Вернее так, вернее, Никанорушка, – дрожащим и опустившимся голосом проговорил Акулин, – самого себя боюсь, пойми ты… Отдам ведь…

Он не договорил, закинул голову в подушку и закрыл глаза. Возбужденные временно приездом

дочери, объяснением с нею силы отказывались, очевидно, служить ему долее; натянутые не в меру нервы распускались, как струны ветхого, не держащего более строя инструмента.

– Отправляйтесь скорее и делайте, как вам сказано! – быстро вымолвила мужу Ольга Елпидифоровна, повелительно указывая ему взглядом на дверь в следующие комнаты.

Он вздохнул, запер портфель, закинул под мышку и вышел.

– Что, папа, устали? – обратилась она к больному.

– Устал… заговорился, – с усилием отвечал он, – ко… ко сну… клонит…

– Хотите на постель лечь?

– Н-нет… не люблю… Я так… скажи Анфи…

– Что? – спросила Ранцова, наклоняясь к нему.

Но он уже спал.

Она постояла над ним, притронулась рукою к его голове. Он не открывал глаз; ровным дыханием вздымалась и опускалась грудь под мягким меховым халатом; легкая испарина выступила на лбу…

Ольга Елпидифоровна только теперь почувствовала, что сама она не мало утомлена и этим разговором, и ночью, неудобно проведенною в вагоне, что она после дороги не успела еще совершить своего туалета, умыться. Она потихоньку вышла из спальни отца. Через комнату от этой спальни приготовлена была ей комната, и ее Амалия, чухонка из Ревеля, уставляла уже там на столе вещи, вынутые из барыниного дорожного несессера.

Наша красавица готовилась приступить к тому многосложному процессу омовения, раздевания и нового одеванья, что известен вполне лишь хорошеньким женщинам, когда вдруг вспомнила, села и приказала горничной позвать к ней слугу отца, «малого», которого звали «Федькой».

Федька явился немедленно в своем куцом фрачке, со своею румяною, глупою и гостинодворскою физиономией. Он ухмылялся самою счастливою улыбкой и глядел на «приезжую дочку хозяина» во все глаза. Ольга Елпидифоровна не могла не улыбнуться при его виде. «Quel Jocrisse!» – сказала она себе мысленно, повторяя бессознательно эпитет, которым один из больших ее поклонников, старик граф Наташанцев, неизменно угощал за глаза своих более молодых ривалов.

– Знаешь ты, – спросила она, – этого господина в синих очках, который был сегодня у батюшки?

– Что вы, значит, изволили даже застать у них, когда приехать изволили-с? – выговорил Федька с видимою претензией на краснословие.

– Этот самый.

– Степан Акимыч, значит, Тарашенкин по фамилии, знаю-с!.. Ну-с? – спросил он в заключение, выставляя правую ногу вперед и закладывая руки за спину.

Ольга Елпидифоровна так и покатилась.

– «Ну-с», – повторила она, – если этот господин приедет, ты скажешь ему, что батюшка болен…

– Они знают-с, – прыснул в свою очередь «малый».

– Все равно! Скажешь ему, – подчеркнула Ранцова, – батюшка болен и не при-ни-мает. Понял?

– Понял-с. Только они сегодня ни за что уж не будут. Потому им далече. Они только раз в день ездют-с.

– Ты очень глуп, я вижу! – вскрикнула нетерпеливо она. – Говорится это тебе не на сегодня только, а навсегда. *Когда бы* этот господин ни приехал, ты ему *всегда* — понял? – скажешь то же самое: «болен» и *не принимают.*

Федька на этот раз действительно *понял.* Все его широкое лицо осклабилось вдруг под очевидным впечатлением непомерного удовольствия. Он поднял к носу обшлаг своего рукава и словно чихнул туда неудержимым смехом.

– Изволите, значит, приказывать, – сказал он, – чтоб их к нам в комнаты николи не пущать?

– Приказываю. Никогда!

– Слушаю-с!

Он переступил с пятки на пятку:

– А как ежели, – заговорил он снова, – как ежели Анфиса Дмитревна прикажут, чтоб я их пустил?

Ольга Елпидифоровна вспыхнула:

– Да ты знаешь ли, кто я?

– Как не знать-с!

И Федька вытянулся вдруг по-военному, приложил руку ко швам своих серых брючек:

– Елпидифора Павловича дочка из Питербурха, Ольга Елпидифоровна, значит.

– Так кого же должен ты слушать?

– Известно кого-с.

Он ухмыльнулся еще раз во всю ширину своего дурацкаго лица.

– Так я им так и скажу-с!

– Кому это?

– Анфисе Дмитревне.

– Скажи! Непременно скажи! И этого господина ни за что не пускай!

– Не пущу, ни за что-с! – возгласил Федька с совершенно уже ликующим выражением.

– Хорошо, ступай!

Он умильно поглядел на «распрекрасную барыню», повернулся и ушел.

– Wie dumm der Kerl! – проговорила ему вслед Амалия, отвечая смехом на улыбку своей госпожи.

– Слушайте, Амалия, – сказала ей та, – я разденусь и лягу, – я очень устала, а вас прошу расположиться вот в этой комнате по соседству с батюшкой. Он спит теперь, но вас я прошу не спать и прислушиваться. Если он проснется и позовет кого-нибудь, вы тотчас же разбудите меня. А без меня никого к нему не пускайте, кто бы ни хотел к нему войти!

– Nu, gut schon, gut! – молвила смышленная и бывалая ревельская субретка, подмигивая барыне правым, несколько косым глазом.

– Если бы вас не хотели послушаться, опять-таки сейчас разбудите меня… Да приготовьте мне мое бордо фай платье, – примолвила Ольга Елпидифоровна, – я, может быть, выеду вечером.

X

A nous deux maintenant!

Dumas. Antony.

Масу в четвертом, подкрепленная сном, бодрая и довольная собою петербургская барыня позвала свою горничную и спросила, вернулся ли Никанор Ильич (первою мыслью ее, открыв глаза, было о портфеле, который Ранцов повез с собою в банк).

– Где он? – сказала она на утвердительный ответ Амалии.

– Сейчас к вашему папеньке прошел, – молвила та.

– Он проснулся?

– Только сейчас.

– А вы сидели подле, как я вам сказала?

– Все время.

– Никто не входил к нему?

Амалия осторожно оглянулась и начала шепотом своею полурусскою, полунемецкою речью передавать барыне, что с час тому назад вошла к ней в гостиную какая-то женщина, eine gewisse Frau «по-простому, wie die Bäuerinen sich kleiden, doch etwas schöner», и хотела пройти к больному, но что она, Амалия, не пустила ее и сказала: «Нельзя, keinesweges». Женщина сказала тогда, что к ней дверь из комнаты барина заперта на крючок и что ей теперь к нему «другого хода нет». – А на что вам к нему? – спросила Амалия и получила в ответ, что она das Ding, за барином ходит, и что, может быть, ему кушать теперь хочется, потому что он всегда в этом часу обедает. «Я ей тогда сказала, что Herr von Акулин спит, а когда люди спят, они не кушают и что meine Herrschaft приказали мне никого к нему не впускать, пока он спит. И она это не поняла и спросила меня, „wer das“, кто? И я тогда kurz und klar сказала ей: моя госпожа, madame von Rantzof!»

– И что же она на это? – прервала ее с любопытством Ольга Елпидифоровна.

– Она посмотрела на меня таким большим глазом. Sie guckte mich so grossaugig an и спросила: «Это меня не приказали впускать?» Ну, сказала я, и вас, и всех!.. И она тогда ушла, doch sah

ich wohl gleich dass es ihr gar nicht lieb war!..

– Хорошо, – молвила Ранцова с улыбкой, – дайте мне одеться…

Она отправилась, покончив с туалетом, в спальню отца. Из нее торопливо выходил ее муж.

– Куда вы? – спросила она.

– Да вот обедать просит батюшка…

– Скажите Федьке!

– Он эту… Анфису требует, – прошептал Ранцов ей на ухо.

Она остановила на нем глаза, как бы намереваясь сказать ему что-то, но не сказала, пожала только плечом и прошла мимо.

Она не успела обменяться и двумя словами с отцом, как со стороны комнаты «экономки» послышался стук в дверь.

– Это мне несут… Отвори, Оля! – проговорил, весь встрепенувшись, Елпидифор Павлович, повертывая голову по тому направлению.

Она поморщась, пошла к той двери, скинула крючок.

Анфиса Дмитриевна, держа в обеих руках большой поднос с установленным на нем прибором, суповою чашкой и графином, прошла бочком мимо барни, склонив при этом медленно голову, как бы благодаря за услугу, уставила принесенное на столик с колесиками, подкатила его к больному и, зайдя за спинку его кресла, проговорила тоном дружеского упрека:

– Ишь подушку-то как сбили без меня!

Он улыбнулся радостною улыбкой, закидывая неестественно глаза под лоб, чтобы глянуть на нее снизу, пока она, как в первый раз, отодвигала его туловище своею сильною рукой и в то же время вытаскивала из-за его спины и взбивала другою рукой сбившуюся в ком подушку.

Ольга Елпидифоровна внимательно и безмолвно глядела на них обоих. Каждое движение Анфисы, ловкое, спокойное, ровное, казалось, говорило ей: «Ты видишь, что я ему необходима и что заменить меня при нем ты не в состоянии, хоть и родная ты ему дочь…»

Она усадила его наилучшим для еды образом, подвязала ему салфетку под отвислый подбородок и, налив до края супу в поставленную пред ним тарелку, принялась кормить его с ложки. Он продолжал улыбаться радостно-животною улыбкой под двойным влиянием насыщаемого желудка и ее присутствия. О присутствии тут же дочери он видимо забыл.

Та села поодаль и все так же молча глядела на них.

– Жаркое! – жадно проговорил Акулин, едва доглотнув последнюю ложку своего бульона, который заедал он большими ломтями белого хлеба.

– Сейчас, родимый, сейчас! – успокаивала его «экономка», спешно переменяя ему прибор. – Не извольте, барынька, двери за мной запирать, потому тут ближе к кухне! – молвила она вслед за этим, проходя мимо Ранцовой к своей комнате и взглянув ей прямо в лицо своими прекрасными, голубыми, необыкновенно кротко улыбавшимися глазами.

Выражение «барынька» и эти невозмутимые глаза взорвали Ольгу Елпидифоровну. Она вся зарделась, но сдержалась опять и не отвечала ни единым словом, будто не слышала.

Та мигом вернулась с жарким, поставила его пред больным, принялась разрезывать.

Вошел Ранцов.

«Погоди, голубушка, ты видно еще не знаешь!» – мелькнуло вдруг в голове его жены.

И обернувшись к нему:

– Были в банке? – спросила она.

– Как же, Олечка, я батюшке докладывал, – заторопился он ответить, глядя на тестя.

Но тот, держа в здоровой руке ножку цыпленка, сосал и грыз ее теперь с такою алчностью, что ни о чем другом, очевидно, не был в состоянии думать в эту минуту.

– Деньги положили? – продолжала спрашивать Ольга Елпидифоровна.

– Положил.

– Все? – подчеркнула она.

– Само собою, мой друг, – несколько оторопело проговорил Никанор Ильич, – законный документ привез.

– Где он?

– В портфеле, в шкапу; сейчас мы вот с батюшкой…

– Покажи мне! – прервала она его.

Он еще раз повел глазами на тестя, как бы вызывая его на утверждение такого приказания, подошел к шкапу, в котором еще торчал ключ, снятый с шеи Акулина, и, достав портфель, вынул документ и подал жене.

Голубые глаза Анфисы мгновенно блеснули, метнулись на миг издали в бумагу, которую рассчитанным медленным движением развертывала в эту минуту Ольга Елпидифоровна, и так же мгновенно опустились, встретившись с упорно следившим за нею взглядом петербургской барыни.

– Принято, года, месяца, числа… на хранение… – громко и растягивая начала читать та, перескакивая через цифры, – от коллежского советника Никанора Ильича Ранцова… билеты Опекунскаго совета под нумерами… а всего на сумму сто шестьдесят семь тысяч рублей… Все на свое имя положил, папа, как вы приказывали, – возвышая голос, будто говоря с глухим, обратилась она к отцу, указывая кивком на мужа.

– Да, да, – промычал безучастно больной, продолжая глотать своего цыпленка.

– А я, папа, портфель к себе возьму… вернее будет! – промолвила она, вставая.

Он закивал головой не то утвердительно, не то бессознательно.

Ольга Елпидифоровна зашагала по направлению своей комнаты. Ранцов безотчетно тронулся с места за нею.

Анфиса с мертво-бледным лицом, с судорожно заморгавшими глазами быстро вдруг наклонилась к больному и задыхаясь прошептала:

– Это вы от меня, что ль, от меня отдали им прятать?

– Что, Анфисушка, что? – перепуганно залепетал он, глядя на нее, ничего, очевидно, не понимая, кроме этого грозного выражения на этом любимом лице.

Она не успела ответить. Ольга Елпидифоровна входила опять в комнату; она вернулась с полпути, сказав себе вдруг почему-то, «что их ни минуты, ни мгновения не надо оставлять наедине».

– Да, я хотела сказать вам, папа, – заговорила она: – я ваше приказание исполнила насчет этого… как его… Таращенков, Трощенков… в синих очках, который сидел у вас утром. Я сказала вашему Федору, чтоб его никогда более к вам не пускать.

Она скользнула взглядом по «экономке» и бессердечно улыбнулась: она заметила, как у той задрожали нервным ознобом руки, прибиравшие тарелки. Удар был окончательно нанесен – она «сломила эту женщину!»

– Что это ты говоришь, Олечка? – забормотал между тем больной. – Я ничего… Ослабел очень я…

Голос его зазвучал опять жалкими, слезливыми нотами:

– Утром еще ничего, бодрее… а вот как… Куда это ты, Анфисушка? – перебил он себя с мучительным выражением в чертах, увидав, что она уходит.

– За компотом вам, – отвечала она обрывисто и исчезла за своею дверью.

Он уронил голову на грудь и нежданно заплакал.

Громкий вздох, как в отклик этим слезам, вырвался из угла, в котором по обыкновению поместился Никанор Ильич Ранцов. Жена его повела в ту сторону своими карими глазами и приподняла плечи.

Так прошло несколько времени.

– А что же сладкое батюшке? – вспомнила Ольга Елпидифоровна. – Спросите! – обернулась она к мужу.

Он было встал, когда из двери, ведшей в гостиную, выступил Федька с миской компота, покрытою стеклянным колпаком.

– Приказали подать, – проговорил он, ставя ее на стол пред Акулиным, широко улыбаясь и словно вопросительно глядя на «распрекрасную барыню».

– Кто приказал? – быстро спросила она.

– Анфиса Дмитревна.

– А сама она где?

– Вышли-с. Угорели оченно, говорят, – отвечал «малый» шепотом и лукаво подмигивая ей.

– Ступай вон, хорошо! – гневно вымолвила она на это. – Хотите сладкого, папа, я вас накормлю? – молвила Ольга Елпидифоровна, подходя к отцу.

– Ан… фи… сушка! – протянул плаксиво он, не подымая головы.

– Она на минуту вышла, придет… Хотите кушать, я могу за нее, папа…

– Я… спать… хочу… Анфис… – залепетал несвязно недужный, валясь головой в подушку.

Ранцов торопливо вскочил со своего места и подбежал к его креслу.

– Не хуже ли ему, Олечка, Боже сохрани! – тревожно проговорил он ей на ухо.

Она наклонилась:

– Нет, дышит ровно, лицо не красно… Уснул опять… Пойдемте!..

– Не послать ли за доктором? – спросил он ее уже в гостиной.

Она остановилась у окна и забарабанила ногтями по стеклу, глядя на двор:

– Отчего же, пошлите… если только застанут… Никанор Ильич двинулся – и остановился:

– Олечка! – не совсем твердым голосом начал он.

– Что? – спросила она, не переменяя положения.

– Ты уж очень строга, Олечка!..

– А вы не понимаете ничего! – отрезала она, всем телом на этот раз обернувшись к нему. – Это *она* его до этого довела; в его лета, с его корпуленцией, и *такая* женщина!..

Ранцов открыл большие глаза, поник головой и отправился в переднюю искать Федьку. Он послал его за доктором в карете, которую нанял с утра для жены.

Доктор жил недалеко, был дома и тотчас же приехал. Он был еще не старый человек и любопытствовал увидеть скорее красавицу-дочь своего клиента, о которой тот постоянно говорил ему. Она произвела на него весьма чарующее впечатление, и он, что называется, тотчас же *заегозил,* чтобы в свою очередь вызвать в ней мнение о себе как о человеке воспитанном и даже светском; ввернул в разговор несколько французских, правильно произнесенных фраз, два-три очень ученых медицинских термина и при этом улыбался самым приятным образом, глядя на нее сквозь щегольски оправленные золотые очки. Он вошел вместе с нею в спальню, довольно долго стоял над спавшим больным, осторожно притрагиваясь к его голове, щупая пульс и следя по часам за скоростью его дыхания. Проделав с подлежащею серьезностью лица всю эту свою процедуру, он поднял глаза на красивую барыню и повел раза два головой в виде ободрения ее, а затем, вернувшись за нею в гостиную, объявил, что он не видит никакого изменения против вчерашнего, что замечается даже некоторое как бы стремление к улучшению в общем состоянии организма и что если не представится каких-нибудь новых осложнений…

– Послушайте, – перебила его поспешно Ольга Елпидифоровна, – un médicin est un confesseur, говорят; я поэтому буду говорить с вами совершенно откровенно. Вы лечите моего отца с начала его болезни и потому, верно, заметили, что при нем тут женщина…

– *Анфисушка?* – протянул он тонко и насмешливо.

– Да. Вы, конечно, поняли, какую… роль она играет у него?

Доктор улыбнулся одними углами губ и поправил молча свои золотые очки. Ранцова продолжала:

– Он к ней, видимо, чувствует одну из тех старческих страстей, которые всегда, вы лучше меня должны это знать, имеют самые дурные последствия… Я думаю, что и самый удар у него просто… от этого был… Вы как находите?

Доктор слегка покачался на своем стуле.

– Поражения такого рода, – уклончиво отвечал он, – могут несомненно, в числе множества других, происходить и от такой причины… В настоящем же случае, ввиду общего, так сказать, апоплексического предрасположения субъекта, я не почитал нужным констатировать, произошло ли это именно от такого повода, тем более…

– Тем более, – прервала еще раз его собеседника, – что *она* всегда тут, и что вы не могли при ней говорить с больным как следует?..

– Конечно… и это… – проговорил он несколько рассеянно, глядя на нее и любуясь подвижностью и оживлением ее красивых черт.

– И, кроме того, я – да и не я одна – он сам, мы имеем причины весьма сомневаться в ее… бескорыстии, – молвила вполголоса, наклоняясь к нему, Ольга Елпидифоровна – понимаете?

Доктор закачал головой и процедил:

– Ска-ажите!..

– Так я поэтому и хотела вас спросить: думаете ли вы, что было бы полезно удалить эту женщину от больного… И чем скорее, по-моему, тем лучше.

– Он так привязан к ней, Оля, привык… – заговорил вдруг Никанор Ильич, бывший тут в комнате и все время молчавший.

– Я спрашиваю *доктора!* – резко ответила она на это, поведя на него разгневанным взглядом.

Врач, в свою очередь, повел глазами на нее, на Ранцова и тотчас же сообразил, что она мужу господин и владыка и что услужить такой хорошенькой и энергичной женщине столько же лестно было бы для него, сколько и расчетливо. Но чувство совестливости взяло верх над соблазном такой мысли.

– Конечно, – сказал он, – pour vous, madame, как дочери, очень неприятно, je comprends… И спустя некоторое время, когда мы… надеюсь, поставим вашего батюшку совершенно на ноги… удаление этой… особы действительно может быть полезно (он все время покачивался на стуле как бы в такт слов своих, держа сложенные ладонями руки меж прижатых колен). Но в настоящую пору, когда… когда болезненный процесс, так сказать, еще не разрешен

окончательно, такого рода, скажем, переворот в привычках, в обычном ходе жизни больного… был бы не совсем удобен. Надо избегать всякого повода к новому, скажем, потрясению организма… В этих расстройствах…

Ольга Елпидифоровна встала:

– Что же, – проговорила она, не давая ему кончить своей, надоедавшей ей речи, – нельзя, так нельзя! Оставим ее пока!.. Во всяком случае, очень вам благодарна, доктор, за откровенное мнение…

Она улыбнулась ему кисло-любезной улыбкой, кивнула и ушла в свою комнату.

Сконфуженный практикант вскочил со стула и взялся за шляпу.

– Не пропишете ли вы что-нибудь больному, доктор? – спросил, подбегая к нему, Ранцов.

– Нет, что же-с, я не нахожу перемены… Продолжайте капли… Честь имею кланяться!..

И он торопливо, с недовольным, несколько покрасневшим даже лицом, вышел из комнаты.

Никанор Ильич провел его до лестницы, громко вздохнул там раза два и отправился к жене спросить, желает ли она обедать теперь или позднее.

Она отвечала досадливым тоном – точно он в этом был виноват – что она, кроме чашки чаю, выпитого в вагоне, и кусочка шоколада, «ничего не имела во рту с утра и, *конечно,* есть хочет».

Он побежал распорядиться.

В столовой Ольга Елпидифоровна была приятно изумлена видом старинных, превосходной резьбы панелей из черного дуба, обрамлявших до высоты почти человеческого роста все четыре стены довольно пространной квадратной комнаты. Она видела такие панели у графини Бобрищевой в Петербурге и вспомнила тут же, как граф Наташанцев говорил ей про них «que cela a une grande valeur artistique». «Как же он будет удивлен, когда увидит такую же valeur у меня в столовой!» – мгновенно пронеслось у нее в голове вместе с мыслью: «Удивительный человек этот папа, откуда это он все добыть умел?.. Неужели в самом деле *всему этому* научила его эта «Анфисушка»?..

И вслед за этим, с обычною ей быстрою изменчивостью впечатлений, она тут же подумала, что теперь эта женщина… у которой в самом деле такие прекрасные «сиреневые» глаза и которая, конечно, весьма естественно думает о своем будущем… нисколько ей не опасна, что все деньги теперь в банке, а банковый билет заперт у нее, Ольги Елпидофоровны, в шкатулке, а насчет расхищения отцовских вещей она сумеет заранее принять надлежащие меры… «Я напрасно говорила о *ней с* этим доктором – к чему? au fond, в случае, если бы папа… не выздоровел, надо будет устроить cette pauvre femme qui a été a lui и так хорошо за ним ходила», – явилось даже нежданно венцом помышлений нашей барыни.

Она ужасно развеселилась вдруг, сознавая себя такою в одно и то же время и умною, и великодушною, и принялась кушать с большим аппетитом. Обед был очень вкусен и не тяжел, что еще более расположило ее к душевному благодушию. Муж сидел, понурясь, за столом против нее; он показался ей вдруг таким достойным сожаления и сочувствия. «Я ужасно гадкая была с ним сегодня, надо поправить», – решила она и стала «поправлять».

– Никс? – громко вдруг произнесла она, употребляя уменьшительное, придуманное ею в первые

дни замужества («Никанор такое мужицкое имя», – рассудила она тогда), и звук которого был теперь также редок в ее устах, как свет солнца в туманном Лондоне, как дождь в песчаных пустынях Сахары…

Ранцов даже вздрогнул от внезапной радости и поднял сиявшие глаза на жену.

– Никс, – повторила она, улыбаясь, – а что моя *Примадонна?*

– Здравствует, Оля, здравствует; я ей каждый день проводку делал и сахаром баловал в твое воспоминание.

Она поблагодарила его кивком и повела речь о Рай-Никольском, самом любезном для него предмете разговора. Он тотчас же пустился в подробнейший рассказ о том, что он там делал и думал делать для увеличения как дохода «экономии», так и крестьянских заработков. Она слушала его, одобрительно поводя головой и улыбаясь мягкою, ласковою улыбкой, которая привела Ранцова в самое блаженное состояние. Но это продолжалось недолго. Он стал глядеть на нее такими влюбленными глазами, что ей сделалось вдруг «гадко» (увы, страстные порывы бедного Никанора Ильича неизменно производили такое впечатление на его красивую супругу!). Она нахмурилась и, так как обед приходил к концу, встала из-за стола и, пройдя в гостиную, объявила ему, что она «хотела бы поговорить с этою женщиной, Анфисой»…

– На что она тебе теперь? – с внезапным страхом спросил он ее. – Не трогать бы ее уж, Оля…

– А кто же вам сказал, – живо возразила она, – что я ее хочу «трогать»? Я не обидчица всеобщая, кажется… Пожалуйста, позовите мне ее!

Ранцов поспешил повиноваться. Он ушел и долго не возвращался. Нетерпение начинало разбирать Ольгу Елпидифоровну.

– Ну, что же? – вскликнула она, когда он показался наконец в дверях гостиной.

– Да никак дозваться ее нельзя, – отвечал он, – и из буфета к ней дверь заперта, и с черного хода тоже; ворочал уж я, ворочал замком и тут и там – ни отклика даже…

– Дома нет, верно?.. Федька говорил тогда, будто она угорела и вышла…

– И вернулась, – возразил он, – он же сказал мне сейчас: прошла до кухни и назад… Разве вот чрез ту, дверь попробовать, из батюшкиной спальни…

Он отправился туда на цыпочках… Но и эта дверь оказалась запертою изнутри.

– Разгневаться изволили! – уронила, надув губы, красивая барыня.

– А я так думаю, Олечка, что заснула крепко, не слышит… Замаялась, ведь, и день и ночь на ногах…

– А батюшка все спит? – спросила она, помолчав.

– Спит.

Она встала и прошла в свою комнату. Он нетвердыми шагами пошел за нею.

Ольга Елпидифоровна взяла со стола привезенный ею из Петербурга роман и присела с ним к окну, но тут же бросила его на подоконник:

– Темно. Пора бы, кажется, и огня подать!

Никанор Ильич поспешно добыл из кармана спичечницу и зажег две стоявшие на столе свечи.

– А лампы разве нет в доме?

– Сейчас, Олечка, сейчас принесут!

Он вышел и вернулся с Федькой, который нес тяжелый карсель обеими руками. Он поставил его осторожно на стол, уставился на «распрекрасную барыню» и донес:

– Анфиса Дмитревна дома-с!

– Поздравляю тебя! – коротко засмеялась она.

– Сейчас в буфет приходили за спичками… Я им докладывал: все, мол, Анфиса Дмитревна, сам муж барынин искали, потому они вас к себе требуют, – Ольга Елпидифоровна то-ись.

– Ну?

Он, в свою очередь, теперь хихикнул в рукав.

– А они ничего не сказали-с; вернулись к себе в комнату и заперлись опять на ключ.

Она вся вспыхнула:

– Хорошо, ступай! – отрезала она и большими, гневными глазами уставилась на мужа.

Он опустил свои в землю.

Ольга Елпидифоровна схватила книжку своего романа за отвернутый угол, притянула ее к себе, разложила и, упершись о стол обоими локтями, погрузилась в чтение.

Так прошел час или два. Она читала. Ранцов курил в неосвещенной гостиной, усевшись так, что мог оттуда видеть жену в отворенную к ней дверь, и тихонько вздыхая от времени до времени. Глубокая тишина воцарилась в доме; лишь кое-где в углу стены шелестели срывавшиеся песчинки мусора под обоями, или половица еще свежих паркетов издавала глухой треск. Когда несколько утомленная пестротой печатных строк молодая женщина отводила наполовину глаза свои от книги, пред нею вдали чрез комнату мерцали досадливыми ободками света две свечи под зелеными абажурами, зажженные, по заведенному обычаю, Федькой на столе у одного из окон спальни больного. Этот убогий свет, в продольной линии которого слабо вырисовывались из общей теми очерк уха и коричневатый рукав одиноко и безмолвно сидевшего под углом ее зрения мужа, раздражал ее, и она снова поспешно устремляла зрачки в лежавший пред нею *Affaire Clemenceau* Дюма-сына. Роман был увлекателен, но она чувствовала невозможность отдаться, как бы хотела, его обаянию; сквозь интерес уносившего ее рассказа неустанно выпирало щемящее чувство этого глухого молчания, этого скорбного освещения, этого бедного влюбленного мужа, робко вздыхающего по ней «где-то там у окна», – сознание всей этой тоски, всей этой скуки…

– Никанор Ильич, – проговорила она вдруг громко, откидываясь затылком в спинку своего кресла, – который час?

Он быстро вышел к ней из своего мрака, вынул часы.

– Семь без четверти, Оля.

– А папа все спит?

– Спит… не слыхать…

– И долго он так, как вы думаете?

– К чаю, надо быть, Оля, проснется… Всегда говорят, к этому времени, часу в десятом… Ночью часто сна нет у него, а днем и до вечера всегда, говорят, как вот сегодня…

– Вы не отпускали карету? – спросила она, помолчав.

– На дворе она; я на весь день взял.

Она помолчала опять.

– Я обещала непременно этой madame Loukoianof приехать к ней вечером… Вы не рассердитесь? – примолвила красавица, взглянув нежданно на мужа чуть не нежным взглядом.

– Помилуй, друг мой, – залепетал он, схватывая ее руку и страстно прижимаясь к ней своими щетинистыми усами, – что ж тебе одной скучать! Поезжай, голубка моя, а я уж тут распоряжусь насчет всего…

– Да, да, пожалуйста… И вот что: устройте, чтобы все по-прежнему, как привык папа, чтобы эта… Анфиса подала ему чай и оставалась при нем, сколько нужно… Ведь вы тут же будете?

– Конечно, тут, Оля, куда же мне! Не беспокойся, я уж постараюсь, чтобы все как следует…

– Ну и прекрасно!.. Пошлите мне Амалию одеваться!

Через час наша петербургская дама, в demi-toilette модного тогда цвета bordeaux, с кружевною наколкой на гладко причесанных волосах и с темным веером в обтянутой серою перчаткой руке, прошла из своей комнаты в спальню отца, поглядела на него, как бы для убеждения себя, что он действительно спит и, следовательно, не нуждается в ней, и затем направилась в переднюю. Ранцов поспешил за нею.

– С тобою, Олечка, мой Сергей поедет, я его привез с собой из Никольского.

– Без ливреи! – вскликнула она. – Так я его и возьму!..

И, закутавшись в шубу, вышла на крыльцо.

– Дом Лукояновых на Арбате, знаешь? – спросила она у возницы подкатившей кареты.

– Как не знать-с? – самодовольно произнес он со своих козел. – Нам по Москве все дома господские известны.

– Ну так и вези туда! Adieu, Никс! – послала она в виде конфетки на прощанье подсаживавшему ее мужу – и уехала.

Ранцов вернулся в дом. Акулин все еще не просыпался. Никанор Ильич вынес из своей комнаты (кабинета Елпидифора Павловича) привезенные им из деревни счетовые книги, разложил их в гостиной на столе, перенес туда свечи из комнаты жены и принялся проверять

итоги по винокуренному заводу, внимательно прислушиваясь вместе с тем к малейшему шороху, чудившемуся ему в покое недужного.

Много времени прошло таким образом… Но вот из спальной донесся до него звук продолжительного зевка и вслед за тем звон колокольчика.

Он вскочил и устремился туда.

– Что, батюшка, проснулись? – спрашивал он, подбегая к больному. – Что, как вам?

Елпидифор Павлович сидел выправившись в своем кресле и глядел на него бодрым взглядом.

– Ничего, выспался… Поздно?

– Десятый в начале.

– Во как хватил! – засмеялся он слегка. – Чай пить пора!..

– Я сейчас прикажу.

– Ты скажи Анфисе: у нее всегда вовремя готово…

Никанор Ильич зашагал к двери «экономки»… Она по-прежнему была заперта замком изнутри.

– Анфиса Дмитриевна, – проговорил он, наклоняясь к щелке, сквозь которую пробивалась струйка света, – Анфиса Дмитриевна, батюшка чаю просит!..

– Сейчас! – послышался чрез несколько секунд неторопливый ответ ее.

– Что она говорит, что? – заволновался в своем кресле Акулин.

– Сейчас, говорит, подадут, – ответил Ранцов.

– Скажи, чтоб сама шла сюда, чтоб сама! – нетерпеливо закомандовал больной.

Тот наклонился опять к замочной скважине:

– Батюшка просит вас, Анфиса Дмитриевна, самих прийти сюда.

– Хорошо, приду, – отвечала она все так же неспешно.

Но дверь по-прежнему не отворялась, а из дверей гостиной выступил Федька, держа в одной руке поднос с двумя налитыми стаканами и корзинкой в другой, с лежащими в ней сайкой и грудой сушек. Все это он опустил на столик подле кресла барина и, отступив от него затем на несколько шагов, стал в выжидательную позу, заложив руки за спину.

Больной вдруг страшно закипятился:

– Что это такое, что это за чай! Разве я так пью! Где кипяток, где чайница?.. И зачем ты… зачем *ты*!..

– Не могу знать-с, приказали мне подать, – возразил ухмыляясь «малый».

– Кто приказал? кто приказал? болван ты этакой…

– Известно кто-с: Анфиса Дмитревна приказывали.

Елпидифор Павлович конвульсивно заметался в подушках:

– Не смей, не смей!.. Вон, мурло дурацкое, вон, мерзавец, и чтобы не смел ты никогда входить ко мне!.. Анфиса, Анфиса! – кричал он, уже не помня себя.

Федька испуганно скрылся… В то же время щелкнул замок в двери Анфисиной комнаты, и сама она появилась на ее пороге.

– Что это вы криком-то кричите, Елпидифор Павлыч? – проговорила она своею певучею московскою интонацией. – Только себе вредите.

Он разом смирился, завидев ее; щеки его запрыгали от волнения, глаза заискрились радостным блеском.

– Ты не сердись, Анфисушка, – залепетал он, – сама видишь, без тебя и порядку никакого нет…

Она, не отвечая, поглядела на него с места и медленно закачала головой.

– Да что ты там стоишь? Подойди ты сюда, скажи слово!

Она двинулась и остановилась у стены, насупротив него, все так же не разжимая рта.

– Не видать мне тебя отсюда, темно, – заволновался снова недужный. – Никанор Ильич, родной, подай сюда свечи!

Ранцов пошел за ними к окну и поставил их на стол, на котором стыл поданный Федькой чай.

Елпидифор Павлович поднял здоровую руку и лихорадочным движением сбросил с них зеленые колпачки. В разбежавшемся свете вырисовалась на темном фоне обоев стройная фигура «экономки», со строгим выражением на бледном лице.

– Что ты молчишь все, Анфисушка? – тоскливо заныл он, тяжело приподнимаясь на своем кресле и подаваясь телом вперед, чтобы лучше рассмотреть ее. – Сердишься ты, что ли? За что? Говори, не томи ты меня, Христа ради!

Она еще раз закачала головой и громко вздохнула:

– Было времячко, да прошло; пели пташечки, да слетели. Не Анфисушка я вам, Елпидифор Павлыч, ни что… Была хороша, а теперь не нужна стала, Бог с вами!

– Да что это ты говоришь, что! – со страшным перепугом воскликнул он.

– Что говорю? – бесстрастно отвечала она. – Известно что… Прощайте, счастливо вам оставаться!..

– Да ты… с ума… сошла… ты…

Язык его путался.

– Успокойтесь, ради Бога, батюшка! – тревожно заговорил Ранцов, быстро наклоняясь к нему и обнимая его за спину. – Я, право, не знаю, что это вздумалось Анфисе Дмитриевне…

– И ничего мне не «вздумалось», барин, это вы напрасно, – проговорила она на это с холодною усмешкой, – а только что без меня *вернее,* говорят, будет, и сами вы себе спокой найдете, и все…

Ранцов покраснел до самых волос:

– Если вы насчет того, что жена моя могла сказать, – заторопился он возразить, – так вы не так, поверьте слову, поняли, Анфиса Дмитриевна… Потому она и сейчас вот, как уезжала, говорила мне, чтобы непременно попросить вас к батюшке, по-прежнему чтоб… Она очень хорошо понимает, что он привык к вам… и вы, так это хорошо все… Она понимает, поверьте, а что если она иной раз скажет по живости своего характера, так вы не обижайтесь на нее, очень прошу вас, потому она, поверьте, самая прекрасная по душе женщина.

Она дала ему договорить, пристально и с какою-то презрительною жалостью глядя на него.

– Вам лучше знать про них, барин, – промолвила она нараспев, – недаром, знать, мужем ее прозываетесь. А мне что ж на них обижаться! Коли б еще ровня! А то ведь не по одной дорожке бежим, но из одной миски хлебаем. Как знают, так пусть и политику свою ведут… А я тоже свою честь понимать должна…

Она отделилась от стены и поклонилась больному глубоким поклоном:

– Простите, Елпидифор Павлыч, если в чем согрешила вам!.. А впрочем, четыре годика прожили вместе, не жаловались ни разу… Счастливо вам оставаться! Кому прикажете хозяйство завтра сдать?

Он слушал ее оторопело, с широко, судорожно раскрытыми глазами, не разумея, видимо, ничего из выслушанного им разговора, кроме того, что она покидает его, уходит…

– Да ты что, обезумела? – забормотал он опять, дрожа всем телом и судорожно кривя побелевшие губы. – Я… я не хочу… Я не пущу тебя!.. Не смей!..

Она надменно глянула на него:

– Я вам не крепостная, Елпидифор Павлыч! Вольная я птица, вдова купецкая, куда хочу, туда и иду.

– А! – взвизгнул он вдруг отчаяным кликом, как бы внезапно вспомнив. – Ты к Степке к этому, к подлецу Торженкову!..

– А и опять моя на то воля, к нему иль не к нему! – слегка побледнев, ответила она на это и направилась к своей двери.

– Анфиса!..

Она и ухом не повела на этот стон, на этот хрип…

– Анфи…

То был какой-то уже не человеческий голос, она вздрогнула и обернулась.

Голова Елпидифора Павловича валилась безжизненным мешком через ручку кресла, вниз, на руки едва успевшего подставить их пораженного ужасом зятя…

XI

Une fois que la chimère est née, ils la recueillent chez eux comme un passetemps de salon; ils jouent avec le monstre encore petit; ils n'imaginent pas qu'il puisse jamais devenir une bête enragée et formidable.

Taine. Ancien régime.

Марья Яковлевна Лукоянова принимала по пятницам в своей большой, полукруглой гостиной, украшенной теми двумя неизбежными колоннами, оштукатуренными под мрамор, без которых, как известно, не могла обойтись ни одна гостиная в московских городских домах, построенных после пожара Двенадцатого года. По случаю возвращения своего из Петербурга (о чем заранее известно было ее знакомым) и названных ее в гости вагонных своих спутников она отдала приказание, помимо двух стоявших ламп, освещавших в эти дни комнату, зажечь еще пару из дюжины старинных, полинялого зеленого цвета с золотом *кенкетов,* висевших, очевидно, кругом ее стен более в видах украшения, чем практической пользы. *Кенкеты* чадили немилосердно, и хозяйка уже два раза высылала с ними красноносого Архипа «промыть их, вычистить и новыми фитилями заправить», на что он злобно возражал ей, унося их, что «они с самого царя Гороха *не воздержны,* потому в них жесть давно прогнила насквозь, а не то чтоб фитиль, али мыть»… Сама она, сидя на диване, массивная, *простоволосая* (чепцов на себе она дома не терпела), с огромным, твердым, похожим на кирасу корсетом, подымавшимся чуть не до горла и заканчивавшимся чуть не у колен ее, играла в шашки со стоявшим против нее на табурете по другой стороне небольшого столика карликом Памфилом Иванычем, при чем щелкала его легонько по крохотному носу, когда он проигрывал (выигрыш свой, определенный в две копейки ассигнациями за партию, Памфил Иваныч каждый раз аккуратно вписывал своими детскими ручками в книжечку с карандашиком, которую вынимал с лукавою улыбочкой из бокового кармашка своего чистенького сюртучка). За нею, в глубине, образуемой впадиной окна в толстой стене, сидела приживалка, горбоносая старая дева, грузинского происхождения, Катерина Борисовна Амилахвари, полуседая, с огромными коровьими глазами, в темной юбке и большом шерстяном платке, повязанном накрест по широкой, отвислой груди, и вязала чулок. Пред нею стоял старинный наш знакомый Шигарев[8], все так же продолжавший разыгрывать шута в московском обществе, и занимался дразнением ее. Дразнение состояло в том, что он заводил с нею речь о первом попавшемся предмете, но непременно в вопросительной форме, и что бы ни ответила она, он вытягивал длинное лицо и произносил тоном чрезмернейшего удивления:

«Браво, брависссимо,
Катерина Борисссссовна!»

На что она, в свою очередь, неизменно фыркала в отместку: «А ты – рыжий пес!», хотя Шигарев никогда рыжим не был, а в настоящую пору был даже лыс, как тыква, и походил всегда гораздо более на пигалицу, чем на благородное животное, именуемое псом. Александра Павловна на противоположном конце залы сидела за круглым столом с Ашаниным и рассеянно улыбалась какому-то его рассказу.

Он, в нетерпеливом чаянии новой встречи с Ольгой Елпидифоровной Ранцовой, приехал спозаранку к Лукояновым и застал обедавших у них Шигарева и племянника покойного мужа Веры Яковлевны, Иринарха Овцына, молодого человека, с которым мы не замедлим познакомить читателя.

Почти по самой средине комнаты, между двух ее колонн, стояли длинные пяльцы, наполовину прикрытые простыней. По открытой части натянутой канвы быстро двигались, вышивая какой-

то пестрый ковер, длинные пальцы сидевшей за этой работой молодой девушки. Она была почти полголовой выше Александры Павловны, несколько еще худа и нескладна, хотя ей уже минуло девятнадцать лет, и широкий склад ее плеч говорил о несомненном пышном развитии ее организма в весьма недалеком будущем. Русые волосы, с тем особым каштановым оттенком, который англичане называют auburn, собраны были в одну огромную косу над белою, высокою и тонкою шеей. Глаза были у нее совсем почти зеленые, холодные, – какие-то пронзающие и недосягаемые вместе с тем глаза, – которыми она, казалось, могла как ясновидящая сквозь стену читать в душе других, но которые не давали никоим образом другим проникнуть в свою очередь в ее душевную глубь. Выдавала она себя, как арабская лошадь, лишь говорящим движением своих подвижных, тонких до прозрачности ноздрей да высокомерным очерком красивых, твердо вырисованных и, видимо, неохотно открывавшихся губ… Ее мало обычный, почти странный облик мог многим не нравиться, но никто бы не прошел, не заметив ее… Девушка эта была княжна Кира Никитишна Кубенская, двоюродная сестра «Сашеньки».

Против нее сидел Иринарх Овцын, господин лет двадцати трех, с белокурыми жидкими волосами, зачесанными за уши, белым бескровным лицом и несколько подслеповатыми серыми глазами, с заметною опухолью кругом век. Черты его были довольно правильны и недурны, но судорожное выражение, казавшееся присущим его длинным, узким, то и дело подергивавшимся губам, давало общему характеру его наружности нечто как бы злое и ехидное. Росту он был среднего, худощав; одет был и держался с намеренною, казалось, небрежностью и нескрываемою презрительностью ко всему окружающему.

– С одной стороны, сила и энергия молодого поколения, с другой – немощь и тупоумие отживающего старья – выбор, кажется, не труден! – говорил он девушке, покачиваясь на стуле, негромким и самоуверенным голосом в заключение какой-то предыдущей, пространной, по-видимому, проповеди.

Он вытащил из бокового кармана своего сюртука смятую папироску, расправил ее костлявыми пальцами, с сизыми оконечностями обгрызанных ногтей, и потянулся с места закурить ее к шандалу, стоявшему на пяльцах княжны.

– Нет, ты, пожалуйста, уж это оставь! – крикнула ему Марья Яковлевна, заметив его движение.

– А почему так?

Он обратил на нее недовольные глаза.

– Потому что у меня здесь не курят.

– Вот что!

И он хихикнул:

– Стеснение личной свободы, значит?

– Ах, батюшка, – расхохоталась она, – да я-то в своем доме хозяйка, кажется!

– Что ж, пользуйтесь… пока не отняли, – примолвил Овцын с тем же ядовитым хихиканьем, но понижая голос, и взглянул избока на безмолвную Киру.

– Что ты там мурлыкаешь, что? – крикнула ему опять с места Марья Яковлевна.

Он не успел ответить.

Еле слышными шагами вошла в комнату худенькая, невысокая, лет за тридцать, женская особа в темном платке на плечах, кисейном чепце с оборками, охватывавшими вплотную ее увядшее, чрезвычайно добродушное и несколько слезливое лицо, и с туго набитым мешком на руке. Она, точно скользя по паркету, торопливо и робко кивая по пути направо и налево, подошла к хозяйке и, не говоря ни слова, поцеловала ее в плечо.

– Лизавета Ивановна, – воскликнула та, – что это вас так давно не видать? Мы и в Петербург успели съездить с тех пор.

– Слышала, ангел мой (она произносила не *ангел,* а «анделъ»), слышала… А я у Троицы побывала, сегодня вернулась только…

Марья Яковлевна засмеялась:

– Сердце не камень, на владыку лишний раз воззрится ездили, – он там ведь теперь?.. Ну, садитесь, рассказывайте!

Она грузно двинулась на своем диване, указывая вошедшей подле себя место. Лизавета Ивановна присела на краешке и улыбнулась кроткою и счастливою улыбкой:

– Сподобилась, как же, матушка Марья Яковлевна, сподобилась! От *самого* благословение имела счастье получить, – заговорила она вполголоса, растягивая и удлинняя слова от удовольствия, которое видимо производили они на нее, – до слез, андел мой, до слез умилена была… Велелепие-то какое, благочиние, и словами не сказать! А как двинулся он это, идол мой, после службы, идет весь в золоте, голубчик, на голове митра так и сияет; диакона его два в облачении под мышечки ведут, а у самого ручки-то такие маленькие, интересные, косточки одни, ну мощи, милая, как надо быть мощи… Как увидала я его, старца моего святенького, не смогла просто, андел мой, Марья Яковлевна, впала ему прямо на путь в ноги: «Благослови, говорю, владыка, меня грешную!..» Он, идол мой бесценный, поглядел на меня так ласково, возложил на чело мое знамение и тихонько так, – голосок-то слабенький, как у комарика: «Встаньте, говорит, пропустите!» А я уж и не могу, милая, заливаюсь, ну просто так и льет, так и льет из меня слеза… Просвирочку вам, андел мой, привезла, – прервала себя Лизавета Ивановна, смахивая верхом руки навернувшиеся у нее при этом воспоминании новые слезы и поспешно развязывая свой мешок, – подавала за здравие ваше и барышни нашей многоценной, – промолвила она уже громко, улыбаясь чрез комнату сидевшей на другом конце залы и дружески кивавшей ей в свою очередь Сашеньке.

– Спасибо вам, милая, спасибо! Ведь никогда не забудет… – говорила Марья Яковлевна, принимая от нее просфору.

Та поцеловала ее в плечо еще раз и поднялась с места:

– Ну, а теперь я с сокровищем моим поздравствоваться, – усмехнулась она опять своею кроткою улыбкой и поплыла, перебирая быстро маленькими, худыми ногами в сторону Александры Павловны. Она замедлила шаги, проходя мимо княжны Киры, и почтительно поклонилась ей.

– Благодати масла и ладона отведали всласть, а? – отпустил ей чрез спину Овцын, прислушивавшийся, кривя губы, с места к разговору ее с теткой.

– Что ж, батюшка, Иринарх Федорович, – краснея и как бы испуганно останавливаясь на ходу, возразила она, заикаясь, – разве что в этом дурно?.. Сказано: *храм Мой храм молитвы наречется…*

– Как тебе не стыдно, Иринарх! – быстро молвила Сашенька, вставая с места и идя с протянутыми руками навстречу маленькой особе.

Княжна Кира подняла свои зеленые глаза, остановила их на миг на кузине и опустила их опять с тем же непроницаемо холодным выражением.

– А помнишь ты, Ира, – раздался неожиданно из глубины окна звучный бас грузинской девы Амилахвари, – помнишь, как за грубость твою высекла тебя при мне раз матушка твоя покойница, Анна Ивановна, царство ей небесное?

– Видно, мало! – отпустила к этому так же громко Марья Яковлевна.

Овцын, не удостаивая их взгляда, отчеканил медленно и внятно, продолжая относиться к сидевшей против него княжне:

– Давно пора весь этот безобразный порядок смести с лица земли!

– Мети, батюшка, мети, тебе здорово! – расхохоталась хозяйка, *фукая* шашку у проглядевшего Памфила Ивановича, – веники хоть на мой счет покупай, жертвую!

Княжна Кира чуть-чуть повела углами губ, но никто бы не мог сказать, словам ли Овцына или ответу тетки выражала сочувствие ее немая улыбка.

– И все-то из-за меня грешной, Господи! – с болезненным выражением на лице и сжимая нервно руки, прошептала Лизавета Ивановна, растерянно глядя на Сашеньку, усадившую ее подле себя и Ашанина.

– И нисколько! – успокоительно молвил ей на это Ашанин. – Будто вы не знаете, что Марья Яковлевна и так при всяком случае жучит его и старается из него дурь выбить.

– Мне это нисколько не нравится, впрочем, – и Александра Павловна, вздохнув, закачала головой, – Иринарх еще более раздражается и путается в этих своих… идеях… Я боюсь, что из него ничего не выйдет…

– А вы питали еще надежду? – рассмеялся он. – Но что в нем находит занимательного Кира Никитишна, хотел бы я знать; он вечно к ней пристроится со своими проповедями, а она слушает!..

Александра Павловна с мгновенною морщинкой на лбу медленно пожала плечами… и вдруг слегка вздрогнула, приосанилась и вся обернулась взглядом на дверь в соседнюю комнату, из которой долетел до нее легкий шум чьих-то мужских неспешных шагов.

Кира Кубенская подняла еще раз глаза и устремила их по тому же направлению.

Стройный, красивый, с папахою под мышкой, обтирая тонким батистовым платком свои еще влажные от мороза усы, вошел Троекуров.

– Вот это мило, по-нашему, по-московски, – радостно заголосила, завидев его, Марья Яковлевна, – а то я боялась, вы, по обычаю вашего петербургскаго grand genre, вздумаете за полночь приехать ко мне, когда у нас добрые люди давно в постелях.

– Я приехал, как вы приказывали, – отвечал он с подлежащею светскою улыбкой.

– Вот и прекрасно! Садитесь пожалуйста!.. Надо вас познакомить со всеми… Сашеньку и

Владимира Петровича вы знаете. А это племянница моя, княжна Кубенская.

Троекуров отвесил девушке глубокий поклон.

Она внимательно поглядела на него, отвечала коротким кивком и, опершись затем головой об руку, принялась с какою-то иронической поощрительностью глядеть на тетку, как бы говоря: «Ну, ну, продолжайте это ваше забавное называние, где не мужчину даме, а даму мужчине представляют»…

Овцын, в свою очередь, насмешливо улыбаясь, встал и заходил по комнате.

Расходившаяся Марья Яковлевна продолжала:

– Алексей Федорович Шигарев, старинный наш приятель… А это племянник мой по мужу, Овцын, – сказала она, указывая на него, – большой забавник, – сочла она нужным прибавить от избытка блаженных чувств, – зол на весь мир, предваряю вас.

Тот, закусив побледневшие губы, круто повернул на каблуках и воззрился в лицо Троекурову:

– Точно так-с, фамилия моя – Овцын, но овечьей кротости в себе не питаю!

Кавказец, безотчетно сжав брови, серьезно поглядел в свою очередь ему в лицо.

– Бодает! – скорчив гримасу, отпустил Шигаров. – Из Овцыных в Козловы просится.

В стороне от говоривших послышался будто какой-то мышиный писк: сочувственно смеялся обрадованный карлик Памфил Иванович.

– В Козловы готов, но никак не в паяцы! – отрезал Овцын, вызывающими глазами глядя на зубоскала.

– Иринарх Федорович! – раздался вдруг твердый и чистый голос Киры. – Оставьте! Сядьте ко мне!

Он подошел и опустился на прежнее место с дрожавшими еще от гнева и торжества губами.

Марья Яковлевна гневно поглядела на них, готовясь, надо думать, отпустить опять колкость, – на сей раз и по адресу племянницы, когда в комнату вступило новое лицо.

Это был известный в те дни всей Белокаменной Фифенька Веретеньев, светский жуир, заменивший давно переселившегося на службу в Петербург Чижевского[9] в должности Vortänzer'а московских балов, дирижировавший ими повсюду, в «maisons huppées», как на купеческих свадьбах (Фифеньку «нанимали» бородачи на эти торжества, уверяли злые языки), облекаясь в эти дни в сочиненный им особого рода фрак с обтянутыми белым атласом обшлагами и подбойкой, – добрейший и беспутный малый, безбоязненно говоривший по-французски, как испанская корова, и вообще безграмотный, как семилетний школьник; находивший средство проедать и проигрывать тысяч пятнадцать в год на мифический капитал какого-то, никогда им самим невиданного, костромского леса, «который», утверждал он, «под Москвою стоил бы по крайней мере пятьсот тысяч», но, к несчастию, находился в таких местах, где и гроша медного за это добро никто ему дать не хотел; доживший тем не менее без печали в этих условиях до сорокалетнего возраста и мечтавший теперь, для увенчания своей карьеры, «подцепить какую-нибудь миллионную приданницу из Рогожской», над раскольническими учреждениями которой состоял он одно время, по милости влиятельных

сестриц, смотрителем от правительства. Таково было общественное положение Фифеньки, самого популярного в ту пору персонажа в Москве.

Красный, хохочущий, с двумя недоставшими у него спереди зубами, вбежал он в комнату, пришепетывая и присвистывая в пустое отверстие этих зубов и махая от входа хозяйке обеими руками:

– Марья Яковлевна, даму вам привез, une femme… quelle encore! (то-есть в вольном переводе: «Какая еще!»). Первый сорт, из Петербурга… На Воздвиженке еду в санях, смотрю: на боку карета, колесо отлетело. Я сейчас: «стой!» кричу, выскочил; слышу женский голос: «Выпустите меня, ради Бога!» Я ей: «Madame, – говорю, отворяя дверцу, – soyez si bon, sortez». А она как вышла, я так и крикнул: «Ольга Елпидифоровна, déesse! Как вы здесь, куда?» А она мне говорит, что к вам… Скажите пожалуйста!.. «Asseyez, говорю, plus vite dans mes traineaux»…

– Вы ее привезли, madame Rantzof, где же она?

И Марья Яковлевна поднялась с места.

– В передней у вас обтирают ей платье; прямо ведь из кареты в снег выскочила…

– Саша, ступай скорее, прими! – поспешно молвила ей мать.

– А, Троекуров, mon cher, давно ли? – присвистывал тем временем Фифенька, кидаясь к нашему герою (он имел талант быть знакомым и на «ты» со всем миром) и принимаясь обнимать его. – Приедешь в клуб ужинать?.. Здесь дохлятиной кормят, – прошептал он ему уже на ухо.

В соседней комнате слышался звонкий голос петербургской гостьи:

– Нет, нет, merci, я никогда не простужаюсь, да и ног я совсем не промочила, на мне были меховые ботинки… Quelle aventure! – молвила она со смехом, появляясь на пороге залы и быстро кивая шедшей навстречу ей хозяйке. – Если бы не Фифи…

– Да, Филипп Андреич нам сейчас говорил… Не ушиблись вы? – заботливо допрашивала Марья Яковлевна.

– Нет, ни малейше, цела и невредима!

– А карета ваша что же?

– А, право, не знаю!.. Наденут колесо, приедет, вероятно; кучер знает куда…

– А если там сломано и нескоро поправить можно?.. Я тогда прикажу для вас мою карету заложить, – любезно предложила хозяйка.

– Ни за что! – вскликнула Ранцова. – Я в санях поеду; погода теплая.

Ашанин с поклоном и протянутою рукой быстро подошел к ней:

– У вас карета извозчичья?

– Да.

– Так это его долг приехать с этою или с другою каретой. Позвольте, я это сейчас устрою.

И торопливо, как бы с тем чтобы не слыхать возражений своей предусмотрительности, он вышел из комнаты.

Марья Яковлевна повела торжественно петербургскую даму к своему дивану (изящный туалет Ранцовой производил на нее невольно импонирующее впечатление) и усадила подле себя, сказав при этом Памфилу Ивановичу, продолжавшему все так же стоять на своем табурете у шашечного стола: «Убирайся, будет!»

Ольга Елпидифоровна обняла быстрым взглядом старушечий чепец на голове Лизаветы Ивановны, сморщенное как старое яблоко лицо карлика, восточную физиономию приживалки с чулком и повела его, прищурясь, на сидевшаго тут же Троекурова: «Москва pur sang, не правда ли?» – говорил этот насмешливый взгляд. Но глаза его не отвечали на ее вопрос. Ему досадно было присутствие самой ее здесь, да и занят он был совсем не тем… Он с каким-то враждебным и осторожным любопытством поглядывал со своего места на «странную» девушку, склонившуюся над пяльцами посреди залы. Его покоробило и от небрежного кивка ее на его поклон, и от «неучтивой выходки» ее в поощрении «этого длинноволосого мусьяка», – и он безотчетно старался теперь прочесть в чертах ее лица смысл и повод всего этого. «Не вульгарность это, не mauvaise éducation, – говорил он себе, он чутьем это чуял и понимал своим долгим светским опытом, – а что-то крайне независимое, надменное и презрительное. Она, видимо, глубоко убеждена в превосходстве своем надо всем, что здесь. Откуда это, с какого права?..» Но ничего прочесть он не мог: девушка не отрывала глаз от своей работы и только иной раз, казалось издали Троекурову, выражала чуть заметным движением головы одобрение или сочувствие тому чему-то, что, наклоняясь к ней чрез пяльцы и подергивая губами, говорил ей Овцын.

А про нее в то же время зашла речь между хозяйкой и гостьей. Он стал прислушиваться.

– Qui est cette jeune personne? – пожелала узнать г-жа Ранцова, обратившая тотчас же внимание на необычайную наружность той, которая занимала самого его в эту минуту.

– А это племянница моя родная, брата моего покойного дочь, сирота, княжна Кубенская.

– Она точно une jeune reine, – молвила улыбаясь петербургская барыня, – между этими двумя колоннами, dominant l’alentour, серьезная такая, важная…

– Д-да, – не сейчас и сквозь зубы молвила на это Марья Яковлевна, – царицей себя держит… Привыкла!.. Про брата моего, князя Никиту Яковлевича, верно, слышали? – спросила она через миг.

– Он в Сибири генерал-губернатором был?

– Пятнадцать лет целых царствовал там… Она там и родилась… С женой он всего только два года прожил, умерла она, оставя ему эту девочку… Как выросла, так у него и принимала, и всем домом, почитай, всем краем ворочала, когда он болеть там стал…

– Ах, Боже мой, – воскликнула Ольга Елпидифоровна, – я теперь вспоминаю: я их видела в Баден-Бадене тому два года.

– Да, ноги отнялись у него, он тогда должность оставил и поехал с нею за границу.

– Я встречала их там в allée de Lichtenthal, всегда вдвоем; его возили в колясочке, а она рядом идет в широкой соломенной шляпе… Я бы ее, впрочем, не узнала… Они ни с кем там не знакомились, ни у кого не бывали…

Марья Яковлевна только головой качнула.

– Давно она у вас живет? – вмешался в разговор Троекуров.

– Да вот, как брат помер. Я сейчас же ей написала… Куда ж ей было, окромя как к тетке родной! Привезла ее мне тогда швейцарка, компаньонка; второй год с тех пор пошел…

– Отец оставил ей состояние? – спросила довольно безцеремонно Ранцова.

Марья Яковлевна пожала плечами:

– Монеты какие-то да камни; охотник был до них покойный. А окромя этого хлама ни гроша медного. Все там в Сибири прожил… Положил ей Государь две тысячи пенсии в год до замужества, да единовременно три тысячи из кабинета ей прислали: вот и все наследство у нее!..

– Познакомьте меня пожалуйста с ней, chère madame!

– Ах, виновата, я вам не представила… Кира! – громко крикнула г-жа Лукоянова.

Девушка приподняла голову от канвы и медленно обернула ее на тетку. Ноздри ее словно оскорбленно дрогнули и расширились…

– Что вам угодно? – произнесла она своим отчетливым голосом.

– Поди сюда, я хочу тебя представить madame Ranzof…

Ольга Елпидифоровна вскочила с места:

– Ne vous dérangez pas, princesse! Позвольте мне поглядеть на вашу работу…

Она подбежала к пяльцам, схватила и стиснула руку Киры и заговорила о том, что она два года тому назад «любовалась ею» в Бадене, но что княжна, верно, и не заметила ее, а она так рада теперь, так рада случаю познакомиться с нею…

Зеленые глаза княжны пристально остановились на расточительнице этих любезных слов:

– Благодарю вас, – промолвила она, – но знакомство со мною никому не может доставить удовольствия.

– Это почему? – воскликнула наша барыня.

Что-то вроде улыбки сложилось на характерных устах Киры.

– Почему? – повторила она. – Потому, что я дикая.

Та сочла долгом рассмеяться:

– Вы, то есть, хотите сказать, что вы *дичитесь* нас грешных? Это совсем другое дело. И я позволю себе спросить вас тогда, за что такая немилость?

– Я говорю то, что говорю, – отвечала протяжно на это девушка.

– Из чего же вы заключаете то, в чем вы никогда не уверите меня? – продолжала все с тою же

любезностью ее собеседница.

– Я себя знаю, а вы меня не знаете.

«Да, с нею трудно!» – подумала Ольга Елпидифоровна. Она наклонилась к пяльцам и спросила:

– Кому вышиваете вы этот прелестный ковер?

– На могилу на одну, – отвечала, помолчав и видимо нехотя, Кира.

«Ah, mais cela devient lugubre a la fin!» – сказала себе на этот раз по-французски Ранцова и, прищурившись, оглянулась кругом, ища, с кем бы можно было завести более приятного рода беседу… Александра Павловна разговаривала стоя с Веретеньевым у фортепиано, приставленного к одному из простенков залы; она направилась к ним.

– Аппробую! – сказал с ликованием в чертах Овцын княжне, как только та удалилась.

– Что? – спросила она, продевая иглою снизу вверх.

– А то, что без буржуазной ипокризии вы прямо заявили ей свои убеждения.

– Какие убеждения? – словно уронила Кира.

– Вы ей честно на ее бессмысленное светское кудахтанье ответили, что вы *«дикая».*

– Так что же? – спросили поднявшиеся на Овцына глаза княжны.

– Вы ей сказали этим, – пояснил он, – что вы презираете те искусственные, нелепые условия, которыми до сих пор определялась жизнь людей в обществе, и не хотите признавать ничего, кроме естественных, нормальных потребностей человека.

Она не отвечала сразу.

– Я терпеть не могу фамильярности, – вымолвила она наконец и опять замолкла.

Фифенька говорил тем временем Александре Павловне:

– Я к вам чай пить приехал до клуба. Pourquoi pas до сих пор?.. Вот и déesse моя тоже хочет.

Он подбежал к подходившей петербургской барыне:

– -N’est – ce pas, vous buverez московского чайку?..

Он взял ее руку, повернул ее ладонью вверх и приложился губами к голому местечку между перчаткой и рукавчиком.

– Ну, что Наташанцев, Bazancourt, Chou-Pail? У ваших ног toujours? Люблю! Всем tête tourne, а сама ничего… N’est-ce pas, ничего? Молодец déesse!..

В дверях залы появился старик-буфетчик, в сюртуке, но в белом галстуке и нитяных перчатках наруках.

– Чай готов, пойдемте! – громко сказала Александра Павловна.

Она нетерпеливо ждала этой минуты, когда наконец представится ей возможность поговорить

с Троекуровым.

Все поднялись и потянулись в столовую.

В дверях Сашенька обернулась, отыскивая глазами Лизавету Ивановну.

– Куда вы, куда, голубушка? – вскликнула она, увидав, что та улепетывает на неслышных своих ножках в противоположную дверь залы, и побежала за нею.

– Нет, нет, ангел мой, – залепетала маленькая особа, – оставьте!.. Народу у вас сегодня, чужие все… Сами знаете, на что я им, да и боязно как-то. Я к нянюшке, к Глафире Савельевне, мы уж завсегда, как гости, чай пьем вместе… А в спаленку к вам, как придете, можно? – спросила она тут же с какою-то робкою и вместе с тем проницательно нежною интонацией в голосе, подымая на девушку вопросительные глаза.

– Непременно приходите, непременно! – и Сашенька с мгновенным порывом закинула ей обе руки за шею. – Я все вам, душечка Лизавета Ивановна, все расскажу, – прошептала она ей на ухо, крепко поцеловала ее в щеку и побежала назад.

Троекуров, пропустив всех вперед, поджидал ее у дверей. Он со своего места все видел.

– Скажите, – сказал он, глядя на нее со светлою, всю ее озарившею улыбкой, – кто это, кому я теперь так завидую?

Она рассмеялась как бы бессознательно, в униссон этой улыбке его.

– Ах, она такая хорошая… Сердечная! – примолвила она, тут же переменяя тон. – И несчастная такая, если бы вы знали!.. Ее зовут Лизавета Ивановна, по фамилии Сретенская; она дочь священника одного, богатаго, осталась молоденькая сиротой… И был у нее жених, офицер, которого она ужасно любила, и его убили в Венгерскую кампанию. Она все тогда, что у нее было, раздала бедным и пошла в монастырь, Только там игуменья одна, Нафанаила, очень ее обижала, она и вышла.

– И теперь у вас живет? – спросил молодой человек.

– Нет, мы просили ее, она не хочет. Квартирка у нее своя… Она все по церквам да за больными ходит…

– Вы ее очень любите?

– Да, очень, она стоит…

Троекуров остановился и поглядел на нее…

– Больше, чем вашу кузину, княжну *Кири,* что по-гречески значит госпожа? – подчеркнул он, намекая на объяснение, данное ему Марьей Яковлевной в ложе Большого театра.

– Зачем это вы у меня спрашиваете? – молвила она с удивленною и как бы смущенною улыбкой.

– Потому что я чувствую, что я никогда не был бы в состоянии полюбить ее на вашем месте, – отвечал он серьезным тоном.

– Напрасно! – поспешно возразила Александра Павловна. – Она тоже несчастная!..

– Саша, где ты, иди разливать! – раздался из столовой громкий голос г-жи Лукояновой.

– Иду, maman!.. *Идем,* – тихо добавила она, вся сияющая и вся розовая, обернувшись на своего спутника…

XII

…Как их возьмет задор,
Засудят о делах: что слово – приговор!

Горе от ума.

Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht
Und neues Leben mir verspricht.
O, lüge nicht!

Heine.

Александра Павловна села на одном из концов длинного стола за большой, сиявший как зеркало вычищенною своею медью самовар и поспешно подставила чайник под кран. Рука ее слегка дрожала… Подле нее, на углу, сел Троекуров, и она избегала встретиться с ним глазами. «А не то непременно обожгу пальцы кипятком», – говорила себе мысленно девушка с немой улыбкой, точно вылетавшею изо всего ее существа. «А если б обожглась – нарочно, – пробегала у нее мысль, – воображаю, как бы он испугался, кинулся… Нет, ни за что! Он такая прелесть!..»

Прямо насупротив, на самой срединке другого узкого конца стола, медленно опустилась на стул княжна Кира. Это было ее обычное место; она терпеть не могла «чувствовать у своего бока локоть соседа», говорила она… Овцын поместился по ее левую руку на углу, как Троекуров подле Сашеньки, и Шигарев, заметив это, тотчас же вытянул длинное лицо, имевшее изобразить комично-мрачное выражение, и обратился к приживалке грузинского рода, рядом с которой уселся он:

– Катерина Борисовна, когда две стороны треугольника равны между собою, что тогда выходит?

– А ты – рыжий пес! – фыркнула неизменный свой ответ дева.

– Вот и неправда ваша, – захихикал он, подставляя ей свой указательный палец, – выходит: дважды два *ламур!*

Катерина Борисовна отгрызлась и, протянув руку к огромной корзине со всякими печеньями, стоявшей посреди стола, достала из нее сайку и положила ее пред ним:

– Знаю, что любишь, ешь!

– Карета ваша тут! – коротко проговорил вошедший в это время Ашанин, наклоняясь к уху Ольги Елпидифоровны Ранцовой, которую усадила подле себя хозяйка (Веретеньев занял место по другую ее сторону).

– Merci! – сказала она ему вполоборота, продолжая начатый ею Марье Яковлевне рассказ о какой-то дворцовой сплетне.

Фифенька закинул вверх голову и подмигнул на нее Ашанину:

– Déesse, а? Можно par concienœ сказать?

– По совести… и безо всякой совести сказать можно, – молвил смеясь московский Дон-Жуан.

– Ах, comme bien dit! – засвистал в восторге Фифенька, откидываясь в спинку своего стула и хлопая в ладоши: – как в свайку попал! Молодец, mon cher! В нее именно так и влюбляются все – *бессовестно!..*

Петербургская барыня, сидя к ним спиною, чуть-чуть усмехнулась и пожала плечами.

– Сестрица, с приездом! – проговорил нежданно над нею чей-то голос.

Она вздрогнула чуть-чуть, повела вверх головой и вопросительно повернула ее затем в сторону Веретеньева.

– Отец вот этого длинноволосого, – поспешил объяснить ей тот, кивнув осторожно в сторону Овцына.

Это был коротко остриженный, седой, длинный и худой мужчина в золотых очках на длинном носу и во фраке, застегнутом снизу и вплоть до высокого галстука, туго повязанного кругом шеи, и из которого торчали, прижимаясь к его щекам, не менее туго накрахмаленные и высокие воротнички, углами угрожающие небу, как говорят французы. Вид он имел чрезвычайно внушительный и глубокомысленный и имел претензию походить на Ламартина, которым кто-то прозвал его в шутку в клубе, в пору февральской революции во Франции.

– А, Федор Федорович, здравствуй! – проговорила Марья Яковлевна, оборачиваясь и подавая ему руку, к которой тот, низко наклонясь, немедленно и приложился с какою-то старинною, искательною галантерейностью. – А я с твоим успела уже сегодня побраниться.

И она указала ему, глазами на сына.

– За что это, сестрица, позвольте узнать?

– Да за то же все: вздор несет неописанный!..

Федор Федорович поднес руку к очкам, медленно приподнял их и опять опустил, и проговорил баском:

– Это нам часто кажется, сестрица, потому что мы одного поколения, а они другого; а, в сущности-то, выходит, что неизвестно… да-с, неизвестно, – повторил он, таинственно вдруг понижая голос, – вздор ли они действительно несут.

– Да ты слышал, что он порет? – вскрикнула Марья Яковлевна, не смущаясь присутствием других.

– Знаю, что он *говорит,* – подчеркнул тот.

– Понимаешь?

– Понимаю.

– Поздравляю тебя в сем случае!..

Он все с тем же таинственно-внушительным и глубокомысленным видом нагнулся к ней и прошептал:

– Поверьте, сестрица, им внятнее, чем нам… требования века.

Он усмехнулся, видимо довольный произнесенными им, модными еще тогда словцами, и заключил:

– Они уж тем правы, что молоды-с, а мы роль свою отыграли, что делать!..

Марья Яковлевна только рукой махнула.

Он выпрямил опять свой длинный и худой стан, поправил очки с какою-то надменностью и, закинув по-ламартиновски руку под обшлаг своего застегнутого фрака, отправился здороваться с Александрой Павловной.

– Хороши нынче папеньки! – громко промолвила Марья Яковлевна под влиянием досады своей на него.

Ранцова, смеявшаяся чему-то в это время с Веретеньевым (Ашанин, обойдя кругом стола, сидел теперь против них, подле Шигарева), повернулась опять к ней:

– C’est un parent a vous, n’est ce pas?

– Да, beau-frere, на сестре мужа моего покойнаго женат был… С состоянием был большим человеком, все в картишки проиграл, – добавила откровенная барыня (она не почитала нужным вообще «менажировать» мужнюю родню). А теперь в либералы играет… Сумасброд!..

– Много развелось их таких в наше время! – одобрительно заметила на это Ольга Елпидифоровна.

А Федор Федорович Овцын, пожав руку Сашеньке и раскланявшись своим старинным кругловатым поклоном Троекурову, которого девушка, занятая разливанием чая и «своими мыслями», позабыла познакомить с ним, прошел на другой конец стола и с новым, еще более почтительным на сей раз поклоном протянул и пожал руку княжне Кире. Покончив со всеми этими обязанностями, он повернул к месту сына, сел и пододвинулся к нему со стулом.

– Здравствуй, Ира, со вчерашнего не видались, – тихо и далеко не внушительно заговорил он. – Ты здесь обедал?

– Здесь, – отрезал тот, не глядя на отца и помешивая ложкой в только что поданном ему стакане.

– А я сегодня у доктора, у Перцова, был, – начал опять Федор Федорович, – он согласен дать тебе свидетельство о болезни…

– Это на что? – воскликнул сын.

– А в университет-то представить. Ведь ты из Петербурга второй месяц с зимних вакаций. Взыщут, пожалуй!

– А ну его к черту!

– Так ведь нельзя же, – залепетал отец, – пока у вас такие… стеснительные, конечно, Ира, я не

спорю, а все же… порядки есть…

Иринарх высокомерно глянул на него через плечо:

– А тебя кто просит вмешиваться? Из-за этого самого жить с тобой не хотел, в Петербург перешел, а ты опять за свое принимаешься… А если я, может, – медленно проговорил он, – и вовсе не хочу в твой университет опять?

Бедный Федор Федорович так и остолбенел.

– Как же ты… не хочешь? – был он только в состоянии проговорить.

– А так! – Иринарх повел ядовито губами. – Последний *Колокол* прочел? – уронил он, помолчав.

– Прочел, как же, прочел! – поспешил ответить отец. – Как ты принес, я от аза до ижицы…

– Ну, и что же?

– Удивительно, Ира, удивительно!

И Федор Федорович закатил из-за своих очков глаза к потолку.

– Умен-то как, остер человек!

– Остер! – повторил презрительно Иринарх. – Ты в суть-то самую вникнул ли? Ведь прямо говорит: довольно наболтано, пора за живое дело приниматься.

Сбитый с толку Ламартин залепетал опять:

– Конечно, Ира, кто говорит… живое дело… Мы вот не умели, а вам это все предстоит… Только как же это так, из университета выйти… без прав безо всяких?..

– Пошел опять зудить свою старую ложь!

И Иринарх, отвернувшись от отца, воззрился на княжну Киру, словно намереваясь призвать ее в судьи прения их с отцом.

Но она и не слышала его. Опершись головою на левую руку, она устремила непроницаемые глаза свои на противоположную сторону стола, и трудно было отгадать: глядела ли она в задумчивости бесцельно вперед или наблюдала за сидевшею там двоюродною сестрой и ее собеседником. Тень от руки падала ей на лицо, как бы ограждая его от нескромных взглядов, и только Овцын, для которого оставалась открытою светлая сторона его, мог бы заметить нервное вздрагивание ее тонких ноздрей и спросить себя: чему следовало приписать этот несомненный у нее признак обнимавшего ее внутреннего волнения? Но Овцын был не физиономист, а всякую «психологию» к тому же презирал всем существом своим; он ничего не заметил и ничего не спрашивал себя.

Но Троекуров *почувствовал* эти упорные лучи устремленных на *них* глаз и отвечал им, в свою очередь, долгим и пристальным взглядом. «Чья возьмет?» – словно хотел он сказать им…

«Взял» он. Княжна опустила вдруг руку и обернулась всем лицом к Овцыным.

«А-а!» – пронеслось у него в голове; он безотчетно улыбнулся…

– Вы мне сказали, – обратился он к Сашеньке, – что кузина ваша «тоже несчастная»… Хотите, я скажу вам, отчего?

– Скажите! – отвечала она с любопытством и какою-то тревогой.

– Она не может позабыть роль, которую играла она там, у себя, в Сибири; здесь ей и тесно, и мелко…

– Не говорите, мне ее так жалко! – прервала его Сашенька. – Ей в самом деле «мелко» здесь, она очень умна, вечно за книгами сидит… Ей было бы надобно другое общество… и простору больше, – добавила девушка, несколько затрудняясь выразить свою мысль, – мне иногда она представляется точно большая, сильная птица, засаженная в клетку…

– Она характерна очень, это видно! – молвил Троекуров.

– Это уж в роду у нас, мы все характерны, – возразила Александра Павловна, и ее оживленные черты приняли мгновенно то обычное им спокойно-строгое выражение, которое так нравилось в ней нашему кавказцу.

– Да? – протянул он, любуясь ею. – И вы?

– И я!

Она взглянула на него со счастливою улыбкой:

– Я знаю, чего хочу, и никогда от этого не отступлюсь.

Он понял и улыбнулся тоже:

– А ведь вы знаете, говорят, что одинаковые характеры никогда не могут прочно сойтись?

Она взглянула вдруг на него так испуганно, что в голове его пронеслась безумная мысль схватить, обнять и страстно сжать ее в объятиях тут же, при всех…

– Александра Павловна, – с легкою дрожью в голосе и с расстановкой проговорил он, – можете вы мне сказать, в котором часу я могу застать завтра утром матушку вашу?.. Одну, – домолвил он, подчеркивая, – сегодня, я боялся, она будет утомлена после дороги…

Девушка побледнела вся и опустила веки…

– В двенадцать… в час… Когда хотите, – я ей скажу, – чуть слышно прошептала она.

– Ах, Боже мой, княгиня Аглая Константиновна! – раздался в это время звонкий голос Марьи Яковлевны.

Она шумно отодвинула свой стул и направилась навстречу входившей.

– Вы знаете эту princesse des eaux de vie? – спросил на ухо Веретеньев свою соседку.

– Comme mes poches, – рассмеялась она. – А вы?

– Пробовал призанять у нее – не дает, бестия! – вздохнул на это Фифенька…

Княгиня Аглая Константиновна Шастунова довольно сильно изменилась со времени последней

встречи с нею читателя[10]. Недаром сказано еще Расином: «Des ans l'irréparable outrage»… Былая полнота ее заметно начинала теперь переходить в тучность, наводнение которой уже не в силах был сдержать никакой корсет; знаменитые брови «en arc de Cupidon» представляли гораздо более признаков искусной живописи, чем природной растительности, а прижимавшиеся ко лбу, ярко лоснившиеся, подобранные как по ниточке и словно приклеенные черные волосы заставляли сомневаться в преизобилии их и настоящем цвете на местах, которые прикрывал ее низко спускавшийся, разубранный лентами и цветами модный чепец. Но на коротких пальцах блестели все те же ценные кольца, нитка крупного жемчуга переливала молочною белизной кругом обширной и красной шеи, а темно-лиловое муаре платье шуршало всею добротностью своей густой лионской ткани.

– J'ai dîné chez mon vieil ami, le comte, – заголосила она, входя, подавая руку хозяйке и оглядываясь круглыми глазами на ее гостей, – он мне сказал, что хотел к вам быть ce soir; вот и я к вам приехала… Ах, princesse, bonsoir!

И она шагнула по направлению к Кире, которая, в силу носимого ею титула, признавалась ею in petto главною особой в этом доме.

Княжна встала и присела с какою-то величавою учтивостью.

– Vous savez, вы моя grande favorite! – закачала умильно головой Аглая Константиновна, подавая ей четыре пальца руки, к ладони которой прижимала она большим пальцем свои свернутые перчатки. – Elle me rappelle beaucoup ma fille défunte; pour la tenue, – прошептала она Марье Яковлевне, вздохнув и отходя с нею к чайному столу, – mais une autre expression dans les traits, – глубокомысленно добавила она. – Et Basile, mon fils', вы его не видели в Петербурге?

– Вы забыли, что никогда его мне не представляли, княгиня, – засмеялась г-жа Лукоянова, – я его не знаю… Но вот кто может дать вам о нем подробные известия… Вы кажется знакомы… madame Rantzoff…

Аглая Константиновна взглянула.

– Ah mon Dieu, mais c'est, je crois… mademoiselle ci devant Acouline? – поспешила она поправиться, едва узнавая свою бывшую «барышню на побегушках» в этой «петербургской» от головы до ног в своей «tenue» и туалете, красивой и самоуверенной женщине, которой смелый и несколько насмешливый взгляд дал ей сейчас же почувствовать, что она ее «оборвет» при малейшей попытке неучтивости или даже невнимания.

– Enchantée de vous voir, madame – сказала она, подавая ей руку и опускаясь подле нее на стул, – я вас не видела depuis que vous êtes mariée… Так давно этому… Et ma pauvre Lina, помните ее?

– Она была мой лучший друг в жизни, – молвила на это самым убедительным тоном madame Rantzoff и глубоко вздохнула.

– Oui, oui, vous nous étiez si dévouée alors!

– Si *amie,* madame, – подчеркнула Ольга Елпидифоровна, глядя с улыбкой мимо нее на хозяйку дома, покусывавшую себе губу от заранее предчувствовавшегося ей смеха, изобильно доставляемого ей всегда «глупостями» княгини Шастуновой.

– Certainement, – говорила та между тем, – и мы avec Lina, nous vous aimions tant! Вы теперь из

Петербурга?.. И говорят, vous y voyez Basile, mon fils-?

– Да, он бывает у меня довольно часто. Je reçois beaucoup, – промолвила вскользь Ранцова, – и у меня любят бывать, говорят, у меня весело.

Она засмеялась.

– Oh, je le crois, – сказала любезно Аглая Константиновна и вдруг начала громко вздыхать, каким-то заискивающим взглядом воззрясь на нее.

– Ах, если бы вы могли, – vous êtes si jolie, – prendre de l'influence sur lui! Il me désole!

– Чем это, княгиня?

– Вообразите, il n'y a pas un an, что он офицер, и он уже мне стоит cinquante mille, figurez vous ça!

– Peu! – проговорил Фифенька Веретеньев, все время с места подмигивавший Марье Яковлевне: погодите, мол, сейчас представление начнется!

– Quoi «peu»? – повторила княгиня, оборачиваясь на его голос, и узнав его, кивнула ему небрежно головой.

– Cinquante mille. Я вот еду в Петербург на днях и непременно скажу ему, чтоб он pour l'autre an непременно cent mille по крайней мере истратил.

– Vous dites toujours des bêtises, monsieur Веретеньев! – воскликнула она, вся покраснев от досады.

– Да куда вам деньги девать, княгиня! – засвистал, хохоча, Фифенька в пустое отверстие своих зубов. – У вас их куры не клюют.

– А вы их считали, мои деньги? – спросила она, отгрызаясь.

– Не я, так другие считали. У вас, я знаю, два миллиона одними сериями лежит теперь в сундуке.

– Quel menteur! – И Аглая Константиновна всплеснула в негодовании руками. – Кто вам сказал cette calomnie?

– И ведь никому руки помощи протянуть не хотите, – продолжал все так же Фифенька, оставляя ее вопрос без ответа, – не то уж мне, сироте, а на что, кажется, друг вам Зяблин, Евгений Владимирович, и тому ведь вы ни гроша никогда взаймы не дадите!

И он, надрываясь от удовольствия, замигал обоими глазами сидевшему против него с пресерьезным лицом Ашанину.

– И никогда вам не дам, никогда, parceque c'est sans retour! У вас rien que des dettes! – отгрызалась все злее княгиня…

Хозяйка и Ольга Елпидифоровна, отодвинувшаяся даже со своим стулом, чтобы сидевшим направо и налево ее воюющим удобнее было обмениваться выстрелами, едва держались от пронимавшего их хохота.

– Спорят! Узнаю! Фифенька! Врет, верно, как всегда, – заговорил нежданно кто-то, незамеченно вошедший в комнату под гогот этого спора.

– Ах, граф, – воскликнула Марья Яковлевна, вскакивая с места, – как я рада! Спасибо, что вспомнили обо мне… Я только сегодня из Петербурга…

– Знаю! Чесмин встретил вас утром, когда ехали. Обедал у меня сегодня, сказал. Я приехал! – запел он акафистом в ответ, вознося вверх свои пухлые ладони и обводя общим поклоном поднявшихся со своих мест вслед за хозяйкой гостей.

Знакомый читателю[11] лысый тучноватый старец, со своею добродушно выпяченною вперед, отдутою губой, китайскими глазками и мягкими щеками, переваливавшими с обеих сторон через туго натянутый высокий форменный галстук, – бывший грозный главноначальствующий Москвы – жил в ней теперь, по замене его в должности другим лицом, мирным гражданином, сохранив лишь свое генерал-адъютанское звание, но более чем когда прежде популярный и любимый в московском обществе. Сочувственная улыбка заиграла у всех на губах, отвечая на его поклон. Только Иринарх Овцын, принужденный невольно подняться со стула за остальными, не сел уже на него вновь, а со злобно задрожавшими губами прошел в залу, где и повалился на диван, задрав ноги кверху и шипя сквозь зубы: «Старые идолы!»

– Граф, не знаю, помните ли вы меня? – говорила тем временем Ранцова, вставая с места и идя к нему с протянутою рукою.

Он зорко вгляделся в нее.

– Нет, помню, – воскликнул он, засмеявшись всем своим одутлым и добродушным лицом и ласково трепля ее руки в своих пухлых ладонях, – шалунья! Сейчас узнал! Не переменилась! Такая же хорошенькая, и глаза! В Петербурге все живете?

– Да, граф…

– Давно приехали в Москву?

– Сегодня.

– Это хорошо! – неведомо к чему счел нужным одобрить старец и спросил затем:

– Отца видели?

Она поспешила скорее замять этот вопрос и, не отвечая на него, проговорила:

– Я чрезвычайно рада видеть вас, граф, и в добром здоровье… Вы всегда были так добры ко мне!..

Хозяйка между тем, подозвав к себе глазами Троекурова, подвела его к графу и назвала его.

– Троекуров! – воскликнул он, разводя ладони. – Василья Борисовича сын?

– Точно так, ваше сиятельство, – отвечал он, – покойный батюшка мне не раз говорил о вас; он вас очень любил.

– Знаю! А зачем ты у меня не бываешь? Стыдно! С отцом твоим вместе флигель-адъютантами у государя Александра Павловича были!..

Троекуров не успел ответить, так как старец быстро обернувшись в сторону княжны Кубенской, заголосил ласково, кивая на нее:

– Вот и ее отец тоже! Здравствуйте! Гордая какая сидит, меня не видит! – засмеялся он.

– Я вам кланялась, граф, *вы* не видели, – сказала она, и мимолетная улыбка, изменившая всю ее физиономию, пронеслась и тут же потухла на ее губах.

Она встала, шагнула к нему и подала руку.

– На отца похожа! – запел он снова, удерживая эту руку в своей руке. – Умный человек был! Железный, кланяться не умел! Если бы не характер, не такую бы карьеру сделал! В Сибири держали до смерти… Покойный император его ценил, только ходу не давали…

– Угодно вам чаю, граф? – спросила подходя к нему и приседая Сашенька.

– Благодарствуйте! Пил дома! Милое дитя!

Он опустил руку Киры и принялся хлопать по руке Александры Павловны:

– В Петербурге были – знаю! Весело было?

Марья Яковлевна поспешила ответить за дочь:

– Очень, граф, очень! На большой бал попали, в grand monde, к Краснорецкой; всю царскую фамилию видели. Один из князей танцевал с нею.

– Un des grands… – вся сомлев от неожиданной возможности такого счастия для такой незнатной в ее понятиях девушки, как Сашенька Лукоянова, – воскликнула княгиня Аглая Константиновна, – il a dansé avec vous, mademoiselle? – промолвила она, с некоторою уже благоговейностью взглянув на девушку.

– Да, да; она – я и не ожидала даже – имела большой успех на этом бале, – заморгала, наклоняясь к ее уху Марья Яковлевна, как бы с тем, чтобы не оскорбить скромности дочери. – Да что же, граф, хоть присядьте к нам, по крайней мере! – обратилась она к нему, опускаясь сама на свое место.

Он сел подле нее.

– Что в Петербурге слышали? – спросил он.

– Насчет чего, граф?

– Ну вот, что они там насчет крестьян сочиняют?

– Ничего, по правде сказать, не слышно, – повинилась смеясь Марья Яковлевна, – с балами этими да выездами ни с кем и говорить-то об этом не пришлось… И не слышно там ничего особенного, каждый своим занят, Вавилон какой-то!..

– Если вам угодно, граф, я могу вам сообщить совершенно свежие новости, – вмешалась в разговор Ольга Елпидифоровна, – я вижу многих участвующих в комиссии и…

Он не дал ей договорить; ему нисколько не было интересно то, что могла она сообщить ему; мнение его о том, о чем он спросил сейчас г-жу Лукоянову, не способно было измениться ни от

какого известия; оно непререкаемо и цельно стояло в голове его, и самый вопрос был сделан разве лишь для того, чтоб иметь случай высказать это свое мнение:

– Знаю! Все вздор! Людей сначала приготовить надо! А то распустят, а потом некому сдержать будет! Где люди? Всех знаю! Никого нет!

– Распустят, ах, распустят, верно это! – завздыхала Марья Яковлевна.

– C'est affreux! – испустила за нею вслед княгиня Аглая, испуганно закатывая свои круглые глаза под лоб. – Je m'enferme déjà maintenant pour dormir, de peur des gens.

– Нельзя ведь, однако, против требований века, сестрица, – заговорил с другой стороны стола Ламартин. Овцын, обращаясь словом к хозяйке, но косясь на графа, которому намерен был отпустить колкость (он был одним из рьянейших ораторов оппозиции московского «государственного совета», как называл граф тамошний английский клуб, в пору владычества нашего старца над Москвою), – когда вся образованная Европа свободна, оставаться нам одним варварами.

– Поезжайте в Европу, болтунов и там много! – так и огорошил его бывший московский паша. – А эти варвары вашу Европу спасли в тринадцатом году, и она им в ножки кланялась вся до едина!

– Я позволю себе заметить, однако, вашему сиятельству… – язвительно начал было Федор Федорович.

– Дворянство по миру пустят! – запел опять свое граф, не слушая его. – А кем заменят? На дворянстве трон держался! Жили век так! Худо ли, хорошо, порядок был какой-нибудь! А как тронете, между троном и зипуном ничего не оставите, что тогда? Старых слуг вон, а новых из прохвостов станете брать? Теперь всяк место свое знал, а тогда каждый вверх захочет лезть. А не попал – за топор! Такое государство разве можно вдруг без фундамента? Смута пойдет одна, мерзость, вот как во Франции было!..

– Я позволю себе заметить, однако, вашему сиятельству, – упорно повторил свою фразу Федор Федорович, – что дворянство и так теперь разорено дотла, или в долгах все…

– Кто с крестьян драл последнее и в карты проигрывал, – невозмутимо отпустил на это граф, – тот и остался без ничего! А хороший помещик и свою выгоду знает, и народу пользу приносит.

– Мне кажется, однако, граф, – сказал Троекуров, заинтересовавшийся и личностью, и оригинальною речью этого представителя иных времен и воззрений и оставшийся стоять подле него, прислушиваясь к разговору, – хороший помещик ничего не потеряет от уничтожения крепостного права; их, мне кажется, даже может больше у нас явиться, потому что каждый тогда человек с умом и капиталом будет иметь право приобрести землю.

Ладони графа раскинулись веером!

– А кто он будет? Говори! Бородач? Он в три года землю эту выпашет, лес спустит весь на сруб, капитал свой с процентом вернет – и кинет! А пример народу забыл? Дух какой, – подчеркнул старик, – перейдет от него в народ? Народ знает теперь барина, воспитание его и службу уважает. Знает и солдат, потому впереди его идет барин в сраженье! А этот чему научит? Обмеривать и обвешивать своего же брата мужика?

Кавказец не нашел ответа и замолк.

Княгиня Аглая Константиновна шептала тем временем на ухо хозяйке:

– Ce monsieur Троекуров est le neveu du vieux Остроженко?

– Да! Борис Васильич, – сказала та, – позвольте вас представить княгине Шастуновой.

Он поклонился. Она протянула ему руку.

– Je vous félicite, monsieur, avec un superde héritage! Вы знаете, граф, ведь это теперь наследник всего имения Остроженковского.

– Знаю! Помню, – сказал он вдруг, обернувшись к Троекурову, – когда отец твой с покойным Акимом Иванычем еще друзьями были, на одной квартире в Семеновском полку жили! А потом враги стали и до смерти не могли простить друг другу!

– Отец мой не имел ничего против Акима Ивановича, – заметил Троекуров, – тот никак простить не мог, что сестра его вышла против его воли за моего отца.

– Il ne vous aimait pas aussi, vous! – отпустила ему княгиня со своею глупою улыбкой. – Он всегда приезжал ко мне по четвергам faire ma partie de préférence, и когда говорил о вас, то toujours en mal!..

– Отчего у них первая ссора вышла? – прерывая ее, спросила Марья Яковлевна графа.

– Завистлив был покойный всегда, – отвечал он, – Троекуров, Василий Борисыч, воспитанный человек был, ловкий, за границей учился. Александр Павлыч адъютантом его к себе взял. Ну, а тот, несмотря на богатство, остался лямку тянуть… Простить не мог… И женщина тут одна примешалась, вдовушка хорошенькая, – добавил граф шепотком и подмигивая своим собеседницам, – тот женится хотел, а Троекуров отбил и безо всякой свадьбы…

– Ну, конечно, это причина достаточная! – рассмеялась Марья Яковлевна.

– Стрелялись ведь они тогда из-за этого, – засмеялся и граф, – только и тут ему не повезло: Троекуров же всадил ему пулю в икру! Тут он со злости и на службу плюнул и в Москву жить переехал!

– Я была еще очень молода, в свет еще не выезжала, – продолжала г-жа Лукоянова, относясь к Троекурову, – когда по всей Москве было только и говору, что про эту свадьбу вашей матушки. Аким Иванович и слышать не хотел об этом; он ее, говорят, запирал, морил голодом… Ведь она гораздо моложе его была; он после смерти родных воспитал ее и привязался как к дочери, женится сам не хотел из-за нее…

– Совершенно так, – сказал Троекуров, – и мой покойный отец сам говорил мне, что он вполне понимал, как должно было казаться ужасным Акиму Ивановичу отдать за него сестру! Но это все-таки не дозволяло ему делать то, что он делал…

– Совсем спятил тогда человек! – прервал граф. – Я был тогда финляндским генерал-губернатором, и оттуда к себе, в Студенец, приехал, когда эта свадьба была. Он по всей Москве траурные билеты разослал: сестра моя, мол, Маргарита Ивановна, волею Божиею помре такого-то числа, в таком-то часу, в том самом, когда ей венчаться ехать.

– Да, да! – воскликнула Марья Яковлевна, – я помню, тогда рассказывали…

– У меня до сих пор сохранилось такое траурное извещение, – сказал Федор Федорович с какою-то заискивающею улыбкой, адресуясь через стол к Троекурову.

– Если бы не князь Дмитрий Владимирович, – молвил граф, – государь покойный за эту штуку хотел его в сумасшедший дом на цепь! Сослали только в имение. Через год вернули опять.

– Отец мой сам просил об этом государя, – промолвил кавказец.

– Да, добрый был человек Василий Борисович, и умный!.. А теперь где люди? – воскликнул старец, возвращаясь к залегшему в голове его помыслу, и поднялся с места.

– Да, мало, – сказала усмехнувшись Ольга Елпидифоровна, – я *всех их* вижу в Петербурге, но *человека,* по правде сказать, не встречала.

– Les hommes sont si rares en général! – сочла нужным вздохнуть по этому случаю княгиня Шастунова.

– А плотину снести хотят, чтобы все затопило! – произнес таинственно на этот раз граф, склоняя голову и не подымая уже, а разводя веслами свои ладони.

Он взял со стола фуражку, встал и обвел общим поклоном присутствующих.

– Куда же это вы, граф, рано? – плачущим тоном проговорила хозяйка.

– Нет! У меня положено! В одиннадцать ровно – в постельке! Прощайте! Троекуров, стыдно, что у меня не был!..

Он пожал руку дамам и вышел из комнаты, переваливаясь с боку на бок своею быстрою и еще бодрою походкой. Хозяйка провела его до передней…

– И вот-с, под гнетом такого человека десять лет мы здесь прожили! – обращаясь снова к Троекурову, желчно выговорил Федор Федорович Овцын.

– Ничего не гнет, – сказал на это Ашанин, – добрейший человек со старою генеральскою придурью, – каким на месте был, таким и теперь остался.

Кавказец улыбнулся:

– Фонвизинский Здравомысл!.. А впрочем, кто поживет, увидит, – промолвил он шутливо и отошел опять к Александре Павловне.

Княжна Кира повела ему вслед длинным взглядом, поднялась и прошла в залу.

Чай был отпит; все остальное общество последовало за нею.

Фифенька, не любивший «головоломных» разговоров, а потому молчавший во все время, пока был граф, попробовал было теперь опять поднять на смешки княгиню Аглаю Константиновну, но она отвернулась от него за первым его словом и, махнув рукой, проговорила:

– Ne vous approchez pas de moi, vous êtes une peste!

Он расхохотался и подошел к Ашанину.

– Вы здесь ужинать останетесь?

– Не знаю… нет, у меня голова болит.

Фифенька наклонился к его уху:

– Один кусок готовят свежий для хозяйки, а остальное все вчерашнее, разогретое. Вы заметьте, Архип подавать станет ей первой и пальцем-то большим ткнет на хороший кусок; она возьмет, а гостям дохлятина.

– Какой вздор!

– Верьте, не верьте, а я подглядел le truc… Как это настоящее говорится, – спохватился он вдруг почему-то, – truc или tric?.. Разве у умной княгини спросить?

Он свистнул и фыркнул со смеха.

– А, все равно! Прощайте, я в клуб!.. А хороша déesse, правда? Femme chic, настоящая!..

И он исчез.

В зале разбились группами. Княжна Кира села опять за свои пяльцы, а к ней опять присел неизбежный Овцын. Княгиня Шастунова совершенно завладела Ольгой Елпидифоровной: она допытывала петербургскую барыню чуть не до обморока про сына, про эту «coquine Lucie Ladrague», на которую он истратил cinquante mille, про его «tenue dans le monde», про то, как она думает, «когда его могут сделать aide de camp de Sa Majesté?» Марья Яковлевна слушала смеясь, глядя на свою молодую гостю, и только плечами пожимала.

– Помилуйте, княгиня, как может знать это все madame Rantzof? – попробовала было она выручить ее.

– Oh, une jolie femme sait toujours ce qu’elle veut savoir! – отпустила в ответ княгиня, любезно улыбаясь своей жертве и продолжая допекать ее расспросами и просьбами «prendre de l’influence sur mon fils qui me coûte les maux de la tête!»

Ольга Елпидифоровна подняла умоляющие глаза на сидевшего невдалеке Ашанина, как бы говоря: «Хоть бы вы нашли средство меня избавить».

Но Ашанин только закусил губы и не тронулся. Он не подходил к ней с видимою нарочитостью, которую она как-то смутно угадывала и объясняла себе тем, что он избегал повода напомнить княгине о его ухаживании за ней в пору ее девичества, и дать тем возможность этой глупой женщине ляпнуть какую-нибудь пошлую шутку. «Это хорошо с его стороны!» – подумала она и предалась со смирением на дальнейшие истязания своего палача в наколке.

Подъехали между тем новые гости. Вошел некто Мохов, недавно кончивший курс в университете, небогатый молодой человек, два уже года страстно и безнадежно влюбленный в Сашеньку; вползла какая-то очень древняя княжна с двумя седыми букольками, в виде колбасок пристегнутыми к налезавшему на самые глаза чепцу, и с французским произношением русской речи, родственница хозяйки, которая и сочла нужным представить ей незнакомого ей Троекурова. Древняя особа затрясла головой в виде поклона, поглядела на него тусклыми глазами и, обернувщись на Марью Яковлевну, громко спросила:

– Кто он, ma chère, офицер аль capitan?

– Полковник, тетушка! – крикнула ей на ухо несколько раздосадованная Марья Яковлевна.

– Грибоедовская Москва! – фыркнул вслух у пялец Иринарх Овцын.

Овцын-Ламартин обернулся испуганно на сына. Но эпизод прошел незамеченным, затерявшись в звуках какой-то фортепианной пиески, заигранной Моховым по просьбе Александры Павловны.

Не было еще одиннадцати часов, но никакого уже терпения не хватало Ольге Елпидифоровне. Она встала с места и начала прощаться с хозяйкой.

– Куда же вы? – всполошилась та. – Рано, у меня всегда ужинают…

– Нет, pardon, chère madame, не могу право, я очень устала…

Марья Яковлевна поглядела на нее:

– Я вас, впрочем, понимаю, – сказала она, пожимая ей обе руки и чуть-чуть мигнув в сторону Аглаи Константиновны, – и отпускаю вас с миром. Надеюсь, до свидания?..

– Непременно, если только пробуду в Москве…

– Et moi aussi j'espère que vous viendrez me voir, – запела княгиня. – Я очень буду рада. Vous me rappelez un si bon temps. Помните la pauvre Lina? Vous lui étiez si dévouée!..

Пока шла эта болтовня, Ашанин, присевший было к круглому столу, за которым помещалась Сашенка, вместе с Троекуровым и Шигаревым, рассказывавшим ей какой-то старый анекдот, встал и взялся за шляпу.

– Вы уходите? – проговорила равнодушно девушка.

«Если бы все они могли уйти и оставить меня с *ним*!» – подумала она.

– Да, у меня ужасно голова болит, – торопливо ответил он и выскользнул из залы.

Ольга Елпидифоровна, распрощавшись со всеми и доведенная до передней очарованною ею хозяйкой и ее дочерью, спускалась с лестницы, кутаясь в свою чернобурую лисицу и выражая мысленно по-французски вынесенное ею из этого дома впечатление: «Mon Dieu, quelle province!» Красноносый Архип, выездной Марьи Яковлевны, крепко придерживаясь за перила, чтобы не уронить своей вечно упитанной спиртом особы, трусил, предшествуя ей, по крыльцу, говоря себе в свою очередь: «Без, человека своего ездят, а еще петербургской дамой прозываются!»

Он дернул ходившею на блоке выходной дверью и вышел во двор.

– Пожалуйте! – сказал он, возвращаясь через миг.

У самого крыльца стояла только что подкатившая карета.

– А фонари? – вскликнула Ранцова, подымая глаза на кучера, слабо освещенного на козлах своих светом масляной лампы за стеклянным колпаком, вставленной над выходною дверью. – Ты фонарей не зажег?

– Ничего-с, – отвечал он сонным голосом, – и так довезем!..

– У нас в Москве просто! – добавил к этому самодовольно Архип и отворил дверцы. –

Пожалуйте.

Она вошла…

– Пошел! – крикнул он, захлопывая дверцы за нею…

Карета тронулась, и в то же мгновение кто-то, быстро отворив ее с другой стороны, вскочил в нее на ходу и опустился рядом с красивой барыней.

– Владимир Петрович! – вскрикнула она, еще не распознав его в темноте, но тотчас же догадавшись, что это он, по дерзости выходки, – что вы делаете! Карета нанята мужем, кучер знает его в лицо, расскажет…

– Вашу карету я отослал, это другая, кучер не знает ни вас, ни меня… А я так счастлив!..

Он охватил ее одною рукой, другою завладел ее руками, и его палящия губы так и ожгли ее лицо…

XIII

Нет, уж не ведать мне, братцы, ни сна, ни покоя;
Сила и воля нужны мне для страшного боя…

Граф А. Толстой.

Карета только что скрылась за воротами, и Архип еще стоял на крыльце, глядя слезившимися глазками на месячное небо, как во двор, визжа полозьями, скользнули широким раскатом сани, и сидевший в них господин в шинели и фуражке с кокардой окликнул его из них:

– Эй, любезный, это дом Лукояновой госпожи?

– Известно ихний… а то чей еще? – фыркнул в ответ огорошенный и видимо даже оскорбленный таким удивительным для него вопросом старый дворовый.

Господин выскочил из саней:

– Так вот что, любезный, – у барыни твоей гости?..

– Точно так, гости-с… А вам что угодно?..

– Так вот что, – повторил, прерывая его, тот, – тут моя жена…

– Не могу знать-с!

– И не знаешь, конечно, – нетерпеливо молвил приехавший, – она в первый раз у вас… Приезжая из Петербурга, молодая дама, Ольга Елпидифоровна Ранцова.

– Из Петербурга? – протянул Архип. – Молодые, без человека приезжали?

– Да, да!

– Они вот сею минутой только уехать изволили: они из ворот только, а вы в ворота…

– Так это она была! – Ранцов кинулся к своим саням. – Поворачивай скорее! – крикнул он

извозчику. – Я карету ее не признал, – проговорил он.

Архип ухмыльнулся и качнул головой:

– А и как признать-то? Потому, первое, не свой экипаж, да и не та совсем, потому ихняя без колеса осталась, так сам Владимир Петрович ездили им другую нанимать.

– Какой Владимир Петрович?

– Ашанин господин… известно какой! – фыркнул опять тот с выражением нового изумления: не знать, мол, такого господина, как Владимир Петрович!

– Пошел! – крикнул Ранцов, вскакивая в сани с бессознательно сдвинувшимися бровями. – Тут карета одна выехала сейчас, видел? Норови нагнать скорее!

– Видел, влево приняла; нагоним, барин.

Извозчик хлестнул свою лошадь.

«Досадно», – говорил себе Никанор Ильич, нетерпеливо и тревожно выглядывая прищуренными глазами из-за спины его вдаль пустынных московских улиц: «Не застал ее тут, бедную, и предуведомить не успел… Придется теперь уже дома… Не пущу войти без себя, пока не приготовлю к беде к этой».

Он глубоко скорбел и путался в мыслях. «Она может на ответственность мою возложить… Как я допустил, зачем дал этой Анфисе?.. Так ведь она ж сама приказывала, чтобы по-прежнему, чтоб та и чай подала ему, и все… Как же мне предвидеть было!.. А теперь „до утра, до утра не проживет“, говорит доктор… Господи»…

Он упросил доктора («милый человек, сейчас приехал!») оставаться при *нем,* покуда сам он съездит за женой и привезет ее… «И доктор тут, ну и Анфиса эта, и Сергея моего тоже нарядил, чтобы ни на минуту не покидал его… Не одного оставил… Только чтоб ей теперь застать его еще, застать, чтобы по крайности дочерняя рука глаза ему закрыла!..»

– Во, катит, – обернулся на него извозчик, указывая кнутом на быстро подвигавшийся впереди черный остов колесного экипажа, – перегнать что ль требуется?

– Д-да, двигайся живей… за нею! – нерешительным тоном отвечал Ранцов.

Обычная ему с женой робость впала ему опять в душу. «Что ж ее останавливать теперь посреди улицы, только испугать хуже! – доказывал он сам себе. – Не застал там, у этих Лукояновых, так теперь уж как приедем, на крыльце *ее* высажу… и приготовлю»…

– Пошевеливай-ка кнутом, пошевеливай! – закомандовал он со внезапною опять мыслью перегнать карету, чтобы приехать раньше и дождаться ее на этом крыльце, и тут же попридержал за плечо своего расхлеставшегося возницу:

– Добро, довольно, не отставай только!..

«С этими наемными экипажами – беда! – пришло ему в голову. – Лучше ехать за нею, а то неравно что случится, не заметишь! Вот, говорил этот, та карета ее без колеса осталась, а это другая… „Владимир, мол, Петрович сами нанимали“, – повторил с невольной усмешкой он… „Это тот самый, который“»… – не договорил себе Никанор Ильич. Перед ним мгновенно

блеснуло далекое воспоминание: темная летняя ночь в богатой усадьбе Шастуновых, полусумасшедшая старая дева, влюбленная в этого самаго Владимира Петровича, беседка в саду, «скандал», и там с ним она, Оля…

Он мотнул головой, отгоняя этот «вздор» из головы.

«Своевольница была она всегда такая, сумасбродница… и без умыслу безо всякого дурного, а так, что в голову втемяшется, так сейчас и»… Чего он только в ту ночь ни передумал, как ни перемучился, а понял все же, что это «легкомыслие одно» да молодость – и простил. И вот он десятый год женат на ней, «и какого, кажется, еще больше соблазну нужно женщине, как от всех этих ее в Петербурге графов, князей и вельмож? А она только, умница моя, водит их всех да вертит, и сама же мне, как найдет на нее такой стих, про все про это до ниточки доложит, и хохоту-то тут что бывает у нее, что слов таких ловких, что кажется бы в книжку только напечатать. И сама даже очень, можно сказать, строга, напротив, насчет всего такого, вот хоть бы взять нынче с этою Анфисой, например»…

– Да куда ж это она? – уже громко проговорил он, заметив, что карета, доехав до Никитских ворот, не продолжала вверх по Тверскому бульвару, а повернула по Никитской вниз.

– А нам все за ними, барин? – спросил извозчик, умеряя рысь лошади.

– Да, да, пошел… Все одно, низом можно, – объяснил себе Ранцов, запахиваясь плотнее в шинель от пронимавшего его холода.

«Господин Ашанин, – воскресало у него опять в памяти, – барчук балованный, беспардонная головка! Может, теперь поскромнее стал, а в ту пору даже жутко слушать было, что про него рассказывали…» И Никанору Ильичу вспомнился вдруг во всей подробности один из тех, всегда коробивших нравственное чувство его разнузданных рассказов про Ашанина, которыми наглый Свищов после ужина имел привычку угощать в Сицком холостую компанию лицедеев *«Гамлета»:* как этот «баловень» однажды, наняв нумер в одной известной московской гостинице, назначил будто бы там свидание в один и тот же день двенадцати барыням, «все мужниным женам», определив каждой из них по часу, от 12 часов дня до 12 ночи, и пробеседовал затем с ними все положенное время, сумев так устроить, что ни одна из них не заподозрила, что у нее могут быть конкурентки, и каждая ушла счастливая и уверенная в неизменной к ней одной страсти их общего, бессовестного Дон-Жуана… Ранцов и тогда не поверил этой истории, но, по его строгим понятиям, со стороны Ашанина уже было то скверно, что он не опровергал с негодованием этих рассказов Свищова, а смеялся им сочувственно вместе с другими, да пожалуй, и пуще всех других…

А карета Ольги Елпидифоровны, за которою шагах в пятнадцати следовали сани ее мужа, свернув с Никитской, выезжала тем временем Камергерским и Кузнецким переулками на Кузнецкий мост и, проехав первый его квартал, взяла вправо по Неглинному проезду.

– Да что ж это, куда? Назад, налево! – крикнул безотчетно Никанор Ильич, порывисто подымаясь со своего сиденья и ухватываясь за плечи своего извозчика.

Тот затпрукнул и осадил лошадь:

– Ворочать что ль?

– Нет, нет, *они* не туда взяли – догоняй!

Но карета, проехав улицу до первого ее перекрестка, круто повернула за угол Софийки и

исчезла из глаз.

– Пошел, пошел! – погонял Ранцов.

Сани его, описав широкую дугу, завернули за тот же угол, очутясь на другой стороне улицы.

– Стали! – проговорил извозчик, натягивая вожжи и осаживая еще раз.

Никанор Ильич, ухватившийся на раскате за его пояс, чтобы не вылететь из саней, быстро повернул голову.

Карета действительно остановилась и стояла у крыльца той именно, знакомой Ранцову по своей репутации гостиницы, в которой когда-то Ашанин назначил в один и тот же день свидание двенадцати полоненным его красотой «мужниным женам»… И сам он, собственною особой, стоял теперь на этом крыльце в шубке и шапке из серых смушек (Ранцов каким-то чутьем угадал его скорее, чем признал в первое мгновение) и нервно дергал за ручку колокольчика, обернувшиеь в то же время в карете всем, освещенным месяцем, лицом своим.

– Мне, значит, соврал этот лакей, – растерянно проговорил себе Никанор Ильич, – *он* нанимал карету для себя, а Оля… Господи, что же это такое? – внезапным стоном застонало тут же в его груди. В отворившуюся дверь гостиницы, вслед за Ашаниным, быстро скользнула только что высаженная им из кареты женская особа с укутанною вплоть кружевным платком головой и в бархатной шубе, малиновый цвет которой отлил на миг под светом, вырвавшимся из двери наружу… И все затем исчезло за этою снова захлопнувшеюся дверью с быстротой какого-то сновидения.

– Стой! – крикнул Ранцов задыхавшимся голосом, выскочил из саней и, перебежав улицу, ухватился за колокольчик – и рванул.

Дверь отворилась не сейчас, и придерживавший ее рукою за замок полусонный швейцар спросил его хриплым голосом:

– Что вам угодно?

– Тут сейчас приехали… господин один, с дамой… ужинать, – домолвил Ранцов насколько мог спокойнее и находчивее.

– Ужинать? – протянул как бы недоверчиво тот, принимая, однако, руку от замка и пропуская его в дверь. – Вы с ними?..

– Да… Где они?

– Наверх пожалуйте! – с видимою неохотой промолвил травленый Цербер, лениво скидывая шинель с плеч вошедшего. – Там спросите…

Никанор Ильич с побледневшим лицом и трясущимися руками взбежал стрелой по ступенькам и очутился в недлинном коридоре, куда выходили двери шести или семи помещавшихся тут нумеров. У одной из этих дверей стоял слуга, заметно только что вышедший из нее и остановившийся там при виде поспешно шагавшаго к нему «господина».

– Поди сюда! – глухо и резко кликнул его на ходу тот.

Слуга двинулся не торопясь ему навстречу.

– Ты господина… Ашанина знаешь? – проговорил через силу Ранцов, передохнул и спросил снова. – Ашанина, понял? Знаешь его в лицо?

– Знаю-с, – пробормотал оторопело слуга, – а вам на что-с они?

– Он здесь, в этом нумере? – отрезал, указывая рукой, Никанор Ильич и пошел далее.

Слуга побежал за ним.

– Позвольте, надо доложить! – громко выговорил он, храбро становясь перед дверью нумера, к которому направлялся Ранцов.

Зеленые огни запрыгали в глазах бывшего бравого армейца. Он схватил его за шиворот, отшвырнул от себя с какою-то самим им неведанною силой и, нажав разом ручку, дернул к себе дверь – и вошел…

Он как-то мгновенно обнял взглядом всю внутренность комнаты: полинялые, тисненые под бархат, зеленого цвета обои и темный ковер во весь покой, старомодная красного дерева мебель, обитая порыжевшим трипом, две зажженные в высоких шандалах свечи на овальном гладком столе – и в углу, отгороженном ширмами, очерк двух взбитых подушек на широкой кровати.

Ольга Елпидифоровна, закинув несколько голову назад, с отброшенным на затылок кружевом вуали, стояла посреди этой комнаты, и Ашанин, наклонившись до уровня ее подбородка, торопливо и неловко от спеха и волнения, хлопотал над отстегиванием крючка спиравшей ее у горла шубы…

Внезапный шум, шаги, чей-то неожиданный, прерывавшийся, грозный голос поразил его слух… Он вздрогнул, обернулся, отпрянул инстинктивно от нее и, зардевшись от смущения и досады до самых волос, устремил тут же сверкающие глаза на вошедшего.

Шуба как бы сама собою скользнула и скатилась за спину молодой женщины. Она безотчетно, движением купальщицы, застигнутой в минуту раздевания, поднесла руку к груди и с задрожавшими, белыми губами обернулась в свою очередь всем телом к мужу.

– Вы… вы, – хрипели и путались слова в его горле, – у вас отец умирает, а вы… *Где* вы?..

– Никс! – вскрикнула она. – И оборвала на этом слове… Из страшнаго, никогда ею до тех пор невиданного таким выражения его лица она поняла разом, что это слово было уже бессильно, как была бы бессильна всякая попытка обмана, что для него уже не оставалось сомнений, и что сбыть беду она могла лишь крайнею дерзостью и самообладанием.

Она шагнула к нему вся бледная:

– Без скандала, прежде всего!

Он глядел на нее дикими, будто ничего не видевшими глазами. Грудь его тяжело вздымалась и падала; руки поводило судорогами…

– Не для меня, так хоть для вашего имени… которое я ношу до сих пор, – проговорила она полушепотом. – Владимир Петрович, – обратилась она с места к Ашанину, – прошу вас уйти!

Заметное колебание сказалось в чертах молодого человека.

– Прошу вас!.. Меня не тронут! – добавила скороговоркой Ольга Елпидифоровна со скользнувшею на миг по губам ее надменною улыбкой. – Пропустите Владимира Петровича! – молвила она тут же, вскидывая опять глаза на мужа.

Он машинально, как бы с привычною покорностью прежних дней, двинулся с места.

Ашанин низко наклонил голову пред своею сообщницей, словно прощаясь с нею в ее гостиной, и направился к двери.

– Я всегда к вашим услугам! – тихо произнес он, проходя мимо Ранцова.

Тот встрепенулся вдруг, вздрогнул:

– Если, – и безумное, глубоко потрясающее отчаяние сказалось в звуке этих слов, – если я вас не разорвал в клочки в первую минуту, то… ступайте с Богом!

И он твердым и печальным жестом указал ему пальцем на дверь.

Московский Дон-Жуан не нашел слова ответить. Он бессознательно опустил глаза и вышел. На душе у него было скверно; он предпочел бы десять вызовов этому немому презрению и сознанию той муки, которую нес от него теперь этот «сильный», чувствовал он, и «хороший человек».

Он спустился поспешно вниз, в буфет гостиницы, потребовал бутылку шампанского, выпил ее залпом до дна и, выйдя на улицу, пошел к себе домой пешком, покачиваясь от разобравших его на морозе винных паров и с готовыми брызнуть сейчас из глаз слезами.

Ольга Елпидифоровна по его уходе вздохнула полною грудью; главная, – да и пожалуй, вся – думала она – опасность миновала для нее. Она опустилась на стул, подле стола, оперлась о него локтем.

– Объясните мне теперь, пожалуйста, – начала она своим самоуверенным, давно знакомым Ранцову тоном, – как вы сюда попали… и к чему вся эта сцена?

Он стоял недвижно, в трех шагах от нее, и странен был в эту минуту взгляд, которым неотступно глядел он ей в лицо. Какая-то будто новая, никогда им доселе не виданная женщина сидела теперь пред ним и вела с ним речь с этим бесстыдством. Горькая усмешка блуждала под его щетинистыми усами…

– Я вам сказывал… я поехал предварить вас: отец ваш при смерти… а вы… с любовником, в этой грязи! – неудержимо сорвалось вдруг у него с языка. Он отвернулся и сжав до мучительной боли свои заледеневшие пальцы, упал, словно подкошенный, в стоявшее близ него кресло.

Ольга Елпидифоровна вспрянула с места:

– Я не поняла… Папа хуже?.. Едемте!

Она кинулась поднимать свою шубу с пола.

– Помогите же надеть! – почти крикнула она на него.

Он поднялся, дрожавшими ознобом руками накинул ей мех на плечи – и отошел.

– Никс, – проговорила она вдруг со внезапным порывом, – вы мне простите?

Он пристально поглядел на нее и засмеялся.

Смелая барыня переменилась в лице:

– Что же это значить должно? – гневно вскрикнула она.

Ранцов нервно тряхнул плечами:

– И к чему спрашиваете? Известно, вам одна дорога, а мне…

Он не договорил, махнул рукой и вышел первый из комнаты.

В коридоре человек пять слуг, а с ними сам хозяин гостиницы похаживали с озабоченными лицами, в очевидном чаянии и страхе: «Не дай Бог чего в 3-м нумере».

Никанор Ильич побледнел, как полотно.

– Чего вам тут? – пропустил он сквозь стиснутые зубы, шагнув к первому стоявшему у него на пути. – Деньги требуются?

– Pardon, monsieur, tout est payé! – поспешил заявить француз-содержатель, выступая вперед с приторно-любезною улыбкой.

– Врешь ты, я плачу за удовольствие! – бешено крикнул на это Ранцов, выхватил из кармана бумажник и, забрав из него в ком все, что там случилось ассигнаций, швырнул ими в лицо говорившему.

Жена его между тем, укутанная до подбородка вуалью, скользила как тень мимо стены, пробираясь к лестнице.

Швейцар усадил ее в карету. Она поспешно уткнулась в угол и судорожно прижмурила глаза.

Чрез мгновение вышел на крыльцо Никанор Ильич, кликнул свои сани, сел и, подняв до самого лба свой старенький бобровый воротник, не опускал его уже до самого дома.

Он приехал ранее жены несколькими минутами, и из растерянного лица Федьки, выбежавшего отворять ему, понял, что она уже не застанет отца в живых. Он сбросил ему на руки шинель и, не выговорив ни единого слова, пробежал в спальню Елпидифора Павловича.

Вбежав на лестницу в свою очередь, Ольга Елпидифоровна застала в сенях вышедшего ей навстречу доктора. Он нес на себе официально понурый вид, приличествовавший данному обстоятельству, который все ей сказал…

– Доктор, неужели?.. – могла она только выговорить, бледнея и едва переводя дыхание.

– Que faire, madame? – прошептал он ей на это в ответ, вздохнув и внушительно разводя руками. – Наука не Бог.

Красивая барыня опустилась на стоявшую тут лавку, закинула беспомощно голову назад и лишилась чувств – в первый раз жизни.

XIV

In welche soll ich mich verlieben,
Da beide liebenswürdig sind?

Heine.

К полуночи, после ужина, гости Марьи Яковлевны Лукояновой стали разъезжаться. Сашенька вся сияла, так как все время по отъезде Ранцовой и Ашанина проговорила невозбранно с Троекуровым под звук фортепиано, за которое усадила злополучного вздыхателя своего Мохова, заставив его проиграть все до одной пиесы его довольно обширного репертуара. Бедный молодой человек принимался вздыхать после каждого нового указания девушкой той или другой из них, но ослушиваться не смел и принимался снова бегать по клавишам своими длинными и худыми пальцами… Шигарев присел к хозяйке и княгине Аглае, которую он не менее упорно, чем Веретеньев, подымал на смешки каждый раз, как встречался с нею, но делая это гораздо успешнее, чем легкомысленный Фифенька. Он никогда не противоречил ей, а напротив, поддакивал и «входил» в тон и пошиб ее речей, причем передразнивал голос ее и движения так тонко и искусно, что все кругом помирало со смеху, а она одна благодушествовала и, ни о чем не догадываясь, поддакивала ему в свою очередь и самодовольно озиралась на присутствовавших, говоря: «Monsieur Шигарев et moi nous nous entendons toujours si bien!»

Марья Яковлевна так и покатывалась, слушая их речи. Она любовно поглядывала между тем на дочь и на сидевшего рядом с нею «наследника всего Остроженковского имения» и – чувствовала себя совершенно счастливою.

– Et comment va votre mal de côté, chère madame Loukoianof? – вздумалось вдруг спросить ее княгине Аглае.

– Да все побаливает… Варвинский говорит, что это у меня от сердца идет. Сердце у меня не в порядке давно, я знаю, – примолвила Марья Яковлевна с мимолетною тенью озабоченности на лице.

– Сердце! – воскликнула Аглая, испуганно воззрясь на нее своими «boules de loto», как называли в Москве ее глаза, – mais c’est très effrayant ça!

Марья Яковлевна засмеялась.

– Ну, даст Бог, еще поживем, княгиня!

– Non, non, ne croyez pas ça! – возразила убедительнейшим тоном та, – les maladies de cœur ne pardonnent jamais!

– Очень вам благодарна, княгиня, за такую любезность, – отпарировала с сердцем Марья Яковлевна, – но я надеюсь, что от вашего слова не сбудется.

– Ne vous fâchez pas, – невозмутимо отпустила на это умная женщина, – я ведь это говорю par intêret pour vous.

И она при этом встала, пожала, вздыхая, руку только-что обреченной ею на близкую смерть собеседнице и поплыла к двери мимо княжны Киры, усевшейся невдалеке от фортепиано, рядом со все так же не отходившим от нее Иринархом Овцыным (Овцын-Ламартин уехал еще до ужина).

Она остановилась на ходу, ухмыльнулась и закивала девушке с каким-то многозначительным и как бы лукавым видом.

Та привстала и поклонилась, отвечая на этот знак прощанья.

– Adieu, chère princesse, – проговорила Аглая Константиновна, нагнулась иежданно к ней и уже прошептала таинственным шепотом, который, впрочем, явственно донесся и до Овцына, и до учтиво провожавшей гостью, хотя и донельзя на нее взбешенной за «пророчество» хозяйки:

– Я всегда, chère princesse, когда вас вижу, думаю: Dieu fasse, чтобы вы нашли себе un parti convenable!

Она приостановилась и, как бы осененная новою лучезарною мыслью, тяжело вздохнула и прибавила, глядя на девушку с выражением чрезвычайной жалости:

– Quoique ce soit bien difficile pour une personne qui n'a rien!

Зеленые глаза Киры загорелись молнией. Она так и ожгла ими свою непрошенную радетельницу.

– Je n'ai que faire de vos souhaits, madame, – проговорила она чистейшим парижским акцентом, – gardez les pour qui vous les demande!

– Mais… mais je n'ai pas voulu vous offenser, chère-princesse, – залепетала растерянно Аглая, озираясь кругом, как бы прося себе защиты, – bien au contraire…

– Княгиня, – кинулся к ней Шигарев, решивший мысленно, что необходимо «произвести сейчас же диверсию, а не то до потасовки, пожалуй, дойдет», – а что я слышал про *Basile, votre fils!* – протянул он ее голосом. – Весь вечер хотел вам рассказать, да все не успевал, вас заслушивался…

Она, вся уже багровая, поспешно обернулась к нему:

– Ah, mon Dieu, quoi donc encore, – de nouvelles dettes?

– Н-нет! Пожалуй, почище будет! – отпустил он, наклоняясь к ее уху с комически вытянутым лицом.

Она вскрикнула даже:

– Pourquoi m'effrayez vous comme ça, monsieur Шигарев! – Это очень не хорошо que vous dites: «почище».

– А вот пойдемте! – сказал он, завертывая локоть *калачиком. – Я* вас доведу до кареты и все вам расскажу дорогой…

Она послушно продела руку свою под его руку и, торопливо обведя последним поклоном присутствовавших, вышла с ним из залы в самом жалком состоянии духа.

– Какая дура безобразная! – едва исчезла она за дверью, воскликнула Марья Яковлевна, обращаясь к Троекурову. – Вы этаких, пари держу, отродясь еще не видывали!

Он засмеялся:

– Да, это не простая, а какая-то triple essence глупости, и даже глупости агрессивной, сколько я мог заметить, – примолвил он, скользнув беглым взглядом в сторону княжны.

Она, уже совершенно овладевшая собою, сидела по-прежнему холодная и безмолвная, незаметно следя за ним глазами и прислушиваясь к его словам, между тем как Иринарх Овцын, хихикая и злорадствуя ее отповедью княгине Шастуновой, выражал ей новую «аппробацию» по этому случаю:

– Люблю то, что вы не миндальничаете с этими аристократами, – говорил он ей, – вы сознаете ваше право на жизнь и счастье вне условий их безобразной морали. Да, вам действительно не нужно ни пожеланий их, ни советов, ни образцов! Вы сумеете пойти по своей, свободной, новой дороге; в вас все задатки для этого. И вы их чувствуете в себе, не правда ли?

Он глядел на нее какими-то хищными, сверкающими и жадными, как у волка, глазами.

– Что? – спросила рассеянно Кира, словно пробуждаясь ото сна.

Овцын передернул желчно губами, заметив ее невнимание:

– Если вам неинтересно слушать, так для чего же повторять!

Она, не возражая, посмотрела на него.

– А книгу принесли? – спросила она, помолчав.

– Принес, – с неостывшею еще досадой сказал он.

– Где же она?

– У меня в шинели…

– Дайте сюда!

– Не передавать же вам при всех! – фыркнул он.

– А вы за кого боитесь: за себя или за меня? – высокомерно и несколько насмешливо проговорила княжна. – Я никого и ничего не боюсь.

Его так и повело всего со злости: это значило, что он, Иринарх Овцын, мог кого-нибудь или чего-нибудь бояться.

– Мне уж подавно на всех их наплевать! – бравурно заявил он. – А насчет вас, – домолвил он уже с некоторою язвительностью, – то вы не то что боитесь, а вас, пожалуй, может смущать, что кто-нибудь из них вас за это осудит.

Кира еще раз пристально остановила на нем немые глаза.

– Кто же именно «из них» по-вашему? – медленно выговорила она.

– Да хоть бы этот представитель христолюбивого воинства, из франтов, – хихикнул Иринарх, мотнув взглядом в сторону Троекурова (кавказец наш с первого появления своего возбудил в нем враждебное чувство), – он, кажется, призван играть маркантную роль в этом доме; не даром же любезная сестрица моя, Александра Павловна, внимает ему с таким рабским подобострастием!..

Княжна не отвечала. Она встала с места, подошла к инструменту, за которым все еще сидел Мохов, задумчиво перелистывая лежавшую на пульпете нотную тетрадь, и, обращаясь к нему:

– Сыграйте пожалуйста *la Marseillaise*, – громко сказала она; – вы знаете?

– Нет, княжна, не знаю, – поспешно обернулся он к ней, – и нот у меня никогда не было… да я не помню ее совсем…

– А еще студентом были недавно – и не знаете, не слыхали такой вещи, как *Marseillaise!* – все так же громко, с каким-то намеренным напиранием на свои слова молвила Кира. – Это стыдно!

Добродушный молодой человек сконфузился и опустил глаза. Троекуров, все слышавший со своего места, чуть-чуть улыбнулся под своими усами и поднял глаза на Александру Павловну, прислушивавшуюся, как и он, к тому, что говорилось у фортепиано. Она несколько смущенным взглядом отвечала на этот взгляд его.

Кира видела все и отгадывала в свою очередь. Она словно торжествовала:

– Так погодите же, – сказала она Мохову, – я вам сыграю, а вы слушайте и запомните, смотрите!

Он торопливо соскочил с табурета, уступая ей место. Она села и заиграла веско, отчетливо, с какою-то преувеличенною суровостью:

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé!..

– Ну, скажет мне спасибо «Basile mon fils»! – влетел в эту минуту в залу с громким хохотом Шигарев. – Я уверил ее, что он хочет жениться на французской актрисе; она завтра же собирается к нему в Петербург ехать!

– Что вы! – так и привскочила Марья Яковлевна, находившаяся до этой минуты все еще под меланхолическим впечатлением Аглаинова «пророчества» об исходе болезни, которою она действительно страдала. «Штучка» Шигарева возвратила ее к свойственной ей смешливости. – Она вам поверила и в самом деле собирается ехать в Петербург?

– Едет, едет! – замахал шут обеими руками, надрываясь от смеха. – Приглашала меня завтра проводить ее на железную дорогу. Соберу целую компанию и поедем на этот *шпектакль.*

– Однако пора и честь знать, – сказал тихо Троекуров Сашеньке, взяв свою папаху и пожимая ее руку долгим и нежным пожатием. – Завтра… – начал и не кончил он и с договорившею остальное улыбкой повел на нее прощальным взглядом.

За ним поднялись и Мохов, и Овцын.

– Прощайте, Борис Васильевич, очень вам благодарна, – запела Марья Яковлевна, – надеюсь, до свидания… до скорого?..

– Завтра… Я сказал Александре Павловне… – тихо и значительно промолвил он, низко склоняя голову над протянутою ему рукой ее.

– Да?.. – краска радости покрыло все ее лицо. – Так до свидания, Борис Васильевич, желаю вам приятного сна!.. Прощайте, батюшка, и вам того же! – беспощадно засмеялась она тут же,

кивая раскланивавшемуся пред ней бедному Мохову (о несчастной любви его к ее дочери она знала еще прежде, чем об этом догадалась сама девушка), наслаждаясь в душе его беспомощным и убитым видом. «Страдай, голубчик мой, страдай; не тебе, голышу, чета – нашла я ей партию!» – проносилось в ее голове.

Овцын вышел за прочими в переднюю, добыл книгу из кармана своей шинели и, вернувшись в комнату, передал ее княжне Кире.

– Это что еще? – спросила, увидав, Марья Яковлевна.

– *Полярная Звезда* Герцена, лондонское издание, – ответила девушка, глядя ей в глаза, как будто хотела нарочно вызвать какое-нибудь замечание.

– Это запрещенное-то? – заметила ей действительно тетка.

– Запрещенное! – кивнула утвердительно Кира.

– Охота ведь смертная!.. И где это ты достаешь все? – обратилась Марья Яковлевна уже к племяннику.

– Мое дело! – грубо ответил он.

– Ну и отправляйся с ним… Довольно потешился, мы спать хотим.

Иринарх вышел, ни с кем не простившись.

– Ну что, довольна? – тихо и нежно улыбаясь, спросила Марья Яковлевна подошедшую к ней дочь, между тем так Кира, спиной к ним и уложив принесенную ей Овцыным книгу на крышку фортепиано, жадно погружалась в нее глазами, – довольно наговорилась?.. Что же он говорил тебе, Сашенька? – спросила она, помолчав, глядя на нее и видимо любуясь ею.

Губы Сашеньки задрожали. Она приподняла ресницы, опустила их опять, прижалась вдруг головкой к плечу матери и прошептала чуть слышно:

– Он будет к вам завтра, maman… вы знаете зачем…

Марья Яковлевна взяла эту упавшую на ее плечо головку обеими руками, тихо приподняла ее и приникла долгим поцелуем к горячему лбу дочери; две крупные слезы выкатились из ее глаз:

– Суженого конем не объедешь, истинно, вижу это, – прошептала она, – сама знаешь, не помышляла, не желала, – а Бог лучше знает; видишь, как устроилось!.. Ну, и да будет милость Его и благословение над тобою!.. А мне что же, – уже блаженно смеялась наша барыня, – мне только на вас смотреть да радоваться, надеюсь, останется…

XV

Oui c’est demain, oui c’est demain
Que l’on nous marie…

Fra Diawolo, paroles de Scribe.

Спальни обеих кузин расположены были в двух смежных, довольно просторных, но низких комнатах, на антресолях барского дома Марьи Яковлевны, весь бельэтаж которого, за исключением собственной ее спальни и туалетной, состоял, по обычаю, из одних приемных

покоев. Кроме дверей, выходивших в тот же длинный и узкий коридор, упомянутые «опочивальни барышень», как назывались они в доме, не сообщались между собой: их разделяла сплошная, хотя тонкая перегородка, обтянутая с обеих сторон одними и теми же голубенькими обоями, с того же цвета ситцевыми занавесами и обивкой мебели в обеих комнатах (так было устроено нарочно Марьей Яковлевной в пору ее первого, мечтательного чувства и никогда еще в ту пору невиданной ею племяннице, когда после смерти князя Никиты Кубенского вызывала она ее жить к себе на положении «второй дочери»). С комнатой же Сашеньки соединялась внутренней дверью комната ее няни, Глафиры Савельевны, болезненной и довольно ворчливой старушки, которую Александра Павловна тем не менее очень любила, не умея и заснуть иначе, как если эта старушка-ворчунья «затычет ей одеяльце» под ноги и перекрестит ее большим крестом, со лба к «душке» и к оконечности плеч, на сон грядущий. За спальной княжны находилась узенькая в одно окно каморка, служившая помещением ее горничной, рябой Агафьи, которую она не любила и, кроме самых необходимых приказаний, не удостоивала ни словом разговора.

Простившись с Марьей Яковлевной, кузины отправились одновременно к себе.

– Кира, – молвила, подымаясь за нею по лестнице, Сашенька, – какую еще глупость сказала тебе эта княгиня Шастунова, за которую ты так ей ответила? Я не поняла хорошенько.

– Я очень жалею теперь, что даже дала себе этот труд! – сказала нехотя княжна. – Таким существам не отвечают. Она хотела меня уколоть тем, что я бедная и что никакой parti convenable не захочет меня в жены.

– Ах, comme elle est bête! – воскликнула с негодованием Александра Павловна. – Разве непременно из-за богатства женятся?.. Разве я богата, например? – невольно вырвалось у нее к этому.

– А все-таки нашла le parti convenable demandé? – с холодною усмешкой договорила ее мысль Кира, оборачиваясь к ней с площадки перед коридором, до которой дошла она тем временем.

Сашенька быстро поднялась к ней в свою очередь, обняла ее за талию и прошептала ей на ухо прерывающимся от волнения голосом:

– Завтра, Кира… завтра… все решится!..

– Поздравляю! – уронила та с высоты губ… И насмешливая улыбка скользнула по ним. – Как люди иногда умирают вовремя! – домолвила она.

Сашенька испуганно шевельнула бровями:

– Какие люди, кто умирает?

– А эти, как их? Остроженко père et fils… До этого счастливого события твоя мать не хотела и слышать…

Александра Павловна замахала руками:

– Ну, что об этом говорить, Кира! Ты знаешь, *мне* это все равно – я его полюбила, когда он был разорен, и пошла бы за него и тогда…

– Ну, прощай! – перебила ее княжна и двинулась с места.

Кузина удержала ее за руку:

– Кира, милая, – и она робко и жадно глянула ей в лицо, – я хотела тебя спросить, скажи, как ты *его* находишь?

– А тебе мало своего, нужно еще мое мнение?..

И слегка раздувшиеся ноздри Киры словно договорили: я бы не спрашивала ни у кого!..

– Comme il est bien, n’est-ce-pas?..

Счастливой Сашеньке так хотелось на это отклика в эту минуту.

– Д-да… пожил много! – протянула, не отвечая прямо на вопрос и каким-то странным тоном княжна.

– Что это значит?..

– Нет, так… отец мой покойный говорил бывало… про иных, – объяснила она рассеянно и неопределенно. – А тебе Мохова не жаль? – спросила она неожиданно, с обычною ей короткою усмешкой.

– Ах, Кира, что это! – воскликнула, вся вспыхнув даже, Александра Павловна.

– Напрасно! Этот любил бы тебя, кажется, совсем по-твоему. Ведь ты идеалистка…

– А разве… И к чему это я тебя все спрашиваю! – прервала себя досадливо Сашенька. – Ты уж всегда такая!..

– Какая это?

– Недобрая… Сама никого не любишь и… Но Бог с тобой, я не сержусь.

Она в мгновенном порыве закинула ей руку за шею и поцеловала в щеку:

– Je suis si heureuse! – прошептала она. – Прощай, спи хорошо!..

– Прощай!..

Они разошлись по своим комнатам.

Едва вошла к себе Александра Павловна, как из комнаты ее няни выглянуло маленькое, отцветшее лицо Лизаветы Ивановны.

– А я вас все поджидала, сокровище мое, – выговорила она, идя навстречу девушке, и, захватив обе ее руки в свои, принялась целовать их.

– Что это вы, Лизавета Ивановна! – воскликнула та, краснея и отымая их у нее. – Поцелуемся и так!

Она обняла ее.

– Давно не видала вас, голубушка моя, так с радости! Очень уж я вас люблю всегда за смирение ваше и тихость… По закону, ангел мой, по Христову, так и надо! А то, сами знаете, в

мире нынче злоба одна!..

– Ах, не говорите, милая! На свете так хорошо, и все мне кажутся такими добрыми, такими… Вы знаете, – и голос Сашеньки так и замер от пронимавшего ее блаженного волнения, – ведь кончено все, завтра…

– Насчет это чего «завтра»? – недоумело спросила Лизавета Ивановна. – Невдомек мне…

– Ах, Боже мой, да ведь вы были у Троицы, а мы в Петербург ездили, а за это время…

И Сашенька в спешных, прерывавшихся словах передала ей о нежданном происшествии, сделавшем возможным то, о чем давно знала Лизавета Ивановна, о чем они вдвоем в продолжение двух лет переговаривались с тихими слезами в этой самой спальне, в эти поздние часы пред сном, и об осуществлении чего маленькая особа, не говоря своей приятельнице, еженедельно ставила свечи пред иконами Спасителя и Божией Матери Иверской.

Она так и всплеснула руками:

– Въявь, ангел мой, въявь десница Вышнего над вами! – воскликнула она с восторженым лицом. – Возблагодарим Отца Небесного!

Она обернулась на угол, в котором над белевшею своим свежим бельем кроватью Сашеньки зажженная лампадка освещала темные лики старинных икон, и зашептала умиленным голосом: «Свете тихий святыя славы бессмертнаго Отца Небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа…»[12]

Она упала на колени, лбом в землю, договорила молитву уже неслышным шепотом, встала, еще раз обняла девушку. Слезы стояли у той на глазах.

– Ну, а теперь, ангел мой, сказывайте: самый вот это, значит, и есть господин, военный, что с вами в дверях разговаривал, как я ушла-то снизу?

– Он, он самый, милая! Нравится он вам, скажите? – спрашивала торопливо Сашенька.

– Как не нравится! Видный из себя, молодой еще, вполне вельможественный барин, видать! Разве бы вы себе дурного выбрали, ангел мой? – улыбалась радостно маленькая особа.

– Он такой благородный, храбрый, Лизавета Ивановна!

– Чего уж, золотая моя, за Христа и Россию в боях с неверными агаряны кровь свою проливал! Сочтется это ему, ангел мой, сочтется в вышних, потому, как грешен и он, – вольно или невольно, а грешен, как всяко дыхание земное, – а только впишется ему там претерпенное им за его иройство, это верно! Весы-то на спасение ему и перетянут…

Лицо Александры Павловны отуманилось вдруг:

– Я спрашивала про него Киру, как она его находит… Она так странно ответила мне…

Лизавета Ивановна глубоко вздохнула вдруг и наклонилась к ее уху:

– Одержима она, милая, одержима! – выговорила она чуть слышно.

– Что это вы! – воскликнула Сашенька почти испуганно.

– Духом гордыни и возмущения обуяна… Смущает он ее, ангел мой, да!..

– Кто это, вы думаете? Иринарх?

Та закачала отрицательно головой:

– Что этот, милая. Так, с жиру мелет; разве бы стала она его пустые слова слушать!.. Враг, враг человеческий, – вот кто!.. – Лизавета Ивановна даже вздрогнула и перекрестилась. – За нее молиться надо, ангел мой, молиться, – вот что!

– Ну, вы, полунощницы, полно языки-то чесать! – забрюжжала, входя в спальню с ночною сорочкой Александры Павловны на руке, старая няня ее. – Второй час в начале, и по постелькам пора!..

– Давно не видались, Глафира Савельевна, матушка, так вот и загуторили на радостях-то, – молвила ласкательно и извиняясь Лизавета Ивановна.

– А мне вас до петухов глаз не смыкаючи дожидаться!.. Ну, ладно уж, ладно, буде! – усмехнулась старуха, отстраняя морщинистою рукой обнявшую ее маленькую особу. – Тут вам что ль, на диване стелить, аль у меня в комнате заночуете?

– Здесь, няня, здесь! – воскликнула Сашенька. – Ты только не ворчи, мы будем с Лизаветой Ивановной потихонечку, потихонечку разговаривать, не помешаем тебе спать!

Старушка раздела ее, уложила, «затыкала» одеяло под тюфяк и, перекрестив ее, задула стоявшие на туалете свечи, вышла и заперла за собою дверь.

Лизавета Ивановна, скинув в свою очередь платье, при чем как-то боязливо оглядывалась и ежилась всем своим маленьким и зябким тельцем, стыдливо нырнула под старую шубку Сашеньки, служившую ей одеялом, и, осенив трижды крестным знамением себя и свою подушку, уложилась головой на сложенные руки и воззрилась ласково улыбавшимися глазками на молодую свою приятельницу, лежавшую против нее с рассыпавшимися по белой наволочке роскошными черными волосами, по которым дрожа играл красноватый цвет зажженной пред иконами лампады…

И долго еще среди ночной тиши раздавались их задушевные и тихие, как детский лепет, речи.

А по другой стороне стены княжна Кира, раздевшись, отпустила свою горничную и в широком ночном пеньюаре села за стол, оперлась головою на обе руки и принялась за чтение книги, принесенной ей Овцыным. Но *Былое и Думы* бойкого беллетриста с их сверкающим, как фейерверочные огни, рассказом не в силах были преодолеть то чувство грызущей тоски, которою чувствовала она себя охваченною… Она встала и зашагала бесшумно по комнате, сжав брови и поводя кругом своими зелеными, заискрившимися теперь на воле глазами, словно красивая пантера в своей клетке.

«Душно здесь!» – проговорила она про себя, подошла к окну и, отдернув занавеси, отворила форточку… Струя морозного воздуха вместе с лунным сиянием ворвалась к ней в комнату… «Простудится можно», – пронеслось у нее в мысли. Но она тут же презрительно улыбнулась и, сложив на груди свои обнаженные до локтя руки, встала прямо навстречу леденившей ее мзге и устремилась широко раскрытыми зрачками в далекое небо, будто вызывая его и мигавшие на нем бесчисленные звезды на какой-то таинственный, смертельный – и бесцельный бой…

XVI

…Духа злобы над душою
Я слышу тяжкое крыло.

Фет.

На другой день, часу в девятом, Троекуров, только-что совершивший утренний туалет, сидел в своем нумере, в халате, с газетным листком в руке, и прихлебывал чай из похолодевшего уже стакана, когда в его передней отворилась дверь, послышался звук голосов, и вслед затем слуга его, грузин, вошел в комнату.

– Кто тут? – спросил его Борис Васильевич.

– А не знаю! – грузин пожал плечами и подал визитную карточку. – Говорят, чтобы вы прочитали хорошенько и тогда будете знать.

Троекуров поднес карточку к глазам. На ней читалось:

Степан Иоакимович

Троженков.

Ходатай по делам.

– Проси! – по минутном размышлении сказал Троекуров.

Вошел господин в синих очках, с которым читатель уже встретился в «укромном уголке» Елпидифора Павловича Акулина.

– Извините, что принимаю вас в таком туалете, – учтиво проговорил, привстав, хозяин, – я не хотел заставить вас ждать… Не угодно ли?

И он указал ему на стул подле дивана, на котором помещался сам.

Тот поклонился, сел и молча сквозь темные свои стекла уперся в него взглядом.

Такой дебют не понравился нашему кавказцу.

– Вы желали меня видеть, – сухо проговорил он, – чему именно обязан я этою честью?

– Вы изволили прочесть мою официальную, так сказать, кличку? – медленно вымолвил на это вошедший, кивнув подбородком на карточку, лежавшую на столе пред Троекуровым.

– Как же, прочел!

– И полагаю, – продолжал тот, растягивая слова, усиленно придыхая на гортанных звуках и особенно напирая на гласную о, – полагаю, что вы, несмотря на великороссийское *закончание* на *веди-еръ,* разобрали в той кличке обрубленный, с позволения сказать, как у собаки хвост, фамилии очень близкой вам по связям родства?

Троекуров с видимым уже любопытством воззрился на него в свою очередь.

– Разобрал, вы не ошиблись… Мне, впрочем, о вас было ранее известно, – примолвил он,

помолчав.

– Было известно? – повторил Троженков и повел как бы с удовольствием головой. – Известно вам, следовательно, то обстоятельство, что по естеству природы, так сказать, я вашей покойной матушке состою родным племянником, а вам двоюродным братом?

Невольное брезгливое ощущение пробежало по лицу Троекурова, но он тут же сдержался и с бесстрастным выражением поднял опять глаза на говорившего.

Но тот очевидно все видел, все замечал. Речь его приняла тут же не то беззаботно-насмешливый, не то язвительно-иронический оттенок:

– По тому же естественному основанию могу предаться и дальнейшей, так сказать, игре моей фантазии, как то: почитать себя потомком древних предков, единственно настоящим наследником значительных маетностей, перешедших от оных родившему меня отцу, – и вообще в некотором смысле видеть в себе персону… А по действительности, как определил мне закон человеческий, ничто более есмь, как червь земляный, хуже даже того червя, могу сказать, потому как с первого момента непрошенного появления моего в мире сем отмечен, могу сказать, клеймом позора…

– Позвольте, – перебил его Троекуров, – я не понимаю, для чего вам угодно объяснять мне все это?

– Потому угодно, – невозмутимо возразил странный его собеседник, – что прежде всего желал бы знать, с какой стороны вам *угодно* будет взглянуть на меня, имя рек?

И он снова указал подбородком на свою визитную карточку.

– То есть со стороны «персоны» или со стороны «червя», как вы изволите выражаться? – Борис Васильевич чуть-чуть усмехнулся. – Ни с той ни с другой, позвольте сказать вам откровенно. Рождение ваше я ни в каком случае позором для вас не почитаю, а вижу в этом… несчастие, за которое вы никак не ответственны и которое, напротив, может только возбудить сожаление о нем в каждом порядочном человеке… Что же касается вашего гражданского положения, то я, вы понимаете, не властен его изменить и могу смотреть на него лишь так, как создано оно для вас законом.

Троженков повел всем телом:

– Извините, – натянуто проговорил он, – я полагал, что как сын нашего просвещенного века вы признаете неправедность писаного закона вообще и принимаете в основание естественные права человека…

– На что? – коротко отрезал Троекуров.

Вопрос этот как бы смутил «ходатая по делам»: он примолк на минуту и начал затем опять, не отвечая прямо на него:

– Не знаю, известен ли вам следующий факт: по выходе замуж матушки вашей, Маргариты Ивановны, против воли брата ее, а моего отца, – подчеркнул он, – сей последний подал на Высочайшее имя просьбу об узаконении меня, тогда пятигодового дитяти, во всех правах законного сына своего и наследника.

– В чем ему было отказано, – холодно заметил Троекуров.

– Отказано, – как бы машинально повторил тот, – остается знать, признаете ли вы за оным фактом нравственное, так сказать, значение утверждающего меня обстоятельства?

– В чем утверждающего, я не понимаю?

– Да хотя бы в воззрении самого родившего меня лица на права моего рождения?

– Послушайте, Степан Акимыч, – молвил не сейчас Троекуров, глядя в стекла его очков, сквозь которые тщетно старался он уловить выражение его глаз, – я не философ и не юрист и в социологические прения вступать полагаю бесполезным как для вас, так и для меня. На ваш же факт я отвечу такими же фактами. Отец ваш действительно желал вас одно время узаконить и просил об этом… Вы меня извините, если я позволю себе заметить, что он при этом руководился гораздо более ненавистью к матери моей и намерением лишить ее потомство всякой надежды на его наследство, чем заботой о «правах вашего рождения». Доказательством этому служит то, что, получив отказ в своей просьбе, он тут же женился на дочери своего управителя, прижил от нее сына, покойного Ивана Акимыча, а о вашей судьбе, сколько мне известно, позабыл и думать… Я был вчера у занимавшегося его делами и близкого его приятеля, Захара Петровича Успенского; он мне говорил, что отношения к вам… *отца* вашего… и *брата* были далеко не нежны, и что вы с вашей стороны…

– Успели уж побывать и справиться! – ядовито вскликнул Троженков. – И почерпнули, разумеется, самые неблагоприятные обо мне данные?

– Я не справлялся о вас: то, что до вас относится, сказано мне было мимоходом.

– Понимаю – и плюю на презирающих меня так же, как и они на меня плюют, – неожиданно отпустил на это господин в синих очках, – но я позволю себе спросить вас, как человека… как человека, так сказать, в абстрактном смысле слова – имею ли я право обиды на того, кто, родив меня на свет без спроса моего и желания, угнетал затем все это, им же данное мне существование, не только не обеспечив его в юные, но даже и в зрелые мои лета, лишив меня даже средств приобрести права служебные, так как по окончании мною гимназического курса в Полтаве, где я проживал, до ее смерти, с матерью на пенсион в 500 рублей в год, назначенный ей этим ее обольстителем, он на поступление мое в университет ни за что не согласился, а определил писцом в губернское правление, в коем и прозябал я в убожестве и, можно сказать, в грязи до более чем тридцатилетнего возраста?.. Так если я, приехав после того сюда по недостатку средств с обозным извозчиком, в виде поклажи, требовал от того человека и сына его настоящего себе обеспечения, а они мне в этом злостно отказывали и меня своею же против меня виной корили – так вы как скажете: меня или их казнить треба за это? Прошу от вас откровенного мнения.

– Вы правы с вашей точки зрения, – сказал внимательно прислушивавшийся к речи его Троекуров, – но, быть может, – промолвил он, несколько запинаясь, – с вашей стороны были также… поступки, объясняющие в некоторой мере, если далеко и не оправдывающие, суровости к вам покойного Акима Ивановича…

У Троженкова дрогнула челюсть:

– А, поднесли вам уже и о моих «поступках»! – злобно захихикал он. – Доложили, вероятно, о том, как я со стола миллионера, Акима Иваныча Остроженко, тысячу рублей позволил себе самовольно присвоить раз, и как за это пан сей большой меня, детище свое первородное, крова и хлеба последнего лишил?

Он вскочил с места и перегнулся через стол так, что Троекуров поспешно откинулся в спинку

своего дивана, чтобы не почувствовать его дыхания на своем лице.

– Взял-с, действительно взял… потому и мне… и мне пожить захотелось *раз,* как жил ежедневно *законный* братец мой, Иван Акимыч, что такие тысячи карбованцев в одну ночь у Фараоновых дев оставлял!.. Взял-с и не отказался, когда допытывали: «Ты взял?» – Я!.. Мошенником меня они из-за того сделали, а сами честные остались! Полна грошей кишень – и честные! А от других с честности, голодом чтобы помер, требуют!..

Он опустился снова на стул, порывисто дыша и трясущеюся рукой поправляя свои слегка скользнувшие вниз по носу очки. Поверх их на мгновение выглянули глаза его – недобрые, мышиные щелки глаз, лукавые и тревожные…

– Несправедливость общественная, что с нею поделать! – выговорил он, как бы в resume всего предыдущего, с изнеможенным видом опуская обе руки.

«Что-то подобное говорил вчера этот… Овцын, – мелькнуло в голове Бориса Васильевича, – но тут посерьезнее основание»…

Он глядел на этого своего «двоюродного брата по естеству природы» с какою-то странною смесью жалости и отвращения. Он вполне признавал естественность высказывавшегося этим обездоленным человеком протеста, но голос, выражавший этот протест, звучал в его ухе чем-то неестественным и заученым. Забегавшее вперед признание о краже им денег у отца вслед за первым намеком о его «поступках» отзывалось гораздо более злым цинизмом, чем душевною страстностью; самые *подходы* его речи наконец и как бы ощупывание своего собеседника, прежде чем приступить к самому делу, за которым (Троекуров понял это из одного уже его визита) этот господин явился к нему, коробили нашего джентльмена своею грубою *деланностью* и лукавством.

Но он не хотел поддаться этому впечатлению. «Мало ли что кажется иной раз фальшивым, а на самом деле совершенно искренно! – настойчиво доказывал он себе. – Человек этот несчастлив, и если даже и порочен, – не по своей вине; он не просился, в самом деле, на этот свет, в эту свою несчастную шкуру незаконнорожденного, заклейменного, как говорит он справедливо, с первой минуты его рождения; ответственность за него, за его исковерканность, за неблаговидность его дел лежит не на нем, а на том, кто, родив его, не дал ему ни средств к жизни, ни настоящего образования… Бессердечный, поистине, человек был этот мой дядя, Аким Иванович!..»

– Да, я понимаю, – соответственно этому внутреннему рассуждению громко уже выговорил он, – обеспеченному человеку трудно себе представить даже, сколько нужно иной раз мужества бедняку, чтобы противостоять соблазну зла…

Труженков поднялся еще раз с места и протянул ему через стол руку:

– Позвольте поблагодарить вас, Борис Васильевич, за такие ваши слова! Запишу их, верьте слову, на вечные времена в памяти своей и сердце. Сказанные таким человеком, как вы…

Троекуров поспешил прервать его и принять руку, которую тот продолжал давить в своих холодных и каких-то склизких пальцах:

– Словам цена – грош, говорят, – вымолвил он с невольною резкостью, – и, вероятно, вы не для этого почтили меня своим посещением… Господин Успенский, – поспешил он тут же перейти на другую почву разговора, – говорил мне, что он за несколько времени до смерти Акима Ивановича склонял его обеспечить вас известною суммой и что тот совсем было согласился на

это и обещал ему даже внести на ваше имя в банк, с тем чтобы вы, пока он жив, пользовались процентами с них, двадцать пять тысяч рублей.

– От полуторамиллионного состояния двадцать пять тысяч! У него одних чистых денег билетами до трехсот пятидесяти тысяч оставлено! – злобно захихикал Троженков. – Справедливо это, как полагаете?

Борис Васильевич чиркнул спичкой о стоявшую на столе коробку, закурил папироску и, жмурясь как бы от дыма, проговорил торопливым голосом:

– Духовного завещания, как достоверно известно Успенскому, покойный не оставил никакого; всему таким образом должен наследовать я… Я обязуюсь, по вводе меня во владение, выдать вам вдвое того, что он назначал вам – пятьдесять тысяч.

Он старался не глядеть на него, говоря себе: «Только бы он опять не стал мне глупых благодарностей выражать, а главное, не хватал бы еще раз за руку!..»

– Полагаю, что имею право на большее! – к немалому своему удивлению услышал он в ответ шипящий, словно оскорбленный голос «ходатая по делам».

Он глянул теперь на него во все глаза и громко рассмеялся:

– На все, то есть? Потому что я иначе не понимаю: или вы в самом деле почитаете себя вправе оспаривать у меня это наследство, – тогда я ни при чем; если же наследник я, то торговаться со мною в том, что я добровольно желаю отделить вам… по крайной мере забавно!..

– Есть все же совесть, Борис Васильевич! – проговорил тот уже несколько оробевшим тоном.

И Троекуров побледнел весь и нервно закусил ус:

– Есть, – сказал он, – я с нею согласно и поступаю: *отец* ваш давал вам цены ровно наполовину меньше!..

«Смертный мне враг с этой минуты», – сказал он себе тут же, угадывая сквозь непроницаемые стекла Троженкова змеиный взгляд, направленный на него вслед за этими его словами, и презрительно усмехнулся.

Но тот не доиграл еще всей своей игры:

– Правы вы были, Борис Васильевич, правы! – завздыхал он вдруг, как бы внезапно одумавшись. – Бессилен бедняк пред соблазном… туман, так сказать, напускает ему в очи… И вот, как пред Богом, поверите, из чего это я вместо слов благодарности в такой постыдный, извините великодушно, с вами торг вступил? Всю душу вам свою открою. Как дитею еще себя помню в имении отцовском, пока не отослал он нас из него бесчеловечно с матерью, так и до сегодняшнего дня, все одно я в мысли держал: удалиться от людей да зажить себе панком в деревне тихо, честно, благородно… И даже сколько раз пытался с покойным об этом, даже из Полтавы письмо ему писал: дайте, говорю, мне из земель ваших хотя кусочек масенький, построю я там себе хибарку, стану наймом работать, – потому я, как не имея дворянских прав, крепостным людом владеть не могу. А он даже и ответа никакого на то мне не дал… И вот теперь как раз, занимаясь ведением процессов по присутственным местам, такой случай вышел, что могу я знатнейшее имение приобрести, дав под залог его теперь сорок тысяч, а когда, уповательно, объявлена будет воля крестьянская и всем без исключения предоставится право владения землей, доплатить еще двадцать тому помещику и переехать туда пановать на

его место. И так ни о чем, как пред Богом, думать не могу, как об этом имении; и как вы сказали… «пятьдесят тысяч», а у меня в голове сейчас: «не хватает до полной суммы»…

– Дело, значит, в лишних десяти тысячах, – гадливо воскликнул Троекуров, не давая ему договорить, – хорошо, я согласен их прибавить.

Он встал и поклонился, давая ему этим знать, что переговоры их кончены.

Троженков медленно поднялся в свою очередь:

– Так я буду в надежде, Борис Васильевич, – проговорил он после довольно продолжительного обоюдного молчания и как бы имея вымолвить что-то другое, заботившее его.

– У меня одно только слово! – отрезал Троекуров, которому вид этого человека уже глубоко претил, поклонился ему еще раз и прошел в свою спальню.

«Паны проклятые!» – неслышно прошипели позеленевшие губы Троженкова… «А гроши с гонора с одного заплатит все, и документа не треба, только бы сам дожил до ввода во владение», – добавил он мысленно чрез миг, усмехнулся, надел шапку тут же в комнате и вышел.

XVII

Нет искр живых во мне на голос твой приветный,
Одна глухая ночь, и нет для ней утра.

Тютчев.

Он жил на Грачевке, в доме диакона, у которого нанимал две комнаты на дворе, сквозь который, промеж подымавшихся как горы сугробов снега, протоптана была черневшая оттаявшею грязью тропинка до его квартиры. Ворота во двор были постоянно заперты наглухо, и хода в него другого не было, как через низенькую калитку, куда Троженков, давно привычным движением нагибая заранее голову, и направился, отпустив на улице своего извозчика. Но, столкнувшись в проходе с выходившим от себя в эту минуту в просторной лисьей шубе и шапке и с высокою тростью в обнаженной красной руке высоким и тучным хозяином дома, оборвал его самым неожиданным для сего последнего образом:

– Когда это вы, отец диакон, по-человечески жить зачнете, ворота отколотить прикажете?

Отец диакон отступил на шаг, пропустил его и, прислонившись к стенке дома, открыл большие глаза:

– А для чего это теперича требуется, Степан Акимович?

– А *для* того, что *теперича,* – передразнил его Троженков, – порядочному человеку у вас и доехать-то до своего крыльца нельзя!

– Кому ж это, к примеру, батюшка? – наивно выговорил отец диакон, моргая все с тем же удивлением, и, не дождавшись ответа, поглядел вслед быстро удалявшемуся от него жильцу, покачал подозрительно головой и шагнул к калитке, но тут же отступил еще раз.

В нее торопливо входила с улицы статная и белолицая женщина в шубке, укутанная большим платком, черты которой были намечены в его памяти (он уже не в первый раз встречался с

нею или видел ее из своих окон пробирающеюся к флигелю Троженкова).

Он осанисто усмехнулся, поднес руку к шапке и спросил:

– К Степану Акимовичу изволите?

– Да, он дома? – усиленно переводя дыхание, молвила женщина, приостанавливаясь.

– В аккурат сейчас подъехал…

Она кивнула ему головой и прошла мимо.

Отец диакон усмехнулся опять, повел усами, как таракан (с которым вообще представлял некоторое сходство), и вышел на улицу, проговорив себе под нос в виде одобрительного отзыва:

– Телостроение знатное!

А она, быстро перебежав двор и войдя в сени, разделявшие флигель на два отделеньица, в одном из которых жил Степан Акимович, схватилась за ручку его двери, передохнула еще раз от спеха ходьбы и вошла в комнату.

Сквозь ледяные кристаллы, заволакивавшие зеленоватые стекла низеньких окон, проникал в нее свет зимнего дня, освещая ее неряшливую и грязноватую обстановку. Крашеная под красное дерево мебель, состоявшая из дивана и четырех кресел, обитых черною волосяною материей, приставленный к стене стол, покрытый продранною клеенкой, на котором рядом со сложенною кипкой «дел» в серых сенатских обложках и X-м томом Свода законов в зеленом корешке лежали два-три нумера тогдашнего *Современника* и истрепанный, видимо перебывавший во многих руках, тоненький листик лондонского *Колокола*, – таков был этот покой, служивший кабинетом и приемною нашему «ходатаю по делам».

– Кто там? – раздался его голос из соседней, спальной его, комнаты, куда только что прошел он снять верхнее платье.

– Я! – произнесла женщина, устало опускаясь в кресло подле стола и откидывая к затылку толстый шерстяной платок, покрывавший ее голову.

– Анфиса Дмитриевна! – воскликнул он, поспешно выходя к ней. – Как это в такой час?

Она подняла на него свои голубые, отуманенные теперь глаза и с каким-то странным выражением печали и робости тихо проговорила:

– Кончился он…

Троженков качнулся на ногах:

– Помер… Ну? – глухо проговорил он, наклоняясь к самому ее лицу и жадно впиваясь ей зрачками в зрачки.

Она медленно закачала головой:

– Вчерась еще… утром, – падали чуть слышно ее слова из бледных уст, – все, до копейки… в банк… отвезли…

– Кто? Кто отвезли? – спрашивал он, бледнея в свою очередь.

– Дочка… с мужем…

– Вы мне ж говорили, что они про те деньги ничего не знают?..

– И не знали… только вчера, как ты ушел… выслала она меня из комнаты… сам он, должно, боясь часа смертного, открыл им… разговор у них был большой… Слушала я, да через дверь не расслышала… Только сказала потом бесстыжая барыня эта, что «так *вернее* будет»… это насчет, то есть, что увезли они эти деньги… меня опасаючись, значит!..

Она говорила порывисто, нескладно, передавая ему с судорожною поспешностью то, в чем принимала участие сама и что могло быть ей лично известно из общего хода этого дела, подробно изложенного нами читателю.

Он слушал ее теперь, шагая крупными шагами из угла в угол комнаты и заставляя хрустеть один за другим каким-то гробовым звуком все суставы своих пальцев.

– Ни с чем теперь остались, браво! – злобно захихикал он в заключение всего того, что узнал из ее сообщений. – Не захотели слушать меня: допреж того… пока хозяйкой всему были, обеспечить себя могли.

– Допреж того! – зашептала Анфиса, тревожно следя за ним все так же робким взглядом. – Грех, не могла я против благодетеля моего решиться…

– «Благодетеля», – ядовито перебил он ее, – в крепости состояли и духом и телом у хапуги того полицейского!

– Оставьте! – строго проговорила она на это, подымая голову. – Человек на столе лежит, а вы обиждать!

– Извините, государыня моя милостивая, – зашипел он, – извините, что до драгоценного сокровища вашего коснуться осмелился… Вдовою вы, значит, неутешною по форме теперь сделались?

– Не поминать бы уж лучше, Степан Акимыч, – дрожащим от слез голосом возразила она, – четыре года как за Кремлем каменным выжила я за ним; может, для других, а для меня благоволительный был господин, сами видели. В глаза, можно сказать, глядел, как бы успокоить да жизнь мою вдовью усладить; так должна я или нет жалеть его, как вы полагаете?.. Когда, может, и помер-то он даже через злость мою на него! – вырвалось у нее стоном из груди. – Я теперича к вам за советом пришла, потому как осталась я, почитай, сиротою после того человека, а вы меня такими словами вашими как из ведра на морозе обливаете!..

– Каких же вам еще слов? – он чем дальше, тем сильнее злился. – Когда были у вас в руках козыри все, да и тут в дурафьях себя оставили! Что же я теперь могу советовать?

Анфиса Дмитриевна поспешно расстегнула свою шубку, развязала и сорвала с шеи тяжелый платок: кровь приливала ей в голову:

– Степа, – вскрикнула она, блеснув глазами, – чтой-то ты говоришь теперь, Бога ты не боишься! Кто ж до теперешнего довел меня, как не ты! Памяти в тебе, видно, не осталось крошечки, или совсем уж без совести? Забыл ты, как писаришкой убогоньким к нему поступил, на меня в ту пору гляделок-то своих лукавых поднять не смел… а потом с кухни бегать стал, Лазаря петь, да улещать меня словами змеиными, в ноги кидался, коленки целовал… Он в часть или иное

место на службу, а ты шасть из канцелярии тут как тут – год целый гвоздил, сердце мое смущал… И обошел-таки, спутал… Совесть-то свою всю с тобой потеряла! Кабы не любил еще он меня так да не верил, а то мукою мучусь бывало, об этом думаючи, а ты придешь да и распишешь опять языком, будто и права я с тобой… И каких ты мне только тогда слов не говорил, чего ни наобещивал, замуж меня взять за счастье себе почитал! Говорил ты, нет? И до вчерашнего утра даже до самого, как вышла я к тебе в переднюю, ты мне что первым делом: «Изныл, говоришь, весь, ожидаючи, как бы с тобой в законный сыграть да на деревню ехать»… А теперь у тебя слов нету!..

Голос ее оборвался, и одни глаза ее, с прежнею мучительною тревогой устремленные на него, договорили ему остальное.

– Вы это напрасно себя беспокоите, Анфиса Дмитриевна, – начал он в ответ, продолжая шагать по комнате и не глядя на нее, – я все это очень хорошо разумею; только ведь сами знаете, насчет деревни и прочего, так мы с вами предполагали, как если будет из чего… А если теперь ни у вас, ни у меня *нема ничого, так ничто й не буде,* говорят у нас в Полтаве; сами уж рассудите после этого!

Но она еще не «рассудила», слова еще неудержимо просились у нее из души наружу:

– Если бы не ты, разве бы оставил он меня ни с чем? Умный он был, догадливый… Скажем прямо так, что он только не говорил, меня жалеючи, а все про нас понимал, видел… а то, может, и слышал, как ты со мной ночью-то шепотом шептал… «Спит», а как если не спал?.. А механику-то твою с депешей оченно он хорошо заметил; сейчас опосля того велел мне при докторе другую написать, а как она с мужем приехали, так первым делом чтобы тебя вон… Сама при мне ему сказала: «Я мол, папа, Федьке, по вашему приказанию, передала, чтоб этого Троженкина к вам на глаза не пущать»…

Троженков остановился на ходу:

– Покорнейше вас благодарю! Я, значит, и до разорения вас довел, и «благодетеля» лишил, и…

– А то кто ж? – пылко прервала она его. – Кабы ты все сердце мое не возмутил, что не у него, а у тебя действительно я за крепостную была, он бы и теперича жив остался! Лукавством твоим и жадностью душу ты мне отравил, вот что! Как вижу, денежки-то сплыли, да о тебе тут подумала, а и еще барыня эта ошельмовать меня вздумала, такая меня злость взяла, что вот, кажется, всех бы их в ступе истолкла сама… И пришла я тут к нему – знаю, что все одно, как ножом ему: «Счастливо, мол, оставаться, Елпидифор Павлович, – говорю, – не хочу у вас больше жить»… Так даже страх на него глядеть было: затрясся весь… и зять его даже кинулся просить меня, чтоб осталась я… А я и слушать не хочу: «Пропадай вы все пропадом», – думаю… И пошла, обернуться-то на него в последнее не захотела… и обернулась только, как уж он…

И Анфиса залилась вдруг неудержимым истерическим рыданием. Не даром, действительно, далось ей удовольствие сорвать свою злость на покойном «благодетеле»…

Степан Акимович поглядел, поглядел на нее, вышел в спальню, вынес оттуда налитый водою стакан, молча поставил его подле нее на столе и заходил опять по комнате.

Она успокоилась через несколько минут, отпила, утерла слезы концом платка и остановила на нем пристальный взгляд:

– Что же теперь, Степа? – медленно проговорила она.

– А что? – не оборачиваясь, ответил он.

– Какое твое насчет меня решение будет?

Он, все так же не глядя на нее, обвел рукой кругом себя:

– Обитель сию видите – против ваших с ним хором добре покажется?

– А деньги же где? – спросила она после долгого молчания.

– Какие деньги?

– Какие! А мало ты их перебрал у меня за три года?

– Много, правда! – фыркнул он насмешливо.

– Все; ничего себе не оставила… Билетами было три тысячи да сериями дятьсот… С возвратом брал, – с усилием добавила она, – всю душу-то свою, почитай, проклял, божившись, что отдашь…

– Так эти деньги в деле; не раз, кажется, говорил вам! – молвил Троженков обиженным тоном.

– Слышала! Документ все обещался принести, сегодня да завтра, – а и по сю пору нет!..

– Какой документ?

Она все время не отрывала от него глаз. Презрительное выражение все сильнее и сильнее заволакивало ее красивое и измученное лицо; голубые глаза горели темным пламенем…

– Плут ты, плут бесстыжий! – глухо вымолвила она вдруг, вставая и быстро окутывая снова голову платком. – Проклят будь тот день, как забыла я на пагубу свою совесть с тобою!..

И, едва держась на ногах, она двинулась к двери.

Он вдруг смутился:

– Позвольте, Анфиса Дмитриевна, что же вы, однако, так…

Она обернулась на него с горькою и высокомерною усмешкой:

– Небось в пролубь кинусь с большого через тебя горя? И не мни! Назло тебе жить стану! Только ты от нонешнего часа и встречаться со мною не смей, чтоб я тебе при всем народе подлеца не сказала!

И она исчезла за дверью.

XVIII

Who is’t can read a woman?

Shakespeare.

Mobile comme l’onde.

V. Hugo.

Через день после этого Ольга Елпидифоровна Ранцова, вернувшаяся часа два назад из Андроньева монастыря с похорон отца и прилегшая было отдохнуть, поднялась быстрым движением с кровати (заснуть она не могла ни минуты) и кликнула свою горничную, занимавшую соседнюю с ней комнату.

– Что, барин вернулся? – спросила она ее.

Амалия приняла несколько таинственный вид:

– Приехал из монастырь, опять сичас уехал и сичас wieder hier.

– Где он?

– В свой комната.

Она оглянулась кругом и прошептала по-немецки:

– Собираются уезжать.

– Куда это еще?

Амалия махнула неопределенно рукой по воздуху:

– Aus Moskau weg!..

– Вы вздор говорите! – гневно вскликнула Ольга Елпидифоровна.

Горничная пожала плечами и чуть-чуть усмехнулась.

Барыня наша задумалась на миг.

– Сходите сейчас к нему и попросите его ко мне! – сказала она уже более спокойным тоном.

Она в видимом волнении заходила по комнате в ожидании мужа.

Шли вторые сутки, как он не говорил с ней, ограничиваясь лишь самыми необходимыми словами в неизбежных случаях, когда требовалось ее мнение по предмету похорон. Все хлопоты по ним взял он на свою обязанность: уговаривался с гробовщиками, с духовными лицами, с певчими. Он уезжал с утра, возвращаясь домой к панихиде, и опять уезжал… Она имела таким образом некоторое основание думать, что ему «*некогда* говорить с ней, и только»… Возможности окончательной размолвки она все еще допустить не хотела. «Ну да, я поступила неосторожно, и кто бы мог предвидеть такой случай, что он приедет за мной к Лукояновым в ту самую минуту, когда я оттуда уехала, и что этот сумасшедший Ашанин вскочит ко мне в карету! Но мало ли сколько раз проходили в Петербурге подобного рода неосторожности так, что он или совсем не заметит, или, если что-нибудь ему и покажется, он понадуется день-другой, и я же над ним насмеюсь, объясню, и он тут же поверит, кинется руки целовать… А теперь что же это такое? – он собирается уезжать в деревню, не спросившись, не предварив даже меня, – рассуждала наша барыня, – я сама хочу не позднее как завтра уехать в Петербург; на кого же я дом этот оставлю, и вещи, и распоряжения все?.. Не думает же он в самом деле разводиться со мной!» – улыбнулась даже Ольга Елпидифоровна… Но на душе ее тем не менее не было спокойно…

Ранцов вошел с какою-то бумагой в руке. Он был бледен и видимо устал, но торопливо и зорко взглянувшая на него жена не прочла на лице его ни гнева, ни упрека… Немым взглядом

ответил он на ее взгляд, подошел к столу и положил пред ней лист гербовой бумаги:

– Доверенность, – коротко промолвил он.

– На что это? – спросила удивленно Ольга Елпидифоровна, садясь.

– На получение капитала из банка.

– Билет у меня ведь.

– На мое имя положены, по желанию покойного…

– Так не все ли равно?

– Не мои-с – ваши. Получите, на свое имя положите опять или как вам угодно будет…

– Да я этого вовсе не хочу! – воскликнула она, отпихивая от себя бумагу. – Пусть останется как есть!

Он закачал головой.

– Этого нельзя-с, мне вашего не нужно… а, как у нас детей нет, в случае моей смерти родственники мои могут явиться с претензиями…

– Не собираетесь же вы умирать завтра! – перебила она его с внезапною тревогой под тоном шутки.

– Для чего собираться! – спокойно возразил он. – А что только в животе и смерти Бог волен, так все предвидеть надо… Если вас это беспокоит, – молвил он подумав, – так пожалуйте документ, я съезжу, на ваше имя перепишут.

Она безмолвно воззрилась ему опять в лицо.

– Никс, – промолвила она тихо затем на своих низких, ласкательных нотах, – вы все еще сердитесь на меня?

На лбу его у виска внезапно вспухла и посинела жила; он, не подымая глаз, чуть-чуть усмехнулся страдальческою улыбкой…

– Вы мне простить не можете!

– На что вам мое прощение! – еле слышно проговорил он и поспешно прибавил. – Пожалуйте документ, я сейчас съезжу.

– Нет, это невозможно! – пылко вскликнула Ольга Елпидифоровна. – Нам надо объяснится; я не хочу ссориться с вами, не хочу, чтобы вы меня подозревали Бог знает в чем!.. Ну да, я сумасшедшая, я сделала глупость, согласилась ехать ужинать с этим… с Владимиром Петровичем. И не вдвоем даже: должны были еще приехать Веретеньев и другие молодые люди – мы там у Лукояновых согласились. А вы сделали тут сцену Бог знает из-за чего…

Его как ножом пырнуло от этой лжи.

– Туда… где вы были… не ужинать ездят, – с усилием проговорил он, – мне известно.

Она покраснела вся.

– Так он меня обманул! Я не москвичка, я не знала…

– И не обманывал он вас, – прошептал Никанор Ильич, все так же отводя от нее глаза, – какой он человек, вы давно знаете!

– Так что же это такое? – растерянно молвила она, не находя даже в себе силы притвориться разгневанною. – Слышала, вы хотите уехать… вы меня кинуть хотите?

– Свободу предоставить вам хочу, – медленно сказали он.

– Какую свободу?

– Как пожелаете, – голос его дрогнул, – так как жить уж нам по-прежнему… не приходится.

Ей сделалось страшно вдруг. Насмешливые слова одного из ее петербургских поклонников по адресу этого самого ее мужа пронеслись у нее в голове: «Un mari est mi intendant donné par la nature». Как же станет она жить без этого «управителя»?

– Да я никак не желаю! – возгласила она. – Я хочу, чтобы вы перестали дуться… Слышите, сейчас, сейчас перестать, Никс! – заговорила она вдруг *кошечкой,* улыбаясь ему во всю ширину своих алых и полных, как спелые вишни, губ и ловя заискрившимися глазами его поникшие глаза.

– Не мучьте! – не то отчаянно, не то бешено вырвалось у него на это из груди.

Он быстро отвернулся от нее, подошел к окну и приник к нему лбом.

Она смущенно отшатнулась на месте, в свою очередь пораженная звуком его голоса.

– К чему напрасные слова говорить? – начал он неожиданно, поворачивая опять к ней свое исковерканное теперь мукой лицо. – Любил ли я вас, сами знаете… Всю душу, все мысли, все… Девять лет!.. Ежели когда и приходило в голову, так я… я и допустить не хотел… Верил, молился на вас, как…

Слова путались у него в горле, замирали на ссохшихся губах:

– Что ж чужой век заедать! Человек я темный, не светский ваш… Понимал я это хорошо, только думал: все ж никто из них… никто покоить ее так не способен… А тут… Обман-то зачем, обман? Сказали бы просто – разве я бы не понял! Срамиться зачем?.. Ведь, кажется, весь открыт был, насквозь меня видели. Сказали прямо: отступись!.. Вы его еще девушкой… любили. Вы, может, полагаете на счет состояния… Так мне на что! *Ваше* все, берите… Идите за него… Я все на себя возьму…

Ольга Елпидифоровна внезапно разрыдалась.

– Вы с ума сошли, – говорила она, всхлипывая, – вы меня за какую-то дуру почитаете; можете ли вы воображать, что я пошла бы за него замуж!.. Неужели вы думаете, что если б я захотела… разойтись с вами, я бы не нашла никого лучше этого… ветрогона? Но я не хочу расходиться… я вас люблю, Никс; вы добрый, благородный; вы меня вот до слез довели… Я хочу, чтобы… пожалуйста, Никсенька!.. чтобы все оставалось по-прежнему…

– Да разве это возможно, – воскликнул он, – разве можно!

– Все можно, Никс, все! Забудьте, умоляю вас!

Он горько усмехнулся:

– Забыть!.. А доверие прежнее где взять!

Она не успела ответить, как в дверь, запертую при входе Ранцовым, послышался стук.

– Кто там? – быстро утирая глаза платком, спросила она.

– Depeschen, gnädige frau! – ответил голос Амалии.

– Войдите!

Амалия поспешно повела на ходу своим косым взглядом на барина, перевела его вопросительно на барыню и, очевидно уяснив себе вполне то, что происходило у них сейчас, самодовольно усмехнулась и подала Ольге Елпидифоровне две принесенные ею телеграммы.

– Aus Petersburg, – произнесла она с достоинством.

Ольга Елпидифоровна вскрыла одну из них, взглянула на подпись и прочла:

«В Петербурге не осталось ни одного розана, ни камелии. Все цветут у вас на квартире и ждут вас. Езжу туда каждый день. Тоска без вас хуже смерти. Умоляю телеграфировать, когда вернетесь. Ответ за сорок слов уплачен. Базиль Шастунов».

На едва просохшем после слез лице красивой барыни скользнула невольная, осветившая его на миг улыбка. Но она тотчас же согнала ее с уст и с озабоченным видом вскрыла вторую депешу. Содержание ее было следующее:

«Не известили о своем отъезде. Только сегодня узнал о вашем адресе. Жестокая. Не ожидал. Для чего уехали? Мучусь, не сплю. Должны бы пожалеть. Знаете, что преданности нет границ. Ответ уплачен. Леонид».

Это было *petit nom* одного из действительно «преданнейших» ей «паричков» ее, как выражалась она, говоря с Ашаниным о своих поклонниках, графа Наташанцева, человека вдового, богатого, с большим служебным положением и весьма «goûté en haut-lieu», как говорится в свете.

Внезапное раздумье охватило вдруг теперь Ольгу Елпидифоровну. «И старый, и молодой»… – пронеслось и не досказалось у нее в мысли… Что-то зарождалось там, еще неясное, но освещавшее уже совсем иным светом то, что сейчас еще казалось ей таким тяжелым и «скверным»…

Она долго молчала, не отрывая глаз от депеши.

– Хорошо, – сказала она наконец, подымая их на горничную, – ступайте!

Амалия вышла. Ольга Елпидифоровна закусила губу, продолжая видимо соображать, и затем неспешно обернулась на мужа, стоявшего все так же у окна с печально опущенными взглядом и руками… Подвижные черты ее приняли разом теперь строгое и обиженное выражение:

– Так вы, говорите, потеряли доверие ко мне, да? – начала она.

Он только глубоко вздохнул в ответ.

Она помолчала опять.

– Значит, вы меня разлюбили, потому что нет любви без доверия. Если б у вас оставалась ко мне хоть капля чувства, – поспешила она прибавить, как бы боясь возможного возражения с его стороны, – вы бы не решились сказать мне, что сказали.

– Как же говорить-то мне было после того…

Он не в силах был кончить.

– Ну да, само собою, – молвила она уже с преобладающим оттенком иронии в тоне, – вы решились… Я решилась тоже! – почти весело примолвила она. – Что же делать, Никанор Ильич, насильно мил не будешь!.. Вы предлагаете мне развод – заметьте, вы, а не я… Мне остается только повиноваться.

Он слушал ее, не перерывая, – и не веря своим ушам… Да, он вошел к ней в комнату с твердым намерением «все покончить разом»: он недаром три ночи не спал, шагая до одури по своей спальне, переходя от лютого, бешеного отчаяния до полного изнеможения, до ребяческого рыдания, которое заглушал он, забиваясь головой в подушки. Он знал: счастье… нет, не «счастье», разве был он когда-нибудь счастлив? – обольщение исчезало для него навек. Он уже не мог обманывать себя: то, что он видел, «собственными глазами видел», открывало ему вежды и на все остальное, на все, что так часто мутило его душу недобрым подозрением и что «допустить», во что углубиться он не хотел… Он понимал теперь: «Разве один этот Ашанин!» А в Петербурге, когда он по месяцам проживал в деревне, а она оставалась одна со всею этою своею свитой… а за границей, может быть… И он девять лет, девять лет… «Господи, что же это за женщина! Что за унизительную роль заставляла она играть его! Ведь он честный, ничем не запятнанный человек, и он так, так любил ее!.. А она так бессердечно, так *„страмно“* могла поступить с ним!.. Нет, нет, кончить скорее, разом кончить!»

Но когда он очутился в ее присутствии, когда на него пахнуло опять ее женскою прелестью, когда она глянула на него теми неотразимыми глазами, заговорила тем, всю душу его проникавшим голосом, с какими смотрела и говорила она с ним в одну незабвенную для него минуту (после болезни, от которой думала она умереть), заговорила, в первый и последний раз в жизни, называя его «ты»: «Никсенька, я знаю, что никто на свете не может меня любить более тебя», – он почувствовал, что он не выдержит, что все решения его, вся суровость, а с ними и все его достоинство сгинут как дым пред ее властью, что он будет «сто раз проклинать себя потом за это, всю остальную жизнь свою будет терпеть из-за этого муку, – но простить, не в силах будет не простить»…

И вот, не он теперь – она говорит о разлучении с ним, она – внезапно, после этой телеграммы – она, только что плакавшая и молившая о прощении, говорит, что она *повинуется,* что насильно мил не будешь, она, видимо, придравшись к его словам, предлагает ему развестись с ним… Она *хочет,* у нее есть человек, для которого она его бросит, кинет навсегда… Навсегда…

Сердце у бедного Ранцова забилось с такою невыносимою болью, что он бессознательно поднес к нему руку (сознательно он почел бы верхом для себя счастия в эту минуту пасть мертвым к ее ногам).

– За кого же вы это думаете выходить теперь? – крикнул он ей со злостью.

Она смутилась на миг, на один миг, но тотчас же оправилась и, остановив на нем ледяной

взгляд, проговорила спокойно:

– Не все ли это вам равно, раз вы находите, что жить вам по-прежнему не приходится? Ведь сами вы сказали?

Он стиснул зубы, так что судорожный скрежет их донесся до ее слуха.

– Вы не вправе сердиться, – сказала она, – вы, я повторяю это вам еще раз, предложили мне развестись с вами. Я просила вас помириться… Я дошла до того, что просила наконец у вас прощения в… в небывалой вине… Вы и выслушать меня не хотели. Вы мне отказали наотрез… А я не такая женщина, чтоб это забыть – и простить, – заключила она, подчеркивая. (Она самым искренним образом успела убедить себя теперь, что обиженною и достойною всякого сочувствия была она, одна она.)

Ранцов качнулся на ногах и двинулся к ней со страшным, обезображенным лицом. Она с испуга вскочила с места.

Он вдруг остановился, повел растерянно рукой по лицу и вдруг захохотал:

– За что же Анфису-то эту вы так хаяли?..

Она села опять, пожала плечами и примолвила уже совсем величественно:

– Не забывайте, Никанор Ильич, что оскорблять женщину низко!

Он вперил в нее глаза с видом человека, не понимающего, кто и о чем ему говорит. Не по его, действительно, простому разумению была эта непостижимая перемена фронта. В деле его навеки разрушенного существования ответственным лицом оказывался теперь в ее и – что было непостижимее всего – в его собственном понятии он, и никто иной.

– Низко! – повторила она. – Да!..

Он опустил веки, подавил вопль, вырывавшийся у него из груди, и собрал свои последние силы.

– Так как прикажете? – вымолвил он с поклоном, как бы в знак извинения.

– Я вам напишу об этом из Петербурга, – не сейчас и холодно ответила она. – А вы в самом деле собираетесь сегодня в деревню?

Он кивнул утвердительно головой.

– Как же я, однако, останусь с этим домом и вещами? – вскликнула Ольга Елпидифоровна, вспоминая вдруг опять, что «un mari est un intendant donné par la nature» и, что, пока он еще «mari», он не должен забывать, что он «intendant», – и потом с этим наследством всякие формальности, я ничего не понимаю, кто же этим всем займется? Я сама хочу чрез день или два уехать в Петербург; не пропадать же мне здесь со скуки!..

– При доме может остаться мой Сергей, я его оставлю вам, – возразил Ранцов, – он, вы знаете, человек верный и исполнительный, – можете ему поручить все, что надо. Бумаги нужные в шкапу, где деньги у покойного… Елпидифора Павловича (он не считал для себя более возможным сказать по-прежнему «батюшка», и эта мысль уколола его как острою булавкой). А насчет формальностей я был уже у одного знакомого мне хорошего человека – в гражданской палате служит; он обещал быть сюда часу в третьем. Вы ему можете довериться, – а за все

платы ему двести рублей, уж сговорено. Затруднений особых никаких нет и не предвидится… А я уж сегодня уеду! – вырвалось вдруг у бедняги: он едва держался на ногах.

– А с этим как же?

И Ольга Елпидифоровна кивнула на принесенную им и лежавшую на столе доверенность.

– Дана с передоверием, – объяснил он, – можете тому же Чернову Николаю Иванычу поручить, если не желаете сами в банк съездить.

– Нет, – сказала она хмурясь, – я бы желала, чтобы вы уж сами это сделали; вернее так!

– Чтоб я в банк съездил?

– Да, будьте так любезны!..

Она потянулась к своей шкатулке, открыла ее, вынула билет Сохранной Казны на внесенную туда Ранцовым сумму и передала ему.

Он вложил его в бумажник, кивнул, все так же не подымая на нее глаз, и молча вышел из комнаты, заперев за собой дверь.

Красивая барыня, не теряя времени, подбежала к письменному столику между окон, на котором разложен был серебряный бюивар ее, достала из него почтовый листок, перо и принялась писать:

1) «Царское Село. Лейб-гусарский полк. Князю Шастунову.

Вы сумасшедший, но очень милый человек. Буду скоро. Дам знать когда. Видела вашу матушку. Увижу еще. Она просит меня принять вас под *особенное* (это слово она подчеркнула) мое покровительство. Я думаю, вы не рассердитесь».

2) «Петербург. Сергиевская, собственный дом. Графу Наташанцеву.

Тысячу раз виновата. Грустные обстоятельства. Более чем когда нуждаюсь в преданности. Вы для меня вечный, несравненный друг. Потерпите немножко. Сама жажду видеть. Телеграфирую заранее».

– Амалия, – крикнула она, подписавшись под обеими депешами одним именем своим «Ольга», – это надо сейчас послать с кем-нибудь на телеграф. За обе получено в Петербурге.

– Gut schon! – подмигнула на это чухонка, верхним чутьем угадывавшая в самом зерне каждую новую проделку своей барыни. – Сама съезжу, знаю где…

– Хорошо… Ах, да! Вот что, Амалия, – вспомнила вдруг та, – дома женщина эта, Анфиса? Я, уезжая с похорон, видела ее и предлагала взять с собою в карету. Она отказалась. Вернулась ли она теперь?

– Дома.

– Что она?

– Нишего, плашет. Собрал свой вся вещь в сундук, сел на него и плашет… А серебро и все, что у нее было на руках, сдала вчера аккуратно по описи, по вашему приказанию, мне и Сергею, –

объяснила уже по-немецки Амалия.

– Сходите к ней, – сказала Ольга Елпидифоровна, – и попросите ее, – поучтивее и поласковее, прошу вас, – зайти ко мне. Скажите, что я хочу ее *поблагодарить.* Поняли?

Минут через десять Анфиса, с красными и опухлыми глазами, но с обычным ей невозмутимым выражением лица вошла неслышно в комнату, остановилась в дворях и почтительно поклонилась.

– Я хотела поговорить с вами, Анфиса… Дмитриевна, – начала поспешно Ранцова… – Подойдите, пожалуйста! Вы очень устали, я думаю… Зачем не хотели вы, чтоб я вас довезла?

– Что ж вам себя беспокоить, – отвечала та своим певучим голосом, – я и так дойти могла… Да и помолиться-то еще на могилке остаться захотелось, – тихо примолвила она, опуская глаза.

– Вы очень… преданы были батюшке, я знаю.

– Эвто точно-с. Потому как они мне, можно сказать, благодетелем были… Очень я была несчастная, когда муж мой помер, так они меня тут вызволили…

– Покойный говорил мне об этом… И как вы ему полезною всегда были, даже в делах его… Вы, может быть, обо мне дурно судили до сих пор, – Ольга Елпидифоровна не совсем твердо проговорила это (ее несколько грызло воспоминание о враждебных отношениях, в которые поставила она себя к этой женщине в первый день своего приезда, вследствие чего та не нашла возможным оставаться долее при ее отце и этим «невольно» ускорила его смерть), – но я желаю доказать вам, что вы ошибались и что у меня не черствое сердце.

У Анфисы дрогнули брови:

– Как же я судить вас смею, сударыня, когда, может, сама я грешница, пред вами, может, сама чем провинилась. Во имя Христа Спаса нашего простите великодушно!

И она поклонилась ей в пояс.

Ольга Елпидифоровна почувствовала себя вдруг тронутою до слез. Она быстро подошла к «экономке», обняла ее и поцеловала:

– Все мы грешны, все мы нуждаемся в прощении… Я бы желала поговорить с вами… о вас, о том, что вы думаете делать… У меня даже было намерение предложить вам остаться здесь, в этом доме, на спокое и смотреть за ним. Но так как я в Москве не живу, да и бывать в ней никогда не намерена, то я думаю всего лучше дом этот продать… Да и вы еще так молоды… и хороши, вы можете замуж выйти…

Тоскливая усмешка пробежала по губам Анфисы:

– Наплакалась я, сударыня, вдосталь и в первой-то раз. Лучше уж в монастырь, за Божью ограду, иттить, потому на миру соблазн один да обман, – произнесла она с какою-то нежданною, как бы бессознательною живостью.

Петербургская барыня с удивлением поглядела на нее:

– Неужто вы, милая моя, серьезно думаете в монастырь идти?

– К примеру говорю, сударыня… Потому всерьез и думать-то о себе нонешня дня некогда было.

– Вам непременно надо замуж пойти… Я уверена, что у вас есть кто-нибудь в предмете, – уже лукаво промолвила Ольга Елпидифоровна, вспоминая господина в синих очках, «к которому папа покойный ревновал эту Анфису»; сказала она себе при этом.

Анфиса подняла глаза и с мучительным выражением устремила их в глаза своей собеседницы. Губы ее заметно побелели – она поняла.

– Может, есть такой человек, что я его проклясть должна, а не то что идти за него, – неудержимо сорвалось у нее с языка.

– Я ведь не знаю… Я только так сказала, – молвила несколько смущенная этим горячим ответом Ранцова, – я желаю вам добра, Анфиса Дмитриевна… Куда же вы думаете переехать отсюда?

– А тут сестренка у меня есть замужняя, к ней пойду пока, а там места искать буду… Привыкла в услужении-то находиться.

– Скажите мне откровенно, я знаю, что батюшка был щедр, – остались у вас какие-нибудь средства?

– У меня свои деньги были… от дяди получены, – не сейчас отвечала экономка, – да в четыре года на всем готовом жила, жалованье собрала… А вот теперь всего осталось, – молвила она с какою-то как бы уже веселою улыбкой, вынимая из кармана старый, затасканный портмоне и вынимая оттуда три красненькие и две рублевые бумажки.

– А остальное же где? – воскликнула Ольга Елпидифоровна.

Та улыбнулась опять:

– Кому поверила, – не отдал, значит, и нет.

– Послушайте, милая, – молвила поспешно потербургская барыня, – я не допускаю, чтобы вы вышли нищая из этого дома. Если бы покойный папа знал о таком вашем положении и не умер бы так внезапно, он, вы понимаете, обеспечил бы вас непременно… и я, в его имя и воспоминание, прошу вас принять за ваши заботы о нем… полторы тысячи рублей. Они вам на черный день пригодятся…

Анфиса вскинула на нее опять свои синие, увлажненные глаза и еще раз поклонилась ей в пояс:

– Спасибо вам, барыня, за милости ваши… Только это напрасно будет…

– Как напрасно?

– Потому как не нужно мне этого. Поминать-то его в молитве и так каждоденно стану, на что тут деньги!

– Я вам их и не предлагаю в награду за молитвы ваши, – несколько обиженным тоном возразила Ранцова, – я прошу вас их принять от меня во имя его на случай нужды, как он бы их вам дал в таком случае.

Брови Анфисы судорожно вздрогнули.

– Коли б захотела я, сударыня, *он* не то чтоб… он… *все* бы мне отдал… А мне теперича награды

не нужно!

И не дав той сообразить ответа:

– Мне, может, сударыня, – тихо, словно застыдясь вдруг, проговорила она, – самая она и есть награда настоящая, что как вошла я в дом этот нищая, так и ухожу из него теперь… Может, так от Господа и положено, чтобы мне за грехи мои нужду терпеть, так я это чувствовать должна…

Ольга Елпидифоровна пристально глянула ей в лицо.

«Этот Троженкин большой, должно быть, мерзавец», – сказалось в ее сообразительной голове, «а она раскольница какая-то, видно».

– Я, конечно, принудить вас не могу, Анфиса Дмитриевна, – сказала она вслух, – но прошу вас знать, что я положу на ваше имя в банк полторы тысячи рублей, и билеты на них вы можете получить от меня во всякое время, когда вам понадобится.

«Раскольница» безмолвно и недвижно выслушала эти слова.

Ранцова, не дождавшись ответа, замолкла в свою очередь.

Так прошло несколько минут.

– Позволите иттить? – спросила наконец Анфиса.

– Вы думаете уже отправляться… совсем? – молвила рассеянно Ольга Елпидифоровна, мысли которой за это время успели уж отлететь за тысячу верст.

– Так точно, собралась совсем, – подтвердила та.

– Для чего вы спешите? могли бы пожить здесь, пока не найдете места… А, впрочем, как хотите!.. Прощайте в таком случае!

– Счастливо вам оставаться, сударыня, дай вам Господь в жизни вашей благополучия и всякого споспешествования.

И Анфиса, подойдя, наклонилась к ее руке.

Ольга Елпидифоровна не допустила поцеловать ее и, обняв еще раз «раскольницу», поцеловалась с ней щека в щеку.

Та отвесила низкий прощальный поклон, вздохнула и вышла из комнаты.

XIX

Alles opponirende Wirken geht auf das Negative hinaus, und das Negative ist Nichts. Es kommt nicht darauf an dass eingerissen, sondern dass Etwas autgebaut werde…

Göthe.

На Арбате, в доме Лукояновых, шло ликование. Троекуров был объявлен женихом Александры Павловны… Марья Яковлевна, когда он в назначенный им день приехал делать *предложение,* не дала ему и договорить его en forme, вскочила с места и, всхлипывая, отверзла ему свои

объятия. «Знаю, знаю, – говорила она, – любите ее давно и она вас, я согласна, – а до сих пор не могла, сами должны понимать, – Сашенька слишком молода была, да и согласитесь, Борис Васильевич, что при ваших привычках»… Она запнулась: «Муж мой покойный оставил дочери по завещанию, нарочно для нее куплены, триста душ, незаложенные»… Троекуров прервал ее: «Сделайте милость, Марья Яковлевна, оставимте это: то, что вы даете вашей дочери, до меня не касается». Она замахала большими руками, уже смеясь сквозь непросохшие еще слезы: «Знаю, знаю, мой батюшка, вы тысячи всегда за грош почитали, так вам что это!.. А теперь все-таки остепениться надо будет, жена, дети пойдут; советую вам»… На лице его невольно изобразилось неудовольствие. Заботливая маменька испугалась, перебила себя опять на полуслове и поспешно зашагала к двери соседней комнаты, где вся бледная от волнения «в ожидании своей судьбы», как выражалась маленькая Лизавета Ивановна, сидела Сашенька. Мать вывела ее оттуда за руку и, подведя к Троекурову, проговорила протяжно и для большей, по-видимому, торжественности несколько в нос:

– Борис Васильевич Троекуров, мой друг, просит твоей руки. Я на это согласна, – остальное теперь зависит уже от тебя.

Бледная Сашенька от этих слов мгновенно заалела как маков цвет и молча, сияя райскою улыбкой, протянула жениху руку… Он горячо прильнул к ней губами…

Марья Яковлевна вытащила платок из кармана и погрузила в него свое снова омочившееся ради такой оказии лицо.

Лизавета Ивановна робко выглядывала на них из-за полуоткрытой двери, утирая глаза в свою очередь, крестясь и шепча от глубины сердца молитву «о благоденственном будущем житии» молодой приятельницы своей и ее нареченного…

Весть о их помолвке облетела в тот же день всю дворянскую Москву, с доброю половиной которой Лукояновы состояли в родстве или близкой приязни. Со следующего же утра и «ближайшие» эти, и дальнейшие ринулись на дом Марьи Яковлевны как на приступ. Дни триумфа настали для его хозяйки – триумфа, который рос в ее глазах с поздравлениями каждого нового лица и питал, как солнце падающими в него астероидами, свет свой и пламень всем тем обильным материалом бессильной злобы и зависти, которую ее счастливая игра внушала всем совместницам ее, маменькам, обладательницам дочек на возрасте… Действительно, на той многотрудной, тяжелой, требующей, говорят, самых специальных способностей тоне, которую на светском языке называют уменьем пристроить дочь замуж, savoir marier sa fille, Марье Яковлевне удалось выловить такого осетра, пред которым всем остальным товаркам ее по ремеслу оставалось только ахнуть и развести руками… Не успели все они прийти в себя от смерти Ивана Акимовича Остроженки, забулдыги-лошадника, проводившего жизнь свою в клубах и у цыган, но залучить которого к себе в дом составляло в продолжение целых десяти лет предмет упорнейшего желания и хитроумнейших «подходов» со стороны каждой, уважающей свой дом московской родительницы, – а Марья Яковлевна, не говоря дурного слова, успела уж пронюхать, отыскать, *обойти* и *окрутить* никому еще неизвестного наследника всего этого богатства, и выдает теперь за него свою Сашеньку! Как же было, в самом деле, не вознедавидеть ее, не проклясть тайно и явно, не объявить «интриганкой», – а потому и не поспешить к ней с поздравлением, с возгласами радости, хотя бы для того, чтоб иметь случай при этом доставить себе удовольствие ввернуть со змеиною улыбкой: «Это такой сюрприз для всех, такая неожиданность!.. И где они успели познакомиться?.. Вы, впрочем, были всегда *так умны,* Марья Яковлевна!..» Марья Яковлевна была и в самом деле весьма умна в житейском деле, читала насквозь в душе своих добрых приятельниц и змеиными намеками не только не смущалась, а даже вызывала их и лакомилась ими, как бы сладчайшим блюдом, подносимым ей ее современниками в награду за блестящее

исполнение материнских обязанностей, возложенных на нее Небом. «Ныне отпущаеши рабу твою с миром», – готова она была сказать себе после каждой новой колкости на сахарной подкладке, после каждого тонко-ядовитого намека на ее «интриганство»…

Явилась одною из первых известная читателю[13] Женни Карнаухова, незлобиво носившая свое теперь тридцати уже с чем-то летнее девство, все так же продолжавшая благоволить ко всему миру и почитать себя необходимою для его блаженства и видевшая в помолвке Сашеньки с ее cousin свое создание, дело своего ума, своих «комбинаций» и забот. Она действительно радовалась, искренно умилялась, сердечно прыгала и лобызалась в восторге своем с «нареченными», с «другом своим» Марьей Яковлевной, с маленькою Лизаветой Ивановной, с крупною, как и она сама, грузинскою девой Катериной Борисовной. Явилась она в самый день сговора и с этой минуты являлась уже сюда каждый день, хотя на полчаса. Дом Лукояновых с его благорастворенною атмосферой «двух влюбленных сердец» обратился для нее в эдем, где могла она «отдыхать душой» от невыносимой скуки и тоски, испытываемых ею дома, в обществе зубастой маменьки, более чем когда гнетомой своим «mal de dos» и недочетами своих тщеславных грез (Толя, на которого она так долго глядела, как на звезду первой величины, ее Толя, вместо блестящей карьеры, проживал уже второй год без ног в Ахене на излечении), и которая на «établissement» самой Женни давно махнула рукой, как на вещь, раз навсегда покончennую и сданную в архив. Женни пользовалась этим и отсутствовала из дому, насколько могла чаще, уверив и мать, и самое себя, что Марье Яковлевне нельзя обойтись без нее «насчет приданого Сашеньки».

Почти ежедневно являлись и Овцыны, отец с сыном. Старый либерал видимо льнул к Троекурову. Чувство изящного, свойственное всем людям его эпохи, подкупало его в пользу будущего мужа его племянницы. Ему нравились в Троекурове его «аристократический», несколько холодный облик, сдержанность приемов и движений, простой, краткий, тщательно избегавший всякого книжного оборота склад речи – «вся эта какая-то смесь английского с лезгинским», объяснял он себе, тщательно скрывая, впрочем, такое свое преступное сочувствие от сына, пред которым бедный «Ламартин» робел, как рядовой пред строгим фельдфебелем. Иринарх, само собою, злился на Троекурова и тем сильнее, чем глубже сознавал бессилие свое пред ним. Употребляя одно из тех чужеземных выражений, которые в ту пору сотнями и целиком начинала переносить периодическая печать в русский язык, – Троекуров *импонировал* ему против его воли, *осаживал,* как говорится, одним словом, взглядом все те попытки к фамильярности или дерзости, которые ежедневно роились в намерениях и просились наружу из души злобного студента. Он не давал ему даже удовольствия раздразнить его своею *прогрессивностью,* и когда тот за обедом или ужином начинал «разрушать мир», по выражению Марьи Яковлевны, молчал глубоким молчанием, пока кто-либо не заговаривал о чем-либо постороннем, к чему он тотчас же и присоединялся… «Шваль великосветская, Печорин из военных усоносцев!» – измышлял Иринарх внутренно бранные слова по адресу будущего мужа двоюродной своей сестры… «И не проберешь ведь его ничем, вот что!» – принужден он был сознаваться с невыносимою досадой… Он однажды попробовал не ответить на поклон входившего в гостиную Троекурова и отвернулся, будто не видал его. Марья Яковлевна, заметившая это, вспыхнула вся от негодования. «Ты слеп, что ли, – крикнула она ему, – не видишь, что тебе кланяются?» Иринарх поднял на нее сверкающие глаза, но встретился на пути с глазами Бориса Васильевича, скользнувшими по нему на миг с таким всецелым, уничтожающим равнодушием, что он весь позеленел, торопливо мотнул головой в виде поклона и тотчас же вышел из комнаты…

Он давно «наплевал бы на этот дом», если бы не влекло его сюда двойным влечением к одному предмету – ко княжне Кире. Апостол «нового слова», как начинали говорить тогда в той же петербургской журналистике, он предвкушал в этой девушке с ее своеобразною и гордою

красотой, дразнившею и возбуждавшею в нем то «естественное стремление», которое «чопорные пуристы искусственной морали называют всякими сентиментальными существительными на своем пошлом языке»[14], будущую близкую сектантку и поборницу его «свободных учений»; ненавистник «Печориных из военных усоносцев», он угадывал в ней ту же, не высказывавшуюся, но несомненную в его убеждении враждебность к жениху их общей кузины…

Для него же в настоящую минуту наступило самое благоприятное время для теснейшего сближения с нею, возможность подолгу и беспрепятственно излагать ей свои теории, влиять на ее «развитие» невозбранным многоглаголанием своей «прогрессивной» проповеди. Марья Яковлевна была так поглощена самоуслаждением блестящей партии, которую устроила она для дочери, и блаженными заботами о ее приданом, что ни о чем ином не могла думать, ни на что другое не обращала никакого внимания. Иринарх проводил теперь целые вечера с княжною в каком-нибудь углу дома, читая ей вслух *Былое и Думы* или *Современник,* толкуя о «последних выводах науки» по Молешоту и Бюхнеру, Фейербаху и Карлу Фохту, сочинениями которых снабжал он ее в изобилии, отмечая при этом в них места, в которые должна она была «вникнуть», и рекомендуя не читать остального на том основании, что «самый умный немец – все-таки филистер и не прочь *сподлить* здесь или тут пред старою пошлостью», между тем как она, склонясь над пяльцами, слушала его с обычным безмолвием, прерывая его лишь изредка каким-нибудь нежданным, часто несколько смущавшим его вопросом, или грамматическою поправкой какой-нибудь приводимой им цитаты на немецком языке, который он знал плохо… Внимательнее и оживленнее, замечал он, становилась она, когда он заводил речь о «женском вопросе», все по тому же поводу предстоявшего брака Сашеньки с Троекуровым, к которому он и относился всегда с крайним, насилованным ожесточением.

– Наша Александра Павловна достигла высшего ранга на своем служебном пути, – говорил он однажды, хихикая.

– Это какой же «служебный путь»? – спрашивала Кира, чуть-чуть улыбнувшись.

– А замужество! Ведь при нынешнем безобразном строе общества для женщин нет иных путей, иных задач в жизни! Выходи замуж – это ее единственная цель, промысел, работа, назначение! Выходи замуж – и как можно выгоднее, то есть употреби весь тебе данный ум, напрягай всю имеющуюся в тебе способность к притворству и лжи, чтобы продать себя наивозможно дороже, как продаются на Востоке гаремные невольницы, с тою разницей, что их там продают насильно другие, а у нас они сами воспитываются с детства на ремесло торговли собою!..

– Саша не продает себя, – неторопливо молвила на это княжна, – она влюбилась в… в этого господина, когда у него ничего не было, и ее мать и слышать не хотела, чтоб она шла за него.

– Саша! – принялся опять *иронизировать* Иринарх. – Да что ж такое сама-то эта любезная персона? Ведь это чистейший продукт нашего отвратительного патриархального курятника, и ведь дальше такого курятника не простираются ее способности мышления и желания. Вы говорите, она в *этого* «влюбилась», когда он был беден, и мать не соглашалась отдать ее за него. Ну а как вы думаете, если б он остался беден, и милая маменька все так же не отдавала бы ее за возлюбленного, наша *кисейная* родственница не пошла бы, по воле этой же маменьки, за любого старого подагрика с миллионом в шкатулке?

Кира закачала головой:

– Она упрямее, чем вы думаете… В крови это у нас, – промолвила она как бы про себя.

– Ну да, – прошипел он, уязвленный этими словами, – кровь у вас особая, княжая, специального химического состава, синяя что ли, а не красная, как у обыкновенных смертных! Вы до сих пор в это веруете, Кира Никитишна, вопреки самой простой логике…

«Верую», – отвечало, показалось ему, на это чуть-чуть заметное движение ее бровей.

Он вскипятился:

– Никакой крови нет-с! Есть среда, да-с – среда и влагаемыя ее в нас с раннего детства уродливые или здоровые естественные воззрения и понятия. А среда родивших и воспитавших всех нас, – *князей,* как вы с кузиной, и плебеев… как я, – яйца выеденного не стоит! Надо особенно сильную натуру…

Княжна подняла вдруг глаза, уложила локти на пяльцы и, продевая щерстинку в ушко высоко приподнятой иголки, прервала его вопросом:

– Что вы думаете, будет она с ним счастлива?

– Александра-то Павловна со своим нещечком? – возгласил Иринарх. – Помилуйте, таять будет, в лужу блаженства распустит свою идеальную особу! Что детей народит ему с благодарности с большой!..

Ее внезапно сжавшиеся брови заставили его примолкнуть.

– А он? – спросила она через миг.

– Господин Троекуров, то есть?.. Я полагаю, – протянул Овцын, – что сей сподвижник отечественного милитаризма и аристократ из российского музея древностей найдет в нашей кузине вполне соответствующую его вкусам и идеалам рабыню, которая что Иверской, что ему станет земные поклоны класть… Какого ему еще счастия нужно?

– Он… умен, – проговорила с расстановкой и каким-то загадочным тоном княжна.

Иринарха всего даже передернуло от злости:

– Умен… Вот и мой достойный родитель почитается тоже умником… В «чернокнижной» Английского клуба речи держит, между двумя пульками преферанса в великобританскую оппозицию играет, Маколеем до одури зачитывается, либеральные песни, что твой соловей, свищет. Так и у него, по-вашему, мозги в голове?

– Этот очень мало говорит, напротив, – небрежно промолвила Кира.

– Ну да-с, тот же объект, только с другого фаса. Ведь это у них всех та же игра в великобританский палисандр, насаженный на русское дубье. У господина Пушкина, помните, в стихах даже выражено: «сей двойственный собор» и даже какие-то «пружины смелые гражданственности новой», то есть которые они в невежестве своем мнят и по сю пору «новыми». Ну так вот-с, и изображают они собою в российских лицах сей знаменитый «двойственный собор», какой он там есть в Англии: родитель мой, например, пламенный «коммонер», из нижней *говорильни*, ратующий потоками пустых слов за гроша медного не стоящие «вольности»; господин Троекуров – недосягаемый лорд, «краса и честь нации», дозволяющий себе разжимать зубы не для всякого и не во всякое время, разжимающий их на деле лишь для «сурового отпора» – это я опять-таки словами господина Пушкина выражаюсь, – всему тому, что здорово, свежо и молодо, всем законным требованиям современного

демократического прогресса и гуманности…

Кира подняла голову как бы с намерением возразить или заметить что-то по поводу этих последних его слов, но опустила ее вновь тут же и проговорила только с неодобрительною, понял он, усмешкой:

– Вы, между прочим, и отца родного не щадите?

– Отца! – вскрикнул, позеленев, Иринарх. – Что такое отец? Случайность, в которой он так же неповинен, как я! Из-за чего же должен я щадить его более, чем другого? Заповеди-то Моисея отжили свой век, и этим пугалом современного человека не испугаешь. Хочешь почтения теперь, так требуй не в силу родительского звания, а ради настоящих прав на уважение тебя. А у моего Федора Федорыча какие такие имеются? Не из-за того ли мне его уважать, что у него на третьем слове «Европа» и очеса к небу? А этот самый европеец с русского крепостного мужика тянул последнее, пока и всех их, своих и матери покойницы мужиков, в карты не продул, а сына пролетарием по миру пустил… Не из того ли, что он мне чуть не с десятилетнего возраста предоставил волю жить, думать и пробавляться с кем, что и как мне вздумается, потому я, мол, твою свободу стеснять не хочу, – а в действительности потому, что тунеядничать в клубе интереснее, чем над мальчуганом с указкой сидеть?.. А я вам вот что скажу: покойница-мать моя в детстве выпорола меня раз розгами за то, что старую няню кулаком по лицу съездил, – так я ее до сих пор помню и *экзекуцию* ее надо мной почитаю во сто раз *гуманнее,* чем весь протухлый либерализм Федора Федоровича!.. «Либералы» во вкусе просвещенного моего тятеньки всю жизнь свою, поистине, были лишними *человеками* и пошлыми *Гамлетами Щигровского уезда*, не способными во всю жизнь ни на какое путное дело и не додумавшимися ни до одной серьезной идеи.

– А вы… додумались? – промолвила Кира.

Иринарх сверкнул глазами:

– Еще бы!

Он схватил лежавшую на соседнем столике только что возвращенную ему княжной книжку *Современника,* быстро перелистал ее и, отыскав место, принялся читать:

«Ежели наши читатели поймут, что точно русская жизнь и русская сила вызваны на решительное дело, и если они *почувствуют* (подчеркнул он) законность и важность этого дела»…

Кира прервала его:

– Да, я помню и даже хотела спросить вас, что надо понимать под этим делом?

– Ненавидеть прежде всего! – так и отрезал он.

Тонкие ноздри ее как бы сочувственно дрогнули.

– А потом? – медленно протянула она.

– Уничтожать весь этот гнилой и гнусный строй прежней жизни с его угнетателями и пошляками.

– Какими способами?

– Всеми, какие у кого под руками! – воскликнул он, пожирая ее глазами. – Печатным словом, живою проповедью, неустанною насмешкой, ежечасным, ежеминутным протестом против мертвящих бредней старой феогонии, против мрачного формализма семейной жизни, безгласности и покорности… Против всего того, – быстро и наклонясь к ней, проговорил он полушепотом, – что окружает и душит вас самих в этом доме… Скажите, разве вы не изнемогаете здесь, не возмущаетесь понятиями, складом, привычками всей этой затхлой среды?..

Кира нежданно откинулась затылком на свое кресло, прижмурила веки и словно уронила с губ:

– Да, душит!..

Все лицо Иринарха осветилось плотоядным пламенем.

Он торопливо откинул одною рукой прядь длинных своих волос, упавшую ему на лицо, схватил другою с пялец ту же книжку *Современника,* открыл ее.

– Слушайте, Кира Никитишна, точно про вас и *для вас,* – подчеркнул он, – писано:

«Не бойтесь за нее: она может на время или покориться, по-видимому, или даже пойти на обман, как речка может скрыться под землею или удалиться из своего русла; но текущая вода не остановится и не пойдет назад и все-таки дойдет до своего конца, до того места, где может слиться с другими водами и вместе с ними бежать к водам Океана»[15].

– Да, – воскликнул он, дочтя, – вы та же «многоводная река», как Катерина Островского, вы можете «покориться на время», но не остановитесь на полпути! Придет день, – и я чувствую, что он близок, – когда вы бодро сорвете и отшвырнете от себя последние путы старой ветоши предрассудка и гордо отдадитесь новой, свободной жизни!..

– Я здесь не останусь, – промолвила Кира быстро и решительно.

Он потянулся к ней всем телом.

– Вы знаете, – заговорил он еле слышным, прерывающимся голосом, – что вам стоит только слово сказать… Я вам все устрою. У меня такие места есть… и связи… Никто не отыщет, не узнает…

Она быстро выпрямилась, глянула изумленно ему в лицо, видимо не понимая, о чем он говорит, и без слов встала и вышла из комнаты.

XX

Le génie est bien beau, j’aimerais mieux l’amour,
Si j’étais jeune fille.

V. de Laprade.

Эти ли разговоры ее с Иринархом и «освободительные» книжки, которые давал он ей читать, или иные, тайно зревшие в ней помыслы, – только с каждым днем, казалось, становилась все мрачнее Кира, с каждым днем будто делалось для нее тяжелее общение с тою «средой», в которой жила она. Эдем, каким рисовался дом Лукояновых скучавшей у себя в семье княжне Карнауховой, представлялся чуть не одним из мытарств, ожидающих человеческую душу за гробом, обитавшей здесь княжне Кубенской. Ее здесь действительно «душило» все и вся… То

праздничное настроение, та неустанная сутолока, что неизбежно воцаряется в *доме невесты с* самого дня помолвки и на многие и многие дни превращает его в какую-то Вавилонскую башню, – усиленно усердное прислуживание и возня слуг, поставщики и магазинщицы, шмыгающие с раннего утра со своими картонами, свертками и узлами, кипы материй, развернутых по столам и стульям, часовые споры о выборе бархата на шубу, букеты, подарки и *сюрпризы,* аханье горничных, примеривания и раздевания, встречи и проводы *жениха,* казенное умиление и приторные улыбки – все это раздражало ее до слез, до разлития желчи… Кира не выходила из своей комнаты до обеда; часто и к обеду не являлась она под предлогом головной боли или даже просто потому, что ей-де «есть не хочется», коротко отвечала она слуге, прибегавшему известить ее, что «господа уж все за столом сидят». В первое время Сашенька или сама тетка считали долгом подняться в этих случаях к ней после на антресоли, узнать, не заболела ли она в самом деле; но на вопросы их она так язвительно давала разуметь, что они ей докучают ими, что Марья Яковлевна объявила наконец: «Пусть, мол, она как хочет, так и делает», и оставила ее уже совершенно с этой минуты «без внимания»… Это являлось теперь новым поводом злиться нашей княжне. Она чувствовала себя как бы покинутою, заброшенною, как бы «пренебреженною» этими всеми ликующими, счастливыми людьми… Она, которую – давно ли! – целый край носил на руках, которая с самого детства привыкла почти к царственному обращению со всем ее окружавшим… Никогда еще так не было тяжело для нее сознание сиротства своего и одиночества – сознание падения с высоты, с которой, юная орлица, реяла она над общественным делом. Она не обманывалась насчет себя – она знала, что холодность к ней и отчужденность, которые она встречала кругом, были единственно ее делом, что стоило ей только протянуть руку, чтобы привлечь всю эту боязливо отстранявшуюся теперь от нее родственную среду… Но она – *не могла,* уста ее не способны были отомкнуться для повинных, «заискивающих», даже примирительных речей. Она могла сознавать себя in petto виноватою, пожалуй, но она умерла бы скорее, чем признаться в этом вслух, чем «отступиться», чем сделать шаг назад на пути, по которому вели ее душевные ее инстинкты… Да и на что ей было примирение, на что дружба, на что ласка этих людей?

«I learn'd to love dispair»[16], – говорит байроновский шильонский узник. Княжна Кира привыкла любить «ненависть», которой поучал ее Иринарх Овцын; ей была люба и сочувственна его излюбленная проповедь против «гнилого строя» того *общества,* в котором не представлялось ей исключительного главенства; она «презирала» и почитала подлежащим разрушению все то, над чем властвовать не могла… Более всех других, быть может, возбуждал в ней враждебное чувство Троекуров – она никогда не говорила с ним, старалась не глядеть на него, и тем сильнее, чем менее могла она найти внутри себя поводов презирать его. Он был умен, что она прежде всего ценила в людях. Он был горд и независим, с тою к тому же особенною чертой присутствия «синей крови», над которою глумился Иринарх и которая именно, в глазах ее, определяла степень превосходства его над Иринархом. Он «пожил», по выражению ее отца, то есть многое видел, испытал, чувствовал, способен был определить, взвесить и оценить все это виденное им и испытанное… И этот «поживший», независимый, умный и снова богатый человек… к чьим ногам несет он все это? Что нашел он в простой, дюжинной девочке, какова это Сашенька, смиренной и равнодушной ко всему, что не ее гнездо, не ее «курятник», – да, Иринарх прав! для которой «нет лучше компании, как какая-нибудь ханжа Лизавета Ивановна», нет иного чтения, как «какой-нибудь Пушкин или глупейший *Heir of Redcliffe*[17], над которым проплакала она два вечера сряду?..» Неужели красотою ее увлекся он? Но, во-первых, «красивы у нее только волосы и глаза, да и то глаза ничего не выражают, а цвет волос просто черный, как у всех, а лицо слишком безжизненно, и она очень скоро разжиреет». А во-вторых, «разве он никогда не встречал красивых женщин лучше Саши, не мог выбрать себе другой… более подходящей к себе?» – рассуждала Кира… «Что же после этого, – мысленно говорила она в заключение с желчною усмешкой, – что же это за *герои,* за *лучшие* этого общества, к чему служит им ум, чего добиваются и чем

удовлетворяются они в жизни? Противны они, как и весь тот milieu, из которого вышли!..»

А то самое простое и смиренное, что возбуждало в Кире такое высокомерное отношение к ее кузине, исполняло Троекурова каким-то целебным, умиряющим чувством. Острое ощущение недоверия и пренебрежения к людям, вынесенное им из недочетов и ошибок своего прошлого, таяло, как снег весенним первовремением, под теплом той, но испытанной им до сих пор, чистой, глубокой, «бескорыстной» женской привязанности, о которой говорил он Сашеньке в вагоне по пути из Петербурга. Долголетний «скиталец по мировой пустыне», он дорожил именно тем *запахом* «гнезда», тою благоухающею *домовитостью,* которыми исполнена была она. Разочарованный давно честолюбец, ему самому ничего иного не хотелось, как уложить будущую жизнь свою в рамки тех скромных горизонтов, далее которых не заходили ее девические мечты. «Довольно эпоса и драмы», готов он был сказать: «Ich auch war in Arcadia geboren», я тоже идиллии хочу!.. Сидя с нею по часам вдвоем в будуаре Марьи Яковлевны, уступленном как бы им теперь в исключительное владение, ему часто вспоминалась одна, прочтенная им в ранней молодости французская книга. Это была трогательная и милая история одного заключенного и полевого цветка, Бог знает как занесенного в зерне и расцветшего в щели его решетчатого окна, и на котором мало-помалу сосредоточиваются все заботы, все интересы и упования жизни бедного узника[18]. Он, Троекуров, точно так же теперь лелеял и холил распускавшийся пред ним драгоценный цвет молодой души, жадно любуясь каждым новым раскидывавшимся лепестком его, каждым оттенком его нежных, не поддающихся взгляду каждого красок. Для него, для него одного распускался он и благоухал; он один, сказывалось ему, был в состоянии понять всю его тихо проникавшую прелесть… «Мне кажется иногда, что я совсем не жила до сих пор, – сказала ему однажды Сашенька, нежданным движением схватываясь в восторге за голову, – точно какой-то ангел принес меня откуда-то из темноты, поставил сюда и сказал: вот оно что!» *«Вот оно что!»* – повторил он – и лучше, выше и умнее этих слов, показалось ему, не изобретал человеческий язык…

Свадьба их назначена была после Пасхи, на *Красную Горку*, по известному московскому обычаю. К этому времени Троекуров должен был быть окончательно введен во владение наследством Остроженков, о чем усиленно хлопотал влиятельный в Москве чиновник Успенский, большой приятель и поверенный покойного Акима Ивановича, человек честный и хороший, которому Борис Васильевич и вверил все свои интересы. После венчания *молодые* должны были сесть в карету и ехать в отстоявшее на сто с чем-то верст от Москвы село Всесвятское, великорусское имение покойного, в котором он года за два до смерти начал постройкою новый, каменный, ныне только что оконченный, одноэтажный дом; в нем никто еще не жил, и комнаты стояли пусты, так как смерть унесла его владельца прежде, чем успел он сделать распоряжение о его меблировании. Троекуров предпочел *основаться* (предположения жить когда-нибудь в городе у них с Сашенькой и вовсе не было) в этом имении, а не в старом малорусском Остроженковском гнезде на берегах Сулы, с его строенным по планам Растрелли в Екатерининские времена «дворцом», – предпочел не столько ради близости к столичным центрам, сколько в виду тех тяжелых ощущений, которые могли ожидать его среди той дорогой ему, но соединенной с такими враждебными по отношению его воспоминаниями старины. «Там тени ненавидевших меня с матерью мешали бы нам, кажется, не только спать, но и обедать», – говорил он с невеселою усмешкой Сашеньке, в воображении которой рисовалось так заманчиво синее небо Украины, каким знала она его по *Майской Ночи* Гоголя да по стихам «какого-то» Шевченки, которые приносил как-то Мохов и которые ей так понравились, что она их выучила наизусть и читала с презабавным акцентом:

Садок вышневіш коло хаты
…
…

Дочка́ вече́рять подае́,
А маты хоче научаты,
Да соловейко не дае́.

«„Да соловейко не дае“, какая прелесть!» – повторяла она, декламируя их с загоравшимися глазами приятельнице своей, Лизавете Ивановне…

«Но с *ним* не все ли равно где жить, с *ним* везде рай, везде блаженство!» – говорила она себе теперь. *Он* принес ей план этого нововыстроенного дома в *русском* имении, в котором поселятся они, и указал ей между прочим на чертеж большой крытой террасы, выходившей в сад. Сад огромный, старинный, ветвистый, с глубокою и светлою речкой по самой середке его, – узнала она от бывавшего там Успенского… И *там* будет петь «соловейко», «петь именно тогда, когда мы туда приедем в конце апреля, и все в зелени, и по небу ходят те веселые беленькие тучки, что я так люблю, а вечером из-за большой-большой липы выплывают золотые рожки месяца, и мы с ним тут одни… Царица Небесная, чем заслужила я себе такое счастие!» – прервала себя девушка, закрывая обеими руками омоченные непереносимою полнотой этого счастия глаза свои.

О будущем обиталище своем говорили они каждый день. Дом оказывался по плану если не весьма обширным по числу комнат, то весьма удобным по размерам и расположению их: к тому же с обеих сторон его выстроено было по павильону «для гостей», небольшие здания, комнаты в четыре каждое, с балконом, выходящим в сад, как и терраса дома… Троекурову было досадно лишь то, что все это с иголочки.

– Выписать еще мебель от Тура или Galepin[19], – говорил он насмешливо однажды за обедом по этому поводу, – и у нас будет так же *модно,* как в любой петербургской чиновнической квартире.

– Ах, батюшка, – вскликнула на это Марья Яковлевна, – не любите нового и модного, можете хоть на три дома старья из покровских-то хором Акима Иваныча перевезти велеть. Ведь битком там этим набито!

– Нет, – сказал, слегка поморщившись, он, – из этого дома я стула не возьму… и не пойду в него никогда, – домолвил он как бы нехотя.

– Внаймы отдадите с мебелью?

– И внаймы не отдам.

– Продадите?

Он повел отрицательно головой. Марья Яковлевна покосилась на него: «Мудренек-таки мой будущий зять», – пронеслось у нее в мысли.

– Так он у вас впусте и стоять будет?

– Так и стоять.

– До второго пришествия? – засмеялась она.

Он усмехнулся тоже.

– До второго поколения, пожалуй. Тому будет все равно.

Марья Яковлевна пожала недоумело плечами: она не поняла.

Но Сашенька отгадала чутьем то деликатное и двойственное чувство, которое сказывалось в его словах, и незаметно под салфеткой (она сидела рядом с ним) пожала ему руку.

Поняла и Кира, сидевшая напротив его. Ее зеленые русалочьи глаза остановились на Троекурове со странным выражением. «Так вот ты какой еще!» – словно говорили они.

Он заметил это и в свою очередь вопросительно взглянул на нее.

Лицо ее тотчас же изменилось, ноздри дрогнули…

– У Сухаревой Башни, говорят, – иронически проговорила она, – сколько угодно можно купить подержанного, целые ameublements: и старо, и дешево…

– Про дешевизну никто не говорит! – отрезала вдруг обиженным тоном Марья Яковлевна (желчь, давно копившаяся у нее против племянницы, то и дело теперь прорывалась наружу).

Александра Павловна обернулась испуганно на нее. Троекуров поспешил предупредить *сцену.*

– Вы даете мне блестящую мысль, княжна; как я сам об этом не подумал! Завтра же отправлюсь туда…

– Ах, Боже мой, какая у меня голова! – вскликнула вдруг его невеста. – Мне Лизавета Ивановна говорила, тут один целый дом прекрасной мебели продается, и все старинная.

– Где?

– Не знаю. У нее есть одна женщина, с которою она познакомилась в церкви, так она ей сказала. После одного умершего господина А… Акулина, да, по фамилии.

– Акулина! – Марья Яковлевна так и привскочила. – Да это отец этой хорошенькой Ранцовой. То-то она и не приехала даже поздравить, я очень удивлялась…

– Она в Петербурге, – сказал Троекуров.

– Почем вы знаете?

– Мне говорил как-то Фифенька Веретеньев.

– И давно уехала?

– Право не знаю, – равнодушно промолвил он. – А если в самом деле старинные вещи, надо будет съездить, – сказал он тихо Сашеньке, – хотите вместе? Я выпрошу у maman.

Она быстро закивала головой, вся розовая от радости…

XXI

Drum prüfe wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet.

Schiller.

Марья Яковлевна, само собою, не решилась отказать в просьбе внушавшему ей *решпект*, смешанный с некоторого рода страхом, зятю, хотя и почитала далеко несогласным с конвенансами «отпускать с ним дочь одну до свадьбы», – не решилась предложить ему ехать сама с ними. Но ввиду все тех же конвенансов, она потребовала, чтобы с ними поехала Лизавета Ивановна: она, мол, «как знает, куда ехать, пусть вас туда и привезет».

Троекуров ни словом не возразил против этого, но в день и час, назначенные для поездки, во двор Лукояновского дома въехали двое саней: одни – просторные, парой, другие – обыкновенная одиночка.

– Так вы не все вместе едете? – воскликнула глядевшая в окно и тотчас же сообразившая «хитрость» хозяйка.

– Троим ведь не усесться в одних санях, – объяснил преспокойно Троекуров.

– Ловок, батюшка, ловок! – засмеялась только она, махнув рукою.

«Вот и увез!» – говорил весело жених, спускаясь по лестнице об руку с едва чувствовавшею у себя землю под ногами невестой.

Он усадил ее в парные сани, сел рядом с нею. Маленькая особа тронулась за ними на одиночке…

Они поехали бульварами. Стояла уже половина марта, но вьюгою за два дня пред тем нанесено было опять снегу на оттаявшие было улицы; и морозец прихватил и угладил их снова набело. «Вторая первопутка пошла», – говорили, радостно посмеиваясь, извозчики… Добрые лошади помчали с места…

Холодно чуть-чуть, ровно настолько, чтобы живее заиграла молодая кровь под кожею и заалело нежное лицо, а солнце уже пламенеет на безоблачном небе, и в воздухе несутся ласкающие струи, предвестники близкого тепла…

– Благодать-то Господня на человеков от века нерушимая! – шепчет, выезжая на улицу, маленькая Лизавета Ивановна первые попавшиеся ей на язык слова «от Писания», под влиянием объемлющего и ее радостного возбуждения.

Сашенька не в состоянии говорить: в ней, по выражению поэта, говорили «разве только сердце да рука».

Что чужая в ней пылает и дрожит,
Что и ей от этой дрожи горячо,
Что к плечу невольно клонится плечо…[20]

Она только чувствовала, как сквозь опущенную вуаль приятно ожигал ее рассекаемый быстрою ездой морозный воздух, как в большую ее муфту пробирается эта рука любимого человека и мягко и нежно сжимает ее пальцы, – чувствовала, что солнце светит над ними, что она мчится с ним куда-то в блаженную даль и что всему этому ее счастию не предвидится конца…

Ее пробудил голос Троекурова:

– Погоди, – говорил он, притрогиваясь к плечу их возницы, – одиночка отстала…

Они приостановились на минуту на углу Тверских ворот.

– Здравствуйте, куда это вы? – крикнул кто-то проезжавший мимо. Это был Ашанин. Он выскочил из своих саней и подбежал к ним:

– Александра Павловна! С женихом вдвоем? Браво, вот это я люблю!

– Втроем! – поправил, слегка нахмурившись, Троекуров. – Вот за нами porte-respect едет! – кивнул он на нагонявшую их Лизавету Ивановну.

Сашенька рассмеялась как ребенок: так забавным показалось ей, что ее маленькая, робкая приятельница могла служить кому-либо «porterespect».

А та, подъехав, так и завздыхала:

– Мать Пресвятая Богородица, отродясь еще никогда такого страха не чувствовала! Того гляди, думаю, вывернет, да о тумбу… Все молитвы, какие знала, перечла, страсть просто!..

Извозчик ее только посмеивался и мотал головой.

– Разве не прелесть так лететь! – крикнула ей, оборачиваясь, Александра Павловна.

– Да куда это вы «летите»? – спросил опять Ашанин, любуясь ее прелестным в своем оживлении лицом.

– Старую мебель в деревню покупать, – прошептала она с шутливою таинственностью.

– У Сухаревой Башни?

Троекуров лукаво покосился на него:

– В доме умершего отца известной вам особы, спутницы нашей из Петербурга, Ольги Елпидифоровны Ранцовой… Не хотите ли с нами?

– Да разве она в Москве? – воскликнул Дон-Жуан.

– В таком случае мне не нужно было бы приглашать вас; сами вы, полагаю, давно бы там были, – возразил смеясь кавказец, – нет, она уехала…

– С мужем?

– Должно быть… Нет, он вернулся в деревню, говорили мне, – вспомнил Троекуров.

– Поедемте с нами, Владимир Петрович, – прибавила Сашенька, – садитесь с Лизаветой Ивановной, ей не так страшно будет!..

Ашанин, ехавший по очень важному для него делу – переписать вексель у одного ростовщика, едва склонившегося на это после трех дней всяких увещеваний его и просьб, но ни разу еще в жизни не умевший отказаться от встречавшегося ему на пути соблазна или даже просто рассеяния, – послушно наклонил голову, отпустил своего извозчика и вскочил в сани к маленькой особе.

– Ведь я вас обниму, Лизавета Ивановна, для большей безопасности, – объявил он ей тут же.

– А что же, обнимайте, голубчик, – невинно ответила она, – и точно безопаснее…

– И прижму к себе.

– Значит, вывалиться чтоб помягче было, – засмеялась она на это.

Выехав на Садовую, сани помчались опять… Рука Троекурова очутилась опять в муфте блаженствовавшей Сашеньки. Ашанин, как сказал, обнял свою спутницу и прижал к себе – даже гораздо ближе и крепче, чем этого требовала безопасность.

Дом покойного Акулина отыскали не сейчас, так как будочник на ближайшем к нему углу оказался пьяным и отправил спрашивающих в какой-то переулок, где они въехали торжественным поездом во двор дома какого-то «кофешенка 7-го класса» Микулина, полный некиих неистовых собак, которые с истерическим ревом и накинулись на их лошадей и едва отпустили их целыми выехать обратно за ворота… Сашеньке все эти приключения доставляли большое удовольствие, а Лизавета Ивановна только крестилась, прижмуривая глаза.

– Ах, да вот она сама! – воскликнула она неожиданно, завидев спешно пробиравшуюся через улицу мимо первых саней женщину в темной шубке и с черным шерстяным платком на голове. – Анфиса Дмитриевна!

Та, обернувшись на зов, остановилась, узнала (она предварена была Лизаветой Ивановной) и, обращаясь к Александре Павловне и ее жениху:

– За угол сейчас, налево, вторые ворота будут, пожалуйте! – промолвила она приветливо и побежала вперед, спотыкаясь на скользком и избитом тротуаре.

Ашанин, как только увидел это белое, чистое лицо, эти синие глаза с поволокой, так и откинул немедленно руку от стана своей спутницы и восчувствовал к ней даже мгновенное отвращение…

Знакомый нам Федька, в том же куцом, страшно истрепанном фрачке (он непробудно спал теперь в нем по целым суткам), взъерошенный и неумытый, выбежал встречать посетителей на крыльцо и с обычным своим «пожалуйте-с, пожалуйте-с!» повел их по лестнице. Анфиса, пробежавшая черным ходом, встретила их в передней. Она была вся в черном, в плате *немецкого* покроя и в чепце.

– Ну вот я вам, голубушка моя, и привезла наших нареченных, – заговорила Лизавета Ивановна, целуясь с нею щека в щеку, – как вы мне сказали, что можно посмотреть и продается…

– Это точно, – протяжным и невеселым голосом (Сашеньку почему-то сразу тронул этот голос) промолвила та, – в продажу назначено… от наследниц…

– Все? – живо обернулся на нее Троекуров, входя в ближайшую комнату и первым делом натыкаясь взглядом на превосходный бают голландской *манеры* XVII века.

– Какие вещи *они* желают себе оставить, так билетики на них приклеены, – объяснила Анфиса, – а прочее все продавать приказали…

– Ольга Елпидифоровна?

– Так точно… Изволите знать их? – добавила она через миг, слабо усмехаясь.

– Знаю… Давно она уехала?

– Как батюшка их скончались, на четвертый день и уехали… Третья неделя теперича пошла.

Троекуров изумленно и жадно оглядывал картины на стенах:

– C’est un vrai Watteau! – невольно вскрикнул он, указывая на одну из них Сашеньке.

– Да? – вскрикнула машинально и она, в униссон вырвавшемуся у него выражению художественного наслаждения, хотя молодой москвичке ровно ничего не сказало это славное имя.

– А билетиков немного, – сказал он, оглядываясь.

– Мало-с, – молвила Анфиса, – *они* сказывали, что у них у самих в Петербурге *небели* и прочего такого некуда девать, так оставили себе из этого почитай самую безделицу; из мелких вещей, так тех много при себе отправили и увезли даже с собою.

– А вы тут при доме остались? – спросила ее Александра Павловна, пока жених ее, влекомый любопытством, проходил в другую комнату.

– Нет-с, а как я служила при покойном, и оставленный ими, Ольгой Елпидифоровной то есть, человек очень заболемши и в больницу лег, так и просил меня присмотреть пока… потому тут только малый этот остался, ненадежно…

– Alexandrine, подите сюда! – позвал невесту Троекуров показать ей подобранную в гостиной мебель чистейшего *empire*, красное дерево с бронзовыми рельефными украшениями…

Ашанин, все время молчавший до сих пор, пожирая издали огненными глазами стройную и роскошную наружность Анфисы, подбежал теперь к ней своими короткими и быстрыми шажками.

– Со вкусом был человек Елпидифор Павлыч покойный, – проговорил он вполголоса. – Я его знал.

– Знали-с? – протянула она, печально вскидывая на него свои прекрасные глаза. – Да-с, любитель были, – добавила она со вздохом.

– Еще бы! Недаром отыскал такую красавицу, – прошептал Дон-Жуан уже совсем ей на ухо.

Она мигом отшатнулась от него, не то испуганно, не то надменно обмерила его взглядом и молча прошла в гостиную.

Ашанин несколько смущенно закусил губу.

– Не обиждайте, голубчик, не обиждайте! – тихо загововорила вдруг подле него следившая за ними маленькая Лизавета Ивановна тревожным, чуть не плачущим голосом. – Никого у нее на свете нет у бедной… Вы бы лучше, андел мой, помочь ей сделали, на место ее определить… Она в монастырь желание имеет, только я не советую. Сама была, знаю, в келии-то, может, соблазну еще более чем на миру…

– Сделайте милость, – засмеялся неисправимый шалун, – предложите ей ко мне поступить, я с удовольствием ей место предоставлю.

Лизавета Ивановна с болезненно передернувшимся лицом закачала головой.

– Ах, нехорошо, голубчик, нехорошо! Сами божественное любите, а что на уме держите? Душа спасения просит, а вы на пагубу… Если в шутку, так все не хорошо, андел мой, грех!..

Ему стало совестно.

– Ну, полно голосить, святая душа, полно! – само собою, я пошутил… А вы мне скажите вот, откуда вы ее знаете, красавицу эту?

– Откуда, голубчик, – повторила она, – известно, в церкви встречались. В Андроньевском монастыре заупокойную обедню в девятый день по этом самом помершем хозяине дома здешнего служили. А я тут случаем зашла. И плачет она, заливается, ажно больно мне стало. По ком плачете, милая? – подошла, спрашиваю. – Отец или муж вам был? – Ну и пошли мы с нею опосля того на могилку к нему, помолились и из монастыря ушли вместе. Она мне всю историю про мебель и прочее тут рассказала.

– Ну, послушайте, – скептически молвил на это красавец, – благодетеля-то ее я знал и наверное скажу вам, что была она у него уж, конечно, не за дочь.

– Так что же, андел мой? – невозмутимо молвила на это маленькая особа. – Тем паче, значит, за него молиться, а ей себя смирять всячески должно!..

«Блажени чистш сердцем, яко тш Бога узрят», – пронеслось в голове Ашанина. Он провел рукой по лицу и медленно двинулся на голоса Сашеньки и Троекурова, отыскавшего среди картин в бывшей спальной Елпидифора Павловича портрет madame de Sévigné, писанный несомненно Миньяром, – утверждал он.

Он был страстный любитель и, в известной мере, знаток искусства, воспитанный на нем, так сказать, с детства в доме отца, всю жизнь свою собиравшего картины и мраморы, которые затем *спущены* были Борисом Васильевичем в пору его Sturm und Drang-Periode. Он с глубоким, наслаждением любовался теперь художественным подбором предметов, которые представлялись ему здесь и которые так мало чаял он найти в обиталище «какого-то частного пристава».

Он взял вошедшего Ашанина под руку и отвел его несколько в сторону, стесняясь присутствием Анфисы:

– Как все это приобретено, понятно, – сказал он, – но выбор самый замечателен и показывает в человеке редкое чутье прекрасного… Знали вы его?

– Знал, и очень одно время. Играл с ним в *Гамлете.* Лучшего Полония я и не видел… А был он отставной, промотавшийся кавалерист, исправником потом служил, переведен приставом в Городскую часть нашим почтенным *графом.* Вот и вся его биография. Хапал он, известно, по преданию, где и как мог, – а художник был в душе, стихи бывало говорит, плачет, искренно плачет… Вот вы и подите разберите русского человека! – заключил, смеясь, Ашанин.

– Да, – проговорил задумавшись Троекуров, – мудреная штука этот русский человек. Без подготовки, без культуры, вечно наитием каким-то…

– И вечно прахом все и кончается, заметьте. Ни к чему и ни для кого, – промолвил красавец, – хоть бы теперь: отец все собирал, а дочь, не успел он глаза закрыть, не надо мне, мол, прочь возьми все!..

– Самая любимая картина у покойного – эта вот и была, – говорила тем временем Анфиса

Сашеньке, указывая на портрет, обративший на себя внимание ее жениха. – Ольга Елпидифоровна за себя ее оставили.

– Да, – молвил досадливо, подходя к ним, Троекуров, – о madame de Sévigné она слышала (его уже разбирала художественная жадность)… А скажите мне, сударыня, есть тут опись вещам и цена им? И как желают продать, знаете вы – гуртом все или в розницу, с аукциона?

– Этого наверное я сказать вам не могу-с, – молвила Анфиса, – потому как у Ольги Елпидифоровны поверенный есть, так ему поручено. А что, конечно, им лучше, если бы кто гуртом взял, так как они оченно даже желают скорее и дом продать, и даже покупщик уже на него есть… А опись тут имеется, и цены все означены…

Она потянула к себе ящик одного из столов, вынула из него листы и подала ему. Он опустился на стул и принялся пробегать их.

– Вам, я думаю, жаль, что этот дом продается? – обратилась Александра Павловна к синеокой женщине, которая все более привлекала ее сдержанными приемами своими и «порядочностью».

– Видно, надо так, – с горечью молвила та, – чтобы гнездо разорить…

И тут же, как бы спохватившись, промолвила смиренно и вздохнув:

– А, впрочем, известно, воля ихняя!..

Сашенька помолчала и спросила потом:

– Что же вы думаете делать теперь?

– А сама не знаю, барышня, как Бог даст!

– Рукоделье знаете какое-нибудь?

– Шить, известно… Крою, – промолвила она.

– И платья можете, и белье?

– Покойному сорочки всегда сама кроила. Одобряли.

– Вот что, милая, – быстро проговорила Александра Павловна, – у нас теперь много кройки и шитья по случаю моего… приданого. Так приходите к нам работать, я очень рада буду… А насчет цены, как вы там положите с Лизаветой Ивановной… Хотите?

Анфиса подумала и поклонилась затем в пояс.

– Покорнейше вас благодарю, извольте-с… И то от тоски сердце сосет, сидя-то день-деньской руки покламши.

– Pour rien! – прервал этот разговор невольный возглас Троекурова, дочитавшего опись до конца.

Невеста подошла к нему.

– Эта сумасшедшая женщина и ее советники, – продолжал он по-французски, – не имеют ни

малейшего понятия о ценности всего, что тут есть. Покойный владелец обозначил своею рукою ту, видимо, цену, за какую сам он приобретал вещи, а приобретал он их очевидно задаром, случаем. Они же на все на это накинули 50 процентов, почитая это совершенно достаточным… Я ни одного гвоздя отсюда из рук не выпущу, – воскликнул он со мгновенным возбуждением, – но приобрести все это за такую цену просто воровство!

Он обернулся к Анфисе:

– Кто же поверенный тут у Ольги Елпидифоровны?

Она назвала.

– Можете ли вы дать ему знать, что вот такой-то (он вынул карточку свою из бумажника и протянул ей) желает купить *все*, что назначено ею в продажу, а потому просит его зайти к нему – я живу в гостинице Шеврие, – для переговоров?

– Могу-с. Сегодня же даже исполню.

– Благодарю вас! А Ольге Елпдифоровне я сам буду писать.

– Слушаю-с…

Компания поднялась затем и, пройдя еще раз через все комнаты дома, направилась в переднюю.

– Вы к нам обедать, Владимир Петрович? – сказала Сашенька.

Он наклонился в знак согласия – и тут же вскрикнул:

– Ах, Боже мой, а Зильберман?

– Кто это такой?

– Ростовщик, у которого я должен был быть в два часа…

– А теперь пятого четверть, – рассмеялся Троекуров.

Ашанин раздумчиво покачал головой – и махнул в заключение рукой:

– Ну так, значит, и сам Бог не велел!..

Они расселись по саням в прежнем порядке.

– Только я уж вас обнимать теперь не буду, Лизавета Ивановна, – объявил он своей спутнице, целовавшейся на прощанье с Анфисой, и кидая на эту пламенный и, мы должны сознаться в этом, весьма сурово встреченный ею взгляд.

– И не нужно, голубчик, – ответила ему маленькая особа, – сама придержусь за рукавчик ваш, как если на ухабе…

– Вы будете писать… сами? – едва выехали они на улицу, молвила тихо и как бы смущенно Сашенька жениху своему.

– Кому это?.. Ах, да, Ранцовой? Непременно! Я хочу поскорее кончить… Лучше fond

d’ameublement представить себе нельзя, не говоря уже о предметах художественных…

Она молчала.

Он поглядел на нее несколько удивленно.

– Разве вам непременно нужно писать самому к ней? – повторила она наконец. – Ведь к вам придет ее поверенный?..

– Поверенный этот, может быть, мошенник… – начал было Троекуров, но оборвал на половине фразы, взглянул на нее еще раз и усмехнулся. – А вы имеете что-нибудь против, Сашенька? – протянул он, называя ее уменьшительным, которое никогда не употреблял при других.

Она опять задержала ответ, видимо озабоченная, как выразить его… И вдруг он неожиданно так и сорвался с ее губ:

– Борис, видите, я уверена, что вы были влюблены в нее!

– Из чего же это заключение? – засмеялся он.

– Я не знаю… И ничего, и все… Когда я вас увидела в ее ложе в Петербурге и она вас спросила – я слышала! – почему вы не приехали к ней обедать, и когда она вас увидела на станции железной дороги, и какие у нее глаза, когда она говорит с вами… Ну, положим, – Борис, милый, признайтесь! – прервала она себя, подымая на него умоляющий взгляд. – Положим, что вы – нет, но она? Поклянитесь, что она никогда вас не любила… aimé d’amour! – прибавила она для большего пояснения.

Троекуров спокойно, почти строго, обернулся к ней лицом:

– Совершенно бесполезно! – сказал он.

– Почему? – вскрикнула она.

– Прежде всего потому, что это до вас не касается.

– Как не касается! – пылко возразила Сашенька. – Вы мой будущий муж!

– Именно по этой причине! (Он не мог не улыбнутся ее неожиданному «азарту».) Вы должны знать, если только вы меня уважаете, что, делаясь вашим мужем, я с этой минуты отдаю вам всего себя и отрубаю как топором наше начинающееся общее с вами будущее от моего личного, *без вас,* прошедшего. Какое же вам дело до него, до того времени, когда вас для меня *не было?* Допытываясь узнать, что и как происходило тогда, не ставите ли вы меня в неприятное положение быть одним из трех: или хвастуном, или бездельником, выдавшим не одному ему принадлежащие тайны, или, наконец, лжецом по отношению к вам?..

Девушка внимательно, сжав брови, прислушивалась к этим словам.

«Он прав, он благороден, как всегда, – думала она, – но мне так хотелось бы знать»…

– Ну, хорошо, – молвила она вслух после нового молчания, – я согласна, что мне этого не нужно спрашивать… Ну а потом, когда мы будем mari et femme, я буду иметь право требовать от вас, чтобы вы никого, кроме меня, не любили… Никакой женщины то есть?

– Полное! – вскликнул он, глядя на нее с восхищением.

– Смотрите же, Борис, помните! – проговорила она вдруг, понижая голос до шепота. – Я *не прощу обмана!*

Он был поражен звуком этих слов, выражением ее лица. Обычная этому лицу строгость линий приняла теперь как бы решительность и холодность мрамора; глаза недвижно глядели вперед.

Он хотел что-то сказать, возразить шуткой… и не нашел ее… Он только наклонился и спросил усмехаясь:

– А теперь что же, милая, «лететь»?

– Ах, пожалуйста!..

Она встрепенулась вся и с загоревшимися вновь, возбужденными счастием глазами прошептала чуть слышно у его уха:

– На край света, вместе… и всегда. Так, Борис?

– Трогай! – крикнул Троекуров.

Лошади помчались, сверкая стальною гладью копыт по матовому серебру снега…

XXII

Fair is foul, and foul is fair.

Shakesp. Macbeth.

Троекуров в тот же день написал в Петербург к госпоже Ранцовой и дня через три получил от нее ответ, который и не преминул тут же показать своей невесте. На *деловое* его послание она отвечала таким же деловым письмом, начинавшимся с «Mon cher monsieur Troékourof» и кончавшимся «Recevez l’assurance de mes meilleurs sentiments», – в котором она благодарила его за его «manière toute chevaleresque de traiter les choses» и выражала полное удовольствие, что именно ему может уступить (céder) доставшуюся ей по наследству движимость. Купец, покупающий ее московский дом, желал бы приобрести его со всем в нем находящимся и дает за все это купно 25 тысяч рублей; но так как он, само собою, ничего не разумеет «en fait d’art», то она ему и продаст «одни стены», остальное же предлагает с радостью Троекурову. Относительно его «scrupules de conscience» по поводу слишком, по его мнению, низкой оценки предметов, она спешит его предварить, что «pour lui faire plasir» она готова накинуть еще на них три тысячи (общий итог описи был выведен в пять тысяч), и «pas un sou de plus», так как она «все лучшее оставила за собою» (Троекуров пожал насмешливо плечом, дойдя до этого места), с остальным же не знала бы, что делать. Пришлось бы перевозить вещи в Петербург, искать для них помещения и рисковать в конце концов не найти на них покупщиков даже и за уменьшенную цену, так как, уверяла она, «il y a ici une panique d’argent générale en vue de l’émancipation prochaine»…

– Мне кажется, – весело молвил Троекуров, дочтя письмо, – что я затем могу, не смущаясь, купить все это. Она ничего не понимает и действительно спустила бы это сама в Петербурге уже совсем задаром. Я говорил с ее поверенным; вещи можно будет отправить сейчас же во Всесвятское. Я немедленно распоряжусь… Но мне надо будет самому туда съездить на день, на два, чтобы посмотреть, сообразить и устроить наш home несколько комфортабельно к нашему приезду.

Сашенька вся побледнела даже, услышав это.

– Вы уедете… на два дня! – могла только проговорить она.

– Даже и на три, если будет нужно, – отвечал он смеясь. – Я не хочу, чтобы вы нашли там казарму…

Он быстро повел дело. Деньгами он не стеснялся, так как до окончательного ввода его во владение Успенский ссудил его довольно значительною суммой, – рассчитался тут же за акулинскую движимость с поверенным Ольги Елпидифоровны и немедленно велел отправлять ее в имение. Ближайший надзор за этим поручил он Анфисе, все еще остававшейся добровольно при доме, за болезнью приставленного к нему Ранцовым доверенного слуги Сергея, и которая к этому приложила всевозможное старание. Вслед за вещами отправил он принимать их во Всесвятское архитектора, обойщика и столяра, назначив свой выезд позднее.

Как ни глупо казалось это ей самой и как ни старалась она этого избегнуть, но, прощаясь с ним на лестнице, Александра Павловна не выдержала и заплакала.

– Ну не буду, Борис, не буду! – воскликнула она тут же, пересиливая себя и глядя ему в глаза, боясь прочесть в них выражение нетерпения или неудовольствия, – только по вечерам будет так скучно! – промолвила она ему на ухо, пока он наклонился к ее руке.

Троекуров обернулся с улыбкой к провожавшему его в числе других Ашанину, который после их прогулки в санях зачастил, как это периодически происходило у него с тем или другим из знакомых ему домов, каждый почти день к Лукояновым.

– Владимир Петрович, будьте добры, найдите такое средство, чтоб Александру Павловну заставить три вечера сряду думать о предмете, несколько более интересном, чем поездка моя во Всесвятское!

– Трудно, батюшка, трудно! – засмеялась, покачивая головой, Марья Яковлевна.

– Будьте покойны, средство есть! – отозвался на это решительным тоном Ашанин. – Явлюсь с ним нынче же вечером. А теперь возьмите меня с собою, Борис Васильич, и киньте на Кузнецком мосту – вы мимо едете…

– Отлично! Едем!..

Вечером, к чаю, за которым кроме домашних сидели Женни Карнаухова и Ламартин-Овцын, наш Дон-Жуан явился к Лукояновым с книгою в руке.

– Это что ли средство ваше? – усмехнулась Марья Яковлевна, кивнув на нее подбородком.

– Самое оно и есть.

– Ну уж!..

(Марья Яковлевна никогда не питала особенной страсти к книгам, а последнее время «ученость» племянника и племянницы внушила ей к ним даже решительную антипатию.)

– А вот дайте начну, а потом и увидите, – молвил на это невозмутимо Ашанин. – Я, впрочем, не вас приехал лечить, а Александру Павловну.

– А что это вы привезли? – спросила девушка.

– *Дворянское гнездо* Тургенева; я ведь знаю, что в этом доме его не читали до сих пор.

– Я читала, – молвила небрежно Кира.

– Чего ты не читала! – сквозь зубы пропустила на это тетка.

Княжна как бы не слышала…

– On dit que c’est très joli, – встрепенулась Женни, которой maman, Dodo и до сей минуты не дозволяла читать ничего, кроме английских романов, и притом почти исключительно тех лишь, авторами которых были женщины.

– Превосходная вещь, а в чтении Владимира Пепровича выиграет вдвое, – галантерейно подтвердил Ламартин.

Ашанин раскрыл книгу и, не откладывая, начал чтение тут же за чайным столом.

Читал он действительно очень хорошо; он умел увлекать и увлекался сам. Публика его после первых, довольно холодно прослушанных страниц унесена была им.

Сашенька слушала все внимательнее, с пробегавшими то и дело в темных глазах ее искорками сочувствия и глубокого внутреннего наслаждения. Ламартин-Овцын, забыв о клубе, не подымался со стула и только покачивался на нем как бы в ритм музыкальному языку произведения, значительно и самодовольно улыбаясь каждый раз, когда, в его понятии, «автор тонким штрихом намекал на *оппозиционный* характер убеждений» своего героя. Женни Карнаухова так и подпрыгивала от восторга, возносила глаза к потолку и восклицала от времени до времени: «Ravissant», «adorable», «comme il connaît le cœur féminin!» (Она, по старой привычке отождествлять себя с героиней каждого читаемого ею английскаго *novél*, переносила себя всецело в образ Лизы и по этому случаю глядела теперь на Дон-Жуана-чтеца такими пожирающими глазами, какими, конечно, и в голову бы не пришло тихой, сдержанной Лизе смотреть на «медведя» Лаврецкого.) Сама Марья Яковлевна, вся застыв в нескончаемой кирасе своего корсета, видимо любопытствовала, хотя несколько и оскорблялась тою «дурацкою ролью», говорила она, которую «во всем этом» играла такая же, как она, маменька, и даже «тезка ей», Марья Дмитриевна Калитина[21].

– У этих новых сочинителей, известно, – говорила она в перерывах чтения, – все молодые невесть какие умные, а все старые дрянцо; по нынешнему же времени, я почитаю, что это даже совсем напротив, – добавляла она, косясь то на племянницу, то на золотые очки на длинном носе свояка своего Овцына…

Кира, уложив голову на руку и опустив глаза, слушала в свою очередь в том глубоком безмолвии и неподвижности, которые составляли как бы ее особую специальность и имели дар непомерно оскорблять и «выводить из себя» ее впечатлительную, горячую и ребячески-невоздержную в выражении впечатлений своих тетку.

Чтение протянулось до ужина, и по общему желанию положено было продолжить его на следующий день «с самого послеобеда и до тех пор, пока хватит у Владимира Петровича голоса», к чему сам Ашанин смеясь прибавил: «И даже после того, как *оного у* меня не окажется».

Так и случилось. Начав в половине шестого, он к одиннадцати, изнеможенный чтением, которое не чувствовал себя в силах перервать хотя на мгновение, уже хрипел и задыхался от устали и накипа пережитых им художественных ощущений, передавая последние страницы

романа.

«Играйте, веселитесь, растите, молодые силы, – читал он глубоко тронутым голосом прощание Лаврецкого с юным поколением столь дорогого ему некогда «калитинского дома», – жизнь у вас впереди, и вам легче будет *жить:* вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть, – и сколько нас не уцелело! – а вам надобно дело делать, работать»…

– Святая истина! – раздался вдруг неуместным диссонансом в гармонии общего усиленного и трепетного внимания голос Федора Федоровича Овцына. – Немногие уцелели из нас, немногие!..

Все глаза обернулись на него с негодованием.

– Да не мешай! – крикнула на него, махая рукой, хозяйка.

Ашанин дочитал… Натянутые нервы его слушательниц не выдержали:

– До слез ведь хорошо, до слез! – всхлипнула Марья Яковлевна.

Сашенька тихо плакала, закрыв лицо платком. Пылкая Женни рыдала уже громко, словно на панихиде… Сама Кира поводила кругом какими-то смягченными взорами…

– Художник, да-с, большой художник! – возгласил опять старый Ламартин, вставая в рост и расправляя свои длинные ноги. – И как верно отметил: мало из нас, действительно мало, кто «уцелел»!..

– Из каких это *вас*? – послышался неожиданно резкий голос Иринарха Овцына (он вошел к концу чтения и сел у дверей, незамеченный никем). – Из, то есть, как ты, *вдовцов французской республики* тысяча *восемьсот* сорок восьмого года?

Он подошел к отцу хихикая, насмешливо поглядел на него и пожал плечами.

– Мое почтение! – проговорил он тут же сквозь зубы, встретив разгневанный и вызывающий взгляд тетки, готовой сейчас же, он знал, *оборвать* его, и с которою он не почитал нужным ссориться, как ни кипела в нем желчь в эту минуту.

Он злился и на это чтение, и на то, что именно прочтено было, и на «успех», какой выпадал при этом на долю Ашанина, злился в особенности на то, что все это «повлияло» на Киру, на то «почти растроганное» выражение (он все время не отрывал от нее взгляда из своего угла), которое читал он теперь на ее лице…

– Да что ж, Ира, – говорил между тем, несколько заикаясь, смущенный, как всегда в присутствии сына, Федор Федорович, – ты никак отрицать не можешь, что, как говорит Лаврецкий, если вам действительно приходится теперь «дело делать», то мы могли только «бороться и падать» среди мрака. Но ведь все же мы были *носителями идеи,* Ира, да, – протянул он, значительно и даже таинственно понижая голос, – и вас, что там ни говори, приготовили – *мы*!

– Тряпки то есть, в роде твоего Лаврецкого? – отпустил с глубоким презрением Иринарх.

– Откуда же было у нас взять характеров? – уже слезливо воскликнул Ламартин, прижимая умоляющим жестом растопыренную пятерню длинных и костлявых пальцев к лацкану своего

застегнутого фрака, – ты уж не маленьким совсем был, должен помнить, каково время-то наше было!

– Помню, – возразил сын с новым хихиканьем, – помню, например, как неповинные тысячи сынов народа водили с палками вместо ружей на убой дальнострельных англо-французских винтовок, а ваша либеральная братия радовалась, что их бьют, как победе цивилизации – вашей *буржуазной* цивилизации – над варварством. От тебя ведь слышал эти умныя слова!..

Федор Федорович быстро расстегнул фрак, вытащил часы и, торопливо проговорив: «Пора мне, однако!», подошел прощаться к *ручке* хозяйки, занятой в это время выражением благодарности Владимиру Петровичу за его прелестное чтение, но которой это нисколько не мешало прислушиваться обоими ушами к прению отца с сьшом.

– Плодами дел своих можешь любоваться, батюшка, – возгласила она громко, машинально протягивая губы к его лбу, пока он наклонялся к ее руке, – молодца взрастил, нечего сказать, молодца!..

Бедный Ламартин не то вздохнул, не то усмехнулся, раскланялся галантерейно с дамами, пожал с чувством на ходу локоть Ашанина и поспешными шагами вышел из комнаты.

Марья Яковлевна тотчас же обратилась к Иринарху:

– Отец твой с большого характера привык пред тобою пасовать; ну, а у меня, батюшка, и свой царь в голове есть, авось пред умом твоим и не струшу. Почему это, по-твоему, скажи на милость, Лаврецкий этот – «тряпка»?

Студент судорожно повел своими бесцветными губами:

– А по-вашему, он – *человек?*

– А чем не «человек» по-твоему?

Он чувствовал, что она его «допекает» и хочет «к углу прижать» и что дальнейший разговор по этому поводу должен непременно вызвать бурю.

– Очень уж он грузен и тяжел на подъем, – сказал он уклончиво под видом шутки.

Но в то же время глаза его встретились с обернувшимися на него глазами Киры. «Что же ты, отступаешь?» – насмешливо, показалось Иринарху, говорили они ему…

– Что можно другого сказать, – желая выражаться *учтиво,* поспешил он добавить к первым словам своим, – про такого господина, которому счастие само дается в руки, и который, в виду первого затруднения и смущаясь всякими старыми бреднями, добровольно отказывается от него и, поджав хвост, ретируется, как последний из пошляков?..

– Как это так, «ретируется»? – воскликнула Марья Яковлевна. – Что ж ему делать было, когда жена его не померла и приехала к нему?

– Так что же такое?

– Как что? Значит, жениться ему на Лизе нельзя было.

Губы Иринарха задергало снова:

– Да любил он ее или нет?

– Конечно, любил.

– А она его?

– Если б не любила, не пошла бы она с отчаяния в монастырь, – вмешалась в разговор Сашенька.

– В этом-то и пошлость! – фыркнул Овцын.

– Неужели, d’après vous, ей лучше было бы épouser cet affreux Паншин? – визгнула, в свою очередь, Женни, отирая глаза.

Иринарх еще раз глянул в сторону княжны Киры. Она склонилась над своею работой и как бы не слушала.

– Когда люди любят друг друга не салонным, дряблым чувством, а искреннею страстью, – вымолвил он особенно резко, как бы с тем чтобы вызвать ее внимание, – нет соображений, как и не может быть препятствий для них к удовлетворению влекущего их друг к другу естественного и вполне законного стремления!

Марья Яковлевна так и вскинулась:

– То есть, это, батюшка, по-нашему, по-русски, то значит, что ей, Лизе, надо было бежать из родительского дома, да еще с женатым человеком. Так оно, по-твоему, или нет?

– Вы сказали! – хихикнул он на это.

– То есть, – продолжала Марья Яковлевна, все более разгорячаясь, – чтобы честная девушка сделала из себя потерянную женщину?

– Зависит от понятий, – отрезал он в ответ, – по вашему мировоззрению – «потерянная», а с естественной и здравой точки зрения, *честность* ее только бы и началась с той минуты, когда б она решилась разорвать путы пошлой старой морали и следовать открыто прямому влечению своей природы.

Марья Яковлевна уже не в силах была сдержать свой гнев:

– Да как ты смеешь! – вся багровая закричала она на него. – Как ты смеешь в моем доме… при девушках проповедывать такие мерзости!.. Если отец твой довел свою слабость до того, что ты чуть его не бьешь… если тебя здесь может кто и слушает с удовольствием, – и она сверкнула взглядом в сторону племяницы, – так я тебе этого не позволю никогда, слышишь?

– Так ведь сами вы спросили, я вам и отвечал; не стану врать из угоды вам! – нагло отпустил он в свою очередь, чувствуя, что сожигает свои корабли, но держа прежде всего в мысли «не показаться трусом» в глазах Киры.

– Иринарх! – вскликнула перепуганная Александра Павловна, подымаясь с места. – Maman, прошу вас, оставьте его!..

Но Марья Яковлевна, как всегда бывает в таких случаях, была тем более оскорблена, чем справедливее было возражение, что сама же она его вызвала на ответ:

– А я тебя прошу выйти вон, – крикнула она на него, – и твоих дерзостей слушать не хочу!..

Иринарх поднял на нее глаза, полные неисходной злобы… Губы его перекосились, как бы готовясь разразится потоком язвительных слов… Но он сдержался, кивнул презрительно головой и с места, никому не кланяясь, быстрыми шагами направился к двери.

Не доходя до нее, он остановился подле Киры, сидевшей по своему обыкновению одна на конце стола, и протянул ей руку.

– До *свидания,* Кира Никитишна! – громко, вызывающим голосом проговорил он.

– До свидания, – машинально повторила она, равнодушно подавая ему свою.

– Только не в моем доме, конечно! – послышался следом за этим возглас разбешенной Марьи Яковлевны, между тем как он, энергическим движением пожав пальцы княжны, исчезал за дверью.

Княжна воззрилась в нее через стол с какою-то странною усмешкой и высоко приподняла плечи.

Умоляющий взгляд Александры Павловны остановил вовремя срывавшееся с уст ее матери резкое, непоправимое уже, быть может, слово…

Кира вернулась к своему месту, собрала со стола лежавшие на нем шитье, ножницы и катушки ниток, уложила все это в свой рабочий ящик, обвела присутствовавших общим кивком и вышла из столовой.

Последовало общее, тяжелое молчание. Никто словно не смел поднять глаз на другого. Хозяйка, с багровыми пятнами на лице, порывисто дышала под своей кирасой, упрекая себя внутренно за излишнюю горячность и в то же время усиленно доказывая себе, что поступить так, как она поступила, был ее «прямой, священный долг», и что она, конечно, чрез порог свой не допустит более в жизни этого «мерзавца», а что касается до того, чтоб *она* (то есть Кира) виделась с ним в другом месте, – «так это мы еще посмотрим!»… Ашанин, упершись взглядом в скатерть, молча барабанил по ней ногтями: «Шут-то ведь этот гороховый на сочувствие ее, пожалуй, рассчитывает, – рассуждал он мысленно про Иринарха и княжну, – а он для нее букашка, и взгляда не стоящая»… У Сашеньки от волнения то и дело выступали слезы на ресницах. Сконфуженная Женни сидела подле нее, размышляя в свою очередь, что «эта Кира наверно уж *убежала бы с* Лаврецким, если бы была на месте Лизы Калитиной… да что, впрочем, и сама она, Женни, право, не знала бы, как поступить, если бы *такой,* женатый, человек ей *уж очень* нравился»…

Она первая сочла нужным заговорить «pour rompre ce silence glacé»:

– Борис завтра будет? – спросила она Сашеньку.

– Надеюсь, да! – встрепенулась та.

И быстро понижая голос:

– Если бы он был тут, ничего бы этого не случилось, – прошептала она ей на ухо.

Слуги вошли с приборами. Но Женни поспешила встать и объявила, что ее ждут дома. Ашанин последовал ее примеру: он понимал, что никому не до еды теперь… По их отъезде мать и дочь

тотчас же, не прикасаясь к ужину и не разменявшись ни единым словом, разошлись по своим комнатам.

XXIII

…Душа ея
Была из тех, которым рано все понятно.
Для мук и счастья, для добра и зла
В них пищи много, только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, без раскаянья, упреков
И жалобы.

Лермонтов.

Вернувшийся на следующий день Троекуров успокоил все тревоги Сашеньки, которая под впечатлением происшедшей накануне *сцены* всю ночь спать не могла. Он доказал ей, что ничего такого особенно «ужасного», как выражалась она, тут не было, что, конечно, можно пожалеть о том, что «*maman* чересчур разгорячилась и *прогнала этого господина* со слишком большим *треском,* вследствие чего он может почитать себя в некоторой мере оскорбленным ею, – но что рано или поздно она все равно вынуждена была бы закрыть ему двери своего дома»… «Он вам родня, – говорил Борис Васильевич, – и я очень понимаю, что вам его жаль, жаль и что *maman с* ним так строго поступила, а с другой стороны, что и сам он, как я понимаю, какой-то озлобленный неудачник, которого ждет самое печальное будущее»…

– Да, – говорила Александра Павловна, – потому что в этом, главным образом, виноват не он, а то, как его воспитали. Вы знаете теперь дядю Овцына. Тетя умерла, когда Ире не было еще девяти лет, и он остался на руках отца. А тот ничего в жизни, кроме своих belles phrases, не делал и в карты играл. Он совсем иногда забывал о бедном мальчике, по целым дням не возвращался домой, забывал кормить его и одевать. Ира к нам тогда через всю Москву бывало во всякую погоду пешком ходил обедать… Он сначала был в пансионе, но не хотел там остаться потому, что там были у него богатые товарищи, которые смеялись над его порванными сапогами, жаловался он нам тогда… Он этого выдержать не мог. Тогда отец отдал его в гимназию и взял ходить к нему на дом повторять уроки одного семинариста, от которого, я знаю, и научился Ира всему тому вздору, который он говорит.

– Все это прекрасно, – возражал Троекуров, – но его «вздор», однако, не такого сорта, чтобы быть терпимым… Из того, например, что у него вырывается громко, при всех, можно себе представить, что он проповедывал кузине вашей, княжне Кире, в течение тех бесконечных часов, которые проводил он до сих пор с нею совсем почти наедине… Как мы с вами теперь, Сашенька, но без тех же прав, как мы на это, – заключил он, улыбаясь и целуя ей руку.

– Кире нечего научатся от него, Борис, поверьте, – молвила с такою же улыбкой счастливая невеста, – она гораздо умнее его.

– Положим. Ну, а сами вы на месте *maman*, – почти строго проговорил он, – потерпели бы вы, чтобы в вашем доме проповедывали все это девушке, сироте, которой вы заменяете мать?

– Нет… Конечно, нет! – согласилась невольно Сашенька со вздохом внезапного облегчения.

Такое же облегчение почувствовала и Марья Яковлевна, узнав об аппробации ее поступка будущим ее зятем, который все более и более подымался в ее глазах на степень неопровержимого авторитета. Она воссияла вся и в неоспоримом уже теперь для нее сознании

своей правоты решила отнестись как можно «снисходительнее» к «этой *сумасшедшей* Кире», какою почему-то представилась ей в ту минуту ее мятежная племянница, «которая вечно на стороне этого *скверного мальчишки стоит».*

Но она никак не ожидала того, чем в тот же день должна была озадачить ее эта племянница.

Минут за десять до обеда весь дом по обыкновению собрался в большой белой гостиной в ожидании оповещения буфетчиком торжественного: «кушанье готово!» Недоставало только Киры. «Дуется еще, пожалуй, со вчерашнего, но сойдет», – тревожилась внутренно Марья Яковлевна и с обычною своею торопливостью и нетерпением обратилась к карлику Памфилу Ивановичу:

– Сходи сойчас наверх к княжне и спроси, будут ли они кушать?

Но в это время сама княжна появилась в дверях комнаты.

– А-а! Здравствуй! – протянула Марья Яковлевна, приветливо улыбаясь ей. – Я сегодня проспала, не выходила к завтраку, не видала тебя еще… Здорова?

Кира наклонилась безмолвно и холодно.

– Письмо какое-то было тебе загородное, принесли с моими, – я послала к тебе. Получила?

– Как же, благодарю вас…

– Из Петербурга по штемпелю, – продолжала г-жа Лукоянова, – от кого это? – спросила она небрежно.

Кира помолчала, подняла потом глаза на тетку и проговорила медленно и отчетливо:

– Я в Петербург переезжаю, так это об этом…

– Что-о? – вскрикнула и так и замерла Марья Яковлевна.

Княжна молча вынула из кармана исписанную почтовую четвертушку и протянула ей.

Все бывшее в комнате подняло на нее вопрошавшие и недоумелые глаза, пока Марья Яковлевна, приняв от нее листок задрожавшею нервно рукою, принималась жадно разбирать его.

Кира обвела кругом себя спокойным и как бы невольно насмешливым взглядом. Как ни была она сдержанна, но зорко глядевший на нее Троекуров прочел в этом взгляде какое-то презрительное торжество: «А вы думали, в самом деле, что я способна буду терпеть долее вашу компанию!» – словно говорил он.

Письмо было от старой камер-фрейлины Охвостовой, приходившейся теткой покойной матери Киры, – особы, пользовавшейся уважением и даже известным влиянием в придворных сферах, – и говорило следующее:

«Ma chère enfant, —

– Tenant fort à cœur de vous prouver tout l’intérêt que je prends à votre position d’orpheline, je me suis empressée de soumettre à qui de droit le désir que vous m’exprimez dans votre lettre. Une circonstance fortuite et très inattendue, le mariage de la baronne de Hagern avec le jeune comte

Nataschantzef, étant venue tout particulièrement en aide aux démarches que je faisais en votre faveur, je me fais une vraie fête de vous annoncer que votre demande a été gracieusement agréée par Son Altesse Impériale et a déjà même obtenu Tassentiment Suprême. Je suis heureuse de vous dire que vous devez cette haute faveur tant aux éminents services rendus à la patrie par feu le prince votre père, qu'à l'impression toute favorable faite par votre personne elle-même sur Son Altesse Impériale, à laquelle vous avez eu l'honneur d'avoir été présentée à Bade et qui en a gardé un très bon souvenir…[22]

Княжна Кубенская назначалась фрейлиной к одному из «малых» дворов. В письме читалось далее, что официальную бумагу о назначении своем она получит на днях через московского генерал-губернатора, после чего советовалось ей поспешить приездом, так как баронесса Гагерн, преемницею которой должна была поступить она, покидает двор, уезжая в Курляндию к родным до свадьбы, назначенной после Пасхи. Писавшая заключала повторительным поздравлением с высокою милостью, которой удостоивалась княжна, и приглашением, по прибытии в Петербург, остановиться у нее, Охвостовой, пока не опростается во дворце, где должна была жить Кира, апартамент ее предшественницы.

Марья Яковлевна, начавшая было читать громко, не в силах была дойти до конца. Она каким-то беспомощным движением опустила руку с письмом и подняла на Киру не то оскорбленные, не то опечаленные глаза.

– Не ожидала, признаюсь, – проговорила она, – побольше, кажется, доверия от тебя заслуживала!

И переходя для большей язвительности с *ты* на *вы:*

– Я, вы очень хорошо знаете, никогда ни в чем вам не препятствовала; как для себя лучшим почитали, так всегда и делали, а я, тетка вам родная, в стороне стояла, и только гляжу иной раз и… удивляюсь только… Так прятаться от меня и бежать теперь, сюрпризом, из моего дома, я уж и не знаю, для чего вам понадобилось…

Ноздри Киры надменно раздулись.

– Не в моих привычках прятаться и бегать, тетушка, – промолвила она с насилованною усмешкой, – и никакого сюрприза я не намерена была вам делать. Не говорила я вам *об этом* раньше потому, что не знала, будет оно или не будет, а тешить себя и других пустыми чаяниями я не люблю.

Глаза Марьи Яковлевны заискрились – но, заметив тревожные лица, с какими следили за нею Александра Павловна и ее жених, она воздержалась, как гомеровский Одисей, от «крылатого слова», и проговорила, как могла только спокойнее, между тем как губы ее еще нервно вздрагивали:

– Конечно, в петербургском дворце поинтереснее для девочки, чем на Арбате сидеть… Могу только поздравить тебя с этим… И скоро ты таким образом думаешь ехать?

– Как соберусь, тетушка… Вы читали, la tante Okvostof пишет, что надобно скорее…

– И к Сашенькиной свадьбе, разумеется, не приедешь?

– Постараюсь… если только можно будет… – промямлила Кира.

Эти вопросы, видимо, докучали ей…

Александра Павловна поспешила вмешаться. Она поднялась с места и, подойдя к кузине, обняла ее:

– Зачем загадывать заранее, maman? – веселым тоном заговорила она. – Приедет, я уверена, если пустят; а если нет, так ведь она не виновата будет…

– Как не виновата птица, попавшая в раззолоченую клетку, – в унисон этому тону промолвил Троекуров.

Кира быстро подняла глаза и вопросительно воззрилась на него. «Что это: укор или предупреждение?» – словно говорили они. – «Что вам будет угодно!» – отвечали им невозмутимо глядевшие на нее его глаза…

– Кушанье готово!..

И вслед за появившимся в дверях красноносым Архипом влетел в комнату Шигарев:

– Ну, была игра, могу сказать, была! – хохотал он, мотая головой и голосом Садовского в роли Расплюева. – Боксом то есть, настоящим боксом, насилу ноги унес!..

– Где это, батюшка, кто тебя обидел? – заголосила, вся внезапно взрываясь, Марья Яковлевна, которую всякое подобное шутовство имело постоянно способность развлекать и тешить, как бы ни была она озабочена.

– А все же она умница моя разумница, Аглая! – гаерничал он. – Ведь я ее в Питер-то послал, помните, сыном напугал, что он будто на француженке-актрисе жениться хочет.

– Ну как же, да! Что ж она, вернулась?.. И с сыном экспликация была? – допрашивала уже с тревожным любопытством хозяйка.

– Само собою, – отвечал шут, продолжая надрываться, – «Basile mon fils», вы понимаете, забрыкал и руками, и ногами: «Откуда вы, мол, это выдумали?» А она ему: «Я, говорит, знаю, que vous voulez épouser cette vilaine Lucie Ladrague». А он ей: «Vous mentez, maman!» А она ему: «Comment est ce que vous osez!» А он ей: «С такою непроходимою, как ты, все очень можно»…

– Что это, батюшка! – вскликнула, прерывая его, Марья Яковлевна. – Сын ее в глаза дурой назвал?

– Ну не назвал, а в том же роде, должно быть, сказал, – объяснил не смущаясь Шигарев, – только она, разумеется, сейчас меня и выдала: «Вот, мол, кто меня насчет этого напугал». «Basile mon fils» на это гусарскую свою прыть вперед: «Я говорит, его, то есть меня, грешного, за это на дуэль вызову!» С этим она и уехала. Приезжает она вчера сюда, за мною сейчас шлет. Я, само собою, поспепил: потеха будет, чувствую… В самом деле, гляжу, глазища-то у нее в кегельные шары выросли, так и норовят *коном* меня сбить. С первых же слов так и огорошила: «Vous courez un grand danger, monsieur Шигарев, – говорит, – vous savez comme mon fils Basile tire bien du pistolet». – Не слышал никогда, говорю, а если действительно, так чего ж лучше! – А она мне на это: «Ne plaisantez pas, parce qu’il veut vous tuer pour avoir voulu le calomnier à mes yeux»… Ну, знаете, я так и помер… А она тут и пошла, и пошла. Vous savez, говорит, que semer la zizanie – и откуда ведь слова такие берет? – entre une mère et un fils est un grand péché devant Dieu et un crime contre les lois du gouvernement’…

– Что вы! – так и прыснула Марья Яковлевна, замахав от избытка удовольствия своими большими руками.

– Обед подан, maman, – напомнила ей Александра Павловна.

– Ну пойдемте, пойдемте!..

«Аглаина глупость», по выражению Марьи Яковлевны, продолжала служить мотивом разговора и во все время обеда. Разговаривали, впрочем, почти исключительно она и ее гость. Троекуров невольно то и дело поморщивался, и невеста, его, замечая это, поглядывала на мать и несколько раз пыталась навести ее на какой-либо другой предмет беседы. Но Марья Яковлевна чувствовала себя на верху блаженства от скоморошеских выходок Шигарева; она вторила ему и поощряла на новый вздор, поддакивая, подмигивая и одобрительно покачивая головой. О «сумасшедшей» и «неблагодарной» племяннице она видимо позабыла и думать в эту минуту…

А та, сжав вдумчиво брови и не прикасаясь почти к своей тарелке, сидела погруженная в глубокое внутреннее раздумье – только зеленые непроницаемые глаза ее подымались иной раз как бы украдкой на жениха ее кузины и с выражением какой-то будто неудовлетворенности опускались опять. Он это замечал и в свою очередь взглядывал на нее от времени до времени, пощипывая усы и не то рассеянно, не то задумчиво усмехаясь.

Едва встали из-за стола, как Александру Павловну поманила к себе пальцем Катерина Борисовна и проговорила ей таинственно на ухо, что ее «наверху» ждет швея «насчет кофточки».

– Опять что-нибудь примеривать? – спросил, пожимая плечами, Троекуров.

– Что делать! – чуть не жалобно молвила извиняясь Сашенька. – Я сейчас приду, Борис… Это вы знаете, кто пришел? Наша protégée Анфиса, которая вам вещи и картины отправляла, и вы так еще были довольны ею…

Она нежно кивнула ему и побежала.

Он достал папироску из портсигара, закурил ее…

Все прошли уже в гостиную. Слуги принялись убирать со стола. Одна Кира стояла лицом к окну и безмолвно глядела на улицу.

Он двинулся с места, мимо нее.

Она внезапно обернулась к нему:

– Как вы сказали: «золоченая клетка»?

Троекуров с удивлением посмотрел на нее: так странно было это неожиданное обращение к нему после того явного недоброжелательства, какое он до сих пор имел право видеть по отношению себя в каждом ее взгляде, в каждом движении.

– Так точно, княжна, – ответил он учтиво и холодно.

Она скрестила руки на груди и уперлась затылком к раме окна. Слегка прищуренные глаза ее обратились в одну точку в стене…

– Вы осуждаете меня! – медленно уронила она.

Невольная улыбка скользнула по губам Троекурова. «Она объяснения хочет – к чему?» –

пронеслоеь у него в мысли.

– Вы желаете моего мнения? – спросил он помолчав.

– Да!

– И позволите сказать его с полною откровенностью?

– Конечно!

– Извольте! – улыбнулся он еще раз. – Мне кажется, вам и так *тесно,* а от золотой проволоки кругом шире не будет…

– Так хоть выше! – быстро проговорила она, не дав ему продолжать. Что-то горькое и надменное зараз зазвучало вдруг в ее голосе. – Меня не любит здесь никто, я знаю… и не удивляюсь, pour être aimée il faut être aimable, а я… Что же делать, я в этих рамках не могу…

– А *там* что же вы думаете найти? – тихо спросил он.

– Выше… шире… Я вам сказала, – глухо отвечала она не сейчас, все так же не отрываясь взглядом от стены.

– А потом?

– Не знаю… Увижу!

Он зорким, скептическим взглядом бывалого петербургского человека воззрился ей в лицо.

Но он не прочел на нем того, что заподозрил на миг в ее словах. Недосказанная мысль захватывала далее тщеславного женского расчета, который думали прозреть в ней его сообразительность и «бывалость»… Его самого как бы подняло вдруг что-то. Он объяснил себе вдруг нежданность и стремительность ее речей. Брови его вдумчиво сжались:

– Вы думаете… действовать? – проговорил он, растягивая. – Положим, вы успеете… Но дела бывают разные, княжна, хорошие… и недобрые…

Она в свою очередь глянула ему прямо в глаза широко раскрытыми, заискрившимися глазами:

– Вы думаете, я зла, потому что вижу зло там, где оно есть?.. А вы его не видите?.. Сами вы счастливы… или почитаете себя счастливым, – добавила она с какою-то как бы бессознательною презрительностью, – но неужели вы полагаете от этого, что весь окружающий нас мир – совершенство из совершенств?

Он закачал головой:

– Нет, и я даже, смею думать, имел более вас случаев убедиться, насколько в нем несовершенства. Но я знаю и то, что ненавистью никогда еще дурное положение не переделывалось в хорошее в этом мире, – сказал он, смягчая по возможности тоном голоса то, что могло бы показаться ей оскорбительным по сущности.

Ноздри ее вздрогнули.

– Надо прежде всего *знать* и *возненавидеть* дурное, – подчеркнула она, – чтоб *уметь* делать добро…

– Не наоборот ли? – возразил Троекуров. – Не начать ли с горячей любви к добру?.. Вы поймете это, Кира Никитишна, – промолвил он с оттенком дружеского участия, – когда сами полюбите…

Она свысока и иронически прервала его:

– Да, да! Старый шиллеровский рецепт

fiechten und weben
Himmlische Rosen in's irdische Leben[23];

и вы полагаете, что у женщин теперь не может быть других задач и дороги менее избитой?

– Попробуйте, если верите в это! – отвечал он с каким-то небольшим выражением жалости.

Зеленые глаза ее замерцали словно две крупные звезды:

– И не раскаюсь, конечно!..

Она быстро отделилась от окна и с зардевшимся лицом безмолвно прошла мимо него по направлению к гостиной.

– Странная какая! – сказал Троекуров, глядя ей вслед. – Но что может из всего этого выйти в петербургском дворце?.. Любопытно!

Вернувшаяся «с примеривания» Сашенька застала его одиноко курившим у того же окна, у которого происходил разговор с Кирой.

– Вы меня все ждали здесь одни? – спросила она.

– Ждал… как всегда…

Он тихо взял ее руку и с какаю-то особенною нежностью прижал ее к губам.

О беседе своей с княжною он не счел нужным передавать ей.

XXIV

Fare thee well, and if for ever,
Still for ever fare thee well!

Byron.

Дня три спустя княжну Киру провожала на станцию Николаевской железной дороги довольно большая компания. Кроме *своих* тут были «завсегдашние» дома ее тетки, Ашанин, Веретеньев, Мохов, Женни Карнаухова (никогда особенно не дружившая с отъезжавшею, но со дня назначения ее фрейлиной возгоревшая к ней самою восторженною приязнью), и даже гораздо менее ей знакомые две-три маменьки и дочки из московского бомонда, движимые тем соображением, что приедешь, мол, в Петербург, не мешает заручиться этим ходом на случай придворного бала или даже и поважнее чего-нибудь…

Киру повел под руку Ламартин-Овцын… Он со дня изгнания Иринарха Марьей Яковлевной проводил все вечера свои на Арбате и был крайне любезен со всеми, как бы желая торжественно доказать, что нисколько не почитает себя солидарным с сыном. Вокруг княжны

он как-то особенно вился, очевидно, намереваясь что-то объяснить ей. Но она или занята была своими сборами, или представлялась ему «не в своей тарелке», и он робко отступал пред этим просившимся у него на уста объяснением… Теперь же он, выступая с нею шаг в шаг вдоль длинной линии ожидавших вагонов, почтительно склонив к ней голову и устремив пристально глаза себе под ноги, будто чая каждую минуту попасть ими в провал, говорил ей полушепотом:

– Смею надеяться, Кира Никитишна, что если бы вам что-нибудь понадобилось в дороге, вы прямо обратитесь к Иринарху… Он тут, едет с вами в одном поезде, – примолвил Федор Федорович уже таинственно, кивнув на ряд вагонов второго класса, мимо которого проходили они.

Она не ответила – она и не слышала.

Ламартан заговорил еще тише:

– Он здесь, как вам известно, проживал без отпуска из университета, единственно из удовольствия, которое доставляло ему ваше общество…

– Что? – рассеянно спросила она, пробуждаясь из раздумья, в которое погружена была вся.

Он вдруг обробел опять и, не повторяя сказанного, торопливо залепетал:

– Я хотел вас просить, княжна… Я все-таки отец и… и должен предвидеть… Если бы, чего Боже сохрани, над Ирой стряслась, говоря по-народному, какая-нибудь беда, не откажите быть его, так сказать, предстательницею в высших сферах…

Она поглядела на него:

– Я сама ничего не знаю… Как же вы хотите, чтоб я… – не дотянула она до конца и замолкла.

Федор Федорович замолк тоже.

«Вот она, птица-то породистая, крылья как отросли, она и… А мой *плебей* воображал, что она его»… – проносилось у него обрывками в голове. И весьма затруднительно было бы сказать, к этой ли «*породистой* птице» или к тому, ему близкому существу, которого он, с его же слов, называл «плебеем», более влеклись при этом тайные сочувствия старого либерала.

Вслед за *господами, с* кожаным мешком в одной руке, с пледом «своей барышни» на другой, шла Анфиса… Не без тоскливой внутренней смуты решилась она принять неожиданное предложение, сделанное ей княжной, по совету Александры Павловны (бывшая экономка все это последнее время жила у Лукояновых, работая над бельем невесты, и с каждым днем возбуждала к себе со стороны той все более расположения и доверия), ехать с ней в чужой, пугавший ее воображение город. Уговорила ее Лизавета Ивановна, случайно зашедшая к Лукояновым после двух недель, проведенных ею у какого-то больного, и к которой Анфиса тотчас же и обратилась за советом. Маленькая особа, горячо привязавшаяся к бывшей «экономке» за набожность ее и «тихость», доказывала ей, что ей «*Бога для* беспременно ехать надо».

– Испробовать себя надо, милая, – говорила она, – приневолить; вот как апостол сказал: *аще можеши свободным быть, тем паче поработи себя!*

– Барышня-то, говорят, нравная очень! – возражала шепотом Анфиса.

– *Обуянная* она, милая, вот что! – подтвердила тем же голосом Лизавета Ивановна. – Так из-за этого из-за самого и ехать надо с нею. Кротостью учить ее надо, примером да молитвой, чтобы сердце у нее умягчилось, на ваше смирение глядя… Может, подвиг большой возлагает на вас Царица Небесная, перейти же его грех, ангел мой!.. Намеднись вот невеста моя золотая, Александра Павловна, сказывает мне: «Ах, как хорошо бы, мол, если бы сестрица княжна Анфису с собой взяли, потому ее Агафья неряшлива и ленива». Очень вы полюбились Александре-то Павловне, милая; сама б она вас к себе взяла, да по доброте своей бесконечной прежде всего не о себе, а о сестре-сироте подумала, чтоб ей вас предоставить…

– К ней бы я с радостью.

Слезы выступили на глазах Анфисы.

– Что же, Лизавета Ивановна, видно надоть… Как Богу угодно, пойду, скажу, что согласна…

Маленькая ооoба кинулась обнимать ее.

Она, боязливо озираясь кругом, словно чтоб ее не раздавили, шла теперь рядом со своею приятельницей и шепталась с нею, уговариваясь о том, как им писать друг другу.

Ашанин, имевший повсюду услужливых приятелей, устроил для княжны на поезде особое просторное отделение, куда она и вошла в сопровождении родных.

Но вот раздался звонок.

У нее вдруг сжалось сердце. Она уезжала *одна,* на неведомую жизнь… Что ждет ее? «А если *там* еще тяжелее?» – пробежало на миг у нее в мысли. Глаза ее заморгали, – она протянула вдруг обе руки Марье Яковлевне:

– Простите, тетушка, – голос ее слегка дрогнул, – если я не всегда была такая к вам, как мне следовало… Поверьте, я не забуду…

Пылкая, но незлопамятливая «тетушка» всхлипнула и не дала ей продолжать:

– Ну что там, свои люди, сочтемся! – заговорила она, охватывая ее за шею своими массивными руками и прижимая к своей нескончаемой кирасе. – Не забывай, пиши… да смотри, на свадьбу Саши непременно приезжай; причина законная, кажется, так и скажи своей княгине: сестра, мол, двоюродная, одна и есть у меня близкая.

– Кира, милая, – кинулась к ней, в свою очередь, вся в слезах Сашенька, – будь счастлива!.. Я за тебя каждый день молиться буду, чтобы ты нашла себе такое же счастие, как я, – прошептала она ей на ухо.

– Второй звонок, пожалуйте из вагона! – возгласил у дверцы кондуктор, между тем как Анфиса, расцеловавшись с Лизаветой Ивановной, проворно вскакивала с платформы.

– Ах ты, Господи, еще увезут!..

И Марья Яковлевна испуганно поспешила вон.

Сашенька последовала за нею.

Троекуров на мгновение остался вдвоем с княжной.

– Прощайте, Борис Васильевич, – промолвила она, протягивая ему руку.

Он сжал ее, склонив голову…

– Все то же, по-вашему: «золотая клетка», и ничего больше? – прошептала Кира, слабо усмехаясь.

– Если я ошибаюсь – тем лучше! – мог только сказать он.

Странные глаза ее загадочно остановились на нем…

– Пожалуйте, ваше высокоблагородие, пожалуйте! – торопил его с платформы кондуктор.

Он пожал еще раз ее оставшиеся в руке его пальцы и молча вышел из вагона.

Поезд двинулся. Провожавшие замахали руками. Дамы судорожно закивали, посылая ручками несметное количество поцелуев по адресу отъезжавшей… Кира стояла бледная за окном, медленно и без улыбки поводя головой на эти знаки прощания. За нею Анфиса истово крестилась на горевшие в свете весеннего дня кресты московских церквей. «Прости, матушка Белокаменная, – шептали неслышно уста ее, – на чужой на сторонушке позабыть ли, что было мне тут радости на краткий час, что кручины злой на долгие дни»!..

XXV

O, Erd’! o, Wonne!
O, Sonne! o, Lust.

Göthe.

То было в утро наших лет,
О, счастие! О, слезы!
О, лес! О, жизнь! О, солнца свет!
О, свежий дух березы!

Гр. А. Толстой.

Прошли еще три недели.

Все уже цвело, все зеленело, все пело кругом, когда только что обвенчанные Борис Васильевич и Александра Павловна Троекуровы выехали из Москвы в щегольском с иголочки английском дормезе шестериком по пути к своему Всесвятскому… Венчали их, как положено было, на *Красную Горку,* в Фомино воскресенье, у Бориса и Глеба[24], тотчас же после обедни, и по настоятельному требованию Троекурова, в присутствии самого ограниченного кружка ближайших родных. Сашенку благословляла мать с Федором Федоровичем Овцыным, который, несмотря на свое *западничество,* весьма обрядливо, хотя и несколько театрально, отбыл свою должность посаженого отца (он был ею весьма польщен, сказать кстати). Княгиня Додо, никуда еще не выезжавшая, благословила жениха у себя на дому со стариком *графом,* который, в свою очередь, с большим удовольствием принял на себя «быть за отца» у сына бывшего товарища своего «по службе при государе Александре Павловиче». Шаферами были: у Троекурова Веретеньев и Ашанин, а у невесты – брат ее, кавалергард, приехавший к этому дню из Петербурга. (Вторым шафером напросился было сам к ней отвергнутый обожатель ее Мохов, но отказался от этого под предлогом болезни за сутки до венчания и провел весь тот день у себя, рыдая в подушки и затыкая себе уши, чтобы не слышать праздничного звона колоколов,

представлявшегося ему какою-то беспощадною насмешкой над его «растерзанным сердцем»…) Кира Кубенская не приехала на свадьбу, поручив двоюродному брату сказать матери и сестре, что в этот самый день венчают в ее дворце предместницу ее, баронессу Гагерн, с секретарем нашего посольства в Вене графом Наташанцевым, и что она, Кира, обязана по должности быть в этом торжестве при своей княгине. Марья Яковлевна вскипяталась было за первыми словами сына и назвала племянницу «возмечтавшею о себе *фрелкой»,* но Сережа очень спокойно и обстоятельно объяснил ей, что «фрелка» иначе поступить не могла, особенно на первых порах своей службы при дворе, и заслуживает поэтому гораздо скорее поощрения, чем порицания. На последовавший же затем, уже более насмешливый, чем гневный вопрос матери: «Ну, как же ей там живется, нашей недотроге-царевне, в Петербурге-то?» – молодой кавалергард, со свойстенными ему осторожностью и сдержанностью тона, сказал, что к Кире, как кажется, весьма благоволит высокая особа, при которой состоит она, «mais que dans le monde on la trouve quelque peu étrange»…

Из церкви поехали все в дом к Марье Яковлевне, где, после тотчас же поданного и недолго длившегося déjeuner dinatoire (до Всесвятского было 120 верст, из которых последние двадцать по проселочной, не совсем надежной дороге, и Троекуров рассчитывал проехать их еще засветло), *молодая* поспешила переодеться в дорожное платье и, расцеловавшись со всеми, приняв напутственное благословение разрыдавшейся при этом матери, вся в слезах спускалась об руку с мужем с лестницы, сопровождаемая всеми приглашенными, родными и друзьями, домочадцами и слугами, кидавшимися ей на пути «к ручке» на прощанье, – и села с ним в поданный к крыльцу весело сверкавший под солнцем свежим своим лаком и шелковою, темно-малиновою обойкой дормез…

Шестерик тронул… На крыльце замахали платками, заголосили пожелания доброго пути и всякого благополучия, Марья Яковлевна, высоко подняв руку, осенила в последний раз отъезжающих широким крестным знамением. Слезы закапали вновь из глаз Александры Павловны.

Но не надолго. Не успели они доехать до Никитских ворот, как она, сунув в карман отиравший слезы эти платок, обернулась лицом к безмолвно сидевшему подле нее мужу и глянула на него с улыбкой бесконечного счастья.

Он улыбнулся тоже, взял ее руку и страстным поцелуем приник к ней, словно с тем, чтобы никогда от нее не отрываться.

Мчали их, как говорится, *по-царски*. Впереди скакал почтальон, предоставленный к услугам Троекурова обязательным московским почт-директором. Заранее готовые лошади ждали их в хомутах у каждой станции и впрягались мигом в их экипаж совокупностью всех состоявших там налицо ямщиков, которым Троекуров выкидывал по двадцати пяти рублей каждый раз, как новый шестерик снова пускался с места вскачь по влажной еще от весенних дождей поверхности шоссе. К одиннадцати часам вечера, благополучно миновав всякия ухабистыя гати и дребезжащие мосты, они въезжали в свое Всесвятское.

Сашенька, убаюканная мягкою качкой рессор, заснула к концу дороги на плече мужа… Она проснулась в его объятиях, – он выносил ее из экипажа, – и широко открыла глаза.

Они стояли на ступенях уставленного высокими растениями балкона-крыльца, спускавшегося во двор, усаженный старыми тенистыми кленами. Из раскрытых настежь дверей, из длинного ряда окон дома лился свет ярко освещенных внутри покоев. Кучка слуг, прибывшая на место еще за несколько дней назад, суетилась кругом господ, высаживала горничную Александры Павловны из-под ее будки над задним сиденьем дормеза.

– А, Скоробогатов, – говорил Борис Васильевич радостным голосом невысокому и коренастому усачу в солдатской шинели, стоявшему, вытянувшись в струну и с фуражкой в руке, у самых перил балкона, – давно ли здесь? Я тебя не ждал так скоро!

– Как получил письмо от вашего вскоблагородия, так и заспешил тотчас; вчерась прибыл, – рапортовал тот, весело глядя на него маленькими и живыми глазками.

– Ну, вот и жена моя, – поцелуй ей ручку, она про тебя знает.

– Ах да, знаю! – с горячим порывом вскликнула Александра Павловна, прикасаясь губами к загорелому лбу служивого, кинувшегося целовать ее руку. – И как благодарить уж не знаю…

– Ну, пойдем, друг мой, ты устала! – сказал ей Троекуров.

Он повел ее в комнаты. Все говорило в них об изяществе вкуса и нежной заботливости влюбленного мужа, уготовившего ей это «голубиное гнездышко»… Но она не хотела останавливаться в них: у ней в голове неотступно стояло то, как она в девических мечтах своих представляла себе их первое прибытие во Всесвятское.

– В сад пойдем, Борис, – говорила она ему, – мне так хочется скорее увидеть его!..

Она прошла с ним на террасу.

Да, все это было так, как она чаяла, – это был сон ее наяву.

В прозрачной полутме апрельской ночи стояли пред нею великаны-дубы, вековые липы, и золотые рожки молодого месяца, выплывая из-за дымчатых тучек, сверкали перебегавшими искрами в недвижной глади затоплявшей низы сада реки… Проницающий и тонкий струился в воздухе нежный запах фиалок…

– Шш… Слышишь? – тихо промолвил Троекуров, обнимая стан ее рукою и прижимая к себе.

Робко сначала, как бы пробуя, *заурчал* незримый певец… Сашенька вся замерла. Какая-то нежная, трогательная мольба послышалась ей в этих звуках… Но вот он ударил, *запленкал*, задробил – и задорный рокот его понесся звенящим вызовом в необъятную даль…

– Борис, – прошептала молодая жена, – это то, что я… Нет, все это лучше того, что я воображала, – это рай на земле!..

Часть вторая

I

Du musst nur Alles nicht verlangen gleich von Allen
So wird in seiner Art dir Alles wohlgefallen.

Rückert. Die Weisheit des Bramahnen.

Она и внемлет, и не внемлет
И каватине, и мольбам…

Пушкин.

Une femme d’esprit est un diable en intrigue.

Molière. Lécole des femmes.

Мы опять в Петербурге, опять в знакомом читателю салоне Ольги Елпидифоровны Ранцовой… Истек почти год с тех пор, как мы расстались с нею. Вернувшись из Москвы после смерти отца, она недолго оставалась на берегах Невы, находя себя после этого обстоятельства в несколько затруднительном положении. Ей казалось неприличным – да и внутренно «совестно было» – не надеть траура по человеке, горячо любившем ее всегда, и о потере которого сама она скорбела, насколько было это лишь дано ее подвижной натуре, но, с другой стороны, ее коробило от одной мысли, что траур должен будет естественным образом вызвать разговор об этом отце ее, имени которого никогда не произносила она до сих пор пред своими петербургскими знакомыми. «Раскапывать опять старую генеалогию начнут, – рассуждала она, – что позабыто всеми, снова наверх выплывет, и *частный пристав,* и прочее». На основании такого соображения она по возвращении из Москвы объявила себя больною, не велела принимать никого, кроме двух-трех из интимнейших ее «паричков», вытребовала письмом от мужа (он действительно и тяжело больной лежал одиноко в своем Рай-Никольском) свидетельство на свободное получение заграничного паспорта, получила таковое чрез неделю и в конце марта уехала по варшавской дороге, ни с кем не простившись и никого не уведомив о дне своего отъезда… Нежданное исчезновение это произвело в первую минуту настоящий переполох среди «элегантного» мужского роя, привыкшего жужжать от 2-х до 5-ти пополудни в ее гостиной, на Почтамтской. «Что такое, куда, зачем?» Объяснения, само собой, искали и отыскивали менее всего подходящие к простой истине: намекали на dépit amoureux вследствие-де женитьбы Троекурова, о которой, вместе с вестью о его колоссальном наследстве, много было тогда речей в свете. Пронесся слух, Бог весть кем пущенный, о том, что из-за этого самого Троекурова произошел-де у прелестной женщины разрыв с ее «sapajou de mari», вздумавшим будто бы приревновать ее к кавказцу в ту минуту, когда всего менее было это кстати; говорили, наконец, что она просто уехала от долгов, в уплате которых этот ужасный муж отказал-де ей наотрез. Но все это весьма скоро смолкло после того, как граф Наташанцев, весьма высокопоставленный и всеми уважаемый человек, со свойственным ему grand air заявил торжественно и со вздохом печали за обедом в Яхт-Клубе, что «cette charmante jeune femme a pris une fluxion de poitrine dans ce chien de Moscou», что он «имел честь быть допущенным к ней пред отъездом» и застал у нее доктора Здекауера «qui a cru nécessaire de l’expédier dare-dare avant la débâcle, de crainte de quelque complication sérieuse». Относительно слуха о размолвке с ее «sapajou de mari», о чем тут же было упомянуто кем-то, граф, ни подтверждая, ни отрицая этого, пожал только плечами и медленно уронил с губ: «Un triste sire en tout cas!..» – «Позвольте узнать, ваше сиятельство, – спросил обедавший за тем же столом пупырь Шастунов, обращаясь к нему с почтительною улыбкой, – куда же она направилась и где может находиться теперь?» – «Je l’ignore absolument, mon prince», – сухо и слегка нахмурившись ответил ему тот и отвернулся от него… Пылкий Basile счел нужным с отчаяния опрокинуть в себя вслед за этим бутылки две шампанского и, уезжая из клуба в карете с товарищем, которому во все время пути валился безнадежно на плечи, упорно повторял со стоном и икотой: «*Moi je* la trouverai… *moi je* partirai la chercher… и если генерал не даст мне отпуска, *moi je* prendrai mon congé»… – «Не дадут пред лагерем, нечего и думать», – доказывал ему его спутник. – «Дадут, – кричал Шастунов, – parceque *moi* je puis dépenser cent mille par an (он говорил по-французски совершенно, как маменька), et c’est toujours flatteur pour un régiment»… Но отпуска все-таки ему не дали, а товарищи посоветовали ему под рукой выражаться осторожнее о своих доходах, так как его хвастовство ими не только не лестно для его полка но, может, весьма не лестно для него самого, окончиться тем, что его попросят избавить этот полк от своего присутствия. Basile тотчас же поджал хвост как ошпаренный пудель и, убедившись в невозможности скакать за границу отыскивать Ольгу

Елпидифоровну Ранцову, обратился за утешениями на время ее отсутствия к m-lle Irma Thénard, заменившей известную нам Lucie Ladrague в ролях ingénues Михайловского театра.

Ольга Елпидифоровна вернулась в Петербург лишь в первых числах декабря, после осьмимесячного отсутствия. Весну она провела в Париже, летом побывала в Эмсе, Гамбурге и Бадене, где много играла и, как говорили, даже порядочно проигралась; прожила три недели в Карлсбаде, не с целью лечения, но «из дружбы», так как граф Наташанцев пил там свой обычный курс Шлосбруна, а осенью свиделась с ним опять на берегах Сены, где были у него давнишние и близкие отношения в faubourg St.-Germain, куда он и успел ввести madame de Rantzof. Княгиня Краснорецкая, находившаяся одновременно с нею в Париже и уехавшая оттуда ранее ее, рассказывала по приезде в Петербург со злобным удивлением, что она встречала ее «chez la duchesse de la Trémouille et chez madame de Gabriac» и что «cette péronelle s'y tient avec un toupet incroyable». К довершению торжества *весь Петербург* прочел однажды в фельетоне *Indépendance Belge,* что «madame de Rantzof, cette grande dame russe d'une beauté si éminemment slave et d'un brio d'esprit si parisien» состояла в числе приглашенных «aux dernières chasses de Compiègne»[25].

Когда после таких звонких реклам Ольга Елпидифоровна появилась в первый раз в Большом театре в платье новомодного тогда цвета Solferino, – неподражаемый cachet которого тотчас же сказал всему тут бывшему женскому бомонду, что оно выходило прямо из ateliers великого Ворта[26], – изо всех углов театра устремились на нее бинокли, а ложу ее (ложа эта была теперь первая внизу, подле царской) в первый же антракт буквально осадил весь знакомый ей сановный и военный персонал понедельничных абонентов итальянской оперы. Возгласам, радостным приветствиям, ухищренно льстивым шуткам не было конца. Успех был несомненный, *публичный,* заставлявший покусывать губы не одну из чистокровных mondaines, надменно взиравших на него с высоты противоположного бельэтажа. Досада этих дам увеличивалась еще более тем, что tenue и *обстановка* особы, к которой относился этот успех, были совершенно безукоризненны. Во-первых, рядом с нею сидела не как прежде какая-то никому неведомая компаньонка, а всем известная, принадлежащая к хорошему обществу, уже не молодая и почтенная вдова, занимавшаяся специально благотворением ближних, Варвара Петровна Мосягина, рожденная графиня Салгутова, с которой Ольгу Елпидифоровну познакомил в Карлсбаде граф Наташанцев, сказав ей предварительно, что «cette ravissante jeune femme n'est pas heureuse en ménage», вследствие чего та воспылала с первой минуты к этой бедной «ravissante jeune femme» самою горячею и преданнною дружбой, что и доказывала она ей теперь пред лицом всего светского Израиля присутствием своим в ее ложе. Во-вторых, сама г-жа Ранцова держала себя неузнаваемо даже для ближайших своих поклонников, сравнительно с тем, какою привыкли они знать ее в продолжение многих прежних лет. Она была для них, само собою, все так же «прелестна», как всегда, но эта прелесть, чувствовалось, приняла теперь какой-то сдержанный, сосредоточенный характер, как бы запрещавший слишком восторженное и откровенное отношение к ней. Голос ее словно потерял наполовину свою прежнюю звучность; внезапный, широкий смех, которым она, бывало, не стесняясь, в том же театре, отвечала на несколько *рискованную* иногда галантерейность антрактовых своих посетителей, заменила снисходительная, чуть-чуть даже недовольная улыбка. Подвижность выражения, игра глаз, веселое то и дело сверкание белых зубов из-под пышных алых губ, чем недавно еще так восхищались *все они,* – тщетно отыскивали они это теперь на ее лице, спокойном, самообладающем, чуть не безжизненном. Все это исчезло вместе с русскою речью, московский пошиб которой и бойкие обороты были всегда так милы в ее устах для большинства ее обожателей. Г-жа Ранцова говорила теперь уже неизменно по-французски, примешивая странным сочетанием самомоднейшие в ту пору словца парижского светского argot Второй империи к изысканно рутинным фразам петербургско-французского придворного и дипломатического языка.

Все это тотчас же было замечено и со свойственною светским людям проницательностью соображено, разобрано и истолковано надлежащими побуждениями. «ЕПе pose pour la femme sérieuse», решено было прежде веего… «Elle quitte son mari et veut se faire épouser par Наташанцев», – разнеслось вскоре за тем негодующим криком по всем будуарам петербургского большого света.

В какой мере было основательно это последнее предположение, терпеливый читатель узнает из последующих страниц настоящего рассказа. Но мы считаем нужным сообщить ему не откладывая, что Ольга Елпидифоровна вернулась действительно из-за границы более чем когда-либо femme politique… Вопрос первостепенного государственного значения решался в ту пору на берегах Невы. С ним, весьма хитро сплетенною комбинацией ее пылкого воображения, соединялась для нее лично целая программа и целая перспектива будущего…

В ту минуту, когда мы застаем ее опять у себя в Почтамтской, – это было в начале февраля 1860 года – она, сидя на диване, с блестящими от какого-то волнения глазами, быстро перекидывалась словами со стоявшим пред ней в вицмундире и звездах и со шляпой в руке чиновным господином, известным в то время всему Петербургу под кличкой *«статский генерал* Прытков». Он уже минут с двадцать сидел у нее и спешил теперь куда-то… Она его удерживала:

– Погодите, Петр Владимирович, еще рано, всего три часа, вы мне ничего толком не успели рассказать. (Беседа велась на этот раз сплошь по-русски, так как «статский генерал» не разумел никакого иностранного наречия…)

Он страдал каким-то тиком горловых нервов, заставляющих его то и дело дергать судорожно головой вбок, точно от слишком туго повязанного галстука. Он дернул ее, откинул назад, подавшись при этом всею грудью вперед, и захохотал беспричинно, оглушительно грубым смехом, бывшим у него почему-то в обычае…

– Все еще вам мало! Ненасытная!.. Скажите, прелестная женщина, – добавил он с весьма пошловатым по своему намерению подмигиванием глаза, – вы и в любви не знаете пределов… своему любопытству?..

Она брезгливо поморщилась:

– Пожалуйста, не говорите мне ваших гадостей! Я терпеть не могу этого жанра… Доскажите лучше, что умирающий… Когда же, вы говорите, Государь был у умирающего?

– В четвертом часу утра сегодня.

– Какой ангел Государь! Стоил ли такой милости этот monstre, который со своими Линютиными, Бековичами и Гундуровыми хотел всех нас, дворян, по миру пустить!.. Скажите, и Государь оставался там до последней его минуты?

– Да, он уехал в половине седьмого, когда все уже было кончено.

– И до этой минуты никакого разговора у них не было, не знаете?

– Нет; когда Государь приехал, агония уже началась…

– Господин Хазаров! – доложил в дверях слуга.

Прытков протянул ей руку.

– Ну, прощайте, прелестная женщина!

Она слегка ударила по ней пальцами.

– Погодите, вам говорят!.. Скажи, что одеваюсь, принять не могу, – отпустила она докладывавшего. – И кто же на его место, – обратилась она снова к своему собееднику, – известно?

– *Неизвестно,* – подчеркнул он.

– Вы, вы! – всплеснула она вдруг рукамии. – Признайтесь, что вы, милый Петр Владимирович!.. Мне говорили, что вы этого очень желаете сами…

– Кто вам говорил? – быстро и тревожно замотал он головой, спрашивая.

– Конечно, не скажу! Вы знаете, что я никогда никого не выдаю. Вы можете поэтому совершенно откровенно говорить со мной… Тем более вы знаете, что в этом случае исполнение вашего желания обрадовало бы всех нас ужасно…

Прытков осторожно оглянулся.

– Я знаю, что вы такая же умная, как и очаровательная женщина, и что с вами действительно можно говорить серьезно и не опасаясь… Я действительно не прочь был бы взять это дело в руки и, полагаю, не без пользы… *для спокойствия России,* – значительно примолвил он, – но тут повыше меня люди на примете…

– Кто такой?

– Во-первых, сам покойный указывал, слышно, как на лучшего себе преемника, на графа Кисловского… Он к тому же Линютину дядя родной и в Михайловском дворце большой друг, – не без ядовитости примолвил Прытков.

– На графа Павла Дмитриевича! – воскликнула Ольга Елпидифоровна. – Я у него обедала две недели тому назад в Париже. Ему слишком хорошо там, он не променяет своего посольства на незавидное наследство господина Ростовцова, он никуда оттуда не уедет, он мне это en toutes lettres сказал… Ну, кого же еще думают?..

– Князь Шастунов, лейб-гусар! – доложил еще раз слуга в дверях.

Она досадливо замахала руками:

– Ах, Боже мой, скажи, что занята, что не принимаю…

Слуга удалился.

Прытков торопливо подсунул большую, круглую, в золотой оправе, одноглазку под правую бровь и направил ее на красивую барыню, стараясь придать всему чиновничьему облику своему выражение самого тонкого светского лукавства:

– Граф Леонид Александрович запретил? – пропустил он шепотом и хихикая. – Скажу непременно Ирме: она этого богача-князька ужасно к вам ревнует. Успокою ее, бедную, донесу, что вы его к себе не пускаете.

– Вы опять со своим вздором! – строго возразила она, пожимая плечами. – И когда это вы

успеваете среди таких серьезных занятий, удивляюсь, ко всяким Ирмам ездить?..

– Не могу жить без этих погибших, но милых созданий! – возгласил, закатывая глаза, Прытков, тщательно и всячески старавшийся поддерживать свою ложную репутацию неистоваго женолюбца. – Ну, однако, прощайте, прощайте, очаровательница, – заторопился он, взглянув на часы, – я обещал князю Алексею Федоровичу[27] заехать к нему сейчас после панихиды и вот с вами заболтался…

Он схватил ее руку, высоко приподнял ее, чмокнул жирными губами, причем небольшие глазки его приняли прескверное выражение напускной страстности и, проговорив скороговоркой: «Ручка одна – целый мир блаженства!», быстро повернул налево кругом и направился к двери, закидывая на ходу правою ногой вперед с каким-то специальным, далеко не изящным ухарством.

– Когда же мы увидимся? – крикнула ему вслед хозяйка. – Мне так много еще сказать вам…

Но из другой комнаты несся уже его оглушительпый хохот и возгласы какой-то словно неслыханной радости.

– Граф Леонид Александрович! – тянул он на сей раз визгливым дискантом, как бы от преизбытка счастия. – Легки на помине, – мы вот только что с красавицей о вас говорили… Здравствуйте, здравствуйте!..

Ольга Елпидифоровна вскочила с места и побежала навстречу новому гостю.

Он стоял посреди комнаты, чуть-чуть улыбаясь на неестественные изъявления чувств чиновного проходимца, каким был для него в душе Прытков, и глядя, как тот мял и прижимал руку его ко груди своей, с учтивым спокойствием прирожденного барина, проведшего всю жизнь свою в изысканном обществе и при дворе.

– Cher comte! Bonjour! – молвила, быстро подходя к нему, Ранцова. – Вы уже все знаете, разумеется.

– Да, – сказал он, почтительно и нежно поднося ее руку к губам и удерживая ее затем на миг в своей.

– Знаете ли вы, – обратился он к Прыткову негромким голосом, – что Государю доставлена час тому назад племянником Якова Ивановича предсмертная его записка?

– Он оставил предсмертную записку? – воскликнул тот, задергав в объявшей его вдруг тревоге головой уже так, как будто хотел отвинтить ее и скинуть с плеч.

– И Государь, принимая ее, изволил сказать: «Яков Иванович оставил нам этою запиской завещание, которое мы должны свято исполнить». Его Величество сказал это очень взволнованным голосом, со слезами на глазах, – благоговейно примолвил Наташанцев.

– Значит, все у них там, в комиссии, останется теперь по-прежнему, le même, esprit révolutionnaire! – вскрикнула Ольга Елпидифоровна.

Он наклонил только голову и слегка развел руками.

– Останется, может быть… и даже вероятно, – подтвердил Прытков, подымая вдруг глаза и с совершенно изменившеюся, уже бодрою интонацией в голосе, – но последнее слово все-таки не

этим господам принадлежит. Положения, которые выработаются редакционными комиссиями, поступят в Главный комитет, а потом и в Государственный совет, – а там мы еще увидим, как все это пройдет!..

Граф молча поглядел на него и как бы недоверчиво и невесело повел губами.

Прытков мгновенно вскинулся и стал прощаться.

– Да, – словно припомнил Наташанцев, – то, что я сообщил вам сейчас, Петр Владимирович, не секрет, сколько я понимаю, и в настоящую минуту, вероятно, известно всем, кого это интересует, но я был бы обязан вам, если бы вы не говорили, что слышали это именно от меня…

Тот схватил его руку обеими своими и опять притиснул к лацкану своего вицмундира.

– И самому князю Алексею Федоровичу не скажу, от кого узнал, и ему не скажу, будьте покойны! – загоготал он, надрываясь своим неизбежным смехом. – Прощайте, ваше сиятельство, прощайте, очаровательница!..

– Погодите, – возгласила она, – я вас не пущу прежде, чем вы мне не дадите слова известить меня двумя словами, как только узнаете, кто будет назначен на место Ростовцова. Вы знаете, что граф Леонид Александров и я – могила!..

– Вам очень хочется знать первой?

– Да, очень.

– Ну хорошо, извещу!

– Слово?

– Слово.

Он исчез.

– Quel monsieur impossible! – тут же свысока проговорила по его адресу Ольга Елпидифоровна и, обращаясь к своему поклоннику. – Et vous, cher, как вы милы, что приехали сегодня раньше обыкновенного! – проговорила она, озирая его из-под полуопущенных ресниц долгим, проницающим взглядом.

Он в свою очередь засиял счастием, осторожно продел под локоть ее руку и, приникнув к ней губами, с наклоненною головой, медленно повел «очаровательницу» в гостиную.

II

En vérité les gens d’un mérite sublime
Entraînent d «chacun et l’amour et l’estime;
Et le vôtre, sans doute, a des charmes secrets
Qui font entrer mon cœur dans tous vos intérêts.

Molière. Le Misanthrope.

Menschen sind schwimmende Töpfe, die sich an einander stossen.

Göthe.

Графу Леониду Александровичу Наташанцеву было далеко за пятьдесят, но он казался, да и сам чувствовал себя гораздо моложе своих лет и мог не в шутку еще нравиться иным умным и слегка экзальтированным женщинам… Его *точеные* черты, белые как лунь волосы, при живых черных и, как говорится, «в душу просящихся» глазах, давали всему характеру его, наружности подобие тех изящных пастелевых портретов, которые аристократический XVIII век завещал, словно в насмешку, грубому равенству наших поколений… Сам он по воспитанию, по вкусам, по приемам как бы еще принадлежал к тому веку. В нем сохранялся последний запах того старинного тонкого *грансениорства с* его неуловимым, но неотразимым обаянием, самое понятие о котором отойдет в область мифов для наших внуков… Ум его был не глубок, сила характера не велика, но он был одарен редким тактом, необычайною чуткостью и почти женскою вечатлительностью сердца, которую сознавал в себе, от которой в течение всей своей жизни старался остеречься и которая всегда брала в нем верх над всеми доводами его разума. Отношения его к женщинам отличались совершенно рыцарским, чтобы не сказать сантиментальным оттенком, источник которого следовало искать в героях романов госпож Cottin, de Duras и de Souza, во впечатлениях, навеянных ему литературой и духом эпохи его первой молодости. Вертер и *Le dernier des Abencegages* Шатобриана – две книги, скажем мимоходом, с которыми никогда не расставался Наташанщев и которые он перечитывал *каждую весну,* – пробуждали в нем и теперь то же мечтательное и сладкое волнение, каким наполняли они его в те минувшие годы «грез первоначальных»…

С Ольгой Елпидифоровной он был знаком уже несколько лет, но долго держался настороже, ограничиваясь тем поверхностным, ни к чему не обязывающим ухаживанием, без которого как бы никому не было места в ее салоне. Она ему сильно нравилась, но он долго не доверял ни ей, ни себе, – не допускал, «чтоб она могла *понять его и избрать»,* боялся и собственного *«неразумного* увлечения *такою особой».* Затем он незаметно стал относительно ее в положение друга, *оберегателя,* тонко и осторожно стараясь отстранить *«опаснейших»* из ее обожателей… Но он был уже так отуманен кипевшим в нем чувством, что проглядел… или, может быть, – и на это, увы, бывает иногда способен влюбленный, человек! – не хотел видеть связь ее с Троекуровым… Когда после его телеграммы к ней в Москву она вернулась в Петербург и передала ему о своем разрыве с мужем, вследствие-де его «грубого нрава и невоспитанности, которые она, *никому до сих пор пе говоря о своих тайных слезах,* имела, мол, терпение переносить девять лет сряду», вследствие его «сумасшедшей, *ничем серьезным неоправдываемой* ревности», – Наташанцев ей слепо поверил и положил тут же в душе своей «заменить, насколько будет в его силах, все, чем судьба обездоливала до сих пор это прелесное создание, – cet être adorable, si merveîleusement doué ef si digne d'un meilleur sort!..»

Ольга Елпидифоровна поняла это с самых первых слов, произнесенных им в ее утешение, – поняла, что «этот человек *весь ее* с этой минуты»… Смутное чаяние, возникшее в ее голове при получении его депеши, и на котором она со свойственною ей смелостью *порешилась с* мужем, становилось для нее теперь несомненною действительностью. Она кинулась всем существом в эту нежданно открывавшуюся пред нею дверь лучезарного будущего…

Они почти не расставались за границей… Граф был вдов, занимал очень важную по иерархии, но не обременительную придворную должность, был поэтому полный хозяин своего времени. Он вернулся в Россию только за две недели до нее, и то «для избежания разговоров». Волна любви – той «последней любви», о которой сказано поэтом[28]: «ты и блаженство, и безнадежность», – уносила его все далее и далее от надежных берегов старческого благоразумия…

В первый раз еще в жизни испытывала в свою очередь Ольга Елпидифоровна то чувство,

которое наполняло ее в настоящую пору. Страсть такого человека, как Наташанцев, и льстила ей, и подымала ее в собственных глазах, и налагала на нее цепи, которых никогда не знала она до сих пор и которые несла теперь с невыразимою радостью. Она понимала, она должна была *заслужить* то, что обещала ей эта страсть, эта безграничная привязанность; ей надобно было поставить себя на ту ногу, завоевать себе ту степень *респектабельности*, при которых честолюбивые цели ее могли бы быть достигнуты, не возбуждая слишком отчаянной оппозиции, не вызывая слишком бешеных криков. Природный инстинкт подсказывал ей то, до чего додумалась великая мысль Гёте: «Wer will grosses leisten, der muss sich beschränken wissen». Ольга Елпидифоровна *ограничивала, собирала* себя, сосредоточиваясь в ожидании той минуты, когда новым, невидимым еще светом должна была уже во все стороны заблестеть ее счастливая звезда… Она перевоспитывала себя в постоянном обществе Наташанцева, прилежно изучала его приемы, его изящно небрежную речь, пошиб и склад его суждений. «Mésalliance, конечно, – признавалась она себе, – но чтобы ни в каком уже случае не mésalliance d'éducation. А там все забудут!»… Пылкость, самолюбие и льстивый туман надежд застилали пред ней беепощадную и вековечную истину: люди никогда не забывают того, что они не хотят позабыть…

По возвращении ее в Петербург замеченная в ней наружная перемена возбудила, как мы уже знаем, удивление и толки во всем обширном круге ее знакомых. Перемена отозвалась и на самых отношениях ее к этому кругу. Ольга Елпидифоровна сочла необходимым «épurer son salon», очистить его от непригодных плевел и окончательно изгнать из него тот тон веселого балагурства и легкой скабрезности, который до этого времени примешивался здесь ко всякому разговору, хотя бы даже самого серьезного свойства. Юное офицерство, толпившееся некогда у нее, и те, подобные ей самой, дамы так называемого «второго общества», к которым из «большого» ездят, когда они хорошенькие, все мужчины и ни одна почти женщина, блистали теперь здесь, как говорится, своим отсутствием. «Невозможные» господа вроде Прыткова допускались еще сюда лишь в силу своего служебного положения и пользы, ожидаемой от них тою «партией», которой Ольга Елпидифоровна, принимая в серьез шуточные слова, сказанные про нее в Михайловском дворце, почитала себя теперь более, чем когда-нибудь «madame Roland».

Она принимала горячо к сердцу интересы этой своей «партии», ужасно волновалась кипевшими кругом ее мрачными слухами о том, что «все эти Линютины, Бековичи и К° veulent amener un quatre vingt-treize en Russie», и весьма красноречиво доказывала, повторяя слова ходившей тогда по рукам весьма рьяной записки одного камергера (отставленного за составление ее от службы и недавно сосланного в дальнюю губернию), что «толпе обещают отдать на добычу чужую собственность» и что русское дворянство этого никак допустить не должно… О такой ее пламенной преданности «à la bonne cause» заговорили серьезно в светском Петербурге. В противоположном лагере посыпался по ее адресу град раздраженных насмешек (лагерь этот в свою очередь не щадил своих противников). Ольгу Елпидифоровну позвали зато на бал в два-три «maisons huppées», двери которых закрыты были для нее до сих пор… Граф Наташанцев (предстательству которого, в сущности, одолжена она была этими приглашениями) радовался ее успеху на этих балах, любовался горячностью ее «консервативных» речей, но как бы вскользь напоминал ей по этому поводу, что «prudence est mère de sûreté!..»

Сам он не волновался, он скорбел… Он признавал себя «европейцем», да и по натуре своей был весьма человеколюбивый, великодушный и образованный человек – от самых юных лет и самым искренним образом желал «свободы русскому народу». Но то, как «la question a été emmanchée», говорил он, пугало его. Вопрос для него вовсе не состоял в тех более или менее значительных пожертвованиях, которые при этой «свободе» должен был понести

владельческий класс в России; лично он готов был и на гораздо большие жертвы на пользу дела, которое называл святым, «une causé sainte». Но тот способ, каким руководились при разрешении его, казался Натаншанцеву гибельным для всего русского будущего. «Я ничего не понимаю, – говорил он, – à toutes ces questions de: надел, de пользование, de выкуп; крестьянину, comme de raison, нужна земля, и я безо всякого выкупа дам ему ее, и гораздо больше даже, чем ces messieurs могут придумать mais il faut, подчеркивал он, *que nous restions les seigneurs de nos paysans*». У него было какое-то свое, феодально-патриархальное представление об этом предмете, от которого он не отступал: он не понимал крестьянина без *барина* — без хорошего, «настоящего» барина, каким он был сам (крестьяне его действительно благоденствовали), – руководителя, воспитателя, судьи, и – это было в глазах его главное – оберегателя темного мужика от «этой lèpre, odieuse du чиновничество, которое и так у нас все захватило»… «Faites des lois sévères, – доказывал он, – против тех помещиков, которые вздумали бы злоупотреблять своею патримониальною властью, но не лишайте народ его естественных покровителей. Вы отымете дворянство у народа и – что дадите на его место? un самоуправление, c'est à dire un кабак en permanence, ou bien toujours le même omniscient, omnipotent et вездесущий чиновник, cet affreux таракан, расплодившийся на нашей русской земле! А само дворянство, qu'en ferez vous? – лишних dans la hiérarchie sociale людей и следовательно врагов de ce Trône, которого отцы их и прадеды были самые преданные слуга, ou une bourgeoisie sans traditions, envieuse de lucre et de pouvoir, comme en France, то есть тех же опять ennemis nés du само-дер-жа-вие, произносил он по складам, – hors lequel point de salut в России».

«Нас ждет toute une révolution sociale», – печально вздыхал Наташанцев в интимных беседах своих с предметом его страсти… Он предвидел все последствия такой революции: внезапный разгром целого, сложившегося веками, общественного строя, наплыв чуждых, неведомых России элементов: брожения и недовольства, смуту в умах, разорения, «une mauvaise carricature de l'Europe вместо нашей доброй старой матушки, святой Руси, comme Dieu La faite!..» «Не все было хорошо dans cette bonne matouschkà, – осознавался он, – но ведь жилось же, и хорошо, многим очень хорошо жилось en commençant par mes paysans. Лучше ли им будет… да и кому будет лучше, когда все прошлое, а с ним de glorieux souvenirs et tout ce qu'a créé l'esprit national, особенный дух нашего народа, сметут *с* лица земли и заменят каким-то mauvais échafaudage libéral à l'instar de l'étranger?»… Странное дело, этот, старый царедворец и «евроцеец», не умевший сложить русской фразы без примеси французских слов, каким-то прирожденным чутьем своей народности возмущался более всего опасением, что перестроению всей русской жизни будет недоставать в самом корне самобытного, «особенного» русского духа!..

Вопрос об освобождении крестьян переживал в те дни свой трагический кризис… Депутаты «первого призыва», приглашенные во второй половине 1859 года для совещаний до этому вопросу, разъехались в начале зимы из Петербурга в самом раздраженном состоянии[29]. «Потербургские власти» не имели, говорили они, никакого основания сомневаться в их горячем желании содействовать благим начинаниям Государя. Они приехали с искреннейшим намерением доказать это на деле. На милостивое обращение к ним Его Величества, при приеме их в Царском Селе[30], на котором произнесены были Государем знаменательные слова: «Я считал себя первым дворянином, когда был еще Наследником, гордился и горжусь этим и теперь»[31], один из них[32] прямо объяснил даже, что «дворянство готово на жертвы, хотя бы они простирались и до трети их состояния», и уже сам Государь изволил выразить, что «Он не требует таких значительных жертв и желает, чтобы великое дело совершилось безобидно и удовлетворительно для всех»… А между тем их, представителей *дворянства*, отстранили от этого дела, имевшего решить всю будущность их сословия. «Они, конечно, вовсе не воображали быть поверенными от земли на совершение, обще с правительством, великого

дела уничтожения крепостного состояния, но они никак не думали, чтоб их призвали в С.-Петербург, *чтобы сидеть каждому на своей квартире, отвечать на заданные вопросы и представлять справки»*[33]. Они почитали себя «законно в праве» надеяться, что голоса их выслушаются в высшем учреждении, назначенном Государем для разрешения вопроса об освобождении******, и не по отдельным только вопросам, но «вообще по существу крестьянского положения», а им самим решительным образом запрещено было «касаться общих начал»[34]; совещаниям их между собой не дозволили «иметь официального характера»; отняли у них всякую инициативу, даже их название *депутатов,* заменив его обозначением «членов губернских комитетов»; заставили, как школьников, отвечать на вздорные детальные пункты, какие вздумала предложить им редакционная комиссия, составленная из «бюрократов», исполненных-де «самых крайне демократических и враждебных дворянству убеждений», назначив им для ответов такой короткий срок, который делал невозможным какое-либо общее выражение и соглашение… Они почитали себя, а в лице их и все сословие, их избравшее, обманутыми «бюрократией», униженными подначальною ролью, в которую поставили их в отношении в комиссии, глубоко оскорбленными «недоверием», которое оказано им было вообще правительством.

С такими сетованиями, упреками и обвинениями вернулись эти представители дворянства в свои губернии. Во многих из этих губерний готовились выборы. Они были вообще шумны с самой той минуты, когда правительством возбужден был крестьянский вопрос. Явилось опасение, что рассказы о горьких впечатлениях, вынесенных депутатами из Петербурга, придадут им еще более острый характер… Циркуляр министра внутренних дел[35] известил нежданно дворянство всей России, что оно «на собраниях своих отнюдь не должно входить ни в какие суждения по предметам, вообще касающимся крестянского вопроса».

Лекарство оказалось хуже болезни. На выборах заволновались, заголосили… Из Петербурга отвечали молчанием, отказом или удалением предводителей от должности на получаемые от дворянства адресы и прошения…[36]

Политическая рознь – явление, невиданное да тех пор на Руси, – проникала теперь во все углы ее… Частные люди и служащие, сановные лица и ведомства – избранные органы и слуги одной и той же высшей, самодержавной власти – разделились на два лагеря, мгновенно возненавидевшие друг друга с ожесточением, свойственным лишь какой-либо наследственной, племенной вражде… «Прогрессисты», как выражалась тогдашняя журнальная публицистика, обзывали «*плантаторами*» ревнителей «сословных привелегий»; «дворянская партия» в свою очередь клеймила недругов своих прозвищем «социалистов». Вражда усиливалась от недоразумений, от бабьих сплетен и постыдных клевет. Самомнение «передового» канцеляризма и личные честолюбия, с одной стороны, угрожаемые интересы и оскорбленные самолюбия, с другой – вели каждый день в стенах казенных зданий и в салонах Петербурга неустанную мелкую борьбу взаимных обличений, презрительных надмеваний и смехотворных друг про друга «анекдотцев»… Смысл великого дела терялся в тине всяких личных счетов и дрязг…

Неслыханным нареканиям подвергался прежде всего человек, поставленный высшим доверием во главу этого дела… Он служил мишенью для ударов со всех сторон. «Дворянская партия» видела в нем лютого себе врага. *Колокол* — эта гроза и Алкорань той поры – громил и пятнал в то же время имя его чуть не в каждом своем листке. В самой среде ближайших его пособников относились о нем некоторые небрежно или свысока; он слыл у них под кличкой «Капитана»[37] *, угодником и честолюбцем». Нелицеприятная история заговорит иначе об этом человеке; она воздаст ему подобающую честь и хвалу за великую заслугу его пред родиной… Возложенной на него задаче он отдал всю душу свою… и жизнь. Желчная болезнь,

прямое последствие непомерных трудов, забот и душевного огорчения, уложила его в постель. *Задача* не дала ему ни времени ни нужных сил бороться с недугом. Он волновался *ею* сердцем на самом пороге могилы[38], – и угас, повторяя еще в предсмертном бреду: «Государь, не бойтесь!..»

Должно ли было это дело его погибнуть вместе с ним? Оттянется ли оно на неопределенный срок? Успеют ли «крепостники» вырвать его у «бюрократов» и «социалистов»? Кто станет теперь во главе его, кто заменит это лицо, сильное положение которого не в силах были сломить самые высокопоставленные противники его воззрений?

Вопросы эти стояли теперь у каждого на устах и в мысли. В канцеляриях били тревогу; светские гостиные ликовали…

– Это разве очень важно, по-вашему, его предсмертная записка? – спрашивала в гостиной, усаживаясь в глубокое кресло, Ольга Елпидифоровна Ранцова. – Expliquez moi cela, cher.

Наташанцев не успел ответить.

– Граф Шепелев, генерал-граф Анисьев! – доложил слуга.

Она чуть-чуть повела бровью и вопросительно поглядела на своего собеседника.

– Конечно, примите! – изобразил он движением головы, и как бы благодарно улыбаясь ей, за этот немой вопрос.

– Проси!

Оба они были люди лет сорока, оба красивы, оба занимали видные положения: Анисьев по служебной должности (он недавно был назначен на нее из губернаторов), – Шепелев, или, как прозывали его друзья, «Chou-Paul», по выборам.

– Eh bien, c’est fin! – молвил входя первый из них, предупредительно раскланиваясь с Наташанцевым и подавая с особенною любезностью руку хозяйке.

– Вы были на панихиде? – спросила она.

– Само собой, по обязанности… Но если это может вас утешить, – промолвил Анисьев со своею особенною улыбкой, – я могу вам сообщить, что и граф Иглов-Савлов был там и громко всем выражал свою горесть о понесенной отечеством утрате.

– Не может быть! – вскрикнула Ранцова. – После его знаменитого письма к покойному, которым он так хвалился нам и напечатал в Париже!..

– Et dont on a été fort mécontent, – протянул многозначительно Наташанцев.

– Malheureusement! – быстро проговорила она, – но это не мешает, что он высказал в нем des choses très dures, но совершенно справедливо насчет самовластных действий Ростовцова, который со своими Линютиными et compagnie должен был только сделать свод из того, что постановили комитеты в провинциях, а никак не выдумывать своего положения… N’est-ce pas, comte? – обратилась она к Шепелеву, который не то угрюмо, не то устало опускался в кресло насупротив ее и молча глядел на нее бархатно-нежными и как бы упрекающими глазами (он ревновал ее к Наташанцеву).

Он утвердительно повел головой на ее вопрос.

– Да, но вы слышали, что сказал сейчас граф Леонид Александрович, – продолжал Анисьев, – эти «choses dures» очень не понравились…

– Так вы думаете, что он это pour renter en grâce?..

– Предоставляю вам заключить…

– Mon Dieu, mon Dieu! Человек такой богатый, si aristocrate, en paroles… Для чего это ему?.. – И Ольга Елпидифоровна подняла глаза к небу.

Анисьев, прикусив ус, иронически поглядел на нее:

– La grande propriété – ваша надежда, а?..

Шепелев поморщился. Наташанцев опустил глаза и тихо вздохнул.

– Вы решительно сделались красным в вашей губернии! – сказала досадливо хозяйка Анисьеву.

– Повозились бы вы там с *белыми,* – весело возразил он, – пунцовым можно сделаться!..

Она обратилась опять к Шепелеву:

– И вы не знаете, кто же на место покойного?

– Граф Сергей Северов, on dit.

– Он не пойдет… да ему и не предложат, – молвил негромко граф Наташанцев.

– Это почему?

– Trop entier de caractère…

– Барон фон-Гагерн, помещик Перстнев! – раздался в дверях голос слуги.

– Перстнев, c’est précisément mon homme, – сказал Шепелев хозяйке: – депутат, про которого я вам говорил. Très intelligent, – промолвил он.

– Ах, да, я очень рада… Проси!

Барон фон-Гагерн, остзеец, когда-то товарищ графа Наташанцева по конной гвардии, высокий, сухой старик с лоснившеюся до затылка кирпичного цвета лысиной и с седыми усами, подчесанными кверху, держал себя чрезвычайно прямо, чинно и щеголевато, как и приличествовало прибалтийскому феодалу и бывшему кавалеристу. Он в прошлом году выдал одну из дочерей своих, фрейлину, за сына Наташанцева и почитал нужным, снисходя к слабости старого «камрада и ныне родственника», не оставлять своим вниманием и «прекрасную даму его сердца».

Перстнев, степняк и крепыш, с ворохом взъерошенных полуседых волос на голове, высунутою вперед челюстью и острыми, умными глазами, над которыми непродорным кустарником висели густые темные брови, глядел на первый раз циником и нелюдимым. Но это первое впечатление, как только он отворял рот, оказывалось совершенно ошибочным: он был ужасный болтун.

– Очень рада с вами познакомиться, – говорила Ранцова, протягивая ему руку, между тем как другую галантно подносил к устам своим барон фон-Гагерн, – граф Шепелев вот говорит о вас, как о…

– Как о товарище в будущих боях против наших Сен-Жюстов и Бабефов, – не дал ей договорить он, – так оно точно. Да много ли пооораторствовать-то нам дадут? Ведь у них там, говорят, на Васильевском Острову[39] не совещания-с, а экзамены происходят: сидят это учителя и наставники – господа все из здешних министерий – и предлагают темы для упражнения в прекрасном слоге, а практики-помещики, избранные русским дворянством, обращенные в школьников, строчат на эти темы, спины не разгибая, чтобы к сроку не опоздать, а то и вовсе с экзамена, из Петербурга то есть, прогонят.

Кругом засмеялись.

– Позвольте познакомить вас с… – и хозяйка переименовала ему своих гостей.

Он неловко раскланивался и пожимал протянувшиеся к нему руки…

– Я сосед вашему сиятельству по Чембарскому уезду, – начал он опять, обращаясь к Наташанцову, – мужики-то у вас там от чая до пшеничного хлеба эвот как отъелись, тузы тузами, и не подходи!..

– Да, им жить, кажется, недурно, – усмехнулся в ответ граф.

Барон Гагерн степенно усмехнулся тоже:

– Ну, я полагаю, таких мужиков, которые каждый день чай попивают и *булки* едят, немного в России?

Перстнев живо обернулся на него:

– А в Курляндии много их, господин барон?

Тот нахмурился.

– У нас земледелец давно свободный есть; помещик не отвечает за него.

– А земли у него своей нет, у земледельца у вашего? – промолвил ему в тон степняк.

– Он может нанимать у *помещик* и даже покупать…

– А отдавать ему вашу землю даром вас никто не принуждает?

– Я полагаю, – строго протянул Гагерн, медленно проводя рукой по усам и исподлобья глядя на своего собеседника, – что никто не думает отымать у нас наши *привилэгии.*

– О, на этот счет будьте покойны! – желчно отрезал Перстнев. – Никто вас никогда не тронет, ни ваших «привилегий», ни вашей земли! С *нами* все это можно, а с вами нельзя… Вы настоящее *сословие,* вы – *рыцарство,* а мы… нам, представителям дворянства, господа эти от министерий чуть уж не прямо теперь в глаза плюют…

– Ну как это возможно! – возгласил барон.

– Очень просто-с. А вы об этом не слыхали? – уже шипел степной депутат. – Когда товарищей

наших первого призыва пригласили в комиссию в первое заседание[40], прочли им вопросные пункты и строжайшую инструкцию, чтобы ни о чем другом не смели они рассуждать помимо этих пунктов; вышли они оттуда, вы понимаете, как в воду опущенные, уничтоженные, можно сказать… А господин Линютин им вслед кулак показал. «Что, завопил, воображаете себя представителями *нации,* а вас лишь спрашивают то или другое сведение; ответили и – убирайтесь к черту»!..

– Ну, может ли это быть! – даже весь вспыхнул остзеец, поводя кругом себя вопросительным взглядом.

Анисьев иронически улыбался. Остальные молчали, опустив глаза.

– Генерал Базанкур!.. Господин Риччи!.. Господин Чижевский! – произнес слуга одно имя за другим.

– Vous savez? – первым делом спросил высокий, благообразный, похожий на барона Гагерна, по нерусскому типу наружности, генерал, поцеловав руку хозяйки и обводя кругом общим поклоном.

– Quoi?

– Le remplaçant de Ростовцев?

Все обернулось к нему, все крикнуло:

– Кто же, кто?

– Моравов, le ministre des domaines.

– В самом деле? Откуда вы знаете?

– De très bonne source, – подчеркнул Базанкур, – он вчера представил записку о необходимости освобождения государственных крестьян вместе с помещичьими и ввернул в нее entr’autres, что государственные имущества могут дать шестьдесят миллионов для выкупной операции. Vous comprenez qu’un homme qui vous offre soixante millions pour vous tirer d’embarras…

– И который не «красный», – заметил Анисьев, насмешливо глядя на Ольгу Елпидифоровну.

– Совсем напротив, слава Богу! – вскликнула она. – Как я рада, как я рада!..

– Un homme d’esprit! – кивнул одобрительно граф Наташанцев.

– Et tout d’une pièce! – промолвил Шепелев.

– Имею честь знать, – сказал в свою очередь Перстнев, скаля зубы и потирая руки от удовольствия, – барин этот с редакционными комиссиями, полагаю, много разговаривать не станет.

Общий сочувственный смех отвечал на эту выходку.

– Moi z’ai (j’ai) entendu autre sose (chose), – вмешался в разговор седовласый Риччи, композитор, учитель пения и любезный человек, принадлежавший к числу «паричков» хозяйки дома: – z’ai vu auzourd’hui (aujourd’hui) quelqu’un qui m’a dit que le ministre de l’intérieur, Danskoi, avait présenté une zapiska. à Sa Mazesté (Majesté) et que c’est lui qui

remplacerait le zénéral défunt.

– Un vieux ramolli! – вскрикнула несколько испуганно Ольга Елпидифоровна. – Это значит опять Линютин, Соловейкин, tout le fond du panier?

Нижевский, служивший помощником статс-секретаря в Государственном совете, заговорил в свою очередь:

– Меня сегодня уверяли, что ни Данской, ни Моравов, а будет назначен министр путей сообщения Чевыкин…

– Ce méchant bossu? – перебила его Ранцова.

– Да… и что-то очень похоже на это: он сегодня потребовал к себе товарища моего по службе, Жукова, который непременный член в редакционной комиссии, и очень долго его расспрашивал о *ее* трудах… Он также представил специальную записку по вопросу освобождения…

– Современный турнир, – сострил Перстнев, – рыцари копьями вышибали друг друга из седла, а наши министры выковыривают друг друга записками… О чем же именно, не изволите знать, записка генерала Чевыкина?

– О необходимости пересмотра остзейского крестьянского положения.

Барон Гагерн даже привскочил на своем стуле.

– Pardon, monsieur, вы это знаете как… *верное?* – обратился он к Чижевскому с судорожно заходившим лицом.

– Я, разумеется, записки не читал, – отвечал тот с полуусмешкой, – но имею основание думать, что она действительно представлена…

– Но это невозможно… невозможно совсем, – забормотал барон, поспешно вставая с места.

Он торопливо пожал руку хозяйке, кивнул рассеянно остальным и быстрыми шагами вышел из гостиной.

Оставшиеся переглянулись с невольною улыбкой.

– Да-с, – сказал Перстнев, – вот эти господа умеют стоять за себя… И отстоят, бояться за них нечего!..

– Европейцы! – коротко проговорил на это Шепелев.

– Да что вы думаете, граф, – вскинулся тут же словоохотливый степняк, – если бы нас, варваров, поставили в те же условия, в каких…

– Я к вам только на полминуты, ma chère, – перебил его речь голос показавшейся в дверях довольно тучноватой, но очень живой дамы, в шляпе и мантилье и с *деловым* портфелем в руке (это была Варвара Петровна Мосягина, пользовавшаяся, как и граф Наташанцев, правом входить во всякое время без доклада к г-же Ранцовой), – я и так уж опоздала в комитет… Bonjour, messieurs! – послала она с места поклон поднявшимся при ее появлении мужчинам, и вдруг рассмеялась и проговорила в придачу из песни о «Мальбруке»:

La nouvelle que j’apporte
Fera pleurer vos beaux yeux…

– Quelle nouvelle? – воскликнула, идя ей навстречу, Ольга Елпидифоровна.

– У меня сейчас была Нелли Новицкая, прямо из Михайловского дворца; ей там сказали, что назначение Линютина решено.

– Куда?

– На место Ростовцова.

Произошло настоящее смятение. Все устремилось к ней…

– Вы шутите?

– Не может быть!

– Quelle infamie! – взвизгнула Ранцова…

Перстнев махнул отчаянно рукой по воздуху:

– Продам все, заберу семью и удеру в Америку! Чтоб уши мои не слышали, глаза не видали!..

– А затем, прощайте! – молвила тем временем Мосягина, оборачиваясь и уходя. – Спешу…

– Куда же вы? Погодите минутку, Варвара Петровна! – кинулась за ней хозяйка. – Вы нам ничего не успели обстоятельно рассказать, как это случилось и наверное ли…

– Я ничего не знаю, кроме того, что мне сказали, и не спрашивайте!.. Мне очень жаль, что это вас, милая, огорчает (Варвара Петровна неожиданно охватила при этом Ранцову за шею и звонко чмокнула ее в щеку), но мои приютские сироты гораздо для меня дороже, чем все ваши combinaisons politiques… Я personellement его даже очень люблю, Линютина… и Бековича тоже… Премилые оба et tres droles quand ils s’en melent… а я люблю посмеяться… Прощайте!

– Позвольте мне предложить вам руку до крыльца, – любезно молвил ей Анисьев, взяв свою каску и уходя за нею… Продольная морщинка стояла между его бровями: он был озабочен не вестью об этом назначении Линютина, – а тем, что ему было еще не известно об этом, столь уже решительно, по-видимому, распространяемом «au palais Michel» слухе… Надо было сейчас же *проверить*.

– Très curieux! – сказал, прощаясь в свою очередь, генерал Базанкур. – Je vais aux informations.

– Напишите мне сейчас же, когда узнаете что-нибудь положительно! – потребовала от него Ольга Елпидифоровна.

– Vos désirs sont des ordres, madame, – отвечал генерал нежным тоном и заглядывая ей прямо в глаза.

Он слегка вздохнул, заметив, что глаза эти совершенно немы для него в эту минуту, пережал всем руки и исчез.

– Venez diner chez moi après-demain, Ricci! – как бы вспомнив вдруг, сказала Ранцова.

Влюбленный итальянец понял, что это приглашение на послезавтра означало: «А в эту минуту ты здесь лишний».

Вспышка досады изобразилась на его немолодом, но еще свежем и красивом лице.

– Ze vous avais apporté oune (une) nouvelle romance de Gordigiani à santer (chanter), – молвил он, подымая шляпу с пола и медленно вставая со стула.

Она только головой кивнула.

– Sortons nous ensemble, monsieur Tzizewski? – спросил он молодого чиновника. – Уходить, мол, так хоть не одному.

Чижевский встал, Перстнев шевельнулся в своем кресле, как бы с тем же намерением.

– Погодите! – шепнула, наклоняясь к нему, хозяйка.

Риччи сверкнул глазами по направлению Наташанцева и Шепелева, не трогавшихся с мест (все «парички» Ольги Елпидифоровны страшно ревновали к ней друг друга), и удалился с Чижевским.

Оставшись с одними «сериозными» людьми, Ольга Елпидифоровна первым делом поставила им такого рода вопрос:

– Неужели вы теперь, господа, не соединитесь крепко, не примете решительных мер?.. Une adresse à Sa Majesté, que saisje!.. Ведь теперь с Линютиным en tête это будет уже не то, что дворянство более или менее оберут; они уже, не церемонясь, прямо поведут à une révolution sociale, comme vous dites très bien, cher comte.

И она обернулась к графу Наташанцеву.

– Так или иначе, cela en sera toujours une!.. – печально и тихо промолвил он на это.

– В Америку-с, в Австралию бежать только и остается! – пропел от избытка волнения визгливым дискантом Перстнев.

– Известие прежде всего требует подтверждения, – заметил спокойным тоном граф «Chou-Paul», – я в нем очень сомневаюсь.

– Почему?

– Я, во-первых, видел сегодня Линютина на панихиде, il n’avait pas l'ir joyeux du tout…

– А фельдмаршал что же? – перебила его вдруг Ранцова, глядя на него заискрившимися снова глазами. – Говорили ему? Что он сказал? Он так силен, близок… и с нами одних мнений… Он может объяснить, наконец, куда хотят вести Государя и Россию эти Прудоны в виц-мундирах.

– Le maréchal n’a que sa gloire en tête, – отвечал недовольным голосом «Chou-Paul»; – он взял Имама, прекратил вековую войну, – с него довольно… Il s’est refusé à tout: «не мое дело», говорит…

– И он прав! – как бы про себя пропустил Наташанцев.

– Никакой надежды, значит, не осталось! – вскликнула с отчаянием пылкая молодая женщина

(она так вошла в свою «политическую» роль, что слезы действительно готовы были брызнуть из ее прекрасных карих глаз)…

В дверях показался еще раз слуга: он нес письмо на серебряном подносе.

Ольга Елпидифоровна взглянула на адрес, узнала руку Прыткова и с судорожною поспешностью сорвала обложку.

На клочке бумаги мельчайшим почерком и без подписи начертаны были ровно девять слов:

«По всем признакам, граф Вилин. Сейчас потребован во дворец».

– Браво, messieurs, браво! – вся вспыхнув, вскрикнула Ольга Елпидифоровна, передавая письмо графу Наташанцеву. – Линютин à bas! Вилин будет, un grand seigneur, какого нужно было!..

– Граф Вилин! – повторил, всплеснув радостно руками, Перстнев. – Ну, значит, дело в архив сдано! Он василеостровскую компанию похоронит и камнем завалит.

– Чего он не похоронит, – засмеялся граф Шепелев, – il est né croquemort!

– Я воображаю, как взбесится Герцен, который называл его «трехполенным», и все наши «либералы», – молвила Ранцова, вторя его смеху.

– Рано пташечка запела, – неожиданно уронил граф Наташанцев, улыбаясь своею тихою и тонкою улыбкой.

– Вы не верите?

– Чему? A la nouvelle? Верю. В остальном сомневаюсь.

Chou-Paul поднял на него свои бархатные глаза:

– Я не менее вас, граф, сомневаюсь, чтобы из этого назначения могло что-нибудь выйти. Nous connaissons l’homme. Но это самое и должно повести к желанной цели. Вилин rendra la редакционная комиссия impossible. Он ею надоест до смерти, и ее закроют, дело перейдет опять в главный комитет, который, bongré, malgré, принужден будет созвать представителей от дворянства…

– Et la Russie sera sauvée! – перебила его восторженным возгласом Ольга Елпидифоровна.

– И мы спасаем ее действительно, – впадая в тон молодой женщины, заспешил говорить Перстнев, – мы докажем правительству, что путем сполиации можно только привести ее к разгрому и разорению, что единственный путь в этом вопросе есть полное доверие к преданности дворянства престолу, к его великодушию и патриотическому духу, а исход – добровольные соглашения помещиков о земле с освобождаемым *лично* народом…

– А к этому, как условие sine qua non, – примолвил Шепелев, – полное, и прежде всего другого, преобразование суда и местной администрации…

– Суда и местной администрации, – уже захлебываясь, повторил за ним степной помещик, – с какой бы стороны вы ни подошли к этому, можно сказать, роковому вопросу освобождения: с политической, административной, экономической, социологической…

– Однако, я думаю, вам и обедать пора? – обратился вдруг, вынимая часы, граф Наташанцев к

хозяйке, видимо испугавшись дальнейшего красноречия этого «Демосфена из Чембар», как назвал он мысленно Перстнева.

– В самом деле поздно! – подтвердил «Chou-Paul», поспешно вставая с места.

Степной депутат досадливо поглядел на двух «аристократов», не давших ему довести даже первого периода его речи до конца, вздохнул и поднялся тоже.

– Messieurs, – сказала хозяйка, специально относясь, впрочем, к нему, Перстневу, – то, что я вам прочла, – до поры до времени величайший секрет, помните!

– Помилуйте, само собой, – воскликнул он, прикладывая даже руку к сердцу…

Все трое мужчин, распростившись с хозяйкой, направились к дверям. Она поднялась, в свою очередь, проводить их.

В следующей комнате граф Наташанцев замедлил шаги и остановился пред висевшею на стене одною из немногих картин покойного Акулина, удержанных за собою его дочерью.

– J'aime beaucoup ce Lancret – молвил он, как бы задержанный желанием полюбоваться ею еще раз, между тем как граф Шепелев и Перстнев выходили в переднюю…

– Я недовольна вами, – как только остались они одни, проговорила полушепотом Ольга Елпидифоровна, нежно глядя ему в глаза и роняя руку свою в протянувшуюся к ней его руку, – вы чем-то тревожитесь?

Он поглядел на нее и произнес тем задушевным тоном, которым позволял он себе говорить только с нею, – тоном, выдававшим своим искренним пафосом романическую подкладку его натуры:

– J'aime mon pays et – je tremble pour lui!

– Это требует объяснения, – сказала Ранцова, – вернемтесь в гостиную.

Они уселись там рядом на диванчике и заговорили как бы невольно тихими голосами…

– Скажите, – спрашивала она, – вы не довольны назначением графа Вилина? Почему?

– Милый друг мой, – отвечал он, – вы ошибаетесь. Я тревожусь, это правда, но Вилин тут не при чем… Вы и наши друзья придаете какое-то огромное значение тому, в чьи руки перейдет задача, не довершенная Ростовцовым. А я вам вот что скажу, – он осторожно оглянулся кругом, – того, чего хотели бы мы, – никогда не будет! Ни Вилин, ни кто бы, излюбленнейший из нас, ни стал теперь во главу этого дела, – не в силах будет сдвинуть его с того направления, какое ему дано. Освобождение крестьн – *лич-но-е де-ло Государя,* – протянул многозначительно граф, – оно ему всецело принадлежит и – ни-ко-му другому; Линютин et compagnie ne sont que des comparses qui s'imaginent grands roles, больше ничего. А все это безо всякого их посредства зародилось в душе Государя; он же, не сомневайтесь в этом, доведет дело до конца и в том духе, в каком оно было им задумано… Вы слышали переданные мною Прыткову слова Его Величества при получении посмертной записки покойного?.. Он в ней видит «завещание» человека, глубоко и искренно проникшего *его* волею и мыслью, и не отступит от ее начал, – вы можете быть в этом уверены!

– Но однако же, – возразила Ольга Елпидифоровна, – назначен на место этого человека другой,

совершенно ему противоположный, un giand seigneur, других понятий, воспитания, традиций…

– Этот «grand seigneur», – молвил старый царедворец, покачивая головой, – беспрекословный слуга высшей власти: он строго исполнит то, что ему будет указано…

– Но в таком случае… вы сами предвидите такие печальные последствия… – не договорила она и вопросительно подняла на него глаза.

Он уныло усмехнулся:

– Что же делать! Государь не может иметь к нам доверия более, чем мы сами имеем его к себе… А мы… soyons francs: никто из нас *в себя не верит!* – уже чуть слышно и с каким-то отчаянием проговорил граф.

Оба они замолкли за этами словами.

Он первый прервал молчание:

– Вы не получили еще приглашения из***го дворца? – молвил он уже с улыбкой, как бы приходя в себя и отгоняя докучную заботу.

Она вся вздрогнула и загорелась взглядом:

– Нет… а разве?.. – не в силах была она докончить от радостного волнения.

– Vous êtes sur la liste; мне вчера у Оссовицких на бале сказала la demoiselle d’honneur de l’endroit, княжна Кубенская.

Ольга Елпидифоровна схватила руку его обеими своими:

– Oh, mon ami, как вы милы, добры, как я вас люблю!..

Он обнял ее и привлек к себе… Она горячо поцеловала его в щеку.

– Не почитайте меня пустою и тщеславною, – шептала она, прильнув *кошечкой* к его плечу, – я радуюсь всему этому теперь потому, что я этим становлюсь ближе к вам, cher, – к вам, моей единственной привязанности в жизни…

– О, – проговорил Наташанцев, и пламень глубокой страсти осветил совершенно юношеским пылом его красивые старческие черты, – когда будете вы совсем моею пред Богом и пред людьми!..

– Это зависит от вас… вы знаете, – вся румяная и счастливая отвечала она тем же шепотом, глянув на него избока своим неотразимым взглядом.

Он весь сгорал, страстно сжимая и целуя ее руки…

– А из Рай-Никольскаго, – спросил он, – есть ответ на ваше письмо?..

– Сегодня утром, я только что встала, явился ко мне *его* поверенный; он приехал из Москвы без письма, но с поручением сказать мне, что он, то-есть mon mari, «на все согласен»… «Скажите ей», передал мне тот его слова, «что я никогда не захочу помешать ее счастью и как сказал ей, так и исполню: вину я приму на себя, пусть она выходит, как сердце ей скажет!»

– Ah, tenez, c’est très beau de sa part! – невольно вскликнул граф. – Немногие на его месте способны были бы отречься от вас с таким великодушием.

– Да, я всегда скажу, он невозможный по воспитанию, но совершенно честный человек… Не с его стороны, конечно, я опасалась… и боюсь препятствий, – примолвила Ольга Елпидифоровна с легким вздохом и опущенными глазами, перебирая кольца на руке.

Заметное смущение сказалось на миг в лице ее собеседника:

– Expliquez vous! – и он тревожно задвигался на своем кресле.

– Меня не любят в вашей семье, – прерывающимся голосом ответила она, – мне известно de bonne source, что ваша дочь, княгиня Андомская, например…

– Она вас не знает! – не дал договорить ей Наташанцев, как бы спеша успокоить ее этими словами.

– То есть *не хочет знать,* – подчеркнула молодая женщина с горькою усмешкой, – я об этом и говорю…

Он вдруг встал, выпрямился; глаза его раскрылись и сверкнули.

– Eh bien, tant pis pour elle, mais il faudra bien quelle passe par là! – пылко выговорил он. – Я довольно сделал для моих детей, и они достаточно богаты и хорошо поставлены в свете, чтобы дозволить, наконец, и их отцу под старость лет de prendre sa part de bonheur dans ce monde!..

Ольга Елпидифоровна всплеснула руками:

– Pas d’emportement, cher ami, au nom du ciel, pas d’em, portement! Я лучше соглашусь навеки отказаться от вас, бежать, исчезнуть навсегда, чем быть причиной раздора между вами и вашими детьми!.. Княгиню Андомскую я понимаю: для нее никак не может быть приятна мысль, что я могу… На ее месте я чувствовала бы то же недружество к такой неизвестной, незнатной особе, как я, – слезы стояли в горле «очаровательницы», – у которой нет ничего взамен того, что вы хотите ей дать, кроме своего чувства к вам…

– Ваше чувстство, mais c’est le ciel… et vous êtes un ange! – вскликнул, замирая от восторга, влюбленный старик, прижимая ее еще раз к сердцу.

Она стыдливым движением отстранилась чуть-чуть от него и продолжала:

– Я хотела бы только иметь случай свидеться где-нибудь с вашею дочерью; я успела бы, я надеюсь, внушить ей если не больше расположения, то во всяком случае менее враждебности ко мне.

– Я вас познакомлю с нею на бале у великой княгини, – сказал решительным голосом граф. – Вы знакомы с фрейлиной ее высочества? – перебил он вдруг себя этим вопросом.

– Да… и нет… Я познакомилась с княжной Кубенской в Москве, когда она еще жила у тетки, потом была у нее пред представлением великой княгине, но она до сих пор не отдала мне визита…

– C’est une personne qui s’en fait accroire, je m’en suis l’influence dans la maison…

– Я поеду к ней завтра же, – произнесла покорным голосом Ольга Елпидифоровна.

Он помолчал опять.

– Вы знаете, что 12-го числа grand bal masqué в Михайловском дворце?

– Да, знаю! – вздохнула она… не совсем искренно: то, что она читала на лице его, не предвещало ей нисколько повода ко вздохам – напротив.

– Надо, чтобы вы там были, – действительно сказал он.

– Я! – вскрикнула она опять далеко не искренно. – Меня там терпеть не могут!

Граф пожал плечами:

– Во-первых, ненависть вовсе не в привычках de la maîtresse du logis. Во-вторых, – добавил он со своею тонкою царедворческою улыбкой, – вы ни во что не ставите любопытство?

– Любопытство чего?

– Видеть вас.

– La madame Roland du parti perruque? – расхохоталась во весь раскат своего бывалого девичьего смеха Ольга Елпидифоровна.

Он рассмеялся тоже:

– Eh bien, oui, мне было это сказано.

– Что меня желали бы видеть?

Он утвердительно повел головой.

– И я, может быть… получу пригла…

Голос ее оборвался окончательно.

– Надеюсь.

Она вскочила с места:

– Oh, cher, cher, cher!..

– И когда моя дочь увидит вас и *там,* il faudra bien qu’elle vons *connaisse*, – подчеркнул он в заключение.

Она нежданно закинула ему обе свои руки за шею и прижалась к нему в порыве невыразимого счастия…

Ольга Елпидифоровна села в этот день за стол одна, в десятом часу вечера, так как по отъезде графа Наташанцева тотчас же принялась писать письмо к мужу. В длинном, на четырех страницах, письме этом, как солнце в гладкой скатерти вод, отразилось все блаженное настроение ее духа в ту минуту. Никогда еще Никанор Ильич не получал от нее, да и вообще, таких нежных строк: она его называла в них «ангелом», «благороднейшим человеком в свете», «лучшим своим другом» и обещалась молиться за него утром и вечером… Получив письмо, Ранцов проплакал, запершись у себя, целый вечер, а на другой день выехал из деревни…

исполнять то, что было им обещано ей…

III

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

Пушкин.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые…

Тютчев.

Das Hofleben gleieht einer Musik, wo jeder seine Takte und Pause halten muss.

Gothe.

Следующий день был воскресенье… Из толпы молельщиков, сходившей со ступеней Иссаакиевского собора по окончании обедни, отделился белокурый, худощавый и еще молодой человек в меховом пальто мешком и бобровой шапке и, перейдя через площадь на тротуар, зашагал медленно, опустя голову, по направлению одного из петербургских дворцов.

Он шел, не замечая ни движения на улицах, ни холодного ветра, резавшего ему лицо, глубоко погруженный в самого себя… Богослужение, только что прослушанное им, навеяло на него какое-то мистически успокоительное настроение. Он чувствовал себя размягченным и *поднятым* в одно и то же время – поднятым на ту созерцательную высоту духа, с которой земная забота, земная печаль теряет всю едкость свою и самое значение. «Житие бо се – сон и сень, и всуе мятется всяк земнородный», – как бы бессознательно шептали его уста, и то, для чего он жил теперь второй год в Петербурге, проводя дни и ночи за упорным трудом, вовсе исчезало в эту минуту из его сознания в охватывавшем его ощущении того «таинственно несомненного»… что впервые прозрено было им «до дна души» пред одним чудно прекрасным, объятым смертью женским ликом… Сам он с минуты той смерти – десять лет прошло с тех пор – перестал жить личною жизнью: ее могила сохранила и его молодость. Беспощадный удар сокрушил ее на самом расцвете, и как дуб, пораженный грозой, зловеще звенит под ветром своими засохшими ветвями, душевные силы его после того удара трепетали лишь отзвуком мрачного и безысходного отречения. Он дожил – дотянул до тридцати трех лет без радостей, без упований, почти без людей, в суровом деревенском отшельничестве, исключительно с книгами и *для книг,* отказавшись от всякой *внешней* деятельности, от кафедры – первоначальной золотой мечты юных дней его – и тщетно стараясь в своей пустыне «забыться и забыть»… Он был один, как перст на свете. Тетка, воспитавшая его и бывшая ему второю матерью, истаяла и угасла от его горя, забыть которое она чувствовала себя бессильною помочь ему…

Он зачах бы сам после этой последней потери или ушел бы куда-нибудь в дальнюю обитель – не раз в течение бесконечно долго тянувшихся для него годов приходила ему эта мысль в голову, – если бы не получил однажды совершенно неожиданно в деревне от университетского товарища своего, князя Бековича, письма с предложением от генерала Ростовцова принять участие в разрешении дела об освобождении крестьян. Что-то давно забытое шевельнулось вдруг и заискрилось во мраке души его. То великое дело, о котором он во дни блаженных

порывов и трепетных идеалов юности говорил *ей* прерывавшимся от волнения или счастия голосом, – оно призывало его теперь к себе, его, рвавшегося тогда к его недосягаемому призраку всеми лучшими помыслами и чаяниями своими. Золотые сны тех дней осуществлялись для него наяву: ему давалось теперь действительно в руки *«послужить* освобождению своего народа»[41]... Он тотчас же уехал в Петербург, принялся sa общую с другими работу...

Он внес в нее, вместе с огромным запасом знания в подтверждение тех начал «московской школы», которым оставался он незыблемо верен, какой-то строгий энтузиазм народности, мало похожий на тот почерпнутый из французских книжек задор западного демократизма, на котором опирались столпы убеждений не малого числа его петербургских сочленов. Он *знал* и глубоко веровал в то, о чем очень часто и понятия никакого не имели эти лица; немало было им уяснено, направлено, отвоевано у них... Бюрократические parti pris, заемные теории должны были не раз пасовать пред ратоборцем, выходившим против них во всеоружии русской бытовой и исторической правды...

Холодная с виду, почти суровая личность его внушала к себе глубокое уважение; друзья и недруги его деятельности, рукоплеща ей или ненавидя ее, называя самого его «идеалистом» или «фанатиком», видели в нем равно совершенно «чистого человека, служащего делу с полным забвением самого себя и отсутствием всякой задней мысли... Упреки и подозрения в расчетах личного честолюбия, которым подвергались некоторые, ближайшие к нему по решительности «направления», его товарищи, обходили его; для всех было вне сомнения, что *этот* человек «ничего не ищет и ото всего откажется».

Он ничего действительно не искал, кроме торжества тех начал свободы русского крестьянства, которых сам и эти ближайшие к нему люди были представителями. Борьба за них глубоко волновала его; он возмущался каждою доносившеюся до него клеветой, каждым неверным, сознательно или легкомысленно искаженным слухом... Он увлекался в этом отношении иногда до несправедливости; в своем страстном увлечении он не допускал другого решения великого вопроса, как то, какое исходило из его воззрений, и всякое противодействие ему считал «позорным делом», делом эгоизма, корыстолюбия и интриги, доводившим его часто до болезненного, нервного раздражения...

Он ушел теперь умягченный, как мы уже сказали, молитвою и торжественностью прослушанного им богослужения, направляясь к одной молодой особе, фрейлине, княжне Кубенской, звавшей его к себе утром «на чай» – особе, с которою он довольно часто встречался в Михайловском дворце (где весьма благоволили к нему), и которая, на первых же порах его знакомства с нею, поразила его смелостью не совсем обыкновенного и как бы не совсем женского ума и самым искренним, показалось ему, сочувствием крестьянскому освобождению в том смысле, в каком сам он понимал его... В другое время он, вероятно, *забыл* бы об этом приглашении – он избегал вообще женского общества – но в эту минуту он чувствовал себя расположенным на *тихий разговор* без горячих прений и ожесточения, обычных тому кружку, в котором он исключительно вращался в Петербурге, – разговор, который не слишком бы противоречил тому настроению, какое уносил он из храма Божия...

Он вошел во дворец с одного из боковых его входов, как указано было ему, и спросил княжну.

– Пожалуйте! Вот он вас проведет, – ответил швейцар, указывая на стоявшего на лестнице придворного лакея в гороховых штиблетах, плисовых черных коротких штанах и красном жилете под обшитою галунами ливреей.

– Пожалуйте! – повторил тот, подымаясь по ступеням и приглашая оборотом головы

«господина» следовать за ним.

Фрейлина этого дворца, как фрейлины всех дворцов в мире, помещалась на самом верху его, «поближе к небесному пространству и повыше от уровня «моря», по выражению какого-то шутника.

Отсчитав целых сто пятьдесят ступеней вверх, лакей повернул в коридор и, подойдя к одной из выходивших сюда дверей, постучался в нее.

– К княжне! – проговорил он с некоторою многозначительностью, как бы сдавая с рук на руки приведенного им посетителя новому, появившемуся на пороге этой двери, в таком же красном жилете и штиблетах, ливрейному слуге.

– Как прикажете доложить? – спросил не менее многозначительно тот.

– Сергей Михайлович Гундуров.

– Извольте обождать.

И он тою неслышною, скользящею как на пробках и раскидистою поступью, какою слуги ходят во дворцах, отправился «докладывать», оставив молодого человека одного в полутемной, освещенной лишь с коридора передней.

– Пожалуйте! – молвил он чрез миг, широко растворяя дверь в гостиную княжны.

Комната была большая, высокая, в два окна, выходившие на площадь, и отзывалась некоторою казенностью в расположении мебели, в протянутых от двери до двери ковриках и в полном отсутствии тех мелких вещиц, bibelots, без которых как бы немыслим в наш век женский апартамент. Их заменяли книги, загромождавшие столы, этажерки, окна. В двух огромных шкафах за стеклами расположены были в стройном порядке наследованные княжной от отца мюнц-кабинет и довольно богатая минералогическая коллекция.

Из другой комнаты, служившей и кабинетом, и спальней, вышла хозяйка и быстро пошла навстречу гостю, протягивая ему руку:

– Спасибо вам, что не забыли, Сергей Михайлович, я очень рада вас видеть!

Она заметно развилась с тех пор, как мы расстались с нею в Москве: плечи ее поширели, пополнело лицо; но зеленые глаза ее, уйдя глубже под полукруги бровей, глядели все с тем же сосредоточенным и как бы усталым в эту минуту выражением.

Она села на узенький диванчик с деревянною решетчатою рамкой вместо спинки, пред накрытым чайною скатертью столиком, указала Гундурову кресло подле себя и, закинув руку назад, дернула шнурок колокольчика.

– Я сейчас из церкви; у нас сегодня служба продолжалась бесконечно долго; моя княгиня очень набожна…

– А вы сами? – спросил с полуулыбкой гость.

Она как бы не слышала вопроса и продолжала:

– К нам тут приехала игуменья одна. Ее почему-то очень протежируют здесь, и она, кажется, думает всем вертеть…

Княжна замолкла на полуслове: ливрейный слуга ее вносил на большом подносе чайный прибор и заменявший самовар tea-cattle блестящего английского металла. Он уставил все это на столе пред нею, зажег спичкой спирт под котликом.

– Хорошо, ступайте! – сказала она ему и, обращаясь к Гундурову:

– У меня к вам просьба.

– О чем, княжна?

– Сегодня воскресенье, вы свободны?

– Да.

– Обещайтесь мне не уходить от меня прежде, чем мы не успеем переговорить об одном… очень важном, мне кажется, обстоятельстве, и которое вас во всяком случае должно интересовать.

– Говорите, я слушаю, – молвил он.

– Да, но вот видите ли, нас могут прерывать. А я… мне *приказано* принимать сегодня, – и ноздри княжны, пока произносила она эти слова, досадливо и надменно раздулись: у нас здесь на днях бал дают… И эта Нафанаила тоже притащится сюда непременно…

– Игуменья Нафанаила! – доложил в эту же минуту слуга в дверях.

– Вот видите! – блеснув мгновенно глазами, проговорила княжна…

Она встала навстречу духовной особе.

Это была худощавая женщина средних лет и роста, с поблеклыми чертами и опущенным набожно взглядом, медленно и как бы механически двигавшаяся под широкими складками своей рясы. Черное флеровое покрывало спускалось с клобука ее до самого стана; на груди блестел крупный золотой крест; длинные костлявые пальцы перебирали аметистовые четки, обматывавшиеся двойным охватом кругом кисти ее правой руки. Но что-то неуловимо *мирское* просвечивало сквозь весь этот наружный строго-монашеский облик.

– Еще раз здравствуйте, матушка. Угодно вам чаю? – молвила княжна, садясь на свое место и усаживая ее подле дивана на кресло, насупротив Гундурова.

– Покорнейше благодарю, – отвечала та слабым, точно умирающим голосом, входившим, по-видимому, в ее понятиях в число обязанностей ее духовного сана, – я прошла после службы к ее высочеству и выпила там чашку… Ее высочество приказала вам напомнить, – проговорила игуменья, уже таинственно наклоняясь к девушке, – насчет предметов, которыми она по своему христианскому милосердию и щедроте своей, положила наградить нашу бедную обитель…

– Все собрано, уложено и запаковано, – быстро промолвила, перебивая ее, княжна, – можете их взять, когда угодно… А вы скоро думаете ехать?

Нафанаила вздохнула в ответ:

– И сердцем, и помыслом рвуся в тихое пристанище свое… да видно погодить надо. Ее высочество… удерживает меня… и к тому надеюсь еще удостоиться приема у ее величества,

матушки-государыни…

Княжна чуть-чуть нахмурилась и повела головой в сторону своего гостя, молча и внимательно вглядывавшегося между тем в казавшееся ему почему-то знакомым лицо сидевшей против него особы.

– Матушка, позвольте вам представить Сергея Михайловича Гундурова.

Опущенные все время до сих пор глаза игуменьи внезапно поднялись при звуке этого имени и вознеслись на миг в строгое, унылое лицо этого далеко не по летам состарившегося человека… Какое-то странное смущение, показалось княжне, сказалось в ее чертах… Она снова быстро поникла взглядом, судорожно перебрала своими четками.

– Я знаю Сергея Михайловича, – как бы против воли проронила она, – мы встречались… когда я еще в миру находилась.

«Надежда Федоровна! Гертруда!» – пронеслось в голове Гундурова[42]. Лицо его покрылось смертельною бледностью. И пред его внутренними очами мгновенно воскресало в этот миг прошлое – прошлое во всей своей лучезарности… во всем своем ужасе…

– Да… мы встречались в прежние годы, – повторил он точно не своим, упавшим, беспомощным каким-то голосом.

Проницающая тоскливость его как бы заставила вдруг зазвенеть все душевные струны Нафанаилы. На искусственно бесстрастном лице монахини выразилось нежданно глубоко искреннее, жалостливое участие; на глазах выступили слезы… Она еще раз подняла их.

– Мы знали с вами ангела на земле, Сергей Михайлович! – сорвались дрожа слова с ее языка.

Он только моргнул ресницами и глухо кашлянул, словно захлебываясь…

Княжна, ничего не понимая, смотрела на них с изумлением…

– Госпожа Ранцова! – доложил, отворяя дверь, слуга.

– Кто? – торопливо и будто растерянно обернулась тут же игуменья на хозяйку.

– Одна тут… *модная* дама, – отвечала нехотя та, – она московская… очень мелкого, кажется, происхождения, но везде здесь втерлась…

Нафанаила двинулась в своем кресле, как бы намереваясь встать и уйти. Но глаза ее встретились с остановившимися на ней печальными глазами Гундурова: она подобрала к щекам раскинувшиеся полы своего покрывала, опустила веки и голову – и остановилась.

– Проси! – медленно промолвила хозяйка все еще стоявшему у дверей слуге. – Вы ее знаете? – спросила она вполголоса Гундурова.

Он бессознательно сжал брови…

– Все равно, не уходите, прошу вас!..

На Ольге Елпидифоровне был туалет самого отменного вкуса: ничего бросающегося в глаза, «кричащего», полнейшая трезвость в цветах и покрое, но во всем необыкновенное изящество, обдуманность, гармония, – «une de ces toilettes qui font rêver», как уверяют французы – и в том

числе Бальзак.

Соответственно этому держалась и она сама: не слишком сдержанно, не слишком любезно, спокойно и учтиво подошла к молодой хозяйке, сжала протянутую ей руку, села на место, которое поспешил уступить ей Гундуров, и начала с того, что давно собиралась к княжне и, узнав, что она «принимает по воскресеньям», приехала теперь к ней.

– Немного рано, – промолвила она в виде извинения, – но мне хотелось вас непременно застать и благодарить…

– За что?

– Я получила вчера приглашение на бал к их высочествам, – молвила уже вполголоса Ранцова, – et comme madame la grande duchesse me connaît si peu, я не могу иначе объяснить себе эту честь, как тем, что вы… *напомнили* о моем существовании, – самым скромным тоном объяснила она.

– Je n'y suis pour rien, madame, je vous assure! – холодно ответила княжна и поспешила приступить к обряду взаимного *представления* друг другу присутствующих:

– Мать Нафанаила, madame Rantzof, Сергей Михайлович Гундуров.

Нафанаила привстала и поклонилась низким монашеским поклоном. Румянец чуть-чуть выступил на щеках Ольги Елпидифоровны. Она узнала с первого раза свою бывшую злополучную соперницу, узнала, едва войдя в комнату, несмотря на ее рясу и «беспощадную руку времени», и, говоря с княжной, соображала мысленно, как отвечать в случае, что та заявит о своем прежнем знакомстве с нею; но так как этого не оказалось, «модная дама» сочла нужным со своей стороны «забыть» об этом знакомстве. Она ответила на поклон равнодушно-почтительным в свою очередь поклоном и тотчас же обратилась в сторону Гундурова:

– Мы с Сергеем Михайловичем Бог знает как давно знакомы, – молвила она, улыбаясь самою очаровательною из своих улыбок, – но он меня знать не хочет… Не из-за разности ли в наших мнениях избегаете вы меня? – добавила она, глядя ему прямо в глаза.

Он ее, как говорится, *недолюбливал* и «в те годы», а в настоящую пору видел в ней «известную интриганку плантаторской партии», какой слыла она в его кружке.

– А у вас есть определенные мнения? – с нескрываемою иронией ответил он вопросом на ее вопрос.

– Мне их приписывают по крайней мере.

И она засмеялась самым добродушным смехом.

– А именно что? Это очень интересно знать.

Черты ее тотчас же приняли серьезное выражение:

– То есть то, что мне приписывают, или то, что я лично думаю?

– Последнее прежде всего, конечно, – сказал он сдерживаясь.

– Я думаю «прежде всего», – подчеркнула она, слегка вздохнув, – что люди различных мнений не должны ненавидеть из-за этого друг друга; я думаю затем, что никого не следует обижать:

ни тех, само собою, *которых* обижали до сих пор, но также и ни тех, *которые* имели возможность обижать прежде, потому что в последнем случае это было бы *мщение,* а это не по-христиански… Спросите матушку-игуменью, если мне не верите, – засмеялась она опять, указывая на ту глазами.

Нафанаила поглядела на нее из-под своего надвинувшегося на самые брови клобука и ничего не ответила – только какая-то горькая усмешка пробежала по ее иссохшим губам…

– Возвратить обездоленным людям их человеческие права не значит *мстить* тем, которые отымали их у них, – скоро вымолвила княжна, – это только *справедливость*!

– Вы совершенно правы, – возразила ей самым мягким тоном Ранцова, – но отдавать этим людям то, что им никогда не принадлежало…

Серые глаза Гундурова заискрились пламенем из своих глубоких впадин:

– Никогла не принадлежало! – воскликнул он. – Не знаю, простительно ли русской женщине не ведать истории своего народа, но позорно тем, которые заведомо вводят ее в заблуждение…

– Княгиня Андомская! – прервал его, входя опять, слуга.

Молодая фрейлина несколько удивленно подняла голову и промолвила: «Проси!»

По лицу Ольги Елпидифоровны пробежало нервное содрогание; глаза ее на миг устремились на дверь и тут же опустились – она успела совладать с собой и *приготовиться…*

Княгиня Андомская могла действительно внушать страх всякому злополучному существу, кто бы ни было оно, женщина или мужчина, не пустившему глубоких корней в петербургском свете. По «мировоззрению» своему она принадлежала к редкому уже и в те дни species того балтийского «майоратсгерра», который, гуляя один-одинехонек по пустынным залам своего замка, восклицал в священном восторге: «Wenn Ich nur maldenke, wie ich vornehm bin, so wird’s mir ganz schauderhaft»[43]! Но княгиня не довольствовалась одним личным культом своей знатности: она еще почитала нужным подавлять им весь окружающий мир, доказывать этому миру при всяком удобном случае, что ее *сливки* не имеют ничего общего с вульгарною сывороткой остального человечества. «Знаете, что я не допущу никогда ваши низкопробные волны дохлестнуть до моей родовитой скалы», казалось, говорили ее взгляды, ее движения, вся ее ледяная, с выражением глубокой презрительности и смертельной скуки, наружность… Скука, скажем кстати, была высшим идеалом княгини Андомской – скука *благородная, «entre gens de son bord»*, в тесном, исключительном, *убийственно-комильфотном* кружке, где каждый и каждая знают друг друга до тошноты и кличут с детства теми невероятными уменьшительными на *ни*, на *на*, на *би*, на *та,* на *ту* — Санни, Динни, Джибби, Нини, Нана, Тата, Туту, – корня которых не в состоянии был бы отыскать ни один санскритолог, и которые, как известно, составляют признак самого утонченного российского fashion; – кружке, где говорят своим особым франмасонским языком, полным полусловечек и намеков, ведомых только посвященным и вызывающих одновременно, как бы по команде, улыбку или вздох на устах или из груди каждого из них; – кружке, наконец, где, кроме этой завидной привилегии благородно скучать «entre soi» и вечного страха допустить до того же наслаждения остальных смертных, не существует, увы, никакого иного идеала, ни счастья, ни стремлений, ни задачи в жизни.

«Les gens de peu», как выражалась княгиня Андомская, – под этим понимались все люди, не имеющие 50,000 дохода и «которые *никому* не родня» (никому из ее круга, разумеется), –

внушали ей этим самым глубокую враждебность, как только замечала она в них малейшее поползновение пробиться из своего «ничтожества» на солнце большого света, к тем высотам картонного изделия, которые она и ей подобные искони привыкли оберегать с лютостью мифического дракона Гесперидовых садов. Горе тем из этих злополучных, кого случай подвертывал под ее удары, подводил под зоркое внимание ее беспощадных серых глаз.

Ей было лет тридцать с хвостиком. Белокурая как лен, узкая и плоская, как доска, с правильными, но острыми чертами, большим ртом, крупные, ровные и крепкие зубы которого заставляли невольно вспомнить о челюсти хищной рыбы, и тонким носом, начинавшим краснеть на своей конечности, она была, как говорится, очень «аристократична», но настолько же не привлекательна на взгляд.

Она вошла, не то надменно, не то брезгливо поджав губы и устремив прижмуренные глаза вперед, как бы с тем, чтобы дать себе с первого раза отчет, *«какое* общество могла она встретить здесь», и с первого же раза почувствовала себя крайне раздосадованною и оскорбленною. Вместе с какою-то монахиней и неизвестным ей молодым человеком, «une nonne et un monsieur quelconque», сидела в гостиной «этой фрейлины» женщина, которую она, дочь графа Наташанцева, почитала обязанностью ненавидеть всею своею ненавистью, «de toute son: indignation et de toute sa haine», – сидела именно теперь, когда она приехала сюда с намерением поднять против нее бурю…

Она еле-еле удостоила княжну пожатием руки, опустилась подле нее на диван и, как бы для того чтобы не дать ей времени представить ей своих гостей, поспешно заговорила, опустив глаза на крошечные часы в бриллиантовой оправе, вынутые ею из-под своей перчатки.

– Я думала увидеть великую княгиню после обедни (разговор она вела, само собою, по-французски), но мне сказали, что она занята и не принимает… Гофмейстерина ваша больна, в постели… Я зашла к вам, мне нужно было с вами переговорить… но я вижу, что у *вас* сегодня *приемный день,* – подчеркнула она самым вызывающим тоном.

Ноздри у Кубенской мгновенно раздулись: зеленые глаза ее блеснули.

– Да, княгиня, я принимаю сегодня, – словно отчеканила она медленно и твердо, – и одолжена этому удовольствием видет и *вас* у себя; в другие дни я занята, и дверь моя закрыта *для всех.*

Та приподняла брови с изумленным видом: она никак не ожидала подобной отповеди…

– Мне хотелось переговорить с вами… насчет здешнего бала… – промолвила она уже гораздо мягче и с чем-то похожим на намерение улыбки на длинных и узких губах.

– Вам послано приглашение, – сказала холодно фрейлина.

Княгиня Андомская повела на нее ироническим взглядом: «Еще бы меня обошли приглашением!» – красноречиво говорил он.

– Бал во сколько персон? – спросила она тут же.

– Триста пятьдесят человек…

– Да, мне говорила ее высочество, что находит свою залу не довольно поместительною… и что она хочет поэтому разделить общество на две группы приглашенных, то есть дать два бала…

Княжна утвердительно кивнула.

– Adieu, princesse, je vous quitte! – проговорила в это время мать Нафанаила, вставая с места и давая понять ей сухим тоном этих слов о неудовольствии своем за то, что княжна не позаботилась познакомить ее с этою «важною княгиней», а французскою речью – то, что она вполне была достойна этой чести.

Княжна тотчас же сообразила все это, но нисколько не сочла нужным принять во внимание – ее всю подмывало от внутреннего раздражения – и поднялась в свою очередь:

– Прощайте, матушка!

Она двинулась проводить ее до двери и, тут же вспомнив:

– Вы не знакомы? – обернулась она к оставшимся сидеть дамам. – Княгиня Андомская, madame Rantzof…

И пошла за удалющейся Нафанаилой.

– Я имела уже удовольствие быть вам представленною у графини Оссовицкой, княгиня, – предупредительно, чтобы не сказать искательно, поспешила заговорить Ольга Елпидифоровна, оставшись таким образом глаз на глаз со своею недоброжелательницей.

Та вымерила ее взглядом от стана и до пера ее шляпки, направила его затем к окну и уронила с выражением глубочайшего пренебрежения:

– Да, я вас видела, кажется…

Ранцова вспыхнула по самые волосы… Все расчеты ее на сближение с дочерью своего «друга», на возможность соглашения с нею исчезали теперь как дым… «А если уж так, начистоту, я у тебя в долгу не останусь», – мгновенно заключила она в голове своей, и красивые черты ее приняли с своей стороны боевое выражение…

Гундуров между тем, с шапкой в руке, шагал к двери, остановившись у которой, игуменья легким движением головы звала его к себе.

– Ради Бога, не уходите! – шепнула ему княжна на пути.

Она распростилась окончательно со своею духовною гостьей и отошла к дамам.

А та, остановив на молодом человеке пристальный и жалостливый взгляд, произнесла с тем знакомым ему романическим оттенком интонации, которым звучала ее речь во дни ее *миршества:*

– Не знаю, сподобит ли меня Господь свидеться с вами еще раз, Сергей Михайлович, так я желала сообщить вам на прощанье, что у меня в обители *ее* поминают постоянно за литургией.

И она, склонившись снова пред ним своим глубоким поклоном инокини, исчезла за дверью, очень довольная, по-видимому, эффектом своих слов.

А у него еще раз защемило сердце нестерпимою болью. Он провел рукой по лицу, двинулся машинально за нею… вспомнил смутно о просьбе княжны и, вернувшись к своему месту, опустился на него и задумался глубокою и тяжелою думой.

– Elle parle français, votre nonne? – спрашивала тем временем свысока фрейлину княгиня Андомская, в понятиях которой, само собою, русская монахиня могла быть только «une femme

grossière et de basse classe».

И, не дождавшись ответа, вернулась к предмету своего первого разговора:

– Скажите, кто у вас во дворце составляет списки приглашений?

Княжна отвечала заметно нетерпеливым голосом:

– Во всех дворцах – общие списки, составляемые при большом дворе, и из них отмечаются те лица, которых их высочества желают пригласить.

– Мало ли кто стоит в этих списках, составляемых по адрес-календарю! – высокомерно возразила на это княгиня. – Вопрос в том: *кем* именно делается выбор из них?

– Я вам могу только сказать, княгиня, что это не лежит на моей обязанности, да я бы никогда и не приняла ее на себя.

– Напрасно, потому что может иногда случиться, что в число приглашенных попадут невзначай личности (des personnes), которым здесь вовсе не место, – злобно подчеркнула Андомская.

Ольга Елпидифоровна глянула ей прямо в глаза:

– Какие же могут быть эти личности? – мягчайшим голосом, но с открытым вызовом в лице спросила она.

Та отвечала ей вполоборота:

– Mais tout simplement, madame, des personnes sortant on ne sait d’où, которых никто не знает.

– «Никто», то есть иные женщины? – засмеялась вдруг Ранцова.

– Oui, madame, les femmes comme il faut! – язвительно выговорила княгиня, поглядев на дерзкую вопрошательницу со всей высоты своего имени, общественного положения и ста тысяч ежегодного дохода.

– Et polies comme vous, madame! – с самою изысканною иронией в тоне отпарировала Ольга Елпидифоровна, склоняя пред ней голову соответствовавшим этому тону поклоном.

И, не дав этой «ненавистнице» своей сообразить надлежащий ответ, она шумно поднялась со своего кресла, протянула руку хозяйке, в глазах которой прочла как бы невольное сочувствие и одобрение себе в эту минуту, и со словами:

– До свиданья, княжна, у меня для бала их высочеств платье – une des plus heureuses créations de Worth comme grande toilette, надеюсь, что вам понравится! – вышла, сияя весело глазами, из комнаты, подарив княгиню Андомскую на прощанье новым учтиво-насмешливым кивком.

Она не успела исчезнуть, как петербургская grande dame, вся позеленев от гнева и не смущаясь присутствием Гундурова, которого видела в первый раз в жизни, вскинулась на молодую фрейлину:

– Я не понимаю, княжна, как вам дозволяют принимать подобных госпож!.. Я именно зашла к вам сегодня, не застав ее высочества, чтобы просить вас предварить ее насчет этой женщины. Появление ее у вас во дворце произведет скандал! Vous voyez ses façons! Бог знает, кто она

такая; отец ее был, говорят, un частный пристав, le dernier des derniers…

– В России, – перебила ее княжна, сдерживая себя насколько могла и насилованно улыбаясь, – люди из певчих и брадобреев попадали в графы и князья, так о происхождении, мне кажется, говорить по меньшей мере бесполезно… А у этой дамы муж имеет придворное звание, сама она представлялась и к Большому, и к Малым дворам: она имеет полное право быть приглашенною…

– Mais elle a une réputation affreuse! – вскликнула Андомская, стискивая зубы. – Я не могу вам как девушке рассказывать об этом подробно, но это все знают…

Княжна холодными глазами уставилась на нее:

– Я не понимаю, княгиня, для чего вам угодно говорить мне обо всем этом: приглашения идут прямо от *хозяев этого дома,* – подчеркнула она, – и если госпожа Ранцова получила его, то на то, вероятно, имелись основания, в обсуждение которых я не обязана, да и нисколько не желаю вступать.

– Основания! – повторила та, ядовито улыбаясь. – Приглашение этой женщине *выпрошено…* и я знаю кем!

– Может быть, – молвила княжна с невольной усмешкой.

Гостья ее судорожно вспрянула со своего дивана.

– J’ai à vous parler seule! – пылко вымолвила она. – Pardon, monsieur! – добавила она, исполняя по привычке обряд светского внешнего приличия, обернувшись к Гундурову, который все это время, глубоко сосредоточенный в собственных мыслях, наполовину и не слыхал предыдущего разговора, и быстрыми щагами направилась к окну.

Фрейлина последовала за нею, кинув на молодого человека умоляющий взгляд: не взыщите, мол, ради Бога, и потерпите еще немножко!..

Княгиня Андомская приперла ее к амбразуре окна и заговорила взволнованным шопотом:

– О *ней* просил мой отец, не правда ли?

– Я не знаю, княгиня, может быть.

– Не играйте в тайны со мною, прошу вас! Я все вижу и понимаю. Отца моего любят и везде готовы сделать ему приятное… В настоящую минуту – это несчастие! Cette femme la ensorcelé, она делает из него, что хочет, и те, кто теперь снисходят к его слабости к ней, оказывают ему дурную услугу, а семейство его приводят в отчаяние… Ведь она рассчитывает ni plus ni moins, как за него выйти замуж от живого мужа! Вы понимаете, какой это был бы позор, quel déshonneur pour nous… Я и вас очень прошу, княжна, передать эти мои слова буквально à qui de droit… Здесь были всегда так благосклонны ко мне, что я надеюсь, меня не захотят огорчить напрасно…

– Но чтобы не огорчать вас, княгиня, – спокойно заметила княжна, – чего стоило ей это спокойствие! – пришлось бы еще более теперь огорчить графа, отца вашего. Ведь для исполнения вашего желания нужно было бы потребовать назад приглашение, уже посланное этой даме?

Княгиня Андомская закинула назад голову движением какой-то оскорбленной орлицы:

– Mais où serait donc la morale, le respect de soi, les devoirs: qu'impose le rang, – вскликнула она, – если бы здесь не умели делать разницы между мною… et cette créature!.. Мне оставалось бы только тогда бежать навсегда отсюда, m'expatrier! – прибавила она с некоторым уже как бы угрожающим пафосом.

Княжна молча поглядела на нее. «И не убежишь, и „respect de soi" не помешает тебе приехать преспокойно на тот самый бал, где будет эта ненавистная тебе „créature", и все эти чужеземные, выученные фразы, за которыми нет никакого своего самостоятельного содержания… и все вы надоели мне до смерти, до отчаянья!» – проносилось у нее в голове.

– Я надеюсь, chère princesse, – говорила между тем ее собеседница, – что вы поймете, как важно все, что я вам сейчас сказала, и поторопитесь передать это, как я вас просила…

– Извините меня, княгиня, – к удивлению и досаде своей, услышала она ответ, – но я никак не почитаю возможным взять это на себя. Если вам угодно, чтоб о вашем неудовольствии известно было, где нужно, вы гораздо легче можете это сделать сами, чем чрез меня: вас здесь знают с детства, у вас большое положение, а я – пришлая, чужая… да и, признаюсь, не имею ни малейшей охоты, – сорвалось как-то неудержимо с языка княжны, – de tirer les marrons du feu pour qui que ce soit!

Княгиня Андомская вся превратилась в оцет и желчь. Она подобрала губы, прижала нервным движением локтей одевавшую ее мантилью туже к бедрам и, скользнув по дерзкой «фрелке» (как выразилась бы Марья Яковлевна Лукоянова) змеиным взглядом:

– Merci de l'aveu, mademoiselle, je m'y conformerai! – прошипела она и с места, словно на колесцах, покатила к дверям, не оборачиваясь.

Княжна, исполняя свой хозяйский долг, проводила ее тем не менее до передней, обменялась с ней там ледяным поклоном и, вернувшись в гостиную, вся бледная, с дрожащими ноздрями и потемневшим взором, опустилась на прежнее свое место у чайного стола, откинула голову к стене и уронила обе руки:

– Вы видели, слышали, – обратилась она к Гундурову, безмолвно следившему за ее движениями, – вот моя жизнь! мне мочи нет!..

Он все так же молчал и глядел на нее.

– Извините меня за то, что я заставила вас выслушивать все эти пошлости, – продолжала она все с тем же волнением, – но вы по крайней мере можете себе составить по ним понятия о наших нравах… Дрязги, сплетни, интриги, подкопы друг под друга, попрошайничество, чванство, низкопоклонство!.. И сейчас же враги, как только отказываешься служить их узеньким, гаденьким расчетам или ненавистям… Вот она, cette grande dame, я уж знаю, отправилась прямо отсюда жаловаться и сплетничать на меня… Но довольно об этом, – прервала она себя вдруг, – я позволила себе так откровенно говорить с вами… с которым я еще так мало знакома… но иногда мне приходится не в силу, а вы… вы поймете, я знаю…

Она обернулась вдруг прямо к нему, наклонилась.

– Кто-нибудь опять может помешать нам, а я хотела вам сообщить очень важную новость. Знаете ли вы, кто будет на месте покойного Ростовцова?

– Нет, не знаю!

И глаза Гундурова с тревожным любопытством воззрились на княжну.

– Граф Вилин.

– Что вы говорите! – воскликнул он чуть не испуганно.

– Мне известно из прямого источника, – сказала она, утвердительно качнув головой, – это, разумеется, пока большой секрет, и вы меня не выдадите, но верно… Это ужасно, не правда ли?..

– Полный поворот, значит, – пробормотал он побледневшими устами.

– Он, говорят, совершенный ретроград, un étouffoir?

– Бюрократ на барской подкладке, худшая порода людей, какую я знаю! – воскликнул негодующим голосом Гундуров.

– Ах, вам надобно показать об этом… о бюрократизме именно! – быстро проговорила княжна, вскакивая с места, – я только что получила последний листок *Колокола…*

Она пробежала в свой кабинет-спальню и вынесла оттуда нумер.

– Вот что он говорит между прочим, – читала она на ходу, – «Редакционные комиссии принимают в самом деле несносную форму бюрократического учреждения»[44]…

– Правда это, Сергей Михайлович? – спросила она, усаживаясь опять подле него.

Он нахмурился, как бы смущенный ее словами; она видимо коснулась его какого-то больного места.

– Что же далее? – спросил и он вместо ответа.

– А вот: «Наше дворянство никогда не осилит язвы бюрократизма, потому что бюрократизм только его дополнение; одна нога дворянства – помещичья, другая – чиновничья, и обе давят народ».

Глаза его загорелись.

– Что же, это правда! – воскликнул он. – Но бюрократия создана не дворянством, а властью, как орудие и оплот против аристократического начала на Руси, – вот что забывает Герцен! Обе они равно – зло для народа, это бесспорно. Но из двух зол оно все-таки меньшее. Бюрократия разумеет смысл своего происхождения, бюрократия не заинтересована в сохранении крепостной зависимости крестьян от дворянства; она, вследствие того особого значения, которое придали ей условия нашего исторического склада, привлекает в среду свою способнейших людей страны… Она, само собой, в *этом* деле, как и во всяком другом, гнетет на свой рутинный, мелкий… часто все мертвящий шаблон. Что же делать?

Глубокий вздох вырвался из груди Гундурова:

– Мы, *люди земли,* люди независимые от службы, должны были сделать ей и там, в комиссиях, многие уступки[45]… Но мы сделали это, – добавил он с загоревшимся опять взглядом, – в полном убеждении, что освобожденная народная жизнь сумеет обойти искусственные путы и

загородки, нагроможденные канцелярщиной в готовящемся для него новом положении… а в дальнейшем своем развитии «подавить» в свою очередь как дворянство, так и бюрократию и поставить вместо них свои коренные, никогда не умиравшие в его разумении формы быта…

– На-днях, за обедом… на который я была приглашена, – молвила княжна, – выражена была такая мысль, что дворянство не продержится и десяти лет после уничтожения крепостного права.

Гундуров пожал плечами; лицо его приняло сухое, чуть не злое выражение:

– А Бог с ним, его песенка спета!..

И как бы отвечая на вопросительный взгляд девушки:

– Тут у вас сейчас эта модная барыня, я ее давно знаю, – пустейшее существо… но она служит эхом партии наших *феодалов…* Вы слышали, что за чушь несла она с их слов: не следует, мол, *мстить* дворянству, то есть, отдавать крестьянам «то, что им никогда не принадлежало»… Что за извращение фактов, понятий, какое непростительное невежество! Эти милые господа пресерьезно воображают себя потомками каких-то сподвижников нового Вильгельма Завоевателя, покорившего с их помощью Россию и поделившего ее между ними… Они не знают или не хотят знать азбуки вопроса – не знают прежде всего, что с прикреплением крестьян к земле при Годунове крестянин, утратив право свободного перехода, получил за *это* неотъемлемое право на тот участок земли, на котором застал его указ о прикреплепии; *земля эта у правительства уже навсегда зачислялась в крестьянские* и таковою постоянно писалась во всех правительственных росписях и книгах… Они не хотят знать затем, – продолжал Гундуров, оживляясь постепенно все более и более, – что дворяне имели право владеть населенными имениями и вообще крепостными людьми только под условием службы государству, потому что они никогда ни чем иным и не были как *служилыми,* обязанными людьми, которым государство вместо жалованья платило трудом в их пользу этих крестьян, населявших жалованные им поместья; уклонялся дворянин от службы, и вотчины его и поместья вместе с их населением отбирались в казну без дальнейшего разговора… Эти два понятия – о неоспоримом праве крестьян на землю и о raason d'être дворянства как землевладельческого сословия единственно в силу его служилых обязанностей государству – держались неразрывно и незыблемо в течение двух веков не только в народном – они у народа никогда не изменялись – но и в правительственном сознании до знаменитого манифеста Петра III о «вольности дворянской» – одного из антинациональнейших и беззаконнейших правительственных актов во всей нашей истории, так как освобождение служилого сословия от его прежних обязанностей к государству должно было ео ipso, в силу самой простой справедливости, освободить подчиненных ему до тех пор крестян от дальнейшего обязательного труда в пользу ничем уже не обязанных помещиков, а оно, вопреки всякой логике и правде, обратило их окончательно в рабов… Но я замечаю, что я вам целую лекцию прочел… и притом горячусь, – молвил, прерывая свою речь и слабо усмехаясь, Гундуров, – а я именно шел к вам сегодня в чаянии успокоения от наших ежедневных треволнений там в комиссии…

– Ах нет, пожалуйста, продолжайте, Сергей Михайлович, – оживленно молвила княжна, – если бы вы знали, как такие «лекции» полезны! Ведь все мы в нашем *монде* как в потемках ходим…

– Если это вас интересует, я вам пришлю только что появившуюся очень хорошую книгу московского профессора Беляева об этом предмете[46]; вы прочтете там все подробно… а пока я скажу вам лишь следующее, княжна: если бы наше любезное дворянство было получше знакомо с отечественною историей, оно поняло бы, что то, что от него требуется в настоящую

пору правительством, не только не посягательство на его собственность, а прямая, священная и от манифеста Петра III и дворянской грамоты Екатерины лишь отсроченная по наше время уплата долга его русскому народу… Оспаривать неотъемлемое право русского крестьянства на орошенную потом отцов его землю есть преступление против нашей истории, против всего духа нашей народности, – загорячился опять Гундуров, – преступление, на которое способны только люди, порвавшие давно все кровные связи свои с народом, живущие чужою ему, беспочвенною и бессмысленною жизнью!.. Вы сказали сейчас, что дворянство погибнет вслед за упразднением крепостного состояния, – туда ему и дорога… Пусть погибнет из него все то, что не умеет быть русским ни головой, ни сердцем!.. А Россия не пропадет, княжна: избыв рабство, она возвращается к исконному синтезу своего исторического бытия: Церковь, царь и народ…

Она слушала его внимательно и алчно, вся прикованная, как говорится, к его устам. Эта горячая и суровая речь с ее несколько дидактическим, несколько «профессорским» оттенком была так мало похожа на все то, что приходилось ей обыкновенно слышать! Слова его подымали собственную ее энергию, воскрешали невольно все те полувеликодушные, получестолюбивые чаяния, с которыми поступила она во дворец… Поступая сюда, она мечтала о «деятельности», о служении «высоким идеям человечества»; она рассчитывала «проводить» их влиянием своим на авторитетных лиц, с которыми должна была состоять в ближайшем и постоянном общении. Смутными и раздражающими грезами была полна в те дни голова ее; она много читала, знала историю, хранила твердо в памяти «*все*, что могла *всегда* сделать *женщина,* когда она этого сильно хотела», начиная хоть со времен Эсфири и Аспазии и кончая XVIII, – «этим по преимуществу *женским* веком», рассуждала она… Княгиня Дашкова, преданная и строптивая сподвижница Екатерины *(Записки* которой, напечатанные Герценом в своей «вольной» лондонской типографии, жадно читались в ту пору в России), приводила ее в восторг. «Связать когда-нибудь свое имя, – как сделала эта, такая же как она 20-летняя, смелая, независимая умом и нравом, женщина, – с великим историческим событием, держать в руках его нити, замыслить его и наполнить, убедить сомневающихся, увлечь нерешительных, направить и повести за собой толпу», – таковы были сокровенные, заветные мечты молодой фрейлины, когда, под впечатлением ее своеобразной красоты, ее прямых и резких речей, ее встретил в этих стенах один из тех *succès d'engouement*, которые в придворной среде еще более, может быть, чем среди простых смертных бывают столько же внезапны и неожиданны, как и скоропреходящи. Успех на первых порах был полный… Но она очень скоро должна была заметить, что *влияние* ее нисколько не росло, да и что достигни оно в действительности самых крайних своих пределов, все же было бы оно не более, как капля в море, по отношению к тем обширным горизонтам, к которым неслась отвага ее юных помыслов. Ее суждения о «государственных делах» *потешали* только тех авторитетных лиц, пред которыми она считала нужным «проповедывать» их; они снисходили к этой ее «ориганальности», соглашались даже иной раз, en passant и смеясь, с вырывавшимся из ее уст каким-нибудь метким и задорным замечанием, но нисколько не расположены были – она это понимала – поощрять ее на роль нимфы Эгерии ни у себя, ни у кого-либо другого… Да и самое то, к чему влеклась она беспокойною душой своею, было чуждо и непонятно этим лицам. У них было свое определенное дело, свой традиционный кругозор, свой официальный круг обязанностей и действий, за который они, совершенно основательно со своей точки зрения, не почитали себя вправе, да и не желали заходить. Те вопросы *высшего содержания,* около которых вечно вертелась мысль княжны Кубенской, как бы вовсе не находили отзвука под кровлей величавого здания, в котором обитала она…

Ее скоро стало нестерпимо томить ее положение. Воспоминания прошлого делали для нее еще чувствительнее ее настоящее «ничтожество». В далеком и обширном краю, в постоянном обществе умного, образованного и опытного отца, которому она весьма часто служила

секретарем, она с детства привыкла к деловому обиходу, к сосредоточению мысли на интересах и заботах крупного свойства. Она думала найти, создать себе и здесь нечто подобное… Увы, деловитость ее и грамотность оказывались здесь пригодными лишь на занятия, глубоко претившие ей и оскорблявшие ее внутреннюю гордость. Отвечать казенным французским письмом о дне и часе приема; прочесть «по поручению начальства» какой-нибудь модный в данную минуту французский или английский роман и передать его содержание, «когда не о чем, более интересном, говорить»; занимать по долгу службы «приятным разговором» на вечере или за обедом какого-нибудь гофмаршала или адъютанта из свиты иностранного принца, приехавшего в Петербург по случаю российского высокоторжественного дня; сидеть *en grande toilette* в этот высокоторжественный день рядом с тем же гофмаршалом и дежурным генерал-адъютантом на спектакле в большой средней царской ложе… «и ничего, ничего больше!» – говорила она себе с отчаянием, с ужасающим сознанием, что это «ничего больше» не только не требуют от нее, но и никогда не дозволили бы ей…

А между тем «великое событие», пред которым должно было побледнеть все, что совершено было в век княгини Дашковой, готовилось для России… Помышление о нем поглощало теперь все существо нашей фрейлины… Она негодовала и злилась за то «равнодушие» и несколько даже насмешливый тон, с которым отвечали кругом нее на ее лихорадочное отношение к делу крестьянского освобождения. «Гнилая, отжившая среда!» – повторяла она часто слова Иринарха Овцына… В Михайловском дворце (она была там persona grata), куда ездила, сколько могла чаще, она сблизилась с группой «либеральных» людей, которые находили там высокое покровительство и к которым примыкал Гундуров. Она горячо сроднилась с их воззрениями, жила их борьбой, их надеждами и их опасениями… О, что бы дала она, чтоб иметь, как они, официальное право заступничества «за угнетенный народ» против «тунеядцев и идиотов *феодальной* партии с их претензиями добироновских верховников и трусливыми душонками византийских царедворцев», как ядовито выразился однажды в разговоре с нею тот же Гундуров…

– Да, вы правы, – говорила она ему теперь с искрившимися от внутреннего волнения глазами, – надо пожить, как я, во дворце, чтобы видеть вблизи, чего стоит уж одна наша светская и придворная soi-disant аристократия; вы правы: «песенка их спета»… Но они еще не сознают этого, не уступают поля, Сергей Михайлович; они еще в состоянии оттянуть, похоронить дело освобождения… Назначение графа Вилина…

Он весь изменился в лице.

– О, Боже мой! – вскрикнул он, прерывая ее. – Я увлекся сейчас общими рассуждениями, а это из головы вон!.. Верно это, княжна, совершенно верно?

– Несомненно, к несчастью, – сказала она, – я это слышала у *нас* сегодня за завтраком… Против этого надо принять меры, Сергей Михайлович! – добавила она через миг.

– Какие меры! Это, видимо, поворот… уступка всему этому плачу и стону плантаторской клики… Вчера еще, после получения государем предсмертной записки покойного и августейших слов по этому поводу, можно было надеяться… но видно с тех пор успели переделать…

– В Михайловском дворце об этом еще не известно, я знаю… Надо скорей известить, – заговорила опять княжна, – там могут еще, может быть, предотвратить удар… написать, объяснить…

– Я сейчас туда съезжу, передам, – молвил в раздумье Гундуров, – но едва ли это поможет.

Если, как говорите вы, рещение принято, это не сделано же наобум! Очевидно, что произошло что-то, изменение намерений…

– Знаете что, – воскликнула она неожиданно, – Вилин может отказаться!

– Почему вы думаете?

– Он должен это сделать, если он хоть сколько-нибудь себя уважает! – пылко объяснила она. – Иначе он будет или изменником воле Государя, или изменником своей партии и своим убеждениям…

– Примет и – сведет дело на нет! – желчно засмеялся на это Гундуров.

Глаза девушки мгновенно потемнели, ноздри дрогнули с выражением какой-то совершенно мужской решительности:

– Он этого не посмеет сделать… ему не позволят… Он должен отказаться, – упорно повторила она, – если он этого сам не поймет, ему это нужно доказать!..

Гундуров устойчиво поглядел на нее, взял шапку свою со стула и поднялся.

– Это разъяснится на днях. Если в самом деле возобладала реакция, мы, люди земли, не станем, конечно, ожидать, чтобы нас погнали: мы уйдем сами по первому ее признаку.

Он сдерживался, но княжна видела, как от обымавшего его раздражения судорожно моргали его глаза и нервное дерганье поводило ему щеку.

– Он откажется – я вам отвечаю! – воскликнула она, сама вся бледная, протягивая руку молодому человеку.

Он чуть-чуть усмехнулся, пожал ее и вышел.

Княжна, оставшись одна, встала, медленными шагами подошла к окну и, приткнувшись лбом к холодному стеклу, устремила глаза на улицу. По широкой площади с глухим гулом сновали экипажи, стремительно скользили офицерские санки, развевались султаны на касках проходившего караула…

Но зеленые зрачки ее ничего не видели, словно та же темь стояла пред нею, как и в глубине ее тоскующей и возмущенной души…

– Кира Никитишна… ваше сиятельство, – пробудил ее чей-то голос из задумчивости… Она оторвала глаза от окна.

На пороге полуотворенной двери в ее кабинет стояла знакомая читателю синеокая Анфиса и кивала ей, как бы таинственно маня ее к себе.

– Что вам надобно? – несколько резко спросила она, не двигаясь с места.

Анфиса окинула гостиную осторожным взглядом, приперла за собою дверь и бесшумно подошла к ней.

– Тут у меня в комнате сидит… – она замялась и поглядела «на свою барышню» не то робко, не то пытливо, – просится к вам…

– Кто? – прервала ее Кира, сдвигая брови.

– Да… Иринарх Степаныч… господин Овцын…

– Что ему нужно? – гневно воскликнула княжна. – И что это за манера… пробираться вором каким-то! Как он попал?

– Да черным ходом поднялись, из кухонь стало-быть… *Колидором* ко мне и прошел… Я их пущать даже спервоначала не хотела, – мало что ли у нас брехни-то, не весть еще что наплетут, люди-то здесь, сами знаете, какие!..

– И хорошо сделали!.. А еще лучше, когда попросите его теперь уйти; я его не желаю видеть.

На лице Анфисы изобразилось видимое одобрение этим словам. Она качнула головой, повернулась идти и – остановилась, вспомнив:

– Они принесли с собою ларец какой-то. Говорят, беспременно вам передать надо, а что сами завтра и совсем уезжают, из *Петербурха* тоись…

– Что за вздор такой… передать… и от кого? – спрашивала, продолжая хмуриться, княжна.

– Не знаю-с, а только говорят, что беспременно нужно… и всего, говорят, «на десять минут разговору прошу».

Девушка помолчала, очевидно колеблясь…

– Во всяком случае, – сказала она наконец, пожимая плечами, – я ему никак не позволю пройти черным ходом и чрез мою спальню… Если ему так необходимо меня видеть, скажите ему, что может войти как все, чрез переднюю…

– Слушаю-с… Пустой господин по всему! – промолвила сквозь зубы Анфиса, выходя из гостиной.

Чрез несколько минут придворный лакей княжны, мелькнув в отверстии полураскрытой им двери передней абрисом своего красного жилета и галунов с орлами, – он не почел нужным войти в комнату всею своею достойною особой для того *мизерного* имени, о каком приходилось ему теперь докладывать, – произнес ленивым, будто со сна, голосом:

– Господин Овцын!..

«Господин Овцын» был в статском, опрятном платье и даже в перчатках: он видимо постарался явиться сюда в наивозможно приличном виде. Длинные, запущенные за уши волосы и широкая мягкая шляпа *sombrero,* как называли их во время оно, которую волочил он, низко опустив руку, могли лишь разве служить признаками принадлежности его к той особой породе человеческих существ, которая тогда торжественно и победно со всех столбцов петербургской печати кликала себя громкою кличкой «новых людей» и «солью земли русской».

Вошел, впрочем, «новый человек», как можно было заметить, гораздо более храбрясь наружно, чем самоуверенно внутренно. Глаза его бегали по сторонам с каким-то напускно-рассеянным видом, а в сущности избегая прямо и зорко направленного на него из глубины комнаты взгляда молодой хозяйки.

Она все так же стояла у окна, опершись спиной об угол его амбразуры, «стояла, чтобы не быть

принужденною пригласить его сесть», – он это тотчас же понял…

Губы его повело судорогой… Он осилил себя и, подойдя к девушке, поклонился коротким, но вежливым по намерению поклоном.

– Здравствуйте, Кира Никитишна, – чуть-чуть дрогнувшим голосом проговорил он.

Она наклонила голову в ответ и продолжала молча-вопросительно глядеть на него.

– Здоровы?.. Нечего и спрашивать, – перебил он себя тут же, – все по-прежнему… Ну и прекрасно, значит!..

– Вы говорили моей горничной, – сухо заговорила она в свою очередь, – вам что-то необходимо передать мне?..

Он не отвечал на этот вопрос; прищурившись, он поводил взглядом кругом себя, как бы разглядывая любопытно окружающие предметы, и перекидывал машинально свой sombrero из одной руки в другую.

– Давно-с не бывал я в ваших палатах, – молвил он, словно пробуя и отыскивая тон, каким вести с нею дальнейший разговор, – давно-с!.. И принимали меня здесь когда-то иначе. Да, времена, известно, переменчивы, – насильственно хихикнул он вдруг, – об этом даже некий древний римлянин стихами выразился…

Княжна молчала.

– В последний раз, вероятно, и вхожу сегодня под сень сию, – продолжал Овцын тем же насилованно-ироническим тоном, – изгнан бе со срамом велиим и – безвозвратно… Так я говорю-с?

Глаза девушки мгновенно потемнели:

– Я не желаю видеть людей, настолько дерзких, что они дозволили себе забыться со мной!

Все лицо Иринарха передернуло. Он вскинул теперь в первый раз прямо на нее свои серые зрачки с каким-то пылающим выражением и злобы, и страсти…

– Ну, конечно, вы – и я, звезда – и червь!.. Как же сметь мне было, – он заикался и путался в словах от раздраженного волнения, – как сметь!.. Я не салонный пустозвон, я миндальничать не умею… Я не облекал свое… чувство в сентиментальный сумбур старого романтизма… Я понимал так, что и вы далеко отошли от него, что и вы отрешились от старых понятий и желаете идти свободною дорогой…

– Довольно, *monsieur Овцын,* – перебила его Кира, – к этому возвращаться не для чего! Если вам что-нибудь от меня нужно…

– Ну да, – не слушал он ее, – я высказался пред вами откровенно, под влиянием того здорового, естественного влечения, которое человек развитой испытывает к такому же здоровому и способному, я полагал, к правильно развитому женскому существу; ваши придворные *грандёры,* я полагал, не успели извратить в вас способность здравого мышления…

– Предваряю вас, – молвила княжна, возвышая голос, – что если вы намерены еще говорить об этом, я уйду из комнаты!..

Он как-то вдруг разом обробел и замолк. Руки его нервно сжались и словно закоченели, ухватившись всеми десятью пальцами за широкие поля его шляпы.

Кира видела это, и по надменным губам ее пробежала мимолетная усмешка (женщин всегда подкупает покорство)…

– Что же вам нужно от меня теперь? – спросила она чрез несколько времени с несколько уже смягченною интонацией в голосе. – Вы принесли мне, говорят, какой-то ящик… Где он?

– Я оставил его у вашей служанки, – ответил он, усиливаясь в свою очередь говорить спокойно и твердо, – пред вашим придворным цербером я почел бесполезным проносить его…

– От кого это?..

– От меня, собственно… если позволите, – сказал Иринарх, попадая опять на пошиб обычной своей развязности, – так как я уезжаю отсюда завтра…

– Куда? – невольно сорвался у нее вопрос.

– С *поручением* в Лондон, – многозначительно протянул он в ответ.

Кира поглядела на него:

– К Герцену? – медленно и тихо вымолвила она.

Он хихикнул:

– Само собою-с!

– Для чего?

– С *поручением,* – повторил он. – Да и для личного объяснения притом… Читали вы его последний нумер?

– Читала.

– Заметили там «Письмо из России» и ответ его по этому случаю?[47]

– Где ему советуют «звать Россию *к топору»?*

– Да, да, именно! – воскликнул Иринарх, сверкнув глазами.

– А он отвечает, что он враг кровавых переворотов и что во всяком случае не из Лондона мог бы такой зов поднять русский народ?

– Другими словами-с, – фыркнул Овцын, – я, мол, на словах богатырь, а на деле – тот же *буржуа* и *постепеновец…* Вот-с об этом мы и потолкуем с достопочтейным Александром Ивановичем! – добавил он, перекашивая губы судорожною гримасой.

Княжна еще раз поглядела на него.

– Это *вы* писали ему о «топоре»?

Он откинул волосы назад и как бы встряхнул этим движением все свое жидкое тело назад.

– Ну, кто бы там ни писал-с… а что ему об этом прочтется подобающая нотация, будьте насчет сего благонадежны-с!

– Как же это вы едете? – полюбопытствовала она. – Вы оставили университет?

– Распростился! Вольный гражданин отечества… и, по всей вероятности, *вселенной,* – произнес он с ударением и вскинул на нее исподлобья взгляд, в котором читалось жадное желание уловить скорее впечатление, какое могли произвести эти слова его на нее.

Но ничего он прочесть на лице ее не мог: она отвернулась и глядела на улицу.

– Так вот-с, – отрывисто, с едва одолеваемою досадой в звуке голоса, начал он чрез миг, – уезжая из Петербурга на… неопределенное время, я и возымел счастливую мысль просить вас сохранить у себя мои бумаги.

Она с раскрывшимися широко от изумления глазами повела теперь головою в его сторону:

– Отчего именно меня, и почему это такая, по-вашему, «счастливая» мысль?

– Очень просто-с, – ответил он самым бесцеремонным и самоуверенным тоном, – потому что если бы полицейским ищейкам удалось напасть на их след, дальнозоркость их замерла бы тотчас пред *внушительною* неприкосновенностью вашего обиталища.

Он ее огорошил этими словами в первую минуту. Но она тотчас овладела собой.

– И вы полагаете, – спросила она свысока, – что я не могу вам отказать в такой просьбе?

– Полагаю и – даже уверен, – сказал он, глядя на нее зорким и острым взглядом, – уверен-с, потому что в этих бумагах содержится касающееся не одного меня; уничтожить их я не имею права, скрыть куда в ином месте – нашел неудобным… а вас, несмотря на существующие между нами… недоразумения, – нахально промолвил он, – почитаю настолько *честною* личностью, что вы не захотите отказом вашим подвергнуть гибели лучших людей в России.

Она хотела возразить… и не решилась… Он взывал к ее великодушию, говорил о «лучших людях» (кто не верил в ту пору в существование этих «лучших людей»!), которые могли «погибнуть» вследствие ее отказа; дело касалось, наконец, все тех же «высоких идей человечества», которым сама она так горячо стремилась служить…

– Что же есть в этих бумагах? – спросила она неуверенным голосом, как бы откладывая минуту решительного ответа.

– Долго было бы рассказывать. Интересного много-с, одно могу сказать, над чем людям правительства пришлось бы провести дрожа не одну бессонную ночь! – сказал Иринарх, мрачно и грозно насупливая брови. – Они запечатаны, впрочем, и чтение их, таким образом, скомпрометировать вас не может, – язвительно прибавил он к этому, как бы в отместку за эту ее «нерешительность». Она только презрительно усмехнулась на это.

– Вы говорили, что едете на «неопределенное» время, – молвила она помолчав, – что же мне делать с этими бумагами, если вы долго… или *совсем* не возвратитесь?

– К вам явится в таком случае неизвестная вам личность и вручит вам в руки или чрез вашу прислугу запечатанный конверт, под которым вы найдете листок с надписью: *Земля и Воля*; этого будет достаточно. Вы этой личности передадите ящик, а он вам даст в принятии его

расписку с подписью им двух букв: З. и В. Вот и все!

Княжна чуть-чуть кивнула головой: хорошо, мол!

Настало довольно продолжительное молчание. Он мял задумчиво свою шляпу в руках, она опять уткнулась глазами в окно.

– А теперь *все*? – скучающим голосом произнесла она наконец.

– Все… – несколько озадаченно промолвил он.

И вдруг глаза его загорелись вновь страстным пламенем, задрожали бледные губы.

– Я не хотел бы расстаться с вами, Кира Никитишна, – залепетал он, – не разъяснив всего того, что в поводах ваших к неудовольствию на меня…

Она остановила его сразу повелительным движением руки:

– Позвольте!..

И, направившись быстрою поступью к двери соседней комнаты, она полуотворила ее и кликнула:

– Анфиса Дмитриевна!

– Что прикажете? – отозвалась немедленно та, убиравшая что-то в спальне.

– Господин Овцын оставил у вас какой-то ящик, принесите его сюда.

– Сейчас, ваше сиятельство!

Синеокая женщина побежала в свою комнату, между тем как Кира, недвижимо стоя на том же месте, казалось, говорила всем выражением своего облика: «Вздумай начать опять, и я скроюсь и замкнусь за этою дверью».

«Ларец», вынесенный Анфисой, оказался не очень объемистым, но тяжелым (она насилу удерживала его в руках) коробом, сколоченным из тонких белых досок; он обмотан был накрест бечевкою, а концы ее припечатаны сургучом большою, аляповатою печатью.

Она опустила – уронила его почти на пол у ног княжны и встряхнула обеими, натуженными носкою его руками своими.

– Тут ваши бумаги? – спросила как бы официально Кира, полуопуская на него глаза.

– Тут! – словно прошипел «новый человек».

– Хорошо! – коротко сказала она, приподняла голову – и медленно опустила ее тут же в форме поклона, самым несомненным образом сказавшего ему, что затем ничего иного не осталось делать, как ответить тем же и удалиться восвояси.

Иринарх побагровел, позеленел, заморгал веками; губы его зашевелились, как бы готовясь разразиться потоком неудержимых слов… и ничего не выговорили. Под ледяным, упорно и бестрепетно направленным на него взглядом обеих женщин он опустил мимо воли дерзкие глаза свои, коротко и неловко повел всем своим туловищем вместо ответного поклона и,

размахивая, как говорится «для контенанса» шляпой, вышел торопливо из комнаты.

– Куда мы это денем? – молвила, едва успел он исчезнуть, княжна с несколько гадливым оттенком в выражении, притрогиваясь носком ботинки к стоявшему все также у ног ее коробу.

– А в печь? – отвечала на это с полуусмешкой Анфиса, устремляя на нее сбоку свои умные глаза.

Брови Киры досадливо сжались:

– Нельзя… у него тут бумаги…

– А тем паче, Кира Никитишна, может, что неладное? – возразила та. Она в силу сметки, приобретенной ею в интимности Елпидифора Павловича Акулина, на основании слышанного ею еще в Москве от друга своего Лизаветы Ивановны о «дури» молодого Овцына и того, что могла сама заметить за ним в ту пору, «когда княжна еще *пущала* его к себе», чутьем чуяла это «неладное» в оставленных им бумагах…

Кира молчала.

– Как если чтобы не знал никто, – сказала, не дождавшись ответа, Анфиса, – так некуда опричь сюда вот! – и она указала кивком на шкаф с мюнц-кабинетом. – Там нижняя полка пустая.

В двери из передней звякнула в эту минуту рукоятка замка… Она мгновенным движением стала пред коробом, закрывая его всем объемом своей юбки.

– Ее высочество просят ваше сиятельство к себе! – веско и спешно отчеканил входя красный жилет.

«Нафанаила там или Андомская?» – пронеслось в голове княжны. Она надменно повела губами в чаянии неотвратимого, быть может, столкновения… Она, конечно, не уступит, скажет»…

– Хорошо, сейчас иду! – сказала она, указывая лакею выйти движением головы.

Она пошла за ним, взялась за замок и, обернувшись к Анфисе:

– Скорей, пожалуйста, уставьте это туда!..

ПТ поспешно открыла на обе половины шкаф ключиком из связки, висевшей у ней за поясом, подтолкнула к нему ногою короб, подняла его и уставила к темному углу, так же быстро закрыла и защелкнула шкаф и заткнула ключи свои опять за пояс.

– Готово! – сказала она.

Княжна вышла.

Синеокая женщина медленно двинулась и остановилась у окна. Она заметно похудела и осунулась со времени переселения своего в Петербург… Она бесконечно тосковала здесь, никуда не выходила из дворца, избегала всяких знакомств с соседками своими по «колидору» и проводила все дни за работой или за чтением «божественного». Все, что доводилось ей видеть, замечать и угадывать кругом себя, наполняло ее унынием и каким-то неопределенным, но болезненно охватывавшим ее страхом. «Петербургский народ» представлялся ей совершенно особого рода лукавою и злокозненною породой людей.

– *Внеуду являются красны, внутрьуду же полны суть костей и всякия нечистоты,* – шептали и теперь блекнувшие уста ее, под впечатлением свежего разговора об Иринархе Овцыне… Она много угадывала и из «тех мыслей», которых держалась ее «барышня» (к которой она успела привыкнуть, и которая в свою очередь обходилась с нею с видимым уважением и доверием), понимала, что «и ей здесь жить не вольготно».

– И небо-то здесь само будто не христианское! – промолвила она про себя, устремясь взглядом на видневшийся из окна высокий купол Исаакиевского собора, над крестом которого, словно норовя зацепить его своим черно-синим краем, ползла большая снеговая туча.

И Анфиса вздыхая перекрестила себя широким крестным знамением…

IV

Чертог сиял; гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир;
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир.

Пушкин.

Wir sind nur insofern zu achten, als wir zu schatzen wissen.

Goethe.

La cour est comme un édifice de marbre: elle es composée d’hommes fort durs, mais polis.

Labruyére.

В большом здании, на одной из главных площадей Петербурга, по всему протяжению нижнего этажа сияли огни. Там давался большой маскарадный бал.

Это был самый блестящий, самый привлекательный и, выражаясь не изобретенным еще в ту пору выражением, самый «интеллигентный» *дом* Петербурга той эпохи, к которой относится наш рассказ. В нем как бы веяло живою традицией Екатерининского Эрмитажа, Екатерининского ума, Екатерининского *вкуса* к дарованиям, к мысли, к культуре… Обаятельная хозяйка этого дома одарена была драгоценнейшими в ее высоком положении качествами: широким объемом помысла, твердою инициативой воли и тем бесценным даром умственной *зрячести* — проникновения и оценивания людей по настоящей мере их способностей и того дела, на какое они годны, – без которого нет *великих* в человеческой истории. Она заботливо дознавалась об этих людях, привлекала их к себе, очаровывала своею милостью, отзывчивостью и усвойчивостью своего ума. В небольшом, тщательно избранном кругу ее обычных *четвергов* дипломаты и государственные деятели, светские красавицы и изощренные царедворцы ветречались со скромными, *дичащимися,* ни в какой иной гостиной не показывавшимися учеными; русский писатель обменивался здесь речью с иностранным собратом, с путешественником, только что вернувшимся из какого-нибудь еще неведомого угла вселенной; многообещающий молодой художник внимал поучительной для него беседе патентованного специалиста со многовидевшим любителем или меценатом искусства.

Что-то поднимающее и *движущее* заключалось в атмосфере, окружавшей эту женщину, – что-то возбуждавшее силы, энергию, смелость в тех, кого она поощряла или вызывала на деятельность, кому она со своим зорким взглядом указывала на предлежавшие им цели… Ее сочувствиям и вескому предстательству одолжены были главным образом известные деятели

крестьянского освобождения тем значительным влиянием, какое дано было им внести в его разрешение. Многое, быть может, в этом деле не совершилось бы или совершилось бы иначе, если бы за этими людьми не стояла она, со своим блеском и обаянием, со всеми чарами своего дома, – единственно направленными в эту минуту к служению той высшей государственной задаче, которой она была давнишнею и неустанною поборницей.

Приветливая, оживленная, еще прекрасная вопреки годам, окруженная высшими особами России, она стояла теперь в глубине танцевальной залы «интимного» этажа своего роскошного обиталища и, поощрительно улыбаясь слегка прищуренным взглядом и красивыми устами, смотрела на стройные пары костюмированных лиц, проходившие под торжественные звуки полонеза мимо места, занимаемого ее кружком.

Оркестр заливался. Яркий свет падал с люстр и жирандолей на зыбкую волну теснившихся кругом голов, сверкал искристыми бликами в гранях бриллиантов, по ободкам перьев и цветов, по золоту браслетов, эполет, по шитью военных воротников. В жарком уже воздухе струился проницающий запах прокуренных духов, женских тканей и белья, перчаток, хранимых в благовонных ящиках. Людской гул и жужжание, соперничая с визгом скрипок, с гудением валторн, словно стояли в этой насыщенной и раздражающей праздничной атмосфере. Все лица сияли: женские глаза горели, рдели алые уста в лихорадочно-радостном оживлении. Не было, знали все, праздников более удачных, более увлекающих, как в этих стенах. Тут был весь двор, весь цвет еще тогда богатого и многолюдного большого света столицы. Новые веяния не успели загасить еще тогда «весь этот блеск, и шум, и чад» былой, беспечальной, отошедшей ныне безвозвратно в вечность жизни…

Пары скользили одна за другою… Вот двугорбый Полишинель (всем известный адъютант), как бы разрезанный пополам двуцветным своим одеянием, проходит с накладным носом и комическою суровостью, возбуждающими звонкий хохот *галереи,* звеня гремушками своей marotte de fou и помахивая ею над головой, как тамбур-мажор пред своими музыкантами: он командует целою кадрилью следующих за ним *Пьеро* и *Пьереток;* все они в белом и в голубых бантах, с того же цвета шапочками в форме китайских крышек над напудренными волосами, – все молодые, свежие, девичьи и юношеские лица… Вот *двенадцать месяцев года,* подобранные из среды самых красивых женщин петербургского общества… Новою зыбью колыхнулась и надвинулась к ним толпа. Они проходят медленно, гуськом, сияя своими затейливыми уборами, блеском цветных камней и расширенных как бы тревогою зрачков, между темными шеренгами жадно взирающих на них мужчин, направляясь к группе высоких лиц, окружающих хозяйку… Их ждут там ласковые улыбки, милостивые речи…

Вот подходит *июль месяц…* Читатель, это опять она – это Ольга Елпидифоровна Ранцова… Благоволящая к ней судьба доставила ей нежданно случай предстать в активной роли на этом блестящем вечере. Княгиня Гагина, которую заменяла она теперь, заболела внезапно за два дня до того, и *кадрили месяцев* грозило расстройство, если бы на нее не было указано все тем же ее влиятельным в придворных сферах «другом». Поставлено было это им притом так искусно, что приглашенная же как бы оказывала услугу, выводила хозяйку дома из нежданного затруднения, принимая на себя заботу приготовить указанный костюм в полтора дня времени, – и заслуживала поэтому особенной благодарности и расположения…

Костюм удался на славу. С сверкающими лучами золотого полусолнца поверх головы, в пышных складках воздушного газа, отливавшего цветом водной струи, по которому с левого плеча чрез все платье до самого низа его, слегка приподнятого над шелковою второю юбкой, бежала гирлянда ярких маков и золотых колосьев, – эффектная красота ее производила поражающее впечатление… И словно она одна теперь не догадывалась об этом: она шла с какою-то сдержанностью, едва улыбаясь и отвечая, не поворачивая головы, одним

помаргиванием век на восторженные восклицания знакомых, мимо которых пробиралася она (не даром проходила она высшую школу светскости с таким человеком, как граф Леонид Александрович Наташанцев)…

Придворный реверанс ее был безукоризнен. Она, не спеша, почтительно и самодостойно, потупила голову и глаза, медленно, чуть-чуть боком, поджала колени, подалась слегка телом назад – и волны ее газа и шелка с едва слышным шуршанием разостлались кругом нее, словно какой-то вдруг опавший, сверкающий туман…

Она *понравилась,* – это сказалось ей вдруг, инстинктивно, прежде чем она успела поднять глаза.

Она не ошиблась. Ее красивая наружность и изящество туалета замечены были еще за несколько дней пред тем, на бале в *** дворце, – первом из таких балов, на котором появилась она, – и заслужили высшее одобрение… Ее приветствовали теперь несколькими очень благосклонными словами, от которых забилось у нее сердце до боли и блаженный румянец загорелся до самых волос.

– Ваше… чего ни сделаешь, чтоб иметь счастие быть вам угодною! – воскликнула с пламенным энтузиазмом молодая женщина. Она готова была бы дать сейчас отрубить себе голову, чтобы доказать свою преданность «всем *им*, бесконечно добрым, прелестным, очаровательным!..»

Ее *отпустили* милостивым поклоном. Она присела еще раз и двинулась с места.

Стоявший в группе молодой генерал в Андреевской звезде наклонился к ней:

– Хотите со мной третий контрданс, Ольга Елпидифоровна?

О, Боже мой, он даже знает, как ее зовут! Она вспыхнула, присела и отошла, не чувствуя ног под собою.

А он, обернувшись к своему кружку, засмеялся, произнес полушепотом имя и несколько слов объяснения…

– Ай, vraiment?..

Улыбка пробежала по всем устам; глаза на миг обернулись в сторону: там в группе сановников в звездах и лентах под мундирными фраками стоял граф Наташанцев, отделяясь невольно от всех их тонким изяществом своего облика и grand air. Он, как и прочие, но тая под спокойным видом обнимавшее его внутренно волнение, глядел на приближавшихся красавиц, не теряя из глаз в то же время кружок высоких гостей хозяйки и угадывая о предмете их разговора своим старым царедворческим чутьем.

Молодой генерал подозвал его к себе движением глаз, подал ему руку и весело подмигнул ему.

Наташанцев блаженствовал. Благодарности его не было конца: в милостивом внимании, оказанном предмету его страсти, он разумел самую лестную для себя награду его дознанной, доказанной, сорокалетней преданности…

Он бессознательно обратился взглядом на дочь. Княгиня Андомская стояла в группе, ближайшей к тому кружку, к которому сам он удостоен был быть призван, среди тех специальных *сливок* общества, к которым принадлежала она и которые здесь, в этом доме, держались особою, *экслюзивною* категорией.

Она в свою очередь подняла на отца свои беспощадные серые глаза. «Что ты ни делай, а я не хочу!» – ясно говорили они ему… Он чуть заметным движением дернул плечом и отвернулся.

Но вот опять колыхнулась толпа. За костюмированными шли замаскированные пары в домино. Мужские капуцины были трех цветов: коричневые, черные и голубые, распределенные по росту облекавших их лиц, – по восьми на каждый цвет. Для отличия между собою на груди каждого из них висела на ленточке карточная фигура… В толпе мгновенно пробежала словно электрическая струя. Кого, чьи лица скрывали эти маски?.. На чертах всех мигом сказалось выражение алчного и как бы тревожного любопытства; все глаза, как по команде, вскинулись на входивших…

Они, дойдя до хозяйки, раскланялись, разошлись – женщины вправо, мужчины влево – и разбрелись в одиночку по зале.

Посреди ее строился первый контрданс. Кавалеры суетились, указывали места своим дамам. Дамы рассеянно слушали их речи и, склоняя лица к своим портбукетам, следили избока с места за пробиравшимися в толпе капуцинами, пред которыми невольным движением поспешно и осторожно расступались мундиры и фраки…

Один из них, коричневый, подошел к Ольге Елпидифоровне. Она бессознательно вздрогнула и тут же с загоревшимся взглядом воззрилась в глаза его…

Она танцевала с графом Анисьевым, поспешившим пригласить ее, как только отошел от нее молодой генерал в Андреевской звезде… Он теперь так же зорко, как и она, но каким-то косым, лисьим взглядом направил глаза на подошедшего к ней и насторожил ухо. Но по первому звуку донесшегося до него голоса лицо его приняло свое обычное, искусственно-рассеянное выражение.

– Ты очень счастлива сегодня, кажется? – спрашивал Ранцову капуцин по-маскарадному.

– Никогда не была так счастлива, я не скрываю! – радостно воскликнула прекрасная представительница июля месяца. – А вы… а ты? – поспешила она поправиться.

– Я так отвык от шума в тихой моей обители, что мне здесь как будто дико, – отвечал он.

Она засмеялась:

– Что ж ты делаешь в этой твоей обители, beau capucin – молишься?

– Непременно.

– На *кого*? – подчеркнула она.

– Этого я не скажу тебе.

– Почему? – спросила она, продолжая внимательно вглядываться ему в глаза.

– Ты не поняла бы, – отвечал он странным, уколовшим ее почему-то тоном.

– Нам делать фигуру! – предварил ее в эту минуту Анисьев.

Когда они вернулись на место, капуцина уже не было.

– Кто это может быть, как вы думаете? – с живостью спросила она своего кавалера.

Он улыбнулся своею многозначительною усмешкой и – не сейчас проговорил шопотком, пристально глядя на нее:

– Во всяком случае не то, что вы думали.

Она рассердилась тем сильнее, чем вернее угадал он ее тайный помысел, и вся вспыхнула.

– У вас вечно все то же лукаветво и ехидство на уме! – воскликнула она. – Почему вы знаете, что я думала?.. Что вы думали, *вы*, говорите!

Он все так же спокойно и улыбаясь глядел на нее, словно любуясь ее красивым гневом.

– Вам угодно знать? Извольте: я думаю, что завоевание графа Леонида Александровича Наташанцева – достаточно блистательный подвиг, чтобы вам этим удовольствоваться, – сказал он.

Ольга Елпидифоровна пуще рассердилась от этих слов.

– Какое вам, скажите, дело до меня и до моих «завоеваний»!.. Я, слава Богу, из вашей опеки вышла, – желчно промолвила она, быстро дыша высокою грудью, – и не желаю возвратиться под нее!..

– Напрасно! – невозмутимо возразил он. – Je suis de bon conseil, как вы знаете, а ваше здание далеко еще не доведено до крыши… Нам опять танцевать!..

Пока она *балансировала* со своим vis-à-vis, она успела одуматься… Война, поручения, затем губернаторство Анисьева держали его в отдалении от нее лет пять, шесть. Он успел за это время жениться на одной из богатейших наследниц русского юга, подарившей его сыном и – вдовством по ней после полутора года замужества. Ольга Елпидифоровна почитала все их прежние отношения покончеными, почитала себя навсегда избавленною от его «кошмара». Но вот он опять здесь, в видном положении, опять стал бывать у нее, бывать на ноге старого, *бескорыстного* друга. В первый раз говорил он теперь прежним, решительным, чуть не угрожающим языком. Ей стало жутко вдруг… Он опасный враг: он интимен, она знала, в кружке княгини Андомской; он к тому же опять в большой милости: его, она слышала, прочат еще на новую должность, в которой он будет иметь возможность прямо способствовать ее планам или расстроить их… Но неужели за его содействие или вмешательство придется ей уплатить ему тою ценою, которой он так назойливо добивался от нее за послуги свои в годы ее дебютов с мужем в Петербурге? – проносилось быстрыми, тревожными скачками в ее голове… Нет, это не возможно, это было бы слишком отвратительно!.. «Во всяком случае открыто *rompre* с ним не надо!» – решила она в конце концов.

– Мир? – проговорила она с очаровательнейшею из своих улыбок, вертясь с ним рука в руку в заключение второй фигуры и слегка пожимая его пальцы.

– Даже *парижский,* – тихо и смеясь впал он в ее тон, – *лучше доброй ссоры…*

А капуцин, из-за которого чуть не произошла у них эта «ссора», брел между тем по зале под темным своим капюшоном, промеж пышных кринолинов и блестящих военных мундиров, озирая любопытно все это хорошо ему знакомое и давно им не виданное светское общество… Он попал на этот вечер совершенно неожиданно, приехав в Петербург всего за два дня назад по своим делам, с тем чтобы как можно скорее уехать обратно в свою «тихую обитель» и с намерением «ни у кого не быть». И вот накануне случайно встречается он на улице со старым своим знакомым, графом Пердро, вечным участником и устроителем придворных празднеств,

который, с-оника остановив его сани, не дав ему раскрыть рот, с судорожно-поспешными речью и движениями объявляет ему, что его «послал сам Зевс», что *«им* недостает восьмого *W-dans les capucins bruns»,* что он именно «le huitième *spirituel* demandé», и, не ожидая ответа, тут же поворачивает оглобли и гонит своего извозчика на Михайловскую площадь; а вечером приносят приезжему в Демутову гостиницу формальное приглашение, является портной брать с него мерку на домино… За час перед балом приезжает за ним Пердро и везет его с собою. Он нем как рыба, серьезен как могила: имен будущих собратий их по *рясе* он не открывает, говоря только, что они с ним будут «в очень хорошем обществе»… Они в отдельной, отведенной им комнате совершают свой туалет, надевают маски. «Пожалуйте!» – вбегает затем ливрейный слуга звать их и ведет через ряд комнат в покой, где собираются таинственные их товарищи: *малые, средние* и *большие…* Из других дверей выступает такое же число неведомых, укутанных в разноцветное домино дам; кавалеры разбирают их по росту, подают им руки. Двери отворяются – они вошли в залу…

Во всем этом было нечто необычное, какое-то *романическое веяние,* заставлявшее невольно звенеть в душе приезжего давно и навсегда, думал он, замолкнувшие струны. Он чувствовал себя как бы вдруг помолодевшим под этою маской, скрывавшею его черты, и из-за которой он мог теперь на полной воле тешить врожденные ему наблюдательность и насмешливость. Он подходил к дамам, к старым знакомым, вызывал их смех забавным замечанием, намеком, еще чаще смущая неожиданным словом, коротким вопросом, принимавшими в их понятии, благодаря цвету его костюма и измененному голосу, особое, тревожившее их значение. И, не давая им разубедиться в заблуждении, он быстро удалялся и исчезал в шумно двигавшейся толпе…

Он прилежно всматривался в нее, следил за отдельною игрой физиономий. *Новое* время ясно сказывалось для него в несколько приунылом, как бы растерянном выражении на старых лицах – в заметной самоуверенности, в какой-то особенной *дезинвольтур* всего облика людей молодых. «*Наше* время пришло», – будто сказывалось на лицах вчерашних пажей, лицеистов, правоведов, успевших уже превратиться в адъютантов и чиновников из категории «многообещающих»… Женские речи и смех, казалось ему, принадлежавшему первою своею молодостью к прошлому царотвованию, звучали решительнее прежнего, «эманципированнее» были приемы, откровеннее обращение… Каждый очевидно чувствовал себя свободнее и – безответственнее…

Замаскированные придавали вечеру особенное, своеобразное оживление. *Они и он* отделялись, невольно привлекая на себя взгляды темными сплошными пятнами своими на яркоколерном фоне женских одеяний, – вели в углах зала веселые разговоры с убеленными сановниками, уводили из вальса, таинственные и важные, как венецианские Dieci, хохочущих красавиц и исчезали с ними во глубине соседних покоев. За ними следили, перебирали шепотом предполагаемые имена их… Общим, сочувствственным хохотом приветствован был свалившийся на ходу капюшон с головы одного из «малых», *голубых* капуцинов, в котором, несмотря на маску, узнали по его разлетавшимся во все стороны седым волосам прелестного поэта и умнейшего острослова петербургского большого света того времени… *Он* не смутился, закинул руку за спину и, поправляя капюшон, проговорил своим певучим и протяжным голосом по адресу белокурой, хорошенькой женщины, которую вел под руку:

– J’aimerais bien prêter à rire, si l’on me prêtait en retour un peu de jeunesse pour mériter vos regards…

У одной из дверей, ведущих в танцевальную залу, стоял в мундирном фраке и ленте по жилету некто, такой же седой, но с совершенно молодым, почти женственно-миловидным лицом, и с несколько задумчивою или озабоченною улыбкой глядел на танцы… Эта миловидная,

привлекательная наружность нисколько не мешала тому, что именем этого человека чуть не пугали в те дни детей в иных кружках России… «Прогрессивная» партия зато падала пред этим умным и бойким бюрократом, которого tacito consensu признавала единогласн своим главою.

Высокий мужчина в коричневом, как и наш приезжий, капуцине и с червонным королем на груди, проходя в эти двери, остановился на миг и, взглянув на стоявшего, произнес несколько слов.

Тот как бы встрепенулся вдруг, выпрямился… и тут же с тактом светского человека поспешил принять прежнюю свободную позу, дав, как видно было, вопрошавшему требуемый ответ.

Червонный король кивнул и прошел мимо.

– Вы видели? Как я рада за Николая Алексеевича! – раздался вслед за этим за спиной приезжого негромкий женский голос: – Ведь это…

Приезжий живо обернулся. Об руку с белокурым молодым человеком в простом черном фраке (он знал его по имени, встретившись с ним в одном знакомом доме в Москве) стояло стройное женское, черного цвета, домино с желтою розой под обшитым кружевами капюшоном. Из прорех атласной маски глядели зеленоватые, каким-то фосфорическим блеском горевшие глаза.

– Beau masque, я узнаю тебя! – так и вырвалось у него вдруг из горла.

Она повела на него головой:

– Может быть, но мне теперь некогда говорить с тобой, – холодно произнесла она в ответ. И, взглянув на своего кавалера, промолвила:

– Я вас теперь оставлю, Сергей Михайлович, – но мы встретимся…

И она удалилась быстрыми шагами.

Капуцин направился за нею следом.

В противоположном углу залы, разговаривая с изящным, блестящим, живым, как юноша, в золотых очках тонкой оправы над сверкающими остроумием темными глазами, князем Черниговским, руководителем иностранной политики России нового царствования, стоял непомерно длинный, *несуразный,* словно срубленный в три маха топором из тяжелого, дубового кряжа сановный персонаж в широкой ленте и крупного, как он сам, размера орденах, в золотых, как у князя, но массивных и круглых, как у немецкого гелертера, очках. Он поводил сквозь них близорукими, не то рассеянно, не то подозрительно глядевшими глазами и туго поворачивался от времени до времени всем неуклюжим своим телом, будто боясь задеть им кого-нибудь поблизости… Много анекдотов, много забавных рассказов ходили в ту пору об оригинальной личности этого несомненно способного и редко образованного, – «без толку способного и корявообразованного», уверяли в *Колоколе,* – лица, занимавшего еще с прошлого царствования важный государственный пост и только что накануне нынешнего вечера официально назначенного на первостепенное по значению его в ту минуту место по крестьянскому делу. Он появлялся в первый раз в свете после этого назначения и как человек *в явной милости* был теперь предметом общего искательного внимания; к нему постоянно обращались с заискивающими речами, с изъявлениями сочувствия и лести, отчего, впрочем, нисколько не изменялось сосредоточенное и далеко не веселое выражение всего его длинного облика.

Домино с желтою розой подошло прямо к нему:

– Граф, хотите ли дать мне вашу руку?

Он недоумело обернулся к говорившей, глядя на нее молча с бесконечной высоты своей вниз, словно в колодез.

Князь Черниговекий быстрым, привычным взглядом обнял стройные линии темного женского облика, стоявшего пред ним, и засмеялся веселым смехом:

– Qui que tu sois, voici ton maître,
Il l'est, le fut, ou devra l'être,

– промолвил он из Вольтера с любезным наклоном головы в сторону маски. – И вам черед, видно, пришел, граф!

Тот, будто только теперь вспомнив о том, что французы называют «les dovoirs de la civilité puérile et honnête», суетливо переступил с ноги на ногу и, очень видимо уже озабоченный, раз вспомнил, тем, что именно нужно делать в подобных случаях, сложил предварительно свой правый локоть острым треугольником к бедру – и пододвинулся в этом виде бочком к маске.

Она продела в этот треугольник свою руку и двинула владельца его с места. Он зашагал рядом с нею, словно только что заведенная механическая кукла.

Маска вывела его из залы в соседний покой, где, кроме двух-трех таких же, как она, замаскированных дам, прошедших мимо их об руку со своими кавалерами, никого не было.

– Сядемте сюда! – указала она на диван в углу комнаты.

Он уселся там обок ее и уставился прямо ей в глаза:

– Что имеете вы сказать мне? – спросил он привычным ему вопросом просителям в *приемные дни.*

Она невольно засмеялась этому «казенному» тону:

– Много или мало, смотря по тому, как вы поймете меня.

Он вспомнил опять, что «с дамами надобно быть любезным», и засмеялся, совершенно для нее неожиданно, каким-то всего его будто пошатывавшим смехом.

– Я готов вас выслушать с удовольствием, сударыня, – выговорил он поощрительно своим глубоким басом.

– Скажите, граф, вы довольны вашим новым назначением? – спросила его с-оника маска.

Он так был изумлен этим «невозможным» в его понятии вопросом, что смех мгновенно слетел с его уст и голова отшатнулась назад с видимо испуганным выражением.

– Назначение это возложено на меня высшею властью, и поэтому я, как верноподданный Государя моего, приемлю его с достодолжною покорностью, – проговорил он поспешно. – А впрочем, – промолвил он чрез миг, как бы пораженный внезапною мыслью, – сколько я понимаю, ваш вопрос вовсе не женский… и не *маскарадный,* – подчеркнул он с тем же глухим своим смехом.

– Совершенно напротив, – возразила его собеседница, к новому его удивлению, – только *женщина, и* только *под маской,* может говорить об этом с вами свободно и откровенно. Никакой мужчина, подчиненный ваш или вам равный, не решится говорить с вами так в глаза.

Он пристально уставился на нее еще раз, очевидно соображая степень вескости этой им неожиданной отповеди.

– Вы очень правильно рассуждаете! – воскликнул он вдруг, словно сделав необычайное открытие. – Государственным людям бывает иногда очень полезно знать, что о них думают другие и как их понимают… Прошу вас поэтому, сударыня, сообщить мне все, что вы про меня слышали с обещанною вами откровенностью; я буду слушать вас со вниманием и даже благодарностью.

Слова маски горячо полились из ее уст:

– Да, вам полезно будет знать, граф, с каким тяжелым чувством узнали о вашем назначении все, кому дорого крестьянское дело. Вчера в редакционной комиссии, когда об этом узнали, у всех опустились руки[48], все пришли в отчаяние…

– Отчего же в «отчаяние»? – перебил он ее и хихикнул. – Скажите: в «некоторое разочарование»; это будет, полагаю, более подходящая *редакция.*

– Отчаяние, – повторила она настойчиво, – потому что в этом поняли поворот назад, отступление от прежней программы. Вы, как всем известно, человек совсем иных взглядов, вы status quo par exellence, вы не хотите того, чего, кроме вашей партии, желает весь русский народ…

Он снова испуганно перебил ее:

– Моей «партии»? Позвольте, сударыня, я вне всяких *партий!..*

И, глядя на нее уже с явною подозрительностью:

– Вы, может быть, – прошептал он, наклоняясь к ней, – принадлежите к этому *дому…* вам, может быть, кем-нибудь… *поручено,* – вырвалось у него как бы против воли, – говорить со мною?..

– Никто мне ничего не поручал, – поспешно молвила маска, – и к *дому* этому, я не принадлежу… Но я, – торопливо заговорила она теперь со внутренним самоуслаждением, с гордым сознанием тех «крупных государственных истин», которые он сейчас вот услышит из ее уст, – но я разделяю всею душой тот взгляд, каким смотрят *здесь* на это дело. Здесь смотрят на него, как следует в самом деле «государственным людям»; здесь понимают, что мудрое правителство должно не тормозить, а идти впереди всякого умственного движения в обществе, чтобы не быть им обойденным, а владеть им и направлять дальше…

– «Мудрое правительство!» – повторил своим басом граф Вилин. – Рассуждать о *сем* вовсе не женское дело.

– Что не помешало, однако, вашему отцу или предку, – быстро возразила она, – служить с пользою великой женщине, которая первая мечтала о том, что хочет осуществить теперь ее правнук… и *подчиняться,* – подчеркнула она, – желаниям другой особы с таким же государственным умом и волею[49].

Это напоминание ему о его «предке» произвело в своеобразном процессе мысли графа Вилина приятное на него впечатление. Он вынул платок, протер им свои круглые очки, поправляя их на носу:

– Вы очень умны, сударыня, – проговорил он, отчеканивая свои слова, – и с вами приятно было бы вести беседу… о всяком другом предмете, – неожиданно добавил он.

– Возвращаю вам вашу любезность, – отрезала она ему тут же в ответ, – если б от меня зависело, я, конечно, не употребила бы ваш ум и способности на дело, к которому вы менее всего расположены…

– Позвольте, – остановил он ее движением своей огромной ладони, – вы ничего не можете знать о моем, вами так называемом «расположении»…

– Послушайте, граф, – с увлечением воскликнула она и сейчас же понизила голос, заметив, что проходивший по комнате коричневый капуцин с пиковым валетом на груди (наш приезжий), видимо, с намерением замедляя шаги, устойчиво и зорко следил за ними взглядом, – вы богаты, независимы; вам нечего *искать,* как другие… Вы, я не сомневаюсь, имеете свои имения и дорожите ими; вы не захотите отступить, изменить *своим…* А тут идет дело о благе всего русского народа… Откажитесь, граф, поступите, как следует честному человеку, гражданину!..

– Что это значит, сударыня? Что должен я разуметь в ваших словах? – бормотал растерянно сановник, пятясь от нее на диване, словно от привидения или от опасного зверя.

– Вы можете только испортить, погубить, – так же пылко продолжало странное существо; – откажитесь от вашего назначения, скажите, что вы не можете, не чувствуете себя способным исполнить волю Государя!.. Поверьте, история с благодарностью помянет ваш поступок… В противном же случае, граф, вас… вас проклянут, да, – вас проклянет вся Россия!..

Граф Вилин выпростал обе свои ноги вперед, поднялся на них и выпрямил весь свой горбившийся от непомерного роста стан.

– Милостивая государыня, кто бы вы ни были, – произнес он с достоинством, которое как бы странно озадачило ее, – доверие, коим чтили меня мои государи, я неуклонно старался оправдывать по мере разумения моего и сил; от возлагаемых ими на меня обязанностей не отказывался никогда, а советов и наставлений, тем паче женских, – промолвил он, подымая палец кверху, – от рождения моего ни от кого не принимал. Таких правил считаю долгом держаться и впредь; равно и ответа вам дать другого не имею.

И с места, не оборачиваясь, он *потек* своим механическим шагом заведенной куклы обратно в танцевальную залу.

Она осталась на диване, без слов, готовая заплакать от досады и страстно возбужденных нервов…

А наш приезжий между тем проходил далее в глубь покоев, выжидая конца этого разговора, с намерением в свою очередь «заинтриговать» домино с желтою розой, обратившее на себя его особое внимание… Навстречу ему шел высокий капуцин одной с ним рясы, с червонным королем на груди. С ним шла жена тогдашнего английского посланника в Петербурге – еще недавно певица итальянской оперы, видимо забавлявшая его, – слышался его смех – своим полным незнакомством с обществом, среди которого она находилась, и происходившими от того наивностями в ее вопросах и ответах. За ними, догоняя их, скользила по паркету в венке и

букетах из роз по воздушному белому платью прелестная, черноокая баронесса Таль, состоявшая при хозяйке дома в должности лектрисы и которую звали «le plus charmant spécimen de *l'escadron volant de la reine*»[50].

– My lady, – сказала она по-английски за спиною той, притрогиваясь к ее плечу, – вас повсюду ищет ваш кавалер на третий контрданс…

И вдруг взглянула на обернувшегося к ней спутника посланницы, внезапно покраснела и, проговорив «pardon», отступила на шаг с видимым смущением…

– Je n'ose vous retenir davantage, – молвил тут же с изысканною любезностью червонный король своей даме и принял от нее свою руку.

Баронесса Таль, несколько растерянная, подхватила ее под локоть и, тревожно оглядываясь по пути, выскользнула с нею из комнаты.

Червонный король быстро подошел к приезжему:

– Dis donc, mon cher, хочешь поменяться фигурами?

– Пердро! – воскликнул тот, узнавая его. – Как на тебе эта карта? Она сейчас была, говорят, на…

– Мне ее отдали и взяли мою pour dérouter les curieux, – таинственно отвечал Пердро; – это ужасно весело выходит… Ты видел, – рассмеялся он, – quel effet j'ai produit sur Hélène Tahl?.. А теперь можешь воспользоваться этим талисманом для собственных твоих комбинаций. Дай мне твоего пикового валета!

– Пожалуй! – ответил капуцин, перекидывая через капюшон ленту со своею картой.

– Merci et bonne chance! – кивнул ему головой Пердро – и исчез.

V

Si cadendum est, coelo cecidisse velim.

Падать – так с неба.

Приезжий остался один… но не надолго. В дверях показался стройный облик домино с желтою розой, о котором он только что думал… Он поспешил к ней.

– Вы наконец покончили с государственными делами? – спросил он ее, смеясь.

Она окинула его быстрым взглядом, заметила висевшего у него на груди червонного короля…

Боже мой, неужели?.. неужели случай доставляет ей возможность выговорить все, все, чем полна ее мысль, «чем живет она душой», – и быть выслушанною, произвести впечатление?.. Неужели вот сейчас, сейчас, после неудачной попытки с Вилиным, должны исполниться заветные ее мечтания, все, чего тщетно добивалась, к чему напрасно рвалась она до сих пор?.. О, лишь бы только нашлась в ней сила неотразимого убеждения, нашлись те пьшающие огнем глаголы, которыми древние пророки «жгли сердца людей!» – проносилось у нее в голове из едва ли не единственного стихотворения Пушкина, которое почитала она достойным своих сочувствий…

– Вы почему думаете, что я говорила о государственных делах? – молвила она, стараясь подавить невольную дрожь голоса и расходившееся в ней внутреннее волнение.

– Достаточно для этого одного вида того, с кем вы говорили, – тем же веселым тоном ответил капуцин, – о чем ином может быть речь с графом Вилиным!.. Позволено ли будет узнать, о какой именно статье свода законов шла у вас с ним речь?

– Я говорила с ним не о законах, – проговорила она, придавая особенную серьезность тону своих слов, – а о его новом назначении…

– Каком?!

Желтая роза вскинула на него изумленно глаза:

– Ведь он поставлен во главу комиссии по крестьянскому делу…

– В самом деле? Я не знал, – сказал он самым естественным тоном.

Она еще раз повела на него взглядом… и тут же успокоилась. «Он не желает, чтоб его узнавали, – объяснила себе она, – он притворяется незнающим того, что знает со вчерашнего дня весь Петербург. Тем лучше, так объясняться с ним легче»…

– Да, – сказала она громко и решительно, – и я ему передала то ужасное впечатление, какое произвело это назначение его на всех, кому дорого благо России и слава Государя… Государя, от которого так много ждет она, – прибавила она уже дрогнувшим голосом.

– О, о, – засмеялся капуцин, – так-таки и передали bel et bien?.. С какою же целью?

Она смутилась на миг.

– Чтоб убедить его отказаться от того, что в его руках… может только погубить дело…

– А он, – спросил насмешливо ее собеседник, – он, разумеется, поспешил сейчас же признать основательность ваших резонов, поедет завтра в Зимний Дворец и попросит там сложить с него то, на что он, по-вашему, не годится?

Она вся вспыхнула под своей маской; эта ирония, это отношение к ее словам, как к чему-то не серьезному, ребяческому… О, как это было больно ей! На ресницах ее заискрились слезинки…

– О, прошу вас, не говорите со мною так! – вырвалось у нее неудержимо из груди. – Вы много для себя полезного можете услышать от меня; до вас, в вашем положении, редко доходит правда…

– Почему вы так думаето? – перебил ее капуцин с новым, искреннейшим, повергшим ее в первую минуту в величайшее недоумение смехом. – В нашей обители братия обязана, напротив, говорить и выслушивать правду, только правду.

Но заблуждение ее не рассеялось от этих слов: она поняла только, что «не так» следовало *ей* говорить, не этим «прямым обращением к лицу», а сохраняя условные приемы маскарадного языка.

– Я слышала о вашем уставе, – поспешила она ответить, стараясь теперь попасть в шутливый оттенок его тона, – но я именно хотела сказать, что в «вашем положении» вы слишком отдалены от мира. Ваша «обитель» на высотах, и правда, наша дольняя, *простых смертных*

правда доходит до вас с величайшим трудом. Ваши стены так неприступны, так ревниво охраняемы… Как проникнуть чрез них к вам?..

– Вы прекрасно говорите, – ответил он, глядя ей пытливо в глаза, – но чего бы вы собственно желали?

– Я? Чего бы я хотела? – воскликнула она, сверкнув ему в ответ пламенным взглядом, – я отдала бы, кажется, всю жизнь, чтобы *там*, в «вашей обители», знали, сколько можно сделать здесь великого и доброго… Ведь у монастырей есть свои земли и население, – добавила она, все также силясь держаться условности и *игривости* маскарадного языка и делая это крайне неловко, – и вы несомненно желаете, чтоб они были счастливы… Все, все зависит от того, чтобы к вам доходили голоса истинных друзей народа, а не тех, кто заинтересован держать его как можно долее в рабстве и невежестве…

Капуцин чуть-чуть пожал плечами:

– Из ваших красноречивых слов я заключаю прежде всего то, что *патер* Вилин остался глух к вашим словам, а затем…

– А затем, – горячо перебила она его, – что я всею моею душой жажду, чтобы великая воля Того, Кто хочет дать свободу миллионам своего народа, не могла быть извращена Вилиными и компанией!..

Если б она могла заглянуть в этот миг под маску своего собеседника, она прочла бы то сочувственное выражение, которое горячность ее слов вызывала на его лице. Но он не хотел почему-то высказать ей это сочувствие; он счел нужным, напротив, насмешливо вздохнуть и проговорить с комическим эмфазом:

– О, Шиллер, где ты!

Она вздрогнула, словно под душем ледяной воды.

– Отчего «Шиллер»? – недоумело пролепетала она.

– Я помню в его *Дон-Карлосе,* в этом же роде, говорит маркиз Поза королю. Хотя я не Филипп Испанский, и вам не угрожает тот трагический конец…

– Что же, – не дала она ему договорить, вздрагивая от возбуждения, уносившего все ее существо, – я готова всегда ответить за свои убеждения… Куда хотите: в монастырь, в ссылку!..

Она услышала новый смех его под маской:

– Еще бы! Я не сомневаюсь, чта это доставило бы вам большое удовольствие.

Она теперь почти с ужасом обернула к нему голову:

– Это что же значит?

– Есть натуры, для которых мученичество – приятнее конфет. А вы, кажется, весьма из этих натур. Середки нет в вашем воображении, не правда ли: власть, влияние, или ссылка, заточение?

– Влияние, – повторила она как бы машинально, высоко дыша грудью, – да, для блага, для счастия людей… человечества…

– О, какие громкие слова… и какая самонадеянность, *княжна!* – как бы подчеркнул капуцин.

– Вы меня узнали!.. – смущенно пробормотала желтая роза.

– Я вас *знаю,* – отвечал он не сейчас, – и мне вас жаль.

– Я не прошу жалости, – пылко воскликнула она на эти слова.

И тут же, считая нужным говорить «более прилично»:

– Чем могла я возбудить в вас это чувство? – спросила она мягче.

Чем-то необычайно участливым, *добрым* зазвучало для нее в его ответе:

– Вы губите напрасно свою молодость, мне кажется… да и не кажется только – я уверен! Мы живем далеко друг от друга, но я могу *верно* сказать вам, что происходит с вами. Вы томитесь, алчете, ищете… Чего? Вы, в сущности, сами этого не знаете. Вы чувствуете только в беспокойной душе своей какой-то *задор,* муку по чему-то неженскому, ненормальному в женщине. Ваша жизнь не удовлетворяет вас… Она вас никогда не удовлетворяла, не правда ли?

– Да, – растерянно ответила она.

Боже мой, кто же с нею говорит, как может знать он ее так?.. И голос его теперь, как будто не тот, что в первые минуты их разговора… Но чей же, чей же это голос?!

– А знаете почему? – продолжал незнакомец. – Потому что вы исключительно живете умом… Посмотрите (они подошли теперь к одной из дверей танцевальной залы): вот пред вами блестящий праздник, музыка, огни, вихрь танца… Я знаю, что вы мне скажете, – быстро примолвил он, предваряя ее возражение: – vanité des vanités, ярмарка тщеславия. Ну да, я знаю, *кругом* знаю, – весело молвил он, – но все же за этим есть и другое. Вот вам лица ваших сверстниц; посмотрите, как они горят, как блещут их глаза, – ведь этого не подделаешь, – они искренно веселятся, их в этом вальсе уносит теперь лучшее, что имеется у них: их молодость, их вера в будущее и та крупинка поэзии, которая есть в каждой душе и à ses heures сказывает себя ей… А вы, княжна, отдавались ли вы когда-нибудь этому уносящему *часу* молодости? На этом сверкающем бале вы одни, точно старый статс-секретарь, заняты *государственными соображениями* и забываете из-за них все и вся…

– Себя не переделаешь, – мрачно промолвила она.

– Положим… но *исправить* себя всегда можно…

– На что?

– На то, что правильно, возможно, осуществимо… Прежде всего, будьте тем, чем Бог вас сделал, – женщиною, – произнес он с какою-то особенною ласковостью в голосе.

– Безличностью, то есть? – презрительно уронила она на это с губ.

Он поглядел на нее избока.

– А можно просить вас сказать откровенно: чего вы достигли до сих пор своею *неженственностью?* Вот вы сейчас говорили с графом Вилиным, со мною… у вас, вероятно, до этого было немало *деловых* разговоров и со многими другими лицами… Остались ли вы

довольны ими и полагаете ли вообще, что ревность ваша о благе «человечества» может привести вас к чему-нибудь серьезному?

Она не ответила: он затронул самую больную струну ее… Нет, ничего она не достигла до сих пор, ничем не удовлетворила того, что скребло в глубине души ее и подвигало ее на всю эту ее суетливую и бесплодную *деятельность!..*

– А что хуже всего, – беспощадно говорил далее капуцин, – что вы все-таки для других остаетесь женщиной и что они в массе могут судить о вас только под этим углом зрения… То, о чем вы так горячо говорили мне сейчас, например… я вам говорил, – я вас *знаю,* знаю, из какого *чистого* источника шли ваши слова… Но другой на моем месте не мог ли почесть их за игру, за приманку, за которою скрываются иные, личные мотивы прямо *женского* характера?..

Он почувствовал, как мгновенно под его локтем лихорадочно вздрогнула ее рука. Но вся гордость ее натуры пробудилась вместе с этим чувством невольного, как бы бессознательного стыда.

– Если бы такие мотивы существовали у меня, я их не скрывала бы, – произнесла она звенящим какою-то вызывающею отвагой голосом, – а пока я говорю другое, никто не имеет права подозревать меня в них!.. Вы позволите мне вас оставить? – домолвила она, принимая свою руку, кивнула и быстро прошла в бальную залу.

«Ничего, – сказал себе мысленно приезжий, глядя ей вслед, – предварить ее не мешало: ей здесь добром не кончить… А натура интересная, бесспорно»… И он задумался.

Кто-то притронулся к его плечу. Он обернулся…

– Что, довольно с тебя червонного короля? – спрашивал его шепотом граф Пердро.

– Совершенно довольно; можешь взять его себе обратно.

– Давай, давай! – молвил с живостью тот. – Я подойду с ним сейчас к Линютину и озадачу его. «*Lappétit* vient en mangeant, – скажу ему, – mais pour vouloir trop manger du русское дворянство il vous viendra *la pépie*»[51]. Hein il est joli le mot?

Товарищ его расхохотался невольно этой глупости. Расхохотался, обернувшись к ним, и стоявший к ним до сей минуты спиною у тех же дверей и слышавший эти громко произнесенные слова еще молодой, среднего роста, человек в черном фраке безо всяких орденских отличий, похожий выражением лица не то на Тьера, не то на другого государственного человека, графа Кавура (счастливая звезда которого стояла в эту пору на зените своей славы), с чем-то притом своим, едко-остроумным, в складках рта, в резко выдвигавшемся вперед подбородке. Звали его князь Бекович.

– Il y en de moins mauvais – et de plus mérités! – сказал он как бы веселым укором.

Несколько сконфуженный Пердро готовился ответить, как в эту минуту приблизилась к князю нескончаемая и мрачная фигура графа Вилина.

– Я имею вам сказать два слова, князь.

– Сделайте одолжение, граф!

И Бекович выступил на два шага ближе к нему, в танцевальную залу.

– Имев удовольствие познакомиться с вами сегодня и имея в виду наше ближайшее ныне совместное с вами служение, – загудел опять над его ухом похоронный бас графа Вилина, – я буду вас просить, в личное мне одолжение, а также и ввиду особых, мне известных обстоятельств, сказать мне, поскольку вам ведомо, кто эта женская особа в маскарадной одежде, идущая под руку с молодым человеком, не состоящим, как и вы, в коронной службе, как я могу о том судить по его партикулярному фраку?

– Эта высокого роста особа в домино?

– Да, да, точно: мне известно, что эта одежда называется «домино».

– С желтою розой под капюшоном?

– Да, с большим цветком желтого цвета.

Бекович поднял на него глаза и язвительно улыбнулся:

– Она в маске, граф.

– Точно, вижу: лицо прикрыто маской.

– Так как же вы хотите, чтоб я вам ее назвал?

– Вы с нею не знакомы?

– Это все равно: называть имя особы под маской не имеет никто права.

Сановник недоумело поглядел на него с трехаршинной высоты своей, поправил круглые очки… и вдруг вспомнил:

– Вы это точно правы, – глухо, внутрь себя, захихикал он, – это, я слышал, входит в правила сего рода забав… Надо вам сказать, князь, – примолвил он, как бы уже *конфиденциально,* – что я никогда маскарадов не посещал, да и вообще, ввиду моих, с ранних лет, постоянных государственных занятий, старался всегда избегать светских развлечений.

Бекович, покусывая губы, счел нужным одобрительно повести головой.

– А этот молодой, не служащий и не имеющий на себе маски человек, – продолжал между тем Вилин, – имя его не составляет тайны?

Князь уже громко рассмеялся:

– Так же мало, как то, что солнце греет и зимою холодно. «Этот молодой человек» – товарищ мой по редакционной комиссии и по принадлежности к «коронной службе», – подчеркнул он, – Сергей Михайлович Гундуров.

– А-а! – протянул сановник. – Я много слышал о его дарованиях и даже учености. Очень рад, что имею возможность познакомиться заранее с характером, так сказать, его наружности…

Он примолк, словно оборвал. Бекович с любопытством глядел на него… И вдруг нежданно он засмеялся своим глухим и как бы уже не хотевшим прекратиться теперь смехом:

– А вот, – сказал он князю, – вы не хотели сообщить мне имя этой особы с большим цветком, а я знаю, кто она, мне раньше сказали. Это княжна Кубенская, фрейлина одна.

И сановный оригинал-гигант, завернув на своих огромных ступнях и продолжая веселить себя собственным смехом, отошел от своего собеседника, действительно пораженного этою выходкой.

– Князь, – подошел к нему наш приезжий в коричневом капуцине, оставшийся стоять у дверей в продолжение этого времени, – до меня долетело сейчас в вашем разговоре имя княжны Кубенской. Я имею особые причины быть в этом случае нескромным: можете ли вы мне сообщить, что мог сказать вам о ней ваш длинный собеседник?

– L'illustre homme d'état et orateur de la droite! – засмеялся тот своим острым смехом. – Ничего не понимаю: он начал с того, что спросил меня, кто эта маска, а когда я, само собою, отказал ему в ответе, он назвал мне ее во всеуслышание.

– Вы знакомы с княжною? – спросил опять капуцин.

– Знаком, как же!

– Благоволите к ней?

– Очень, очень! – с жаром молвил Бекович.

– Так передайте ей об этом эпизоде; я имею основание думать, что вы окажете ей этим услугу.

– Сейчас же; очень вам благодарен.

Они подали друг другу руки. Бекович направился в сторону княжны и Гундурова. Капуцин исчез в дальних покоях… Он искал Пердро.

Бонмотист, очень довольный вечером, в устройстве которого принимал усерднейшее участие, и похвалами, которые получены были им по этому случаю, сидел одиноко в полутемном углу и, сняв маску, жадно пил сельтерскую воду пополам с шампанским, отдуваясь от жары и двух суток тревожной беготни:

– Ah, mon cher, mon cher, – крикнул он, – ступай сюда, садись!.. C'est-il réussi la soirée d'aujourd'hui, hein? Хочешь шампанского?.. А ты слышал la nouvelle romance de Tsips (так называл он интимнейшего своего друга, весьма любимого тогда в петербургских гостиных, композитора и пианиста Леви) на мои слова:

J'en fais l'aveu, – vous étiez si jolie,
Mon cœur charmé se donna sans retour…

– Послушай, – сказал ему тот, – я пришел предварить тебя, что я уезжаю…

Пердро так и вскочил с места:

– Что ты, что ты! Ignores tu l'étiquette? Разве можно отсюда уезжать до конца вечера! Подумай, ведь это может пасть на меня!

– Ничего не падет, и никто не заметит. Все меня давно забыли…

– Eh, eh on n'oublie pas un millionaire!..

– Ну, как знаешь, а только я не могу оставаться; нестерпимо болит голова и душно, – а снять маски не хочу; не хочу, чтобы кто-либо и знал, что я был здесь, – понимаешь?

– Ah, hab'Verstand, – affaire de femme! Déjà? – взвизгнул комически Пердро. Он встал в позу, поднял руку театральным жеетом и запел карикатурным английским акцентом на фразу тенора в известном трио *Лукреции Борджиа*:

Oh, quelle situechene (situation) affreuse
For an English gentleman![52]

– Прощай! – крикнул капуцин, махнув на него рукой и уходя.

– Eh, dis donc, – крикнул он ему в свою очередь, – если про тебя спросят, я скажу, что ты упал с *дромадера.* Ты мне за это поставишь завтра – я зайду к тебе завтракать – *дрей-мадеры* в пять рублей бутылку.

– И веревку впридачу, – не мог не рассмеяться его приятель, – после срамоты подобного каламбура тебе остается только повеситься…

Гундуров, которому княжна только что сообщила о разговоре ее с графом Вилиным (они сидели теперь в одном из углов залы), был по-видимому гораздо более смущен, чем сама она, когда князь Бекович передал ей о том, что ему было сказано тем: он тотчас же сообразил, что из этого могут «произойти для нее неприятности».

Князь, узнав, в чем дело, был того же мнения.

– Этот человек, – говорил он смеясь, – не видит ничего вне фокуса своего делового мира; он отнесет ваш разговор с ним к разряду *официальных,* сочтет нужным *доложить* о нем, меморию о нем составить… Неприятно в сущности то, – примолвил он уже серьезнее, – что, судя по тому, что он сказал вам, он заподозрил вас подосланною к нему хозяйкой этого дома; из этого могут выйти серьезные компликации…

– Д-да, – как бы машинально подтвердил Гундуров.

Княжна Кубенская внимала им, безмолвная и незримая под своей маской, с каким-то странным равнодушием… Какое ей было дело до могущих ожидать ее «неприятностей» – и что они сравнительно с тем терзающим сознанием своего *бессилия,* которое испытывала она теперь!.. Да, он был прав, тот… последний, с которым она говорила… И кто он, этот странный человек… которого она приняла за другого… и который судил о ней так строго – и так верно?.. Да, он прав; все эти ее мечты «влияния», власти, – все это мыльные пузыри, тщета, дым! Она ничего, ничего не может. Ее никому не нужно, ее содействия никто не просит. Она видит, понимает: даже вот эти два самые сочувственные ей и ей сочувствующие человека в Петербурге не только не благодарны ей, но осуждают в душе то, что вздумалось ей сделать в целях, мечтала она, «общего их дела»; они даже прямо высказывают, что ее непрошенная выходка может отозваться неприятною «компликацией» для высокой особы, благоволящей к ним, и которая им гораздо более дорога, чем она… То, что она говорила, вся эта горячка ее речей, ее страстное желание служить «высоким идеям человечества» могут быть истолкованы «личными мотивами *женского характера»* — могли быть объяснены так тем, с кем думала она говорить. О, стыд!.. О, смех! Она смешна – больше ничего! «Дон-Кихот во фрейлинском шлейфе, – с горечью говорила она себе, – с канвовою иглой вместо копья»… И неужели действительно – с новою тоской щемило у ней сердце, – ни к чему, ни к чему не найдет она приспособить себя, свои способности, свою неиссякаемую жажду большого, широкого дела, – и нужно уступить общей людской пошлости, опустить голову, идти за всеми по избитым до тошноты колеям жизненной дороги? О, еще раз, как он был прав, этот неведомый ее собеседник: «заточение», «ссылка» были бы для нее во сто раз предпочтительнее этого

давящего сознания своей бесполезности, несостоятельности всех ее душевных задач и стремлений!..

А блистательный праздник между тем сверкал кругом нее всем своим опьяняющим соблазном. Забирающий, страстный вальс Штрауса какими-то раздражающими струями лился ей в уши, бил по каким-то еще неведомым ей самой струнам в каком-то далеком уголку ее существа… «Да», – припомнились ей опять *его* слова: «музыка, огни, вихрь танца, и им всем весело, *действительно* весело; в них говорит теперь лучшее, что есть у них: их молодость и та *крупинка поэзии,* которая есть в каждой душе». Вот, чуть-чуть склонив венчанную белыми лилиями голову, высокая и тонкая, как сама она, с такими же бледными, русалочьими глазами, охваченная ловкою рукой статного молодого командира одного из гвардейских кавалерийских полков, проносится княжна Лонгоманова, одна из красавиц, из наиболее обращающих на себя внимание света красавиц Петербурга. Пред Кирой мелькнули на быстром повороте их сдержанная улыбка девушки, блаженно пылающие глаза *ее* темнокудрого кавалера… «Ils s’aiment, – сказалось ей опять в том тайном уголке, – он безгранично верит в нее, их ждет счастие… Счастие, *поэзия»,* – бессознательно повторяла она внутри себя, – она лишь одна «будто старый статс-секретарь»… А разве бы не могла и она… «О, если б *это* когда-нибудь *захватило* ее»… кинулось ей внезапно, как вино в голову, и не договорилось ею…

Прямо в ее сторону несется новая пара. Мчит знакомую ей «интригантку», жену «какого-то никому неведомого» камер-юнкера Ранцова, коротенький и юркий офицер Хлыстов, из «академистов». Она его тоже знает, слыпала о нем: новый продукт новой эпохи, он одновременно и нагло либеральствует в кругу «авторитетных» сотрудников, «не признающего авторитетов» *Современника,* и раболепствует пред властью, пред звонкими именами, пред светским успехом, пред каждым призраком успеха и власти. Он заносчив и злоязычен, лихорадочно лезет в большие люди и уже страстно ненавидим равными и низшими… Он близко, тесно прижимает к себе роскошный стан своей дамы. Она усмехается как бы невольно, но заметно отворачивает лицо свое от его пыхтящего лица…

«И это тоже *поэзия?» – с* новою горечью поднялось со дна души нашей фрейлины. И еще скептичнее, еще презрительнее, чем прежде, сжались ее губы под маской.

Собеседники ее исчезли, как бы не желая прерывать ее задумчивость. Она отошла от круга танцующих и побрела, направляясь в дальние покои и следя инстинктивно глазами за кое-где еще мелькавшими в толпе коричневыми пятнами мужских домино. Она, сама не давая себе в этом отчета, искала новой встречи с тем, кого за четверть часа пред этим покинула под влиянием мгновенной на него досады.

Мимо нее проходит баронесса Таль под руку с высоким остзейцем, бароном Гагерном, отцом молодой графини Наташанцевой, ее, княжны, предместницы в***дворце. Их занимает оживленный и, по-видимому, веский по своему мотиву разговор на немецком языке:

– Вас просят только не вмешиваться, – доносится до чуткого слуха княжны торопливый голос хорошенькой лектрисы, – оставьте русских покончить со своим вопросом, как они знают; *нашего* положения не тронут.

– Вы уполномочены сказать мне это? – также быстро спрашивал он, низко наклоняясь к ней.

Ответа уже не слышно, только затылок барона откидывается назад каким-то торжествующим движением.

Отчего же, отчего же «не тронут»? Разве ваш обезземеленный крестьянин счастливее нашего

крепостного? – готова была чуть не крикнуть Кира, взорванная внезапно опять в своих заветных помыслах этою «неисправедливостью».

Но они прошли… Другой веский разговор заставляет ее невольно остановиться и прислушаться снова:

Князь Бекович стоит у дверей, в которые намерена пройти она, с рослым, плечистым, высоколобым иностранцем. Это – прусский посланник, известный в Петербурге как страстный любитель медвежьей охоты, на которой проводит он половину своего времени. Выражение лица его, с круглым очертанием глаз и подстриженных кругом рта коротких усов, напоминает сильный, самоуверенный и жесткий облик большой хищной птицы… Еще несколько лет, и не будет имени в Европе громче его имени, – а пока он ездит, «великий ловец пред Господом», в новгородские и олонецкие леса, всего менее появляясь в свете и всего более вожжаясь с медвежатниками и серым людом страны, в которой аккредитован он своим правительством…

– N’allez vous pas trop vite? – с легкою, прирожденною ему, задержкой языка, чтобы не сказать заиканием, говорит он своему собеседнику. – Il aurait fallu, ce me semble, donner aux opinions le temps de *se tasser*[53].

– Раз на ходу, нам уж некогда ждать, – живо, с какою-то деланною шутливостью, возражает ему князь, – нам суждено высшею судьбою, как одному из богатырей наших сказок, бездействовать целый ряд лет…

– Pour vous *recueillir, – с* чуть заметною иронией прервал его дипломат, намекая на известные, разнесшиеся тогда по всей Европе слова: «La Russie ne boude pas, elle se recueille».

Бекович, как бы не слышав, продолжал:

– И потом надевать семимильные сапоги, чтобы догнать вышедших ранее нас на дорогу истории.

– Чтобы *перегнать* их, конечно? – вскинув на него быстрый и пытливый взгляд, ввернул тот.

– Eh, eh, – засмеялся князь своим язвительным смехом, – Dieu aidant, petit oiseau deviendra grand.

Посланник засмеялся тоже:

– Chi va *piano* va sano**, – громко и дружелюбным тоном сказал он только.

– Нас этому учить не нужно: в России и так все *пьяно,* – раздался под самым ухом Бековича чей-то голос.

Он поспешно обернулся.

Подле него стоял высокий капуцин и, приложив палец ко рту, таинственно шептал ему:

– Это то, что vous autres, *Slaves* moscovites, appelez le «русский дух».

– Шут, – с невольным раздражением промолвил сквозь зубы князь, отворачиваясь, между тем как посланник, повинуясь пригласительному движению головой хозяйки дома, – они стояли не в дальнем расстоянии от ее места, – быстро направлялся к ней.

Княжна не слышала последнего разговора: глаза ее не отрывались от капуцина с червонным

королем. Она еще двинулась на шаг вперед.

– О чем речь, не секрет? – проговорила она, налаживаясь на шутливый тон и относясь к Бековичу.

– Nous parlions musique, et spécialement *piano,* beau masque, – поспешил ответить за него червонный король.

Эта острота, этот французско-польский акцент…

– Граф Пердро! – вырвалось у нее невольным и досадливым возгласом.

– *Perdreau rôti…* d'amour, pour vous servir! – скаламбурил он на свое собственное имя, предлагая ей свой подвернутый *калачиком* локоть.

Но, к некоторому изумлению его, она, не отвечая, скользнула мимо и исчезла за дверями.

VI

Умякнуша словеса их паче елеа и та суть стрелы.

Псалмопевец.

Она забралась в какую-то полуосвещенную гостиную, опустилась там у двери на диван и, закинув голову на его спинку, как бы замерла в тяжелой душевной истоме…

Но вот шаги, кто-то входит в соседнюю комнату. В отворенную дверь доносятся до нее чьи-то голоса. Ей не до них, она не слушает, но звуки их будто ей знакомы… Это, кажется, княгиня Андомская, а другой мужской голос – не голос ли ее отца?

Да, это они. Граф увел дочь сюда, в отдаленный покой, для объяснения, для просьбы, на которую отвечает она отказом…

– Я слишком уважаю себя и *вас*, – говорила она, подчеркивая, своим отборным французским языком (княгиня Алдомская принадлежала по воспитанию к той еще поре, когда светские дамы Петербурга говорили по-русски, как их француженки-швеи), – чтобы согласиться на это.

– Послушайте (по-французски vous: он не говорил иначе с детьми своими), – отвечал граф, приглашая ее движением руки занять место в кресле и садясь сам подле: – на днях в *** дворце я хотел познакомить вас с нею формально; вы не согласились. Теперь я у вас прошу немногого: будут танцевать мазурку – выберите ее в какой-нибудь фигуре… это вас ни к чему не обязывает далее…

– Je ne le ferai pas, mon pere!.. Я этого не сделаю! – повторила она решительным тоном. – В танцах, как во всем прочем, я вожусь только со *своими* (je ne fraye qu' avec mes *pareilles), с теми,* кого я знаю.

– «Со своими!..» – повторил заметно взволнованным голосом граф Наташанцев. – Довольно, кажется, что она принята в свет… и вы могли видеть, какого милостивого внимания была она предметом.

– Мне это совершенно все равно, – высокомерно возразила ему дочь, – я не привыкла руководиться во мнениях моих о людях степенью их *фавора.*

Красивый старец тоскливо повел на нее глазами.

– Да что вы, наконец, имеете против нее? – вырвалось у него против воли, с тут же сказавшимся чувством сожаления за этот вопрос, который, он чувствовал, мог вызвать целый ряд неприятных для него ответов.

Но она ответила самым лаконическим образом:

– Вы должны сами это знать, батюшка!

Он судорожно задвигался в своем кресле.

– Вам оклеветали ее… Завистницы и злые языки наговорили про нее нелепостей… Когда женщина, как она, столь же умна и талантлива, сколько хороша собой, у людей… у нас в обществе в особенности… является какой-то зуд злости, страстное желание растерзать, разорвать на клочки ее репутацию…

– А куда она своего мужа дела? – прервал его хлесткий и жесткий, словно палочный удар, вопрос дочери.

– Куда? – пробормотал он уже озадаченно. – Он… он живет в деревне…

– Потому, что она с ним жить не хочет?

Он не отвечал.

– Потому что она почитает положение свое не достаточно блестящим и добивается высшего, – продолжала ядовито княгиня, – потому что она в своей дерзости мечтает заменить в вашем доме мою покойную мать?..

Наташанцев с каким-то будто испугом воззрился на нее, будто только теперь в первый раз, вследствие этих слов ее, формуловалось для него с полною ясностью то положение, в каком «стояли вещи»… Но эти же слова вместе с тем подняли со дна его души всю силу его чувства к той, к которой с такою, видимо, ненавистью относилась его дочь… «Рано или поздно надо было этого коснуться, – пронеслось в его мысли, – а раз она первая начала, тем лучше, я не остановлюсь»…

– А если б и так! – заговорил он горячо и спешно, как бы для того, чтобы не дать ей времени на возражение. – Я до сих пор жил единственно для вас, для моих детей. Брат ваш и вы, надеюсь, не можете упрекнуть меня в том, чтоб я не заботился устроить самым завидным образом ваше благосостояние. Вы выделены, богаты оба, в видных положениях; я никогда не тяготел над вами моею отцовскою властью – чего же еще больше вам нужно?.. Оставьте же и мне, – визгливо крикнул он в заключение («они не имеют права запретить мне это!» – подстрекал он сам себя внутренно, досадуя на себя же за тот надменный, владычный вид, с каким слушала его дочь), оставьте и мне, наконец, под старость, право пожить для себя, для счастья… каким я его понимаю и хочу! – прибавил насколько мог энергичнее он.

– Старость! – повторила она с ироническим выражением. – Вся-то беда в том, mon père, что вы слишком молоды!

– Вам до этого дела нет! – пылко воскликнул он на это.

Она с своей стороны старалась говорить как можно хладнокровнее, но слова ее шипели, как

раскаленное железо в воде:

– Я и брат мой поэтому и не протестовали, не касались ваших… *сердечных дел,* пока они оставались вашим личным делом… Но раз вы желаете навязать нам их последствия, раз вы не только не хотите подумать о том стыде, которым покрыл бы нас брак ваш… *с такою* женщиной, – подчеркивала княгиня Андомская, – но забываете еще и уважение к самому себе, к обществу, к которому вы принадлежите по рождению (le respect que vous devez à vous même, à la caste à laquelle vous appartenez)…

– Это еще что, при чем тут мое общество! – прервал ее отец, придираясь к этому слову, чтоб отвлечь течение ее болезненно отзывавшихся в душе его упреков.

– Noblesse oblige, mon père, а в теперешнее время тем более! – произнесла она с какою-то печальною наставительностью, задушевный тон которой сильно поразил его (не обычное ей тщеславие – высокое чувство родового достоинства говорило теперь в ней), – вы видите, что готовится: демократическая волна заливает нас отовсюду; нас разоряют, отымают у нас все прежнее значение…

– Да, une révolution sociale, – невольно, сквозь зубы, подтвердил он.

– А мы, – и глаза ее лихорадочно блеснули, – мы ничего не умели, не умеем отстоять, мы даем себе пустить кровь изо всех жил… У нас скоро останутся одни наши имена и наши предания… И вы, один из уважаемейших, из виднейших людей нашего общества (de notre bord), вы хотите дать собою пример презрения к этому последнему нашему достоянию, желаете попрать ногами (fouler aux pieds) ваше имя, вашу незапятнанную до сих пор жизнь, уважение к вам детей ваших… tout ce qu’on nomme respect humain! – воскликнула княгиня, – из-за прихоти какой-то авантюристки, которая навязывается вам в жены от живого мужа!

Наташанцев, весь бледный, поднялся с места. На его изящных и выразительных чертах сказывалась вся та мучительная борьба, что разрывала ему сердце в эту минуту. Так много отзвуков находили в нем эти жестокие… и «справедливые» дочерние укоры!.. Да, он был до сих пор безупречный семьянин и слуга своего долга, он честно носил громкое имя и заветы своих предков, он… Быть может, если бы «не так язвительно, не так обидно» говорено было о женщине, для которой он забывал все это, свое прошедшее, он нашел бы еще в себе достаточно сил для противодействия увлекавшему его водовороту… Но нет, ее «оскорбляют так беспощадно, так *безвинно»,* ее «заедят, если б он»… Нет, он обещал, он «навсегда уже связан с нею», связан всем, что дорого и свято человеку, – страстью, жалостью, рыцарским долгом…

– Оставим это! – торопливо, резко выговорил он, спеша теперь «покончить скорее с этим». – Я не изменю своего решения.

Она встала в свою очередь с искаженными чертами, с прерывавшимся тяжело дыханием.

– А я клянусь вам, отец мой, что я подвигну небо и землю (que je remuerai ciel et terre), чтобы помешать вам опозорить себя и имя, которое носила моя покойная мать!

Он каким-то отчаянным движением махнул рукою и с поспешностью юноши вышел, выбежал из комнаты.

Княгиня еще раз перевела дух, судорожно отряхнула свой кринолин и медленно последовала за ним.

Кира Кубенская (последняя часть разговора звучала на таких высоких нотах, что она ее

невольно услышала из своей комнаты) отделилась от спинки дивана, о который опиралась она, откинула капюшон на затылок и вся как-то выпрямилась.

– Так и *тут* может быть свой фанатизм? – прошептала она и глубоко задумалась.

А та, из-за которой «фанатизм» этот разводил отца с дочерью, чувствовала себя в эту минуту на самом верху блажества… Вот она наконец, та кульминационная точка, к которой устремлены были все заветные помыслы ее жизни. Она проникла, достигла!.. Двор, милостивые речи, ласковые улыбки – «с тех уст»!.. А кругом завистливые женские и восхищенные мужские взгляды, сладкое жужжание льстивых слов, сдержанный шепот страстного желания или дальновидное искательство пред восходящею, объясняла она себе, новою светскою звездой, какою становилась она. После тех двух балов в высших сферах она является уже равноправною со всеми этими «гордячками», благосклонности которых она тщетно добивалась в течение целых почти десяти лет… Что ей за дело теперь до них, до их доброжелательства или до их злобы! Она отвечает торжествующим равнодушием на их высокомерные усмешки, на то, чуть не гадливое выражение, с каким они, опустив глаза, поспешно прижимают к себе рукой свои пышные юбки, когда она проходит мимо них, будто с тем, чтобы не осквернить себя прикосновением к газовым волнам ее костюма *июля месяца…* «Пусть их тешатся!» Победа ее над ними очевидна для всех. Их мужья, братья, отцы – «все они» у ее ног. Дворская ласка к ней как бы дает освящение и давнишнему их культу ее вызывающей красоты, и ее смелым отношениям к старой «буржуазной» нравственности. Они спешат теперь к ней публично, пред лицом этих дочерей своих, жен и сестер, с курильницами того фимиама, в который они до сих пор довольствовались лишь кидать тайно щепотки на тесном алтаре ее гостиной. К давно знакомым ей присоединяются ежеминутно новые, чающие ее благоволения… Сам князь Черниговский просил сейчас представить его ей и, сияя из-под золотых очков блеском живых глаз, выискал для нее в сокровищнице своей неисчерпаемой любезности одно из своих тончайпшх, проницательнейших «mots heureux»; она вся даже вспыхнула от самодовольства – и от намека, заключавшегося в этом *mot…* Да, она достигла, достигла! Ее внесло наконец долго противным *ей* ветром в те глубокие воды, к которым так давно направляла она свои паруса; пристань в виду – замужество ее с графом Наташанцевым представляется теперь в ее воображении уже ни чем более, как *подробностью* — «un détail»…

Она несется в эту минуту в польке с гусаром Шастуновым, от которого не могла отделаться целый вечер. Она не хотела дать ему ни одного из своих contrendanses, приберегая их для «cavaliers plus sérieux» и ввиду нерасположения Наташанцева к этому «пупырю», как называл его Троекуров… Она была притом в таком *вознесенном* настроении, что «Basile mon fils» представлялся для нее уже очень мелким и «противным» со своим кривым носом и «гостинодворским» характером головы, вдавленной в непомерно развитый торс, с «глупо» приподнятыми плечами… Он это чувствовал со своей стороны и с тем большею назойливостью приставал к ней, тем упорнее вертелся кругом нее (он был вообще из числа тех мух в человеческом образе, что тем неотступнее лезут, чем их нетерпеливее отгоняют)…

– И неловок ведь как! – совсем уже сердито вскрикнула она на половине тура, чувствуя и видя, как он шпорой оборвал целое полотнище газа с ее юбки.

Она остановилась, скинула поспешно руку с его плеча, пока он весь красный от смущения суетился над куском, обмотавшимся кругом его гусарского сапожка…

Кто-то подле засмеялся.

Она нахмурилась:

– Finissez en donc! – крикнула она на него.

– *Moi je* ne sais pas vraiment, как это случилось, – забормотал он, теряясь еще более.

– Пойдемте, ma chère, я вам покажу, где уборная, – сказала видевшая это со своего места у стены (она давно уже состояла на положении «tapisserie» в свете) Варвара Петровна Мосягина, спеша ей на помощь.

Они ушли из залы. Basile побежал за ними, дождался у дверей уборной, пока, уколотая и подшитая на прежний лад, не вышла из нее красавица, и кинулся к ней с извинениями и изъявлениями. Ее досада успела пройти, она усмехалась теперь в ответ на его *нудные,* но, она не могла сомневаться, искренно «влюбленные» речи.

– Вы мне телеграфировали в прошлом году de Moscou, что вы мною «особенно займетесь», – расписывал он, – et *moi je* comptais là dessus с таким восторгом. А вы вместо этого и совсем меня к себе не пускаете, я вас еще ни разу в этом году не видал одну… вы даже на письма мои ни на одно не отвечали…

– Потому что это все вздор и пустяки, – говорила она в ответ, делая усилия идти скорее вперед (она не решилась отказать ему «в счастии вести ее под руку»), между тем как он, напротив, старался как можно более замедлять шаги, – неужели вы, в самом деле, еще такой ребенок, что не понимаете шуток и могли вообразить себе, что я приму все эти ваши декларации, вздохи и письма au sérieux?

Его всего перекосило от задетого самолюбия.

– *Moi j* en vaux bien un autre! – прошипел он. – У вас теперь, я знаю, только *этот старик* в голове. Все dans le monde говорят, что вы хотите за него замуж выйти… И вас за это в куски рвут, я вам прямо скажу…

– Да какое вам до меня дело, оставьте меня в покое! – крикнула она на него, силясь выдернуть руку, которую он страстно прижимал к себе локтем.

Шастунов удержал ее.

– Он стар, а я молод, – продолжал он, не слушая ее, как все тупые люди, силясь прошибить стену лбом, – и я гораздо богаче его, et puis *moi je* suis *prince,* et c’ est plus que *comte*…

– С чем вас и поздравляю! – перебила она его со смехом.

– Non, attendez! – упорно промолвил он. – s’il veut vous épouser, *moi je* veux aussi!

Она так и покатилась – благо были они теперь одни, проходя чрез пустую комнату, – звонким, неудержимым смехом. Ей вспомнилась Аглая, их последнее объяснение в Сицком[54], встреча с нею в Москве, ее самодовольная тупость, как бы вылинявшая и на лице этого «мальчишки», пресерьезно мечтающего отбить ее у ее «cher, cher, cher ami»… Все это в тот миг показалось ей так забавным, так «непроходимо-глупым»!..

– Послушайте, – бесцеремонно сказала она под этим впечатлением, – ведь это вы только с вашею маменькой способны на такие наивности…

– Maman – пожалуй, я не спорю, – отпустил он на это с самым внушительным видом, – mais *moi je* ne suis pas bête, je vous en réponds! Я сделаю карьеру, j’ai le temps, как и ваш monsieur le

comte. Et *moi je* vous adore и умоляю вас de me donner la préférence sur ce vieux!.. Moi en général я очень нравлюсь женщинам, – *moi j'ai* des preuves, – добавил он как бы последним, неопровержимым уже аргументом, – отчего вам меня не полюбить?

Ольга Елпидифоровна перестала смеяться.

– Довольно шутовства однако, mon prince, – промолвила она, окидывая его взглядом, от которого так и повеяло *грандамой,* какою она теперь уже всецело чувствовала себя, – вы меня одолжите, никогда более – слышите, *никогда!* – не возобновляя этого разговора со мною.

Он, что говорится, совершенно *опешил* вдруг, заморгал растерянно глазами…

– *Moi je… moi je* voulais… – несвязно забормотал он.

– Ах, кажется, мазурка начинается, – перебила она его, освободила из-под его руки свою, кивнула ему слегка головой и, чтоб отнять у него возможность дальнейшего разговора, обратилась вдруг к стоявшему у дверей бальной залы Гундурову с весьма неожиданным для него вопросом.

– А вы никогда не танцуете, Сергей Михайлович?

Он вскинул на нее глаза чуть не испуганно, видимо не поняв даже, о чем она его спрашивала… Она чуть-чуть усмехнулась и прошла мимо… Он опять ушел весь в себя, в свою задумчивость, в далекое прошлое, к которому только что уносилась его мысль…

Это был первый бал, на котором он присутствовал после десяти лет, после *тех* дней… Был тоже праздник *тогда…* Он стоит на подмостках в черном плаще Гамлета… О, молодость, о, незабвенные, нестерпимые и блаженные муки… и те лазурные, васильковые глаза, и золотистые волосы, и голос робкий, и трогательный, как пение малиновки, – о, где, где все это!.. А там – тот ужас, та минута, когда он увидел ее с сомкнутыми веками, покрытую цветами… цветами Офелии, и свет выкатился из глаз его, и он упал на руки Ашанина… Десять лет не могли смыть всю эту горечь, это отчаяние. Сердце его очерствело; он чувствует сам: к этому сердцу нет более доступа; одна голова его, словно беспощадный жернов, размалывает теперь неустанно сложные задачи предстоящего отечеству его нового строя жизни… Он глубоко верит в дело, которому он служит, верит все тою же своею одиноко работающею головой; замкнувшееся сердце не допускает сожаления о всем том заветном прошлого, что развеет навеки, разметет безвозвратно по лицу Русской земли это дело. Fiat justifia, pereat mundus!.. «Да и о чем жалеть»?..

Он поводит безучастно глазами по головам этой чуждой ему, незнакомой светской толпы. «Великая пустыня человеков»!.. «Счастие миллионов», – каким-то механическим процессом мысли говорит он себе вслед за этим. И вдруг под гром музыки и топот танцующих вспоминается ему, каким-то налетом текст Писания: «Не о хлебе едином жив человек».

– Сергей Михайлович!

Он оборачивается.

Пред ним стоит домино с желтою розой.

– Сергей Михайлович, не знаете ли вы одного адъютанта, барона Грюнштейна?

– Адъютанта герцога… Знаю! Вы желаете его видеть?

– Он из *умников,* – засмеялась она, – говорит, что танцует только «avec les dames qui savent causer», и удостоил пригласить меня поэтому еще на *нашем* бале на сегодняшнюю мазурку. Она уж началась, а я совсем было забыла, что *приказано* к мазурке снять домино и быть в toilette de bal. Я сейчас переоденусь, а вы, если увидите его, попросите за меня извинения и чтоб он немножко подождал – я сейчас буду…

Она двинулась… и остановилась.

– Слышите? – шепнула она Гундурову.

Близко к ним стоял знакомый уже читателю седой господин с миловидным женственным лицом и со спокойною, но чуть-чуть насмешливою улыбкой внимал громкой речи другого, стоявшего рядом с ним в мундирном же фраке и ленте чиновного господина. Полголовою выше соседа, статный, прекрасный, с линиями головы и длинной шеи образцовейшего рисунка, словно срисованный – собственною рукой любовно срисованный – с фотографии английского лорда, этот последний говорил, как с амвона. Не оборачиваясь на своего собеседника, а поводя кругом ласковыми, как бы *снисходящими* очами – именно *очами,* а не глазами просто – он приятнейшим бархатным баритоном протяжно и внушительно ронял одно за другим, будто многоценные жемчужины, слова свои с уст (разговор шел, очевидно, все о том же крестьянском вопросе и именно по поводу съехавшихся в ту пору в Петербург дворянских депутатов «второго призыва»):

– Le *jus romanum* nous a légué la formule de l’éternelle justice, – вещал он: – *audiatur et aetera pars.* Il serait de toute équité, ce me semble, d’accorder aux délégués de la noblesse le droit de libre discussion des éléments de notre futuv *jus rusticum* élaboré par la sollicitude éclairée des редакционные комиссии[55].

Он остановился на миг, как бы с тем чтобы дать своему собеседнику время вникнуть и зарубить в памяти все изящество и вескость выговоренного им мнения, и с мягкою, несколько уже игривою улыбкой продолжал по-русски:

– Я, конечно, не полагаю сказать этим вашему превосходительству что-либо новое, но осмелюсь напомнить в настоящем случае, что для гармонического вообще процесса государственного оркестра не всегда достаточно, однако, аппробующего гула волторн; нужны нередко и прямое порицание гобоя, и пчелиная насмешка маленькой флейты.

– Нравится вам? – проговорила княжна на ухо своему спутнику. – Это, говорят, восходящее светило… Фамилия его Паванов; он у немцев в Риге выучился так ораторствовать…

Гундуров не успел ответить.

Миловидное выражение лица седого господина внезапно изменилось: что-то едкое и жесткое сказалось теперь в его усмешке, в тоне его ответа:

– Хорош был бы «государственный оркестр», если б его предоставить «благородному российскому дворянству»!.. Libre discussion имело оно время заняться всласть в своих губернских комитетах и совещаниях. Посмотрели бы вы, что из этого вышло! Невообразимый хаос самых нескладных, противоречащих друг другу по самым основным пунктам вопроса, диких и корыстных мнений (у нас в комиссии с величайшим трудом могли составить из них свод), из которых иные не только «государственного», но и никакого *человеческого* смысла не имеют… На *кошачью* лишь разве *музыку – вот* на что способны ваши *благородные дворянские инструменты!..* А они с претензиями на советы и контролирование правительства! С какого

права, в силу каких антецедентов? – вскликнул уже он, сверкнув глазами. – Русская история выработала со своей стороны *формулу,* на которой вся она и выросла: царь повелевает, а все классы народа безразлично и безответно повинуются… Воспитанная на энциклопедистах Екатерина вздумала было слиберальничать, попробовала созвать депутатов и тут же распустила их, убедившись, что из «libre discussion» в России может только выйти бестолочь одна или пустое горланство.

Величественный сосед говорившего моргнул своими снисходящими очами.

– И ваше превосходительство полагаете, – возразил он все с тем же изысканным эмфазом в речи и произношении слов, – что по прошествии почти ста лет со времен великой монархини никакого, если дозволено мне будет выразиться по-европейски, *amendement* нельзя допустить в жесткой редакции старой русской «формулы», на которую изволили вы сослаться?

– Полагаю, – засмеялся в ответ седой господин, – и тем более, что крестьянская реформа еще упрощает ее: пред нами в ближайшем будущем стоит уже *бессословный,* уравненный во всех правах и обязанностях *народ* русский, а над ним все та же единоличная, самостоятельная власть, которой останется только избирать способных агентов для исполнения своей программы управления этою *безотличною* массой населения.

– Une monarchie démocratique, – le césarisme de la France actuelle? – произнес как бы уже несколько *инсизивно* господин, списанный с английского лорда.

– Называйте, как хотите, – не в кличке дело… Разговор оборвался на этом слове.

Звонкий хохот подле них заставил в то же время Гундурова и княжну вскинуть глаза в другую сторону.

К Ольге Елпидифоровне Ранцовой (они случайно остановились за ее стулом), танцевавшей с графом Мышинским, красивым поляком, прибывшим недавно из Варшавы для каких-то, говорили, «политических» переговоров «с *русским* правительством», подлетела с разбега веселая тройка, состоявшая из офицера Хлыстова посредине и двух очень молодых генералов по бокам.

Она поспешно встала.

– *Плечи, прелесть, загляденье!* – загоготал, близко наклоняясь к ней, Хлыстов придуманную ими, согласно делаемой фигуре, *фразу* из трех слов.

Она усмехнулась лукаво и двусмысленно и, протягивая правую руку левому из них:

– Само собою «загляденье»! – словно процедила она сквозь пышные губы, горячо вскидывая на него и тут же опуская глаза.

– И прелесть – первый сорт! – воскликнул с новым хохотом молодой генерал, охватил ее талию и понесся с нею по зале…

– Княжна, скажите, – молвил вдруг Гундуров (брови его сдвинулись, губы иронически скривились), – как у вас в Петербурге относятся к этим *откровенностям:* «с аппробующим гулом волторн», или с «пчелиною насмешкой маленькой флейты»? А по-моему, «гобою» этого вашего «восходящего светила» разразиться как раз было бы у места на этого рода мотив.

Она не ответила, кивнула ему в знак прощания и отправилась переодеваться.

VII

Herb ist des Lebens
Innigster Kern.

Schiller.

Я князь – коль мой сияет дух;
Владелец – коль страстьми владею;
Болярин – коль за всех болею,
Царю, закону, Церкви друг.

Державин.

Дня три спустя княжна Кубенская вернулась утром снизу после завтрака (она в своем качестве фрейлины постоянно завтракала с высокою особой, при которой состояла, и ее семейством) в свой поднебесный апартамент в весьма невеселом настроении духа.

Погода была морозная, и камин в ее гостиной топился с утра. Она подошла к нему и протянула руки к огню, как бы желая отогреть их; но ее знобило не от холода, а от нервного возбуждения, с которым она не в силах была справиться.

Она не могла не заметить сдержанности, чтобы не сказать *сухости, с* которою с ней обращались сейчас. Ею очевидно недовольны, на нее «дуются». За столом у всех как-то странно опускались глаза в тарелки, когда она начинала говорить… Бывшая тут игуменья Нафанаила – «о, противное существо!» – даже вздохнула два раза, с очевидною аффектацией отвечая ей, и повела на нее исподлобья глаза с таким выражением, что «*я*, мол, по своему сану должна скорбеть о тебе»… А когда встали, и княжна, по обычаю, спросила: «Madame a t'elle des ordres à me donner pour ce matin?» – ей ответили поспешно, «видимо желая скорее от нее отделатся», и по-русски: «Нет, благодарю вас, можете располагать вашим днем»… «Вашим *днем»* значит: ее весь день не желают видеть…

Это все так мало походило на столь еще недавние к ней ласки и милость… Досада княжны усиливалась еще сознанием, что помимо «наговоров», многое в ее поступках за последнее время могло подать серьезный повод к неудовольствию на нее, – «само собою, с *их* точки зрения», – говорила она себе… Но отчего же не скажут прямо, ч*то* именно? Она могла бы объяснить, оправдаться… А то молчат, хмурятся, не глядят…

Грудь ее высоко подымалась, зеленые глаза обводили кругом комнату с разгневанным выражением. Она «не раба, не горничная, она *этого* не снесет, – она *потребует* объяснения», – шептали, не раскрываясь, ее побледневшие губы.

«Объяснение» не заставило себя долго ждать. Ливрейный слуга княжны широко раскрыл дверь и, торопливо проговорив: «мать игуменья!», так же быстро попятился назад и с почтительно наклоненною головой пропустил тут же входившую, не ожидая ответа хозяйки.

Это уже одно свидетельствовало о степени значения, приобретенного духовною особой в этих стенах.

Кровь кинулась в голову Киры. Но она сдержалась, ответила наклоном головы на входной поклон игуменьи и, не отходя от камина, указала ей рукою на кресло подле него.

Та села, опустила глаза оправила свое черное покрывало и тяжело перевела дух, как бы

готовясь к продолжительной и не особенно приятной беседе.

Но княжна начала первая:

– Вы ко мне *с поручением?* – отчеканила она, воззрясь ей прямо в лицо.

Игуменья не успела ответить. Дверь из передней так же широко растворилась еще раз, и в просвете ее показался красный жилет:

– Ее высокопревосходительство, госпожа камер-фрейлина Прасковья Александровна Охвостова! – торжественно доложил он.

Это была двоюродная тетка Киры и, как известно читателю, особа, по предстательству которой поступила наша княжна во дворец. Она уже давно жила на почетном покое в дворцовом помещении и, кроме как на интимные придворные вечера, куда приглашалась по старой памяти (ее очень уважали), никуда из него не выезжала. Приезд этой семидесятилетней старушки к ней – к «девочке», какою не могла не почитать себя Кира сравнительно с нею, был чем-то столь необычным, что у нее вдруг екнуло сердце. Ничего доброго не предвещало ей это посещение. «Недаром же, – пронеслось у нее в голове, – решилась она взобраться на вышину моих 125 – ти ступеней»…

Она быстро, с протянутыми руками, пошла навстречу нежданной посетительнице:

– Ах, тетушка, могла ли я думать… Вы, надеюсь, на машине поднялись? – перебила она себя предупредительным вопросом.

– Да, на машине… Спасибо, я не устала… Я пройду, сама, – молвила та в ответ, нехотя давая племяннице поцеловать себя в щеку и слегка отстраняясь от этих рук ее, протянувшихся с тем, чтобы поддержать ее шаги.

Она еще не нуждалась в такой поддержке. Несмотря на свои лета, Прасковья Александровна Охвостова ходила бодро и держалась необыкновенно прямо. Вся она была словно подтянута благовоспитанностью и чинностью дворских приемов стародавнего времени. В черном от головы до ног (она не выходила обыкновенно из этого цвета со времени смерти одной, угасшей на заре жизни, молодой особы царской крови, к которой она была особенно привязана, изменяя его на серый лишь для придворных вечеров), с двумя накладнымии седыми буклями, обрамлявшими под низкою шляпкой ее узенькое, морщинистое и несколько строгое лицо, – ее худоба и прямизна стана придавали общему характеру ее облика всю ту внушительность и важность, которые недоставали ей со стороны ее невысокого роста. Она была очень близорука и то и дело должна была прибегать к помощи одноглазого золотого лорнета старинной формы, висевшего у нее на груди на широкой, черного же цвета, ленте, и который наводила она на лицо, говорившее с нею, не разом, а поводя им сначала из старой привычки учтивости по сторонам. «Il est malséant de fixer les gens de façon à pouvoir les embarasser», входило в ее *правила…* Прасковья Александровна говорила по-русски охотно – и по-старинному, произнося *этто* вместо *это, быдто* вместо *будто,* и т. п. и примешивая самым странным сочетанием простонароднейшие выражения и обороты к галлицизмам и книжному языку двадцатых годов.

– Куда прикажете, тетушка? – спрашивала ее Кира, невольно несколько суетясь.

– Подалее только от огня: глаза мои не переносят пламени…

Княжна усадила ее на диван и поспешила заставить пламя камина стоявшим подле экраном.

Мать Нафанаила поднялась со своего кресла и подошла к дивану:

– Ваше высокопревосходительство…

– А, матушка игуменья! – промолвила та, узнавая ее, и, тотчас же встав, вынула из муфты, которую кинула на диван, обе свои руки и уложила их одну на другую во испрошение ее благословения… Но на лице ее в то же время сказалась заметная досада.

Игуменья, высоко подняв сложенные персты, осенила истово эти руки крестным знамением и тут же, с видом крайней почтительности и искательства, сжала их в своих.

Прасковья Александровна села опять, повела прищуренными глазами на нее, на племянницу – и с тем же досадливым выражением в чертах молча забарабанила своими сухими и маленькими пальцами по гладкой поверхности стола, стоявшего пред нею.

Нафанаила села тоже, несколько, видимо, смущенная наставшим затем молчанием.

Молодая хозяйка прервала его первая:

– Вы имеете мне что-то сказать, тетушка? – отважно произнесла она, прямо вызывая ее на разговор.

Та подняла голову:

– Вы должны разуметь, *княжна,* – заговорила она с прорвавшимся вдруг возбуждением, подчеркивая для большей внушительности некоторые слова, – что я в мои преклонные лета не собралась бы на вояж к вам, если бы не имела в *этом разе значительные* на то резоны… Я и точно прибыла сюда, чтоб иметь с вами *некоторый* разговор…

Игуменья поспешно встала, услышав эти слова.

– Вы мне позволите в таком случае удалиться, ваше высокопревосходительство, – проговорила она с насилованною улыбкой и худо скрываемою обиженностью в звуке голоса, – мне также *поручено* было передать *нечто* княжне, но я уж потом… я успею…

Кира остановила ее движением руки. В лице ее читались нетерпение и решимость «вывести все это сейчас же на чистую воду».

– Позвольте, матушка, – я имею основание думать, что то, что вам «поручено», состоит в очень близком отношении к тому, что желает сказать мне тетушка. Во всяком случае у меня нет тайн, и я не желаю их. Прошу поэтому и тетушку, и вас передать мне теперь же открыто все, что имеете мне сказать: пусть каждая знает, что мне скажет другая.

Камер-фрейлина несколько уже дрожавшею от лет рукой подняла по привычке свой лорнет, приставила к правому глазу и тут же уронила его, как бы сказав себе: «И смотреть на нее не стоит!» Она не ожидала такого решительнаго тона у девушки, «chez une jeune fille!» и не привыкла к нему.

Она откинулась в сторону игуменьи:

– Новые понятия, новое обхождение, как видите, матушка! – едко произнесла она. – Audace et bravade… *неглиже с отвагой,* как говорят люди.

Мать Нафанаила опустилась снова в свое кресло, перебрала четками и глубоко вздохнула.

Кира закусила губу: ее подмывали и злость и желание засмеяться.

– Соблаговолите же, матушка, *доложить* княжне, что вам *поручено,* – продолжала подчеркивать Прасковья Александровна, – а я покамест *слушать* буду.

Та развела руками и вознесла глаза в потолок, словно призывая его во свидетели того христианского прежде всего смирения, с коим возлагала она на себя тяжелое бремя предстоявшей ей задачи.

– Не посетуйте на меня, княжна, – жалобно запела она, – за то что можете услышать для себя прискорбного из моих уст. Сказано: *Твори волю пославшего тебя.* Как приняла приказание, так по совести и послушанию должна я…

– Говорите, пожалуйста! – перебила ее, хмурясь, девушка. – К чему тут извинения!

– Пылкость молодости, – молвила на это Нафанаила, обращаясь к Охвостовой и как бы прося у нее извинения за эту «пылкость», – при самых лучших намерениях, как это почти всегда бывает в эти годы, увлекает часто нашу милую умную княжну далеко за ее пределы… должной осторожности… Она – если позволено мне будет так выразиться – очень часто грешит par trop de zèle, comme a dit Talleyrand, – добавила она, считая небесполезным щегольнуть образованностью пред такою «высокопоставленною *личностью»,* как эта «придворная старушка».

Но придворная старушка только на это поморщилась: в ее понятиях «православной инокине» было совсем «malséant» говорить в серьезную минуту на иностранном наречии, да еще о Талейране.

– Д-да… А дальше? – коротко проговорила она.

Нафанаила испустила новый вздох:

– Зложелательством исполнены люди в наш век, не прощают они друг другу ни слабостей, ни достоинств, а паче всего – превосходства умственного и душевного… Зависть снедает мелкие души… Так самые блестящие качества княжны служат ей часто во вред…

Кира перебила ее еще раз:

– Я вам очень благодарна, матушка, за мнение ваше о моих качествах, – но нельзя ли скорее о *поручении* вашем?

Игуменья глянула на нее теперь из-под нахлобученного клобука с тем самым «зложелательством», в котором она только что упрекнула «людей нашего века». Она никак не могла простить нашей фрейлине того, что она одна в этих стенах не хотела поддаваться на *эффекты,* к которым бывшая девица Травкина сохраняла все такую же страсть, играя на них и под этим монашеским клобуком своим.

– До сведения высоких особ, – начала она теперь ледяным голосом, с примесью худо сдерживаемой язвительности, – дошло об одном «весьма неприличном» – передаю буквально, извините, княжна! – разговоре вашем на вечере с графом…

– Так об этом уже знают здесь, – опечалили *их* уже этим! – не дав ей кончить, вскликнула камер-фрейлина, вся выпрямившись и направляя на этот раз свою золотую одноглазку прямо на лицо племянницы. – Отменно, княжна, отменно, могу вам только принести по этому случаю

мой усерднейший комплимент!.. И как вы, право удивительно, *будто* свайкой в кольцо, так и попали, что мы с матушкой об одном и том же с вами *гуторить* съехались! Недаром видно сказывается: на воре и шапка горит… А мне об вашей *конверсации* передала вчера на вечере у Их Величеств самая та персона, с которою вы доставили себе удовольствие иметь таковую.

– А! – так и вырвалось у Киры (она этого ждала). – Он успел и вам нажаловаться!..

– Не знаю, – возразила Прасковья Александровна, заморгав взволнованно глазами, – что вы разумеето под «нажаловаться»! Он, как человек благорожденный и серьезный, *ведая,* что я вам единственная родня в Петербурге и что *чрез меня,* – протянула она, – доставлено вам то *знатное* положение, в коем вы *по сю пору* имели счастие находиться, он должен был спросить меня, как ему понимать следует *этто…* ваше… votre inimaginable sortie, – договорила она по-французски, не находя в своем русском словаре соответствующего надобности энергического выражения.

– Нечего было ему спрашивать! – пылко отрезала княжна. – Я достаточно ясно высказала ему свои убеждения… которые и готова повторить во всякое время и кому угодно! – домолвила она, сверкнув глазами по направлению матери Нафанаилы.

Та поспешно втиснула пальцы в пальцы, тесно прижала их к груди и вонзила еще раз глаза свои вверх: Ты, мол, Господи, веси, а я ничего уж не могу после *этого*!..

– Как вы сказали: «у-беж-де-ния»? – повторила по складам Охвостова. – Да, да, знаю, un mot, которое я начинаю часто слышать и читаю в этих ваших новых русских журналах. Слово глупое *вообще,* а в вашем *рте* (dans votre bouche) и совсем негодное!

– Это еще почему? – вскликнула девушка.

– Потому, пока вы носите цвета и едите хлеб здешнего дома, вы своих «у-беж-де-ний» не дерзаете иметь, а обязаны держаться манеры смотреть и думать (manière de voir et de penser) тех, кому вы служите. Без того вы им не слуга и не друг, а предательница и враг… А давали ли они вам право поступить, как вы сделали, говорить, что вы себе позволили?

Ответа не последовало. Кира не находила его против *этих* доводов.

Тетка ее горячо продолжала:

– Вы вот сейчас похвалялись с азартом матушке, *быдто* какой савраска без узды, что готовы и вдругорядь и «пред кем угодно» *повторить,* что вы расписывали там под маской. Значит, так я понимаю, что за все *ихние* милости и благодеяния вы *им* же теперича неприлично отвечать собираетесь? Похвалы достойно, воистину! А чтобы, как требуют честь и долг dans toute âme bien née, спросить себя спервоначала, не можете ли вы compromettre своими безумными словами тех, при ком имеете счастие состоять и кого беречь должны, – так на это у вас не достало ни сердца, ни разума.

Глаза Киры засверкали.

– Позвольте, тетушка, я вас очень уважаю, но я никому не даю права оскорблять меня!..

Прасковья Александровна вся даже в лице переменилась; голос ее задрожал:

– Оскорблять вас!.. Вот как вы чувствительны в вашем самолюбии!.. А о том вы не подумали, как оскорбили вы меня *в них? Я* вас к ним приставила, *я* отвечаю за вас; *они* могут – в первый

раз в жизни! – пожалеть о том, что послушались меня… А вы… Мы дожили до того времени, что вы и чувств моих не поймете совсем; может быть, не поймете, что *они* для меня… Я бабки их, блаженной памяти императрицы Марии Федоровны, воспитанница и фрейлина (слезы при этом выступили на глазах старой камер-фрейлины)… Я видела образец всех добродетелей под венцом, знала государыню-мать, давшую тысячи воспитанных и честных матерей моему отечеству… Потомство ее дороже мне паче собственной жизни… Два поколения его родились, выросли у меня под глазами… Они привыкли с детства видеть во мне преданного друга и верную слугу… А вы?.. В какое положение поставили вы меня теперича к ним?..

Она остановилась перевести дыхание. Княжна заговорила в свою очередь:

– Я допускаю, тетушка, что *с вашей точки зрения я,* в качестве фрейлины, обречена на всю жизнь мою молчать как рыба; но я никак понять не могу, *чем* в данном случае могла я «compromettre» тех, при ком я состою. В том, что я сказала, выражено было лишь желание, чтобы великая мысль Государя об освобождении крестьян, которой я глубоко сочувствую, – и должны сочувствовать тем более близко стоящие к нему лица, – внушительно примолвила она, – не была извращена исполнителями Его воли.

– Что можете вы знать про мысли Государя! – вскликнула Охвостова негодующим шепотом. – *Сердце царево в руце Божией,* оно внушает ему, что нужно для блага его народов… А вы, – говорила она уже с каким-то благоговейным ужасом, – вы с дерзостью ваших двадцати лет решаетесь вмешиваться, решаетесь аппробовать или порицать – parceque l’un ne va pas sans l’autre! – такие Его дела, где, кроме Бога одного, не может быть Ему судьи dans tout l’univers!..

Она не в силах была продолжать: губы ее дрожали, пятна выступили на лице… Нафанаила, все время одобрительно кивавшая, будто в такт ее слов, воспользовалась перерывом и с искренним, по-видимому, увлечением схватила обе руки ее и прижалась к ней губами. «Придворная старушка» была так взволнована, что и не заметила этого излияния восторга.

Кира какими-то растерянными глазами глядела на тетку.

«Я ничего тут не понимаю!» – казалось, говорили они… Она, впрочем, начинала ничего не понимать и в себе самой.

В этом напряженном состоянии прошло несколько минут.

Прасковья Александровна достала из своей муфты оправленный золотом флакончик, открыла его и поднесла к ноздрям.

– Ее высочество у себя? – еще не отымая его, спросила она ни к кому определенно не относясь.

– У детей, – поспешила ответить Нафанаила.

– А! тем лучше! Давно их не видала, пойду к ним… Так оставить *этто* нельзя! – столь же неопределенно промолвила она.

– Я провожу ваше высокопревосходительство, если позволите…

Старушка, не отвечая ей, встала и двинулась с места.

– Reconnaissez vous votre faute au moins? – спросила она вдруг, останавливаясь на ходу, по адресу племянницы, но не глядя на нее.

Княжна стояла у своего стула, нервно перебирая пальцами по его спинке:

– Для чего спрашивать, тетушка! – ответила она с потемневшим взглядом и чуть-чуть приподымая плечи. – Я действительно забыла и виновата в том, что *пока я здесь,* я – узник, обреченный на безмолвие и *безмыслие,* – подчеркнула она, – но я не виновата, – прибавила она с каким-то намерением улыбки, – что я дитя своего времени и не могу разделять в душе моей всех ваших идей…

Прасковья Александровна горько улыбнулась:

– Ну да, конечно, *ветхая мимо идоша и вся быша новая…* Так я говорю, матушка?.. Счастливы ли вы оттого станете, что все разрушите старое, не знаю!.. А впрочем, слышала я от покойного Ивана Андреевича Крылова – c'était un véritable *русский* человек et homme d'esprit, – очень метко сказанное: «Напала на кошку спесь, не хочет и с печки слезть»… Пойдемте, матушка!..

И, опершись на предложенный ей игуменьей локоть, вышла с нею без дальнейших слов из комнаты.

«Прощения станет теперь за меня просить, извинять меня *молодостью,* как эта противная Нафанаила, себя выгораживать», – злобно говорила наша фрейлина, проводив их до двери передней и возвращаясь к своему камину.

Она подкинула в него полено и устремила недвижно глаза свои в пламя. Мысли беспорядочными скачками проносились у нее в голове… «Убеждение – *глупое слово»,* говорит, а у самой вера в эти свои старые догматы тверже скалы… Папа покойный какой умный был, а свое тоже бывало: «отпустишь – развалится»… Само, значит, держаться не может. Чего же жалеть, что развалится?.. Нет, не то! каким-то вдруг горячим взрывом поднялось из груди девушки: вот она старуха, вся еще пылает сердцем за свое, за эту веру в *них*, а я… одна, «спесь, как у кошки», говорят, а на душе тоска, тоска…

VIII

Some sins do bear their privilège in earth.

Shakesp. King John.

Ну, как по-вашему? По-нашему – смышлен!
Бегу, не оглянусь! Пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок…

Горе от ума.

– Свиты Его Величества генерал, граф Анисьев! – неожиданно пропел в эту минуту жирным и зычным голосом ливрейный княжны, распахивая с шумом дверь…

– Граф Анисьев? – с изумлением повторила это имя она. – Он никогда у меня не бывал…

– Очень просят принять, – сказал шепотком красный жилет, притворяя за собою дверь для большей предосторожности.

– Проси! – молвила Кира, подумав.

Граф Анисьев в сюртуке и эполетах, раздушенный, щеголеватый и улыбающийся вошел в

гостиную.

– Princesse, – начал он по-французски, – я должен прежде всего просить у вас извинения, что, имев честь быть представленным вам еще месяц тому назад, так опоздал явиться к вам изъявить мое почтение… Но я еще не очень давно в Петербурге и так был завален делом с первой же минуты, что нахожу с величайшим трудом возможность урываться от него для исполнения моих светских обязанностей…

Она молча повела в ответ на эту учтивость подлежащим в этих случаях движением головы, села сама и указала ему на кресло против себя.

Он сел, затоворил о «прелестном вечере», отзываясь с «энтузиазмом» о том впечатлении, какое он произвел на него лично.

– Вы не можете себе представить, – весело говорил он, – что испытывает в этих случаях человек, который, как я, прозимовал три года до этого в глуши провинции, среди запоздалых мод, темных улиц, губернских львиц, которые говорят тебе «ваше сиятельство», и заматерелых медведей-помещиков, готовых в настоящую минуту, когда правительство решается наконец вырвать из их лап несчастных их рабов, разорвать тебя, как представителя его, этими же грязными лапами своими… Вдруг после общества *антропофагов* se retrouver en plein monde élégant!.. Смешно сказать, княжна, в мои лета, но я был счастлив как школьник. Ведь это мой первый петербургский бал после трехлетней моей ссылки… Я не мог, к величайшему моему сожалению, так как в тот же день обязан был *по особому поручению* уехать на сутки в Москву, быть на предшествовавпшем ему бале у *вас,* в этих стенах, но он, говорят, был тоже прелестный…

– Д-да… говорят, – сказала рассеянно Кира.

Он засмеялся:

– Вы так безучастно повторяете «говорят», что можно было бы подумать, что и вы, как я, знаете о нем только понаслышке.

– Нет, я, разумеется, была на нем, – слабо усмехнулась она.

– Но… – он приостановился, как бы выжидая второй части фразы, и, не дождавшись, договорил сам, – но у вас другие вкусы, чем свет (vous avez d’autres goûts que le monde), – так это?

Она холодно взглянула на него:

– Может быть; но почему могло бы это быть вам известно? Вы меня совсем не знаете.

– О, – весело возразил он, – а опыт жизни и света!.. Я тотчас же составил себе об этом понятие на том вечере во время мазурки, заметив, как тщетно добивался этот бедный Грюнштейн вашей улыбки, наводняя ваш слух своими остзейско-французскими любезностями, и как вы морщились, когда Хлыстов со своим ревом заставлял вас подыматься с места: «Grand rond, s’il vous plait»!.. Il ne vous plaisait pas du tout, я это хорошо видел, – хихикнул в заключение Анисьев собственному своему *mot.*

– Я танцую неохотно, это правда, – сказала она.

– Вы и появились только в мазурке… Я разумею, в бальном туалете, – тонко промолвил щеголеватый генерал, зорко вдруг взглянув на нее, – так как вы могли, *неведомая никому,*

быть тут и ранее…

«Что это, – пронеслось в голове Киры, – намек опять на тот мой разговор?.. И он!.. Прямо бы уж объявили меня государственною преступницей»!.. И прозрачные ноздри ее гневно раздулись и затрепетали.

– Я действительно была до этого в домино и в маске, – отчетливо выговорила она, вызывающим взглядом отвечая на его остановившийся на ней взгляд.

Но он самым невинным тоном и как бы вовсе не обратив внимания на этот относящийся к ней лично факт, а пользуясь только ее ответом для продолжения разговора на тот же общий мотив, заметил, что «ничего не могло быть счастливее этих неожиданно появившихся масок и подбора их из числа esprits les plus fins de Saint-Pétersbourg, и что в этом «сейчас же угадывается та, которой принадлежала эта мысль»… Intelligence supérieure, каких в настоящую пору весьма мало en Europe, – он не находил достаточно слов для восхваления ее. От общего он совершенно логичным путем перешел затем к частному, заговорил о ближайшем участии, принимаемом этою высокою особой в вопросе о крестьянском освобождении, и выразил и с этой стороны полную ей аппробацию… Сам он оказывался «самым горячим другом прогресса» (он признал необходимым сделаться таковым с первых же дней нового царствования), восторженно говорил о «grand acte», которое должно было «вознести нынешнее царствование превыше века Екатерины и Петра», упомянул с новым негодованием об этих «ours mal léchés», помещиках, «encroûtés в рабовладельческих традициях», в обхождении с которыми, по его мнению, правительство «очень могло бы и не надевать белых перчаток» (aurait pu tout aussi bien ne pas mettre des gants blancs). При этом таким же естественным сочетанием мыслей воздана была им хвала «литературе и вообще печати», которые, «к величайшей их чести, идут рука об руку с правителством» и, проводя в общественное мнение современные идеи Европы, стремятся *именно к тому,* что правительство в своих просвещенных начинаниях желало бы, так сказать, – игриво выражался он, – привить (enter) к заплесневелому дереву матушки святой Руси (à l’arbre vermoulu de la sainte mère Russie)… «Конечно, – молвил он, снисходительно поводя плечом, – дело не обходится без некоторых прискорбных увлечений (de regrettables entraînements), но нельзя не признать, что корень их все-таки лежит в самых благородных и «вполне патриотических» побуждениях. Сожалея о том, что они «иногда переходят за пределы терпимого (de ce que l’onpeut souffrir)», нельзя вместе с тем не сочувствовать их искренности и заключающемуся в них горячему желанию пользы отечеству… И по этому случаю заговорил о Герцене:

– Это очень большой ум… Я в нем признаю даже гениальность (je lui reconnais du génie), и – вас, может быть, удивит мое мнение, княжна, – ввернул в скобках изящный генерал, таинственно понижая голос, – хотя его *Колокол,* строго говоря, должен быть почитаем обоюдоострым оружием (une lame à deux tranchants), которое приносит столько же вреда, сколько пользы, я искренно пожалел бы, если бы какие-нибудь обстоятельства заставили его прекратить свое издание. Нам нужен этот набат (ce tocsin) за границей, чтобы не давать всем нам спать (pour nous tenir tous en éveil), стыдить нас за нашу отсталость и заставлять догонять Европу…

И он, как бы в ожидании ее ответа, вперил еще раз в лицо княжны свои зоркие глаза.

– Меня ваше мнение не удивляет, – спокойно произнесла она, – оно мне кажется очень основательным.

– Не правда ли, не правда ли? – воскликнул он, будто очень обрадовавшись ее одобрению.

– Конечно, – сказал он чрез миг, – влияние у нас Герцена, которого никто, конечно, не станет отрицать, оказывается, повторяю, иногда чересчур сильным на некоторые неопытные, по преимуществу молодые умы, увлекающиеся одною *утопическою,* так сказать, стороной его мнений… Но как не извинить опять в душе этих пылких, всегда благородных молодых людей, – полувздохнул, полуусмехнулся Анисьев, – которые в этом блестящем таланте видят…

Он оборвал вдруг на полуфразе, прищурился:

– Да вот, например, – проговорил он небрежно, – вам, кажется, родня, княжна, некий бывший студент университета Овцын?.. Иринарх… Федорович, если не ошибаюсь… да, Иринарх Федорович Овцын?

Кира, в свою очередь, воззрилась теперь ему прямо в лицо:

– Мне он не родня совсем, но у нас есть с ним общие родные…

А что?

– Он именно один из тех чрез меру увлекающихся молодых людей, о которых я говорил… Не знаю, известно ли вам, – произнес вдруг с какой-то вескою медленностью Анисьев, – что он уехал в Лондон не под своим именем, с чужим паспортом?

Краска невольно бросилась в голову девушки; она начинала понимать, чему обязана была визитом этого любезного ее гостя. Но гордость не изменила ей в эту минуту.

– Об этом последнем обстоятельстве я не знала, – проговорила она с полным хладнокровием, – но я видела его недели две назад, и он говорил мне, что собирается ехать в Лондон.

Анисьев быстрым движением тела закинул глаза за спину и, уверившись, что дверь в переднюю заперта, так же быстро наклонился с места к княжне:

– И пред этим отъездом своим передал вам ящик с бумагами? – проговорил он шепотом.

– Что это за вопрос?

И глаза ее засверкали искрами.

Он помолчал, не отрывая от нее взгляда, и промолвил затем участливым, чуть не нежным голосом.

– Извините меня, княжна, но с вашей стороны было довольно неосторожно принять эти бумаги.

Она поняла, что факт был ему самым положительным образом известен, что она напрасно стала бы отрицать его… Да она и не сумела бы, – она еще ни разу в жизни не солгала, – она бы только «спуталась». Нет, «так лучше, пусть знает»! Она на этой почве может вернее оставаться сама собою…

– Это уже мое дело и никого другого не касается! – громко сказала она.

– К сожалению, нет, – возразил он, пуская теперь в ход свою многозначительную улыбку, – господин Овцын *бежал* за границу, очевидно, с преступной целью. Правительству известны его антецеденты… необходимо выяснить теперь его дальнейшие намерения. Бумаги, которые он оставил у вас, представляются таким образом крайне важными…

Она молчала.

Он опять наклонился к ней, заговорил мягким, словно убаюкивающим шепотом:

– Княжна, умоляю вас выслушать меня с полным доверием к моей искренности! Вести с вами речь о таком… щекотливом обстоятельстве нисколько, как вы должны знать, не входит в предел моих обязанностей. Если я согласился принять на себя это совершенно… *экстраординарное* поручение, то это, поверьте, единственно с целью отстранить от вас… те неприятности, которые могли бы возникнуть, если бы… *это* пошло другим путем… Никто, конечно, и не думает заподозривать вас в каких-либо… *сочувственных,* – подчеркнул он, – сношениях с нашими эмигрантами и их здешними единомышленниками и корреспондентами… Я уверен даже, что, согласившись по незнанию… или великодушию, принять от господина Овцына бумаги его на сохранение, вы не полюбопытствовали и взглянуть на них…

– Конечно, нет! – так и вырвалось у Киры; она опять вся покраснела от мысли, что кто-нибудь мог заподозрить ее в нескромном любопытстве.

Анисьев отвечал на это полупоклоном, как бы говоря: «Вы видите, что я ни единой минуты в этом и не сомневался», – и продолжал:

– Но, повторяю, если б это пошло *иным путем,* вас должны были бы попросить тогда… *по правилам,* – промолвил он как бы несколько уже пренебрежительно, – отвечать на известные… *официальные* вопросы, что уже одно могло бы оскорбить вас, и не могло бы быть притом сделано иначе, как уже *с ведома хозяев этого дома…* А этого, считаю долгом предуведомить вас… для вашего успокоения, – добавил он, вскинув пристально еще раз глаза на девушку, – прежде всего желали бы избегнуть…

– А как же, думаете вы, можно было бы избегнуть этого теперь? – свысока и нехотя ответила она на это.

– О, ничего нет легче! – засмеялся он самым уже успокоительным образом. – Разговор наш так и останется частным разговором… вы передадите мне эти бумаги…

– Никогда! – вскликнула она, прерывая его негодующим взрывом, с широко раздувшимися ноздрями, со внезапным пламенем в глазах.

Он как бы уныло опустил голову и вздохнул.

– Мне известно, что вы очень умны, княжна, – начал он, довольно долго помолчав пред тем, – и мне трудно понять поэтому, как вы решаетесь… *усложнять ваше положение* из-за человека, который, во-первых, теперь вне власти Русского правительства и поэтому вне всякой опасности кары или даже задержания; а, во-вторых, который, как сами должны вы видеть, настолько же не деликатен, насколько и легкомыслен, так как, решившись навязать вам роль какой-то будто сообщницы его, не умел даже сохранить концы настолько, чтобы сношения его с вами и факт переданных вам бумаг остались неизвестными.

Кира нервно мотнула головой:

– Какое мне до него дело! – презрительно уронила она… и иронически усмехнулась чрез миг. – Но вы, кажется, не совсем логичны, граф?

– Почему вы думаете? – спросил он с некоторым изумлением.

– Судя по тому, как *либерально* говорили вы в начале разговора, я никак, согласитесь, не могла ожидать, что он должен будет кончиться *этим*.

Анисев нисколько не смушался этим аргументом ad hominem. Он многозначительно потянул свой прекрасный ус, который носил теперь не по-прежнему, крючком вверх, а вытянутым в струну à la Napoléon III, – на которого, как известно, вслед за Парижским миром пошла большая мода в Петербурге, – и возразил, тонко ухмыляясь:

– Мне кажется, напротив, княжна, что одно совершенно логично истекает из другого. Oui, je suis complètement libéral dans mes opinions: мы должны быть Европа, и пройти, чрез что она прошла. Я знаю, что ни одно государство не может обойтись без революции и что она у нас впереди; знаю, что все наше старое здание прогнило до костей и что его надо перестроить сверху донизу… Но дерево, у которого внутри уже ничего нет, часто еще держится корой, княжна (на лице изящного генерала невольно сказалось удовольствие, причиняемое ему таким удачным сравнением), и его до поры до времени не следует валить. C’est notre cas, princesse: – Россия тоже держится корой. Наш народ, le bas peuple, был до сих пор бессловесное животное, «быдло», как называют его поляки-помещики, соседи мои по Могилевской губернии. Получив свободу, он очень скоро поймет и потребует себе дальнейших прав, il demandera ses droits dé citoyen… Тогда, я не спорю, идеи Герцена и наших *передовых* людей будут иметь свою настоящую raison d’être и возможность быть примененными к делу. А до тех пор ne touchez pas à la hache, не трогайте топора! Потому что все хорошо в свое время, а иначе можно только компрометировать самое дело прогресса… Вот почему, княжна, – уже с торжествующим выражением во всех чертах заключил он, – я положительно порицаю, порицаю в интересах их же идей, те нетерпеливые умы, которые, как господин Овцын и ему подобные, торопятся будущею революцией и думают теперь же в одиночку, не подготовив достаточно сил и средств, свалить это гнилое внутри, но еще крепкое корой дерево… А пока оно еще стоит, ему, vous comprenez, princesse, нельзя запретить защищаться!..

Он, словно сожалея об этом последнем обстоятельстве, приподнял плечи и замолк.

Она слушала его внимательно и сосредоточенно, не отрывая от него глаз и с каким-то загадочным для него выражением в складе губ, в тесно сжавшихся бровях…

Он ждал в свою очередь ответа.

Она нежданно поднялась с места и гадливо уронила с губ:

– Вы даже не веруете в то, чему служите и во имя чего действуете!.. Блестящий генерал весь изменился в лице…

А она неторопливым шагом дошла до двери соседней комнаты, полуотворила ее, кликнула: «Анфиса!» – и, вернувшись к своему креслу, опустилась в него и молча устремила глаза свои в огонь камина.

Гость ее еще не успел прийти в себя, как на пороге той двери показалась красивая, синеокая горничная и с вопросом: «Чего прикажете?» – подошла ко княжне.

– Где тот короб с бумагами, который оставил у нас Иринарх Федорович Овцын?

– В шкапу, ваше сиятельство, – с легкою запинкой проговорила та, быстрым вопрошающим взглядом окидывая свою барышню и неведомого военного мужчину, показавшегося ей почему-то подозрительным.

– Достаньте его оттуда!

Синеокая женщина еще раз взглянула ей в лицо, как бы не совсем доверяя этому приказанию и ожидая его подтверждения.

Кира поняла, усмехнулась и утвердительно кивнула головой.

Анисьев, еще нахмуренный, но с оживленными любопытством глазами и несколько озадаченно следил за ними.

Анфиса подошла к шкапу, отперла его ключом из связки, висевшей у нее на поясе, потянула к себе из темного угла известный читателю короб и, взяв его на руки, донесла и опустила к ногам княжны.

– Вот он! – промолвила та, указывая на него кивком «либеральному» генералу. – Вы видите печати, никто к ним не притрогивался.

Он недоумело повел на нее взглядом, хотел ответить и не успел…

– Киньте это в камин, Анфиса! – услышал он «невероятное» приказание…

– Княжна! – был он только в состоянии вскрикнуть.

– Кидайте! – торопливо повторила она.

Анфиса своими сильными руками приподняла разом тяжелый короб, обернулась с ним к огню и быстрым движением, рискуя обжечь себе все пальцы, вдвинула его в самую середину очага.

Анисьев бессознательным порывом кинулся с места к нему… и отступил…

Между им и камином стояла также быстро обернувшаяся теперь к нему лицом синеокая женщина, и эти ее синие, прекрасные и решительные глаза будто говорили ему: «Пока не сгорит – не подпущу!»

Он покраснел невольно, прикусил губу…

– Вы видите, граф, – услышал он опять голос княжны Кубенской, – что меня никакими «путями» нельзя заставить сделать то, что я почитаю *бесчестным.*

Он уже овладел собою, усмехнулся опять своею многозначительною улыбкой, поклонился и, разводя слегка обеими руками, проговорил:

– Вижу, княжна, но за последствия я уж не ответчик!

– Какие угодно! – надменно и презрительно произнесла она в ответ. – И тем легче, что я сегодня же перестану принадлежать к этому дому!

Она с какою-то теперь злою радостью заранее жгла свои корабли.

Граф Анисьев не нашел слова ответить: в этой девичьей отваге было что-то необычное и увлекательно *красивое,* чего он, в качестве «знатока женщин», не мог не заметить и не *оценить…* Он поднял свою каску с пола, склонился пред княжной глубоким светским поклоном и вышел из комнаты.

– Барышня… княжна, – заговорила Анфиса, полуулыбаясь, полутревожно, как только затворилась за ним дверь, – а не выйдет какого худа из этого самого, что вы с вами спроворили?..

Кира пожала плечами.

– Вам очень жалко будет расстаться с дворцом? – спросила она вместо ответа.

– И ни в жисть! – воскликнула та. – Чего мне-то жалеть, барышня, измаялась я вся тут, в палатах в здешних… Особливо если теперича опять в матушку в Белокаменную вздумаете… Гори, гори! – прервала она себя, схватывая каминную кочергу и приподымая ею в очаге толстую кипу бумажных листов, чтобы дать их скорее охватить огню, – и праху твоего чтоб не осталось!..

Дверь из передней еще раз широко распахнулась, и в нее уже без всякого доклада вошла Прасковья Александровна Охвостова. Она казалась очень утомленною, и придворный слуга княжны вел ее под руку.

Кира быстро пошла ей навстречу, довела ее до дивана, усадила… Анфиса в свою очередь догадливо заставила опять огонь экраном, выбежала в спальню, вынесла оттуда какую-то шитую подушку и заложила ее за спину почтенной особы.

Та поблагодарила ее взглядом. Синеокая женщина глубоко поклонилась и вышла по знаку своей барышни.

Старушка перевела дыхание, вынула свой флакончик, нюхнула и, не отнимая его от ноздри, начала медленно и по-французски:

– Я и не знаю, как вы должны быть благодарны Провидению за то, что вам приходится иметь дело с самою милостью и добротой (avec la grâce et la bonté elles mêmes). Я была ими умилена до слез. В благородном сердце той, при ком вы имеете счастие состоять, я нашла за вас адвоката, каким не могла бы быть сама… и не намерена была быть, – примолвила строго она, – так как почитаю поступок… да и вообще всю вашу *tenue* здесь далеко несообразными с тем, к чему обязывает вас ваше положение фрейлины.

– Тетушка, – перебила ее Кира, – я с сегодняшнего же дня перестаю быть ею.

– Что-о? – протянула та в изумлении. – Когда вам великодушно прощают все ваши неосторожности и прорухи (vos imprudences et vos maladresses), когда это великодушие простирается до того, что меня спрашивают: не слишком ли «жестко» передавала вам эта игуменья то, что поручено было вам сказать «*для вашей же пользы»,* – вы кобенитесь и фыркаете как вырвавшийся конь (vous regimbez et piaffez comme un cheval échappe) и играете в обиженное самолюбие!..

– Выслушайте меня, тетушка, – сказала на это девушка, – и затем судите, самолюбие ли, или побуждение, менее заслуживающее вашего порицания, заставляет меня принять это решение.

Прасковья Александровна молча поднесла лорнет свой ко глазу, направила его на племянницу и словно застыла в ожидании ее объяснения.

Кира спокойно и обстоятельно сообщила ей об отношениях своих к Овцыну, «двоюродному брату ее двоюродной сестры», о его «несколько крайних мнениях», – которые, впрочем, говорила она, «разделяются, кажется, всею теперешнею молодежью» и «свободно, с

дозволения цензуры, высказываются и в журналах», – о том, наконец, что он, уезжая за границу, явился к ней с просьбой сохранить до возвращения свои бумаги, которые *могли многих* скомпрометировать» и что она *именно ввиду этого* решилась их принять…

Лорнет выпал из руки Охвостовой… Она всплеснула ею о другую руку и вскрикнула в ужасе:

– Бумаги заговорщиков (les papiers des conspirateurs)!..

Но когда племянница начала далее о визите графа Анисьева, о том, что ему было известно о передаче ей Овцыным этих бумаг, и он хотел, чтоб она теперь *выдала* их *ему*, – старая камер-фрейлина задрожала вся как в лихорадке:

– Полицейский розыск в этих стенах, под этою кровлею – только этого недоставало! – задыхающимся голосом застонала она, закрывая себе лицо платком.

Кира примолкла… Сама она была бледна как полотно, только зеленые глаза ее горели своим обычным, гордым пламенем.

– Что же вы сделали? – спросила ее чрез минуту тетка, опираясь обеими руками на стол, а головою об эти руки, будто с тем, чтобы не смотреть на нее.

– Я сожгла их, при нем, в этом камине…

Руки внезапно упали, и Прасковья Александровна вся, всем своим худым старушечьим телом потянулась теперь чрез стол прямо к лицу племянницы:

– Вы… это сделали… при нем? – повторила она.

– А что бы вы сделали на моем месте? – уронила в ответ Кира.

Старушка, тяжело дыша опустилась на свое место:

– Да… выдать их вы и не могли… Un dépôt est sacre… – пролепетала она через силу…

Последовало долгое молчание.

– После этого, конечно, – заговорила, несколько успокоившись, Охвостова, – оставаться вам здесь нельзя… Я ваше решение одобряю. У вас благородное сердце, но голова вверх дном (vous avez le cœur noble, mais le tête à l’envers); вы не созданы для дворцовой жизни, вы способны только компрометировать здесь и себя, и других.

– Я это вижу, – с горечью сказала княжна, – и хотела сейчас же пойти и сказать…

Та остановила ее движением руки:

– Погодите! Надо, если можно, избегнуть всякой огласки… скандала… Вы сделали себе теперь врага из этого Анисьева, но я надеюсь – если только это уже не дошло до сведения *выше,* – что сам он, для себя, не захочет раздуть этот… эпизод с вами… А там я переговорю, с кем следует…

Она вдруг завздыхала:

– Боже мой, что бы я дала, чтобы до *них,* бедных, *здесь,* не дошла эта новая неприятность!.. Ведь это уже не разговоры с Вилиным, а нечто посерьезнее… заговорщики, хоронящие свои

ужасы под *их* кровом!.. Я сейчас же напишу, пошлю за этим Анисьевым, – сказала она, вставая, – надо это привести в ясность. А вы сидите пока смирно и придумайте приличный предлог (un motif plausible) уехать отсюда… Что вы думаете из себя делать теперь? – спросила она как-то внезапно. Эта мысль, очевидно, только в эту минуту пршпла ей в голову.

– Не знаю… За границу поеду, может быть…

– Одна… без средств?.. – проговорила участливо Прасковья Александровна, прищурясь на нее.

– В Женеве у меня друзья есть… Сибиряки, из возвращенных… А средства – у меня пенсия после батюшки… Разве отымут теперь…

Старая камер-фрейлина вспыхнула вся:

– Как вы *их всех* знаете! Charitables tous et miséricordieux’comme Dieu lui-meme!.. Неужели вы можете думать, что вам станут мстить?..

Она пожала плечом, направилась к передней, остановилась у двери:

– Приезжайте ко мне вечером, мы решим, как это наилучше устроить…

Кира наклонилась невольным движением поцеловать ее руку.

Та нежданно и порывисто закинула ей эту руку за голову, прижала ее к груди и дрогнувшим голосом прошептала по-русски:

– Ах, головушка, несмысленная головушка, что-то тебя ждет впереди!.. – и быстро взялась за замок дверей, чтобы не выдать далее охватившего ее волнения.

Кира проводила ее по коридору до подъемной машины и вернулась, лишь уверившись, что она благополучно спустилась донизу.

В своей передней она в полутьме заметила мужскую фигуру.

Это был посланный от Гундурова с запискою к ней. Она взяла ее, вернулась в гостиную и, сорвав обложку, уселась с нею на прежнее свое место у камина. Гундуров почитал нужным известить ее, чтоб она не беспокоилась относительно последствий *известного* разговора ее на вечере. «Об этом разговоре знают, – писал он ей, – и очень смеялись испугу графа В., которому (привожу буквально) notre jeune exaltée a du faire l’effet de Jeanne dArc, l’oriflamme a la main, tapant sur les Anglais»…

Письмо выпало из рук Киры.

«Jeanne d’Arc!.. Да, я смешна, смешна!» – заныло новым, невыносимым уколом у ней в сердце…

Она откинулась затылком в спинку своего кресла и залилась внезапно нервными, злыми слезами…

Они еще не успели просохнуть, когда неожиданное имя, отчетливо произнесенное басистым голосом вошедшего слуги ее, донеслось до ее слуха:

– Господин Троекуров, Борис Васильич!

Она вся выпрямилась, поглядела на докладывавшего, машинально, быстро провела рукой по

глазам…

– Борис Васильевич Троекуров? – громко повторила она. – Он здесь?.. Проси!..

Ей почему-то казалось невероятным, чтоб он мог быть здесь, мог явиться к ней «именно в эту минуту»…

Он вошел. Ей прежде всего кинулась в глаза в нем перемена костюма. Он был в партикулярном habit de matin, с цилиндром в руке, в лиловых перчатках. Складки просторной одежды ложились с какой-то особою, изящною мягкостью кругом тонких очертаний его высокого, все так же стройного туловища, но в лице он казался пополневшим. Прежнее выражение усталости, обычное этому лицу, сменилось теперь чем-то спокойно-вдумчивым, сознательно-довольным. Кира тотчас же заметила эту новую черту… Только глубокие глаза его сохранили знакомую ей привычку нервного помаргивания, да белокурые усы кудрявились над все так же несколько скептически улыбавшимся ртом.

– Каким образом вы здесь, Борис Васильевич, и давно ли? – спросила она, подымаясь ему навстречу.

– Для чего приезжают из провинции люди в ваш отвратататительный город, – отвечал он смеясь, – само собою по делам, по скучным, глупым делам… У меня такое дело в Сенате…

– И давно вы здесь? – повторила она.

– Дня два, три… – сказал он вскользь, усаживаясь в кресло, которое указывала она ему.

– Что Сашенька?

– Спасибо!.. Велела вам кланяться, жалуется, что не имеет от вас известий…

– Я виновата действительно пред нею: не отвечала на ее последнее письмо… Когда Сережа Лукоянов был здесь, я ему часто поручала передать сестре то, что не успевала написать сама, а с тех пор, как он уехал за границу…

– Вы забыли о ней? – договорил Троекуров, помаргивая направленными на нее глазами.

Брови Киры болезненно сжались вдруг:

– В сущности, что может быть для нее занимательного в моих письмах!.. Вам, я думаю, *там* вдвоем ни до чего в мире нет дела? – промолвила она с какою-то неодолимою горечью.

– Нет правил без исключения, – ответил он весело, – но, говоря по правде, чем менее *здешнего* доходит *туда,* тем, по-нашему, *по-моему* особенно, лучше.

– Разве вас не интересует, однако же, то, что здесь делается теперь, что готовится для России? – спросила она, насилуя себя на разговор.

– Общее, les grandes lignes, – да, конечно! И издали, а не близко… Вблизи некрасиво, княжна: нагляделся и наслушался я в эти несколько дней…

– А что?

– Да как вам сказать? Во-первых, крупные и очень хорошие в сущности слова, но которые уже успели опошлить до тошноты: «свобода», «прогресс», «человечество», «современность» и так

далее, и так далее; их вам теперь, куда ни ткнешься, чуть не вместо лимона и сливок к чаю подают… А от слов – какое-то всеобщее пьянство мысли, и не хорошее пьянство, знаете… Отворили тюрьму, пустили на вольный воздух – понятно, человек и перехватить готов от радости. Но ведь это уж не то: это похоже уж прямо на колодников, сорвавшихся с цепи и лезущих разбивать кабаки. Все долой, глаза в крови и пена у рта!.. Некрасиво, нет!..

– Ну, а вы что же, княжна? – быстро переменяя разговор. – Все те же иллюзии? – спросил он, намекая на последний их разговор в Москве, год тому назад.

Зеленые глаза ее засверкали и тут же потухли… Нет, не насмешкою звучал его голос, да и что он мог знать «обо всем *этом»,* происшедшем с нею?..

– «Иллюзии», – повторила она тоном, поразившим его своим безотрадным выражением, – я покидаю дворец и Петербург…

Он быстро вскинул на нее взглядом, потянул ус и, не расспрашивая, как бы вовсе не интересуясь тем, что могло побудить ее к этому, спросил только:

– И жалеете о них?

– Нет, не о них… о собственном обмане, – ответила она без запинки, в свою очередь как бы вовсе не удивляясь тому, что он будто уже все знает и спрашивает ее не о фактах, а о том, как они отзываются в ее чувстве.

– Я рад, – коротко сказал он на это.

– Чему?

– Вы душу живу вынесете отсюда.

– На что она? – вырвалось и замерло у нее каким-то стоном.

– Жить!.. «Жизнь для жизни нам дана», княжна… Это, если не ошибаюсь, даже сам митрополит Филарет сказал[56].

Глубокая продольная морщина сложилась между ее бровями:

– Я охотно сейчас отдала бы эту жизнь, если б она на что-нибудь *настоящее* пригодилась.

– Это «настоящее» указано женщине с тех пор, как люди… люди… Но вы почему-то, как мне кажется, княжна, – примолвил Троекуров с ласковою усмешкой, – всегда задавали себе темою стараться не думать и не чувствовать по-женски?..

Она вдруг вся заалела, встрепенулась:

– Так это вы были!.. Вы неправду сказали сейчас, будто только два дня тому приехали. Вы раньше… Это *вы* говорили со мною под маской на том вечере… Как это я вас тогда же не узнала?..

Он с серьезным лицом взглянул на нее, утверждая, что она ошибается, что он никогда не был, не мог быть ни на каком «вечере», так как и не показывался никому в обществе.

Но она не поверила ему. Каждое из сказанных им тогда слов звучало теперь живым звуком в ее ухе:

– Не отрицайтесь! – говорила она с какою-то задушевностью, которой он до сих пор еще никогда не замечал в ней. – Вы одни могли знать меня настолько, чтоб угадать… понять, когда я вас приняла за… за другого… что я «из чистого источника»… Это *вы* сказали… Я в первую минуту рассердилась, но я… я благодарна вам, Борис Васильевич, за ваши слова, за… Вы как друг говорили со мною…

Она оборвала и, высоко дыша грудью, протянула ему руку.

Он не стал разуверять ее далее, стиснул ее пальцы и спросил прямо:

– Что же, Вилин нажаловался на вас?

Его видимое – «хорошее», как говорила она себе внутренно, – участие как-то странно успокоивало ее теперь. Она засмеялась на его вопрос:

– Это вы же поручили Бековичу сообщить мне о его разговоре с ним обо мне? Он смешной, но я его не виню. Он спросил у тетки моей, Охвостовой, что я за человек и как ему следует «понимать мои слова». Я не могу сердиться на него – он был прав… Но я не из-за того, – поспешила она объяснить, – решилась покончить с моею дворцовою жизнью. Тут произошло другое; вот что…

И она передала ему во всей подробности эпизод с Анисьевым по поводу овцынских бумаг.

– Этот дрянной мальчишка, – сказал, дослушав ее, Троекуров, – пригодился хоть на то, что послужил к скорейшей развязке вашего положения здесь, и вы за это должны быть ему благодарны. Сколько я понимаю, вы кончили бы каким-нибудь еще худшим coup de tête, или истомились бы в конец, насмерть…

– А теперь, – со внезапным напором прежней тоски вскликнула Кира, – я не истомлюсь разве от бездействия, от бесцельности моего существования?.. Я уезжаю за границу безо всякого плана, безо всякой определенной задачи в будущем…

Троекуров отвечал не сейчас:

– Княжна, вы до сих пор все искали для себя крупного *общего* дела – и не находили возможности приложить себя к нему с успехом… Хотите ли попробовать маленького и невидного, просто *доброго* дела, за которое горячо благодарна вам будет та, для которой вы сделали бы его.

– Хочу, конечно! Что такое, говорите! – быстро проговорила она, уставившись пристально в него.

– Тетка ваша, мать моей жены, Марья Яковлевна, очень плоха.

– В самом деле?.. Я не знала, – воскликнула Кира.

– Я видел в Москве доктора ее, Варвинского. Он говорит, что сердце у нее в самом жалком состоянии и что со дня на день можно ожидать катастрофы. Сама она, бедная, предвидит ее и говорит о ней… Я, разумеется, тотчас же привез бы к ней жену, но в ее положении, – промолвил вскользь Борис Васильевич (Александра Павловна была на седьмом месяце беременности), – это было бы опасно, и Марья Яковлевна сама ни за что этого не хочет. Саша и не знает, что матери так нехорошо… Вы не всегда сходились с теткой, княжна, – продолжал он, пока она все так же сосредоточенно и безмолвно глядела ему в лицо, – но она поистине добрая

и благородная женщина и любит вас, я знаю. Она была бы несомненно счастлива, если бы вы теперь были при ней… Недолго, вероятно, пришлось бы вам походить за нею… А для вас это un prétexte tout trouvé, самая естественная в глазах всех причина отъезда вашего отсюда, – заключил Троекуров как бы мимоходом.

Но Кира поняла, что в этих последних словах заключалась главная сущность его предложения, – что он прежде всего озабочен был мыслью «найти для нее самое *приличное* объяснение этого отъезда ее из дворца».

Какое-то радостное, давно ею не испытанное чувство шевельнулось у нее в груди. Она провела медленно по лицу своею бледною рукой и тихо улыбнулась:

– Этот «предлог» разрешает все, – сказала она, – спасибо вам за него! Я отпрошусь сегодня же и могу завтра уехать в Москву.

– В самом деле?

– Да!.. Самое позднее – послезавтра… Ведь чем скорее, тем лучше теперь?

Он утвердительно качнул головой и встал.

– Дайте мне знать в Демутову гостиницу, нумер четвертый, когда вы именно могли бы уехать. Я распоряжусь, чтобы вам было на поезде особое отделение. А я тогда выехал бы ранее, чтобы успеть предварить больную о том, что вы к ней едете.

– Я напишу вам сегодня вечером… может быть поздно – все равно?

– Конечно! – Он засмеялся. – Люблю такие быстрые решения!

Кира посмотрела на него мимолетным, странным взглядом.

– В вас верить можно, Борис Васильевич, – быстро пролепетала она в ответ. – До свидания!..

IX

Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s’ils n’étaient les dupes les uns des autres.

La Rochefoucauld.

Видишь ты, мудрый, как крылато племя
Ни землю пашет, ни жнет, ниже сеет;
От руки вышней однак в свое время
Пищу довольну, жить продлить, имеет.

Кантемир.

Целые полторы недели покоилась Ольга Елпидифоровна Ранцова на лаврах успеха, пожатых на вечере, на котором читатель имел случай видеть ее во всем ее торжестве. «Position» ее в большом свете казалась ей с той поры вполне обеспеченною; на это были у нее самые убедительные данные. Она после того вечера была еще на двух вечерах в high life’с и имела там *сукцес* неслыханный: о мужчинах и говорить уже нечего, но и дамы «des plus huppées», две даже из интимной котерии княгини Андомской (самой княгини, по случаю какой-то «счастливой» простуды, на этих балах не было, «а то бы они при ней не решились», признавалась себе наша красавица) знакомились с ней, выбирали ее в мазурке, восхищались ее

вортовскими туалетами и завезли ей затем свои карточки… Наконец три разом сестры Саватьевы завтракали у нее в эту минуту и занимали ее веселым и льстивым разговором…

Семья Саватьевых служила в те дни самым верным барометром светской атмосферы – барометром, на котором для вящшей точности указывала погоду не одна стрелка, а целых шесть, – шесть сестер, шесть здоровых, бойких, ничем не смущаемых организмов, сызмала налаженных воспитанием пробиваться в жизни *клином,* как некогда македонская фаланга, и добиваться от нее сообща unguibus et rostro всех тех благ земных, какие только в состоянии дать она.

Желчные люди называли их «интриганками», зубоскалы – «снобсами»… Но это были поистине добродушнейшие снобсы и интриганки во всей природе. Они и не подозревали, чтобы могли существовать на земле люди, способные возмутиться их неустанным искательством, оскорбиться их наивно-агрессивным тщеславием. Они были так мягки сердцем, так любезны обхождением, так доброжелательны ко всем… Приедет к ним близкая кузина из провинции, старосветская деревенская приятельница – они и тех обласкают, «обворожат», накормят конфетами от Балле, зацелуют в передней на прощанье… Правда, они эту деревенскую приятельницу завтра же не узнают в театре, не поклонятся ей, встретясь нос с носом на улице. Правда, если в то время, когда эта ближайшая родня сидит у них в гостиной, вбежит слуга с докладом громкого имени из *гранжанра,* все сестрицы с растерянными взглядами, с проступившими от волнения сизыми пятнами на щеках, вскинутся разом, будто стая вспугнутых перепелиц, замечутся, заголосят и тут же с места увлекут родную plebs куда-нибудь подалее, «к няне», в девичью и оставят ее там сидеть в недоумелом одиночестве до отъезда *именитости…* Но ведь, согласитесь, как же быть иначе? Княгиня Кра-сно-ре-цкая, или графиня Бо-ро-динская, и вдруг оставить сидеть рядом с нею какую-нибудь девицу Лу-кош-кину! Разве это возможно? «Ведь кто же носит, в самом деле, такую непозволительную фамилию!» – объясняли они прямо со своим голубиным простодушием…

Сами по себе они не были ни знатны, ни богаты. Папаша их, «умеренностью и аккуратностью» вышедший в люди, пучеглазый и тучный, действительный тайный советник, – ими же, дочерьми, посаженный подписываться «с большинством» в одно из высших учреждений Империи, – казалось, говорил всем своим недоумелым обликом: «Как это я попал на такую степень?..» Мать – маленькая, тщедушная и больная, из древнего, но захудалого рода князей Мордовских, проводила половину жизни в постели и по старой привычке шпыняла мужа его «вульгарною фамилией»… «Je suis née princesse, et mes filles, grâce a vous, ne sont que des *savattes*[57] pour le monde», – колко острила она ему в глаза по этому поводу… Но это были совершенно неосновательные попреки. Без ее *savattes* в большом свете кошек, как говорится, не секли. Чуткие, смелые, одаренные железным здоровьем и неодолимою безусталостью, сестрицы, как мыши, пронюхивали и проползали в каждую норку, как пчелы выбирали воск и мед из каждого цветка и несли свою *взятку* в родной улей… *Саватьевой* оставалась, впрочем, одна, старшая, «la belle Lydie», пышная и брезгливая белокурая особа, идол прочих сестер, уже восьмой год с появления своего в свет пребывавшая в девстве, так как по ее понятиям «менее чем за 50,000 дохода не стоит продавать свою свободу мужчине»; – остальные были мужние жены или вдовы. Но, как связаны физиологически пальцы на руке, они так неразрывно связаны были между собой общностью целей, вкусов, уровнем духовных своих потребностей, что отдельные интересы каждой из них как и бы вовсе не находили себе места между ними: *личность* поглощалась *племенем…* «La tribu des Savatief» не даром называли их в свете… Каждый Божий день слетались они со всех концов Петербурга к завтраку в родимое гнездо «к maman», и, нашушукавшись вшестером по всем углам дома, разлетались опять по городу исполнять каждая назначенный ей на тот день *урок* в общем плане действий. Высшая справедливость людская награждала по достоинству это примерное семейное согласие. Юрким

сестрицам как бы никто ни в чем, ни в большом ни в малом, отказать не смел: ни в казенной ложе, ни в отдельном вагоне, ни в крупном месте одному из их мужей, ни в награде «не в пример прочим» другому, ни в небывалой правительственной ссуде третьему из этих счастливых супругов. Они вхожи были во все подъезды дворцов, интимны во всех министерских домах; неизбежные спутницы всех солнц и звезд данной минуты, они были посвящены в интимные светские тайны, в тончайшие закулисные отношения в мире властей, знали до мелочи, и *что,* и *как,* и *где*, кто за или *против* кого, и на что *ловится* тот или другой, и у кого *сила* сегодня, и к кому должна перейти она завтра – и сооружали сообразно с этим и свои поразительные по дальновидности и смелости комбинации…

Это прирожденное им свойство известно было всем и каждому из посетителей петербургских гостиных. Зачастят к кому-нибудь они или станут усиленно приглашать обедать «к maman», все уж и знают: такому-то (или такой-то) *повезло,* или *должно повезти* на днях, и Саватьевы заранее закидывают удочку в воды его чаемой удачи…

На первом же придворном бале, на который приглашена была Ольга Елпидифоровна, Нелли Новицкая, одна из младших сестер, употреблявшаяся обыкновенно на аванпостную службу, просила в мазурке своего кавалера «назвать ее» Ранцовой и сказала ей, что она давно «восхищается ею в опере» и что она, Ранцова, «la femme certainement la mieux mise de Pétersbourg»… За ужином на том же бале Ольга Елпидифоровна очутилась за одним столом с двумя другими из сестер, баронессой Идой Фитцгейм, томною вдовой, носившей в семействе кличку «le camée», и Зизи Полинарьиной, *весельчаком* семьи («le loustic du régiment», как называла она себя сама), которая закланялась ей тут же, как давнишней знакомой, сказала ей в свою очередь, что у ней «une toilette étourdissante», а под конец ужнна назвала ее даже «душечкой».

Вслед за успехом нашей барыни на известном маскарадном вечере пущены были на нее два новые завоевательные корпуса: Дина Палецкая, «l’artiste de le famille», и старшая сестра, дева «la belle Lydie». В резерве осталась еще главная боевая сила Nanie Базина, решительная особа, отправившая мужа своего за какую-то скверность на Кавказ, «se faire oublier pour un certain temps», и сугубо по этому случаю преданная общим интересам «племени», слепо со своей стороны подчинявшегося ее высшей мудрости. Она должна была лично появиться на поле битвы лишь по окончательном созрении некоего тончайшего плана, зародившегося в ее изобретательной голове из соображения о блестящем дебюте «неизвестной до сих пор» Ранцовой в высших сферах общества и о страсти к ней такого высоко стоявшего на общественной лестнице человека, как граф Наташанцев, «une passion évidemment bien vue en haut lieu», рассуждала она…

Остальные сестры между тем, согласно установленному плану, вели правильную атаку обычными им орудиями «очарования». Не проходило уже дня с упомянутого вечера, чтоб Ольгою Елпидифоровною не завладела одна из них. Она была с Зини Полинарьиной в Михайловском театре на бенефисе Лемениля, каталась на коньках в Таврическом саду с Нелли Новицкою и Идою Фитцгейм, ездила верхом в Кавалергардском манеже с «la belle Lydie», заказала, по рекомендации Дины Палецкой, свой портрет au pastel новоприбывшему французу-художнику, которого та «пускала в моду»… Зизи, Нелли и Ида напросились к ней сегодня «на устрицы», без которых, «слышали» они, она-де никогда не завтракает. За этим завтраком Зизи смешила компанию до упаду, представляя в лицах разговор из какой-то *салонной* комедии, которую она видела на немецкой сцене. Она искусственно картавила и слегка заикалась, что прибавляло еще более комизма ее речам. Сестры видимо восхищались ее подражательным талантом (они самым искренним образом восхищались вообще друг другом) и поощряли ее «голосом и взором», обращая внимание хозяйки на каждую счастливую подробность этого дарового представления.

Ольга Елпидифоровна чувствовала себя в прелестнейшем настроении духа. Она сама была, как говорится, «не промах» и нисколько не обольщалась насчет бескорыстия этой внезапной дружбы к ней Саватьевых (она знала о них давно по рассказам своих «паричков» и завсегдателей). Но они были все такие «bonnes enfants» в своих приемах, так добродушно и сообщительно смеялись, так мило и откровенно рассказывали, что она невольно поддавалась их обаянию и чувствовала себя сама почти готовою вся *распуститься с* ними в *милоте* и откровенности…

Завтрак был заказан ею своему повару тонкий: тут были и устрицы, и примеры, и начинавшее входить тогда в моду moselle mousseux… Сестрицы оказывались гастрономками первого сорта, – а moselle mousseux «обожали».

– Мы должны непременно выпить *брудершафт,* душечка! – вскликнула вдруг Зизи, вскакивая с места и с расплескивавшимся бокалом подлетая к хозяйке.

– Quelle folle! – поощрительно хохотали ее сестры.

– *Финис, мон фрер, пур домести*к! – примолвила Нелли, повторяя чей-то будто бы вольный перевод с русского на французский язык и кивая на прислуживавших за столом.

Но Зизи, не обращая на это внимания и заставив невольно подняться смеющуюся Ранцову, ловко продела свою руку с бокалом под ее руку и опрокинула себе остатки вина в горло с совершенно гусарским молодечеством.

Ольга Елпидифоровна выпила в свою очередь. Маленькая Зизи приподнялась на кончиках ног и чмокнула ее в самые губы.

– Мы теперь *на ты,* душечка, et pour la vie! – вскликнула она с комическим эмфазом. – И чрез миг прибавила, лукаво подмигнув ей, и по – французски:

– Надеюсь, что *кто-то* не станет ревновать тебя ко мне за это?

– Кто этот «кто-то?» – спросила, будто не догадываясь, Ранцова.

Все три сестры закивали разом головами и снова захохотали:

– Какая лицемерка!

– Об этом только и речи à la cour et a la ville, а она одна этого не знает!..

– Mesdames, мы кончили; извините, больше ничего не будет, – сказала смеясь Ранцова, норовя прекратить этот разговор, и встала из-за стола.

– Прелестно! Задала нам Валтасаров пир и еще извиняется!

– Lucullus dinant chez Lucullus, – промолвила Нелли Новицкая, специальность которой состояла в повторении всех подобных ходячих в обществе труизмов.

Сестры принялись всем скопом обнимать хозяйку, благодаря за «божественный» завтрак.

Она перешла с ними в гостиную.

Но разговор, который она старалась избегнуть, поднялся здесь еще с пущим азартом.

– А что же бедный твой гусар теперь? – точно выстрелила вдруг Зизи Полинарьина.

И за этим вопросом глаза всех трех сестер вонзились разом в лицо Ранцовой.

– Какой гусар?

– Et le petit Шастунов?

Ольга Елпидифоровна только плечами пожала на это.

– Pas de ça, pas de ça! – заголосила Зизи. – Пожалуйста, не отнекивайся: я знаю наверное, что Irma Thénard делает ему ужаснейшие сцены из ревности к тебе.

– Je sais mieux que cela, – заспешила ввернуть Ида, – он надеется, что вы разведетесь с мужем и выйдете за него, он говорил…

Ранцова насилованно рассмеялась:

– За него! Я вот ему за это уши выдеру…

– За что же, chère? Он не виноват, что вы его с ума свели!

– Он мальчишка и более ничего!

– Годы тут – вздор, – живо возразила Нелли, – он сумасброд, а умная жена взяла бы его в руки и помешала бы ему расточить его огромное состояние. Он в прошлом году, – промолвила она как бы мимоходом и с небрежною усмешкой, – очень стал было ухаживать за Lydie, нашею сестрой… Она, конечно, elle n’ a pas pris cela au sérieux…

Ида томно вздохнула:

– Она так хороша, Lydie!.. Ей нужно un grand parti, – она родилась большою барыней до кончика ногтей.

Ольга Елпидифоровна насторожила уши: под оболочкою этой шуточной, ничего, по-видимому, не значащей светской болтовни, она тонким чутьем своим угадывала какой-то определенный замысел со стороны сестриц.

– Я знаю Базиля Шастунова с детства, – равнодушно уронила она, – умная женщина сделает из него всегда все, что захочет, – разорить, или женить на себе, на другой… на ком хотите, – чуть-чуть подчеркнула она.

Даже уши побагровели у сестер от внезапного возбуждения.

– «Умная женщина» – это *ты*? – так и впилась в нее пронзительными глазами Зизи.

– Конечно, конечно, она! – восторженно вскликнула тут же Ида. – Она может все, что захочет!..

«Вот оно! – сказала себе Ранцова. – Тебе, мол, он теперь оказывается лишним, так уступи его нам… А вот посмотрим, на что сами думаете вы мне быть годными, сестролюбивые голубки! Вы очень милы, бесспорно, но пальца я вам зря в рот не положу – откусите!..»

Но это между тем очень забавляло ее; она закусила слегка губу, чтобы не рассмеяться…

Зизи быстрым и недовольным взглядом глянула на Иду, как бы говоря: «Умерь свой восторг!» Она в свою очередь понимала, что ее новая приятельница видит их игру и что с нею надо пустить в ход большие козыри.

– Дина хотела быть сюда с Lydie, и Nanie тоже думала приехать, – сказала она, прищуриваясь на большие Булевские часы в углу гостиной.

– Она вам очень понравится, Nanie, я знаю, – закивала Ида, – elle est charmante, ma soeur Nanie, замечательно умна et irresistible, когда захочет.

– Да, это правда! – подтвердила со смехом Зизи. – Уж если она такую несносную особу, как Toutou Андомскую, умела апривуазировать… Ты ведь ее знаешь, Toutou? – самым невинным тоном спросила она.

– Княгиню Андомскую?.. Имею некоторое приятное понятие о ней, – иронически ответила Ольга Елпидифоровна.

– Ну да, ну да, – тотчас же впадая в ее тон, быстро заговорила Полинарьина, – rogue, intraitable, insolente… Я ее не переношу… Но вообрази же себе, что Nanie сделала ее мягкою, как перчатка, и вертит ею ре-ши-тельно, как хочет. Она без Nanie жить не может.

– Да-а? – протянула Ранцова, внимательно глядя на говорившую. – «За уступку Базиля, значит, предлагается мне ходатай пред княгиней Андомской… Не дурно придумано!» – сказала она себе мысленно.

– Александра Петровна Палецкая с сестрицею! – раздался в дверях доклад слуги.

– А, вот они! – вскинулись разом Зизи и Нелли и побежали стремглав встречать сестер на лестницу.

Они, по неизменному своему обычаю, перешушукались там вчетвером, насколько было им нужно, и вошли все вместе, сияющие, будто вновь отчеканенный золотой.

– Дина интересные тебе вести привезла! – крикнула с порога Зизи хозяйке, вышедшей к ним в первую комнату.

– Да, да, мы сейчас видели ваших amoureux, и старого, и молодого, – подтвердила Дина, целуясь с нею, между тем как величавая Lydie, медленно склонив голову в виде поклона и не вынимая рук из муфты, проходила мимо нее в гостиную.

– Ma chère, nous la tenons! – быстро кинувшись к ней, шепнула ей на ухо остававшаяся там Ида Фицгейм. – Через нее можно будет все устроить!

Lydie снисходительно улыбнулась, опустилась, не отвечая, в кресло у фортепиано и, все также руки в муфте, словно вся замерла в пышных складках своего toilette de visite…

Она могла пробывать так целые часы, красивая, безмолвная и безучастная.

– Ну, ну, рассказывай, рассказывай! – тормошила Дину Зизи Полинарьина, когда все они расселись кругом хозяйки в гостиной.

– Мы с Lydie, – начала та, – сейчас от monsieur Durand, который должен начать портрет ее, Lydie, после вашего, – и застали там Nanie и Toutou Андомскую…

«Ты слышишь?» – сказали, разом обратившиеся вслед за этим именем на Ольгу Елпидифоровну, глаза Иды, Нелли и Зизи.

– Они были у Татьяны Борисовны и заехали en passant. – (Татьяна Борисовна была очень почтенная и известная своею набожностью особа, весьма уважаемая и, как утверждали, даже влиятельная в высших сферах.) A Durand следит за вашим портретом. Прелесть, ma chère! Vous êtes adorable просто и главное – живая!.. И вот, только что мы успели сказать ему несколько слов, дверь отворяется, и входит le petit Шастунов, гусар… И очень сконфузился, увидев нас. Потому что, надо вам сказать, он прошлою зимой начал очень ухаживать за Lydie и потом вдруг увлекся вами… И он, разумеется, пришел теперь pour admirer votre portraiture, – острила рассказчица, – как вдруг grand coup de théâtre: входит сам граф Леонид Александрович Наташанцев!..

Все сестры загалдели разом:

– О-о! Браво!

– Какая прелесть!

– Ах, как досадно, что я там не была! – вскликнула Зизи. – Я обожаю эти драматические минуты! Ну, что же Toutou?

Ольга Елпидифоровна зорко взглянула на Палецкую:

– Я отсюда вижу, – сказала она с деланною веселостью, – с каким лицом она глядела на мой портрет и какие злости говорила она на мой счет по этому случаю!

– Ах нет, право нет! Ничего решительно!

– Ну, говори, говори правду! – обратилась к сестре нежданно Зизи. – *Ольга* нас не выдаст, а ей нужно знать à quoi s’en tenir с Toutou.

Дина несколько недоумело поглядела на нее, на остальных сестер. Все они разом закивали поощрительно подбородками своими.

– Если так, то вот что было. Надо вам сказать, что когда он вошел, граф, у него было очень невеселое лицо…

– Да? – вырвалось тревожно у Ольги Елпидифоровны.

– Да… Он верно дурно спал или не так здоров; он показался мне бледным очень и будто расстроенным… И потом видно было, что он никак не ожидал видеть тут дочь… а, может быть, и Шастунова, и что ему это было неприятно… Но как только он стал пред вашим портретом, une vraie métamorphose сделалась с ним. Глаза заблестели, все лицо его точно заиграло от радости. A Toutou тут и пустила свою иголку. «Une charmante *fantaisie* de monsieur Durand», – говорит она ему… Как он взглянул на нее, если бы вы видели! Quelle indignation dans ses traits! Он даже не ответил ей, а обернулся к Durand и говорит ему: «C’est toute la poésie de la personne réelle, un double chef d’œuvre de la nature et de l’art; je vous en félicite, monsieur!» И крепко, крепко пожал ему руку и сейчас же потом ушел, даже не взглянув на Toutou и поклонившись всем нам вообще…

– Браво! – едва дав сестре кончить, вскликнула Зизи, кидаясь к Ранцовой. – И ты после этого осмелишься сказать, что этот человек не влюблен в тебя безумно и не готов на все, чтобы

доказать тебе это?.. Mais je l’adore pour cela, ce cher comte!

– Да, да! – заголосили остальные сестры со всех своих мест. – Il est charmant!

– Молодые так не умеют любить! Никогда!..

Зизи, прилегши на диван, на котором сидела хозяйка, охватила ее шею рукою и закартавила шутливым шопотом:

– Ты будешь *гуафиня* Наташанцева, душечка, и очень *скоо,* я тебе *напеёд говою.*

– А гусара жените на нашей Lydie, – принимая глупенький вид (она на этой струнке играла), отпустила ей на ухо, но слышно чуть не на всю комнату, Ида Фицгейм, сидевшая рядом с нею по другой стороне.

Lydie, до которой долетели эти слова, обернула к ней голову:

– Quelle bêtise, Ida! – величественно уронила она.

Зизи махнула в свою очередь рукою Иде, как бы тоже говоря: «Перестань со своими глупостями!» И обратилась снова и тем же шепотом к Ранцовой:

– Скажи мне откровенно, – спросила она, – où on est l’affaire de ton развод?

Как ни была увлечена невольно Ольга Елпидифоровна всем этим гамом, веселостью и ласками, но этот ропрос à brûle-pourpoint значительно смутил ее:

– Ах, право, я ничего не знаю! – со внезапно выступившим на лице румянцем громко вырвалось у нее.

– И я ничего не знаю, – вмешалась, продолжая наивничать, Ида, – но если вам нужен Далматов, – таинственно пропустила она, называя тогдашнего синодского обер-прокурора, – то знайте que nous l’avons en poche; он родня и лучший друг мужа Нелли… Вы его знаете, Далматова?

– Нет, он у меня не бывает, – уже нарочно слышным голосом произнесла Ранцова, которой начали очень досаждать эти таинствеинности и вмешательство в ее дела, хотя добродушный, веселый, как бы ветреный тон, сопровождавший их, отымал у них в действительном обмене речей всю ту вескость, которую они в нашей передаче приобретают, может быть, в глазах читателя. Саватьевы сестрицы были по преимуществу светские особы: они отлично умели держать себя на той грани, с которой, в *случае чего,* можно тотчас же все обратить в шутку и обсмеять еще при этом того, кто вздумал бы принимать *всерьез* это все…

– Нелли, – кликнула Ида, – давно ты не видела друга твоего Далматова?

– Он был у меня вчера после комитета министров.

– А опять увидишь когда?

– Я его пригласила в четверг обедать к maman…

Зизи даже визгнула:

– Ах, как это кстати! Чего лучше случай познакомиться с ним! Приезжай, душка, и ты! –

затормошила она Ольгу Елнидифоровну.

«Племя» загалдело все еще раз.

– Да, да, quelle bonne idée!

– Maman будет в восхищении!

– C’est une si aimable personne, maman, я вас предваряю, – умильно улыбалась Ида Фицгейм, для которой хвалить *родное* было чем-то вроде болезни.

– Так в четверг, да?

– Вам можно в четверг?

Ольга Елпидифоровна не успела ответить.

– Анна Петровна Базина, – произнес входя слуга.

Все сестры, кроме Lydie, повскакали с мест:

– Nanie, Nanie! Проси!.. Не правда ли, просить? – защебетали они в один голос, словно воробьи на крыше, обращаясь к хозяйке.

– Конечно! Что же ты не сказал, что я принимаю? – поспешно молвила та.

– Им доложено-с, – объяснил слуга, – они изволят в карете сидеть и приказали сказать-с, что очень извиняются, никак не могут выйти, а просят к себе одну из сестриц ихних сойтить к ним, потому, они говорят, очень нужно-с.

Мгновенным перекрестным огнем засверкали глаза сестер; недоумение, любопытство, испуг сказались в этих обмененных ими взглядах. Сама невозмутимая Lydie вынула одну из своих рук из муфты и обдернула ею нервным движением свою бархатную мантилью.

Ранцова заметила все это:

– Со стороны madame votre soeur очень нелюбезно лишать меня удовольствия познакомиться с нею, – сказала она, насколько могла, учтивым тоном, но из-за которого весьма ясно для сестер просвечивала досада.

– Ах нет, chère, напротив, – воскликнула Зизи, – ей очень хотелось, но, видно, она никак теперь не может… Она, верно, куда-нибудь спешит, куда ей очень, очень нужно, и хочет нам только передать… Я сейчас спущусь к ней, узнаю…

– И я с тобой, – залепетала Нелли. – Nanie, верно, что-нибудь очень, очень нужно нам сказать, – повторила она хозяйке слова сестры, но уже чуть не плачущим голосом.

И обе они стремглав вылетели из гостиной, сбежали с лестницы и наткнулись внизу на сестру Nanie, которая, со своей стороны, от великого нетерпения и с покрасневшим не столько от холода, сколько от волнения острым носиком выскочила из своей кареты и вбежала в сени – «скорее, скорее сообщить *aux soeurs* нужное»…

– Вам нечего тут более делать, – стремительно зашептала она сразу, забившись с ними в темный угол сеней, – le mariage ne se fera pas, или, если *он* сделает глупость, заупрямится, sa

position est perdue…

– Да что такое, что ты узнала, Nanie? – допрашивали они лихорадочно в свою очередь.

– *Le vieux* был вчера во дворце… Был разговор, и ему дали понять, что если он женится, *ее* не будут принимать…

– Ah, mon Dieu!.. Но к ней были так милы на тех двух балах?..

– Все переменилось. Пока думали, что с его стороны это было только так, une flirtation, on en a ri, и ее допускали pour lui faire plaisir. Но раз он вздумал жениться на ней, et l'imposer двору и свету… она уже более не получит ни одного приглашения, это *сказано… И* вам надо скорее уехать… Очень неосторожно, что вы все тут у нее собрались… Surtout Ludie, une jenne fille… С нею нельзя теперь оставаться знакомою…

– А егермейстерство для Динина мужа? – воскликнула растерянно Нелли. – Ты думала ведь это устроить чрез *ее* влияние sur le vieux…

– Et le mariage de Lydie? – добавила Зизи.

– Le vieux ничего не может в эту минуту, il s'est compromis с этою глупою страстью, – все так же ужасно торопясь и едва переводя дух от волнения, возражала на это великая политиканша Nanie, – quant à Lydie, вы понимаете, *эта* ни за что теперь не захочет выпустить Шастунова из рук; она его непременно будет держать в запасе, на случай, если le vieux не решится пожертвовать ей своим положением…

– Так, значит, для Lydie кончено?

– Совсем, совсем нет, – пылая победно глазами, вскликнула Базина, – совсем не кончено, но надо другим путем… Я сейчас у Татьяны Борисовны познакомилась avec la mère de Шастунов, – она из Москвы приехала, – une femme horriblement sotte, с которою можно будет все сделать. Я ее завтра везу знакомиться с maman…

– Ах, какая ты умница, Nanie! – так и вырвалось у Нелли и Зизи вслед за этим новым доказательством находчивости и ловкости их сестры-руководительницы, – так мы сейчас дадим понять aux soeurs и уедем все…

– Да, и скажите Lydie, что я везу ее вечером в оперу, – у меня генерал-губернаторская ложа; кто хочет из вас, приезжай… Et qu'elle fasse une toilette a effet. Эта дура Шастунова там будет, я знаю; ее можно будет пригласить в ложу, так чтоб она видела Lydie dans tout son avantage… А Дине передайте, что насчет егермейстерства у меня другая комбинация, – я сейчас еду для этого…

И, не договорив, она повернулась на каблуках, побежала – выездной ее едва поспевал за нею – вскочила в карету и покатила приводить в действие свою новую «комбинацию»…

Все это шушуканье в сенях продолжалось не более пяти минут; но время, употребленное на это, показалось вечностью оставшимся сидеть в гостиной троим или шести представительницам счастливого «племени Саватьевых». Они сидели как на иголках, сгорая нетерпением и тревогою, не находя двух слов в ответ на речи хозяйки, старавшейся, как предписывала ей обязанность, «поддерживать разговор» со своими гостями.

Но вот в дверях показались, «наконец», Нелли и Зизи… Сестры так привыкли читать в чертах

друг друга, что по первому лишь взгляду на вошедших поняли, что произошло нечто еще им неведомое, но требующее немедленной перемены фронта. Сообразно с этим мгновенно изменился весь их облик: они разом, как по команде, подобрались все, поджались, словно закисли. С уст сбежала самая тень улыбки; холодным и тусклым блеском стали подернулись глаза, за несколько лишь мгновений пред тем искристо и искательно обращавшиеся на Ольгу Елпидифоровну…

– Nanie очень извиняется, – проговорила, подходя к ней, Нелли Новицкая, – у нее очень нужное дело… и она никак, никак не могла зайти… И нам также очень нужно, permettez nous de vous dire adieu, madame…

Это был точно знак дирижерской палочки. Все сестры вспорхнули с мест…

– Куда же это так скоро? – молвила учтиво-спокойно Ранцова, невольно волнуясь в то же время внутренно тем чем-то недобрым, что угадывала она за этою, слишком ясною для нее переменою обращения.

Но выходило, что у каждой из сестриц имелся какой-либо настоятельнейший повод уехать сейчас же:

– Мне очень жаль, но я принуждена… Я обещала мужу быть дома ровно в два, а теперь почти четыре, – уверяла одна.

– Поздно, мне предстоит еще целые четыре визита, – говорила другая, – и между прочим chez une amie malade…

– Нам надо с Lydie к madame Andrieux, – томно вздохнула Ида Фицгейм, жалостливо при сем взглянув на Ранцову (она в семье имела специальностью «бесконечную доброту»).

– Мы здесь и так с утра; не надо навязываться ближнему своему до одурения! – с холодным смехом отпустила Зизи Полинарьина, забывая и «божественный» завтрак с устрицами, и «брудершафт», который пила с этою «душкою», и чувствуя более всех остальных потребность скорее, скорее отряхнуть свои ботинки от праха ее гостиной, оказывавшейся теперь опальною.

– Очень жаль, – принужденно улыбнулась Ранцова, вставая проводить их. – До свидания, значит? – примолвила она, вспоминая их приглашение на обед к maman Саватьевой. – В четверг вы сказали, кажется?

Сестры переглянулись со страшным перепугом – они и забыли об этом приглашении!.. Прошло несколько секунд растерянного молчания…

Первая нашлась Зизи, более всех, после отважной Nanie, владевшая саватьевскою способностью выкидывать за борт все, в чем в данную минуту не оказывалось более нужды интересам «племени»:

– Да, конечно, в четверг, – залепетала она, – maman будет очень рада… Впрочем она, бедная, очень часто у нас хворает, и с нею никогда нельзя быть уверенным… Я лучше всего спрошу ее завтра и тогда напишу вам уже наверное pour quel jour…

И тут же, быстро переменяя разговор:

– Дина, возьми меня в сани; Нелли поедет в своей карете… Partons, partons!..

И все они, словно гонимые ветром, не глядя в лицо хозяйки («la belle Lydie» как вошла, так и ушла, не вынимая рук из муфты), и, торопливо притронувшись кончиками пальцев ее похолодевшей руки, вылетели за двери с порывистостью стаи уток, вспугнутой нежданным охотником.

X

Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
И меланхолии печать была на нем.

Жуковский.

Unseemly woman in a seeming man.

Shakespeare. Romeo and Juliet

Che ti fa ció che quivi si pispiglia?
Vien dietro a me e lascia dir le gente.

Dante. Purgatoria.

Ольга Елпидифоровна осталась одна, смущенная еще более, чем обиженная. Надо было действительно случиться чему-нибудь особенно «невыгодному» для нее, проносилось у нее в голове, чтоб объяснить оскорбительную «бесцеремонность», которая явствовала для нее из образа действий с нею Саватьевых… Она достаточно наслышалась о них, достаточно могла вывести о них заключений и из собственных своих недолгих сношений с ними: она знала, что рабство пред успехом входило в самую сущность их организма, составляло эсбукет всей их raison d'être. Но именно это, известное ей, отличительное качество их давало ей меру того ее успеха, пред которым почитали они своим долгом раболепствовать все это время… И вдруг все разом, разом обрывается… Приезжает эта Nanie, «la grande cheville семьи», – Ранцова это знала – сама не входит, вызывает сестер… И затем – крах! все изменяется, они становятся неприличны: пригласили ее обедать к матери, а теперь не нужно… Эта «парикмахерская кукла», Lydie, ушла, даже не подав ей руки… Дело ясно. Nanie привезла весть о чем-то несомненно грозящем ей, ее только что завоеванному положению в свете, ее ближайшим «планам»… Но что именно? *Они* теперь испуганно убежали от нее, «точно от зачумленной», говорила себе, поочередно бледнея и краснея, Ольга Елпидифоровна, «а за пять минут перед этим чуть мне руки не целовали. О, отвратительные существа»!..

Волнение ее росло с каждым новым мгновением: ей вспоминались слова «этой Дины» о том «расстроенном виде», какой заметила та у *него* в мастерской Durand. *Он* такой светский, умеющий сдерживать себя человек; произошло что-то «в самом деле ужасное», если это отразилось на его наружности, если он дал другим читать в его чертах… Это что-то, оно несомненно в связи со внезапным бегством Саватьевых, с тем, что привезла им «эта скверная *Нанька*» (красивая барыня, несмотря на свое десятилетнее пребывание в Петербурге, никогда не могла разучиться объясняться сама с собою по-уездному). Но ч*то* именно, что!.. И это вдруг теперь – теперь, когда, казалось ей, уже все достигнуто. У нее начинало двоиться в глазах…

Нетромкие и неторопливые шаги донеслись до нее из первой комнаты.

– Это он, он!..

Она вскинулась с места, побежала, увидела Наташанцева и, с простертыми к нему руками, с истерически-спиравшимся дыханием в горле, кинулась к нему на грудь:

– Au nom du ciel, qu’est-ce qui arrive?

Он ужасно встревожился, обнял ее, повел, повлек обратно в гостиную, опустил на диван, выбежал в ее спальню, вынес оттуда графин с водою и стакан, налил и поднес к ее губам…

Она глотнула, перевела дух и любовно глянула ему в лицо.

Если бы на душе его было и во сто раз более муки, чем насколько испытывал он ее теперь, она бы мгновенно исчезла пред этим неотразимым для него взглядом.

Он опустился пред нею на колени, ухватил ее обе руки в свою:

– Ангел мой, – зашептал он ласкательным и дрожащим шепотом, – что с вами, из чего этот перепуг, что значит ваш вопрос?

Она улыбнулась через силу:

– Глупости!.. Мне сказали сейчас, что вас видели у Durand перед моим портретом и что вы казались расстроенным, больным… Мне стало страшно! Но вы тут, вы все тот же, вы… *ты*, – проговорила она ему на ухо, роняя ему руку на плечо, – ты любишь меня по-прежнему?..

– О-о! – мог только пролепетать он. – Люблю ли!..

Она поднесла руку к его лбу, опрокинула ему несколько голову назад и пытливо наклонилась глазами к его глазам:

– А все же это правда: что-то с вами было, лицо у вас не то!.. Что было, говорите!

Он не знал, как ответить, что сказать; под лучами этих глаз он не находил слов. Он, выражаясь известным стихом Мицкевича, готов был, замирая в безмолвном блаженестве, лишь глядеть в эти глаза «до скончания и по скончании света»…

Она это знала; она отвечала ему чувством глубокой и нежной признательности… каким-то облагораживавшим ее в собственном ее сознании чувством, которое лелеяла она в себе, как лучший цвет своей души… Ну да, и она любила несомненно, преданно, горячо… Но теперь не до нежностей…

– Послушайте, cher, – сказала она, – я вам расскажу нечто, очень забавное в сущности, но из чего я не могла не заключить, что *нам* — я не отделяю себя теперь от вас – грозит откуда-то и чем-то… Да встаньте! – прерывая себя, сказала она ему полунетерпеливо, полуласково. – Вы меня не слушаете…

Он поднялся с колен, сел подле нее, не выпуская рук ее из своих…

Ранцова передала ему эпизод с Саватьевыми; начала она, насколько могла, спокойно, но негодование ее росло по мере того, как она говорила; чувство оскорбления брало теперь верх над боязливым недоумением первой минуты.

– Так ведь не поступают с горничною! – воскликнула она с гневным пламенем в зрачках. – Ведь они не посмели бы, если бы чего-нибудь не узнали!.. Они все это время заискивали во мне неслыханно, и я очень хорошо понимала, что это ввиду вас… Одна из них прямо меня спросила даже, когда… – Ольга Елпидифоровна остановилась, как бы затрудняясь в выражении того, что хотела сказать, – когда у нас с вами… все будет кончено, – словно проглотила она, – и все они

выражали мне полное сочувствие *этому… И* вдруг эта перемена du tout au tout… Ведь эта штука с приглашением обедать у их матери, а потом отказ – c’est donc ignoble, и если они так поступили, то, ясно, потому, что им нет более нужды во мне, а следовательно и в вас!

– А следовательно во мне! – повторил Наташанцев с невеселою против его воли усмешкой.

Она быстро взглянула на него и вскрикнула перепуганно опять:

– Qu’est-ce qu’il y a?.. Ваша дочь… – Она уже не сомневалась, что беда нагрянула и что беда идет от княгини Андомской, – говорите, что случилось?

Он встал с места и заходил по комнате, нервно потирая руки и судорожно жмуря веки:

– Je suis bien malheureux: мне дети, дочь в особенности, – враги! Она отравляет мне жизнь своей желчью, своим колючим характером… Не знаю уж, право, в кого она! Я никогда не был зол, мать ее тоже. А она… Elle est fière, comme un Artaban, властолюбива, беспощадна и упорна, как финляндская скала какая-то!.. С ней никакой компромисс невозможен, она никого в жизни не любила и не любит, детей у нее нет, вся жизнь ее проходит в неустанном кипячении надменности и злости…

– Вы узнали о чем-то новом? – перебила его с нетерпением Ольга Елпидифоровна.

– Она кричит, всем жалуется, интригует, – сорвалось у него неудержимо с языка.

Ранцова сразу поняла, что это относилось к высшим сферам, что «жалобы» княгини Андомской «дошли туда» и что об этом передано было, быть может, даже «говорено» ее отцу. «Он не стал бы сам жаловаться теперь, он *пренебрег* бы, если бы дело шло о простых смертных», – основательно рассуждала умная барьня.

– Et on vous en a parlé? – быстро спросила она, прямо ставя, как говорится, вопрос ребром.

Он смутился, повел на нее унылым взглядом… И тут же, как бы внезапно испугавшись прочесть в лице ее упрек в малодушии, быстро приосанился, опустился на прежнее место подле нее и завладел опять обеими ее руками:

– Chère ange, – заговорил он, видимо настраивая себя на тон совершенно спокойного отношения к тому, что имел сказать ей, – j’ai été un fidèle serviteur de mes maîtres pendant trente ans, они не могут сомневаться в моей преданности… Но я никому, никому, – повторил он усиленно, с явным намерением утишить ее тревогу, – не пожертвую моею любовью к вам!

Ольга Елпидифоровна слегка побледнела:

– Меня *там* не хотят? – воскликнула она с потускневшими глазами. Он отвечал не сейчас – ему было тяжело говорить с ней об этом…

– Не вините *их! Она* (он разумел дочь) подняла на ноги всех наших святош (tout le clan de nos dévotes). Пошел вой, un clabaudage de touts les diables!..

Рандова закивала головой:

– Эта Базина приехала сюда за сестрами от Татьяны Борисовны: теперь все объясняется!.. Она узнала там то, что… из деликатности… вы не хотите мне передать, не так ли?.. Но вы можете говорить, я не оскорблюсь…

Наташанцев пожал судорожно плечами, тревожно в то же время следя за каждым движением ее лица. В его собственных, изящных чертах сказывалось бесконечно-мучительное чувство.

– Оскорблен всем этим могу быть только я. Я полагал, что заслужил достаточно уважения всею моею жизнью, чтобы та, которая делает мне честь принять мою руку (accepter ma main), чтобы моя избранная, моя будущая жена, пользовалась в этом качестве всеми теми преимуществами, на какие должно дать ей право мое положение… Раз же этот предмет может кому-либо представляться мало-мальски спорным, – bien votre serviteur, je m'en vas – проговорил он сразу, не останавливаясь, – между положением моим и сердцем выбор у меня давно решен!..

Ольга Елпидифоровна неотступно глядела на него… Слова его глубоко западали ей в душу. Она видела его насквозь, она понимала: большего доказательства безграничной любви не мог бы дать ей ни единый человек в мире… Ведь это был старого закала, страстный и *убежденный*, царедворец, приявший в плоть и кровь свою весь экстракт, всю *суть* тех исключительных сфер, в которых прошла и которым посвящена была целая жизнь его. Он с самого детства не дышал иным воздухом, не разумел иной атмосферы. И то, что он намерен был сделать теперь, он делал сознательно, зная, чего это должно будет ему стоить, терзаясь мыслью оторвать себя от того, что до сих пор составляло как бы условие sine qua non его существования… «Он без *них* исчахнет и понимает это, – говорила себе она, – он мягок и слабонервен как женщина, страдает и мыслью отойти от них и тем, что они могут почесть его неблагодарным… более же всего боязнью, что его *забудут*, что прежнее не вернется для него никогда… И всем этим дорогим, заветным, потребным ему как хлеб насущный, он приносит в жертву из-за меня и мне, мне одной!..»

И со свойственною ей впечатлительностью и порывистостью ощущений она закинула ему обе руки за голову, припала к его плечу и расплакалась:

– О, милый, милый, – лепетала она сквозь свои нервные слезы, – comment vous payer pour tant d'amour!..

Он прижал ее к себе, покрывая поцелуями ее роскошные и пахучие волосы с гораздо более отеческою в эту минуту, чем страстною нежностью.

– Знать, что вы счастливы, вот лучшая для меня уплата! – произнес он с бессознательным эмфазом, свойственным французской речи, на которой велся их разговор… – А разве для этого непременно нужен Петербург? – добавил он каким-то уже робким и заискивающим шепотом, заглядывая в ее влажные глаза. – Скажите мне, мой ангел, станете ли вы жалеть о нашей столице (notre froide capitale) под светлым небом Италии, например?

– А вы? – быстро переставила она вопрос.

– С вами необитаемый остров покажется мне земным раем! – воскликнул он.

– Une île sur la Seine, – уже звонко засмеялась красивая женщина, – le Paris de la Cité[58]?

И с этим именем в ее подвижном воображении предстали все еще так недавно изведанные ею чары Парижа – беззаветного, разнузданного, неотразимо увлекающего в свой бешеный водоворот Парижа Второй империи, где жизнь – один непрерывающийся пир, день – одно нескончаемое похмелье: утра «au bois»[59], где ее красота, ее «beauté éminemment slave», и роскошные туалеты привлекали взоры *спортсмэнов*, кокоток и «mondaines» изо всех концов мира, лукулловские обеды у французских сановников, «premières»[60] в *Bouffes* или *Gymnase*, вечера у princesse Mathilde, княгиня Меттерних, нежно-скабрезные шансонетки Густава Надо,

приглашения в Compiègne, герцог Морни, дебюты Оффенбаха, вечерние «conférences»[61] католической знаменитости в церкви Saint-Sulpice, многолюдные и занимательные, как раут, ужины «en partie fine» в *Maison Dorée* или *Café anglais* с веселыми соотечественницами и высокопоставленными русскими «друзями» en vacance… И всем этим ей будет дано насладиться опять – с тою только разницей, что на карточках ее будет значится под графскою короной известное во всей Европе аристократическое русское имя, что рука ее будет опираться на руку человека, положение и состояние которого поставят ее на равную ногу со всеми именитостями вселенной… А там, вздумается ей, «через год, через два» вернуться с ним на берега Невы, «все будет давно сглажено и позабыто», все нынешние предубеждения смолкнут «пред fait accompli», – и графиня Ольга Елпидифоровна Наташанцева, как ни интригуй потом «ее belle-fille Toutou», займет при дворе и в свете то имеющее принадлежать ей по праву место, которое осмеливаются теперь оспаривать ей…

Она теперь была почти рада тому, что за несколько мгновений пред этим представилось ей разгромом всех ее надежд и планов будущего. Оказывалось «все к лучшему», как у вольтеровского *Кандида. «Подвохи* дочери дали *ему* только случай доказать мне на деле, что он *мой,* безвозвратно и беспредельно *мой*… Что взяла, злючка, оборванная кошка? – говорила себе она мысленно по адресу княгини Андомской, торжествуя в душе свою победу над нею, – и словно расцветшая всем красивым обликом своим под восхищенными взглядами своего собеседника.

– Paris, – повторил он послушным и веселым отзвуком, – cela s’entend de soi-même: вы имели там слишком много успеха, чтобы вам, а следовательно и мне, не желать его повторения… Но летом, но в те дни, когда природа манит нас своею прелестью и душа невольно просит идиллии (et l’âme tourne involontairement à l’idylle), – добавил он полушутливо, полусантиментально, – позволите ли вы мне увезти вас в какой-нибудь уединенный уголок земли… не слишком далеко, конечно, – на остров Уайт или на Комо?

– Да разве я не *ваша*! – воскликнула с новым порывом Ольга Елпидифоровна. – Разве я не *обязана буду* исполнять все желания моего *законного* властелина, – медленно промолвила она чрез миг, как бы стыдливо опуская глаза и краснея самым искренним образом.

– Навеки, навеки моя! – страстно проговорил Наташанцев… – *Он* здесь, – перебил он себя тут же, – мой доверенный в Москве, которому я приказал следить за этим, пишет мне, что он выехал оттуда в Петербург третьего дня.

– Да, – подтвердила Ранцова, – я получила вчера вечером письмо от Захарова, которого вы мне советовали взять *попечителем* по этому делу. Он подал от меня просьбу в консисторию и вчера же утром виделся с… avec monsieur Ранцов… Свидетели, les faux témoins, vous savez, найдены, и Захаров говорит, что в консистории дело пойдет скоро. Но mon époux объявил ему, что пред этим он желал бы сам явиться ко мне для каких-то «переговоров»… Я понимаю, что ему хотелось бы меня видеть, – примолвила она с деланною гримасой, сквозь которую невольно просвечивало самодовольное чувство, – но, признаюсь, я предпочла бы обойтись без этого.

– И, конечно, лучше! Il vaut toujours mieux éviter tout, contact avec les gens violents et peu élevés, – с какою-то бессознательною презрительностью сказал на это граф.

Что-то в роде угрызения пробежало в совести Ольги Елпидифоровны. Бедный Ранцов – «violent»… «Peu élevé», конечно, – он не говорит по-французски, он по манерам своим «армейщина», но «violent»!.. Он только раз в жизни, тогда, в Москве… И то, говорил в ней внутренний голос, так ли бы еще поступил другой на его месте, застав ее *там с* Ашаниным!.. В результате этого соображения оказалось, что «она ни за что, ни за что не хочет его видеть»…

– Захаров очень мне преданный и деловой человек, – говорил ей между тем Наташанцев, – с его умелостью и не щадя денег надо надеяться, что в консистории действительно дело не протянут. Но там какие-то еще сроки положены, потом синод… Он мне говорил недавно, что ранее четырех, даже пяти месяцев окончательного решения нельзя ждать… Et cette attente me tue! – примолвил он с новым порывом.

Она слегка сжала брови:

– Это поведет нас почти до осени… И, говорят, пока совсем не кончится, присутствие мое здесь необходимо, и нельзя будет никуда уехать.

– Знаете, что я вам предлагаю, – с живостью молвил он, – после Пасхи, то есть в конце апреля, я, «для излечения болезни», прошусь в долговременный отпуск и уезжаю в мое пековское имение; оно под самым городом. Vous m'y rejoignez dans quelques jours. Захаров будет извещать нас регулярно обо всем, что касается дела и когда именно вам нужно быть в Петербурге… Да и нужно-то будет – раз он ваш *попечитель* и ведет за вас дело – на какой-нибудь день, много два… Мы дотянем там, chez moi, – on y est bien, je vous assure, – до августа – я полагаю, самый долгий срок, – quand le «святой правительствующий синод» vous dégagera окончательно от ваших уз. На другой же день после получения счастливого известия старик мой, отец Иаков, un très brave homme и мой духовник, вечером, в моей домовой церкви… (он досказал, прижавшись долгим поцелуем к ее горячим рукам), а из церкви прямо в дормез, и летим с моим божеством в Туароген[62]). А из-за границы, – поспешно прибавил он (он несколько походил в эту минуту на человека, торопящегося кинуться в воду, чтобы покончить скорее с томительным ощущением боязни ее чаямого холода), – я посылаю им формальную просьбу об отставке… Надеюсь, что madame la comtesse Olga дарует мне великодушно на это дозволение?

Он говорил с нервною веселостью, заметно насилуя себя на нее и стараясь настроить на то же свое «божество». Помимо того, что его самого глодало внутри, он продолжал тревожиться за тот недочет, который, в его понятии, должна была испытывать она, лишаясь с потерею его положения всего того, что это положение даровало бы ей лично и чего, говорил он себе, «она так вправе была ожидать»…

Ольга Елпидифоровна читала в его мысли, как в открытой книге. Она была тронута и спешила в свою очередь успокоить его:

– «La comtesse Olga», – засмеялась она, – будет вполне счастлива только тогда, когда она со своим графом Леонидом очутится *вдвоем* на таком краю света, где о Петербурге и о его vanités даже во сне никому из них не приснится.

– C'est vrai cela, c'est vrai? – вскрикнул он радостно, пожирая ее глазами.

– Mon ami, – самым серьезным, как бы несколько даже обиженным тоном молвила она на это, – неужто же вы думали, что я выхожу за вас замуж из-за вашей position de service?

Он снова очутился у ее ног, обнимая ее колени и покрывая их поцелуями с горячностью двадцатилетнего юноши…

– До свидания! – говорил он ей через час, держа шляпу в руке. – Мы увидимся сегодня вечером у Варвары Петровны Мосягиной. А мне теперь еще нужно chez ma vieille amie, mademoiselle Okhvostof, передать ей насчет племянницы ее, Гех-demoiselle d'honneur дворца…

– Почему «ех»? – перебила его удивленно Ранцова. – Вы говорите о княжне Кубенской? Что она, замуж выходит?

– Нет, она просто уехала к каким-то родным в Москву и оттуда прислала просьбу отпустить ее с миром… Juste ce que je compte faire de mon coté, – засмеялся Наташанцев.

– Да из чего же это, вы не знаете?

Он пожал плечами.

– Она, по-видимому, какая-то очень фантастическая особа… et d'idées tres avancées. Вы меня не выдавайте, но она наделала совершенно невозможных вещей: приняла на сохранение от какого-то убежавшего в Лондон cousin ее компрометантные бумаги, и когда Анисьев, которому поручено было, pour éviter le scandale, добыть их у нее келейно, явился к ней с этим, она их сожгла в его присутствии… Mais le plus comique это то, что она на маскарадном бале в Михайловском дворце упрашивала Вилина отказатся от председательства редакционных комиссий потому, что он – «un rétrograde et un крепостник»… Речь даже шла отнять у нее пенсию, которую она получает после отца; но это мне удалось устроить, и я еду сообщить об этом ее тетке… Он двинулся с места и вдруг вспомнил:

– Vous souvenez-vous, – спросил он, и какая-то унылая усмешка скользнула по его губам, – как вы радовались назначению этого долговязаго croquemort? «Un grand seigneur, – говорили вы, – при нем дело примет совсем другой оборот, чем при Ростовцеве». А я вам тогда же сказал: «Не верьте!» Помните?

– Да, помню… Что же?..

– А то, что он не далее как вчера объявил публично в комиссии, что, согласно данному ему свыше повелению, он не изменит ни одного параграфа выработанных ею положений и не удалит ни одного из состоящих в ней членов[63]. Ergo, все по-прежнему, и *для нас* не остается более никакой надежды… Что вы на это скажете?

Ольга Елпидифоровна подняла на него глаза… Все лицо ее словно дрогнуло от внутреннего смеха:

– Вы меня любите, – проговорила она, – я буду ваша чрез несколько недель, quant au reste je m'en soucie maintenant comme de ça!..

И, задев розовым ногтем за свои сверкающие зубы, щелкнула им с ухарством чистокровнейшей парижанки.

Наташанцева всего повело от вульгарности этого жеста и всего приподняло от раздражающей грации его исполнения. Он порывистым движением обнял «очаровательницу» за талию, глянул ей безумно влюбленными глазами в глаза и тут же прошептал ей на ухо:

– Vous êtes adorable, но, ради Бога, не повторяйте этого ни перед кем!..

XI

I thought to love, was but to bless,
I never dream'd of wretchedness.

Festus.

Ich bin bübisch um mein Leben bestohlen, bestohlen durch sie!

Schiller. Kabale und Liebe.

Забыть! Я-то ничего не забыл… Ну, да Бог с вами!

Лермонтов. Максим Максимович.

Чрез два дня после того, что сейчас передано нами читателю, граф Леонид Александрович Наташанцев, только что выбритый и одетый, в длиннополом сюртуке, служившем ему халатом, с *Indépendance Belge* в одной и сигарою в другой руке, сидел у высокого, изваянного мраморного камина в пространном кабинете с колоннами, составлявшем крайнюю комнату и длинного ряда покоев его барского дома на Дворцовой набережной. Глубокий, несколько похожий наружным видом на портал театральной сцены альков, за которым помещалась его спальня, отделялся от кабинета сплошными занавесами старинного французского штофа, синего цвета с золотыми разводами, каким отянуты были и задрапированы стены, мебель, окна и двери этой комнаты (граф очень дорожил и гордился тем, что «ни единого гвоздика не переменил в ней» со времен отца своего, одного из ближайших людей к императору Александру I-му в первые годы его царствования). Незримая на первый взгляд, отянутая тем же штофом дверь, проделанная в одной из боковых стенок алькова, давала доступ в небольшой коридор, на который выходили уборная и ванная графа и помещение его камердинера; он кончался узенькою каменною лестницей, спускавшеюся к отдельному от всего остального жилья маленькому крыльцу на дворе. С этого крыльца выезжал незнаемо из дому и возвращался к себе хозяин, живший исключительно в последнее время в этом своем интимном апартаменте, так как весь остальной дом уступлен им был в пользование сыну, приехавшему в продолжительный отпуск из Вены с молодою женою. Он виделся с ними редко, по утрам, на несколько минут, не имея привычки завтракать, а обедая по большей части в яхт-клубе или у Ольги Елпидифоровны Ранцовой. Отношения его к детям как бы совсем *расклеились* в последнее время: он избегал их…

Он уронил газету и задумчиво уставился взглядом в разгоравшийся угол камина. Мысли его брели далеко. Он только что успел усиленным напряжением воли отогнать тоскливую докуку, сопряженную в этих мыслях с принятым им решением отказаться от своего высокого придворного положения и уехать в *опале* за границу, – уехать надолго, быть может, навсегда – и уносился воображением к радужным дням близкого будущего… Он думал теперь об одной вилле на lago di Como, принадлежавшей хорошему его знакомому, маркизу Альдобрандини, в которой он провел несколько дней осенью, много лет тому назад, и о которой сохранил какое-то лучезарное воспоминание. Альдобрандини умер, и граф знал, что наследники отдавали ее теперь внаймы; он накануне писал по этому поводу в Милан. Вилла эта с ее розово-мраморным портиком, отсвечивающимся в темно-голубой скатерти озера, не выходила у него теперь из головы. «Он увезет ее туда в сентябре, прямо с Уайта; под этими сводами, разносясь по этому водному пространству, будет звучать по вечерам ее дивный, ее проницающий голос, а он будет слушать ее, слушать *один,* погрузясь взглядом в синие глуби итальянского неба, убаюканный этими певучими волнами, уносимый райскими снами»…

– Ваше сиятельство, – прервал блаженное его молчание голос вышедшего из-за занавески алькова старого камердинера его Калистрата, человека угрюмого, рассудительного и преданного барину той патриархальною, безграничною преданностью былого слуги, которая мыслима и возможна была только во дни исчезнувших *бар.* Он посвящен был «во все секреты своего графа» и «убивался душевно» о нем теперь, ведая, порицая внутренно его «слабость» и ненавидя в то же время всех, кого знал врагом ее.

Сухой и длинный, с мрачным взглядом, жесткими седыми волосами и сутуловатою спиной, он имел привычку, говоря, морщить лицо в ком, наподобие печеного яблока, и язвительно

улыбаться вбок, чтобы скрыть свои почерневшие и наполовину выпавшие зубы, некрасивое зрелище которых наводило, по его убеждению, «уныние» на «его господина».

– Ваше сиятельство, – повторил он осторожным шепотом, останавливаясь за самою спиной Наташанцева и закладывая руки за спину, – *ихний* супруг приехали и желают повидаться с вами, господин Ранцов.

– Ранцов? – вскликнул граф, быстро оборачиваясь на него. – С большой лестницы? – домолвил он с каким-то бессознательным беспокойством.

– Никак нет-с, – и Калистрат скосился взглядом на сторону: он тотчас же понял опасение барина, – я онамедни еще наказал швейцару, чтоб, если кто к вашему сиятельству собственно лично по делу, так отправлял бы на наше крыльцо… Они и зашли теперича оттуда… окромя меня, никто с ними не встречался.

– Хорошо; так ты проси его сюда, а швейцару скажи, что я уехал… и со своего крыльца не пускай никого более!..

– Слушаю-с… Одни с ними останетесь? – понижая голос, спросил через миг старый слуга.

Граф удивленно поглядел на него:

– Конечно, один!.. А что?

– Ничего-с, – прошамкал Калистрат сквозь зубы, направляясь назад за занавес…

«Что ему от меня нужно»? – спрашивал себя Наташанцев с невольною тревогой в ожидании нежданного гостя… Он подошел к двери, соединявшей кабинет с большими приемными покоями дома, запер ее на ключ и машинально задернул над нею портеры…

В то же время маленькая дверь в коридор отворилась настежь, и в нее вошел Никанор Ильич Ранцов. За ним мелькнула на миг мрачная и, как показалось графу, несколько встревоженная фигура Калистрата и тотчас же скрылась, щелкнув за собой дверным замком с шумом, не совсем обычным такому, как он, благовоспитанному слуге. «А вы все же берегитесь»! – словно имел он намерение сказать этим барину.

Мимолетная усмешка пробежала по губам Наташанцева. Он из глубины кабинета двинулся с протянутою рукой навстречу вошедшему:

– Извините, что принимаю вас по-домашнему и чрез этот внутренний ход, – ко мне приехал сын с женою, и я оставил себе в доме вот только то, что видите…

– Ничего-с, все равно… – невнятно пробормотал на это тот.

– Не угодно ли?

Граф сел и указал ему на место насупротив себя подле камина, внимательно вглядываясь в него и следя за игрою его физиономии.

Он его мало знал. В прежние дни, когда его, Наташанцева, отношения к Ольге Елпидифоровне состояли *еще* на положении «бескорыстной дружбы», он более всего обращал внимание на тех, кого считал для нее «опасными», и менее всего на ее мужа; сам же Ранцов, когда находился в Петербурге, заметно избегал общества поклонников своей жены и постоянно отсутствовал в

известные часы ее приемов «entre deux et cinq». Графу, таким образом, едва ли пришлось обменяться с ним десятью словами во все время их знакомства…

Но он *помнил* наружный облик его настолько, что не мог не заметить, что «этот человек значительно опустился» с тех пор, как он видел его в последний раз. Его впалые, мутные глаза, с опухлыми и покрасневшими веками, показались прежде всего графу подозрительными… «Il doit se soûler, le gredin!» – пронеслось у него в первую минуту в мысли… Но он тотчас же, со свойственною ему совестливостью, упрекнул себя в этом. *Она* его никогда ни в чем подобном не упрекала и говорила даже, что он, «à part sa mauvaise éducation et sa féroce jalousie», очень порядочный человек; очень может быть, что он просто мучается сожалением, что теряет ее, и раскаянием в своих mauvais procédés с нею… «Pauvre homme!» – заключил Наташанцев – и поднявшиеся на него теперь глаза Ранцова мгновенно как-то заискрились в ответ на ласковое выражение, сказавшееся под этим впечатлением в его собственных глазах.

– Я к вам-с для некоторого… объяснения пришел, – проговорил вдруг дрожащим голосом Никанор Ильич.

– Что прикажете? – не совсем уверенно в свою очередь спросил граф.

Гость его судорожно прижмурил на миг веки, качнулся слева направо, кашлянул и заговорил, упершись глазами в синеватый огонь угольев, тлевших в камине:

– Очень, признаюсь вам, затрудняюсь, как с этим делом начать… потому ни красноречия, ни собственно даже прав не имею… беспокоить вас в этом… А только что как по совести и как мне известно про вас, что вы… настоящий, благородный человек, я решился… Это мне очень тяжело, ваше сиятельство! – словно подавившись, оборвал он вдруг, вынул платок и поспешно отер им свое влажное от внутреннего волнения лицо.

– Я честный человек, вы не ошиблись, – сказал на это не менее взволнованный таким дебютом Наташанцев, – и прошу вас поэтому говорить совершенно откровенно… В чем дело?

Ранцов перевел дух.

– На завтрашний день требуют меня в консисторию, ибо, как вам вероятно известно, дело начато… о моей… супружеской неверности… подана просьба.

Скорбно ироническая нота зазвучала в его голосе, но он тут же поспешно перебил себя:

– Я, конечно, по первому же письму от… от Ольги Елпидифоровны известил ее, что на все согласен и готов взять на себя, потому что же… чужой век заедать, и все это выполню, как сказал… Я желал даже лично повидаться и переговорить… от нее самой узнать *настоящее* хотел, – подчеркнул он, – но она на то, почему уж, право не знаю, – не изъявила своего согласия… Я, граф, поверьте, всегда ей добра желал… и впредь готов все, что от меня зависит, лишь бы только это ей действительно на пользу… А то сами посудите, этакую муку и страмоту на себя принять… Обличать ведь тебя там будут… позорить публично, негодяи подкупные показывать будут на тебя, будто видели… Потому чтобы *действительно…* это я ни за что не могу, – путался и краснел бедняга.

Наташанцев не отрывался от него взглядом. И ему становилось «тяжело»: этот «грубый» муж, каким представлял он его себе по *ее* рассказам о нем, оказывался теперь несомненно и глубоко страждущим человеком, вызывавшим невольно искреннее к себе сочувствие и сострадание, – «насколько бы и ни был он сам виноват в своем теперешнем печальном положении», поспешил домолвить внутренно граф, как бы для собственного успокоения.

– Да, я понимаю, как все это должно быть противно! – сорвалось у него невольно с уст.

Ранцов махнул рукой:

– Что уж, не о себе я… лишь бы впрок ей пошло… Я для этого самого и обеспокоил вас моим визитом, – быстро промолвил он, поднимая глаза…

– Я вас слушаю, – сказал коротко граф.

– Я, ваше сиятельство, – продолжал тот, глубоко вздохнув, – никогда себя насчет своей особы не обманывал… и не раз в жизни своей, поверьте, мучился тем, что не такого… не такого мужа, как я, требовалось ей. С ее умом, образованием… и при такой красоте!.. Только уж очень я любил ее! Молоденькою ее взял, жизнь у нее, знаете, изо всего существа ключом била. И что предоставить ей *жить* нужно было, это я хорошо понимал и делом, так сказать, совести почитал своей. Переехали мы по ее желанию из уезда в Петербург – кружок у нее составился, сами знаете, какой. И люди, и понятия, ну и за границу ездила, видела все, вникала… Я не то что препятствовать, – я радовался: в свое, значит, настоящее течение попала, и слава Богу!.. Сам я, изволите знать, и не жил почти в Петербурге, а все больше в деревне, на обухе там, что говорится, рожь молотил, чтобы только она здесь ни в чем не имела беспокойства, – в роде управителя ее почитал себя… и, могу сказать, счастлив бы этим был до самой могилы… Впрочем, – поребил он себя еще раз, – я напрасно вас этим утруждаю разговором. Я даже и вовсе не про то хотел… Я не про себя-с, поверьте, и даже ее… Ольгу Елпидифоровну, то есть, видит Бог, за свое несчастие не виню. Что она меня никогда любить не могла, что я ей, можно сказать, в тягость всегда был, – вырвалось у него стенящим звуком из груди, – так ведь что ж с этим делать! Сердце не холоп, говорится, не повернешь его, не поломишь; ее, может, и самоё-то иной раз грызло, видя мою к ней безграничную преданность, да не в силах она была преодолеть себя… Да и поистине – с каким-то надрывающим смирением досказал он, – что за такая фигура я, чтоб ей мною прельщаться! Всяк в этом свете свою силу знает и под пару этой своей силе ищет, я это очень хорошо понимаю, ваше сиятельство…

– Никанор Ильич, для чего вы это мне все говорите! – вскрикнул Наташанцев; его всего поводило внутренно от щемящего впечатления, которое производили на него эти слова.

На бледных щеках его собеседника выступила краска: он не понял того душевного к нему участия, что сказывалось в этом восклицании.

– Я позволил себе говорить-с, – с холодною сдержанностью ответил он, – потому что Ольга Елпидифоровна писала мне, что от меня зависит ее счастие, что если я соглашусь *развязать* ее, она… она за вас замуж может выйти… Так я затем и пришел к вам, чтобы просить удостоверить меня: точно ли это так и действительно ли вы намерены с своей стороны?..

Граф утвердительно, с внезапною краской на лице, склонил голову:

– Совершенно так, и это мое самое пламенное желание, даю вам в этом слово!

Губы Ранцова дрогнули.

– Я, впрочем, со стороны вашей другого не ожидал, – с нервною торопливостью произнес он, – а только счел нужным, так сказать, удостоверить себя, так как, зная столько лет Ольгу Елпидифоровну и ее слишком пылкий нрав, мог всегда опасаться за нее… По крайности буду знать теперь положительно, что недаром станут из меня жилы тянуть завтра, – добавил он с каким-то неудавшимся намерением улыбки, – что хоть променяла она меня на настоящего человека, а не на какого-нибудь Ашан…

Голос его оборвался вдруг разом…

– Ашан… Как вы сказали? – воскликнул в то же время граф, выпрямляясь весь с высоко вздымавшеюся грудью, – кто это?

– Ашанин, там, в Москве, один такой есть, – пробормотал Никанор Ильич.

– Для чего вы теперь о нем упомянули?

Ранцов был видимо смущен: ему, очевидно, не следовало произносить это, сорвавшееся у него с языка, злополучное имя пред человеком, которому он единственно почитал *разумным* передать свои права на Ольгу Елпидифоровну, – права, на заботу о ней, о ее счастии… «Зачем ему знать о *прочем,* зачем *расстраивать»?* Он даже ужаснулся вдруг от этого сказанного себе им бессознательно слова «расстраивать». Он знал по опыту, что за терзания овладевают душой вслед за потерей веры в любимое существо, за потерею уважения к нему. А он теперь – «точно будто мстить захотел»… «Нет, – решил он тут же, и глаза его мгновенно заискрились, – подлецом я никогда не был и не буду»…

– К слову пришлось, – молвил он громко в ответ, – потому, когда Ольга Елпидифоровна еще в девушках была, этот самый Ашанин хотел на ней жениться тоже.

– Он и теперь в Москве живет?

– В Москве.

– Что он там делает?

– Да ничего… Шалберничает, – невольно уронил Никанор Ильич.

– Когда Ольга Елпидифоровна была в прошлом году в Москве, она видела его, не знаете? – продолжал допрашивать граф, не совсем удачно стараясь скрыть свое волнение под спокойною улыбкой.

– Не… Нет, – ответил Ранцов невольно дрогнувшим голосом, – у нее в ту пору отец был при смерти… так когда же тут кого видеть! – примолвил он, очень обрадованный таким счастливо им найденным объяснением.

Но оно нисколько не удовлетворяло Наташанцева – напротив; оно даже прямо противоречило тому, что *она* сама, вернувшись тогда из Москвы, рассказывала ему о «сумасшедшей ревности» мужа, вследствие которой она должна была разорвать с ним». Не ревновал же он ее к стенам! Очевидно, что тут был живой мотив, вызвавший эту ревность, и что подал его этот самый Ашанин (Наташанцев вспомнил, что она тогда вскользь произнесла его имя), с которым она несомненно виделась, хотя муж теперь уверяет противное… Для чего он это делает: из великодушия ли к ней, или потому, что ему стыдно за себя, за свои обидные для нее и, как она выражалась, «ничем серьезным неоправдываемые» подозрения? Граф лихорадочно ухватился за это последнее положение.

– Никанор Ильич, – молвил он как можно мягче, – чем же следует объяснить произошедшую у вас тогда в Москве размолвку с Ольгою Елпидифоровною?

Тот вспыхнул весь еще раз. Он понял, что вопрос этот прямо обличал его во лжи, в сокрытии истины с какою-нибудь личною целью, которую граф мог истолковать себе самым некрасивым для него образом. Жена его поступила умнее: она, это было ясно, сообщила графу «об истории

своей с Ашаниным», но осветив дело так, что вся тень ее падала не на нее, а на мужа… Горько, очень горько показалось это бедному Ранцову.

– Граф, – сказал он, – позвольте вас спросить сначала: как объясняет это сама Ольга Елпидифоровна?

Наташанцев несколько тревожно задвигался в своем кресле:

– Я прежде всего, Никанор Ильич, должен удостоверить вас моим честным словом, что Ольга Елпидифоровна не говорит никогда иначе про вас, как с полным уважением, как о честнейшем и благороднейшем человеке… То, как стоит теперь дело между вами, она приписывает долголетним недоразумениям, которые произошли от несходства характеров, а главное…

Он заикнулся.

– Главное? – переспросил тот.

– От вашего слишком… подозрительного нрава, – чуть не шепотом договорил Наташанцев.

Огни запрыгали в глазах Ранцова. Он вскочил с места в неудержимом порыве:

– От моего подозрительного нра… Да я в нее девять лет невступно как в Бога верил! – застонал он, ударяя себя обеими ладонями в грудь. – Да я бы, кажется, истерзал собственными руками, кто бы мне только намекнул… пока сам я, сам…

И вдруг, очнувшись мгновенно, со страшною бледностью на лице, он упал снова в кресло, растерянно устремив глаза в камин.

Наташанцев, в свою очередь бледнее полотна, глядел на него недоумелым взглядом:

– Что же вы – *«сами»?* – безотчетно пролепетал его язык, между тем как сердце у него колотилось в груди с язвительною болью.

Но Никанор Ильич успел уже овладеть собою; он пожал плечами:

– Я так должен сказать, впрочем, – молвил он, как бы не слыхав вопроса и будто отвечая собственной мысли, – никто в своем деле не судья… Может быть, точно тут и много от «недоразумения» вышло… Ольга Елпидифоровна – особа горячая, увлекающаяся, сами знаете, во вред себе иной раз то сделает, за что люди осудить могут… Если же я по такому случаю, для ее же пользы, может быть, когда и заметил ей, да своим простым языком не умел выразить, как должно, она и действительно могла думать…

Он не договорил; ему была тошна и гадка фальшь, на которую принуждал он себя теперь с целью противодействия неблагоприятвому *для нее* впечатлению, которое собеседник его мог вынести из только что вырвавшихся у него опять неосторожных «проклятых» слов. Он повел на него робким и вопрошающим взглядом.

Граф, с глубокою продольною морщиной между бровями, недвижно и безмолвно глядел поверх его головы на округлость капители одной из колонн своего пространного кабинета.

Ранцов в замешательстве встал и взял шляпу.

– Позвольте проститься, граф…

– Вы уходите! – вырываясь из задумчивости и будто в испуге, воскликнул Наташанцев.

– Что же-с… кажется все. Мне только остается благодарить вас. По крайности теперь могу со спокойным сердцем на эти мытарства *иттить,* – усмехнулся тот, – так как слову такого человека, как вы, могу доверяться *вполне,* – подчеркнул он.

Наташанцев нежданно схватил его руку обеими своими:

– А вы меня уничтожаете этою своею благодарностью!.. Ведь вы ее безумно любите до сих пор, вы идете на эти муки из-за нее и благодарите меня, отымающего ее у вас!..

Все дрогнуло в лице Ранцова: глаза, губы, подбородок; слезы внезапно брызнули ключом из-под его ресниц. Он выхватил еще раз платок из кармана и скрыл за ним свои исковерканные мучительною тоскою черты.

«А кому из нас двух тяжелей теперь – право, трудно решить!» – пронеслось в голове графа… Он быстро встал с места и зашагал торопливыми и неверными шагами по комнате.

Прошло так несколько минут. Никанор Ильич поднял голову, огляделся кругом и заговорил, словно вспоминая после сна о сказанном ему пред тем:

– Жизнь моя прахом пошла, так что уж обо мне говорить. У каждого свой предел, сказывается, его же не прейдешь… А я, как истинно вам докладывал, так и теперь говорю: как знаю я характер Ольги Елпидифоровны, так для счастия ее не может быть лучше, как теперь… с вами… Я с радостью, поверьте!.. Таким мужем, как вы, ей, разумеется, только гордиться… Не то что с нашим братом из темных армейцев… *Вам* она, – поспешно домолвил он, пораженный страдальческим выражением лица остановившегося перед ним Наташанцева, – вам она настоящею, *верною* женой будет, поверьте слову!..

– Вы «настоящий человек»! – вырвалось неудержимо из уст графа. – Дайте мне вашу руку!

Он крепко стиснул ее. Ранцов сконфуженно отвечал на это пожатие.

– Никанор Ильич, Ольга Елпидифоровна не согласилась видеться с вами. Каюсь, это по моему совету… Я дурно судил о вас тогда, я боялся для нее… неприятностей… А теперь я думаю – это *для вас* лучше… В таких случаях надо избегать всего, что может растравить рану, помешать забыть…

– Забыть! – трепетно зазвучал голое Ранцова. – Пробовал-с… не вырвешь! Видно так до гроба нести надо, – еле слышно домолвил он. – Будьте здоровы, граф!

Наташанцев, без слова, подошел к стене и дернул за снурок звонка. Дверь в коридор немедленно распахнулась, и в ней показалась суровая и подозрительная фигура Калистрата (он, видимо, стоял за нею все время, в чаянии «не дай Бог чего» между «его графом» и этим «ихним мужем», наружность которого показалась ему почему-то «бедовою»).

«Его граф», к немалому его удовольствию, пожимал в эту минуту самым дружелюбным, должен он был убедиться, образом руку этому мужу, и, обращаясь затем к нему самому:

– Калистрат, – сказал он, – проведи Никанора Ильича… И одеваться мне потом!..

– Слушаю-с!.. «Кажный то есть зверь, коли *они* только захотят того, станет *им* ноги лобызать», – заключил мысленно про барина Калистрат, уходя с торжествующею улыбкой на

кривых устах.

Наташанцеву хотелось скорее выйти из дому, хотелось воздуха, пространства, уличного шума… Его душило в этих стенах; в ушах его неотступно ныл голос этого человека, которого он «*с нею*» присудили на «мытарства», на муку, которую, «в этом сомнения быть не может», говорил он себе, тот действительно «понесет до гроба»… Он чувствовал – счастье, то бесконечное счастье «вдвоем, под итальянским небом», о котором он мечтал каких-нибудь полчаса тому назад, все это уже более недостижимо для него: образ, призрак этого человека с его «мутными, красными от слез глазами» будет преследовать его и в *ее* объятиях!.. «В ее объятиях!.. А этот *Ашанин,* что он, *чем* был для нее?» – взмывало у него новым язвительным страданием. «Она из-за него порвала с *ним*, с мужем, и он, он же выгораживает ее теперь, великодушно лжет и заметает следы, наивно успокаивает меня, что *мне* она будет *верная* жена»… О, Боже! А он, со своей стороны, порывает с детьми, с отечеством, с *ними*, «avec эеэ maîtres», обрекает себя на опалу, на скитальчество из-за «авантюристки» (вздрогнув, вспомнил он слова дочери), вздумавшей выйти за него замуж от живого мужа». И уже все кончено, он уже неразрывно связан с нею, он назад не может… «Да я и не хочу, я люблю ее, она будет моею; да, люблю malgré tout, malgré tout, et dût le ciel me tomber sur la tête!» вырвалось у него из груди со страстным отчаянием…

– Карета сейчас выезжает, – доложил, выходя из-за алькова, Калистрат, с сюртуком барина на руке.

– Не нужно, подай бекеш; я пойду пешком.

– Сиверко, ваше сиятельство, снег метет – страх!

– Все равно. Шляпу, палку!

– Прикажите карете за вами ехать, – настаивал старый слуга.

– Не нужно, говорят тебе! – нетерпеливо отрезал граф, выходя в бекеше и шляпе в коридор.

– Извольте кашне надеть, – суетился, кидаясь за ним, тот.

Но барин его не слушал и быстро, словно юноша, спешащий на свидание, спустился с лестницы и вышел – чуть на выбежал на Набережную.

XII

L’orchestre est las, les valses meurent,
Les flambeaux pâles ont décru,
Les miroirs se troublent et pleurent…

Sully Prudhomme.

…Но это оскорбленье!..
Нет, у нее оно вошло в обыкновенье.

Хмельницкий. Светский случай.

«Пятый час в исходе, а его нет», – говорила себе Ольга Елпидифоровна Ранцова, стоя одна с озабоченным лицом пред большими Булевскими часами своей гостиной (ее ежедневный прием в эту пору был отказан ею на сегодня). – «Неужели ему не лучше?..»

Она накануне об эту пору получила от него записку, в которой он в коротких словах извещал ее, что слегка простудился и от кашля плохо спал ночью, что его доктор советовал ему поэтому «не выходить денек из дому» (слова так и приведены были по-русски во французской записке), но что на следующий день он *непременно* в обычный час, «entre quatre et cinq», будет у нее.

«Если б я имел еще слабость верить в счастье, я искал бы его в *привычке»,* – вспомнились ей прочтенные ею когда-то слова Шатобриана. Она силилась усмехнуться и объяснить себе этими словами то глухое еще, но постоянно нарастающее клокотание тревоги, которое чувствовала она внутри себя. «Я так привыкла к его аккуратности, к тому, что в положенный час он войдет в эти двери, радостно улыбаясь своим тонким, аристократическим ртом, жадно ожидая моего первого взгляда… Но как же я и напущусь на него, когда он явится, за то, что заставил меня о нем беспокоиться!» – принужденно прервала она себя мысленно, быстро повернулась и присела к своему Эрару.

Первый аккорд, машинально взятый ею минором в басу, как-то странно заставил ее вздрогнуть. Она, словно испуганно, оторвала пальцы от клавиш, усмехнулась еще раз, попробовала какой-то вальс, сбилась на втором колене и вдруг, как бы нежданно для себя самой, запела mezza voce:

Depuis une heure je l’attends,
Conçoit-il mon impatience?
A-t-il compté tous les instants
Qui s’écoulent en son absence?

Это был малоизвестный романс старинного пошиба на французские слова двадцатых годов, слышанный ею в первые годы молодости, когда она жила с отцом в уездном городе, от старого отставного гвардейца, разоренного помещика той местности, и удержавшийся в ее памяти благодаря его задушевной мелодии, происхождение которой (уверяли ее граф Пердро и приятель его «Tsips») непременно должно быть *славянское,* «так как никакой французский голос, говорили они, не способен придать ей того accent pénétrant, какой принимает она в ваших устах»… Изо всего ее обширного репертуара пения не было вещи, которую бы более любил Наташанцев. Незатейливый, певучий, исполненный того элегического чувства на элегантной светской подкладке, которое входило, как говорят англичане, в линию – in the line – всего его внутреннего *я*, романс этот неизменно приводил изящного обожателя Ольги Елпидифоровны в сладкую задумчивость и вызывал блестящие росинки слез на его темные ресницы… Он поэтому как-то сам собою напрашивался в эту минуту в душу нашей певицы, отвечал и тревоге ее, и мысли о том, кто вызывал ее в ней. Она начала вполголоса, но с каждою нотой звуки все металличнее вылетали из ее груди, расстраивая ее самоё до слез… и, допев последнюю строфу со словами:

Ah, si j’en juge par moi-même,
Qu’il doit souffrir, qu’il doit souffrir!

она не выдержала и вскочила с места с нервным рыданием…

– Et bien oui, il souffre, – услышала она за собою, прежде еще чем успела обернуться, голос, от нежданного звука которого вся она перепуганно дрогнула и побледнела, – но все же не из чего пока в отчаяние приходить!

– Ах, Варвара Петровна, – воскликнула она, узнавая приятельницу свою, Мосягину, и схватывая руку ее обеими своими, – ради Бога, скажите, вы что-нибудь знаете?.. Он писал мне, что будет сегодня, я его ждала… Я чувствую, – недаром я расплакалась, – что что-нибудь нехорошее…

– Я для этого и приехала к вам, чтобы сказать вам, что он не здоров, – молвила та, – я сейчас была там, у *них,* – неопределенно промолвила она.

– У кого? У молодых Наташанцевых?

– Да… Надо вам сказать, что ко мне часа два тому назад заехала Нелли Новицкая: она мне соседка и часто так заезжает, en passant devant ma porte… Ну, как известно, эти Саватьевы всегда раньше всех все знают; она мне и говорит: «Знаете ли вы, что ваш cousin Léonide *очень* болен?..» Не пугайтесь, милая, – поспешила прибавить Варвара Петровна, сжимая руку Ранцовой, – оказалось, не так… или не совсем так. – «Что с ним?» – спрашиваю, сама перепугалась!.. А она мне и рассказывает, что была вчера у сестры своей Базиной, где застала Toutou Андомскую, которая от Базиной спешила к отцу, так как получила записку от bellesoeur своей, молодой Наташанцевой; писала ей та, что она с мужем очень беспокоятся «насчет papa», что он пошел утром гулять в сквернейшую погоду и вернулся avec une fièvre de cheval, и так слаб, что слег, они сейчас же послали за Штраухом, который пока болезни не определил, но, кажется, «assez inquiet»… А сегодня, это уже Нелли опять говорит мне, Штраух, который и ее доктор, был у нее и на ее вопрос, «что с графом Леонидом?», поморщился и сказал: «воспаление в легких»…

– Воспаление… в его годы! – воскликнула, переменяясь в лице, Ольга Елпидифоровна.

– Вот услышал бы он это «в его годы», не сказал бы вам спасибо! – засмеялась никогда не унывавшая Варвара Петровна. – Что его за такие годы, чтобы не выдержать хотя бы une fluxion de poitrine!.. Только вы понимаете, все же это меня очень обеспокоило. Я тотчас же велела запрягать карету, отправила Нелли и, вопреки моим привычкам, не заезжая в мой приют, прямо велела на Набережную… Приезжаю; принимает меня Lucie Наташанцева. Муж, говорит, поехал за Здекауером…

– Консультация! – перебила молодая жещина, тревога которой росла с каждым мгновением.

– Он сам, говорят, пожелал его видеть… Леонид то есть. Он очень любит Здекауера… О консультации не было и речи.

– А его самого видели вы? И что говорит тот, другой доктор?

– Леонид спал в то время, когда я там была, и к нему никого не пускали… А тот, Штраух, что говорит? Известно, мычит, как все доктора в этих случаях, – не могла не рассмеяться опять веселая филантропка, – вы знаете ce qu'a dit Molière: «un médecin est un quidam qui vient vous faire tirer la langue jusqu'à ce que la nature vous ait guéri ou ses remèdes vous aient tué»[64]. Я в них не верю, вы знаете…

– Ах, Варвара Петровна, – неудержимо вырвалось у Ранцовой, – как вы ужасны с вашими шутками в эту минуту!

Та серьезно, почти строго подняла на нее глаза:

– А вы бы хотели, чтобы я, подобно вам, заранее приходила в отчаяние? Это, во-первых, грех; а затем…

Она оборвала на полуслове и, ласково поведя на нее взглядом:

– Вы его очень любите? – спросила она с полуусмешкой.

– И не скрываю! Я никого еще в жизни так не любила!

Почтенную и несколько экзальтированную госпожу Мосягину глубоко тронул этот, очевидно для нее, прямо из сердца вырвавшийся клик.

– Ну, так вот что, – сказала она, – он желает вас видеть…

– Он говорил?.. Как вы знаете?

– А вот как. Простилась я с Lucie, спустилась с лестницы. Гляжу, в сенях стоит и, видимо, ждет меня его Калистрат… Вы его знаете; а я с тех пор как Леонида помню, знакома с этим его Калебом[65]. Он очень всегда благоволил ко мне, зная мою искреннюю дружбу к его барину… «Что, говорю, Калистрат, как графу?» – «Спят, говорит, покойно, надо так надеяться, что полегчало, а ночью, говорит, совсем не спали: кашель и очень беспокойны были»… И как тут стоял швейцар, он его отослал, а сам шепчет мне: *«Оченно* желал бы с вашим превосходительством посоветоваться насчет одного дела». Отошли мы с ним в угол, он мне и говорит: «Граф мой очень скучает по одной даме, – вам, говорит, известно-с, кто она». Я заемеялась, говорю: «Знаю; а он тебе говорил?» «Они, говорит, им писали вчера, что сегодня будут у них беспременно, а как теперь доктор запретил им настрого выезжать, они очень этим беспокоились, хотели писать им опять… Велят мне подать им портфель с бумагою, чернильницу и начнут на коленях писать им письмо, а потом разорвут, велят клочки в камин кинуть, и опять. Так до трех раз принимались, пока совсем устали и заснули»… Только я тут его перебила и говорю: «Если Леониду Александровичу очень хочется видеть *эту даму,* так он достаточно почтенный и пожилой человек, а к тому же болен, и она может очень хорошо приехать навестить его»…

– Я только что хотела это сказать, спасибо, что вы предварили, – вскрикнула опять Ольга Елпидифоровна, – я умираю сама от нетерпения увидеть его…

– А вот мы с Калистратом и сговорились насчет этого. Ждите от него извещения: он обещал приехать известить вас, переговорив с Леонидом, по его пробуждении и визите Здекауера… Он предвидел одно… неудобство, – примолвила Варвара Петровна, сама несколько затрудняясь тем, что хотела выразить.

Но Ольга Елпидифоровна тотчас же поняла в чем дело:

– Дети его… Княгиня Андомская… сидят верно тут, у него в комнате?..

– Да, да!..

– Прелестная Toutou, – желчно продолжала Ранцова, – изображает из себя теперь, разумеется, нежную и встревоженную дочь… и бедный Калеб наш боится, что она не захочет допустить меня к отцу, которому она век свой отравляла существование злостью своей и дерзостью?..

Варвара Петровна прервала ее раздраженную речь:

– Оставьте ее, ma chère, в покое! Нрава вы ее не переделаете, а сами только бесполезно расстраиваетесь… Она все-таки воспитанная особа, и если вам действительно придется там с нею встретиться, она никак не решиться *в такую минуту* и *в отцовском доме* быть с вами не-при-личною… Я, впрочем, вот что сделаю: когда вы будете знать, в какое именно время ехать к нему, пришлите мне сказать, я весь день буду дома – и я тогда тоже поеду навестить еще раз больного сегодня… При мне она не решится… Я отведу бурю, во всяком случае, – закончила женщина смеясь.

Она обняла свою protégée (она не иначе глядела на Ранцову и стоять за нее всеми своими силами считала делом чести своей и достоинства), крепко поцеловала в щеку и, сказав ей на прощанье: «Du courage, chère, перемелется, мука будет!», быстро вышла из гостиной.

Хозяйка проводила ее до лестницы, в нервном порыве кинулась ей в свою очередь на шею, расплакалась и убежала в свою спальню.

Но когда осталась одна, ее стало разбирать беспокойство до такой степени, что она, как говорится, места себе нигде найти не могла. Она припоминала и перетолковывала себе каждое из слов, сказанных ей Варварою Петровной в смысле, все более и более ужасавшем ее. Опасность, грозившая ее «другу», представлялась ей несомненною. Она заключила об этом уже из самого того, что Варвара Петровна первая завела речь о желании *его* видеть ее… «Варвара Петровна очень добрая женщина, – рассуждала Ольга Елпидифоровна, – и очень любит меня, но она – une vertu и очень строга ко всяким *конвенансам*: она очень хорошо понимает, какого рода чувство питает *он* ко мне и к какой цели стремится, но она тщательно избегала всегда со мною всякого разговора об этом и притворялась думающею, что он просто любит меня как милую и несчастную в супружестве женщину, с маленьким оттенком того светского flirtation que tout homme de goût doit à une jolie femme. Если она теперь решилась заговорить о том, «люблю ли я его», и передать то, что ей говорил Калистрат, значит, сама она, несмотря на ее успокоивающие слова, судит о его положении как об очень серьезном и находит, что *теперь* я могу «ехать навещать его», не компрометируя ни его, ни себя. «Действительно, человека при смерти никто уже компрометировать не может, – вся содрогаясь от ужаса, поясняла себе молодая женщина. – И что же, если в самом деле это несчастие… Что же тогда будет со мною?..»

Она сидела на низеньком кресле подле своего туалета, закинув обе руки за голову, с трепетно вздымавшеюся грудью, с прижмурившимися судорожным движением глазами…

В притворенную ею дверь спальни раздался со стороны гостиной легкий стук.

Она не обратила на него внимания… «Что будет со мною? – повторяла она мысленно. – С ним все кончено, все разлетается как дым… Останется мне только бежать из Петербурга… без него меня здесь заедят, заедят насмерть… Господи, а еще вчера казалось мне это так близко, так несомненно»…

– Gnädige Frau, s’ist eine Dame da! – раздался за нею голос.

Она вздрогнула от неожиданности, обернулась с нахмуренным лицом…

В просвете небольшой двери, соединявшей спальню ее с уборною, она увидела белобрысую фигуру своей выступившей из-за отдернувшейся занавеси Амалии, с которою мы имели уже случай познакомить читателя.

– Какая дама?.. Я приказала никого не принимать сегодня!..

– Jawolh, aber… s’ist die Mutter des jungen Fürsten, это мамашенька молодой князь, гусар… aus Moscau… Она приехал недолго здесь, Morgen will sie weg, и сказал швейцару, что ошень желает вас видайть, – объясняла, подмигивая и покачивая головой с каким-то забавно значительным и таинственным видом, чухонская субретка.

– Княгиня Шастунова! – вскликнула ее барыня, и бессознательная усмешка, машинально вызванная этим именем, пробежала по ее засохшим от внутреннего волнения губам.

– So, so! – подтвердила Амалия, все так же подмигивая и продолжая по-немецки. – Она все ждет в карете; Федор стучался к вам, но вы не отвечали; он думал, что вы заснули, и пришел меня спросить, но как я знаю, что вы никогда не спите в этот час…

– Пошлите сказать, что я прошу ее! – прервала Ольга Елпидифоровна. «Ее глупость хоть рассеет на несколько времени эту невыносимую тоску», – рассудила она.

Она села перед зеркалом, оправилась, отерла холодною водой несколько покрасневшие глаза свои и, не торопясь, вышла затем в гостиную.

В противоположные двери ее вплыла тем временем княгиня Аглая Константиновна.

Она окинула своими круглыми глазами отянутые шелком стены этой гостиной, ее ценный Обюсоновский ковер и золоченую мебель и, сказав себе: «Mais c'est très cossu chez cette ex-Olga Akouline», с сугубою улыбкой на губах, заметно притертых помадою, направилась к выходившей ей навстречу хозяйке.

– Je n'ai pas voulu partir de Pétersbourg sans venir vous voir, – заголосила она, протягивая ей руку и заглядывая ей умильно в лицо, – я настояла, чтобы вы меня приняли. Je suis toujours heureuse de retrouver de vieilles connaissances.

– Очень вам благодарна, княгиня, – отвечала с несколько холодною учтивостью Ольга Елпидифоровна, усаживая ее на диване и сама садясь подле, – я не знала, что вы здесь, хотя в прошлый понедельник в опере мне показалось, будто вы или какая-то очень похожая на вас особа вошли в антракте к Саватьевым в генерал-губернаторскую ложу. Это меня даже очень удивило. Но у меня в тот вечер голова болела и я тут же уехала домой, так что не успела удостовериться, действительно вы ли это были.

– Oui, c'était moi! У меня была своя ложа бельэтажа, но они очень просили меня зайти к ним… Ce sont des personnes très aimables toutes, n'est-ce pas? – примолвила Аглая Константиновна, вопросительно уставившись на Ранцову, – vous les cannaissez?

– Кого это? Саватьевых? Кто же их не знает?

– Но они… Elles appartiennent au meilleur monde, n'est-ce-pas? – с видимым уже беспокойством допрашивала княгиня.

– К лучшему, к лучшему, – иронически поддакнула ее собеседница, – de l'orfèvrerie Ruolz[66] première qualité.

Аглая не поняла и испуганно захлопала глазами.

– Vous avez toujours eu beaucoup d'esprit, chère Ol… chère madame, – поправилась она, – и я вижу, что вы шутите… Но я (она вдруг приняла сосредоточенный вид), я, je vous avoue, хотела именно узнать от вас, et j'espère… à titre d'ancienne enfant de la maison, вы мне не откажете сказать… Je ne connais pas Pétersbourg, а они, ces dames, такие любезные все… Я познакомилась, il faut vous dire, с одною из них, 'madame Bazine, у Татьяны Борисовны. Vous la connaissez?

Ранцова неопределенно кивнула головой.

– Я у нее была pour l'affaire de mon église… Я, вы знаете, в Сицком… que vous connaissez bien, j'espère, выстроила церковь…

Она тут же стремительно вздохнула и продолжала:

– В память моей бедной Лины, dont vous avez été l’amie… и вообще parce qu’il faut protéger, je trouve, la religion de son pays… Хотя теперь (она наклонилась вдруг к самому уху хозяйки), avec cette émansipation, которую нам обещают, можно ожидать qu’on renversera tout, et le trône et l’autel…

– Да, – перебила ее та, которую нисколько не интересовала история церкви «в память бедной Лины», а хотелось скорее добрался до новой *проделки* ненавидимого ею теперь племени Саватьевых, – вы говорили, что познакомились у Татьяны Борисовны avec la fameuse Nanie Bazine.

– Отчего «fameuse»?

– Отчего? Этой женщине со временем статую будут воздвигать на площадях с надписью: «Богине эксплуатирования ближнего, a la déesse de l’exploitation de son prochain»… Orn довела до высокого творчества искусство выжимания из лимонов сока и выкидыванья их корок за окно…

Аглая продолжала ничего не понимать и обробело глядела на расходившуюся молодую женщину. А у той все сильнее разливалась желчь. Воспоминания о недавнем пассаже с ней Саватьевых, о дружбе этой Nanie с ее злейшим врагом, княгинею Андомской, примешивали всю свою едкую горечь к тому состоянию нервного возбуждения, в котором застала ее гостья. Слова, шипя, с обрывистым и колким смехом, падали из ее уст:

– Она вас с первого же раза и окрутила: я вижу это отсюда. Не дали вам времени вздохнуть, как вы уже очутились засосанною en plein Саватьевским болотом, всеми его Динами, Идами, Зизи, e tutti quanti; вас завертели, закидали приглашениями, повезли обедать к *maman*…

Аглая Константиновна даже руками веплеснула:

– Ah, mon Dieu, как это вы все знаете! Я третьего дня, c’est vrai, была приглашена à dîner cher madame Savatief… Elle est très bien née cette damé, – внушительно качнула она подбородком, – une princesse Mordovskoi de naissance…

– И сын ваш также приглашен был на этот обед.

– Да, Basile mon fils aussi.

– И за обедом посадили его между двумя из сестер, из которых одна была непременно «la belle Lydie», девица?..

Удивленная гостья все шире открывала глаза:

– C’est cela! Но кто мог вам все это передать?

– Ровно никто. Я вам сказала: я вижу это отсюда. Я их наизусть знаю… Да и как трудно угадать, когда знаешь, что они вбили себе теперь в голову выдать эту свою бессловесную куклу-сестру за вашего Базиля.

– А вы это знаете?

Ранцова только плечами пожала.

Аглая Константиновна принялась вдруг смеяться, утвердительно и самодовольно покачивая головоио:

– Vous savez, Базиль мне сказал, qu'elle est folle amoureuse de lui.

– Ну да, – презрительно повела губами Ольга Елпидифоровна, – она вот уже десятый год влюбляется так поочередно во всех здешних богатых женихов, но на ее несчастие ни один из них до сих пор не подловился на эту удочку.

– Ah, mon Dieu, неужели она уже так давно в свете? Je la croyais encore fort jeune.

– Ей по крайней мере лет тридцать, – отрезала Ранцова, прикидывая «по крайней мере» года три лишних к настоящему возрасту девицы Саватьевой. – А вы что же, – добавила она свысока, – вообразили, что это действительно могла бы быть подходящая партия для вашего сына?

На жирном лице Аглаи изобразилось чувство самой плачевной беспомощности:

– Ах, chère Olga… pardonnez moi, что я вас называю comme autrefois… Я об этом хотела поговорить с вами comme avec une vieille ami. Я… je me perds dans votre Pétersbourg, не знаю с кем посоветоваться… Всем, я думаю, известно, что mon fils Basile, avec son nom и с тем, что он может ожидать от меня, a le droit de prétendre a la main de tout ce qu'il y a de mieux ici… Но, – и она самым неожиданным образом расхныкалась, – je vous avoue cela a mort dans l'âme, – я уж и не знаю, что лучше: согласиться qu'il épouse une non titrée, et pauvre, et plus âgée que lui, как эта Саватьева, или оставить его faire ce tas de dettes pour une gredine, как его Irma… Ведь она еще более жадная, чем та, l'autre, vous savez, Lucie Làdragûe. Он ей, я знаю, подписал векселей на сорок тысяч, кроме того, что должен по всем магазинам за ее бриллианты и туалеты. Il me ruine, mon fils, и у меня только одна надежда, что если бы он мог попасть в руки d'une femme à caractère et comme il faut, она удержала бы его sur la pente de l'abime.

Ольга Елпидифоровна прервала ее новым язвительным смехом:

– Вот дайте ему попасть к Саватьевым в руки, они ему покажут, что такое характер!..

Та замахала руками:

– Я не об этом! Basile совсем о другом думает. Он нисколько не тронут par l'amour de cette demoiselle; он находит только, что у нее des épaules qui ne sont pas mal и больше ничего… – Она вдруг осклабилась и продолжала уже таинственным шепотом, искательно глядя на молодую женщину:

– Но есть другие плечи, он говорит, от которых он с ума сходит…

– Мои то есть? – преспокойно и чуть-чуть усмехаясь объяснила Ранцова.

– Oui, chère Olga, oui!.. Вы в самом деле теперь plus belle que jamais, я понимаю моего сына.

Она завздыхала опять:

– Et puis vous êtes désintéressée et femme du monde… Вот если бы я знала, что Basile имеет des relations sérieuses с такою женшиной, как вы, я была бы спокойна, что он не разорится, comme son père, ce pauvre Michel, que j'ai sauvé de la misère…

– Это что значит: «des relations sérieuses?» – прервал ее вопрос. – *Связь* то есть, ce qu'on nomme *une liaison*?

Она засмеялась игриво и невинно:

– Mais vous savez, quand des personnes s'aiment…

Ольга Елпидифоровна в свою очередь теперь уставилась ей в глаза.

– Другими словами, чтобы избегнуть, с одной стороны, слишком дорого стоящей в мире лореток Ирмы, с другой – недостаточно дорогой на светском рынке Лидии Саватьевой, вы желали бы, чтоб я сделалась la maitresse de Basile votre fils. Так это?

Несчастная Аглая растерянно захлопала глазами: она никак не предвидела, чтобы ей могли когда-либо вывести ее *тонкие намеки* на чистоту.

Красивая барыня залилась гомерическим смехом:

– Вы тем милы, княгиня, – проговорила она с самою откровенною бесцеремонностью, – что вы неизменны и незыблемы, как какая-нибудь египетская пирамида…

– Mais, ma chère madame, – испуганно залепетала та, – je ne voulais pas vous offenser…

Ранцова хотела что-то ответить… и вдруг вскочила с места и с торопливым «pardon» кинулась к полуоткрывшейся двери в ее спальню, откуда ее Амалия видимо вызывала ее к себе какими-то многозначительными знаками и пальцев, и глаз.

– Из дома *графа* пришла к вам одна женщина, – быстро доложила она ей на ухо по-немецки, – и говорит, что ей непременно нужно говорить с вами сейчас.

– Где она?

– Я ее увела в мою комнату, чтобы никто не видел.

Женщина эта была жена Калистрата, которую тот прислал с извещением, что больной граф «беспременно просит госпожу» приехать к нему, не теряя времени, «потому самое обеденное время: графчик с графинюшкой и сестрица их, княгиня, кушают в столовой, а *сам* – один в своем покое и желают, чтобы быть без свидетелев».

– А приехать к ним, – объясняла она «госпоже», – требуется не с Набережной, а со двора, к *собственному* графскому крыльцу. Калистрат Степаныч уж там ждать вас будет и проведет…

– Сейчас! – не дала ей договорить Ольга Елпидифоровна. – Вы на извозчике приехали?

– Так точно-с! Калистрат Степаныч наказывал, чтоб как можно спешить…

– Погодите же минутку, я с вами вместе поеду… Амалия, шубку, капор и вуаль! А сами сейчас же после меня отправляйтесь в санях к Варваре Петровне Мосягиной и скажите, что я поехала, – она уже знает… Проведите нас на черный ход!..

Она через миг была одета, окутана вуалью и бежала по коридору, сопутствуемая едва поспешавшею за ней пожилою женой Калистрата.

– Und die Frau Fürstin, ваша гостья, она там у вас осталась, – вспомнила, выпуская их за дверь

на черный ход, Амалия, – was soll ich Ihrer Duchlaucht sagen?

– Скажите ей, что она дура! – крикнула ей на это с сердцем барыня, исчезая со своею спутницей за поворотом лестницы.

Амалия покачала головою ей вслед, повернулась и пройдя через спальню в гостиную, застала там «ее сиятельство» одну-одинехоньку и весьма заметно смущенною этим одиночеством.

– Die gnädige Frau lässt sich entschuldigen… Мой госпожа очень сфиняет себя, – проговорила чухонская субретка, – у нее ушасно зубы болел, и она поехал к свой дантист.

Княгиня Аглая Константиновна безмолвно уперлась круглыми глазами в ее косые глаза, судорожно передернула свою новехонкую от Andrieux мантилью и, красная как пион, недоумело вышла из комнаты.

– Elle est au fond très impertinente, cette ex-Olga Âkouline! – решила она, додумавшись в сенях, пока ее ливрейный вздевал шубу на ее крутые как Балканские горы плечи.

XIII

Чар твоих могучих сила
Может мертваго поднять…

Соколовский.

Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer unerhört.

Cöthe. Die Braut von Corinth.

Извозчичьи сани с Ольгою Елпидифоровной и ее спутницей, скользнув под ворота дома графа Наташанцева, завернули вправо и остановились у «собственного» крылечка.

Жена Калистрата проворно выскочила из них и поспешно дернула за медную ручку звонка…

Дверь тотчас же отворилась. Калистрат приставил к ней в ожидании их какого-то мальчика.

Сам он, заслышав шага в коридоре, выскочил из уборной навстречу прибывших.

Он отослал жену назад повелительным движением руки и, оставшись вдвоем с Ольгою Елпидифоровной, прошептал ей:

– Я *им* сказал, что вы беспременно желаете быть у *них,* так вы уж, на милость, извольте так и с вашей стороны говорить; *они* вас с большим нетерпением ожидают.

– Как ему? – торопливо спросила она.

По изрытому лицу старого слуги, показалось ей, пробежала судорога:

– Ослабели очень, – вскользь проговорил он… – Я им сейчас доложу-с, – поспешил он промолвить, – потрудитесь чуточку погодить здесь.

Он ввел ее в *туалетную,* довольно просторную комнату, с длинным вдоль стен рядом дубовых

шкафов, а сам быстро скользнул из нее в спальню, совершенно неслышно шагая по ковру своею без каблуков обувью.

– Пожалуйте! – молвил он, возвращаясь чрез несколько мгновений и наклонясь к ней ближе. – Господин доктор строго наказывали, чтоб *им* отнюдь не говорить, так уж дозвольте, сударыня, просит вас… поберегите *их!* – досказал он внезапно дрогнувшим голосом.

Ее передернуло от его выражения… Безотчетно замедляя шаги, переступила она через порог *его* спальни…

Глаза ее сами собою прежде всего остановились на *нем*. Он сидел в своем длиннополом домашнем сюртуке, рядом со вплоть прикрытою темно-малиновым байковым одеялом железною кроватью, на низком кресле, с протянутыми на табурет ногами, лицом к ней и спиною к высокому, старинному, с бронзовыми украшениями комоду, с которого пламя четырех свечей в старинном же бронзовом porte-bougies под четырехугольным зеленым колпаком падало отвесно на голову больного, отчетливо обрисовывая лоб его по брови, со спутанными над ним прядями седых волос, и оставляя в полутени все остальные черты. Он представлялся таким образом в рамке этого своего кресла, с засунутою за спину его белою подушкой, единственно освещенным пунктом высокого и обширного алькова, отдаленные углы которого пропадали в мглистой, колеблющейся тьме. Лишь кое-где в складках спущенных занавесей, отделявших этот альков от кабинета, свет случайными искорками играл по золоту разводов густой темно-синей ткани…

– C’est vous… Enfin! – угадала взволнованная молодая жещина скорей, чем услышала его слова.

Она кинулась теперь к нему, схватила протянувшиеся к ней руки его, наклонилась, жадно глянула ему в лицо и в неудержимом порыве с ужасом от страшной перемены, которую нашла она в нем, опустилась вдруг, словно подломленная, на колени и, сдерживая подступавшее к горлу рыдание, судорожно приникла губами к этим рукам…

– Что вы делаете! Встаньте! *Там…* – вскинув неопределенно глазами за спину, пролепетал он как бы испуганно – и не договорил… Было нечто страшно зловещее в слышавшемся свисте, с каким вылетали эти звуки из его груди, в порывисто коротком дыхании, которое сопровождало их. – Садитесь тут… подле меня…

Там, она поняла, значило кабинет, где могли находиться, или сейчас войти *они, его* дети, – ее враги… Они могли подслушать, подглядеть из-за этих занавесей… Он принимает ее тайком от них – и, видимо, не имел уже духа обеспечить неприкосновенность этой тайны, не решился приказать не впускать их на свою половину, пока она тут… Сердце заныло у нее острою, жгучею болью: «это – отречение от себя… от жизни», чуялось ей каким-то внутренним нервом в самой глубине ее существа.

Он между тем глядел на нее неотрывающимся, проницающим и воспаленным лихорадкою взглядом. Странен был этот взгляд для нее; едва узнаваемы эти черты, в которых она еще столь недавно читала такую бесконечную страсть…

– Мне нехорошо… Я хотел видеть вас… – пропускал он чрез силу, пожимая влажными и палящими руками ее оледеневшие пальцы. – J’ai besoin de vous parler…

– Нет, нет, не говорите! – прервала его она. – Вам вредно, доктор запретил… Когда вам станет лучше…

Он закачал головою, болезненно морщась:

– Будет поздно… C’est fini, я чувствую… Выслушайте меня!..

– Ради Бога, замолчите, я не хочу этого слушать… Это вздор, вы выздоровеете… скоро! – лепетала она с насилованною улыбкой, отчаянием в сердце.

Он судорожным движением потянулся к ней руками и бессильно упал опять спиною в подушку:

– Милая, как я любил вас – знает Бог… Но видно, не надо было… Мы были виноваты…

Она вся вздрогнула:

– «Виноваты»? – повторила она. – Чем?

– Вы… знаете… Я *его* видел, – проговорил Наташанцев еле слышно.

– Его?.. Моего… мужа?.. – бледнея, прошептала она на это.

– Где?.. Для чего?

– Он был у меня… Он… он вас бесконечно…

Сухой, острый, надрывающий кашель не дал больному продолжать; он нагнулся головою вперед, поднося платок ко рту. Ольга Елпидифоровна инстинктивно приставила ему ко лбу руку… Он тотчас же прикрыл и прижал ее своею, поднял глаза и, словно приободрясь вдруг:

– И жить, и умирать под этою рукой сладко, – сказал он, силясь улыбнуться… И в то же время безотчетно моргнул и прижмурился от ударившего ему сбоку света в глаза.

Кто-то тихо отдернул одну из пол занавесей и вошел из-за них в спальню – вошел и остановился с видимым изумлением…

Это была belle-fille графа, жена его сына, рожденная баронесса фон-Гагерн, стройная особа лет двадцати пяти, с правильным и холодным немецким лицом… Она, очевидно, никак не ожидала застать теперь у свекра «*эту* женщину» (она никогда не видала ее, но тотчас же догадалась, кто она), – и вся застыла в первую минуту в целомудренном негодовании, увидав эти сплетенные их руки, это «дерзкое» женское лицо, наклонившееся над больным «с самою бесспорною фамильярностью (avec la familiarité la plus incontestable)».

Ольга Елипидифоровна точно так же никогда не видала ее и в свою очередь тотчас же ее узнала. Но она только скользнула по ней взглядом и зорко устремила его в просвет раздернутых молодою графиней занавесей. Там, в кабинете, освещенном двумя высокими карселевскими лампами, сидело кругом камина несколько лиц; они, видимо, только что вышли из-за стола и перешли сюда пить кофе, «поближе к больному», согласно с подобающим в этих случаях приличием. Вытянувшись в кресле во всю длину свою, с обращенными к огню толстыми подошвами тюленевых башмаков венского изделия, в клетчатом домашнем костюме и с pincenez на носу, лениво потягивал дым из сигары молодой граф Наташанцев, блондин лет тридцати, похожий на сестру пренебрежительным, как бы гадливым выражением своего узкого, гладко выбритого лица. Сама она, княгиня Андомская, с китайским garde-feu в руке, оберегая ланиты свои от пламени, помещалась подле брата и, наклонясь к нему боком, с озабоченною физиономией передавала ему что-то, чему внимал он, казалось, с полным равнодушием, не раскрывая рта, стряхивая от времени до времени механическим движением

пепел со своей сигары крепким и длинным в целый вершок ногтем, вырощенным его заботами на правом мизинце. Две-три дамы из близкой родни, да кто-то из тех intimes de la maison, без которых не обходится ни один большой дом в Петербурге, с чашками в руках, вели тут же, по близости, неслышный меж собою разговор.

Ранцова в один миг обняла все это общество… «Да, – сказала она себе, – *они* теперь под видом детской нежности и тревоги за него ворвались в это последнее его убежище, распоряжаются у него, как бы уже вступив в его наследство, и ведут лицемерные речи о том, чего сами с нетерпением ждут в своих скверных душонках… А он, – и глаза ее с безмерною жалостью обернулись на страждущего, – он, беспомощный и уже безмолвный, он уже ничего… ничего против них не может»…

– Cher papa, – режущим звуком раздался в ее ушах голос молодой Наташанцевой (она отделилась от темного фона занавеса и быстрыми шагами подошла теперь к свекру), – вы не спите? Вам пора ваше лекарство принять…

– Да, Калистрат знает…

Рука его протянулась к колокольчику на столике, стоявшем подле него вместе с аптекарскими склянками.

Но старый слуга был уже тут и, поднеся столовую серебряную ложку ко свечам на комоде, медленно и прищурясь лил в нее микстуру…

Глаза больного поднялись на невестку с каким-то не то раздраженным, не то умоляющим выражением; впалые щеки его заметно заалели от внутреннего волнения.

– Ma chère Lucie, я попрошу вас оставить меня на несколько минут одного… avec madame… Madame Rantzof, – ma meilleure amie ici bas, – отчеканил он в пояснение, как бы находя опять в эту минуту тот веский и внушительный тон знатного и уважающего себя барина и главы дома, пред которым семья его в оны дни безропотно склоняла головы…

Молодая графиня и не нашла слова ответить. Она ледяным, но учтивым поклоном повела в сторону нашей барыни, причем углы ее губ чуть-чуть дрогнули надменною усмешкой, и прошла в кабинет.

– Калистрат, занавеси!.. – проронил граф, глядя ей вслед…

Он поспешно прикрыл еще раз рот платком, чтобы заглушить хриплый свист кашля, ломившего ему грудь, пока Калистрат, угадывая его желание, торопливо задергивал занавеси алькова и недвижно словно замирал пред ними, с очевидною решимостью не дозволять более никому доступа из-за них.

– Ils veulent être toujours là, – заметил больной, тяжело переводя дух, – я им сказал, что хочу спать, чтобы не мешали, но вот… вы видели… Et il me reste si peu d’instants pour vous parler…

– О, милый, дорогой!.. – могла только выговорить она сквозь прорвавшееся и у нее неудержимое рыдание.

– Не плачьте, успеете! – почти строго молвил он на это. – Бог не хочет… нам надо повиноваться…

Она слушала, глотая слезы, прижимая руку к нервно вздрагивавшим губам и неотступно глядя

в его горячечно горевшие глаза.

– Я не ропщу, – падали через силу слова из его уст, – я умру спокойно… если вы мне дадите слово…

– Какое слово! – пробормотала она. – Я хочу, чтобы вы жили… вы будете жить!..

Он безнадежно усмехнулся, потянулся рукою к ее руке.

– Вы должны мне поклясться, – твердо промолвил он, сжимая ее, – что вы вернетесь к нему…

– К «нему»!.. К мужу? – растерянно вскрикнула Ольга Елпидифоровна.

Он медленно склонил голову.

– C’est le dernier voeu d’un mourant… d’un ami, для которого ваше счастие дороже собственной жизни. Я умоляю вас об этом, для вас… и для себя… Я никому не сделал зла в этом мире… Я не хочу унести *туда* мою вину… пред ним… Et vous, mon ange bien-aime, – промолвил он с бесконечною любовью в задыхающемся голосе, – вы, когда меня не станет, вас ждет такая злоба, ненависть… Он, он один способен так же безгранично любить и охранять вас… Другой… un jeune homme… un Ашанин, – вылетело у него помимо воли какою-то последнею вспышкою страсти, – погубит вас!..

«Он знает! От кого? Неужели *mom* нажаловался ему на меня? – пронеслось молнией в голове Ранцовой. – И это жжет ему душу в эту минуту»…

Глаза ее в тот же миг безотчетно направились в глубину комнаты, где у заметно задвигавшихся занавесей происходила как бы какая-то борьба между стоявшим пред ними спиною к ней Калистратом и кем-то, кого он, очевидно, не хотел пропустить из-за них в спальню. Преданный старый слуга ухватился руками за обе полы, просунув голову в узкий между ними просвет, и вел, по-видимому, с этим невидимым кем-то переговоры, глухой сначала шепот которых начинал становиться все явственнее…

Он долетел и до слуха больного:

– Калистрат, что это? – произнес он, вздрогнув и оборачивая голову по его направлению.

– Да вот-с ее сият… – не договорил тот, машинально опуская руки и в свою очередь оборачиваясь на голос барина.

Занавеси в то же время быстро и широко раздернулись, и из-за них мимо отшатнувшегося пред ней невольно Калистрата выступила княгиня Андомская… Брат ее, со своим pince-nez на носу, засунув обе руки в карманы жакетки, показался за нею, но, не выступая за грань кабинета, остановился в глубине, откуда с зорким и бесцеремонным любопытством так и вонзился взглядом в красивую барыню, о которой наслышался так много злобных разсказов в обществе своей сестры.

Княгиня подошла прямо к отцовскому креслу:

– Mon père, – принужденно спокойным тоном произнесла она, глядя ему прямо в лицо и будто вовсе не замечая присутствия его собеседницы: – vous vous faites beaucoup de mal. Вы знаете, что доктора строго запретили вам говорить…

Голос его заныл, глаза загорелись негодованием:

– Vous ne voyez donc pas que madame est là! – указал он на Ольгу Елпидифоровну. – Она мне сделала честь, посетив меня, а вы… Я просил, чтобы ко мне не входили, а вы… врываетесь… насильно!..

Княгиня вспыхнула вся и тотчас же закусила губу, чтоб удержаться от слишком резкой отповеди:

– Vous ne pouvez pas, il me semble, mon père, en vouloir à *votre fille*, – подчеркнула она, но с оттенком полнейшей почтительности, – за то, что ваше здоровье заботит нас… Madame, – добавила она, поведя взглядом в сторону Ранцовой, – doit le comprendre aussi, j'espère!

Та не выдержала:

– Вы не ошибаетесь, княгиня, – язвительно пропустила она, – я вас понимаю… Понимаю и то, что иные заботы могут принести больному более вреда, чем самое решительное равнодушие.

Андомская внезапно дернула шеей и уставилась на ненавистную ей женщину сверкающими как у ящерицы зрачками:

– А вы, – прошипела она, – желаете удержать за собой право нанести ему и последний удар!..

Раздирающий, стенящий хрип вырвался из груди ее отца:

– Ah, c'est vous… vous qui me tuez!..

Судорожно простершиеся к ней руки его мгновенно упали, ударившись о ручки кресла, голова бесчувственно заломилась назад…

– Mon père! – взвизгнула отчаянно княгиня, кидаясь к нему…

На этот крик с молодым Наташанцевым впереди хлынуло из кабинета все, что там находилось. Спальня наполнилась людьми, замелькали чьи-то бледные, перепуганные лица, надвигаясь в растерянном переполохе подобных минут тесным и бесполезным стадом ко креслу «умирающего»… Ольга Елпидифоровна вспрянула с места, зашаталась… и упала на чьи-то подхватившие ее вовремя руки…

Она очнулась в туалетной Наташанцева. Она лежала на кушетке с каким-то валиком под головой. На краешке подле нее сидела Варвара Петровна Мосягина со склянкой одеколона, которым только что терла ей виски, и глядела на нее с жалостливым участием…

– Ради Бога, что он! – вскрикнула молодая женщина, еще недоуменно озираясь кругом.

Приятельница ее скорбно сжала брови:

– Пришел в себя… Но обманывать я вас не буду: Штраух здесь и сказал мне, что ему… не протянуть до утра. Болезнь пошла таким быстрым ходом, говорит он, что они ничего не могли против нее… Когда же они что-нибудь могут!..

– О, дайте, дайте мне взглянуть на него! – взмолилась к ней та, подымаясь на ноги.

– Нет, милая, – твердо возразила Варвара Петровна, – я вас не пущу! Я и так насилу могла привести вас в чувство. А он… он сейчас потребовал священника. Дайте ему умереть спокойно,

христианином… примирившись со своими!.. Я вас сейчас отвезу домой.

Ольга Елпидифоровна, не отвечала. Она упала опять головой на валик и так и замерла.

Часть третья

Ветхая мимо идоша и вся быша нова.

I

The right man in the right place.

Силушка в нем живчиком переливается.

Былина о Вольге-богатыре.

Тишь да гладь. Родимая, русская природа с ее тихо волнующимися линиями, с ее не поразительною, но глубоко за сердце захватывающею, задумчивою прелестью… Вечер догорает. Пахнет аиром и дикою мятой. Чуть-чуть переливаясь золотыми струйками, рябит лоно заросшей камышами, запруженной речки, обращенной в пруд. Издали несется глухой стук усердно работающей толчеи. За рекой синеет высокоствольный, густолиственный лес, а над нею, словно тешась и играя, несется легкий пар предвечернего тумана. Болотные птички доверчиво перепархивают стаями, перебегают на длинных ножках по желтому песку прибережья; они будто знают, что им не грозит здесь опасности, что хозяин этих мест бережет их приволье, не дозволяет ни себе, ни другим охотиться на принадлежащих ему берегах…

Вот и сам он сидит с толстым янтарным мундштуком крученой папиросы в зубах, под кровом незатейливой деревянной беседки, устроенной в конце большого тенистого сада, на холмике, выдающемся мысом над самою запрудой. Это уже седой, но очень еще свежий, увеченный, но крепкий человек, с живыми голубыми глазами, глядящими с какою-то нежданною приветливостью из-под низко нависших над ними густых, словно угрожающих бровей. Пустой рукав болтается, пристегнутый к одной из пуговиц левого борта его полотняного летнего *кителя.* Недостающую в нем руку оторвала французская граната на одном из севастопольских бастионов. Это один из уцелевших из того разметанного так еще недавно орлиного гнезда «Черноморцев», о котором в кипени *преобразовательного* водоворота как бы поспешила тотчас же забыть Россия, – капитан I-го ранга, Павел Григорьевич Юшков. Он вышел в отставку вслед за заключением мира с «союзниками» и, поселившись в этих местах в небольшом, но хорошо устроенном женином имении, исправляет в настоящую минуту, до новых выборов, должность уездного предводителя дворянства, за внезапною смертью старика князя Тарханова, кандидатом которого состоял он до тех пор.

Он не один. По другой стороне простого сколоченного из двух досок стола, крашеного зеленою краской с пузырящимися по нем следами небрежного мазка, сидит собеседник его, брат, Василий Григорьевич Юшков.

Вы не забыли его читатель? Мы расстались с ним у смертного одра «неземного» существа, унесшего в иной мир *все*, счастливейшее и горчайшее, что уже на склоне лет, в течение двух-трех недель, дано было испытать ему в жизни… Он долго не мог придти в себя после «ее» кончины, долго не мог справиться с подрывавшею его тоской. «Блеснуло на миг райское видение и – исчезло, – повторял себе немолчно старый идеалист, – исчезло *до нового свидания.* Когда же, когда?..» – не договаривал он, боясь греховным ропотом нарушить в собственной душе то «детское смирение пред Вышним», которого «она» была «чистейшим сосудом» и «животворнейшим образцом»… Так прошло много лет. Он давно успел выслужить пенсию, но

все так же продолжал *смотрительствовать* и преподавать во вверенном ему уездном училище, находя при этой должности наиболее удобств для исполнения воли покойного князя Лариона Васильевича Шастунова, оставившего ему по завещанию, как известно читателю[67], довольно значительную сумму денег «для вспомоществования, по его усмотрению, детям бедных родителей, желающим получить образование». Все помышления старика все время посвящены были с тех пор заботам об «этом павшем ему, недостойному, на долю святом деле», – как выражался он на своем вечно восторженном языке. И сколько он в течение минувших теперь со смерти завещателя двенадцати лет успел отыскать молодых способностей и сил, поставить их на ноги и провести через все ступени ученья, сколько сирых вдов и обнищалых отцов ставили за него свечи пред иконами за «выведенных им в люди» детей своих!..

С возвращением в «родные места» брата, которого он был старше на целые восемь лет и с которым лет двадцать не видался до той минуты, розы как бы опять расцвели на душе Василия Григорьевича. Этот брат, «герой и мученик за отечество», не вытеснил, – нет, но поместился рядом, равноправным хозяином, с «небесным» образом усопшей княжны Лины в этой младенчески-чувствительной душе. Он, как говорится, не мог *надышаться* на этого брата, налюбоваться им, его «бестрепетною» речью, его «отважным» видом и «этим, этим всем, что он *там* делал… Господи, от одного отца, от одной матери – и вдруг *такой* человек!» – шептал он внутри себя, слушая его рассказы и признавая самого себя таким «мелким, жалким, ничтожным» в сравнении с ним, с «Пашей», – с «доблестным командиром *«Памяти Азова»*[68] и 4-го бастиона, имя которого навеки записано *на скрижалях отечественной истории»…*

Он и в эту минуту (он проводил все каникулярное время у брата в деревне) слушал его с замирающим дыханием, со словно оробелыми от восторга глазами, хотя Павел Григорьевич рассказывал ему не про четвертый бастион, ниже про трехдечную громаду, над палубою которой звучал когда-то его властный голос, а про некую даму, «землевладелицу» *его* уезда, приезжавшую к нему нынешним утром с просьбой, удовлетворение которой представлялось ему очень затруднительным.

– «Вы здешний предводитель, – повторял он оживленным, полуозабоченным, полунасмешливым тоном ее слова, – мне не к кому другому обратится здесь. *Она* не принимает никаких писем от меня, не пускает меня к себе. Мать моего мужа! Она мне наконец должна, говорит, возвратить хотя то, что я принесла ее сыну, мои собственные деньги, сто тридцать пять тысяч, которые я за него заплатила, чтобы спасти его от тюрьмы в Париже. Она непроходимая дура, это все знают, но должна же она понимать, что она не может, не смеет пустить меня по миру, что я не позволю ей этого, что мне стоит только захотеть, – и я такой подыму скандал на них с сыном… Ведь он все мои бриллианты, говорит, украл у меня из ящика и отдал своей любовнице, – и если я этого скандала не сделала до сих пор, то единственно из уважения к их имени, которое ношу и я и которое они кинули в грязь!..»

Скорбное выражение разлилось мгновенно по всем чертам старика-смотрителя; он закачал головой:

– В грязь, в грязь, да – такое имя! – каким-то стенящим звуком вырвалось у него из груди.

Павел Григорьевич быстро обернулся на него и, как бы сообразив тотчас, проговорил, участливо глядя ему в лицо:

– Да ведь этот муж ее – родной, стало быть, брат твоей… княжны?

– Брат, – прошептал, уныло потупившись тот, – такой сестры брат и такого человека, как

покойный князь Ларион Васильевич Шастунов, родной племянник… И так опустить себя!

Отставной моряк пыхнул из своего мундштука и невесело усмехнулся:

– Да, брат Василий, на этот счет я даже давно себе замечание сделал: поветрие что ли какое, черт его знает, пошло нынче на большие-то имена наши, только чем знатнее и богаче родится теперь такой молодчик, тем дряннее человеком словно норовит он выйти.

– И что ж хорошего, Паша? – робко заметил Василий Григорьевич. – Им бы, напротив того, пример показывать, вот как прежние настоящие вельможи были…

– Были… да сплыли, – уронил его брат, – видно не надо больше!..

– Государственных-то людей не надо, Паша?

– На что? И верхоглядами обойдемся… Дай срок, свистуны настоящие еще пойдут: к тому идем!..

Он разом переменил разговор:

– Да ведь ты, должно быть, и эту самую княгиню знаешь – молодую? Она, говорят, бывшего вашего исправника здешнего дочь? По виду не скажешь: такая grande dame!.. Разве что уж чересчур бойка и речиста…

– Знаю, милый, знаю, как не знать! И батюшку-то ее покойного знал, в одном городе шесть лет кряду прожили. Без правил безо всяких был человек, а только, поверишь, – эстетик, к прекрасному пламенем горел. Удивительно! Так, могу сказать, загадкой для меня и по сей час остался…

– Ну, а она что, дочь?.. Особа недюжинная, сколько судить могу.

Василий Григорьевич осторожно обвел кругом глазами и заговорил шепотом, как бы боясь, чтобы кто-нибудь не подслушал его слов и не «смутился» бы ими:

– Поистине скажу тебе, молоденькая еще очень она была, как увидал я эту особу у отца ее покойного, а такое с самого первого раза произвела она на меня впечатление: гетера, ну, вот как есть афинская гетера, жрица наслаждения, не способная по натуре своей ни к какому духовному стремлению, олицетворенное отрицание всего божественного на земле…

Моряк усмехнулся.

– Да, она, надо думать, земной-то жизни вкусила всласть; пронзительная барыня по всем статьям – глаза одни чего стоят!.. С первым-то мужем она развелась?

– Как же! А человек какой хороший, благородный!

– Знаю, Ранцов Никанор Ильич, наш помещик, член губернского крестьянского присутствия. Человек отличный, действительно!.. Она ведь это мне все с полною откровенностью рассказывала, – продолжал Павел Григорьевич. – Уморительная барыня! Играла она, видимо, в Петербурге не последнюю роль, ко двору ездила и прочее… И полюбил ее там немолодой уж, но очень большой барин, первый чин придворный, а она его. «Единственный, – уверяет, – человек, которого я любила в жизни!» Вот она из-за любви из-за этой и решилась с мужем развестись, чтобы за того графа выйти. Ранцов все на себя принял – она, надо ей

справедливость отдать, с большим одобрением о нем относится… Только пока у них это дело шло по консисториям по всяким, граф-то ее возьми да и умри от простуды. Тут она, говорит, чуть с ума не сошла, заболела и шесть недель с постели не вставала. И так надо понимать по ее словам, что она в то время готова была опять с мужем сойтись, что ей это даже советовал этот ее граф пред смертью. Только тут к ней подъехал ее теперешний князек беспутный… Ведь мальчишка, сама говорит, намного моложе ее! Я ей прямо: «Как-это вы, говорю, решились за него идти, княгиня?» Даже расплакалась. «Я, – говорит, – всегда была сумасшедшая: он так безумно влюблен был в меня, преследовал, клялся, с пистолетом прибежал раз, грозил застрелится тут же у моих ног»…

– Словам безумным поверила! – закачал головой смотритель.

– Ну, это *она* говорит! – заметил на это брат его с новою улыбкой. – А так полагать надо, что именем да состоянием прельстилась: князь Шастунов, в одном нашем уезде 3,500 душевых наделов, по-нынешнему говоря, а что еще в других губерниях – лестно для такой женщины!.. Только все это оказалось не его, а матери, потому какие даже перешли ему лично имения от отца и от дяди – твоего князя Лариона Васильевича покойного, – так и те она перекупила у него, то есть попросту скупила векселя по наделанным им еще до женитьбы долгам в Петербурге, да и заставила его перевести на нее все свое недвижимое. Баба эта – кулак, известно; только и винить ее нельзя: сынок-то совсем лядащий выходит.

– И с детства не обещал, – тихо вымолвил Василий Григорьевич, – ангел-то мой, Елена Михайловна, душой смущалась, видимо, как только бывало заговорят о нем… А уж про эту мать, про княгиню Аглаю Константиновну, лучше и не говорить. Паша, – воскликнул он, схватившись вдруг обеими руками за голову, – ведь она *ее* в гроб свела, одна она!..

– Знаю, Василий брат, знаю! Только опять же скажу, что в этом деле женитьбы сына надо и в ее положение войти. Сын – мальчишка, мот, едва совершеннолетний, без ее ведома венчается на женщине старее его, *разводке,* сомнительной, сам ты находишь, нравственности – радоваться-то, по правде, нечему!

– Да кто ж про это, кто! – жалобно проговорил старший Юшков.

– Ведь сама же она мне передавала, молодая-то княгиня, – продолжал младший, – он даже на брак дозволения от начальства своего в лейб-гусарском полку не имел. Отпросился в четырехмесячный отпуск за границу, для излечения будто бы болезни, и где-то по пути в деревушке обвенчался с нею, да прямо в Париж, а оттуда в полк просьбу об отставке, а матери: «Поздравьте меня, мол, мамаша, я женат!» Ну, что из этого вышло – сам можешь судить!.. Старуха в азарт вошла неописанный, в Петербург, в III отделение, с письмом на Высочайшее имя… Только из этого ничего не вышло. Не развенчивать же их! Да и притом не достать – в чужих краях, не выдадут… Не прежние времена, – как бы невольно сорвалось с уст отставного черноморца, – когда от одного мания бровей на берегах Невы трепетала вся Европа!.. Мать, само собой, как ты знаешь, пуще озлилась, стала ему с каждою почтой ругательные письма слать, чтоб он немедленно жену кинул и ехал к ней на объяснение, а в противном случае она, мол, его проклянет… Ведь она, кроме того, что кулак, еще глупости непомерной, говорят, женщина?

– Ах, Господи, – весь даже покраснел старик-смотритель, – коза рогатая в кринолине!

– Грош за мною, Василий, – засмеялся моряк, – так и очертил разом!.. Ну, а сын с женой и в ус себе не дуют: все, мол, перемелется, мука будет; единственный сын – рано ли поздно ли все, мол, его будет, да и старухе-то надоест злиться, положит гнев на милость. А пока деньги есть –

он привез с собой, говорит она, просительница моя, тысяч тридцать, 120,000 франков, – повеселиться на это в Париже можно!.. Ну и пошли!.. Коротко сказать, в два года, – женился он на ней весной в позапрошлом 1860 году, а вернулись они в Россию полтора, месяца назад, в мае нынешнего 1862 года, – просадили они там, кроме его денег, и весь ее капитал – эти самые сто тридцать пять тысяч, которые она теперь требует от свекрови, и, как она рассказывает, три четверти этой кучищи денег пошли не на их собственные расходы, а на одну тамошнюю… как бишь называешь ты это *по-древнему,* – «гетера»? Ну, а их по-нынешнему «лоретками» зовут, – подчеркнул, смеясь, Павел Григорьевич, – так он вот на этакую госпожу променял красавицу жену по прошествии, говорит она, едва ли года после их брака.

Старик молча и гадливо глянул в сторону.

– Многое после того может ей прощено быть! – словно сронил он с губ.

– Правильно. Василий!.. И пресмешно рассказывает она, как он ее, жену свою, сначала обманывал, уверял, что он ходит на лекции, – страсть к учению, вишь, обуяла, – какого-то знаменитого профессора слушать… Только она в один прекрасный вечер накрыла его молодца с этим «профессором» женского пола в ложе какого-то небольшого театра, куда сама приехала невзначай со своими знакомыми. Она без церемонии выражается, что он *после этого* «очень подлым себя показал», валялся у нее в ногах, прощения просил, а с тою все-таки не расстался, занимал на удовлетворение ее прихотей тайком от жены деньги направо и налево, так как она ему своего капитала выдать не хотела, – пока, наконец, не явились агенты тащить его в долговую тюрьму. Тогда, говорит, «я все отдала, все до последнего гроша, чтобы спасти его от позора, и от всех этих огорчений схватила горячку и слегла в постель. А он в это время выкрал у меня из ящиков все мои бриллианты и отдал их своей Баруччи, или как там ее звали?..» Послушай, Василий, – воскликнул вдруг черноморец, прерывая себя и сверкнув глазами, – ведь если это все правда, ведь это черт знает, что за мерзавец!

– Я, Паша, даже и понять не могу, как могут доходить до таких низостей люди, – взволнованным голосом сказал на это смотритель, разводя руками. – Она с ним, разумеется, после этого рассталась? – спросил он через миг.

– Вот это, признаюсь тебе, я из ее слов разобрать не мог. Она ли его, он ли ее оставил… дело только в том, что она действительно в очень скверном положении в эту минуту. Как видно, натворил он там того, что и посольство наше должно было, наконец, вмешаться и заставило его оставить Париж. Уехали они, как говорит она, не одновременно – он раньше, она позднее двумя неделями. Приезжает в Петербург и узнает, что ее молодца, по просьбе матери и на основании того, что он, состоя еще в офицерском звании, вступил в брак без дозволения начальства, повелено определить армейским поручиком в какой-то полк оренбургского корпуса и что его, раба Божьего, уже туда отправили «с провожатым»… В мае это, как сказал я тебе, было. Как уехал он, так с тех пор, то есть почти три месяца, она от него не получила ни строчки. Она к матери его письмо за письмом – ответа никакого. А жить нечем. «Никому, говорит, в Петербурге показаться не смею, – стыдно за мужа; знаю опричь того, что меня там все маменьки – пресмешная, говорю тебе, барыня! – поедом едят за то, что я отбила у их дочек это мое сокровище…» Словом, приткнуться некуда, и предпринять что не знает. Характерная притом, балованная, видно, до мозга костей, – «на своем поставить хочу!..» Вот и вздумала она приехать сюда, со свекровью лично объясниться. Остался у нее после отца домишко в нашем уездном городе.

– От моего училища через улицу, как же! – подтвердил Василий Григорьевич.

– Вот она там и поселилась…

– Давно ли?

– Да, говорят, вторая неделя пошла… Как только кое-как там устроилась, наняла экипаж, лошадей и марш прямо в деревню к старухе Шастуновой…

– В Сицкое? – глубоко вздохнул смотритель.

– Да!.. Приезжает. А там решетка кругом двора – так?

– Так точно, Паша, железная ограда и все прочее… Великолепно. Барское имение настоящее!

Моряк качнул головой:

– Значит, как рассказывала, верно. Приезжает она к этой ограде. Глядит – ворота на запоре. Слуга ее стучать, звать… Никто не отзывается. А видит она сквозь решетку, что на крыльце дома люди стоят кучкой, глядят на ее экипаж и с места не трогаются… Унизительно-то как, подумай!.. Она, говорит, так разозлилась, что кричать стала… Наконец вышел к ней из дома дворецкий, итальянец какой-то, которого, говорит, она давно знает…

– Все тот же синьор Витторио, должно быть, – уныло улыбнулся старший Юшков, – знаю его.

– Она ему: «Что ж это меня, – говорит, – не пускают? Мне надо видеть княгиню, госпожу вашу». А тот ей на это: «Извините, – говорит, – их сиятельство не принимают». – «Да знаете ли вы, с кем теперь говорите, – начала было она, – я жена молодого князя, я то-то и то-то…» А тот, рассказывает она, стоит за решеткой точно истукан каменный. – «Не приказано принимать», да и только. – «Меня не принимать, меня, когда я здесь такая же хозяйка, как и сама княгиня! – кричит. – Я этого ничего не знаю, а только против данного мне моею госпожой приказания поступить не могу…» Так с этим и вынуждена была она назад уехать. Можешь себе теперь представить положение!..

– Вот дела-то, Паша, вот дела! – мог только воскликнуть на это совершенно пораженный такими «людскими безобразиями» старик-смотритель.

Женский голос, громко звавший по имени Павла Григорьевича, заставил обоих братьев обернуть голову.

– Тут мы, тут, Вера Фоминишна, что тебе? – откликнулся моряк, узнавая жену в поспешно выходившей к ним из большой аллеи сада невысокой, полной, лет 45 женщине, с добродушным лицом и несколько забавными по выражению заплывшими щелочками глаз, словно готовыми ежеминутно слипнуться сном, между тем как все остальное в ее наружности дышало чрезвычайною подвижностью и оживлением.

– Ну, уж известно, – заговорила она, входя в беседку, запыхавшимся и смеющимся голосом, – как заберутся братцы *по над озеро,* так и до утра их не дождешься!.. А вы посмотрите, какая гостья дорогая к нам пожаловала!

Вслед за Верой Фоминичной, из той же аллеи, с накинутым на одну руку длинным хвостом черной амазонки, с хлыстиком в другой, в маленькой, твердой мужской шляпе на роскошных темно-красноватых волосах, слегка скрипя по песку длинными, породистыми ножками, обутыми в высокие ботинки, выходила стройная и тонкая молодая особа, со строгим выражением правильного лица и неулыбающимися зелеными глазами.

– Княжна Кира Никитична! – вскрикнул хозяин, кидаясь с места ей навстречу и протягивая ей

свою единственную руку. – Добро пожаловать! Верхом по обыкновению?.. Вот уж действительно настоящая наездница! Из Всесвятского прямо изволили примчаться? Что Александра Павловна как, милейшая? Здорова?

– Она хотела ехать к вам вместе со мной. Экипаж уж был готов, да у Васи зубки идут, расплакался вдруг очень, она встревожилась и осталась, а меня отправила… Мы ведь с ней встречать у вас Бориса Васильича собрались, – примолвила через миг и как бы принужденно княжна, – он нам сказал пред отъездом в ***, что на возвратном пути так рассчитает, чтобы попасть к вам сегодня к чаю, а от вас уже домой.

– Ах, да, ведь точно: он сегодня должен быть из нашей губернской резиденции! У меня, признаюсь, из головы было вон… Отшибло!

Вера Фоминична засмеялась:

– Отшибло, батюшка, отшибло! Я ж тебе за обедом говорила, что из Всесвятского лошади под их экипаж пришли и Скоробогатов даже их верховую привел, «на случай, говорит, полковник проехаться вздумает»…

– Ну, забыл, матушка, забыл, виноват! Княжна, присядьте, милости просим! Чем хата богата… Хоть бы на *сем* первобытном седалище, – смеялся он, таща к ней неуклюжий и тяжелый деревянный стул.

– Чай пить, значит, здесь желаете? – спросила Юшкова.

– Само собою!

– Так я сейчас распоряжусь.

Она повернулась и ушла по направлению к дому своею быстрою *с развальцем* походкой.

– Что это у вас отсюда за вид, прелесть! – молвила девушка, оставшись одна с братьями, задумчиво и сосредоточенно устремив глаза в озаренную вечерним сиянием даль.

– *У* вас во Всесвятском не хуже, – заметил снисходительно хозяин, во внутреннем убеждении которого между тем никакая местность в мире не могла сравниться красотой с его *Углами.*

– Гладко слишком, точно сукно на бесконечном биллиарде, – усмехнулась она, – зацепиться не за что взгляду.

– Это точно! – рассмеялся моряк. – Ишь ведь вы какая мастерица на сравнения!

– Вам, княжна, понятно, после гор Швейцарии, – молвил старший Юшков, – не только что здешние, но и самые возвышенные местности в нашем отечестве должны будут показаться плоскостями. А вот для степняка русака, как я, например, в жизнь свою не видавшего ни моря, ни гор…

– А Бог с ними! – как бы вырвалось у княжны.

Старик несколько растерянно глянул на нее.

– Это другая крайность, – чуть-чуть усмехнулась еще раз она, – под конец Швейцария со своею колоссальною природой давила меня как кошмар.

– И отлично сделала, – воскликнул любезно Павел Григорьевич, – потому что заставила вас этим распроститься с нею и вернуться в родные палестины.

– Я вернулась по желанию Сашеньки, – поспешила возразить она, как бы считая почему-то нужным объяснить это обстоятельство, – на нее пред рождением второго ребенка нашло какое-то нервное состояние постоянного страха; ей представлялось все, что она непременно должна умереть, что дети ее останутся без матери… Она звала меня к себе в таких отчаянных выражениях, что я решилась… Оказалось, что все это было последствие ее состояния и что все обошлось самым счастливом образом…

– А долго изволили вы пребывать в странах Запада в последнее время, княжна? – спросил, присаживаясь к девушке, смотритель, которому в его качестве «романтика» эти «страны Запада» представлялись чем-то вроде царства небесного на земле.

Княжна передала ему, что она после смерти матери Александры Петровны Троекуровой, а ее тетки г-жи Лукояновой, у которой она жила в Москве, то есть в начале прошлого 1861 года, уехала за границу и вернулась оттуда во Всесвятское за три месяца назад, в первых числах апреля…

Снятого или неснятого вам молока? – прервала ее вернувшаяся опять в беседку Вера Фоминична в сопровождении прислуги с большим кипящим самоваром, чайником и чашками.

Все присели к столу, оказавшемуся через миг уставленным всею тою молочною роскошью и вкусными домашними печеньями, какими в недавнюю еще старину так умели угощать домовитые русские хозяйки.

– А Гриша что же? – спросил вдруг, вспомнив, хозяин, озираясь кругом. – Он не знает, что у нас дорогая гостья?

– Нет… он скоро вернется, должно быть, – ответила ему жена, подставляя чайник под кран.

– А где он?

– Пошел товарища проводить, что приезжал к нему.

Павел Григорьевич посмотрел на нее с удивлением:

– Какого товарища? Когда?

– Да вот как вы после обеда ушли сюда с Василием Григорьичем, мы с Гришей в столовой остались за кофеем. Вбегает моя Настя: «Какой-то, говорит, господин молодой спрашивают Григория Павлыча, письмо велели им отдать!» Гриша взял письмо, прочел и говорит: «Ах, это наш юрист…» Фамилии я не расслышала, потому что он уж из дверей уходил. И они все время сидели в его комнате.

– Откуда же тот приехал?

– А ты спроси Гришу, я не знаю. Мне только сказала Настя сейчас, что видела его, Гришу, когда он выходил за ворота с каким-то «длинноволосым *бедокурым»*, – подчеркнула смеясь Юшкова, – а за ними парочкой повозка ехала, и что лошади троженковские, из Быкова.

Моряк сжал свои грозные брови:

– Троженков, вот еще сокровище завелось! – пропустил он сквозь зубы, глядя на брата.

Тот покачал головой и сочувственно вздохнул.

Княжна, наклонившись к своему стакану, медленно прихлебывала из него молоко, совершенно безучастная, по-видимому, к этому семейному разговору. Но вслед за передачею хозяйкой примет незнакомого ей товарища ее сына глаза девушки внезапно вскинулись, остановились на ней на миг и снова опустились, холодные и спокойные. Только в чуть заметном трепетании ее прозрачных ноздрей можно было бы прочесть какое-то не то гневное, не то гадливое выражение.

Но вот как бы вдруг еще ниже наклонилась голова ее над столом, и зубы ее чуть-чуть звякнули по ободку стакана, нервно прижатого ею к губам. Чьи-то приближавшиеся мужские шаги веско раздавались по скрипучему песку у самой беседки…

II

Мыслящий русский – самый независимый человек в свете. Что может остановить его: уважение к прошлому? Но что служит исходною точкой новой России, если не отрицание народности и предания?

Герцен. Сборн. посмертн. соч. 1874 г.

– А вот он и сам, желанный! – вскрикнул, быстро поднимаясь с места, хозяин с радостным приветом входившему. – А мы вас все тут ждем… И княжна вот прибыла… Здорово, Борис Васильич, здорово! Счастливо съездили?

– Спасибо, хорошо… Ali right! как говорят англичане, – оживленно отвечал Троекуров, пережав всем руки и садясь подле хозяйки. Он снял дорожную фуражку и взъерошил примятые кольца своих светло-русых волос.

– Дома все благополучно, княжна? – спросил он, с ласковою улыбкой и внимательными глазами глядя на нее через стол, разделявший их места.

Она неторопливо подняла в свою очередь глаза на него:

– Саша прислала меня сказать вам, что она сама хотела быть…

– Да Васенькины зубки помешали, – не дав ей договорить, пояснил со смехом Павел Григорьевич, – молодая маменька, известно!.. Ну что наши губернские деятели? Столковались вы с ними? – спросил он, быстро переходя к предмету, очевидно представлявшему для него большой интерес.

– Виделся со всеми… Дело о крусановских лугах отстоял, – промолвил Борис Васильевич с видимо довольным выражением в тоне.

– Да?.. Впрочем, я и не сомневался. Ведь ясно как день, и вопроса никакого не могло бы быть, если бы не Сергей Михайлович Гундуров в губернском присутствии со своим неизбежным вечно демократизмом!

– Есть тот грех! – подтвердил весело Троекуров. – Кстати, княжна, он просил меня передать вам самый сердечный поклон, а на будущей неделе хотел сам побывать у нас, во Всесвятском.

Она молча повела головой в знак признательности.

Он продолжал:

– Отличный человек этот Гундуров; но у него, знаете, вот как у иных живописцев, которые видят все окружающее не иначе как *желто, зелёно* и так далее, – у него во всяком таком вопросе стоит во главе, a priori, что крестьяне должны быть *непременно* правы, а помещик – *непременно* виноват… Он слишком честен, разумеется, чтобы не отказаться от своего мнения в данном случае, когда ему докажут, что оно ошибочно, но зато это и труда стоит. Я два вечера сряду проспорил с ним по делу этих блиновских крестьян, пока убедил его… Стоит человек на том, что «плантаторы-помещики» только и держат в голове, как бы опять «закрепостить *несчастный»* народ под тою или другою формой…

– Ну, конечно, – молвил моряк Юшков с заметною горечью, – это ведь камертон нынешней музыки: все старое омерзительно, все прежнее ненавистно… Одна мужичья сермяга достойна доверия, нежности и баловства… Мы, «отжившее свой век» дворянство, мы тунеядцы и крамольники, да-с; это ведь про нас говорится во всех петербургских канцеляриях – мы преданные анафеме люди; от нас надо охранять, как от чумы, новопроизведенные в «гражданский ранг» зипун и лапоть, чтобы, не дай Бог, не осквернили мы как-нибудь своим дыханием благонадежный запах его дегтя и навоза!..

Троекуров засмеялся:

– Ведь вот послушать вашего брата, – сказал он, обращаясь к старшему Юшкову, – подумаешь: самый яростный крепостник. А в губернском комитете зубами отстаивал освобождение крестьян с землей, и те же «сермяги», над которыми он теперь так злобно издевается, во всем уезде нашем не иначе его как *«отцом»* зовут.

Павел Григорьевич досадливо дернул плечом:

– Это что, батюшка! Меня и матросы на брамстенге не хаяли, когда я их туда отправлял… Потому будь, во-первых, справедлив; во-первых, пойми ты этот народ, каков он есть, – что он и зверь, и плут, и душа-человек в то же время, – и люби его…

– Во всех этих видах равно? – добавил насмешливо его собеседник.

– Ну, да, – подтвердил серьезным тоном моряк, – потому что ты такой же русский человек, как он, тою же русскою водой крещен, тою же матушкою русскою землей взлелеян и вспоен: потому что корни-то твои с ним общие, что ты его прирожденный руководитель. Он жил века под…

– Под твоим произволом, – добавил за него все тем же насмешливым тоном Троекуров.

Юшков не смутился.

– Да, но и под твоим учительством и под твоими примерами! С этим, взросшим, как и он, на вольном воздухе родной деревни *барином* во главе привык искони наш народ, солдат или моряк, отстаивать русскую землю от врага, полонить его армии, жечь турецкие флоты… Того же *барина,* давно ли, в кутузку, в тюрьмы упрятывали, на каторгу ссылали за «несвоевременные» мечтания об освобождении этого же народа?.. А они там, в Петербурге, одним росчерком пера похерили и вырвали все прежние предания и вековые связи, все старые корни, все воспитательное значение для народа родового поместного дворянства, все, что так необходимо в правильной государственной машине, – установившиеся обычаи, привычки

иерархии и дисциплины…

– «Привычка – душа держав», *вещал* нам великий Пушкин! – тихо проговорил смотритель, неотступно и нежно глядя во все глаза на брата.

– Э, да что тут говорить! – махнул рукой тот. – Им *там* теперь ничего этого не нужно, ни корней, ни преданий, ни сильного государственного организма… как и никакой морской силы им не надо, – вырвалось неудержимо из уст отставного черноморца.

Он оборвал и нахмурился, как бы сожалея об этих словах, обнажавших его сокровенную рану.

Старик-смотритель вскочил с места и с полными слез глазами подбежал к брату, обнял его за шею и прильнул губами к его щеке.

Троекуров с сочувственною улыбкой протянул ему руку в свою очередь:

– Я вечно с вами спорю, Павел Григорьевич, а в сущности, всегда с вами согласен, хотя я, как вам известно, скептик, а вы неисправимый идеалист.

Смотритель обернулся на него теперь весь сияющий:

– Вот это точно, Борис Васильевич, вы заметили – именно, что «идеалист» он прежде всего! Знаете, как в *Дон-Карлосе* великим Шиллером сказано: «Хранить святое уважение к золотым снам своей молодости»…[69]

– Ну, брат, – засмеялся моряк, слегка отстраняя его рукой, – и в жизнь, признаюсь, никакого *Дон-Карлоса* не читал!.. А, Гриша! – перебил он себя внезапно, оборачиваясь на переступавшего в эту минуту через порог беседки сына, – вот он, наконец!

В голосе его зазвучала глубокая, видимо, с трудом сдерживаемая нежность; все лицо его осветилось вдруг как бы изнутри прорвавшимся лучом.

Вошедший молодой человек, судя по его наружности, оправдывал, казалось, эту отцовскую к нему *слабость.*

Свежее, открытое лицо, темные, как у матери, кудрявившиеся волосы при голубых, юшковских, больших выразительных глазах, что-то особенно мягкое в рисунке губ и нежного, едва опушенного подбородка – все это производило очень симпатичное, располагавшее к нему впечатление. Но внимательный наблюдатель мог бы вместе с тем заметить теперь в общем выражении его облика какую-то смущенность и озабоченность.

Он учтиво поклонился гостям…

– Здравствуйте, юноша, – приветствовал его, протягивая ему руку, Троекуров, очень благоволивший к нему.

– Садись подле княжны и старайся быть любезным! – весело сказал ему отец.

Он повиновался молча, еще раз склонив голову пред девушкой.

– К тебе какой-то, говорят, товарищ приезжает?

– Д-да, – как бы нехотя пропустил Гриша, принимая стакан чаю из рук матери.

– Как фамилия?

– Федоров, – отвечал он чуть-чуть дрогнувшим голосом.

Княжна быстро подняла глаза и вопросительно на миг остановила их на нем.

Лицо его внезапно заалело, и он поспешно потянулся рукой за кренделем из большой корзины с печеньями, стоявшей на столе.

Но все это ускользнуло от внимания Павла Григорьевича.

– Что же у него родные какие в наших местах, – спросил он, – или репетитором к кому-нибудь нанялся на каникулы?

– Он не надолго… в Быково приехал, – уже несколько нетерпеливо промолвил Гриша, избегая взгляда отца.

– К Троженкову? – молвил тот, поведя плечом. – Не поздравляю его с таким знакомством!.. Вот-с этакой, например, самоновейший продуктец! – обратился он снова к Борису Васильевичу. – Ведь все это несогласие блиновских крестьян на уставную грамоту из-за курсановских лугов – его дело; и прошение в губернское присутствие он же им писал – достоверно это знаю. И одна вот пока только этакая паршивая овца завелась, а и то ничего не поделаешь… Вы вот говорите: народ мне здешний верит. И действительно, помните, как пришли к нам их выборные в мировой съезд с жалобою на помещика и на «посредственника» – то есть на вас – ну, разъяснил я им, кажется, убедил. Почесали затылки, поохали. «Спасибо», все-таки говорят под конец, «мы, батюшка, Павел Григорьевич, видать, по простоте своей галдели зря; знамо, люди темные: хоша теперича со слов твоих доподлинно знать будем, что от эвтого от самого дела отступиться нам следовает». – Само собой отступиться, говорю, потому что толку никакого из ваших претензий не будет. – «Слушаем, батюшка, инно так и быть, как ты сказываешь». Порешено, значит, кажется?.. Нет, недели не прошло – *ходаков* послали в «губернию» с прошением на нас, на мировой съезд!.. А за это удовольствие Троженков с них выговорил – верно знаю! – по 25 десятин в поле сжать ему, в гумно свезти и вымолотить… Вот-с вам новые землевладельцы – воспитатели народа!

– Да в чем дело-то самое, Паша? Любопытно! – спросил смотритель.

– И ничего любопытного даже! Был тут помещик некий Блинов, человек холостой, пожилой, аккуратный; и деньги у него водились, как всем известно. Крестьян он не прижимал и имение держал в порядке. И земля хорошая в имении, только в лугах всегда недостача была, так что крестьяне искони кортомили траву верст за двенадцать, у графа Деднова. Только выпади этому Блинову счастливый случай купить за бесценок после смерти соседа его одного, Крусанова, от одного из наследников десятин восемьдесят отличного луга по Оке, верстах в трех от своей межи. И как, говорю, человек он был аккуратный и не стяжательный, он, рассчитав процент на истраченный капитал, собрал своих крестьян и говорит: «Ну, вот, братцы, заместо, чтобы вам у чужих брать траву, берите теперь у меня», – и положил им за круг[70] на десять рублей менее против того, что платили они Деднову, а езды-то им туда втрое ближе. «Согласны, говорит, берите, и пользуйтесь, пока моего века хватит!» Крестьяне ему, разумеется, в ноги, благодарить… Так и косили они эти «крусановские», как и по ныне называются они, луга до самой «воли». Весной в прошлом году умирает Блинов. Достается имение его племяннику, тоже Блинову, молодому человеку, военному, – офицер он светский. Приезжает он сюда: первым делом разверстаться скорее с крестьянами, уставную грамоту составить и уехать, потому хозяйничать самому ни времени, ни охоты нет. Имение – вот у Бориса Васильича в

участке. Он к нему: так и так… Борис Васильич выезжает на место, вызывает крестьян, помещика, предлагает соглашение. В имении крестьянская и помещичья земли перепутаны так, что для наделения крестьян к одному месту без промена обойтись нельзя. Блинов согласен на всякие уступки. Чтобы натянуть им до «полного надела», коноплянники свои – и те: берите, мол, развяжемся только! До того сговорчив, что по нарезке крестьянские поля под самую усадьбу его подходят, а ему во владение остается десятин 300 земли самой дрянной и неудобной…

– Это, Паша, очень великодушно! – воскликнул старший Юшков. – Прекрасный человек, должно быть, этот господин Блинов?

– Практический, – усмехнулся его брат, – «господин Блинов» рассудил, и совершенно правильно, что от пахоты в этом своем имении ему ни в каком случае большого дохода ждать нельзя, но что прибыльную статью составят для него эти луга по Оке, за которые, едва он успел сюда приехать, серпуховский купец предлагал ему с первого слова по 80 рублей за круг. Но тут и начинается история. Крестьяне объявляют претензию на эти луга. «Нам, мол, без травы, известно, не жить, мы, мол, всегда пользовались» и т. д. – «Я, говорит им Блинов, какие состоят в плане имения луговины, уступил вам все дочиста в надел; готов предоставить вам косить и в крусановских лугах, как прежде вы там косили, только, само собой, не за прежнюю цену; мне, мол, вот столько-то за эти луга теперь дают; согласны вы будете то же платить, я вам предпочтение отдам…» Но те будто не понимают и начинают ту же песню: «Нам, господин, ваше благородие, известно, коли без травы, значит, не жить, а как мы следственно всегда теми кругами пользовались…» – Не пользовались, а *кортомили* у покойного дяди, в аренду брали; крусановские луга, сами знаете, в план имения не входят и всегда составляли отдельную оброчную статью. Вы же получили надел *полный,* и на остающиеся затем во владении моем угодья никакого права не имеете…» А те свое: «Как покойный господин наш, известно, отдал нам, пока нашего века хватит…» – «Не „вашего“, а *его* века! – доказывает Блинов. – А я, его наследник, вам их не согласен теперь отдать за ту же цену!» – «Воля милости вашей, а как, значит, без луговой земли мы надела принимать не могим и на грамоту не согласны…» Три месяца бился с ними Борис Васильич – ничего поделать не мог!

– Д-да, научился я терпению за это время! – лениво проговорил Троекуров. Он сидел с закинутою на спинку своего деревянного стула головой и с полуприжмуренными глазами в усталой или, вернее, скучающей позе человека, которому то, что он слышит, давно успело надоесть до смерти.

– Необразование все, именно «темный народ». Жалеть его надо! – вздохнул на это смотритель.

– Не скажите! – усмехнулся в ответ Борис Васильвич. – На поверку-то выходит, что они эти луга кортомили у старика Блинова по 40 рублей за круг, косили в них на свою потребу менее половины, а остальные отдавали в аренду по 90 рублей тому же купцу, который теперь предлагает Блинову-наследнику взять у него все крусановские луга по 80 рублей. Афера, как видите, недурная, которой, пожалуй, и не «темный» человек позавидует!

Гриша Юшков, молча и сосредоточенно прислушивавшийся все время к разговору, поднял вдруг голову:

– А если господин Блинов согласится на это предложение, арендатель будет теперь с этих же крестьян даже не по 80, а уже по 100 рублей за тот же круг луга брать!

– Натурально! – ответил хладнокровно Троекуров.

Глаза студента вспыхнули:

– Вы полагаете, что так и следует?

– Ничего не полагаю, а нахожу это совершенно естественным.

– Право собственности, Гриша, – словно подсказывая оробевшему ученику на экзамене, шепнул ему дядя.

Молодой человек видимо готовился возразить, но как бы невольно повел взглядом в сторону отца и проговорил только сквозь зубы:

– Да, я это вижу!

– Что ты видишь? – спросил, спокойно глядя на него, Павел Григорьевич.

Гриша поднял на него свои голубые глаза… Минутное колебание сказалось в его чертах…

– Эксплоатацию бедного богатым, – произнес он, насколько мог, твердым голосом.

Все глаза обернулись на него. Какое-то скорбное ощущение сказалось на миг в чертах его отца, но он все так же спокойно отвечал ему:

– А в противном случае, если бы наследник Блинов оставил по-прежнему крестьян платить по 40 за круг владельцу, а сдавать ее самим тому же купцу по 90, – как бы ты это назвал, – эксплуатацией богатого бедным?

Довод этот как бы смутил молодого человека:

– Уж не знаю, только…

Мягкая, юношеская улыбка словно прорвалась вдруг и осветила на миг все его лицо:

– Ни ты, папа, ни Борис Васильевич ведь этого сами делать не стали бы!

– Очень спорно, но очень лестно! – рассмеялся Троекуров. – Интересно во всяком случае знать, из чего вы это заключаете, молодой человек? Не из того ли, что мы с вашим батюшкой старые «эстетики», как говорится теперь в ваших журналах, не способные быть «реальными» *деятелями* «новой жизни»?

– Нет, – с потускневшим снова взглядом ответил студент, – а потому, что в вас настолько есть честности, чтобы понимать те *реальные* несправедливости нынешнего общественного строя, которые опираются на *писанный закон,* – презрительным тоном промолвил он.

Павел Григорьевич досадливо взъерошил свои густые седоватые волосы:

– Ну «общественный строй» мы пока отложим в сторону… А насчет того, что, по-твоему, мы с Борисом Васильевичем не поступили бы так, как Блинов, то если бы, положим, ты и не ошибся, то, поверь, уж никак не потому, чтобы мы это почитали «несправедливым»…

– А почему же тогда? – быстро возразил Гриша.

– А потому, во-первых, что до Бориса Васильевича, то он, как очень богатый человек, из-за скуки из-за одной препираться с крестьянами о каких-нибудь пятистах рублей лишних за эти

луга, не стал бы подымать на них цену. А во-вторых, потому что у нас с ним… – старый моряк как бы затруднялся выразить свою мысль, – потому что в нас лежит это старое… барское что ли… чувство, которое сразу из себя не вырвешь, неохота руки марать… жидовствовать с мужиком… Но перемена отношений создает и новые понятия, да и расчеты иные. Блинов, дядя, например, не «идеалист» был, а практик, и всю нашу старую помещичью науку твердо знал; ему, само собой, очень хорошо было известно, что крестьяне платят ему половину менее того, что он получил бы с купца за свои луга, но он оставлял их за крестьянами, оставлял им и брать даже выгоду с этого купца, потому что в этом был его хозяйственный расчет, потому что это были *его* крестьяне, его рабочая сила, и что чем эта сила состоятельнее, тем для него, помещика, было это выгоднее. Он терял на аренде дешево доставшихся ему лугов, но эти деньги с лихвой возвращались ему тем, что он мог теперь требовать от крестьянина, чтобы он и лишнюю корову и лишнюю лошадь держал, чтоб он на них корму не жалел и побольше навозу копил, да свое и господское дело аккуратнее и живее испорил. Он своего этим и достигал. Теперь спрашивается: из-за чего стал бы его наследник дарить этим же крестьянам половину дохода с единственной ценной недвижимости, остающейся ему после разверстки с ними угодий? Что это за люди для него теперь? Труд их у него отнят, всякая нравственная с ними связь порвана, всякое влияние его на них тщательно устранено. И он, и они совершенно чужие теперь друг другу люди, все отношения их выражаются грошом: кто у кого дороже запросит и кто кого дешевле наймет… Блинов, племянник, поступает совершенно так, как заставляет его делать новый порядок вещей, созданный в России Положением 19 февраля, и его никак за это упрекнуть нельзя.

– Ну да, – вырвалось на это у Гриши, – по букве все того же писанного закона, по кодексу той же эгоистичной, заедающей буржуазной социологии!..

Что-то желчное скривило губы Павла Григорьевича: он судорожно чиркнул спичкой по столу, приложил огонь к потухшей своей папироске.

– А то как же? – нежданно ответил он. – Своего от корня ничего развить и поставить не сумели, так и учись русский владелец обходиться теперь с крестьянином так, как обходятся *там* между собой *проприэтеры* и *пейзаны*… Чему другому, а этому научимся скоро… как бишь ты называешь? – «буржуазному» *заеданию* что ли…

Троекуров встал с места и слегка потянулся.

– Ну, этого нам не занимать-стать! Из собственных «корней» такое взаимное «заедание» устроим, что, как в этом шарже о двух грызшихся львах, одни хвосты разве останутся… А я все-таки очень рад, – перебил он себя, – что в этой претензии блиновских крестьян губернское присутствие положило наконец решительно отказать им. Введу им теперь обязательно грамоту на основании подлежащей статьи Положения – и делу конец!

Гриша Юшков быстро взглянул на него, как бы желая что-то сказать ему, но не сказал и, наклонившись в сторону соседки своей, княжны, проговорил полушепотом:

– Напрасно это думает Борис Васильевич: крестьяне положили ни за что не отступаться от своего *права.*

– Да-а? – протянула она, словно просыпаясь от сна…

III

Поверь, страданье нужно нам:
Не испытав его, нельзя понять и счастья.

Баратынский.

Кира Кубенская немало изменилась с тех пор, как мы расстались с нею, читатель. «Общественные вопросы», которым отдавала она всю себя тому два года, как бы вовсе перестали занимать ее; она по крайней мере заметно избегала говорить о них. Да и вообще она как будто вся теперь опять ушла в себя, в какой-то внутренний тайник свой, куда не дозволяла проникнуть ничьему нескромному взгляду. Но во внешнем ее обиходе, в отношениях к людям – к лицам, среди которых жила она теперь в этом уголке черноземной России, – не было уже ничего похожего на ту жесткость и раздражительность, с которыми обращалась она, бывало, со своими и чужими в Москве, в Арбатском доме Марьи Яковлевны Лукояновой. Княжна смирилась – или казалась смирившеюся – казалась прежде всего самой себе… Многое действительно изменилось в ней, много для нее успело смолкнуть прежних, увлекающих, но обманчивых песен… Иные птицы заводили теперь свои коленца в ее как бы вдруг размягчившейся душе, и она с каким-то ужасом прислушивалась к их подбирающимся, к их подкупающим голосам… О счастье, о *личном счастье* все настойчивее пели они ей – ей, сектантке, фанатичке «общего блага», которому – давно ли? – мечтала она пожертвовать «всю жизнь»… Что же то, «старое», – ужели совсем отлюбила она его – тревожно спрашивала она себя подчас и не находила ответа. От этого «старого» чувствовала она в душе лишь какую-то ужасную усталость… После своих дворских недочетов она, как мы знаем, уехала по совету Троекурова в Москву, к изнемогавшей от беспощадной болезни тетке, которой внезапный приезд ее принес нежданное и глубокое утешение. Марья Яковлевна изнывала от тоски в разлуке с дочерью и вместе с тем упорно отказывалась ехать к ней или вызвать ее к себе в Москву, боясь «жалким видом своим» гибельно повлиять на ее роды. Она скрывала свое положение от Сашеньки, обманывала ее веселыми письмами, когда смерть уже стучалась в ее двери. В вернувшейся к ней «каким-то чудом» племяннице она увидала ангела, ниспосланного милосердным Небом для того, «чтобы родная рука закрыла ей глаза», и страстно привязалась к ней вдруг, на пороге могилы. Кира широко в свою очередь отозвалась на это чувство. В продолжение трех месяцев она не отходила от кресла или изголовья больной, ободряла ее в невыносимые часы страдания, развлекала в минуты удручавших ее мрачных мыслей. И, странное дело, сама она как бы развлекалась и отрешалась от томившей ее внутренней тоски в этих нехитростных, не забирающихся в область «общего», простых, практических заботах о «страждущем ближнем». Заботы эти разделяла с нею старая знакомая наша, маленькая Лизавета Ивановна Сретенская, не отходившая теперь, как и она, от постели «благодетельницы», и княжна внимательно приглядывалась теперь к ней, прислушивалась к ее обыденным, незатейливым речам, стараясь угадать тайну того неотразимого обаяния, которое (она почувствовала это только теперь, только теперь начинала объяснять себе приязнь Сашеньки к этой «поповне») исходило вместе с тем какими-то проницающими лучами из этого робкого, болезненного и недалекого существа… Однажды поздним вечером, утомленная и нервная, княжна вышла из покоя заснувшей после припадка тетки и, пройдя в соседнюю комнату, служившую ей самой спальнею, уселась за стол и взяла лежавшую на нем книгу. Это был кем-то принесенный ей томик недавно изданных стихотворений Хомякова. Она развернула его наугад…

«Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь: „Встань“! душе моей:
И мертвая из гроба встанет,
И выйдет в свет своих лучей!»[71]

– прочла она. И вдруг книга выпала из ее рук, и нежданные, необъяснимые для нее слезы полились неудержимым потоком из ее глаз. И в то же самое время чья-то легкая, едва чувствуемая рука обняла ее шею, и детски-тихий голос прошептал ей на ухо: «Плачьте, *ангел*

мой, плачьте: слезы – Божья роса, от них цветики алые на душе расцветают»… И в первый раз в жизни не устыдилась она слез своих, не устыдилась *свидетельницы* этих «необъяснимых» слез.

Но «цветикам алым» еще не дано было расцвесть в душе ее: «мертвая зыбь», по выражению моряков, не успела еще улечься в ней. Княжна Кира могла наложить на себя добровольно железные вериги послушания и вкушать от этого подвига тайную и горделивую отраду, но не в силах была она обрести этим ту голубиную ясность и радость отречения, которыми так подкупала ее эта случайная ее подруга у ложа умирающей. Счеты ее с прошлым не были еще окончательно сведены; с каким-то внутренним содроганием сознавала она, что рано или поздно ее потянет опять «туда», в жизнь – in'a feindliche Leben, как сказал поэт.

По смерти Марьи Яковлевны она, все в той же роли утешительницы, поехала во Всесвятское к Александре Павловне Троекуровой. Молодая женщина, только что оправившаяся после довольно трудных родов, приняла ее с теми же чувствами страстной благодарности, с какою приветствовала приезд княжны из Петербурга ее покойная мать, и умоляла ее поселиться у них, в их «гнездышке», как называла она свою роскошную и веселую усадьбу. «Проси и ты! – говорила она мужу. – Она тебя, может быть, больше послушает».

– Не стану, – сказал просто Троекуров, – княжна должна знать, что она здесь у *себя,* – подчеркнул он, – захочет – останется, не захочет – уедет…

Кира сочла лучшим уехать…

У нее были старые друзья, бездетные муж и жена, возвращенные из Сибири в числе других политических ссыльных вслед за амнистией, данною на заре нового царствования. Она поселилась с ними в Женеве, откуда по временам совершались ими экскурсии в Италию или на воды, на берега Рейна… Там однажды в одном русском семействе, с которым она случайно познакомилась, встретила она человека, имя и дела которого служили в то время в Германии – да и не в ней одной – предметом восторженных сочувствий и яростных недоброхотств. Звали его – Фердинанд Лассаль. Княжна знала о нем по газетным полемикам и по одной из брошюр его, заинтересовавших ее своим содержанием. Она касалась того самого мотива, которому она, – «так ребячески», сознавалась она теперь внутренне, – думала служить в своем фрейлинском звании в петербургском дворце. «Это гениальный человек», – говорили ей в том знакомом ей русском доме, – говорила в этой семье девушка, умевшая, как оказывалось, внушить этому человеку «всепожирающий пламень»[72], – «это самоотверженный, сильный, великий борец за народ, за неимущего, за обездоленного пролетария»!.. Замолкшие струны зазвенели еще раз в душе Киры. Она провела три вечера сряду с «великим борцом», жадно слушая его и добираясь до самых мелких подробностей излагаемых им теорий. Он был польщен ее вниманием и, видимо, старался показаться ей с самой блестящей своей стороны. Он был замечательный диалектик, говорил горячо, смело, *пафосно,* если можно так выразиться: держался *высокого слога,* ухищренных метафор и превыспренных оборотов, с употреблением при этом тех *чувствительных* выражений, которыми изобилует немецкая речь и почти всегда оскорбляется русское ухо… Чем долее и внимательнее слушала его княжна, тем холоднее, чувствовала она, становилось у нее на душе. Страстность – *показная, ударная* страстность его изложения не будила в ней ничего подобного тому *подымающему* чувству, с которым внимала она когда-то простым речам Гундурова и его единомышленников… Прежде всего этот человек возбуждал в ней какое-то физиологически неприятное ощущение (она с неудовольствием даже подметила в себе в первый раз этот оттенок). Ее арийская и аристократическая кровь как-то инстинктивно возмущалась непомерною самоуверенностью этого семита, плебейским тщеславием, словно «прыскавшим» из каждого его сустава. Из-за каждого его слова сквозило для княжны назойливое требование признания этой его

«гениальности», в которой более всех уверен был он… а слова его между тем не расшевеливали в ней никакого ответного чувства. В его планах общественного переустройства, сказывалось ей, не лежало «высшего духа», – все основывалось на какой-то чисто экономической растасовке человеческих существований. «Все это, может быть, так и нужно *здесь, у* вас – но у нас, нет, нет, спаси нас Боже от такого *материального* и атеистического будущего!» – выговорила она ему прямо. Собеседник ее засмеялся и возразил ей, что Россия своим общественным устройством гораздо еще более подготовлена воспринять его учение, чем Германия со своими «еще упрямыми феодальными устоями», – и тут же, переходя опять к своим планам и чаяниям решительной победы над врагами, заключил звенящим от внутреннего торжества голосом, пожирая огненными черными глазами русскую девушку, в доме которой происходил этот разговор: «И близко уже то время, когда женщина, которая сумеет полюбить меня всеми силами своего существования, тою непреодолимою, *гигантскою* любовью, что единственно может удовлетворить такого человека, как я, – когда эта женщина въедет рядом со мной в золотой карете, влекомой шестью белыми лошадьми, в Бранденбургские ворота Берлина при кликах восторженного привета шестисот тысяч голосов»[73]… Он еще не договорил, как княжна встала, поклонилась и вышла.

Невыгодное впечатление, вынесенное ею из этой встречи, повлияло – недаром заговорила в ней в первый раз *женщина* — на весь ее внутренний мир. Ее как бы вдруг теперь откинуло совсем от того, что так долго составляло почти исключительный предмет ее помыслов. Вернувшись в Швейцарию, она положила не читать газет и «вообще не заниматься современностью», удовлетворяя своей любознательности книгами исторического, а также духовного содержания, на которые указывал ей один очень умный француз, прелат, часто наезжавший в Женеву из соседнего Лиона для каких-то дел тамошней католической паствы, и с которым она случайно познакомилась.

Так текли ее дни, так прошло полтора года. Люди, с которыми жила она, были пожилые, усмиренные и *ясные* люди… Если не ясно, то тихо было и на душе Киры. Она сама с тайною иронией сравнивала себя иной раз с горным потоком, вылившимся на гладь «ровной до приторности» долины. Но вглубь этих недвижных теперь вод она как бы боялась заглядывать. Под зеркалом их, помимо ее воли, глухо клокотало и выносилось какое-то незримое течение. Куда?.. Она упорно избегала отвечать себе на это…

Ей суждено было похоронить там, на чужбине, своих старых друзей. И муж, и жена угасли в недолгом друг от друга течении времени. И снова, и еще мучительнее, чем прежде, заныло в сердце княжны сознание сиротства и бесцельности ее жизни…

Мы уже знаем, силой каких доводов успела Александра Павловна Троекурова убедить ее вернуться в Россию, к ней, во Всесвятское. По получении письма, в котором двоюродная ее сестра преднамеренно преувеличивала опасение за исход вторых своих родов, Кира целый день провела в сильном волнении. В ней происходила какая-то тяжелая борьба между тем, что представлялось ей «нравственным ее долгом», и чем-то другим – обаятельным… и страшным. «Что же, *уйти* всегда в моей власти», – решила она в заключение, расширяя свои прозрачные ноздри с тем гордым выражением кровной арабской лошади, которое составляло отличительный смысл всей ее наружности, и уехала на другой же день.

И вот мы встречаем ее в настоящую минуту здесь, у Юшковых, недалеких соседей и близких друзей хозяев Всесвятского, где гостит она уже третий месяц. Мы видели, что она прибыла сюда, в Углы, «по поручению Сашеньки», сказать ее мужу, что та сама собиралась встретить его, но не решилась «из-за зубков Васеньки»… Она затем осталась тут чай пить, безмолвно и недвижно прислушиваясь к переданным нами читателю разговорам. Что думала она в это время – свою ли особую думу или о том, что составляло мотив этих разговоров, – мы не знаем,

но то, что нежданно прошептал ей сейчас молодой Юшков о блиновских крестьянах, как бы внезапно пробудило ее.

– Да? – повторила она. – Вы почем знаете?

Гриша покраснел еще раз.

– Я знаю! – коротко промолвил он, не глядя на нее. А Троекуров, как бы вспомнив, говорил в это время его отцу.

– Никанор Ильич Ранцов, само собой, оказал мне в губернском присутствии полное содействие по этому делу.

– Еще бы! Почвенник, а не теоретик, – засмеялся Павел Григорьевич. – Ах, батюшка, – вспомнил и он, – ведь у меня сегодня была его экс-супруга, молодая княгиня Шастунова!..

– Она здесь? – спросил Борис Васильевич, слегка прижмуриваясь.

– Здесь, и чего ведь требуют от меня!..

Он передал ему то, что уже известно читателю.

– Что же, скажите на милость, – говорил он, – могу я тут как предводитель? Претензия ее о возвращении ей свекровью ее капитала, растраченного мужем, подлежит судебному разбирательству – и та может мне просто указать дверь, если я явлюсь к ней с этим… Поехать я все-таки поеду, потому что обещал, – прибавил он тут же, – но уж, право, не знаю, с какой стороны к ней приступить.

– А вы напугайте ее, – предложил смеясь Борис Васильевич, – скажите ей, что если она не покончит миролюбиво с невесткой, вы увидите себя в необходимости, как естественный защитник дворянства своего уезда, довести об этом чрез губернатора до Высочайшего сведения.

– Попробую, – ответил с таким же смехом Юшков, – но и без вас не обойдется, предваряю. Красавица объявила мне, что давно знакома с Александрой Павловной и с вами и непременно у вас будет.

– Сашенька получила от нее записку сегодня, – молвила княжна, зорко вдруг устремив глаза свои на Троекурова, – в которой она говорит, что хочет приехать к ней завтра во Всесвятское.

Он неопределенно поглядел на говорившую, потянул ус и закусил губу.

– Однако поздно, пора домой, жена беспокоиться будет, – быстро проговорил он через мгновение…

И, обращаясь к Кире с шутливою церемонностью:

– Я к вашим услугам, княжна! Как прикажете: в экипаже или верхом? Скоробогатов, я видел, распорядился и тем и другим.

– Я на моей *Мисс,* как приехала, – коротко ответила она.

– И прекрасно! Я очень рад буду расправить на коне ноги после экипажа. Так едемте!

– А ночь-то вам какая дивная выдалась для проездки! – сказал Павел Григорьевич, подымаясь с женой провожать их.

– Божественная! – подтвердил брат его, устремляя на выкатившийся из-за леса полный месяц свои вечно-юные голубые глаза, и тут же процитировал из Козлова:

Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной…

– Гриша, приезжайте в воскресенье к нам, – молвил по пути студенту Троекуров, – на бекасов поедем.

– В воскресенье? – повторил тот как бы смущенным голосом. – Не могу, Борис Васильич…

– Почему так?

– Я обещал… в другое место, – проговорил он торопливо, пропуская Троекурова вперед, видимо с тем, чтобы более не говорить об этом…

Юшковы довели гостей через сад ко двору, где ждали их лошади. Павел Григорьевич со своею несколько старой светскою галантерейностью пожелал непременно подставить княжне ладонь, опершись на которую одною ногой она другою легко и быстро вскочила на седло и, ласково кивнув хозяевам, подобрала поводья и тронулась крупною рысью с места, не дожидаясь Троекурова. Он догнал ее, когда она уже давно выехала из ворот усадьбы и спускалась к *гати,* придерживая свою *Мисс,* вздрагивавшую ушами и беспокойно косившуюся на огромные мельничные колеса, шумно и пенисто вертевшиеся с левой стороны ее, все облитые серебром лунного сияния.

За ними шагом выехал со двора английский двухместный шарабан, запряженный парой кровных вороных в шорах, *доставленный* в Углы вместе с верховою лошадью Бориса Васильевича все тем же отставным кавказским служивым Скоробогатовым, состоявшим теперь у своего «полковника» в звании главного конюха. Крещеный татарин, он был знаток и страстный охотник лошадей и берег их пуще глаза. Сидя на заднем, жокейском месте экипажа, он зорко оглядывал дорогу своими узкими и живыми глазками и ласково улюлюкивал своих «арабчиков», норовя держаться позади «полковника и барышни» на таком расстоянии, «чтобы только голос *ихний* услыхать в каком случае»…

IV

Königin…
O, das Leben ist doch schön!

Schiller. Don-Carlos.

А ночь в самом деле прелесть! – сказал Троекуров, выезжая уже рядом с Кирой в чистое поле.

– Да, – ответила она не сейчас.

Он помолчал.

– Вы здоровы, княжна?

– Здорова, – вдруг встрепенулась она. – Почему вы спрашиваете?.. Я всегда здорова, – промолвила она, как бы отвечая чему-то особенному, задетому в ней его вопросом.

– И чудесно! А то мне показалось…

– Что?

– Что вам, как говорится, *не по себе* сегодня… Вы просто, я вижу, устали от нашей там болтовни с Павлом Григорьевичем.

– Н-нет, я слушала… И отчего вы называете это болтовней? – спросила она через миг.

– У нас ведь все болтовня, княжна, – словно уронил он.

– Да, конечно, – проронила она в свою очередь, – вы объявили себя сейчас скептиком…

– И не прав я разве? Разве из того потока слов, который изливается в настоящее время в России и устно, и печатно, выходит какой-нибудь прок?

– Вышло, однако, то дело, – с живостью возразила она, – которому вы служите теперь…

– Вы полагаете?.. А какому это делу, в сущности, «служим» мы, – перебил он себя, – можете ли вы определить?

– Делу *справедливости,* во всяком уже случае, – подчеркнула Кира.

– Положим так. Но ведь это опять-таки *слова.* Думаете ли вы, что мы этою «справедливостью» дадим счастье тем, о ком мы теперь хлопочем, что их жизнь от этого расцветет розами и лилиями?

– Воспитайте их, образуйте!

Троекуров усмехнулся не то пренебрежительною, не то унылою усмешкой.

– По нашему собственному образцу и подобию, не правда ли? Отнять у этого народа последнее, что есть в нем самобытного и здорового, и наградить его вместо этого нашим безличьем?.. Одолжили бы!..

– Но что же тогда? – молвила раздумчиво княжна, бессознательно укорачивая поводья своей лошади. – Чему же верить, Борис Васильевич?

– Чему?.. А вот этой вечной красоте земли и неба! – вырвалось у него нежданным порывом, и он быстрым движением поднявшейся руки указал на утопавшую в лунном свете окрестность…

– В такие ночи, – заговорил он через миг, – мне всегда вспоминаются Кавказ и тамошняя природа…

– Вы жалеете о них?

– Случается… Человек ведь так уж создан, что он непременно о чем-нибудь жалеет, даже о тюрьме, как Шильонский узник… Действительно, там были дни лютой скуки, но минуты какие зато!.. Там *краски,* там Поэзия *неожиданности.*

– «Краски», да; вы, кажется, прежде всего требуете *этого* от жизни? – негромко промолвила

княжна.

– Само собой!.. И как мало уж их остается в мире, как исчезают они повсюду с каждым днем! – произнес Троекуров со вздохом. – Через сто лет – думали ли вы об этом когда-нибудь? – в какую мерзость превратится наш мир!.. Вот вы сейчас интересовались будущим. Представьте же себе: весь земной шар – одна огромная мастерская; все племена и роды – в одних и тех же пиджаках и цилиндрах на голове; природа – черная и зловонная от дыма и гари паровых машин, и банкирский гросбух, заменяющий все верования, все законы и всю литературу человеческую… Ни страстей, ни поэзии, ни искусства – один муравей – как все, и все – как один! Красиво?.. А ведь к этому неотвратимо, fatalement, ведет то, что называют «общечеловеческим прогрессом»… По мне, в каторге, в рудниках теперь лучше, чем в этом будущем раю на земле!

Горячка этой выходки вырвала улыбку невольного сочувствия к ней на уста Киры.

– Вы, однако, согласитесь, – сочла она тем не менее нужным возразить, – что этот «прогресс», если он и стирает, как вы говорите, в жизни людей *краски*, которые вы так любите, то зато и ведет к улучшению судьбы каждого и всех, к распределению между всеми равной доли земного счастия.

– Отрицаю самым решительным образом! – воскликнул Троекуров. – Теория всеобщего счастья *на земле* такой же пуф, как и знаменитая формула общего равенства. Никакая религия, начиная с Евангелия, ни история, ни самая физиология не оправдывают этой претензии. Здоровый, сильный, умный всегда будет счастливее больного, хилого, тупого и поработит его в той или другой форме… Если бы можно было даже для блага слабых уничтожить всех сильных, то и тогда цель не была бы достигнута, потому что и тут остались бы градации, – кривой все-таки стал бы царем над слепыми… Что бы люди ни делали, чего бы ни придумывали, – в мире до конца веков будут *наделенные* и *обездоленные,* владыки и рабы, радующиеся и плачущие, и благо одних все так же, как и теперь, будет состоять в прямой зависимости от страдания других.

– Но это ужасно! – воскликнула княжна. – У вас какой-то беспощадный фатализм. Борис Васильич…

– Не спорю, – сказал он с легким пожатием плеч. – Всякий фатализм, между прочим, – произнес он как бы вскользь, – предполагает за собою веру в некий, непонятный нам, но непреложный высший закон, которому человек волей-неволей принужден повиноваться… Если тому инстинктивному требованию лучшей доли, счастья, которое прирождено самой натуре человека, мы будем искать удовлетворения единственно здесь, в пределах *этой* жизни, – то выходит действительно, как вы говорите, «ужасно», – какое-то бессмысленное стукание лбом о непрошибаемую стенку…

Он примолк вдруг, как бы утомясь этим рассуждением, но через миг продолжал усмехаясь:

– А потому извините, княжна: если никакие человеческие усилия не в состоянии искоренить на земле несправедливость, насилие, «эксплоатацию слабого сильным», как проповедует Гриша Юшков, то уж позвольте мне прямо предпочитать те порядки, при которых все это является, на мой взгляд, живописнее и красивее… Красота – великая сила! Она облагораживает и самое зло, и отношение людей к нему. Кровожадный кабардинец-хищник, но гордец и аристократ до конца ногтей – поглядели бы вы на него в его художественных лохмотьях! – и какой-нибудь прилизанный бухгалтер в белом галстуке, удирающий в Америку с кассой своего патрона, – сравните, кто из них более оскорбляет в вас человеческое чувство?.. Нет, княжна, лучше самые

свирепые, но *живописные* по крайней мере времена – времена Нерона, Цезаря Борджиа, какого-нибудь Али-Паши Янинского, – чем то, что ждет людей в ближайшем будущем, чем царство жида над обезличенным человеческим муравейником!

– Так, по-вашему, красота, эта великая «сила», все, или очень многое по крайней мере, должна извинять в людях?.. И в княгине Шастуновой, бывшей Ранцовой – тоже, Борис Васильич? – нежданно проговорила Кира.

Он был так поражен этим вопросом, что чуть не выпустил поводьев из рук. Горячий карабахский конь его фыркнул, взвился и шарахнулся в сторону, испуганный длинными тенями леса, в который въезжали они.

Троекуров осадил его, повернул на дорогу и, оправившись сам от неожиданности, спросил с искусственным смехом:

– Признаюсь, не ожидал! Что это вам вздумалось заговорить об… этой женщине?

– Мы много говорили о ней сегодня с Сашенькой, – ответила в некотором размышлении княжна.

– По поводу ее записки?.. Alexandrine желала бы отклонить это посещение?

– Да!

– Я сам очень не рад этому, – промолвил он сквозь зубы.

Но она слышала:

– Вы тоже! В самом деле?

– Вас удивляет? – невольно сказал он.

Она помолчала опять…

– Вы из-за нее дрались на дуэли, сосланы были в армию? – вырвалось у нее вдруг.

– Кто вам сказал? – вырвалось машинально и у него.

– Сережа Лукоянов; у них в полку старшие офицеры это помнят… Он мне еще в Петербурге рассказывал.

– И вы об этом говорили с Alexandrine? – спросил он, морщась.

– Д-да… Она очень…

– Что?

– Она… боится этой женщины…

– Ревнует? Какой вздор! – вскликнул Троекуров.

Княжна, еще раз замедляя ходкий шаг своей *Мисс,* обернулась к нему с седла:

– Разве… скажите откровенно, Борис Васильевич, – молвила она с каким-то неудавшимся

намерением шутливости в тоне, – разве можно так *совсем,* – подчеркнула она, – выгнать из памяти… из души то, что человек чувствовал так сильно прежде, из-за чего, вот как вы, он рисковал своею жизнью?..

– Другими словами: может ли человек разлюбить *начисто?..* Это зависит…

– От чего?

– О, Боже мой, сколько на это причин! – засмеялся он. – Прежде всего время, разлука…

Кира повела головой как бы бессознательно отрицательным движением.

– Иногда разочарование и раскаяние…

Она вся выпрямилась на своей лошади:

– Раскаяние! В чем? В том, что любил?

– В том, *кого* любил, – поправил он.

– Зачем же любить… недостойное?

– А! Зачем? Этот вопрос, княжна, не разрешил еще ни один философ в этом мире. Любишь, вы знаете, wie der Vogel singt, *потому что,* – и все тут!..

– И потом в один прекрасный день – прочь, не нужно! – с видимою горечью выговорила она. – Так могут любить одни мужчины!

Он засмеялся еще раз:

– А женщины?

– Почем я знаю! – отрезала она вдруг и замолкла.

Они ехали так некоторое время, и лишь звон подков и храп их лошадей раздавались в гулком воздухе леса, через который шел их путь. Они то въезжали в густую темь, осторожно наклоняя головы под низко опустившимися ветвями, то выбирались на *редину,* сквозь широкие прогалины которой месяц обливал их своим палевым мерцанием. Троекуров с художественным удовольствием следил за этою переменною игрой теней и света, в которой то исчезал, то как бы выплывал опять тонкий, стройный облик его спутницы над темно-гнедым туловищем ее лошади, с надвинутою на лоб шляпой и сосредоточенным выражением изящного лица… «Ей удивительно пристал верховой костюм, – говорил он себе, – и сидит как красиво… Породистая она вся такая!..»

– Княжна, – заговорил он, словно кто толкнул его.

– Что? – спросила она как бы неохотно.

– Скажите мне, пожалуйста, как вам нравится Гундуров?

Она в свою очередь теперь поражена была нежданностью вопроса.

– На что это вам? – проронила она будто с беспокойством.

– Я вам скажу, но вы должны обещать мне не передавать этого Alexandrine, потому что я хочу выдать вам ее секрет.

– Обещаю. Говорите!

– Она, надо вам сказать, положила в голове своей, что Гундуров тот именно идеальный муж, о котором она давно мечтает для вас…

– И вы тоже? – прервала она его ироническим вопросом.

– Я? – сказал он, несколько озадаченный. – Я не имею мнения на этот счет.

– Насчет чего?

– Насчет «идеальности»…

– Кого? Гундурова?

– Ни чьей вообще. Идеальных людей вообще нет на свете – и слава Богу… А муж он *подходящий,* как говорится, бесспорно!

– Вы находите?

– Совершенно!

– И вы советовали бы мне выйти за него? – проговорила с расстановкой Кира. – Вы бы советовали это мне, – повторила она, – если б это была не одна фантазия Сашеньки, если бы Сергей Михайлович вздумал в самом деле просить моей руки?

Ему вдруг стало как-то непонятно жутко. Но он пересилил себя.

– Это, очень может быть, не одна «фантазия» Alexandrine, – сказал он, избегая отвечать на сущность ее вопроса, – Гундуров говорил мне не далее как вчера о вас в таких сочувственных выражениях, с такою *нежностью,* – относительно, разумеется; он, вы знаете, не расточителен на слова, – что я убежден, если вы только немножко его поощрите, он ваш навеки! – договорил чуть-чуть насмешливо Троекуров.

– И мне, по-вашему, следует «поощрить»? – спросила опять Кира не то печально, не то тревожно.

Он дернул нервно узду своего коня:

– Почему же нет, княжна, почему же нет! – произнес он с несвойственною ему торопливостью.

– А почему да? – медленно вымолвила она.

– Потому что, говоря положительно, он честный и чистый во всех отношениях человек, обеспеченный, равный вам по рождению и образованию… потому еще, что ко всему этому, – примолвил он, как бы вспомнив, – вы разделяете, сколько мне известно, все его убеждения.

– Убеждения! – повторила княжна упавшим голосом, поразившим его в устах *ее* необычайною *женственностью* своего оттенка. – Понимаю ли я даже теперь, что такое «убеждение»!.. Ведь вот сейчас, когда вы излагали такие безотрадные мысли, я не сумела… не нашла ничего вам ответить…

Глаза ее мгновенно блеснули каким-то фосфорическим блеском…

– Что же, в самом деле, Борис Васильевич, – стремительно проговорила она, – неужели ничего не остается, кроме «этой вечной красоты земли и неба?..»

Что-то словно покоряющееся, сдающееся сказалось ему в этих словах, в выражении этого устремившегося на него с лихорадочным ожиданием взгляда… Давно забытым, молодым, захватывающим ощущением забилось вдруг сердце у Троекурова…

– Кира Никитична, – начал он… и оборвал, пристально уставившись глазами вперед.

Прямо пред ними, шагах в двадцати, на узком пространстве пролегавшей меж молодою порослью дороги стояла только что выступившая из-за кустов мужская фигура в какой-то вызывающей, чтобы не сказать угрожающей позе, в надвинутой на самые глаза широкополой шляпе и с толстой палкой в руке, отставленной в бок во всю ее длину.

– Эй, кто ты, прочь с дороги! – крикнул повелительным голосом Троекуров, выезжая на лошадиную голову вперед княжны.

Фигура не двигалась.

Он дал шенкель и прямо поскакал на нее.

Неизвестный прянул в сторону и исчез в ближайших кустах.

И в то же время раздался голос догонявшей Троекурова Киры:

– Борис Васильевич, оставьте!.. Я знаю, кто это, – скороговоркой промолвила она, выравниваясь с ним, – едемте!

И она пустила лошадь свою крупною рысью.

Он недоумело, со сжатыми от неостывшей досады бровями, понесся за нею. Они проехали так молча и рядом с полверсты.

Кира перевела *Мисс* на тихий шаг и, не оборачиваясь на своего спутника:

– Это Иринарх Овцын, – сказала она.

– Иринарх! – воскликнул с глубоким изумлением Троекуров. – Он здесь?..

– Да, и я боюсь – для каких-то нехороших дел, – поспешно заговорила она, – вы слышали у Юшковых, отец спрашивал Гришу, кто такой товарищ, который приезжал к нему от Троженкова, и тот назвал фамилию «Федоров»… Это неправда, это был он, Иринарх, я знаю!

– Да, я заметил, Гриша при этом казался сконфуженным… И вздор тот опять, который он нес после… Неужели этот негодяй успел сбить с толку нашего бедного юношу!.. Но как *вы* все это знаете, княжна, откуда?..

– Я получила от него иисьмо.

– Письмо! Что ему от вас надо? – запальчиво спросил и тут же, сдерживаясь, закусил губу Троекуров.

– Он мне писал еще в Женеву из Лондона, узнав от кого-то, что я там живу, насчет тех бумаг, которые он у меня оставил пред отъездом своим из Петербурга. Я ему тогда же ответила, что принуждена была их сжечь по такой-то причине… Вы помните, вы в самый этот день приехали ко мне во дворец вслед почти за графом Анисьевым… Но он не поверил мне или… искал случая видеть меня, – сдержанное неудовольствие послышалось в тоне княжны, – только он мне на это отвечал, что сообщение мое не удовлетворяет его и что он будет ко мне в Женеву для личных объяснений. Я этого никак не желала и, чтобы не писать, скорее телеграфировала ему в Лондон, что в письме моем заключалось все, что ему требуется знать о его бумагах, а потому я ни малейшей надобности не вижу объясняться с ним еще на словах. Чрез несколько времени, однако, явился ко мне какой-то его товарищ с новым письмом от него; я письма не приняла, но посланному передала подробно весь эпизод мой с графом Анисьевым. Тот выслушал, простился и ушел. Этим кончилось, и я за границей уже более не слышала об Овцыне… Только вчера вечером Анфиса говорит мне вдруг, очень взволнованная, что один знакомый ей по Москве человек, служащий у помещика Троженкова, принес на мое имя письмо от какого-то господина, который гостит у его барина, но что она умоляет меня это письмо сжечь не читая, потому что, говорит, «из этого троженковского гнезда одна *язва* может идти»… Я, однако, потребовала его. На конверте стоял мой адрес, писанный незнакомою мне рукой, но когда я его вскрыла, я увидала руку Иринарха…

– Письмо это у вас? – отрывисто спросил Троекуров.

– Нет, я пробежала его… мне было любопытно узнать, как он очутился здесь и для чего, – и затем приказала действительно Анфисе сжечь его… Она была права: лучше было не раскрывать! – как бы про себя проговорила Кира.

– Что же заключалось в нем? Не секрет, надеюсь?

– Нет, я вам скажу, – отвечала она со сдерживаемым все так же, но помимо ее воли прорывавшимся в голосе волнением, – потому что, я думаю, вам… вам это надо знать… Какие-то намеки, угрозы…

– На что намеки, угрозы кому? – воскликнул, весь запылав, Борис Васильевич.

– Он писал, что приехал сюда для какого-то «предприятия» и должен поэтому скрываться от «алгвазилов», вследствие чего явиться прямо во Всесвятское не может, но что ему необходимо видеться со мной, потому что «некоторые лица, преданные делу свободы», захвачены правительством и посажены в тюрьму на основании данных о них, которые будто могли бы сделаться известными только из бумаг, которые он отдал мне на сохранение… Ведь это ложь и оскорбление! – прорвалось наконец у Киры негодующим взрывом. – Это все равно, что сказать мне, что я солгала, не кинула, как сказала, бумаги эти в огонь, а передала их полиции!..

– Разумеется, ложь, и самая глупая, рассчитанная на то, что вы для своего оправдания согласитесь наконец объясниться с ним лично… Он просил вас, конечно, назначить ему время и место свидания?

– Он сам назначал его мне, – гадливо произнесла Кира, – он говорил в письме, что будет ждать меня три вечера сряду, в полночь, в конце сада, за рекой у калитки, выходящей в поле… и что если я не приду ни разу, то он «возлагал на меня самоё ответственность за последствия, которые *могут от этого произойти»,* – подчеркнула она с презрительным выражением в задрожавших ноздрях. – Сегодня, – иронически прибавила она, – он, вероятно, рассчитывал на разговор со мной сверх абонемента и, узнав как-нибудь, что я поехала к Юшковым, вышел сюда ко мне навстречу на дорогу…

– К счастию, что вы были не одни! – воскликнул Троекуров.

Глаза ее мгновенно сверкнули:

– Я и одна сумела бы защититься, Борис Васильевич…

– Да, – молвил он строго и решительно, – но эта обязанность лежит теперь прямо на мне. Вы живете в моем доме, под моею кровлей… Я не могу допустить, чтобы какой-нибудь негодяй…

– Борис Васильевич, что вы думаете делать! – вскрикнула она взволнованно.

– Это мое дело!.. Смею надеяться, княжна, – примолвил он по-французски с шутливою напыщенностью выражения, – что вы имеете ко мне настолько доверия, чтоб оставить меня беспрепятственно поступить так, как я почитаю нужным и приличным?..

Она повела на него глазами и тотчас же опустила их.

– Да, – проговорила она дрогнувшим голосом, – вы знаете… я вам верю!..

Они въезжали тем временем в длинную и широкую кленовую аллею, в самом конце которой весело сиял сквозь открытые окна ряд ярко освещенных комнат одноэтажного дома Всесвятского.

– Проезжайте потихоньку ко двору, я вас сейчас догоню, – сказал Троекуров, осадив своего коня.

Княжна повиновалась.

Он остался на месте, прислушиваясь к гулу катившегося за ними в некотором отдалении шарабана.

– Скоробогатов! – кликнул он, между тем как *тот,* завидев издалека барина, погнал к нему уже на полных рысях.

– Чего изволите, ваше вскр…?

– Не повстречался тебе сейчас у Никольской поросли какой-то человек в круглой большой шляпе, с палкой?

– Точно так-с, встрелся… Вы на него изволили крикнуть?

– Да. Ты слышал?

– Я сейчас на голос ваш *арабчиков* и погнал… Только уж вы с барышней изволили проехать, а он, смотрю, из кустов вышел, палкой помахивает, идет прямо на экипаж… Я ажно испужался, думаю, ежели он теперича, не дай Бог, за удила, так я аль его в мякоть раздавлю, аль шарабан вдребезги, потому лес, сами изволите знать… Только он ничего, бочком прошел, свистит себе… Диву я дался даже, откелева *шарлатан*[74] такой проявился; по здешним местам и не слыхал было до сей поры…

– Ну, так вот что, – прервал его Борис Васильевич, – надо будет выследить, не явится ли этот человек к нам во Всесвятское, – но так, чтобы ни единая душа в усадьбе об этом не знала, кроме тебя. Понял?

– Как не понять, ваше вскбла…

И старый служивый весь вытянулся вверх на своем сиденье.

– Ты каждую ночь, часам к двенадцати, пока я не отменю этого, отправляйся в сад; знаешь, там в конце калитка есть?

– Как не знать, помилуйте!

– Я имею причину думать, что он захочет именно пробраться в эту калитку. Ты где-нибудь подле, в кустах или за деревом, поместись так, чтоб он тебя никак не заметил. Калитку не запирай и дай ему свободно войти в сад.

Скоробогатов вопросительно поглядел на своего «полковника» и затем подмигнул ему, осклабившись широкою улыбкой:

– Точно так, ваше вскбл… волка в капкан, значить…

Троекуров невольно усмехнулся.

– Пусти его свободно войти, – повторил он, – а там… но только опять так, чтоб он не увидал тебя, – беги немедля доложить мне.

– Ваше-с… а не сбежит он, покелева я до вас добегу? – спросил озадаченный Скоробогатов.

– Нет, – усмехнулся еще раз его барин, – он будет ждать.

– Слушаюсь! – протянул, ничего уже не понимая, тот.

– Ну с Богом!.. И помни, язык за зубами держать! – заключил Троекуров и поскакал по аллее догонять княжну.

V

В этот миг все движенья ея
Как невольник безмолвно следил я,
И полно было сердце мое…

Щербина.

Il s’en faut bien que l’innocente trouve autant de protection que le crime.

La Rochefoucauld.

На топот их лошадей из одного из открытых окон дома стремительно высунулась до пояса молодая женщина в светлом летнем платье и громко крикнула:

– Кира, ты! А Борис?

– Вот он, слезает с лошади, – ответила княжна.

– Борис, милый!..

И Александра Павловна Троекурова кинулась от окна чрез все комнаты на лестницу и повисла

на шее подымавшегося по ступенькам мужа, между тем как княжна, которую он только что спустил с лошади, проходила, подобрав хвост своей амазонки, за угол дома, направляясь к одному из выходивших в сад павильонов, в котором жила она.

– Хорошо ты съездил, милый? – нежно лепетала молодая жена. – А у Васи второй зубок прорезался! Я непременно хотела сама ехать к Юшковым увидать тебя скорее, но он, бедненький, так плакал… а потом взял грудь и так у меня на руках и уснул… А у нас гости, – возгласила она торопливо…

– Кто такой?

– А вот увидишь… Пойдем скорее!

Она продела руку под его локоть и, вся сияющая и смеющаяся, повлекла его за собой в комнаты.

В пространной со стеклянным над срединой ее куполом гостиной, просекавшей дом чрез всю его ширину, с выходившими на двор окнами с одной стороны и большими стекольчатыми дверями в сад с другой, сидели двое приезжих. Услыхав шаги хозяев, они проворно тронулись с места и пошли им навстречу.

– Ах, Боже мой, вот не ожидал! – вскликнул Троекуров, узнавая Ашанина и Федора Федоровича Овцына. – Очень рад, какими судьбами? – говорил он, пожимая им руки с приветливостью хорошо воспитанного человека и хозяина, и в то же время объясняя мысленно: «Этот Дон-Жуан – понятно: *она* в этих краях; но для чего явился сюда этот старый „Ламартин“, и именно теперь, – вот что интересно!»

Старый Ламартин все так же, наподобие своему образцу растегнутый до галстука, сухой и длинный, как метла, но с изгибающеюся ловкостью движений какого-нибудь патентованного гимнаста, поспешил объяснить, что он давно «сгорал желанием воспользоваться дорогим ему приглашением прелестной племянницы» – он при этом со счастливою улыбкой на устах склонил галантерейно голову в сторону Александры Павловны – «и полюбоваться на ее счастье» – при чем Федор Федорович кратким, но красноречивым взглядом обвел кругом ярко освещенного, ценноубранного покоя, в котором они находились, и вздохнул. А вздохнув, перевел уже естественным нюансом на таинственность и, понизив голос, передал скороговоркой, что «есть еще одно обстоятельство, заставившее его приехать в эти страны, но что он об этом сообщит Борису Васильевичу после, после…»

Он вытянулся опять весь в струну, принял свой обычный *приятный* вид и, указывая на Ашанина:

– А тут еще такого бесподобного compagnon de voyage судьба послала, – осклабился он во все лицо, – мы вот вместе и прикатили.

– И, надеюсь, надолго? – промолвил любезно Троекуров.

– Вообрази, – воскликнула Александра Павловна, – хотят сегодня же ночью уехать!

– Что это! Куда?

– Мне необходимо, – заторопился ответить Ашанин, – если позволите, я приеду к вам опять чрез несколько дней, но я дал слово быть завтра утром у одного тут двоюродного мне брата, Блинова, недавнего вашего помещика.

– В Фатянове?

– Да.

– Конечно, от города это рукой подать, – проговорил Троекуров самым серьезным тоном, глянув избока на московского Дон-Жуана.

Тот вскинул на него в свою очередь свои лукавые большие глаза и не выдержал: покраснел и засмеялся.

– Помните, Владимир Петрович, бедную maman, – со слышным оттенком печали заговорила Александра Павловна, – как она всегда смеялась, что вы будто бы «душу спасаете». Вы, кажется, все тот же шалун остались?

– Все тот же, Александра Павловна, – подтвердил жалобным голосом он.

– Ведь надо же когда-нибудь и остепениться, – промолвила наставительно молодая женщина, – теперь уже и годы ваши не такие. Что вы наконец не женитесь? Хотите я вам в наших краях невесту найду?

Ашанин закатил глаза к потолку:

– На такой бесчестный поступок я никогда не решусь, Александра Павловна.

– Жениться – бесчестный поступок! – вся даже покраснела она.

– Так точно!

– Это почему?

– А потому, что как только я женюсь на одной, так на другой же день стану думать о другой.

– Вы всегда будете беспутный человек! – воскликнула она с самым забавным негодованием.

Федор Федорович Овцын, ухмыляясь самым приятным образом, вмешался в разговор и завел было длинный иносказательно-скабрезный рассказ про какое-то новое любовное похождение Ашанина, когда Борис Васильевич прервал его вопросом:

– А вы, Федор Федорович, почему же не хотите здесь переночевать? Разве вы тоже к Блинову?

Тот принял немедленно снова свой таинственный вид, снова вздохнул и снова проговорил шепотливым баском, что «с господином Блиновым он не имеет чести быть знакомым, но что есть в той же окрестности одно лицо, быть у которого ставить его в обязанность *то самое,* о чем он уже докладывал Борису Васильевичу… Но об этом после, после», – повторил он подмигивая.

– Это лицо не господин ли Троженков? – спокойно выговорил Троекуров.

«Ламартин» даже подпрыгнул на стуле, на котором только что уселся:

– Разве вам что-нибудь известно, Борис Васильевич? – пролепетал он.

Троекуров вопросительно взглянул на него:

– О чем?

– О… о…

Он смолк тут же, машинально устремив глаза в сторону, куда, видел он, мгновенно отвернувшись от него, направились глаза его собеседника.

Из сада в раскрытую настежь дверь входила, только что переменив костюм, княжна Кира Кубенская. Она была в черном барежевом платье, с большою палевою розой, приколотою художественным пятном со всеми своими листьями к ее корсажу. Сквозь полупрозрачную ткань белело очертание ее красивых плеч; волосы, еще чуть-чуть влажные от умывания после прогулки, подобраны были вверх как бы венцом кругом головы… и вся она, стройная и легкая в этой черной и сквозной ткани, со сдержанным сиянием зеленых зрачков, походила в эту минуту на какую-то неотразимую молодую фею средневековых сказок.

Все обернулись на нее. Ашанин чуть не крикнул от восхищения; он в оно время далеко недолюбливал княжны и проходил мимо нее, «не подозревая, что она может сделаться вдруг так хороша», – говорил он себе теперь, взирая на ее воздушный, на ее «будто по облакам скользящий облик»…

Она произвела не менее впечатления и на свою двоюродную сестру.

– Ах, Кира, comme tu es bien avec cette toilette! – всплеснула даже руками Александра Павловна. – Это у тебя новое платье?

Троекурова внутренно покоробило, словно от визга пальца по мокрому стеклу. Он вскинул глаза на жену и тотчас же приказал себе опустить их, закусывая ус и нервно поведя плечами.

Княжна не ответила; только в углах ее губ дрогнула какая-то жалостливая усмешка…

Федор Федорович Овцын кинулся к ней, по-старинному, «к ручке».

– Так и не удалось мне, – возгласил он, приложившись к ней своими иссохшими губами, – встретить вас в Москве, княжна, в приезд ваш нынче из-за границы! Как изволите себя чувствовать?.. Да что и спрашивать, расцвели вот как эта роза, которая так идет к вашему туалету…

Он вдруг вспомнил, что никакого подобного же комплимента не отпустил до сей минуты, «как требовала учтивость», самой хозяйке дома, и, обернувшись немедля к ней, произнес с пафосом:

– Но как же не цвесть и не благоухать в вашем благословенном воздухе, при вашей блаженной, свободной и, выражаясь по-медицински, рационально-гигиенической жизни! Вы, например, chère Alexandrine, олицетворяете поэзию здоровья.

И для большей рельефности он, растопырив руки ладонями вверх, встряхнул ими несколько раз, как бы держа в них что-то очень большое и очень тяжелое.

– Да, – самым добродушным образом засмеялась на это Сашенька, – я ужасно пополнела, я знаю, и нисколько на это не сетую, впрочем, – чем я здоровее, тем лучше для Васи.

– Идеал матери, das Ewigweibliche! – развел в ответ те же руки вправо и влево Федор Федорович, наклонив голову, – я всегда *это* предвидел в вас!..

Борис Васильевич поднялся с места, подошел к снуру колокольчика, висевшему вдоль одной из стен гостиной и, проговорив коротко: «Ужинать!» – выбежавшему на звон дворецкому во фраке и белом галстуке, направился к двери, из которой только что вошла Кира. Он переступил за порог ее и, сжав брови, вперил недвижный взгляд вдаль, в голубые переливы и тени ночи…

Так прошло несколько времени. Он совершенно забыл обо всем окружающем…

– Борис, – пробудил его голос жены, – nous allons souper, mon ami!

Он быстро обернулся, вспомнив свои обязанности хозяина, и вернулся к гостям.

Слуги тем временем выкатили из соседней комнаты круглый большой стол, накрытый на пять приборов и уставленный холодными и горячими блюдами в серебряных с покрышками кастрюлях, бутылками с вином, хрустальными фарфоровыми кружками со всякими прохладительными напитками… У Федора Федоровича Овцына даже посоловели глаза от предвкушения сладости всех этих яств и влаги в этой роскошной, подкупавшей его либеральную душу обстановке:

– Да-с, – вскликнул он, комфортабельно усаживаясь в кресло подле хозяйки, – вы в вашей деревенской пустыне, Борис Васильевич, умели осуществить блистательно мудрое наставление древнего поэта: мешать полезное с приятным, utile dulci, и это в такой гармонии, в таком изящном сочетании…

– Вот только рыбой бедствуем, – молвил Троекуров со свойственною ему серьезностью иронии, прерывая этим хвалебные излияния старого пустозвона, – а вот это бургонское я вам рекомендую…

Он чувствовал себя внутренно донельзя нервным и не знал, как совладать с собой. «Поэзия здоровья» так и стояла острым гвоздем у него в голове. Он повел исподлобья взгляд на жену…

Александра Павловна действительно находилась теперь в полном расцвете своей красоты… в том расцвете столиственной розы, когда лепестки ее, отогнувшись *от* сердцевинки, раскидываются пышною чашей вширь с чуть-чуть уже подергивающеюся желтизной по краям своим, и опытный садовник не решается срезать ее для нарядного букета в опасении, что не продержится она до вечера целою на своем стебле… Деревенский воздух, счастье, кормление ребенка облекли всю ее наружность в ту полноту, в ту зрелость форм, которая, не оставляя прихотливому взору эстетика ничего желать сегодня, возбуждает в нем невольно охлаждающее чувство боязни за то, что из этого может выйти завтра… Стан ее, плечи, античная головка казались теперь изваянными из другого, не столь уже нежного, не столь прозрачного мрамора; большие и строгие глаза прежних лет словно размякли и сузились. «Волоокая Гера», с которою сравнивал ее кавказец Троекуров из глубины ложи петербургского театра, скорее могла бы напомнить в настоящее время ту «добрую богиню», *bona dea,* в которой символизм древних олицетворял преизобилие благ земных…

Он подавил вздох, отвел от нее глаза… и как бы еще сильнее вдруг заговорила в нем обнимавшая его досада…

Ашанин за это время успел совсем овладеть вниманием княжны Киры. Он сидел подле нее и рассказывал ей что-то с большим оживлением; глаза его так и сверкали. Для Бориса Васильевича было очевидно, что московский Дон-Жуан забывал в эту минуту не только ту, из-за которой он приехал в эти страны, но и все остальное на свете, отдаваясь одному из тех мгновенных увлечений, которые были так же свойственны его природе, как птице способность летать по воздуху… Но княжна улыбалась на его речи и, по-видимому, увлекалась в свою

очередь тем, что он ей *«молол»,* представилось Троекурову, – и это находил он не только несвойственным «такой сериозной девушке», как она, но и… и «не совсем даже приличным» с ее стороны.

– Владимир Петрович, – сказал он громко, – раз вы не хотите подарить нам и завтрашнего дня, не предоставляйте княжне монополии ваших столичных вестей – сообщите их и остальным провинциалам, здесь сидящим. Что нового в Москве?

У Ашанина были слишком тонко развиты чутье и слух, чтобы тотчас же не расслышать язвительной нотки, звучавшей в этих шутливо и дружественно произнесенных, по-видимому, словах. Он обнял зорким и быстрым общим взглядом и выражение лица говорившего, и то странное, не то удивленное, не то довольное выражение, с каким в свою очередь скользнули по этому лицу глаза «девушки», и отвечал, улыбаясь:

– Я передавал княжне один рассказ Садовского… Что же до вестей, то я могу действительно сообщить вам нечто совсем интересное, если только к вам здесь, как к соседям, не дошло это еще раньше, чем до Москвы.

– Да, да, – засмеялся и закивал «Ламартин», – чрезвычайно интересно, в самом деле!

– Что такое? – молвила с видимым любопытством Александра Павловна.

– Ваша здешняя помещица и московская звезда – звезда, как известно, по рождению, уму и талантам – княгиня Аглая Константиновна Шастунова одним словом…

Ашанин поднял свою вилку вверх и приостановился.

– Что же, что дальше?

Он опустил вилку и произнес комически сдавленным голосом:

– Перестает вдовствовать!..

– Что вы! Не может быть! – воскликнула Троекурова в изумлении. – Выходит замуж?

– Выходит-с.

– За кого?

– Вы не угадываете?

– Ах, Боже мой, – засмеялась она, – неужели les vieilles amours, – как говорила покойная maman? За Зяблина?

Ашанин поклонился:

– Печорина в отставке, – добавил он, – точно так-с!

– И вы не шутите, Владимир Петрович? Княгиня приезжала к нам сюда из своего Сицкого в мае, я помню; я отдала ей визит чрез несколько дней, и затем мы не видались. Но у нас в соседстве и слуха никакого нет о том, чтоб она… Я даже не видала monsieur Зяблина в мой тогда приезд в Сицкое.

– А третьего дня он в Москве сам объявил об их помолвке.

– Что же, – сказала, подумав, Александра Павловна, – ведь это au fond хорошо, я нахожу. Если уже они так долго, – молодая женщина не знала, как договорить, и слегка покраснела, – то этим… как христианке, ей надо было кончить!.. Зачем только она его так долго мучила бедного, не соглашалась?..

– А занимателен в самом деле, – сказал Троекуров, – должен был быть тот психический процесс, который мог привести наконец эту барыню к теперешнему ее решению!

– И что же вы бы думали! – молвил Ашанин. – В основании его лежит дочтенное по сущности своей чувство: уважение к имени, которое она так долго носила и решилась теперь переменить на другое, потому что, говорит она, «оно теперь потеряло tout son lustre et tout son prestige».

– Отчего же потеряло? – спросила, не поняв, Александра Павловна.

– Представитель этого имени, сын ее, действительно, по всем статьям – животное, – объяснил небрежным тоном ее муж, – но главная, в глазах старухи, вина его состоит в том, что вздумал он жениться против ее воли на особе, не пользующейся ее расположением.

– И не заслуживающей его! – пылко возгласила молодая женщина. – Эта «особа» не заслуживает ничьего расположения, Борис! Мне Сергей Михайлович Гундуров, когда он был здесь, рассказывал, какой чудесный человек ее первый, то есть *настоящий,* муж и как она с ним поступила!.. Я от нее вчера получила из нашего города записку: она просит быть у нас. Я ничего ей еще не отвечала, я ждала твоего приезда, Борис; но я бы никак не хотела продолжать с нею знакомства, – проговорила она решительно, глядя во все глаза на мужа.

– Что же, как желаешь, так и делай! – проговорил он равнодушно, поймав на лету обращенный на него в эту минуту вопросительный взгляд княжны.

– Д-да, – молвила, мгновенно стихая, уже раздумчиво Александра Павловна, – но как это так сделать, чтобы не вышло слишком неучтиво?

– А ты вот попроси устроить это тебе Владимира Петровича! Он так любезен, во-первых, что не откажет *для тебя,* – подчеркнул Троекуров, – съездит в город нарочно для этого; а затем его известная ловкость ручается тебе за остальное.

Ашанин, сдерживая разбиравший его всегда в таких оказиях смех, принял свой невинный вид и, обращаясь к молодой женщине:

– Извольте, Александра Павловна, – проговорил он, и бровью не моргнув, – *для вас* я готов посетить эту особу, – единственно *для вас.*

Она глянула ему в лицо и покатилась неудержимым смехом.

– Понимаю, вы для нее и приехали сюда!.. Этот Борис всегда так скажет… Так уж, пожалуйста, Владимир Петрович, вы это мне так и обделайте…

– Чтоб и овцы целы были, и волки сыты? – договорил он за нее.

– Да, да, именно так!

– А кто же в этом случае волки? – нежданно спросила, все время до сих пор безмолвная, княжна Кира. – Ведь это ты, пожалуй, выйдешь, Саша!

– Я? – вскликнула, протестуя, та.

– Потому что эта, – продолжала княжна, – как бы о ней ни судили, – эта обобранная мужем женщина и которую свекровь ее – нам сейчас с Борисом Васильевичем Павел Григорьевич Юшков рассказывал – на двор к себе à la lettre не пустила, несомненно похожа в эту минуту гораздо более на овцу, чем на волка.

Лицо Ашанина внезапно передернуло:

– Княжна, позвольте просить вас передать подробнее то, что вам известно об этом. Я видел княгиню Ольгу Елпидифоровну… каких-нибудь полчаса всего, – прибавил он с несколько подозрительною поспешностью, – в проезде ее чрез Москву сюда, и ничего далее не знаю.

Кира сообщила от начала все, что слышала от Юшкова.

– Ах, Боже мой, я ведь ничего об этом не знала! – пролепетала смущенно Сашенька. – Ты сама знаешь, Кира, когда мы вчера об этом говорили, мы ничего не знали.

– Она приезжала к Юшкову просить его как предводителя заступиться за нее, – продолжала княжна, – и тебя желала видеть, вероятно, в такой же надежде, что ты с мужем можете ей помочь в этом. Она желает, чтобы свекровь возвратила ей хоть ее собственный капитал, которым она, говорит, пожертвовала на уплату долгов ее мужа в Париже.

– Я видел в клубе, в Москве самого счастливого жениха, господина Зяблина, – заговорил Федор Федорович Овцын, – он говорил, что Аглая Константиновна отрицает, чтоб ее невестка заплатила какие-нибудь долги мужа в Париже, что у нее будто, у молодой княгини то есть, никогда никакого своего капитала не было.

– Ну, уж насчет этого, – воскликнула Александра Павловна, – эта старая Аглая говорит неправду. Моя нынешняя и бывшая Кирина в Петербурге горничная, Анфиса, была экономкой у отца молодой княгини Шастуновой и знает наверное, что ей по наследству от этого отца досталось более полутораста тысяч, кроме дома в Москве и движимости… Да вот эти старинные шкафы, картины, – вспомнила она, – которые вы здесь у нас видите, Борис их ведь у нее купил, и даже, говорит, задаром…

– Я эту скаредную старуху нисколько не защищаю, – поспешил заявить «Ламартин», прижимая руку к груди, – я только констатирую факт… Факт печальный, потому что дело таким образом может дойти до суда, а у нас суды вы знаете какие – на десять лет пойдет процесс…

Троекуров глянул на жену – ужин был кончен; все поднялись из-за стола.

– Владимир Петрович, – робко заговорила Александра Павловна, проходя с ним и княжной из гостиной в сад на террасу, – ее ужасно мучило теперь сознание своей жестокости – вы понимаете… теперь… Если вы в самом деле поедете к *ней* в город, вы скажите ей, что я вместо письменного ответа просила вас сказать, что… конечно, пусть она приедет, если только что-нибудь нужно, что я… и Борис Васильевич готовы все сделать…

Ашанин не дал ей договорить, взял ее руку и молча поцеловал ее…

Оставшись один с Овцыным, Троекуров взял его под руку и, отведя в противоположный саду конец гостиной, указал ему на кресло, сам сел – и так и срезал его нежданным вопросом:

– Вы видеться с сыном приехали сюда, Федор Федорович?

– Разве уже известно, что он здесь? – даже побледнел тот.

– *Мне* известно, действительно! – подчеркнул Борис Васильевич.

Овцын развел руками:

– Я несчастный отец! – завздыхал он более театрально, впрочем, чем задушевно. – Я приехал попытаться спасти моего сына от Сибири.

Троекуров холодно поглядел ему в глаза:

– Для чего он тут и откуда? Из-за границы? И под чужим именем?

Федор Федорович закачал утвердительно головой.

– Почем вы знали, что он здесь? Он к вам писал?

– Нет, – как бы испуганно воскликнул тот, – ни строчки я от него не получал с самых тех пор, как он… покинул Россию. Случайно, раза два, имел о нем известие от лиц, видевших его за границей… Узнал-с я об этом… Я буду с вами совершенно откровенен, Борис Васильевич, – перебил себя он, – узнал-с я от некоего жандармского полковника в Москве.

– Вот как! – не мог не усмехнуться Троекуров.

– Да-с… Человек он, впрочем, совершенно образованный, либеральный… Приятели мы с ним по клубу; сам он большой чтец и поклонник нашего даровитого Александра Ивановича и его *Колокола,* весьма иронически, можно сказать, относящийся к нынешней реакции…

– А! А разве есть реакция? И в чем же, с чьей стороны?

– Помилуйте, после этих пожаров в Петербурге там страшно перепугались, и начались такие гонения, *алгвазильства,* так сказать… Заподозрили литературу, редакторов призывали к начальству, нотации им грозные читали, политическую подкладку непременно хотели найти под простым фактом этих пожарных явлений, причина которых, как всем, кажется, давно известна, лежит ни в чем другом, как в непроходимом варварстве нашего народа… «Эмиссаров» каких-то стали искать, множество неповинной молодежи арестовали, допрашивали в III Отделении. Иринарх, к счастью, успел этого избегнуть и улетучиться…

– А и он там был?

– По-видимому-с, – вздохнул Овцын, – или по крайней мере подозревается, что был в это время в Петербурге… С целым тюком лондонских изданий изловчился проехать до Москвы, – домолвил он тут же шепотом и как бы уже любуясь такою «ловкостью» сына.

– И все это вы от приятеля вашего жандарма узнали?

– Сообщил-с, да, по дружбе… Гуманный вполне, как докладывал я вам, человек!.. Ужинаем это мы с ним в клубе после партии. Обыграл он меня, признаться, в этот вечер в лоск. Я ему и смеюсь: дорого, мол, обошлись вы мне сегодня. А он мне вдруг и говорит: «Хотите за это хороший совет?» Я гляжу на него: «Сделайте милость, – говорю, – насчет чего?» – «Насчет вашего сына»… А как мы в эту минуту одни-одинехоньки находились в столовой, он мне и передал про этот приезд Иринарха из Лондона с тюком, и что он из Петербурга скрылся. – «Теперь же, – говорит, – нами получено сведение, что он проживает там-то – губернию назвал,

уезд – у некоего отставного губернского секретаря Троженкова, который тоже нам известен как корреспондент *Колокола*. Нам, следовательно, сына вашего арестовать надобно. А потому, если хотите спасти его, известите его скорее верным путем, или, если можете сами, так еще лучше, чтоб он немедля уезжал из тех мест, а я распоряжение об его аресте пока здесь попридержу». – «Куда же ему ехать, – спрашиваю, – как вы полагаете?» – «Ну, это его дело, – говорит, – за границу опять или куда хочет, только чтобы *нам* местопребывание его неизвестно было, – понимаете?» – «Понимаю, – говорю ему, – и уж не знаю, как вас благодарить». – А он мне, поверите ли, вот что на это отвечает: «Я, – говорит, – сочувствую вполне благородным стремлениям молодежи и на месте вашего сына был бы, вероятно, таким же деятелем прогресса, как и он, и только, – говорит, – нужда заставляет меня служить в инквизиторах». И при этом из самой глубины души, как видно, вздохнул… То есть до слез довел, прямо скажу вам, Борис Васильевич.

– Это действительно трогательно, – сказал, не моргнув, Троекуров. – И вы по совету этого приятеля вашего приехали сюда?

– По отцовскому чувству своему и долгу, Борис Васильевич! – счел нужным с пафосом пояснить Федор Федорович.

– А по долгу *гражданина,* – тем же холодным тоном продолжал тот, – передадите вашему сыну, как «деятелю прогресса», что даже жандармы восхищаются тем, что он творит, и оказывают ему покровительство.

«Ламартин» опешил несколько:

– Я предварю его… согласно тому, что мне было обязательно сообщено, – пробормотал он.

– Прекрасно сделаете!.. А я уж кстати попрошу вас посоветовать ему от *меня,* – промолвил Троекуров дрогнувшим от вдруг пронявшего его раздражения голосом, – поспешить скорей удалиться отсюда!..

Он вскинул неудержимо на своего собеседника свои бледно-голубые, страшные в эту минуту своим беспощадным блеском, глаза; зубы его стиснулись:

– Скажите ему, что я ни с какой стороны на вашего жандарма не похож – ни с «инквизиторской», ни с «либеральной». Он может жечь и проповедывать, где и что ему угодно, – это не мое дело; но если ему вздумается нарушать чей-либо покой в моем доме… или мутить в местности, где я живу, – он столкнется со мной, а я… Я не мягок характером, предваряю вас…

Он поднялся на ноги, натянул ус до боли, стараясь осилить припадок этого внезапного, прорвавшегося у него нежданно для него самого гнева, сделал несколько шагов по комнате и вернулся опять на место.

Овцын сидел в своем кресле, что говорится, ни жив ни мертв, машинально следя за ним глазами и в совершенном недоумении.

– Я никак не понимаю, Борис Васильевич, – заговорил он, – чем мог подать вам повод Иринарх…

– Вы только передайте ему мои слова, *он* поймет! – перебил его Троекуров уже более спокойным голосом и с насилованною улыбкой. – À bon entendeur salut!.. И вы решительно хотите ехать сегодня же в ночь? – спросил он чрез миг.

Федор Федорович встрепенулся:

– Да-с, мне теперь, я вижу, более чем когда-либо следует торопиться…

– Так надо распорядиться лошадьми.

Борис Васильевич встал и дернул за снурок колокольчика.

– Alexandrine еще до вашего возвращения была так добра приказать, чтобы к полночи лошади были нам готовы.

– Лошади готовы-с, – доложил вошедший тем временем дворецкий.

– Так уж позвольте с вами проститься! – вставая и протягивая руку, молвил Овцын.

– Надеюсь, до свидания! – сказал на это Троекуров, подавая ему руку тоже и возвращаясь уже вполне к ласковому тону благовоспитанного хозяина.

– Если позволите, и, *надеюсь* в свою очередь, по достижении результата, настолько же, поверьте, желаемого мной, как и вами, – любезно, но не без некоторого тайного намерения язвительности произнес тот. – Надо проститься с дамами, – промолвил он, трогаясь с места, – и, как бы вспомнив: – я не почел нужным передавать Alexandrine о причине моего приезда сюда и дал ей понять, как и моему compagnon de voyage, что имею денежные расчеты с одним здешним помещиком…

– И прекрасно сделали! – одобрительно кивнул Борис Васильевич. – Она очень добра сердцем, сын ваш – двоюродный ей брат, но вы понимаете сами…

– Понимаю-с, – не дав ему договорить, вздохнул старый Ламартин, – в нынешнее время политические убеждения начинают порывать самые старые и кровные связи. Печально-с, но естественно!

Троекуров повел лишь на это утвердительно головой. Овцын, видимо довольный эффектным оборотом произнесенной им сентенции, поклонился еще раз и отправился по направлению сада прощаться с дамами.

Пока он рассыпался с ними в любезностях, Ашанин вернулся с террасы в гостиную за своею дорожною шляпой.

– Два слова, Владимир Петрович! – сказал шедший ему навстречу хозяин.

– Сделайте милость, что прикажете?

Они прошли вместе несколько шагов.

– Вот что, – начал Борис Васильевич, останавливаясь и слегка притрагиваясь к рукаву Ашанина, – потрудитесь, во-первых, передать господину Блинову, что в губернском крестьянском присутствии дело его с крестьянами о лугах решено в его пользу. Не забудете?..

Он приостановился.

– Не забуду… А *во-вторых?* – спросил Ашанин.

Троекуров повел на него как бы рассеянно глазами.

– Вы, не правда ли, говорили, что видели Ольгу Елп… молодую княгиню Шастунову в Москве?

– Очень ненадолго… – промямлил Дон-Жуан.

– Достаточно, чтобы заставить вас приехать в наши места, – отрезал с усмешкой Троекуров, – но не в этом дело. Скажите, не говорила она вам… она нуждается? – спросил он, понижая голос.

– Не говорила, но в этом, кажется, не может быть сомнения. Муж действительно обобрал все, что у нее оставалось ценного, после того как и весь собственный капитал ее пошел на уплату его долгов.

– А пока та старая дура не будет принуждена тем или другим путем возвратить ей деньги, пройдет время… Ей нечем жить!

– Вероятно. Она говорила мне, что надеется продать домик, принадлежащий ей в вашем уездном городе, в котором она думала жить, пока не устроятся ее дела со свекровью.

– Ее так оставить нельзя, – проронил, не слушая и не глядя на него, Троекуров, – пройдемте на мою половину.

Ашанин безмолвно последовал за ним.

Половина Троекурова состояла, кроме передней с отдельным входом со двора, из большой и длинной комнаты, библиотеки, служившей ему приемной по его посреднической должности, квадратного кабинета en boiserie строгого голландского стиля и маленькой рядом спальни в одно окно на двор. Окна и большая дверь в кабинете, в который теперь вошли они, выходили в сад.

Пока Ашанин с художественным удовольствием оглядывался на темные, изящно резанные из черного дуба стены, по которым кое-где угол золоченой рамы картины выделялся ярким бликом под падавшим на нее светом большой одинокой лампы, стоявшей на огромном письменном столе посреди комнаты, хозяин, присев к этому столу, писал что-то на листке почтовой бумаги, лежавшем на его бюваре.

– Я вас попрошу, Владимир Петрович, – сказал он, кончив, вкладывая написанное в обложку и продолжая не глядеть на него, – взять этот кредитив на мою московскую контору и пользоваться им, когда и насколько будет *там* нужно… Цифрой суммы прошу вас не стесняться никак, но вы должны мне дать честное слово, что *ни в каком случае,* – веско отчеканил он, – имя мое не будет вами произнесено… Вы сумеете, конечно, объяснить княгине, откуда черпаете возможность ссужать ее, пока дела не приведутся в порядок, не называя меня, не правда ли?

– Сумею, Борис Васильевич, – произнес тронутым голосом Ашанин, вкладывая письмо в свой портфель, – и понимаю вашу деликатность…

– Сделайте милость, – живо и с улыбкой прервал его тот, – не приписывайте этого каким-нибудь высоким чувствам, а просто ненависти моей к званию за-и-мо-давца. Я состоял *должником* половину моей жизни и до того проникся духом этого амплуа, что возненавидел бы самого себя в роли *кредитора,* а относительно женщины тем более…

– Нет, я – ничего, – вздохнул комически красавец, – променял бы сейчас собственную мою на роль амплуа жида моего, Зедербаума: по два процентика в месяц плачу ему второй год.

– Я и по четыре платил, и неустойки, капитал на капитал, – засмеялся Троекуров. – Пойдемте, однако; Федор Федорович Овцын успел, надо быть, вычерпать с дамами свою любезность до дна и ждет вас…

Он остановился на ходу.

– А на прощанье позволите ли маленький, дружеский совет? – неожиданно проговорил он.

– Сделайте милость! – молвил удивленно Ашанин.

– Особа… о которой мы сейчас говорили, нуждается теперь не в одних материальных средствах, но и…

– Но и? – повторил вопросительно красавец.

– Здесь не столица; каждый шаг ее здесь будет известен; враги, эта злая дура свекровь ее, воспользуются малейшей ее неосторожностью для своих видов и вреда ей… Не *смущайте* ее, – проговорил с серьезною нотой в голосе Борис Васильевич, наклоняясь к его уху.

Ашанин покраснел до ушей:

– Но я вас уверяю… – пролепетал он.

Троекуров остановил его:

– К чему? Я сказал; остальное – дело вашей совести… Пойдемте!..

VI

С отрадой тайною и тайным содроганьем,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.

Лермонтов. Ребенку.

Enfants, nous qui pensons, nous qui vivons,
nous sommes
Tristes, hargneux, mauvais…
Puis on a dans le cœur quelque remord.
Voi là
Ce qui nous rend méchants. Vous saurez tout cela
Quand vous serez plus grands, c’est à dire
moins sages

Y. Hugo. A des oiseaux envolés.

Гости уехали.

Проводив их любезно до самого крыльца, Троекуров вернулся на террасу, где жена его и княжна Кира, сидя рядом на скамейке у выходной из гостиной двери, с закинутыми к стене головами, облитые млеющим сиянием лунной ночи, вели негромкий между собой разговор.

Услыхав шаги подходившего мужа, Александра Павловна, не переменяя положения, быстро повела глазами в его сторону, поймала на проходе его руку и неудержимым движением поднесла ее к губам:

– *Цыпинька* мой! – чуть слышно, детским лепетом прошептала она, взглянув ему в лицо с бесконечною нежностью, и тут же опустила эту руку и слегка заалела, вспомнив, что он «не любит эти *нежности,* да еще при других»…

– Кира говорила мне, что ты видел Сергея Михайловича Гундурова, Борис, и что он обещал скоро быть к нам? – поспешила она сказать громко и засмеялась. – Я сейчас ей говорила, что если б он увидел ее сегодня в этом ее черном туалете, – она, не правда ли, точно *la reine de la nuit*, как в картинке, сегодня? – конечно, он так бы и упал к ее ногам…

– Никто не мешает княжне повторить эффект этого туалета, когда он будет здесь, – проговорил на это небрежно насмешливым тоном Троекуров.

– Саша, c'est une vraie scie, ma chère! – недовольным голосом молвила в свою очередь Кира. – И что всего смешнее, ты пилишь меня человеком, который так же мало думает обо мне, как я о нем.

– Ты – я не знаю, – воскликнула Александра Павловна, – ты, Бог тебя знает, какая-то льдина! Но он, ты меня не уверишь, – он… Я видела, какими глазами он глядит на тебя всегда, и все его лицо точно вдруг осветится, когда он заметит, что то, что он говорит, нравится тебе; il n'y a que les amoureux, которые так смотрят…

– И люди, которые любят, чтобы их слушали, – уронила с холодною усмешкой княжна.

Троекуров обернулся на миг на говорившую, усмехнулся самым уголком губ и, опустив руки в карманы своей жакетки, медленно зашагал по террасе, глядя себе под ноги не то рассеянными, не то озабоченными глазами.

Но Александра Павловна не сдавалась:

– Он так много с тобой говорит, – горячо доказывала она, – потому что знает, что это тебя интересует; ты сама прежде ни о чем другом не думала, как о *политике*… А ты, если теперь придираешься к нему за это, то единственно потому, что хочешь непременно найти что-нибудь против него внутри себя, – и не находишь ничего, кроме этого же опять… Ты уж просто скажи, что он тебе не нравится, короче будет!

– А если я это так и скажу тебе прямо, ты от меня отстанешь?

Сашенька махнула сердито рукой:

– Ты свое счастье в окно выкидываешь… И все это твоя вечная гордость делает!..

– Гордость! – тихо и с какою-то загадочною улыбкой повторила Кира. – Это старая песня!..

– Старая и все та же, да!.. Tu ne veux pas de maître; разве это не так? Я давно поняла тебя: ты не признаешь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог стать над тобой… Кира, милая, а если бы ты знала, – прошептала она, внезапно ухватывая руку княжны и наклоняясь к самому ее уху, – если бы ты знала, как сладко покориться тому, кого любишь!..

Княжна глянула ей вдруг в лицо, словно испуганная:

– Покоряться – так уж Богу! – вырвалось у нее нежданным, невольным возражением.

Александра Павловна в свою очередь теперь испуганно вскинула на нее глаза:

– Что же это, не хочешь ли уж ты в монастырь, как *Лиза* в *Дворянском Гнезде?*

– Да, пожалуй, в Италии, – поспешно ответила Кира и так же поспешно засмеялась, – там, в Апеннинах, есть один древний монастырь. Я там была. Что за вид оттуда, прелесть!

– Ты сумасшедшая! – вскликнула Троекурова. – С тобой нельзя говорить серьезно.

– Тем более что спать пора, поздно, – молвила на это с тем же деланным смехом княжна, быстро подымаясь с места, – прощайте!

Она кивнула и, чуть-чуть приподняв край своей юбки, побежала по ступенькам, спускавшимся с террасы в сад.

– Кто же так прощается, княжна? – молвил Троекуров, идя за ней. – Дайте хоть руку на сон грядущий, а то можно подумать, что вы сердитесь.

Она на ходу протянула ему снизу вверх эту – как лед холодную – руку и, не отвечая на его пожатие, не глядя на него, исчезла чрез миг за клумбой розанов в цвету, раскинутою пред павильоном, в котором она обитала.

– Вот она всегда такая! – жалобно выговорила Александра Павловна, обращаясь к мужу. – И очень хотела бы я знать, чем такой человек, как Гундуров, может ей не нравиться?

– Да какое тебе до этого дело, в сущности?

И Троекуров досадливо повел плечом. Она заметила это движение и встревожилась:

– Боже мой, Борис, как же ты можешь это говорить! Я ее люблю, я ей от всей души желаю счастья.

– Каждый понимает счастье по-своему, – произнес он мягко и стараясь улыбнуться, – и берет его, где знает.

– Да где ж она возьмет его, где – протестовала молодая женщина, – пробовала она в Петербурге *свое… И с* чем оттуда уехала? Печальная, разочарованная… И тот самый человек, который там, – она сама же говорила, – был более всего ей симпатичен, она его теперь…

– Ну, милый друг, ведь это у нас сказка про белого бычка пойдет, – прервал ее муж, скрывая внутреннее нетерпение под ласковою шутливостью тона этих слов, – а у меня на завтра к 8 часам старшины из трех волостей вызваны. Разойдемся по постелям!

Он наклонился к ней и поцеловал ее в лоб на прощанье.

– Борис, – промолвила Александра Павловна с чуть-чуть слышавшимся робким упреком в голосе, – разве ты не зайдешь к детям… Ты их целые пять дней не видал.

– Ах, конечно, конечно… сейчас! – вскрикнул он, слегка смутившись. – Я думал сам… и вдруг вспомнил об этих старшинах…

Она продела под его руку свою, сама вся головой и грудью прижалась к нему и, не чувствуя ног под собой от какого-то мгновенного, страстного прилива счастья, повела его чрез весь дом в детскую.

На пороге ее Троекуров замедлил шаги… То, что только что скребло и ныло в его душе, было

так далеко от *этого,* от этой свежести… от этой «святости»…

Высокая комната со светлыми обоями, мерцающая лампадка в углу пред иконами в старинных золотых окладах, полуотворенные окна в сад, со вставленными в них рамами, обтянутыми кисеей, сквозь которую льется ночной воздух, примешиваясь к слабому запаху молока и ромашки, старая няня, повязанная платком, вздремнувшая на покрытом ковром сундуке, и рядом колыбель и кроватка с падающими на них кругом вплотную широкими складками белоснежных кисейных занавесей… Мир, благодать, еле слышное, ровное детское дыхание…

– Тсс… Маша, кажется, проснулась, – прошептала Сашенька на ухо мужу, осторожно переступая с ним по обитому на лето толстою парусиной полу детской.

Она подвела его к девочке, к «старшей в семье», как говорил он в веселые минуты… Чуткая старушка няня мигом приподняла с сундука свою седую голову.

– Спят покойненько, – молвила она, кивая с места и тут же подымаясь на ноги.

Александра Павловна таким же кивком дала ей знак не беспокоиться, осторожною рукой отогнула иолы занавесей и, наклонившись над кроваткой, пригласила движением глаз мужа последовать ее примеру…

Белокурая и кудрявая, как отец, с черточкой длинных, черных, как у матери, ресниц над разгоревшимися пухлыми щечками, спала полуторагодовая Маша, закинув за голову крохотную ручку, полураскрыв влажные розовые губки… И вот, словно почуяв устремленные на нее глаза родителей, она задвигалась, повернулась, открыла на миг большие темно-голубые глазки… «Ма-ма», – с улыбкой пролепетала она, закрыла их опять и сладко вздохнула, уносимая снова неодолимыми чарами сна…

– Благослови ее! – прошептала молодая мать.

Троекуров торопливо и неловко, как всегда это бывало с ним в подобных случаях, – с каким-то смутным ощущением своей «недостойности», – провел крестообразно пальцами над головой дочери…

– А вот и Василий Борисыч голос *подают,* – проговорила, счастливо улыбаясь, Сашенька, быстро закидывая занавески кровати и направляясь к колыбельке, из которой раздался плач младенца, – это он не от зубков теперь, я знаю, – успокоительно примолвила она, вынимая оттуда сына в его пеленках и кружевном чепчике и поднося его лобиком к губам мужа, – *они* кушать *просят…* Ты поцелуй его и иди себе теперь, Борис; доброй ночи! – заключила она с тою же блаженною улыбкой, отворачиваясь от него стыдливым движением, чтобы отстегнуть пуговицы своего корсажа…

Он направился к двери, взялся за ручку, но прежде чем пожать ее, оглянулся, как бы с тем, чтоб унести с собой всю полноту впечатления этого чистого, таинственного и проницающего детского мира.

Вася перестал плакать. Молодая мать-кормилица, низко нагнув к нему голову, стояла у колыбели, медленно и ровно, убаюкивающим ребенка движением качаясь на месте со стороны на сторону. Старая няня неслышными шагами проходила за чем-то к комоду у окна, и лунное сияние, падая сквозь него, подстилало ей под ноги широкие квадраты; а с высоты, в углу, освещенные красноватым пламенем лампадки, строгие лица святых словно сторожили из-за своих золотых риз весь этот мир детства и чистоты…

Троекуров вышел и со сжатыми нервно бровями быстро направился чрез длинный ряд комнат дома на свою половину.

Он отворил в своем кабинете дверь в сад – но тут же отошел от нее и зашагал вдоль и поперек комнаты, покусывая усы и поводя плечами, словно в лихорадочной дрожи.

Так прошло несколько времени… Часы на камине прозвонили час по полуночи.

Чьи-то шаги заскрипели по песку ближней садовой аллеи.

Борис Васильевич весь выпрямился, вскинул головой и спешно повернул к двери.

За ее порогом глаза его первым, невольным движением устремились на павильон, обитаемый княжной Кирой. Из четырех, выходивших в сад и открытых окон его два были еще освещены, и в одном из них на опущенной, чуть-чуть колеблемой воздухом белой сторе дрожала, показалось ему, чья-то неясная, тонкая тень… «Не спит еще, читает», – сказал он себе мысленно, с каким-то словно страхом быть замеченным ею, откидываясь назад внутрь комнаты.

Выходя из аллеи, прямо против него, показался в эту минуту Скоробогатов.

Троекуров торопливым движением руки указал ему свернуть вправо и пройти к нему двором на отдельное крыльцо, ведущее на его половину.

Сам он пошел отворять ему дверь на это крыльцо, пропустил его, щелкнул за ним замком и ввел его в библиотеку, служившую приемной.

– Ну, что? – обрывисто спросил он.

– В аккурате тут, – самый, то-ись, этот человек, – таинственно проговорил на это тот.

– Где?

– Как изволили сказывать, у калитки у самой проявился… В шляпе это, в пальте, здоровенная такая дубинища в руке – самый он и есть, я хорошо признал.

– Вошел в сад?

– Вошел, ваше вск… а только, как заметно, с опаской, – усмехнулся Скоробогатов, – нерешительность видать… Известно, к чужим, в ночное время… Черкес на что проворен, а и тот боится!.. Постоял он этто там за оградой спервоначалу, сигару вынул, огня чиркнул, о калитку *обеймя рукам* опёрся… а она и подалась сама внутрь-то, в сад, мало за ней не упал он с-невзначаю, ругнулся даже: «чтоб тебя, проклятая!..» Одначе после этого в сад вошел, прошелся таково шагов двадцать не более, помахал дубинищей, и – назад… И Бог его знает, вор он какой, али что?..

– Он негодяй, – неудержимо вырвалось из уст Троекурова.

Старый служивый поглядел ему в глаза:

– Что ж, ваше высокоблагородие… его, значит, всегда сцапать можно! Он и по сю пору там…

– Он тебя не видел? – прервал его Борис Васильевич.

– Ему и не в-догад, ваше… потому я в малинник забрался, сижу смирно: мне-то все оттуда

видать, а ему в кустах и в *жисть* меня не *подозреть.*

– Давно он тут?

– С полчаса, а может более… Кабы не приказ ваш, чтоб притти доложить вам, так я б его, *шарлатана,* давно скрутил, ваше вскбл… – промолвил Скоробогатов, продолжая глядеть в глаза своему «полковнику», в очевидном ожидании приказа с его стороны привести в исполнение это благое намерение.

Но к немалому его удивлению, «полковник» его, теребя ус и видимо держа в голове иное соображение, проговорил с презрительною усмешкой:

– Оставь его там гулять, а сам спать ступай!.. Завтра же, – быстро и решительно прибавил он, во избежание дальнейшего разговора, – отправляйся опять в то же время в свой малинник, и если *он* явится, не жди ни минуты и беги тотчас же доложить мне! Слышишь?

– Слушаю, ваше вскбл… – пропустил озадаченно тот.

– Хорошо, ступай!..

Троекуров выпустил его на крыльцо, вернулся в кабинет – и долго еще среди ночной тишины слышался в пространном покое шум его то лихорадочно спешных, то странно замедлявшихся шагов…

VII

О прежних днях, о тех проказах
Поразвернитесь-ка в рассказах!
Улыбочка и пара слов,
А кто влюблен, на все готов.

Горе от ума.

– И вот в каком galetas[75] вы меня находите! – говорила через день после того, что передано нами читателю, княгиня Ольга Елпидифоровна Шастунова, выходя встречать только что подъехавшего к крыльцу ее домика гостя в большую гостиную ее девических времен, теперь почти совсем пустую комнату, с полудюжиной искалеченных стульев и наполовину оборванными, почернелыми от времени и табачной копоти обоями на стенах.

Она гадливо, но смеющимися глазами указывала на эту жалкую обстановку, странно противоречившую безукоризненно изящному, по последней парижской моде, утреннему туалету, в который была она облечена, начиная с атласных туфель на шелковых, chinés, чулках couleur saumon, и кончая крохотным чепцом из кружев, наколотым над ее роскошною, *собственною* косой.

– Пойдемте ко мне в *будуар,* – насмешливо подчеркнула она, – там найдется по крайней мере на чем сесть.

– И вы меня оттуда не прогоните, как некогда отсюда? – ответил лукаво Ашанин, стоя посреди комнаты, и, поведя глазами кругом нее, остановил их на открытом окне, выходившем в палисадник, из которого некогда он, весь трепет и желание, внимал тайком ее страстному пению[76].

Она вспомнила и расхохоталась:

– Какой вы злопамятный, однако!.. А теперь увидим, смотря по тому, как вы себя будете вести…

– О, на этот счет будьте покойны, – как сама добродетель! – вскликнул торопливо московский Дон-Жуан, и с таким, по-видимому, убежденным выражением, что она подняла на него удивленные глаза… но тут же усмехнулась, чуть-чуть пожала плечом и без слов прошла в соседнюю комнату.

Ашанин на миг даже глаза прижмурил:

– …И избави нас от лукавого! – прошептал он мысленно кончик молитвы, следуя за ней.

«Будуар» себе наша княгиня устроила в бывшей своей девической комнате, собрав туда все, что еще оставалось в доме после занимавших его жильцов неполоманной мебели, которую покрыла, как на театральных сценах, вплоть до низу, чехлами из ситца, а на окна и двери навесила той же материи занавеси. На столах разложены были кое-какие ценные безделушки, книжки французских романов в желтых обложках, привезенные хозяйкой из-за границы, ее большой дорожный несессер, с ее вензелем под княжескою короной на каждой из его серебряных принадлежностей. Благодаря всему этому комната представляла если не роскошный, то довольно уютный вид.

– C’est du moins quelque peu habitable ici, – проговорила красивая барыня тем же презрительно веселым тоном, усаживаясь на низкую кушетку и упираясь затылком в огромную подушку, покрытую наволочкой из тончайшего батиста, обшитою кружевом, и с таким же вышитым на ней вензелем ее и короной, сквозь которые просвечивал малиновый цвет шелковой под нею ткани.

– Вы очень милы, что сдержали ваше слово побывать у меня. Вы откуда же теперь, из Москвы? – спросила она, словно *высматривая* своего гостя из-под полуопущенных ресниц и перебирая одною рукой кольца свои на другой.

Он со своей стороны норовил не встречаться с ней взглядом и, прищуриваясь, глядел по сторонам, говоря себе в то же время: «*Не смущать* ее, – легко сказать, когда тут как бы только тебя самого не смутили эти дьявольские глаза!..»

– Из Москвы, – ответил он громко.

– Прямо?

– Не совсем. Я приехал с одним моим знакомым, и мы, не доезжая до вашего города, свернули с большой дороги во Всесвятское, к Троекуровым, которым он родственник…

– Вы их видели? – быстро вскидывая на него теперь «эти дьявольские глаза» свои, прервала она его.

– Как же! Мы приехали к ним третьего дня вечером, ужинали там и выехали ночью… Они меня просили сказать вам, – поспешил он прибавить, предупреждая ее вопрос, – что они знают все о ваших делах чрез здешнего предводителя Юшкова…

– Да, я к нему ездила вчера…

– И что они со своей стороны готовы сделать все, что только могут в вашу пользу…

– Но к себе не приглашают? – перебила она его со внезапною горечью в тоне.

– Напротив, Александра Павловна не успела написать вам, но поручила мне передать лично, что она будет очень рада видеть вас у себя…

– В самом деле?

– Клянусь вам!

Она благодарно кивнула ему и улыбнулась.

– Троекуров est un galant homme après tout! – уронила она как бы про себя и тут же. – А просьбу мою в Москве исполнили? – спросила она его.

– Непременно, и главным образом приехал сюда для того чтобы передать вам об этом, – отчеканил Ашанин, уверяя себя самого в эту минуту, что он единственно из-за этой причины сидел теперь напротив ее в этом уездном домишке; я говорил с пятью или шестью сенатскими доками, из которых один, мой бывший товарищ, исправляет даже должность обер-прокурора. Они все говорят, что дела никакого начать нельзя, если у вас не будет прежде всего письменного документа от мужа, что он взял у вас для уплаты своих долгов принадлежащий вам капитал.

– Ах, Боже мой, – горячо заговорила она, – я это очень хорошо знаю и писала к нему об этом по крайней мере десять раз с тех пор, как вернулась в *карупатрию*, но он *нарочно* не отвечает… Если б я могла предвидеть, до какой низости могут дойти эти маменька и сынок, я потребовала бы от него тогда же, в Париже, формальную расписку на мои деньги. Но я тогда только думала о том, как спасти их же имя от стыда, от оглашения в газетах… Наш посол, он меня давно знает, граф Павел Дмитриевич, и всегда благоволил ко мне, он ужасно спешил, боясь скандала, высылкой Базиля в Россию, узнав от меня, что я готова заплатить все его долги… Он так и уехал, а я осталась возиться с его кредиторами. Я его едва видела в те два-три дня до его отъезда. Он там сидел у своей Баруччи и ноги ей лизал, пока я бегала по банкирам и переводила свои бумаги на французские деньги. Он уехал даже рано утром, не зайдя ко мне проститься… Он мерзавец в полном смысле слова! – воскликнула с потемневшим взглядом и дрогнувшими губами наша княгиня. – Un digne fils de sa maman! Я вам говорю, я знаю его, он *нарочно* не отвечает мне теперь, он мстит мне за Париж, за то, что не удалось ему провести меня, что я прямо обличила его в обмане и не скрывала после того моего отвращения к нему: пусть себе, думает он, мучается она и разбирается с милою моею мамашей, а я, je ferai le mort, будто меня совсем нет на свете!.. А он очень хорошо знает, я ему писала, что я из Петербурга выехала с единственною, *последнею* сторублевою бумажкой в портмоне, – докончила она и вся заалела.

– Княгиня, – быстро начал Ашанин, – будьте на этот счет совершенно покойны. Аглая Константиновна в конце концов тем или другим образом принуждена будет возвратить вам ваши деньги; а пока вы можете быть уверены…

– Что старые друзья не оставят меня умереть с голода, – поспешно договорила за него она с насилованным желчным смехом, – ну да, конечно!.. Вот только сейчас пред вами был у меня здешний исправник, вы его знаете; помните, тот студент Факирский, который с вами в *Гамлете* играл и все проповедывал о Жорж Санд[77]; – он приносит мне две тысячи рублей, полученные им на мое имя от некоего таинственного незнакомца… Je l’ai envoyé paître avec son argent! – пылко воскликнула она еще раз.

Ашанин недоумевая поглядел на нее.

– Вы не догадались, от кого эти деньги? – взволнованно продолжала она. – А я тотчас же поняла: это все тот же великодушный господин Ранцов посылает мне… Ему надо пырнуть меня своею grandeur d’âme: на вот, новый твой муж – негодяй и мерзавец, а я…

Голос ее вдруг оборвался, подвижное лицо преобразилось все:

– Не слушайте меня! – произнесла она сквозь слезы, нежданно подступившие к ее горлу. – Я стала нервная, раздраженная, злая! Мне грех так говорить, я не стою его подошвы. Он в самом деле благородный, редко-великодушный человек… Он узнал, что мне трудно… и первым движением его было прислать мне… чтоб я не нуждалась, и скрыл, от кого деньги, именно для того, чтоб я не могла обидеться… А я именно поэтому самому и не могу, не хочу принять их, вы это понимаете?

Пылающие глаза ее устремились прямо в лицо Ашанина.

– Вы понимаете, что я готова скорее протянуть руку на улице первому встречному, чем принять от *него теперь* милостыню!

– К чему волноваться, княгиня! – молвил он на это, насколько мог успокоительно. – О «милостыне» не может быть тут речи, я нашел для вас в Москве кредит на столько и на такое время, какие только вам будут нужны…

Она его не слушала, ее уносил опять новый порыв:

– Ведь это грабительство, то, что *они* со мной делают, – восклицала она, вся пламенея от негодования, – *они* хотели бы действительно видеть меня нищею, похоронить меня живою в каком-нибудь подвале… *Она*, это «раскаталовское отродье», «кабацкая пава» – всю жизнь так называли ее все – она смеет гнушаться мной! Она меня еще не знает, я такого еще наделаю, если доведут они меня до отчаяния, что сама она с сынком попрячутся в углы от стыда за свое имя!.. Имя это – *мое* теперь, они не могут отнять его у меня, я княгиня Шастунова, я вольна, если мне вздумается, расславить его по всей Европе!..

Ашанин быстро наклонился с места, схватил ее обе руки:

– Княгиня… Ольга Елпидифоровна, ради Бога, перестаньте! – вскликнул он, мгновенно прижимая их к своим губам, и тут же с каким-то испугом выпустил их и откинулся в свое кресло. – К чему это отчаяние? Прежде всего надо надеяться, ее уговорят здесь – но если б она уперлась, все-таки вы имеете возможность, даже помимо суда, обратиться к высшей власти… Вы ведь, верно, сохранили отношения с графом Анисьевым?

Она высокомерно качнула головой:

– Если бы мне вздумалось только пальцем поманить его, – думаете ли вы, что я была бы теперь здесь, в этой трущобе!.. Но я не хотела… не хочу!..

Брови ее сжались.

– Вот видите ли, Владимир Петрович, я много делала в жизни глупостей, непростительных глупостей… вы сами знаете, – как бы невольно подчеркнула она, – делала, всегда увлекаясь, в явный вред себе почти всегда. Но так холодно, sans entraînement, я никогда, никогда не была на это способна… Этот человек, он преследовал меня еще с Сицкого, с тех дней, помните? – и

ничего из этого для него не вышло: je l’ai tenu le bec dans l’eau pendant des années; он все надеялся и – ни-че-го; он был мне всегда противен своими иезуитскими *подходцами… И* потом, когда он, уже вдовый, вернулся в Петербург и получил это свое теперешнее место, после смерти *его*, моего незабвенного Леонида Александровича (и глаза ее при этом воспоминании также внезапно затуманились), он начал опять и опять то же, sans succès – и с тех пор он меня возненавидел. Он первый друг злейшего моего врага, княгини Андомской, дочери *его*, графа. Она тоже простить мне не может, что отец ее так любил меня… Они так устроили, – с новою горечью в голосе и румянцем гнева на щеках произнесла Ольга Елпидифоровна, – что, когда я вернулась теперь из-за границы в Петербург, половина знакомых мне домов была для меня закрыта!..

Выражение лица ее изменилось еще раз. Знакомая Ашанину победная улыбка заиграла на ее пышных губах.

– И все-таки, что бы они ни делали, – воскликнула она, – я знаю, что еще *могу,* чего *крепко захочу… Искорки в* глазах моих еще не потухли, Владимир Петрович, как вы находите?

– Господи, – чуть не заплакал он в ответ, – для чего это вы мне говорите, к чему *смущаете?*

– Вы боитесь, – совершенно уже весело рассмеялась она, – мне это, самой собой, чрезвычайно лестно… А я, – как бы нехотя вырвалось у нее чрез миг, – написала вчера письмо к прелестной belle-maman, после которого она очень призадумается, надо полагать…

– О чем оно? – спросил машинально Ашанин.

– Об одном обстоятельстве, – пролепетала она каким-то странным, не то стыдливым, не то смущенным тоном, – о котором мне не… приходилось говорить до сих пор… Вы об этом как-нибудь узнаете… а теперь довольно о скучных материях, – оборвала она разом.

Она опять откинулась затылком в свою подушку и взглянула ему в лицо:

– Давно ли ж это стали вы меня бояться, Владимир Петрович? – спросила она вдруг à brûle pourpoint, как говорят французы, – прожигая его насквозь насмешливо-вызывающим взглядом.

Полымем весь запылал московский Дон Жуан от этих слов, от этих взглядов… и тут же, к немалому собственному своему удивлению, нашел в себе силу оказать воздержность, которой мог бы позавидовать сам Сципион африканский, стяжавший себе в древности такую славу по этой части.

– С тех пор, княгиня, как это мне предписывает боязнь подать врагам здесь повод к злословию, – отпустил он веско и медленно, поникая челом с самым значительным видом и в то же время говоря себе мысленно, – Господи, послушался я этого Троекурова; а ведь никто, в сущности, никто, начиная, разумеется, с нее первой, не скажет мне спасибо за это мое донкихотство!

Она открыла большие глаза; ноздри ее, веки дрогнули, готовые, казалось, разразиться вот сейчас гомерическим смехом… но при свойственной ей необычайной изменчивости впечатлений разрешилось это самым неожиданным образом тем, что слезы еще раз выступили под ее длинными ресницами:

– Вы настоящий друг, Владимир Петрович, – проговорила она, протягивая ему руку, и вздохнула, – вы правы: враги, сплетни, злословие… Попробуй здесь только немножко пококетничать, тебя съедят!.. Да и время наше прошло, – примолвила она через миг уже не с

улыбкой, – не правда ли, состарились мы оба?..

– К чему же на бедное время клеветать, – комически вздохнул и он в ответ, – время еще ничего, терпит. А уже такая, видно, доля моя несчастная с вами…

Она глянула на него исподлобья:

– Не раскаивайтесь, немало мы с вами посумасшествовали в молодости!

– Так мало, – воскликнул он, – что злость меня берет, как только подумаю об этом!

Она вдруг задумалась, словно опечалилась:

– Знаете, что я вам скажу – со мной с некоторых пор происходит что-то странное, чего никогда не было прежде. Мне представляется, что жизнь уже вся, до дна отжита мной, что вот, как на театре, еще несколько слов последней сцены, и занавес опустится, огни погаснут…

Ашанин тревожно поднял на нее глаза.

Она заметила это и тотчас же переменила разговор:

– Ах, кстати, я и забыла вас спросить, – молвила она, – слышали вы, чем вздумала belle-maman напугать своего сынка за то, что он осмелился жениться на мне?

– Тем, что сама вздумала выходить за Зяблина? – засмеялся и он.

Она взяла со стола хрустальный флакон с одеколоном, открыла его, нюхнула и, взглянув на своего собеседника, иронически протянула:

– Вы этому верите?

– Он по крайней мере сам несколько дней тому назад объявил об этом в Москве, в английском клубе… Там по этому случаю устроена ему была даже комическая овация. Monsieur Lecourt, известный там один жуир. произнес ему поздравительную речь, после чего счастливого жениха напоили шампанским до положения риз и отвезли к цыганам, где он и проспал до позднего вечера следующего дня.

– -Le pauvre homme! – произнесла Ольга Елпидифоровна, подражая голосу Augustine Brohan в этом месте мольеровского *Тартюфа.* – Но belle-maman, это такая прелесть! Pour faire niche a «Basile mon fils», она грозит ему мифическим нарождением на свет маленьких Зяблиных…

Ашанин расхохотался:

– Он ее надует самым жестоким образом.

– Браку этому никогда не быть, – сказала она, сжав брови.

– Вы думаете?

– Уверена.

– Из чего вы это заключаете?

– Из ее дурацкой натуры… Я вам говорила, что писала ей вчера…

– Да…

– Ну так вот!

– Не понимаю княгиня, о *чем* писали вы ей?

Она вдруг заалела вся и махнула рукой:

– Ах, пожалуйста, не спрашивайте… Мне гадко говорить об этом!.. Узнаете!..

Грохот экипажа, подъехавшего в эту минуту к крыльцу домика, заставил их обоих обернуться на окно.

– Факирский, – промолвила княгиня, – и с ним еще кто-то военный.

– Двоюродный мой брат, Блинов, с которым мы приехали сюда из его деревни… Это он отыскивает меня по городу, – засмеялся Ашанин, – позволите ли вы мне его вам представить? Он очень глуп, начитан и либерал первой руки.

– Пожалуйста! Просите их обоих войти!..

Ашанин побежал встречать приезжих в переднюю.

VIII

И счастлив, *кто* неведом был
В сие комическое время.

Щербина.

Sag mir, warum dich keine Zeitung freut?
– Ich Lbe sie nicht, sie dienen der Zeit.

Göthe.

Подполковник Блинов был малый лет под тридцать, рослый, здоровый, с густым лесом темных волос, подчесанных вверх a la huguenot, и приятными чертами свежего лица… Выражение его карих, несколько на выкате глаз, его движения и речь исполнены были той несколько наивной, но искреннейшей самоуверенности, которая составляла в эту эпоху как бы отличительную черту воспитанников заведения, в котором он получил высшее военное образование. «Я – последнее слово науки, я – носитель высших идей», – словно так и веяло от всей его наружности, начиная с зевсовых бровей и кончая серебряным аксельбантом.

Он бойко, с ловкостью, вполне соответствовавшею этой его глубокой вере в себя, раскланялся пред хозяйкой, опустился на указанный ею стул и голосом, «шуму вод подобным», отчеканивавшим будто молотом каждое из произносимых им слов, заявил ей о «своей благодарности *року,* доставившему ему случай быть представленным ей, так как это составляло всегда предмет ого желания еще в Петербурге, где он в театрах издаля не раз имел возможность *изучать* характер ее красоты».

– «Изучать» даже? – насмешливо заметила она.

– Непременно-с! – отрезал он и, строго взглянув на нее, отпустил соника: – красота – необходимая функция и неизбежный ингредиент в жизненном процессе человеческих обществ.

Ее устранить нельзя; она имеет неопровержимо воспитующее значение, и в синтезе будущего лучшего общества, регулированного на началах чистого разума, она уже на совершенно реальной почве займет несомненно то место утешительницы человеческих скорбей, которое, – он презрительно усмехнулся, – в течение восемнадцати веков темное человечество предоставляло сентиментально-буржуазным басням христианства.

Он видимо повеселел, заявив свой такой решительный символ веры, тряхнул эполетом и взглянул ей прямо в лицо:

– Я весь принадлежу убеждениями к этому *близкому,* надеюсь, будущему, княгиня, – галантно отпустил он.

Он ей показался очень забавен:

– Это прелестно, – расхохоталась она, – но какой же *вы* идеалист!

Блинов весь даже вспыхнул:

– Княгиня, чем я заслужил такой упрек? – проговорил он, кисло улыбаясь.

– Упрек? Нисколько! Вы сейчас разбранили христианство за его веру в будущее и тут же объявляете, что и сами вы живете будущим… Разве это не идеализм опять?

– Да-с, но только там – небо, то есть – чистейшая ерунда, а я разумею все ту же, *земную* — иной не допускаю – жизнь человеческих обществ, просветленную в этом ближайшем будущем свободой и наукой, всемогущими владыками новых времен. Я стою на совершенно *реальной* почве, – повторил он с видимым удовольствием только что пущенный в те дни новый термин – и давно порешил с мифами, княгиня.

Она прикусила иронически губу:

– Так вы ждете царства… чего бишь? ну, да все равно!.. А пока, что же вы делаете?

– Как изволите видеть, – усмехнулся свысока подполковник и небрежным движением руки показал на свой мундир, – ношу вот эту ливрею… а в настоящую минуту, – как бы нехотя промолвил он, – занимался весьма скучным делом, а именно: урегулированием моих отношений с сельским людом, само собой весьма невежественным, с которым поставила меня в юридическое столкновение одна наследованная мной земля.

– «У-ре-гу-лирование», – как бы с трудом произнося это слово, – это попросту как же сказать? – спросила княгиня самым добродушным тоном.

– Официально это называется «уставною грамотой», – уронил он.

Она повела головой: поняла, мол.

– Вы здешний помещик?

– Земле-вла-делец, – протянул Блинов, поправляя ее, и снисходительно засмеялся, – развитому человеку в наше время достаточно уже тяжело быть *собственником,* чтоб иметь право по крайней мере протестовать против клички, столь тесно связанной с понятием о рабовладении… Я наследовал кое-каким куском земли от дяди, умершего на мое счастие, уже после упразднения плантаторства в нашем любезном отечестве.

– И приехали сюда по этому случаю?.. Долго думаете вы здесь остаться?

– Да вот-с, как кажется, приходит к концу. Я думал тотчас же и вернуться к месту моего служения… Но теперь, чувствую, не буду иметь духа спешить, – заключил он уже с самым убийственным взглядом по ее адресу.

– Люблю, по крайней мере откровенно! – расхохоталась она на это изо всей мочи.

Он поглядел на нее с видимым недоумением: мысль о том, что он мог кому-либо служить предметом забавы, и в голову ему, разумеется, прийти не могла…

Ашанин между тем занимался Факирским. Странно было ему видеть бывшего, каким он его знал, восторженного студента в этом полицейском мундире. Он отвел его в сторону, к окну, дружески пожимая ему руку и глядя ему в лицо с радушною улыбкой и невольно прорывавшимся вопросительным выражением во взгляде. Тот понял и слабо усмехнулся в свою очередь. Они уселись.

– Да-с, не правда ли, не ждали вы встретить меня в *этом виде?* – начал прямо Факирский. – *Исправники…* Чрез десять лет интервала преемник Елпидифора Павловича Акулина, помните его? – прошептал он, наклоняясь к собеседнику, чтобы не быть слышанным хозяйкой. – И даже ее по нужде, по собственной охоте. Служил чиновником особых поручений при губернаторе, назначался советником губернского правления; не захотел и попросился сюда… Вас удивляет, вероятно?

– Н-нет, но…

– Но все же странно вам кажется? А в сущности, просто очень: признаете вы, что освобожденному теперь народу надо всячески помогать встать на ноги?

Ашанин уже с некоторым недоумением поглядел на него теперь:

– Ну да, – проговорил он машинально.

– Так вот-с: в мировые посредники не попал – бар туда все поназначили – я и пошел в исправники: сочувственники народу в ближайших к ним полицейских должностях не менее, пожалуй, нужны теперь…

Собеседник его невольно усмехнулся.

– Смешно вам.

И у Факирского блеснули глаза.

– Что вы? – возразил поспешно Ашанин, ласково пожав его за локоть. – А что вы тот же энтузиаст остались, это, кажется, верно.

Тот поглядел на него с серьезным лицом:

– Белинский «все тем же энтузиастом» в могилу сошел: дурного в этом я не вижу ничего-с!

– Ни я, напротив… помните ваши, да и мои восторги Жорж Сандом?

Факирский как бы поморщился и дернул плечом:

– Да-с, конечно, романтизм в свое время… Только теперь иное-с, свое зачалось, – подчеркнул он, – видели, какая силища-то из русского народа идет?

– Это что же такое? – спросил, не понимая, Ашанин.

– А Базаров-с в *Отцах и детях.* Вот оно куда и откуда настоящее-то движение пошло!

Ашанин засмеялся:

– Базаров? Так это какой же «народ»! Это, скажите, *семинарист* «пошел», я буду с вами согласен.

– Отчего же «семинарист»-с? – пылко вскликнул тот. – Это нигде не сказано…

– И везде насквозь видно…

– Позвольте, однако, – начал было исправник и вдруг вспомнил и оборвал:

– Извините, в другой раз, если придется встретиться, мы с вами можем возобновить этот разговор… А в настоящую минуту мне необходимо ехать по службе, и к Ольге Елпи… к княгине поручение есть…

Он встал и подошел к ней:

– Княгиня, – веско промолвил он, останавливаясь за стулом Блинова и глядя на нее многозначительным взглядом, – меня просили передать вам несколько слов…

Она тотчас же догадалась; по губам ее пробежала словно торжествующая усмешка.

– А, это из Сицкого?.. Письмо, или… – не договорила она.

– Евгений Владимирович Зяблин приехал и…

– И что же? – заторопила она его.

– Он желал бы лично повидаться с вами… если вам только будет угодно принять его, – счел нужным прибавить от себя Факирский.

– Когда?

– Он остановился у меня и ждет вашего ответа.

Блинов поднялся с места:

– Дальнейшее присутствие наше здесь будет, кажется, лишним, княгиня, у вас дела…

– Да, действительно, – озабоченно молвила она, – мне нужно будет переговорить с этим… господином…

– Так позвольте мне проститься и просить о дозволении посетить вас когда-нибудь в более удобное время.

– Ах, пожалуйста, я очень рада буду; здесь такая невыносимая скука!

И она любезно и с улыбкой протянула ему руку на прощанье.

Он раскланялся.

– Мы едем, Владимир? – обернулся он на Ашанина.

– Ах, нет, – воскликнула нежданно для него хозяйка, – Владимир Петрович мне нужен… Очень прошу вас извинить меня, но у меня будет сейчас объяснение, при котором я желала бы иметь свидетелей… Я бы вас тоже попросила, Семен Петрович, – обратилась она к Факирскому, – передать, во-первых, господину Зяблину, что я его жду, а во-вторых, присутствовать тоже при моем разговоре с ним.

– Не взыщите, ради Бога, княгиня, – возразил живо исправник, – мне это совершенно невозможно. Я только заехал известить вас, а меня лошади ждут на квартире. Мне сейчас же надо скакать в уезд: получил только что известие, что там на сенокосе, на Оке, произошла между крестьянами какая-то драка; двум человекам головы прошибли и одному из них чуть не до смерти…

Блинов, насторожившийся уши при первом слове о «драке», быстро подошел к нему:

– Не изволите знать, из-за чего вышла эта баталия и в какой именно местности?

– Там луга чьи-то в споре, так сошлись косцы с двух сторон…

– Не *Крусановские* ли луга по названию?

– Кажется так… Я не успел еще хорошенько расспросить…

Блинов с несколько расстроенным лицом повел глазами на двоюродного брата, как бы призывая на него внимание исправника:

– Луга эти, – сказал он Факирскому, – вот как может он вам засвидетельствовать со слов мирового посредника Троекурова, – утверждены окончательно за мной губернским по крестьянским делам присутствием, и я сдал их в аренду купцу, который, как мне известно, сегодня действительно должен был начать косить их. Со стороны претендовавших на луга крестьян оказано было, вероятно, ему сопротивление… Позвольте мне поехать туда с вами для разъяснения этого… беззакония… Терпеть такое самоуправство, вы согласитесь, нельзя-с! – вскликнул он уже весь красный.

– Что же делать, monsieur Блинов, – рассмеялась внезапно Ольга Елпидифоровна, взглянув на него, – видно еще не близко до той счастливой минуты, когда все в природе будет «у-ре-гу-лировано» – так я говорю? – «на началах чистого разума».

– Княгиня, вы, я вижу, злы! – с худо скрытою досадой попытался улыбнуться на это ученый офицер.

Он отвесил ей довольно сухой поклон и, как бы встрепенувшись весь и вскинув голову вверх, вышел из комнаты вместе с исправником.

– За что это вы его, бедного, сквозь строй прогнали? – спросил ее Ашанин, как только остались они одни. – Не понравился он вам?

По губам ее пробежала гримаска:

– Нет, ничего… Он смешной со своими выражениями, точно русский журнал читаешь, un peu

mauvais genre… Впрочем эти все *новые* такие! Вы ему, пожалуйста, скажите, чтоб он не сердился. Вы меня знаете, я всегда говорила tout ce qui me passe par la tête.

Она протянула ему вдруг через стол руку:

– Троньте, вся холодная! Нервы у меня разыгрались, ужас!..

– Это в ожидании этого старого Печорина? – понял он и неодобрительно закачал головой. – Ведь вы из него, только бы охота явилась, веревки станете вить, как говорится.

– Я боюсь, что наговорю ему дерзостей!..

И красивая барыня наша вся переменилась в лице.

– Когда я вспомню, – вырвалось у нее неудержимо, – мое положение тому два года… И вдруг теперь!.. Объясняться с этим отставным «бригантом», входить с *ними* в какую-то сделку… ждать милости… когда я требовать могу!.. я вся из себя выхожу при одной этой мысли!.. Вот что, Владимир Петрович, – так же быстро стихая, молвила она, – пожалуйста, следите за мной, и если вы найдете, что я уже слишком неприлично кричу на него, сделайте мне знак головой: я пойму и стихну… право, стихну! – повторила она с каким-то очень милым, напомнившим ему вдруг все прошлое движением головы и рук, невольно усмехаясь в ответ на его недоверчивую улыбку.

– Экая вы прелесть! – воскликнул в свою очередь неудержимо Ашанин с загоревшимися пожаром глазами. – Да будь тут не только этот старый балбес…

– Ссс! Вот он идет, – зашукала ему, грозя пальцем, княгиня, указывая на окно, мимо которого спешными шагами проходил действительно кто-то, – да закройте это окно, с улицы могут услышать все… Амалия!

Знакомая нам чухонка-субретка вышла из комнаты, служившей ее барыне спальней.

– Пойдите, отворите дверь одному тут господину, а потом уж никого не пускайте и сами не входите сюда!

Амалия небрежно кивнула головой и, не торопясь, направилась к передней. «До того мы доигрались, что я у нее и за камердинера, и за швейцара теперь состою!» – так и говорила, казалось, вся ее белобрысая кислая фигура.

IX

Les vieux fous sont plus fous que les jeunes.

La Bruyère.

Зяблин вошел, ужасно важный и ужасно учтивый. Он расшаркался пред хозяйкой и ее гостем, будто встречался с ними в первый раз в жизни. Он видимо старался изобразить из себя грансеньора, изысканною благовоспитанностью своей ограждающего себя заранее от возможности каких-либо неприятных столкновений. Я, мол, прежде всего, так учтив, чтобы вы и думать не посмели фамильярничать со мной… Но вечно наблюдательный Ашанин тотчас же заметил за этим грансеньорским видом что-то тревожное в выражении его слегка подергивавшихся губ и разбегавшегося по сторонам взгляда.

Покойная Марья Яковлевна Лукоянова, выражаясь на своем образном языке, что знакомого нам «Калабрского бриганта» давно всего *моль съела,* была не совсем права: в действительности он был только как бы кое-где, местами подточен ею, но в общем облике производил какую-то еще иллюзию былого *бель-омства.* Волосок к волоску, приглаженная прическа, подвитые и подкрашенные усы, подтянутый, как уверяли злые языки, корсетом живот, щегольство туалета хорошего вкуса давали ему, особенно в сидячем положении (на ходу ножки не всегда уж охотно повиновались ему), тот некоторый faux air de jeunesse, которого так добиваются иные пятидесятилетние холостяки и который для него, «бриганта», в той специальной роли, на которую обречен он был судьбой, был даже в известной степени обязателен. И он тщательно сохранял в себе этот *air* замороженной молодости со всеми особенными аллюрами непонятного уже в наши дни щегольства светского пошиба и «разочарованности» времен *Героя нашего времени,* словно драгоценные буквы старого чекана на давно истертой монете.

Он был в летнем костюме безукоризненного покроя и голубом галстучке под отложными, à l'enfant, воротничками тончайшей сорочки, в ботинках с лакированными носками и с легкою серою шляпой в руке, плотно охваченной лиловой перчаткой, будто прямо соскочил с последней картинки мужских мод; запах jockey-club'а несся от него тонко-проницающею струей.

Княгиня наша обняла всего его одним зорким взглядом – и нервное возбуждение, только что выразившееся желчною вспышкой в разговоре ее с Ашаниным, сказалось теперь вновь неодолимым желанием рассмеяться. И действительно, после Блинова – Зяблин… «после Базарова – Печорин», мог бы сказать мыслитель и исправник, Семен Петрович Факирский…

– Как мы давно не видались с вами, monsieur Зяблин, – молвила она, протягивая ему руку с кушетки, – а вы все тот же… Toujours jeune et superbe… В самом деле, удивительно comme vous êtes toujours jeune! Хорошо жить, не правда ли?

И она, как бы по этому случаю, дала полную волю теперь пронимавшему ее внутренно смеху.

Опустившийся на место против нее Зяблин в свою очередь недоумело улыбался, весьма польщенный, с одной стороны, ее фразой насчет его вечной молодости, несколько тревожно, – с другой, стараясь объяснить себе причину ее нежданного хохота.

– Вы из Сицкого? – спросила она.

Он наклонил голову.

– Да-с… и…

– И привезли мне, – не дала она ему заговорить, – письмо с букетом, если не цветов, то любезностей, de la part do belle-maman?

Лицо «британта» внезапно омрачилось: тон этот показался ему грешащим именно тою *фамильярностью,* которой он пуще всего не хотел допустить в отношениях к нему «этой женщины».

– Ни букета, ни письма я не привез-с, mille pardons, – проговорил он с самой высоты своего величия, – а имею поручение от княгини Аглаи Константиновны переговорить с вами по… по некоторому предмету, – уже несколько промямлил он.

У нее сверкнули глаза:

– А-а! – протянула она. – Вам дано поручение объясниться со мной об этом «предмете» на словах? И как же именно: как простому поверенному, или уже в качестве beau-père’а, мужа матери de mon noble époux. Ваша помолвка с ней, говорят, объявлена?

Странное будто смущение произвел этот вопрос на «бригана»: он кашлянул, заерзал на своем стуле, повел неопределенно взглядом на вопрошавшую, на Ашанина:

– Княгиня действительно сделала мне честь принять мое предложение, – выговорил он наконец не совсем твердо.

– С чем и позвольте мне поздравить вас ото всего сердца, – подхватила Ольга Елпидифоровна самым серьезным тоном, сквозь который ирония пробивалась тысячью беспощадных иголок. – Какое же «поручение» имеете вы ко мне от вашей будущей супруги?

Он поднял на нее глаза, стараясь придать как можно более строгости их выражению:

– Разговор об этом, vous comprenez, madame, – с некоторым даже шипением произнес он, – должен быть совершенно… интимен, так сказать.

– Ах, вам мешает присутствие Владимира Петровича? Я его нарочно пригласила остаться, и вот жалко, Факирский должен был уехать, я его тоже приглашала…

Никакого «поручения» от belle-maman я слушать не стану без свидетелей, предваряю вас.

– Почему ж, однако, такое… недоверие? – пробормотал, видимо петушась и краснея, Зяблин.

– Потому что я ее знаю так же давно, как вы, знаю, что ей лгать нипочем, нипочем отказаться от своих слов, что для нее нет ни Бога, ни совести!..

Ашанин, продолжавший стоять и следивший, не отрываясь за каждым ее словом и движением, заморгал ей в эту минуту глазами: «Сдержитесь, мол, потише!..»

Она видела это, но с новым порывом и обращаясь теперь уже к нему:

– Знаете ли вы, – воскликнула она с нервным хохотом, – что эта самая женщина, обкрадывающая меня теперь со своим сынком из злобы на то, что я имела глупость выйти за него замуж, приезжала ко мне в Петербург за несколько месяцев пред тем уговаривать меня сделаться la maîtresse того же ее Базиля, так как я une femme du monde и не стала бы обирать его, как его француженки!..

«Бригант» поднялся с места:

– Madame!.. Позвольте мне удалиться, – проговорил он с театральным движением руки, имевшим, очевидно, изобразить чувство самого высокопробного достоинства, – вы так… возбуждены и так выражаетесь про… особу, которую я… *чту,* – точно зацепившись обеими руками за этот глагол, как утопающий за куст, произнес он, – что я считаю долгом дать вам… так сказать, время… успокоиться.

Она тут же неожиданно вся стихла вдруг, поднесла свой флакон к ноздрям и, приподняв глаза, взглянула ему пристально в лицо:

– Оно и лучше, по-моему, – вымолвила она самым невозмутимым тоном, – нас с будущею madame Ziabline рассудит Государь.

– Это как же… вы понимаете? – озадаченно пролепетал он.

– Я уеду завтра в Петербург и подам лично Его Величеству прощение, в котором будет сказано все то, о чем я писала вчера в Сицкое… Вам, не сомневаюсь, показано было это мое письмо?

– Показано, – подтвердил Зяблин совершенно бессознательно. Он чувствовал себя сбитым со своей высокой позиции и не знал, как держаться далее.

Он медленно, точно собираясь приседать, опустился снова на свое место.

– Мне именно о том, что заключается в этом письме, поручено было… переговорить с вами… *княгиня,* – в первый раз с начала разговора называя ее ее титулом, проговорил он.

– Говорите, я буду слушать, – со всей высоты своего величия в свою очередь теперь промолвила она, – но говорю заранее: прежде всего требую, чтобы возвращено мне было то, что мне принадлежит, мой капитал и ценность украденных у меня ее Базилем бриллиантов. Только принимая это за основание, согласна я трактовать об остальном.

Зяблин опять заерзал на своем стуле.

– Кня… Аглая Константиновна не прочь… не отвергает, так сказать, мысли удовлетворить вашим желаниям…

– То есть отдать мне мои деньги? – отрезала она.

– Конечно… хотя нет документов… Но я, поверьте, – «бригант» прижал руку ко груди, – я со своей стороны вполне верю и… в этом смысле утверждал… Аглая Константиновна сама согласна… в принципе… но она полагает, что необходимы, так сказать, некоторые… *условия.*

– Какие условия?

– Вы изволили извещать Аглаю Константиновну в этом письме… об одном обстоятельстве… – не договорил он и покосился в сторону Ашанина, а затем на нее, как бы спрашивая: «Так и говорить при нем?»

Вся она вспыхнула. Но гневом гораздо более, чем смущением зарделось лицо ее:

– Да, извещала… должна была известить – должна теперь говорить об этом с вами, – чужим и при чужом, потому что я к этому вынуждена, потому что вы меня с *нею* приперли к стене!..

Зяблин ужасно заволновался:

– Позвольте, княгиня, моя роль здесь, так сказать, пассивная… Я единственно только как… доверенное, так сказать, лицо. Я, напротив, можно сказать, с удовольствием!.. И сама Аглая Константиновна, – во рту становилось у него сухо, и непривычный к такому расходу слов язык ворочался у него с видимым усилием в гортани, – она даже удивляется, почему вы… ранее не известили ее об этом…

У Ольги Елпидифоровны задрожали губы.

– *Она* «удивляется», и вы тоже, как вижу… вам не понятно это чувство!.. Так я вам скажу, я не писала до этого, не писала до последней минуты потому… потому что это мне слишком тяжело и гадко, – что я ношу под сердцем ребенка от человека, которого я всем существом своим презираю… и что необходимость признаться в этом возмущает всю мою душу!..

И судорожно всхлипнув, она откинулась назад в подушку, закрывая глаза себе платком.

Впечатлительный Ашанин – у него все время от полноты сочувствия к речам прекрасной женщины чесались руки побить неповинного «бриганта», – кинулся к ней.

– Княгиня, успокойтесь… выкушайте воды, я сейчас принесу вам!..

– У кого спросить, я пойду… – предложил со своей стороны Зяблин, вставая со стула с некоторым, впрочем, опасением за благонадежность своих задрожавших от волнения ножек.

– Ничего, нет, ne vous dérangez pas! – остановила их, разом приосанясь, княгиня, – я не легко падаю в обморок. Вы теперь знаете le fond de la question, – с насилованною усмешкой обернулась она к Ашанину, – а затем, monsieur Ziabline, продолжайте: чем же разрешилась княгиня Аглая Константиновна dans sa haute sagesse относительно этого «предмета», как вы выражаетесь?

Бедный Зяблин! Никогда еще в жизни не приходилось ему говорить так много и на столь выходивший из области его печоринства мотив…

– Аглая Константиновна, – начал он своим сдобным голосом, покачиваясь на стуле и разводя двумя пальцами по тщательно пробритому своему подбородку, – была совершенно поражена этим известием… которое, – лицо его омрачилось вдруг, – имело такое влияние на нее, что… даже всем ее мыслям дало, так сказать, другое течение…

«А!» И Ашанин прикусил себе губу, чтобы не засмеяться громко тому заключению, которое из этих слов тотчас же сложилось в его сообразительной голове: «Имеется надежда на внука – значит, мужа не нужно… Умница-то Ольга Елпидифоровна это предвидела – молодец!»

Он мельком взглянул на нее – она чуть-чуть улыбалась…

– Аглая Константиновна, – продолжал между тем «бригант», – имела так много… оснований быть недовольною Базилем… что даже совсем, так сказать, отказалась от него… Но как теперь ожидается от него… по вашим словам… потомство…

Он, словно поперхнувшись, кашлянул и поднял ко рту свою облеченную в лиловую перчатку руку.

– Она этому не верит? – воскликнула, вся зардевшись, вновь княгиня. – Она смеет думать, что я…

«Ради Бога, не волнуйтесь, дайте ему договорить!» – прочла она в устремившихся на нее глазах Ашанина и смолкла разом.

– Я этого не сказал, княгиня, – поспешно забормотал Зяблин, – и Аглая Константиновна со своей стороны… Она только бы желала – чтобы, так сказать, ни для кого сомнения но могло быть – чтобы… *событие,* так сказать, – прошептал уже он, целомудренно опуская глаза, – произошло у нее… в Сицком… Из Москвы будут, разумеется, выписаны для этого известнейший… практикант и… *специалистка…*

– Барабаны и трубы et tout le tremblement! – нервно засмеялась на это Ольга Елпидифоровна. – Что же далее?

– Далее, – повторил он, с новым, видимо, замешательством, – Аглая Константиновна желала бы,

чтобы вы этого будущего… внука ее, так сказать, или внучку… предоставили ей воспитывать…

– То есть, чтоб я, другими словами, отказалась от своего ребенка, – прервал его негодующий возглас молодой женщины, – и отдала бы его ей, чтоб она уморила его, как свою дочь, или сделала из него мерзавца, как ее Базиль!.. И за это удовольствие какая предлагается мне цена? – спросила она вдруг тоном глубочайшего презрения.

«Бригант» окончательно сконфузился:

– У вас, право, такие… можно сказать, ошеломляющие выражения, княгиня… отвечать даже невозможно… Аглая Константиновна предлагает только… в качестве, так сказать, будущей бабушки… А для обеспечения собственно вас, – промолвил он, пристально упираясь взглядом на носки своих ботинок, – она… в ваших же интересах, для избежания еще раз растраты вашего капитала, готова вам платить проценты с той суммы, которую, как изволите вы показывать, заплатили за Базиля в Париже…

– Господин Зяблин, – произнесла неожиданно Ольга Елпидифоровна тоном, заставившим его вздрогнуть, – неужели вы не понимаете сами, какого букета мерзостей являетесь вы ко мне доставщиком?

Он растерянно поднял глаза, поймал на лету нелестное выражение остановившихся на нем больших, говорящих глаз Ашанина, холодно презрительный взгляд, с каким смотрела на него «эта бойкая барыня», и вдруг размяк и распустился всем дряблым существом своим:

– Княгиня, – чуть не плакала теперь его разбойническая физиономия, – я привык быть непонятым… и насколько люди вообще бесчеловечны в своих поспешных приговорах ближнему. Но вы меня жестоко, можно сказать, раните вашими словами!.. Поверьте, Провидение и совесть лишь моя знают, как тяжело мне быть этим, как вы называете, «доставщиком». Я *понимаю* все, совершенно понимаю-с, поверьте… Но ведь я – крепостной! – совсем уже нежданно для слушавших вырвалось у него словно воплем из груди, – крестьянам вот волю дали-с, а я… я по-прежнему в рабстве… и конца ему не вижу, могу сказать… Самое положение мое теперь – посудите! – насчет брака нашего все было решено и подписано, так сказать, и *сама* уполномочила меня объявить об этом в Москве… и вот-с с получения вашего письма совершенная революция в чувствах, истерики, слезы… упреки на меня, поверите ли, что «слабость ко мне», – уже иронически цитировал Зяблин, – «не должна prédominer над devoirs intimes», и что все эта же слабость будто бы «m'a fait, – говорит, – oublier de prévoir le cas, что я могу сделаться бабушкой, et que cela change complètement la question»… Помилуйте, скажите, что же тут «change», говорю, что вы сделаетесь бабушкой. «Mon devoir, – говорит, – посвятить себя теперь à l'éducation de la postérité de mon fils, le prince Шастунов, puisque lui-même est si peu digne du nom qu'il porte». И ведь с этого не собьешь ее, и для этого самого меня послали к вам, на жертву, так сказать, вашему неудовольствию… Во всем этом, княгиня, – воскликнул в заключение злополучный «бригант», – я узнаю руку все той же злой мачехи-судьбы, издевавшейся надо мною с самых, так сказать, юных лет, добивает-с меня она теперь!..

Он опустил глаза и голову и махнул рукой отчаянным движением.

– Мне вас очень жаль, monsieur Зяблин, – сказала Ольга Елпидифоровна, которую эти его *жалкие* слова чуть не заставили расхохотаться опять, – но вы можете успокоиться: то «обстоятельство», по которому я имею теперь удовольствие видеть вас у себя, нисколько не должно расстраивать ваши планы. Пославшей вас я прошу вас сказать, что «postérité» ее сынка, то есть *моего* ребенка, я скорее в воду брошу, чем дозволю ей «воспитывать» его, и чтоб она это вперед знала и распорядилась en conséquence, потому что она меня ничем не в

состоянии подкупить, ни склонить на уступку. Ни мне, ни *моему* потомству не нужно ее денег… Эти ее деньги – прокляты: каждого, кто к ним коснется, ждет позор или гибель. Так и скажите ей!.. Я требую от нее одного, и так ей писала, чтоб она вернула мне мой капитал, растраченный ее сыном; мне будет его достаточно, чтобы воспитать на собственные средства будущее человеческое существо… воспитать так, чтоб оно, Боже сохрани, ничего похожего нравственно не имело ни со своим папашей, ни с бабушкой… да и ни со своею сумасшедшею матерью тоже! – вскликнула она неудержимо в уносившем ее горячем порыве.

«Бригант» растерянно глядел на нее; он, видимо, с трудом соображал в голове, должно ли было то решение, которое сейчас выражено было ею, послужить к утверждению его «планов» или, напротив, к их окончательному расстройству. Положительного пока он предвидел в ближайшем одно: «Та же опять канитель гнусная и дурацкие речи!..»

– Аглая Константиновна никак не ожидает такого ответа, – жалобно проговорил он, вздыхая из самой глубины груди.

– Я полагаю, – презрительно усмехнулась в ответ на это его собеседница.

Он молчал, пожевал машинально губами, продолжая недоумело поглядывать на нее.

– А как же, княгиня, насчет… предложения, чтобы вы пожаловали в Сицкое?.. – не договорил он.

– Pour que j’y vienne faire mes couches? – твердо и спокойно досказала за него она. – Я не прочь… чтоб *она с* компаниею «никакого сомнения» действительно не могла иметь… А относительно того, что вы мне говорили о каких-то процентах, которые рассчитывает она мне платить, то объявите ей, что я никаких ни денежных, ни иных дел с нею иметь не желаю, а капиталом моим распоряжусь сама, как знаю. Прошу вас передать это ей категорически и сказать, что, если я от нее до завтрашнего числа вечером не получу удовлетворяющего меня ответа, я в ночь же выезжаю отсюда в Петербург… А теперь довольно, je n’en puis plus-!..

Она встала с места, выпрямилась… Он вскочил в свою очередь.

– Pardon, monsieur Зяблин, мне нечего вам более сказать… и я ужасно устала, laissez-moi me retirer. До свидания!

Она протянула ему руку и обернулась к Ашанину:

– Я вас заставила прослушать очень скучные объяснения, Владимир Петрович, но ваша старая дружба простит меня за это, надеюсь; вы понимаете, как важно для меня, что вы можете быть свидетелем всего, что мне передано со стороны моей belle-mère… Я, впрочем, не сомневаюсь, что сам monsieur Зяблин повторит это, если его спросят…

Она обвела обоих мужчин общим поклоном, прошла в свою спальню и заперла за собою дверь.

– Что ж, пойдемте, Евгений Владимирович, – сказал, помолчав и несколько озадаченно, московский Дон-Жуан, – он никак не предвидел этот внезапный и общий «абшид», между тем как товарищ его, все еще не успев собрать свои мысли, тер себе машинально пальцами подбородок, упершись глазами в пол, – к этакой барыне в перемол попасть, косточки живой не останется – как вы полагаете?

«Бригант» встрепенулся вдруг:

– Дорожка-то в жизни нам одна с вами вышла, Владимир Петрович, – обидчиво вымолвил он, – только вам на ней одни розанчики да ягодки попадались, а мне на каждом шагу шипы и колючки, – так что ж уж вам мне счастием-то своим глаза колоть?

Ашанин засмеялся:

– А знаете ли вы, что Суворов говорил про *счастье?*

– А что-с?

– «Сегодня – счастье, завтра – счастье; надобно же когда-нибудь и иное что».

Зяблин не понял и, не отвечая, тронулся с места.

Они вышли вместе на улицу.

– Вы куда теперь: домой, в Сицкое? – спросил Ашанин.

– Д-да-с…

Они дошли до квартиры, занимаемой исправником. Там на дворе стояли привезшая Зяблина из Сицкого четверня под коляской и распряженный тарантас Блинова. Сам он уехал с исправником на следствие, а слуге этого последнего поручил сказать Ашанину, чтобы тот подождал его возвращения часов до 7 вечера; если же в тому времени его не будет, – значит, что он с лугов нашел возможность прямо проехать к себе в деревню, и чтобы тогда Ашанин ехал туда со своей стороны на его, Блинова, лошадях.

Все так же озабоченный и темный как туча, «бригант», не теряя времени и рассеянно пожав руку своему спутнику, сел в свой экипаж и уехал. Красавец остался один.

Он поглядел на часы: они показывали 3 $/_4$ часа. Часа четыре, таким образом, оставалось ему до отъезда. На что употребить их?

Он вошел в дом. Обязательный слуга ввел его в кабинет барина, предложил ему папирос и свежую книжку *Современника,* – журнала, которым зачитывался «прогрессист»-исправник.

Он взял папиросу, отказался от *Современника* и погрузился в думу.

«Что *игры,* что *грани* в этой женщине! – рассуждал он, вспоминая только что проведенные у нее часы. – Ум, блеск, независимость, чувство… И вся огонь, вся нервы, сверкает, манит, колет, плачет и смеется, и все это равно искренно, равно горячо увлекаясь. Это самая пространная по объему и ровная по звуку женская гамма, какую мне только случалось встретить»…

Он улыбнулся своему сравнению и тут же сжал брови. «А я, – вдруг кинулось ему в голову, – я, благодаря этому Троекурову, решительно в дурака сыграл… Отпустить ей, что я боюсь ее компрометировать, какая пошлость! Будто эта женщина, как другие? Разве она боится пошлых толков, разве ее что-нибудь может испугать, разве она в конце концов не возьмет всегда свое, не выйдет победительницей из теперешнего, скверного своего положения! Она очень мило благодарила меня за мое *рыцарство,* но вот последствие: отпустила меня сейчас с Зяблиным заодно… и ни слова, ни взгляда! Зачем же я приехал сюда?» – явилось в заключение размышлений нашего Дон-Жуана – и, не найдя в мысли никакого удовлетворительного ответа на этот вопрос, он уронил голову в подушку довольно покойного дивана, находившегося в кабинете, и зажмурил с досады веки.

Он тут же заснул, как убитый.

Когда он открыл глаза, солнце заходило по ту сторону дома, а в открытое против него окно врывалась вечерняя свежесть вместе с длинными тенями летних сумерков.

– Не прикажете ли покушать? – спросил его все тот же предупредительный слуга, входя в комнату. – Барин не приказывали себя ждать, а обед у нас готов.

Он согласился, пообедал, привел себя в порядок, и хотя восьмой час был уже на исходе и он был теперь вправе ехать на лошадях Блинова в его деревню, он закладывать не велел, а, сказав слуге, что он пойдет «ноги немножко поразмять», накрыл низенькою серою шляпой свои кудрявые черные волосы и вышел со двора…

Он очутился чрез несколько минут на улице, на которую выходил домик молодой княгини Шастуновой.

Улица была пуста. Только какой-то старый гарнизонный солдат, заметно подвыпивший и в дырявых сапогах, плелся, пошатываясь, по ней, жалобно повздохивая и причитывая себе что-то под нос.

Ашанин, как бы боясь натолкнуться на него, спешно перебежал на сторону, противоположную домику, оперся о какой-то забор и жадно вперил оттуда глаза через улицу.

В свежевымытых по приезде Ольги Елпидифоровны оконных стеклах ее обиталища отражались сверкавшие лучи заходящего солнца; словно ряд горящих свеч бил огнем изнутри комнат… Оба окна ее будуара были открыты настежь, и у одного из них, откинувшись затылком в спинку старого, прикрытого пледом *вольтера*, вся облитая этим косым светом заката, сидела сама она в каком-то глубоком раздумье, полузакрыв глаза и придерживая кончиками пальцев только что, видимо, опущенную развернутую книгу на высоко приподнятой коленке.

Ашанин пожирал ее с места своим зорким и дальнозрячим взглядом.

Но она не видала его; она вся погружена была внутрь себя – и невеселая дума думалась ей в эту минуту…

Он не выдержал, перешел через улицу и, остановившись у палисадника, оперся о него локтем, уложил на руку голову – и замер в этой жалостной и выжидательной позе.

Так прошло несколько времени.

Дон-Жуан попытался слегка вздохнуть.

Она не двигалась.

Он подождал с минуту, огляделся кругом и, убедившись, что они теперь «одни на свете», словно воркнул голубиным воркованием:

– О чем вы так призадумались, княгиня?

Она чуть-чуть вздрогнула от неожиданности, слегка повернула голову:

– А, это вы! – произнесла она беззвучным тоном.

– Это я! – ответил он, изображая лицом совершенно убитого судьбой молодого человека.

Она невольно усмехнулась:

– Не уехали еще?

– Как видите!

– Что же?

– Лошадей жду, – солгал немилосердно Ашанин.

– Обедали?

– Д-да, напитали чем-то у исправника…

Она, слегка прищурившись, поглядела на него:

– Вам очень пристала эта шляпа, – уронила она и засмеялась, – а теперь чаю хотите?

– Жажду! – проговорил он, прижимая обе руки ко груди.

– Так войдите, – сказала она, – я вам сама отворю; Амалия моя зла и сейчас объявила мне, что не желает более оставаться in diesem Lumpenloch, в этой нищенской дыре, – она, видите, к Парижу слишком привыкла…

Он вошел.

Она вернулась опять к своему креслу, опустилась в него, закинула обе руки за голову:

– Амалия моя не может, – желчно воскликнула она, – а я… И я не могу, не могу, – уже стоном вырвалось у нее из груди, – лучше умереть сейчас, отравиться, в воду броситься!.. Так нельзя жить больше; скука хуже ада, хуже вечных мучений! Я с ума сойду, если это так должно продолжаться… Вырвите меня отсюда, слышите; как хотите делайте, но чтоб я могла уехать!.. Да, – вспомнила вдруг она, – вы мне говорили утром, что нашли какие-то деньги… кредит в Москве?..

– Говорил, конечно, – поспешно начал он, – но вы были так возбуждены, начали о другом, как будто даже рассердились, мне показалось… Кредит, да, неограниченный, на сколько вам угодно. Если вы решитесь уехать, можете, когда хотите…

Она неудержимым порывом вскочила, кинулась к нему:

– О, мой милый, спаситель!..

И огненный, страстный поцелуй ожег его губы.

Он запылал как в лихорадке и обнял ее стан…

– Дайте мне сообразиться, – отшатнулась она; села опять и закрыла глаза ладонью.

– Вы это верно говорите – я могу рассчитывать? – спросила она чрез миг.

– Так же верно, как то, что я вас люблю до сумасшествия! – ответил он, весь дрожа расходившеюся в нем алчною страстью.

– Любите, так докажите! – сказала она на это, тихо усмехаясь.

– Чем хотите!

– Вот что, – медленно заговорила она, – я велела *ей* сказать чрез этого ее vieux beau, что буду ждать ее ответа весь день завтра, а что если она не ответит, я уеду немедленно в Петербург… Я так и сделаю; не ответит она или ответит и что бы ни ответила – все равно, я уеду завтра вечером…

– В Петербург? – воскликнул тревожно Ашанин.

– В Москву… пока, – ответила она с новою, мимолетною улыбкой, – а там увидим по ответу ее… А вы, мой друг, mon sauveur, – с лукавою нежностью примолвила красавица, – вы должны сегодня же ехать туда. Вы мне там удержите нумер у Шеврие – тот же, если можно, в котором я останавливалась теперь, – и привезете к моему приезду… une certaine somme, потому что я… я приеду туда littéralement sans le sou, – заключила она, хмурясь и краснея.

Он вдруг опустился прямо пред ней на скамеечку, на которую опирались ее ноги:

– Все, все будет сделано, прелесть моя, не беспокойтесь ни о чем, – пролепетал он путавшимся от волнения языком, схватывая ее руки и покрывая их поцелуями.

Она отняла их у него, глянула ему в глаза не то строгим, не то насмешливым взглядом:

– Что же это, – проговорила она, – vous vous payez votre commission d’avance?

Он быстро встал, пристыженный и смущенный:

– Можете ли вы так говорить! – сказал он с упреком в голосе.

– Не сердитесь, друг мой, – молвила она уже изменившимся, ласковым тоном, – я пошутила… Нет, вы милый, добрый, и я не знаю, как благодарить вас. Какая вам хорошая мысль пришла зайти теперь ко мне!.. Знаете, я прожила здесь десять дней, и все бодрилась, старалась стать выше этой лютой скуки, этой животной жизни. Но сегодня – это сверх моих сил, я чувствую. Утром этот Зяблин, объяснения, – она гадливо повела губами, – потом Амалия… ведь она мне une vraie scène сделала, нагрубила и где-то там ревет теперь у себя в углу… Я осталась тут одна-одинехонька, с книгой, – но даже читать не могла: мне казалось, что вот-вот наваливают на меня крышку гроба и что еще немножко, и я задохнусь, умру… Когда вы подошли, я вся еще была под этим впечатлением; я безучастно, холодно приняла вас, – вы заметили, да?.. А он, милый, явился ко мне избавителем! – с новым порывом воскликнула молодая женщина.

Она во мгновенном, радостном возбуждении прянула еще раз с места, пробежала по комнате, передвинула на ходу какую-то книгу на столе, засмеялась и вдруг уронила себя разом на близ стоявшую кушетку:

– Уф! как только подумаю, что через сутки меня здесь не будет, не будет, не будет!.. C’est convenu alors, не правда ли, – вы скачете в Москву и все мне там приготовите?

Ашанин стоял против нее, не отрывая от ее прелестного в этом оживлении своем лица свои жгучие черные глаза.

– Еду, скачу, приготовлю, – отвечал он, тяжело переводя дыхание, – но не сейчас, не в эту минуту…

В ее глазах теперь пробежала внезапно какая-то искра. Веки ее дрогнули и опустились:

– Нет, – проговорила она словно упавшим, замирающим голосом, – я вам чаю дам…

X

Вы лицемеры, – мы будем циниками; вы были нравственны на словах, – мы будем на словах злодеями; вы кланяетесь не уважая, – мы будем толкаться не извиняясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести, – мы за честь себе поставим попрание всех приличий и презрение всех points d'honneur'ов.

Герцен. Былое и Думы. «Общий фонд».

Во Всесвятском в тот же день происходило следующее.

Троекуров накануне усиленно занимался по своей посреднической должности. Протолковав все утро с вызванными им старшинами, он, не довольствуясь этим, отправился в волость одного из них проверить писаря, когорого давно уже подозревал в мошенничестве, уличил его по книгам, сменил тут же и, провозившись за этим делом часа четыре, вернулся домой только к обеду. Он видимо устал, и Сашенька, заметив его необычную молчаливость за столом, указала на него несколько тревожными глазами Кире и громко спросила:

– Тебя, верно, рассердили, Борис?

– Нет, дела много, – ответил он с насилованною усмешкой и тотчас после обеда ушел в кабинет просматривать бумаги, накопившиеся у него за время отлучки его в губернский город, за которыми и провел весь вечер.

Сегодня он опять велел утром оседлать себе лошадь и поехал верст за шесть на одну из своих мельниц, у которой за несколько дней пред тем прорвало паводком от дождя плотину… Он как бы искал всякого случая ко внешней физической деятельности, к движению, к рассеянию себя от чего-то внутреннего – надоедливого или гложущаго…

Был час десятый до полудни. Он возвращался шагом через село, Всесвятское же, расположенное в версте от его усадьбы, и которое он, разверстываясь в прошлом году с крестьянами, перестроил все на свой счет по новому плану, обязав крестьян, в благодарность за этот дар, обсадить деревьями оставленные между теперешними избами их пространства. Он пользовался своим положением посредника, чтобы требовать строгого исполнения этого условия, и радовался ужасно каждому хорошо принимавшемуся деревцу.

Он ехал, оглядывая справа и слева эти заведенные им молодые рассадники и говоря себе с невеселою усмешкой: «Ведь не хитрая штука, и в явную, казалось бы, им пользу; а не наблюди да не пригрози – засушат, срубят и на лучину расщеплют»…

Все население было на сенокосе. Кое-где лишь голоногие мальчуганы, приподняв рубашонки, неслись испуганно, завидев его, через пыльную улицу и кувыркались в подворотни головой вниз, да древняя старушонка, пригреваемая солнцем на завалинке, тяжело приподнималась с места и, низко кланяясь ему, шамкала беззубым ртом: «Здравствуй, батюшка, милостивец, ваше благородие!..»

На самом выезде, у крайней избы села, он еще издали заметил стройную женщину с повязанным от солнца платком на голове и в светлом, летнем, немецкого покроя платье. Она стояла к нему спиной и разговаривала, делая странные, показалось ему, словно гневные

движения руками, с каким-то малым в фуражке и красной рубахе навыпуск под кургузым пальтишкой неопределенного цвета.

Она обернулась, заслышав близкие лошадиные шаги. Троекуров узнал горничную жены, Анфису.

В то же мгновение разговаривавший с ней парень юркнул с места за угол соседнего плетня и исчез из глаз.

«Это что?» – подумал, сжимая брови, Троекуров…

Он поравнялся с нею, придержал повод…

– Что вы тут делаете? – спросил он обрывисто.

Она подняла на него свои ясные синие глаза:

– К старику Марке лекарство носила от Александры Павловны: сноха от него приходила просить.

– А с вами кто был сейчас?

Лицо Анфисы приняло раздраженное, почти злое выражение:

– Тут шалаган один… Федькой зовут… – проронила она сквозь зубы, машинально оглядываясь на угол, за которым пропал ее недавний собеседник.

– А это что за письмо? – вскрикнул вдруг Борис Васильевич, указывая концом черкесской плети, которую по старой кавказской привычке употреблял на коне вместо хлыста и носил по-тамошнему привязанною за ремень к кисти руки, на лежавший у самых ее ног небольшой запечатанный сургучом конверт.

Она безотчетно нагнулась поднять его:

– Ишь, мерзавец, не хотела брать, так вот назло взял да подкинул…

– Дайте его сюда!.. Малый этот от Троженки… а письмо от… – прорывалось сквозь судорожно сжавшиеся губы Троекурова.

– Княжна вам сказывали?.. – не договорила Анфиса.

– Да, знаю… Это он опять вздумал…

– Язва эта одна-с, – вскликнула она, – со злости на *них,* верно знаю… Не читамши в клочечки порвать, Борис Васильевич…

– Дайте его сюда! – резко повторил он.

Она подала ему на седло письмо, глядя ему в упор в глаза.

Троекуров окинул быстрым взглядом адрес. На нем значилось:

Госпоже Кире Кубенской.

Он сорвал обложку и принялся читать.

Анфиса с каким-то пламенем не то страха, не то одобрения в глубоких глазах все так же неотступно продолжала глядеть на него.

«Милостивая государыня, госпожа Кубенская, – писал княжне Иринарх Овцын, – мне давно известно, что люди *белой кости,* к которым причисляетесь и вы, почитают себе все дозволенным и будут так почитать, пока не настанет другой порядок, при котором им придется горько поплатиться за свое бессмысленное самомнение. Но я должен признаться, что имел все же лучшее о вас мнение и не думал, чтобы вы могли решиться на подобный поступок, как ваш со мной. Я писал вам, что желаю непременно разъяснить известное вам обстоятельство, вследствие которого многие пострадали, и что для этого мне нужно переговорить с вами лично. А вы, зная, в каком *исключительном* положении я нахожусь и что самая простая честность обязывает в этих случаях порядочных людей к тайне, выдали про меня милому господину, у которого теперь проживаете! Вы отрицать этого не можете, так как дражайший мой родитель, видевшийся с вами и с ним, передал это мне от самого *его*, и с угрозами, над которыми я, разумеется, смеюсь и плюю на них, но из которых видна вся его беззубая злоба на меня из-за вас. Конечно, этот, такой же, как и вы, *чистокровный* аристократ, может быть, теперь *очень дорог вам* (слова эти были два раза подчеркнуты), а меня вы почитаете тлей, не стоящею внимания, хотя и были моею ученицей в Москве, но я вам не советую заранее торжествовать победу. Можете и пожалеть об этом. Я в настоящее время уезжаю из здешних мест, но найду средство напомнить о себе вам и вашему теперешнему *покровителю.*

Переставший уважать вас И. О.».

Троекуров был едва в силах дочесть до конца. Губы его тряслись…

Анфисе стало жутко:

– Батюшка, Борис Васильевич, сквернавцы они, – пролепетала она, – презрить надо… не стоит!..

Он взглянул на нее, как бы не понимая:

– Что говорил вам этот посланный? – спросил он, засовывая быстрым движением письмо в боковой карман.

– Насчет чего-с?

– Когда отдано ему это письмо?

– Он сказывал, – начала она шепотком, – Федор Федорыч Овцын к ним в Быково от нас рано утром приехали. И у них с сыном тотчас же большой разговор пошел. И хозяин сам… Троженков этот, – голос Анфисы чуточку дрогнул, – тут с ними, и крик большой был, говорят; Иринарх Федорыч ногами даже на отца-то топотал: «Я, говорит, им покажу!» А кому покажет ему, Федьке-то этому, – я его с Москвы еще знаю, в одном доме служили – и не понять. Только после того приуспокоившись они немного. Иринарх Федорыч к себе в комнату пошел, а оттуда к Федьке в переднюю с письмом вышел. «Ты, говорит, вот что сделай: сейчас лошади с экипажем, что привезли батюшку моего из Всесвятского, назад пойдут: ты и попроси кучера подвезти тебя – вот ему полтинник отдашь на чай – высадись в селе, а оттуда пешком в усадьбу пройди, да осторожнее, и письмо постарайся той же женщине – мне то-ись – отдать». Тот так и сделал, на наших лошадях доселева приехал, слез, а тут на грех сама-то я из Марковой избы как раз на него выхожу… Гнать я его стала, сквернавца, а он мне всю эту канитель зачал…

Но Троекуров ее уже не слушал.

– Я вас прошу… очень, – проговорил он насколько мог спокойным голосом, – не говорить никому… *никому* решительно, – настойчиво повторил он, – ни об этом письме, ни о том, что вы меня здесь встретили. Понимаете!?

– Как не понять-с, помилуйте, сама знаю…

Она глядела на него, как бы ожидая его дальнейших слов, как бы желая сказать ему что-то еще относящееся до *этого,* но он только кивнул ей, дал повод и отъехал от нее рысцой прямо по дороге.

– Куда ж это *они,* – домой? – спросила она себя недоумело и тут же через миг отрицательно закачала головой…

Действительно, проехав шагов пятьдесят, Троекуров круто свернул вправо в узкий проселок меж двумя стенами высокой, зреющей ржи, стегнул вдруг коня по крупу бешеным ударом – и помчался вперед с быстротой вихря.

Анфиса, прищурившись и с сильно бившимся сердцем, бежала за ним взглядом… Каким-то сказочным богатырем представлялся ей теперь этот словно паривший на невидимых крыльях всадник, темное только туловище которого и как-то грозно наклоненная вперед голова виднелись ей над золотевшим морем нивы, бесконечно убегавшей вдаль. Но вот он исчез из ее глаз… Она покачала еще раз головой, вздохнула, перекрестилась широким крестом и пошла быстрыми шагами к усадьбе.

Д он – он мчался, словно уносимый какою-то постороннею, неотразимою силой. Он не был в состоянии думать, соображать, предвидеть, – им овладело слепое, дикое, животное бешенство, которому нужен был исход, нужно было удовлетворение… «Презрить», повторял он машинально слова «этой женщины» – и губы его поводила исковерканная улыбка – «нет, найти мерзавца, отхлестать ему щеки этим паскудным его письмом, убить как собаку, если он пикнут осмелится»… «Убить», – повторял он, задыхаясь от гнева и от неистовой скачки…

– Где ж я? – спросил он себя вдруг как спросонья, затягивая сразу поводья. Он не давал себе отчета до этой минуты, давно ли и какою дорогой несся он так. Пред ним на пригорке серела какая-то деревнюшка, – он не узнавал ее, не узнавал окрестной местности…

Карабах его от ушей и до бабок дрожмя дрожал под ним; мыло густыми каплями шлепалось в пыль дороги с его удил и шеи; он сопел тяжело и редко, жадно вбирая воздух широко, судорожно раздувавшимися ноздрями.

– Ишь, упарился, сердечный! – проговорил, остановившись и мотая сожалительно головой, встречный неказистый мужичок в остроконечной и узкополой шляпе и с косой за плечами.

«Еще немножко, и он так бы и пал подо мной», – пронеслось в мысли Троекурова…

Его как бы несколько поотрезвило от этого размышления… *«Сердечный,* пожалел вот!» – подумал он, ласково взглянув на говорившего.

– Скажи мне, любезный, что это за деревня? – спросил он громко.

– Этта-то? – повторил тот, оборачиваясь и тыкая в ту сторону пальцем в воздух. – А это, батюшка, *Быковские выселки* прозывается деревня, потому, значит, как еще при господах было

дело, этот самый Быковский бывший, Свищов господин, оттелева сюда полвотчины перевел, на новое место, значит…

– Быково, – вскинув голову, быстро промолвил Троекуров, – так ведь там не Свищов, а Троженков помещик?

Мужик, точно чему-то обрадовавшись, закивал усиленно своею острою шляпой:

– А так точно, милостивец, так точно, Дорошенкин там теперича помещик, Дорошенкин прозывается. А допрежъ того Свищова господина были самые эти Быковские, значит.

– А далеко оно отсюда?

– Самое-то Быково село? А недалечко, батюшка, недалечко: как на взлобок подыметесь, *Выселки-то* минете, так тут с версту не больше проехать вправо, сейчас колокольня покажется – это оно самое и будет, Быково-то; на самом на тракте на поштовом лежит. Как если твоей милости прямо туда, на Хавроньево, треба было повернуть…

«Верст пятнадцать проскакал, – сообразил Борис Васильевич, – и это без передышки!» И он невольно нежным движением потрепал по шее своего коня.

– А во никак и сам едет, – молвил между тем косарь, приставляя руку ко лбу от солнца и глядя по направлению *Выселков*, – самый, тоись, этто Тарашкентин, чье Быково теперь, значит… Он и есть! – и кивнувшая в подтверждение этих слов шляпа съехала ему по-над самые глаза, – я коней-то ихних добре знаю… Сам, ишь, сидит, правит… На реку, в луга, знать, собралися; потому тут-то влево сичас дорога на самые луга пойдет…

Троекуров уставился глазами вперед.

Осторожно спустившись с пригорка, ехала прямо на них легонькая, безрессорная тележка так называемого «купеческого фасона», запряженная сытою небольшою буланою лошадкой под дугой и бубенчиками. Зорко в свою очередь всматриваясь издалека в остановившегося посреди дороги всадника, правил ею черноволосый, смуглый, еще не старый человек в синих очках, в полотняном пальто и соломенной фуражке на голове, с которым читатель имел уже случай встретиться вначале нашего рассказа. Рядом с ним, в серой, мягкой и широкой шляпе и с толстой палкой поперек колен, которую поддерживал обеими руками, сидел Иринарх Овцын. Сама судьба будто, злая судьба посылала его навстречу «искавшему» его человеку…

– Троекуров! – проговорил, вдруг оборачиваясь на него смутившимся лицом, Троженков, узнавая Бориса Васильевича. – Это он про вас тут…

Тот с невзначаю побелел, как полотно.

– Повернем? – вырвалось у него.

– Догонит… Федьку, должно, с письмом с вашим сцапали… Говорил я вам: опасно, и отче ваш просил как, а вы свое… – обрывисто пояснял его спутник, придерживая инстинктивно свою лошадку и словно сам весь прячась за синие очки свои.

– Что ж вы думаете, донесет? – фыркнул Иринарх, мгновенно оправляясь от первого момента испуга и напуская на себя снова всю прирожденную ему дерзость. – За собственную шкуру дрожите? Так насчет этого будьте покойны: аристократ, – к полиции отвращение питает. А если что другое, так ведь у меня против этого орудие имеется!

И он ударил ладонями по своей палке.

– Стоит, ни с места… ждет нас, говорю, – бормотал растерянно Троженков.

Лошадь его шла теперь уже шагом, но расстояние между ними и «ожидавшим» уменьшалось все же с каждым оборотом колеса… Вот они уже настолько близко, что могут разглядеть каждую черту его лица – его теперь, как мрамор, бледного и холодного лица, беспощадный блеск его стальных глаз, неотступно и недвижно глядевших на них с высоты коня, как глядит ястреб с высоты неба на намеченную им жертву.

Троженков не выдержал: шагах еще в двадцати от него он сорвал с головы фуражку и возгласил приниженным голосом:

– Борису Васильевичу мое высокопочтение!..

Троекуров, не отвечая и все так же недвижно, дал ему докатить на параллель с ним.

Троженков скинул фуражку еще раз.

– Погодите! – услышал он обращенное к нему слово – и осадил, и тпрукнул на свою буланку с торопливою покорностью провинившегося школьника.

– Потрудитесь сойти! – проговорил глухим, сдержанным голосом Троекуров, вперяя глаза на Иринарха.

– Это что значит? – воскликнул, храбрясь, тот с широко раскрывшимися глазами.

– Пожалуйте сюда! – повторил Борис Васильевич, и в этих двух словах зазвучала нота такой железной решимости, что Овцын почувствовал себя сразу безвластным противиться ей.

– Ступайте, что же… все равно! – шептал в то же время над самым его ухом не на шутку перепуганный Троженков.

Иринарх соскочил с тележки, все так же держа свою палку обеими руками.

– Ну-с, что вам угодно? – уронил он, все шире и шире раскрывая зрачки: «Я, мол, брат, тебя не боюсь!..»

Троекуров спрыгнул с лошади.

– Подержи! – сказал он, кидая поводья на руки все тут же стоявшего мужичка с косой, который, сняв шляпу, прислушивался теперь с видимым любопытством к этому разговору господ, – и отошел шагов на десять в сторону, приглашая кивком Овцына идти за ним.

Тот, махая своим «орудиецем», поплелся за ним с небрежным видом покладливого малого, исполняющего из снисходительности что-то очень глупое и бесполезное.

Троекуров остановился, обернулся на него и, вытащив его письмо из кармана, протянул его прямо ему под глаза.

– Это вы писали?

Овцын покосился на исписанный листок, повел губами на сторону…

– А хоть бы и я! – проговорил он не сейчас и презрительно.

– Понимали вы, что писали? – продолжал Борис Васильевич.

Он был страшно спокоен, именно *страшно:* Иринарх понимал, что спокоен так может быть только человек, «от которого *отвертеться* нельзя»… «Ну и посмотрим!» – сказал он себе вдруг с мгновенным возмущением против того внутреннего давления, которое производил на него «этот человек».

– Значит, понимал, когда писал!

Он вскинул голову с вызывающим взглядом.

– Что вы понимали? – произнес задрожавшим теперь, как медная струна, голосом Троекуров.

Тот желчно засмеялся; вся его злоба против «этого аристократа» и «ее», осмеливающейся презирать его, Иринарха Овцына, вскипела у него на душе с новою силой в этот миг:

– А понимал, что следует, – ответил он, – и что сами вы лучше меня знае…

Он не успел договорить. Троекуров ухватился за висевшую у него на руке плеть и съездил ею с размаха раз и два по нагло хихикавшему его лицу…

– Ж-жже! – словно эхом удару визгнул неудержимо стоявший подле с лошадью косарь – и даже присел весь, не то от сочувствия, не то от неожиданности.

Иринарх выронил палку из рук и схватился ими за исполосанные свои щеки.

Троекуров судорожно вздрогнул, сорвал с руки плеть, швырнул ее в сторону и неслышными шагами подошел к тележке, в которой, словно остолбеневший от случившегося, сидел, не отрывая рук от вожжей, господин Троженков.

– Скажите вашему… приятелю, – выговорил он с усилием, глядя на него нервно прищуренным взглядом, – что с такими негодяями, как он, не дерутся, но что… что я не откажусь от его вызова… если ему вздумается… Подай сюда лошадь! – обернулся он к косарю, который с каким-то забавно сияющим от удовольствия лицом глядел на него во все глаза и все так же неспешно вынул кошелек из кармана, высыпал ему в руку горсть бывшего там мелкого серебра, вздел ногу в стремя и, не оборачиваясь, поехал тихим шагом назад по дороге ко Всесвятскому.

Только теперь успел опомниться Иринарх.

Вид его был ужасен… Два красные рубца бороздили его лицо, глаза налились кровью, пена закипала в углах рта, сквозь который прорывались какие-то нечеловеческие звуки…

Он, шатаясь, доплелся до тележки, с высоты которой все так же недвижно сидевший Троженков глядел на него не то иронически, не то презрительно поводя губами.

– Я его… я его… – лепетал он, не договаривая от обымавшего его бешеного и бессильного чувства злобы.

– Что уж вы теперь «его», – повторил, хихикая, Троженков, – похвалялись «орудийцем», а как к делу пришлось, так и нет ничего, из рук вывалилось…

– Молчать! – прервал его диким голосом Иринарх… – А ты что стоишь, чертов сын, чего не видал! – крикнул он тут же на продолжавшего любопытствовать на «господ» мужичка с косой. – Проваливай к диаволу!..

Тот запустил пальцы под шляпу, почесал ими в голове, как бы собираясь что-то сказать, но ничего не сказал, усмехнулся – Овцына так и взорвало опять от этой усмешки – и тронулся с места.

– Погоди! – остановил его Троженков. – Ты из какой деревни?

– А я сам Блиновский, батюшка, из деревни Блинов, изволите знать, неподалечку от вашей милости будет, – отвечал тот, останавливаясь.

– Блиновский!.. Как не знать соседушек!.. Ты куда ж это с косой – в луга?

– Не, батюшка; коса-то у меня лядащая была, так вот в Выселках нову купил, а теперича домой, значит, иду.

– То-то! – захихикал Троженков. – Косить-то вам теперь негде…

Мужичок оторопело поглядел на него:

– А как так «негде», ваше вск… Мы наутре миром крусановски круги делить выедем: как обнакновенно, значит, косили, так и косить станем…

– Опоздали, голубчики; в круги-то ваши сегодня спозаранку купец Середкин своих косарей выслал.

Тот весь в лице переменился:

– Как же он, ваше благородие, смеет… в нашем, значит, добре…

– Стало быть не в вашем, коли ему их помещик по 90 рублей за круг все отдал, – возразил Троженков, злорадно взглянув на него из-за своих синих очков.

– Так это ж какой порядок, – загалдел, переминаясь всем телом, мужик, – как нам, значит, Царь-Батюшка волю теперича дал, и чтобы нам, значит, все угодье, каким мы пользовались, и пахотная, и луговая земля…

Троженков перебил его:

– Это ты точно говоришь, а помещик ваш взял да и отдал, – вот тебе и весь сказ!

– Противу закону царского, значит?

– Ну, это уж как он там знает, а только что купец Середкин у вас в лугах до вечера довольно сена накосит, – это верно; без мала, говорят, кос сто туда нагнал… Садитесь! – коротко проговорил Троженков, относясь к Овцыну, который, мрачный как туча и тяжело переводя дух, безучастно внимал этому разговору.

– Господин, ваше благородие, – заговорил мужик, тревожно подбегая к поворачивавшей в сторону Выселков тележке, – верно вы сказали насчет этого самого?

– Не веришь – беги сам погляди – не далеко!..

– Не, – сказал тот подумав, – коль так дело, на село скорей бежать надоть теперича, чтобы миром, значит, всем…

Он не договорил, насунул себе быстрым движением шляпу на брови и, свернув с дороги на межку ярового поля, побежал по ней кратчайшим путем по направлению своей деревни.

Троженков хлестнул свою лошадку и усмехнулся скверною усмешкой:

– Пойдет потеха!.. Ну, а вы что? – прервал он себя, оборачиваясь на Иринарха, усевшегося к нему боком с низко наклоненною головой, чтобы не показывать своего обезображенного лица, – *хмары* напустил вам пан сей великий, магнат наш, а?.. Так сами же полезли… Говорили вам…

– Я его искалечу! – безумно вскрикнул Иринарх.

– Можете, можете! Сам вам даже предлагает.

– Что предлагает?

– Поединок. «Скажите, говорит, ему, если он хочет, я приму, говорит, хотя с такими, как он, говорит, не дерутся». Милость, видите, какую большую вам делает, а вы еще – о, какие неблагодарные!..

Иринарх зубами заскрежетал:

– Он «примет», когда я пистолета в руках держать не умею и он может застрелить меня как зайца – воин, патентованный убийца!.. Я, я от него не приму поединка… я его изобью собственными руками, из-за угла камнем пущу, в огне его в собственном доме изжарю, я…

– Ну, ну, видели мы, как кого-то жарили, – беспощадно и грубо сострил Троженков-Яго, подзадоривая его и тешась его злостью, – а только что не *его*.

– Молчите, говорю вам, не смейте про это! – бешено взвыл опять Овцын. – А не то самого я вас убью!.. Молчите, пока сами не увидите, как я ему отплачу, – примолвил он через миг сдержаннее, поводя глазами как на цепи.

– А як побачу – доброе скажу!.. А вот мы, пока вы там что еще надумаете, мы его трошечки в *Колоколе* отшельмуем: магнатскую фамилию его в печати оттрезвоним малюсень, – шипел, уже словно захлебываясь своим собственным ядом, Троженков.

– Постараться можно! – хихикнул в свою очередь Иринарх, как бы внезапно находя в этом соображении крайнее утешение в случившейся с ним невзгоде. – А куда ж это мы теперь едем? – спросил он, подымая в первый раз глаза и озираясь кругом. – Назад, значит? И то, – примолвил он с новым приливом злости, – отпарить себя нужно… в этом виде никуда показаться нельзя… А брандер успели пустить? – обернулся он вдруг на своего спутника.

– Насчет лугов-то? – подмигнул под своими очками тот. – Слышали сами: «всем, значит, миром», говорит… Пока мы с вами дома по рюмочке пропустим, они там с серединскими в колья да косы пойдут. Потеха будет, верно говорю.

– *Он*, если это случится, – быстро заговорил Овцын, разумея своего врага, – он как посредник непременно должен будет приехать на место…

– Домой поехал, видели. А пока еще там знать ему дадут, пока приехать успеет, а тут на манер бунтика отлично разыграть можно… А как если и приедет, да его, посредника и господина большого, крестьяне слухать не захотят, – добра комедия выйде, паночку, як вы полагаете? – отпустил еще раз *по-хохлацки* Троженков от преизбытка удовольствия, которое доставляло ему чаяние возможного «бунтика», устроенного его заботами.

– Вот что, – молвил неожиданно Иринарх, – мне надо сейчас полный крестьянский костюм достать. Парик и борода у меня с собой есть, из-за границы так приехал…

Спутник его покосился на него:

– Так, значит, – сказал он насмешливо, – с переодеваньем комедия-то еще буде?.. Угомона вам нету, видно, прыткий уж очень вы, – как бы не дотанцевались до того, что сцапают действительно и отвезут на секанцию в III Отделение, а оттуда в «места более отдаленные»…

– Не «сцапают», будьте благонадежны! – иронически и решительно возразил Овцын. – Не сцапают потому уже, что сцапать не хотят. Слышали, с чем родитель-то мой из Москвы приехал? Сама жандармерия разделяет наши убеждения и оказывает содействие… Говорил я вам не раз, а вы все не верите: петербургско-монгольское правительство подточено до корня; все кругом его валится, все ему изменяет. Доверенные его лица – наши корреспонденты… Почитали бы, какие письма к Александру Ивановичу тайные советники пишут!.. Преклоняются пред ним, о сокровеннейшем, что у них там происходит, доносят ему: у Царя, к примеру, сегодня тайное заседание, а на шестой день у него в Лондоне на столе копия с протокола лежит, о чем там говорилось, писарскою каллиграфией переписанная, как для министра.

Троженков несколько недоверчиво усмехнулся, хотя Овцын вообще не врал, а тем менее в настоящем случае.

– Пишут-то пишут, – молвил он, – а бояться его так потому, что как отзвонит кого в *Колоколе*, так тому и не встать, как прокаженный ходит после того человек, потому он его как клеймом в лоб навеки *вдарил*. А все ж нет-нет, да беднягу какого сцапают, да и посадят в Петропавловскую, – стоят еще, значит, за свои порядки прежние…

Овцын в мгновенном порыве ударил спутника своего по ляжке:

– Пусть сажают, пусть тешатся напоследях! Близок час, и на нашей улице будет праздник!

И он, сверкая глазами, запел вдруг фальшивейшим фальцетом на голос известной песни: *Ах, видать, не бывать прежней красной доли,* – запел следующее:

Мы с лихвой
Дружный бой
Господам отплатим.
Не одну
Голову
Барскую отхватим.
Пусть тогда
Для суда
Земские наедут:
И по ним
По родным
Рученьки *проедут*[78].

– Это что же, ваше сочинение? – спросил, подергивая насмешливо губами, Троженков.

Но совсем уже расходившийся Иринарх не тгвечал на вопрос:

– А *марсельезу* русского народа знаете? – он завыл опять:

Довольно нас терзали зря,
Довольно стригли нас как стадо;
Не надо больше нам царя,
Чиновной сволочи но надо! (bis)
К оружию, друзья,
Сомкнемтеся в ряды!
Вперед, вперед, – нас ждет земля
И воля за труды![79]

– Ну чего вы горло себе утруждаете? – молвил, морщась, Троженков, которому это пенье, очевидно, драло уши. – Некому вас слухать, а и послухал бы кто из того «Русского народа», одно сказал бы, верьте слову: «ишь, нализался-то как барчук!..» Не про народ этот «*марсельезы»-то* ваши писаны!..

– Не поймет, так мы ему свободу силой навяжем! – грозно воскликнул Иринарх.

Спутник его ничего на это не ответил и, проехав молча Выселки, повернул буланку на проселок, ведший к Быкову.

– А что ж вы, – заговорил он опять, – со студентом этим вашим как, с Юшковым… Батько-то его из севастопольских *ироев,* – добре, спасибо им, отщелкали их там «союзники!» – вырвалось злобно как бы из самого нутра Троженкова. – Большого пана тоже из себя тут играет; с *вашим, с* Троекуровым, одна ведь шайка… Ну, а сынок что ж? Закрутили его вы, а?

– Закрутил и подвинтил: на отца теперь в кулаки готов лезть. Мозги-то детские, а сподлить боится: куда ткну, туда и попрет. Сосунок азартный! Отличная из таких армия выходит для революционного дела! – презрительно засмеялся Овцын.

Троженков кивнул одобрительно головой.

– Ловкую я чрез него штуку устроил, – продолжал смеяться Иринарх, – прокламаций наших[80] штук сорок изготовил к рассылке в разные губернии Российской империи: губернаторам, архиереям, всяким вообще властям. Он у отца *Памятную книжку* достал и по ней адресы на конвертах написал. Полетела их уже половина во все углы Богоспасаемого отечества…

– Как, по почте?

– А то как еще?

– Да ведь по штемпелю сейчас увидят, из какого места отправлено. В нашем губернском городе *перелюструют,* пошлют оттуда жандармов, следователей, а *кто* отправлял, разве здесь скрыть можно?..

– А пусть! Пока они там еще прочтут да пошлют, а меня здесь и след простыл! Успею «улетучиться», как выражается мой просвещенный родитель.

– Так ведь его же тут зараз сцапают?

– Кого это, Гришку Юшкова?

– А разумеется.

Иринарх повел равнодушно плечом:

– Так что ж! Я сказал вам: он не сподлит, не выдаст меня.

Троженков не то озадаченно, не то язвительно уставился на него.

– Ну, батенька, – пропустил он сквозь зубы, – свяжешься с вами, будет чем попомнить!

Слова эти не оскорбили нашего революционера, напротив: он осклабился торжествующею улыбкой и произнес наставительно:

– Помните прежде всего, что великое дело свободы не может обходится без жертв: рубишь лес, щепки летят, – примолвил он к этому же игриво.

XI

"Нельзя людей освобождать в наружной жизни более, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы".

***Герцен. Сборн. посмертн. соч.* 1874.**

Троекуров вернулся домой к самому завтраку. Жена его и княжна Кира сидели уже в столовой (по заведенному в доме обычаю, час, назначенный на трапезы, никогда и ни для кого не изменялся).

С лица его теперь успела сбежать и последняя тень волнения. Он, спокойно и ласково улыбаясь, кивнул входя дамам, сел на свое обычное место, развернул салфетку и принялся разрезывать поданную ему ветчину.

– К тебе письмо есть от дяди Овцына, – сказала ему Александра Павловна.

– А!.. Что он пишет?

– Я не читала; письмо на твое имя, запечатано… Он к нам не будет, он уехал в Москву прямо из города.

– Вот как! Ты почему же знаешь?

– Нам сказал Гриша Юшков, которому он отдал письмо там.

– Гриша? Где же он? – спросил Гундуров, машинально оглядываясь. – Он был здесь?

– На четверть часа и ни за что не хотел остаться долее… Он какой-то очень странный был, Гриша, растерянный какой-то, не правда ли, Кира? – примолвила молодая женщина, подымая глаза на кузину.

– Д-да, – ответила та, как бы нехотя, – он, впрочем, говорил, что его ждет мать, с которой они к кому-то собираются ехать, – поспешила она примолвить, быстро скользнув взглядом в сторону Троекурова и так же быстро опустив веки. Но Александра Павловна перехватила этот взгляд:

– Что такое, Кира, что ты думаешь? – воскликнула она.

Та перевела теперь на нее свои удивленные глаза:

– Ничего я не думаю, что с тобой?

Сашенька даже несколько сконфузилась, насилованно засмеялась:

– Нет, мне показалось, что ты будто что-то знаешь… и не хочешь почему-то сказать…

Кира без слов пожала только слегка плечами.

Троекуров между тем медленно и как будто неохотно сорвав обложку письма, развернул заключавшуюся в ней четвертушку и, чуть-чуть прищуриваясь, принялся читать:

«Достопочитаемый Борис Васильевич, – писал ему старый „Ламартин“, – пользуюсь обязательным предложением знакомого вам молодого человека, г. Юшкова, чтобы передать вам, а равно и очаровательным обитательницам очаровательного Всесвятского, глубочайшую благодарность мою за незабвенные и слишком, к душевному сожалению моему, краткие часы, проведенные мной под его волшебно-гостеприимным кровом. Надеялся и паки воспользоваться благосклонным и дорогим для меня приглашением вашим, но злой рок судил иначе: вижу себя в необходимости вернуться прямолинейно восвояси и имею только время выразить вам, вместе с изъявлением всей сердечной скорби моей о сем, и те чувства глубочайшего уважения и родственной преданности, с коими имею честь быть» и пр.

За этими витиевато-игривыми строками следовал post scriptum такого содержания:

«*Поручение ваше* (слова эти были подчеркнуты) исполнил в точности. Вот все, что могу сказать. Что касается моего личного авторитета, то сами вы знаете, насколько в наше время могут рассчитывать на это *отцы.* Тургенев в своем превосходном последнем произведении удивительно верно отметил эту черту современных русских нравов».

Презрительная улыбка невольно сложилась на губах Бориса Васильевича.

– Что же он пишет тебе? – спросила его жена, с какою-то неизъяснимою для нее самой тревогою следившая за выражением его лица.

– Фразы, по своему обыкновению, – ответил он небрежно, опуская письмо в карман, – благодарит, называет вас обеих «очаровательницами»… от которых он, впрочем, считал почему-то нужным «прямолинейно ехать восвояси», – прибавил Троекуров смеясь.

Сашенька успокоилась.

Завтрак еще не кончился, когда пришли ее звать в детскую. Она поспешно встала и ушла.

Борис Васильевич остался вдвоем с княжной.

– С Гришей Юшковым в самом деле, кажется, что-то случилось, – торопливо и по-французски, ввиду служивших за столом, заговорила она тотчас же, – он был нервен донельзя, отвечал странно, чуть не грубо на наши с Сашенькой вопросы и спешил уехать, будто кто преследовал его. Я вам говорила… о моих подозрениях… Он проговорился нам, что еще вчера из *Углов* уехал в город. Как же мог он миновать нас, когда дорога оттуда прямо на Всесвятское? Видимо, что он свернул куда-нибудь на свидание с *ним*… И это письмо теперь от его отца… Гриша

говорит, что был в почтовой конторе и что ему там дали нашу почту, и в это время подошел к нему бывший там «незнакомый» ему господин, который оказался Федор Федорович, и просил его «взять кстати» письмо к вам. Но все это очень странно. Я боюсь, что бедный мальчик попал совсем в *его* сети и не знает теперь, как вывернуться.

– Вероятно, – проговорил сквозь зубы Троекуров, хмурясь и щипля озабоченно ус.

Прошла минута молчания.

– Вы не имеете о *нем* известий? – начала тихо, чтобы не сказать робко, Кира.

– Н-нет! – не сейчас ответил он.

– Он не… являлся? – еще тише спросила она.

Троекуров поднял на нее глаза:

– Вы точно боитесь его! – сказал он с каким-то раздражением.

– Я не за себя боюсь, – проговорила она уже чуть слышным голосом и встала с места, – я не простила бы себе никогда, если бы…

Она не договорила и направилась к двери.

– Кира! – чуть не сорвалось с губ Троекурова. Но он сдержался, кинул салфетку и вышел в другие двери на свою половину.

К нему пришел письмоводитель. Он принял от него бумаги, отослал его и погрузился в дело с каким-то ражем.

Он сидел за ним часа уже два у длинного стола в библиотеке, которая посвящена была им служебным занятиям и к которой примыкала прихожая с никогда не запиравшеюся дверью на двор, откуда беспрепятственно мог входить всякий, имевший нужду до Бориса Васильевича по его посреднической должности. Дежурный там слуга обязан был во всякое время немедленно докладывать ему о пришедшем.

– Писарь Никольской волости, – доложил он теперь, входя в библиотеку.

– Зови!

Вошел молодой, шустрый малый, из бывших кантонистов, известный Троекурову своею бойкостью, и к которому он вследствие этого относился обыкновенно строже, чем к другим, держа постоянно в мысли не допускать по возможности влияния писарей в крестьянских делах.

– Что тебе нужно? – спросил он сухо. – По своей надобности или по делу?

– От старшины Аксентия Якимыча прислан, – поспешил ответить тот, зная в свою очередь, что «посредник насчет *соблюдения начальства* строг».

– С чем?

Писарь переступил с ноги на ногу:

– У блиновских крестьян конфуз вышел, ваше выс-кородие, – промямлил он, вертя шапку обеими руками и глядя в то же время прямо в глаза посреднику.

– Что такое?

– Насчет этих самых лугов, изволите знать, по которым у них с помещиком несогласие.

– Губернское присутствие отказало крестьянам в их претензии, – поспешно заявил Троекуров, – уставная грамота будет введена у них обязательно, на основании подлежащей статьи Положения. Она у меня уже написана. Скажи старшине, чтобы повестил народ и помещика: я сам буду к ним на место завтра утром в восемь часов.

– Так вот-с насчет эвтого самого как изволите приказать, – заговорил опять писарь, – потому как еще грамоты по сейчас в видимости не имеется, а помещик уже сдал эти самые луга купцу Середкину, который нагнал туда народу и принялся с сегодняшнего же дня косить…

Краска кинулась в лицо Бориса Васильевича: он понял, что Блинов, не ожидая введения уставной грамоты, счел себя вправе сдать теперь же крусановские круги в кортому, на основании переданного ему Ашаниным его, Троекурова, частного сообщения о решении губернского присутствия. Он очень взволновался, признавая, что всякий могущий в действительности произойти от этого «конфуз» ляжет теперь на его совесть.

– Что же, крестьяне к старшине приходили с этим? – обрывисто спросил он.

– Так точно-с… только не все, а самая малая, можно сказать, часть стариков, ваше выскородие, потому собственно остальные, без спроса волостного правления, а своевольно, поднявшись всей деревней, с косами да вилами побегли туда…

– В луга? – не дал ему договорить Троекуров.

– Так точно; середкинских косарей ни за что не пущать порешили.

Борис Васильевич вскочил, подбежал к двери прихожей:

– Четверку рыжих мне под коляску, мигом! – крикнул он слуге. – Ты поедешь со мной, – сказал он писарю.

Через четверть часа они мчались к Оке. Четверкой правил Скоробогатов; «рыжие» были молодые, еще не совсем выезженные и горячие кони, которых он пока никому, кроме себя, не доверял. Рядом с ним на козлах сидел молодой никольский писарь, замирая от удовольствия и страха быстрой до одурения езды…

Вот и луга. До самого края горизонта тянется зеленый с пестрым по нем разводом цветов ковер высокой травы; по краю его живою бахромой колышутся сереющие камыши над синею гладью реки. В воздухе с пронзительным гоготом реют растерянными кругами стаи птиц, испуганные людскими криками, раздающимися теперь среди этого, еще вчера пустынного и безмолвного приволья их… Издалека доносятся эти крики до Троекурова и его спутников. Он приказывает прямо править на них…

Уж ясно отличает он огромную толпу, скучившуюся на одном пункте этого широкого лугового пространства. «Крусановские круги, – говорит ему, оборачиваясь с козел, писарь с побледневшим лицом, – народ ишь как бегом туда прет…»

Действительно, с соседних, ближайших и дальних десятин, оставляя ряды свои недокошенными, несется туда «народ»: косцы в белых рубахах, побрякивая подвязанными к поясу брусницами, с блестящею косой за плечом, бабы в ярких паневах, с граблями в руке. На всех лицах выражение жадного любопытства, – наполовину тревога, наполовину какое-то плотоядное нетерпение скорейшего зрелища и участия в том чем-то, что совершается там.

На крусановских кругах собралась толпа человек в шестьсот. Точнее, это были две неравномерные числом, но равно возбужденные толпы, наступавшие друг на друга, беспощадно топча ступнями длинные ряды свежескошенной травы. Гул криков, ругани и угроз несся далеко кругом, оглушительный и непонятный. Мускулистые, огромные, красные кулаки, с угловатым движением расходившихся локтей, то и дело взмахивались в воздухе, потрясая косовищами и кольями. Свалка шла *вовсю…*

– При прямо на них, да смотри осторожней, не задавить кого! – крикнул Борис Васильевич.

– Берегись, берегись! – голосил Скоробогатов, сворачивая разом рыжих с дороги на задние ряды ближайшей к ним и многочисленнейшей толпы.

Троекуров поднялся на ноги в коляске, обозревая быстрым оком то, что происходило впереди.

Эту ближайшую к ним толпу составляли, понял он тотчас, аборигены, так сказать, лугов, крестьяне, искони косившие на них, – и в первой линии, очевидно, стояли блиновские, отстаивавшие *«свою* траву» против косцов, «нагнанных» *сюда* купцом Середкиным; к ним примыкала масса сочувствующих – «соседей», сбежавшихся на гам спора. Эти посторонние галдели и ругались с неменьшим азартом, чем сами заинтересованные в деле, и напирали на них сзади во всю грудь, поощряя их криком и угрозами, и несомненною, казалось, готовностью принять вот-вот сейчас, вместе с ними, ради уж одного удовольствия драки, в колья и косы. Противная сторона, середкинские косцы, впятеро меньшая числом, но, видимо, подбодренная вином, держалась стойко, не уступая ни на шаг валившему на нее валом врагу.

– Берегись, берегись! – хрипел наезжая Скоробогатов.

Горячий пар лошадиных ноздрей бил уже по затылкам ближайших; нежданный грозный голос звучал над самым их ухом… Головы изумленно, испуганно обернулись; туловища инстинктивно подались, метнулись в сторону, сообщая то же впечатление нежданности и испуга из рядов в ряды. Сплошная стена их внезапно дрогнула, раздалась, отбежала, растерянно озираясь на этих взмыленных коней, на правившего ими скуластого «черта», на *«матерого* барина», так решительно грозившего им взглядом с высоты своего сиденья, – и коляска Троекурова, перерезав продольно обе линии враждующих, круто завернула назад и остановилась дышлом насупротив сбившейся, перемешавшейся, как горох в мешке, и оробело смолкшей теперь разом толпы.

– Что за шум, что у вас тут творится? Нестройное, непонятное галдение поднялось опять в ответ на этот вопрос.

– Молчать! – И Троекуров еще раз вырос во весь рост в своей коляске. – Кто тут блиновские? Выходи вперед! Остальные назад… Назад, говорю! – еще громче крикнул он, сверкнув глазами.

Народ отшатнулся, и человек полтораста блиновских крестьян не то угрюмо, не то робко оглядываясь и смыкаясь кучей, пододвинулись к коляске.

– Ладно! Проходи от меня по правую руку… Я с вами сейчас потолкую, – медленно и значительно проговорил Борис Васильевич, пропустив их мимо себя. И, обернувшись к

остальным, надвигавшимся к нему опять с противоположной стороны:

– На эти круги сегодня утром явились косцы от купца Середкина, взявшего их в аренду у помещика. Так было дело?

– Так точно-с изволите говорить, вашеско…

И словно из-под земли выпрянул пред Троекуровым вертлявый парень с разбегающимися во все стороны глазками и вострым носом, стриженный в скобку, – приказчик купца Середкина.

Ужасно спеша и бойко потряхивая маслистыми волосами, он не то плачущим, не то язвительным тоном начал объяснять, что, прибыв ранним утром с нанятым его хозяином народом, они беспрепятственно косили до полудень, но что тут «с дрекольем и всяким оружием набежали на них *неизвестные мужики»* и «произвели *страженье»,* причем двум из его косарей «прошибли голову до мозгов», а троим «ноги отбили до бесчувствия даже»…

– Ври больше, аспид! – шумно прервали его из среды блиновских. – Ишь, расписывает, язва! Сам он, ваше благородие, народ свой, разбойников, противу нас в дреколья пущал. Водкой поил, чтобы силой, значит, всей на нас… Кабы не они, рази б мы стали! Аспид, кровопивец, Бога на тебе нет!

– Где они, твои люди? – крикнул на приказчика Троекуров. – Выводи!..

Выступило человек шестьдесят всяких городских бездомовников, отставных солдат и мещан.

– Бери их в сторону, влево! А вам, – строго выговорил посредник, обращаясь к массе глазевших на происходящее посторонних зрителей, – видно своего дела нет? По местам сейчас! Живо!

Шляпы машинально, как бы сами собой, скинулись с голов, и любопытствующие соседи с прощальным поклоном и смущенным почесыванием затылков потянулись во все стороны. Только не очень большая кучка людей, в том числе уже замеченный Троекуровым, чем-то видимо весьма озабоченный и как-то странно шмыгавший среди рядов бородатый малый в накидном армяке, с низко нахлобученною на глаза шляпой и лицом, широко подвязанным пестрядевым платком, как бы от флюса, отойдя шагов на пятьдесят, остановился, зорко поглядывая с этого расстояния на место описываемого нами действия.

Троекуров вышел из коляски и медленным шагом подошел к блиновским крестьянам. Скоробогатов за ним проворно соскочил с козел и, передав вожжи сидевшему подле него писарю, побежал к лошадям выправить съехавшую шлею на крупе правого дышлового.

– Что же это вы, разбойничать вздумали? – начал неспешно Троекуров, поводя глазами по взъерошенным бородам, порванным рубахам и кровяным царапинам на лицах стоявшего пред ним в смущении народа.

Он не успел договорить, как к ним с громом колокольчика подъехала тройка под тарантасом, и из него проворно выскочили исправник Факирский и спутник его, подполковник Блинов. Вслед за ними в тележке, на добром, сытом иноходце катил рослый и дородный купчина в долгополом кафтане и цилиндре из темной соломы с подбитыми зеленою тафтой широкими полями, и с лицом красным как брусника, не то от зелена-вина, не то от пробиравшего его волнения. Это был сам Середкин.

– Борис Васильевич, – заговорил торопливым и заискивающим голосом Блинов, выскакивая из тарантаса и подбегая к нему с приложенною к козырьку рукой, между тем как глаза его с

прорывавшимся в них помимо его воли выражением злости направлялись на стоявшую пред ним толпу крестьян, – я узнал сейчас, что эти молодцы своевольничают на моей земле…

Он оборвал вдруг пред холодным, явно для него несочувственным взглядом, с которым обернулся на него Троекуров, слегка покраснел и нервно дернул плечом…

Медленно подвигавшийся за ним исправник холодно в свою очередь поклонился на ходу посреднику и молча, с озабоченным видом, стал от него несколько в сторону.

Крестьяне, понуря голову, пугливо выглядывали исподлобья на съехавшийся в их представлении *«решать* их» целый синклит «начальства».

Троекуров обратился к ним опять, хмурясь и с досадливо моргающими веками (присутствие тут полицейской власти было ему очень не по сердцу):

– И я, и мировой съезд, – начал он официальным тоном, не упоминая уже ни словом о факте «разбойничанья», – объясняли вам не раз, что ваша претензия на здешние луга не законна, что все, что положено вам законом, вы получили и ни на что более права не имеете. Вы нам не поверили, послали *ходоков* жаловаться на съезд в губернское крестьянское присутствие. Вам отказано и там, – протянул он, напирая, – чрез ваших же ходоков вы должны уже знать это…

– Ничего эвтого мы не знаем, батюшка, ваше бла… – заголосили, прерывая его, в толпе, – а как известно, что мы, значит, завсегда, при прежнем барине, царство ему небесное, траву в здешнем месте косили… Какие были допреж того порядки, так полагали, чтобы без перемены… А мы ничего, ваше сиятельство, батюшка, прочего не знаем…

Троекуров возвысил голос:

– Не знаете, так я вам говорю; а чтобы вы помнили сегодняшнее, я на всех здесь участвовавших самовольников налагаю штраф… Завтра приеду к вам в деревню и разберу… Ну, а теперь довольно покуражились, марш по домам сейчас!..

Толпа заколебалась, двинулась с места… Послышались голоса:

– Как милости вашей угодно будет… Что ж, мы не супротивники, коли штраф положите, мы завсегда готовы, а не то, что… А только как по-Божески оченно нам обидно, потому купцу отдали, а нам и тяпнуть негде; вовсе, значит, без травушки пропадать надоть со скотинкой…

«Обидно-то, обидно, спора нет», – подумал Троекуров, чуть с ненавистью поводя взглядом на подошедшего тем временем и осторожно ставшего за спиной Блинова тучного купца Середкина, на багровом и сдержанно улыбавшемся лице которого он читал торжество, всего его коробившее внутренно.

– Сами виноваты, – сказал он громко, – помещик предлагал вам свои круги за ту же аренду, какую ему дает купец, предпочтение вам оказывал, вы не согласны были…

– Помилуйте, кормилец, ваше с… мы завсегда согласны, а, только как нам по той цене не в моготу взяться; мы с нашим удовольствием, – галдели крестьяне, – ежели в годы и чтобы цена была настоящая…

– Ну, вот вам владелец налицо, просите его: может быть он согласится сделать вам уступку, – молвил Борис Васильевич, кивая на Блинова и отходя несколько шагов назад, с тем чтобы предоставить тому полную свободу столковаться с ними.

Но Блинов не понял, да и нисколько не намерен был воспользоваться этим. Он с натянутым лицом и выпятившеюся вперед грудью обернулся на посредника:

– Извините меня, Борис Васильевич, но я с этими… молодцами, – презрительно уронил он, – ни в какие разговоры вступать не намерен… Тем более-с, что на аренду принадлежащих мне лугов я уже заключил надлежащее условие с господином Середкиным и от него отступаться не имею права, да и не желаю.

У Троекурова задрожали губы. Но он сдержался и, продолжая отходить далее от крестьянской толпы, пригласил движением руки Блинова и исправника следовать за ним. Они как бы против воли повиновались. За ними, тяжело переводя дыхание и крестя свой то и дело икавший рот, поплелся Середкин, норовя все так же держаться от «господ» на некоторой благородной дистанции.

– А позвольте вас спросить, – начал Троекуров, останавливаясь на расстоянии, с которого голос его не мог быть слышим крестьянами, – на каком законном основании заключили вы условие с господином Середкиным?

Блинов озабоченно взглянул ему в лицо:

– Как на каком-с? Да не вы ли сами изволили передать двоюродному брату моему Ашанину, для сообщения мне; о решении крестьянским присутствием спора по этим лугам в мою пользу?

– Да-с, я оказал вам эту любезность, – отрезал Троекуров, – но вам, кажется, должно быть известно, что частное сообщение не есть формальный документ, в силу которого можно заключать те или другие сделки… Вы на мое желание сделать вам приятное ответили… действием, которое компрометирует не только вас, но и меня… и вызвало вот что-с! – И он быстрым кивком указал через плечо на толпу. – И они, в сущности, совершенно правы, – продолжал он с возрастающею горячностью, – круги эти состоят в споре, пока по деревне Блинам формально не введена уставная грамота, и до тех пор ни они, ни вы не вправе скосить тут былинки… Я им для острастки, понимаете ли, в предупреждение дальнейших беспорядков, обещал оштрафовать их за своевольство, и, разумеется, не наложу-с, потому что не они своевольничали в настоящем случае, а вы-с с господином Середкиным!

Блинов опешил и в первую минуту не нашел слова в ответ. Купец поспешно скинул свой соломенный на темном подбое цилиндр.

– Это, ваше высокородие, – захрипел он, отдуваясь и отирая платком свои отвислые и запотевшие щеки, – это, собственно, все единственно, потому как господин полковник, натурально соблюдая свои интересы…

Троекуров, не дослушав и повернувшись к нему спиной, обратился к Блинову (он старался теперь говорить как можно спокойнее):

– Если хотите послушаться доброго совета, поладьте с *ними*. Ваше право на эти луга неотъемлемо, и, как вы знаете, я твердо стоял за него. Но им действительно негде взять травы, если вы круги ваши отдадите в руки постороннего. В настоящую пору, когда им в претензии их во всех инстанциях отказали, я не сомневаюсь, что они согласятся на условия, какие вы им предложите… Это будет, поверьте, гораздо согласнее с вашими действительными интересами, да и человечнее, наконец, – сорвалось в заключение у него с языка.

И он, щурясь, недовольный собою за это, повел глазами в сторону.

Блинов вспыхнул.

– Позвольте мне, Борис Васильевич, – заговорил он, веско отчеканивая свои слова, – сослаться на вас же, что с моей стороны употреблены были все усилия для возможного соглашения с *этими людьми.* Они ни на что не соглашались и заставили меня погубить полгода времени на очень тяжкие для меня, признаюсь вам, препирательства с невежеством их и упорством: чего же еще вправе требовать они от меня?.. Принцип собственности, конечно, – примолвил он не то игриво, не то внушительно, – состоит в настоящий момент в эпохе, так сказать, кризиса, из которого он, весьма может быть, не выйдет живым, как говорится. Но пока он существует в положительном законе, ему приходится подчиняться поневоле (Блинов даже плечи приподнял, как бы душевно сожалея о том, что ему лично приходится подчиняться такому принципу)… Вы мне позволите поэтому оставить за собою полную свободу действий относительно людей, не заслуживающих, по внутреннему моему убеждению, ничего лишнего противу того, что мной уступлено им на законном основании.

Он как-то разом смолк, смущенный опять и видимо раздосадованный выражением лица Троекурова, который, пожевывая ус и словно с любопытством изучая своего собеседника, глядел ему пристально в глаза.

– Это слово настоящее, что господин полковник сейчас сказали, – заговорил в свою очередь Середкин, глядя искательно на Бориса Васильевича, – что у этого народа невежество и озорничество одно, поверьте чести, ваше выскородие! Как я, к примеру, заключимши натурально с господином полковником правильное условие, послал своих косарей, а этот народ не то что гнать, а даже до убивства… Извольте господина исправника спросить, сами видели, потому из городу выезжамши, а вам навстречу везут двоих, и даже один в бесчувственном виде, и собственно, можно сказать, сумнительно, чтобы жив остался.

Троекуров, сумрачно сжав брови и как бы только теперь вспомнив, живо обернулся на представителя инстинктивно противной ему полицейской власти:

– Вы, таким образом, прибыли сюда произвести уголовное дознание?

– Заявлено… Мой долг… – тихим и невеселым голосом пролепетала на это «власть».

«А, да ты вот какой!» – мелькнуло в голове Бориса Василевича, и он сочувственно взглянул на молодого, недавно назначенного исправника, с которым еще не имел случая встречаться.

– И что же потом – суд? – обрывисто спросил он его.

– Если захотят довести…

Факирский теперь в свою очередь поднял на него глаза, и Троекуров ясно прочел в них, что он рад бы был всей душой, чтобы не «доводили».

Середкин, по-видимому, прочел то же в этих глазах, но заметно озлился:

– А то как же, ваше благородие, – с запрыгавшими в азарте щеками воскликнул он, – спущать что ль им, сволочам, разбойникам?..

Троекуров смерил его глазами с головы до ног:

– Это ваше дело, – проговорил он сквозь зубы, – а в луга я вас все-таки не пущу до введения уставной грамоты, а грамоту я препровожу для предварительного рассмотрения в мировой

съезд, а там она, надеюсь, пролежит у нас до конца сентября. Можете тогда высылать сюда ваших косарей!..

Жирный купец от неожиданности и испуга даже качнулся на толстых ногах своих. Блинов с изменившимся лицом выступил вперед:

– Позвольте, однако, господин посредник, ведь это... извините меня, это уже, так сказать, произвол!

– Жалуйтесь на меня, там видно будет...

Троекуров чуть-чуть приподнял свою мягкую шляпу, кивнул и, не глядя уже более на него, ни на его оторопелого «арендателя», быстро направился к неразошедшейся еще толпе...

Он сразу заметил, что там теперь происходило что-то новое. Пока он переговаривался с Блиновым и Середкиным, к блиновским крестьянам мало-помалу подтягивалась, смешиваясь с ними, та небольшая группа из числа разогнанных Троекуровым посторонних лиц, которая за несколько минут пред тем, отдалившись на некоторое расстояние, остановилась там, наблюдая и рассуждая о происходящем. Теперь все это вместе заметно волновалось. Борис Васильевич сощурился на ходу, пристально вглядываясь в эту как-то судорожно теперь двигавшуюся и раскидывавшую руками толпу.

В задних рядах так и шмыгала замеченная им еще ранее фигура бородатого парня, подвязанного платком под подбородок...

– Ну, что еще? – строго уставляясь на них и подходя к стоявшим впереди, громко спросил Троекуров.

Говор не смолк, а перешел в торопливое общее гудение. Сплошная масса туловищ колыхнулась, словно зыбь какая пробежала по ней, раздалась, выпихивая кого-то из среды себя, сомкнулась опять...

– Ну чиво, спрашивает, так говори! – поднялся слышный шепот нескольких десятков голосов. – Все одно, нам без травы не жить... Не съесть, чего робеть-то!..

– Аль барского вида испугался? – хихикнул кто-то в задних рядах, но тут же оборвал за поднявшимся общим шуканьем.

Выпихнутый вперед оказался знакомый Борису Васильевичу не старый еще мужик, Гаврила Петров, почитавшийся своими односельчанами великим умником и грамотеем, и, как это известно было посреднику по предварительным переговорам с блиновскими об уставной грамоте, главный противник соглашения их с помещиком. Он знал, кроме того, что за этим умником орудовал Троженков, у которого тот состоял на посылках, фактором и вообще клевретом.

– А, ты! – молвил с холодною презрительностью Троекуров, увидев его пред собой видимо смущенного внутренно, но также, очевидно, настраивавшего себя на смелость. – Так и следовало ожидать! Ну, о чем у вас опять, говори, коли выслали!.. Да шапку долой, во-первых! – крикнул он.

Гаврила Петров поспешно скинул шляпу. Ближние к нему крестьяне так же поспешно последовали его примеру.

Он уткнулся на миг глазами в землю, кашлянул в руку и, утерев затем рот рукавом новой ситцевой рубахи, начал с оника:

– Как ежели, ваше всблагородие, нам насчет наших кругов в губернии действительно отказано, так все ж по закону следствует, что окромя нас в нынешнем, значит, лете никому тут косить не можно.

Троекуров с изумлением вперил в него глаза.

– Это еще что! С чего ты взял?

Мужик ухмыльнулся с заметным на лице самодовольством:

– А как вашему всблагородию известно, что *закон обратной силы не имеет,* – отчетливо проговорил он явно заученную с чужого языка фразу.

Троекуров не мог удержаться от улыбки:

– К чему же ты это сюда пришел?

– А к тому ваше-с… что, к примеру, теперича сами вы нам на плану показывали, все почитай барское яровое поле по нарезке нам, крестьянам, в надел отходит, так аль нет?

– Так!

– Хорошо-с. Теперича на поле том, значит, овес посеян. Чей он?

– Разумеется барский!

– Так-с! Барский. Барин его, значит, скосит и в гумно свое свезти велит?

– Конечно! – нетерпеливо, но невольно интересуясь тем, куда гнет деревенский законник, сказал Борис Васильевич.

Гаврила Петров переступил с ноги на ногу, утерся еще раз рукавом рубахи и продолжал:

– Значит, поле нам отмежено, а господин с него овес собрал, а круги от нас отрезали, и он же, барин, с них траву возьмет. Как это рассудить по правилу, вашесблагородие? – говорил он уже с некоторым шипением, поощряемый одобрительными кивками и прорывавшимися возгласами сочувствия со стороны своих. – А мы так по закону мекаем эвто: ежели по уставной грамоте, так, значит, все *эвто* навпредки рази будет, с осенней, к примеру, по уборке озимаго, скажем, посева, а дотоль чтобы все по-старому: как барину, значит, с поля овес в свою пользу, так и нам травушку взять с тех местов, коими завсегда пользовались…

«Какова троженковская казуистика», – пронеслось в голове Троекурова, он начинал сердиться:

– Довольно! – воскликнул он, перебивая расходившегося оратора. – Ты очень хорошо понимаешь сам, что плетешь ложь и вздор и даже не свое плетешь… Довольно разговоров! Слушайте вы, – обратился он к толпе, – в последний раз говорю я вам, и помните: этого теперь громом не отшибить – крусановские круги решены на вечные времена в пользу помещика, и волен он их отдавать в аренду, кому ему угодно и на каких ему вздумается условиях с той самой минуты, когда будет введена мной по вашей деревне уставная грамота…

Между крестьянами послышался ропот.

– Не поддавайтесь ему, ребята! – отчетливо визгнул в задних рядах чей-то разъяренный и не мужицкий голос. – Это все обман один. Вам царь приказал всю землю отдать, а баре обобрать вас хотят…

Кровавые круги запрыгали в глазах Троекурова. Он ринулся вперед в раздавшуюся мгновенно еще раз пред ним толпу, прямо на этот голос, на голос подвязанного малого, – это был он несомненно он, – вид которого давно мозолил ему глаза.

Он уже настигал его, уже протягивал руку, чтобы схватить его за ворот… Малый увернулся, сделал отчаянный прыжок назад и, размахнувшись дубоватою палкой, которую держал в руке, пустил ее изо всей силы в ноги Троекурова…

Она ударила его в коленную кость ниже чашки. Он ухватился за нее, чувствуя, что падает, и закусывая губу, чтобы не крикнуть от страшной боли…

В толпе поднялось смятение. Несколько человек кинулись подымать «посредственника».

Ударивший, с забегавшими как у зайца глазами, метнулся в сторону…

– Я за вашу волю, ребята, за ваши права! – крикнул он неестественным, растерянным криком.

Никто не ответил на него. И не успел он открыть рта еще раз, как пред ним выросла скуластая, страшная выражением своим, фигура Скоробогатова – и железные пальцы рванули его прямо за бороду…

Борода эта, вместе с обвязывавшим лицо платком, осталась в этих пальцах… Шляпа как бы сама собой спрыгнула с головы, волосы разлетелись, подхваченные ветром.

– Ваше высокоблагородие! самый тот и есть! – крикнул Скоробогатов, узнавая Иринарха Овцына. – Вяжи его, ребята! Кушак у кого есть?

Десятки рук, торопливо распоясавшись, потянулись к нему с кушаками.

– Ишь, дьявол, вдарил как! Взялся отколь незнамо, бунтовщик!

– Бороду ишь подвязал! – голосили крестьяне. – Вот тя подвяжут! Крути ему крепче руки, кавалер, чтобы чувствовал, значит!..

Скоробогатов стянул эти руки за спину их владельца, связал их двойным узлом кушака и ткнул его в шею с неудержимым движением злости.

– Не трогать! – досадливо крикнул Троекуров.

Его самого только что подняли, и он, перемогая всею силой воли донимавшую его боль в колене, стоял теперь, опираясь на ту же, причинившую сму эту боль палку Овцына, поднятую одним из крестьян по его приказанию.

Он пристально уперся взглядом в страшно побледневшее, но как бы еще сильнее озлившееся лицо Иринарха.

– Вы понимаете, – проговорил он, – что тут уже не личные счеты. Я вам мутить крестьян дозволить не вправе… Где господин исправник? – обернулся он взглядом на окружающих.

Факирский с Блиновым бежали к нему.

– Борис Васильевич, что такое, что случилось? – с искренним участием и тревогой спрашивал Блинов, между чем как молодой исправник перепуганными глазами обводил лица толпившихся кругом крестьян со стоявшим между них арестантом.

– Вот этот переодетый… – чрез силу, неохотно отвечал Троекуров. – Спросите!.. Крестьян явно подстрекали, – понизил он голос, – и я, надеюсь, полковник, раз настоящий виновник теперь налицо, что вы не дадите хода сегодняшней здесь… свалке и склоните на то же вашего купца… Его увечных я берусь удовлетворить.

– Помилуйте, – прервал Блинов, смутившись вдруг, – на что же… я сам… Я, поверьте мне, с неменьшим, как вы, отвращением отношусь к эксплуатации труда капиталом… и готов воспользоваться вашим добрым советом… Но, Боже мой, – прервал он себя, – вы ужасно страдаете, по лицу вашему видно. Вероятно, у вас кость зашиблена серьезно… Воды бы поскорей, бинтовку…

Но давно знакомый с увечьями и ранами Скоробогатов уже бежал к своему барину с зачерпнутою им в реке ведеркой воды…

Троекурова посадили на траву… Кость у него оказалась переломленною.

Все переполошилось кругом.

– Костоправа нету ль тут по близости? – крикнул Скоробогатов, быстро вскакивая на ноги с колен, на которые опустился, ощупывать ногу Троекурова.

– Костоправа?.. Есть, братец ты мой, есть!.. Вот тут, с полверсты будет, на Прирече́нских, значит, кругах, от помещика Девушкина народ косит, так вы Флегона спросите, Ящера прозывается, он тут за приказчика от барина поставлен над народом… Настоящий этто фершал, ученый… Сбегать что ль надоть?

– Извольте, я могу для скорости съездить за эвтим человеком в экипаже, – предложил, тяжело переводя дух от ходьбы и перепуга, купец Середкин, подошедший тем временем к месту происшествия.

– Поезжайте скорее, поезжайте! – суетился Блинов, торопя его.

Он взобрался в свою тележку, посадил к себе одного из крестьян, вызвавшегося указать ему «Флегона, фершала», и быстро покатил на своем сытом иноходце…

В пяти шагах от безмолвно, перемогая боль, сидевшего на траве Троекурова стоял связанный арестант с выражением пойманного волка на лице, хранившем еще свежие следы полученного им за несколько часов пред этим оскорбления, – оскорбления, за которое «отмстил он теперь»… Но мщение это далеко не удовлетворяло его, далеко было не то, на что он рассчитывал во злобе своей. Этот ненавистный ему человек не был им унижен, нанесенное ему увечье не смывало позорных синяков, бороздивших его, Овцына, щеки. Оно, напротив, послужило на пользу этому человеку, возбудив к нему общее участие, а к нему, «отмстившему», негодование и презрение… Да, он не мог не сознавать, не видеть это: все в эту минуту было занято им, этим «барином», суетилось около него, а его, «нового человека», революционера, заявившего себя сейчас делом, «пахнущим каторгой», будто забыли: за этою тревогой о *нем:* успеем-де еще тобой, ничтожеством, заняться… «Мужичье поганое, – говорил себе, обливаясь желчью, Иринарх, – я за волю вашу, за ваши права», – крикнул он им сейчас, и никто из них не отозвался, не тронулся с места на этот крик, и все они, «с холопскою подлостью и страхом на лицах», отрекаются от него и обзывают «бунтовщиком», спасая себя и

выдавая его… «Где буду я ночевать сегодня?» – пронеслось со внезапною дрожью по спине, в голове Иринарха.

Он невольно обежал взглядом кругом… Уйти некуда – со всех сторон все те же враждебно-презрительные лица… У него посинели губы…

Но вот к нему подходит господин в полицейском мундире, с молодыми, мягкими чертами лица, которому владелец его силится видимо в эту минуту придать как можно более строгое выражение.

– Кто… ты? – спрашивает он его, заметно для Иринарха поколебавшись на миг сказать ему это «ты» или *вы.*

– Андрей Федоров, клинский мещанин, – отвечал дерзко Иринарх, поводя глазами в сторону Троекурова.

Но Борис Васильевич будто и не слышал, не повернул головы.

– Вид имеешь?

– Можете поглядеть, – проговорил Овцын, – возьмите у меня в кармане.

Исправник вынул из кармана Овцына форменный, за печатью билет, прочел с озабоченным и недоверчивым видом:

– Занимаешься чем? – обрывисто спросил он опять.

Иринарх поглядел на него, помолчал…

– Не желаю отвечать, – сказал он, сообразившись.

Факирский несколько озадаченно взглянул на него в свою очередь и тут же, отвернув глаза, обратился к толпе:

– Знает его кто-нибудь из вас? Как он сюда попал?

– А леший его знает, жулика, отколь взялся! И видом не видывали допрежь того… Мало ль их ноне наймоваться ходят на косовицу-то, – поспешно отвечали мужики.

– Быдто так кажет, что встрелся он мне севодни… с помещиком тут с одним, – робко пролепетал один голос (это был косарь, державший утром лошадь Троекурова в минуту расправы его с Овцыным).

Но ему не дали продолжать:

– Ну чего врать-то! Встрелся! Сам видишь, шатун какой, аль, может, беглый, а то «с помещиком». Станет с ним помещик компанию вести! Молчи лучше! – шукали на него, пугливо оглядываясь на «господ», крестьяне, из которых многие сами в эту минуту узнавали Иринарха за лицо, которое случалось им видеть именно в «компании» помещика Троженкова, соседа, постоянно проезжавшего чрез их деревню.

Подполковник Блинов, все время суетившийся у ноги Троекурова, быстро шагнул к исправнику:

– Прикажите скорее взять этого молодца да и в острог что ли, – прошептал он ему на ухо, кинув рассеянный взгляд на отворачивавшегося от него Овцына, – а крестьян оставьте! Посредник очень настаивает, чтобы кончить все это миролюбиво; а насчет Середкина не беспокойтесь: он жаловаться не станет, я вам отвечаю.

– Я очень рад, – ответил радостно Факирский. – Сотский! – крикнул он, оборачиваясь, – возьми арестанта!..

Тележка с Середкиным и костоправом, которого он нашел на кругах Девушкина, подъезжала тем временем к ним.

Все опять обратилось к Троекурову.

«Фершал Флегон» оказался действительно знающим свое дело. Он ловко и быстро вправил и соединил концы поломанной кости и, за неимением лубков и холста, забинтовал голень покамест кушаками, взятыми у предлагавших их усердно крестьян.

– Уж позволь, родимый, – каким-то умиленным голосом говорили теперь крестьяне Борису Васильевичу, – мы вас в экипаж снесем.

Они подняли и донесли его до коляски, натащили в нее и набили полупросохшей травы в уровень с сиденьем, чтобы дать ему возможность держать ногу в горизонтальном положении.

– Позвольте предложить вам, – сказал ему Блинов, – вам до себя верст 15 ехать, моя же усадьба всего отсюда в трех верстах, а от вашего пути крюку и полверсты не будет. У меня и лубки найдутся, и бинты нарежут: мы возьмем с собой фельдшера, и вы по крайней мере вернетесь домой *вправленный,* так сказать, по всем началам науки.

– Это точно! – заметил на это одобрительно «Флегон».

Троекуров подумал, что всю эту операцию лучше действительно проделать загодя у чужих и избежать таким образом лишних «женских ахов и охов», ждущих его дома, и согласился.

– Ну, спасибо, ребята, – обратился он к окружавшей его, любовно и искательно заглядывавшей ему в глаза толпе, – и марш по домам сейчас! Надеюсь, что на этот раз упрошу г. исправника и бывшего вашего помещика простить вам ваше сегодняшнее… своевольство. Но если бы вам вздумалось начать что-нибудь подобное снова, помните, я вам не прощу!

Мужики кругом повалились ему в ноги:

– Батюшка, милостивец… Дай тебе Пресвятая Богородица много лет здравствовать, а мы по всякому твоему слову, а не то, что… Мы единственно, как по нужде своей, потому нам тяпнуть негде…

– На это опять же один у меня ответ вам: обратитесь к бывшему вашему помещику; он, я уверен, сделает для вас все, что сочтет возможным.

Блинов, с выражением снисходительного достоинства на чуть-чуть улыбавшемся лице, повел на них взглядом в свою очередь:

– Вернувшись домой, выберите из себя человек пять стариков и пришлите ко мне на двор, мы потолкуем… Вы мне позволите с вами сесть, Борис Васильевич, – поспешил он прибавить, как бы с тем, чтоб иметь предлог не обращать внимания на благодарственные возгласы и

торопливые в пояс поклоны, отвечавшие на его слова.

И так же торопливо подобрав свои косы и кафтаны, толпа радостно и шумно повалила теперь с «кругов» на проезжую дорогу, по направлению своей деревни.

«В лузях, лузях… во зеленыих…»

– зазвенел чей-то высокий хриплый фальцет, и к песне, чем далее, тем звончее и дружней приставали грудные, мужественные голоса…

– Вы и своих-то уж отправьте восвояси, Афанасий Доримедонтович, – сказал с невольною улыбкой Блинов, обращаясь к уныло сидевшему в своей тележке, с вожжами в одной руке и цветным платком в другой, купцу Середкину.

Толстый купец вздохнул, отер в двадцатый раз свое обливавшееся потом лицо и кликнул своего, стоявшего среди его косарей с подобною же унылостью на физиономии, востроносого приказчика для передачи ему соответствующего приказания.

– А вы уж ко мне милости просим, – продолжал Блинов, – мы там с вами окончательно переговорим… И вы с нами, Семен Петрович? – обратился он к Факирскому.

– Да вот-с, насчет отправки арестанта распорядиться надо, – ответил озабоченно тот, – и допрос-то, собственно, по форме снять с него надо.

– А вы прикажите его свезти ко мне, там и допросите на досуге, чем вам для этого нарочно в город ехать. А чтобы не убежал, я вашему сотскому на подмогу сторожа дам… Ну-с, а теперь ехать, – весело заключил он, влезая в коляску Троекурова и осторожно усаживаясь подле него, чтобы не дотронуться до его больной ноги. – Трогай!

XII

Дантисты базаровской безпардонной вольницы, Собакевичи и Ноздревы нигилизма… их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имели ничего общего с неоскорбительною и простодушною грубостью крестьянина, а очень много с приемами подьяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома.

Герцен. Общий фонд.

В усадьбе Блинова «недоразумения», как выражался он, между ним и его бывшими крестьянами совершенно благополучно устроились. Крусановские круги, окончательно оставшиеся за ним, он согласился разделить на две арендные стати, по 40 десятин в каждой, из которой одну взял Середкин, а другую он отдал в 12-летнее пользование крестьян, со сбавкой с них против Середкина по 10 рублей на круг. Последнее условие положено было занести и в уставную грамоту…

«Таким образом, – говорил Блинов, пожимая руки Борису Васильевичу и глядя на него умильно усмехающимися глазами, – благодаря вашему, можно сказать, вполне авторитетному на этих темных детей природы слову, немыслимое оказалось возможным и невозможное становится действительностью»…

Темные дети природы в свою очередь, получив от него по окончании переговоров красненькую на покупку соответствующего числа ведер водки «грамоту вспрыснуть», были в самом счастливом настроении духа и оглашая воздух благодарственными кликами, «потому как

завсегда своих, Блиновых, господ за благодетелев почитали и, значит, и впредь настоящий у них помещик есть»… и так далее.

Купец Середкин, чтобы не отстать от барского примера и для снискания благорасположения недавних врагов и будущих «соседушек» по крусановским кругам, заявил тут же, что он жертвует со своей стороны четыре «ведерышка» на угощение их по окончании косовицы.

Восторг произвело это обещание невообразимый…

– Ну и пора! – даже вздохнул, как вздыхает человек, сбрасывающий тяжелую ношу с плеч, Троекуров, когда этот народ с новыми песнями и ухарским присвистом повалил наконец со двора, а за ним, усердно раскланиваясь на все стороны, выехал и Середкин, со своим приказчиком за кучера.

Ему самому тем временем перебинтовали надлежащим образом и уложили в лубки ногу… И нога эта, и возня с крестьянами, и весь этот перемол лишних слов, потраченных им на увещания, соглашения и угрозы, привели его в нервное, раздраженное состояние. Он велел подавать коляску и, ответив решительным, несколько даже нетерпеливо выраженным несогласием на любезное настояние хозяина позволить проводить его «на всякий случай» до Всесвятского, поспешно простился с ним и уехал.

– Потемкиным ведь тоже глядит, барич! – сказал себе под нос Блинов, стоя на крыльце, до которого проводил его, и глядя прищурясь ему во след…

И он презрительно усмехнулся, тотчас же сообразив, «как нелепы подобные потемкинские замашки при общем *нивелирующем* духе нашего века» и насколько «мировоззрение подобного барича ничтожно пред трезвым взглядом просветленного наукой реалиста-мыслителя».

– Семен Петрович, – отнесся он к исправнику, стоявшем на дворе в нескольких шагах от крыльца и занятому весьма, видимо, озабочивавшим его разговором с мужиком, сотским, которому поручено было им привести с лугов арестанта, – я умираю с голоду, да и вы тоже, полагаю. Пожалуйте, у меня денщик мастер битки готовить.

– Сейчас, сию минуту, – торопливо и не оборачиваясь отвечал тот.

Блинов сидел уже за столом пред тарелкой окрошки, когда Факирский, все так же озабоченно и морщась, вошел в столовую и без слов опустился на место насупротив его.

– Э, да вы туча-тучей! Что случилось? – спросил хозяин.

Исправник повел на него вкось глазами и не то просительно, не то смущенно сказал:

– Вас не затруднит, полковник, приказать послать от стола чего-нибудь поесть этому… молодому человеку?..

– Какому? – вскликнул, не понимая в первую минуту, Блинов.

– Которого арестовал я… в лугах… Я велел посадить его тут у вас в пустой кладовой…

– Да, да… Я прикажу… А что он за человек? Я его, признаться, и не видел-то хорошенько… Троекуровым этим заняты все были…

– Человек по-видимому развитой… как мы с вами, – пролепетал не сейчас исправник,

продолжая не глядеть на своего собеседника.

Тот понял с первого намека. Он быстро вскинул вверх голову и засиял взором:

– Что вы говорите! Не бродяга, значит, не мужик он?.. Студент, а?..

Он понизил голос до шепота:

– С социальными целями?.. Я знаю, по Волге идет теперь у них пропаганда… Так это один из таких, полагаете?

– Очень похоже, – как бы против воли падали слова с губ Факирского, – мы с вами прибежали на место, когда он уже был схвачен… Кучер посредника, грубый, как все эти люди, цапнул его прямо за бороду… борода оказалась фальшивою… И что очень странно, как я узнал сейчас, и кучер этот, и его барин знают, кто он… и не назвали. И, как оказывается далее, он, этот молодой человек, проживает уже несколько времени в здешней стороне. Крестьяне, вы слышали, по врожденному в них страху к нам, полиции, и к суду, заверяли хором, что никогда не видали его, а в действительности многие и не раз встречались с ним – одет он был не крестьянином – в окрестностях одной соседней вам деревни, Быкове, где он, по-видимому, и имел пристанище у тамошнего землевладельца Троженкова, знаком он вам?

– Нет, – быстро и тоном сожаления отвечал хозяин, – не имел случая сойтись с ним нигде. Говорят, человек необыкновенно умный и вполне прогрессивный!..

– Д-да-с, – иронически и незаметно для себя, все далее и далее увлекаясь на откровенность, пропустил исправник, – он состоит даже у *нас* под тайным надзором, как подозреваемый в доставлении корреспонденции в газету *Колокол.*

– Вот как! – засмеялся его собеседник. – И что же вы, по своей обязанности, должны в известные сроки доносить о нем начальству?

– Что же мне доносить? Писем он мне своих не показывает, да и по почте их, вероятно, не посылает. Так мне, если б я и расположен был к инквизиторскому образу действий, нет и почвы на то… Впрочем, и начальство, – промолвил усмехаясь Факирский, – надо отдать справедливость, нисколько не отличается фанатизмом по этой части.

– Что правда, то правда! – вскликнул, потирая радостно руки, Блинов. – Наши правящие сферы, вообще говоря, отличаются самою похвальною толерантностью. Нельзя-с, против духа века ничего ведь не поделаешь!.. Хотя, – промолвил он наставительно, лукаво подмигивая при этом, – начальство никогда не следует баловать хвалой, а держать его, напротив, всегда под страхом, что оно недостаточно либерально действует. В этом настоящая политика людей движения… Ну-с, а что же ваш… молодой человек? – перебил он себя. – Говорили вы с ним?

– Немного успел, а говорил…

– Что ж он?

– Он проголодался прежде всего… и выразил мне даже это несколько бесцеремонно, – добавил с легкой гримасой Факирский.

– Как так?

– Да просто: «Дадут мне, говорит, *жрать* или нет?»

– Ах, Боже мой, – вскинулся вдруг Блинов, как бы мгновенно испуганный неудовольствием человека, способного так энергически выражать свои желания, – да прикажите поскорей пригласить его сюда. Он с нами и пообедает… Денщику я прикажу поставить все блюда на стол и убираться на кухню… а то, знаете, старосолдатские понятия: как, мол, это господа с *арестантом…* Ну, а тут мы на свободе, en trois, частным образом…

– Д-да… Что же, таким манером можно, – после легкого колебания согласился и исправник.

Через несколько минут в передней раздались тяжелые шаги, и в отверстие полураскрытых половинок двери в столовую просунулась голова мужика, сотского:

– Привел, ваше благородие, – доложил он как бы с таинственностью, отыскав глазами исправника.

– Хорошо, давай его сюда!.. А сам можешь идти…

– Там на кухне тебя накормят, любезный, я приказал, – поспешил прибавить со своей стороны хозяин.

– Много благодарим, ваше…

Низко нагнувшаяся за этими словами голова исчезла, и на место ее, широко откидывая дверь рукой, выступила знакомая нам белобрысая и самоуверенная фигура Иринарха Овцына в красной кумачовой рубахе на выпуск и пестрядевых портах, всунутых в мужицкие смазные сапоги. Облик его в этом виде нисколько не отличался от наружности первого попавшегося фабричного, но подполковнику Блинову стоило только взглянуть на него, чтоб утвердиться в предположении, что это «само собой не рабочий, а некто, по всей вероятности, очень *интересный…*

– Запри за собой двери! – крикнул он, глядя чрез голову вошедшего сотскому, не успевшему еще уйти из передней.

Руки в армяке поспешно выставились оттуда, потянули к себе половинки и защелкнули их.

Блинов привстал и поспешным движением руки пригласил арестанта подойти к столу. Он глядел на него во все глаза с явно сочувственным, чуть не почтительным любопытством.

– Вы не обедали? – спросил он, поощрительно улыбаясь, и, не ожидая ответа, – так не угодно ли… без церемонии, вот место!

Овцын, безо всякой уже действительно церемонии, захватил стул по пути, подтащил его к столу, опустился на него и, подняв со скатерти глубокую тарелку, потянулся с нею без слов к хозяину за окрошкой.

Тот, все с такою же поспешностью в движениях, налил ему суповою ложкой доверху ее.

Иринарх завладел большою горбушкой домашнего ситника и, жадно откусив от него, принялся хлебать из тарелки.

Хозяин и исправник, молча, с жалостливым выражением на лицах, глядели на арестанта, как бы не решаясь сами приняться за другое блюдо, пока он не кончит.

– *Это* теперь следует, а? – произнес тот, отставляя опорожненную тарелку и тыкая пальцем на

блюдо битков, стоявшее на противоположной стороне стола.

Блинов пододвинул его к нему.

– А вы, Семен Петрович? – спросил он.

Факирский улыбнулся своею мягкою улыбкой:

– После, после!.. Дайте вот этому молодому человеку утолить свой голод… я успею.

– Да-с, это вы правильно сказали, – хихикнул Иринарх, наваливая себе на блюдо, – голод у меня волчий: отца родного сожрал бы, кажется, в эту минуту, не говоря дурного слова… С завтрака, ранним утром, как вышли стакан чаю да яйца три вкрутую съел, ни маковой росинки во рту не было до сих пор…

– Вы у господина Троженкова в Быкове завтракали? – спросил нежданно исправник.

Овцын кивнул машинально головой – но вдруг, опомнившись, обернулся на него злым и нахальным взглядом:

– С чего ж вы это взяли?

Факирский слегка прижмурился:

– Имею основание полагать.

– А я как же ваш вопрос понимать должен? – хихикнул опять Иринарх, жуя во весь рот рубленое мясо битков. – Для плезиру что ль своего спрашиваете или формальный мне допросный пункт ставите?

Подполковник Блинов почел своим долгом хозяина предупредить дальнейший «неприятный разговор»:

– Позвольте вас уверить, что в настоящую минуту, у *меня* за столом, ничего формального быть не может, и я настолько знаю Семена Петровича, что он никогда не решится злоупотребить своим положением относительно вас… Вы, впрочем, сами это заметить, кажется, можете, – прибавил он с видом достоинства.

Арестант повел на них обоих снисходительными глазами:

– Что ж, – уронил он, – не знаю, что дальше, а пока вы кажетесь мне довольно порядочными людьми.

Факирский дернул бессознательно плечом и глянул исподлобья на Блинова, как бы говоря: «Ведь эта аппробация и не к месту, пожалуй!..»

Блинов весело и самодовольно засмеялся:

– А ведь это так, Семен Петрович? Ведь мы с вами действительно «порядочные люди»… Я лишь сегодня имел случай с вами познакомиться, но я достаточно опытен, чтобы распознать сразу тот уровень развития, на котором стоит та или другая натура… И я, конечно, не ошибусь, сказав, что вы человек *новых* убеждений и умеете ценить их в других, – подчеркнул он.

Факирский склонил голову, покраснел слегка и как бы про себя:

– Новых? – повторил он. – Не знаю, как сказать… Убеждения свои я вынес еще с университетской скамьи.

– Студент бывший? – коротко промолвил Иринарх, продолжая жевать и не глядя на него. – Это хорошо!

– И вы тоже? – обратился к арестанту тоном добродушного лукавства Блинов.

– Что «тоже»?

– Студент.

– Много знать будете – скоро состареетесь, – отрезал тот.

Он вдруг откинулся в спинку своего стула, взглянул в упор в глаза хозяину и засмеялся:

– А любопытно было бы знать вам, признайтесь, кто индивидуй сей, которого вы, как «либерал» что ли или просто от скуки, пригласили сотрапезовать с вами теперь, любопытно, а?

– Я у вас тайн ваших не допытываю, – с невольною досадой и вспыхнув весь, проговорил ученый офицер.

Овцын, не переменяя тарелки, наложил на нее с близстоявшего блюда большой кусок индюшки и продолжал насмешливо:

– А я бы открыл вам, право, открыл… Да нельзя… А вы вот самого *его*, посредника, спросите, – нежданно добавил он.

– Посредника? Бориса Васильевича Троекурова то есь? – спросил Блинов, переглянувшись с исправником. – Он знает, кто вы?

– Знает, и *вам известно,* что он это знает, – подчеркнул Овцын, перехвативший этот взгляд, – только вам от этого не легче: он не скажет.

– Почему вы так положительно утверждаете?

– А *потому* что!.. Попробуйте его спросить. Увидите!

– Как же это следует объяснить, можно вас спросить? – озадаченно проговорил Блинов, чрезвычайно заинтересованный.

– Как? А так, что уж чересчур презрения в нем много.

– К кому?

– Да ко всем, – злобно прошипел Иринарх, – к нему вот (он кивнул на исправника), потому что он полиция; к вам, потому что вы из-за лишних ста рублей готовы с мужиком до смерти тягаться; к мужику – за то, что он плебей и сермяга; ко мне…

– К вам же за что, к вам? – с язвительною усмешкой подгонял его Блинов, серьезно уколотый тем, что сказано было Овцыным о мотивах презрения Троекурова к нему, Блинову.

– Ко мне-с… потому что я на него, магната и сердцееда, не со шпагой или пистолетом, а с палкой вышел… Потому, – судорожно кривя губы, добавил Овцын, – что большой барин этот

разоблачений моих боится и воображает подкупить меня великодушием… или доконать этим своим презрением.

Слушатели его невольно переглянулись еще раз. Какое-то болезненное ощущение сказалось на лице Факирского: он понял, что речь шла теперь о какой-то «семейной драме», и что, «какова бы она ни была», и кто бы ни был сам этот «молодой человек», он поступает «неблагородно», намекая на нее при людях посторонних.

– Из ваших слов, – холодным тоном сказал он под этим впечатлением, – следует, кажется, заключить, что мотив, побудивший вас нанести увечье посреднику Троекурову, есть просто чувство личной мести?..

Иринарх быстро вскинул на него глаза:

– Ну-с, это бабушка надвое сказала… Во-первых-с, я был на это вызван, коли уж дело идет о «чувствах», хотя бы уже просто чувством самозащиты. Прет на тебя прямо человек с очевидным намерением насилия, тут уж инстинкт самый…

Он не договорил и покраснел, мгновенно вспомнив встречу свою утром с Троекуровым, где «инстинкт» его сказался в том, что он выронил палку из рук и закрыл лишь ими свое исполосанное лицо…

– Наконец тут могли действовать и другие мотивы, – уронил он с губ, злобно скривившихся опять от этого воспоминания.

– Действительно, – так же холодно сказал исправник, – крестьяне показывают, что вы возбуждали их против посредника и вообще помещиков, говорили им, что вся земля должна им принадлежать.

– Ну-с, а вы-то как же? – перебил его резко арестант, подымая вилку вверх и покачиваясь на своем стуле. – Вот, вы говорите, студент были, человек развитой, как же сами-то вы полагаете, кому должна принадлежать земля: тем ли, кто обрабатывает ее и обливает своим потом, или всяким родовитым тунеядцам-собственникам, эксплуататорам народа?

Факирского огорошил этот неожиданный, поставленный ему ребром вопрос. Ответить на него утвердительно значило отрицаться ему ото всех тех идеалов будущего «человеческого братства», которым он оставался верен мечтательною мыслью с университетской скамьи… Он, не находя ответа, только отвернулся и неопределенно пожал плечами.

Подполковника Блинова вопрос будто испугал даже. Он почел необходимым как можно скорее заявить, что по отношению к нему лично не может даже существовать никакого подобного вопроса:

– В самом принципе собственности лежит величайшее беззаконие, – произнес он с высокомерною улыбкой, как бы уже по адресу кого-то воображаемого, не разделяющего с ним такого убеждения, – это давно и неотразимо доказано Прудоном и обратилось в настоящую минуту в аксиому социологической науки. Дело заключается, по-моему, лишь в большей или меньшей степени применимости в данную минуту новых, реальных начал к практике жизни человеческих обществ, воспитанных на вековой рутине, унаследованной от произвольных воззрений римского права на владение землей. Ведь с этим все-таки приходится пока считаться…

– Да-с, – не давая ему продолжать, возразил Овцын, – как если сам в себе силишки не

чувствуешь, так тут и начнешь гадать, как старая баба на картах: выйдет, не выйдет… Вы, видно, и Добролюбова-то никогда порядочно не читали? – уже совсем презрительно уронил он.

– Я-с? Я-с не читал Добролюбова? – в силах был только пропустить Блинов сквозь горло, задыхаясь от негодования за такую обиду.

– А, читали, – хладнокровно вымолвил Иринарх, – так вам там наперед и ответ написан.

– Какой ответ такой?..

– Очень простой: «Если, – говорит он, – общественные отношения не удовлетворяют стремлениям, *сознаваемым вами,* – подчеркнул Овцын, – то, кажется, ясно, что требуется *коренное* изменение этих отношений. *Сомнения тут никакого не может быть.* Почувствуйте только, как следует, право вашей собственной личности на правду и на счастье, и вы самым неприметным и естественным образом придете к кровавой вражде с общественною неправдой»… Заметьте-е, *кровавой!* – мрачно повторил Овцын, подымая палец кверху. – «И тогда, и *только тогда»,* – прибавляет к этому гениальный критик, *«можете вы с полным правом считать себя честным человеком!..»*

Блинов опустил глаза; он чувствовал себя уничтоженным: он проглядел или не помнил этого места у «гениального критика». *Такое* место!..

– Я это помню, – вмешался в разговор Факирский, – но при всем моем уважении к цитуемому вами публицисту я с ним в этом далеко не могу согласиться и имею в этом случае за себя историю. Не «враждою и кровью», а любовью и мирною проповедью восторжествовало Евангелие над языческим миром.

– Ну-с, а Коран-то как? Мечом и огнем! – воскликнул, мгновенно встрепенувшись, Блинов, заметно ища в выражении лица Овцына одобрения этому своему возражению. – На историю не ссылайтесь, Семен Петрович, осечку дадите!

Арестант повернул голову в сторону исправника и снисходительно улыбнулся:

– Вы, я вижу-с, все еще жорж-сандовскими идиллиями изволите проклажаться? Meunier dAngibaut и прочая…

Факирский почувствовал себя в свою очередь уколотым таким намеком на его отсталость:

– К чему тут Жорж Санд, – хмурясь возразил он, – возьмите хоть Базарова *Отцов и детей:* он презирает старый порядок, да и протестует против него всем складом мысли своей и деятельности. Это тоже проповедь, но «кровавого» я в ней ничего не вижу.

– Ну что ваш Базаров! Кисляй! – отрезал Овцын.

– Базаров-с! – с некоторым даже ужасом воскликнули на это оба его собеседника.

– Известно, постепеновец! Улита едет, когда-то будет… А время терять нечего, нам не Базаровы нужны-с теперь, а Инсаровы, понимаете, русские Инсаровы, люди, которые, кроме своей прямой задачи, ничего бы не видели и не допускали, бестрепетные люди, способные скинуть с себя последнюю гниль старых понятий, всего, – говорил, окончательно расходившись Иринарх, сверкая глазами, – все то, что тупое большинство называет «добром», «справедливостью», «культурой», «свободой» и так далее, все эти давно отжившие бредни в роде «чести», «самолюбия», «вежливости», «сострадания», «благодарности», «великодушия»

(он захлебывался от слов, притекавших к нему на язык), – и знали бы только одно, что старый мир весь без остатка подлежит ломке и, не щадя ни своей, ни чужой жизни, шли бы на эту ломку, пуская для этого в ход все зависящие от них средства… И народились уже эти люди, и уже действуют-с, делают свое дело, и наступление *настоящего* дня в России совсем не так неизмеримо далеко, как вы, как вообще у нас привыкли думать… Зарубите себе это на носу, господа! – нахально и с мрачно насупившимися бровями заключил Иринарх и, взяв тут же со стола лежавший на нем портсигар исправника, вынул из него папироску и закурил спичкой, шаркнув ее о салфетку.

Подполковник Блинов, не отрываясь, и с тайною завистью глядел на него. «Вот она где, сила-то, вот они *настоящие!*» — говорил он мысленно… Проговоренные сейчас слова были ему не новы; слова эти печатно, с дозволения цензуры, расходились в те дни по всей России. Более того, он знал лично тех, кем и у кого сочинялись они. Но только теперь получали они для него действительное значение. Из области кабинетных теорий они перешли уже в живое дело, чуял он, – «и из-за такого дела человек рискует каторгой, и не думает вместе с тем о ней, и громогласно заявляет об убеждениях, которые ведут его к ней, и глубоко верит в их торжество… Да-с, вот это сила, вот это действительно все перевернет!» – повторял он, сознавая внутренно себя самого «реально» ничтожным пред этою действительно «реальною силой»…

Факирский глубоко задумался… Он себя издавна почитал в душе «социалистом»; он питал благоговение к «Петрашевцам» и в течение многих лет собирал в особый, тщательно припрятываемый альбом портреты их в копиях, которые перерисовывал собственноручно, как только представлялся ему на это случай… Но никогда, никогда ни *они,* ни Белинский – вспомнил он «учителя», – не согласились бы на «пропаганду мечом и огнем», как выражается «этот полковник, цитирующий и Прудона, и Коран, и которому нужна была угроза посредника, чтобы заставить его уступить сотню рублей на пользу не знающим «где тяпнуть» крестьянам»…

– Вы знаете ***? – спрашивал между тем хозяин арестанта, называя по имени и отчеству одного весьма известного тогда сотрудника «толстого» петербургского журнала, пользовавшегося наибольшим распространением в России той эпохи.

Тот только плечом дернул, словно говоря: «Еще спрашивает!»

– А вы? – сказал он.

– Знаю-с. Он очень близок с товарищем моим по заведению, полковником Окончиковым. *Сборник* вместе издавали…

– Знаю-с, – протянул в свою очередь Овцын и значительно улыбнулся, – *** в крепости, как вам вероятно известно.

– Д-да, – вздохнул Блинов и развел руками, – такой человек, вождь, который так много мог бы еще сказать!.. И если вдруг его в Сибирь…

– Ничего-с, вызволим! – не дав ему договорить, отрезал Иринарх и полез за новым куревом в портсигар исправника.

Трапеза давно кончилась: стемнело, и денщик хозяина, старый, обросший до глаз волосами служивый, сердито каждый раз оглядывая на ходу спину «жулика», сидевшего за одним столом с «господами», убрал посуду, принес две зажженные свечи в старинных высоких шандалах и заменил, по приказанию барина, выпитую бутылку вина бутылкой старой вишневки из оставленного стариком Блиновым своему наследнику довольно порядочного погреба.

Вишневка оказалась отличною; денщик отослан был снова из комнаты, и разговор завязался опять.

Он перешел теперь на почву общих рассуждений, – столь любезных вообще беспочвенной натуре так называемого русского «интеллигента».

Не обойден был ни один из тех трескучих «вопросов», о которых в те дни бряцала во все кимвалы свои русская журналистика… Ученый офицер-«академист» и неведомый ему, но все более становившийся для него «интересным» молодой человек оказались по большинству этих вопросов вполне единомышленными «в принципе», расходясь лишь в некоторых частностях. О «теософической задаче»[81], о «почтенном тезисе» (под этими выражениями на языке «нового слова» разумелось бытие Бога и вера в него) упомянуто было лишь вскользь, так как об этом и в самом деле стоило ли много говорить! Подполковник Блинов вспомянул только кстати о «замечательном своею ограниченностью Вольтере», веровавшем в этот «тезис»; а Иринарх Овцын, комически воздев очи к небу, возгласил: «Аллах есть Аллах – как трогательно и похвально!..» Более времени заняло рассуждение о «добре и зле» вообще и о «реальном» разумении этих понятий. Вспомнили при этом остроумное определение одного из апостолов учения, рассуждавшего так: «Когда, говорит дикарь, я ворую жену у других людей, – это добро, а когда у меня воруют, – это зло», – и признали совершенно правильным выводимое из этого апостолом заключение, что «такого основного принципа должен держаться и *последовательный* реалист». При этом решено было, «что действия человека зависят единственно от его органических условий и от тех внешних влияний, по которым человек поступает *непременно* так, а не иначе». А следовательно, – торжественно выводил Овцын, – если человек поступал так потому, что не мог поступать иначе, в чем же его вина, где *преступление?*

– Еще бы, еще бы! – продолжал далее вывод его собеседник, захлебываясь от соревнования, которое возбуждал в нем сильный полет мысли «молодого человека». – *Преступления* вообще нет, а из этого совершенно уже очевидно, что и «всякий вообще суд нелеп!..»

– Само собой! – аппробовал Иринарх.

Коснулись кстати и *воспитания,* и положили, что «новым людям» необходимо *«поймать таракана»,* то есть овладеть во что бы ни стало школой, «чтобы упрочить окончательно господство реальных идей над обществом». Подполковник Блинов начал было по этому поводу развивать свою программу «новой» школы, которую полагал устроить «по типу артельной мастерской, на начале самоуправления со своею собственною юрисдикцией», но Овцын обозвал почему-то это «ерундой», и хотя со своей стороны не предъявил другой программы, но Блинов как-то сам вдруг сознался мысленно, что говорил действительно «ерунду» и тотчас же перешел на критику существующей школы, «основанной на начале слепого авторитета, способного убить деятельную силу в самых энергических и гордых натурах».

Иринарх тут даже привскочил и замахал руками:

– Да-с, то, что преподается теперь там, «одна профанация и проституция мысли»… Какой-нибудь «пошляк и мерзавец Цицерон», «блюдолиз Гете» или наш *«маленький* и *миленький* господин Пушкин, *эта колоссальная неразвитость»,* – вот «какими элукубрациями притупляют в нынешней школе здоровый ум юношества и усыпляют его человеческое чувство»…

Московский студент «Строгановских времен» неудержимо проснулся в безмолвно и угрюмо внимавшем до тех пор этому прению исправнике. Он вскочил с места с задрожавшими губами:

– Послушайте, господа, ведь всему же есть мера наконец! Пушкин, Пушкин – «колоссальная неразвитость»!..

И голос замер у него в горле.

– Приговор ему ведь уже окончательно произнесен в нашей литературе, что же делать, Семен Петрович! – с жалостливым снисхождением во взгляде, в тоне голоса обернулся к нему хозяин. – Безапелляционный приговор. Вы помните, конечно?[82]

Факирский махнул рукой, круто повернул на каблуках и судорожно заходил вдоль и поперек комнаты.

А те между тем перескочили быстрым махом от воспитания и «миленького» Пушкина к «женскому вопросу»... У обоих у них даже глаза засверкали заметно ярче прежнего. Это был действительно вопрос из вопросов, овладеть окончательно которым для каждого «настоящего реалиста» представлялось даже гораздо важнее, чем «поймать таракана» – школу. Петербургские авторитеты «нового слова» лихорадочно указывали на него своим адептам, как на главнейшую задачу, к которой должны были они направлять свои усилия. К женщинам, предписывалось на страницах «прогрессивных» журналов, должен быть непременно приставлен *развиватель* («освободитель» тож). Для большего успеха развивания собственно девиц «лучше всего *овдоветь* им с одним из пропагандистов женских душ», указывал сам *«гениальный»* Добролюбов... Подполковник Блинов со своими глазами навыкат и богатырскими плечами имел полное основание почитать себя одним из удачливейших таких «развивателей». Он мог с гордостью сосчитать уже не менее полудюжины требуемых «женских душ», успевших «провдоветь» с ним по всем правилам «нового учения». Иринарх Овцын тотчас же инстинктивно почуял его превосходство над ним с этой стороны и внутренно озлился!.. В тоне, с которым каждый из них говорил теперь о предмете, чувствовались все сильнее диссонирующие ноты. Конечно, как и по предыдущим «вопросам», они не расходились «в принципе» и отправлялись оба равно от известного, «неоспоримого» положения, что «следует *изменить пошлый язык морали,* но считать падением, если женщина предается полному наслаждению любовью», – и что *«брак – вот действительное падение,* вот потеря нравственной чистоты и силы». Но затем являлись подробности, из этого положения истекающие и требовавшие разрешения, как то, например: следует или нет *«регулировать* отношения лиц, заключающих союзы на начале свободного выбора; имеет ли право та или другая из соединившихся на этом свободном основании сторон требовать себе от другой исключительной верности»; может ли быть «вообще допущено *сознательным реалистом* чувство ревности», и т. д., и т. д... Блинов относился ко всему этому с какою-то пренебрежительною толерантностью, не допускал «лично» ни верности, ни ревности, но и не отвергал «абсолютно» их raison d'être, а доказывал, что отношения полов не терпят вообще ни регулирования, ни контроля и должны быть вполне предоставлены самой жизни, «с ее законными непоследовательностями и уклонениями от теории, как бы и ни правильна была сия последняя». Говорил, очевидно, человек, равнодушный к тому, как поставлено будет дело, так как по сущности его он при какой угодно постановке уверен в ожидавшем его лично успехе. «Фатовство» это как ножом резало Иринарха при сознании им того страшного фиаско, которое самому ему пришлось потерпеть в попытках «развивания» княжны Киры Кубенской. Он вдруг желчно и резко выступил против «верхоглядства», обнаруживающегося, говорил он, в словах его собеседника, и обозвал их дажо *гусарским балагурством*, непристойным в серьезных дебатах. Блинов попробовал было возразить, но беспощадный оппонент так и срезал его, объявив, что он, Блинов, обращает «учение реалистов» в проповедь обыкновенного «буржуазного разврата», что ни в каком случае терпимо быть не может, что, провозглашая «принцип свободной любви», реалисты не имели только в виду возвратить «естественным

отношениям полов» принадлежащую им по праву «функцию» в человеческом обществе, но еще, и это главное, стремились послужить этим перевоспитанию самого общества на новых реальных началах…

– А знаете ли вы-с, – шипел, кривя губы, Иринарх, – что перевоспитание это должно прежде всего состоять в полном и слепом подчинении высшим целям «реальной истины». Вы говорите о «законных» якобы «непоследовательностях и уклонениях от теории». Этого допустить нельзя-с. Каждый, вступающий сознательно в среду «реалистов», к тому или к другому полу он принадлежит, – все равно должен заранее отказаться от своей субъективной воли и быть готовым беспрекословно и во всякое время пожертвовать своею личною склонностью, если того потребуют эти высшие цели. Поняли теперь-с? Это было ново даже для такого «прогрессиста», как подполковник Блинов. Он пытался отозваться на это шуткой:

– Я, значит, например, сошелся с женщиной и вдруг мне с бухта-барахта скажут: «Кинь ее!» На что и кому может быть это нужно?

– На что-с? – повторил с злобным блеском в глазах Овцын. – А вообразите себе, что для торжества или даже просто для пользы новых идей нужно, например, привлечь какое-нибудь очень влиятельное лицо, и это лицо можно подкупить только женщиною, а эта женщина та именно, с которою вы сошлись. Следует ли или нет вам отказаться от вашей склонности к ней, а ей оставить вас и перейти к тому влиятельному лицу, если только оба вы сознательные и последовательные реалисты? Разве в таком случае это не прямой долг ваш и ее?.. Позвольте, – воскликнул он, останавливая жестом чаемое возражение, – вы поймите, что ведь это не тот «внешний, неведомо кем установленный принцип долга и нравственности», в силу которого какая-нибудь «тупица со звонкою пустотой черепа», вроде Татьяны господина Пушкина, жертвует своим естественным влечением ветхозаветной идее «семейного курятника», а *долг гражданский*, единственный, который способен и должен признавать «настоящий реалист».

Он смолк – и невольно подался телом назад…

– Это-с… – неожиданно, подскочив к столу, за которым, не подымаясь с обеда, рассуждали наши собеседники, воскликнул Факирский с побледневшим лицом, – это гнусная тирания и мерзость худшая изо всех!..

– А хотя бы и тирания-с! – возразил Иринарх, оправившись от первого невольного чувства смущения. – Или вы полагаете, что для водворения «реальной истины» в общественном устройстве нам нужны западные «говорильни»[83].

Факирский не ответил и машинально повернул голову в сторону входных дверей, за которыми в передней послышались в эту минуту чьи-то тяжелые шаги.

– Кто там? – крикнул громко со своей стороны хозяин.

Дверь полуоткрылась, и в отверстие просунулось бородатое лицо сотского.

– Что тебе нужно?

– Ничего-с… Зашел вот насчет… *их*, – пробормотал сконфуженно тот, останавливаясь взглядом на арестанте, долгим отсутствием которого из-под его стражи он, видимо, обеспокоился и которого заставал теперь с «цыгаркой» в зубах, развалившегося пред «начальством», – как, значит, поздно, так где прикажете…

– Хорошо, тебе скажут… Погоди там! – не дал ему кончить Блинов.

Мужик скрылся. «Господа» молча переглянулись все трое – и тут же опустили веки.

Этот мужичий голос возвращал их всех к сознанию действительного положения вещей.

Лицо Иринарха судорожно повело. Исправник поспешно вытащил часы из-под борта своего форменного сюртука и так и погрузился широко раскрывшимися глазами в циферблат: стрелки заходили за полночь. Блинов, набрав усиленно дыма из папироски, выпускал его из-под усов тонкою, длинною струйкой, как бы сосредоточившись весь на этом занятии. Никто словно не решался заговорить первый.

– В узилище ввергнуть меня опять отъявился? – начал наконец Иринарх, насилуя себя снова на дерзко-насмешливый тон и глядя в то же время на исправника тревожно забегавшими глазами, кивнул затылком на двери, за которыми скрылся сотский.

– Что же-с, время уже позднее… – заговорил было Факирский, морщась и видимо избегая этих допрашивавших его глаз.

– Семен Петрович, позвольте сюда на минуту!

И Блинов, захватив со стола шандал и указывая взглядом на соседнюю со столовой комнату, быстрым шагом направился к ней.

Факирский безотчетно доследовал за ним.

Они вошли в бывшую гостиную старика Блинова, квадратную горницу, с фамильными, каким-то богомазом писанными портретами и дряхлою мебелью из корельской березы.

Хозяин, уведя гостя в дальний угол, пригласил его жестом присесть и, поставив шандал на близ стоявший стол:

– Как вы думаете быть *с ним?* – шепотом спросил он.

– Как? – озадаченно повторил исправник. – Моя обязанность…

– Д-да… Завтра, значит, в острог?

Факирский без слов приподнял только плечи.

– Послушайте, – воскликнул вдруг тот, – ведь это черт знает что, однако!.. Вы говорите «обязанность»… Я понимаю, вы занимаете казенную должность, получаете жалованье… Каждому буар-манже надо. Но ведь вы развитой человек, читали хорошие книги…

– Так что же что читал? – уныло поднимая глаза, промолвил исправник.

– А то-с, что вы знаете, как и я, что нельзя карать человека за убеждения…

Факирский ёрзнул на стуле:

– Тут уже не убеждения, а факт… Вы сами знаете, что произошло там, на лугах…

– Знаю-с, – быстро возразил Блинов, спеша воспользоваться доводом противника на пользу собственной своей аргументации, – и если сами вы ставите вопрос на голую почву факта, так я позволю себе вас спросить: кому будет от того легче, что этого молодого человека «ввергнут в узилище», как остроумно выражается он, засудят его, сошлют?.. Ведь одно из двух: или он

будет подлежать ответственности за возбуждение крестьян против помещиков – и тогда вам придется привлечь к делу и этих мужиков… с которыми я только успел согласиться… а, следовательно, ни от них, ни от меня вам за это спасибо не будет. Или главный мотив должен состоять в увечье, понесенном от него Троекуровым: так ведь тут, – протянул, значительно подмигивая, говоривший, менее всего, кажется, будет вам благодарен тот, кто его донес… Мы не знаем, *кто* этот молодой человек, но как из его собственных слов, так и из странного умолчания об его имени со стороны Троекурова явно можно заключить то, что у них есть какие-то личные счеты… Двоюродный мой брат Ашанин, которого между прочим нет почему-то до сих пор, – примолвил он вспомнив, – был не далее как вчера в троекуровском Всесвятском и рассказывал мне, что там находятся две прелестные дамы: сама жена Троекурова и двоюродная ее сестра, княжна какая-то… Вам как юристу известна вероятно старая апофегма: «Ищите женщину!» Одна из этих двух барынь, если не обе, держит ключ этой загадки, не сомневаюсь, – заключил, лукаво ухмыльнувшись, подполковник.

– У меня, – сказал на это раздумчиво исправник, – есть показание одного крестьянина, бывшего сегодня утром свидетелем, как Троекуров, встретив *его* на дороге с Троженковым, заставил его выйти из экипажа и съездил тут же нагайкой по лицу… Вы заметили у него две совсем еще свежие борозды?

– Вот оно что! Я все время глядел на эти рубцы и объяснял себе так, что он там в свалке нарезался на что-нибудь… А это наш здешний лорд собственными руками изволил… Что же это за феодализм, за плантаторство! – восклицал Блинов, преувеличенно вскидывая плечами. – И, заметьте-с, какая низость вместе с тем: насилие над человеком, который, находясь, так сказать, в исключительных обстоятельствах, не может даже прибегнуть ни к чьей защите…

– Не нравится мне этот господин, – уронил как бы нехотя Факирский, поведя головой по направлению столовой.

Блинов, все время стоявший пред ним, поспешно притянул к себе теперь ногой стул, опустился на него прямо против исправника и, притронувшись рукой к его колену:

– Сила, почтеннейший, сила! – прошептал он веским шепотом. – Это один из тех, кому принадлежит будущее, ближайшее будущее, я вам говорю! Вам, я понимаю, несколько резка может казаться в нем эта… эта, так сказать прямолинейность и смелость в выводе идеи до самого крайнего ее выражения. Но что же делать-с!

Наш подполковник развел широко руками и вздохнул вздохом, похожим на свист, – мы с вами так прямолинейны быть не можем, мы люди связанные, носим оба царскую ливрею, принуждены постоянно к поблажкам, к уступкам безобразному порядку и предрассудкам существующего строя общества. А они-с, они порешили с этим строем, они жертвуют собою на борьбу, на «кровавую» – вы слышали – войну с ним. Они, – уже захлебывался Блинов, – они передовики, знаменосцы, миссионеры, избранники, «соль земли-с»!..

И он раскашлялся во всю грудь ото всего этого потока слов, бешеным каскадом выливавшихся из нее.

Молча и печально внимал им его собеседник. Нет, эти слова не убеждали его, и вся его совесть, все, что состояло здорового в его разуме, протестовало теперь против них. «Избранник», «соль земли» – этот нахал! «Сила» – эта дерзость мальчишеского языка, эта проповедь варварского, *тупого* разрушения! Что же это за призраки, за ложь, за туман! Вся эта сила в бессилии тех, кто признает ее, кто хочет признавать, кто юлит и раболепствует пред ней, как этот петербургский военный академист… кто, как сам он, он, Факирский, лелеял

«мечтой» торжество тех «идей», которых этот господин является теперь «крайним выражением»! Не сам ли он еще сегодня утром в разговоре с Ашаниным указывал на «идущую из русского народа *силищу* в лице Базарова? Отчего же вдруг теперь такое в нем сомнение и отвращение к ней? – спрашивал он себя со внутреннею тоской… Он «непоследователен», сознавался он; и ему становилось и жутко, и совестно, и больно… Тот платонический «социализм», которым тешилась смолоду его мысль, – кто же виноват, что он этого но допускал, не предвидел, не понял? – так вот *чем* должен он был разрешиться на русской, родной почве и чем звучит он в устах этого «мальчишки, этого «нахала»!..

– Так как же вы полагаете, Семен Петрович? – пробудил его от скорбного раздумья голос откашлявшегося наконец Блинова.

– Насчет чего? – рассеянно спросил он, подымая голову.

– Да насчет… нашего «молодого человека»? – подчеркнул опять шепотом тот.

Исправник нахмурился.

– Могу вам повторить лишь то же, – сухо проговорил он, – я должен исполнить свою обязанность.

– Это не современно, Семен Петрович! – ухмыльнулся только на это ученый офицер.

– Почему «не современно»? – изумленно повторил Факирский.

– Потому что это отжившие, не выдерживающие здравой критики понятия, а следовательно, как прекрасно это замечено было в одной статье *Русского Слова*, «всякие толки о них суть праздной мысли раздражение»[84].

– Ну-с, это как вам будет угодно! – сказал, подымаясь, Факирский…

Тот удержал его рукой:

– Это ваше последнее слово, значит? Вы человека хладнокровно, бесчеловечно хотите под каторгу подвести из-за того, в сущности, что вам «не нравится» то, что сами вы вызвали его высказать вам?

– Вы, не я, вызывали его на это! – воскликнул, покраснев до ушей, молодой исправник.

– В вашем присутствии. Он будет иметь полное право сказать, что мы с вами устроили ему здесь полицейскую ловушку.

Факирский опустился снова на стул:

– Что вы, наконец, от меня хотите? – вскликнул он с каким-то отчаянием.

– Отпустите его!.. Я вам уже говорил, никто не заинтересован в его задержании… Он не останется в вашем уезде, само собой…

– Не могу! – уронил еле слышно исправник.

Блинов наклонился к самому его уху:

– Так не мешайте ему уйти!

Тот растерянно только взглянул на него.

– Вы останетесь в стороне, я все беру на себя, – торопливо объяснял Блинов, – велите сотскому отвести его опять в кладовую, запереть и лечь у двери… Понимаете, у двери, а не с ним в кладовой… Да? – утвердительно, не сомневаясь уже в его согласии, проговорил подполковник и кинулся с места в столовую.

Факирский махнул беспомощно рукой… «Вот оно, вот где сила их!» – беззвучно лепетали его уста.

А Блинов между тем, подбежав к сидевшему все на том же месте Овцыну, который, видимо, возложив на него все свои надежды, ждал его с горящими тревогой глазами, быстро проговорил ему, направив в свою очередь осторожный взгляд на оставшуюся непритворенною дверь в переднюю, где ожидал сотский приказа «насчет арестанта»:

– В кладовой, в хламе, найдете лестницу к люку на чердак; там слуховое окно на крышу; а оттуда по водосточной трубе сейчас же… Но уезжайте из этих мест, и вообще… осторожней!..

– Миссия моя здесь кончена, я и так бы завтра удрал, – проговорил, пренебрежительно усмехнувшись, Иринарх, обретая за этими словами весь свой апломб. – А что трубы-то у вас не проржавели?.. А то ведь, пожалуй, свалишься, голову расши…

Он смолк на полуслове, заметив возвращающегося в столовую исправника.

– Сотский! – быстро отходя от него, кликнул хозяин.

Деревенский полициант показался в дверях.

– Отведи арестанта на место! – не глядя на него и покусывая себе губы до боли, сказал исправник. – И запри его накрепко! – каким-то сдавленным голосом добавил он чрез миг.

– Там засов здоровый, не уйдет! – игриво промолвил Блинов. – А ты спроси себе сена, да и уложись наружи у дверей, для предосторожности.

– Знамо, ваше благородие, не убег чтоб!.. – зевнул, отвечая, сотский, давно уже умиравший от сна.

– Итак, честь имею кланяться, – молвил Иринарх, протягивая руку хозяину, и тут же, с тою же пренебрежительною усмешкою, опустил ее, заметив смущение на лице того и быстрый взгляд, кинутый им в объяснение по адресу «мужика».

И он вышел со своим приставником.

Оставшись вдвоем с гостем, хозяин обратился было к нему с каким-то шутливым замечанием, но исправник, не отвечая на него, объяснил, что чувствует себя очень усталым и просит указать комнату, назначенную ему для ночлега. Блинов с шандалом в руке провел его туда. Они молча пожали руки друг другу и простились… Но Факирский очень долго не ложился на постланную ему на узком старом диване постель, и кружил по большой, мрачной, с каким-то кислым запахом сырости и полыни комнате, освещенной догоравшею свечей. Он чувствовал себя «скверно», и губы его как бы механически повторяли опять: «Да, он, я, все… вот в чем и откуда „сила“ *их*!..»

XIII

Angst und Kummer, Reu’und Schmerz
Quälen dieses arme Herz.

Göthe. Erwin und Elmire.

Княжна Кира сидела у себя в павильоне и, опершись бледным лбом на руку, внимательно читала над письменным столом своим книгу, полученную ею в дар от католического прелата, женевского ее знакомца: *Le Christ devant le siècle*[85] когда, с расстроенным лицом и запыхавшись от поспешной ходьбы, вошла к ней Анфиса.

– Ваше сиятельство, – начала она прерывающимся голосом, выражение которого заставило княжну быстро и тревожно обернуть к ней голову, – не потрудитесь ли вы… Не знаю, как доложить Александре Павловне… чтоб не испугать их очень. Борис Васильич…

– С ним… несчастие? – прервала ее, вся замертвев, княжна, вскидываясь с места и тут же упираясь обеими руками об стол: у нее подкашивались ноги.

– Даст Бог, ничего-с, – поспешила успокоительно проговорить синеглазая женщина, – а только нога у них перешиблена…

– Сломал?.. С лошади?..

– Нет-с… в лугах там бунтовать что ли народ вздумал; так Борис Васильич усмирять их начали, а… переодетый тут, говорят, какой-то (Анфиса запнулась), – дубиной в них шваркнул…

Кира так и впилась в нее глазами.

Анфиса поняла и махнула рукой негодующим движением…

– Где же он… Борис Васильевич?..

– Приехал сейчас: приказали черным двором к собственному их крыльцу проехать, чтоб Александра Павловна невзначай навстречу им не вышли…

Но Кира уже не слушала: она неслась бегом чрез сад на половину Троекурова.

Его только что вынесли из коляски и усадили с протянутою в лубок ногой на широком диване в кабинете. Камердинер его бережно и торопливо укладывал ему за спину подушки.

– Можно войти? – послышался голос за дверью.

– Можно. Кто там? – спросил он, не узнавая ее в первую минуту.

Глаза его блеснули, увидав Киру, встретившись с ее глазами, и тут же поникли. Ему стало вдруг неловко, досадно на себя… на нее за эту тревогу, которую он прочел в них…

Она это отгадала в свою очередь с первого взгляда, осилила восклицание, вырывавшееся у нее из груди:

– Саша еще ничего не знает, – проговорила она как могла спокойнее, – я хотела видеть вас прежде, чем сказать ей… Как вы себя чувствуете? Надо за доктором скорее в город послать…

– Это бесполезно, княжна, – поспешно сказал он, – меня вправили совершенно удовлетворительно, ничего более не нужно… Спасибо вам…

Ей вдруг страшно захотелось заплакать. Но она еще раз осилила себя.

– C’est affreux! – пролепетала она по-французски, чтобы не быть понятою находившимся тут слугой.

– Ступай, спроси мне чаю, – отослал его Троекуров, отвечая на ее слова: – Ce n’est que radicule! – возразил он, морщась. – Очень прошу вас, княжна, предварите супругу мою, что трагического тут нет ничего.

– Скажите, ведь это *он*! – молвила Кира зазвеневшим как натянутая струна голосом.

– Кто? – спросил он, будто не понимая.

– Иринарх, вы знаете…

– Почему вы думаете?

– Я знаю… чувствую. Он мог вас убить, и это из-за меня!..

И вдруг неудержимо-безумно она пала на колени пред ним, схватила его руку и прижалась к ней лицом и устами…

– Кира!..

Слова замирали в его горле. Рука охватила ее голову, притягивая ее к себе…

Она вдруг вскочила, отбежала, бледная как смерть…

С порога раскрывшейся внезапно двери донесся до нее женский голос, женский крик.

Александра Павловна, зашедшая случайно в гостиную за оставленным ею там каким-то рукодельем, встретилась с камердинером мужа и узнала от него, что «барин приехали» и что «у них зашиблена нога». Она кинулась стремглав в кабинет, вбежав, увидела его, его протянутую, уродливо толстую в лубке, голень, взвизгнула и, припав к нему на диван, залилась детским, истерическим рыданием…

Княжна повела растерянным взглядом на нее, на него и, словно ужаленная змеей, вскинулась и бросилась вон из комнаты.

* * *

Два дня спустя приехал к Троекурову подполковник Блинов «благодарить и прощаться». Он спешил теперь в Петербург, где ему поручалась какая-то «важная работа» в военном министерстве, о чем он небрежно «кстати» сообщил Борису Васильевичу… Тем же небрежным тоном передал он en passant и о том, что «арестованный в крусановских лугах» нашел возможность уйти из-под стражи и скрыться, в чем, впрочем, прибавлял он с игривою усмешкой, он признает в некоторой мере виноватым и себя, Блинова, так как побег совершился у него из усадьбы, где арестанта посадили, по его указанию, на ночь в пустую кладовую, не имевшую выхода, кроме двери, которая была заперта железным засовом, и к ней приставлен был нарочно для наблюдения полицейский сотский. «Но он, само собой, заснул и ничего не слышал; а тот между тем, благодаря лунному свету, отыскав в кладовой под

валявшеюся там всякою старою рухлядью приставную лестницу, о существовании которой я и не подозревал», – молвил подполковник с легким вздохом и приподнял плечи, «к люку на чердак, откуда вышел на крышу, а с нее, как надо полагать, спустился вниз по водосточной трубе… и бежал. Бедный наш исправник, прекрасный молодой человек, как вероятно изволили вы заметить, был приведен этим *акцидентом* в совершеннейшее отчаяние, – но я, каюсь, Борис Васильевич, успокаивал его тем, что лицо, которое более всех вправе сетовать на то, что таким образом может остаться безнаказанным злое действие этого… буяна, то есть именно вы, – что вы настолько, я убежден, великодушны, чтобы, так сказать, пренебречь этим», – поспешил все так же игриво, но с заметною тревогой в забегавших глазах заключить Блинов.

– Тут вопрос, кажется, не в моем великодушии, а в факте, – коротко ответил ему на это Троекуров, с холодною внимательностью глядя на него.

Ученый офицер смутился:

– Я совершенно с вами согласен, – пробормотал он, – но смею думать, Борис Васильевич, что вы со своей стороны не захотите повредить нашему молодому исправнику… за оплошность… в которой и он, и я, повторяю, равно виноваты…

– Я в этом не сомневаюсь, – медленно отчеканил Троекуров, не отрывая от него взгляда.

Блинов решительно растерялся, но продолжать разговор на этот мотив не решился, боясь скомпрометировать себя каким-нибудь неосторожным словом. Для него было совершенно ясно, что его собеседник не верил «оплошности» и угадывал не только истину, но и ту значительнейшую долю участия, которая в настоящем случае принадлежала ему, Блинову. Он возмущался против себя внутренно, но неудержимо опустил веки пред этим пронзившим его насквозь, «беспощадным» каким-то взглядом. «Богач, связи, железный, видать, характер, – проносилось у него в голове, – захочет, навредит, пожалуй, так, что на всей карьере отзовется»…

Раздражать такого человека не след, вывел он логическое заключение из таких посылок и – не пытаясь уже выведать (к чему его очень подмывало in foro interno в эту минуту), намерен ли «этот человек» *вывести действительно историю,* могущую навредить его, Блинова, карьере, или, как говорил бежавший арестант, слишком он «презирает вся и все», чтобы решиться на это, – торопливо и еще раз принимаясь за игривость, заговорил о другом:

– А двоюродный братец мой, Ашанин… Он имеет, кажется, удовольствие быть с вами знакомым?..

– Да, он был у нас на днях и отсюда отправился к вам, кажется…

– Точно так-с, с тем чтобы прожить у меня с недельку и потом уже вместе ехать нам в Москву… А между тем исчез самым, можно сказать, неожиданным манером.

– Вот как! – усмехнулся слегка Борис Васильевич.

Поощренный подполковник продолжал уже лукаво таинственным шепотком:

– И, как я подозреваю, из-за нового амурного мотива. В нашем уездном городишке проживает в эту минуту по каким-то делам одна прекрасная петербургская дама, княгиня Шастунова… Изволите, вероятно, знать?

Троекуров не отвечал.

Блинов заговорил опять, но уже несколько заикаясь:

– В тот самый день, когда… приключился с вами этот… несчастный случай, мы были с ним у нее утром. Узнав там от исправника о том… что происходит в крусановских кругах, я поскакал с ним туда, а Ашанина оставил в городе, с тем что он в тот же вечер должен был вернуться ко мне… Не тут-то было-с: проказник ускакал в Москву. Как, для чего? ничего не понимаю… Только сегодня-с получаю весть, что прелестная княгиня точно также укатила туда…

– Д-да? – протянул Троекуров, заметно нахмурившись.

«Опять должно быть впросак попал! – вскликнул мысленно наш подполковник, весь покраснев от досады и неодолимого смущения. – Черт их дери, лучше убираться скорее!»

И через пять минут он, с фуражкой в руке, стоял пред диваном увечного и расшаркивался, прощаясь с ним, озабоченный теперь единственно тем, как бы покончить с этим «опасным и мудреным баричем», и отказавшись окончательно от надежды (с нею он ехал к нему), увидать «его очаровательных дам», о которых говорил Блинову Ашанин и в руках которых, как мы знаем, должен был, по его соображению, «находиться ключ всей тайны»…

Вечером того же дня прискакал в Всесвятское Павел Григорьевич Юшков, не велел докладывать о себе «барыням» и прошел прямо на половину Бориса Васильевича, откуда только что ушли они в столовую чай пить. Он был ужасно встревожен, знал уж о побеге «мерзавца», успел повидать исправника и задать ему «страшную распеканцию» за «непозволительно-небрежное отношение к службе»… «Сам понимает, – объяснил горячо старый моряк, – опустил голову, стоит, как лист бумаги, белый; я, говорит, сегодня же подаю об отчислении меня от должности»… – «Это само по себе, говорю, а молодца отыскать надо прежде; да успели ли вы личность его определить, что за человек». – «Паспорт, говорит, у него, клинский мещанин какой-то»… А я не верю! Фальша, подложный вид! Подвязанная борода, что не мужицкое дело, это нечто иное… Вы как скажете, Борис Васильич? – прервал он себя, лихорадочно допытывая его глазами.

– Ничего не скажу пока, – не сейчас ответил на это Троекуров, – и если не говорю вам, то, понимаете, должны быть у меня на это особые причины. Поверьте мне на слово, дорогой Павел Григорьевич, оставим это! Не настаивайте, чтоб исправник отыскивал этого «мерзавца». Он, по всей вероятности, теперь уже далеко, и тот потерял бы только напрасно время свое и труды. Главное, мы от него здесь избавились и, я полагаю, *навсегда*, – подчеркнул он: сочтем это за благо!

На лице моряка выразилось величайшее изумление:

– Ну, на одно можете вы мне ответить: вы знаете, кто это такой?

– Может быть…

– Что за притча! – воскликнул Юшков и вдруг ударил себя по лбу:

– Да! Ходят слухи какие-то, будто вы этого самого молодца исхлестали пред тем нагайкой…

– Не знаю, – пропустил сквозь зубы и прижмурясь Троекуров.

– Позвольте, позвольте! Утром, в тот же день… вы ехали верхом… и встретились с Троженковым?..

– Павел Григорьевич, позвольте мне вам не отвечать.

– Отчего же, ведь это…

Он оборвал и побледнел мгновенно.

– Троженков, – промямлил он, переменяясь в лице, – у него жил студент один… товарищ Гриши; он виделся с ним?.. Это он, Борис Васильевич, он, прошу вас сказать мне!

Троекурова повело всего от этого мучительно зазвеневшего теперь голоса:

– Ну, если и он, так что ж такое, с чего же это вы, Павел Григорьевич?..

– Гриша, вы понимаете… Гриша! – мог только пролепетать тот.

– Ну да, понимаю, – поспешил заговорить Троекуров, – вам досадно… тяжело, что Гриша мог знаться с подобным негодяем… Но вы сами знаете, что значит товарищ в эти годы. Гриша с ним виделся потому… потому уже просто, что не мог же он запереть двери такому, же… как он, знакомому ему студенту, приехавшему к нему… Но ведь между этим и тем… чего вы, кажется, боитесь, есть же еще огромное расстояние.

Но Павел Григорьевич не слушал этих насилованных оправданий сына:

– Его зовут Федоров, говорил Гриша? – спросил он коротко.

Борис Васильевич без слов только посмотрел на него.

Старый моряк понял; молнией блеснули глаза его из-под густого кустарника бровей:

– Он солгал, значит! – вырвалось у него угрожающим кликом. – Солгал отцу?

Все тяжелее становилось положение Троекурова:

– Послушайте, друг мой, пожалуйста, не преувеличивайте… как преувеличивает, вероятно, ваш сын, – быстро промолвил он, обрадовавшись пришедшему ему в голову доводу, – то, что представляется ему долгом его относительно того же товарища. Представьте себе, что тот рассказал ему какую-нибудь историю, вследствие которой он обязан будто бы скрывать свою настоящую фамилию, и взял с Гриши слово не открывать ее никому до поры до времени… Вы сами, на понятиях строгой чести воспитанный человек, способны ли были вы изменить этому слову, хотя бы для родного отца?

Этот, видимо, натянутый аргумент поколебал тем не менее Павла Григорьевича; он сам так рад был бы обмануться в своих предчувствиях!..

– Вы полагаете это? – раздумчиво и тихо промолвил он, и складки наполовину разошлись на его сморщенном лбу. – Да, Гриша честный малый… но этих-то и легче всего опутать, Борис Васильевич! – скорбно вырвалось у него из груди. – Вы слышали в последний раз, какую чушь он нес о каком-то «буржуазном заедании», об эксплоатации бедного богатым, и так далее?

– Знаете что, – сказал Троекуров, – пришлите его ко мне на днях. Он ко мне расположен и по годам ближе ко мне, чем к вам или к дяде. Я потолкую с ним и допытаюсь, насколько тот негодяй мог иметь серьезно, вредное влияние на него. А вы пока наблюдайте за ним издалека, не показывая ему и вида, что вы подозреваете его в чем-нибудь. В противном случае он съежится, уединяться станет, чуждаться вас…

– Да, да, – закивал одобрительно Юшков, – уж это чего хуже!.. Я не страшилищем, я… другом хотел ему быть всегда… И вдруг какой-нибудь… Скверные времена начинаются, Борис Васильич! – воскликнул он, не договорив предыдущего. – Читаешь вот иной раз, что теперь в журналах пишется, отвратительно! Проповедь какая-то безумная… Ну-с, а теперь пойду к вашим барыням чай пить с ромом, – заключил старый моряк, с видимым над собой усилием переходя на веселый тон.

После чая он тотчас же уехал.

Жизнь во Всесвятском приняла по наружности свое обычное, мирное течение… Но она была, увы, уже несомненно возмущена внутри – и это чувствовалось теперь каждым из трех участвовавшим в ней лиц. Словно какая-то зловещая птица пролетела между ними, задев каждого из них своим темным крылом. Более всех сказывалось это в душевном состоянии Александры Павловны Троекуровой – и тем глубже, чем менее способна она была дать себе отчет в том чем-то неосязаемом, что теперь как бы ходило кругом нее и ткало незримую сеть на гибель ее столь еще недавно безмятежного, бесконечного счастия. Муж был все так же ласков, добр, предупредителен к ней – но это было уже «не то, не то», говорила она себе… даже не говорила, не решилась себе сказать, но чуяла каким-то особым, глухо ноющим, как в первые минуты зубной боли, внутренним нервом. Он так же приветливо улыбался и целовал ей руку, когда она входила в его покой и припадала к нему на диван, осведомляясь о «его ноге», но руку эту он не удерживал теперь подолгу в своей, как бывало, но в улыбке его, но в этом «все так же милом» моргании его глаз, направленных на нее, недоставало того «незабвенного», прежнего выражения нежной, «всю ее охватывавшей» страсти… К тому же «эта тайна», которую она угадывала и которую «никто не хотел открыть ей», относительно того, что *действительно* тот «отвратительный человек, решившийся нанести удар Борису!» Она слышала от него, от мужа, что это был «дерзкий парень», вздумавший крикнуть крестьянам, что посредник их обманывает, и что, когда Троекуров кинулся схватить его, он пустил ему палку в ноги, – «и все». Но Александра Павловна в тот же день узнала от няни, что это был «какой-то переодетый» и что подвязанная борода его осталась в руках «конюшего» Скоробогатова, – и побежала снова к мужу за новым объяснением, но он «с видимым нетерпением и неохотой» ответил только: «Может быть, я не обратил внимания», и она более не смела уже возобновлять с ним речи об этом: так очевидно было для нее, что «это ему неприятно»… А между тем для нее было ясно: *«если переодетый,* – значит, не *мужик,* значит, какой-то неведомый, опасный враг»… Узнав, что он «убежал», она вся сомлела от ужаса: «Он может явиться опять, может опять… Кто же этот враг, кто же он?..» И, что хуже того, она догадывалась, имя его было известно Борису… и не только ему, но и Кире, но и ее собственной горничной Анфисе, женщине, она знала, искренно преданной ей и которой она вполне доверяла. Она это прочла в смущении, на миг пробежавшем по их лицам, когда она в первый раз начала с ними об этом говорить, убедилась из того упорства, с которым обе они видимо отклоняли всякий дальнейший разговор с нею о предмете, так тревожно занимавшем ее. «Для чего же скрывают от меня то, что известно всем другим?» Десять раз на день просился у нее этот вопрос на язык, и готова она была, стоявшим в горле рыданием, кинуть его прямо мужу, потребовать от него ответа, «решительного» ответа…

Но она, повторяем, – она не смела. Он и так, казалось ей, «не то недоволен, не то скучает» ею. Он не любит «посторонних разговоров, когда занят». А занят он теперь весь день – и все с Кирой: она у него теперь «вместо секретаря»… «Ах, эта Кира!..»

Ну да, Сашенька это знает, *она* гораздо умнее, образованнее ее; «она все знает»; она там, в Сибири, у отца, «приучена все дела вести». А теперь письмоводитель Бориса Васильевича заболел, как нарочно, горячкой, и она, Кира, взялась исправлять его должность, распечатывает пакеты, и бумаги пишет, и «входящую какую-то ведет»… А вечером газеты и

журналы ему вслух читает. *Он* теперь не может обойтись без нее; он принужден день-деньской лежать с протянутою ногой на своем диване, а она распоряжается за него в его кабинете, как у себя в комнате: пишет за *его* столом, раскрывает *его* ящики, роется в *его* бумагах… Конечно, сама она, Сашенька, всего этого не может, да и некогда ей делать: у нее двое детей, она кормит, да и, наконец, весь дом, «хозяйство» на ее руках… «А все же, все же это ужасно!..»

Но княжна Кира со своей стороны не подавала ни малейшего повода двоюродной сестре своей к ревности менее ребяческого свойства (и та вполне сознавала это в спокойные минуты и мучилась этим сознанием и, впадая в другую крайность, относилась к княжне тогда с преувеличенною, несколько даже надоедливою нежностью). Она действительно делала у Троекурова «все это», что жена его почитала себя неспособною делать: она была у него «за секретаря», за лектрису… Но весь ее облик, весь ее обиход говорили в то же время, что она исполняет все это единственно как долг, на который обязывают ее и родство, и немощность человека, под кровом которого находила она приют, и простое, наконец, желание какого-нибудь для себя занятия, дела… Тот «непостижимый» (она это усиленно доказывала себе внутренно) порыв, кинувший ее в первую минуту к его ногам, она заставит *его* забыть его: – к этому направлены были теперь вся мысль ее, вся ее воля. «Он и подумать не должен сметь»… – начинала и не договаривала она в гордой душе своей… И тщетно допрашивали теперь бедные глаза ее досадливо и тревожно прижмуривавшиеся на нее глаза Троекурова; она даже не отворачивала их, она глядела на него в свою очередь, как бы спрашивая: «Чего вам надо?» Она не искала, но и не избегала оставаться с ним вдвоем: все равно, она была «уверена в себе». Вдвоем ли или при Сашеньке – она одинаково умела отклонить всякий намек, всякий мотив к разговору, чуждый делу, которое «докладывала», или прямому содержанию книги, которую читала она ему… «Вы чиновник, а не женщина, княжна!» – вырвалось у него неудержимо однажды под впечатлением этой ее безучастности. Она не отвечала и только усмехнулась довольною, словно торжествующею улыбкой… Он все это видел, замечал – и недобрые ощущения вызвало это в нем. Старый человек пробуждался где-то в его внутреннем *я,* с былыми его привычками и жаждой борьбы и победы, с греховностью и соблазнами прежних, давно, казалось ему, отжитых им помыслов. Пригвожденный к своему ложу, лишенный пространства, вольного воздуха, физического здорового движения, вся деятельность его разыгравшегося вновь воображения сосредоточилась теперь на единственно доступном для него предмете развлечения: на этом своеобразном женском существе, с ее *кровною* красотой и надменным нравом, на «игре», которую, в ее понятиях, затеяла она с ним. «Она дразнит меня, вызывает на бой, – говорил он себе, покусывая задумчиво усы, – ну и посмотрим!..» Его иногда разбирала прямая злость против нее. «Так бы, кажется, схватил ее за руки, что кости захрустели бы, и заставил бы тут же стать опять пред собой на колени, как тогда!..» А рядом с этим он, как двадцатилетний юноша, упивался звуком ее голоса, безмолвным глядением на ее холодное, сосредоточенное, с каким-то каждый раз враждебным к нему выражением отрывавшееся от бумаги лицо – и ничего прелестнее, думал он, не знавал он в жизни этого лица и этого выражения… «Ну, и посмотрим!» – повторял он машинально внутри себя, и какое-то жуткое, не то сладко-томительное, не то скребущее чувство охватывало все его существо.

Его начинала одолевать бессонница… Он не один, впрочем, страдал ею. Тихий ангел сна и вовсе как бы отлетел от барских покоев Всесвятского…

XIV

Tis melancholy, and a fearful sign
Of human frailty, folly, also crime
That love and marriage rarely can combine…

Byron. Don-Juan.

Другой… Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!

Евг. Онег. Глава третья.

– Борис, смотри, *кто* к нам приехал, – говорила Александра Павловна, входя часу в одиннадцатом утра, после завтрака, в сопровождении гостя, в кабинет мужа (нога его срослась, и он уже ходил свободно).

– Сергей Михайлович! – вскликнул он, более учтиво, впрочем, чем обрадованно, подымаясь с дивана навстречу входившему. – Добро пожаловать! Откуда вы? Из города?

– Нет; я был в деревне, потом ездил дней на десять в Москву повидаться с Бековичем, – ответил Гундуров.

И поздоровавшись с ним:

– Здравствуйте, княжна, – сказал он, оборачиваясь к столу, за которым сидела Кира с пером в руке, и протягивая ей руку.

Троекурову показалось, что глаза его как-то особенно радостно загорелись при этом.

– Здравствуйте, очень рада вас видеть, – промолвила она с приветливою улыбкой. – Что князь поделывает?

– Он так же на несколько дней приезжал свидеться со мною в Москву из своей местности, где так же *посредничает,* как Борис Васильевич вот…

– Все так же остер и насмешлив? – с новою улыбкой спросила она.

– Д-да, – не сейчас и несколько сквозь зубы произнес Гундуров, усаживаясь в кресло, на которое указывала ему хозяйка, – вы знаете текст, – примолвил он чрез миг, – на памятнике Гоголя: *Горьким смехом моим посмеюся?..*

Троекуров взглянул на него, покусывая губу:

– А что, – иронически проронил он, – медовый месяц ваших *комиссионных* иллюзий уже пережит, как видно?

Гундуров повел на него недовольным взглядом. Но он уважал своего собеседника и привык спорить с ним с первых же слов каждый раз, как им случалось встретиться; он счел нужным теперь, хотя как бы несколько против воли, ответить на то, что принял он со стороны того как вызов на новое прение:

– Не знаю, про какие «иллюзии» вы говорите. Мы в «комиссиях» видели пред собой одну задачу: освободить народ от рабства и поставить его на ноги, а что затем водворится рай на земле русской, такою ребяческою мечтой, поверьте мне, никто из нас себя не тешил… Задачи своей мы достигли: *Положение 19 февраля* сделало свое дело. Народ поднялся, преобразился. Вид его, походка, речь, все изменилось в нем – вы с этим, надеюсь, спорить не станете?.. Это *добыто,* это уже не отымется, а это главное. В расчете с высшим сословием, с бывшими их помещиками, крестьяне совершают теперь свое гражданское воспитание. Мы, мы точильный камень, о который отшлифовывается, выостряется теперь народ наш…

– Покорнейше благодарим! – прервал его насмешливый взгляд Троекурова.

Он невольно усмехнулся:

– Я не спорю: эта роль может часто казаться нам не особенно приятною…

– Вы это признаете?

Гундуров пожал плечами:

– Что же делать?..

– Да, это легко говорить, Сергей Михайлович, – вскликнула, вся вспыхнув, Александра Павловна, – а вот как если *из-за этого* ему (она кивнула на мужа) ногу перешибли…

– Как ногу? Что такое?.. Я ничего не слышал…

– Так… случай один. Не интересно! – досадливо взглянув на жену, поспешил отвечать Троекуров на вопрос и изумленное выражение лица своего гостя. – Как-нибудь потом сообщу вам… А теперь позвольте от вас самих позаимствовать новостей свежих, это гораздо занимательнее… Что в Петербурге делается, что ваши друзья?.. Линютин все за границей?

Вопрос, по-видимому, пришелся по сердцу Гундурову: лицо его на миг осветилось как бы радостною улыбкой:

– Да, он пробыл часть зимы в Риме, от которого был в восторге, погрузился там в классиков и называл в своих письмах «настоящим варварством» наше русское равнодушие к ним[86]. Потом был в Париже, теперь на водах в Германии…

– А о возвращении его в Россию нет речи?

– То-есть, *к делу,* хотите вы сказать?

– Само собою.

– Во всяком случае не скоро, полагаю… Крупен слишком он, выше требуемой в настоящую минуту мерки, – объяснил Сергей Михайлович с презрительным движением губ, – вы видите, *кем* и что делается у нас теперь…

– Стараюсь, признаться вам, как можно менее *сидеть,* – сказал на это Троекуров, помаргивая нервно глазами, – спокойнее как будто!..

Гундуров обернулся к княжне. Он слегка улыбнулся, словно говоря: «Так что ж об этом и толковать!..» Но внимательно устремленные на него глаза девушки как бы говорили в свою очередь: «Продолжайте, пожалуйста, меня очень интересует!»

Он помолчал чуточку, сосредоточиваясь по привычке, прежде чем приступить к изложению своей мысли, и начал затем неспешно, с заметным желчным оттенком в интонации:

– Прежняя самоуверенность, служившая, как ни нелепа она была, некоторою заменой *действительной* энергии, исчезла теперь без возврата. Старые правительственные приемы отброшены, но жизнь ничего не создала поставить на место их. Положение в настоящую минуту представляется в таком виде: наверху нестерпимый зуд законодательствовать во что бы ни стало, при беспримерном, неслыханном недостатке даровитостей, государственных

талантов; со стороны общества – вялость, хроническая лень, отсутствие всякой инициативы, с желанием, каждый день все более резко высказывающимся, дразнить безнаказанно правительство…

– Qui le laisse faire, – саркастически ввернул Троекуров, – с благодушием, достойным лучшей участи.

Собеседник его одобрительно кивнул и продолжал:

– Как за двести лет до этого, так и теперь во всей земле русской только две живые силы: личная власть наверху и сельская община на противоположном конце. Но эти две силы отделены друг от друга промежуточными слоями. Эта же нелепая промежуточная *среда,* лишенная всяких корней в народе и в продолжение веков цеплявшаяся за верхушку, начинает храбриться и подыматься на дыбы под рукою этой своей настоящей, своей *единственной* опоры. Возьмите дворянские собрания, университет, печать; вы знаете, что все это творит теперь… Весь этот бессмысленный крик и пугает правительство, и возбуждает массы. Правительство делает уступку за уступкой безо всякой пользы для общества, которое дразнит его единственно для удовольствия дразнить…

– Совершенные дети! – пролепетала Александра Павловна, с видимым сочувствием внимавшая этим словам.

– Но долго так идти не может, – говорил все оживленнее Гундуров, – в противном случае нельзя было бы избегнуть теснейшего соединения двух оконечностей, верховной власти и низшего слоя народа, а тогда уже все, что находится в средине, было бы раздавлено, разгромлено… А в этой середине вся грамотная Россия, вся наша культура[87]…

– Славное будущее ждет нас, нечего сказать! – сорвалось с губ Бориса Васильевича.

Александра Павловна даже вскрикнула:

– Это ужасно, что вы говорите, Сергей Михайлович… Борис, знаешь что: уедем скорей за границу, а то с нами Бог знает что еще сделают здесь…

Невольная улыбка пробежала по всем устам. Гундуров смолк. Троекуров, закусив кончик уса, поднялся с места и прошел к двери, отворенной в сад; он остановился у нее, вперив прижмуренные глаза в верхушку ближайшей к террасе липы.

Его *поводило* внутренно и от «наивности» жены, и еще более от нерешенного в голове его вопроса: *какое* впечатление производил «этот краснобай из славянофилов» на княжну Киру? Он там, со своего места на диване, не видал ее лица. Она как сидела за письменным столом, так и осталась – и только, когда он, «ce beau parleur», начал говорить, обратилась к нему в полоборота и, опершись локтем о стол, закрыла «нарочно», – злобно говорил себе Троекуров, – весь профиль своими раскинувшимися по лицу длинными, бледными пальцами… «И не отымала их все время… а из-за них вся, и взглядом и слухом, прикована была, очевидно, к его речам… Что ж, отлично! Недаром же гудела два года сряду эта демократическая шарманка на потеху петербургских дворцов: обрадовалась знакомым песням…»

«Мерзость и ложь!» – сказал себе вдруг Троекуров и почувствовал, что все лицо его покрылось краской от этого внутреннего сознания. – «Ведь если б я выговорил громко то, что лезло мне теперь в голову, меня мало было бы высечь…»

Он провел рукой по лицу и, приведя себя, как выражался он мысленно, «в порядок»,

направился опять в сторону гостя.

Но тем уже овладела хозяйка. Беседа с *политической* почвы перешла на светский, вернее на интимный, разговор, так как Александра Павловна главным образом допрашивала Гундурова о том, как ему живется в губернском городе и не скучает ли он слишком «один, и кого он видит, и есть ли там «женское общество et de jeunes filles jolies et bien élevées»? И, что немало удивляло Троекурова, этот угрюмый «славянофил», так безотрадно только что относившийся «о положении дел в России», находил, по-видимому, удовольствие в таком «пустом» разговоре, добродушно и весело отвечал на вопросы, признавался, что скучает иногда «до лютого бешенства», и, к заметному и неожиданному удовольствию своих собеседниц, рисовал весьма забавные очерки всяких провинциальных типов. Что касается «губернского прекрасного пола», говорил Гундуров, то ему известно только то, что они в полном составе своем, дамы и девицы, повально влюблены в недавно назначенного нового губернатора из правоведов, еще молодого и бойкого, а главное «*ужасно* либерального человека, мужа безобразной и глупой, как индюшка, жены, к которой «ces dames» съезжаются по вечерам «на чтение *Полярной звезды* и *Колокола* Герцена en petit comité»…

– Куда вас, как видно, не приглашают? – спрашивала со смехом княжна Кира.

– Нет, княжна, – ответил он комически жалобным тоном, – его превосходительство изволит производить эти чтения самолично и находит, что к такой чести может быть допущен лишь один auditoire féminin.

– И вам, за этим auditoire, никого уже не остается на долю? – продолжала она тем же шутливым тоном.

– Есть две-три богомольные и притом глухие старушки, которых тоже туда не приглашают; я к ним и езжу утешаться…

– Вот какой вы добродетельный! – расхохоталась Сашенька.

У нее было очень хорошо на душе в эту минуту. Веселое расположение гостя, внимание, видимо, оказываемое ему Кирой, – все это было как раз на руку ей, вызывало в ней новые надежды на то, что призывала она в последнее время более, чем когда-либо прежде, всеми заветными мечтаниями своими… «Ах, если бы оно могло сегодня, сегодня же кончится! – проносилось у нее в мысли какими-то лучезарными взрывами. – Он никогда еще не был так любимец как нынче, а она si pleine d’attentions к нему… И ведь они созданы, созданы друг для друга. Я не понимаю даже, как это давно, еще в Петербурге, не сделалось?.. Правду говорят, что мужчины так глупы!»

Гундуров, со своей стороны, находился под нежданным приливом необычного ему доброго настроения духа. Горечь долгих, одиноких помыслов и недавних задушевно скорбных бесед с друзьями в Москве – горечь о судьбах страстно любимой родины, сказавшаяся сейчас в его словах Троекурову, – словно вся вылилась вдруг из души его за этими словами. Наставала какая-то временная реакция, какой-то *отпуск* болезненно-натянутых нервов. Хотелось *передышаться,* отдохнуть, отдаться хоть на мгновение личной, субъективной жизни, забывая всякую злобу дня и вечную заботу «о *том, об общем»…* Он не без некоторого внутреннего страха поглядывал даже теперь от времени до времени на Бориса Васильевича – не вздумал бы тот опять вызывать его на спор о «материях важных». Ему именно нужны были в эту минуту эти «немудреные речи», это женское «безо всякой логики перескакивание с предмета на предмет», эти дружески насмешливые улыбки на женских, молодых и красивых лицах. Более того: на княжну он смотрел с каким-то особенным, еще им не испытанным к ней чувством; он

как-то несказанно благодарен был ей за то, что она была теперь «просто женщина», какою он ее еще не знал, что она видимо не озабочена никакими «вопросами» и не расспрашивает его ни о чем подобном, как бывало это в Петербурге, во дворце на Михайловской площади, а просто весела и шутит – и, говорил себе, что мысленно это поистине «гораздо лучше ей пристало, чем то, прежнее»…

Княжна будто отгадывала это новое впечатление, производимое ею на него, и словно желала еще усилить его. Если бы он хотел быть более наблюдателен, он заметил бы то лихорадочное возбуждение, с каким старалась она держаться принятого ею тона полунебрежной, полузадирающей шутки, и попытался бы, может быть, объяснить себе причины такого, столь мало похожего на ее обычаи вообще, образа обхождения… Но Гундуров переживал лишь ощущение нежданной, «хорошей» минуты, очень рад был ему, но не спрашивал себя, *чему* именно обязан он был им.

Все видел, все замечал Троекуров и, давно искушенный в деле «женской стратегии», все способен был угадать он. Но нет, как известно, опытности, которая не стушевалась бы пред страстью, не осталась бы обеспамятевшею пред нею в те самые минуты, когда наиболее важны для человека воспоминания о ее поучениях… Троекуров видел «игру» княжны, чуял неискренность ее «судорожной веселости», но все равно: все фибры его существа болезненно натягивались и коробились от того, что явным предметом и мотивом этой игры, этой веселости был все этот же «славянофил», который, казалось ему, глядит на нее теперь все более и более разгорающимися глазами и млеет сам «под огнем ее *до неприличия вызывающих* его глаз»… «Вздор, она его не любит!» – восклицал он мысленно чрез миг и чрез миг опять словно весь съеживался внутренне от внезапно налетавшей к нему мысли, что «это ничего не значит», что «она преспокойно могла наконец убедить себя в необходимости закончить без дальнейших затей прозаическим замужеством *свои идеальные искания несуществующей правды* и что на это наталкивает ее все и вся кругом»… «Стоит ей только поглядеть на мою Александру Павловну, чтобы уже почувствовать себя всю заквашенною в тесте и коринке семейного кренделя», – говорил себе Троекуров, иронически, чуть не злобно косясь на бедную Сашеньку, которая, вся сияющая, глядела в свою очередь на кузину и на ее воображаемого «претендателя» любовно ободряющим взглядом: «Ну, вот, мол, и чудесно! Еще, еще немножко – и все так отлично выйдет; и *вы* будете счастливы, и *моему* счастию ничего уже грозить не будет…» Троекуров не видел конца этому «испытанию». Он настолько оскалил зубы, что ничего в его наружности не изобличало мутившего его внутреннего чувства. Глаза его спокойно глядели на собеседников, по губам пробегала как бы поощрительная улыбка их речам… Он вмешался в разговор, впадая в общий шутливый тон его, – и вскоре овладел им совсем. Но насмешливость его стала вскоре принимать чем далее, тем сильнее язвительный характер; его замечания и отзывы о людях и делах их становились все резче и суровее…

– Ты ужасно зол сегодня, Борис! – невольным упреком сорвалось с уст Сашеньки под впечатлением его инстинктивно пугавших ее сарказмов.

– Не злы в наш век одни овцы и новоназначенные министры… да и то, пожалуй, эти лишь в первый день их назначения, – возразил он, нервно заморгав глазами.

Гундуров засмеялся.

– Прибавьте: и *счастливые* люди! – промолвила Кира с каким-то странным оттенком в выражении.

– Вот это правда! – быстро и негромко одобрила Александра Павловна и так и впилась взглядом в лицо мужа.

Он обернулся на нее с улыбкой, которой тщился придать как можно более мягкое выражение:

– Если вы с княжною хотите мне этим сказать, что на мне лежит обязанность овечьей кротости в силу моего звания «счастливого человека», – подчеркнул он, – то мне само собой остается только согласиться и замолчать… Замолчать, – повторил Троекуров, мгновенно обращаясь в сторону гостя, – и пожелать лишь разве тех же условий *счастия* другу нашему, Сергею Михайловичу.

Гундуров не то удивленно, не то уныло поднял на него глаза в свою очередь:

– Я давно отвык думать о личном счастье, – выговорил он как бы против воли.

– А *общего* имеется в настоящую минуту в наличности менее чем когда-нибудь, – иронически сказал на это Троекуров, – как же быть тогда?

– Очень просто, Сергей Михайлович, – пылко выговорила Сашенька, участливо глядя на него, – забыть вашу вечную *политику,* ваши *государственные дела,* а вспомнить, что вы тоже ч*еловек,* имеете тоже право, как все, на то, что Бог дает нам в жизни: на семью, на детей, на тихое и мирное житие, как говорит Церковь… и что это даже долг ваш как христианина, – примолвила она, вся покраснев, и быстро поднялась с места. – С Борисом на стоит говорить сегодня, – засмеялась она полуискренно, полусмущенно, – у него это лежание с ногой – вы понимаете, какая это скука! – совсем характер испортило; я его не узнаю просто… Пойдемте в сад, я покажу вам мои roses grimpantes, прелесть! вы увидите… et je vous sermonnerai en’ chemin…

– Сделайте милость, – весело отвечал Гундуров, – сегодня я чувствую себя особенно восприимчивым к женской проповеди… Но с условием, чтоб я, в случае нужды, имел право защищать теории вашего мужа.

– Избалован он слишком! – вырвалось опять у Александры Павловны.

И она тут же полными любви и тревоги глазами повела в сторону мужа, как бы прося у него извинения.

Он улыбался своею обычною, небрежною улыбкой…

– Так идемте же, идем!.. Кира, ты с нами?

– Я сейчас, – ответила княжна, – только вот одну бумагу докончу, переписчик давно дожидается…

– Вы знаете, что Кира исправляет у Бориса должность письмоводителя? – молвила Сашенька, смеясь и выходя с гостем в сад.

Троекуров довел их до первой аллеи и вернулся в кабинет…

Княжна сидела за его письменным столом и, низко опустив голову над бумагой, дописывала какое-то составленное ею циркулярное предписание волостным правлениям.

Он прошел позади ее кресла, остановился на миг, заглядывая машинально сверху, через ее плечо, на ее писанье… и тут же поспешно отодвинулся, шагнул к своему дивану и опустился разом в каком-то изнеможении… Вид ее тонкой, нежной до прозрачности шеи, с бесчисленными колечками волосков, кудрявившихся на ее затылке, кинулся ему как вино в

голову… Он судорожно прижал руку к векам, как бы с тем чтоб изгнать из мысли неодолимое искушение…

Так прошло несколько минут.

Она дописала, перечла, оглянулась и, поднявшись с места, подошла к дивану со своим *отпуском в* руке:

– Прочтите, хорошо ли так?..

Рука ее мгновенно опустилась… Не принимая протянутого ею листа, недвижно и безмолвно глядел на нее во все глаза Троекуров… И что говорили они ей теперь!..

Никогда еще в жизни не билось у нее сердце так, как забилось оно в груди ее в эту минуту.

– Что же… не нужно? – пролепетала она, стараясь одолеть себя и отворачиваясь взглядом от этих глаз. – От этих прожигавших ее глаз…

Он… он уже не владел собою.

– Скажите мне одно, – зашептал он в свою очередь путавшимся от волнения языком, – вы решились? Да?

– «Решилась»? – повторила она. – На что?

– Вы знаете… Недаром же вы… Я никогда еще не видал вас *такою… И его* также. Вы этого хотели, да? С какою целью? Вы всю жизнь презирали кокетство и вдруг так, здорово живешь, стали бы это проделывать!.. Нет, признайтесь, вы послушались ее… моей супруги; она уверила вас, что «так надо», что счастие и правда только в *этом,* что само небо посылает вам этого человека…

– Не она одна, – молвила неудержимо Кира, – сами вы давно ли говорили мне то же?

– Я?.. Я говорил, да, – вспомнил он, – говорил, когда…

– И хорошо делали, – перебила она его, – *ваш долг* был так говорить мне на случай, что «этот человек» действительно думает обо мне…

Он в свою очередь не дал ей договорить:

– Если в вас было тогда еще сомнение на этот счет, – пропустил он сквозь стиснувшиеся зубы, – то сегодня вы, кажется, имеете полное право его отложить. «Суровый славянин», очевидно, сдается на всех пунктах: он объявил громогласно сейчас, что чувствует себя готовым *воспринять* обещанную ему «проповедь»… А проповедь Александры Павловны известно *куда* бьет!..

Надменно и горько в то же время зазвучал голос княжны:

– А если б это бы и так, если б *он* действительно имел намерение… а я бы «решилась», что бы вы могли сказать на это?

Глаза его загорелись как два пылающие угля.

– Что? – вскликнул он, задыхаясь. – Вы не видите что? Но видите, что я не хочу… не могу отдать

вас никому… что я люблю вас безумно…

Вся кровь мгновенно кинулась в голову Киры – и так же мгновенно отхлынула; мраморно-бледная, вскинула она свои зеленые глаза на Троекурова и, как привороженная, не была уже в состоянии оторвать их от него.

Слово было сказано, сомнений не оставалось – он любил ее… Все минувшее – страх, предчувствия, борьба, которую она в течение всего этого времени вела со своим собственным чувством, весь этот прием холодности и равнодушия, чтобы заставить его забыть мгновенный порыв неодолимой нежности, – все это разлеталось как дым пред этим словом. Он любит ее, *любит!..* Вот она жизнь… вот настоящие, как говорит он, «счастие и правда»!.. Да, это, *это*, – и ничто другое на свете!..

Но с тем же гордым выражением отшатнулась чрез миг голова ее назад; тонкие ноздри затрепетали и расширились, словно вызывая на бой какую-то невидимую силу…

– Знаете ли вы, – медленно произнесла она, – на что вы идете, говоря мне то, что вы сказали?

Он ответил ей взглядом, горевшим какою-то беззаветно страстною отвагой.

– На все! – промолвил он коротко.

Она вздрогнула.

– Вы губите жизнь… и не одну, – добавила она чуть слышно.

– По тому, *чем* я жертвую, судите о том, *что* вы для меня!..

Он схватил ее руки и, притянув к себе, прижался пылающим лицом к ее ладоням, покрывая их бесконечными поцелуями…

Голова ее безвольно наклонилась… Она коснулась его лба оледенелыми губами… и вдруг вырвалась и отбежала.

– Нет, нет!.. Я завтра же уеду отсюда!..

Он кинулся к ней, охватили ее стан, прижал его до боли в груди:

– Без меня ни за версту, – прошептал он замирающим голосом, – со мною туда, где никто в мире нас не отыщет!..

– Оставьте меня… Оставь! Идут!.. – могла только выговорить она…

XV

Candor dat viribus alas.

Шум чьих-то шагов доносился действительно из соседней с кабинетом библиотеки.

Княжна – под нею, казалось ей, дрожала земля – едва успела дотащиться до прежнего места, упала в кресло пред письменным столом и, опершись о него локтями, уронила голову на сложенные руки…

Дверь отворилась.

– Василий Григорьевич Юшков, – доложил, входя, слуга.

И за докладом, не ожидая зова, вбежал – ворвался старик-смотритель. На нем, как говорится, лица не было. Седые всклокоченные волосы разлетались во все стороны, из-под опухших красных век большие голубые глаза его блуждали как у безумного, грудь вся колыхалась от дыхания, не находившего словно себе выхода сквозь судорожно-спертое горло…

Только что сам успевший овладеть собою Троекуров был поражен этим видом.

– Василий Григорьевич, что с вами? – вскликнул он, поспешно идя к нему навстречу и высылая знаком слугу из комнаты.

– Я… я к вам… Как к спасителю… – мог только выговорить тот, сгинаясь весь, как человек, готовый упасть.

Борис Васильевич подхватил его под мышки, подвел к дивану, опустил его.

– Успокойтесь, ради Бога… Воды, вина не хотите ли?..

Он протянул руку к колокольчику.

– Я сейчас принесу, – молвила Кира, пробужденная как ото сна из своего оцепенения отчаянием, сказавшимся в этом голосе, – тут лишних не нужно…

– Ах, ваше сиятельство, княжна, – пролепетал старик, – извините, я вас не видел…

Но она уже вышла из кабинета и вернулась чрез миг со стаканом воды и флаконом флердоранжа.

Он выпил, отдышался несколько… Она приняла у него стакан…

– Несчастие?.. У Павла Григорьевича? – спрашивал его между тем невольным шепотом Троекуров.

Он качнул утвердительно головой, приподымаясь в то же время, по неизменной привычке почтительности, чтоб отвесить княжне благодарственный поклон.

– Вы от него?

– Из города.

– Дали вам знать?..

– Там узнал-с… в городе…

– Что? Что именно? Говорите, Василий Григорьевич!.. Присутствие Киры Никитичны вас не стесняет, надеюсь?

– Помилуйте, – вскликнул старик, – я знаю, как *они* ко всей семье нашей благорасположены… Да и ведь ни от кого в скорости скрыть нельзя будет, – примолвил он с громким, вырвавшимся у него вдруг всхлипыванье.

– Что же случилось? – торопил его Троекуров.

– Гриша наш, Гриша…

Он не был в состоянии продолжать…

– Гриша? – повторила Кира, поднимая невольно глаза на Троекурова.

Он понял.

– Попался! – так и вырвалось у него.

Смотритель схватил его обеими руками за локоть, нагнулся к самому его уху и прошептал:

– Да в чем-с! В го-су-дар-ственном преступлении, в распространении возмутительных прокламаций… Господи! – перебил он себя, закрывая глаза дрожавшими ладонями, – представьте себе, что это с отцом его, с братом Пашей, будет… Ведь единственный сын… обожаемый, можно сказать!.. Вот я к вам прямо, Борис Васильевич, как… как к единственному спасителю… Паше-то по крайней мере, брату Павлу Григорьевичу, как бы умягчить этот удар…

И он разрыдался как ребенок.

Троекуров взял его за обе руки и участливо пожал их.

– Вы знаете, что все, что от меня зависит, будет сделано. Но передайте мне подробно, что вам известно обо всем этом? Где Гриша, во-первых?.. Я просил давно Павла Григорьевича послать его ко мне. Я имел еще тогда основание опасаться за него, вследствие одного обстоятельства… Брат ваш обещал, но Гриша не был; все же это время, как вы знаете, я лежал с ногой… а Павел Григорьевич писал мне, что тоже не двигается, подагра. Так мы с ним более месяца не видались… Судя по вашим словам, он еще не знает о том, что случилось?

– С этим вот еду к нему… И ума уж не приложу, как и приступиться будет… – объяснял, разводя руками, совершенно растерянный Василий Григорьевич. – А Гриша пятая уж неделя как с матерью к бабушке уехал, к ее матери то есть, да и застряли они там, так как старушка очень больна была. Оттого и у вас не был. А я с братом прожил в Углах до конца ваканта. Подагра у него действительно разыгралась, вставать не мог, скучал очень… особенно вот без него-то, без сына…

Пятнадцатого числа августа, к открытию учения, я по своей должности должен был в город вернуться. На прошлой неделе это было… и дошло тут до меня, что к нам в город из губернии жандарм приехал, и следствие идет по почтовой конторе: отправлены были чрез нее в разные города экземпляры возмутительных прокламаций, и – что подозревается один молодой человек… Оказалось – Гриша! – вскрикнул старик с новым порывом отчаяния.

– Вы как же узнали?

– Учитель один мой, преданный человек, прослышал как-то, забежал сегодня утром… Я поверить не хотел спервоначала… Сами понимаете: такого отца… героя сын – и на такое дело пойти… против правительства!.. Господи!.. К исправнику нашему кинулся, он человек хороший, молодой, еще студентом его помню. «Ради Бога, говорю, скажите, вот что мне передавали… ошибки нет ли тут какой?..» А он, гляжу, и сам не свой, бледный весь сидит, губы кусает: «Я, говорит, из этой проклятой должности вон прошусь, месяц как уж подал; отчисления еще не вышло, а вот пока, говорит, приходится горчайшее из этой чаши пить… Ваш племянник, говорит, действительно уличается многими свидетельскими показаниями в сдаче на почту писем с этими прокламациями, и я получил предписание вместе с

жандармским офицером, присланным по этому делу, произвести обыск в месте его жительства, в усадьбе нашего почтенного Павла Григорьевича, и арестовать его». Я завыл просто, обмер… «Да не может же это быть! – говорю, – юноша благовоспитанный, кроткий…» «Увлечен был, надо думать», – отвечает он мне на это сквозь зубы. – Кем? – хотел спросить, – и вдруг вспомнил: студент тут один по соседству проживал, приезжал к нему, и Гриша ездил… Да вы знаете, Борис Васильевич, – перебил он опять себя, тревожно при этом вскинув глаза на княжну, безмолвно, с широко раскрывшимися веками внимавшую его рассказу.

– Знаю, знаю, – поспешил сказать Троекуров, очевидно не желая останавливаться на этом пункте.

– Вспомнил я тут, – скорбно покачивая седою головой, продолжал смотритель, – что с того самого времени неузнаваем стал наш Гриша… Суждения такие резкие, странные…

Он вздохнул и махнул рукой:

– О наших чистых старых идеалах я уж не говорю-с: выкинуло их давно из окошка с поруганиями и смехом новое поколение. На Белинского сначала молились, вольнолюбивое направление пошло; да, по крайности, искренний, горячий культ искусства чувствовался в человеке!.. А теперь, я вот слежу за журналами, так ведь это куда же ведут! И отпору ни с какой стороны… С дозволения правительства проповедуется! Огулом-с всю эту злополучную молодежь в пропасть толкают… А родным-то, а отцам каково видеть это, понимать и бессильными, безоружными себя чувствовать супротив общего потока!.. Вот-с, какого еще лучше примера, какого руководства нужно для молодого человека, как брат мой Паша! Только гордиться таким отцом, благоговеть пред ним… И ведь любил его всегда мальчик, горячо любил, знаю я!.. И вдруг стоило побыть ему в университете, да явился какой-то проходимец, проповедник всякой злобы и лжи, – так я понимаю, – и вся эта нежность к родителю, доверие, все это летит прахом, сын видимо начинает чуждаться отца, сидит, запершись в своей комнате, таится… Ведь это Паша замечал все. Ничего не говорит, а только взглянет на меня иной раз… Чем же я мог тут пособить? Попробовал я было заговорить с Гришей наедине: «Огорчаешь ты, мол, очень отца своим унынием». Так он меня даже сразу оборвал: «Вы, говорит, известно, дядя, старый романтик, чувствительные слова любите произносить, никакого у меня „уныния“ нету, а просто скучно…» Я, признаюсь вам, после этого даже рад был, что он уехал с матерью, – бабушка очень желала видеть его, – «авось, думаю, проветрится»… А это, как понимаю я теперь, раскаяние мучило его, бедняжку, страх… Ведь за такое его преступление покойный государь – да в ту пору это даже в уме никто бы держать не смел! – приказал бы его на Кавказ солдатом, без выслуги. А нынче и того хуже, пожалуй, – задрожавшим голосом вскрикнул старик, впиваясь глазами в лицо Бориса Васильевича, – судить будут, в Сибирь на каторгу порешат…

– Ну уж и «в Сибирь»! – качнул вверх головой Троекуров. – Вы говорите, что сегодня должен быть произведен обыск в Углах?

– Сегодня.

– Так ведь Гриши же они там не найдут: он, говорите вы, с матерью у бабушки.

– Дома! Они непременно должны были вернуться к его, Гриши, рождению. Ему, представьте себе эту насмешку судьбы, завтра гражданское совершеннолетие минет, двадцать один год…

– Ах, Господи! – вскинулся опять старик, – время-то, время бежит, а я… Я ведь к вам приехал с чем… Как он это передал мне, исправник-то: «Ради Бога, говорю ему, дайте мне хоть

предварить брата, а то ведь страшно подумать, как если вы так вдруг, с жандармом, нагрянете к нему». Он на это тотчас же согласился: «Поезжайте, говорит, сейчас, а я вам обещаю, что я его, жандарма то есть, удержу часа на два; у вас, таким образом, все это время впереди будет». Я сейчас же ямщика нанял до вашего Всесвятского. Вы, думаю, во всяком случае не откажете мне в лошадях и экипаже скорее доехать до Углов… А кроме того, – прибавил он, и его большие голубые глаза с выражением страстной мольбы устремились еще раз на его собеседника, – если только состояние вашего здоровья позволит это вам, не откажитесь сами…

– Ехать с вами? – договорил за него Троекуров…

И глаза, его безотчетно обернулись в сторону Киры.

Лицо ее мгновенно заалело, но выражение его прямо сказало ему: «Не обо мне теперь думать…»

Он встал, дернул за снурок колокольчика:

– Сказать Скоробогатову, – приказал он вошедшему слуге, – четверку под старую коляску; я еду сейчас в Углы.

– Борис Васильевич, голубчик! – вскликнул старик, кидаясь обнимать его. – От сердца хоть капелечку отлегло…

Тот пожал ему руку:

– А теперь надо будет предварить жену и гостя… У нас Сергей Михайлович Гундуров, – объяснил он.

– Сергей Михайлович Гундуров! – повторил смотритель, чуть-чуть вздрогнув и поспешно проводя рукой по лицу. – Не видал я его с самой смерти ангела моего, княжны, – прошептал он.

– Ах да: ведь весь этот роман его вам близко известен? – быстро промолвил Троекуров.

И глаза его еще раз обернулись на Киру.

Она встала и, не отвечая на его взгляд, направилась к двери, ведшей из кабинета в приемные покои дома.

В ту же минуту на пороге двери, открытой в сад, показалась Александра Павловна в сопровождении спутника своего по прогулке.

Она вся сияла: она довела Гундурова «тонким разговором» до признания, что «одинокая жизнь ему в тягость», к чему он прибавил, однако, что «переменять ее на другую поздно»; но это последнее, рассуждала она, «чистейший, разумеется, вздор и говорится всегда мужчинами в таких случаях», и что на это «никакого не надо обращать внимания, тем более что он обещал непременно приехать опять во Всесвятское чрез неделю, и *уже на несколько дней…*

– Кира, – крикнула она еще из дверей, заметив, что та уходит, – куда же ты? Мы тебя там все поджидали в цветнике…

– Я сейчас приду, голова разболелась, – проговорила княжна, исчезая. Ее точно острием иглы кольнул звук этого, *ее*, голоса…

– Василий Григорьевич, здравствуйте! – молвила между тем Сашенька, заметив старика и

поспешно, с ласковою улыбкой, идя к нему, протянув руку. – Вы из Углов?

– Нет, – отвечал ей за него муж, – мы сейчас туда едем с Василием Григорьевичем.

Она так и вскрикнула:

– Ты едешь, Борис! Ты только третий день стал ходить…

– Я и не пойду, а поеду, – возразил он с короткою усмешкой.

– Доброе дело сделать, Александра Павловна, – примолвил старик-смотритель с глубоким вздохом и таким же поклоном, – не препятствуйте, а Борис Васильевич, надеюсь, и доедет, и вернется к вам совершенно цел и невредим.

– Разве я могу… препятствовать? – озадаченно проговорила она. – Но… разве это так необходимо сегодня же?

Троекуров сжал брови:

– Видно так, коли мы едем… Я все тебе расскажу по возвращении, – добавил он мягче и стараясь улыбнуться.

– А теперь мне остается только просить извинения у дорогого гостя, – обратился он к Гундурову, – вы, я не сомневаюсь, поймете, что я решаюсь так бесцеремонно покинуть вас не из неучтивости…

– Полноте! – сказал тот. – Я и сам должен ехать…

– А я вас не пущу! – вскликнула решительным тоном молодая хозяйка. – Вы должны остаться с нами обедать… Ах, Боже мой, – вспомнила она вдруг, – вы знакомы, messieurs? Василий Григорьевич Юшков, Сергей Михайлович…

– Сергей Михайлович не помнит меня, – не дал ей досказать смотритель, печально вскидывая глаза на того, с чьим именем на устах отошла пред ним в вечность его «ангел-княжна»[88], кому на другой день по ее смерти он передавал ее последние слова…

Тот пристально взглянул на него, узнал – и, к некоторому ужасу Александры Павловны, весь переменился в лице. Прошлое, это залегшее так глубоко в душе его прошлое, проснулось в нем вдруг с новою, мучительною силой…

– Да, мы давно не видались, давно! – проговорил он чрез силу, протягивая руку старику и слабым движением пальцев отвечая на крепкое рукопожатие того.

Он отвел тут же от него глаза и остановил их на молодой женщине:

– Вы извините меня, Александра Павловна, – сказал он, как-то особенно спеша теперь, – я никак не могу остаться у вас обедать… Очень приятно, но не могу, решительно… Я дал знать в деревню, что буду к обеду, и меня там ждут… Извините!..

– Бог с вами, если так, – вздохнула она, – но надеюсь, что вы не забудете вашего обещания чрез неделю – помните, никак не позднее, – быть опять у нас?

– Нет, конечно… я постараюсь, – промямлил он, отыскивая глазами свою шляпу.

– Очень нелюбезно, очень, – заключила Александра Павловна, полуулыбаясь, полувздыхая, – что вы оставляете нас с Кирой обедать вдвоем…

XVI

Ничто не укротит железные судьбы,
Не знающей к прекрасному пощады.

Батюшков.

О, Боже, Боже мой,
Какая честности худая мзда на свете!

Сумароков.

Спутники молчали всю дорогу… Старик-смотритель, прижавшись к уголку коляски, то глядел оттуда растореными, ничего не зревшими глазами на мимо бежавшие нивы и леса, то вскидывал их и подолгу не отрывал от неба, шевеля неслышно своими поблеклыми старческими губами… Иные помыслы, иные ощущения уносили Троекурова. Воздух, солнце, игра теней, это *мчание* в экипаже после шестинедельной неподвижности, и *то,* то, что сейчас произошло у него в кабинете, «пред тем как этот бедный старик ворвался к нему», – все это охватывало его, опьяняло каким-то блаженным дурманом. Он «жил», жил опять «всею полнотою жизни», сказывалось ему, жил «будто в первый раз»… Он совершенно забыл, куда, к кому, зачем он едет: несут его кони, одувает ветер разгоряченное лицо, белеют в рядах сосен стволы берез под полуденными лучами… а впереди, впереди!.. Он не договаривал и нервно, до боли закусывал ус свой в каком-то алчном предвкушении того, «что ждет» его. «Она сдалась, – и он безотчетно улыбался, – гордая, упрямая… Да, я ошибался: это была не *игра,* а вот эти самые упрямство и гордость… Побороть себя хотела, шесть недель выдержала, томила и томилась… и вот!..» «Знаете ли, куда вы идете, говоря мне это?» – повторял он ее слова: какая другая женщина поставила бы *так* этот вопрос? Из орлиной породы она, с нею компромиссов быть не может… А эти зеленые глаза, девственно-страстные, что обещают они… Я найму в Венеции palazzo на Canale Grande и с нею там…

– Углы! – пробудил его словно испуганный возглас соседа.

Он оглянулся на него чуть не сердито. Старик, весь бледный, торопливо и учащенно крестил себе грудь дрожащими пальцами… Они приехали.

Павел Григорьевич Юшков не ждал гостей. Пред отъездом брата из Углов тот, чуть не плача, выражал ему свое сожаление, что занятия его по училищу никак не позволят ему приехать ко дню рождения Гриши. А Бориса Васильевича Троекурова он предполагал не совсем еще оправившимся.

Он поэтому настолько же удивился их приезду, насколько и обрадовался.

– Вот уж, могу сказать, приятный сюрприз! – вскликнул он, с подергиванием боли на лице, подымаясь из своего глубокого вольтера и ступая на обутую в бархатный сапог ногу, навстречу им (они прямо прошли в его кабинет). – Вы уж молодцом, Борис Васильевич, поздравляю, а мне вот, как видите, еще не дает ходить проклятая подагра… Здравствуй, Василий, таки прикатил сегодня, спасибо тебе! – протягивая руку и любовно поведя взглядом на брата, промолвил он и тут же тревожно вскликнул. – Да что с тобою, болен?

Бедный смотритель поднял на него мучительно-умоляющий взгляд:

– Нет, Паша, нет, я ничего… я собственно…

– Какое «ничего»! Лица на тебе нет. Болен, говорю, или… случилось что-нибудь?..

– Действительно, Паша, одно обстоятельство есть… Ты не смотри на меня, Паша, пожалуйста, – вскликнул вдруг старик, – я… натура уж у меня такая… бабья… ничего сдержать в себе не умеет…

Он не договорил и быстро отошел к окну, глотая душившие его слезы.

Павел Григорьевич поглядел ему вслед, сжал свои нависшие брови и, опустившись снова в кресло, обратился к Троекурову.

– Что с ним?.. Что такое? – как бы поправился он. – Вы знаете?

Тот обернулся к двери:

– Запереть можно?

– Можно, конечно… А что?

– Чтобы кто-нибудь… из *ваших,* – подчеркнул он, – не вошел. Поговорить надо.

– Жены еще нет; она вечером только приедет. Удержала ее мать больная. А Гришу прислала мне сюда вчера… Он сейчас у меня сидел, пошел на озеро погулять…

Борис Васильевич одобрительно качнул головой.

– О нем именно и речь пойдет, – сказал он.

Судорога пробежала по лицу моряка. Глаза его так и впились в говорившего.

– О Грише? – повторил он дрогнувшим голосом.

– Да! – веско уронил тот.

– Говорите… что бы там ни было! – вырвалось нежданно для него самого у Павла Григорьевича.

– Вы помните наш разговор с вами, когда вы в последний раз были у меня… после случая со мною… о том переодетом негодяе?

– Да, да… которого Гриша называл мне *Федоровым,* – мрачно прошептал Юшков.

– Настоящая его фамилия – Овцын; он двоюродный брат моей жены, давно потерянный человек… Пока, – объяснил Троекуров в ответ на изумление, сказавшееся за этими словами его в глазах обоих братьев, – пока шло только дело обо мне, я считал бесполезным называть вам его… Я узнал, что он в наших местах в тот самый вечер, когда, помните, был у вас, возвращаясь из города, и велел ему сказать, что если он немедленно не скроется отсюда, я с ним распоряжусь по-свойски… Я его действительно встретил чрез день после этого в компании Троженкова и избил плетью – имел на то основание… Жалею об одном теперь, что не положил на месте, – с беспощадно сверкнувшими глазами отчеканил бывший кавказец, – настает такое, по-видимому, время, что охранять себя… и *своих* честным людям придется не иначе, как собственноручною расправой!.. Вы знаете, что произошло затем: маскарад, подстрекание крестьян к бунту… Молодца схватили на месте преступления – и в ту же ночь выпустили или

скрыться дали… Того и следовало ожидать: нынче, как известно, преступных людей нет – существуют «убеждения», или «аффекты»; за то и за другое, разумеется, «нечестно» подводить людей под кару – и такого разумения своего долга считает нужным держаться теперь каждый состоящий на службе просветившегося российского правительства… Ну, и прелестно! Отпустили «убежденного» молодца; наша сторона, по крайней мере, избавлена от него. Таково было мое рассуждение; я вам в этом смысле и говорил тогда, думая именно о вашем Грише, о том скверном влиянии, какое мог иметь на него этот мерзавец…

Троекуров говорил короткими, обрывистыми фразами, отдаваясь невольно захватывавшему его чувству негодования, и замолчал на полуслове, проводя себе в смущении рукою по лицу: оставалось сказать «настоящее», поразить ударом этого почтенного, глубоко уважаемого им человека, который, согнувшись в своем кресле и машинально подергивая правою целою рукой пустой рукав отрезанной левой, глядел на него, не отрываясь, нетерпеливо и тревожно…

Старик-смотритель неслышными шагами подошел тем временем к ним и, опустив сложенные руки, с замиравшим дыханием не отводил в свою очередь от брата своих голубых, словно туманом подернутых теперь глаз.

– Вы успокоивали меня тогда, Борис Васильевич, – тихо произнес младший Юшков.

– Если это упрек, – ласковым тоном заметил Троекуров, – то я заслуживаю его только в том отношении, что не догадался тогда же, что зло… уже было сделано.

Павел Григорьевич весь выпрямился:

– «*Сделано*»? Что? Не томите!

Брат его кинулся к нему:

– Паша, голубчик, – залепетал он, – ты сильный человек… ты тысячу смертей, можно сказать, на своем веку видывал и глядел им бодро в глаза… Так ты уж и теперь… мужайся! Тяжело, голубчик, тяжело, да что же делать!.. Сын твой… Ведь подумай: молодость, доверчивость излишняя…

– Что он сделал? – гневно прервал его тот, ударяя кулаком по ручке своего кресла.

– Его обвиняют в рассылке по почте конвертов с революционными прокламациями, – почел нужным вмешаться опять Троекуров.

– С революционными прокламациями… Гриша?.. Не мо-может быть! – вскликнул Павел Григорьевич, откидывая голову назад.

Борис Васильевич приподнял печально плечи:

– Пусть брат ваш расскажет вам, что знает!..

Смотритель, страшно путаясь и испуганным взглядом следя за выражением лица брата, принялся сообщать ему все, что было передано самому ему исправником.

Тот не прерывал его ни единым словом. Он словно замер весь; только лоб его и щеки становились с каждым мгновением все бледнее и бледнее.

– «Обыск», – повторил он чуть внятно, дослушав до конца, – в моем доме… у моего сына!..

– Павел Григорьевич, – сказал Троекуров, – я пойду с ним переговорю… с Гришей…

– С государственным преступником! – захохотал старый моряк прорвавшимся у него неудержимо истерическим смехом – и смолк тут же, устремив глаза на отворившуюся прямо против него дверь, в которую в свежем летнем костюме, с соломенною шляпой в руке, юный и миловидный, как девочка, входил в эту минуту его сын.

– Борис Васильевич, – еще с порога заговорил он, – вообразите, что я с озера – ведь не близко! – узнал по звуку колес вашу старую коляску…

Он быстро направился к нему, заранее протягивая руку… И вдруг инстинктивно задержал шаги, окинул торопливым взглядом лица безмолвных присутствующих – и побелел как полотно… Он как-то разом все понял.

Троекурову стало ужасно жаль его:

– Гриша… – начал было он.

– Нет, уж позвольте отцу с ним поговорить сначала! – перебил его Павел Григорьевич. И он энергическим движением руки указал сыну стать пред ним.

Молодой человек повиновался, подвинулся; глаза его опустились в землю, словно повинуясь какой-то внешней, неодолимой силе.

Отец уставился на него, губы его зашевелились… но долго не был он в состоянии произнести слова.

– Сейчас, – начал он наконец, – приедет сюда полиция, жандармы… производить обыск, арестовать тебя… Ты знаешь за что?.. Надеюсь, – вскликнул он, предупреждая ответ сына, – что ты по крайней мере лгать не станешь мне!..

– Я лгать не стану, – промолвил Гриша, подняв глаза, и обвел ими кругом себя, ни на ком не останавливаясь.

Слабый румянец выступил на его лице, он видимо бодрился.

– Я за поступки свои ответчик!

– За какие «поступки»? За безумие, за неслыханное дурачество! Тебя подучили разослать по почте какие-то возмутительные воззвания… И ты это взял на себя, взял сыграть шута… чтобы поплатиться за это Сибирью!..

Упрек задевал молодого человека за самое больное место – за его самолюбие; он весь вспыхнул теперь.

– Для кого «шута», для кого чего-нибудь получше, пожалуй! – возразил он с заметным намерением иронии в тоне. – Это вопрос старого и нового поколения… Мы не поймем друг друга, батюшка!

– Что же мне понимать-то, не потрудишься ли объяснить, – вскликнул Павел Григорьевич, – то ли, что ты уже не по легкомыслию, а с полным сознанием, с убеждением, что так тебе и следует, записался в бунтовщики, во враги общественного порядка и правительства?..

Гриша приподнял плечи:

– Ни ваш «порядок», ни ваше «правительство» мы, молодое поколение, уважать не можем, и стремимся… к их упразднению, – договорил он после минутного колебания.

Нестерпимою болью и гневом засверкали глаза отставного севастопольца. Он ухватился за кресло, как бы с тем чтобы подняться, чтобы кинуться на сына… и упал опять, бессильный и дрожащий…

– Что же, – застонал его голос, – так мы для того *там* одиннадцать месяцев умирали каждый день за Русскую землю и ее Царя, чтобы вы, вы… наши дети…

Горло ему свело судорогой, он говорить не мог…

– Паша, голубчик! – ринулся к нему старик-брат, отчаянно простирая к нему руки.

Троекуров схватил Гришу за руку и потянул его к окну.

– Вы безумец, Гриша, – строго заговорил он, – и что хуже, извините, – просты не по летам! Вы в действительности такой же революционер, как я, – иначе вы были бы чудовище, а не сын вот этого человека, пред которым каждый порядочный человек в России почтительно шапку скинет… И вы убиваете его, губите самого себя из-за чего? из-за бездельника, который натравил вас, а сам удрал, оставив вас на жертву!.. Ведь вы должны же знать, что он скрылся… ему дали уйти, – а вы поплатитесь! Разве отец ваш неправ, разве не играете вы в самом деле во всем этом роль шута?.. Вы хоть бы об этом серьезно подумали, если сердце успели вы свое испортить уже настолько, чтобы не понимать, какою ценой заплатят за это ваши родители!..

Если бы Гриша имел дар ясновидения и мог прочесть то, что сказывалось в мысли Троекурова не далее, как час тому назад, он имел бы возможность спросить его в эту минуту в свою очередь: какою ценой и кем должно было быть заплачено «безумие» самого проповедника?..

Но у бедного юноши не было и этого аргумента в запасе. Он стоял лицом к лицу со своим «поступком» и сознавал с глубоким внутренним смятением, что ему нечем, нечем серьезно оправдать его… Слова Бориса Васильевича разбивали как-то сразу в прах весь его напускной задор. Какой он в самом деле революционер? Есть ли в нем тот огонь и мужество, *есть ли та злость,* какие нужны для этого? Вот он «раскис уже совсем», не смеет обернуться на старика-отца, и сердце невыносимо ноет, и слезы так-таки сейчас, кажется, и брызнут из глаз. А «тот» вовлек его, сгубил и – скрылся, не почтя даже нужным известить его о себе, справиться и о его участи. Он «преследует свое дело» и пренебрегает теми, кто служил ему бессловесным орудием, послушною, жалкою игрушкой… Да, это так, он, Григорий Юшков, – «шут», над которым смеется теперь этот же человек, за которого приходится ему «расплачиваться»… И как он *мог* так слепо отдаться ему в руки, давно ли он его знает?.. Он встретился с ним в Петербурге, незадолго до экзаменов, в одном студенческом кружке, с которым водился Гриша. Его звали там Федоровым, и Гриша только позднее узнал, что это не была его настоящая фамилия и что он «скрывается от полиции», для чего даже носит парик темнее собственных волос… Студенты кружка, почти все первокурсники, благоговели пред ним, как пред человеком, «бывшим в Лондоне в ближайших сношениях с самим Александром Ивановичем», к которому – передавали они шепотом друг другу – «он был посылаем даже для особых переговоров от редакции *«Современника»,* и с восторженным сочувствием заслушивались его «прогрессивных» речей… Гриша, слывший в университете «красною девицей» и «аристократом», был особенно польщен тем, что столь «хорошо поставленное в *либеральном лагере»* и авторитетное среди его товарищей лицо обратило на него с первого раза особое внимание и заявило даже, что желает «специально заняться его развитием». Наш юноша получил действительно от этого наставника указание на «некоторые необходимые» для такого

его «развития» книги, в которые «следовало ему *вникнуть*». Первым номером стояло известное *Kraft und Stoff* Бюхнера, которое Гриша, знавший хорошо по-немецки и одаренный отличною памятью, одолел весьма быстро и так, что на ближайшем после этого сборище кружка мог цитовать наизусть целые страницы из этого сочинения, выводя из них уже самые решительные заключения о необходимости *«покончить* со всяким феотоническим началом». Овцын ударил его за это поощрительно по плечу и многозначительно проговорил: «Будет прок!», вслед за чем товарищи принялись даже аплодировать Грише… Затем наступили экзамены, и собрания прекратились; но пред самым отъездом Гриши домой к нему нежданно явился Овцын «сообщить ему», что сам он имеет намерение «для некоторых специальных целей» побывать летом в его, Юшкова, местах и потому просит дать ему свой тамошний адрес и «ждать его посещения», причем уже с таинственным видом передал, что «некоторые обстоятельства заставляют его быть осторожным», а потому он желает, чтоб Юшков хранил их отношения в тайне «от своих домочадцев и от всякого вообще провинциального старья, какого там, надо думать, вдосталь», и заключил тем, что, по всей вероятности, будет иметь надобность обратиться к нему для содействия этим своим «некоторым целям». – «Какие же это такие цели?» – спросил озадаченно Гриша. – «Само собою не личные, а для общего блага!» – высокомерно отрезал на это Овцын, но более обстоятельное объяснение отложил до их встречи *«там»*.

«И вот он приехал – и в три свидания *обработал* меня!» – говорил себе теперь Гриша с мучительною тоской, с невыносимым чувством стыда…

Печально и участливо глядел на него Троекуров: он угадывал, что происходило в этой слабовольной молодой душе.

– Послушайте, – сказал он, – вы слышали, сейчас у вас обыск будет; надо уничтожить все, что может быть компрометирующего в ваших бумагах.

– У меня ничего нет, – пролепетал на это юноша.

– Не осталось экземпляров тех… прокламаций ваших?

– Их у меня здесь никогда и не было…

Борис Васильевич воззрился ему в лицо с невольным недоверием.

– Не было, – повторил тихо Гриша, – у отца под кровлею… я не хотел…

– Вы писали адресы у этого негодяя… у Троженкова?

Гриша не отвечал.

– И ничего больше нет?

– Были запрещенные стихи, я их сжег.

– Давно?

– Тогда же…

– Пойдемте, однако, в вашу комнату; посмотреть хорошенько не мешает… к мелочам могут придраться…

Но в это самое время под окнами комнаты послышался лошадиный топот, и мимо их ко крыльцу промчался дорожный тарантас с двумя сидевшими в нем господами в форменных фуражках.

– Они! – глухим криком вскрикнул оборачиваясь старик-смотритель, все время возившийся около брата.

– Пойди, проси их! – выговорил спокойным голосом Павел Григорьевич, запахивая полы длинного халата, в который был он облечен по случаю нездоровья, и выпрямляясь на своем сиденье.

Гриша в свою очередь вскинул вверх голову; глаза его глядели гордо и твердо.

«Хорошо!» – сказал себе Троекуров, зорко наблюдавший за ним…

Вошли в сопровождении старшего Юшкова исправник Факирский и жандармский капитан в голубом мундире, весьма благообразной и какой-то невинно строгой наружности молодой человек (он служил когда-то в одном из первых полков гвардии и променял его на жандармскую должность «по страсти, – говорил он, – к следственной деятельности»).

Факирский был темен как туча. Он, вступив в комнату, поспешно обвел одним общим поклоном всех присутствующих, заметно избегая встретиться взглядом с Павлом Григорьевичем, и, пропустив вперед офицера, словно заслонился весь им.

– Хозяин? – шепотком, обернувшись к нему в полоборота, спросил его тот, и на утвердительный знак его подошел к креслу с почтительным и вполне светским наклонением головы.

– Покорнейше прошу вас извинить… – начал было он, но Павел Григорьевич не дал ему продолжать. Он отдал ему учтиво поклон и заговорил сам:

– Приезд ваш ко мне не требует объяснений!.. Он говорит сам за себя. Тот, кому я, по всей вероятности, обязан честью видеть вас у себя в доме, здесь, налицо (он, не глядя на сына, кивнул головой в его сторону), – а потому, если вам угодно, вы можете сейчас же приступить к вашему делу.

Благообразного голубого офицера передернуло. Он чуть-чуть усмехнулся, но все так же светски наклонил еще раз голову, прищурился слегка на Гришу и, шагнув к отошедшему несколько в сторону исправнику:

– Этот самый молодой человек? – спросил он его на ухо.

– Он! – не мог удержать вздоха Факирский.

– Гриша, – промолвил громко Троекуров, – пройдемте с этими господами в вашу комнату… Пожалуйте, господа! – пригласил он рукой следовать за молодым человеком, немедленно двинувшимся вслед за его словами к двери.

– Борис Васильевич Троекуров, наш здешний мировой посредник и крупный землевладелец, – счел нужным объяснить Факирский, наклонясь в свою очередь к уху офицера.

Тот повел только головой и слегка покраснел. Он помнил Троекурова еще с поры своего юнкерства в полку, в котором и тот служил еще тогда, но «ни ему, ни мне не особенно приятно возобновлять теперь знакомство», – основательно рассудил он.

– Паша, что же это будет? – вскликнул неудержимо, вскидывая руки вверх, старик-смотритель, оставшись вдвоем в комнате с братом.

Моряк не отвечал; только грозные брови его судорожно дрогнули над сверкнувшими на миг глазами…

XVII

…Portavimus umbram
Imperii…

Sidonii Apollinarii carmina.

Как друг обнявший молча друга
Перед изгнанием его.

Пушкин.

– Это ваше именно помещение? – спрашивал Гришу жандармский капитан, оглядывая светлую, уютную комнату, в которую вошли они, и в которой все, от свежих ситцевых занавесей и до безделушек, расставленных на столах и этажерках, носило следы заботливой руки, руки матери, любовно уготовлявшей этот «уголок» к приезду дорогого детища.

– Да, это кабинет мой, а тут рядом маленькая комната, моя спальня.

Тот заглянул в спальню, потянул кончик уса и спросил опять:

– Тут у вас все *ваше:* книги, бумаги?..

– Да. Книги в шкафу, бумаги здесь вот!

И Гриша нервным движением дернул за ключ и вытащил наполовину большой ящик письменного стола с мирно почивавшими там тетрадями университетских лекций.

Голубой офицер деликатною рукой потащил к себе одну из них:

– Это ваша рука? – мягчайшим тоном проронил он.

– Нет, – усмехнулся невольно студент, – это литографированные записки… А вот это я строчил, – примолвил он, подавая ему с тою же усмешкой исписанный лист.

– Позвольте посмотреть!..

Он взял этот лист – отрывок из какого-то конспекта по энциклопедии правоведения, отошел с ним к окну, пригласив глазами исправника туда же, и, обернувшись спиной к молодому человеку и Борису Васильевичу, который, усевшись на диван, внимательно следил за происходившим, запустил руку за борт сюртука, вытащил из кармана бумажник, а из него какой-то почтовый конверт и показал его Факирскому… Головы их на несколько мгновений низко наклонились над обоими «письменными документами», очевидно, сличая их.

– Несомненно! – прошептал голубой…

Исправник только насупился.

Тот вернулся к Грише.

– Вы изволили сказать, что это ваша рука? – сказал он, показывая ему на конспект.

– Моя.

– А эту вы не признаете?

И он, осторожно и крепко придерживая двумя пальцами конверт за верх его, поднес начертанный на нем адрес под глаза Гриши.

Гриша начал громко:

«Его превосходительству, господину пензенскому губер…»

Он не дочел, поднял глаза – словно какая-то змейка пробежала по его лицу – и твердо выговорил:

– Это тоже я писал.

Факирский, с заметною озабоченностью в лице ожидавший его ответа, болезненно поморщился и быстро отвернулся к окну. Троекуров так и впился в юношу…

Жандармский капитан осторожно вынул из конверта листок, в восьмушку тонкой, отпечатанной убористым шрифтом бумаги, по всем признакам заграничного происхождения:

– Вам было известно, – спросил он, и глаза его в свою очередь блеснули как бы невольным участием к допрашиваемому, – о содержании того, что заключалось как под этою обложкой, так и подо многими другими такими же с адресами на них вашей же руки и вами же лично сданными в ***ской почтовой конторе, как показывают очевидцы?..

Гриша не успел ответить.

– А если это ему известно не было? – воскликнул вдруг Троекуров, вскакивая со своего места. – Если он просто по добродушию… или легкомыслию, если хотите, согласился надписать на готовых запечатанных конвертах адресы всяких неизвестных ему лиц, по списку, данному ему тем, кому нужно было разослать эти прокламации?.. Ведь прокламации это были? Всем известно, что их разбрасывали в Петербурге, на Волге… Один из таких экземпляров, вероятно, и у вас тут? – указал он на листок, который голубой офицер, как бы внезапно испугавшись этих слов, поспешил тут же вложить снова в обложку… «Вот тебе исход, пользуйся!» – говорили в то же время глаза Бориса Васильевича Грише, все также не отрываясь от него.

– В таком случае, – с живостью молвил капитан, не потрудится ли господин Юшков назвать то лицо, по просьбе которого надписаны им адресы на этих обложках?

Троекуров еще раз не дал юноше произнести слова:

– Капитан, вы должны понимать, как трудно *порядочному* молодому человеку, – подчеркнул он, – выдавать кого бы то ни было… Вопрос этот к тому же, кажется, бесполезен. По имеющимся, как мне известно, в вашем ведомстве сведениям, сами вы должны догадываться, если и не знаете достоверно, кто мог быть «лицо», о котором вы спрашиваете.

Фанатик «по следственной части» весь превратился сам теперь в вопросительный знак.

– О ком это вы изволите говорить?

Троекуров поглядел ему в глаза:

– Позвольте-с, мы здесь не в прятки играем! Вы не можете не знать, что в здешней местности, именно в то время, когда сданы были на почту эти прокламации, проживал некто, один из нынешних *агитаторов* что ли, – как их назвать! – давно известный вашему ведомству, которое, как это мне, повторяю, *лично известно,* и разыскивало его *формально,* – иронически добавил он.

Благообразный офицер с тем же недоумевающим взглядом пожал плечом.

– Решительно не понимаю-с!..

– Так я вам прямо назову его, – отрезал Борис Васильевич, – его все сильнее разбирала желчь, – зовут его Овцыным; бывший студент Петербургского университета; эмигрировавший за границу и вернувшийся оттуда под чужим именем; подозреваемый в участии в петербургских пожарах…

Капитан закивал теперь утвердительно головой:

– Это совершенно так-с: называемый вами господин действительно разыскивается…

И он как бы невольно прибавил своим светски-любезным тоном и с легкою усмешкой:

– Мне остается только удивиться, откуда вам ведомы наши тайны.

– А я, – возразил с такою же усмешкой его собеседник, – удивляюсь тому, что вы верите еще в эти «тайны». В русских управлениях *наисекретнейшая* бумага известна тем, от кого скрывают ее содержание, прежде еще чем она подписана.

Капитан повел губами не то недоверчиво, не то кисло:

– Такое утверждение, мне кажется, несколько преувеличено… Что же касается данного случая, – торопливо перебил он себя, – относительно личности, которую вы сейчас назвали, то считаю долгом заверить вас, что ее в здешней местности и не было вовсе…

– И «вовсе» даже? – не мог удержаться от смеха Борис Васильевич. – Таковы ваши сведения?

– У нас в центральном управлении имеются об этом самые положительные данные, – утвердительно и несколько обиженный этим смехом промолвил тот.

Троекуров еще раз воззрился ему прямо в лицо: оно дышало самою несомненною, младенческою искренностью.

«O sancta simplicitas в лазоревом мундире, – подумал он, – покойся безмятежно на иждивении благодушного отечества, а хранить его предоставь уж единому Господу Богу!..»

– А я вам вот что скажу-с, – громко выговорил он, – можете донести вашему начальству, что, если б это понадобилось, я, не говоря уже о моем собственном, соберу еще сколько угодно показаний свидетелей о пребывании этого негодяя здесь, и притом самых подробных – и когда, и где, и что…

Глаза его остановились на миг на мрачно внимавшем этому разговору исправнике – и тут же

отвернулись. Он замолчал.

Но слова его, видимо, произвели веское впечатление на нашего капитана. Прирожденная его чертам строгость перешла даже теперь в некоторый оттенок грозности – все так же, впрочем, «невинной».

– Я не смею не доверять вашим словам, – раздумчиво и протяжно произнес он.

И, обращаясь к Грише:

– Вы подтверждаете *их* показание?

– Какое? – как со сна спросил тот.

Он стоял, глубоко погрузясь в свою тяжелую внутреннюю думу.

– Относительно пребывания здесь бывшего студента Овцына, а также и того, что вы, по его просьбе, и не зная, что содержится в изготовленных и запечатанных им заранее конвертах, надписали на них адресы по списку, полученному вами от него же?

Потупленные до сих пор глаза Гриши вскинулись на вопрошавшего:

– Я никакого Овцына не знаю.

– Он называл себя здесь *Федоровым,* – заметил на это Борис Васильевич.

– Он и в Петербурге, как нам известно, проживал под этою фамилией, – подтвердил капитан, – так, значит *Федорова,* все равно-с, – обратился он снова к молодому Юшкову.

– Я и Федорова не знаю, – резко ответил тот.

Троекуров вспыхнул весь, шагнул к нему:

– Гриша, – вскрикнул он, – знаете ли вы, что говорите? Ваше отрицание – ведь это, значит, я солгал!..

Юноша с задрожавшими губами обернулся на него:

– Вы хотите меня спасти, Борис Васильевич, – залепетал он чрез силу, – спасибо вам… но… я… не могу принять… Ни Овцына, ни Федорова, никого я не знаю, – крикнул он внезапно визгливым криком, давясь, чтобы не разрыдаться рыданием, – я один, без ничьей просьбы, один действовал… Я не мальчишка и не хочу, чтобы меня спасали… И делайте со мною, что хотите!..

– Сделайте милость, успокойтесь! – поспешно заговорил благообразный офицер, очень смутившийся этим «припадком». – На меня возложена обязанность разъяснить обстоятельства дела… Но поверьте, что в господине шефе жандармов вы найдете полную снисходительность… к увлечениям молодости…

– Садитесь, Гриша, и выпейте воды, – прервал его Троекуров, строго взглянув на своего молодого приятеля, – вы слишком волнуетесь!

Гриша разом осилил себя, прошелся по комнате, сел и закурил папироску: «без воды, мол, обойдемся»…

Исправник Факирский нежданно подошел к товарищу своему по *дознанию:*

– Позвольте мне подтвердить показание Бориса Васильевича насчет бытности здесь этого… Овцына или Федорова, – начал он решительным, словно вызывающим тоном, – в тех же приблизительных числах, когда сданы были господином Юшковым на почту эти конверты с прокламациями, арестован был мною на сенокосе, при свалке крестьян, вследствие там одного спора о владении лугами, неизвестный молодой человек в крестьянской одежде и, как оказалось, с накладною бородой, возбуждавший крестьян против решения господина мирового посредника, причем он нанес тут же ему, Борису Васильевичу, увечье, швырнув ему дубиной в колено… У него находился паспорт на имя какого-то клинского мещанина, очевидно фальшивый. Из его приемов, наружности и того, как отвечал он, я почитаю себя в полном праве заключить теперь, что этот неизвестный не кто иной был, как упомянутый Овцын… До отправления его в острог я велел тогда, после происшествия, привести его для допроса в одну усадьбу, в которой сам я ночевал в тот раз, и запереть там под стражей до утра…

Голос его оборвался… Он передохнул и продолжал, хмурясь и кусая себе губы:

– Господин этот ушел из-под стражи тогда же, ночью… Я признаю себя вполне виновным в этом, рапортовал в этом смысле начальнику губернии, прося о немедленном отчислении меня от должности исправника, к которой признаю себя решительно неспособным… и готов нести всякую ответственность за… небрежное отношение мое к обязанности моей в этом деле, – прибавил он, глядя блестящими глазами на Троекурова.

Благообразный жандармский офицер с изумлением глядел в свою очередь на его возбужденный вид:

– Я об этом, само собою, доложу нашему начальнику штаба. Свидетельства ваше и *ихнее,* – указывая на Бориса Васильевича, молвил он значительно, – весьма важны, так как князь, шеф наш, особенно интересуется делом этих прокламаций… А из округа пишут нам, что Овцын не бывал ни в одной из этих губерний, – весьма странно! – пропустил он сквозь зубы.

И, спохватившись вдруг:

– А теперь уж позвольте, – обратился он к молодому Юшкову, с новым выражением строгости на лице, несколько умеряемой учтивым вздохом, – позвольте приступить уже, собственно, к исполнению возложенного на меня поручения.

– Пожалуйста! – произнес Гриша, иронически улыбаясь.

– Мне необходимо несколько… внимательно пересмотреть ваши бумаги.

– У меня ничего не заперто; смотрите, где и что вам угодно!

Начался *обыск.* Голубой офицер с необыкновенною добросовестностью относился к своему делу: он перешарил все шкафы и ящики в кабинете и спальне, перерыл все книги, перелистовал все до одной страницы неповинных лекций студента, отложил в одну отдельную кучку все письма, записки, каждый лоскуток, представлявший подобие клочка от разорванной переписки… Но все это, по тщательной рассортировке и внимательном прочтении, оказалось самого безупречного свойства: письма родителей или счеты сапожника и портного… Оставалась корзина под столом для хлама. Он вывернул весь этот хлам на пол… и недаром. В нем нашлась узковатая полоска грубой писчей бумаги, из которой, судя по свойству сохранившихся на ней складок, был, очевидно, до или после получения ее, сложен *петушок* и затем, наполовину порванный, кинут в корзину. Сложив разъединенные сторонки полоски,

капитан, пригласив быстрым взглядом исправника читать вместе с ним, разобрал следующие писанные по длине ее строки:

«Видно, вас дома в узде держат, не отъявились сегодня по уговору в Быковский лес. Урвитесь от церберов хотя завтра, в 2 часа – дело нужное, а мне улетучиваться скоро. Фед».

Улыбка удовольствия скользнула под усами капитана.

– Вы изволите утверждать, – поднял он глаза на Гришу, протягивая ему вместе с этим свою находку и все так же крепко придерживая ее двумя пальцами, – что не знакомы ни с господином Овцыным, ни с *Федоровым,* – подчеркнул он, – а чья эта подпись, не признаете ли?

Юноша взглянул на нее, поморщился и молча отвернулся… Что пытки, что унижения переиспытал он, пока «этот учтивый господин» обшаривал и переворачивал вверх дном его «бедный уголок»!..

– А что там? – тревожно выговорил Троекуров, подходя к капитану.

– Полюбопытствуйте! – сказал любезно тот, приподымая ему к глазам записку, но не выпуская ее из рук по-прежнему. – Прямое подтверждение вашего показания…

Капитан вложил *документ* в добытую им из бумажника обложку, зажег спичкою свечу и, запечатав пакет кусочком сургуча, валявшимся на столе, надписал на нем несколько слов и аккуратно сунул его в тот же бумажник, рядом с конвертом с прокламацией.

Настала затем минута общего натянутого молчания.

Благообразный офицер обвел глазами кругом комнаты и остановил их на исправнике, который все с тем же сумрачно возбужденным выражением лица стоял, опершись рукою о спинку кресла, и барабанил нервно по ней пальцами.

– Здесь, – как бы не совсем твердо произнес он, – решительно, кажется, все осмотрено?..

Факирский передернул судорожно плечами, словно говоря: «А тебе чего еще нужно?»

– Разве… в других комнатах? – молвил тот с тем же нетвердым оттенком в звуке голоса.

– В каких же это? – резко устремляя на него свои стальные глаза, воскликнул Троекуров. – Уж не намерены ли вы распространить обыск ваш на бумаги самого Павла Григорьевича Юшкова?

«А почему бы нет?» – промелькнуло в ответ в глазах капитана. Но врожденное чувство порядочности, да и точный смысл его инструкции восторжествовали над «страстью к следственной деятельности». Он чуть-чуть покраснел и затеребил себя за кончик уса с озабоченным видом.

– В таком случае, – слегка заикаясь и поводя с заметным смущением глаза на Гришу, промолвил он, – мне остается просить вас… собираться в путь. Мне предписано доставить вас… и без промедления… в Петербург.

– Я готов! – громко и спокойно проговорил студент, глядя не на него, а на Троекурова: «ты, мол, посмотришь, стану ли я *волноваться* теперь!»

– Вы хотите… сейчас? – воскликнул в первую минуту тот. – Его мать приезжает сегодня вечером, дайте им проститься…

Гриша прервал его: лицо его побледнело как полотно:

– Нет, не надо, Борис Васильевич, ради Бога! Пусть сейчас уж, сейчас и кончено!..

– Я не смею, – возразил со своей стороны голубой офицер, – мне предписано быть с *ними* в Петербурге 27-го числа, а сегодня 25-е; мы едва успеем завтра в Москву к вечернему поезду.

«И то, – подумал Троекуров, она поскачет за сыном в Петербург, дадут ей там с ним свидание и не одно; а тут такое оранье пойдет, что и ни сыну, ни отцу духом не выдержать».

– Вот что, если так, – сказал он громко, – я пошлю вам сейчас кого-нибудь уложить ваш чемодан, как бы чтоб ехать к нам, во Всесвятское, на несколько дней, а отсюда мы отправимся с вами в моей коляске… Вы позволите, капитан? Мы избегнем таким образом суматохи в доме, толков между прислугой. А пленник ваш не уйдет, – примолвил он с насилованною улыбкой, – вы с господином исправником поедете впереди или сзади нас; не доезжая до Всесвятского, он к вам пересядет.

– Извольте-с! – согласился, подумав, голубой офицер.

Борис Васильевич вышел из комнаты, послал встретившегося ему слугу к Грише, а сам направился в кабинет.

Старики-братья сидели там рядом друг с другом в глубоком и скорбном молчании. Слова приходили и тут же замирали на их устах… Пал гром и все спалил, все разрушил – о чем же тут в самом деле говорить?.. «Лишь бы Паша, Паша *вынес* это!» – стояло гвоздем в голове смотрителя. «Сын… единственный, одна была надежда, сын – преступник!.. И чем же я теперь мать его утешу? – тупым, беспощадным ножом резало по сердцу Павла Григорьевича. – Вернулся я живым из *того* ада, для чего? – чтобы до этого дожить!»

– Ну что? – глухо вырвалось у смотрителя при виде входившего Троекурова.

– Ничего не нашли, кроме записки… от того мерзавца: приглашает его на свидание с ним в лес для «нужного дела». Вздор, в сущности…

– А сам как себя держит? – словно помимо воли и не глядя на него, спросил моряк.

– Ничего. Волновался было, утих. Объявил, само собою, что никакого Овцына, ниже Федорова не знает. А я прямо показал на негодяя… Вообразите, что они в Петербурге не знают даже, что он был здесь, а в Москве жандармский же полковник предварил об этом отца его, старого дурака, дядю моей жены, чтобы тот посоветовал сыну скрыться, пока он, жандарм, будет делать распоряжение о его поимке. Не знаю уж, что это: пошлость или измена, если не то и не другое вместе?.. Во всяком случае, я уверен, Грише большой беды не ждать. Отнесут к «увлечению молодости», как говорил вот сейчас ему этот разлюбезный офицер…

– Мы в молодости, – прервал его голосом полным жгучей горечи Павел Григорьевич, – мы честью России увлекались; а он, вы слышали сейчас, и вовсе «упразднить» ее желает.

Борис Васильевич пожал плечами:

– Слова пустые!

– Слова? А за ними что? Ни совести, ни любви, ни веры в святое!.. Пустота безысходная!

– У вашего сына все это напускное, – сказал Троекуров, – временная дань нелепому времени; с него все это очень скоро соскочит…

– Тряпичные душонки! – перебил его еще раз моряк. – Вы говорите: «скоро соскочит». Утешили, думаете? Нам железные воли на добро нужны теперь, а их у нас, видно, только на гибель свою и чужую хватает…

Старший Юшков поспешно заговорил свое:

– Паша, ты только мучаешься бесконечно! Спроси лучше Бориса Васильевича, как лучше поступить теперь, чтобы спасти Гришу? Если бы ты написал, например, прямо в руки Государю, неужели бы он, при своей доброте и зная твои заслуги, отказал тебе?

– Ни единой строчки не напишу, – сурово оборвал его брат, – царь не откажет, да я не хочу! Писать ему, службой моею бывшею постыдно похваляться пред ним, – для чего? Чтоб он мне отдал безнаказанным преступного мальчишку потому единственно, что он сын мой? Так мне такого и даром не нужно! Если он в отцовском доме не выучился до сих пор мыслить здраво и чувствовать честно, по-русски и по-христиански чувствовать, – так пусть в иной школе, в ссылке да в нужде этому научится. А не впрок ему и это пойдет, нам уже не видаться с ним в жизни – Бог дал, Бог взял, да будет Его воля святая!

– Его увозят сейчас, Павел Григорьевич, – проговорил, морщась, Троекуров.

Смотритель схватил себя обеими руками за голову:

– Увозят! Ты слышишь, Паша, нашего Гришу увозят!.. Ты его хоть на муку-то на эту благослови!

Бедный отец повел на него помутившимися глазами:

– Увозят, – бессознательно повторял он, – что ж… мы знали…

И вдруг с неудержимым порывом:

– А они все там, властители наши, что они делают, – застонал он, – за что они дают губить наших детей! Все из рук повыпустили, беспомощно глядят, как отравляют целое поколение… Петрово наставление забыли: «Дадеся бо им власть в созидание, а не разрушение!!..»[89]

Дверь в эту минуту отворилась, и на пороге ее, бледный, с судорожным усилием казаться спокойным, показался Гриша. В просвете за ним мелькнула на миг фигура в голубом форменном сюртуке (рачительный офицер «на всякий случай» счел нужным провести сам чрез покои неизвестного ему дома своего арестанта до кабинета его отца) и тут же скрылась.

В комнате водворилось мгновенно мертвенное молчание.

Из-под насупившихся бровей глаза Павла Григорьевича лихорадочно устремились на сына; грудь его учащенно подымалась и оседала под заходившею тканью халата… Гриша подошел к самому креслу его:

– Я пришел проститься с вами, папа, – прошептал он, осиливая дрожавшие звуки своего голоса.

Тот глядел ему уже прямо в глаза с выражением невыносимой тоски…

– Что же я теперь матери твоей скажу? – был он только в силах выговорить сквозь запекшиеся губы.

Колени юноши так и подогнулись под ним; он нагнулся и пал к ногам отца, головою ему на грудь.

– Простите меня, папа, простите! – прорвалось у него истерическим воплем…

Мускулистые руки старого севастопольца охватили как обручем эту молодую белокурую голову, словно с тем чтобы не выпустить, не отдать ее никому на свете… и тут же разомкнулись и пали безвластно на его колени…

– Казнись наперед пред законом и Государем, пусть они тебя помилуют! – с каким-то сверхчеловеческим усилием проговорил он. – Ступай!..

– На том и стоять будет, поверьте, Борис Васильевич! – торопливым и прерывающимся шепотком говорил четверть часа после этого старший Юшков, выходя с Троекуровым на крыльцо, к которому поданы были экипажи уезжающих. – Я его знаю: «железная воля», вот как сам говорит, так это у него именно! Истомится весь, исчахнет сам, а как сказал, так и не отступится.

– Все равно, мать приедет, прошение подаст, – ответил сквозь зубы Троекуров.

– И ее не пустит, поверьте! «Пусть как закон», скажет… А Гришу засудят между тем: благородный он сердцем, как отец, – на себя все будет принимать, запутается… Если и не в Сибирь, так в дальнюю губернию сошлют, не дадут в университете курс кончить…

Борис Васильевич раздумчиво доглядел на него, прищурился:

– Ну так вот что, – обрывисто уронил он, – я поеду в Петербург. У меня там старые отношения… Перепортить все будущее молодого человека действительно нетрудно…

– Голубчик, благодетель! – вскликнул, весь просияв, старик-смотритель, схватывая его руку обеими руками и прижимая ее к сердцу.

– Полноте, Василий Григорьевич, оставьте!.. Вот и племянник ваш идет со своим ангелом-хранителем, – насмешливо добавил Троекуров, кивая на выходившего из сеней в сопровождении жандармского капитана Гришу, – ступайте, скажите ему: «до свидания, до близкого!»

– Вашими бы устами мед пить, Борис Васильевич!

И старик кинулся к племяннику…

XVIII

Mit der Dummheit kämpfen selbst die
Götter vergebens.

Schiller.

В версте от Всесвятского экипажи остановились, так как по уговору «арестант» из коляски Бориса Васильевича должен был пересесть здесь в тарантас исправника и его спутника. Прощаясь с ним пред тем и дружески пожимая его холодную руку, Троекуров сказал ему:

– Ну, Гриша, до скорого свидания, надеюсь, а пока вот вам добрый совет. *Вывертываться* не в вашей натуре… да оно и некрасиво, в сущности, – промолвил он скороговоркой, – ведите же

себя *там* так, как прилично сыну вашего отца. Помните его слова: «Пусть простят тебя прежде закон и Государь». Руководствуйтесь этим: откровенное, полное сознание! Вы не можете не видеть, что поступали бессмысленно: ваших непрошенных благодетелей народа этот же народ разорвет в клочки при первом подозрении, что они «против Царя бунтуют». Народ им не обмануть, как обманывал вас этот негодяй… Вы отрицали сейчас ваше знакомство с ним: это нелепое дон-кихотство! Не вы, я его *выдал;* можете поэтому быть с этой стороны совершенно спокойным. Вам теперь *там* никто и не поверит, что прокламации получены вами не от него. А если бы вам удалось и разуверить *их* в этом, то вышло бы вот что: стали бы заподозривать и привлекать других, невинных. Этого ли вы желаете? – строго спросил Борис Васильевич… – и улыбнулся чрез миг как бы невольно прорвавшеюся ироническою улыбкой. – А в заключение, милый мой, примите к сведению, что вас *там* ждут не волки, а овцы, наряженные в волчьи шкуры… и очень даже неловко себя чувствующие в этой роли волков, – договорил он сквозь зубы. – Вы, может быть, Сильвио Пеллико читали, воображаете себе какой-нибудь Шпильберг или Кёнигштейн, с железными затворами, цепями в стенах и всякими романическими пытками? Разочаруйтесь, юноша: вас будут укладывать спать на пружинном матраце, кормить отлично и угощать такими же отличными сигарами, если вы их курите…

– Борис Васильевич, – прервал его Гриша, весь покраснев, – вы меня ужасно презираете?

– Это почему?

– Вы утешаете меня, будто малого ребенка.

Тот засмеялся:

– Ни то и ни другое. Не утешаю, так как говорю чистейшую правду о необыкновенной «гуманности» (так ведь это у вас по-новому говорится?), которая ждет вас там, где, пожалуй, менее всего ожидать следовало бы. А презирать вас за что? Разве больных презирают? А вы… вы сын вашего времени и не ушли от его болезни… Э, да что тут говорить! – к удивлению молодого человека вскликнул нежданно Троекуров, нервно заморгав, как бы от ощущения внезапной внутренней боли. – Разве у каждого поколения, у нас, не было, нет своей болезни!.. Хорошо, если как у вас, непродолжительна она и пройдет без следа…

Он так же нежданно оборвал и замолк, отвернувшись от своего спутника.

– Ну, прощайте, молодой человек, – сказал он, оправившись вдруг, – вас эти господа ждут… вот и исправник идет за вами… Прощайте, и еще раз; кайтесь откровенно, как это велит вам собственное сердце ваше, я знаю…

Гриша, глотая слезы, крепко обнял его и поцеловал.

– Успокойте отца… Я только за него боюсь! – прошептал он ему на ухо и, стремительно выскочив из коляски, побежал к тарантасу.

Исправник между тем подошел к Троекурову:

– Вы обо мне дурно судите, Борис Васильевич, – начал он, с видимо надуманною решительностью и вместе с неодолимым смущением, – и имеете на это основание, признаю… Но поверьте, если б я мог предвидеть… Сбитые мы все с толку люди, чувствую! – вырвалось у него вдруг стенящим звуком из груди, и он как бы еще более сконфузился. – Прошу извинения…

Он торопливо поднес руку к фуражке и, заметно избегая подать свою или принять руку

собеседника, так же поспешно наклонил голову, повернулся и почти бегом направился обратно к своему экипажу.

«Сбитые с толку люди, – повторил про себя Троекуров, задумчиво глядя ему вслед, – да… «одержимые» – вспомнилось ему вдруг *словцо* маленькой, «полуюродивой», как почитал он ее, приятельницы жены его, Лизаветы Ивановны Сретенской, переданное ему однажды Сашенькой и поразившее его тогда, – «одержимые», да, все… все мы… И страшно: он, этот какой-то фантазер в полицейском мундире, он мне, в сущности, сказал то же самое, что я за минуту пред этим говорил Грише»…

Он усиленно заморгал опять прищуренными глазами… «Да, только источник и свойства болезни иные», – словно в утешение себе сказал он чрез миг, как-то неопределенно улыбаясь.

Он откинулся в угол коляски и нетерпеливо крикнул кучеру:

– Ну, пошел!..

Лошади помчали.

Звон колокола, слышный на весь дом, возвещал обеденный час, когда Троекуров входил в свои покои.

– У барыни гости, – доложил ему в уборной камердинер, подавая ему переодеться.

– Кто такие?

– Госпожа княгиня Шастунова и господин Мохов, чиновник из губернии… Да с княгиней еще одно духовное лицо прибыло, – добавил, чуть-чуть усмехаясь, камердинер, еще молодой, франтоватый и лукавый малый.

– Какое духовное лицо? – спросил Троекуров, взглянув на него строгими глазами.

– Не могу знать-с, – ответил тот, принимая немедленно почтительнейший и даже с оттенком дураковатости вид, – священник ихний, полагать должно так.

Борис Василевич вымылся – переменил белье и костюм и, с едва скрываемою на лице досадой на предвидевшуюся им «адскую скуку», прошел в столовую.

Хозяйка с гостями стояли там еще у стола с закуской.

– А, вот и муж мой! – воскликнула радостно Александра Павловна, завидя его. – Я совсем не ждала тебя к обеду, Борис, думала, что ты там, у Юшковых, останешься… Что у них? – говорила она, пока он раскланивался и пожимал коротенькие, все также унизанные бриллиантовыми перстнями пальцы Аглаи Константиновны. – Ты, надеюсь, monsieur Мохова помнишь? – спохватилась она, обертываясь в сторону молодого чиновника. Розовые ее щеки заалели при этом уже совсем пунцовым колером, и она тут же отвернулась.

– Очень рад, – учтиво произнес хозяин, пожимая руку гостя, покрасневшего в свою очередь, как пион, при сей верной оказии (он был все так же застенчив и горел все тем же пылом юношеской страсти к той же Сашеньке)…

– Permettez moi, cher monsieur Троекуров, – возгласила в то же время княгиня своим певучим голосом, – de vous présenter mon aumônier, le père Пареен… Il est très comme il faut pour un

prêtre, – добавила она уже шепотком и значительно помахивая головой, – c’est pourquoi je me suis permis de l’amener avec moi chez vous.

«Духовное лицо», которого просвещенная Аглая Константиновна представляла под затейливым названием своего «aumônier», был рослый, широкоплечий и курносый господин лет тридцати, из того типа людей, которых зовут «беглыми неграми», гораздо короче остриженный, чем это вообще полагается в священническом сане, с подстриженною же светло-русою бородкой и в щеголеватой, тонкого темно-зеленого сукна рясе, из-под широких рукавов которой выставлялись рукава шелкового подрясника цвета pensée, а у самых кистей рук блестели оправленные в золото аметистовые запонки на выдернутых, заметно, с особенным тщанием вперед рукавчиках сорочки безукоризненной белизны; такая же белая линия откладных, *по-светски* скроенных воротничков, застегнутых такою же аметистовою запонкой, виднелась над совершенно низким воротом рясы. Он держал в левой руке тонкий носовой платок с каким-то голубеньким по бортам его рисунком и небрежно обмахивал им свое черство-бурое лицо, в ожидании, когда кончит говорить его патронесса, не то снисходительно, не то скучливо ухмыляясь крупными неприятными губами.

– Trop «comme il faut» даже, – подумала Александра Павловна, мельком взглянув на него и избегая в то же время его, как успела уж она заметить, самоуверенного, чтобы не сказать дерзкого взгляда.

– Парфений Виссарионович Лебедкин, – отчеканил он сам густым грудным баритоном вслед за представлением княгини, развязно кланяясь и первый протягивая свою правую руку навстречу чаемой руки хозяина.

Тот как бы не заметил ее и, не подавая своей, указал ею на стол, за который уж усаживались дамы:

– Милости просим, суп подан, – сказал он ему коротко и сухо.

Развязный «aumônier» несколько опешил, опустился на стул подле Мохова и, развернув свою салфетку, презрительно повел губами.

Троекуров сел в свою очередь подле гостьи. Глаза его мгновенно и беспокойно обежали кругом стола.

– Киры не будет! – поспешно выговорила Сашенька, угадывала, кого искали эти глаза. – У нее, у бедной, ужасно голова разболелась, она легла даже…

– Mais je la verrai, j’espère? – запела княгиня. – Вы знаете, она всегда была ma grande favorite. У нее un je ne sais quoi, которое мне ужасно напоминает ma pauvre Lina défunte.

Она вздохнула, повела глазами вверх и, не переменяя интонации:

– А как вам не стыдно, chère madame Troekourof, что вы до сих пор не видели моей церкви, которую я устроила en sa mémoire… Там прежде театр был в этом флигеле, et pauvre Lina y a même joué le rôle d’Ophélie dans une pièce de Shakespeare, и вот тут теперь я сделала церковь… Хотя это и mon œuvre, но я должна сказать que c’est vraiment charmant… – она еще раз вздохнула и сообщила уже таинственно. – Cela m’a coûté les maux de la tête, plus de cinquante mille, но зато c’est, un vrai bijou, je vous assure; спросите отца Парфена.

– Храмик веселенький вышел, действительно! – одобрительно проронил тот, щурясь на молодую хозяйку, с которою сидевший подле нее Мохов болезненно жаждал начать разговор и

все не решался.

– «Веселенький»? – саркастично повторил Троекуров (отсутствие княжны дразнило его и подымало ему всю желчь в груди). – Оригинальный эпитет, хотя бы и для «храмика»!

Отец Парфен завернул подкладкой вверх рукав своей рясы, взял тремя пальцами налитую ему дворецким рюмку лафита, причем мизинец, с каким-то на нем женским перстеньком, изящно оттянул вбок, выпил ее залпом и, ставя рюмку на прежнее место:

– По духу времени и характер постройки соответствующий, – проговорил он на манер сентенции и невозмутимо вытер себе губы салфеткой.

– Вот как! – громко уже засмеялся Борис Васильевич, с любопытством глядя на этот, еще не встречавшийся ему экземпляр *современного* «духовного лица».

– *Чело-ве-чественно* должно быть, – тем же веским тоном отлил тот, – потому что времена мрачного мистицизма отошли ныне абсолютно во тьму вечности, и жив, и бодр единственно свободный разум человеческий, так чтоб так и говорило, по возможности, – подмигнул даже он при этом.

– О Творце, о Боге должен говорить храм Божий! – воскликнула вся взволнованная Сашенька:

– Конечно, – как бы уступая ей из любезности, ответил он, проводя себе рукой по бороде и ухмыляясь опять своею, «противною» ей, усмешкою, – для массы невежественного народа соответственный сему представлению внешний вид благопотребен и даже, до умственного просветления ее, в некотором смысле неизбежен есть… Иное совсем дело, сударыня, для организма, способного критически мыслить. Как это *настоящим образом* разуметь, – подчеркнул он, – вопрос большой! Потому что слово *Бог* — понятие, так сказать, пространственное, растяжимое даже до чрезвычайности… Сами вы, полагаю, небезызвестны, что современная наука, к примеру, никакого прежнего принимания *на веру* не допускает, и следственно развитая человеческая личность…

Но устремившиеся на него теперь глаза молодой женщины выражали такое негодование и ужас, что он, как бы несколько испуганно, оборвал на полуслове свою проповедь и, для «контенанса», потянулся рукою к кружке за квасом, стоявшим пред ним на столе.

А Аглая Константиновна тем временем, указывая на него глазами, шептала своему соседу:

– Très instruit! On peut parler de tout avec lui.

И тут же, принимая еще раз свой таинственный вид:

– Je le paye très cher, mille deux cents par an, sans compter les cadeaux. Il m’a été recommandé par madame Bazine, née Savatief – vous savez, cette dame si influente à Saint-Pétersbourg.

«Она, действительно, *колоссальная!*» — сказал себе Троекуров, глядя на нее невольно тем взглядом, каким смотрят на редкостное животное…

– А вы в наши страны надолго? – обратился Троекуров любезно к сидевшему против него Мохову.

– У меня поручение в вашем уездном городе, – заспешил ответить тот, – и вместе с тем… Я бы, конечно, не позволил себе… так, от себя, явиться к…

Он запнулся, словно зацепился за бревно на пути, и не продолжал, но внимательно глядевший на него Троекуров понял из выражения его вдруг смутившегося лица, что за этим скрывалось что-то, что он выговорить вслух считал почему-то неудобным.

– Очень рад, напротив, очень рад! – сказал он ему, все так же любезно и поощрительно улыбаясь.

Мохов опустил глаза и наклонил благодарно голову.

– Et moi, vous savez, я от вас прямо в Москву еду! – громко и тяжело вздохнула вдруг Аглая Константиновна.

– Да-а? – протянула Сашенька: – в деревне так еще хорошо в эту пору…

– N'est-ce pas? – и она вздохнула опять. – Я никогда и не возвращаюсь из моего Сицкого avant la mi-octobre… И вот *она* заставляет меня теперь тащиться в город *par* cette chaleur и для таких… неприятных объяснений…

– Кто это? – невольно спросилось Александрою Павловной.

– Mais vous savez, эта женщина, cette ex-Olga Akouline, que mon fils Basile a fait la bêtise d'épouser et qui est si indigne du nom qu'il lui a donné… И она теперь все грозит, что будет на меня жаловаться a Sa Majesté l'Empereur pour un argent que je ne lui ai jamais pris, – примолвила она, изображая движением губ настолько же гадливости, насколько и презрительности к такой невероятной претензии, – и здешний предводитель, un monsieur que je ne connais pas, был у меня и говорил, что если я не кончу с нею a l'amiable, он напишет об этом губернатору, чтобы тот *довел до сведения,* il m'a dit cela littéralement, c'est a dire, un донос на меня â Sa Majesté, – figurez vous cela!..

Троекуров чуть не злыми глазами взглянул на нее (она была ему еще более гадка, чем смешна):

– И напишет непременно: это его долг! – подтвердил он.

Аглая вся побледнела даже под своими румянами. Она растерянно подняла глаза на Бориса Васильевича и, не выдержав «l'horrible expression de sa physionomie» (так выразилась она мысленно), обратила их тут же на молодую хозяйку:

– Et voilà comment sont les hommes, chère madame Troekourof! – полуплача, полуигриво проговорила она. – И все это потому, что она une jolie femme… Elle ne le sera pas longtemps! – совершенно нежданно вскликнула она чрез миг.

– Почему вы думаете? – с удивлением спросила Сашенька. – Она еще совсем не так стара…

– Она очень больна, я узнала вчера, elle a fait une fausse couche très malheureuse, à la suite d'une chute…

И, еще нежданнее, княгиня поспешно вытащила платок из кармана и принялась плакать уже самым жестоким образом.

Молодая женщина даже испугалась:

– Княгиня, успокойтесь – даст Бог, все благополучно пройдет…

– Vous ne savez pas, – не слушая продолжала разливаться та, – c'était mon seul espoir, что у нее родится сын, потому, вы знаете, mon propre fils Basile est un расточитель et il a été exilé pour cela en Asie, по моей просьбе, par Sa Majesté, et comme cela у меня был бы un petit-fils, и он был бы par mon testament мой héritier unique, а Базилю я назначила бы пенсию pour qu'il ne meure pas de faim… И ей тоже я хотела пенсию давать, чтобы она могла жить прилично, comme mère d'un prince Шастунов… Но она ни на что не хотела согласиться, и уехала в Москву, и, Бог знает, какую вела там жизнь pour une femme mariée, вечно с этим écervelé Ашаниным, qui la compromettait encore comme demoiselle, а теперь, comme exprès, взяла и сделала une fausse couche qui tue toutes mes espérances en germe, je puis dire.

– Как это случилось, вы знаете? – обрывисто спросил Борис Васильевич.

– Il paraît, что она, все с тем же mauvais sujet d'Achanine, поехала в коляске в Петровский парк, и там пьяный кучер наехал на что-то и вывернул их. Elle a perdu connaissance sur place, и думали, что она убита. Il s'est trouvé que non, но в тот же вечер с ней *это* случилось, et après cela s'est déclarée une fièvre très dangereuse, diton… И теперь, vous comprenez, si *elle* doit mourir, – говорила Аглая уже с видимою тревогой в чертах, – у нее могут найтись наследники какие-нибудь, qui voudront faire du chantage avec moi насчет этих денег, которые она теперь требует от меня…

– Непременно! – с коротким злорадным смехом подтвердил Троекуров, отсылая рукою блюдо, которое подавал ему в эту минуту официант (он ничего не был в состоянии есть, и Сашенька с беспокойством замечала это).

– Vous croyez aussi? – протянула княгиня, с новым испугом вперяя ему в лицо свои круглые зеницы. И вдруг улыбнулась, как бы против воли и как бы вспомнив некое соображение, при котором в ее суждении и собственные опасения, и «пугания» ее другими (она не сомневалась, что «ce méchant monsieur Троекуров» нарочно, и даже с особенным удовольствием, пугает ее) должны будут оказаться самою пустою химерой:

– Mais, vous savez, quand une personne se meurt, elle est toujours disposée à se réconcilier avec ses proches. Когда я узнала, что *она* dans cet état, я сейчас же решилась ехать в Москву pour la voir и уговорить ее d'abandonner ses prétentions, а я de mon côté все ей прощу, Бог с ней, qu'elle meure tranquille!.. И я нарочно для этого, – домолвила она, покачивая головой с таким видом, будто разумела этим что-то не то очень жалкое, не то чрезвычайно глубокомысленное, – взяла с собою le père Парфен pour qu'il lui parle de religion.

Троекуров не выдержал: его пронял неудержимый, судорожный хохот…

Княгиня даже привскочила на своем стуле:

– De quoi riez vous si fort, monsieur Троекуров?

– Вашей изобретательности, княгиня, вашей изобретательности! Заставить «религию» служить практическим целям – это выходит у вас так остроумно и тонко, что хоть любому святому отцу иезуиту будет в пору!..

– N'est-ce pas? – воскликнула Аглая, совершенно успокоенная и совершенно довольная.

– Несомненно!..

Глаза Бориса Васильевича встретились нечаянно в этот миг с глазами отца Парфена… Он не продолжал…

Развязный «aumônier» видимо наслаждался его беседой с умною княгиней; он небрежно поигрывал своим ножом и глядел на говорившего поощрительным взглядом, словно говоря: «А ну-ка, поддай ей еще горяченького, мне на потеху».

«Кто из них мерзее, право, не знаю», – подумал Троекуров, с едва скрываемою гадливостью отворачивая от него лицо…

А у молодой жены его негодовало сердце на «бессердечную, *гадкую* жадность *этой женщины»,* так что она не в силах была выразить этого:

– Вы обещаетесь простить ей, княгиня, – проговорила она возбужденным голосом, – это очень хорошо, если *она* пред вами виновата… Но *она* была у меня и рассказывала, что приезжала к вам в Сицкое, и вы ее к себе на двор не пустили, жену вашего сына… И она теперь, бедная, говорите вы, может быть, умрет… Разве это не останется на вашей совести?..

Аглая ужасно разобиделась:

– Я никогда не ожидала, chère madame Troekourof, – захныкала она сразу, – что вы мне в вашем доме будете говорить des choses aussi épouvantables! – Cette femme a suborné mon fils Basile, когда он, avec son nom et la fortune qu'il devait tenir de moi, мог сделать le plus beau parti de Saint-Pétersbourg… Я ездила сама в Петербург, и мне там говорили, on m'a proposé même… une demoiselle Savatief, très belle; у нее мать née princesse Mordovtsof, et puis une famille très influente, surtout la soeur, madame Bazine: она со всеми министрами première amie, и Basile par cette alliance был бы сделан aide de camp de Sa Majesté при первом случае… А вместо этого il est en Asie!.. И я за это должна еще, может быть, d'après vous, demander pardon à cette affreuse femme?..

Сашенька молчала: она только попеременно то бледнела, то краснела, и все тошнее, и все гаже становилось у нее на сердце.

Ответил за нее муж:

– Княгиня, – самым серьезным тоном начал он, – будем надеяться, что смерть, Бог даст, избавит вас от этой affreuse femme; Basile votre fils станет тогда снова à prendre, вернется «из Азии», – и вы будете иметь полную возможность женить его на mademoiselle Savatief, у которой сестра «première amie de tous les ministres», и произведет его, я не сомневаюсь, не только во флитель-адъютанты, а хоть… в егермейстеры, если это ей с вами вздумается. Таким образом вы остаетесь в чистом выигрыше – на что же вам жаловаться?..

Александра Павловна, все так же внутренно волнуясь, подняла на мужа глаза, полные упрека. Но он был прав в своем расчете: его речь не только не возбудила новой бури в опечаленном существе княгини Аглаи Константиновны, но рассеяла в ней и прежние тучи. Она взглянула в лицо Бориса Васильевича долгим и лукавейшим, в намерении ее, взглядом:

– Vous êtes, je vois, un homme de beaucoup d'esprit, monsieur Троекуров! – решила она нежданно, как бы осененная внезапным вдохновением, и окончательно просияла.

После обеда общество перешло в гостиную. Вслед за кофеем и ликерами камердинер Бориса Васильевича принес ящик сигар.

– Кому угодно, господа? – предложил хозяин.

Мохов отказался. Отец Парфен, заворотив опять вверх подкладку рукава, погрузил немедля

пальцы в ящик, вытащил сигару и поднес ее к ноздрям с видом знатока:

– *Лос Амигос?*

– Кажется… Сам я не курю сигар. Говорят, хорошие.

– Вижу, и ценю!.. Ценю вообще все *хорошее,* – подчеркнул тот и приятно осклабился при этом.

Троекуров только глазами моргнул.

– Имел случай курить превосходнейшие этого самого сорта в С.-Петербурге, – продолжал «aumônier», закуривая и набирая дыму полон рот, – у одного благоприятеля моего, и даже родственника, тайного советника Катапултова… Изволите его знать?

– Не знаю.

– Директор одного из важнейших департаментов государственной администрации; орден Белаго Орла в нынешнем году получил, как читал я в *Санкт-Петербургских Ведомостях,* – синюю ленту… Личность вполне развитая и либеральная, следит постоянно за наукой и социальным движением народных сословий Европы… Впрочем, – перебил он себя и значительно взглянул на своего собеседника, как бы приглашая его обратить особое внимание на то, что он намеревался сказать ему, – дух свободной критики в последнее время принял самый широкий объем и в нашей литературе, как изволили вы, вероятно, сами заметить?

– Непроходимую бестолочь я заметил, это так! – досадливо сорвалось на это с губ Троекурова. *Современный* экземпляр русского «духовного лица» был ему решительно противен.

«Востер на язык действительно, а мозги слабы… Известно – дворянские!» – заключил про себя в свою очередь тот и снисходительно ухмыльнулся.

– Конечно, если не вникать, так сказать, между строк… Некоторая привычка требуется… Здесь, впрочем, и следить за журналами нельзя настоящим образом…

Он вдруг нагнулся к уху Бориса Васильевича и шепнул ему:

– Моя – то сиятельная, само собою, в литературе ни бельмеса; сам же я затрудняюсь выписывать, ибо и место еамое у нее взял, так сказать, *ан атандан,* – счел он нужным отпустить quasi по-французски, – в ожидании обещанной мне вакансии в одном из санкт-петербургских дворцов…

Борис Васильевич, не слушая его, встал и предложил Мохову пройти с ним в кабинет.

Но в то же время княгиня Аглая Константиновна заявила желание проститься с хозяевами и ехать, чтобы добраться до шоссе засветло. Ее не удерживали… Она, впрочем, этим нисколько не обиделась, вспомнив приглашение на срок в известном Шипмаунткасле и что «cela se fait toujours comme cela chef les gens *biens»,* нежно обняла Александру Павловну, при чем заявила, что она всегда с особенным удовольствием бывает во Всесвятском, «parce que votre maisun est si bien tenue», пожала руку ее мужа с улыбкой, имевшей изобразить еще раз некое лукавство, и поплыла затем в отведенную ей комнату переодеться из своего визитного в дорожное платье.

За нею поднялся и ее «aumônier».

Троекуров раскланялся с ним, опять не подавая ему руки. Благочестивая Сашенька со своей

стороны никак не решилась, прощаясь, подойти к нему под благословение, и, поклонившись ему учтиво коротким поклоном, побежала провожать свою гостью.

Увы, для отца Парфена уже не оставалось теперь сомнений: эти «аристократишки» видели в нем все того же прежнего «попа», «кутейника», которых они привыкли «третировать ан каналь»; они не поняли, что пред ними предстоял «человек *новых взглядов и образования, понимающий приличие* не хуже, чем они», как они, моющий себе руки французским мылом и меняющий рубашку каждый день… «Прохвосты, белая кость!» шептал он.

Хозяин и Мохов остались <гостиной> одни.

XIX

Qui trompe-t-on ici?

Beaumarchais. Le mariage Figaro.

Welche Tollheit, welcher Unsinn
Hat den Kopf dir eingenommen?

Göthe. Scherz, List und Rache.

Молодой чиновник быстро окинул глазами кругом себя и с новою краской на лице (он, к немалому своему страданию, никогда не в силах был превозмочь на первых порах врожденную ему робость) наклонился к Троекурову:

– У меня к вам… маленькое поручение от господина начальника губернии, Борис Васильевич, – торопливо проговорил он, избегая встретиться с ним глазами.

– Что такое? – спросил тот без малейшего оттенка изумления в голосе.

Это как бы еще более усиливало робость его собеседника.

– Поручение не совсем обыкновенное, – забормотал он, – и совершенно… келейное… Его превосходительство получил из Петербурга запрос по… по одному обстоятельству… на которое требуется обстоятельное… разъяснение… И прежде, чем истребовать от… уездной полиции, он желал получить его… от вас самих. Узнав, что я имею честь быть несколько с вами знакомым, он поручил мне просить вас… так сказать, частным образом…

– Сделайте милость!.. Какое же это «разъяснение»? По какому-нибудь недоразумению в моем участке?

– Нда-с, отчасти… Но при этом еще один… личный поступок ваш…

– «Личный мой поступок»? – громко засмеялся Троекуров. – Вот как! И ваш губернатор требует от меня «разъяснения» по этому поводу? Интересно! Что дальше?..

Мохов поспешно сунул руку в боковой карман, вынул из него конверт, а из конверта тщательно сложенный нумер *Колокола:*

– Начальник губернии… просит вас прочесть, – вымолвил он с видимым усилием.

Борис Васильевич взял несколько недоумело листок, но, не развертывая еще его:

– Это что же? – спросил он.

– Там именно… изложено… – не договорил Мохов, подымая на него и тотчас же опуская веки.

– А! О моем «поступке»?.. Виноват, я никак не мог понять сначала… «Разъяснение», следовательно, требуется от меня по докладу господина Герцена? Оригинально во всяком случае… В чем же дело?

– Вот тут-с… на последней странице, в рубрике: *Правда ли?..*

– А, да!..

И Троекуров начал громко читать:

«*Правда ли,* что в ***ском губернском присутствии по крестьянским делам состоялось на днях решение, по которому у крестьян ***ского уезда, деревни Блинов, вопреки прямым статьям Положения 19-го февраля и чувству самой простой справедливости, выключены из надела и отмежеваны в пользу бывшего помещика луговые угодья по Оке, которыми крестьяне эти искони пользовались, и что состоялся такой Шемякин суд чрез давление, производимое на членов присутствия неким Троекуровым, местным феодалом из бывших кавказских наездников, которому в недобрый час вздумалось променять дешевые лавры военного карьериста на цепь мирового посредника? Чего же смотрит г. Гундуров, состоящий в числе этих членов? А еще адвокат ex professo крестьянских интересов, которые он в свое время и защищал, законодательствуя в крестьянских комиссиях! Но, как видно, с тех пор как перешел от слов к делу, он как истый московский мудрец тотчас и почувствовал умаление «энергии»?

«*Правда ли,* что тот же *кабардинец удалой,* облеченный в цепь *мирового* посредника, хлещет нагайкой по лицу встречных ему по дороге с бесцеремонностью, а, что хуже всего, с безнаказанностью, немыслимыми даже в Большой Чечне? Когда же перестанут эти чингисхановские отрыжки заражать своею вонью воздух *освобожденной* России?»

Он кончил и улыбнулся. «И хотя б один мускул дрогнул в его лице!» – подумал Мохов, украдкою следивший все время за выражением его физиономии.

– Очень остроумно, – сказал он, – и налгано даже только наполовину.

Мохов так и уставился на него:

– Вы признаете?..

– Что именно «признаю»?

– Приводимый здесь… факт.

– Их два. Первый относится к решению дела по спору о луговом наделе блиновских крестьян с их бывшим помещиком. Он изложен здесь совершенно согласно истине, и ваш губернатор вместо того чтоб утруждать вас посылкою ко мне за «разъяснением», мог бы самым простейшим образом проверить его сам, вытребовав подлинное по этому делу постановление губернского присутствия, которого он же состоит председателем. Он увидел бы, во-первых, под ним подпись своего предместника и познакомился бы с доводами, послужившими основанием состоявшемуся решению… А затем, – с невольною иронией примолвил Троекуров, – осталось бы ему только рассудить: насколько я могу производить «давление» на таких высокопочтенных лиц, как Сергей Михайлович Гундуров и Никанор Ильич Ранцов.

– Начальник губернии, – поспешил сказать молодой чиновник, – и интересуется главным образом следующим сообщением, относительно…

– Относительно «чингисхановских отрыжек»? – засмеялся с гадливым движением губ Борис Васильевич. – Можете на этот счет передать ему следующее: собственноручная расправа *вообще* не входит в мои привычки, и то, что читается здесь во множественном числе, – он кивнул на листок и кинул его на близстоящий столик, – расписано, вероятно, для красоты слога. Но одного молодца, с которым, прибавлю, я встретился не случайно, а которого *искал* встретить, я действительно, как сказано, «отхлестал по лицу нагайкой» *собственноручно… И* весьма даже жалею, что недостаточно… Так и передайте вашему начальнику! – заключил он с судорожно заморгавшими глазами и побледневшим лицом.

Мохов смущенно ерзнул на своем стуле.

– Я, поверьте, Борис Васильевич, вполне убежден… Но так как из Петербурга получена, между нами, секретная бумага с запросом относительно… этой самой заметки *Колокола,* то господину губернатору весьма было бы желательно иметь обстоятельные сведения…

– О том, с кем и как дозволил я себе поступить по-«чингисхановски»? – договорил за него его собеседник. – Ну, так скажите ему, что относительно *сего* ему следовало послать вас не ко мне, а к корреспонденту *Колокола,* сообщившему отсюда об этом Герцену; он бы вам все это «разъяснил» отлично, если б этого от него *серьезно* потребовали.

– К какому корреспонденту? – открывая большие глаза, воскликнул молодой человек.

– А ваш начальник не счел нужным сообщить вам его имя?

– Он и сам его не знает, даю вам в том честное мое слово, Борис Васильевич!

– В таком случае пусть справится потщательнее в своей канцелярии, а не найдет, пусть спросит самих тех, от кого получил «запрос». Они там *знают,* можете ему это сказать от меня. А затем никаких дальнейших «разъяснений» я давать не намерен, не почитая господина Герцена и его сотрудников ни прокурорами, ни судьями моих поступков, и мне остается только сожалеть, что ваш губернатор, по-видимому (да и он ли один!), смотрит на веще иначе… А теперь довольно! – сказал Троекуров, вставая и ласково притрогиваясь к плечу молодого человека. – Пойдемте пройтись в сад…

Но тот чувствовал себя так неловко, что стал молить вместо прогулки совсем отпустить его, объясняя, что ему необходимо нужно быть сегодня же в городе, повидаться с исправником, который настоятельно просил «господина начальника губернии» уволить его от должности, между тем как «его превосходительство» очень желает удержать его, «как университетского» и т. д. Появление вернувшейся в эту минуту в гостиную Александры Павловны как бы еще усилило его замешательство: ему показалось, что она, входя, слегка поморщилась и повела на него досадливым взглядом, рассчитывая застать мужа одного (он не ошибался). Удержать его не было уже никакой возможности, но хозяин и тут же присоединившаяся к нему Сашенька успели обязать его словом «не забывать их» и вернуться во Всесвятское на обратном пути. Мохов раскланялся, чуть не плача от тоски и досады на себя, и уехал.

– Я сейчас была у Киры, Борис, – заговорила молодая женщина, как только они остались одни, – ей лучше, но она просила меня оставить ее одну: ей спать захотелось… Как я рада, что ты вернулся к обеду, – перебила она себя, – я бы не знала, что делать одна с этою княгиней и этим священником – не священником, которого она привозла с собою. Quel monstre de femme, не правда ли? Я просто вся дрожала, когда она говорила об этой несчастной своей belle-fille… А

ты, Борис, да, зачем ты ездил к Юшковым и какое там «доброе дело» должен был ты сделать, как говорил старичок Павел Григорьич?..

Троекуров молча, закусив ус, глядел на жену из-под полуопущенных век и думал, слушая ее, свою невеселую думу: «Третий год замужем, а все та же *девочка,* наивная, добренькая и *добреющая с* каждым днем, – добавил он мысленно с кислою усмешкой, – и ничего au dela, ничего!.. Нет, я не виноват, так нельзя дальше, нельзя!.. Я думал войти в залив, в тихую пристань, но в залив бьет с моря живая волна, а это, это болотное озеро, засасывающее все, что у меня еще осталось молодости… А я жить хочу!..»

– Что с тобою, Борис? – спрашивала его между тем тревожно Сашенька. – Ты не отвечаешь мне…

– Виноват, я не расслышал… Ты так быстро перескакиваешь вечно с предмета на предмет… О чем ты теперь начала?

Она повторила с еще большею после этих слов тревогой в больших, устремившихся на него глазах.

Он помолчал, как бы собирая разбросавшиеся мысли…

– Гришу жандармы в Петербург увезли, – сказал он, прищурившись на открытые двери в сад.

Она испуганно всплеснула руками:

– Творец небесный! На что?

Он объяснил.

Александра Павловна слушала его с лихорадочным вниманием…

– Это не он выдумал! – пылко воскликнула она, когда муж кончил. – Такой хороший, благородный мальчик, сын таких родителей… и вдруг против Государя: я никогда не поверю! Его подучили…

– Само собой!

– Кто же, кто, знают это?

Муж обернулся вдруг на нее с какою-то «ужасною», показалось ей, усмешкой:

– Не кто иной, – протянул он, – как двоюродный наш братец с вами, Иринарх Федорович Овцын.

Сашенька как стояла, так и упала в кресло; ноги у нее подкосились.

– Иринарх! – едва в состоянии была она проговорить. – Разве он был в наших местах?

– Осчастливил, – засмеялся Троекуров, – Гришу Юшкова крепостью, меня переломом ноги.

– Так это он… – не договорила она и вся вдруг выпрямилась и вздрогнула. – Отчего же ты это от меня скрывал до сих пор, говорил, что не знаешь, не заметил будто, кто в тебя кинул палкой тогда?.. Если это был секрет, и ты не хотел его выдавать, так зачем же ты поверил это Кире, а не мне, жене твоей? – спрашивала она с засверкавшими глазами.

– Вместо упреков вы должны были бы, кажется, быть благодарны мне за это, – холодным тоном возразил он ей, – я скрывал от вас его имя, пока мог, потому, во-первых, что узнать о прелестных деяниях этого вашего близкого родного не могло и не может, полагаю, доставить вам особенное удовольствие. А, во-вторых, потому, что то, что можно поверить во всякое время княжне, вам сказать можно только в случае, когда, как теперь, человек к этому принужден… потому что она – не вы…

– Не я, – глухо повторила молодая женщина.

– Нет, – резко подтвердил он, – потому что она умеет владеть собою, а вы только волноваться как малое дитя.

– Борис, – и Сашенька разом залилась слезами, – за что ты такой жестокий! Я ведь не виновата, что Иринарх мне двоюродный брат!..

– Слезы, так, этого не доставало! – пропустил он сквозь зубы, поднимаясь с места, не глядя на нее и становясь тем злее, чем менее чувствовал себя правым пред ней. – И кто вас думает в этом упрекать!..

Он прошелся раза два вдоль длинной гостиной – она продолжала тихо, тихо плакать, зажав платком глаза – и подошел опять к ней, к ее креслу:

– Я еду завтра в Петербург, – словно уронил он сверху вниз.

– Едешь? – вскрикнула она, мгновенно вскидывая на него веки и бледнея.

– В Петербург, завтра, – повторил он, отчеканивая: «Я, мол, решил и возражений не допускаю».

Она поняла:

– Надолго? – спросила она только.

– Не знаю. Надо Гришу выпутать… Я обещал.

У нее будто камень с плеч свалился; слезы испарились, на щеках опять заиграл румянец.

– Да, для этого! – так и вырвалось у нее из груди. – Что же, Борис, поезжай, это, конечно, «хорошее дело»!..

Он хотел что-то сказать на это и… и не решился…

Она вскочила с места, быстро продернула руку свою под его локоть, прижалась головой к плечу и прошептала:

– Милый, но, Бога ради, только не сердись на меня!

– Опять ребяческие выходки! – угрюмо проговорил он на это, стараясь высвободиться.

Но она его держала крепко:

– В последний раз, милый, и больше никогда, клянусь тебе! Ты мне только на один вопрос ответь!

– Что такое?

Она всем взглядом, глубоко допытывающимся взглядом, погрузилась ему в глаза:

– Скажи мне, за *что именно* так возненавидел тебя Иринарх, что решился *это* сделать?

Он в свою очередь теперь тревожно и пытливо взглянул ей в лицо:

– Переломить мне ногу? – хмурясь и нетерпеливо произнес он. – Ты ведь слышала, как это произошло там, в лугах… Ну, это он был, переодетый мужиком, и крикнул крестьянам, чтобы не верили мне. Я кинулся схватить его, а он, защищаясь, швырнул в меня палкой… Очень просто!..

– И только? – спросила Сашенька, все так же не отрываясь от него.

– Что «только»?

– Ты думаешь, что он только, «защищаясь»… И не имел никакой *другой* причины?

Троекуров заговорил вдруг с поспешностью, далеко не обычною ему:

– Само собою, прежде всего ненависть, которую все подобные ему déclassés, неспособные серьезным и упорным трудом выбиться из ничтожества, чувствуют к людям имущим, занимающим в обществе «привилегированное», как говорят они, положение…

– Да, понимаю, – утвердительно кивнула она, – но, кроме того…

Она как бы замялась, примолкла на миг и подняла затем голову со внезапною решимостью:

– Ты знаешь, что он был влюблен в Киру еще тогда, в Москве, когда ты был мой жених, а потом преследовал ее de son amour, когда они оба жили в Петербурге… Ты помнишь, у нее тогда была горничной моя Анфиса, и я ее взяла к себе, когда Кира уехала от нас за границу после смерти maman… Так она мне рассказывала, что Иринарх – он нехороший человек, я знаю, – Бог знает, что говорил и предлагал Кире, так что она приказала наконец не пускать его к себе, и он потом всего один раз приходил к ней и приносил бумаги, которые они сожгли потом, ты знаешь…

– Знаю. Так что же? – прервал ее муж, успевший, пока она говорила, «привести в порядок» свою «внешность», как выражался он мысленно.

Сашенька слегка смутилась пред полным спокойствием его тона…

– Нет… я думала… Я думала, – повторила она не совсем твердо, – что он приезжал теперь сюда не для того, чтобы бунтовать крестьян (это уж так глупо!), а чтобы как-нибудь увидеться с Кирой… И когда он понял верно, что ты никогда не позволишь ему этого… то есть быть у нас, то он вот тогда, со злости…

– Что ж, это вам опять ваша Анфиса сообщила? – неудержимо вырвалось из уст Троекурова.

Он высвободил наконец свой локоть из-под ее руки, отошел и опустился в кресло, закинув голову за его спинку.

– Ни слова, напротив, – живо возразила Александра Павловна, – я чувствовала, что она знает, *кто* был этот *переодетый,* но она ни за что не хотела мне сказать… И это самое, – примолвила как бы невольно молодая женщина, что все от меня скрывали, это и дало мне понять, что Кира должна играть тут непременно главную роль…

– Что значит: «главную роль»? – воскликнул он вдруг раздраженным голосом. – Ведь только семилетнему младенцу впору рассуждать так, как вы! Если, по вашим же соображениям, двоюродный ваш братец явился сюда единственно, чтобы добиться свидания с княжною, которая «еще в Петербурге не велела его пускать к себе», то следовало или нет мне, обязательному защитнику ее, пока она в моем доме, оградить ее всеми имеющимися у меня в руках способами от наглости этого негодяя? Вот в чем вопрос, вот в чем *главное,* понимаете ли вы? – уже кричал он.

– Борис, – пролепетала она растерянно, – я разве говорю против этого?..

Но его уносила волна внезапной, неодолимой, бешеной ярости:

– Что же это за допрос, *подходы* какие-то?.. Что вам нужно от меня!.. Так ведь жить невозможно!..

Он будто проснулся так же внезапно, вскинул голову, шагнул к стене и судорожно дернул за снурок колокольчика:

– Лошадь мне сейчас под верх, Карабаха! – крикнул он вошедшему слуге и быстрыми шагами направился к своему кабинету.

Сашенька, со сжатыми до боли пальцами сложившихся рук, только глядела на него, вся замертвев…

XX

Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей.

Полонский.

Doch ales, was dazu mich trieb,
Aeh, war so gut, ach, war so lieb!

Faust.

Чрез четверть часа Троекуров мчался, как говорится, куда глаза глядят, на своем Карабахе, мимо только что убранных полей, деревень и перелесков, пытаясь «заморить» этою бешеною скачкой свою бунтующую кровь. Это удавалось ему в былые годы, когда так же, как теперь, «не слушало сердце рассудка», и страсть, и гнев, и неудовлетворенные желания раздирали ему душу… Далеки были уж от него эти годы, и давно, казалось ему, вынырнул он навсегда на надежный берег из их мятежного водоворота. Но нет, он сознавал: вот она опять эта неодолимая, обаяющая сила зла, волшебное марево незаконного, краткого как сон, но неотразимо манящего счастия… «И он возьмет его, возьмет, а там будь что будет!» – проносилось у него в голове, словно припев какой-то вдруг вспомнившейся прежней, заветной когда-то песни.

Солнце заходило, словно млея среди пурпуровых облаков. День миновал… И впечатления, вынесенные им из этого дня, всплывали и толкались назойливою толпой в его раздраженной мысли: какой-то сверкающий луч на фоне чего-то скорбного, бессмысленного и раздражающего… Доктринер-славянофил *с рыбьей кровью* и безнадежными речами; невменяемый, безвольный юноша, расплачивающийся за отпущенного на все четыре стороны виновного негодяя; старческое горе, вопиющее к попустителям сыновней заразы и гибели;

социалист в полицейском мундире и атеист в священнической рясе; эмигрант, признанный законом «навсегда изгнанным из пределов отечества» и терроризующий в то же время из-за моря весь сонм правительственных властей… И ничего другого кругом, кроме этого шутовства, и бестолочи, и торжества пошлости и бессилия… «Разве можно жить в такой стране!» – вырывалось лихорадочным кликом из его груди… И в воображении его мгновенно вырастал мраморный фасад венецианского дворца с широкими ступенями, купавшимися в зеленой глади канала, безлунная ночь и крупные звезды итальянского неба, черный остов гондолы, и с ним *она* под кружевною мантильей, гордая и таинственная, как эта ночь, как этот утопающий в молчании и сумраке город… «За что ты так жесток, Борис!» – звучал так же мгновенно, словно под самым ухом его, молящий и плачущий, как у ребенка, голос… Он вздрагивал и прижмуривался, и чрез миг опять улыбался какою-то вызывающей улыбкой. Ну да, он жесток, что же делать с этим! Он сейчас вот искал предлога к ссоре, «как какой-нибудь пьяный сапожник», и этого, он знает, никогда ему не простит его же совесть. Ну и что же? Совесть, людское уважение, жизнь, стоит ли говорить об этом теперь!.. Он же ведь сказал ей сегодня утром, чтоб она оценила его страсть по той жертве, которую он ей приносит…

Надо всем этим стояло у него одно: увидеть ее… Он понимал: после того, что произошло между ними утром, она не была в состоянии сохранить свое обычное спокойство; ей надо было остаться одной с самою собой, *разобраться* среди своих ощущений, «ей не хотелось никого видеть, особенно»… Он не договаривал и судорожно щурился опять, и погонял своего уж и так взмыленного коня. Но он увидит, ему необходимо видеть ее, и сегодня же. Надо «покончить». Ни *она,* ни он не способны на лицемерие, на унизительный, мелкий обман. Он объявил… *Александре Павловне* (он с каким-то усилием выговорил мысленно это имя и отчество), что уедет завтра, и он уедет… *Она* тоже, она не может, не захочет остаться… Она и ни в каком случае не осталась бы после *того,* она ушла бы *от него,* если не уйдет *с ним…* Необходимо уговориться, найти для нее предлог уехать немедля отсюда… Они съедутся в Москве, а оттуда прямо… *Сюда* он напишет… Ну, да там видно будет!» – отгоняя докучную заботу, прервал он себя тут же…

Было уже поздно, когда он возвращался домой. Месяц стоял в последней четверти; ущемленный серп его выплывал из-за белых, пушистых тучек и палевым мерцанием своим слабо светил над верхушками старинного сада Всесвятского… Троекуров, не доезжая до ворот усадьбы, остановился и после минутного размышления круто повернул с дороги вправо лугом, мимо садовой ограды, к речке, протекавшей чрез этот же сад, переехал ее здесь вброд и, обогнув тянувшееся по другому ее берегу продолжение ограды, очутился на задах сада, выходивших в поле у калитки, чрез которую, с такою, как и он теперь, целью проникал сюда, если помнит читатель, Иринарх Овцын.

Он рассчитывал, что эта отомкнутая тогда, по его приказанию, калитка так и оставалась, по русской небрежности, незамкнутою с тех пор.

Они соскочил с Карабаха, закинул узду его за одно из бревен частокола и толкнул дверцу ногой.

Он не ошибся: она тотчас же подалась и откинулась, слегка визгнув на ржавой петле… Он вошел…

Надо было пробраться к *ее* павильону и не быть замеченным, не встретиться ни с кем… «Но с кем же? – успокаивал он себя. – Все в доме улеглось в этот час»… А она не спит, он был уверен…

Он подвигался осторожно, стараясь не скрипеть сапогами по песку аллей, «будто вор в

собственном своем владении», с невольною усмешкой говорил он себе, радуясь вместе с тем, что поднявшийся в эту минуту ветер заглушал «и совсем» шелестом листьев «подозрительный» шум его шагов.

Он вдруг остановился… Прямо пред ним, на легком чугунном мостике с прорезными перилами, еще неясно, но уже несомненно для него, вырисовывался под бледным сиянием, падавшим с неба, женский облик с окутанною чем-то белым головой… Это была *она*! «Разве мог он ее не узнать?..»

Она стояла на этом мостике, уложившись обоими локтями на перила, и недвижно глядела вниз, в бежавшие под ним струи светлой и глубокой реки, в которых дрожало, словно качаясь, золотое отражение месяца…

Троекуров одним прыжком очутился теперь на чугунных плитах рядом с нею.

– Кира! – прошептал он, замирая от волнения. – Вы здесь?..

Она неспешно отделилась от перил:

– Вы не ожидали? – как бы насмешливо промолвила она, глядя на него недвижимыми, холодными глазами.

– Не здесь, действительно: я думал, вы у себя в павильоне, я шел к вам…

– Знаю, – ответила она мгновенно упавшим голосом.

Она судорожным движением подняла руку ко лбу, откидывая к затылку накинутый на голову тюлевый шарф, словно жгла ее прозрачная его ткань; ее напускное бесстрастие исчезло разом, будто туман, рассеянный бурей.

– Я тут вот уже два часа гляжу в эту воду и спрашиваю себя: не лучше ли было бы лежать мне там… на дне… Нет, не то! – нежданно прервала себя она вдруг. – Это жалкие, глупые слова; совсем не то!..

Она так же нежданно засмеялась:

– Что же, довольны вы теперь? Вы добивались, довели до этого… Ну вот я с вами здесь, одна, ночью… Что же дальше будет?

Он захватил ее холодные, как лед, руки, сжимая их до боли:

– Мы уедем, забыв весь мир друг для друга…

– Без сожаления, без раскаяния? – с какою-то словно безотчетною тревогой вырвалось у нее из груди.

– Я не раскаиваюсь никогда и люблю вас, о чем же толковать! – нетерпеливо возразил он.

– Да, у вас своя философия; я помню, вы говорили: будут всегда счастливые и обездоленные, и всегда счастье одних будет в прямой зависимости от несчастия других…

Она прервала себя еще раз:

– Я иного ждала в жизни, вы знаете… Я *общего добра* искала, я думала, что мне самой можно

будет отдать себя на *большое* дело… Вы знаете, в Петербурге… И вы тоже тогда первый на бале… И все рушилось, все надежды, в смех превратилось все это…

– Вы не того искали, – поспешил он сказать.

– Не того, да, так оказывается… Что же теперь, лучше?.. Ведь я люблю вас, вы это умели сделать! – с отчаянием, чуть не со злостью воскликнула она. – Люблю с того самого дня, когда вы приехали ее женихом… Не понимала еще, а уже любила. Помните, когда вы меня отговаривали ехать в Петербург, – я тут поняла в первый раз; а до тех пор, казалось мне, я вас ненавидела… и презирала даже; да да, я все скажу теперь, презирала… за ваш выбор… А теперь подумайте, – проговорила она с ужасом, – ведь я *ворую* вас у *нее*!..

Его кольнуло словно острием ножа. Но он осилил себя:

– А разве любовь моя, по-вашему, не стоит преступления? – налаживая себя на шутливый тон, сказал он.

– Вы смеетесь! – болезненно промолвила она. – Вы безжалостный: вы могли, когда *она* так настоятельно звала меня сюда из Женевы, вы *должны* были сказать ей что вы не хотите… Но вам нужна была эта победа над моею волей, этот стыд мой…

– Стыд! – вскликнул Троекуров, захватывая властно обе руки ее и сжимая их до боли в своих пылавших ладонях. – Я не ждал такого слова из ваших гордых уст! Не стыда вашего, счастия нужно мне было от вас, счастия, которое одно вы способны дать мне… Вы хотели «большего», *общего,* хотели *человечеству* служить. Я знал, что вас ждет; я первый действительно плеснул в вас струею холодной воды. Не тот век, когда женщины, как вы, правили судьбами народов, когда за ними бежали восторженные толпы; не та страна, где бы нужен был теперь энтузиазм, светлый ум, чистые стремления, – вы слышали, что еще сегодня утром говорил Гундуров… Тошно глядеть, тошно жить с этими теперешними… Вы сами видели близко, убедились; вы ушли и отреклись… И что же, кончить на этом? Вам, с тем сокровищем даров, что лежит у вас в груди, отойти от жизни, не испытав счастия, не даровав его другому?..

– «Счастия», – повторила она как во сне, – да, хоть на час, на миг, *счастия! Я* его никогда не знала!..

Он весь горел; руки его выпустили ее руки и потянулись к ней:

– Кира!..

– А *она,* Борис Васильевич, а *она*!..

– Вы о том же опять! – отвечал он с судорожным подергиванием губ. – К чему? Вы сами знаете:

В одну телегу впречь не можно
Коня и трепетную лань…

Вы сейчас о моей «философии» говорили; не философия это, а простой человеческий смысл. *Там* любви больше нет… с моей по крайней мере стороны. Я люблю вас, и без вас не понимаю более жизни, – шептал он со страстным увлечением, – и вы, вы сейчас признались, вы тоже любите… И после этого что же: притворяться, обманывать, отказаться от вас? Да за кого же вы меня принимаете!..

Глаза его засверкали каким-то неумолимым огнем.

– Я *не нынешний,* я, хорошо ли, дурно ли, знал, что делал, всегда, и ни пред чем в свете не отступал никогда… Я знаю, что вы мне можете сказать, – поторопился он добавить, в чаянии ожидаемого возражения, – долг, дети, «гублю жизнь» – вы это даже выражение употребили уже сегодня утром – все я знаю… А слышали вы, что еще не такие преступления совершались в мире и что для них было только одно объяснение: человек любил… Слышали?

Она вздрогнула только, не находя в первую минуту ответа на эти пламенные, прожигавшие всю ее самоё слова…

Он продолжал:

– Эти преступники, Кира, стояли выше того *зла,* которое делали они, и переступали чрез препятствия, не задумываясь, «без сожаления, ни раскаяния», потому что есть нечто выше всех кодексов нравственности в мире, – это *правда любви!..*

Она вдруг подняла голову; зеленые глаза ее сверкнули фосфорическим блеском в полумраке ночи.

– Помните же, Борис Васильевич, – строго, словно повелительно проговорила она, – вы пригласили меня идти сообща с вами *на преступление!*

– И вы пойдете?

И он еще раз схватил ее руки…

Что-то беззаветно отчаянное пронеслось в ее едва слышном ответе:

– Пойду!..

Оба замолкли теперь, но если бы не шелест ветра в листве, не ропот струй, плескавшихся о берег, можно было бы слышать, как тяжело дышала грудь и стучала кровь в сердцах у обоих.

– Я еду завтра в Петербург, – начал он первый, – и… и в доме, – промолвил он, избегая называть жену, – об этом уже известно.

– В Петербург? – как бы с испугом воскликнула она.

– Да.

Он объяснил ей причину.

– И как только добьюсь, чтоб этого бедного юношу отпустили, вернусь в Москву… Вы ведь собирались туда на днях. Не правда ли?

– Да, – проговорила она с усилием, – там в Лукояновском доме сложены в подвалы ящики с библиотекой и мюнцкабинетом батюшки, а Сережа, говорят, продает этот дом; я хотела перевезти их куда-нибудь…

– На Покровку перевезете, – промолвил быстро Троекуров, – в остроженковский дом, в который, вы знаете, я еще не входил с тех пор, как наследовал им… Я велю приготовить теперь его для вашего приезда. А когда я вернусь… – он понизил голос, осторожно, чуть не робко обнял ее стан рукой, – мы уедем прямо из Москвы, хотите по-старинному: в собственной карете, на почтовых? Ведь это во сто раз лучше при наших условиях, чем пароход или железная дорога с ее пошлою толпой…

Она не отвечала и только неудержимо сама прижалась к нему… И тут же вскинулась как испуганная птица, быстро сбежала с мостика и исчезла в темени ближней аллеи.

Он в первую минуту чуть было не кинулся за нею… но приудержался, улыбнулся блаженною улыбкой и неспешными шагами направился назад к калитке.

Через несколько минут он въезжал на Карабахе в ворота своей усадьбы и кидал узду его на руки поджидавшего его у крыльца, по обыкновению, Скоробогатого.

В это же время из-за густого куста бузины, расположенного у самого моста, вылезла какая-то фигура в темном пальто и такой же фуражке, из-под козырька которой выглядывали сквозь синие стекла очков маленькие и злобные глазки, осторожно озираясь во все стороны.

– *А, нехай юго бне!* – привычною в устах его бранью ругнулся владелец этих глазок и очков, убедившись, что никто его не видит и не слышит, и разминая ноги с очевидным наслаждением. – Аж до смерти заморился в этом кусте проклятом. Как влез, так и просидел там часа два, мало, не шевелючись. *Одна* пришла сначала, я и сховался, а тут и *сам*… Думаю, не дай Боже, чихну, али что, а он вдруг догадается, да туда носом… Убил бы тут прямо, верно говорю, на месте б положил, потому, известно, магнат, *лыцарь;* так из-за чести *дамы* на все они готовы…

Он вдруг засмеялся скверным, подловатым смехом.

– Услыхал я зато ж!.. Того услыхал, что пятьдесят тысяч за тот услух взять мало… Только повести ж это дуже гарно треба, – сказал он себе чрез миг, впадая в размышление… – А не возьмешь *тех грошей,* – решил он в заключение, – так уж по крайности глотку его магнатскую заткну ему насчет *Колокола* и прочего… А как еще сей самый роман передать в журнал какой, так они там в Петербурге так его размалюют, что будет он помнить их до самой смерти. Пробрал уж его на всю империю Герцен с моего писанья, так вот мы ему еще феферу закатим! – злобно засмеялся он опять и оглядываясь: – Федьку б мне только теперь с ответом дождаться… А боялся ж я, чтоб он тут как раз не вернулся, когда *они* на мосту-то амурились себе. От-то б штука еще вышла занятная!..

– Степан Акимыч! – раздался невдалеке от него осторожный шепот. – Я тут!

Тот даже вздрогнул:

– А чтоб тебя!.. Ну, ответ принес?

Федька тяжело перевел дыхание:

– А я сейчас, Степан Акимыч, самую сейчас барышню встретил, княжну! Страсти! Издалечка-то только белое видать, а этто у них на голове косынка значит, а я как спужаюсь! Кикимора какая, думаю, али леший… За дерево прижался, ни жив, ни мертв, тоись… А оне по аллейке как раз мимо того самого места моего прошли. Я их тут и признал. Ничего себе, идут ровно, а я тут сичас по травушке, по травушке – по песку-то, знаете, уж и опасно показалось, чтобы не услыхали, – и к вам сюдатка.

– Я тебя про ответ спрашиваю! – прервал его нетерпеливый возглас его собеседника. – Анфису Дмитриевну видел?

Федька рукою махнул:

– Ни в жисть! Потому приказ теперича строгий отдан, чтобы меня к ним ни за что не пущать.

– Ну, а письмо? Передано оно ей? – спросил господин в очках, которого, смеем думать, уже узнал читатель.

– Извольте получить в сохранности; как отдали, так и назад принес вам.

– Не приняла?

– Ни в жисть! Потому опосля того как, помните, накрыл нас с ними на селе сам, значит, барин ихний, когда я им относил письмо-то эвто самое ко княжне от Аринарха Федоровича, они с тех пор опасаться стали.

– Почему ж ты это знаешь, коли не видал ее?

– А чрез Егорку – подкухмистера знаю, – хихикнул Федька, – потому он мне из приятелев.

– Что ж он сказал тебе?

– А эвто самое, значит, и сказал, что меня завсегда оттелева велено в шею гнать.

– Дурак! – гневно сорвалось с уст Степана Акимыча.

Федька только ухмыльнулся опять на это и, значительно помолчав:

– Анфиса Дмитриевна, – сказал он, – беспременно завтра в церковь на село пойдут, потому у них в эвтот самый день пред Успением память по муже по покойном.

– От кого это ты узнал?

– Сам знаю, потому как служимши с ними у Елпидифора Павлыча, Царство им Небесное, так я завсегда помню, что они в эвтот самый день заупокойную по мужу служат.

– Ну, – решил, подумав, Троженков, – и до хаты пора теперь, марш!..

Они выбрались из сада и прошли межою поля к селу, где у одного знакомого ему крестьянина оставил Троженков тележку свою и лошадь.

Часть четвертая

I

Eh, eh, vous ignorez, ma fille, tout ce
que l’on peut faire en ce monde sans être pendu.

O. Feuillet. Rédemtion.

Зачем же такие пустословные мечтания
о низкости наших чувств?

Островский. Женитьба Бальзаминова.

По межке, мимо сжатаго ржаного поля, шла из села Всехсвятского к усадьбе старая наша знакомая Анфиса, доверенная горничная Александры Павловны Троекуровой.

Солнце стояло высоко и припекало довольно сильно. Синеглазая женщина, защищаясь от него платком, который держала над глазами в виде зонтика, спешила добраться до лесочка, входившего в черту крестьянского надела, а потому уже наполовину срубленного, но в котором все же оставалась кое-какая тень.

Она шла, глядя себе под ноги и не замечая, что на ту же тропинку свернул из села вслед за нею и видимо нагонял ее теперь человек, которого менее всего чаяла и желала она видеть изо всех, с кем случалось ей встретиться в жизни.

Она вошла уже в холодок, под тень каких-то уцелевших ветел поблизости реки и, остановившись передышаться, утирала свое вспотевшее, слегка загорелое лицо, когда услышала за спиной своею его голос:

– Мое высокопочитание, Анфиса Дмитриевна!

Ее словно ожгло всю: она сразу узнала льстиво-лукавые, заискивающие звуки этого голоса.

– И вам того же, Степан Акимыч, – вымолвила она сквозь зубы, оборачиваясь и брезгливо окидывая его взглядом.

Он, как говорится, нисколько не потерял *контенанса* от того нескрываемого отвращения, которое читал на этом, так близко знакомом ему когда-то и все так же красивом лице.

– Недалекие соседи, – осклабился он, – а увидать вас в первый еще раз Бог дал!

– И не для чего вовсе, – так и отрезала она на это, – счастливо оставаться!

И тронулась поспешно с места.

– Погодите трошечки, Анфиса Дмитриевна, может, и пожалели бы потом, – произнес он каким-то веским тоном, заставившим ее безотчетно остановиться.

– О чем дело? – спросила она хмурясь.

– А что уж очень гордые вы сделались с тех пор, как под магнатским кровом поселилися, – хихикнул Троженков, кивая на видневшуюся сквозь редину лесную усадьбу Троекуровых.

– И опять-таки вам до этого дела нет, – сказала она, – и разговаривать нам с вами нечего. Вам направо, мне налево, – прощайте!

– А *сам*, пан ваш большой, уехал? – крикнул он ей нежданно в догонку.

– Уехал, – уронила она на ходу.

– И княжна ваша за ним? – прошипел он, не трогаясь с места, зная, что этот вопрос и тон его заставят ее остановиться еще раз.

Он не ошибся: она быстро обернулась, вперив в него изумленные глаза.

– С чего вы это взяли? Княжна дома и никуда не собираются.

– Не объявила еще? – захихикал он опять.

– Что объявить-то?

– А вот об этом об самом, когда желаете, могу с вами разговор иметь. Потому как вы очень ко всему тому панству привязанность имеете, так вам это очень полезно и может даже к интересу вашему послужить.

– Мне «интересу» никакого не надо, – возразила Анфиса с гадливым движением губ, – а вы что это такое неподходящее плетете, вот это мне удивительно.

– Эх, Анфиса Дмитриевна, – заговорил он опять, словно весь рассыпаясь в сахар, – кабы не такие горячие вы были и людей по-настоящему понимали, может и не так встретились бы мы с вами… да и не слугою жили бы вы теперь, а сами б себе госпожой, – промолвил он уже шепотком, наклоняясь к ней каким-то внезапным, змеевидным движением своей длинной и узкой шеи.

Она торопливо откинулась от него головою назад:

– Какою еще там госпожой? Что это вы мне несуразное мелете, Степан Акимыч?

Но он продолжал, будто не слышал:

– Как если вы *тогда* мнение свое обо мне переменили, когда я действительно ни за собой, ни впереди не видел ничего, что голытьба одна могла ждать нас тогда с вами, так может я теперь, с переменою, как знаете, моих обстоятельств, желаю доказать… чувство мое к вам, что вы, может, позабыли, а я никогда забыть не могу…

Вся кровь прилила к ней в голову; язык ее готов был разразиться беспощадным, поражающим словом… Но она сдержалась: ей захотелось «испытать, до чего еще низок этот человек».

– Как же понимать надо, что вы теперича говорите, Степан Акимыч? – спросила она, насколько могла, спокойно. – Замуж что ли опять желаете меня взять?

– И возьму, *рыбко мое,* возьму! – прошептал он, простирая руки с видимым намерением обнять ее.

Она отшвырнула их от себя.

– До свадьбы далеко!..

И туг же, сдержавшись, опять:

– И скажите, с чего это вы вдруг, Степан Акимыч? Два года, почитай, по соседству жили не видавшись и как из ружья вдруг сегодня выстрелили? Я и сообразить даже не могу. Потому и сами говорите, я как была «слуга», так и осталася, а вы теперича с имением господин, богатый, можете помещицу какую-нибудь, дворянку за себя взять. А у меня, сами знаете, какой был даже капиталец, так и тот добрый человек один взял да и не отдает. Так какая вам от меня в сей час прибыль будет?

– Головонька умная лучше грошей, Анфиса Дмитриевна. Это для меня самое главное, о!.. Как если хотите, так я вам откровенно буду все говорить.

Она повела на него косым взглядом:

– Любопытно узнать.

– Пан ваш великий, Борис Васильевич, для чего в Петербург поехал, знаете? – начал

Троженков.

– Ихнее это дело, а мне почем знать?! – ответила уклончиво Анфиса.

– О, неправду говорите, по глазам вижу! – воскликнул он. – А что предводительского сына, студента, жандармы сцапали, слышали?

– Может и слышала, так что ж из этого?

– А что все то вышло чрез того самого человека, который вашей княжне письма посылал, – может тоже не знаете?

– Который у вас жил и чрез вашего Федьку, негодника, орудовал? – возразила она негодующим тоном.

– А что ж что жил! – хихикнул насилованно ее собеседник. – Я почем про него мог знать? Приехал ко мне человек с письмом рекомендательным от учителя одного, знакомого моего: студент, пишет, ищет на лето уроков, не могу ль к кому поместить, языки знает. А я завсегда желал практику французского языка для себя собственно иметь. Вижу, может он на то годиться. Так и оставил его у себя жить на кондиции… А что он кому письма писал, так то дело его, а не мое. И какие еще глупости начал делать сей человек, опять я за то отвечать не могу… Так даже скажу вам, что коли бы не забрали его там, в лугах, переодетого, – заключил Троженков с презрительным подергиванием губ, – я бы его сам в шею погнал от себя, потому лядащш!

«Ври больше!» – думала, слушая, Анфиса, стараясь не глядеть на него.

– А ваш Борис Васильевич, – заговорил он снова несколько взволнованным голосом, – в ответе меня за этого самого человека почитает… я добре знаю! – примолвил он поспешно, как бы ожидая возражения с ее стороны, но она молчала. – Он для того самого и в Петербург поехал, – добавил он, – был я вчера в городе, от добрых людей узнал: поехал он затем, первое, Юшкова этого, предводительского сынка, от тех голубых волков выцарапать, что сцапали его; а с усердия своего большого и донесет притом на меня, как на пристанодержателя и соучастника лиц, злоумышляющих на правительство.

– А коли вы, говорите, ничего за собой не знаете, так вам чего бояться? – молвила она на это с едва скрываемой насмешливостью в интонации.

Он качнул головой.

– *Захочут,* до всего придраться могут… Хошь и пощипали перья довольно в настоящее время из хвостов из ихних, а все ж *дуже ще* сильны они, паны наши, против темного человека… Зачнет он там, в Петербурге, костить меня и доказывать, так и того ждать можно, что без суда, административным порядком, с места жительства в дальние губернии сошлют, о!

И голос его уже заметно дрогнул.

Анфиса усмехнулась опять:

– Вы и там не пропадете, Степан Акимыч, вы паутиночку свою на всяком месте соткете…

– Я не желаю того вовсе! – воскликнул он досадливо. – Как на своем огороде сел, так и сидеть хочу!.. Я по этому самому и писал вам вчера записку, – потому, если вы согласны будете *на*

мое, – подчеркнул он, – мы с вами все панство это, о, как замолоть можем! – договорил он с соответствующим жестом, будто вертя ручку кофейной мельницы.

Любопытство превозмогло у нее и на сей раз над враждебным чувством, которое все сильнее подымалось в ней против «этого низкого человека»:

– А что ж, по-вашему, – спросила она, – требуется для эвтого самого?

Он пододвинулся к ней опять и быстро зашептал:

– А первое, как мне известно, что эта княжна ваша доверенною своею особой вас почитает, так чтоб она ему сейчас в Петербург отписала, чтобы никакого доноса он против меня не учинял, потому вы за меня ручаетесь, и что я хочу вас замуж взять…

«Что это он о княжне все?» – тревожно сказала себе Анфиса, и громко:

– Это, то есть, чтобы Борису Васильевичу написать… Так для чего ж тут княжну путать, когда у них ближе есть особа, жена законная, Александра Павловна, и я даже вовсе теперь не у княжны, а у них нахожусь в услужении?

Скверною усмешкой ухмыльнулся на это Троженков:

– Потому против законной *незаконная* не в пример чувствительнее на него подействовать может.

Ее внезапно всю прорвало от этих слов; сдерживаться уже не доставало у нее силы:

– Врете вы, подлый человек! – вскрикнула она с запылавшим лицом, с задрожавшею челюстью. – Слова ваши яд один, как у змеи подколодной! Врете вы со злости вашей неисходной на благодетеля своего, что из писаришки негодного помещиком богатым вас сделал, шестьдесят тысяч, во какой куш, отвалил вам, за что? Из-за одного великодушия своего бесконечного, потому по делам вашим не то что деньги вам давать, а за решеткой сидеть вам давно бы следовало!..

Троженков позеленел и затрясся от злости:

– «Благодетель!» Что вы мне все *благодетелями* в глаза тычете? То хапугу того своего полицейского под нос совали, что должен я был, по-вашему, уважать его, то этого опять теперь *барина* вашего великого… Шестьдесят тысяч дал! «Куш!» А того не знаете, что, как бы не те законы проклятые, что завели люди, я б сам на его месте сидел, как отца своего сына первородный!.. «Дела мои», говорите. А его «дела» какие, знаете про то?

Он расхохотался вдруг острым, пронзительным смехом и, как бы сорвав этим сердце, заговорил нежданно иным, почти спокойным тоном:

– А вот как чрез дней несколько сия княжна самая скажет ей, Троекурихе вашей, что ей в Москву непременно ехать треба, книжки какие-с там из одного дома в другой перевозить, так вы тут и навяжите себе узелок на память!

Анфиса насторожила уши: она вспомнила, что княжна при ней однажды говорила об этом своем намерении Александре Павловне по поводу известия о продаже дома Лукояновых на Арбате. Но почему мог *он* это знать?

– Ну, а если они и поедут, – возразила она спокойно, – так что ж из того?

– А поедет она и остановится на Покровке в том самом батьки моего родного, Акима Ивановича Остроженка, доме, в который до сих пор Троекуров ваш и ногою вступить не смел, потому знает, что его там с матерью ежедень как Мазепу проклинали. А он ей теперь тот дом к приезду приготовить велит, и будет она там ожидати его, пока он из Петербурга не вернется, а как только в Москву назад, сейчас заберет он ее, княжну вашу, да и за границу с нею прямо в карете, потому, говорит, «если по железной дороге или на пароходе, так люди там слишком любопытные могут встреться…» Вот вы и узнаете тогда, какие его «дела», магната сего, Анфиса Дмитриевна!..

Она почуяла – это было уже не «вранье», это было слишком определительно и веско…

– Откуда вы знаете… кто вам сказал? – была она только в состоянии выговорить.

Он молчал, наслаждаясь одержанным над нею торжеством, – прочла она в его лукавых чертах. Ей стало нестерпимо жутко:

– Говорите ж, Змей-Горыныч! – воскликнула она, наступая на него.

Он подался назад, закачал медлительно головой и вздохнул:

– Как если б понимали вы в свою выгоду, Анфиса Дмитриевна, так не то чтобы ругать меня теперь, а пошли бы вы со мною, как я вечно вам предан и желаю, чтобы навсегда нам вместе жить; пошли б, говорю, со мною рука в руку на бо-га-тое дело! – протянул он, обнимая ее всю алчным и соблазняющим взглядом…

Искры запрыгали у нее в глазах:

– Чтоб я с тобой пошла на…

Она не договорила, глянула в непроницаемую синь его очков, раскрывавшимися во всю их ширину зрачками, – и плюнула ему в самое лицо:

– Пропадай ты пропадом, анафема!..

И, вскинувшись с места, побежала стремглав по тропинке, выходившей на дорогу к усадьбе. Троженков вынул платок, обтерся:

– *Ну, и побачимо!* – проговорил он ей во след, весь трясясь и зеленый от коверкавшей его злобы.

II

Oh, Love, what is it in this world of ours,
Which makes it fatal to be loved?

Byron. Don Juan.

Александра Павловна проплакала весь вечер, запершись в своей спальне, после сделанной ей мужем сцены, повод к которой она никак не в состоянии была объяснить себе иначе, как болезненным раздражением после бывшего с ним случая с ногою и долгого вследствие того заключения его в комнате. Она печалилась поэтому столько же о нем, сколько и о себе, о том, что «вот еще в первый раз с тех пор, как женаты они, вышла у них ссора, и *из-за чего!..*» Но

обиднее, но язвительнее всего было для нее то, что он «так *жестоко* ставит Киру выше нее», указывает ей в пример «сдержанность» княжны, а ее зовет «малым ребенком»…

Она долго не могла успокоиться. Но наконец мысль, что это может отозваться на ее молоке, следовательно на здоровье Васи, осушила ее слезы. Она решила «встряхнуться» и «доказать *ему*, что и она сумеет быть *сдержанною* всегда, *когда надо».*

Случай к этому не замедлил представиться ей. Проснувшись на другой день в обычный час, она узнала от Анфисы, что «барину готовы лошади и что *они* уезжают тотчас после первого завтрака»… Она за своею вчерашнею печалью как-то совсем забыла об этом отъезде, о котором он говорил ей, и в первую минуту вся даже переменилась в лице при такой вести. Но она заставила себя улыбнуться и, сказав Анфисе в ответ: «Да, я знаю», – приступила поспешно к своему туалету.

Она вошла в столовую, где застала уже мужа, с выражением лица, имевшим, в ее намерении, сказать ему с первого раза: «Я все забыла и, надеюсь, все у нас по-прежнему», подала ему руку, которую он, по давно заведенной у них привычке, поцеловал в ладонь, и села на свое место.

Они были вдвоем (княжна по утрам пила у себя молоко и не выходила обыкновенно ранее второго завтрака в полдень). Он молча, не подымая глаз и как бы насилуя себя, подносил ко рту кончиком вилки, лежавшей у него на тарелке, картофель à la maître d'hôtel.

– Ты сейчас едешь, Борис, мне сказали? – спросила она чуть не равнодушным тоном (как старалась она попасть в этот тон!).

– Да… А что? – спросил он чрез миг в свою очередь.

– Нет, ничего, – пролепетала Сашенька. – И скоро назад думаешь? – голос ее дрогнул помимо воли, делая этот новый вопрос.

– Не знаю… Будет зависеть от обстоятельств; может быть, и…

Он не договорил… как бы не решился договорить и, подняв голову, уставился на нее пристальным, странным взглядом, от которого у нее вдруг похолодели руки.

– Pourquoi me regardez vous ainsi, Boris? – сказала она по-французски, ввиду стоявших за столом слуг, со слабою улыбкой на встревоженном лице.

Он словно проснулся, провел обычным ему движением рукой по глазам и с такою же, насилованною, улыбкой:

– Я в Москве отыщу этого разгильдяя Николая Иваныча (это был их домашний доктор, уехавший по своим делам в Москву на несколько дней и второй уже месяц не возвращавшийся оттуда) и сейчас же погоню сюда, а не согласен будет, найду другого и пришлю, – проговорил он обрывисто, опуская опять глаза свои в тарелку.

Александра Павловна хотела что-то сказать на это – не сказала, подавила вздох и принялась кушать, словно давясь каждым проглоченным ею куском.

Они кончили, встали… Он направился в свои покои. Она пошла за ним.

– Борис, – робким, молящим голосом произнесла она, очутясь с ним одна в соседней со

столовою комнате и чуть-чуть притрагиваясь пальцами к еге руке, – скажи, милый, ты на меня не сердишься?

Он нежданно быстро обернулся на нее, охватил рукою ее голову, прижался губами к ее лбу:

– Сердиться… за что? Бедная! – вырвалось у него из груди…

И так же быстро, так же нежданно отодвинул ее от себя и торопливо двинулся вперед.

Она растерянно, с туманом в глазах, с чувством, как будто сердце готово разорваться пополам, крикнула ему, сама не зная, какие слова вылетали из ее уст:

– Дети в саду, Борис!..

– Хорошо, я сейчас пройду с ними проститься, – ответил он, не оборачиваясь…

Чрез четверть часа он в дорожном костюме выходил на крыльцо, к которому подана была его коляска. Многочисленный персонал домашней прислуги счел нужным сбежаться миром «провожать барина».

Его это видимо коробило: он морщился и торопился.

Сашенька едва держалась на ногах, но бодрилась, насколько хватало у нее на это сил. «Я должна, я буду *сдержанна»,* – повторяла она себе со страстным упорством…

– А Кира же где? – вспомнила она вдруг. – Ты не простился с нею, Борис?.. Я пошлю ей сказать…

Он повел нетерпеливо плечом:

– Не нужно, к чему беспокоить!.. Ненадолго же… – каким-то «загадочным», пролетело в мысли Сашеньки, тоном уронил он, не договорив. – Ну, прощайте!..

Она упала ему на грудь, задыхаясь от слез, приливавших к ее горлу, к ее воспаленным зеницам.

– Да хранит вас всех Бог! – зазвенел, словно обрываясь от какой-то внутренней муки, показалось ей, голос мужа в ее ушах.

Она разомкнула руки…

– Прощай! – донесся до нее этот голос еще раз.

Троекуров сидел уже в коляске и заворачивал ноги свои пледом.

«Не уезжай, останься, страшно мне!» – чуть-чуть не крикнула она, отчаянно порываясь с места…

Но Скоробогатов, с ухарски нахлобученным по-над самые глаза *гречневиком*, поднял натянутые вожжи, ухнул, и коляска, весело гремя и покачиваясь, понеслась со двора во всю прыть запряженной под нее подобранной рысистой четверки.

Был час восьмой на исходе вечера, когда несколько усталый от дороги и проголодавшийся Троекуров въезжал в Москву. На улицах уже горели фонари. Он велел везти себя в Газетный

переулок, в гостиницу Шеврие.

Он всегда там останавливался в недолгие побывки свои в Белокаменной, куда призывали его от времени до времени из Всесвятского дела его по сахарному заводу. Знакомые слуги кинулись стремглав с крыльца высаживать его из коляски.

– Есть нумер во дворе? – спросил он.

– Одна комната, ваше сиятельство; большие нумера заняты. На улицу пожалуйте, там свободно.

– Не люблю я эти нумера на улицу, – пробормотал Борис Васильевич, подымаясь несколько нехотя по ступенькам. – А кто там, на дворе? – спросил он машинально.

Молодой татарин, бежавший пред ним указать свободный покой, остановился, оборачивая к нему свою бритую, с лоснящимся всходом новых, сине-черных волос голову, и принялся докладывать отчетливо и мерно:

– Генерал Одуванчиков с супругою, ваше сиятельство, вчера только из Петербурга приехамши; банкир тут еще один из Варшавы, тоже недавно прибыли. Это вверху-с, а внизу, в отдельном нумере, где вы изволите завсегда останавливаться, княгиня Шастунова второй месяц живут… Оченно больные оне, – домолвил он, принимая почему-то при этом таинственный вид.

– Княгиня Шастунова? – повторил безотчетно приезжий. – Молодая?

– Так точно: *молодые дамы,* – подтвердил тот во множественном числе от избытка почтительности.

– Есть кто-нибудь при ней? – уронил, прижмуриваясь, Троекуров.

– Как же-с; особа тут при них безотлучна одна, окроме того доктор… Второй раз сегодня приезжали, объяснял татарин, – в самую даже эту минуту кушают у нас в ресторане с Владимиром Петровичем, с господином Ашаниным…

– Ну и я к ним пойду… А ты возьми там нумер и разложись! – обратился Борис Васильевич к своему соскочившему с козел и суетившемуся около заднего сундука камердинеру.

– Слушаю-с!..

– Где они обедают? Проведи.

Он вошел в ресторан. Татарин, все так же усердствуя, широко откинул пред ним дверь отдельной комнаты.

Они только что оттрапезовали. Доктор, не старый человек, в золотых очках и с отрощенным уже порядочно брюшком, стоял посреди комнаты со шляпой в руке. Ашанин, держа его за пуговицу, передавал ему что-то торопливо и озабоченно.

– Борис Васильевич! Вы только что приехали? – воскликнул он, со мгновенно пробежавшим по лицу его смущением, кидаясь к нему с протянутою рукой.

– Да… И сейчас узнал, что наша знакомая, – я, впрочем, это еще раньше слышал от ее свекрови, – очень больна… И в самом деле опасно? – добавил Троекуров, учтиво поклонившись доктору и вопросительно глядя на него.

– Плоха-с, плоха, что делать! – ответил тот, отдавая поклон, и широко развел руками.

– Неужели так, что…

– Бог велик, будем надеяться! – не дал ему кончить московский эскулап, с видом человека, которому все это смертельно надоело и хочется скорее уехать домой на боковую, отослав всякие иные заботы к черту. – Честь имею кланяться!..

И он исчез.

– Ну, рассказывайте, что вы *с нею* сделали? – обратился Борис Васильевич к Ашанину, опускаясь в кресло, между тем как слуга поспешно убирал со стола приборы и накрывал его свежею скатертью.

– Вы еще не обедали, будете? – спросил вместо ответа тот.

– Да, и очень хотел бы потолковать с вами, если только не противен вам будет запах кушанья, отобедав сами…

– Ничего… Я сам так рад случаю видеть вас и рассказать все… Дайте ему уйти только! – молвил красавец, кивая на официанта.

Он начал, едва тот ушел. Троекуров приказал не входить с блюдами, пока он не позвонит.

– Не знаю, что вы думаете, Борис Васильевич, а я не виноват, ей-Богу! – говорил московский Дон-Жуан с тем комичным добродушием, которое входило в самую сущность его натуры и не покидало его в самые патетические минуты жизни. – Как приехал я тогда к ней от вас в город, не смущал ее нисколько, даже напротив могу сказать; помня ваши наставления, молитвой от соблазна отмаливался, глаза отворачивал, поверьте слову!.. Поручение ваше исполнил в точности: сообщил ей, что нашел в Москве кредит до окончания дела ее со свекровью, и вас не назвал – так и до сих пор не знает, от кого привозил я ей деньги здесь… Только как лишь узнала она, что может вырваться из той трущобы, – ведь она умирала там с тоски, Борис Васильевич! – так сейчас…

– Так сейчас, – досказал за него Троекуров с легкою усмешкой, – в тот же вечер и покатила она с вами сюда?..

– Не так это, не так! Она сутками без малого после меня выехала. А я, точно, в тот же вечер поскакал взять ей тут нумер у Шеврие, да и в контору к вам успеть съездить, потому она à la lettre с трехрублевою бумажкой в Москву приехала.

– Ну-с, а *здесь?* – протянул его собеседник, пристально глядя ему в глаза.

Плутовские глаза красавца, словно перепуганные мышонки, так и забегали во все стороны:

– И здесь ничего, Борис Васильевич, – пролепетал он с такою интонацией невинности в звуке голоса, что тот разразился невольным смехом.

Ашанин сложил на животе руки и установился на Троекурова с самым жалостным выражением в чертах: «не стыдно ли, мол, так смеяться моей истиннейшей правде»?

– Послушайте, Владимир Петрович, вы понимаете, что я ей, как говорится, *ни брат, ни сват,* и вызывать вас из-за нее к барьеру не намерен… Дело только в том, что, как я предвидел,

свекровь ее, этот обелиск злой глупости, знает, что вы «не расставались с *нею»,* и находит в этом новый предлог…

Он оборвал вдруг, усиленно заморгав веками, с явною досадой на себя.

– Но это вздор, и не об этом теперь… Ваш доктор улетучился так быстро, что я все-таки ясного понятия не успел себе составить о *ее* действительном положении. Неужели в самом деле так скверно?.. Эта Аглая говорит, что *она* поехала с вами в парк, и вас там вывалили из коляски, вследствие чего произошла у нее une fausse couche…

– Опять не так! – прервал его Ашанин. – Я с *нею* не был, а был при этом. Я с нею никогда в экипаже вместе не езжал… разве как-нибудь ночью, когда не рискуешь никого встретить, – вспомнил он и опустил глаза с видом пристыженной девочки, – потому что она очень любила эти прогулки «à la lueur des étoiles» и всегда вспоминала ваши с нею, Борис Васильевич, в Петербурге, зимою в тройке, – счел он нужным объяснить все тем же своим невозмутимо-невинным тоном. – Так и в этот раз было. Она ездила кататься по вечерам в парк, останавливаясь у музыки, и все к ней подходили, не один я… В тот вечер стояла погода самая каникулярная, душно было, смерть! Она позабыла веер свой дома и просит меня – коляска ее едет шагом по шоссе, а я с Шигаревым идем рядом по дорожке, разговаривая с нею, смеемся – просит она меня сорвать ей ветку, отмахиваться от комаров. Я к кусту сирени, сломил пребольшую, несу ей и помахиваю… И от этого ль, или кучер ее уж очень пьян был, вожжи выпустил, но в эту самую минуту лошади разом приняли, понесли… Мы со всех ног кинулись с Шигаревым за ними… Только коляска за столбик, колесо пополам; видим, летит с козел кучер… Ужасно, Борис Васильевич, я до сих пор вспомнить не могу! – воскликнул Ашанин с побледневшим внезапно лицом… – Ее выкинуло на траву… Она лежала без чувств, когда мы добежали. «Ну, на месте!» – помню, вскликнул Шигарев… Оказалось, нет, и даже никакого перелома нигде. Пришла в чувство, даже довольно скоро… У Шигарева была, к счастию, карета, в которой мы ее сюда к ней и привезли… Едва приехала, тут *это с* нею и случилось… Доктора насилу добились, часа три прошло, пока отыскали, а за это время, по-видимому, крови она потеряла страх!

– Как давно этому? – спросил Троекуров.

– Сегодня пятый день; в прошлый вторник случилось… В среду, в четверг даже доктора сохраняли полную надежду, и сама она была необыкновенно бодра. Вы помните Лизавету Ивановну Сретенскую, приятельницу Александры Павловны? Это маленькое существо, во плоти угодница Божия… Я ее на другой же день привез к *ней* и водворил; так она у нее и днюет, и ночует, безотлучно, как сестра родная… Только самоё-то вы ее знаете: нет власти способной укротить ее, когда что-нибудь ей в голову втемяшится. В пятницу показалось ей, стало ей настолько легче, что она ни за что не хотела оставаться в постели: «скучно», мол, и, как ни упрашивала, ни молила Лизавета Ивановна, встала, оделась, прошлась по комнате, ну и повалилась тут же… Приехал этот Кругликов, – он специалист-акушер, – и объявил: «родильная лихорадка»… А вы знаете, что говорит это слово!..

– Вы бывали и видели ее все эти дни?

– Я здесь, в гостинице, на всякий случай комнатку взял, – молвил Ашанин, словно извиняясь, – ведь никого у нее тут… близкого нет. Видаю ее, когда доктор изволит…

– В памяти она?

– В полной. Истощена только ужасно.

– Опасность сознает?

Ашанин помолчал. На длинных ресницах его повисли слезы, как бы вызванные каким-то внезапным, острым ощущением печали.

– Она завещание свое написала и мужа своего… первого, то есть Ранцова, к себе вызвала, – выговорил он вполголоса.

– Да? – с невольным любопытством спросил Троекуров. – Она вам говорила?

– Вчера утром велела она меня позвать… На одеяле у нее лежало запечатанное письмо, которое просила она меня взять и отправить немедленно по эстафете в ***, «Никанору Ильичу Ранцову», – проговорила она отчетливо и как бы строго, глядя на меня во все глаза. А глаза у нее от худобы и лихорадки никогда еще такие огромные и блестящие не бывали… У нее теперь какая-то удивительная, особенная красота, Борис Васильевич!..

– И, вы думаете, она вызывает его к себе этим письмом?

– Знаю наверное. Лизавета Ивановна, писавшая под ее диктовку, сочла нужным передать мне об этом, чтобы переговорить с доктором: возможно ли будет допустить это свидание при ее крайней слабости… В письме пять слов всего: «желаю простится с вами пред смертью»; подпись и адрес.

Он замолк. Троекуров отпихнул от себя недоеденную тарелку с ростбифом:

– До *** полтораста верст. Ранцов мог получить эстафету вчера ночью или рано утром сегодня и, без всякого сомнения, сейчас же выехал. Он может, следовательно, быть сюда еще сегодня.

– Я так и рассчитывал, – кивнул утвердительно Ашанин, – и, признаюсь вам, ни минуты покоя не дает мне это ожидание его… Вы меня и застали *здесь* в этот поздний для обеда час, потому что я все поджидал Кругликова и мнения его насчет этого свидания… которое, очевидно, так страшно должно подействовать на нее.

– Что ж он сказал, ваш Кругликов?

– Он говорит, что… теперь все равно, – отвертываясь и надорванным голосом ответил красавец. В дверь комнаты послышался чей-то стук.

– Кто там?

В прощелье показалась сине-черная голова слуги-татарина.

– Пришла от княгини из 10 нумера горничная, просят вас к ним, – обратился он к Ашанину.

Тот вскочил с места и побежал.

III

Sieh mich, Heil’ger, wie ich bin,
Eine arme Sünderin!

Göthe. Erwin und Elmire.

Ашанин был прав: она была хороша теперь «особенною», изменившею весь характер ее

наружности красотой.

Обшитый кружевом ночной чепчик, с большим кисейным бантом под подбородком, обрамлял ее удлинившееся прозрачно-белое как алебастровая ваза и странно-кротко улыбавшееся теперь лицо. Затылок покоился на высоко взбитых, одетых в свежие батистовые наволочки подушках. Из рукавов такой же батистовой кофточки, закрывавших своими кружевами руки ее до кистей, выступали тонкие пальцы и на поверхности покрывавшего ее бледно-розового шелкового под кисеей одеяла (погода стояла душная, все окна были открыты) перебирали свои, еле уже державшиеся на них кольца… И ото всей этой изящной и ослепительной белизны, в которой утопала она, отделялись лишь резким пятном выбивавшиеся из-под ее чепца густые пряди распущенных волос, да два огромные темно-вишневые глаза горели каким-то звездным, ослепительным и зловещим в своем блеске пламенем.

За ширмами, приставленными к ее кровати, со стороны окон, стояла большая зажженная лампа; подле нее на столике поставлены были свечи под абажуром. «Я хочу света, света *до конца!»* — говорила она на все увещания Лизаветы Ивановны.

На том же столике стояли бокал, откупоренная бутылка шампанского в серебряном холодильнике и большой букет белых роз в фарфоровом кувшинчике. Затем ни склянки, ни аптекарской коробочки во всей комнате, – ничего обычного в покое больного. Она не терпела этого и приказывала «убирать с глаз» после каждого приема лекарства.

Маленькая особа сидела подле нее в кресле и тоже улыбалась, улыбалась своею обычною, робкою, бесконечно жалостливою и бесконечно любящею улыбкой в ответ на что-то «смешное», только что сказанное больною.

– Владимир Петрович, – тихо доложила она, увидев с места остановившегося осторожно в дверях Ашанина.

– Владимир Петрович, – повторила громко та, – войдите, можно!

Он выступил из-за ширм. Она закивала ему:

– Ну, здравствуйте!.. Видите, j’ai fait ma toilette для *его* приезда. Ведь *он* непременно сегодня приедет, я знаю… Вы послали ему эстафету? – тревожно перебила себя она вдруг.

– Вчера же; я вам говорил, княгиня…

– Ах, пожалуйста, не называйте меня «княгиней», мне это гадко теперь!.. Вот я Лизавету Ивановну отучила…

Она повернула с усилием голову в сторону столика, стоявшего подле:

– Хотите шампанского?

– Спасибо, нет! – сказал он, с некоторым удивлением взглянув на незамеченную им до этой минуты бутылку.

– Нет, пожалуйста! И я с вами выпью… Par ordonance, не бойтесь: доктор предписал… Они всегда дают это, – примолвила она, засмеявшись, – когда весь их собственный репертуар средств истощен… Нет, впрочем, еще *то,* последнее… Принесли из аптеки мускус, Лизавета Ивановна? J’en suis là! – примолвила она веселым тоном.

Лизавета Ивановна повела утвердительно головой.

– Вы дадите его мне, когда *он* приедет, а пока мы с Владимиром Петровичем выпьем du Sillery mousseux… За *прежнее…* Дайте ему стакан, вот, и налейте нам!..

Маленькая особа подошла к ней, приподняла ей голову и поднесла ко рту полуполный бокал. Она ухватилась сама за него рукою:

– Чокнемся, Владимир Петрович, подите сюда! За нашу молодость!

Он подбежал, притронулся стеклом к стеклу.

Она выпила, прижмурилась на миг и откинулась назад в свои подушки:

– Хорошо, живит!.. Я всегда его любила, шампанское…

Он стоял теперь со своим стаканом у самой ее постели и глядел на нее, стараясь улыбаться, не выдать на лице то, что нестерпимо ныло у него на сердце. Но она не обманывалась:

– Не похожа я теперь на ту, которая чокалась так с вами в первый раз… помните, в Сицком, после *Гамлета?..* Ах, как это далеко уже! – тяжело вздохнула она. – Да, молодость… и вот, конец… Courte, mais bonne, – я вам всегда говорила, так и вышло…

– Ольга Елпидифоровна, ангел мой, – воскликнула плачущим голосом Лизавета Ивановна, – что это вы себя не жалеете и других мучаете! Сказано вам беречь себя, много не разговаривать…

– А договорить когда успею?.. Недолго ведь осталось! – возразила она с новою усмешкой. – Я позвала его проститься… Ведь вам нужно будет сейчас уйти, Владимир Петрович: *он* не должен вас видеть… Я прошу вас скрыться от него, не показываться ему на глаза ни *до*, ни *после,* – добавила она, подчеркивая… – Вы не поймете этого, милая Лизавета Ивановна, – нежданно обернулась она на нее с дрожащими на веках слезами, – вы агнец чистый, а я…

Она подняла руку к лицу, закрылась ею на мгновение, уронила ее опять на одеяло…

– Поцелуйте… в последний раз, – прошептала она чуть слышно, указывая на нее глазами Ашанину, и уходите потом!

– Ольга! – был он только в состоянии выговорить сквозь спиравшееся от судорги горло, прижимаясь губами к этой руке и не имея силы оторваться от нее.

– Помолись обо мне, когда все будет кончено, – зашептала она вновь над самым его ухом, – и не жалей!.. Мне не жаль; я пела, помнишь, «нам жизнь для радости дана». Радости сгинули; впереди одна скука ждала бы… Нет, не хочу!.. Как это, у Пушкина, кажется?

…Простимся ж дружно,
О, юность легкая моя!

Простимся! Ты… ты долго еще будешь молод, долго…

Она вдруг вспомнила будто, дрогнула, вскинулась.

– Довольно… довольно… Уходите!..

– Я еще увижу вас, хочу видеть!.. – воскликнул он с отчаянием.

Ее словно приподняло всю гальваническим током; она строго вперила в него свои огромные, сверкавшие, как звезды, глаза:

– Разве я вам не говорила, разве не чувствуете вы: если есть на нас обоих грех настоящий, так это пред *этим* человеком!

– Владимир Петрович, голубчик, уходите Бога для! – замолила Лизавета Ивановна.

Она его чуть не насильно выпроводила из-за ширм.

Оттуда до него донесся чрез миг голос больной, тот прежний, проницающий и смеющийся голос…

– Одно вам дозволяется: если он забудет, – он будет *убит,* я знаю, и может не вспомнить, – чтоб я вся была покрыта цветами в гробу, слышите! Но сделайте все же непременно так, чтоб он никак не знал, что это от вас.

Ашанин схватился за голову и выбежал как сумасшедший из комнаты…

– Вы, может, заснете теперь, ангел мой? – убаюкивающим тоном пропела маленькая особа, подходя поспешно к постели и любовно глядя на лежавшую. Та ласково кивнула ей:

– Да, как будто клонит… Милая, дайте мне сюда зеркало из несессера!

Лизавета Ивановна достала его и поднесла к ней под свет, падавший из-под абажура.

– Я говорила Амалии, чтоб она мне другой чепчик дала; нет, всегда упрямится! – досадливо проговорила она, жадно вглядываясь в отражение свое в зеркале. – И с таким лицом жить! – вырвалось у нее вдруг и, отстраняя его бессильным движением руки, она закатила голову в подушки, болезненно прижмуривая веки…

Прошло несколько минут.

– Вы не забудете, – заговорила она снова, не открывая глаз, – вы не забудете дать мне мускус, когда *он* приедет…

Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам…

Откуда это, Лизавета Ивановна, не знаете?.. Какой вздор!.. Оба так скверно пахнут…

«Бредить начала, бедняжечка», – подумала та, притаивая дыхание… Но она не бредила, она засыпала…

Ашанин тем временем сидел в нумере, в котором только что водворился Борис Васильевич, и, весь еще бледный от пережитых ощущений, передавал ему о происшедшем с невольными умалчиваниями и задержками голоса. Но тот угадывал, что не решался досказывать опечаленный московский Дон-Жуан…

– Да, *он* отличный человек, я его знаю и высоко ценю, и вид ваш напомнил бы ему *вероятно,* – подчеркнул Троекуров, – что-либо очень для него тяжелое. Вам поэтому следует; кажется, в точности исполнить *ее* волю… *последнюю волю,* Владимир Петрович, и не показываться на глаза этому хорошему человеку.

– А вы покажетесь? – подымая голову и глядя ему в глаза своими блестящими глазами, спросил его неожиданно тот.

По чертам Троекурова пробежало невольное смущение, которое он тут же постарался скрыть под насилованною улыбкой:

– Что же, – ответил он, глядя в свою очередь в лицо своему собеседнику с притворным изумлением, – я не имею причин, как вы… Я даже очень буду рад видеть Ранцова…

«Д-да… Не попался, не вор», – пронеслось в голове Ашанина. Он замолк.

Та же мысль, по-видимому, овладела теперь Троекуровым. Брови его усиленно сжались; заморгавшие глаза устремились на какую-то точку в углу комнаты и не отрывались от нее… Ему было вообще тяжело; он чувствовал себя крайне нервным, руки и ноги его поводило тем раздражающим физическим ощущением, которое в простонародии зовут «тоскованием»…

Ашанин вздохнул и поднялся с места:

– Делать нечего: пойти расплатиться, и домой… Я тут близко живу, люди знают – где. Если бы паче чаяния я оказался на что-нибудь нужен, – пошлите мне сказать!

Тот быстро обернулся на него:

– Куда вы? рано еще! – остановил он его (ему всего менее желалось остаться одному в эту минуту). – Посидите!.. Знаете что, душно! Спросим крюшон и… поболтаем…

Им принесли белого вина, лимонов, сахару, большую стеклянную кружку… Они присели с питьем к растворенному окну.

Ночь уже отрясала свои маки над безмолвствовавшею Москвой. Изредка с Тверской или Дмитровки доносилось дребезжание извозчичьих дрожек или гул опрометью несущейся коляски какого-нибудь купеческого сынка, проживающего *тятенькин капитал с* цыганками и *дебоширами* своей масти во всех увеселительных заведениях матушки-Белокаменной и ее окрестностей. Насупротив их, из-за крыш корсаковского дома, лезла большая черная туча, зарывая в своих влажных клубах узкий золотой серп выплывшего было месяца.

Они заговорили. Вернее, заговорил Троекуров: ему хотелось этих звуков собственного голоса, «болтовни», отвлекавшей его механическим процессом выбрасывания слов наружу от того, что копошилось внутри его и не давало ему забыться иначе… Он начал о Кавказе, о былых походах по неприступным высотам его и стремнинам, с железными людьми, которых зовут *русским солдатом,* о «кабардинцах удалых»… Ему как-то особенно просились на память теперь воспоминания о том крае – воспоминания «воли дикой», беззаветной игры «в банк на жизнь или смерть», жизни «*без сожалений* и *без удержу»,* – говорил он… Он достиг своего, увлекся ими сам; рассказы его становились все оживленнее, все блестяще. Ашанин со своею впечатлительною натурой слушал его, весь замирая от сочувствия и любопытства.

Было уже далеко за полночь: они опорожняли третий крюшон… Но вот со стороны Дмитровки раздался грохот все ближе и ближе подъезжавшего экипажа. Вот он завернул в Газетный переулок; тусклый свет фонаря озарил на миг его неказистый, тарантасный кузов, сидящего в нем «пассажира» в шинели и фуражке… Ямщик затпрукал, лошади остановились у подъезда гостиницы…

– Это *он*! – как бы само собою вырвалось из груди Ашанина восклицание, прерывая Троекурова

на полуслове.

Оба безотчетно потянулись головами за окно. Приезжий выскакивал из тарантаса и окликал дремавшего у ворот дворника.

– Нумер есть? – спрашивал он негромко и дрожавшим, показалось им, голосом.

– Должно есть… Сейчас *выдут* вот, – отозвался тот, ежась спросонков в своем тулупе, и, взбежав на ступеньки крыльца, дернул за колокольчик.

Выскочил тот же неусыпный слуга татарин с сине-черным всходом волос.

– Пожалуйте-с! Нумерок небольшой требуется? – спросил он несколько небрежно ввиду скромной колесницы, стоявшей у подъезда.

– Все равно!.. Княгиня Шастунова, Ольга Елпидифоровна, здесь стоит? – послышался опять обрывавшийся на каждом слове голос. Приехавший стоял на нижней ступени крыльца, как бы не решаясь подняться выше.

Сверху, незримые в темени отученной ночи, собеседники наши прислушивались к разговору с напряженным, захватывающим вниманием.

– Во дворе, в десятом нумере, – проговорил скороговоркой татарин. – Пожалуйте-с! – повторил он с явным уже нетерпением.

Тот поднялся на площадку и тем же обрывавшимся голосом:

– Что она? – спросил он.

– Ничего-с, больные лежат…

Приезжий словно нырнул теперь в распахнутую дверь сеней…

Шаги его чрез несколько минут раздались по коридору. Он проходил в сопровождении татарина мимо двери Троекурова. Соседняя дверь отворилась…

– Рядом со мною! – шепнул Борис Васильевич на ухо Ашанину. – Шш…

До них явственно доносились слова *его*:

– На вот тебе, любезный; сходи ты сейчас в тот нумер… Осторожно только, смотри, не дай Бог шуму, не напугать!.. Кто при больной там, знаешь?

– Горничная ихняя и компаньонка еще, стало быть, маленькая такая персона, безотлучно при них находятся, ваше сиятельство! – подобострастно после подачки расписывал теперь татарин.

– Ну так, вероятно, которая-нибудь из них не спит. Ты постарайся увидеть ее и сказать, что тот, за которым посылала… княгиня, приехал… Я то есть, они знают… И чтоб они ей доложили… когда можно будет… А что я усердно прошу, понял? прошу, ради Бога, чтоб, если можно горничная эта… Амалией ее зовут?..

– Не могу знать, ваше сиятельство, а только что из немок, это верно…

– Ну да, да!.. Так вот чтоб она сейчас зашла ко мне. Очень узнать желают, скажи, скорее про

здоровье… княгини. Понял?..

– Понял, ваше сиятельство, сею минутою сбегаю…

Он быстро замахал по коридору своею плывущею и мягкою походкой. Приезжий вошел в свой нумер. Скрип его сапогов слышался сквозь стену: он, очевидно, лихорадочно метался по комнате от одного угла к другому и назад.

Словно прикованные, не шевелясь, не раскрывая рта, прислушивались Ашанин и Троекуров…

Прошло так минут двадцать. Шаги послышались опять: татарин бежал назад.

Приезжий выскочил в коридор ему навстречу.

– Ну что?..

– Горничную ихнюю видел, ваше сиятельство, – запыхавшись докладывал тот. – «Я, говорит, раздемшись теперь и не могу никак иттить; а княгиня, скажи, *нездорова есть* и при ней сидит *«Лисафет Ивановна»…* Злющая она очень, ваше сиятельство, самая немка эфта! – заключил морщась татарин, которого действительно раздраженная со сна Амалия только что наградила плюхой за причиненное ей беспокойство.

– И ничего больше? – вскликнул болезненно допрашивавший.

– И того насилу-то добился от них, ваше сиятельство!..

– Хорошо; – после продолжительной паузы промолвил *он*, – если… оттуда пришлют ко мне с чем… ты сейчас же беги мне сказать… Понял? Сейчас же!

– Как не понять, ваше… А теперь ничего больше не требуется?

– Ничего!..

Он вернулся в комнату; замок двери его щелкнул, притворяясь. Послышался стук отодвинутого кресла (он кинулся в него, очевидно), и все замолкло затем.

Троекуров поднялся с места.

– Вам спать не хочется? – негромко спросил он.

– Какое спанье! Я всю ночь не засну теперь, – возразил с каким-то невольным вздрагиванием Ашанин.

– И я тоже… вероятно. Хотите, пойдем слоняться по какому-нибудь бульвару? Зазвездило, кажется, и свежее будто стало…

– Пойдемте!..

Солнце давно уже встало, когда вернулся к себе в гостиницу Борис Васильевич. Он разделся и лег, но заснуть все-таки не мог. Сосед его не спал, и немолчный гул его шагов за стеною надрывающим, нестерпимым звуком отзывался в ушах Троекурова…

IV

Sieh mich vor dir unverstellt,
Herr, die sündigste der Welt!

Göthe. Ibid.

Qui sait sous quel fardeau, la pauvre âme succombe?

V. Hugo.

Он заснул часу в восьмом и проснулся через час. Из-за стены не долетало теперь ни единого звука.

«Позвали наконец к ней беднягу… на новую муку», – сообразил с невольным вздохом Троекуров.

Вошел его камердинер с платьем. Он совершил свой туалет, выпил наскоро стакан чаю и, приказав нанять ему на день коляску и отправить ее на Покровку ожидать его у ворот дома, где помещалась его московская контора, сам отправился туда пешком.

Сосед его тем временем, желтый и едва державшийся на ногах от бессонницы и душевного волнения, стоял действительно в сенцах у нумера, занимаемого во дворе княгинею Ольгою Елпидифоровною Шастуновой, и переговаривался с выбежавшею оттуда встречать его Лизаветою Ивановною Сретенскою.

Она передала ему, что больная ожидала его еще вчера вечером и «неожиданно так и заснула ожидаючи и почивала спокойно до самого утра, а проснувшись в начале седьмого, спросила первым делом, приехал ли он, и как узнала, что приехал, всю даже в краску кинуло ее, *сердечную,* от радости»…

– Я хотела тотчас же послать за вами, – объясняла далее Лизавета Ивановна, жалостливо и нежно заглядывая в измученное лицо слушавшего ее, – только она подождать просила, «привести себя, говорит, в порядок со сна»… Она еще вчера в ожидании вас «туалет сделала». Ну а за ночь смялось крошечку, так опять заново, чепчик новый и прочее… Как если скажем *суетность,* – примолвила маленькая особа робко и как бы извиняясь, – так ведь-то подумать: красавица век была, привычку себе сделала…

– Да еще какая, царица была! – воскликнул, не давая ей кончить, и, схватив ее руки, жал их до крику ее собеседник в неудержимом порыве.

– Так, так, милый человек, – подтвердила Лизавета Ивановна, невольно морщась от боли, – два года тому назад, помню, как увидела я ее в первый раз… У благодетельницы моей покойной, у Марьи Яковлевны у Лукояновой, вечером раз, из Петербурга они в тот день вместе приехали, так как вошла она, я просто ахнула… И не видывала такой…

– А очень переменилась она теперь, а?.. очень? – перебил он ее еще раз обрывающимся голосом.

– Сами знаете, – залепетала та, смущенно отворачиваясь от него, чтобы не видеть его «жалких глаз», – от недуга кто ж не переменится!.. А только что хоть и другая, какою прежде была, а все ж красота! На чей глаз ведь, ангел мой, – молвила уже шепотом маленькая особа, слегка притрогиваясь пальцами к его рукаву и кивая ему головой с каким-то таинственным видом, – а

Господу нашему с неба, так я думаю, даже гораздо приятнее глядеть на нее в теперешнем виде ее, чем в прежнем, потому *блажени страждущие,* сказано…

Он сожмурился, подавил вздох:

– Так можно к ней теперь? – проговорил он с усилием.

– Можно, теперича можно…

Лизавета Ивановна усмехнулась унылою улыбкой:

– Велела занавеси спустить, лампы и свечи опять зажечь у себя в спальной. «При дневном свете, говорит, я его испугаю», и даже что вздумала: «я бы, говорит, готова была подрумяниться на этот случай, да у меня этого снадобья никогда и в заводе не было; пусть же, говорит, так и до последнего»…

Она словно проглотила конец своей фразы, быстро отворила дверь нумера и вошла, приглашая его движением глаз следовать за нею.

У входа в спальню она остановила его таким же движением, а сама прошла за ширмы своею легкою, как у пташки, поступью.

Он поднес безотчетно руку к сердцу, оно билось у него невыносимо…

Больная ждала. Ее вишневые, горевшие каким-то воскресшим блеском жизни глаза (она за четверть часа пред этим приняла прием мускуса) вопросительно устремились на Лизавету Ивановну.

Та отвечала утвердительным наклоном головы.

Ольга Елпидифоровна опустила на миг ресницы, вздохнула долгим вздохом, как бы набираясь воздуха, уперлась сильнее затылком в подушку и, сомкнув руки на одеяле, произнесла твердым, слышным голосом.

– Никс, пойдите сюда!

Он показался, увидел ее, обогнул шатаясь угол кровати и, как был, повалился на колени, головою в одеяло, прижимаясь устами к этим бледным рукам с неудержимым рыданием…

Лизавета Ивановна кинулась в испуге к постели.

– Ничего, ничего, – остановила ее больная, кусая себе губы, чтобы не разрыдаться в свою очередь, – я этого ждала… Пусть выплачется… И оставьте меня с ним, милая!..

Они остались одни. Она высвободила одну из своих рук из-под губ его и положила ему на голову, проведя слабыми пальцами по его волосам. Он «выплакивался», замирая от горя… и от счастья под прикосновением этой онемелой руки.

– Никс, ты простил меня? – послышался над ним шепот ее дрожавшего голоса.

Он поднял глаза и, не вставая с колен, взглянул с бесконечною мукой в чертах в это дорогое, в это едва узнаваемое лицо.

– Простить! – повторил он. – Да разве я когда… Я единственно о вашем счастии, как *вам*

лучше… И лишь бы вам теперь поскорее выздороветь, – бессвязно бормотал он, осторожно забирая холодные как лед руки ее в свои, как бы с тем, чтоб отогреть их всею своею кровью, всею теплотой своего собственного существа.

Она глядела на него, и горькая усмешка заиграла на ее опавших губах:

– К чему вам этого желать, Божья душа? – проговорила она с каким-то страдальчески-презрительным выражением. – Не узнали вы разве меня до сих пор? Не знаете, какова я?.. Ведь не умела я вас любить… и так не смогла бы и потом. Я себя не обманываю, я такая… Выздоровей я, я опять начала бы… сумасшествовать… А теперь… пред концом, я одного тебя хочу видеть тут… Я никому не сделала зла в жизни, я виновата пред тобою одним, Никс, я тебя… я *душу твою* поберечь не хотела… Так хоть теперь, в последние часы, чтоб я твоя была… безраздельно…

– Да что ж это, – вскрикнул он отчаянным воплем, вскакивая на ноги, – разве в Москве докторов нет, средств нет вылечить тебя!.. Я сейчас съезжу…

Она заметалась головою по подушке. «Ах, не понимает он меня, не понимает!» – тоскливо говорила она, болезненно сожмуривая веки.

Ранцов замер на месте, как вкопанный.

Голова обернулась в его сторону, глаза раскрылись:

– Средств *нет,* и сама я… не хочу, понимаете? Так лучше! Прежнего не вернешь, а впереди что? Ведь я замужем, я жена этого… кривоносого… которого я презираю более всего на свете… Что же? Оставаться так или опять развод и вернуться к вам, к прежнему?..

Она вдруг громко, почти весело рассмеялась:

– Это было бы уж очень оригинально, Никсенька… ведь самого тебя, бедного, подняли бы все тогда на смех… А я не хочу этого, пусть ни малейшего брызга на тебе не будет, мне это сладко думать… Меня в жизни любили истинно только два человека – и оба такие же чистые: мой милый граф и ты… Он умер, а я, безумная, из легкомыслия, из тщеславия согласилась пойти за этого…

Она расплакалась, не договорив, мгновенными, детскими слезами:

– Он со своею маменькой обобрал меня, вы знаете, – продолжала она, так же мгновенно переставая плакать, – у меня ничего не осталось, когда я вернулась в Россию, – он все взял на уплату долгов своих и любовниц… Я здесь жила все время в долг… Там, в городе, Факирский приносил мне две тысячи «от неизвестного». Но я знала, что это от вас было, и не хотела принять из гордости… из глупой гордости: меня оскорбляло тогда это великодушие. Я предпочла принять от чужого. Он тоже хотел остаться *неизвестным…* Но я догадалась, кто он, и ты ему уплатишь, Никс, из моих денег, когда получишь… Это Троекуров – вы его знаете?

– Знаю, хороший человек, – машинально примолвил он.

Она взглянула на него с новою, странною усмешкой:

– Да… порядочный во всяком случае, – словно сронила она с губ. – У меня в бюваре, – начала она поспешно затем, – Лизавета Ивановна знает, завещание мое лежит… формальное: нотариус был, и все как следует… Я вам все оставляю, Никс… Бог не хотел, и я благославляю

Его за это, чтоб я родила на свет от *него*… отродье… С *ними у* меня теперь все порвано, я все вам оставляю… Вам не нужно, но я знаю, вы употребите их на добро людям…

Она замолкла, тяжело дыша…

– Ольга, Олечка, – заговорил он, перемогая, насколько мог, свои терзания, – довольно говорить, вам вредно… успеете!..

– Нет, дайте досказать, пока есть сила… Поклянитесь мне, Никс, что все исполните, о чем я прошу вас!

Он поднял руку, осенил себя крестным знамением:

– Христом моим клянусь и… и тем, как я любил тебя всегда, Олечка! – произнес он сквозь новое душившее его рыдание.

Она будто просияла вся:

– Ну вот и хорошо! Слушайте: в том же бюваре вы найдете готовое, подписанное письмо мое к Государю, которым я прошу Его велеть рассмотреть мое дело с *нею*, с этою Аглаей, и удостоверение от посольства нашего в Париже – я его только накануне этого случая со мною получила оттуда, – что долги *его* там уплачены были мною из собственного моего капитала… Я говорила здесь с юристами: они сказали, что по этому документу *она* должна будет *все* заплатить… И я умоляю вас, Никс, возьмите с нее все, все до копейки! Я ее и ее сынка… я ненавижу их!

Он сжал лихорадочно ее руки, которые все так же держал в своих:

– Я все исполню, а вы… Прости им, Оленька! – зашептал он, наклоняясь к ней. – Бог нам велел прощать!

Темным пламенем блеснули глаза ее; раздражительно зазвучал ее голос:

– Никогда! Умру с этим грехом на совести, а простить не могу!.. Я всю жизнь свою пуще всего ненавидела глупость, а тут еще к ней подлость и злость… Пусть ждет меня за это наказание, а я проклинаю и *ее*, и *его*, и тот день, когда я, бесстыдная, согласилась быть *его* женою!

Он не прерывал ее, он только, словно умоляя, продолжал сжимать ее руки и глядел на нее с неизъяснимою тоской…

Она затихла. Слабый румянец, вызванный мгновенным возбуждением гнева на ее впалых щеках, сменила прежняя бледносгь; на опущенных ресницах задрожали еще раз слезы:

– А теперь последнее, – заговорила она еле слышно, – когда… когда придет конец, Никс, ты перекрести меня… и закрой глаза!.. Чтобы никто, как ты, слышите?..

Он наклонил лишь голову беспомощно, безнадежно… В дверях за ширмами послышался тихий спрос Лизаветы Ивановны:

– Войти можно?

– Можно, милая; что вам? – ответила сама больная.

На кротком лице маленькой особы читалась крайняя озабоченность: она входила, очевидно, с

какою-то вестью, добрый прием которой представлялся для нее сомнительным.

Ранцов обернулся на нее:

– Доктор? – поспешно спросил он.

– Нет еще его, – ответила она, подымая на него на миг как бы укоряющие глаза, и тут же направила их на больную, – воля ваша, ангел мой, а пущать я к вам не решилась… вы и так, глядите, устали ужасть!

– Кого это «пускать»?..

– Да княгиня тут приехала… свекровь ваша, – пролепетала та шепотком, смущенно перебирая плечами, – узнала, говорит, в деревне, что вы заболемши и…

– Аглая! – вскрикнула Ольга Елпидифоровна, приподнимаясь на постели, будто двинутая какою-то незримою пружиной, с засверкавшим молниею взглядом, с судорожною дрожью, поводившею все ее еле дышавшее тело, – она здесь?.. Вон ее гоните, вон!..

– Господи, – застонала, кидаясь к ней, Лизавета Ивановна, между тем как Ранцов охватывал ее за спину, не давая повалиться назад, – чтой-то с вами, ангел мой! Сказала вам: не пустила, не пущу!.. Чего ж это вы так вскинулись, голубонька моя!..

Но в то же время из-за ширм выдвинулось широкое, мясистое, подрумяненное по самые глаза лицо в шляпке с перьями и огненного цвета бантом под подбородком, и жирный голос возопил плачущим тоном:

– Ma chère Olga, c’est très mal que vous ne voulez pas me recevoir! Je suis venue exprès de la campagne, ayant appris que vous étiez malade, et je vous ai même amené mon aumônier, le père Парфен, pour vous parler religion…

– Амалия! – кликнула отчаянно Лизавета Ивановна. – Что же это вы, я вам говорила…

Белобрысая чухонка выскользнула из-за перьев Аглаи:

– S’ist nicht meine Schuld, я говорил княгинь: нельзя идти, а она сам, с силой, отпихнул мене и пришла…

Она подбежала к постели, запустила руки за плечи своей барыни, заставляя этим Ранцова принять свои… Он отошел на шаг, вперив грозно раскрывшиеся зрачки в круглые глаза незваной гостьи.

Та тупо, обиженно и жалостно поводила ими кругом, как бы ища чьего-то содействия или защиты…

– Вы меня на двор к себе не пустили, – заговорила, роняя слова через силу, больная, – а теперь явились сами отравить мне… последние минуты… как сделали это с Линой… с родною вашею… дочерью[90]. А я прошу вас оставить меня… умереть спокойно…

– Pourquoi est-ce que vous m’offensez comme, cela Olga? – захныкала немедля в ответ Аглая. – Je suis venue en qualité de belle-mère vous exhorter à faire votre paix avec Dieu et avec moi, et vous…

Она не успела договорить: Ольга Елпидифоровна задвигала слабо рукою, закатила глаза – и упала без чувств головою на плечо Амалии.

Ранцов, не помня себя, шагнул к княгине с задрожавшею челюстью:

– Я прошу вас, – зашептал он, наклоняясь к ней под самую шляпку, – прошу уйти отсюда, сейчас, сию секунду!

– Ah, mon Dieu, – визгнула она, – cet homme veut me battre!

И, как испуганная утка, вынырнула с этим визгом в соседнюю комнату, где, высоко подняв ногу на ногу под шелковою рясой и проводя рукою по своим курчавым и припомаженным волосам, позевывал на стуле, в ожидании, когда позовут его к больной «говорить о религии», ее «aumônier le père Парфен».

По шуму, достигавшему до него из спальной, он догадывался о каком-то происшедшем там «смятении». Растрепанный вид вылетевшей оттуда его патронессы дал ему понять, что «смятение» это разрешилось, собственно, для ее особы некоторым погромом.

Он приподнялся ей навстречу.

– Они мне сделали там une scène affreuse, батюшка, будьте свидетелем! – застонала она действительно тут же, ухватываясь за его рукав. – Un monsieur, которого я не зна… Кажется, это *ее* муж, le прежний, с которым она развелась, чтобы женить на себе Basile, mon fils… Он кинулся на меня с кулаками… Будьте свидетелем, батюшка! Он не смеет этого делать: я княгиня Шастунова; муж мой, feu Michel, был посланник, тайный советник и вдруг, un monsieur Dieu sait qui смеет меня выгонять… Я этого не позволяю, je demande justice! Мы с вами сейчас, батюшка, поедем к генерал-губернатору… Очень жаль, что это уже более не мой старый друг, *граф…* но все равно, и этот другой должен меня защитить dans mes droits. Вы ему скажете, как служитель du bon Dieu, что он должен приказать, чтобы меня непременно пустили к *ней* en qualité de belïc-mère, и вас тоже, которого я нарочно привезла сюда с собою, чтоб уговорить ce au nom du Christ помириться со мной et abandonner ses prétentions d’argent.

«Le père Парфен» даже испугался той роли, которую предназначало играть ему пламенное воображение умной женщины:

– Позвольте, княгиня, – возразил он веским тоном, дождавшись передышки, воспоследовавшей наконец за излитым потоком слов, – я полагаю, что представитель администрации никак не решится в нынешнее время вмешиваться в дело частного и даже чисто семейного характера; а что до моего «свидетельства», то, согласитесь сами, как я, собственно, не присутствовал при вашем разговоре и даже не видел лица, причинившего вам… неприятность…

Аглая озлилась:

– Я вижу, что вы un jacobin, отец Парфен! – воскликнула она, прерывая его. – Я совсем другого ждала от вас…

Но внимание ее отвлечено было в эту же минуту другим предметом тревоги: из спальной с перекошенным лицом выбежала Лизавета Ивановна, пронеслась как пуля чрез комнату и исчезла за дверьми в сени, оставив их впопыхах открытыми…

Глухой гул колес по настланной пред окнами больной соломе донесся в то же время до слуха княгини и ее собеседника, а вслед за ним громкий возглас маленькой особы, встречавшей приехавшего на крыльце:

– Ну, слава те Господи, а я уж хотела за вами посылать, господин доктор… Пожалуйте скорее,

пожалуйте!..

– Что, плоха разве очень? – обрывисто и несколько встревоженно говорил мужской голос.

– Чувств лишилась… привести в себя не можем…

– Мускус принимала?

– Приняла… да тут одно обстоятельство, – бормотала растерянно маленькая особа, торопливо входя опять в комнату.

Доктор быстрыми, маленькими шажками нес за нею свое пухлое брюшко и поправлял на ходу золотые очки свои с озабоченною важностью на сморщенном челе.

Аглая Константиновна, как увидела его, так и кинулась к нему со всех ног:

– Вы лечите… эту даму? Позвольте узнать вашу фамилию…

– Мою?.. Доктор Кругляков…

Он остановился в изумлении.

– Я вас очень прошу, monsieur Кругликов, – перервала, она тут же, – приказать, чтоб меня пустили к ней… потому что тут люди, которые хотят помешать этому, – и она язвительно покосилась на Лизавету Ивановну, – а я ея belle-mère, княгиня Шастунова, и мне необходимо с ней переговорить о делах, потому что я вижу, qu'elle est en danger de mort и нельзя время терять…

Лизавета Ивановна всплеснула руками, все ее тщедушное тельце как бы съежилось и затряслось от ужаса, полные слез глаза с неудержимым упреком вскинулись на говорившую:

– Чтой-то вы хотите, княгиня! Ей, может, голубушке, от разговора вашего и умирать теперь приходится, а вы опять… Пожалуйте, господин доктор, пожалуйте скорее!..

И она юркнула в спальню.

Аглая усиленно захлопала глазами, будто по лбу ее что-то треснуло. Но она не почитала еще себя разбитою:

– Elle dit des horreurs cette femme, – захныкала она немедля, ловя за руку поспешавшего за маленькою особой доктора, – вы ей не верьте, je vous prie, c'est une intrigue contre moi.

– Позвольте, сударыня, позвольте, меня там ждут! – говорил он, вырываясь от нее.

– Un seul mot, monsieur Кругликов! Если моя belle-fille безнадежна уже так, как говорит эта женщина, то ей нужно les secours de la religion… ей нужен священник, и *вы* скажите им всем там, пожалуйста, что я нарочно привезла с собою для этого mon aumônier, le père Парфен, que voici…

– Это не мое дело, сударыня, – перебил ее, теряя всякое терпение, Кругляков и, высвободив свою руку и вбежав в спальню, запер за собою дверь на обе половинки.

Она поглядела ему вслед, приподняла плечи и со вздохом на всю комнату опустила грузное тело свое на ближайшее кресло.

«Le père Парфен», расчесывая пальцами свою подстриженную бородку, поглядывал на нее с едва скрываемою иронией на лице: он видимо потешался ее суетой.

Она обернулась на него:

– Вы не забудете, батюшка, надеюсь, что вам нужно будет сказать *ей?* – проговорила она, значительно помахивая головою. – И скажите ей еще, что une belle-mère это почти мать, и за то, что она так дурно приняла меня сегодня, ее ужасно накажут на том свете!..

– Чертям-то рогатым мало кто верит в наш образованный век, княгиня, – хихикнул на это отец Парфен.

Ее совсем сбило с толку такое неожиданное возражение.

– Отчего вы это говорите, батюшка? – вскликнула она даже испуганно. – Когда кто умирает, ему всегда страшно. Потому он знает, что его сейчас там будут судить. Этим вы как отец духовный и должны воспользоваться, чтоб она эти, вы знаете, на которые претендует она, деньги отказала в пользу Базиля, своего мужа.

«Le père Парфен» кашлянул, провел рукой по волосам и ухмыльнулся.

Дверь из спальной отворилась, и из нее вышел доктор в сопровождении Ранцова.

– Хорошо, что добились, – говорил он, самодовольным движением передергивая очки на носу, – в первую минуту, признаюсь, не надеялся: пульса совсем не было… атрофия, думаю… Вывезло на этот раз!

– И… и надолго ли теперь? – замирающим голосом спросил тот.

Кругляков развел руками:

– Вторую дозу мускуса примет, подбодрится… а там…

Он глянул с видимым участием в его исковерканное внутреннею мукой лицо:

– Вы родственник больной? – спросил он, понижая голос.

Ранцов молча поглядел только на него в свою очередь и отвернулся.

Доктор повернулся на каблуках, отыскал кинутую им на окно шляпу и вынул часы:

– До свидания, я заеду через час… Больной необходимо полное спокойствие! – проговорил он громко и как бы строго, оборачиваясь в сторону княгини, внимательно прислушивавшейся со своего места к предыдущему разговору, и направился к двери.

– Доктор, – окликнула его выбежавшая из спальной Лизавета Ивановна, – *она* священника желает.

– Что же, доброе дело, – оглянулся он, – только дайте сначала лекарству подействовать: слаба слишком в эту минуту…

Аглая Константиновна вспрыгнула с кресла, словно кукла из табакерки:

– Священник здесь!.. Отец Парфен, ступайте к моей belle fille!..

В первую минуту никто не нашел, что сказать. Кругляков исчез за дверьми. Лизавета Ивановна растерянно устремила глаза на Ранцова. Он, в свою очередь, молча повел на княгиню не то недоумевающим, не то досадливым взглядом.

«Aumônier встряхнул гривой и, выправляя свои аметистовые запонки из-под рукавов подрясника, встал и направился к спальной.

Лизавета Ивановна инстинктивно кинулась заслонить ему дорогу:

– Позвольте, батюшка, надо, слышали, погодить… да и приготовиться больной дать… Да с вами и даров святых нет, – продолжала она, оглядывая отца Парфена. – К великому таинству приступить она желает, так как же так!

– Формальность исполнить всегда успеем, а тут главное убедить больную покончить честно все земные свои счеты, – учительским тоном возразил он.

Она даже руками всплеснула:

– Кровь и тело Господни… Это вы «формальностью» называете, батюшка! Что же это такое?

Он несколько смутился:

– Назову *обрядом,* так как это, надо быть, более знакомое вам понятие, – выговорил он несколько иронически, – а тем не менее повторяю вам, сударыня, что разумное наставление особенно важно для умирающей…

– Certainement, – поспешно вмешалась Аглая Константиновна, язвительно относясь к маленькой особе, – надеюсь, что батюшка лучше вас знает, что следует делать в этих оказиях!..

Но та ее не слушала. Она отбежала к Ранцову, прижалась к его плечу и зашептала:

– Не годится этот, ангел мой, не годится!.. Съездите, милый человек, сейчас к Николе на Грязях; отец Василий там, почтенный старец, пастырь настоящий… Вы только скажите, он меня знает близко, приедет сейчас… Он ее, голубушку, действительно утешит, напутствует и примирит… А этот таинство святое «формальностью» называет, прости Господи!

– Сейчас съезжу… А если как она да без меня вздумает ворваться к *ней* опять? – приостановился тронувшийся было с места Никанор Ильич, указывая ей кивком на Аглаю Константиновну, которая, со своей стороны, наклонившись к уху своего «aum nier», объясняла ему что-то, энергично размахивая руками.

– Это точно, – закивала Лизавета Ивановна, вздыхая, – опять ее, голубушку, не дай Бог, не пощадит эта барыня… И чтой-то это, Господи, за люди на свете!.. Так вот что, ангел мой: сама съезжу, неподалечку ведь, и привезу отца Василья, а вы уж тут посторожите!..

Она скрылась.

Ранцов подошел к двери спальной, осторожно притворил ее опять и сел на близ стоявший стул.

Аглая Константиновна оглянулась на него и, съежив губы кружочком, в знак полнейшего к нему презрения, спросила с самым надменным и колким видом, какой только нашелся в арсенале ее grands airs:

– Куда же ушла эта… *персона,* которая тут сейчас *распоряжалась,* и когда наконец *допустят*

отца Парфена к моей *belle fille?*

– Она поехала за священником… за знакомым больной, – ответил он тихо.

Аглая остолбенела на первых порах, открыла рот и так и застыла. Язык отказывался выговорить словом весь тот накипь изумления, испуга и злости, который приливал ей теперь к горлу… Но вот еще мгновение, плотину прорвало и, вместе с потоком слез, полившихся полосатыми струями по ее румянам, понеслись *крылатые речи с* ее судорожно перекривившихся губ:

– А, так вот как, c'est comme ça, это против меня интрига, on complot atroce!.. Вы с этою женщиной, я не знаю вас! Кто вы такие и как вы смеете делать это против меня? Вы какой-то прежний муж, кажется, que personne ne connaît, а я княгиня Шастунова, мой муж посланник был, из первых фамилий dans l'Empire и mon fils Basile, il est en Asie et je le représente en ce moment ici, je suis la belle mère de la malade, и мне никто, даже сенат, а не только вы, que je ne connais pas, не может запретить, когда она en danger de mort, привести eft духовное лицо, чтоб уговорить ее…

– Княгиня, – подходя к ней и сдерживаясь, насколько мог, проговорил полушепотом Ранцов, – *она* может услышать, вы ее чуть не уморили сейчас… Ей остается, может быть, лишь несколько часов жить… не кричите, умоляю вас!..

Она замахала руками:

– Я не хочу с вами говорить, je veux la voir!..

И она кинулась к двери спальной.

Он схватил ее за руку, рванул назад и, бледный, как призрак, с безумным гневом в глазах, проговорил сквозь стукавшиеся в лихорадочном ознобе зубы:

– Еще шаг и, как Бог свят, я вас выкину вон из окна!..

– А-а! – визгнула она что было мочи. – Батюшки, спасите!..

V

Tout est fini, la foule se disperse…

Béranger. Sur le tombeau de Manuel.

…Окна мелом
Забелены. Хозяйки нет,
А где, Бог весть, пропал и след.

***Евг. Онегин.* Гл. VI.**

Троекуров недолго засиделся в своей конторе; он потребовал приходо-расходный баланс и увидел из него, что в кассе имелось в настоящую минуту свободных шестнадцать тысяч пятьсот рублей, полученных из его «малорусской экономии» за несколько дней назад.

– Отвезите сегодня же эти деньги в банкирскую контору Ахенбаха, – приказал он, – и возьмите от нее две тратты: одну в две тысячи рублей на Берлин, а остальные на Париж… Мне там нужно будет некоторые закупки сделать, – добавил он, сам не зная для чего сказалось это им.

– Слушаю-с, – молвил конторщик, – на чьи адресы в эти города послать прикажете?

Троекуров поморщился:

– Я сам распоряжусь… Принесите ко мне в гостиницу Шеврие, часу в пятом; я там буду обедать.

– Слушаю-с… Тут-с по вашему кредиту, – конторщик развернул книгу, – господином Ашаниным получено в два приема тысяча сто пятьдесят рублей…

– Хорошо! – кивнул, не глядя, Борис Васильевич и встал с места.

– Сходите к управляющему дома, – как бы вспомнив вдруг и небрежным тоном сказал он, – и скажите, чтобы все там почистили и привели в порядок… Наблюдите за этим сами и, когда будет готово, известите тотчас же от себя письмом княжну Киру Никитишну Кубенскую во Всесвятском… Она, может, будет в Москву и остановится там…

Он двинулся и вспомнил опять:

– Не бывал у вас тут доктор наш, Николай Иваныч Фирсов, и не знаете ли, где он пропадает здесь?

– Был-с, за жалованьем приходил, и адрес его конторе известен.

– Так нельзя ли его будет отыскать и прислать ко мне?.. Только сегодня же, я завтра уеду в Петербург.

– Сегодня же исполню-с! – молвил конторщик, провожая патрона своего на крыльцо.

Нанятая Троекуровым коляска ждала его уже тут.

– Куда прикажете, ваше сиятельство? – спросил знакомый ему кучер от извозчика, радостно приподнимая только что отпущенную ему хозяином, «в уважение хорошего господина», новехонькую шляпу.

– Домой в Шеврие!..

Коляска подъезжала к гостинице, когда из ворот ее вышла маленькая Лизавета Ивановна, быстро перебирая ножками и ища тревожно беглыми глазами ближайшего извозчика.

Троекуров узнал ее, окликнул по имени.

Она обернулась, увидала, кинулась к нему:

– Борис Васильич… Господи, вот не ждала, не чаяла!.. Одни вы здесь?

– Один.

– А сокровище мое бесценное, ангел небесный, Александра Павловна, что?

– Ничего, в деревне, здорова, – поспешно ответил он, – а вы куда же это бежите? – еще поспешнее переменил он разговор.

Она завздыхала, закачала головой:

– А я за священником, Борис Васильевич, за отцом духовным… Больная у меня тут одна, при смерти…

– Знаю, – сказал он, – княгиня Шастунова… Что, – понизил он голос, – у нее там теперь Ранцов… тот, за которым она посылала?..

– И про то знаете, ангел мой? – воскликнула она, утирая верхом руки проступившие у нее внезапно слезы. – Тут, при ней теперь… Убивается… любит ее, видать, так, что душу сейчас за нее отдать готов… А тут ей еще покою не дают. Княгиня эта намазанная, свекровь ее, приехала, ворвалась насильно, чуть не уморила ее на месте…

– Успела? – невольно вырвалось у Троекурова. – И священника своего притащила к ней, а?

– Так, так, ангел мой, все-то это вы знаете… И на особу духовную не похож даже вовсе, шарлатан какой-то, прости Господи!..

– Вы его не пустили к больной?

– Нету, голубчик, нету! Вот за своим, за настоящим собралась… а сердце не на месте, потому при ней одна Амалия осталась, а *ему-то* и войти к ней нельзя, чтобы княгиня эта опять со своим попом стриженым да вскочила в спальню… Батюшка, Борис Васильич, – воскликнула вдруг маленькая особа, – она вас больше послушается, пошли бы вы выручать Бога для, ослободить, чтобы мог он тут при постели ее на всяк случай быть, пока я отца Василия привезу; вы всех знаете, а он тут один, с ума ведь собьешься…

– Я сейчас пойду, – сказал Троекуров, – а вы садитесь в мою коляску и поезжайте за вашим делом. Будьте покойны, – примолвил он, усмехнувшись, – буянить я этой «намазанной» не позволю.

– Ну и вот славно, ну и вот прекрасно, ангел мой! – говорила Лизавета Ивановна, крестясь и усаживаясь в экипаж. – К Николе, неподалечку, милый человек, – закивала она всем своим сморщенным личиком обернувшемуся на нее за приказанием кучеру…

Борис Васильевич прошел через двор и вошел в сенцы флигеля… Донесшийся до него в эту минуту визг из покоя, в который направлялся он, заставил его немедленно поспешно распахнуть дверь.

Читателю уже известно, какое зрелище предстояло ему увидеть:

Ранцов стоял посреди комнаты с перековерканным лицом; Аглая Константиновна неистово махала руками, свалившись головой на плечо отца Парфена…

Она разом смолкла при виде входившего и вытаращила на него изумленные и уже несколько испуганные глаза; она по первому кинутому им взгляду на нее почуяла, что явился ей не союзник, а враг…

Он быстро подошел к Ранцову, протягивая ему руку:

– Я сейчас все узнал от Лизаветы Ивановны, – проговорил он вполголоса, – ступайте к больной, Никанор Ильич, а барыню эту я отсюда выпровожу.

Тот встряхнул головой, вспыхнул, торопливо пожал пальцы Троекурова и исчез за дверями спальной.

– Позвольте вас проводить до вашего экипажа, княгиня, – молвил тут же, подступая к ней с подвернутым локтем, Борис Васильевич.

Она уперлась в него своими круглыми глазами, вся растерянная…

– Et pourquoi est-ce que je dois m’en aller, monsieur Троекуров? – забормотала она съехавшим уже на квинту вниз голосом.

– Потому, что кто-то здесь так кричал сейчас, – изысканно отвечал он по-французски же, – что перепуганный хозяин гостиницы послал за полицией, а я, при том уважении, которое внушает мне ваша особа, желаю избавить ее от допросов квартального.

– Ah, mon Dieu, quelle horreur, un квартальный! – вскрикнула она… и вдруг одумалась: – Et si vous dites exprès, pour me tromper, monsieur Троекуров?

Но он уже держал руку ее под своим локтем и не выпускал ее:

– Пойдемте, княгиня. Есть такая русская пословица, может быть, слышали: «Насильно мил не будешь», а тут к тому же умирает женщина, и производить скандал в такую минуту не совсем удобно… Пойдемте! – заключил он, увлекая ее к выходной двери.

– Но какой же скандал, monsieur Троекуров? – окончательно разбитая этим решительным тоном, этою *незадуманностью* поступка, – пролепетала она плохо уже повиновавшимся ей от страха языком, – я хотела только, чтобы le père Парфен lui parle religion…

– Мне очень жаль, – перебил он ее, – что «le père Парфен» не подумал прежде всего поговорить «о религии» с самою вами.

Она, как рыба, смолкла за этим наставлением. Он довел ее до ее экипажа, посадил и низко раскланялся.

Сконфуженный в свою очередь «père Парфен» торопливо скинул пред ним шляпу, готовясь лезть за своею княгиней в карету, в которой с ней и приехал. Но на что был он ей теперь? Она хлопнула дверцей чуть не под нос ему и крикнула в окно кучеру: «Домой!»… Aumônier так и остался посреди двора с раскрытым от изумления ртом.

Борис Васильевич счел нужным «на всякий случай» вернуться в нумер больной. Он уселся в пустой теперь передней комнате, в ожидании возвращения Лизаветы Ивановны.

Дверь в спальную была не совсем притворена, но никакого звука не слышалось оттуда. «Заснула», – подумал он…

Но она не спала… Открыв глаза после обморока, она всех узнала, слабо усмехнулась и попросила пить. Доктор приказал дать ей опять шампанского и новый прием мускул через десять минут. Это «подбодрило» ее, как он и предсказывал: оконечности потеплели, чуть-чуть заалели щеки. «Ах, как теперь хорошо!» – выговорила она внятно, отыскала взглядом маленькую особу (Кругляков и Никанор Ильич вышли в это время в гостиную) и поманила ее к себе движением головы. Та быстро наклонилась к ней. «Нельзя ли священника… пока я в силах, – прошептала она ей на ухо с каким-то замедлением и дрожью в голосе… «Сейчас, ангел мой, сейчас!» – вскинулась и полетела Лизавета Ивановна. Она вздохнула и закрыла глаза, как бы для того чтобы не видеть оставшейся стоять над нею с приторно подтянутыми губами, в знак соболезнования, Амалии…

Донесшийся до нее крик Аглаи Константиновны заставил ее инстинктивно вздрогнуть, но век она не подняла.

– Она все еще тут? – равнодушно спросила она только.

– Immer da, – подтвердила чухонская субретка, иронически осклабляясь…

Вошел Ранцов. Она слухом угадала его близость и как бы радостно улыбнулась ему, все также не открывая глаз. Он стал у нее в ногах, погрузясь взором в ее лицо… в призрак прежней «Оли»…

Амалия ушла за ширмы, к окну. Он опять был один с нею в этом освещенном как ночью покое, между тем как солнечный свет, как бы смеясь над ее предсмертною затеей, нагло прорывался сверху в отверстие неплотно задернувшихся занавесей и пробегал змейкой в углу противоположной стены над головою больной…

Она не спала; на нее нашло какое-то сознательное забытье, что-то между бдением и грезою, сладкое и томящее. Ей не хотелось ни говорить, ни двигаться. Как тучки по небу, неустанно изменяя свои очертания, проносились пред нею образы, силуэты, обрывки очерков и мыслей… Он читал это на этих обострившихся чертах, в движении увядших уст, во вздрагивании длинных ресниц, падавших какою-то траурною бахромой на прозрачную бледность ее кожи… Зловеще опущенные углы губ приподымались на миг, будто пытаясь сложиться опять в те знакомые ему, неотразимые складки молодого, счастливого смеха; по сжатым векам словно пробегали какие-то мимолетные радужные тени; легкое шелковое одеяло колыхалось слегка от учащенного дыхания легких… Но еще миг – и чуть слышный вздох вылетал из груди, губы вытягивались в строгую, неприветную линию, и из-под этих упорно сомкнутых вежд готовы были, казалось ему, брызнуть жгучие, ядовитые слезы…

В его голове стоял неотступно один образ, одно воспоминание. Жаркий летний день; он, еще вчера *темный* армеец, сегодня нежданный богач, въезжает в город, под которым расположено наследованное им имение. Он тащится, трясясь на своей перекладной, по незнакомой, длинной улице, сплошь залитой отвесным светом полудня… И вот из окна светлого домика под зеленою крышей вытянулась чья-то женская обнаженная по локоть ослепительно белая рука с блестящими в ней лезвиями длинных раскрытых ножниц – вытянулась к кусту пунцовых роз в полном цвету, чуть-чуть качающихся на своих стеблях в палисаднике, не в далеком расстоянии от окна, – и не может дотянуться до них. И все далее протягивается она, а за нею, вывешиваясь наружу до стана, схватившись другою рукой за задвижку рамы, появляется хохочущий, очаровательный облик темнорусой красавицы, свежей и пышной, как те розы, до которых не может достать она своими ножницами… И с той минуты *она* «взяла всего его, всю его жизнь»… «Оля, что же они сделали с тобой?» – мучительно шептал он про себя. Он о себе не думал, не думал, что, если б «они» не *сделали* этого чего-то с нею, она не вспомнила бы о нем в эти последние часы, что, как признавалась сама она ему полчаса тому назад, она «никогда не *умела* его любить, не *смогла* бы и потом»… Да разве он когда-нибудь, в самые горькие минуты, упрекал ее за это? Как говорил он графу Наташанцеву, он «насчет своей особы никогда не обманывался и всю жизнь свою мучился тем, что *не такого, как он,* мужа требовалось ей»…

Так безмолвно, затаив дыхание, не отводя от нее воспаленных глаз, простоял он над нею с час времени… Он вздрогнул от прикосновения руки неслышно подошедшей к нему Лизаветы Ивановны.

– Отец Василий тут, – сообщила она ему на ухо.

Но в то же время глаза больной внезапно и широко раскрылись:

– Просите отца духовного! – громко выговорила она и закрыла их опять.

– Душа-то, душа-то сама почуяла и взалкала, – прошептала восторженно маленькая особа, схватывая Никанора Ильича за руку, – пойдемте, голубчик!..

Высокий, почтенного вида, со строгими глазами и тихою поступью, старик-священник вошел чрез минуту в спальню. Лизавета Ивановна, выслав Амалию, оставила его одного «с умирающею»…

Ранцов, выйдя в гостиную, повел унылым и как бы благодарным взглядом на одиноко сидевшего там Троекурова, опустился в кресло в углу комнаты и, уложив локти в колени и голову в руки, затих весь, словно замер.

Лизавета Ивановна подошла к окну, сложила руки и устремила взор в горячо синевшее небо. Губы ее быстро и беззвучно зашевелились: они, очевидно, шептали слова молитвы…

Так прошло довольно долго времени. Троекуров с каким-то странным, становившимся чем далее, тем более тяжелым чувством ожидания глядел прикованными к ней глазами на запертую маленькою особой дверь спальни.

Но вот наконец тихо отворилась она, и из нее вышел старик-священник, осторожно ступая по протянутому чрез комнату к сеням половику.

– В силах была, батюшка? – кинулась тут же к нему с тревожным вопросом Лизавета Ивановна.

– Вполне, – как бы напирая, медленно и веско произнес он вполголоса, – а в настоящую минуту, видимо, ослабла очень: одну оставить нельзя.

Она так и вылетела за дверь. Никанор Ильич, шатаясь, поспешил за нею.

Троекуров остался один опять… На сердце его ныла какая-то всего его охватившая теперь тоска. «За эту умирающую тут женщину, – вспоминал он, – он чуть не отправил на тот свет лучшего друга своей молодости, два лучшие года этой молодости отдал он на любовь, на безумную любовь к этой женщине… а теперь его и *не тянет* взглянуть на нее в последний раз»… Но уходить он все-таки не решался. «Надо дождаться *конца»,* – говорило ему что-то внутри его, чему он не повиноваться не мог.

– Вот как сподобились, голубочка, тело Его и кровь принять, Спасителя Нашего, Господа, так и легче стало, верно я говорю, ангел мой? – допрашивала тем временем причастившуюся маленькая Лизавета Ивановна ласкательным шепотом, наклонившись к самому лицу ее, по которому словно бежала какая-то слабая усмешка.

Она не отвечала. Глаза ее были закрыты. На нее будто опять нашло давишнее забытье. Одеяло не шевелилось; только тонкая батистовая ткань ночной кофты еле заметно приподымалась и опускалась над грудью.

Лизавета Ивановна медленно опустилась на колени, приникнув ухом к этому едва уже слышному дыханию… Ранцов, все также в ногах кровати, судорожно ухватясь руками за ее дерево, тянулся чрез него всем телом, прислушиваясь в свою очередь, с стиснутыми до боли зубами, с широко, безобразно раскрытыми и устремленными на нее зрачками… Слышно было лишь жужжание мух под невысоким потолком да глухой гул колес на улице, врывавшийся

вместе с солнечным лучом в просветы занавеси в эту освещенную искусственным вечерним светом комнату…

Вдруг она шевельнулась. Веки ее дрогнули, приподнялись…

– Ну, вот и жизнь прошла, – послышались надрывающие звуки, – на что?..

Тусклый, стеклянистый взгляд ее поднялся на Ранцова:

– Никс, помните! – донеслось до его слуха как бы откуда-то из неведомого пространства…

Он глядел, костенея, в эти загадочно и страшно остановившиеся на нем глаза…

– Позвольте! – раздался подле Лизаветы Ивановны негромкий голос только что вошедшего доктора.

Он нажал пальцами пульс своей пациентки, вынул часы…

Лизавета Ивановна, не подымаясь с колен, откинулась головою назад, прижав крестом руки к груди.

– Что-о? – какою-то неестественною бормотой прорвалось из горла Никанора Ильича.

Кругляков отпустил пальцы, положил часы в карман и только головою качнул…

Троекуров в тот же вечер уехал с курьерским поездом в Петербург.

VI

«Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в России.

Достоевский. Бесы.

Méfiez-vous des dégoûtés, ce sont presque toujours des impuissants.

Flaubert.

В каком-то странном, не то унылом, не то раздраженном состоянии духа, вышел Троекуров из вагона, в котором провел без сна почти всю ночь. Он выехал из Москвы под тяжелым впечатлением, более тяжелым в действительности, чем мог бы он себе это представить в воображении. Когда в том нумере отеля он, по приглашению маленькой Лизаветы Ивановны, вошел в комнату только что отошедшей в вечность, давно переставшей быть ему милою женщины, его охватило вдруг нежданным ощущением чего-то подломившегося в нем самом. В дребезгах, почувствовал он, лежало пред ним обезображенное чудовищною рукой смерти целое прошедшее его, целый мир молодости, над которым неотразимою звездой сияло это едва узнаваемое им теперь женское существо, и невольно в глубине его внутреннего я подымался смутный вопрос: не ушла ли безвозвратно на это прошедшее лучшая доля его жизненных сил, и найдет ли он в себе для новых битв за права страсти то беззаветное и непреклонное мужество, с которым он в оны дни готов был вызывать небо на бой из-за взгляда, из-за мимолетной улыбки этой женщины. Он тупым, словно незрячим взглядом глядел, не отрываясь, в ее недвижные глаза, между тем как на сердце ныла у него неодолимая тоска, а в мозгу неотвязно напрашивалась мелодия романса, когда-то петого ею:

Придет пора, твой май отзеленеет,
Угаснет блеск агатовых очей…[91]

пока дрожащая рука Ранцова, бледного и изможденного, как сама усопшая, не закрыла их, и сам он с глухим стоном не повалился головой на ее подушку…

Троекуров в продолжение всего пути не мог отделаться ни от этого ощущения, ни от надрывающего звука, того единственного звука: «Оля», вырвавшегося в ту минуту из груди Ранцова, когда он, закрыв их, приник губами к оледеневшим векам этих угаснувших теперь навсегда «агатовых очей»…

Вид Петербурга – летнего, пустого и тоскливого, как канцелярское *отношение,* – издавна ему ненавистного Петербурга, только подбавил желчи к его дурному настроению. На спрос камердинера, нанявшего ему карету и ожидавшего у дверцы ее указания, в какую гостиницу ехать, он проговорил сквозь зубы: «все равно» и, только отъехав уже довольно далеко по Невскому проспекту, вспомнил и, опустив переднюю раму, приказал извозчику везти себя к Демуту.

Там он первым делом потребовал комиссионера и с нервным помаргиванием усталых глаз передал ему имена нескольких должностных лиц, которых нужно ему было видеть, приказывая съездить на извозчике узнать, где и в какие часы можно их застать в городе или на даче, и привезти ответ немедля. Он как бы невольно торопил и торопился сам. Этот город с первого раза налегал на него своею свинцовою тяжестью, и он, едва приехав, думал только, как бы скорее покинуть его.

Расторопный комиссионер вернулся с ответом минут через двадцать. Оказывалось на счастие приезжего, что одно из нужных ему лиц, «генерал», как называл его комиссионер, Паванов, находилось в это утро в городе, приехав с дачи для приема просителей. Велено его к себе просить без четверти в час.

До назначенного срока не оставалось и получаса. Троекуров поспешил переменить дорожный свой костюм на визитный и отправился.

«Генерал» Паванов весьма сильно поднялся по иерархической лестнице со времени того блестящего костюмированного вечера в Михайловском дворце, на котором мы его встретили, щеголяющего изяществом своей элокуции в беседе с членом редакционной крестьянской комиссии Линютиным. Он вполне *парадно* занимал вверенный ему большой пост в тогдашней администрации, пользовался особенною милостью в высших сферах и почитался представителем «европейского начала» и «умеренного либерализма» в общем характере государственной политики.

Троекуров знал его еще молодым человеком и состоял с ним в некотором родстве. Они, впрочем, давно потеряли друг друга из вида, так как в продолжение многих лет состояли на службе на противоположных окраинах Империи. Решение дела, по которому приехал Борис Васильевич в Петербург, не зависело от Паванова, но он занимал настолько важное положение, что мог, как говорится, «многое сделать», и *направить,* и поговорить, и повлиять. Так по крайней мере думал Троекуров и решился поэтому прежде всего повидаться и посоветоваться с ним, как-то инстинктивно отдаляя на второй план свидание с графом Анисьевым, бывшим своим сослуживцем по полку, но с которым еще тогда развело его совместное их искание любви все той же Ольги Елпидифоровны Ранцовой, во всей прелести молодости и красоты появившейся в ту пору на петербургском горизонте. Все это теперь уже потеряло всякий смысл, но на особую готовность Анисьева сделать ему приятное Борис

Васильевич никак не рассчитывал.

В сенях большого казенного дома, занимаемого Павановым, облекалась в пальто и шинели только что вышедшая из приемной сановника толпа лиц в мундирах всякого шитья, класса и вида. Троекуров, невольно морщась от этой давно им не виданной петербургской «казенщины», быстро поднялся, сторонясь от нее, по ступеням и велел доложить о себе.

– Пожалуйте, – поспешно проговорил стоявший тут курьер с бляхою и побежал вперед шаркая ножками, с ужасною торопливостью в движениях и необыкновенною озабоченностью в физиономии.

– Salut, monsieur le grand propriétaire! – возгласил сам Паванов, идя навстречу приезжему из глубины огромного кабинета, в который введен был этот. – J'ai abrégé d'un quart d'heure mon прием habituel, чтоб иметь возможность дать вам четверть часа пред комитетом. La Russie est le pays des comités, comme vous le savez, – прибавил он с величественною игривостью, – и у меня таковой собирается сегодня в час пополудни… Немногочисленный, впрочем, на этот раз и не обещающий, к счастию, насколько я могу предвидеть, затянуться до порога вечности. Prenez place, je vous prie!

Он был *по-домашнему* в короткой жакетке, с сигареткой в зубах, но так же изящен, сладкоречив и помпезен, как если бы был облечен во все свои регалии (злые языки уверяли, что он, обвязывая себе на ночь пред зеркалом голову фуляром, посылал поцелуй своему отражению в стекле и с тою же помпезностью произносил: «Monsieur l'homme d'état, j'ai bien l'honneur de vous souhaiter une bonne nuit»). Он глядел на Троекурова зорким и несколько беспокойным взглядом, очевидно выискивая на лице человека свежего, не видавшего еще его в его грандерах, то впечатление, какое производил на него всем этим своим официальным изяществом.

Но тот только поклонился, сел и проговорил учтиво и холодно:

– Я буду вам очень благодарен за эту «четверть часа».

Паванов повел еще раз на него глазами – и остался не совсем доволен, по-видимому, этою благодарностью, лишенною всякого *пыла.* Голос его зазвучал с примесью некоей уже как бы строгости в выражении:

– Я тем более желал иметь удовольствие побеседовать с вами, что еще очень недавно… en haut lieu, – промолвил он почтительно и таинственно, – мне было говорено о вас…

– В самом деле? – сказал невозмутимо Троекуров. – Чем я заслужил эту честь?

Сановник чуть-чуть усмехнулся и пожал плечами, но так, что весьма трудно было угадать, какой именно его мысли должно было отвечать это движение:

– Vous n'êtes pas, il me semble, dans les bonnes grâces de monsieur Hertzen, или по крайней мере корреспондентов его в вашей местности? – подчеркнул он.

– А, речь все об этом! – засмеялся уже самым откровенным образом его собеседник. – Вы поручили даже проверить их сообщение обо мне в Лондон?

Тот как бы несколько смутился и поморщился:

– Вы введены в заблуждение, кажется, – промямлил он.

– Это совершенно естественно, впрочем: раз было «говорено», вы должны были навести об этом справки, – как бы в успокоение его и не замечая его отрицания, молвил Троекуров. – Дело идет, не так ли, о том, что я, встретившись с одним господином на дороге, наказал его нагайкой по лицу?

В глазах Паванова выразилось какое-то тревожное недоумение. Эта прямая, краткая, «n'allant pas par quatre chemins», как говорят французы, нисколько, очевидно, не обращающая внимания на его официальное величие речь была так мало в обычаях того мира, где играл он свою выдающуюся роль! Речь эта шла притом из уст человека *его* воспитания, *его* круга, независимого, очевидно, столько же по характеру своему, сколько по состоянию, которого ни запугать поэтому, ни купить ничем нельзя. Разговор с таким человеком выбивал несколько нашего сановника из седла.

– Так по крайней мере, – отвечал он с примирительною как бы улыбкой, – угодно было передать это господину Герцену в своем задорном, позволю себе назвать его, листке.

– Передано совершенно верно, – промолвил Троекуров.

– Вы сами это подтверждаете?

– Я сам.

– Vous m'avouerez que c'est pourtanl violent! – воскликнул Паванов, вскидывая даже обе руки кверху.

– Это зависит от нервов, – сказал все с тем же хладнокровием Борис Васильевич, – а я попрошу вас выслушать от меня эту историю со всеми объясняющими ее мотивами и затем *буквально* передать ее туда, где интересовались ею, так как она может служить лучшим образчиком того беспомощного положения, в которое ставит в настоящую минуту всех людей порядка в России полное отсутствие в ней власти и системы в управлении.

Лицо сановника заметно удлинилось и отучилось.

– Я вас слушаю! – вздохнул он, откидывая руку за спинку кресла и принимая живописную, не то скучающую, не то благоволяще-внимающую позу.

Троекуров со свойственною ему сжатостью и резкою определительностью выражения передал ему все, что известно читателю о подвигах Иринарха Овцына, о дерзких письмах, адресованных им «живущей в его, Троекурова, доме молодой родственнице его жены» (он не назвал ее по имени), о попытке его возмутить крестьян и подговоре «бедного юноши-студента, сына севастопольского героя Юшкова», к рассылке возмутительных прокламаций и пр., о том наконец «невероятном хаосе понятий и действий», при котором заведомый агитатор находил себе сочувственников, потворщиков и освободителей не только в каких-нибудь *ученых* полковниках Блиновых, но и в тех самых «чинах полиции явной и тайной», на прямой обязанности которых «лежит ограждение государства и общества от подобных негодяев»…

Паванов слушал его с невольно возраставшим любопытством и как бы с несомненным сочувствием к негодованию, прорывавшемуся в словах Бориса Васильевича. Он утвердительно покачивал головой, приподымал плечи, не то уныло, не то презрительно ухмылялся и повздохивал; глаза его все поощрительнее и любезнее глядели на говорившего.

– Живую картину нынешнего положения вещей, – заговорил он, едва тот кончил, – картину, которая так барельефно, если можно так выразиться, выступает из вашего сенсационного

рассказа, я уже давно рисовал себе мысленным оком из тех официальных, конечно безжизненных, не одетых, так сказать, в плоть и кровь, но тем не менее заключающих в себе известную долю верных указаний, данных, которые получаются мною из провинций. Картина, несомненно, печальная и заставляющая призадуматься! – Он развел руками, сделал длинную, многозначительную паузу и продолжал затем: – Я очень вам благодарен за ваше объяснение. Les motifs qui л-ous ont pour ainsi dire fatalement poussé à châtier ce mauvais drôle sont parfaitement légitimes, quoique violents, – игриво домолвил он, – и я признаю, que tout gentilhomme à votre place en aurait fait autant… Но, если вы совершенно ясно для себя разумели, как следовало поступать вам в данном случае, весьма замечательно, как симптом времени, то, что остальные действующие лица в этом эпизоде, этот господин ученый офицер, Гисправник с tutti quanti, поступили диаметрально противоположно тому, что *их* долг им предписывал.

Он замолк и уставился на своего собеседника, как бы предоставляя ему обсудить всю необычайную глубину выраженного им мудрствования.

Троекуров в свою очередь теперь поглядел на него с недоумением:

– Симптом совершенно понятный: люди делают противно своему долгу *потому,* что знают, что могут это делать безнаказанно. Все зависит – как к этому относятся *сверху.*

Паванов вдруг наклонился к нему и прошептал:

– Nous ne pouvons rien; le torrent nous emporte.

Кровь кинулась в голову Троекурова.

– И это говорите вы, – воскликнул он неудержимо, – вы, люди власти, которым теперь, после освобождения крестьян, предлежит дать камертон всему характеру царствования, всей начинающейся с него новой русской истории!.. Вы не поняли, что, дав волю народу, воспитанному веками рабства, то есть другими словами, совершив революцию правительственною рукой, вы должны были удесятерить силу этой руки ввиду хотя бы упразднения тех «даровых полицеймейстеров»[92], которых имела она в лице помещиков… А вы про «torrent» говорите! Какой это «torrent»? Не та ли открытая проповедь безбожия и анархии, которую само правительство распространяет по России за подписью своих цензоров?.. Вы, извините меня, как заяц басни, пугаетесь тени собственных ваших ушей…

– Ecoutez, mon cher Троекуров… car nous sommes cousins, ce me semble? – вспомнил вдруг кстати Паванов, совершенно тонко рассудив, что в качестве родственника он мог выслушивать то, что в положении сановника не приличествовало ему терпеть со стороны лица, в некоторой степени ему подначального. – Vous prêchez un converti. Не раз пытался я заявить высказанный вами сейчас, безусловно правильный принцип в среде государственных лиц, quorum pars *minima sum*, – вставил он, скромно и находчиво переиначивая к случаю стих римского поэта, – но это был неизменно глас вопиющего в пустыне. Вы требуете «силы»? Она у нас самым решительным образом теперь отсутствует. Le «Русский богатырь», comme a dit Пушкин, действительно «покоится» pour le moment «на постели»[93]. Да и была ли она у него, pour dire vrai, когда-либо и раньше, *истинная* «сила», у этого soi-disant «богатыря» без культуры и гражданственности.

Изящные черты сановника приняли вслед за этим столь категорически поставленным вопросом чуть не гадливое выражение.

– «Russia is a greal humbugh»[94], écrivait lord Palmerston à son frère en 1835, c'est a dire, aux plus beaux jours encore du règne précédent. Tenons-nous cela pour dit! – заключил он решительно и строго.

«И жить в стране, управляемой людьми, презирающими ее!» – пронеслось скорбным и язвительным помыслом в мозгу бывшего кавказца.

– Скажите, – спросил он под этим впечатлением, – куда же может придти Россия при таких убеждениях ее правителей?

– La Russie marche vers l'inconnu, – к великому неизвестному *иксу!* – счел даже нужным перевести и приправить Паванов, сопровождая эту фразу рисующимся движением головы и руки, какому мог бы позавидовать знаменитейший оратор Запада.

Борис Васильевич прикусил себе губу, чтобы не отвечать резкостью, просившеюся ему на язык и которую он считал совершенно бесполезною. «Тут ничего не поделаешь», – рассудил он… Ему оставалось только обратить скорее опять разговор с почвы общих рассуждений на предмет, с которого он начался.

– У меня к вам просьба, – сказал он торопливо и не ожидая ответа, – я сейчас передавал вам о почтенном человеке, единственный сын которого, прекрасный по душе, но слабовольный юноша, соблазнен был этим… нигилистом, товарищем его по университету, к поступку совершенно бессмысленному, за который, однако, может ждать его весьма тяжелое наказание. Я приехал теперь в Петербург единственно с целью спасти несчастного, если можно… Оказав мне в этом случае помощь вашим влиянием, вы сделали бы поистине хорошее дело.

– Я всегда душевно готов делать их, насколько дозволяют это мои силы и средства, – отвечал Паванов (он был действительно весьма мягкосердый по натуре и даже не без великодушия при случае человек), – о вашем юноше мы будем иметь возможность переговорить чрез несколько минут, – промолвил он, взглянув на стоявшие на его письменном столе часы, – переговорить с тем, кто в этом деле может быть гораздо вам полезнее, чем я… Vous le connaisez certainement, le comte Анисьев? Vous avez été, je m'en souviens, son camarade de régiment aux temps heureux où vous étiz très jeune et où je l'étais *encore*, – подчеркнул он с полувздохом.

– Вы очень мало переменились с тех пор, – увидел себя как бы вынужденным Троекуров отпустить ему в благодарность эту любезность.

Тот будто только этого и ждал, широко улыбнулся и благодарно в свою очередь наклонил голову, но тут же вздохнул опять и, приподняв в виде опровержения один из своих великолепных бакенов, подернутых весьма уже заметною сединой, процитовал чистейшим остзейским акцентом из пролога к Фаусту:

Ach gieb mir wieder jene Triebe,
Das tiefe schmerzenvolle Glück,
Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe,
Gieb meinc Jugend mir…

– Вашему сиятельству! – прервал он себя, не договорив стиха, двигаясь с места с живописно протянутою рукою ко входившему без доклада графу Анисьеву. – Les oreilles devaient vous tinter tout à l'heure: мы только что упоминали ваше имя со старым вашим однополчанином…

– Ах, Троекуров, как я рад тебя видеть! Сколько лет!.. – воскликнул самым радостным тоном тот, поспешно кидаясь к нему и потрясая ему руку обеими своими. – В отставке, мировым

посредником, ланд-лордом, да? Знаем, знаем: une femme adorable, денег куры не клюют, со всяким честолюбием распростился, «la simple fleure orne ma boutonnière», comme dit la chanson de Béranger, – словом, счастливец, заслуживающий всякой зависти! Как это ты решился удостоить нашу Ингерманландию своим посещением?

– Вы, вероятно, удивитесь, – засмеялся Паванов, – узнав, что мы этим главным образом обязаны, кажется, вам.

– Мне? – удивился блестящий генерал. – Очень рад: чем могу служить? – промолвил он с легкою уже задержкой и зорко глянул в лицо Троекурова.

Дверь кабинета отворилась еще раз и, вслед за громко и отчетливо выговоренным докладом курьера: «Статс-секретарь Ягин», вошло новое лицо.

Это был господин малого роста, на коротких ножках, со шлепающими губами рта до ушей и гладко выбритым зеленым лицом, представлявшим как бы нарочно и тщательнейшим образом высортированный speciment петербургского гемороидального субъекта. Голову этого господина покрывал фантастически-каштанового цвета парик. Облечен он был в вицмундир с двумя звездами, форменно застегнутый на две нижние пуговицы, и держал под мышкой новешенький портфель, из так называемых «министерских», заключавший в себе, судя по раздутости его боков, немалое количество всякой писаной бумаги.

– Подземный гном рядом с Аполлоном Бельведерским! – шепнул насмешливо Анисьев на ухо Троекурову, пока вошедший обменивался с хозяином взаимными рукопожатиями.

– У вас комитет сейчас, и я ухожу, – молвил ему в свою очередь Борис Васильевич, слегка усмехнувшись сравнению, – а мне действительно надо поговорить с тобою об одном деле. Когда могу я застать тебя?

Тот не успел ответить: «Аполлон Бельведерский» подходил к ним с «гномом» под руку и с какою-то победною улыбкой на устах, словно и сам говоря: «Полюбуйтесь контрастом!..»

– Позвольте, ваше превосходительство, – говорил он ему со своим певучим эмфазом, – познакомить вас с родственником моим, Борисом Васильевичем Троекуровым, одним из значительнейших землевладельцев и уважаемейших мировых посредников ***ской губернии, привезшим из своей местности весьма интересные сведения. Я осмелюсь думать, что наш собравшийся теперь au complet комитет *трех,* коего задача состоит в уяснении причин распространения между молодежью, преимущественно университетскою, антиправительственного и даже антиобщественного направления мыслей и в соображении затем о могущих быть приемлемыми против сего мероприятиях, – что комитет наш, говорю, может почерпнуть из этих сведений указания, весьма для себя полезные. Они драгоценны уже тем, что идут от лица, вполне независимого по своему общественному положению, и которое вместе с тем, по тем официальным обязанностям, кои Борис Васильевич из гражданского чувства принял на себя в мировом институте, имело возможность наблюдать, так сказать, из окна rez de chaussée новые явления выходящей ныне из купели крестьянской реформы русской общественной жизни в нашей провинции.

– Как же-с, слышал, – произнес на это глухим и загадочным тоном Ягин.

Он с той минуты, как было произнесено имя Троекурова, и во все время, пока Паванов изливал музыкальные волны своей рекомендательной речи, поглядывал с каким-то будто недоброжелательным вниманием на Бориса Васильевича.

– О чем это именно изволили вы слышать? – несколько резко спросил его тот.

Желчь поднялась в нем.

– О вашей… деятельности, – подчеркнул как бы с легкой язвительностью Ягин, захватывая двумя пальцами с каждой стороны виски своего парика и передергивая его на черепе.

Глаза Троекурова блеснули мгновенным острым блеском… Но Паванов не дал ему времени на ответ. С чуткостью и находчивостью человека, до тонкости вышлифованного долгим трением всяких служебных и придворных отношений, он тотчас же угадал, откуда могло произойти взаимное нерасположение друг к другу двух лиц, встречающихся теперь очевидно в первый раз в жизни, и поспешил отклонить грозившее произойти от этого столкновение.

– Борис Васильевич, – заговорил он опять, – изложит нам, si le cœur lui en dit, весьма знаменательный, сколько я понимаю, факт революционной пропаганды, начинающей появляться уже не только в тесных пределах Васильевского острова, но и на широком просторе весей и сел средней России… А в связи с этим, – примолвил он подчеркивая, – мы услышим не менее заслуживающий внимания рассказ, как сам он или, вернее, один из его поступков, истекающий, так сказать, из всего синтеза этого факта пропаганды, попал в искаженной передаче в *Колокол* господина Герцена…

– Которому, между прочим, – вставил как бы en passant граф Анисьев, – нанесен недавно из Москвы весьма значительный удар[95]!

Лицо Ягина исказилось вдруг проступившею на нем злостью. Он передернул еще раз парик свой и проговорил, кривя губы на сторону:

– Причем поступлено противу всех цензурных правил… Петербургским органам печати запрещено воспроизводить эту *московскую,* – ядовито отчеканил он, – незаконно появившуюся статью и говорить о ней…

– Полагаю, это совершенно бесполезно теперь; впечатление свое она *произвела,* – улыбаясь, но с особенною вескостью в выражении возразил Анисьев.

Паванов быстро воззрился на него и тотчас же понял, что означала эта вескость в устах блестящего генерала.

– Дельно, сильно, смело! – поспешил он выразить со своей стороны одобрение с тацитовскою уже на этот раз сжатостью редакции.

– А разве против Герцена *нельзя* писать в России? – спросил, обращаясь к нему и принимая самый наивный вид, Троекуров.

– Nous sommes censés l’ignorer, – с тончайшей иронией ответил он, слегка склоняя голову.

Ягин, с подергивавшею его губы судорогой, уложил портфель свой на стол и, достав ключик из кармана брюк, принялся молча отмыкать замок.

– Да, Троекуров, в самом деле, что это за история про тебя в *Колоколе:* кого ты там у себя в княжестве нагайкой отстегал? – спрашивал между тем его граф Анисьев, держась все того же добродушного, товарищеского тона.

– Ну, это долго рассказывать, а я ухожу! – морщась отрезал Борис Васильевич и взялся за

шляпу.

– Attendez un moment, cher ami, – остановил его Паванов движением руки. – Je m'en vais conter cela pour votre instruction particulière, – обратился он к Анисьеву с грандиозностью уже совершенного олимпийца.

И с изумительною точностью, свидетельствовавшею о его замечательной способности к резюмированию – качестве, столь ценимом в совещательных собраниях, – принялся он, ничего не забывая, передавать все, что было сообщено ему Троекуровым.

Анисьев, сосредоточенно и внимательно покручивая свой длинный, à la Napoléon III, ус, прислушивался к его речи. Ягин, отомкнув свой портфель и вынув из него бумаги, передергивал парик свой с видом человека, для которого то, что его заставляют слушать, не представляет ничего занимательного, а еще менее важного по своему значению.

– Д-да, – залопотал он губами с каким-то не то бабьим, не то змеиным шипением, когда тот кончил, – очень печально, конечно, что молодой человек рассылал прокламации и попался после того в руки жандармов… Но ведь это не более как частный случай, из которого нельзя вывести никакого общего заключения.

– Ваше превосходительство позволите мне, надеюсь, не вполне присоединиться к выраженному вами мнению, – возразил Паванов, – студент, рассылающий и попадающийся, есть действительно факт акцидентальный, но факт нормальный – наш теперешний студент вообще, желающий заниматься не науками, а политическими утопиями.

– Он будущий гражданин, – и геморроидальное лицо Ягина озарилось при этом какою-то идиллическою лучезарностью, – он должен себя готовить к этому.

– Прокламациями? – неудержимо вырвалось у Троекурова.

Тот скривил губы опять:

– Свободою, которую следует предоставить ему…

– Какою? Губить других или самому идти в Сибирь?

– Прежде всего утверждением свободы не учиться, – пропел насмешливо Паванов, – этою столь дорогою русскому человечеству привилегией, которая поныне создавала ему завидное положение илота и парии цивилизованного мира.

Ягин изобразил ртом что-то, имевшее, очевидно, намерение быть принятым за улыбку, и зашипел опять своим змеино-бабьим голосом:

– Я всегда, вы знаете, ценю вашу аттическую соль и обширное образование, Алексей Павлович, – но в этом вопросе вы придерживаетесь, к сожалению, слишком традиционной точки зрения на предмет и не желаете как будто признать требований, выражаемых теперь так громко русскою печатью. Общественное мнение очевидно желает либерализма и реальности, как основных элементов в деле воспитания будущих наших граждан. Мы не можем идти против литературы и общества… Я привез вам, кстати, записку о предполагаемой реформе всей нашей системы образования на этих началах, – примолвил он уже шепотком, таинственно отводя Паванова несколько в сторону, – надеюсь, что вы не откажете содействовать нам вашим европейским взглядом…

Паванов был побежден. Он с умилением в чертах взглянул теперь на говорившего, взял его за руку и долго тряс ее, говоря, что он «отымет ото сна те недостающие ему, за обширностью занятий по собственному его ведомству, часы, которые он намеревается посвятить подробному изучению этой записки; в серьезном же достоинстве ее он уверен заранее, зная, под чьим *умелым* и *тонким* руководством она составлена» и т. д.

– Хорош? – подмигивал Троекурову тем временем Анисьев, отходя с ним к окну и кивая на Ягина.

– Как этакие люди попадают во власть! – мрачно молвил тот.

– Эвона! Точно ты не знаешь, кто за ним стоит. У нас, милый мой, человек на месте никогда не бывает сын своих дел, а всегда чья-нибудь креатура… Да, – вспомнил он, – твоего этого молодого человека, Юшкова, вчера привезли. Я имею сведение, что ему уже был дан допрос. Во всем признается, но никого из сообщников не называет…

– Очень просто, потому что какие же у него сообщники? Я присутствовал при арестовании его и разборе его бумаг; ничего не нашли, кроме клочков записки от этого негодяя Овцына, приглашавшего его на свидание. Он просто-напросто, как мальчишка, исполнил то, что приказал ему тот, ровно ничего другого не зная.

– Скажи, – спросил с любопытством Анисьев, – этот Овцын действительно тебе родня?

– По жене: он ей двоюродный брат.

– C’est un luron qui a du toupet! Он опять удрал за границу и прислал нам оттуда дерзкое письмо, в котором говорит между прочим, что проехал чрез нее в мундире жандарма… Врет, разумеется!..

– А я полагаю, что не только не врет, а что и мундир-то ему достал доброхот из того же жандармского ведомства.

Блестящий генерал пожал пренебрежительно плечами:

– Что ты хочешь, mon cher! Чтоб иметь верных и способных людей, нужны деньги. А в деньгах министерство финансов постоянно отказывает.

– А что же, долго, думаешь ты, продержат этого бедного юношу? От него, говорю тебе, ровно ничего выжать нельзя, кроме голого факта надписания им адресов на конвертах этих прокламаций и сдачи их в почтовую контору, – начал опять Борис Васильевич.

– Да, придется еще ему посидеть, пожалуй, – не сейчас ответил Анисьев.

– Для чего же это?

– Для очищения совести, милый мой. Делом о распространителях этих прокламаций очень интересовались, а захватить не удавалось пока никого. И вот нашелся наконец кто-то. Ну, само собой, с радости и позаймутся им подольше… Разве вот эта полемика против Герцена ему поможет, – промолвил он нежданно.

– Это как? – воскликнул в изумлении Троекуров.

Тот улыбнулся своею многозначительною улыбкой и вполголоса промолвил:

– On se sent beaucoup plus fort depuis qu'on a trouvé un appui inattendu dans la presse. А при этом, разумеется, исчезает внимание к мелочам, представлявшимся опасными…

– Надолго ли же вы окрепли? – спросил с невеселою усмешкой Троекуров.

– Само собою нет! – точно обрадовавшись, засмеялся его собеседник. – Nous serons immanquablement repris par le courant…

«Да что это у них: пароль и лозунг?» – чуть не с отчаянием подумал Борис Васильевич.

– J'espère, cher comte, que vous vous êtes entendus avec notre ami Troekourof? – любезно спросил, отрываясь от беседы с Ягиным и глядя на них через спину, хозяин кабинета.

– Мы с ним еще увидимся… Не правда ли? – промолвил блестящий генерал, горячо пожимая опять руку старому однополчанину, которого знал за человека «характерного» и потому почитал нужным «ублажить».

– Да, – сказал он с полуусмешкой, – предваряю тебя, что не уеду из Петербурга, как у вас здесь ни мерзко, прежде чем не добьюсь того, за чем сюда приехал.

– А ты, я вижу, – засмеялся Анисьев, – все тот же бедовый, comme dans le temps, когда, помнишь, чуть не, отправил ad patres бедного Ордынцева из-за beaux yeux Ольги Елпидифоровны Ранцовой, ныне княгини Шастуновой… A propos, mon cher, что это за глупые истории у нее с бельмерой?..

– «Истории» для нее всякие кончились, – отрезал Троекуров, – она на том свете.

– Что ты?

– Умерла вчера в Москве, в гостинице Шеврие, где я останавливаюсь…

Анисьев склонил голову и раскинул руками:

– Finita la comedia, значит! А ведь это тип был, милый мой, l'aventurière russe, а?..

Борис Васильевич, не отвечая, кивнул ему в знак прощания и направился к двери.

Паванов пошел за ним. Он, как это бывает с хорошенькими женщинами, чувствовал потребность *очаровать* и *заполонить* окончательно этого родственника своего, «строптивца», не поддавшегося, чувствовал он, легкому обаянию, которое мнил он производить на все, до чего лишь достигала сфера его сияния.

– Надеюсь, до свидания!.. Venez me voir sans façon, en cousin… en ami, – звучал теперь сладкою свирелью его голос, – vous ne rencontrerez pas toujours ici mon collègue Ягин, который вам, я видел, решительно не понравился, – шепнул он ему на ухо, ласково продевая руку под его локоть: – un homme d'esprit du reste, quelque peu… *Hlas,* – une nuance du *rouge,* comme vons le savez.

И новая очаровательнейшая улыбка, вызванная удовольствием, которое производило на него это его столь удачное собственное *mot*, расцвела на устах величественного сановника.

Они остановились у самых дверей. Троекуров молча и как бы рассеянно поводил глазами на него, на его «коллегов», ожидавших конца их разговора…

– Вы нас всех *судите* в эту минуту, я это угадываю, – заметил вдруг Паванов, – вы давно не видали Невскую столицу, ее официальный мир, и редактируете, теперь в голове из суммы вынесенных вами впечатлений ваш приговор о нем. Je serais curieux de le connaître, votre arrêt?

– Я вам скажу, – быстро вскидывая голову, сказал Борис Васильевич, – в России надеяться можно теперь лишь разве на одного Господа Бога…

– Très juste! – добродушнейшим образом согласился сановник и так же добродушно засмеялся. – «Il y a longtemps que les fonctions du русский Бог ont cessé d'être une sinécure», как сказал ce bon Тютчев…

VII

Nous ue sommes jamais populaires que par le mauvais côté de notre nature; la renommée est presque toujours la part du mal dans la vie de l'homme.

Capefigue.

Гениального человека я люблю несколько глупым.

Достоевский. Бесы.

Троекуров, выходя из этого казенного здания, – он чувствовал себя более еще, чем прежде, нервным и злым – сел в карету и велел себя везти в Большую Морскую, к Дюссо: он ничего не ел со вчерашнего дня и рассчитывал, что его дурное настроение успокоится вслед за утолением голода.

У Дюссо в первой комнате, кроме какого-то одиноко поместившегося у окна рыжеватого бакенбардиста, очевидно англичанина, методически посыпавшего каенским перцем поданную ему баранью котлету, – завтракали еще в эту минуту за отдельным столом, в противоположном входной двери углу, трое господ, оказавшиеся знакомыми Бориса Васильевича.

С двумя из них читатель имел уже случай встретиться мельком в самом начале нашего пространного рассказа. Один был тот самый меломан-фанатик с голым черепом и чертами лица, напоминавшими облик Сократа, рядом с которым сидел в Большом театре кавказец Троекуров в тот знаменательный для него вечер, когда, вместе с вестью о падавшем ему с неба огромном наследстве, решен был и вопрос о браке его с Сашенькой Лукояновой. Звали этого фанатика Топыгиным.

Другой назывался Самуров. Это была знаменитость. Превосходный пейзажист прежде всего, он владел, кроме того, способностью писать жанровые картинки, приходившиеся необыкновенно по вкусу его современникам. Далеко расходясь с отсталыми понятиями какого-нибудь Гёте, так наивно порицавшего в своих соотечественниках их «вечное искание *идей*, а *не впечатлений* в творениях искусства»[96], художник наш, напротив, бился изо всех сил провести хотя бы хвостик идейки в каждом из своих произведений… Самостоятельностью мышления природа, к сожалению, одарила Самурова в доле весьма несоразмерной с его талантом, но он восполнял этот недостаток прилежным прислушиваньем к тому, что в данную минуту представлялось ему «злобою дня», – вернее к тому, что составляло в эту минуту предмет толков в кружках «прогрессивных» редакций, – и компановал соответственно сему каждую свою картину. «Злобы» этой, благодаря артистическому своему такту, он впускал в нее à point, как бы мимоходом, не напирая на нее, а давая чувствовать едва намеченными бликами, тонкими, чуть не до робости иногда, штрихами. Но эта самая недописанность, эти намеки как бы исподтишка, при мастерстве его техники, обаятельной прелести его красок и филиграновой

отделке деталей, доводили зрителей до восторга и заставляли их предполагать в художнике глубину мысли, ни с чем не сравнимую. Крайние из его поклонников возводили его уже прямо в превосходительный ранг «носителя *народных* идеалов». Каждое из его полотен вызывало в печати целый ворох статей, в которых по поводу все той же «идеи» фантазия комментаторов разыгрывалась иногда до чертиков, до таких радикальных толкований, от которых осторожному художнику приходилось в иных местах открещиваться и руками, и ногами, но которые втайне доставляли ему величайшую отраду, укрепляя его в сознании своего «политического» значения среди соотчичей, – о чем наш менее всего одаренный разумением с этой стороны живописец пресерьезно вместе с тем всячески старался и хлопотал.

Троекуров знал его давно и ценил его дарование, но приязни между ними никогда не было. «C'est un poseur», – определял себе его внутренно Борис Васильевич. Самуров в свою очередь, объявлявший себя громко, да и почитавший себя и в самом деле «демократом», хотя сам по рождению и воспитанию принадлежал к хорошему обществу и чувствовал инстинктивное отвращение к невоспитанным людям, испытывал какое-то странное, словно гнетущее, а потому вызывавшее в нем чуть не враждебное чувство, смущение каждый раз, когда ему приходилось сходиться с этою, бесспорно, – он был слишком артист, чтобы не понять этого, – *аристократическою* натурой, сильною и независимою.

Гаврилкин, третий из завтракавших, был своего рода тип. Чистейший прежде всего продукт воззрений и обычаев петербургско-«западнического» журнального муравейника сороковых годов, забавный и изобретательный на выдумки как барон Мюнхаузен, невоздержный на язык как базарная кумушка, он обладал совершенно французским благёрством и неисчерпаемою *verve* злословия. Быстроглазый и юркий, он был друг и приятель со всем миром, – и про лучших приятелей своих и амфитрионов распускал рассказы самого мистического свойства, нарождавшиеся разом тысячами, словно весной цветы на лугах, в его необузданном воображении. Делалось это без всякого повода, даже без настоящей злобы. Он поносил и переносил, сплетничал и клеветал, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet, из неотразимой потребности своей уже так видно устроенной гортани. И чем ближе были к нему люди, тем старательнее выводил он по адресу их эту свою птичью песню… «Для этого у него нерв такой уж особенный, феноменальный существует», – пресерьезно утверждал Топыгин, не раз выручавший Гаврилкина в трудные минуты жизни, и про которого за это и тот, клянясь и бия себя в грудь в подтверждение «святой истины» своих слов, рассказывал в кругу общих их друзей, что Топыгин простирал «мерзость своего скаредничества» до того, что «содрал парчу с гроба родного отца и продал ее жиду, – даже выискал для этого совсем особенного жида-Шейлока, злющего ненавистника христиан, чтоб испытать при этом полное *сладострастие от своего святотатства»…*

Троекуров, с которым он был знаком, как был знаком со всем миром, возбуждал в нем еще более, чем в Самурове, неприязненное к себе чувство. Учтивая холодность Бориса Васильевича, его как бы несколько брезгливая сдержанность придавливали Гаврилкина. «Не подойдешь к этому человеку ни с какой стороны», был он принужден уже давно сознаться, после многих попыток своих войти с «этим человеком» в ту интимность, которая давалась ему так легко с другими, более мягкими или распущенными по натуре, лицами одного положения с Троекуровым… Завидев в отверстии раскрывшейся двери его высокий облик, он обменялся быстрым взглядом с Самуровым и тотчас же быстро опустил глаза в тарелку.

Топыгин, напротив, питал к Троекурову некоторую слабость… Это был *эстетик* до мозга костей, последний, быть может, из тех абсолютных эстетиков пушкинского периода, подобных которым давно отказалась производить упитанная «либерализмом» и «реальностью» почва Российского государства… Страстный и необычайно тонкий знаток «красоты» в обширнейшем и притом *языческом* смысле этого слова («Un bien aimable rayeи!» – говорил про него Тютчев

со своим прелестным, незлобным остроумием), он владел какою-то неиссякаемою способностью наслаждения, выискивая его на протяжении всей лестницы явлений, от которых может ожидать человек радостей на земле: в искусстве и природе, в хорошем вине и гастрономическом обеде, в философской беседе, как в запахе цветов, в женской пластике, как в античном культе героев… В Троекурове Топыгин ценил *кровь,* то есть то именно, отчего поводило внутренно сидевших с ним теперь рядом приятелей.

Он вскочил с места, едва тот вошел в комнату, и побежал к нему с протянутыми руками:

– Здравствуйте, здравствуйте, country gentleman! Давно ли вы и куда?.. Да к нам, сюда, прошу, все знакомые люди… Садитесь, sir, садитесь!..

Предложение в первую минуту заставило Троекурова безотчетно поморщиться: он чувствовал себя далеко не расположенным к разговору… Но отказываться не приходилось.

– Если дозволите, – ответил он, подходя к столу и обмениваясь рукопожатиями с сидевшими за ним.

– Сюда вот, любезный, сюда куверт! – приказывал Топыгин, указывая подле себя место прислуживавшему им татарину, суетясь и весь расплываясь в патоку, как бывало это обыкновенно с ним, когда он был в хорошем расположении духа, – и немедленно затем зашептал Борису Васильевичу: – Летом кухня здесь не ахти мне, но есть turbot свежий; спросите непременно au naturel и к нему кабуль-сою, а затем стаканчик шабли, вино здесь не дурно… А мы вот все, как видите, завтра улетаем dahin, dahin, – подмигнул он: – сначала на Уайт, а там, в октябре, в Рим!.. Петенька, – прервал он себя, обращаясь к Самурову, – а в Бордо по пути заедем, а? Непременно заехать надо к божественному Жозефу!

Он неожиданно ухватил за коленку севшего подле него Бориса Васильевича и, наклоняясь к нему с совершенно масляными глазами, зашептал опять, словно весь замирая от блаженства:

– Есть так, как едят у этого Вателя, у этого Юлия Цезаря кулинарного искусства, могли только одни бессмертные боги Олимпа! Это dernier mot, Алкидовы столбы гастрономической науки!

Самуров засмеялся и, кивая на приятеля:

– Он был доведен обедом у этого Жозефа до такого азарта умиления, что когда тот под конец его принес нам карту, он кинулся к нему, рыдая в голос, и поцеловал его в плечо.

Топыгин мгновенно озлился и зашипел:

– Ну и поцеловал, и поцеловал, что ж такое! он этого заслуживал. А ты это единственно по невежеству своему глумишься, потому что ты только притворяешься европейцем, а на самом деле предпочитаешь бок с кашею всей утонченной прелести цивилизованной кухни!..

Это было так неожиданно, что Троекуров, вслед за покатившимся со смеха Самуровым, готов был и сам расхохотаться, – но сдержался и спросил:

– А хорош остров Уайт? Я никогда там не был.

– Не были на Уайте! – так и выстрелил Гаврилкин: это, понимаете, Victoria rcgia в цвету, опущенная в океан. Приедешь туда – и замлеешь, замлеешь весь, сорок восемь часов сряду на одном месте сидишь и только потом священного восторга обливаешься… Вы только представьте себе: над вами лазурь, – понимаете, лазурь, blau de Prusse с нежно-серо-фиалето-

розовым отливчиком: у ног ваших Альпы, – Альпы океанских волн, сепия-зеленых, подкрашенных чуть-чуть легонькою голубизною, и в них вы видите, собственными глазами видите, как свиваются уродливыми клубами все эти морские гады шиллеровского *Кубка,* и млат водяной, и уродливый скат… и la pieuvre, понимаете, la pieuvre, чудовище, неслыханное, в две версты, чудище океана… А кругом вся эта подавляющая вас цивилизация великой Англии: рододендроны, розы grandiflora, – леса, понимаете, сплошные, трехсаженные леса роз и рододендронов, газоны нежнейшего нюанса vert-pomme, подстриженные женскими туалетными ножницами… И по ним, понимаете, скачут вальтерскоттовские Дианы Вернон и Флоры Мак-Ивор в рембрандтовских шляпах с огненными перьями… Или катит на вас в раззолоченном *поничезе* отставной какой-нибудь индийский набоб из Лагора со слугою цвета bronze-antique на заднем сидении, в кисейной чалме с бриллиантом величиною вот в эту рюмку… Сидишь, говорю вам, и млеешь в священном восторге, млеешь, а на душе у тебя в то же время так и воротит. «А ты-то, думаешь, что, Федора ты глупая, голопятая, дырьем протыканная, в гнилье взрощенная, на какого черта проскрипела ты тысячу лет? А еще претензию на звание «отечества» изъявляешь, когда вся-то ты вместе взятая, «от моря до моря», этого одного малого уголка земли свободного и просвещенного народа не стоишь…

– Да, в России жить нельзя! – проговорил к этому на манер сентенции Самуров.

Троекуров говорил себе чуть не то же самое все это последнее время, но почувствовал себя вдруг точно обиженным, услыхав от чужого эту мысль, громко выраженную словом. Он прижмуренными глазами скользнул по лицам говоривших и обернулся к Топыгину.

– Вы на острове Уайте увидите вероятно Герцена: он там ведь, кажется, летом живет?

Эстетик как бы внезапно смутился:

– Не знаю, право, не знаю, увижу ли… – пробормотал он.

Самуров в свою очередь прищурился теперь внимательно на Троекурова.

Тот усмехнулся и продолжал:

– В случае увидите, скажите ему от меня…

Топыгин не дал ему кончить, поспешно закачал головой и участливо зацыкал языком:

– Да, да, – вспомнил он, осторожно оглядываясь, – он вас там где-то задел…

У Гаврилкина даже веки запрыгали от удовольствия.

– Д-да, – привздохнул он, принимая озабоченный вид, – было что-то очень злое про вас, помню… Это очень неприятно; какой-нибудь вероятно корреспондент с ветру сообщил, и вдруг тебя по всей России разносят… Герцен сам, поверьте, сам будет жалеть, если вы ему объясните, – причитал он как бы в виде утешения, жадно выискивая между тем на лице Бориса Васильевича ожидаемый им признак смущения; – на Герцена сердиться нельзя: это, понимаете, квинтэссенция ума, возведенная в нескончаемый фейерверк; когда он говорит, вы видите, как у него бенгальские огни в ведро объема из глаз вылетают, ярко-пурпурового цвета огни, понимаете, все огни, огни без конца!..

Троекуров поглядел на него снизу вверх своими стальными глазами:

– Мне нечего «объяснять» этому «фейерверку»; сообщение про меня, напечатанное в

Колоколе, совершенно верно.

Все глаза так и впились в него…

«Не хуже чем на Паванова эффект произвел», подумал он, и невольно презрительный смех пробежал по его губам: «приходится снова-здорово рассказывать сказку про белого бычка».

– Я действительно отхлестал *нагайкой,* – подчеркнул он, – одного молодца, который, как мне известно, был у него в Лондоне, а оттуда явился возмущать крестьян в моем мировом участке… и творить всякие иные мерзости… Негодяя этого арестовала затем полиция и тут же выпустила на все четыре стороны. Он опять за границей теперь, а за него отсиживается в III Отделении несчастный мальчик-студент, которого он подбил разослать по почте привезенные им из того же Лондона прокламации… Вот это самое, – заключил Борис Васильевич, обращаясь опять к Топыгину, – и хотел я вас просить передать господину Герцену в дополнение того, что ему известно обо мне.

Гаврилкин не то недоумело, не то испуганно повел теперь глазами в сторону Самурова; но тот не отвечал на его взгляд.

– Непременно передам, если увижу, непременно! – говорил между тем, понизив голос, Топыгин Троекурову; – это ведь в самом деле нельзя-с, и я вот это даже сейчас ему доказывал, – он кивнул на Самурова, – не хорошо, говорю, Петенька, не благовидно! В Москве совершенно верно ему замечено: сидят они с Огаревым безопасно за морем, от нечего делать в набат бьют, а молодые олухи здесь из-за их звона сдуру в драку лезут, бараньими лбами в нерушимую стену прут… Ведь глупо, говорю, Петенька, не оригинально и не эстетично: не революция, – карикатура, лубочная картина выходит!..

– Да я с тобой и не спорил, – прервал его художник, – я давно уже во многом не схожусь с Герценом. Я старый либерал, это правда, но я и старый монархист, – как бы заторопился он опять заявить.

Борис Васильевич вскинул на него глаза… и тут же опустил их.

Эстетик зато так и накинулся на приятеля (он не успел переварить до сих пор его анекдота о Жозефе в Бордо):

– И ни тот, и ни другой, и ничевошеньки-таки подобного ты из себя не изображаешь, отложи попечение! – воскликнул он: – ты артистическая натура, и слава Богу, а политического смысла у тебя как у щегла…

Глаза его вдруг увлажнились, и он заговорил опять с каким-то уже будто жалостливым оттенком:

– Ты, Петенька, в своем роде Гвидо Рени, живописец прелестный, – не «гениальный», этому ты не верь, это одни дураки с невежества своего большого про тебя пишут, – а милый, милый,

Как первой юности грехи,
Как Богдановича стихи, —

вкус это у тебя, красочки деликатные, в меру, *пятна* приятнейшие на взгляд, вырисовано, а где не дорисовано, – всегда с расчетцем, ровно всегда, как нужно для эффекта. Ты европейский художник, Петенька, и я тебя люблю и ценю, ты знаешь, – ты наша честь и даже кумир… А политического смысла у тебя все-таки как у перепела, многоуважаемый, а характера и того

меньше…

Гаврилкин, весь уйдя взглядом в стоявший пред ним недопитый стакан, покусывал себе губы до боли, чтобы но выдать глубокой внутренней радости, возбужденной в нем этим «отчитыванием» приятеля, но не выдержал до конца и, наклонившись к уху Бориса Васильевича, по другой стороне которого сидел он, шепнул ему стих из сочиненной им на Самурова эпиграммы, намекавшей на слабость не то воли, не то желудка нашего художника:

И лавр его *александрийский* лист…

«Гвидо Рени» отвечал между тем на выходку Топыгипа самым добродушным смехом, как на буффонаду, за которую рассердиться было бы смешно:

– Эка чем уколоть вздумал, – характером! Да в русском народе, известно, на 100 человек можно наверно начесть процентов 60 умных, 20 даровитых, а с характером много что одного.

– Да и кто этот *один?* – поспешно добавил к этому Гаврилкин, – в какой среде вы его найдете? Целовальник брюхан, высосавший кровь из мужицких жил на 20 верст кругом, да квартальный из *усердных,* избивающий по двадцати морд в сутки! Ведь никакой иной *силы,* кроме кабачества и мордобития, не способна «Российская земля родить!..»

– Я впрочем готов в некоторой степени оговориться, – начал Самуров, многозначительно щурясь: – из молодого поколения выступают у нас теперь характеры, замечательно яркие и с которыми придется считаться…

Но не угомонившийся еще Топыгин не дал ему продолжать:

– Это кто же такие, Петенька, кто же такие, ты скажи? Те вот, может быть, по-твоему, что в Лондон к Герцену напоказ себя ездят? Так ведь ты, кажется, очень хорошо знаешь, как он их разумеет! Человек он сам все же воспитанный, культурный, – только руками разводит он, на них глядя, хохочет: «Сбросили с себя, говорит, все покровы и щеголяют в костюме гоголевского Петуха, не сохраняя даже позы Венеры Медицейской»… Ведь ты пойми, Петенька: блузник на баррикаде, так в том хоть живописность есть, краски…

– Раса видна, ра-а-са! – вставил, весь заходив на своем стуле, Гаврилкин, выводя даже пальцами что-то имевшее повидимому изобразить собою «расу».

– А тут ведь, – шипел Топыгин, приходя все в более и более раздраженный и ядовитый пафос, – тут семинар худосочный, да кадет-идиот, разночинец всякий недоучившийся, тупицы меднолобые, чурбаны беспардонные, для которых что друг другу в харю, что в Сикстинскую. Мадонну харкнуть – все единственно! Ты это пойми, Петенька! Ведь этакой российский Прудон в праздничные дни руки яичным желтком с золою моет; от этого василеостровского Сен-Жюста селедкой с луком разит!..

Самуров, казалось, очень забавлялся этим потоком язвительной брани, изливавшимся из уст приятеля. Но прищуренные глаза его то и дело направлялись в сторону молча прислушивавшегося к ней Троекурова. Он чувствовал в нем *серьезного* судью «всех их», всего того круга понятий и бесцеремонного обращения, в который все они давно велись, – и это раздражало его гораздо более, чем издавна привычное ему желчное «паясничанье» Топыгина. «Черт же тебя побери! – подумал он, – я вот тебя сейчас огорошу!»

– Блузников, «la sainte canaille», любезный друг, я сам видел à l’œuvre в Париже, в июньские дни, – ответил он эстетику, – «живописного» в них ничего не было, и «разило от них если не

«луком», так еще хуже, – чесноком, до которого, как тебе известно, каждый француз такой же большой охотник, как и ты сам, Вителлий наших дней! Но для тебя, старого, развращенного римлянина времен падения, для тебя нет человеческой драмы без театральной помпы, без амфор и курений, без патрициев, увенчанных розами. А я, – зашепелявил он во весь рот, с заметною рисовкой в тоне и выражении лица, – я сын своего века, любезный друг, я демократ от младых ногтей. Я жутко и страстно, признаюсь, люблю грязные лохмотья, под которыми бьется мужественное гражданское сердце. Пусть этот «семинар», вышедший из народа, некультурен и туп, но он пионер идеи, он несет, что ты там ни делай, священный сосуд новой правды, имеющей напоить будущие поколения. Он не жалеет для этой идеи положить свою жизнь, и я не жалею о нем. Ему так и суждено погибнуть, – «век наш жертв очистительных просит», – он и погибает молча и гордо. Я не жалею о нем, повторяю, он свое дело сделал и удовлетворен им, но не могу не любоваться и не благоговеть пред *этою* с-с-силой, – визгнул даже в заключение «носитель русских *народных* идеалов» от избытка сочувствия.

– В каком же это качестве «любуетесь» вы и «благоговеете», – спокойно спросил его через стол Троекуров, – в качестве *«старого монархиста»?*

«Гвидо Рени» даже в краску бросило; он не нашел ответа. Топыгин хихикнул, потирая руки. Гаврилкин растерянно повел глазами на Самурова, как бы не зная, радоватьея ему или негодовать…

– К вам-с тут от графа Анисьева чиновник приехал, – полугромко доложил Троекурову официант-татарин, наклоняясь к нему.

При звуке этого имени, лица трех из приятелей, отправлявшихся на остров Уайт, как-то странно вдруг вытянулись и переглянулись, а глаза погрузились в тарелки.

– Где он? – спросил Борис Васильевич, подымаясь с места – он кончил завтракать – и сдерживая улыбку, просившуюся ему на губы.

Он прошел в первую комнату.

Ожидавший там чиновник (разыскавший его здесь по догадке), передал данное ему поручение, состоявшее том, что «его сиятельство граф Андрей Николаевич», то есть Анисьев, приглашал Троекурова откушать у него сегодня *запросто* на даче на Каменном Острове в пять с половиною часов.

– Хорошо, скажите: буду! – отпустил его тот и, воспользовавшись этим, велел слуге вынести ему шляпу, оставленную им в столовой, расплатился у конторки и направился к своей карете.

«Кто же здесь кого мудрее и кто кому страшнее, – спрашивал он себя, давая теперь волю своему невеселому смеху, – правители или эти выразители *общественного* soi-disant *мнения*?..»

– Претят мне, признаюсь, эти российские переделки английского лордства! – уронил свысока Самуров, как только остался он один с приятелями (его всего коробило внутренно от глубоко оскорбительной для него в ее небрежном спокойствии отповеди ему этого «российского лорда»).

Топыгин зацыкал опять и закачал головою:

– Нет, Петенька, не хорошо, не эстетично!.. Не вышло у тебя, Петенька! Все думаете – вороны, ан сокол вылетел, под кустик пришлось… А еще меня Жозефом уязвить хотел!

– А сам ты что же, – возразил «Гвидо Рони» с очевидным намерением уколоть его в свою очередь, – с тех пор, как in der Stadt Moscou Герцена развенчивать вздумали, в благонамеренность пустился?

Эстетик так и ощетинился:

– Один Господь Бог и дураки, Истенька, никогда не переменяют мнений, и ты только по скудоумию своему этого не разумеешь!..

Гаврилкин поспешил отвести дальнейшую грозу.

– Я только удивляюсь, Вася, – заговорил он медовым, подольщающимся голосом, – как это ты с твоим умом так легко впадаешь в заблуждение! Что ты в этом *кабардинце* — отлично расщелкал его Герцен, отлично! – что ты в нем нашел? Герцога Девоншира разыгрывает из себя теперь господин, а в свое время у Ольги Елпидифоровны Ранцовой – ведь вместе мы у нее с тобой бывали, когда был он с нею в связи, – по сотенным бумажкам таскал, да заставил ее подписать за себя векселей на пятьдесят тысяч…

– Ну и соврал по обыкновению, Федя, махровую ложь сочинил, любезный мой! – прервал его тот.

Гаврилкин заколотил себя обеими руками в грудь:

– Верно тебе говорю, верно! На пятьдесят тысяч, ни копейкой меньше. Муж ее, зверь этакой, бурбонище непроходимый, исколотил ее за это до полусмерти и кинул, а тут подвернулся Наташанцев-покойник. Он эти деньги и заплатил – княгиня Андомская, дочь его, кому хочешь, громко рассказывает… А Троекуров твой до сих пор денег этих не вернул, цинически, понимаешь, цинически отказался; жаден он до омерзения и нагл… Слышал, сам признается: «Побил, говорит, это верно, нагайкой отдул»… Он, я знаю доподлинно, действительно в гроб заколачивает людей, понимаешь, в гроб, собственноручно, по-русски, и если бы не его деньги, да в другой стране, давно бы ему галерное ядро на ногу набили…

– Ну, тебя слушать! – махнул на него рукой Топыгин и потребовал счет.

VIII

S’il ne te faut, ma soeur chérie,
Qu’un baiser d’une lèvre amie
Et qu’une larme de mes yeux,
Je te les donnerai sans peine…

A. de Musset, La, nuit de mai.

Gönnen Sie mir lieber eine Blindheit, die mieh mit meinem Loos versöhnt!

Schiller. Kabale und Liebe.

Александра Павловна Троекурова только что вернулась из детской и, сидя за письменным столом у окна своего будуара, сводила какие-то счеты, когда к ней вошла княжна Кира.

С отъездом Бориса Васильевича прошло всего дней шесть, но за это время весь уже строй жизни во Всесвятском успел принять какой-то минорный тон. Тоскливым безмолвием веяло в приемных обширного дома; праздные слуги скучливо бродили по двору с опухшими ото сна

лицами; лишенный «поощрения» француз-повар подавал невзыскательной хозяйке каждый день все те же «veau à l'oseille» и «asperges en branche». Сама она проводила с утра до вечера время с детьми, завтракала и обедала в их комнате, чтоб избежать скуки трапезовать одной в большой столовой со всею тою обрядностью сервировки, которая заведена была ее мужем и соблюдалась в доме. Княжна продолжала болеть или сказываться больною и выходила из своего павильона лишь поздним вечером, бродя тогда одна по целым часам в темных и пустынных аллеях сада. Александра Павловна заходила к ней в течение дня, «по чувству долга», как говорила она себе внутренно, но посещения эти были не долги: молодая женщина не могла не заметить, что она докучала ими своей двоюродной сестре, что на заботливые спросы о ее здоровье та отвечала не то смущенно, не то досадливо короткими периодами или даже междометиями, отымавшими всякую охоту, чтобы не сказать возможность, продолжать разговор. А между тем «с ней что-то нехорошее деется, – рассуждала Александра Павловна, глядя на заметно осунувшееся за эти дни лицо княжны, на темные круги, образовавшиеся под ее глазами. – и голос такой странный у нее стал, обрывистый и язвительный, – точно *оборвать* хочет, точно сердится… за что?..» И загадочная еще, но с каждым днем все сильнее дававшая себя чувствовать тревога, вместе с горечью все так же живого в ней, колючего воспоминания о нежданной и непонятной «сцене», сделанной ей мужем накануне отъезда, обымала у ней душу у самой словно каким-то давящим кольцом…

Она быстро обернулась на заслышанные ею за собой шаги.

– Ах, Кира, здравствуй! Я вот кончила счеты и хотела к тебе. Ты вышла наконец из твоей *берлоги* — я очень рада… Что это у тебя, письмо? – быстро спросила она, указывая кивком на сложенную четвертушку бумаги, которую та держала в руке.

– Доктор приехал, – молвила вместо ответа Кира.

– Кто? наш, Николай Иванович?

– Да.

– Где же он?

– Зашел на селе в больницу; сейчас будет, велел сказать…

– Ах, как я рада, что он наконец приехал! – вскликнула Александра Павловна. – Дети, слава Богу, здоровы и не нуждаются теперь в нем… Но тебе надо непременно с ним посоветоваться. Ты посмотри, какая ты желтая! Ты сегодня опять дурно спала?

– Нет, мне лучше, – отрезала Кира, глянула в окно, прижмурилась как бы от солнца и, помолчав, промолвила чуть-чуть дрогнувшим голосом:

– Я еду в Москву завтра, Сашенька…

– В Москву… завтра! – могла только пробормотать та в изумлении. – Для чего же это?

– Я тебе давно говорила – мне нужно, – с нетерпеливым оттенком в интонации, все так же через ее голову глядя в окно и жмурясь, отвечала княжна, – Сережа продает свой арбатский дом, мне надо перевезти оттуда библиотеку мою и монеты.

– Да разве так спешно это… И не могла бы ты кому-нибудь поручить?..

– Нет, я решилась, я хочу сама…

Голос Киры зазвучал при этом резким, деревянным каким-то звуком.

– Доктор прислал мне сейчас вот *это* из вашей московской конторы, – промолвила она мягче, протягивая ей смятую нервным движением ее пальцев бумагу, обратившую на себя с первого взгляда внимание Троекуровой.

Та взяла ее, развернула бессознательно дрожавшею рукой и начала громко:

«По приказанию Бориса Васильевича, управляющий покровским домом честь имеет известить ваше сиятельство, что к приезду вашему покои в оном доме состоят готовыми, а также очищена комната для склада книг и прочих вещей»…

– Разве ты говорила Борису, что думаешь… *теперь* в Москву? – быстро, не дочтя, спросила Александра Павловна, вскидывая глаза на кузину.

– Говорила… конечно, если уж он приказал, как видишь…

– Когда же? Ты была больна и не видалась с ним перед его отъездом?

– Ах, Боже мой, прежде!.. – пролепетала Кира, чувствуя, что кровь подступила ей под самые глаза и что она ненавидит в эту минуту эту заставляющую ее стыдиться и краснеть женщину.

Она торопливо тронулась с места и направилась к двери.

– Кира, куда же ты? – чуть не стоном вырвалось из груди Александры Павловны. – Погоди немножко, я хотела спросить тебя…

Княжна приостановилась, обернулась на нее:

– О чем?

– Да сядь, куда ты спешишь? – молящим уже голосом проговорила Сашенька.

Та, вдумчиво сдвинув брови, поглядела на нее и, как бы сказав себе: «этого не избегнешь», опустилась в кресло против нее.

– Ты меня хочешь спросить, – молвила она, угадывая и предупреждая ее вопрос, – вернусь ли я сюда?..

– То есть, *скоро ли* ты вернешься? – испуганно поправила Александра Павловна.

Странная, полуотчаянная, полубеззаветная усмешка скользнула по губам княжны:

– Никогда, *во всяком случае!* – подчеркнула она.

Ноздри ее затрепетали, зеленые глаза загорелись и тут же потухли…

– Что же это значит, Кира? – вымолвила Сашенька через силу.

– Просто решила так, и так будет!..

Та растерянно оглянула ее:

– Куда же ты?..

– За границу.

– В Женеву опять?

Княжна не отвечала и, опустив веки, судорожно забарабанила оконечностями пальцев по мозаичной глади столика, подле которого сидела она.

Александра Павловна воззрилась молча в ее бледное, сумрачное и страдающее лицо, стараясь прочесть на нем тот тайный помысел, в котором, она понимала, следовало искать разгадку такого внезапного решения со стороны «этой сумасбродницы», как называла она в душе двоюродную свою сестру… И вдруг озарило ее как молниею: «*Она*, – сказалось ей теперь совершенно ясно, осязательно, непреоберимо, – она почувствовала, что влюбилась в *него,* в моего Бориса, испугалась этого и решилась бежать от него, и выбрала нарочно это время, когда самого его нет, чтобы не было ей так тяжело уезжать. Oh, qu'elle est noble, et grande!» – пронеслось в заключение в мозгу молодой женщины, по невинной привычке, усвоенной еще со времен воспитавшей ее гувернантки m-me Durand, выражать самой себе «высшие чувства» не иначе, как языком французского романса. И вслед за этим откровением и за этим сознанием «великодушия и благородства» Киры она почувствовала вдруг что то нечто, что глухо, но мучительно, как зубная боль, ныло у нее на душе все это время, стихло вдруг как по манию волшебного жезла, и что вся она расцветала опять роскошным цветом прежнего безоблачного счастия. Она бессознательно вздохнула глубоким вздохом, как вздыхает утопленник, возвращаясь к жизни… И тут же исполнилась такой же глубокой жалости к *ней,* к той, «которой подобного счастия не дано, которая должна бежать на другой конец Европы, чтобы не видать его, не завидовать ему»…

– Кира, милая, – прошептала она, наклонясь к ней через стол, овладевая ее рукою и нежно сжимая ее в своей, – если ты уж непременно хочешь, если ты… считаешь для себя *необходимым* уехать, я тебя не стану уговаривать. Не навеки же мы расстанемся. На будущий год мы непременно поедем за границу… и там я уж непременно отыщу тебя, где бы ты ни скрывалась. Но зачем тебе непременно *завтра* ехать? Подари мне еще несколько дней! Борис не пишет, и это верно значит, что в Петербурге его удерживают и что он не так еще скоро вернется… А без него, да еще если ты уедешь, я останусь здесь совершенно сиротой, – примолвила она с улыбкой, ласково отыскивая глазами ее глаза.

Княжна вскинула их на нее на миг и высвободила свою руку:

– На что тебе я!.. Да и он на что тебе, в сущности? – как бы неудержимо сорвалось у нее с языка. – Разве ты не вся детьми живешь?..

– Я и мужем также живу, Кира! – расширив свои большие глаза, возразила Сашенька.

– Но разве дети тебе не дороже? – быстро и жадно выговорила та. – Разве ты не чувствуешь, что связь твоя с ними неразрывнее, чем с ним?

– Не знаю… Я не знаю, где у меня кончается любовь к детям и начинается к нему, и наоборот.

– А он, как ты думаешь? – спросила вдруг Кира словно вызывающим голосом.

– Что «он»? – недоумело повторила Александра Павловна.

Княжна ответила не сейчас: губы ее повело судорогой.

– Ты никогда не представляла себе, что он может перестать любить тебя?..

– За что? – вся переменяясь в лице, вскликнула Сашенька.

Та пожала плечами:

– Разве для этого причины нужны… разве кто может повелевать своим сердцем, когда оно увлекает тебя? – как бы со злостью добавила она.

«Бедная! – сказала себе Александра Павловна. – Это она себя разумеет…» Но только что смолкшая в душе молодой женщины тревога заклокотала в ней, она почувствовала, с новой язвительною силой…

– Побеждать себя должно… мы на то – христиане, Кира, – вымолвила она веским, непривычным в устах ее тоном, – ты не сердись на меня, милая, но, мне кажется, ты слишком наслушалась того, что тебе тогда еще, в Москве, проповедовал Иринарх, ce garçon perdu…

– Иринарх! – повторила презрительно княжна. – К чему ты его сюда приплела?

– Нет, я так… Я знаю, что ты слишком умна и честна, Кира, чтобы сделать сама что-нибудь дурное… Напротив, ты всегда не о себе думала, а о счастье всех людей…

– Ты только так *говоришь,* я понимаю, но в твоих словах мне послышалось то же, что проповедовал тогда Иринарх о «свободе любви»…

Княжна прервала ее с неудержимою горечью:

– Вообрази, как легко тебе в свою очередь «проповедывать» о самоотречении, – тебе, которой судьба *все* дала… тебе, – говорила она с возрастающим волнением, – не допускающей, чтобы человек, связанный с тобою, осмелился даже мечтать о счастье ином, чем то, какое способна *ты* дать ему!..

Александра Павловна подняла глаза – и гордая княжна Кубенская безвольно и безвластно опустила мгновенно пред ними свои, словно ослепленная никогда еще невиданным ею выражением на побледневшем теперь как полотно лице двоюродной сестры. В античных чертах этого лица сказывался ей какой-то неотразимый, строгий до беспощадности приговор.

– Не допускаю, Кира, это правда, – проговорила молодая женщина металлически зазвеневшим голосом, – я этого «связанного со мною человека», то есть *мужа* моего, люблю более жизни, но и уважаю его настолько же… А если бы когда-нибудь я потеряла это уважение, все между нами было бы кончено!..

Ноздри княжны дрогнули еще раз; высокомерная усмешка зазмеилась в складках ее губ:

– Да, это называется эгоизмом… Но, впрочем, твое дело! – уронила она, вставая, с притворным равнодушием, между тем как руки помимо ее воли дрожали у нее нервным ознобом. – Я пойду укладываться… Прикажи, пожалуйста, чтобы лошади мне были завтра утром к семи часам готовы; я хочу приехать в Москву еще засветло.

Она кивнула и вышла из комнаты.

Александра Павловна растерянно глянула ей вслед. Грудь ее высоко подымалась, проступившие внезапно слезы туманили глаза. Но она не умела бы отдать себе отчета в том, что вызывало их теперь. В голове ее было смутно, на душе ныла еще *беспредметная* горечь… Она прежде всего не допускала, не хотела допустить, чтоб он, ее Борис, был здесь «в самом

деле при чем-нибудь». Кира «с досады», рассуждала она, кинула ей этот «намек». Но разве это возможно, разве «этот благородный Борис» способен был бы «на низкий обман», на «то, после чего *все, все было бы кончено?..*» Нет, он ценит ум, познания Киры, он очень был рад, когда она во время его болезни служила ему письмоводителем, «но больше ничего»… Сашенька вспомнила, как она в то время «ревновала его» к Кире. Но он тогда же, при жене, сказал однажды ей: «Вы чиновник, а не женщина, княжна!» (Сашенька «ужасно» обрадовалась тогда этому его замечанию.) А теперь, уезжая, «опять был даже неучтив», не потрудился зайти проститься к ней, к Кире… Нет, Борис «чист, как стекло». Кира «нарочно»… Она тоже благородное существо и уезжает потому, что знает, что любить женатого человека – преступление, но все же, malgré elle, хотелось бы ей, чтоб и он хоть немножко *отвечал* ей… «Бедная, бедная, через какую муку должна переходить она теперь!» И Александра Павловна решила мысленно, что ни от чего иного, как от участия к «бедной» Кире, так болезненно ныло теперь в собственной душе ее, и жгли ее эти слезы, проступавшие из-под ее ресниц…

– Николай Иваныч, доктор, наш беглец, прибыл, – выходя с веселым лицом из двери соседней с будуаром спальни, доложила ей в эту минуту Анфиса.

– Да, я знаю, – быстро проводя платком по глазам, ответила ей барыня, – княжна сейчас здесь была, говорила…

– А княжна от себя вышли сегодня? Ну и слава Богу, поправилась, значит.

Александра Павловна качнула немедленно головой и вспомнила при этом:

– Она завтра в Москву едет. Скажите Скоробогатову, чтоб ей завтра к 7 часам были готовы лошади и карета.

– Едут… в Москву? – повторила обрывисто Анфиса.

– Да.

– Надолго, изволите знать?

Троекурова подняла на нее глаза: ее поразил как бы тревожный оттенок в тоне этого вопроса, а еще более теперь озабоченный вид лица, с каким глядела на нее в свою очередь спрашивавшая в ожидании ее ответа.

– Она сюда не вернется, – уныло примолвила она.

– Что же-с, в Москве останутся жить?

– Нет, она за границу хочет опять.

– А в Москве не в Покровском ли доме думает остановиться? – последовал новый, поспешный вопрос.

– Да… Борис Васильевич велел там приготовить… Вы почем же это знаете? – с изумлением спросила Александра Павловна.

– Барыня!.. – вскликнула вдруг и оборвала тут же синеглазая женщина.

– Что?

– Ничего, нет-с, – поспешно промямлила Анфиса, между тем как красные пятна выступали у

ней на лице, – я так… я по своему разумению так понимаю, – сказала она через миг, пытаясь усмехнуться, – что вместо чтоб им без толку ездить с места на место, выйти бы скорей княжне замуж надо за хорошего человека…

Александра Павловна громко вздохнула:

– Ах, и есть такой человек, милая, и если б Кира серьезно захотела, это бы уже давно сделалось, я уверена… Но у нее другое на мысли, – слетело у нее как-то невольно с языка.

– То-то-с, – живо проговорила Анфиса с тем же озабоченным видом, – а от эвтого что же хорошего окромя что несчастия себе и другим?..

– Почему вы так думаете?.. – пробормотала растерянно молодая женщина, у нее задвоилось в глазах.

– Ничего я не думаю, Александра Павловна, – смущенно ответила та, отводя свои в сторону, – а только что, как по своей собственной жизни я судить могу, с настоящей если дороги сбиться, так и в пучину бездонную, говорится, не трудно попасть… А как я при княжне в услужении была и у вас теперича, и ихний характер поняла, что очень гордые оне и по-своему норовят всегда поступать, так мне завсегда жаль… если пагуба от эвтого может произойтить, – договорила она вздыхая.

Троекурова вся выпрямилась; большие глаза ее засверкали:

– Вы что-то знаете, Анфиса… Говорите, говорите все, я *все* выслушаю!..

Анфиса со внезапным испугом вскинула руки вверх и замотала ими:

– И ничего я не знаю, и не спрашивайте, барыня милая моя, золотая… не сплетница я, не разлучница какая-нибудь, что мне говорить-то! Если с дуру что сболтнула теперича, так единственно потому, как вообще женщина, а того пуще если девица, оберегать себя должна, сами знаете… А я даже так полагаю, Александра Павловна, – после некоторого молчания добавила она с очевидным намерением успокоить «милую барыню» свою, – что сама княжна себя одумают, потому очень оне умные, а душа-то у них большая, поверьте! Присмотрелась я к ним, живучи там при них в Питере, во дворце…

Александра Павловна пристально и безмолвно глядела на говорившую. Ей ничего не объясняли эти слова, но она и не хотела теперь объяснения. «Лучше, лучше не узнавать!» – инстинктивно чуялось ей. А сердце все так же нестерпимо билось у нее в груди, и окружающие предметы прыгали в ее зрачках словно в каком-то фантастическом танце…

– А что же доктор? – быстро спросила она, вся *встряхиваясь* вдруг, как говорится.

– А вот он сюда, должно, идет, – ответила Анфиса, взглянув в окно, и отправилась встречать его.

Доктор Фирсов принадлежал к породе веселых толстяков; лысый добряк, прекрасный практикант и беспутный человек, он вошел в будуар хозяйки, к которой питал особенную нежность, с комически виновным видом, прикрывая себе глаза обшлагом рукава:

– Ну и казните, ну и казните! – возглашал он. – Замотался в Москве, сам знаю, и от Бориса Васильевича отпущено мне за то хрену вдосталь; а только вы и своего прибавьте, барыня, для полного счета – квит и будем…

– Вы ведь неизлечимы, что с вами делать! – промолвила она со слабою улыбкой, – вы, значит, мужа видели. Что он?

– А что он? Благоденствует, как следует… Ручку приказал у вас поцеловать, – сочинил доктор.

Но у Александры Павловны даже глаза заблистали:

– Да, вспомнил? – вскликнула она, вся заалев.

– А как же и не вспоминать-то ему о вас, барыня, – молвил Фирсов, машинальною привычкой врача переводя между тем свои пальцы на артерию руки, к которой только что приложился губами, – когда, едва успел я имя его произнести, а у вас уж во как пульс-то участил?.. Благополучно у вас все тут? – спросил он через миг, скользя взглядом в сторону прибиравшей что-то на письменном столе Анфисы, пользовавшейся не менее своей барыни его сердечным расположением, с примесью даже чего-то более субъективного, чему он, впрочем, старался не давать ходу, почитая это «дурачеством».

– Дети, слава Богу, здоровы; у Васи все восемь зубков вырезались, – ответила на его вопрос Троекурова, – не хотите ли пройти к ним?

– А что ж, доброе дело, пойдемте!..

«Ах, она золотая моя, горемычная, что же теперь будет с нею! – говорила себе Анфиса, роняя на стол гусиное крыло, которым сметала она с него пыль, и уныло глядя вслед уходившим. – Не врал он, окаянный, все по словам его в акурат выходит»…

Ей до самого нынешнего дня все не верилось, не хотелось верить, хотя и тогда, в разговоре с Троженковым, поразила ее и перепугала вескость и определительность его предсказаний относительно плана побега княжны с Борисом Васильевичем… Но теперь не оставалось для нее сомнений, и когда Александра Павловна сообщила ей об отъезде княжны в Москву и что она должна остановиться там в Покровском доме, она, Анфиса, не удержалась в первую минуту, вскрикнула, чуть не выдала всего, что знает. «Говорите мне все, все!» – приказывала ей барыня. «А *все* сказать ей – зарезать ее, значит», – рассуждала теперь синеокая женщина.

Она отчаянно сложила руки. Муки и упреки собственного ее прошедшего звучали в душе ее в связи с тою язвительною «жалью», которую вызывало в ней чаяние беды, грозившей обрушиться на этот «честный дом». Она успела тесно сродниться с этим домом, в котором нашла приют, покой и забвение этого своего греховного прошлого; она сердечно привязалась ко всем обитателям его, большим и малым, радовалась его «мирному житию», гордилась его «по-Божески, *по-настоящему* заведенными «порядками». Ужас охватывал Анфису при мысли, каким «страмом» должен быть вот-вот покрыться этот излюбленный, этот дорогой ей дом, каким невыносимым ударом будет поражена ее «золотая барыня», которую, «по справедливости», приятельница ее Лизавета Ивановна называла, *ангелом* небесным»…

Она не решалась обвинять ни княжну, ни Троекурова. «Мне ли судить, многогрешной! – повторяла она мысленно, смиряя невольные взрывы такой хулы, возникавшие в ее смятенной этим чаянием срама и ужаса душе… Но ужель так и оставить надо?» – спрашивала она себя, медлительно покачивая головой. Неужели так и не попытаться даже «ближнего от соблазна спасти?..»

«Нет, Лизавета Ивановна пошла – сказала бы… Пойду и я!» – выговорила чуть не громко Анфиса, перекрестилась торопливо и отправилась в павильон, занимаемый княжною Кирой.

IX

Strafbar erschein’ich, und ich kann die Schuld,
Wie ich’s versuchen mag, nicht von mir wälzen.

Schiller. Wallensteins Tod.

Freiwillig tret’ich Ihnen ab den Mann, den man mit
Haken der Hölle von meinem blutenden Herzen riss.

Id. Kabale und Liebe.

Княжна стояла у раскрытого бюро в своем кабинете-гостиной и завертывала в бумагу всякие мелкие вещицы, которые вынимала из его ящиков.

Она была одна в комнате и так была поглощена своим занятием, что не расслышала шагов вошедшей, и чуть-чуть дрогнула от неожиданности, когда за спиной ее послышался голос:

– Чтой-то вы совсем собираетесь, ваше сиятельство?

– Да, совсем, – ответила она, машинально обертываясь.

– Сказывали мне Александра Павловна, – молвила Анфиса, – в Москву… да и за границу потом думаете?

– Да.

Анфиса помолчала.

– Сказывают, вы и вовсе к нам сюда не вернетесь?..

– Не вернусь, нет! – как бы досадливо отрезала Кира.

– Ох, горе-то какое, горе! – к удивлению ее, громко и жалобно вздохнула на это ее бывшая горничная.

– Что тут за «горе» такое особенное? – уронила она, нетерпеливо пожав плечами.

Губы у Анфисы дрогнули:

– Сами знаете, княжна, – промолвила она с новым, глубоким вздохом.

Алый румянец вспыхнул мгновенно на бледном лице Киры; ноздри ее широко раздулись:

– Что вы говорите… что я «знаю»?

– Ваше сиятельство, княжна, – заговорила трепетным голосом синеглазая женщина, складывая руки молящим жестом, – не извольте вы мои слова во гнев принимать! Как если осмеливаюсь я с вами говорить, так единственно из того, что жаль мне очень…

– Чего… кого вам «жаль»? – прервала ее гневно Кира.

– Всех, ваше сиятельство, дом весь этот… барыню мою, агнца чистого, Александру Павловну… вас, даже, может, вас пуще еще, чем их, потому…

Она как бы не решалась продолжать; на лице ее от волнения выступили пятна.

– С какого повода вздумалось вам вдруг жалеть меня? – спрашивала княжна между тем, зорко глядя на нее потемневшими глазами. Она дышала учащенно и слышно.

– Потому, – как бы собравшись с силами, заговорила снова Анфиса, – у Александры Павловны все же дети останутся – утешение, и неповинные оне, в законе, всякий пожалеет их и уважит… А что вам, если люди правду сказывают…

– Люди, какие люди? О ком вы говорите?

– Человек тут один есть… говорит, сам слышал… Может, неправда? – перебила себя внезапно Анфиса, вперяя в княжну алчный, допрашивающий и молящий взгляд. – Потому ехидный этто человек, подлый, со злости своей врать-то на людей завсегда готов… Так скажите слово ваше, княжна, ослободите сердце мое от мнения *от* эвтого самого! – вырвалось у нее чуть не стоном.

– Я ничего не понимаю, – пролепетала растерянно княжна, – чего вы хотите… что за человек и что он «слышал»?..

Анфиса как бы растерялась в свою очередь, опустила глаза:

– Уговор ваш, говорит, слышал…

– «Уговор»?..

– С Борисом Васильевичем… – чуть слышно произнесла она.

– Где ж он мог слышать? – неудержимо, помимо всякой воли, вылетело из уст Киры.

– В саду нашем, ночью, накануне как им, Борису Васильевичу, в Петербург ехать… Он мне на другой же день встрелся… человек этот, передал…

Но княжна уже не слушала ее: она опустилась со внезапным изнеможением на близстоявший стул, судорожно потирая рукой по лбу, проводя воспаленным языком по ссохшимся губам.

Анфиса испугалась даже, выбежала в спальню девушки и вынесла поспешно оттуда стакан с водою:

– Выкушайте, княжна, извольте в себя приттить…

Кира отпила, глянула на нее вскользь и махнула рукой:

– Хорошо, ступайте… оставьте меня одну!..

Та приняла от нее стакан, поставила его на стол… Но с места она не трогалась, словно прикованная к полу чьею-то незримою властью…

Княжна повела на нее глазами еще раз:

– Что же вы! Я вам сказала…

Анфису вдруг словно что-то подняло и понесло. Она всплеснула руками:

– Только этого, значит, мне от вас и дождаться, барышня, что *вот поди!* Не с тем шла я сюда,

чтобы вам вздором каким докучать, слуга я простая, неученая, понимаю я себя довольно хорошо, а только в таком деле я по совести своей, по-христиански, душу вашу жалеючи… что такой грех вы себе на душу берете…

Кира вскочила, сверкая глазами, словно раненая львица:

– Ну и пусть, пусть и отвечу за него, мое дело! – вскрикнула она. – Вы тут сейчас говорили, что у *нее* остаются дети, закон, уважение всех… А мне – проклятие и презрение, так по-вашему? Ну, а если я на это иду, если хочу…

И, не договорив, упала опять на стул, нервно ломая себе руки, закинув глаза в потолок… «Что это, с кем, для чего унижаюсь я и объясняю! – какою-то бешеною волной било ей в голову, – так вот оно, чем с первого же раза приходится покупать мне *счастие*!..»

Анфиса подбежала к ней, пала пред ней на колени и прижалась губами к ее платью:

– Барышня, княжна моя дорогая, как вижу теперича муку вашу, так не то, чтобы «презреть», а, кажется, душу бы я всю свою вымотала, чтобы вас успокоить… Потому сама чрез все то прошла и испытала, что за иного человека сто смертей зараз готова наша сестра принять с радостью: нате, мол, рвите на части, только б мне его видеть, только б моим он был!.. И все это понимаю я, княжна моя милая, да что в том хорошего? А как если из-за такой из-за любви безумной другие погибать должны, что тогда? Как если здешние дети малые, к примеру, без отца останутся… а ваши-то, ваши собственные, как если, не дай Бог!.. звание-то *им* какое будет?.. Господи, сраму-то что одного да греха! Судье Небесному в час смертный *чем* вам за это ответить придется?..

Кира слушала, не прерывая и не переменяя положения, с окаменевшим будто лицом. Слова коленопреклоненной пред нею женщины били ее как молотом в голову… Но понимала она лишь одно: ко всем недочетам ее жизни присоединялся теперь позор. Имя ее, имя ее отца разносили грязные уста в передних… Как шиллеровский Валленштейн, она несла вперед наказание не за то, что *«сделала* она, а за то, что *думала сделать».* И возврата нет уже теперь никакого: она *должна* бежать с *ним*, или…

Она вдруг, словно от прикосновения электрической проволоки, скинула с себя минутное оцепенение, поднялась, обвела взглядом кругом, вздрагивая ноздрями и прижмуривая свои золотисто-зеленые глаза. Анфиса вскочила на ноги в свою очередь, лихорадочно устремив взгляд в ее лицо, – и сердце у нее упало: лицо это дышало высокомерною и неумолимою решительностью…

– Я попрошу вас сослужить мне последнюю службу, – услышала она голос княжны.

– Что прикажете? – могла только пробормотать она.

– Я думала уехать завтра, но хочу сегодня же, через час, если можно. Устройте мне это!

Анфиса развела руками:

– Уложить же когда успеете, ваше сиятельство?

– Успею! Если что останется, попрошу вас прислать мне в Москву, я оставлю вам на это денег…

– Прикажете Александре Павловне доложить? – спросила Анфиса, не зная в своем смущении, что сказать иного.

– Это как хотите, – раздражительно отрезала княжна, – но если меня заставят ждать лошадей, я уеду в крестьянской телеге.

И без дальнейших слов прошла в свою спальню и защелкнула за собою задвижку дверей.

Дети были в саду с нянькой и девушкой, ее помощницей, и Александра Павловна с доктором, побыв с ними некоторое время, шли, толкуя о них, обратным путем к дому, медленно подвигаясь по ведущей к нему прямо большой липовой аллее, когда заметили сбегавшего со ступенек террасы и спешившего им навстречу слугу.

– Ах, Боже мой, – воскликнула молодая женщина, – неужели гости?

Она не ошиблась.

– Господин Мохов приехали, – доложил ей слуга.

– Господи, что мне с ним делать! – воскликнула она, всплеснув руками с каким-то забавным отчаянием.

Фирсов засмеялся:

– Известно что: из пустого в порожнее переливать: на что люди в гости ездят! Или он по делу?

– Нет… он молодой, – наивно возразила Сашенька.

– А-а! – протянул комически доктор. – Бездельный, значит.

– Он был здесь с неделю тому назад, – объяснила она, – и Борис просил его заехать, когда он будет возвращаться из города, ему по пути. Вот он и приехал… А Бориса нет, Кира уезжает, укладывается, и мне приходится оставаться с ним одной…

– Не волк, чаю, кусаться не станет, – продолжал потешаться *толстяк.*

Александра Павловна чуть-чуть зарумянилась и поморщилась:

– Мне совсем не до разговоров с ним… Вы уж, пожалуйста, доктор, останьтесь с нами, вы его хоть займете…

– Покорнейше благодарю, в должность шарманщика изволили произвести!.. А, впрочем, согласен, если это может доставить вам удовольствие. Только позвольте сперва к себе на квартиру сходить; я как приехал, разобраться еще не успел… А гостя куда ж прикажете просить, – ждет ведь он, чай, томится, пока-то вы резолюцию насчет его не положили?..

– Просите сюда, в сад! – поспешила сказать молодая хозяйка, обращаясь к ожидавшему действительно все время этой ее «резолюции» слуге, и со скучающим видом опустилась на ближнюю скамью.

Доктор, с неизбежным своим смехом на толстых губах, прищурился на нее, пробормотал «до свидания» и заковылял вслед за слугой к дому.

Через несколько минут вышел оттуда на террасу, накрывая белокурые свои волосы щегольскою круглою шляпой, в свежих перчатках и лакированных ботинках, молодой гость и, завидев в глубине аллеи светлое платье Александры Павловны, направился к ней торопливыми и как бы спотыкающимися в то же время шагами.

Он был настолько же счастлив, насколько и смущен, узнав от людей, что «барин уехал в Петербург, а барыня одна»… что она его «просит». В первый раз с тех самых пор, как была она просватана за Троекурова, предстоял ему теперь случай разговора с нею «вволю, без помехи», случай «насмотреться» на нее, «заслушаться ее голоса» и «унести затем блаженных воспоминаний на целые годы»… Мохов был, как видит читатель, один из тех юных воздыхателей-идеалистов, какие еще встречались в ту эпоху, к которой относится наш рассказ, но для которых еще гораздо ранее злые французы придумали прозвище «amoureux transis».

Он еще за двадцать шагов от предмета своей страсти скинул шляпу, краснея во все лицо. Она в свою очередь, весьма конфузясь внутренно, но ужасно стараясь принять наружно спокойный и самоуверенный вид искушенной долгим опытом света хозяйки, приветливо кивнула на его расшаркиванья, пригласила занять место подле себя и начала извинением за то, что принимает его «sans façon» в саду, куда она вышла посмотреть на детей, с которыми «остается теперь одна в деревне», так как муж ее уехал уже несколько дней, а «Кира (и голос ее, произнося это имя, как-то странно дрогнул) собирается тоже уехать – и я очень боюсь, что вы соскучитесь со мною одной», дипломатически заключила Сашенька («авось поймет, рассудила она, что мне не до него и уедет до обеда»).

Понял или не понял Мохов, осталось неизвестным, так как он на это воскликнул самым искренним и невинным образом: «Ах, помилуйте, напротив!» А заблиставшие глаза договорили: «С тобою быть разве не рай?» Александра Павловна нахмурила брови, опустила голову и принялась молча выводить какой-то рисунок на песке аллеи оконечностью черепахового парасоля, который держала в руке.

Мохов покраснел тут же вдвое против прежнего – и поспешно засунул руку в боковой карман.

– Я вам письмо привез, – пролепетал он.

– От кого?

– Не знаю-с… Переменял я тут лошадей на одной станции, Блиново называется, кажется, и в минуту, когда я отъезжал от нее, какой-то человек, слуга по-видимому, подбежал к моему ямщику и отдает ему, прося доставить проездом во Всесвятское. Я его и взял у ямщика… На ваше имя, вижу…

Он протянул молодой женщине запечатанное письмо с оттиском на сургуче какой-то решетки вместо герба или вензеля.

Она взглянула на адрес и слегка усмехнулась:

– Как смешно: «*Госпоже полковнице* Александре Павловне Троекуровой»!..

– Просят о вспомоществовании, – объяснил молодой чиновник, весь просияв опять от этой ее усмешки.

– Почему вы думаете?

– Непременно: писарская рука на адресе, по этому всегда можно узнать…

Она взломала машинально печать, но, не вскрывая письма, оставила его в руке, заинтересованная тем, что начал в эту минуту рассказывать Мохов:

– На той же станции случилось мне увидеть одну очень трогательную и печальную вещь… Вы

слышали, вероятно, от Бориса Васильевича об одном очень почтенном человеке, здешнем помещике, Никаноре Ильиче Ранцове, который состоит членом нашего губернского крестьянского присутствия?

– Конечно, слышала, – подтвердила она, – Борис его очень любит и хвалит… Это тот, которого жена оставила и вышла за другого, за сына Аглаи Константиновны Шастуновой?..

– Она скончалась.

– Кто?

– Молодая княгиня Шастунова.

– Господи, давно ли?

– Четыре дня тому назад.

– Бедная, царство ей небесное! – набожно перекрестилась Александра Павловна. – Помните, когда вы у нас тут обедали, il y a huit jours, что говорила про нее эта ужасная Аглая, sa belle-mère? Ах, какая это женщина! Не знаю, что готова я была сказать ей тогда и даже сказала…

– А я вам всем сердцем вторил! – произнес восторженно Мохов, вскидывая на нее загоревшиеся опять глаза.

Сашенька как бы рассеянно отвела свои в сторону и продолжала.

– Она тогда поехала от нас в Москву с этим своим невозможным «aumônier», помните, надеясь заставить несчастную больную отказаться от денег, которые та заплатила за ее сына, такого же гадкого, по всему видно, как она сама.

– И, как кажется, не добилась этого и со злости, в самый день, когда та умерла, уехала к себе обратно из Москвы, оставив все хлопоты и издержки на похороны на счет Ранцова, которого покойница вызвала к себе из нашего города, чтобы проститься с ним пред смертью.

– Она его вызвала? – воскликнула молодая женщина. – Вот это хорошо! Ей многое простится за это на том свете.

– Да, и вообразите, он, покинутый этою женой своею, которую страстно любил, – он везет ее теперь хоронить в своем имении Рай-Никольском.

– В самом деле?

– Я вот на той станции, о которой говорю, и наткнулся на это зрелище, – молвил Мохов, – едет фургон с ее гробом, а за ним чуть не все время от самой Москвы пешком Никанор Ильич… С ним человек его, Сергей, очень преданный ему и хороший слуга, – я его знаю, – так он мне тут рассказал…

Александра Павловна глянула теперь прямо в лицо молодого человека мгновенно отуманившимися глазами и странным в своем выражении взглядом… На ее языке шевелился вопрос: «Неужели надо быть *такою* женщиной, как была эта бедная покойница, чтобы быть так глубоко и неизменно любимой?..» Но она не выговорила его, она только вздрогнула и тихо произнесла:

– Вот это *человек!..*

Мохов ёрзнул на скамейке, на которой сидели они:

– Неужели вы думаете, Александра Павловна, – прерывавшимся от охватившего его вдруг волнения голосом сказал он, – неужели вы думаете… что нет других… которые могут любить так же верно и… и так же без взаимности, как он?..

Он словно угадал ее мысль, словно хотел сказать этой мысли в ответ: «Нет, не одни *такие* женщины могут быть *так* любимы!»…

Молодая женщина испугалась – надо было скорее переменить этот разговор…

– А кто это пишет мне, однако, интересно? – будто и не слыхав его взволнованного восклика, проговорила она, насколько могла спокойнее и равнодушнее, вынула из обложки письмо, оставшееся в ее руке, и развернула его.

Это «ужасное, обидное пренебрежение» к нему, к его словам, как ушатом холодной воды, окатило бедного влюбленного. Он весь переменился в лице и понурился, искоса поглядывая на «жестокую» с немым укором во взгляде, со щемящею тоской в душе.

Она читала между тем – и по мере чтения большие глаза ее раскрывались все шире, и краска все заметнее отливала от ее лица… Руки ее задрожали…

Не упреком уже – недоумением и тревогой за нее горели не отрывавшиеся от нее теперь глаза Мохова.

Письмо вдруг выскользнуло из ее рук… Она схватилась за голову, судорожно нажимая руками лицо, чтобы заглушить вырывавшийся у нее из груди стон…

– Господи, Александра Павловна, что с вами? – испуганно заметался молодой человек?

Все тело ее вздрагивало и пошатывалось, как бы готовое вот-вот сейчас сорваться со скамьи и рухнуться наземь.

Мохов простер руку с намерением поддержать ее за стан… и не посмел…

– Воды, где бы воды достать? – с отчаянным видом оглядывался он кругом.

Она каким-то сверхъестественным усилием совладала с собою, вскочила с места.

– Извините меня, я… я не могу… я к детям, – пролепетала она и побежала стремглав в глубину сада.

Он бросился было за нею вслед – и остановился. Громкий и как бы несколько грубоватый оклик мужского голоса раздался за ним:

– Что это у вас тут случилось?

Это был доктор Фирсов, с которым он только что познакомился, встретясь с ним в гостиной дома, и который передал ему приглашение хозяйки идти к ней в сад, – Фирсов, шедший сам теперь туда обратно и видевший издалека, как внезапно вскочила его «барыня» с места, словно «ужалил» ее «этот *франт,* которого ей так не хотелось принять»… Он подвигался спешными шагами, готовый «разгромить нахала», если бы таковым оказался «сей господин».

Но тот кинулся к нему навстречу с таким несчастным лицом, что он остановился сам,

растерянно глядя на него.

– Александра Павловна получила какое-то известие… Я привез ей письмо, – заговорил Мохов, путаясь языком, – она стала читать… и вдруг что-то с ней случилось…

– Какое известие? Какое письмо? – пробормотал в свою очередь доктор.

– Не знаю… Моему ямщику на станции какой-то человек передал… для доставки ей… Вот оно самое! – указал молодой человек на почтовый лист, выпавший из рук Александры Павловны и оставшийся лежать на песке аллеи.

Фирсов поспешно поднял его.

– Что за оказия! – проговорил он сквозь зубы.

– Она к детям побежала, туда, к реке, – счел нужным добавить к объяснению своему Мохов.

Доктор, не теряя лишних слов с ним, зашагал по означенному направлению.

«Что за оказия, из чего это она? – повторял он в немом разговоре с самим собою, завернул в боковую дорожку и остановился… – А ну его с благоприличием! – решил он, – врач – тот же духовник, а письмо это – тот же диагноз болезни…»

Он поднес его к глазам и принялся читать:

«Милостивая государыня, Александра Павловна, – писала та же «писарская рука», которою начертан был адрес на конверте, – желающий вам добра человек предваряет вас о грозящей вам довольно неприятной для вас истории. Вам, кажется, одним неизвестно, что у вас в доме происходит, до того замазали вам глаза достойный супруг ваш с многосиятельною особой, родственницей вашею. Не довольствуясь, что, при слепоте вашей, могли продолжать беспрепятственно свои амуры и под вашими глазами, они теперь условились бежать вместе за границу, забыв, что он отец и супруг, а она свою честь как девица. Он уже попростился с вами, а она на днях попрощается и поедет себе в Москву, где велено будет им, для принятия такой важной для сердца его персоны, приготовить апартамент в доме бывшем Акима Ивановича Остроженко, от которого наследовал, вместе с прочим богатством, вполне недостойный, как сами можете теперь видеть, племянник его, а ваш муж. И как мать его из того дома бежала с тем, кого возлюбила от брата родного, так и он с сиятельною родственницей ускачет на почтовых конях в чужие края от жены законной, как гласит пословица, что яблочко от яблони завсегда недалеко падает. В верности написанных здесь слов не сомневайтесь, так как весьма скоро можете увидеть исполнение на деле. Только тогда будет поздно, а теперь, какие можете, примите ваши меры.

«Доброжелающий вам».

– Ну, – воскликнул с глубоким негодованием доктор, – попался бы мне теперь этот «доброжелающий», с каким сердечным удовольствием угодил бы я ему всею пятерней в физиономию!.. А милая-то барыня от этой мерзости в истерику!.. Ведь ни на грамм правды очевидно в этом нету, – домолвил себе Фирсов, пропадавший три месяца в Москве и судя вследствие этого о том, что могло происходить в доме, по тому состоянию *мира и благодати,* в каком знал его до своего отъезда, то есть до приезда княжны Кубенской во Всесвятское.

Он зашагал далее, хмурясь и раскидывая в голове, «кто бы мог быть тут мерзавец, решившийся, здорово живешь, огорчить этою *грязью* неповиннейшую изо всех женщин?..»

Но вот в стороне, за большим сиреневым кустом, забелело женское платье. Это она. Он поспешно повернул к ней.

Она не дошла до места у реки, где гуляли дети. Ноги ее подкашивались, она опустилась здесь опять на скамью. Здесь по крайней мере она была одна, «одна со своим горем»…

– Что это вы, барыня, – начал Фирсов, придавая голосу тон упрека, – из чего это взбудоражились, как не стыдно! Письмо анонимное от мерзуна какого-то получили, так и…

– Где оно? – прервала его, озабоченно принимаясь шарить кругом себя, Александра Павловна, – где письмо?.. Я его уронила…

– Вот оно, вот! Лежало там у места, где вы сидели.

Она схватила его:

– Он видел, прочел?.. – проговорила она испуганно.

– Кто это, гость этот ваш?.. Не читал. А я прочел до строчки!

– Прочли?

– Непременно. Вы бы, пожалуй, не показали, скрывали бы да мучили себя тайно из-за этакой гадости, извините за откровенность речи! Ведь тут ясно: налгал наглец от слова до слова.

– Вы думаете? – промолвила на это молодая женщина. – И так странно, так необычно зазвучал ее голос, что Фирсов почувствовал вдруг, что никакое возражение, ниже утешение с его стороны немыслимо. Он примолк и только внимательно и тревожно воззрился в ее бледное, как снеговой саван, лицо.

Она не плакала, но глаза ее впали словно в какую-то пещеру и горели оттуда каким-то темным, глубоким и суровым пламенем. В античных чертах прелестного лица сказывалась теперь не одна уже строгость *линий:* оно дышало чем-то исходящим изнутри *духовно* строгим и скорбно решительным. Весельчак-доктор никогда еще не видывал у «милой барышни», не подозревал в ней и самой возможности такого выражения. Он чуть не испугом отмечал его в своем впечатлении.

– Ну а сами-то вы, барыня, что думаете? – спросил он, все еще налаживаясь на смешливый тон.

– У меня дети, – ответила она, устремив недвижные глаза на ствол клена, тихо шевелившего лапчатыми листьями своими насупротив ее.

– Известно, «дети», – мурлыкнул доктор, не понимая, – и дети у вас, и муж…

Она отрицательно закачала головой.

– Мужа у меня нет!

– Ну уж и нет? – закивал он успокоительно в свою очередь. – Вот я вам сейчас лавро-вишневых капелек малую толику накапаю да теплую ванночку вам состроим, так вы и успокоитесь, не станете… привередничать, – отпустил он первое слово, попавшееся ему на язык.

Она горько усмехнулась.

– Пойдемте к *ним*… Только дайте мне руку, а то я упаду.

– Пожалуйте к себе на диванчик протянуться, – подхватывая ее под руку, молвил настоятельно Фирсов, – не для чего вам с таким лицом детям показываться… да и сами еще пуще расстроитесь, пожалуй. Ввиду их же говорю: что хорошего для детей ваших, если вы действительно с ног свалитесь?

Она молча и послушно пошла с ним.

Он повел ее тенистою боковою аллеей прямо по направлению маленького крыльца, которое вело в ее покои со стороны дома, противоположной половине, занимаемой ее мужем.

Не доходя до него, она остановилась и спросила:

– А он… Мохов, он еще здесь?..

– Да уж не знаю, право, барыня, – засмеялся доктор, – я так полагаю, что коли умен он, так уехал, а нет – так проклажается там себе в ожидании и по сю пору.

– Вы наверное знаете, что он не знает, не читал? – тревожно пролепетала она.

– Ровнехонько ничего! Говорю вам, как уронили вы его, так и лежало письмо на песке; я его поднял и пошел искать вас, а он и не притрагивался – шел ведь я к нему, видел.

– Я в первую минуту не в силах была сдержаться, – продолжала она прерывающимся голосом, – он испугался даже… Я зарыдала… Он мог догадаться…

– Чего ему догадываться-то! Невидаль что ль для него какая, что у барыни нервы разыгрались; не малый ребенок, чай!.. А не понял, так я ему объясню…

– Как вы ему объясните?

– Ну известно как: скажу ему, что… ну, совру там что-нибудь! – воскликнул, не находя ничего иного, толстяк.

– Нет, пожалуйста! – веско выговорила Александра Павловна. – С ним этого совсем не нужно… Я его давно знаю: он честный и сердечный… Он любил меня, когда я была еще не замужем… и любит до сих пор, я знаю…

Фирсов с каким-то новым, забавным испугом оглянулся на нее.

Что-то мгновенное, неуловимое, но от чего у добряка доктора стало на душе жутко, пробежало у нее по лицу и на мгновение вызвало на нем слабый румянец… Но она тут же усмехнулась тою же своею горькою усмешкой.

– Скажите ему просто *от меня,* – подчеркнула она, – чтоб он *никому* не говорил о том, что со мною было сейчас при нем… Он исполнит, я знаю… А также, – добавила она дрогнувшим голосом, – что я прошу его, чтоб он не сердился, но что *так надо,* что я прошу его не ездить сюда больше…

– Слушаю-с! Как приказываете, так и скажу, так и скажу-с, – закивал сочувственно Фирсов.

– У меня и к вам просьба, доктор, – молвила, подумав, Троекурова.

– Что прикажете?

– Во-первых, никому ничего про это письмо, которое вы прочли…

– Ну еще бы я стал болтать! – чуть не грубо прервал он ее. – Вы за кого ж меня почитаете?

– А потом, чтоб и сами вы, что бы ни случилось теперь или после, *тогда* меня не спрашивали, никогда бы мне не говорили ни о чем, до чего относится это письмо, – договорила она через силу.

Он пожал плечами:

– Что ж мне «говорить»? Пустых разговоров я и сам не люблю.

Она повела медлительно головой сверху вниз.

– Да!.. *Мое* горе, я с ним одна и справлюсь.

«Эге-ге, да какой характерец у тебя выходит!» – сказал себе изумленно Фирсов, чувствуя, что между тем как выражалась она так сдержанно и твердо, все тело молодой его клиэнтки висело у него на локте, что ноги чуть поддерживали ее, что ей стоило нечеловеческих усилий одолевать обымавшее ее безумное отчаяние…

В эту минуту, выходя из павильона княжны Киры, показалась Анфиса. Она увидела свою барыню, словно «разбитую», медленно подвигавшуюся под руку доктора, и, предчувствуя новую беду, поспешно подбежала к ней:

– Александра Павловна, что это с вами, оступились никак?

– А вот вы барыню под ручку-то с другой стороны поддержите, – сказал ей доктор, – мы ее живо доставим!..

Они довели ее до ее будуара и бережно опустили на кушетку… Доктор побежал в домовую аптеку за лекарством.

Анфиса расшнуровала ее, переодела в блузу. Она улеглась затылком в подушку, прижмурила глаза…

– Вы у… у *нее* были? – прошептала она чрез миг.

– У княжны, точно так… Они хотят сегодня же… сейчас уезжать, – добавила, помолчав, Анфиса.

– Что же, пусть!..

– К лучшему это, точно, Александра Павловна, – поспешно закивала та, – лошади им даже сею минутой готовы будут, сказывал Скоробогатов; я им докладывала…

Судорога пробежала по сжатым губам молодой женщины:

– Не придет… сюда? – как бы против воли ее вырвалось из них.

– Не извольте беспокоиться… Сами понимают! – молвила успокоительно синеглазая женщина, угадывая, что «барыне теперь все известно», хотя не зная еще, каким путем.

Александра Павловна открыла свои большие впавшие глаза и глянула ей прямо в лицо:

– Она несчастная! – протянула она.

– Доподлинно так изволите говорить, – горячо подтвердила Анфиса, – поистине, что их жалеть надо!..

– Дайте мне сюда столик, чернильницу и перо!

Она приподнялась с кушетки, вынула из кармана возвращенное ей Фирсовым письмо, приписала на нем: «Если и правда, не ты виновата. А.» и вложила его обратно в обложку.

– Отдайте *ей,* когда она уезжать будет…

Доктор вернулся с пузырьками, графином и рюмкой.

– Поручение ваше исполнил, барышня, – говорил он, капая против света с прищуренным одним глазом капли свои в воду, – гостя вашего видел, передал и успокоил… Человек хороший, видать: понял сразу, не расспрашивал и уехал; я таких люблю!..

Она чуть-чуть повела головой в знак благодарности и уронила опять затылок в подушку.

Анфиса ушла. Фирсов уселся в кресло неподалеку от лежавшей, внимательно приглядываясь к нервному подергиванию ее полуопущенных век.

Так прошло несколько времени.

Вдруг, нарушая нежданно мертвую тишину комнаты, из окна, открытого в сад, донесся со двора гулкий скрип колес по песку и дружный топот скачущих лошадей…

– Это еще кто? – спросил невольно доктор.

– Это она уезжает… к *нему!..* – вырвалось стоном у Александры Павловны. Она быстро обернулась всем телом, забилась лицом вниз в самый угол кушетки и зарыдала ничем уже теперь неудержимым рыданием…

X

Как много ты в немного дней
Прожить, прочувствовать успела…

Баратынский.

Tra il dire e il fare c’é in mezzo il mare.

Sunt lacrymae rerum…

Спустя неделю по отъезде своем из Москвы Троекуров, только что вернувшийся из Петербурга, подъезжал в одиннадцатом часу утра к гостинице Шеврие.

Он занял нумер на дворе, спросил себе чаю и, пока Матвей, камердинер его, поспешно выбирал из чемоданов и раскладывал на столике пред зеркалом всякие туалетные и бритвенные принадлежности барина, опустился в кресло с усталым и недовольным видом человека, которому, несмотря на все его усилия, не удалось уснуть и часу добрым порядком в

вагоне.

Он чувствовал, что не заснет и теперь, здесь, при всех условиях комфорта и тишины, в этом давно знакомом ему, удобном помещении в глубине двора, куда не достигал уличный шум… Да ему и не до сна. Его *ждут* (он вчера получил от *нее* в Петербурге письмо, извещавшее его о ее приезде в Москву, в остроженковский дом), и он вот сейчас совершит омовения свои и туалет, и доедет…

Его «ждут», и сам он трепетно ждал этого свидания и не мог заснуть всю дорогу в немолчном помысле о нем. Он измаялся в Петербурге от тоски и желчи, от гнетущего сознания бездарности, немощи и пустозвонства тамошнего люда и творимого им дела. Он жаждал скорее скинуть с себя вынесенные им из ближайшего обращения с ними впечатления; «забыв их, забытый ими», по выражению древнего поэта, он рвался уйти всем существом своим в свежие волны личного чувства, молодой любви, возрождающей и уносящей…

Но странное дело, он рвался… и медлил в одно и то же время. Голова его горела полымем при мысли, что расстояние на какие-нибудь десять минут езды отделяет его теперь от той чаемой, блаженной минуты… но он не двигался между тем и недвижно, с зажмуренными глазами, полулежал в своем кресле в каком-то безвольном состоянии полуфизического, полуумственного оцепенения!..

«Усталость», – объяснил он мысленно, силясь превозмочь себя.

– Сходи, закажи мне сейчас холодную ванну! – обернулся он с приказанием к камердинеру.

Ванна освежит его, а пока изготовят ее, он оттянет себе еще на несколько минут бездействия, – соблазнял его какой-то тайный голос.

Ненадолго:

– С приездом! Можно войти? – донесся к нему из-за полуоткрытой двери в переднюю чей-то знакомый голос.

– Войдите! – нехотя произнес он в ответ.

Вошел Ашанин, красивый и оживленный, как всегда.

– Здравствуйте, Борис Васильевич! Вы сейчас мимо меня проехали со станции.

– Где это? – машинально и лениво спросил тот.

– На углу Садовой и переулочка там одного будка стоит, так я оттуда видел.

– Из будки?

– Так точно, – подтвердил Ашанин, принимая свой лукаво-невинный вид, – я там почитай каждый день теперь пребываю в эту пору.

– Что делать? – тем же ленивым тоном произнес приезжий.

– А тут, изволите видеть, у самой будки забор, а в заборе калиточка в сад, а за садом дом, а в доме живут старый муж-ревнивец и молодая жена. В дом меня, а из дома *ее* не пускают, вследствие чего, натурально, и она, и я испытываем неодолимое желание соединяться как можно чаще для взаимных жалоб на нашу несчастную судьбу. Вот я и нашел единственно

доступное нам при таких враждебных обстоятельствах укромное местечко по соседству с садом, куда муж пускает ее по утрам «для променажа»…

– И местечко это – будка? – невольно усмехнулся Троекуров.

– Будка, Борис Васильевич! – комически вздохнул шалун, глядя ему в лицо из-под опущенных им смиренно ресниц.

Но усмешка успела уже соскользнуть с этого лица и сменилась каким-то брезгливым, чуть не суровым выражением. Ашанин с прирожденным ему тактом тотчас же почуял, что собеседник его нисколько не был расположен к «легкому разговору» в эту минуту, и, слегка покраснев, поспешил перейти на другой предмет.

– Я к вам лишь на миг, Борис Васильевич, – сказал он, – во-первых, пожать вам руку, а затем передать вам о вашем Всесвятском; я имел известие оттуда.

– А-а! – протянул тот. – Каким образом?

– Я вчера отправил туда нашу маленькую Лизавету Ивановну Сретенскую. Александра Павловна вытребовала ее к себе письмом.

– Случилось что-нибудь? – неудержимо вырвалось на это у Троекурова.

– Нет, почему вы думаете? – поспешил успокоить его Ашанин. – В письме Александра Павловна говорит только, что Лизавета Ивановна давно обещала приехать к ней погостить на несколько недель, а что теперь она настойчиво просит ее исполнить, не откладывая, свое обещание. А так как наша Божья душа никогда из Москвы не выезжала, то и явилась вчера ко мне с просьбой «снарядить ее в вояж». Я ей нанял знакомого троечника вплоть до самого Всесвятского и вчера же отправил.

Троекуров молча качнул головой, не отрываясь глазами от говорившего.

– И ничего… больше? – спросил он после довольно продолжительного молчания с новым усилием.

– Насчет чего?

– В письме…

– Ах, да, в письме… Нет, ничего, – сказал Ашанин, насторожив уши (странен и подозрителен показался ему звук голоса спрашивавшего), – никаких ни о себе, ни о *княжне,* известий в письме этом не дает Александра Павловна. А, как вы знаете, pas de nouvelles – bonnes nouvelles…

Черты Троекурова словно потемнели вдруг; он чиркнул спичкой по крышке портсигара, закурил папироску и, откинувшись в спинку кресла, прижмурил глаза.

Ашанин зорко вглядывался в него. Его как молнией озарила вспомнившаяся ему только теперь веская фраза из этого письма Александры Павловны, которое маленькая особа давала ему читать: «Я одна, и вы мне очень нужны». Он в первую минуту понял, что молодая женщина разумела под этим словом «одна» – отсутствие мужа. «Но оно, – рассуждал он теперь, – могло означать и совсем другое, и это тем более вероятно, что Троекурова так определительно говорит за этим, что Лизавета Ивановна ей *очень нужна.* Специальность Лизаветы Ивановны

известно какая: утешать страждущих. Если она оказалась теперь так необходима Александре Павловне, то из этого можно заключить, что та действительно осталась *одна,* что и княжны Киры нет более во Всесвятском, а если это так, то, очевидно, это не могло произойти иначе, как вследствие ссоры между кузинами, – причину же такой ссоры угадать нетрудно»… Пылкая сообразительность московского Дон-Жуана быстро зашагала по этому пути индукции. Он вспомнил вечер, проведенный им со стариком Овцыным во Всесвятском, когда в таком нежданном для него обаянии предстала пред ним Кира в черной сквозной ткани летнего барежевого платья, и ту «язвительную нотку», расслышанную его чутким слухом в вежливых речах Троекурова, когда он, Ашанин, «признанялся невольно княжной за ужином»… Ашанин чутьем чуял теперь «семейную драму»; он прозревал ее в обрывистых вопросах, с которыми сейчас обращался к нему Троекуров, в озабоченном, мрачном выражении его лица…

– Надолго вы теперь сюда, Борис Васильевич? – спросил он, насколько мог естественнее.

Тот наполовину приподнял опущенные веки и процедил сквозь зубы:

– Право не знаю…

Ашанин помолчал и испросил затем опять, тщательно заволакивая кипевшее в нем любопытство тоном полнейшей беззаботности:

– А отсюда куда думаете: назад, во Всесвятское?

Но Троекуров был не тот человек, к которому можно было бы относиться с подобными допытываньями, как бы ни была прилична и ловка облекавшая их форма. Он не ответил, но, чуть-чуть отделив голову от спинки своего кресла, обернул ее к говорившему с таким *серьезным,* чтобы не сказать строгим, взглядом, что тот не выдержал его и, против воли, с досадой, вызвавшею новую краску на его смуглые щеки, опустил свои блестящие цыганские глаза.

– Ванна готова, – доложил, входя в эту минуту в комнату, Матвей.

Барин его тотчас же поднялся с места.

– Извините! – обратился он с вежливою улыбкой к гостю.

– Помилуйте! – воскликнул тот, поспешно вставая в свою очередь. – Дело первой необходимости… Извините *меня,* что ворвался к вам так не вовремя… До свидания, Борис Васильевич, желаю вам всякого *успеха!* – чуть-чуть подчеркнул он.

– *Прощайте!* – коротко сказал на это Троекуров, подавая ему руку.

«Чай, думает, у меня тоже в мысли будка!» – оцарапало его что-то в глубине души: он гадливо поморщился и задумался.

«Ну, любезный мой, – говорил себе в то же время Ашанин, выходя на улицу, – почитают меня, да и сам я почитал себя до сих пор, *ходоком.* Но сравнительно с тобою я, очевидно, лишь мальчишка и щенок!» – заключил он словами Расплюева, которого так гениально изображал в ту пору на московской сцене Садовский.

Холодная ванна действительно освежила Троекурова и «привела», как выражался он, его «нервы в порядок». Совершив свой туалет, бодрый духом и телом – таким казался он самому себе во всяком случае – сел он в коляску и велел везти себя на Покровку.

Был час первый пополудни. Осенний день стоял теплый и яркий. По Кузнецкому мосту сновали экипажи, мелькали молодые женские лица…

«Quel beau jour,
Quel beau jour pour les amoureux», —

пришел на память Борису Васильевичу припев куплета, слышанного им в оны дни на Кавказе от какого-то француза, приехавшего туда волонтером из «Африканской армии» и потешавшего до истерики в экспедиции штабную молодежь своим неистощимым балагурством… «Quel beau jour», – бессознательно припевал он теперь, поводя моргающими глазами кругом себя. «Да, вот я еду, и она меня ждет, ждет счастие… и я не жалею ни о чем, – ни о чем», – со страстною настойчивостью повторял он себе в то же время: *«Там* Лизавета Ивановна, утешительница и советчица, пойдут акафисты и молебны… всей обойдется прекрасно… А вот тут сейчас, за этим проулком… *она,* она с ее золотисто-зелеными глазами, со всею этою прелестью девственности и страсти… Ну да, жить, жить и еще жить, – кто в праве отказать человеку в этом!» – внезапным порывом, с какою-то злостью противу чего-то, будто отрицавшего это его «право», проносилось у него в голове.

Коляска остановилась. Он выскочил из нее на панель и, пробежав два шага, чуть не испуганно ухватился за ручку железного замка тяжелых дубовых дверей старинного дома – ему представилось, что он сейчас упадет.

Он оправился, усмехнулся. Дверь распахнулась пред ним под рукой седовласого, сгорбленного служителя в поношенном ливрейном фраке, старого дворового Остроженков, доживавшего в числе других, по распоряжению Бориса Васильевича, свой век на пенсии в этом родовом обиталище бывших господ своих.

Он низко и робко склонил голову пред «новым барином», которого не знал в лицо, но ждал второй день «с минутки на минутку» по приказанию управляющего домом, «поставившего его за швейцара» на все это время.

Троекуров остановился в сенях, ласково кивнул ему и спросил: дома ли княжна Кира Никитична Кубенская?

– Дома, батюшка-барин, дома, – торопливо зашамкал на это старик, – и не выезжали никуда. Как изволили третьягось приехать, так и не выезжали вовсе. И карета даже нанята была им на случай проездиться пожелают, а только они на то согласиться не изволили, отослать приказали, потому, изволили сказать, им никуда не нужно. И в сей час дома, в кабинете барина… Акима Ивановича, покойного дяденьки вашего, Царство ему Небесное! – не то вопросительно, не то жалостливо подымая глаза на Бориса Васильевича, протянул он. – В кабинете ихнем находиться изволят. Пожалуйте!..

И он побежал вперед беззвучными и мелкими шажками в глубь пространных, полутемных, с низким сводом, поддерживаемых шестью каменными столбами сеней, в конце которых подымалась широкая каменная лестница с «вальяжными», резаными из темного дуба перилами, ярко освещенная двумя высокими, выходившими на двор окнами, с огромною в простенке их старинною картиной в почернелой золотой раме, изображавшею суд Миноса у врат Тартара… Чем-то зловещим и враждебным ему, почуялось вдруг Троекурову, веяло из каждого угла этих массивных старых стен, внутри которых впервые ступал он ногой, нежданный наследник наследственных недругов своих!..

А старый дворовый, останавливаясь и оглядываясь на него от времени до времени, продолжал

бежать пред ним, семеня ножками, по длинной анфиладе высоких и обширных покоев, то отделанных под порфир и мрамор, то отянутых тяжелым, поблекшим от времени лионским штофом, с полуоблушившеюся позолотой старинной мебели, лепными карнизами и фамильными портретами екатерининских и александровских годов… Дом к приезду княжны, во исполнение приказания Бориса Васильевича, был тщательно приведен в порядок, окна вымыты дочиста, мебель до пылинки выбита на дворе, паркеты вывощены, как зеркало. Но еще *суше,* еще мертвеннее будто казалась от этого его старомодная, величавая и угрюмая пышность. Запах щелочи и тления несся проницающей струей под его расписными плафонами; напудренные кавалеры и темноокие дамы с розами на низко обнаженной груди с какою-то высокомерно-насмешливою улыбкой глядели, казалось, на непрошенного потомка со своих свежепромытых полотен… Жуткое, раздражающее ощущение все сильнее охватывало Троекурова…

Но вот старик-слуга остановился у одной двери, занес руку к золоченому замку ее и, как бы спохватившись вдруг, обернулся на него:

– Доложить прикажете? – прошептал он как бы испуганно.

– Княжна одета? – спросил на это машинально Борис Васильевич.

– Доподлинно этого доложить вам не могу, батюшка-барин, – весь захлебываясь от почтительности, зашептал таинственно тот, – потому как сам я к ним зван не был; а только что в сей час Авдей-буфетчик им чай носил, и как дочь моя, Аксюшкой прозывается, теперича к ним, к их сиятельству, княжне, значит, за горничную приставлена, так от нее слышал я так, что они еще в девятом часу встать изволили; стало быть, в сей час должны быть натурально в своем виде…

– Хорошо, ступай! – прервал его рацею барин.

Он подошел к двери и постучал в нее костяшками пальцев.

– Войдите, кто это? – донесся сквозь нее голос Киры.

– Я! – сказал он, широко растворяя дверь.

– Борис Васильевич! – дрогнувшим голосом произнесла она…

Она стояла, только что поднявшись с места, прямо к нему лицом, за большим письменным столом, в глубине пространной и на три четверти темной, с завешенными вплотную окнами комнате. Только там, рядом со столом, одна из половинок оконной занавеси была откинута, и дневной свет горячим и косвенным током падал оттуда на ее изящный и взволнованный облик… Она глядела на входившего с замирающим дыханием…

Он стремительно зашагал к ней… и остановился как бы в недоумении. «Разве она не вскинется, не бросится ко мне?» – пронеслось у него в мысли. – Так представлял он себе в воображении до сих пор эту первую минуту их свидания здесь…

Но она не двигалась. Неодолимое смущение очевидно превозмогало в ней радость… Истерзанная, исколотая мукой сомнений и самоупреков, назойливо врывавшихся ей в душу с того вечера в саду, когда сказала она ему: «Пойду!» – она трепетно ждала той же минуты свидания, чая «все забыть», воскреснуть, вспорхнуть как птица к обетованному счастью… И вот он тут и ждет – она понимает это, видит – а у нее словно крылья подрезали вдруг, и на ногах гири, и голос замирает в горле от неотразимого чувства какого-то «бессмысленного»

страха…

Он невольно на миг сдвинул брови, подошел и протянул ей руку чрез стол:

– Здравствуйте!

Она дрожащими пальцами ответила на его пожатие, опустилась на место:

– Вы… сегодня приехали?

– Да, полтора часа тому назад… Не было возможности раньше выехать, как ни мучило меня, что вы здесь одни, скучаете…

– Нет, – пролепетала она, – я нашла тут в библиотеке интересные книги…

И она чуть-чуть кивнула подбородком на лежавший пред нею на столе старинный фолиант.

Троекуров сел насупротив ее, в тень, устремив на нее внимательно глаза.

Легкий румянец заалел на ее щеках, ноздри дрогнули: она чувствовала себя под властью этого зоркого и жгучего взгляда, и сердце ее учащенно билось не то от счастия, не то от новой муки. «О, сколько любви, – просилось у нее на уста, – сколько любви должен ты дать мне, чтобы заглушить то, что выношу я из-за нее!»

Но она не выговорила этого громко, она спросила чуть не равнодушно:

– Что же, успели вы в Петербурге?

– Успел?.. в чем? – повторил он, все также не отрываясь от нее взглядом.

– Вы поехали для Гриши Юшкова?..

– Ах да, насчет этого! Успел, дело кончено: юношу выпустили.

– Слава Богу! – воскликнула Кира – И с трудом добились?

«Разве об этом, разве об этом, – проносилось опять в голове Троекурова, – будем мы, я думал, говорить теперь с нею!..»

– Не труд, а скука, – ответил он ей, приподняв плечи досадливым движением, – отвращение иметь дело со всеми этими людьми… К счастию, – перебил он себя тут же, – приехала Вера Фоминишна, мать Гриши… Я составил для нее всеподданнейшое письмо: в нем было сказано, что есть на самом деле: что увечный отец отказывается просить за сына, преступного против своего Государя, но что он у них один, одна надежда их старости, и что старик умрет от горя в случае его осуждения… Кира качнула одобрительно головой.

– И ему простили?

– Вышла резолюция, какую можно было ожидать от Того, к Кому обращена была эта просьба…

– Что именно? – заторопилась она спросить.

– «Отдать сына отцу-герою; его надзор – лучшая гарантия в исправлении заблудшего молодого человека».

– Ах, как это хорошо! – всплеснув руками, воскликнула девушка.

Троекуров провел вдумчиво рукой по лицу:

– Да, в другое время высоко бы ценили эту бесконечную милость! – как бы про себя процедил он.

Настала минута молчания… Они подняли одновременно глаза друг на друга – и разом опустили их оба…

Он повел своими кругом.

– Неужели же, – спросил он с насилованною усмешкой, – дом этот, по-вашему, недостаточно мрачен, что вы сочли еще нужным занавесить здесь все окна?

– Напротив, – возразила она, – я занавесила их потому, что при большом свете здесь кажется еще тоскливее и неприветливей. Это был кабинет самого старика, дяди вашего: все так и осталось, как было при нем… Вы ведь, впрочем, ничего этого еще не видели…

И она, подойдя к окну, потянула за снурок, раздергивавший обе половинки его драпри:

– Подле вас висит такой же снурок – дерните!

– К чему? – поспешно вставая, воскликнул Троекуров. – Ничего любопытного, ни радостного для меня в этом доме быть не может… Чем скорее, – произнес он зазвеневшим мгновенно голосом, подвигаясь к ней мимо стола, – чем скорее выедем мы отсюда, Кира, тем счастливее я буду!

Она неожиданно вздрогнула, переменилась в лице… «Как, вот, вот сейчас!..» Ей стало страшно опять…

Промеж широко раздернутых ею между тем занавесей окна сверкающая волна света влилась плашмя в комнату длинным параллелограммом, ударяя в противоположную стену, на которой висела большая, в раме, обтянутая синим сукном доска с навешенною по ней на медных гвоздиках коллекцией всяких акварельных и фотографических портретов.

– Старик, – заговорила поспешно Кира, хватаясь за первый предлог отдалить хоть еще на миг неизбежно предстоявший между ними «настоящий разговор», – старик любил собирать портреты всех молодых лиц, какие он знал. Тут и мой, между прочим, я нашла, – промолвила она, налаживаясь на улыбку и направляясь к той стене.

Троекуров последовал за нею.

– Вот он! – указала она, останавливаясь пред доской. – Он выпросил его, я помню, у тетушки Марьи Яковлевны, когда я к ней приехала из-за границы в Москву, четыре года назад… Переменилась я с тех пор? – спросила она вдруг неестественно веселым тоном.

Эта искусственность раздражала его, он нервно закусил ус:

– Не особенно! – нехотя уронил он в ответ ей.

Она быстро обернулась на него, вскинула глазами прямо ему в лицо – и белые ровные зубы ее сверкнули, словно у молодого волка, из-за дрогнувших и раскрывшихся губ:

– Тут есть еще другая, знакомая вам особа, – как бы отчеканила она.

– Кто это? – досадливо спросил он.

– Узнайте!

И она устремила указательный палец на другой портрет.

Он взглянул… Это была фотографическая карточка его жены, шестнадцатилетней Сашеньки – «девочки» с ее невинно-строгим выражением «волоокой Геры», с густым венцом темных волос над античною, словно нежнейшим резцом *пробранною* по мрамору головкой, – экземпляр той самой карточки, которую Женни Карнаухова «под большим секретом» прислала ему, раненому, на Кавказ, вслед за письмом, в котором извещала его, что эта девочка ходит каждый день тайком с няней, под предлогом прогулки, к Спасским воротам – ставить Спасителю свечку о его исцелении… Он никак не ждал увидеть это изображение здесь, в эту минуту!.. Целый мир прошлого – целый мир чистых, лучших в его жизни грез и помышлений мгновенно хлынул, будто внезапно прорвавшийся родник, и зажурчал в душе его с неотразимою силой. Он заметно смутился, веки его судорожно замигали…

Лицо Киры в то же мгновение покрылось смертельною бледностью. Она неотступно глядела на него – она все заметила, все поняла…

Она отошла к столу и тихо опустилась в кресло, нажимая ладонями глаза…

Он успел тем временем овладеть собою, обернулся, увидел ее в этом положении и кинулся к ней:

– Что с вами, Кира, говорите… что с вами? – допрашивал он, захватывая эти руки у кистей и силясь оторвать их от ее лица.

– Оставьте, оставьте! – шептала она обрывающимся голосом.

Он понял в свою очередь, отступил недоумело и молча…

Она уронила руки, откинула назад голову:

– Что я здесь делаю, скажите, зачем я здесь? – вырвалось у нее взрывом.

Он хотел ответить. Она не дала ему на это времени:

– Разве я не видела сейчас, не прочла на лице вашем? Вы ее любите еще: я это предчувствовала!..

– Послушайте, Кира, это ребячество! – возразил он, морщась. – Да, я любил ее, я женился на ней потому, что любил… Не знаю, что могли вы «прочесть на моем лице», но во всяком случае это относилось к прошлому, к отжитому, к чему возврата нет. Из-за чего же вы волнуетесь? Разве между вами и мной не все порешено еще, разве я не весь ваш теперь?..

– Нет! – резко выговорила она. – Вы говорили: «без сожаления и раскаяния». А вы в этом сами не властны!..

– Я не ждал от вас этих упреков, – сказал он, – вы точно ссоры ищете…

– «Ссоры?» – горько повторила она. – Знаете ли вы, что я не сплю, не ем с той самой минуты…

когда «все порешено» было, как вы говорите!.. Вы говорили о «правде любви» – и за этим словом я согласилась идти за вами… на все. Но *правда* ли это действительно? Не проходило еще мгновения с той поры, чтобы не думала я мучительно об этом… Я упорствовала, я хотела верить: «правда» эта, уверяла я себя, выше совести, выше терзаний ее… выше тех унижений, которые вынесла я там, прежде чем уехала…

– «Унижения»? От кого? – вскрикнул он с засверкавшими глазами.

– Не от нее, успокойтесь! Она, как всегда, чиста и великодушна, – презрительно усмехнулась Кира, – так великодушна даже, что постаралась оправдать меня в собственных моих глазах.

И, вынув из кармана анонимное письмо, полученное Александрой Павловной и переданное, по ее приказанию, Анфисой княжне в минуту ее отъезда из Всесвятского, протянула его Троекурову:

– Прочтите!

Он развернул письмо… Первым делом кинулись ему в глаза начертанные спешною и дрожавшею рукой его жены слова: «Если и правда, не ты виновата…» Виноватым, очевидно, почитала она одного его… Его словно кто ножом в грудь ударил: вся кровь отлила ему к сердцу. Он быстро обернулся, как бы к свету, чтобы не выдать опять Кире своих ощущений, и принялся читать далее с презрительным выражением на побелевших и присохших губах…

– Мерзавец! – вскликнул он, дойдя до конца. – Это Троженков сочинял, очевидно… Но… но как мог он узнать… о нашем разговоре?..

– Не все ли равно теперь? – повела она на это равнодушно плечом.

Он засмеялся нежданно громким – слишком громким, чтобы быть вполне искренним, – смехом (и Кира поняла это):

– И к лучшему! – сказал он. – Этот господин избавил нас от всяких других объяснений: все путы порваны, мы свободны теперь.

– Свободны!.. На что? – глухо проговорила она.

– Уехать, прежде всего уехать скорее!..

– И мучиться от этого, и страдать обоим?

– Кира, перестаньте! Это жестоко или безумно – вы это должны понять!..

– Жестоко, да! Я говорила вам, я это предчувствовала… И вижу ясно теперь…

– Что вы видите! – перебил он ее, волнуясь и бледнея. – Вы выискали какой-то действительно ребяческий предлог мучить и себя, и меня…

– Вы знаете сами, что это не ребячество! – пылко возразила она. – Вы знаете, что я не торговалась: я прямо, не задумываясь, решилась идти с вами – на преступление. Я понимала, что это *преступление,* что гублю ее, лишаю ее детей отца их, – и все же согласилась… Я слепа была, я верила, повторяю, в эту силу, в эту вашу «правду» любви, и что пред нею должно потонуть все, все прошлое, и мое, и ваше, что с него начнется новая, совсем новая жизнь… как вот после смерти обещают нам, – и ничего уже в этой жизни не будет, кроме той же любви,

всепоглощающей, исключающей все прежнее, все остальное…

– Вы не ошибаетесь, – горячо воскликнул он, – эта новая жизнь ждет нас, ждут золотые дни счастия!..

Она засмеялась теперь в свою очередь, засмеялась надрывающим смехом.

– Поклянитесь же мне, попробуйте – я вашей клятве поверю, – что никогда не вспомните о *ней*, не пожалеете о том, чем пожертвовали для меня!.. Разве вы решитесь дать эту клятву?.. Ведь я видела сейчас, я нарочно подвела вас к ее портрету, весь день вчера соображала я это… Да и кто знает, – какою-то странною нотой зазвенел вдруг голос Киры, – вы, может быть, сами показались бы мне гадки, если бы в сердце вашем не осталось ничего к ней. Ведь и она же любила… и давала вам счастие – какое умела!.. А между тем, – и прозрачные ноздри ее надменно дрогнули, – а между тем я и с мертвою не согласна была бы делиться ни единым помыслом того… кого я люблю!..

У Троекурова двоилось в глазах. Никогда еще ее своеобразная красота и то внутреннее содержание, тот пыл и цвет душевный, что заключались в ней, не представлялись ему в таком обаянии, как в этот миг, когда, бледная как мрамор, с горящими страстною энергией глазами, беспощадно разгоняла она этою нежданною горечью речи марево чаемого – давно ли? – ими обоюдного счастия. Соблазн этого счастия снова захватил и повлек его теперь. «Нет, что бы ни было, ты моя, ты должна быть моею!» – неудержимо подымалось ему к горлу… Он рванулся вперед, простирая руки… и остановился, вздрогнув, пред ее внезапно испуганным движением, перемогая себя сверхъестественным усилием и чувствуя, как краска мгновенного стыда выступала на его лицо… «Ашанин, *будка»,* – гадливо пронеслось у него опять в голове…

Она повела на него с места долгим, лихорадочно вопрошающим взглядом:

– Я знала, вы честный человек, – проговорила она, тяжело дыша, – вы не дадите обета, которого сдержать не можете. Вы сами обманывались!..

– Не знаю, – ответил он, садясь и судорожно проводя рукой по лицу, – я был искренен с вами, Кира, и чувство мое к вам заглушало во мне все иные чувства и мысли – это верно! Я шел к вам, отрешившись, казалось мне, ото всех оков прошлого. Вы сочли нужным подвергнуть меня искушению. Я не ждал… Оказывается действительно, что не все то легко порывается, что хочешь, – договорил он тихо.

Она глядела на него с широко раскрытыми зрачками, с высоко и неровно подымавшеюся грудью под темным лифом ее платья.

Жилы на лбу Троекурова заметно натянулись. За страстным порывом наступила борьба…

– Я сжег свои корабли, вы это знаете, – заговорил он после тяжкого молчания, – но для вас этого недостаточно… Я не упрекаю вас за это, – поспешно примолвил он, как бы предупреждая возможное возражение, – не в вашей природе идти на компромиссы. Все до невозможного или ничего, – девиз ваш… Но я смел думать, что вы будете великодушнее, – добавил он с чуть-чуть слышным оттенком желчи.

– Великодушнее? – повторила она, не понимая.

– Да, что вы не станете в эту минуту предъявлять вексель на мою «честность».

– А когда же, – пылко вскликнула она на это, – когда, по-вашему, следовало бы мне напомнить

вам это? Когда сама действительность потребовала бы с вас уплаты и обратила бы для вас любовь ко мне в тюрьму, из которой вы могли бы вырваться только чрез смерть мою или вашу. Потому что вы сочли бы своим долгом, я знаю, не покидать меня до смерти… а я – я была бы уже не в силах расстаться с вами, хотя бы и видела, и чувствовала каждую минуту, как гложет вам сердце червь воспоминания и сожаления о прошлом… Вы сейчас сказали сами, что «не все то легко порывается, что хочешь». А понимаете ли вы, – возгласом отчаяния вырвалось из груди Киры, – что единственное право мое на вас и единственное мое оправдание в собственных глазах, это было бы убеждение, что вы не знали счастия до сих пор, что я, одна я, в состоянии дать вам его… Я сказала вам сейчас, что, может быть, я стала бы почитать вас дурным человеком, если б у вас ничего не осталось *к ней* в вашем сердце. Я солгала!.. Я, может быть, говорила бы вам это вслух, но в душе я боготворила бы вас за это… Но вы не можете, не можете: призрак все это было, один призрак!..

Троекурова точно повело всего внутренно. «Призрак!» – с вескою отчетливостью отпечатывалось это слово в его мозгу, будто в первый раз приходилось ему слышать его… «Призрак… Но в какую же игру тогда играли мы оба с нею до этой минуты?..» И глухая, но уже раздражающая боль заколола у него в груди: лицо приняло мгновенно холодное, чуть не злое выражение…

– Послушайте, Кира, – сказал он, – другой на моем месте обратил бы, может быть, ваше же оружие против вас и стал бы вам доказывать, что любовь прежде всего не терпит условий и уговоров, что она, как от века положено ей быть, искренна только тогда, когда *слепа,* что нет ее там, где нет бесспорного, неограниченного доверия к любимому предмету, доверия, не допускающего страхов о будущем, ни еще менее бесполезных сетований за прошлое. Он мог бы легко, пожалуй, вывести из этого, что в вас самих лежит зародыш тех недочетов, которые, в вашем понятии, происходят от недостаточности гарантии предлагаемого вам счастия… Но я к этому оружию прибегать не стану. Мне всегда противно было соблазнять софизмами чужую совесть… Да и со своею не умел я это никогда делать! – безвольно вырвалось у него под влиянием той какой-то тяжкой работы, совершавшейся в нем внутренно…

– Для чего это вы мне говорите? – со внезапною тревогой обернулась на него Кира.

– Я думал, это ясно для вас, – и в голосе его послышалось нетерпение, – мы, как сказочный царевич, стоим теперь на перепутье, не зная, куда идти, вправо или влево, вперед или назад. Но так оставаться нельзя. Я после того, что сказано вами, не почитаю себя вправе заявлять свое слово. Выбор зависит единственно от вас. Решайте.

Сердце страшно забилось у нее, руки похолодели, между тем как кровь горячею струей кидалась ей в голову. «Что же, кинуться к нему в его объятия, сказать, *голосом выговорить:* я твоя, твоя без рассуждений, делай со мной, что хочешь!» – зазвенела нежданно в ней какая-то мгновенная сила страсти.

Она опустила веки в смятении, охватившем все ее существо…

Он молчал и ждал…

Она приподняла опять опущенные зеницы, пытливо, трепетно устремилась горящими зрачками в его глаза… и дрогнула вдруг и замертвела вся:

«Поздно слишком!» – прочла она, как в книге, в этих стальных, в этих «беспощадных» глазах. – Сам он ничего уже не *хотел* теперь…

Она нашла в себе силу устоять на ногах, улыбнуться… Он всю жизнь свою потом не мог забыть

этой улыбки. В ней было все, применяя сюда слова поэта:

Любовь, страданье,
Упрек с последнею мольбой.
И безнадежное прощанье —
Прощанье с жизнью молодой[97].

Но сам он словно оледенел весь в эту минуту, и ни единого звука не исторглось из груди его в ответ на ее муку.

Она сама одолела ее. Отвернувшиеся от него глаза ее устремились неопределенно вглубь комнаты; дрожавшие губы сомкнулись в тонкую, чуть намеченную линию, как в ликах святых на картинах прерафаэлитов. Что-то сурово-безучастное слагалось на ее бледном, как саван, лице.

Так прошло несколько мгновений, томительных, как зрелище агонии приговоренного больного…

Она еще раз чуть-чуть усмехнулась:

– Вы мне позволите, – произнесла она твердым голосом, – об этом решении моем известить вас не сейчас?

Он поклонился:

– Когда же прикажете явиться за ним?

– Неужели вы так любопытны? – последним горьким взрывом уязвленного чувства вырвалось у нее.

Но она тут же поборола это чувство, встала, протянула ему руку и проговорила кротким, дружественным тоном:

– Я не заставлю вас долго ждать, Борис Васильевич.

Он наклонился, коснулся губами ее безжизненных, как у мертвой, пальцев, поднял голову с заметным намерением что-то сказать ей… но не сказал ничего, глубоко поклонился еще раз и тихо вышел из комнаты.

Холодная вся и недвижимая как истукан, долго глядела ему вослед Кира… «Все кончено», – бессознательно произнесла она вслух затем и опустилась опять на свое место пред столом, роняя лицо на сложенные руки.

«Что же теперь?» – спрашивала себя она… Слезы подступали ей к горлу, но она плакать не могла. «В роде нашем не плачут», – вспомнились ей слова отца ее на одре смерти и та надрывавшая ей сердце улыбка, которою пытался он при этом успокоить ее тревогу. И сама она при этом воспоминании приосанилась вдруг и обвела беспокойно кругом себя глазами, как бы испугавшись, чтобы чей-нибудь взгляд не подсмотрел в них выражения «слабости ее пред горем…»

Предания этого рода, честного рода ее, предания нравственной *порядочности*, воспринятые как бы с молоком матери, воспитание в дальнем краю, управляемом этим строгим отцом, говорившим «Noblesse oblige et *pouvoir* aussi», сиротство ее затем, страстные идеалы

«служения человечеству», ее петербургская дворская жизнь… и *вдруг это, это* — все разом поднялось и зазвенело в ее душе, словно набегом ветра на натянутых струнах эоловой арфы. «Все кончено»: преступные надежды, блудящие огни недостижимых для нее радостей жизни… Ладья ее без кормила и весла набежала на утес и поглощена пучиной, сознавала она… Оставалось *душу живу* вынести из кипени вод…

Глаза ее случайно остановились на открытой странице развернутого на столе фолианта, который она, в ожидании Троекурова, вынесла из библиотеки старика Остроженка, привлеченная в ту минуту его древним, пергаментным переплетом гораздо более, чем самим заглавием. Это было издание XVII века *Подражания Христу, с* французским в стихах переводом en regard Корнеля, автора *Сида* и *Les Moraces… «Ama nesciri et pro nihilo reputari»*[98], прочла она, пробежала бессознательно взглядом к соответствовавшему французскому тексту… и вздрогнула вдруг вся, как бы от веяния чьего-то таинственного и живительного дуновения…

XI

Напрасно вы беседою шутливой
Мой тяжкий сон хотите перервать!

Пушкин.

Твоей душе покорность невозможна,
Она болит и рвется на простор.

Гр. А. Толстой.

«Призрак, да, призрак! – повторял мысленно Троекуров, спускаясь по лестнице в мрачные сени дома. – Не любовь у нее, не увлечение, а все то же болезненное искание, зуд беспокойного ума, рвущегося за пределы возможного… А я?..» Он не договаривал… На душе его было темно и трудно, и он как бы боялся разобраться в наводнявших ее ощущениях. Ему хотелось отбиться от них, отогнать, рассеяться каким-нибудь внешним, посторонним занятием… Он вспомнил о своей конторе, помещавшейся тут же рядом, на Покровке, и, выйдя на улицу, направился туда.

Контора состояла из трех комнат, из которых первая служила приемною, вторая – «канцелярией», а третья, маленькая, выходившая на двор, с спокойною мебелью, несгораемым шкапом для хранения денег и письменным столом, служила рабочим кабинетом Троекурову, когда он приезжал по делам в Москву.

Он вошел, застал конторщика и двух его писцов за счетами и, пройдя в этот свой кабинетец, потребовал полугодовой отчет по сахарному заводу «с документами».

Он рассчитывал, что ему за этим «часа на два работы хватит», и, потребовав каких-то предварительных сведений от конторщика, выслал его затем из комнаты и погрузился в дело с карандашом в руке.

Ему приходилось перелистать и проверить страниц пятнадцать всяких *статей,* исписанных колоннами цифр, но он не был в силах одолеть и одной. Цифры прыгали и путались пред его усталыми глазами. Нервы, чрезмерно натянутые бессонницей и прожитыми им сейчас ощущениями, отказывались повиноваться ему. Им овладевала неодолимая дремота. Он безотчетно откинул голову в спинку старинного кресла, на котором сидел пред столом, и тут же заснул.

Так прошло довольно долго времени.

Но вот, еще сквозь сон, из-за не совсем примкнутой двери в «канцелярию» донесся до него полушепчущий говор двух голосов:

– К Ахенбаху поздно, – говорил конторщик, – шестой час в начале, конторы все заперты.

– Они беспременно просили, чтобы сегодня же, – возражал другой кто-то, – а не то, так золотом получить, все равно.

– Это можно; менялы во всякий час сидят…

– Так уж потрудитесь, Иван Никитич, скорее. Очень просили они.

Троекуров узнал голое управляющего его домом и открыл глаза, прислушиваясь…

– С моим удовольствием, – говорил конторщик, – только вот как бы, шкап отворямши, барина не потревожить: започивали никак…

– Никитин! – громко позвал его Борис Васильевич. – О чем у вас тут!

– Из дому, вот, господин Пазухин пришли, – доложил тот, появляясь в дверях, – от княжны Киры Никитишны с поручением.

– Что такое? Насчет каких-то денег, я слышал…

– Точно так-с! У нас в кассе денег ихних, полученных мною, по доверенности их, из казначейства, 1.600 рублей лежат. Так они просят, чтоб эти деньги перевести траттою на Женеву или Лион, а то так золотом…

– Да, – перебил его, кивая, Троекуров, – знаю… Так вы, пожалуйста, устройте это ей скорее!..

И пока тот, поспешно подбежав к письменному столу, вынимал из потайного ящика хранившийся там ключ от несгораемого шкапа, он подвинулся к столу, подкинул себе тетрадку почтовой бумаги и, обращаясь к управляющему:

– Я сейчас напишу два слова княжне, – промолвил он, макая перо в чернильницу ленивым как бы жестом, – отнесите и спросите, будет ли ответ?

– Слушаю-с!..

«Я узнал, что вы собираетесь уезжать, – писал Троекуров, – угодно ли вам будет видеть меня пред этим?»

Он запечатал записку, надписал на обложке короткий адрес: «Княжне» и отдал ее Пазухину.

Минут через десять тот вернулся с ответом:

– Княжна приказала сказать, что они напишут и пришлют в контору для доставления вам.

– Хорошо! – кивнул Борис Васильевич. – Так когда получите, принесите ко мне, к Шеврие, я там обедать буду, – наказал он конторщику и, сдав ему обратно бумаги по заводу, велел подавать коляску и уехал.

Погода переменилась тем временем. Задул холодный ветер, небо заволоклось тучами. Обеденное время разогнало гуляющих с Кузнецкого моста. Все словно посерело и закисло кругом… «А давно ли проезжал я здесь и напевал:

Quel beau jour,
Quel beau jour pour les amoureux?

– пронеслось в памяти Троекурова…

– Троекуров, здравствуй, давно приехал? – послышался ему голос из обгоняющей его коляски.

Он обернулся.

В коляске сидел Фифенька Веретеньев, в лиловом галстуке и шляпе набекрень, и весело кричал ему, присвистывая в пустое отверстие недостававших ему спереди зубов:

– Ты в клуб?

– Нет! – коротко отрезал он в ответ.

– Приезжай, я тебя сейчас запишу, там сегодня уха! – крикнул еще раз Фифенька и промчался мимо.

Троекуров велел кучеру своему остановиться у ресторана Шеврие, вошел туда, спросил карту и, усевшись в углу за столик, долго разглядывал ее, как бы не зная, на чем остановиться, и наконец, к некоторому удивлению почтительно выжидавшего его приказания официанта-татарина, кинул карту на стол и проговорил сквозь зубы:

– Все равно, подай чего-нибудь!..

– Слушаю-с… Вина какого прикажете?

– Вина?.. – повторил он, рассеянно глядя на спрашивавшего.

– Хозяин на днях отличную партию бургонского получили, ваше сиятельство, – прошептал, наклоняясь к нему, тот, будто с намерением сообщить ему государственную тайну, – Шамбертень великолепнейший!

– Хорошо, подай!..

Еда не шла в горло Борису Васильевичу. Он отсылал, едва отведав, подававшиеся ему блюда и морщился, словно приняв лекарство, вслед за каждым проглоченным куском. Но предложенную бутылку Шамбертеня он выпил до дна и за последним глотком встал и отправился в свой нумер.

– Письма есть? – коротко спросил он вышедшего ему навстречу Матвея.

– Никак нет! – ответил тот, принимая шляпу и перчатки барина.

– «Il faut pourtant en avoir le cœur net», – сказал себе мысленно и почему-то по-французски Троекуров, опускаясь на диван.

Он скользнул взглядом по лицу своего слуги, зевнул:

– Княжна Кира Никитишна здесь остановилась в покровском доме; она собирается уезжать, – неопределенно проговорил он, – ты сходишь к ней, скажешь, что я тебя прислал, не будет ли каких приказаний… и все исполнишь, если что ей нужно… А какой ответ будет, придешь мне сказать.

– Слушаю-с. Сейчас прикажете?

– Само собою!..

– Вы изволите теперича дома оставаться? – осторожно спросил Матвей, зная, что барин «вообще не терпят, чтоб их спрашивали».

Барин оглянулся, подумал…

– Я, может быть, в клуб уеду, в Английский… Ты туда приди с ответом.

– Слушаю-с!

Он отправился. Борис Васильевич остался один. Он растянулся на диване, прижмурил глаза и долго оставался так, погруженный в глубокое внутреннее размышление.

На дворе наступали сумерки, полумрак обымал уже углы комнаты… Троекуров поднялся, прошелся раза два мимо окон, надел шляпу, машинально взглянув на себя при этом в зеркало, вышел и, кликнув свою коляску, велел везти себя в Английский клуб.

Там, в биллиардной, прямо против двери, в углу, за ломберным столом сидели Фифенька Веретеньев, приятель его, первый по Москве игрок в коммерческие игры, monsieur Lecourt, приезжий из Петербурга Чижевский и такой же приезжий гвардейский гусар с необыкновенно красными и толстыми губами. Они резались в преферанс «по маленькой». Подле них, на особом столике, стояла в холодильнике бутылка шампанского… В этой известной во всем клубе «Лекуровской компании» таких бутылок до первого штрафа выпивалось играющими иногда до пятнадцати. Они записывались за каждым, по очереди, ставившим ремиз, опорожнялись и заменялись новыми с неимоверной быстротой.

– Спасибо! – кивнул, подходя, Троекуров Фифеньке, записавшему его, подал руку знакомым и опустился подле него на диван.

– Человек, стакан!.. Выпьешь? – спросил тот.

– Не буду, нет!..

– Жизнь есть пир, – с покатистым смехом проговорил на манер лозунга, останавливаясь у стола, Мишка Таранов, остроумец и толстяк, сам уже несколько лет променявший былое *жуирство* на отчаянные споры о «матерьях важных» в «чернокнижной».

Он подмигнул сквозь очки на играющих, дружески потряхивая между тем руку Троекурова.

– Пир, пир! – с хохотом подтвердил monsieur Lecourt, белокурый весельчак с выбритым начисто и оплывшим лицом. А вот тебе и карамболь по красному, – с тем же смехом отнесся он к гусару, объявившему семь в червях, и показал ему свои карты, – дама сам третей, туз и фуршетка козырей, ставь ремиз! Я, брат, строг, но справедлив… Следующая бутылка за тобой!..

Гусар, уже наполовину *готовый,* мотнул головой в знак согласия, выписал над чертой пульки исполинскую цифру 20, при чем мелок разлетелся в куски под его здоровыми пальцами, и запел вполголоса:

А кокетка,
Как ракетка,
В миг взовьется, заблестит…
– Ах, мороз-морозец,
Молодец ты русский,

– проречитативил в свою очередь, сдавая карты, Lecourt, – ты бы вот послушал, как это Маня поет; косточки все пробирает, чертовка…

– Поедем отсюда к ним! – поспешно предложил молодой воин.

– Дело! Чижевский, едем?

– Охотно, я давно цыган не слыхал.

– Фифа, и ты?

– Не могу. У меня сегодня soirée comme il faut.

– У кого это, кого пленять собою будешь, Фифочка ты моя забубенная?

– У купца Подсолнухина, на Пятницкой, по случаю бракосочетания *их с* девицей Сыроешкиной, бал с угощением и avec le оркестр Сакса, – присвистнул Веретеньев и подмигнул: – *sans* (то есть без этого), говорю ему я дирижировать не могу.

Вся компания залилась смехом.

– А avec, – спросил Таранов, – сколько ты у него призанял?

Фифенька скорчил жалобную гримасу:

– Вздор самый! Пятьсот всего, и то под вексель дал, аршинник!..

– Э, брат, как ты с цены съехал! – протянул Лекур, высовывая язык. – В распородажу видно товар пошел.

Все расхохотались опять.

– И вот как видишь, – громко сказал Таранов, обращаясь к Троекурову, – это у них 365 дней подряд в году и десять лет кряду – та же гульба и песня идет:

Nous n’avons qu’un temps à vivre,
Amis, passons le gaiement?..

– Верно! – крикнул Лекур, опорожняя вино, остававшееся в стоявшем подле него стакане, и поднял его над головой. – *Дю шампань, жюска ла мор*!

– Не зайдешь *к нам?* – шепнул Троекурову Таранов, разумея «чернокнижную».

Это была в те дни узенькая, в одно окно, с единственным диваном и тремя-четырьмя

покойными креслами комната, рядом с «читальною», куда собирались клубные «мудрецы», как утверждала лекуровская компания, «Европу делить». Не многочисленно, но необыкновенно задорно было собиравшееся там каждый вечер общество; гул споров, перемежаемый взрывами хохота, вызываемого забавными анекдотами, главным поставщиком которых был тот же Таранов, стоял неумолчно в ней, как дым в курной избе.

Там уже «шли дебаты» (все о том же «европейском парламенте», о котором до пены у рта происходили здесь словоизвержения каждый вечер), когда приятели вошли туда. Собралось уже человек пять. Против «радикала» Сильванского выступал со ссылками на Гнейста Иван Алексеевич Готовкин, почитавшийся председателем «чернокнижной», бывалый, начитанный человек и кровный «тори» по убеждениям.

Таренов еще с порога так и ринулся в прение (шло дело о положении крестьян на Западе):

– В министерство 30 марта, – загудел он своим зычным голосом, – вопрос о коммунальном устройстве…

– Позвольте, – прервал его озадаченный Сильванский, – что это за министерство 30 марта?

– Второе министерство Тьера в 1838 г., с Odillon Barrot uDuvergier de Hauranne, следовавшее за министерством 2 февраля 1834 г. Гизо и Моле (он знал наизусть даты и состав всех бесчисленно смеявшихся министерств июльской монархии), когда оппозиция…

– «Шумим, братец, шумим», – перебил его опять выступивший тем временем из читальной и остановившийся в дверях высокий и полный джентльмен, с несколько как бы надменно откинутою назад головой и большими пальцами рук, засунутыми за рукавные прорези жилета. Это был известный своими художественно бойкими эпиграммами, дружбой с Пушкиным и напускною бесцеремонностью приемов, библиофил Горностаев. – А наставление самого умного человека у Грибоедова забыли? – иронически спросил он.

– Кто этот «самый умный человек»?

– Само собою, Скалозуб! – ответил он авторитетным тоном:

Ученостью меня не обморочишь!
Скликай других, а если хочешь,
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Волтеры дам…
– Он в три шеренги вас построит,
А пикнете, так мигом успокоит,

– подхватил с хохотом Таранов, – покорнейше благодарим, – nous sortons d’en prendre!

Намек этот имел огромный успех: вся «чернокнижная» покатилась сочувственным смехом.

– А вы меня, Иван Алексеевич, нисколько не убедили вашим Гнейстом, – обратился к Готовкину Сильванский, возвращаясь к первоначальному мотиву их спора, – нет неопровержимой книги, во-первых; книга, затем, может содержать много более или менее интересных фактов, но по заключающемуся в ней внутренно смыслу оказаться пустою.

Он не успел досказать свою мысль.

Горностаев, стоя все так же в дверях и не вынимая пальцев из прорезей жилета, нежданно

возгласил басистым своим голосом, пред вескою звонкостью которого голос Таранова мог бы быть почитаем писком младенца:

– Жил в Вене некто Лихтенталь, остроумный человек, и – что не одно и то же, заметьте! – писавший остроумные, – у нас, разумеется, совсем неизвестные, – вещи. А между прочим следующее: «Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstossen, und es klingt hohl, – ist das nicht immer im Buch[99]…»

Последовал новый взрыв смеха. Сильванский, с краской в лице, быстро поднял глаза на говорившего, но тот, спокойно и величественно повернувшись на каблуках, уже направлялся опять в читальню.

– Горностаев, погоди! – остановил его Таранов. – Сегодня я совершенно нечаянно в одной французской книге напал на недурное размышление: «La presse quotidienne finira par appauvrir l'intelligence humaine, comme les mines du Mexique ont appauvri l'Espagne». Аппробуешь?

Горностаев повел одобрительно подбородком:

– У меня украдено. Я еще двадцать лет тому назад доказывал Мериме, – который, впрочем, совершенно согласен был в этом со мною, – что мир видимо глупеет по мере увеличения в нем чтения газет… Я бы их в России запретил все до одной, за исключением официальной «Северной почты».

Он повернулся еще раз и исчез за дверью.

В ней в ту же минуту показался один из клубных служителей. Он подошел к Троекурову, безмолвно усевшемуся на диван и безучастно прислушивавшемуся к предыдущему разговору, и доложил ему, что его спрашивает его человек.

Тот поднялся с места и прошел в переднюю.

Матвей, едва завидев барина, быстро пошел ему навстречу.

– Княжна изволили уехать в Петербург, – почтительно и как бы таинственно прошептал он.

Троекуров сдержал готовый вырваться у него возглас и взглянул на него строго вопрошающими глазами. «Я вот тебя выгоню сейчас за это шептание!» – прочел в них не в меру прыткий и усердный малый, внезапно бледнея.

– Ты видел княжну пред отъездом или нет? – обрывисто и громко спросил его через миг Борис Васильевич.

– Видел-с, как же! Они, когда я прибыл, в Донском монастыре изволили еще быть: ко князю, батюшке ихнему, на могилу ездили, сказывали в доме люди. Вернулись они в восьмом часу в начале. Чемоданы и прочее, все это у них в аккурате в сенях готово было; вышли из кареты, изволили приказать, что куда поставить. «Сейчас, – говорят, – я и на железную дорогу». Я тут и доложил им от вас, как изволили приказывать. «Очень, – говорят, – благодари Бориса Васильевича и скажи от меня извинение, что никак не успела написать им сегодня, а что как только прибуду в Петербург, так непременно напишу». Очень они спешили, чтобы не опоздать на поезд; сели сейчас и поехали.

– С горничной?

– Одни-с. Горничную Матрену, что у них во Всесвятском служила, они, сказывал мне управитель, как приехали сюда, рассчитали в тот же день и отпустили, а заместо ее в прислужницах была у них здесь одна взята из дома девушка.

– Знаю, – перебил его барин, – можешь идти!..

Он, теребя усы, с нервно помаргивавшими веками, медленно зашагал обратно вдоль по длинной полосе ковра, тянувшегося по пространной анфиладе клубных комнат. На душе его заныла опять раздражающая боль…

– Троекуров, не хочешь ли на мое место? Лекур взлупил меня до живого мяса. Баста! А тебя, Креза, распатронить и сам Бог велел, – продолжал Фифенька, когда тот поравнялся с их столом.

– Спасибо!.. Играть, так уж не в это! – ответил сквозь зубы Троекуров.

– А хочешь в *настоящую,* – поспешил заговорить Лекур, – пожалуй в «инфернальную». Занесухин там, и против него компания на паях собирается, тебе очень рады будут…

– Нет, в компании я играть не стану.

– А коли один на один, так *тем* ему приятнее, обяжешь!.. Пойдем, я сейчас тебе это устрою.

Троекуров кивнул и пошел за ним.

Толстогубый гусар мотнул головой ему вслед и подмигнул Веретеньеву:

– Был матадор в свое время! Бачманову раз в одну ночь девяносто тысяч проиграл на даме треф – рутерки держался… Давно, впрочем, этому. Как женился, говорят, закаялся играть. А сегодня проняло, видно, опять?

Фифенька хихикнул:

– Qui buvé buvra! – проговорил он сентенциозно на своем французском языке испанской коровы.

Безногий генерал Занесухин в течение уже долгих лет состоял одним из крупнейших игроков обеих российских столиц. Он занимал по своему служебному положению и случайной женитьбе на особе знатного и богатого рода видное место в Петербурге, где и пребывал обыкновенно, наезжая в Москву раза два в год по старой привычке, ввиду все тех же игорных целей, хотя и выносил оттуда с каждым годом все более крепнувшее в нем и весьма для него тяжелое убеждение, что «в Москве перевелись деньги»…

«Бывшие богатыри» зеленого поля, золотые годы игры до десяти часов следующего утра и тысячных штрафов – все это в Москве действительно отходило давно уже в царство теней, обращалось в легенду. В «инфернальную» Английского клуба, полную незабвенных воспоминаний о проигранных в ней баснословных «кушах» и «спущенных» крепостных «душах», вслед за 19 февраля дерзко

Лезли из щелей
Мошки да букашки,

«каротёры, пробавлявшиеся копеечками по три point в «пикетец»… Падение очевидно не

могло идти далее.

Так или весьма близко к тому рассуждал теперь генерал Занесухин, «сей остальной из стаи славной», сидя угрюмо и одиноко на диване, в ожидании конца переговоров собиравшейся выступать против него компании пайщиков. Он не то презрительно, не то нетерпеливо поглядывал на угол, в котором происходило их совещание, позевывая и потирая рукой чрез сукно расчесавшуюся оконечность отрезанной под коленкой ноги своей.

Услыхав от Лекура о неожиданном ратоборце в лице Троекурова, генерал просиял весь от удовольствия. Он знал о его прошлом, знал и его теперешние средства, как знал вообще до копейки, *сколько* каждый играющий в России человек мог ему проиграть… «Тут, очевидно, – тотчас же сообразил он, – при случае может до сотней тысяч дойти»…

Он поспешно даже с места встал навстречу Борису Васильевичу, протягивая ему руку, говоря, что он помнит его еще «с пажей», что он «и с батюшкой, хе, хе, игрывал в старые времена» и что он рад, очень рад…

– Вы как же, – спросил он тут же, – с этими господами в доле или…

– Нет, – заявил Борис Васильевич, – играю я всегда один, à mes risques et périls, и если эти господа позволят…

– Сделайте милость, мы отступаемся, – решила *компания,* которую Занесухин «наказал» накануне тысячи на три.

– Так пойдемте! – сказал тот, направляясь к столу в углу комнаты.

Он уселся в самом этом углу, спиною и левым боком к стенке. К правой стороне его, согласно давно заведенному им и везде, где он играл, известному обычаю, приставлена была слугами ширма для воспрепятствования любопытным глядеть в его карты и с этой стороны.

– Почем? – коротко спросил он.

– Почем хотите! – небрежно ответил Троекуров, за стулом которого тотчас же столпилась галлерея.

– Рубль point, pour commencer, по десяти туз, и сто – комплект фигур? Обыкновенная, – промолвил он, как бы не сомневаясь, что садящийся с ним играть не мог не ведать его «обыкновенной» цены.

Борис Васильевич кивнул в знак согласия.

Занесухин пододвинул ему одну из колод, лежавших на столе, и сам распечатал другую…

XII

Сила в немощи совершается.

Ап. Павел. 2Кор.13:9.

Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша,
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!

Баратынский.

Три вечера сряду (вернее, три ночи: они после клуба отправлялись доигрывать в гостиницу Шевалдышева, где остановился генерал) играл с Занесухиным Троекуров. Он был уже в проигрыше тысяч пятнадцать… Игра нисколько не увлекала его, не портила ему крови, не обостряла нервов. Он искал в ней лишь рассеяния и физического утомления – и достигал этого. Он возвращался часу в шестом в свой нумер, ложился в постель и засыпал тут же как убитый. Начинавшееся для него не ранее полудня *утро* убивал он кое-как за чтением газет, или отправляясь бесцельно бродить по московским бульварам и неведомым проулкам, ехал затем обедать в клуб, а в урочный час садился опять в том же углу «инфернальной» против своего безногого, желтого как мумия противника, с автоматичностью куклы безмолвно выкидывавшего карты из своих старческих, чуть-чуть дрожавших рук… «Животная жизнь!» – прорывалось у него порою в мысли с какою-то внезапною потребностью и радостью самообличения, с мучительными проблесками воспоминаний о своей «той» иной жизни… Но он упорно отгонял эти помыслы, как бы признавая их *пока* еще ненужными; он чего-то ждал, – после чего он «займется собою», говорил он себе, кривя иронически губы.

Он ждал письма от Киры – он не сомневался, что получит его, – оно должно было окончательно «уяснить все»…

Оно пришло наконец. Матвей подал его барину вместе с первым стаканом утреннего чая… Троекуров взглянул на адрес, узнал руку и, не вскрывая обложки, отложил его на стол.

Он принялся за чтение его, лишь когда остался один в комнате…

Мы позволим себе передать письмо это читателю с полною точностью в его торопливом, не совсем связном изложении, со всеми его по-женски подчеркнутыми или недописанными словами:

«Я сегодня приехала сюда, – говорилось в нем, – хлопотала и разъезжала весь день, и пишу вам теперь поздно ночью, утомленная, но *решившаяся* и – *без возврата* решившись.

Не подумайте, чтоб это была с моей стороны внезапная сумасшедшая выходка вследствие того, что было в Москве… Нет, я давно, с Женевы, думала об этом; я там встретилась с одним сильным, убежденным человеком. Он мне еще тогда указывал путь… Но меня унесло потом опять, вы знаете!.. А теперь я чувствую себя твердо на берегу, на надежном берегу.

В том, что было, я никого не виню, ни вас, ни даже себя. Я *поняла,* что мне *положено* было испытать и перестрадать и *это* и что потом оно *должно было непременно* кончиться *так,* как оно кончилось. Счастье, вы говорили. Никогда! Его бы не было ни для вас, ни (для) меня, nous nous serions mutuellement mangé le cœur. Быть счастливым особая способность; ее у меня никогда не было. А в вас гордость, le péché de Satan. Лучше, гораздо лучше *так,* как вышло, Борис Васильевич! Прощайте… и простите (!)…

Я прямо отсюда еду в Лион. Там есть un couvent de Visitandines, я у них постригусь в монахини.

Вас, я знаю, ничто никогда не удивляет, но (вам), может быть, покажется странным именно то, que je me fais catholique. Я вам скажу почему. Там – *узда,* там – *дисциплина;* (там) знаешь твердо, *чего* хотеть и *куда* идти. У нас (этого) нигде нет, *некому себя в руки отдать,* а в этом для меня одно спасение… Воля – бремя, невыносимая тяжесть, когда не знаешь, как управляться с нею… и вы знаете лучше всех, *что* умела я делать из нее до сих пор.

Сашеньке я еще не имею духа писать и очень мучусь этим… Но нет, – не могу теперь… *Оттуда*

напишу – une-lettre humble et contrite, как это мне *следует*, как она этого заслужила.

А вы, *вернетесь?.. Она* не *меня* считает виноватою, вы теперь знаете… Когда-нибудь, когда *все пройдет,* вспомните – оба (обо) мне.

Кажется, все! Не могу более… Прощай (те) все, прощай, Россия! Когда вы получите это письмо, я уже буду далеко от нее, ото всего… К».

Вернувшийся было в комнату полчаса спустя за каким-то спросом Матвей застал Бориса Васильевича с уткнутыми в стол локтями и опиравшеюся на них головой, недвижно склонившеюся над лежавшим пред ним листком, – и «таким расстроенным» в этом положении показался ему «вид ихний», что он инстинктивно попятился назад, в переднюю, и исчез за своею перегородкой. Шустрый малый почуял, что собственный *вид* его в эту минуту мог бы вызвать только раздражение в его «*мудреном* барине»…

Троекуров недаром ждал этого письма, недаром откладывал минуту «заняться собою» до времени получения его. Он внезапно теперь, сразу, охватил мысленным оком и воспринял до боли сердцем всю неприглядную *суть* своего положения – он стоял среди развалин… Ледяным холодом обдало его вдруг при этом неумолимо сложившемся в нем теперь представлении… Он добровольно, безжалостно разбил ту свою чистую и честную жизнь – разбил для «призрака», для задорного миража беззаконного счастия. Из-за чего? Страсть?.. Нет, даже не страсть: вот она ушла из-под его власти, ее вынесли на берег, уверяет она, и он равнодушен к этому и пальцем не пошевелит, чтобы выманить ее оттуда опять на радужный пир жизни. Он сам уже в этот пир не верует… «Гордость, говорит она, – сатанинский грех». Гордость, да, пожалуй, когда она *там*, в Остроженковом доме, не кинулась ему прямо в объятия. А ранее?.. Ранее и того хуже – и краска стыда выступила ему на лицо: тщеславие, соблазн битвы и победы над девственным сердцем, и та, – прежде всего *та* — распущенность воли, с которою у нас никто «управиться не умеет», вспоминал он опять слова ее письма…

Все виденное, замеченное и испытанное им за последние месяцы воскресало теперь в его мозгу в сплоченных, живых и говорящих образах, а с ними возникала какая-то беспощадная ясность выводов и самоосуждения… «Безурядное время, бездарные люди, анархия и немощь умов, восходящее поколение, воспитываемое на отрицании всякой святыни, – раздраженное и тупое поколение варваров… А мы-то, мы-то сами, *лучшие* из предшествовавших ему, – сами-то мы *что*? «Эстетики» мы были; уродство *формы* одно претило нам в жизни, одна *некрасивость* зла возбуждала в нас отвращение к нему… Мы верили в «красоту», мы «страсть» возводили в культ, – и во имя их все дозволяли, все извиняли; под их флагом, убранные в их цветы, дерзко выступали у нас всякая разнузданность, всякий преступный каприз безудержной фантазии…»

Пред ним с неудержимою и мучительною силой представали картины, воспоминания столь еще для него недавнего прошлого: тиховейная летняя ночь, высокая комната с мерцающею пред иконами лампадой, молодая мать-кормилица у кровати, потонувшей в широких складках белоснежных занавесей… «Вся эта благодать и чистота… и уважение к себе – где они?» Все это лежало вдребезгах у ног его, сокрушенное его же руками…

«Чего ждать от детей таких отцов, как мы?» – неслось опять в голове его горячими и обрывистыми взрывами… «Общество без устоев и корней, плывущее как облако в пространстве по прихоти первого ветра… Всеобщая ломка и погром; все долой: живые побеги, родные предания, связи с прошедшим, с народом, с его нерушимыми верованиями… Слепые вожди, дешевые *мыслители,* куда ведете вы страну теперь, что тянет вас: злой рок, fatum?.. Нет, даже этого нет! „Torrent“ бессмысленный какой-то, рабство нищего ума пред фантасмагорией чего-то чужого, без духа жизни, без почвы под собою… Вы на этой слякоти и мрази здание ваших

реформ строите, *гражданскими правами* великодушно наградить нас намерены… Вы прежде всяких прав научите нас *долгу,* научите *отцами* быть, вы *семью* спасите в России!» – с горечью и злостью, чуть не громким воплем вырывалось из груди Троекурова…

«Она поняла, она ушла к чужим эта женская, томительно и бесцельно алкавшая молодая душа, – ушла за „уздой“ и „дисциплиной“, поняла, что лишь под железными веригами *послушания* уймутся вечная тревога и судорожно тщетные искания ее». «Воля – бремя, воля – невыносимая тяжесть, – говорит она, – для того, кто, как все мы, не умеет подчинять ее высшему нравственному закону…»

Он встал, прошелся по всей длине своих комнат, продолжая думать:

«Ей нужно было, она чувствовала, „отдать себя в руки“, в надежные руки, а у нас – некому».

Он остановился в спальной, глянул, вдумчиво прижмурясь, в окно… Кресты ближней трехглавой церкви сверкали сквозь его стекла в мягком сиянии осеннего утра… Троекуров долго глядел на них…

«Некому? – вопросительно повторил он про себя. – Ужели ж все прежнее, крепкое прахом пошло и разнесено ветром?..»

Он поник головой… поднял ее опять:

«Так себя-то хоть умей в руки взять!» – проговорил он мысленно, и в стальных глазах его сверкнуло выражение какого-то мгновенного и бесповоротного решения.

Генерал Занесухин тщетно прождал весь вечер того дня доходного своего противника в Английском клубе. Курьерский поезд еще раз уносил Троекурова к берегам Невы.

XIII

Some rise by sin, some fall by vertue.

Shakesp. Measure for measure.

…Да неизменен жизни новой
Дойду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый ко брегам.

Языков.

Сентябрь стоял на исходе. Мелкий дождь шел с утра, но его разогнал поднявшийся к полудню ветер, и пелены разорванных туч уносились вдаль одна из-под другой по светлевшему небу… Вот и засинело оно, выглянуло солнце и заиграло алмазною гранью по каплям, скатывавшимся с широких листьев старых лип в большой аллее Всесвятского. В сыром воздухе потянуло теплом. Воробьи, припрятавшиеся от дождя под крышу дома, весело чирикая, запрыгали опять по террасе, пред окнами гостиной, в чаянии хлебных крошек, которыми награждала их каждый раз, как выходила из-за стола, «Божья душа», Лизавета Ивановна Сретенская.

Маленькая особа уже третью неделю гостила во Всесвятском… С кротко-радостною улыбкой на своих увядших губах стояла она в эту минуту у одной из стеклянных дверей гостиной и глядела сквозь нее на эти разносившиеся в небе облака, на волшебные тоны разноцветной осенней

листвы под засверкавшими по ней внезапно солнечными лучами, на своих «воробушек-птичек сереньких, благодатных, ни тоски людской, ни ехидства нашего не знающих», причитывала она про себя на своем своеобразном, не то песенном, не то сказочном языке.

– Вот и вёдра дождались, ангел мой, – проговорила она, полуоборачиваясь, – в аккурат как Николай Иванович наш вчерась предсказывал. Как ежели, говорил, завтра к полудню ветер подымется, так к перемене значит, к вёдру, и надолго уж пойдет тогда, говорил…

Она подняла крючок двери, полуоткрыла ее, быстро вытащила из кармана горсть кусочков разломанного сухаря и кинула ее на террасу.

– Благодать, милая, тёпло стало так, благорастворение… Надели бы вы калошки, ангельчик мой, да на воздух вышли…

Александра Павловна Троекурова, к которой относились эти слова, не отвечала. Она медленно, механически шагала, опустив голову и слегка сожмурив глаза, по длинному протяжению гостиной, от дверей в сад к окнам, выходившим на двор, и обратно… Они с Лизаветой Ивановной за эти последние ненастные дни приняли привычку приходить сюда каждый день после завтрака, и молодая мать, ввиду кормления Васи, регулярно совершала здесь, повинуясь предписанию доктора, свой «гигиенический», очень наскучавший ей «моцион».

– Право бы вышли, золотая моя, – повторила Лизавета Ивановна, – Николай Иваныч, сами знаете, «первым делом, говорит, воздухом пользоваться надо вам»…

Александра Павловна все так же механически повернула в ее сторону:

– Пойдемте, все равно… – как бы нехотя выговорила она.

– А погодите ж, ангел мой, так нельзя, сыро. Я вам вот сейчас обуться и одеться принесу потеплей…

Но в то же время в комнату вошла с ботинками на двойной подошве в одной руке и бурнусом барыни на другой догадливая Анфиса.

– Может, в сад выйти вздумаете? – сказала она с улыбкой. – *Бабье лето* зачинается, распречудесная погода сделалася.

Александра Павловна ответила ей благодарным взгдядом. «Какие обе они ч*удесные,* жалеют и холят меня, – подумала она… – Кроме них и некому теперь», – пронеслось тотчас затем у нее в мысли с болезненным сжиманием сердца…

Она переменила обувь, окуталась в бурнус, прикрыв голову капюшоном, и вышла в сопровождении Лизаветы Ивановны на террасу.

Стало действительно так тепло и тихо, что она капюшон этот отбросила тут же с головы за спину и широко вдохнула в себя живительную струю свежего воздуха. Большие печальные глаза ее загорелись на миг, устремившись вдаль.

– Ах, как хорош Божий свет, – как бы невольно и негромко вырвалось у нее из груди, – одни только люди его портят…

– Людям прощать надо, ангел мой! «Не ведают бо, что творят», – сказано, робко и нежно воззрившись ей в лицо, тихо проговорила ее маленькая приятельница.

– Не могу! – неудержимо и обрывисто вымолвила на это молодая женщина и спустилась с террасы в аллею.

Но гулять оказывалось не совсем удобным: ноги их вязли в разжиженной четырехдневным дождем почве; с падающими с деревьев листьями неслись им в лицо холодные брызги… Они вернулись, не пройдя и ста шагов.

Но идти в комнаты не хотелось. Александра Павловна уселась на успевшую уже просохнуть скамью у самой стены дома и погрузилась опять в свое немое раздумье.

Она не выходила из него теперь… Она, после того как «узнала все», в один из первых дней по отъезде Киры, под гнетом нестерпимой муки, почувствовала неодолимую потребность «выплакаться пред *родною душою»,* – и поспешно вытребовала к себе Лизавету Ивановну… Но когда приехала та, встревоженная безотчетным предчувствием несчастия с ее «ангелом небесным», Александра Павловна осталась нема. Она кинулась на шею маленькой особы, едва успела она войти в комнату, разрыдалась истерическим рыданием… «Что с вами, голубушка вы моя, золотая, ненаглядная?» – допрашивала ее та, вся дрожа от тревоги и жалости. Она не ответила и только руками замахала, как бы приглашая ее не спрашивать… И так не узнала бы ничего Лизавета Ивановна, если бы не рассказала ей Анфиса.

«*Мое* горе, – я с ним одна и справлюсь», – незыблемо стояла на этом решении молодая женщина. Причина этого горя ни для кого не была тайной кругом нее, она знала, – но она почитала недостойным себя, почитала оскорблением той святыни прошлого, неугасаемый огонь которой помимо ее воли упорно теплился в глубине души ее, заговорить с другими о том, как беспощадно поругана была эта святыня, как стыдилась теперь она своего прежнего «безумного» счастия, своего «идолопоклонства» пред человеком, «которого она более уважать не может…» Но она давно ли свято и слепо верила, любила этого человека, этого мужа, этого отца ее детей – и не могла, не хотела, «не должна была наконец», признавала она, допустить теперь малейшее слово порицания ему из чьих бы ни было уст. «Я молчу – уважайте это молчание!» – как бы говорил весь ее дышавший теперь какою-то печальною величавостью облик, сказывали ее вдумчивые и строгие глаза… Сама она никогда не произносила имени мужа и с замечательным тактом умела предупреждать всякий повод к упоминанию о нем другими, не принимала, под предлогом нездоровья, никаких посещений, не допускала служить на занимаемой ею половине никого, кроме Анфисы, из многочисленного персонала слуг в доме и проводила весь день в детской, переступая за порог ее не иначе, как для предписанных ей доктором Фирсовым прогулок «с гигиеническою целью…» Темные тени бежали от нее на все ее окружавшее. Полный недавно движения и звуков дом Всесвятского глядел теперь каким-то обиталищем мрачных молчальников… И только маленькая Лизавета Ивановна, поместившаяся в «шкапной» Александры Павловны, рядом с комнатой Анфисы, вела по ночам, сидя на кровати своей синеокой «другини», долгие и таинственные с нею беседы о «соблазне, смутившем мирное житие честного дома сего…» «И все-то его, врага человеческого, рук дело, милая, и смущает он же опять теперича грехом уныния и ее душу чистую, душу страдалицы нашей неповинной», – плача и тоскуя об этой ей дорогой душе, шептала она своим детски-лепечущим голоском…

Более практическая по природе своей Анфиса не ограничивалась этими слезами участия и сетованиями на случившееся. Она неустанно *прикидывала* в сообразительной голове своей, «как бы этому самому горю помочь», принимая к основанию своих рассуждений и упований на это одно «удивительное» известие, сообщенное ей управляющим завода во Всесвятском, получившим его в свою очередь из прямого источника, – из московской конторы Бориса Васильевича. Из этого известия оказывалось, что княжна Кира Никитишна уехала в Петербург на другой же день после приезда в Москву и что сам Борис Васильевич прожил там после того

еще четыре дня, пока не выехал в тот же Петербург. «Хоть и в то же место, да не вместе, значит – не в одно время, не прямо в собственном экипаже, за границу», – как передавал ей «подлец этот», Троженков, соображала Анфиса, строя та этих данных свои особые догадки, о которых из осторожности, не доверяя вполне говорившему в ней чутью, лишь далекими еще намеками сообщала она Лизавете Ивановне. Гораздо откровеннее рассуждала она с доктором, «с Николай Ивановичем», с которым установилось у нее большое дружество за последнее время. Она ждала чрез него проверку себе. У него, говорил он, был в Петербурге друг и приятель один, «тонкая бестия», который «всякую мол штуку пронюхать может» и которому он, по ее просьбе, написал «некое», как выражался шут, «достойное дипломатического пера послание, прося «акуратненько разузнать, находится ли в Петербурге его, Фирсова, *патрон*, имярек, и где именно стоит, а если выехал или на выезде состоит, то куда именно, – а тож узнать достоверно и про отставную фрейлину и княжну такую-то, приметы коей при сем препровождаются». Ответа на это послание доктор и Анфиса с равным нетерпением ждали со дня на день, находя в этом вполне основательный и законный предлог для продолжительных переговоров вдвоем, приобретавших для них как бы с каждым днем все более занимательности и значения…

Лизавета Ивановна со своей стороны ратовала, насколько могла, против «великого греха уныния», смущавшаго ее прежнюю, «как дитя малое счастливую Сашеньку». Она пользовалась всяким случаем напоминать ей о кротости душевной, о снисхождении к людям, о прощении обид «во имя Страстотерпца-Христа Спасителя нашего…» «Не могу!» – нежданно ответила ей сейчас на это, к глубокому изумлению ее и прискорбию, Александра Павловна, – и маленькая особа, присев к ней на скамью, уныло поводила на нее искоса соболезнующим взглядом, придумывая, «с какой стороны» возобновить с нею разговор о том же предмете.

Так сидели они обе, уйдя в себя, тоскливые и безмолвные. А солнце сияло с голубых небес, и последнее тепло увядавшей природы веяло на них своими мягко-проницающими струями. Обрывистое коленце какой-то птички неслось в гулком воздухе из ближайшей аллеи…

– Пеночка это с радости завела… – начала и не договорила «Божья душа».

Со стороны двора послышался явственно топот скачущих лошадей, и в то же время раздались в гостиной приближавшиеся мужские шаги.

– Кого-то Бог дал! – проговорил доктор Фирсов, выходя из нее на террасу.

– Кого это? – вскрикнула тревожно молодая хозяйка.

– Не знаю. Военный какой-то, должно быть, – я фуражку издали заметил с околышком…

Ах, пожалуйста, торопливо молвила она, я никого не принимаю… не желаю видеть…

Фирсов успокоительно усмехнулся:

– Так ему и донесут; чего ж вам тревожиться, барыня? Приказ ваш известен, слуги исполнить должны… А только что, может быть, человек за делом за каким-нибудь нужным приехал…

– Так вы тогда, пожалуйста, спросите… А я ничего не знаю, никаких дел…

– Пойду, барыня, пойду сейчас… Сидите себе тут на солнышке, вам это пользительно…

И толстяк повернул опять в гостиную, направляясь к сеням.

Навстречу ему оттуда вынеслась Анфиса с перевернутым лицом:

– Сам… барин, Борис Васильевич!.. – задыхаясь от волнения, с лучистым сиянием глаз проговорила она. – Сказывала я вам, предчувствовала.

– Что это вы… где он? – растерянно вскликнул доктор.

– К себе, к своему крыльцу проехал… Я из прачечной шла, а они едут… в военном одеты… Только я их сейчас признала, поклонилась… и они мне… Как же теперь с барыней нашей быть? – перебила она себя, понижая голос.

Из дверей, ведших на половину Троекурова, выбежал в то же время слуга с громким воскликом:

– Барин изволили приехать… Анфиса Дмитриевна, барыня где, Александра Павловна? Им доложить требуется…

– Хорошо, чего кричишь, – сказала она, – ступай, и без тебя доложут!..

Он исчез.

– Идите к ней сами, Николай Иваныч, – отнеслась она опять к Фирсову, – как бы с ними дурно не сделалось…

– А вы вот на всякий случай вынесите-ка мне от нее одеколончику. Нюхнуть дадим… Радость ведь, так думать надо? Живо в том разе в себя придет…

Но гул их разговора, неясный, но слышный возглас слуги долетели уже до террасы… Александру Павловну что-то подняло вдруг, какое-то внезапное острое ощущение.

Кровь отлила в ней к сердцу. Бледная, с вопрошающим взглядом показалась она в дверях, укутанная в широкие складки своего плаща…

– Что такое! кто приехал?..

Доктор с Анфисой кинулись к ней.

– Сюрприз вам, барыня, сюрприз неожиданный, – говорил он, стараясь принять самый веселый вид.

– Сережа, брат? – пришло ей на мысль, хотя этого брата, усердно преследовавшего свои карьерные цели в Петербурге и которого она не видала со дня своей свадьбы, она не имела никакого основания ожидать к себе во Всесвятское.

– Поближе будет вам, барыня, поближе! – шутовским тоном и подмигивая произнес Фирсов, зорко в то же время следя за выражением ее лица.

– Борис Васильевич… вернулись, – прошептала, наклоняясь к ней в свою очередь, Анфиса.

Ноги подкосились у молодой женщины. Она упала б, если бы не поддержали ее… Но она тотчас же совладала с собою, с первым ощущением лихорадочной в ней тревоги, кивнула, словно давая этим понять, что он должен был приехать и что она это и знала, и улыбнулась через силу.

– Анфиса, – сказала она с заботливым видом хозяйки, распоряжающейся в своей области ведения, – пожалуйста, прикажите сейчас насчет обеда ему: того, чем мы питаемся с Лизаветой Ивановной, ему будет недовольно.

И за этими словами отправилась на свою половину, в сопровождении маленькой особы.

«Приехал… вернулся… для чего? – недоумело спрашивала она себя мысленно. – А *она* же что… для которой…» Она не могла разобраться в водовороте вопросов, поднявшихся в ее уме, – только сердце ее нестерпимо ныло от чувства чего-то предстоявшего ей, страшного… и *противного…*

Она опустилась на кушетку в своем будуаре, судорожно прижмурила глаза, как бы с тем чтобы не видеть этого «чего-то».

Вся похолодев от какого-то бессознательного, детского страха, стояла пред ней Лизавета Ивановна, широко раскрыв глаза, с нервною дрожью, пробегавшею по всему ее жиденькому слабому существу.

Но вот из двери в коридор, отделявший комнаты молодой матери от помещения ее малюток, вышла Анфиса.

– Борис Васильич к детям прошли, – доложила она.

Александра Павловна откинулась от спинки кушетки, подняла веки, задумалась как бы на миг и, не отвечая, повела неопределенно головой, будто говоря: «Хорошо, что же?»

– Они вас спрашивают, – сказала еще раз Анфиса, – прикажете просить их сюда?

Ресницы дрогнули у молодой женщины, грудь высоко поднялась, мгновенный румянец пробежал по лицу.

«Сюда» – в эту ее интимную, *собственную* комнату, свидетельницу былого ее счастия и теперешней муки, где каждый угол словно говорил о каком-нибудь блаженном или скорбном помысле о нем, куда кроме его никакой еще *мужчина* не проникал никогда, – принять его здесь теперь, теперь, когда…

– Нет! – неудержимо воскликнула она. – Скажите, что я в гостиной и прошу его туда…

Она быстро поднялась и пошла.

Анфиса выбежала в коридор… «Страстотерпче Иисусе Сыне Божий, помилуй нас!» – пролепетала, оставшись одна, Лизавета Ивановна, быстро крестясь под своею шерстяною косынкой…

Александра Павловна уселась на маленьком диванчике за длинною жардиньеркой с растениями, составлявшею искусственный, изолированный уголок по одной из стен длинной гостиной… Руки ее дрожали… «Зачем приехал он… что он мне скажет?» – и то же чувство чего-то страшного и «противного», предстоявшего ей, ныло у нее нестерпимо на сердце… Глаза ее не отрывались от двери, откуда ждала она *его* входа…

Дверь эта, слегка скрипнув, отворилась настежь. *Он* вошел.

Дыхание у нее сперлось, веки помимо воли потупились – и поднялись опять. «Не я, он во всем

виновен», – пронеслось у нее в мысли, и темные зрачки ее бестрепетно остановились на нем…

В нем было что-то неузнаваемое теперь, сказалось ей первым впечатлением. Коротко, *форменно* остриженные волосы, военный, новосшитый, с блестящими погонами сюртук, не успевший еще принять складок тела, отчего весь худощавый облик носившего его представлялся будто обернутым в какой-то лубок, тесный и недвижный, строгое, чуть не суровое выражение осунувшегося лица. «Что с ним, для чего эта форма, мундир?» – недоумело спрашивала себя Александра Павловна.

Он подошел к ее месту, протянул ей руку.

– Bonjour, Alexandrine, – сказал он, против существовавшего у них всегда обыкновения, по-французски… Она поняла: «По-русски он, по привычке, невольно говорил бы мне ты, а он не хочет… или боится…»

Он пожал ее пальцы, сел боком на плетеный стул против нее, оперся о спинку его локтем и продолжал на том же языке.

– Детей я нашел процветающими (florissants). Маша, мне кажется, выросла за этот месяц, что я не видел их.

– Она узнала вас? – вырвалось невольно у молодой матери.

Он слабо усмехнулся:

– Времени прошло еще не так много, чтоб она успела забыть меня.

– Нет, я хотела сказать – в этой форме, – проговорила она несколько смущенно, кивнув на его погоны, – вы опять поступили в военную службу?

Он наклонил *без* слов голову.

– Какой же это мундир? Армейский. Я назначен командиром *** пехотного полка.

– А-а!.. Где же этот полк?

– Он стоит в Царстве Польском, в Люблинской губернии.

– И вы там теперь жить будете? Там!..

Судорога пробежала у него по лицу; зеницы усиленно замигали:

– Так лучше! – проговорил он с трудом и как бы вопросительно.

Она по крайней мере поняла это так – и дрогнула всем телом. Все, все, что выстрадала она за это время, подступило ей в эту минуту к горлу; в зрачках запрыгали искры…

– Как хотите!.. Но я не могу… не могу, Борис! Вы все *тут у* меня убили! – воскликнула она, указывая на сердце.

Он обнял быстрым взглядом ее изменившуюся наружность, ее измученные черты и повел медлительно головой.

– Я знаю… – проговорил он чуть слышно, глядя куда-то неопределенно в угол.

– Я так любила, так уважала вас! – продолжала она неудержимо. – Я вам как Богу верила, Борис… И вы на *это* решились, вы – такой человек, как вы! Кому же, чему после того верить? Решились на такой грех… на такую низость!

Все лицо Троекурова передернуло от этого слова, глаза сверкнули – но он тут же опустил их, закусывая ус до боли, чтобы не выдать своего душевного смущения.

Она заметила это. «Что я сказала ему!» – мучительно кольнуло у нее в сердце; но остановиться она была не в состоянии:

– Я знаю, я говорю вам ужасные вещи… и вы не простите их мне никогда… Но я не могу, я должна… не за себя даже… Где Кира, что вы с ней сделали?

Он усмехнулся мимолетною и странною улыбкой.

– Княжна в Лионе, – спокойно выговорил он.

Александра Павловна растерянно глянула ему в глаза:

– Почему в *Лионе?*

– Там женский католический монастырь; она хочет в нем постричься.

– В монахини… в католички!

И молодая женщина всплеснула руками.

– Да, там, я знаю, один abbé Legrand, – медленно припоминая, заговорила она теперь, – Кира была с ним в переписке… Она и прежде говорила, но я не хотела верить… и сама она как бы забыла потом… Отчего же это теперь вдруг, не сказав об этом слова пред отъездом… даже напротив?..

– Вы получите от нее письмо оттуда; оно все объяснит вам, вероятно, – молвил он на это, сдвигая брови.

– Вы ее… видели?

– Видел в Москве, – тем же спокойным тоном ответил Троекуров, глядя на нее в свою очередь своими бледными глазами.

– Она долго оставалась там?..

– Она приехала за сутки до дня возвращения моего из Петербурга и уехала в тот же день туда с курьерским поездом.

Голос задрожал у Александры Павловны.

– Но вы разве?..

Он понял, чего не договаривала она.

– Я выехал опять в Петербург *тремя днями позднее княжны,* – подчеркнул он, – и приехал туда, когда она была уже за границей.

У Александры Павловны билось сердце так, будто хотело оно выскочить у нее из груди.

– Но отчего же не написали вы мне тогда же, Борис, – лихорадочно заговорила она, – когда узнали, что она решилась постричься?.. Вы и совсем не писали, ни слова… Разве не понимали вы, что я за муку выносила в это время!

Он сдвинул брови:

– Что же было писать мне? Я был уже осужден вами, – тихо молвил он и, вынув из бокового кармана анонимное письмо, полученное ею и переданное ему княжной, развернул его быстрым движением руки и положил на стол.

Она узнала его, переменилась в лице вся и, с дрожавшими слезами на ресницах, сжала руки умоляющим жестом.

– Борис, – вскликнула она по-русски, возвращаясь невольно к обычной, дорогой ей речи с ним, – Борис, ради Бога, если то, что написано в этом письме, неправда, – скажи мне! Я бы одному ему не поверила… Но сама Кира, то, что она говорила мне пред отъездом и что этот отъезд ее вышел именно так и тогда, как вперед говорило это письмо, – все это так очевидным представилось мне… Пойми, что я должна была почувствовать!.. Я надписала тогда эти слова… И теперь наговорила тебе таких ужасов… Если ты не виноват, скажи мне одно слово, – я поверю тебе, как прежде; я на коленях, я не постыжусь, стану молить тебя простить мне. Только скажи слово, милый, одно слово! – звенел ее голос сквозь прорывавшиеся рыдания.

Ему было невыносимо тяжело…

– Я наложил на себя эпитимию, – словно отрубил он, дернув за борт своего военного сюртука, – что же еще могу я сказать!

– О, Борис! – в силах была только произнести она теперь, заливаясь слезами: ее будто кто с горы спихнул опять в бездонную пропасть.

– Я лгать не умею; не делом, так намерением все равно это в сущности – я виноват пред вами… и пред собою еще более, может быть, – сурово досказал он, судорожно мигая и отворачиваясь.

И нота такой тоски и подавленной гордости зазвучала в этих словах, что молодой женщине стало вдруг жутко за него. Она взглянула на мужа глазами, полными безмерной жалости.

– Да, ты виноват, Борис, – тихо начала она, голос ее обрывался и дрожал, – ты забыл меня, чуть не покинул навсегда детей… тебя *грех* попутал… Но ты каешься, ты мучаешься, я вижу, как мучилась я сама… Ведь я не враг тебе, Борис! Разве я… разве я не могу…

Он быстро простер руку вперед, как бы приглашая ее не продолжать:

– Нет! – твердо и хмурясь произнес он. – Вы *это* легко забыть не можете… А великодушия я не желаю!

«Это не великодушие, Борис! – чуть не крикнула она, и удержалась. – Он бы стал презирать меня, если б я ему *теперь* простила», – сказалось у нее чутьем на душе.

– Я еду сегодня же; меня в полку ждут… Все здесь остается по-прежнему; кроме детей вам не о чем заботиться. Я уже сделал распоряжение в Москве. Я возьму только Скоробогатова – Матвея отпустил, а ваш кучер, Алексей, человек непьющий, смирный и при смирных

лошадях… Все остальное по-прежнему, прошу вас очень!.. Юшковых не забудьте, кланяйтесь им, они на радостях теперь: сына их удалось вызволить… Скажите им, что очень извиняюсь, что не успел побывать сам… Некогда, на службу пора, в стране там не совсем покойно…

Он оборвал вдруг эту нервно срывавшуюся с уст его речь, поднялся с места и протянул ей руку опять.

Она уронила в нее свою… Он пожал ее и удержал на миг в своей руке. Под ресницами его пробежала какая-то мягкая струя:

– Прав я, Alexandrine, скажите? – проговорил он проницающим, чуть-чуть дрогнувшим голосом.

Она без слез теперь подняла на него глаза и медленно повела утвердительным движением головы.

Он поднес руку ее к губам, быстро опустил ее, двинулся с места… и остановился.

– Вы будете писать мне иногда?.. У нас дети… – промолвил он, словно извиняясь.

– Да… Я буду молиться с ними за вас, вам это теперь *нужно…*

Троекуров в свою очередь теперь как бы утвердительно наклонил голову и направился на свою половину.

Она жадно устремилась ему взглядом вслед… «Да, *так лучше», – проносилось* у нее в голове, – ему надо дать время отмучиться до дна…»

Он уехал в тот же день после обеда.

Словно кисеей какою-то заволоклись глаза Александры Павловны, когда она вышла на крыльцо проститься с ним, держа за ручку полуторагодовую девочку-дочь, когда няня подняла ребенка под губы отца, и он, с обычною ему неловкою торопливостью в этих случаях, осенил крестным знамением ее кудрявую головку, а затем все так же поспешно, заметно хмурясь на толпу домашних и слуг, собравшихся на «проводы барина», наклонился к руке жены и молча поцеловал ее, «точно учтивый гость»… Ей показалось только, что руку эту ее сжал крепче в своей, что уста его не так скоро оторвались от нее, как бы это сделал «чужой», и сердце ее инстинктивно забилось чем-то давнишним, бесконечно милым и влекущим… Но в голове у нее стоял туман тончайших, разноречивых и раздражающих ощущений. Когда наконец он, как в предшествовавший этому отъезд его, вскочил в коляску, и Скоробогатов, в последний раз правя своею любимою четверкой рыжих, поднял высоко вожжи над крутыми с лоснящимися крупами их, она как бы бессознательно прижмурила глаза. «Ну и пусть, и пусть, не хочу видеть!» – проносилось у нее в мысли, между тем как ухо жадно прислушивалось к мерному конскому топоту, уносившему его все далее и далее от этого «родного крыльца»… Маша заплакала вдруг. «И о чем это, ласточка ты моя сизокрылая, папы жаль, а?» – засуетилась около нее няня… Александра Павловна кинулась к ней, схватила девочку на руки и, судорожно покрывая ее поцелуями, побежала с нею к себе в будуар. Но слезы душили ее самоё. Машу няня унесла в детскую по настоянию доктора. «А не то на весь дом такой бы дуэт распели…» – говорил он, подмигивая Анфисе «подать ему одеколонцу на всяк случай». Маленькая Лизавета Ивановна захватила обе руки молодой женщины и, прижимая их к губам:

– Испытание захотел послать вам Господь, ангел мой, – шептала она своим детским и растроганным голоском, – покориться с кротостью и терпением надо…

Анфиса, подошедшая к своей барыне с флаконом в руке, многозначительно глянула ей в лицо:

– Вы бы лучше так сказали, Лизавета Ивановна, – протяжно проговорила она, – что терпенья еще крошечку им требуется. Потому ни на что другое как на радость идет: но даром сегодня солнышко-то после трех дней ненастья выглянуло… Окаянный сквозь землю, Господь по земле, так я понимаю.

И так убедительно и радостно звучали ее слова, что на душе у Александры Павловны мгновенно просветлело, как на отученном небе того утра. Она быстро отерла глаза платком, чуть-чуть усмехнулась и пролепетала как бы смущенно:

– Я всегда терпелива была… Пойдемте к детям, Лизавета Ивановна! – промолвила она за этим, быстро подымаясь с места и направляясь в сопровождении маленькой особы к двери в коридор.

Анфиса двинулась было за ними.

– А погодите-ка, вдовушка! – остановил ее Фирсов.

– Чего вам? – спросила она, оборачиваясь, с тою дружелюбною и насмешливою грубостью тона, с которою приняли они почему-то привычку беседовать друг с другом в последнее время.

– А вот чего, – начал толстяк, – откуда это вы ума набираетесь, право? Ведь вот сейчас такой изумительный диагноз учинили…

– Чем это вы, каким таким словом выстрелили? – рассмеялась она, не понимая.

– А таким, – отвечал он, глядя на нее разгоревшимися глазами, – что если с него да сбудется, так я с вами в первый законный вступить готов…

– Что-о? – полугневно, полутрепетно протянула синеглазая женщина, покраснев до самого лба.

– Нет, я это без всяких шуток, Анфиса Дмитриевна, – заторопился сказать он, – как если барыня наша действительно съедется с мужем *на прежнее, я* в тот самый день женихом вашим объявлюсь, если на то от вас согласие последует.

– Да что это вы, сбрендили? – растерянно бормотала она. – Какая я вам жена?..

– А такая, что на глупость на эту, жениться, только для вас и решаюсь… Вот, при свидетелях говорю, – вскликнул он, указывая на вбегавшую в эту минуту в комнату за оставленным тут Александрой Павловной платком Лизавету Ивановну, – а вы, всеобщая скорбей утешительница, внемлите!

И он повторил ей сейчас сказанное им Анфисе.

Маленькая особа, нисколько не удивившись этому, кинулась на шею своей совсем оторопевшей «другини».

– Милая, да в таком случае радость-то нам всем какая, двойная радость будет!.. Дождаться-то скорее только б Бог привел!..

И вдруг остренькое, завялое личико ее приняло озабоченное, почти испуганное выражение:

– Николай Иванович?

– Что прикажете?

– А в Бога веруете?

– А вам на что? – буркнул он, нахмуриваясь.

– Как же без этого ей иттить за вас, голубчик, – тревожно говорила она, – душа ведь у нее русская, христианская, а как если муж да этого самого не чувствует…

– Уж это, известно, последнее дело, – как бы вырвалось в свою очередь у Анфисы.

– Ну чего голосить-то? Верую! – прервал их Фирсов, досадливо и смущенно махнув рукой. – Отец у меня священник был, человек древний, строгий… Залегло! – как бы извинялся он.

И тут же, кривя губы, обратился к Лизавете Ивановне:

– Да вы смотрите, не вздумайте об этом по Москве-то трезвонить: по нынешнему времени в нашем ученом мире этим совсем можно репутацию человека уронить…

– Не напоказ у человека вера-то, голубчик, не напоказ, в сердце надо иметь… Ну и, значит, теперь совсем по правилу, ангел мой! – вскинулась опять она целовать приятельницу.

– Да что это вы! – бормотала та; она все как бы не пришла в себя…

– Ну уж это вы с ним орудуйте, – рассмеялась маленькая особа, – а что вы, голубчик, не раньше под венец идти хотите, как если когда наша-то голубка-барынька слезы лить перестанет, так за это за самое Бог вам обоим счастие пошлет!

И она с платком Александры Павловны в руке, сияя вся, побежала в детскую.

– Так как же, Анфиса Дмитриевна? – спросил Фирсов, глядя на нее исподлобья.

– И с мыслями со своими просто собраться не могу, Николай Иванович, – тихо вскликнула она, разводя руками, – чтой-то вам вздумалось, право? При моем низком положении… и прежней жизни, как вам известно, потому я этого никогда не скрывала…

– Ну, это мы оставим в стороне, – прервал он ее чуть не с сердцем, – грех да беда на кого не живут! На то человеку и смысл дан, чтоб это понимать… А «вздумалось» мне, – весело примолвил он, – потому, говорил я вам, что очень уж умны вы… Ну и глаза эти синие, что твои фиалки, а я их с детства страсть любил по вёснам в лесу собирать…

Она взглянула на него внезапно засмеявшимися, счастливыми глазами.

– Так нам, значит, с вами теперича в ожидании оставаться? – лукаво проговорила она.

– «В ожидании», да, – осклабился с радости толстяк, – и долго придется ждать-то, как по-вашему? – спросил он уже с беспокойством.

Она как бы укорительно закачала головой:

– Известно, с большою они совестью господин, – сказала она, разумея Троекурова, – так разве согласятся они после *того,* да к жене опять, греха не омывши?..

Доктор повел одобрительно подбородком и слегка вздохнул.

XIV

Je vais sortir d’un gouffre où triomphent les vices…

Molière. Le misanthrope.

Юдоль молчанья рокового,
О, передай душе моей
Твоих стремнин покой угрюмый!

Гр. А. Толстой. Иоанн Дамаскин.

Тихо и однообразно потекла опять жизнь во Всесвятском. Но всем там почему-то будто полегчало, на всех будто повеяло чем-то умиряющим, – «елейным», как выражался доктор Фирсов… Молодая хозяйка все так же задумывалась – но неотступно и зорко наблюдавшая за нею Лизавета Ивановна замечала все чаще в эти минуты мимолетную, как бы откуда-то извне прилетавшую на ее губы усмешку и трепетный огонек, загоравшийся одновременно в глубине ее вишневых зрачков. «От сердца отходит, значит», – объясняла Анфисе, которой передавала она все свои «замечания», маленькая особа… Синеглазая «вдовушка» и доктор бывали особенно оживленными в почтовые дни: они гораздо более откровенно, чем сама Александра Павловна, тревожились каждый раз о том, получит ли она или нет письмо от мужа… Он писал ей не пространно, но довольно регулярно, дружеским, но крайне сдержанным тоном, заметно избегая всего, что могло касаться его внутренней жизни и личных отношений к ней, заботливо расспрашивал ее о детях и просил сообщать ему о них «как можно более подробностей». О своей служебной деятельности он точно так же говорил мало. Она знала только, что он находится с полком в грязном жидовском местечке Царства Польского и, кроме офицеров своих и солдат, никого не видит… Раз только проскользнула у него в письме следующая коротенькая, встревожившая ее фраза: «Здешнее население прямо плюет в глаза войску, а мы стоим l’arme au bras и благодушно утираемся». Александра Павловна с этого дня принялась усидчиво следить за «польскими делами» по одной из петербургских газет, получавшейся во Всесвятском. Но из всего того, что она там вычитывала, она могла выводить лишь то странное для нее заключение, что «поляки во всем правы, а русские во всем виноваты», и никак не могла согласовать это в мысли с тем понятием о предмете, которое истекало для нее из упомянутой фразы в письме Бориса Васильевича. Она попробовала было заговорить об этом с доктором, но тот только крякнул и сказал: «Поляки народ острый, нам с ними, известно, не совладать», после чего она уже не возобновляла с ним этого разговора; но письма ее к мужу с тех пор не ограничивались уже ответами на его вопросы: она все настоятельнее просила теперь в свою очередь «подробностей» о нем, о том, «что делается в этом *ужасном крае,* где, видно, ему очень нелегко жить»…

Недели три после отъезда его ей принесли однажды вместе с иностранными газетами письмо из-за границы… «От Киры!» – вскликнула она помимо воли, узнавая почерк… Она не решилась читать его тотчас, боясь инстинктивно того впечатления, какое «должно оно было» произвести на нее. Но когда она вскрыла его наконец, впечатление это оказалось вовсе не тем, каким воображала она его себе заранее.

Вот (в переводе с французского), что писала ей двоюродная сестра:

Лион, 14 (26) октября 1862 года.

«Завтра я вступаю au noviciat des Religieuses de la Visitation de la Sainte Vierge. Завтра я умру для мира (je serai morte au monde).

Нынешний день я еще принадлежу ему, имею право переноситься к нему мыслью, – и выбрала этот день нарочно для беседы – для последней беседы с тобою! Тобою я покончу последние мои счеты с миром. Молю мысленно всех знавших меня в нем отпустить мне мои пред ними вины вольные и невольные, но пред тобой обязана я раскрыть все тайники моей души и со слезами покаяния и стыда воззвать к тебе о прощении мне, о забвении всего содеянного мною *намеренно* тебе зла.

Ты его заранее даровала мне, это прощение, знаю; ты признала меня „невиноватою“ в такую минуту и при таких обстоятельствах, когда всякая другая на твоем месте, вероятно, прокляла бы меня. Ты его не сделала – напротив… Следует ли даже вменить это тебе в достоинство? Ты не размышляла об этом, не победила себя подле долгой и мучительной борьбы с собою; это просто вырвалось у тебя само собой, из прирожденных тебе христианских и человечественных инстинктов, при которых тебе и *воли на добро* никакой не нужно.

У меня их никогда не было. Я родилась гордою, заносчивою, завистливою – со всеми пороками нашего века… И раз я коснулась этого, я прямо начну с признания; ты постоянно и одновременно возбуждала во мне два, по-видимому, исключающие одно другое чувства: пренебрежение и зависть. Ты представлялась мне всегда занимающею такое ничтожное место между мыслящими существами (occuper une place si humble dans le monde des êtres pensants), и твое незаслуженное, казалось мне, счастие возбуждало во мне ожесточенный ропот против несправедливости судьбы. Да, я презирала и завидовала в одно и то же время. Чем глубже дорываюсь я в душе до первого источника *того,* что началось для меня у вас в деревне и кончилось в Москве, тем осязательнее обнаруживается это для меня. Не столько страсть – безумство! – к *нему,* к твоему мужу, сколько злость на то, что его жена – *ты*, сколько высокомерная мысль, что *такая* женщина, как ты, не способна удовлетворить умственным требованиям *того* человека, которого признавала я достойным *моей* любви, побудили меня… к тому, что было… Все *ум*, все та же гордыня, кичение этим жалким умом в ничтожном человеческом муравейнике!

И здесь, как и во всех других попытках и замыслах моей жизни, ожидало меня немедленно разочарование. Я хотела испытать *его* в Москве, подвела к твоему портрету в кабинете покойного Остроженко (он там, вместе с моим, в его коллекции «des beautés de Moscou», как говорил старик) – и поняла все: *он* не мог вырвать тебя из сердца, хотя ему казалось, что он любит меня. Я поняла, что с его стороны это был один обман воображения и что он никогда не простил бы мне в душе своей, если б я, в силу этого обмана, разлучила тебя с ним навсегда, – поняла, что не на *ум*, а на нечто другое, высшее, откликается вечно то, что есть лучшего в душе человеческой… Из этой последней встречи моей с ним я вышла чиста, но переломана навсегда (pure, mais brisée à jamais)…

Повторяю, я даже теперь не смею извинять себя тем, что я *его* действительно любила… Ты – помнишь? – все прочила мне в мужья Гундурова, и не одной тебе на первый взгляд могло казаться, что для меня действительно нельзя было бы приискать лучшего мужа. Но я чутьем понимала, что он меня никогда не полюбит, точно так же как я никогда бы не была в состоянии полюбить его. Его кто-то в Петербурге называл „идея на ножках“. Я сама была тоже бродячая идея (une idée ambulante) с менее чем он определенным и стойким содержанием, но с тою же жаждой неудовлетворенной личной жизни. Мне вечно хотелось чего-то большого, общего, чего-то неизведанного и чуждого другим, чем могла бы наполнить я пустоту и бесплодие моего внутреннего я… И именно потому, что Гундуров близок мне по природе, он никогда не нравился мне как человек, – и влекло меня то, что есть в *нем,* в твоем муже… нечто не *идейное,* а жизненное, крепко сидящее в седле (fort en selle), *хотящее* прежде всего, а размышляющее потом… Но во мне самой этого не было: я только жаждала, но *хотеть* не умела – я не была способна, как он, сжечь свои корабли дотла из-за одного призрака счастия –

и от него же требовала вперед гарантий, что, порывая с прошлым, с тобою, в душе его не останется ни раскаяния, ни сожаления… Он понял в свою очередь, и тут же – я прочла это в ту же минуту на его лице – оторвал, отринул меня от сердца… Я не виню – не винила его и тогда. Он был прав. Таких, как я, любить нельзя!

Он вернется к тебе – я знаю! Для таких, как он, – да и не для них одних! – возможны только подруги, как ты: простые сердцем (simples de cœur), преданные, любящие без оглядок, без задней мысли. „Das ewig Weibliche“, – справедливо говорил про тебя твой дядя Овцын. В тебе то, на чем стоит весь человеческий строй: семья, общество, порядок. Ты – покой, ты – благоухание, ты – утешение (tu es la paix, le parfum, la consolation), как сказал В. Гюго, кажется. Ты сильна именно тем, что я презирала в тебе, – я, растерявшая душу в бесплодных исканиях не подлежащих *женщине* целей!.. В нашем русском обществе, где добродетель (la vertu), где исполнение нравственного долга – единственно дело личного темперамента, а не каких-либо твердо, общим сознанием утвержденных начал, для таких существ, как я, предстоят лишь два исхода: позор (la honte) или та школа тупого и бесплодного ожесточения, в которой учителями являются господа в роде двоюродного твоего брата Иринарха.

Я нашла третий – добровольное отречение *от* самой себя, от своего бесполезного и постыдного я… Твоя *православная* совесть (la conscience *orthodoxe)* возмутится, я не сомневаюсь, мысля об *овце, бегущей от родного стада.* Не нахожу нужным вступать здесь в рассуждение об этом предмете… Скажу тебе одно: мне нужна железная рука, под которую я с доверием и *страхом* (avec confiance et terreur) могла бы всецело отдать мою строптивую природу (ma nature rebelle). Ты скажешь мне: „Разве не отыскала бы ты такую, не покидая лона *нашей* церкви?“ Может быть, не знаю… У нас воспитываются все так мало в познании ее, что я во всяком случае не знала бы *где* искать то, чего алчу я, в этой, *твоей,* церкви.

Прости! Я покорила свою гордость и, раскаянная, клоню пред тобою повинную голову мою во прах. Много слез, знаю, пролила ты чрез меня, но твои слезы из тех, от которых „Божьи цветы расцветают“, как выражается твоя Лизавета Ивановна (напомни обо мне, когда увидишь, этой доброй душе!), а мои лишь палили мне душу, как огненным дождем… Завтра выплачу я последние у подножия Распятия и, стряхнув навеки ветхого человека, пойду, радостная и светлая, за Ним… за терновым венцом, – его же призываю всеми силами, всеми голосами души моей!»

Письмо это не было подписано, но под ним стоял postscriptum с адресом улицы, на которой находился монастырь des Visitandines, и словами: «A la soeur Colette». Это было католическое имя, принятое Кирой. За этим следовала коротенькая приписка: «Предваряю тебя, что все получаемые нашими сестрами письма отдаются им в руки не иначе, как по предварительном прочтении матушкой-игуменьей (la mère-Supérieure)».

Дойдя до конца, Александра Павловна выронила листок из рук и заплакала.

– О чем это, о чем, ангел мой? – воскликнула, входя в эту минуту в комнату, Лизавета Ивановна и кинулась к ней.

– От Киры… письмо вот сейчас получила, – пролепетала Троекурова.

– Где она, княжна-то наша? – подымая его, спросила та.

– Во Франции, в монастырь поступила, в католический.

Маленькая особа вздрогнула вся:

– Веру переменила, Господи! Из чего ж это?

Александра Павловна взяла у нее письмо и перевела ей относящиеся до этого строки.

У Лизаветы Ивановны заискрились глаза:

– *«Искать где* не знает, под чью руку отдать себя с доверием и страхом!» – повторила она негодующим голосом и, обернувшись быстрым движением к образу Спасителя в углу комнаты, указала на него. – А Его забыла! Его Страстотерпца-Господа руки ей мало!..

И вдруг стихла вся и словно смутилась:

– А, впрочем, ангел мой, каждому свое, сказано. Что какой душе требуется; ейной-то – видимо всегда это было – под веригами легче, чем на своей волюшке, а у нас действительно очень уж ослабело все. Вот и пошла она *искать у* иноплеменных… А и то сказать: что у нас, что у них – Христос один ведь, ангел мой, – заключила маленькая особа, перекрестилась, и внезапная улыбка осветила все ее увялое личико. – Господь-то к лучшему устрояет всегда, милая! Нашла, наконец, княжна приют душеньке своей беспокойной, а у вас заноза последняя из сердца вон…

Она оборвала разом, как бы испугавшись этих вырвавшихся у нее слов, и глянула тревожным взглядом в лицо Александры Павловны.

Но слезы уже просохли на глазах молодой женщины – и светились теперь эти вишневые глаза тем былым, тихим и глубоким сиянием счастия, которое, казалось еще недавно, должно было погаснуть в них так же безвозвратно, как огонь на алтарях гомеровских богинь… «Он вернется к тебе, я знаю, – звенели в ней слова из письма, лежавшего на ее коленях, – таких, как я, не любят. *Он* не мог вырвать *тебя* из сердца… *Он* может любить только такую, как ты: *простую сердцем*… Ты для *него* покой, благоухание, утешение…» Последняя заноза действительно была вырвана; столиственные розы, еще пахучее, еще пышнее, чем прежние, расцвели вновь со дна выстрадавшегося существа Сашеньки. Заалевшие уста шептали беззвучно слова хвалы и благодарения, сердце билось невыразимо сладко… Он вернется, он скоро вернется, стояло в голове ее, он поймет, что никакой «эпитимии» более не нужно, что все прошло, все минуло, испытания и муки, что я жду его, страстно, мучительно жду и люблю, – люблю как прежде, сто раз более, чем прежде. И он приедет, я кинусь встречать его, он выскочит из коляски, обоймет меня, прижмет к сердцу, тихо, тихо, чтоб никто расслышать не мог, проговорит мне на ухо: «Вот я опять твой, навеки твой, навеки!..»

Суждено ли было осуществиться, и осуществиться именно так, тому, что обещало в эту минуту предчувствие Александре Павловне Троекуровой, о чем грезила она, к чему стремилась каждым фибром своего существа, – мы этого не скажем теперь, и не знаем, скажем ли когда-нибудь… Писать в наши дни, писать о наших днях – тяжелая задача, благосклонный читатель! И чем ближе стала бы подходить наша *правдивая история* к этим переживаемым нами дням, тем должна была бы она, роковою силой вещей, принимать с каждою новою страницей все более унылый, все более мрачный колорит…

[1] Впервые напечатана в «Русском Вестнике» во 2, 3, 4, 6 и 9 книжках за 1880 год и в 1, 3, 4, 7, 8, 11 и 12 книжках за 1881 год.

[2] *Четверть века назад.* Часть 1-я.

[3] Известные до сих пор магазины на Невском проспекте.

[4] О, навсегда потерял я тебя,
Цветок любви, моя надежда,
И приближающаяся жизнь
Будет полна одним страданием.

[5] *Четверть века назад.* Гл. XC№.

[6] Московский гостиный двор.

[7] *Четверть века назад.*

[8] Четверть века назад.

[9] Четверть века назад.

[10] Четверть века назад.

[11] Четверть века назад.

[12] Гимн Софрония, патриарха Иерусалимского.

[13] Четверть века назад.

[14] Добролюбов.

[15] *Луч солнца в темном царстве (Гроза* Островского). Добролюбов.

[16] Я научился любить отчаяние.

[17] Роман весьма нравственного содержания, соч. мисс Ионг.

[18] *Piccola* par Saintine.

[19] Мебельные магазины в Петербурге.

[20] Фет.

[21] Мать героини романа.

[22] Милое дитя, желая от всего сердца доказать вам все то участие, которое внушает мне ваше сиротское положение, я довела до сведения кого следует о желании, выраженном вами в письме ко мне. Случайное и весьма неожиданное обстоятельство, помолвка баронессы Гагерн с молодым графом Наташанцевым, пришло особенно кстати на помощь моему о вас ходатайству, и я почитаю для себя настоящим праздником известить вас, что ваша просьба принята весьма милостиво Ея Императорским Высочеством и удостоилась уже Высочайшего соизволения. Вы одолжены этою высокою милостью столько же превосходным заслугам покойного князя, отца вашего, сколько и благоприятному впечатлению, какое произвели вы и сами на Ея Императорское Высочество, которой вы имели честь представляться в Бадене и которая сохранила об этом очень хорошее воспоминание…

[23] Вить и вплетать небесные розы в жизнь земную.

[24] У Арбатских ворот.

[25] Бывшая, как известно, осенняя резиденция Наполеона III.

[26] Женский портной в Париже, обязанный своею знаменитостью императрице Евгении.

[27] Тогдашний председатель Государственного совета и главного комитета по крестьянским делам.

[28] Тютчев.

[29] *Материалы для ист. упраздн. креп. состояния в России.* Берлин, 1860–1861.

[30] 4 сентября 1859.

[31] *С.-Петерб. Ведом.* 1859, № 164.

[32] Воронежский предводитель, князь Гагарин.

Депутаты и редакционные комиссии по крестьянскому делу. Лейпциг, 1860. Брошюра, надисанная одним из этих депутатов.

[33] Главный комитет по крестьянскому делу, учрежденный 8 января 1858 года.

[34] *Вызов и прием депутатов первого приглашения,* Ст. Н. П. Семенова, *Русск. Вестн.* 1867.

[35] В ноябре 1859.

[36] От рязанского, ярославского, орловского, владимирского, тверского: *Мат. для ист. упрразд. креп. сост. в России.*

[37] 1 февраля утром Яков Иванович приказал настойчиво послать за князем Черкасским. Когда последний и заведывающий делами (П. П. Семенов) вошли к нему, он сказал: «Вот целый месяц, князь, как я не видал вас, по возвращении вашем из

[38] мы сделали все, что могли только сделать; совесть моя спокойна. Силы мои слабеют, но один только саван может отделить меня от крестьянского вопроса». *Некролог Я. И. Ростовцева,* сост. Ф. Еленевым 19 февраля 1886 года, стр. 19.

[39] Редакционные комиссии, как известно, собирались в здании бывшего 1-го Кадетского корпуса, на набережной Вас. Острова.

[40] 25 августа 1859 года.

[41] *Четверть века назад.* Часть I.

[42] *Четверть века назад.* Часть I.

[43] Когда я только подумаю, как я знатен, мне становится страшно.

[44] *Колокол,* 1-го февраля 1860 года.

[45] По поводу этих уступок выражено Конст. Аксаковым самое страстное порицание в его брошюре: *Замечание на новое административное устройство крестьян в России.* Лейпциг, 1861.

[46] *Крестьяне на Руси.* Москва, 1860.

[47] *Колокол,* 1 фев. 1860

[48] *Матер. для ист. упраздн. креп. еоеш. в России.* Выпуск III, стр. 376.

[49] Княгине Дашковой.

[50] Под этим названием значились фрейлины французской королевы Catherine de Medicis, отличавшиеся, как известно, красотою своею и умом.

[51] Типун на курином языке.

[52] О, какое ужасное положение для английского джентльмена.

[53] Установиться, сложиться.

Кто идет тихо, идет благоразумно.

[54] *Четверть века назад.* Часть II.

[55] Римское право завещало нам формулу вечной правды: «выслушай и противную сторону». Мне казалось бы согласным со справедливостью предоставить представителям дворянства свободное обсуждение тех начал нашего будущего *сельского права,* которые выработаны просвещенною заботливостью редакционных комиссий.

[56] В известном переложении стихотворения Пушкина: «Дар напрасный, дар случайный» и пр.

[57] Истрепанные башмаки.

[58] Старый Париж, la Cité, построен, как известно, на острове Сены.

[59] Булонский лес, известное место прогулки модного Парижа.

[60] Первые представления.

[61] Проповедь.

[62] В ту пору Петербургско-Варшавская железная дорога состояла еще в постройке.

[63] *Матер. для ист. упраздн. креп. сост. в России.*

[64] Врач есть некто, заставляющий вас показывать ему язык, пока природа не излечит вас или лекарства его вас не убьют.

[65] Известный тип преданного слуги в *Ламермурской Невесте* В. Скотта.

[66] Поддельное серебро. Парижский Ruolz – предшественник известного петербургского Кача.

[67] *Четверть века назад.* Глава последняя.

[68] Так называлось одно из больших судов бывшего Черноморского флота.

[69] Sagen Sim

Ihm, dass er für die Träume seiner Jugend

Soll Achtung tragen.

Don-Carlos. Act. IV, Sc. 21.

[70] «Кругом» в этой местности называется пространство луга в пять десятин.

[71] *Воскресение Лазаря.*

[72] *Дневник г-жи С. С. Вестник Европы 1877,* кн. 11.

[73] *Воспоминания о Лассале* г-жи Ракович (урожденной Дённигес, из-за которой произошла дуэль между Лассалем и Раковичем, ее в то время женихом, кончившаяся смертью первого). Перев. в *Иав. Врем.* 1878 года.

[74] На юге России мошенников называют «шарлатанами», как в Петербурге «мазуриками» и «жуликами» в Москве.

[75] Нищенское жилище.

[76] *Четверть века назад.* Часть 2, гл. KAVIII.

[77] *Четверть века назад.* Часть I. гл. XXI.

[78] *Свободные русские песни,* заграничное издание, помеченное так; *Кронштадт. В типографии главной Брандвахты. Дозволено цензурой, Петербург, 3 мая 1863 года.*

[79] Ibid.

[80] Первые появившиеся в 1872 году прокламации *«Земли и воли».*

[81] Читателей, мало знакомых с публицистическою литературой тех годов, к которым относится настоящий рассказ, автор считает нужным предварить, что все отмеченные в настоящей главе вносными знаками выражения и *положения* с буквальною точностью воспроизведены из подлинников Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Шелгунова, Соколова, Зайцева и др.

[82] *«Легкомысленный вересификатор,* опутанный мелкими предрассудками, так-называемый великий поэт совершенно неспособен анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века и до того зарапортовался, что признает „пружину чести“. Хорош мужчина, хорош общественный деятель!.. Произведения Пушкина оказываются *вернейшим средством притупить здоровый ум и усыпить человеческое чувство.*

Воспитывать молодых людей на Пушкине значит готовить из них трутней и сибаритов; у него колоссальная неразвитость» (Писарев).

[83] «Представьте себе смиренную корову, украшенную хорошим кавалерийским седлом. Представьте себе, что она подражает манерам кровного английского скакуна, раздувает ноздри, подымает хвост колом и пробует пуститься с правой ноги галопом, – и вы получите некоторое слабое понятие о том неистощимом комизме, которым переполнены все слова, движения и поступки добродетельного русского либерала, мечтающего о европейской говорильне» (Писарев). «Немного теперь найдется таких ограниченных людей, чтобы не только считать идеалом „великую“ английскую конституцию и „славные“ вольности, но даже чтобы не видеть всех гнусностей, скрывающихся за ними» (Зайцев).

[84] «Никакое намерение исполнять обязанности гражданина не выполнимо, потому что *никаких гражданских обязанностей в сущности нет,* следовательно всякие толки о них суть праздной мысли раздражение. *Убеждения, принципы, циническая добродетель, все это нелепые бредни*» (Зайцев).

[85] Сочинение научно-религиозного содержания, пользующееся большою известностью в католическом мире.

[86] Cm. *Un homme d'état Russe,* par Leroy-Beaulieu *(Revue des deux Mondes,* 1880, 15 octobre).

[87] Ibid, стр. 858.

[88] *Четверть века назад.* Глава предпоследняя.

[89] Указ Петра I об уничтожении патриаршества.

[90] *Четверть века назад.* Глава предпоследняя.

[91] Перевод Теплякова известной песни Беранже: *La bonne vieille.*

[92] Известное выражение императора Павла I.

[93] «Клеветникам России».

[94] Россия – большое надувательство.

[95] Известная статья в *Русском Вестнике* (август 1862) против *Колокола*.

[96] «Habt doch einmal die Courage euch den Eindrücken hinzugebeu und denkt nicht immer, es wäre alles eitel, wenn es nicht irgend abstrakter Gedanke und Idee wäre». *Из разговоров Гёте, записанных Экерманом.*

[97] Лермонтов. *Демон.*

[98] Возлюби неведанным быть и слыть за ничто.

[99] Когда книга и голова пришли в столкновение и раздается затем пустой звон, то это не всегда в книге.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch